ПЕРЕПИСКА Н. В. ГОГОЛЯ

Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах //Художественная литература, Москва, 1988
ISBN: 5-280-00105-8, 5-280-00104-X
FB2: glassy, 30 September 2009, version 1.0
UUID: faeb5a82-2990-102d-8ff6-f64c971398c3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Васильевич Гоголь

Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах

В первый том включена переписка Гоголя с друзьями его юности – А. С. Данилевским и Н. Я. Прокоповичем, С Пушкиным, Жуковским, Погодиным и др.

Второй том содержит переписку Гоголя с великим русским критиком В. Белинским, с писателем С Аксаковым, поэтом Языковым, художником А. Ивановым и др.

Содержание

#1 0005
Том первый 0006
Николай Васильевич Гоголь в его переписке . . . 0006
От составителей 0068
Список условных сокращений, принятых в комментариях 0074
Гоголь и А. С. Данилевский 0079
Гоголь и Н. Я. Прокопович 0184
Гоголь и А. С. Пушкин 0268
Гоголь и В. А. Жуковский 0292
Гоголь и П. А. Плетнев 0462
Гоголь и М. П. Балабина 0590
Гоголь и М. П. Погодин 0663
Гоголь и М. С. Щепкин 0862
Том второй 0917
Гоголь и Аксаковы 0917
Гоголь и А. О. Смирнова 1130
Гоголь и Вьельгорские 1302
Гоголь и В. Г. Белинский 1420
Гоголь и С. П. Шевырев 1463
Гоголь и Н. М. Языков 1625
Гоголь и А. А. Иванов 1753
Письмо Белинскому В. Г., конец июля – начало августа 1847 1846

Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах

Редакционная коллегия: Вацуро В. Э., Гей Н. К., Елизаветина Г. Г., Макашин С. А., Николаев Д. П. *(редактор томов)*, Тюнькин К. И.

Вступительная статья: А. А. Карпов

Составление и комментарии: А. А. Карпов и М. Н. Виролайнен

Том первый

Николай Васильевич Гоголь в его переписке

«Гоголь выражается совершенно в своих письмах… Какое наслаждение для мыслящих читателей проследить, рассмотреть в подробности духовную жизнь великого писателя и высоконравственного человека!»
С. Т. Аксаков. Несколько слов о биографии Гоголя

Современникам Гоголя, в том числе и людям, близко знавшим его, личность писателя часто представлялась таинственной и необъяснимой. Такое впечатление возникало из-за сложности и противоречивости его характера, из-за свойственной Гоголю с ранних лет скрытности, в силу которой его внутренняя жизнь, мотивы поступков, истоки настроений во многом оставались неясны для окружающих. Необычной была и гоголевская литературная судьба: широкий резонанс, который имели первые произведения, затем мно-

голетнее молчание, прерванное во второй половине 1840-х годов появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями» – книги, поразившей читателей несходством с прежним творчеством художника, долгий подвижнический труд над «Мертвыми душами». Ощущение загадочности гоголевской личности предельно обострили драматические события последних дней жизни писателя. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года он сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ», с нетерпением ожидавшегося читателями и, по слухам, уже завершенного, а спустя несколько дней, после изнурительного поста, умирает... Смерть Гоголя потрясла русское общество своей неожиданностью и безвременностью. Великий художник, значение которого выходило за чисто литературные границы, ушел, «не досказав своего слова» (Аксаков С. Т. Собр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., 1986, с. 379), унеся с собой тайну творческих поисков, духовных мук. Не случайно мотив неразгаданности, непостижимости Гоголя стал одним из ведущих в откликах на его смерть. «<...> это была натура особливая, которая по кончине сделалась еще таин-

ственнее и еще мудренее для уразумения, чем была при жизни, и которую судить простою меркою, по обыкновенным нашим понятиям, нельзя и не должно», – писал М. П. Погодин (М[1], 1852, № 5, отд. 7, с. 50). «Эта страшная смерть – историческое событие – понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна <...>» – такими словами выразил свои чувства И. С. Тургенев (Переписка И. С. Тургенева в двух томах, т. 1. М., 1986, с. 286).

В возникшей в ту пору обстановке обостренного интереса к художественному наследию и биографии Гоголя и было впервые обращено внимание на важное значение его переписки. Уже в 1853 году С. Т. Аксаков, автор замечательных воспоминаний о писателе, высказал пожелание, «чтоб люди, бывшие в близких сношениях с Гоголем, записали для памяти историю своего с ним знакомства и включили в свое простое описание всю свою с ним переписку. Тогда эти письма, будучи объяснены обстоятельствами и побудительными причинами, осветили бы многие, до сих пор неясные для иных стороны жизни Гоголя» (Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 3, с. 434).

«Гоголь сам – лучший свой биограф, и если бы были напечатаны все его письма, то не много нужно было бы прибавить к ним объяснений для уразумения истории его внутренней жизни», – отмечал один из первых исследователей жизни писателя П. А. Кулиш (Кулиш, т. 1, с. 78).

Действительно, эпистолярное наследие Гоголя представляет собой важнейший биографический источник. Не подлежит сомнению и его самостоятельный литературный интерес. Письма Гоголя и его корреспондентов раскрывают перед нами разные грани личности писателя, позволяют увидеть его в сфере искусства и в повседневных делах и заботах, в моменты творческого подъема и кризиса. Он предстает в самых разнообразных ролях и ситуациях – как журналист и педагог, как моралист и литературный критик, но прежде всего, разумеется, – как художник. В переписке запечатлены драматизм и напряженность гоголевских духовных исканий, эволюция его характера, эстетических взглядов, человеческих привязанностей. Она показывает Гоголя в общении с крупнейшими художниками той

эпохи – А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А. А. Ивановым, М. С. Щепкиным – и с безвестными людьми, чьи имена сохранились в истории нашей культуры лишь благодаря их дружеским связям с автором «Ревизора» и «Мертвых душ». Гоголевские корреспонденты несопоставимы по своей литературной одаренности. И тем не менее переписка в целом отражает высочайший уровень эпистолярной культуры второй четверти девятнадцатого века. Она многообразна по темам, интонациям, жанрам. Короткие деловые записки соседствуют в ней с обширными письмами-трактатами, шутливые зарисовки – с исповедями и инвективами. В переписке оживают идеи, проблемы, конфликты минувшей эпохи; она доносит до нас самый дух гоголевского времени.

В жизни Гоголя эпистолярное общение играло, без преувеличения, исключительную роль. Писатель любил странствовать, много лет он провел вне родины. В этих условиях непосредственные личные контакты с друзьями и знакомыми, как правило, бывали редки и непродолжительны. Письма станови-

лись основным способом поддержания дружеских связей, которые при этом, как ни удивительно, не только не ослабевали, но подчас укреплялись в разлуке.

Как видно из переписки, друзья и знакомые Гоголя с готовностью оказывали ему разнообразную практическую и материальную помощь. Сами же они нередко обращались к писателю за советом, моральной поддержкой, утешением. В этом раскрывается высокий нравственный авторитет литературы, который она приобрела в ту эпоху в глазах русского общества. Но в этом сказывается и особое доверие, уважение, испытываемое современниками непосредственно к Гоголю как художнику и человеку.

Круг лиц, с которыми Гоголь на протяжении всей своей жизни находился в переписке, чрезвычайно широк и разнообразен. Однако число его основных, постоянных корреспондентов не столь велико. Это прежде всего родные писателя, его друзья по Нежинской гимназии высших наук (главным образом А. С. Данилевский и Н. Я. Прокопович), петербургские знакомые (А. С. Пушкин, П. А. Плет-

нев, В. А. Жуковский, А. О. Смирнова) и знакомые московские (М. П. Погодин, семья Аксаковых, С. П. Шевырев и др.). Как видим, среди близких Гоголю людей естественно выделяются несколько групп его ведущих адресатов, объединенных между собой не просто местом жительства, но также отношениями дружбы или родства, сходством убеждений и симпатий.

Отношения между самими корреспондентами писателя порой были весьма непростыми. Возлагаемые ими на Гоголя надежды часто не совпадали по своему характеру. Одни и те же его поступки и произведения вызывали у них различную реакцию (это особенно отчетливо видно на примере оценки «Выбранных мест из переписки с друзьями»). Стремясь к укреплению своих контактов с Гоголем, представители разных кружков ревниво наблюдали за его отношениями с другими знакомыми. Так, П. А. Плетнев упрекал Гоголя в своих письмах за предпочтение, которое тот якобы оказывал «московским приятелям». С. П. Шевырев не без успеха пытался посеять у писателя недоверие к Н. Я. Прокоповичу как

издателю его сочинений. Семья Аксаковых видела одну из причин гоголевского духовного кризиса 1840-х годов в общении со Смирновой, Жуковским, Вьельгорскими. Разумеется, все это осложняло и без того во многом запутанные взаимоотношения писателя с его друзьями.

Переписка Гоголя отчетливо распадается на отдельные эпистолярные диалоги (они охарактеризованы в преамбулах к разделам настоящего издания). Каждый из них имеет свой внутренний сюжет, раскрывает историю особых, непохожих на другие отношений – беспокойной дружбы-вражды с М. П. Погодиным, ровного, но лишенного порывов чувства общения с С. П. Шевыревым. В каждой из переписок доминируют особые темы и настроения, возникают несхожие образы гоголевских собеседников: бескомпромиссного в чувствах и суждениях В. Г. Белинского, всецело поглощенного творческой работой, житейски наивного и беспомощного А. А. Иванова, мучающейся духовным одиночеством и неудовлетворенностью А. О. Смирновой. Постоянно меняется облик и самого Гоголя, всякий раз по-

иному открывающегося в общении со своими корреспондентами. «<...>даже в одно и то же время, – отмечал С. Т. Аксаков, – особенно до последнего своего отъезда за границу (в 1842 году. – А. К.), с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди или по крайней мере которые могли они понять. <...> Кто не слыхал самых противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие – молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи – занятым исключительно духовными предметами... Одним словом, Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя» (Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 3, с. 434). Знакомство с перепиской дает нам возможность составить такой образ, рождает живое, многостороннее представление о личности писателя.

Существенную, если не самую важную роль в судьбе Гоголя сыграли годы, проведенные им в Петербурге (1829–1836). Это было время его вступления в большую литературу, профессионального становления. К петербургскому периоду относится возникновение замыслов практически всех гоголевских художественных произведений.

Полный радужных планов и надежд девятнадцатилетний выпускник Нежинской гимназии высших наук приехал в столицу в самом конце 1828 года. Первое же столкновение с петербургской реальностью развеяло иллюзии молодого провинциала. Его ожидали бедность, безрадостный удел мелкого чиновника. Неудача встретила Гоголя и на литературном пути: юношеская стихотворная «идиллия в картинах» «Ганц Кюхельгартен», опубликованная в 1829 году под псевдонимом «В. Алов», вызвала насмешки журналистов.

Однако вскоре течение событий круто меняется. 1830–1831 годы становятся поворотным моментом в судьбе писателя. Гоголь начинает сотрудничать в журнале «Отечественные записки», а вслед за тем и в периодиче-

ских изданиях пушкинской группы – альманахе «Северные цветы» и «Литературной газете». Ему удается познакомиться с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым и, наконец, с самим А. С. Пушкиным. К этому периоду радостных перемен и относятся первые из вошедших в настоящее издание писем Гоголя (к сожалению, за исключением пушкинских, письма его корреспондентов за первую половину 1830-х годов почти неизвестны).

Переписка петербургского периода полно рисует процесс формирования дружеских связей, которые станут определяющими для Гоголя в дальнейшем. Несомненно, дружбой и расположением ведущих литераторов эпохи молодой автор был в первую очередь обязан своему таланту. Возвращаясь много лет спустя ко времени их знакомства, Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! <...> Что нас свело, неравных годами? Искусство» (29 декабря 1847 (10 января 1848) г.)[2]. Положение начинающего писателя в литературном мире значительно упрочил успех «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

ки», первая часть которых вышла в свет в сентябре 1831 года. Посетив летом следующего года Москву, Гоголь знакомится с С. Т. Аксаковым, М. С. Щепкиным, историком и писателем М. П. Погодиным, ученым-естественником, историком и фольклористом М. А. Максимовичем. Как видно из переписки, среди наиболее известных деятелей культуры тех лет Гоголь держится не как робкий, покровительствуемый младший собрат, но как равный. Исключение составляют, пожалуй, лишь отношения с В. А. Жуковским и в особенности с А. С. Пушкиным. При всей близости, здесь неизменно сохраняется дистанция между учеником и учителем-мастером, чьи суждения и оценки непререкаемо авторитетны.

Новые влиятельные знакомые оказывают Гоголю не только литературную поддержку, но и помощь в повседневных делах. Оставив в 1831 году чиновническую службу, писатель при содействии П. А. Плетнева поступает учителем истории в Патриотический институт и, кроме того, получает частные уроки в нескольких семействах. Позднее А. С. Пушкин

пытается помочь Гоголю в его хлопотах о кафедре всеобщей истории в Киевском университете.

Сфера общения молодого Гоголя не ограничивалась знаменитостями литературы. В петербургские годы он сохраняет прочные связи со своими нежинскими однокашниками, составившими в ту пору в столице особый кружок. Свободную, беззаботную и откровенную атмосферу этого кружка, где «царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием» (Анненков. Лит. восп., с. 60), прекрасно воссоздают тогдашние письма Гоголя к А. С. Данилевскому, с их особым лексиконом, добродушными дружескими насмешками, прозвищами и намеками, понятными лишь близко связанным между собой приятелям.

Письма 1830-х годов позволяют составить вполне определенное представление об общественной позиции молодого Гоголя. Мотивы неприятия царящих в России бездуховности и невежества, несправедливости и косности впервые возникают в гоголевской переписке еще в годы учения в Нежине. «Ты знаешь всех

наших существователей <...>, – обращается будущий писатель в 1827 году к своему лицейскому товарищу Г. И. Высоцкому. – Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека» (Акад., X, № 59). Характерная для юного Гоголя мечта посвятить себя борьбе с «неправосудием, величайшим в свете несчастием» высказана им тогда же в письме к своему родственнику П. П. Косяровскому (Акад., X, № 67). В переписке 1830-х годов гоголевский пафос критического отношения к современной жизни проявляется еще более полно и отчетливо. Так, например, в письмах к М. П. Погодину мы находим чрезвычайно острые суждения о правящем в России сословии («Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время» – от 1 февраля 1833 г.) и неуважительные отзывы о служителях церкви (там же), многочисленные едкие высказывания о цензуре и принципиально важное мнение о существе современной комедии («что за комедия без правды и злости!» – от 20 февраля 1833 г.), ироническую оценку деятельности государственных

учреждений («У нас единственная исправная вещь: почтамт» – от 17 апреля 1835 г.) и, наконец, беспощадную характеристику жизни России в целом: «Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи» (23 апреля (5 мая) 1839 г.). Во всех этих суждениях отчетливо слышится голос Гоголя – сатирика и обличителя, Гоголя – автора «Ревизора» и «Носа», «Невского проспекта» и первого тома «Мертвых душ».

Велика ценность гоголевской переписки как источника для характеристики его литературной позиции и эстетических взглядов в ранний период деятельности. В литературной жизни начала 1830-х годов Гоголь сразу проявляет себя союзником пушкинской группы писателей. Он с пониманием относится к творческим поискам самого великого поэта, которые холодно, а порой и враждебно воспринимались большинством читателей и критиков тех лет. Его восхищение вызывают поэма «Домик в Коломне», «в которой вся Коломна и петербургская природа живая» (А. С. Данилевскому от 2 ноября 1831 г.) и «История Пугачева», привлекшая Гоголя-художника об-

разом главного героя. В устах автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» выразительно звучал ставший впоследствии хрестоматийно известным отзыв о стихотворных сказках на фольклорной основе, созданных Пушкиным и Жуковским: «Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол, на славу векам <...>» (В. А. Жуковскому от 10 сентября 1831 г.). Глубоки гоголевские суждения о соотношении поэзии Пушкина и Языкова как целого и части – «обширного океана» и «реки», а также образное сопоставление характера творчества обоих любимых авторов (А. С. Данилевскому от 30 марта 1832 г.). В восторженных отзывах о зрелом творчестве Пушкина, в предпочтении, которое оказывалось ему перед кумиром романтиков – Байроном, в насмешках над эффектной фразеологией некоторых писем А. С. Данилевского или неестественностью драматических произведений Н. В. Кукольника проявляла себя общая идея эстетической реабилитации «обыкновенного», которая наиболее ярко воплотилась

в те годы в повести Гоголя «Старосветские помещики» и его статье «Несколько слов о Пушкине».

В отличие от более позднего периода, молодому Гоголю было свойственно активное отношение к современной литературной борьбе, стремление вмешаться в журнальные схватки. Причина тому – не только азарт молодости, но и сама литературная ситуация рубежа 1820–1830 годов с ее бурной полемикой, резкой конфронтацией. В 1834–1835 годах в переписке с М. П. Погодиным Гоголь заинтересованно и со знанием дела обсуждает задачи журнала «Московский наблюдатель». Разочаровавшись в этом издании, он становится сотрудником пушкинского «Современника», в котором выступает и как прозаик, и как драматург, и как критик.

Темперамент Гоголя-полемиста ярко раскрывается уже в одном из первых писем к А. С. Пушкину (21 августа 1831 г.). Отталкиваясь от иронического сопоставления реакционного журналиста и прозаика Ф. В. Булгарина с третьестепенным литератором А. А. Орловым, проведенного Пушкиным в памфлете

«Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», Гоголь предлагает свой план их «сравнительной характеристики». Письмо замечательно не только ясным обнаружением литературных антипатий Гоголя, но и разнообразием использованных приемов комического, в целом типичных для писателя. Здесь и пародийное переиначивание формы ученой критики, и создание маски повествователя, с серьезным видом делающего абсурдные умозаключения, и искажение подлинного масштаба явлений: «<...> литературу нашу раздирает дух партий ужасным образом <...>. Все мнения разделены на две стороны: одни на стороне Булгарина, а другие на стороне Орлова»; «Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство».

Юмор и насмешливость, брызжущие в цитированном письме, составляют одну из важнейших граней личности молодого Гоголя. В литературу начала 1830-х годов он вошел не только как выразитель национальной украинской темы, но и как яркий комический пи-

сатель. «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки», – писал в сентябре 1831 года А. С. Пушкин. – Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. <...> Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. <...> Поздравляю публику с истинно веселою книгою <...>» (Пушкин, т. XI, с. 216). По свидетельству друзей Гоголя, веселость, склонность к мистификациям составляли в 1830-е годы одну из характерных черт и его житейского поведения. «Мы привыкли в часы досуга или слушать подкрепительные для духа ваши суждения, или просто забавляться вашим остроумием и весельем», – писал Гоголю в декабре 1841 года А. А. Иванов.

Глубокое истолкование юмора как «существенного качества Гоголя, сильно развитого в его природе», оставил в своих воспоминаниях П. В. Анненков. И если в поздний, кризисный период своей жизни писатель «старался искусственно обуздать» (Анненков. Лит. восп., с. 88) это свойство характера, то на всем протяжении тридцатых годов оно постоянно об-

наруживает себя в письмах, среди которых есть подлинные юмористические шедевры.

Пожалуй, одно из основных впечатлений, возникающих при знакомстве с гоголевской перепиской первой половины 1830-х годов, – впечатление чрезвычайной широты и разнохарактерности интересов писателя – педагогических, журнальных, фольклористических, театральных. Наряду с литературой особое место занимает в его жизни в ту пору история. В какой-то момент именно с ней оказываются связаны основные планы писателя. В конце 1833 года у Гоголя возникает решение добиваться кафедры в Киевском университете. Когда же хлопоты оканчиваются неудачей, он определяется на место адъюнкт-профессора кафедры всеобщей истории Петербургского университета. Письма 1833–1834 годов полны известий об исторических замыслах Гоголя. «Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! – обращается он 11 января 1834 года к М. П. Погодину. – Да каких крупных! полных, свежих! Мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории». «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как

закипят труды мои в Киеве <...>, – пишет он 23 декабря 1833 года А. С. Пушкину, делясь с ним своими мечтами о профессорском звании. – Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет». Масштабные научные замыслы, о которых сообщал Гоголь в своих письмах, не были осуществлены. Однако само их обилие и разнообразие ярко передает тогдашнее внутреннее состояние писателя, его жадный интерес к различным областям деятельности, еще не установившееся представление о своем истинном назначении, ощущение полноты собственных сил и возможностей. «Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны», – пишет он в своем лирическом обращении к 1834 году (Акад., IX, с. 17).

Окончательное утверждение Гоголя в его художническом призвании происходит уже в конце петербургского семилетия. В 1835 году выходят в свет новые сборники писателя – «Арабески» и «Миргород», появляется знаменитая статья В. Г. Белинского «О русской пове-

сти и повестях г. Гоголя», в которой гоголевские произведения рассматриваются как высшее достижение отечественной прозы. К этому же году относятся замыслы «Мертвых душ» и «Ревизора». Процессу самоопределения Гоголя объективно способствовали не только его литературные успехи, но и неудачи на педагогическом и научном поприще – неудачи, больно задевшие его самолюбие (летом 1835 года Гоголь был уволен из Патриотического института, а затем оставил и университет).

Конец 1835 – начало 1836 года заполнены для писателя работой над «Ревизором», его печатанием и постановкой. К созданию драматического произведения Гоголь шел несколько лет. «<...> я помешался на комедии», – пишет он М. П. Погодину еще 20 февраля 1833 года, сообщая о замысле первого из своих драматических сочинений – «Владимира третьей степени». Остросатирический характер пьесы («сколько злобы! смеху! соли!..») заставил тогда Гоголя, предвидевшего цензурные затруднения, прекратить работу. Однако само желание написать комедию не оставля-

ет его. В 1833–1834 годах он создает «Женихов» – первый вариант «Женитьбы», а 7 октября 1835 года обращается к А. С. Пушкину с просьбой: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. <...> Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта». В начале декабря того же года пьеса, в основе которой лежала подсказанная Пушкиным ситуация мнимого ревизора, была, в основном, готова.

«Ревизор» не был для Гоголя рядовым замыслом. 29 декабря 1847 (10 января 1848) года, оглядываясь на свой путь, он писал о комедии В. А. Жуковскому: «Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество <...>». Разумеется, в этом высказывании необходимо различать отпечаток позднейших представлений. И тем не менее сатирическое и моралистическое за-

дания были в комедии тесно связаны.

Премьера «Ревизора» на сцене петербургского Александринского театра состоялась 19 апреля 1836 года. Однако ни сам спектакль, ни – в особенности – его восприятие публикой не оправдали надежд автора, который связывал с комедией планы нравственного обновления общества. «Все против меня» (М. С. Щепкину от 29 апреля 1836 г.) – эта формула, многократно варьируемая в гоголевских письмах, точно выразила суть его впечатлений. Вывод писателя был преувеличенным и односторонним: среди читателей и зрителей «Ревизора» было много не только его хулителей, но и защитников. Однако, может быть, именно необъективность гоголевского отзыва яснее всего передает силу охватившего художника разочарования, разительность контраста между ожидаемой и подлинной реакцией на произведение. Вместе с тем в событиях, связанных с премьерой комедии, отчетливо проявились такие черты психологического склада Гоголя, как его особая ранимость, преувеличенность реакции на внешние впечатления, резкие колебания настроения.

Постановка «Ревизора» вызвала в жизни Гоголя один из тех кризисов, которые позднее характеризовали его внутреннее развитие. Письма 1836 года показывают, насколько болезненно пережил писатель неудачу своей комедии. Если ранее ему была свойственна «жажда современной славы» (М. П. Погодину от 20 февраля 1833 г.), то теперь, под влиянием горького опыта, к нему приходит ощущение острой конфликтности своих взаимоотношений с публикой, он начинает сознавать тяготы судьбы «комического писателя», движимого стремлением к добру и истине, но в ответ встречающего «восстание» «целых сословий» (М. С. Щепкину от 29 апреля и М. П. Погодину от 10 мая 1836 г.). В гоголевском истолковании собственного пути появляются элементы мистицизма («Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание», – писал он М. П. Погодину 15 мая 1836 г.), идея избранничества. Под влиянием пережитых им потрясений писатель принимает решение уехать за границу. «<...> там, – пишет он 10 мая 1836 года М. П. Погодину, – размыкаю ту тоску, кото-

рую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне».

6 июня 1836 года Гоголь уехал. Начался период его заграничной жизни, лишь дважды (осенью 1839 – весной 1840 годов и осенью 1841 – весной 1842 годов) прерванной приездами в Россию. В сознании самого Гоголя отъезд рисуется как некий рубеж в его писательской биографии и даже – как ее подлинное начало. Непониманию публики он противопоставляет гордое ощущение собственной творческой силы. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек, – пишет он вскоре после отъезда В. А. Жуковскому. – Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст» (16 (28) июня 1836 г.).

Жизнь Гоголя за границей проходит преимущественно в кругу соотечественников. Он встречается с А. О. Смирновой и семьей Балабиных, гостит во Франкфурте у В. А. Жуков-

ского, в Ганау знакомится с Н. М. Языковым, а в Риме – с А. А. Ивановым. Его навещают М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Анненков... Однако эти встречи не утоляют потребности писателя в общении. Интенсивность его эпистолярных контактов заметно возрастает. Гоголевская переписка заграничных лет велика по объему. Из пяти томов, занимаемых письмами Гоголя в академическом издании собрания его сочинений, три составлены из писем 1836–1848 годов. К тому же периоду относится и около двух третей всех известных сегодня писем его корреспондентов. Они помогают Гоголю поддерживать связь с родиной, доносят информацию о событиях русской литературно-общественной жизни – появлении «Героя нашего времени» и литературном дебюте Ф. М. Достоевского, полемике В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг «Мертвых душ», основании нового «Современника», публичных лекциях Т. Н. Грановского и С. П. Шевырева, московских спорах славянофилов и западников.

География заграничных писем Гоголя пестра. Это Италия и Франция, Швейцария и Ав-

стрия, большие и малые города Германии, Константинополь, Ближний Восток. Значительное место в письмах, особенно в первое время после отъезда из России, занимают зарубежные впечатления. Наиболее сильным из них является Рим. Гоголь впервые посетил этот город в 1837 году. В дальнейшем Рим стал любимым местом его пребывания вне России, а «римская» тема – одной из ведущих в эпистолярном творчестве заграничных лет. Она ярко звучит в переписке с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым и в особенности с бывшей ученицей Гоголя М. П. Балабиной. В горячем, глубоком, прочном чувстве, которое писатель испытывает к Риму – «родине души», как он его называет, соединяются симпатия к его жителям, восхищение природой, великими произведениями искусства, историческим прошлым. В этом восторженном чувстве проявляют себя эстетические вкусы Гоголя, его пристрастия как художника и человека. Рим представляется Гоголю идеальным местом для творчества. В его письмах мы находим выразительные описания римской жизни, этого вечно длящегося праздника; входящие в

них крошечные рассказы и сценки живо рисуют римский быт, характеры и нравы. Наконец, эти письма замечательны своим особым эмоциональным колоритом, единством лиризма, юмора и патетики.

Римские, парижские, швейцарские письма Гоголя тем более любопытны, что в его художественной прозе, за исключением отрывка «Рим» (часть незавершенного романа «Аннунциата»), пребывание за границей практически не оставило следов. В течение всех этих лет помыслы Гоголя как писателя были связаны с родиной. «Я живу около года в чужой земле, – обращается он к М. П. Погодину из Рима, – вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня» (18 (30) марта 1837 г.). По наблюдениям самого писателя, для успешной работы ему была

необходима значительная дистанция по отношению к изображаемой сфере действительности. «<...> в самой природе моей, – писал он П. А. Плетневу, – заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде» (17 марта 1842 г.). Задача создания целостного образа России, о которой идет речь в данном письме, решалась Гоголем в поэме «Мертвые души».

В творчестве и биографии Гоголя «Мертвые души» заняли центральное место. С этим произведением для писателя оказалось связано представление о своей миссии, работе над поэмой было отдано семнадцать лет его жизни. Однако и масштабность замысла «Мертвых душ», и их роль в жизни автора определились не сразу. Картину работы Гоголя над этим великим произведением воссоздает его переписка, в которой отражены различные этапы творческой истории поэмы, начиная от самых ее истоков. (Процесс создания «Мертвых душ» подробно освещен в книге Манна.)

Согласно признанию самого Гоголя (в «Авторской исповеди»), сюжет «Мертвых душ» был подсказан ему Пушкиным. В уже цитированном выше письме к поэту от 7 октября 1835 года Гоголь и упоминает впервые о работе над своим новым сочинением: «Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». Гораздо отчетливее, чем в этом сообщении, обличительный характер будущего произведения, масштабность его замысла определяются Гоголем в заграничных письмах 1836 года; вместе с тем в них впервые ясно обозначается и то выдающееся место, какое «Мертвым душам» надлежит занять в творческой биографии их автора: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя», – и далее в

том же письме: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ <...>» (В. А. Жуковскому от 31 октября (12 ноября) 1836 г.). С течением времени замысел произведения вырисовывался все более и более грандиозным, вместе с тем все дальше и дальше отодвигались предполагаемые сроки завершения всей работы. «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ» <...>, – сообщал Гоголь С. Т. Аксакову 16 (28) декабря 1840 года. – Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы». Как видно, акцент в этом письме делается уже не на завершенной части поэмы, а на ее последующих томах, в которых автор предполагал расширить сферу изображения, коснуться иных, светлых сторон русской жизни: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к

изумлению всех <...>, раскрыться в последующих томах <...>» (А. О. Смирновой от 13 (25) июля 1845 г.).

Гоголю-художнику было свойственно преуменьшать значение своих уже созданных произведений перед лицом новых замыслов. Так было и с «Мертвыми душами». 26 июня 1842 года, посылая В. А. Жуковскому только что опубликованную первую часть поэмы, Гоголь писал о ее «малозначительности в сравнении с другими, имеющими ей последовать частями» и уподоблял ее, в отношении к намеченному продолжению, крыльцу, наскоро приделанному к еще не построенному колоссальному зданию. Однако читательская судьба вышедшего произведения живо волновала автора. В письмах к друзьям он не раз повторяет просьбу собирать и передавать ему «толки» о «Мертвых душах», «каковы бы они ни были и от кого бы ни были» (Н. Я. Прокоповичу от 29 августа (10 сентября) 1842 г.). Собранные воедино, письма гоголевских корреспондентов создают действительно полную и в высшей степени разноречивую картину восприятия поэмы ее первыми читателями и

свидетельствуют о широком литературно-общественном резонансе произведения. «Они разбудили Русь, – сообщал автору вскоре после выхода «Мертвых душ» М. С. Щепкин. – Она теперь как будто живет. Толков об них несчетное число» (24 октября 1842 г.). «Между восторгом и ожесточенной ненавистью к «Мертвым душам» середины решительно нет – обстоятельство, по моему мнению, очень приятное для тебя», – извещал Гоголя Н. Я. Прокопович (21 октября 1842 г.). В самом деле, в передаваемых откликах соседствуют хвала и брань, упреки в отсутствии патриотизма и одновременно – в национальном самолюбовании, восприятие книги как триумфа и как поражения автора. Сами друзья Гоголя были единодушны в своих мнениях о «бессмертных» «Мертвых душах». При этом, наряду с выражением одобрения, их письма содержат порой и попытки анализа поэмы, характеристики ее эстетической новизны. После появления первого тома «Мертвых душ» фигура Гоголя еще более вырастает в их глазах, им передаются и возвышенные ожидания, которые художник связывал с продолжением

своего труда.

Из переписки видно, что в ходе работы над «Мертвыми душами» эволюционировали не только общий замысел и план гоголевского сочинения. Менялось также и представление автора о той роли, которую оно – в полном своем осуществлении – было призвано сыграть в современной жизни. «<...> труд мой нужен, – писал Гоголь 4 (16) марта 1846 года В. А. Жуковскому, – приходит такое время, когда появленье моей поэмы есть существенная необходимость для теперешнего положения дел и мыслей». Создание «Мертвых душ» воспринимается им не просто как дело художника, но как исполнение долга гражданина и даже как моральный подвиг. В соответствии с новым пониманием общественного значения поэмы растет и самосознание писателя. Ощущение грандиозности поставленной задачи рождает у него отношение к собственному творчеству как к процессу, направляемому «неземной волей»: «Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подоб-

ное внушенье не приходит от человека <...>» (С. Т. Аксакову от 21 февраля (5 марта) 1841 г.). Мысль об избранничестве окрашивает отношение Гоголя к себе как к писателю.

В самоощущении позднего Гоголя гордость художника тесно переплеталась с высокой самокритичностью, особым авторским смирением. Сознание ответственности предпринятого труда рождало у него острую потребность в широком общении с читателями, стремление подключить к процессу создания «Мертвых душ» возможно большее количество людей, воспользоваться в работе их опытом, специальными знаниями, запасом жизненных наблюдений. Возникала идея своего рода «коллективного творчества». Она проявляла себя уже в обострении интереса Гоголя к оценкам его собственных произведений. Он не только просит знакомых высказывать личные впечатления, но превращает их в «агентов» по сбору чужих мнений. Одной из обязанностей друзей писателя становится также доставка статей и рецензий, посвященных его творчеству. При этом характерно изменившееся по сравнению с предшествующим

периодом отношение Гоголя к негативным оценкам его труда. Если в эпоху «Ревизора» они вызвали у писателя тяжелое потрясение, то с конца 1830-х и особенно в 1840-е годы он выказывает повышенное внимание именно к подобным, часто предвзятым и недоброжелательным, мнениям. Во всем этом проявляется и обостренная требовательность писателя к себе, и его потребность увидеть собственный труд как бы со стороны, и его вера в истинность некоего коллективного суждения. Наиболее полным выражением этих тенденций стало смутившее и обеспокоившее многих друзей и поклонников Гоголя его прямое обращение к читающей публике в предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» (1846): «Кто бы ты ни был, мой читатель, <...> я прошу тебя помочь мне. В книге, которая перед тобой, <...> многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспеш-

ности произошло множество всяких ошибок и промахов <...>: я прошу тебя, читатель, поправить меня» (Акад., VI, с. 587).

Наряду с устными и печатными откликами на его произведения Гоголь все настойчивее просит корреспондентов сообщать факты, сведения, материалы, которые помогли бы ему в творческой работе, и даже дает конкретные задания подобного рода. Так, в 1847 году он обращается к разным лицам с просьбой «составлять» для него «типы» представителей различных групп и сословий – «набрасывать» в письмах «маленькие портретики людей <...>, хотя в самых легких и беглых чертах» – и следующим образом поясняет свою идею: «<...> мне теперь очень нужен русский человек, везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в свою картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от природы» (А. С. и У. Г. Данилевским от 6 (18)

марта 1847 г.). Любопытно сопоставить сформулированные здесь принципы работы Гоголя в период создания второго тома «Мертвых душ» с «методой» автора «Явления Христа народу» А. А. Иванова – «силою сравнения и сличения этюдов подвигать вперед труд» (письмо А. А. Иванова к Гоголю от апреля 1844 г.): в основе творчества обоих великих художников лежало стремление к максимальной достоверности и правдивости создаваемых ими произведений.

Идеи и настроения, сложившиеся у Гоголя в процессе работы над «Мертвыми душами», в значительной мере определяли и его позицию в литературной жизни 1840-х годов. Это было время резких конфликтов, все более обострявшихся на протяжении десятилетия. Самое непосредственное участие принимали в них и близкие писателю люди, эстетические и политические позиции которых далеко не совпадали. В ближайшем окружении Гоголя семья Аксаковых и Н. М. Языков представляли формирующееся московское славянофильство (славянофильская концепция с течением времени становилась все более

близка и самому Гоголю, хотя его взгляды никогда не были тождественны ей). М. П. Погодин и С. П. Шевырев занимали охранительные позиции. Консервативными в своем существе были в 1840-х годах и убеждения П. А. Плетнева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, составивших кружок послепушкинского «Современника». На другом полюсе литературно-общественной жизни находился В. Г. Белинский, с которым Гоголь в начале 1840-х годов поддерживал деловые отношения. В эпоху резкой конфронтации взоры представителей всех этих кругов устремлялись на Гоголя, которого каждая из групп надеялась видеть своим союзником. Издатель «Москвитянина» М. П. Погодин, считая писателя многим обязанным себе, требовал от него ответных услуг для своего журнала. К участию в «Современнике» пытался склонить его П. А. Плетнев, также многое сделавший для Гоголя. Несколько позднее предпринимались активные усилия привлечь писателя к сотрудничеству в славянофильском «Московском сборнике». В борьбу за Гоголя вступали и представители противоположного лагеря: в 1842 году В. Г. Бе-

линский обратился к нему с письмом, в котором сделал попытку привлечь Гоголя на сторону «Отечественных записок».

Следуя принципу, сформулированному им еще в 1836 году: «Не дело поэта втираться в мирской рынок» (М. П. Погодину от 16 (28) ноября), сам Гоголь стремился в сложившейся ситуации уклониться от непосредственного участия в литературной борьбе. По сравнению с колоссальным трудом, которым он был занят, современные споры кажутся ему мелкими и преходящими. Попытки склонить его к сотрудничеству в периодических изданиях воспринимаются писателем как покушения на его личную и творческую свободу и, за редкими исключениями, встречают отказ.

Нежелание Гоголя участвовать в литературных схватках отнюдь не означало его изоляции от литературной жизни 1840-х годов. Напротив, переписка заграничного периода содержит в себе многочисленные суждения на литературные темы, сведения о широком круге чтения писателя. Мы узнаем из нее о высокой оценке Гоголем стихотворных произведений Н. М. Языкова и В. А. Жуковского,

повести В. А. Соллогуба «Тарантас», ставшей одним из замечательных явлений беллетристики тех лет, о внимании писателя к представителям «натуральной школы» и т. д. В то же время из переписки видно, что Гоголь испытывал к текущей русской литературе не просто обычный читательский интерес. Знакомство с ней было для писателя средством поддержания связей с родиной и одновременно одним из способов изучения современного состояния России. «Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей, – обращался он к Н. М. Языкову 9 (21) апреля 1846 года. – Они производят на меня всегда действие возбуждающее <...>. В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно». Этим особым характером гоголевского интереса объясняется чрезвычайно широкий диапазон его чтения. В письмах на родину писатель просит о присылке таких разных по литературному уровню, программе, значению изданий, как «Отечественные записки» и «Москвитянин», плетневский «Современник» и журнал «Маяк», знаменитый «Петер-

бургский сборник» Н. А. Некрасова и тщетно воскрешаемый в 1840-е годы «Невский альманах» третьестепенного литератора Е. В. Аладьина. Наряду с художественной литературой и критикой круг чтения Гоголя в заграничный период составляют книги по русской истории, этнографии и статистике, необходимые ему в процессе работы над вторым томом «Мертвых душ». В особую группу выделяются труды деятелей русской и западноевропейской церкви, а также другие религиозные сочинения, к которым писатель обращается в ходе своих нравственных исканий тех лет.

Начало 1840-х годов явилось для Гоголя временем подведения творческих итогов. В 1842 году вышла в свет первая часть «Мертвых душ». Тогда же было подготовлено к изданию четырехтомное собрание сочинений, куда наряду с ранее опубликованными вошли и неизвестные читателям произведения. Вместе с тем начало нового десятилетия стало для писателя периодом глубоких внутренних перемен, предопределивших характер последующего развития. В своих истоках этот поворот был связан с общими особенностями ми-

ровоззрения и психологии Гоголя. Однако его характер определяли и другие факторы: отрыв писателя от непосредственных центров русской литературно-общественной жизни, круг его ближайших знакомых, физическое нездоровье, отражавшееся и на психологическом состоянии, наконец, сам ход работы над «Мертвыми душами».

Уже в период завершения первого тома поэмы Гоголь ставит перед собой задачу показать современникам в следующей части произведения «такие явления русской натуры, которые бы подвигнули читателя вперед уже не отвращением от низкого и дурного, а пламенным сочувствием к высокому и прекрасному» (Кулиш, т. 2, с. 168). Разрешение этой задачи требовало, по мысли Гоголя, прежде всего «душевного воспитания» самого автора. Мысль о неразрывности творческой деятельности и процесса нравственного самосовершенствования художника прочно укореняется в его сознании. «С тех пор, как я оставил Россию, – пишет Гоголь А. О. Смирновой, – произошла во мне великая перемена. Душа заняла меня всего, и я увидел слишком ясно,

что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двигнуться ни одной моей способностью, ни одной стороной моего ума во благо и в пользу моим собратьям, и без этого воспитания душевного всякий труд мой будет только временно блестящ, но суетен в существе своем» (16 (28) декабря 1844 г.). Первоначально связанный с литературной работой, интерес Гоголя к религиозно-нравственным проблемам приобретает со временем самодовлеющее значение. Идея морального перевоспитания современников как бы отрывается от замысла «Мертвых душ» и на время заслоняет его. Возникшее в годы работы над поэмой ощущение исключительности своей писательской судьбы, восприятие своей миссии как пророческой утрачивает непосредственную связь с творчеством. У Гоголя рождается идея прямого, не опосредованного системой художественных образов учительства. В его жизни начинается период, точно определенный в свое время С. Т. Аксаковым как «нравственно-наставительный» (Аксаков, с. 118). Полем этой новой деятельности становится в первую очередь пере-

писка писателя.

Симптомы новых идей и настроений Гоголя его ближайшие друзья и знакомые с тревогой ощутили еще на рубеже 1830–1840-х годов. «Сильно поражали меня эти письма, – рассказывал впоследствии А. С. Данилевский, – но только гораздо позднее стало для меня более или менее ясно значение этой перемены; сначала они просто приводили в недоумение» (Шенрок, т. 4, с. 207). После 1841–1842 годов характер и содержание переписки Гоголя меняются все отчетливее. Сужаются ее темы, тускнеет прежнее богатство красок. Своеобразным рефреном становится в письмах Гоголя аскетическая идея благотворности несчастий, болезней и иных потрясений как средства нравственного воспитания человека. Все яснее раскрывается в них мистическое восприятие жизни, в каждом из событий которой писатель видит теперь таинственное проявление «неземной воли».

Меняется и сам тон эпистолярного общения Гоголя с его корреспондентами. К большинству из них он обращается уже не как равный, но как учитель, с высоты своего по-

стижения жизни определяющий их пути и цели. «Ты должен...», «следует...», «нужно...» – подобные категорические указания становятся в середине 1840-х годов обычными для Гоголя, остро ощущающего авторитетность своего слова. Образ автора, создаваемый в ту пору в письмах, как бы объединяет в себе черты художника-отшельника, беседующего с потомством, и пророка, непосредственно обращенного к современникам. Его речь становится торжественной, приподнятой, даже выспренней. В ней воскрешаются библейские формулы и интонации: «<...> теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова» (А. С. Данилевскому от 26 июля (7 августа) 1841 г.).

Мысль о необходимости прямого обращения к современникам становится для Гоголя ведущей. «При всем видимом разврате и сутолоке нашего времени, души видимо умягчены <...>, – пишет он Н. М. Языкову. – Освежительное слово ободренья теперь много, много значит. И один только лирический поэт имеет теперь законное право как попрекнуть че-

ловека, так с тем вместе воздвигнуть дух в человеке. Но это так должно быть произведено, чтобы в самом ободренье был слышен упрек и в упреке ободренье» (14 (26) декабря 1844 г.). Высказанная здесь мысль тесно связана с эпистолярным опытом самого Гоголя, в переписке которого линии «упрека» и «ободренья» выделяются в ту пору очень отчетливо.

Ясное представление о собственных пороках и недостатках Гоголь считает необходимым условием совершенствования как всего общества, так и отдельного человека. В переписке середины 1840-х годов он постоянно обращается к своим корреспондентам с просьбой открыто высказаться о его отрицательных качествах, но и сам, порой чрезвычайно резко, говорит об их слабостях и ошибках. В общении с друзьями писатель как бы пытается утвердить новую этику, ломая условность традиционных норм взаимоотношений. Обоюдный обмен близких людей упреками и замечаниями представляется ему проявлением истинной откровенности и любви. «Если ты подумаешь, что я имею какое-нибудь неудовольствие на тебя, то будешь не прав, – пи-

шет он в 1847 году М. П. Погодину, в адрес которого высказывал в ту пору, пожалуй, наибольшее количество резких и не всегда справедливых обвинений. – Ничего не питаю к тебе другого, кроме расположения самого дружеского. Но не скрою, что я желал бы любить тебя более, чем люблю теперь. А потому предуведомляю тебя вперед, что отныне я буду тебе говорить много самых жестких и оскорбительных слов и стану просить тебя, соединясь вместе со мною, вооружиться противу всего того, что мрачит твою душу <...>» (Акад., XIII, с. 217)[3].

Однако в действительности эта манера общения далеко не всегда приносила ожидаемые Гоголем результаты. Не раз, меняя свой тон обличителя на мягкий и дружелюбный, ему приходилось успокаивать своих обиженных друзей. Не раз и сам писатель с упорством отвергал замечания и упреки, о которых так настойчиво просил.

Мысль о важности для современного человека «слова ободренья» реализовалась еще полнее, чем идея «упреков». В своих обращениях к друзьям писатель пытается выступить

и как врачеватель душевных недугов, и как наставник в практических вопросах. В стремлении помочь своим корреспондентам найти их жизненное назначение Гоголь входит в область их повседневных дел и обязанностей, старается учесть их человеческие свойства. Так, К. С. Аксакову Гоголь предлагает программу филологических занятий, а его братьям – план чиновнической службы (С. Т. Аксакову от 10 (22) декабря 1844 г.). В письмах к А. О. Смирновой рисует подробную картину ее будущей деятельности в качестве жены калужского губернатора. А. М. Вьельгорской указывает на важность ее жизненного призвания, связанного, по мысли Гоголя, с узким семейным кругом. В этих письмах-советах глубокое сердцеведение часто сочетается с самым наивным прожектерством. Однако несомненно, что в каждом из них заключено искреннее желание добра. Необходимо отметить и то, что в основе подобных писем лежит присущая Гоголю идея важности всякой из человеческих должностей, возможности принести пользу на любом месте – идея, сформулированная впоследствии в «Выбранных

местах из переписки с друзьями» как одна из основополагающих для этой книги: «Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро» (Акад., VIII, с. 225).

Новые настроения Гоголя встречали разную реакцию у его корреспондентов. Пожалуй, наиболее резко не принял их С. Т. Аксаков, еще в 1844 году предостерегавший писателя: «Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... <...> Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтоб творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника» (от 17 апреля). Но в большинстве своем ближайшие знакомые Гоголя скорее содействовали укреплению его «нравственно-наставительного» направления. Так, П. А. Плетнев призывал писателя «строже определить себе, как надлежит <...> содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настроения» (27

октября 1844 г.). Сочувствие Гоголь-проповедник находил и у А. О. Смирновой, семьи Вьельгорских или у Н. М. Языкова, писавшего ему: «Советы твои бодрят меня, давая мне какую-то надежду на будущее, на лучшее, которого я так долго ожидаю, но которого ожидаю терпеливее с тех пор, как ты мне его обещаешь» (27 февраля 1844 г.). Подобное внимание к его урокам, живой и благодарный отклик на них убеждали писателя в верности нового пути. Не случайно именно в письме к А. О. Смирновой (21 марта (2 апреля) 1845 г.) появляется первое упоминание Гоголя о замысле «Выбранных мест из переписки с друзьями» – книги, наиболее полно выразившей суть нового периода его творчества. Годом позже, в письме к Н. М. Языкову, этот замысел охарактеризован писателем уже достаточно подробно: «Я как рассмотрел все, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. <...> Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе» (10 (22)

апреля 1846 г.).

Связи между литературным творчеством и письмами Гоголя очевидны. В них нередко содержатся комментарии к сочинениям писателя или дается их автоинтерпретация. Порой письма Гоголя представляют собой как бы заготовки будущих работ, в других случаях, напротив, повторяют образы, мысли, даже интонации уже известных произведений. Но совершенно особой предстает эта связь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» – книге, прямо и непосредственно выросшей из подлинных писем писателя. Разумеется, включенные в нее тексты подверглись серьезной переработке. Основная часть «Выбранных мест...» составлена из статей, лишь написанных в эпистолярной форме, но никогда не предназначавшихся для отправки адресатам. И тем не менее общий пафос, стиль, ведущие идеи этого произведения сформировались именно в переписке Гоголя 1840-х годов.

Как и в предшествующих произведениях, в основе «Выбранных мест...» – острое ощущение неблагополучия современной жизни. Од-

нако в данном случае акцент делается на конкретной программе действий по ее переустройству. Путь такого переустройства, по Гоголю, – моральное воспитание каждого отдельного человека при сохранении всех существующих в России социально-политических и религиозных институтов. Обнаруженные в «Выбранных местах...» взгляды имели не только утопический, но и реакционный характер. По словам исследователя, «идеальное «небесное государство» мыслилось Гоголем в «уже готовых формах николаевского бюрократизма» (Гиппиус Василий. Гоголь. Л., 1924, с. 181).

С выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями» (они появились в январе 1847 года) Гоголь связывал большие надежды. Он был уверен в том, что его «единственно дельная книга» (П. А. Плетневу от 18 (30) июля 1846 г.) будет иметь большой успех и сильное влияние на читателей. «Выбранные места...» должны были продемонстрировать публике итоги внутренней работы писателя, его новый облик, сложившийся за годы молчания. В этом отношении они как бы заменяли вто-

рой том «Мертвых душ», сроки завершения которого отодвигались все дальше. (В 1845 году, не удовлетворенный написанными главами, Гоголь сжег первоначальную редакцию второй части поэмы.)

Последняя книга Гоголя действительно привлекла к себе огромное внимание современников. Однако вызванная ею реакция оказалась совсем не той, на какую рассчитывал автор. Среди печатных откликов на «Выбранные места...» отчетливо преобладали негативные. Неоднозначными, но в целом также очень далекими от ожиданий оказались и впечатления читающей публики, классифицировать которые попытался в своем письме к Гоголю Н. Я. Прокопович: «Одни считают тебя ни больше ни меньше, как святым человеком, для которого так и распахнулись двери рая в будущей жизни. <...> Другие приписывают издание твоих писем расчету <...>. Третьи относят все к расстройству твоего здоровья и оплакивают в тебе потерю гениального писателя» (12 мая 1847 г.) По-разному восприняли «Выбранные места...» и сами ближайшие знакомые Гоголя. Книга была сочув-

ственно встречена А. О. Смирновой, В. А. Жуковским, семейством Вьельгорских, а П. А. Плетнев восторженно писал: «она <...> есть начало собственно русской литературы», «в том маленьком обществе, в котором <...> живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний» (1 января 1847 г.). С. П. Шевырев колебался в своей оценке произведения, его положительное мнение о «Выбранных местах...» складывалось долго и в значительной мере под влиянием обращенных к нему писем самого Гоголя. Открытыми противниками «Выбранных мест...» выступили М. П. Погодин и в особенности С. Т. и К. С. Аксаковы. Именно их упреки в адрес автора отражали настроения основной массы читателей. Гоголь обвинялся в неумеренной гордости и неискренности, измене искусству, незнании русской жизни. Это была критика не частностей исполнения, но самого замысла «Выбранных мест...», отразившихся в книге новых убеждений автора.

Наибольшее впечатление произвело на писателя знаменитое зальцбруннское письмо В. Г. Белинского (3 (15) июля 1847 г.). Великий критик выступал в нем как бы от лица всей

передовой России, связавшей с Гоголем свои надежды и теперь жестоко разочарованной и оскорбленной. Полное негодования, письмо Белинского содержало и некоторые преувеличенные или несправедливые обвинения (в искательстве, официозности), но в целом в нем последовательно и доказательно опровергались основные положения «Выбранных мест...».

Неудача книги довольно скоро стала ясна автору и вызвала его растерянность. Если вначале Гоголь еще пытается в своих ответах опровергнуть упреки оппонентов, то уже спустя несколько месяцев он приходит к признанию собственного поражения. Тем не менее писатель не отрекается от самого существа своих взглядов. Ошибку он видит лишь в преждевременности выступления и несовершенстве воплощения замысла. Отказываясь от прямого учительства, он вновь связывает представление о главном жизненном призвании с трудом художника: «<...> не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выста-

вить жизнь лицом, а не трактовать о жизни» (В. А. Жуковскому от 29 декабря 1847 (10 января 1848) г.).

В апреле 1848 года, совершив давно задуманное паломничество в Иерусалим, Гоголь возвращается в Россию. Все планы и надежды писателя в эти последние его годы вновь связываются с «Мертвыми душами». Работа над вторым томом поэмы идет неровно. В письмах Гоголя той поры сообщения об успешном продвижении труда чередуются с частыми жалобами на «медленно движущееся вдохновенье». Психологический и творческий кризис отражается и на самом характере писем. Их немало, но в большинстве своем они лаконичны, сугубо информативны («<...> твои письма так коротки и неудовлетворительны, что можно подумать, будто ты пишешь против воли», – замечает 23 марта 1851 года П. А. Плетнев).

Ощущение масштабности поставленной в «Мертвых душах» задачи теперь не столько воодушевляет писателя, сколько тревожит его. Ожидания, которые связывают с продолжением «Мертвых душ» читатели, еще более

усиливают это чувство огромной ответственности. «О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей! Ты приготовил это исповедью наших недостатков, ты и доверши», – обращался к писателю С. П. Шевырев (29 октября 1846 г.). «Чем-то вы нас подарите? Ведь от вас все ждут чудес», – вторил ему А. А. Иванов (13 (25) июня 1848 г.).

Однако, несмотря на затруднения, работа над «Мертвыми душами» шла вперед. В 1849 году Гоголь начал чтение отдельных глав второго тома. Их первыми слушателями стали А. П. Толстой, А. О. Смирнова, С. П. Шевырев, семья Аксаковых и некоторые другие знакомые. Отзывы этих немногочисленных слушателей, содержащиеся в их переписке с Гоголем, чрезвычайно ценны. Наряду с мемуарными свидетельствами они являются единственными источниками сведений о несохранившихся частях второго тома поэмы (от его текста уцелело лишь пять черновых глав). Важны они и тем, что позволяют судить о впечатлении, которое второй том «Мертвых

душ» производил на современников. «Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже <...>», – писал Гоголю после знакомства с первой главой второго тома С. Т. Аксаков (27 августа 1849 г.). «Ты меня освежил и упоил этим чтением. Бодрствуй и делай», – обращался к писателю после чтения пятой и шестой глав С. П. Шевырев (27 июля 1851 г.). Вместе с искренним восхищением в этих откликах слышится также стремление друзей поддержать писателя в его работе, их желание укрепить и собственную веру в возможности Гоголя-художника.

Как всегда, по просьбе Гоголя его слушатели должны были высказывать и свои замечания в его адрес. Они немногочисленны, но среди них есть одно, повторяющееся чаще других. Это предостережение против идеализации. Судя по переписке, такая опасность беспокоила и самого писателя. Масштабность осуществляемого замысла, его новый, сравнительно с предшествующим творчеством, характер рождали у Гоголя боязнь схематичности, особенно в изображении положительных персонажей. «Не будут живы мои образы, ес-

ли я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так, что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком», – писал он А. О. Смирновой еще 10 (22) февраля 1847 года. После неудачи «Выбранных мест...» это стремление к полнокровию создаваемых образов особенно усилилось. В письмах Гоголя последних лет ясно видно повышение интереса к положению дел в России, постоянно звучит мысль о необходимости лучше узнать характер ее народа.

По расчетам Гоголя, второй том «Мертвых душ» должен был выйти в свет весной – летом 1852 года (А. С. Данилевскому от 16 декабря 1851 г.). Одновременно с работой над поэмой писатель готовил к изданию и новое собрание своих сочинений. Однако в начале 1852 года в его судьбе произошел трагический поворот. Под впечатлением кончины Е. М. Хомяковой, сестры дорогого Гоголю Н. М. Языкова, у писателя возникла мысль о близости собственной смерти, резко усилились его аскетические настроения. Тяжелое моральное

состояние перешло в болезнь. Вместе с тем с необычайной силой обострились сомнения художника в достоинствах его последнего литературного труда. Под влиянием их писатель сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». Через десять дней – утром 21 февраля 1852 года – Николай Васильевич Гоголь скончался.

«Гоголя нет на свете, Гоголь умер... Странные слова, не производящие обыкновенного впечатления, – писал спустя несколько дней после смерти писателя С. Т. Аксаков. – Умереть Гоголю вдруг нельзя: тело его предано земле, но дух вошел в нашу жизнь, особенно в жизнь молодого поколения. Много, очень много надобно времени, чтоб память о Гоголе потеряла свежесть; забыт, кажется мне, он никогда не будет» (Аксаков. Собр. соч., т. 3, с. 379).

От составителей

Публикация писем Н. В. Гоголя началась вскоре после его смерти, что отражало глубокий интерес современников к личности и творчеству великого писателя. Уже в 1852 году в составе статьи Г. П. Данилевского «Хуторок близ Диканьки» (Московские ведомости, № 124, 14 октября) были напечатаны 4 письма Гоголя к матери. В 1853 году читатели познакомились с письмом к М. С. Щепкину (от 29 июля (10 августа) 1840 г. – Московские ведомости, № 2). В 1854 году был издан «Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением сорока его писем» П. А. Кулиша. В 1855 году в журналах «Москвитянин» (№ 19–20) и «Библиотека для чтения» (№ 5) появились подборки писем к М. П. Погодину и А. С. Данилевскому. В 1856 году П. А. Кулиш опубликовал свои «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем», а в следующем, 1857 году вышли в свет подготовленные тем же исследователем «Сочинения и письма Н. В. Гоголя», в которых эпистолярное

наследие писателя заняло уже два тома (5-й и 6-й). Итоги публикациям XIX века как бы подвело четырехтомное издание «Писем» Гоголя, вышедшее под редакцией В. И. Шенрока в 1901 году. Фонд гоголевских эпистолярных текстов пополнялся и позднее. На сегодняшний день их наиболее полным и авторитетным изданием являются X–XIV тома академического Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (Изд-во АН СССР, 1940–1952).

Параллельно с публикацией эпистолярного наследия Гоголя шло издание писем его корреспондентов[4]. Особенно активно эта работа велась в конце XIX века В. И. Шенроком. Важным событием в этой области стало и появление в 1890 году первого полного издания «Истории моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год» С. Т. Аксакова (Русский архив, 1890, № 8; научно подготовленное переиздание: М., Изд-во АН СССР, 1960). Из публикаций советского времени следует выделить подборки писем к писателю в сборнике «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования» (т. 1. М. – Л., 1936) и в 58-м томе «Литературного наследства» (М., 1952).

Всего к настоящему времени опубликовано около 1350 писем Гоголя и более 450 писем его 83 корреспондентов (нужно отметить, что изданы далеко не все выявленные в архивохранилищах письма к писателю). Однако, как правило, они издавались изолированно друг от друга. Данный двухтомник является первым изданием избранной переписки Гоголя. При отборе включенного в него материала составители руководствовались стремлением по возможности полно и разносторонне охарактеризовать личность писателя, его литературно-общественные связи, важнейшие этапы его творческой биографии. Необходимо подчеркнуть, что в сборник включены лишь переписки, имеющие двусторонний характер.

Переписка Гоголя с каждым из его корреспондентов выделена в особый раздел. Как и в других изданиях серии, письма печатаются выборочно (исключение составляют переписки с Пушкиным и Белинским, публикуемые в полном объеме). Тексты писем Гоголя печатаются по X–XIV томам академического Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, за исключением тех особо отмеченных случаев, когда по-

следующие издания вносили в него уточнения либо само письмо было обнаружено после его выхода. Письма к Гоголю Пушкина и Белинского даются по академическим изданиям их сочинений. Письма других корреспондентов, за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по автографам, хранящимся в отделах рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, а также в Центральном государственном архиве литературы и искусства.

Орфография и пунктуация текстов приближена к современным нормам, за исключением тех случаев, когда отклонения от них имеют экспрессивно-смысловой характер либо передают колорит эпохи (в их числе двоякое написание некоторых слов, собственных имен и названий: «серьезно» и «сурьезно», «январь» и «генварь», «Гастейн» и «Гаштейн», «Шереметева» и «Шереметьева» и т. п.). Как характерные индивидуальные приметы сохранены грамматические и стилистические

погрешности в письмах М. П. Балабиной и Вьельгорских. В отдельных письмах А. А. Иванова, печатающихся по его черновым тетрадям, введены редакторские конъектуры.

Слова, написанные в оригинале сокращенно, раскрываются в угловых скобках (кроме имен собственных и названий произведений Гоголя, которые всегда приводятся полностью). Также в угловые скобки заключены слова, отсутствующие в автографе, но необходимые для понимания текста. Многоточиями в угловых скобках обозначены непрочтенные или дефектные участки рукописей, слова, не принятые в печати, а в комментариях – случаи сокращения цитат.

Редакторская датировка (в письмах, посланных из-за границы, указан старый и новый стиль) и место написания письма печатаются курсивом в левом верхнем углу текста. Авторская дата сохраняется на месте, которое она занимает в оригинале. Обоснование датировки приводится лишь в тех случаях, когда она изменена по сравнению с прежними публикациями либо вводится впервые.

Каждый из разделов сборника открывает-

ся вступительной заметкой, кратко характеризующей личность гоголевского корреспондента и его взаимоотношения с писателем. Комментарий к письмам помещается непосредственно за их текстами. Он содержит сведения о месте первой публикации письма, об издании или автографе, по которому печатается текст в сборнике, а также реально-исторические пояснения. При составлении комментариев использованы разыскания предшествующих публикаторов. Встречающиеся в письмах имена исторических лиц и современников Гоголя поясняются в аннотированием указателе, завершающем второй том.

В комментарии при ссылках на письма Гоголя или других лиц указывается источник только тех писем, которые не вошли в наше издание.

Тексты писем, вступительные заметки и комментарии подготовили: М. Н. Виролайнен – переписка с В. Г. Белинским (подготовка текста, комментарий), Вьельгорскими, А. С. Данилевским, В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, Н. Я. Прокоповичем, А. О. Смирновой;

А. А. Карпов – переписка с Аксаковыми, М.

П. Балабиной, В. Г. Белинским (преамбула), А. А. Ивановым, М. П. Погодиным, А. С. Пушкиным, С. П. Шевыревым, М. С. Щепкиным, Н. М. Языковым.

Список условных сокращений, принятых в комментариях

Акад. – Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. I–XIV. М., Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Аксаков – Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., Изд-во АН СССР, 1960.

Анненков – Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., Современник, 1984.

Анненков. Лит. восп. – Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., Художественная литература, 1983.

Барсуков – Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1–22. СПб., 1888–1910.

Бел. – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1–13. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БдЧ – «Библиотека для чтения».

БЗ – «Библиографические записки».

ВЕ – «Вестник Европы».

Временник – Временник Пушкинского До-

ма. 1913–1914. СПб., 1913–1914.

Герцен – Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 1–30. М., Изд-во АН СССР, 1954–1966.

Гиппиус – Гиппиус Василий. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. – Учен. зап. Пермского ун-та. Вып. 2. Пермь, 1931.

Г. в восп. – Гоголь в воспоминаниях современников. Гослитиздат, 1952.

Г. в письмах – Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. Составил Василий Гиппиус. М., 1931.

Г. Мат. и иссл. – Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1–2. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1936.

ГБЛ – Государственная библиотека им. В. И. Ленина. Рукописный отдел.

ГПБ – Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукописный отдел.

ЖМНП – «Журнал министерства народного просвещения».

Зуммер – Зуммер В. М. Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю. – Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Общественные науки, т. 4–5. Баку, 1925.

Иванов – Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858 гг. Издал Михаил Боткин. СПб., 1880.

Известия ин-та Безбородко – Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Нежин, 1895.

Известия ОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

Кулиш – Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем, т. 1–2. СПб., 1856.

Лит. прибавл. к РИн – Литературные прибавления к «Русскому инвалиду».

ЛН – «Литературное наследство», т. 58. М., Изд-во АН СССР, 1952.

Макогоненко – Макогоненко Г. П. Гоголь и Пушкин. Л., Советский писатель, 1985.

Манн – Манн Ю. В. В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель – критика – читатель. М., Книга, 1984.

Машковцев – Машковцев Н. Г. Гоголь в кругу русских художников. Очерки. М., 1955.

М – «Москвитянин».

МН – «Московский наблюдатель».

МТ – «Московский телеграф».

ОЗ – «Отечественные записки».

Опыт – Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением сорока его писем. Сочинение Николая М. <П. А. Кулиша>. СПб., 1854.

Отчет... за... – Отчет императорской Публичной библиотеки за 1892 г., за 1893 г. СПб., 1895–1896.

Петрунина, Фридлендер – Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Пушкин и Гоголь в 1831–1836 годах. – Пушкин. Исследования и материалы, т. 6. Л., Наука, 1969.

ПЗ – «Полярная звезда на 1855 год», кн. I. Лондон, 1858.

Письма – Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. Т. 1–4. СПб., 1901.

Пушкин – Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 1–17. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1937–1959.

РА – «Русский архив».

РВ – «Русский вестник».

РЖ – «Русская жизнь».

РЛ – «Русская литература».

РМ – «Русская мысль».

РС – «Русская старина».

РСл – «Русское слово».

С – «Современник».

Сочинения – Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 10-е, т. 1–5. М., 1889, т. 6. М. – СПб., 1896, т. 7. СПб., 1896.

Сочинения и письма – Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша, т. 1–7. СПб., 1857.

СПч – «Северная пчела».

Т – «Телескоп».

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства.

Шенрок – Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. 1–4. М., 1892–1897.

Щепкин – Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество, т. 1–2. М., Искусство, 1984.

Языков – Языков Н. М. Сочинения. Л., Художественная литература, 1982.

Гоголь и А. С. Данилевский

Вступительная статья

Александр Семенович Данилевский (1809–1888) был из числа тех немногих, кого Гоголь относил к «ближайшим людям своим» (Анненков. Лит. восп., с. 51), называл его «родственником», «двоюродным братом», «кузеном», именуя его таким образом даже в письмах к собственным сестрам. Кровного родства между ними не было, но детство и молодость они провели вместе, и эта общая, совместная биография определила характер их отношений.

Поместья родителей Гоголя и Данилевского находились по соседству друг от друга. Мальчики познакомились, когда им было по семь лет. В 1818 году оба они поступили в полтавское поветовое училище, а в 1822 году Данилевский поступил в Нежинскую гимназию высших наук, куда за год до того был принят Гоголь. В Нежине определились их первые духовные интересы: втроем с Н. Я. Прокоповичем выписывали журналы и альманахи, втроем читали «Евгения Онегина». Данилев-

ский участвовал и в театральных постановках, которыми очень увлекались нежинские лицеисты. Не одаренный, в отличие от Гоголя, актерскими талантами, но зато обладая красивой наружностью, Данилевский играл ведущие женские роли – Антигону в «Эдипе в Афинах», Моину в «Фингале» Озерова, Софью в «Недоросле» (где Гоголь отличился в роли Простаковой).

В 1828 году, закончив гимназию. Гоголь и Данилевский приняли решение ехать в Петербург: Данилевский – в Школу гвардейских подпрапорщиков, Гоголь – на государственную службу. Им вместе довелось испытать и первый восторг по прибытии в столицу, и первые трудности столичной жизни. Они поселились сначала на Гороховой улице в доме Галыбина, затем на Екатерининском канале в доме Трута. Когда Данилевский поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков, все праздники и воскресенья он проводил у Гоголя. В это время в Петербурге собралась целая колония нежинцев: Н. Я. и В. Я. Прокоповичи, И. Г. Пащенко, А. Н. Мокрицкий, Н. В. Кукольник, К. М. Базили, Е. П. Гребенка. Они состави-

ли тесный кружок, члены которого пробовали себя на литературном и артистическом поприще. На их сходках «царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, <...> человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны» (Анненков. Лит. восп., с. 60–61). В марте – апреле 1831 года Данилевский, покинув Школу гвардейских подпрапорщиков, жил на квартире у Гоголя, а затем отправился к матери в деревню и оттуда – на Кавказ для лечения. Гоголь, остававшийся в Петербурге, выполнял самые разнообразные комиссии Данилевского – от высылки книг и нот до хлопот о его одежде.

В 1833 году Данилевский вернулся в Петербург и поступил на службу в канцелярию министерства внутренних дел. Гоголь, уже вошедший к этому времени в литературный мир, пытался приобщить к нему своего прия-

теля: познакомил его с Одоевским, с Плетневым, а позже – с Шевыревым и Погодиным.

В 1835 году Гоголь и Данилевский ездили домой, а возвращаясь в Петербург вместе с Пащенко, разыграли сюжет «Ревизора»: Пащенко выехал вперед и распространил слух, что следом за ним инкогнито едет ревизор.

В середине 1836 года Гоголь и Данилевский отправились за границу. Денежные трудности, сопряженные с поездкой, по-братски делились пополам. Гоголь был склонен к стремительным передвижениям и частым переездам, Данилевский предпочитал дольше и обстоятельнее задерживаться на одном месте. То встречаясь, то вновь расставаясь, они путешествовали по Германии, Швейцарии, Франции, Италии. Италия стала для них общей страстью, оба они называли ее своей второй родиной. Однако в конце концов Данилевский надолго обосновался в Париже, а Гоголь зимой 1837 года уехал в Рим.

В 1838 году Данилевский получил известие о смерти матери, которую очень любил. Желая поддержать его, Гоголь приехал в Париж. Лишившись матери, Данилевский оказался

перед сложными житейскими проблемами, требовавшими его возвращения на родину. Гоголь проводил его до Брюсселя. Там они расстались. С этого времени их жизненные пути начали расходиться.

В дальнейшей биографии Данилевского не было ничего примечательного. Перебравшись в Россию, он долго искал места и лишь в конце 1843 года устроился инспектором второго Благородного пансиона при Киевской первой гимназии. В 1844 году он женился на Ульяне Григорьевне Похвисневой. Брак был счастливым. До глубокой старости Данилевский сохранил ясность ума и интерес к вопросам культуры. Он не разделял поздние религиозные настроения Гоголя и тем не менее всегда оставался для него близким и дорогим человеком. В 1840-х годах они встречались очень редко, но переписка не прекращалась, и Гоголь выступал в ней гораздо более исправным корреспондентом, чем Данилевский, который подолгу не отвечал, даже совсем пропадал из виду, так что Гоголю приходилось постоянно наводить справки о нем. Чем мог, Гоголь старался помочь Данилевско-

му и в его практических делах: когда Данилевский был занят поисками службы, Гоголь рекомендовал своего друга всем влиятельным лицам, к которым имел возможность обратиться по этому поводу.

Быть может, тот факт, что в 1840-х годах Данилевский оказался в стороне от литературных и жизненных дел Гоголя, благотворно сказался на их отношениях. Для Гоголя, вступившего в полосу душевного кризиса, Данилевский оставался только товарищем детства и юности, свидетелем его первых успехов, спутником той поры, когда оба они жили окрыленные надеждами и первые невзгоды только-только успели коснуться их. Правда, новые настроения Гоголя отчасти сказались на его отношениях с Данилевским. В 1841 году в его письмах начали звучать проповеднические ноты, а уже через два года отчужденно-поучительный тон Гоголя настолько задел Данилевского, что это едва не привело к размолвке. Но письма Данилевского 1844 года свидетельствуют о том, что сердечная связь не была нарушена. Это была лишь тень конфликта, несравнимая с тем, что довелось пе-

режить многим, находившимся в 1840-е годы в ближайшем окружении Гоголя. Даже в 1848 году, уже после катастрофы, разразившейся в связи с выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями», встречи с Данилевским еще возвращали Гоголя к прежнему веселому расположению духа. Гоголь жил тогда на Украине и подолгу гостил у Данилевских в Киеве и Дубровном. И если сестра Гоголя, Е. В. Быкова, 9 мая 1848 года записала в дневнике: «Как он переменился! <...> ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам» (Шенрок, т. 4, с. 703), то Данилевский, обладавший превосходной памятью, утверждает: «В 1848 г. я еще решительно ничего не замечал, никакой перемены» (там же, с. 719). Перелом в душевном состоянии Гоголя он отметил лишь в 1849 году.

В письмах к Данилевскому Гоголь, не связанный с ним ничем, кроме доверительных, дружеских отношений, предстает как бы в домашнем своем виде, не скованный соображениями о необходимости того или другого типа поведения.

Дружба Гоголя с Данилевским оставила

след не только в их эпистолярном наследии. В. И. Шенрок, собиравший материалы для биографии Гоголя, записал со слов Данилевского ценнейшие воспоминания, точность которых подтверждается многими документальными фактами.

Переписка Гоголя с Данилевским охватывает период с 1825 по 1851 год. Сохранилось 68 писем Гоголя к Данилевскому и 13 писем Данилевского к Гоголю. В настоящем издании публикуется 18 писем Гоголя и 6 писем Данилевского.

Гоголь – Данилевскому А. С., 2 мая 1831

2 *мая 1831 г. Петербург* [5]

Мая 2-го.

Вышла моя правда: Арендт совершенно забыл и об тебе и о твоей болезни, несмотря на то, что я был у него на другой день после твоего отъезда; и когда я сказал несколько слов о болезни твоей, он советовал написать к тебе, чтобы ехал скорее на Кавказ и следовал в точности предписаниям тамошнего доктора, который даст тебе все предуготовительные к тому средства. Пилюли же не почитает он нуж-

ным теперь по благорастворенности малороссийского воздуха и потому что – время для них прошло. Я до сих пор сижу еще на прежней квартире, и никакая новость и внезапность не потревожила мирной и однообразной моей жизни. Красненькой[6] эта вещь принадлежит тоже к внезапным явлениям) не показывался со дня отъезда твоего. С друзьями твоими, Беранжером[7] и Близнецовым, случились несчастия. Первый долго скитался без приюта и уголка, изгнанный из ученого сообщества Смирдина неумолимым хозяином дома, вздумавшим переделывать его квартиру. Три дня и три ночи не было вести о Беранжере; наконец на четвертый день увидели на окошках дому графини Ланской (где были звери) Хозревов на белых лошадях, а бедный Близнецов сошел с ума. Вот что наши знания! На первый день мая по обыкновению шел снег, и даже твой Сом[8] не показывался на улицу. Моя книга[9] вряд ли выйдет летом: наборщик пьет запоем. Ну, как-то принимают воина[10], приехавшего отдыхать на лаврах?

Не забудь <рассказать> подробно и обстоятельно, не выключая ни Савы Кириловича[11

], ни Катерины Григорьевны, ни Марины Федоровны[12]! Я думаю, нами обеими не слишком довольны дома – мною, что вместо министра сделался учителем[13], тобою, что из фельдмаршалов попал в юнкера. Счастливец, ты пьешь теперь весну! а у нас что-то сырое, что-то холодное, вроде осени. Упомяни хоть слова два про нее в письме своем, чтобы я мог хоть за морями подышать ею. Прощай. Адресуй Николаю Васильевичу Гоголю в Институт Патриотич<еского> общества благород<ных> девиц – потому что я еще не знаю, где будет моя квартира.

Мое нелицемерное почтение Василию Ивановичу и Татьяне Ивановне[14].

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Данилевскому А. С., 2 ноября 1831

2 *ноября 1831 г. Петербург* [15]

Ноября 2.

Вот оно как! Пятый месяц на Кавказе, и, может быть, еще бы столько прошло до первой вести, если бы *Купидо сердца не подогна-*

ло лозою[16]. Впустили молодца на Кавказ. *Ой лыхо закаблукам, достанетця й передам*[17]. Знаешь ли, сколько раз ты в письме своем просил меня не забыть прислать нот? Шесть раз: два раза сначала, два в середине да два при конце. Ге, ге, ге! Дело далеко зашло. Я, однако ж, тот же час решился исполнить твою просьбу; для этого довольно бы тебе раз упомянуть. Я обращался к здешним артисткам указать мне лучшее; но Сильфида Урусова и Ласточка[18] Розетти требовали непременно, что<бы> я поименовал Великодушную Смертную[19], для которой так хлопочу. Как мне поименовать, когда я сам не знаю, кто она. Я сказал только, что средоточие любви моей согревает ледовитый Кавказ и бросает на меня лучи косвеннее северного солнца. Как бы то ни было, только забрал все, что было лучшего в здешних магазинах. Французские кадрили в большой моде здесь Титова. Однако ж я посылаю тебе и Россини, несколько французск<их> романсов, русских новых песен, всего на тридцать рублей. Да что за вздор такой ты мелешь, что пришлешь мне деньги после. К чему это? Я тебе и без того должен 65

рублей. Я думал было и на остальные набрать тебе всякой всячины, конфект и прочего, да раздумал: может быть, тебе что нужнее будет. Ты, пожалуйста, без церемоний напиши, что прислать тебе на остальные 35 рублей, и я немедленно вышлю. В здешних магазинах получено из-за моря столько дамских вещей и прочего, и все совершенное объедение.

Порося мое давно уже вышло в свет[20]. Один экземпляр послал я к тебе в Сорочинцы. Теперь, я думаю, Василий Иванович, совокупно с любезным зятем, Егором Львовичем[21], его почитывают. Однако ж, на всякий случай, посылаю тебе еще один. Оно успело уже заслужить славы дань, кривые толки, шум и брань[22]. В Сорочинцы я тебе отправил и Ольдекопов словарь[23]. Письмо твое я получил сегодня, то есть 2 ноября (писанное тобою 18 октября). Пишу ответ сегодня же, а отправляю завтра. Кажется, исправно, зато день хлопот. Это я для того тебе упоминаю, чтобы ты умел быть благодарным и писал в следующем письме подробнее. Напиши также, в который день ты получишь письмо мое вместе с сею посылкою. Мне любопытно знать, сколько

времени оно будет по почте идти к тебе.

Ну, известное лицо города Пятигорска! более сказать мне тебе нечего. Ведь ты же сам меня торопишь скорее отправлять письмо.

Все лето я прожил в Павловске[24] и Царском Селе. Стало быть, не был свидетелем времен терроризма, бывших в столице[25]. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я[26]. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка»[27], в которой вся Коломна и петербургская природа живая. – Кроме того, сказки русские народные – не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая[28]. – У Жуковского тоже русские народные сказки, одне экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами[29], и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт и уже чисто русской. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут[30].

Ты мне обещал описать прибытие свое

домой, прием, встречи и про<чее> и про<чее>, да мне кажется, что у тебя на квартире и пера чиненого нет, только один карандаш в часы досуга подмахивает злодейское деревцо.

Прощай, будь здоров и любим, да не забывай твоего неизменного

Гоголя.

Хотя по назначенному тобою адресу можно было меня отыскать, но все лучше и скорее будет, когда ты станешь употреблять следующий: 2 Адм<иралтейской> части в Офицерскую улицу, в доме Брунста.

Гоголь – Данилевскому А. С., 1 января 1832

1 *января 1832 г. Петербург* [31]

1 генварь, 1832.

Подлинно много чудного в письме твоем. Я сам бы желал на время принять твой образ с твоими страстишками и взглянуть на других таким же взором, исполненным сарказма, каким глядишь ты на мышей, выбегающих на середину твоей комнаты. Право, должно быть, что-то не в шутку чрезвычайное засело

Кавказской области в город Пятигорск. Поэтическая часть твоего письма удивительно хороша, но прозаическая довольно в плохом положении. Кто это кавказское солнце? Почему оно именно один только Кавказ освещает, а весь мир оставляет в тени и каким образом ваша милость сделалась фокусом зажигательного стекла, то есть привлекла на себя все лучи его? За такую точность ты меня назовешь бухгалтерскою книгою, или иным чем, но сам посуди, если не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно общи и потому бесхарактерны.

Посылаю тебе все, что только можно было скоро достать: «Северные цветы»[32] и «Альциону»[33]. «Невский альманах»[34] еще не вышел, да вряд ли в нем будет что-нибудь путнее. Галстухов черных не носят; вместо них употребляют синие. Я бы тебе охотно выслал его, но сижу теперь болен и не выхожу никуда. Духи же, я думаю, сам ты знаешь, принадлежат к жидкостям, а жидкости на почте не принимают. – После постараюсь тебе и другое прислать, теперь же не хочу задержи-

вать письма. Притом же «Северные цветы», может быть, на первый раз приведут в забвение неисправность в прочем. Тут ты найдешь Языкова так прелестным, как еще никогда[35], Пушкина чудную пиесу «Моцарт и Салиери», в которой, кроме яркого поэтического создания, такое высокое драматическое искусство, картинного «Делибаша», и все, что ни есть его[36], – чудесно. Жуковского «Змия»[37]. Сюда затесалась и Красненького «Полночь»[38].

Письма твоего, писанного из Лубен, в котором ты описываешь приезд свой домой, я, к величайшему сожалению, не получал. Проклятые почты! Незадолго до твоего я получил письмо от Василия Ивановича, в котором он извещает меня, что книги, посланные мною тебе в Семереньки, он получил. Не излишним почитаю при сем привесть его слова, сказанные в похвалу моей книги: «Если выдадите еще книгу в свет «Вечера», то пришлите для любопытства и прочету. Мы весьма знаем, что присланная вами книга есть сочинение ваше. Это есть прекраснейшее дело, благороднейшее занятие. Я читал и рекомендацию ей

от Булгарина в «Северной пчеле»[39] очень с хорошей стороны и к поощрению сочинителя. Это видеть приятно». Видишь, какой я хвастун. Читал ли ты новые баллады Жуковского? Что за прелесть! Они вышли в двух частях вместе со старыми и стоят очень недорого: десять рублей. Что тебе сказать о наших[40]? Они все, слава богу, здоровы, прозябают попрежнему, навещают каждую среду и воскресение меня, старика, и, к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента. Рассмешила меня до крайности твоя приписка или обещание в конце письма: «Может быть, в следующую почту напишу к тебе еще, а может быть, нет». К чему такая благородная скромность и сомнение? К чему это «может быть, нет»? Как будто удивительная твоя аккуратность мало известна. Писал бы к тебе еще, но болезнь моя мешает. Отлагаю до удобнейшего времени, а теперь прощай. Обнимаю тебя и вместе завидую, что ты находишься в стране здравия.

Твой *Гоголь*.

Да вот молодец. Пишу 1-го генваря и забыл

поздравить с новым годом. Желаю тебе провесть его в седьмом небе блаженства.

Гоголь – Данилевскому А. С., 30 марта 1832

30 *марта 1832 г. Петербург* [41]

СПб., марта 30.

Я нимало не удивляюсь, что мое письмо шло так долго. Должно вспомнить, что теперь время самое неблагоприятное для почт: разлитие рек, негодность дороги и проч. Я получил твои деньги и не могу скоро выполнить твоего порученья. Если бы ты наперед хорошенько размыслил все, то, верно, не прислал бы мне теперь денег, верно бы, вспомнил, что за две недели до праздника ни один портной не возьмется шить, и потому в наказанье ты будешь ждать три сверхсрочных недели своего сюртука, потому что спустя только неделю после праздника примутся шить его тебе. На требование же мое поставить тебе сукно по 25 р. аршин Руч дал мне один обыкновенный свой ответ, что он низких сортов сукон не держит.

Теперь несколько слов о твоем письме. С

какой ты стати начал говорить о шутках, которыми будто бы было наполнено мое письмо? и что ты нашел бессмысленного в том, что я писал к тебе, что ты говоришь только о поэтической стороне, не упоминая о прозаической? Ты не понимаешь, что значит поэтическая сторона? Поэтическая сторона: «Она несравненная, единственная» и проч. Прозаическая: «Она Анна Андреевна такая-то». Поэтическая: «Она принадлежит мне, ее душа моя». Прозаическая: «Нет ли каких препятствий в том, чтоб она принадлежала мне не только душою, но и телом и всем, одним словом – ensemble[42]?» Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака; но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека. Но вторая часть или, лучше сказать, самая книга – потому что первая только предуведомление к ней – спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с боль-

шим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведенье великого мастера, с которого уже он никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидать прежде. Любовь до брака – стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь – это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшой рекою, впадающею в этот океан. Видишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня бы был славный романист, если бы я стал писать романы! Впрочем, это самое я докажу тебе примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали,

что помещали его во всякую хрию[43]. Ты, я думаю, уже прочел «Ивана Федоровича Шпоньку»[44]. Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина.

Хочешь ли ты знать, что делается у нас, в этом водяном городе? Приехал Возвышенный с паном Пла́тоном и Пеликаном[45]. Вся эта труппа пробудет здесь до мая, а может быть, и долее. Возвышенный все тот же, трагедии его все те же. «Тасс»[46] его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры всё необыкновенно благородны, полны самоотверженья, и вдобавок выведен на сцену мальчишка 13 лет, поэт и влюбленный в Тасса по уши[47]. А сравненьями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: «губы посинели у него цветом моря» или: «тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи» ничто против нынешних. Пушкина все по-прежнему не любит. «Борис Годунов» ему не нравится.

Красненькой кланяется тебе. Он еще не ак-

тер, но скоро будет им, и может быть, тотчас после Святой.

У вас, я думаю, уже весна давно. Напиши, с которого времени начинается у вас весна. Я давно уже не нюхал этого кушанья.

Гоголь – Данилевскому А. С., 20 декабря 1832

20 *декабря 1832 г. Петербург* [48]

Декабрь 20-е. СПб.

Наконец я получил-таки от тебя письмо. Я уж думал, что ты дал тягу в Одессу или в иное место. Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье. Я бы не нашел себе в прошедшем наслажденья, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия, и потому-то к спасенью моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть. Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете – любовь. А я… но мы, кажется, своротили на байронизм. Да зачем ты на-

падаешь на Пушкина, что он прикидывался? Мне кажется, что Байрон скорее. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением. Это что-то подозрительно. Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она не выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однако ж, нельзя выразить, и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад. А в доказательство моей справедливости прочти те самые строки, которые ты велишь мне целовать. Жаль, что ты не едешь <в> Пбрг, но если ты находишь выгоду в Одессе, то, нечего делать, не забывай только писать. Жаль, нам дома так мало удалось пожить вместе[49]. Мне все кажется, что я тебя почти что не видел. – Скажу тебе, что Красненькой заходился не на шутку жениться на какой-то актрисе[50] с необыкновенным, говорит, талантом, лучше Брянского – я ее, впрочем, не видел – и доказывает очень сильно, что ему необходимо жениться. Впрочем, мне кажется, что этот задор успеет простыть покаместь.

Здесь и драгун[51]. Такой молодец с себя! с страшными бакенбардами и очками, но необыкновенный флегма. Братец, чтобы показать ему все любопытное в городе, повел его на другой день в бордель; только он во все время, когда тот потел за ширмами, прехладнокровно читал книгу и вышел не прикоснувшись ни к чему, не сделав даже значительной мины брату, как будто из кондитерской. – Получивши от тебя письмо, я получил такую о тебе живую идею, что когда встретил близ Синего мосту шедшего подпрапорщика, то подумал про себя: «Нужно зайти к нему». Его, верно, не пустили за невзноску денег в казну за чичеры <?>, и поворотил к школе и уже спросил солдата на часах, был ли сегодня великий князь[52] и не ожидают ли его, да после опомнился и пошел домой. Прощай! Где бы ни был ты, желаю, чтоб тебя посетил необыкновенный труд и прилежание такое, с каким ты готовился к школе[53], живя у Иохима[54]. Это лекарство от всего, а чтобы положить этому хорошее начало, пиши, как можно чаще, письма ко мне. Это средство очень действительно.

Гоголь – Данилевскому А. С., 8 февраля 1833

8 *февраля 1833 г. Петербург* [55]

1833, февраля 8. СПб.

Я получил оба письма твои почти в одно время и изумился страшным переворотам в нашей стороне. Кто бы мог подумать, чтобы Софья Васильевна[56] и Марья Алексеевна[57] выйдут в одно время замуж, что мыши съедят живописный потолок Юрьева и что Голтвянские балки[58] узрят на берегах своих черниговского форшмейстера[59]? Насмешил ты меня Лангом! Чтоб его черт побрал с его клистирами! Один Гаврюшка в барышах. Однако я от всей души рад, что Марья Алексеевна вышла замуж. Жаль только, что ты не написал за кого. Что ты, ленишься или скучаешь? Мне уже кажется, что время то, когда мы были вместе в Василевке и в Толстом[60], черт знает как отдалилось, как будто ему минуло лет пять. Оно получило уже для меня прелесть воспоминания. Я вывез, однако ж, из дому всю роскошь лени и ничего решительно не делаю. Ум в странном бездействии. Мысли

так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое, и не один я, все, кажется, дремлет. Литература не двигается: пара только вздорных альманахов вышло – «Альциона» и «Комета Белы»[61]. Но в них, может быть, чайная ложка меду, и прочее все деготь. Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Там он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащут его в деревню. Один только князь Одоевский деятельнее. На днях печатает он фантастические сцены под заглавием «Пестрые сказки». Рекомендую: очень будет затейливое издание[62], потому что производится под моим присмотром. Читаешь ли ты «Илиаду»?[63] Бедный Гнедич уже не существует[64]. Как мухи мрут люди и поэты. Один Хвостов и Шишков на зло и посмеяние векам остаются тверды и переживают всех <.....> свои исподние платья[65]. Поздравляю тебя с новым земляком – приобретением нашей родине. Это Фадей Бенедиктович Булгарин. Вообрази себе, уже печатает малороссийский роман под названием «Мазепа»[66]. Пришлось и нам терпеть! В альманахе «Комета

Белы» был помещен его отрывок под титулом «Поход Палеевой вольницы», где лица говорят даже малороссийским языком. Попотчевать ли тебя чем-нибудь из Языкова, чтобы закусить <.....> конфектами. Но я похвастал, а ничего и не вспомню. Несколько строчек, однако ж, приведу[67]:

.....
Как вино, вольнолюбива,
Как вино, она игрива
И блистательно светла.
Как вино, ее люблю я,
Прославляемое мной.
Умиляя и волнуя
Душу полную тоской,
Всю тоску она отгонит
И меня на ложе склонит
Беззаботной головой.
Сладки песни распевает
О былых веселых днях,
И стихи мои читает,
И блестит в моих очах.

Красненькой еще не женился, да что-то и не столько уже поговаривает об этом. Бает, что ему не хотелось бы, но непременно должно. Не знаю, вряд ли тебе будет хорошо ехать

теперь. Дорога, говорят, мерзкая. Снег то вдруг нападает, то вдруг исчезнет, но как бы то ни было, я очень рад, что ты это вздумал, и хоть ты и пострадаешь в дороге, зато я выиграю, тебя прежде увидевши. А Тиссон как? Поедет ли он с тобою или нет? Мне Аким надоел (он состоит в должности поверенного Афанасия и ходит здесь по делам его), беспрестанно просит позволения идти к Тушинскому, который употребляет фабиевские[68] увертки к промедлению уплаты 15 руб. с копейками. Это ты можешь передать Афанасию. Ты меня ужасно как ошеломил известием, что у вас снег тает и пахнет весною. Что это такое весна? Я ее не знаю, я ее не помню, я позабыл совершенно, видел ли ее когда-нибудь. Это, должно быть, что-то такое девственное, неизъяснимо упоительное, Элизиум. Счастливец! повторил я несколько раз, когда прочел твое письмо. Чего бы я не дал, чтобы встретить, обнять, поглотить в себя весну. Весну! как странно для меня звучит это имя. Я его точно так же повторяю, как Кукольник (NB который находится опять здесь и успел уже написать 7 трагедий[69]) повторял – пом-

нишь – Поза, Поза, Поза[70]. Кстати о Возвышенном: он нестерпимо скучен сделался. Тогда было соберет около себя толпу и толкует, или о Моцарте и интеграле, или движет эту толпу за собою испанскими звуками гитары. Теперь совсем не то. Не терпит людности и выберет такое время прийти, когда я один, и тогда или душит трагедией[71], или говорит так странно, так вяло, так непонятно, что я решительно не могу понять, какой он секты, и не могу заметить никакого направления в нем. Зато приятель твой, Василий Игнатьевич[72], о котором ты заботишься, ни на волос не переменился с того времени, как ты его оставил. Та же ловкость, та же охота забегать по дороге к приятелям за две версты в сторону. Кажется, он чем далее делается легче на подъем, так что в глубокой старости улетит, я думаю, с телом в поднебесные страны, отчизну поэтов.

Прощай! Пиши, если успеешь. Видишь ли ты Федора Акимовича[73] с новобрачною супругою или хотя мужественного Гриця? Да что Баранов, в наших еще краях? Поклонись ему от меня, если увидишь, и скажи ему, что

я именем политики прошу его написать строк несколько. Что в Василь<ев>ке делается? Я думаю, Катерина Ивановна[74] напела тебе уши песнями про бойрендом, духтером[75]. Свидетельствуй мое почтение папеньке и маменьке и поцелуй за меня ручки сестриц, Анны и Варвары Семеновны.

Гоголь – Данилевскому А. С., 1(13) мая 1838

1 *(13) мая 1838 г. Рим* [76]

Рим. 2588-й год от основания города. 13 мая.

Я получил письмо твое вчера. Мне было бы гораздо приятнее вместо него увидеть высунувшееся из-за дверей, улыбающееся лицо твое. Но судьбам вышним так угодно! Будь так, как должно быть лучше! Мысль твоя об жене и свекловичном сахаре меня поразила. Если это намерение обдуманное, крепкое, то оно, конечно, хорошо, потому что всякое твердое намерение хорошо и достигает непременно своей цели. Существо, встретившее тебя на лестнице, заставило меня задуматься, но, с другой стороны, я никак не мог

согласить встречу твою с гризеткою и приглашение ее на ночь того же самого дня. Пусть это случалось прежде, но ты говоришь в письме ясно: сегодня я славно проведу ночь. Ну что, если она тебе подсунет <.....>! Тогда и женитьба и сахарный завод очень постраждут. Но в сторону такие смутные мысли. О тебе в моем сердце живет какое-то пророческое, счастливое предвестие. Я пишу к тебе письмо, сидя в гроте на вилле у кн. З. Волконской, и в эту минуту грянул прекрасный проливной, летний, роскошный дождь, на жизнь и на радость розам и всему пестреющему около меня прозябению. Освежительный холод проник в мои члены, утомленные утреннею, немного душною прогулкою. Белая шляпа уже давно носится на голове моей... но блуза еще не надевалась. Прошлое воскресение ей хотелось очень немного порисоваться на моих широких и вместе тщедушных плечах по случаю предположенной было поездки в Тиволи; но эта поездка не состоялась. Завтра же если погода (а она теперь уже постоянно прекрасна), то блуза в дело, ибо питтория[77] вся отправляется, и ослы уже издали весело помавают

мне. Да, я слышу носом, как все это заманчиво для тебя, и, признаюсь, я бы много дал за то, чтобы иметь тебя выезжающего об руку мою на осле. Но будь так, как угодно высшим судьбам! Отправляюсь помолиться за тебя в одну из этих темных, дышащих свежестью и молитвою церквей. – Вообрази, что я получил недавно (месяц назад, нет, три недели) письмо от Прокоповича с деньгами, которые я просил у него в Женеве. Письмо это отправилось в Женеву, там пролежало месяца два и оттуда, каким образом, уж право, не могу дознаться, отправлено было к Валентини, у Валентини оно пролежало тоже месяца два, пока наконец известили об этом меня. Прокопович пишет, что он моей библиотеки не продал, потому что никто не хотел купить, но что он занял для меня деньги – 1500 руб., и просит их возвратить ему по возможности скорее. Я этих денег не отсылал, ожидая тебя и думая, не понадобятся ли они тебе, но наконец, видя, что не едешь, и рассудивши, что Прокопович наш, может быть, и в самом деле стеснен немного, я отправил их к нему чрез Валентини. Это мне стало все около 20 скуд[78] почти

издержки. Золотареву[79] я заплатил не двести франков, как ты писал, а только 150, потому что он сказал мне, что вы как-то с ним сделались в остальной сумме. Ты, пожалуйста, теперь не затрудняйся высылать мне твоего долга, потому что тебе деньги, я знаю, будут нужны слишком на путь твой, но в конце года или даже в начале будущего, когда ты приедешь в Петербург. Прокоповича письмо очень, очень коротенькое. Говорит, что он совершенно сжился с своею незаметной и скромною жизнью, что педагогические холодные заботы[80] ему даже как-то нравятся, что даже ему скучно, когда придут праздники, и что он теперь постигнул все значение слов: «Привычка свыше нам дана, замена счастия она»[81]. Говорит, что на вопрос твой о том, что делает круг наш, или его[82], может отвечать только, что он сок умной молодежи[83], и больше ничего, что новостей совершенно нет никаких, кроме того, что обломался какой-то мост, начали ходить паровозы в Царское Село и Кукольник пьет мертвую. Отчего произошло последнее, я никак не могу догадаться. Я с своей стороны могу допустить

только разве то, что Брюлов известный пьяница, а Кукольник, вероятно, желая тверже упрочить свой союз с ним[84], ему начал подтягивать, и так как он натуры несколько слабой, то, может быть, и чересчур перелил.

На днях я получил письмо от Смирнова. Он упоминает, между прочим, об обеде, данном Крылову по случаю его пятидесятилетней литературной жизни[85]. Я думаю, уже тебе известно, что государь, узнавши об этом обеде, прислал на тарелку Крылову Станислава 2-й степени. Но замечательно то, что Греч и Булгарин отказались быть на этом обеде, но, когда узнали, что государь интересуется сам, прислали тотчас просить себе билетов. Но Одоевский, один из директоров, им отказал, тогда они нагло пришли сами, говоря, что им приказано быть на обеде, но билетов больше не было, и они не могли быть и не были. Смирнов прибавляет, что Булгарин, на возвратном пути в Дерпт, был кем-то, вероятно, из дерптск<их> студентов так исправно поколочен, что недели две пролежал в постели. Этого наслаждения я не понимаю. По мне, поколотить Булгарина так же гадко, как и поце-

ловать его. По случаю этого празднества были написаны и читаны на нем же стихи – одни, Бенедиктова, незамечательны, другие, кн. Вяземского, очень милы и очень умны и остроумны[86]. Они были петы. Музыку написал Вельегурский[87]. Вот они:

На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе все мы сватья!
И не к чему таить вину –
Все заодно, все без изъятья
Мы влюблены в его жену[88].
Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов.
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

И этот брак был не бесплодный.
Сам Феб его благословил!
Потомству наш поэт народный
Свое потомство укрепил.
Изба его детьми богата
Под сенью брачного венца:
И дети – славные ребята!
И дети все умны в отца.
Длись судьбами всеблагими,

Нить любезных нам годов.
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов.

Мудрец игривый и глубокий,
Простосердечное дитя,
И дочкам он давал уроки[89],
И батюшек учил шутя.
Искусством ловкого обмана
Где и кольнет из-под пера:
Там Петр кивает на Ивана,
Иван кивает на Петра[90].
Длись счастливою судьбою,
Нить счастливых нам годов.
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов.

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут:
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.
Здравствуй с детками своими etc.

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль,
И баснями себя прославил,

И слава эта – наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят, –
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.
Здравствуй с милою женою и проч.

Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы золотой
Он дожил до алмазной свадьбы
С своей столетнею женой!
Он так беспечно, так досужно
Прошел со славой долгий путь,
Что до ста лет не будет нужно
Ему прилечь и отдохнуть.
Здравствуй с детками и проч.

Ну, что еще тебе сказать? Только и хочется говорить о небе да о Риме. Золотарев пробыл только полторы недели в Риме и, осмотревши, как папа моет ноги[91] и благословляет народ, отправился в Неаполь осмотреть наскоро все, что можно осмотреть. В две недели он хотел совершить все это и возвратиться в Рим, досмотреть все прочее, что ускользнуло от его неутомимых глаз; но вот уже больше двух недель, а его все еще нет. – Что делают

русские питторы, ты знаешь сам. К 12 и 2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом на Монте-Пинчио, потом к Bon goût, потом опять к Лепре[92], потом на биллиард. Зимою заводились было русские чаи и карты, но, к счастию, то и другое прекратилось. Здесь чай – что-то страшное, что-то похожее на привидение, приходящее пугать нас. И притом мне было грустно это подобие вечеров, потому что оно напоминало наши вечера, и других людей, и другие разговоры. Иногда бывает дико и странно, когда очнешься и вглядишься, кто тебя окружает. Художники наши, особливо приезжающие вновь, что-то такое... Какое несносное теперь у нас воспитание! Дерзать и судить обо всем, это сделалось девизом всех средственно воспитанных у нас теперь людей, а таких людей теперь множество. А судить и рядить о литературе считается чем-то необходимым и патентом на образованного человека. Ты можешь судить, каковы суждения литературных людей, окончивших свое воспитание в Академии художеств и слушавших Плаксина. – Дурнов мне надоел страшным образом тем, что ругает совершенно на-

повал все, что ни находится в Риме. Но довольно взглянуть на небо и на Рим, чтобы позабыть все это. Но что ты пишешь мне мало о Париже? Хоть напиши по крайней мере, какие халаты теперь выставлены в Passage Colbert или в Орлеанской галерее и здоров ли тот dindeaux[93] в 400 <нрзб.>, который некогда нас совершенно оболванил в Rue Vivièn ne. Если, на случай, кто из русских или не-русских будет ехать в Рим, перешли мне вместе с «Тадеушем» Мицкевича[94] коробочку с pilules stomachiques[95], которую возьми в аптеке Кольберта, и вместе с нею возьми еще другую, под названием pilules indiennes[96]. Но целую и обнимаю тебя и ожидаю с нетерпением твоего письма.

Гоголь – Данилевскому А. С., 4(16) мая 1838

4 *(16) мая 1838 г. Рим* [97]

16 мая. Рим.

Не знаю, застанет ли это письмо тебя в Париже. Не знаю даже, застало ли тебя то письмо, которое писал я к тебе третьего дня. Причина же, почему я пишу к тебе вслед за пер-

вым второе, есть представившаяся оказия. Письмо тебе это вручит мой добрый приятель m-r Pavé, который, верно, тебе понравится. Он знает даже и по-русски (ибо воспитывался вместе с сыном кн. Зинаиды Волконской), но говорить на нашем языке затрудняется, и потому, чтобы лучше расшевелить его и заставить говорить, говори по-французски или на нашем втором родном языке, т. е. по-итальянски. Вторая причина, почему я пишу к тебе, но ты, может быть, уже ее знаешь. Я был поражен, когда услышал. Нужно знать, что не успел я бросить в окошко письмо, которое долженствовало лететь к тебе в Париж, как из другого окошка, в Poste restante[98], подали мне другое из дому. Печальная новость была заключена в первых строках. Итак, добрая мать твоя не существует! Эта потеря была для меня слишком родственной. Ты для меня роднее родного брата, это ты знаешь сам. В твоей матери я потерял близкое к тебе, стало быть, и близкое ко мне, и я вспомнил при этом <Се>мереньки, Толстое, и наши поездки, и те счастливые только три <верс>ты расстояния между наши<ми> бывалыми жилищами, и

мне стало грустно. С каждым годом, с каждым месяцем разрываются более и более узы, связывающие меня с нашим холодным отечеством. Но тебе теперь нужно, между прочим, подумать обо всех делах. Маменька мне не пишет никаких подробностей. Она только что услышала об этом и в ту же минуту бросилась меня известить. Видно, что и она была этим сильно потревожена, потому что письмо ее написано наскоро. Татьяна Ивановна умерла в Семереньках, и вот почему нет никаких подробностей об этом у нас. Итак, тебе нужно поскорее осведомиться о ее распоряжениях последних и обо всем сколько для себя, столько и для других, потому что ты – старший брат. Но ты сам поймешь все. Напиши мне все, что и каким образом ты теперь предпримешь, словом, твои намерения. – Прощай, будь здоров, и да уладится все к лучшему для тебя. Кстати, вещи, о которых я просил тебя, ты теперь можешь прислать через Pavé, он мне их привезет в самый Рим. Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но соб-

ственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ними вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком, который я должен беспрестан<но> стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать. – Есть парики нового изобретения, которые приходятся на всякую голову, деланные не с железными пружинами, а с гумиластическими.

Данилевский А. С – Гоголю, 4(16) июня 1838

4 *(16) июня 1838 г. Париж* [99]

Хочу написать к тебе несколько слов, мой милый Гоголь, и едва могу собраться с духом, взяться за перо.

На третий, кажется, день после получения письма твоего пришло ко мне письмо... первое письмо с тех пор, как мы расстались с ним, – от брата Вани, с известием о смерти маменьки моей! о смерти маменьки моей!

О, милый друг! Ты не можешь знать, сколько отчаяния, сколько безнадежной грусти в этом слове! Сердце, одно сердце в мире,

любившее меня со всеми моими недостатками, так чисто, так глубоко, – не существует больше! Не стану и не могу описывать тоски, отчаяния, в которое повергла меня эта невозвратимая потеря... Я плачу... В тот самый день, когда получил братнино письмо (я получил его вечером), утром я писал к тебе, не зная моего несчастия, когда оно было уже в Париже, когда оно стояло уже у меня за спиною. Я писал к тебе беспечный, хотя порою мучился каким-то безотчетным беспокойством. Посылаю тебе клочок из этого письма, которое хотел было отослать на другой день, но уничтожил.

Брат мой пишет несколько слов только. Кончина маменьки последовала 26-го марта.

Он едет в Малороссию с Пащенком. Я на днях тоже еду в Петербург или, лучше, в Гамбург, ибо денег у меня так мало остается, что едва ли станет до Гамбурга. Там буду дожидаться, покамест получу деньги. Я писал об этом Николаю Прокоповичу. Надеюсь, что он не откажет: ты можешь представить себе, каково будет мое пребывание в Гамбурге.

Милый Николай! Ты знаешь, что с потерей

маменьки потеряны для меня средства на беззаботную жизнь. Я должен трудиться и трудами добывать нужное. Напиши, ради бога, несколько или хоть одно письмо к кому-нибудь из твоих приятелей, могущих сделать для меня что-нибудь, т. е. доставить мне какое-нибудь место. Сделай это, как хочешь: я полагаюсь на тебя.

Теперь, приехавши в Петербург, я останусь там только несколько дней; уеду в Малороссию обнять хоть могилу существа, любившего меня и любимого мною столько! Впрочем, если ты напишешь ко мне сейчас по получении этого письма, письмо твое может найти меня еще в Петербурге. Если найду возможность увидеть твоих сестер, пойду к ним[100]: ты, помнится, просил меня об этом. Из Петербурга буду писать к тебе.

Прощай, мой милый друг! не забывай меня! Я люблю тебя всею душою и больше, нежели когда-либо, чувствую необходимость твоей дружбы.

Гоголь – Данилевскому А. С., 18(30) июня 1838

18 *(30) июня 1838 г. Рим* [101]

Рим. 30 июня.

Я получил твое письмо от 4 июня. Да, я знаю силу твоей потери. У меня самого, если бы я имел более надежды на жизнь, у меня самого это печальное событие омрачило бы много, много светлых воспоминаний. Я почти таким же образом получил об этом известие, как и ты. В тот самый день, как я тебе написал письмо, которое ты получил, в тот самый день уже лежало на почте это известие. Маменька, вслед за письмом своим ко мне, отправила на другой день другое, содержавшее эту весть. Она только что ее услышала и также никак еще не успела узнать подробностей. Я к тебе отправил об этом письмо с одним моим знакомым, который ехал в Париж и, без сомнения, туда прибыл уже после твоего отъезда. Вижу, что ты должен теперь действовать, идти решительною и твердою походкою по дороге жизни. Может быть, это тот страшный перелом, который высшие силы почли для тебя нужным, и эти исполненные сильной горести слезы были для оживления

твоей души. Во всяком случае, твой старый, верный, неразлучный с тобою от времен первой молодости друг, с которым, может быть, ты не увидишься более, заклинает тебя так думать и поступать согласно с этой мыслью. Эти слова мои должны быть для тебя священны и иметь силу завещания. По крайней мере знай, что если придется мне расстаться с этим миром, где так много довелось вкусить прекрасных, божественных минут, и более половины с тобою вместе, то это будут последние мои слова к тебе.

В эту минуту я более, нежели когда-либо, жалел о том, что не имею никаких связей в Петербурге, которые могли бы быть совершенно полезны. Даю тебе письма к тем, которые были полезны мне в другом отношении, менее существенном. Если они любят меня и если им сколько-нибудь дорога память о мне, они, верно, для тебя сделают, что могут. Я написал к Жуковскому, Вяземскому и Одоевскому[102]. С. Плетневым ты сам будешь знать, <как> объясниться. Еще отнеси это письмо к Балабиной. Мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с этим домом. Пользы прозаической

ты не извлечешь там никакой, но ты найдешь ту простоту, ту непринужденность, ту прелесть и приятность во всем... Я много провел там светлых минут; мне бы хотелось, чтобы и ты наследовал их также. Отнеси маленькую эту записочку[103] моим сестрам в институт, а также и одной из классных дам, mlle Мелентьевой, которая введет тебя к ним. Тебе довольно сказать только, что ты брат мне. Не советую тебе хватать первую должность представившуюся; рассмотри прежде внимательно свои силы и попробуй еще, попытай себя в других занятиях. Может быть, настало время проснуться в тебе способностям, о которых ты прежде думал мало. Но во всяком случае, руководи высшая сила тобою! Она, верно, знает лучше нас и на этот раз, верно, укажет тебе определительнее путь. Только, пожалуйста, не вздумай еще испытать себя на педагогическом поприще: это, право, не идет тебе к лицу. Я много себе повредил во всем, вступивши на него.

Напиши мне верно и обстоятельно о приеме, который тебе сделает родина, о чувствах, которые пробудятся в тебе при виде Петер-

бурга, и обо всем том, что нам еще дорого с тобою. Что касается до меня – здоровье мое плохо. Мне бы нужно было оставить Рим месяца три тому назад. Дорога мне необходима: она одна развлекала и доставляла пользу моему бренному организму. На одном месте мне не следовало бы оставаться так долго. Но Рим, наш чудесный Рим, рай, в котором, я думаю, и ты живешь мысленно в лучшие минуты твоих мыслей, этот Рим увлек и околдовал меня. Не могу, да и только, из него вырваться. Другая причина есть существенная невозможность. Как бы мне хотелось, чтобы меня какой-нибудь <дух> пронес через подлую Германию, Швейцарию, горы, степи и потом, через три-четыре месяца, возвратил опять в Рим! Доныне вспоминаю мое возвращение в Рим. Как оно было прекрасно, как чудесна была Италия после Сенплона, как прекрасен был италианский город Domo d’Ossola!

Прощай, мой милый, мой добрый! Целую тебя бессчетные количества; шлю о тебе нескончаемые молитвы. Не забывай меня. Как мне теперь прекрасно представляется пребывание наше в Женеве! Как умела судьба

располагать наше путешествие, доставляя нам многие прекрасные минуты даже в те времена и в тех местах, где мы вовсе об них не думали! Теперь еду в Неаполь; там пробуду два месяца, т. е. до последних чисел августа, после чего возвращаюсь в Рим. Итак, до этого времени ты адресуй письма в Неаполь (poste restante), по истечении же этого времени в poste restante в Рим.

Я узнал, что Жуковский уехал уже за границу, и потому не посылаю к тебе письма. Может быть, мне удастся увидеться с ним лично, и я поговорю с ним, а до того времени ты напиши ко мне, что, по твоему мнению, ты считаешь для себя лучшим, чтобы я знал, как действовать.

Прощай, мой ближайший мне! Не забывай меня; пиши ко мне.

Данилевский А. С. – Гоголю, 15(27) августа 1838

15 *(27) августа 1838 г. Париж* [104]

27 августа. Париж.

Меня разбудили, чтобы подать письмо твое. Мне стоило труда распечатать его поря-

дочно: так дрожала рука от долгого и беспрестанного ожидания.

Я почти готов думать, что это продолжение сна. Ты в Париже! возможно ли?! Нет, это слишком много! Я в целую жизнь не в состоянии буду расплатиться с тобой. Чувствую радость – физически чувствую, без всяких метафор, – текущую по всем жилам. А я бы писал к тебе сегодня, писал бы непременно, хотя бы не получил письма твоего, и даже адресовал его в Неаполь. Я с тем лег вчера спать.

Ты сомневаешься, застанешь ли меня в Париже, а я сомневаюсь, уеду ли я когда-нибудь из Парижа.

Ты, может быть, получил мое второе письмо. Из Петербурга ни слова ни от кого, а писал ко всем – раз восемь, может быть. Чтобы показать всю великость моей потери, судьба вооружилась против меня несказанно с той роковой минуты, когда я узнал об ней.

Думаю, что письмо мое застанет тебя в Неаполе; даже хочу советовать, чтобы ты и не подумал ехать в Париж. Но это притворство выше сил моих. При одной мысли видеть тебя жизнь моя обновляется! Признаюсь, напи-

сав к тебе это: «приезжай в Париж», я хотел было зачеркнуть его, но оставил, не знаю почему, – может быть, не находя в нем смыслу.

Если бы в самом деле случилось, чтобы ты приехал, как я приму тебя? Чувствую, буду смешон и жалок.

Ты проводишь меня, может быть, до Лондона, а из Лондона теперь есть пароход прямо в Петербург, а в Лондон едут за 28 франков. Ты, помнится, хотел ехать в Лондон еще прошедший год[105]. Услышишь «Don Giovanni», «Отелло», «Гугенотов»[106]; увидишь Фанни Эльслер; ты, верно, не видал ничего грациознее в мире! Увидишь баядерок, на днях приехавших из Индии!

Как! ты воображаешь себе, что мы более уже не увидимся! Нет, это невозможно. Италия с некоторого времени сделалась моей обетованной землей! Жизнь для меня потеряла бы последнюю прелесть, если бы я не имел надежды сказать тебе: «Здравствуй в Италии!»

Прощай! Если ты не переменил эту богом или, может быть, покойницей матерью моей вдохновенную в тебя идею ехать в Париж, не

забывай меня.

На помощь из Петербурга я надеюсь тем не менее еще, что, по причине открытых заговоров в Польше, письма мои были перехвачены и не дошли по адресу.

Ты сделаешь сегодняшний день памятным в моей жизни. Целую тебя.

Данилевский.

Гоголь – Данилевскому А. С., 26 июля (7 августа) 1841

26 *июля (7 августа) 1841 г. Рим* [107]

Рим. Via Felice. 1841. Авг. 7.

Письмо твое попалось наконец в мои руки вчера, ровно три месяца после написания; где оно странствовало, подобно многим другим письмам, изредка получаемым мною из России, – это известно богу. Как ни приятно было мне получить его, но я читал его болезненно. В его лениво влекущихся строках присутствуют хандра и скука. Ты все еще не схватил в руки кормила своей жизни, все еще носится она бесцельно и праздно, ибо о другом грезит дремлющий кормчий: не глядит он внимательными и ясными глазами на пловущие

мимо и вокруг его берега, острова и земли, а все стремит усталый бессмысленный взор на то, что мерещится в туманной дали, хотя давно уже потерял веру в обманчивую даль. Оглянись вокруг себя и протри глаза: все лучшее, что ни есть, – все вокруг тебя, как оно находится везде вокруг человека и как один мудрый узнает это, и часто слишком поздно. Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках может быть выше всякой должностной и ничтожно-видной жизни, со всеми удобствами, блестящими комфортами и проч. и проч., даже жизни, невозмущенно-праздно протекшей в пресмыканьях по великолепным парижским кафе. Неужели до сих пор ни разу не пришло тебе в ум, что у тебя целая область в управлении, что здесь, имея одну только крупицу, ничтожную крупицу ума и сколько-нибудь занявшись, можно произвесть много для себя – внешнего и еще более для себя – внутреннего, и неужели до сих пор не страшат тебя детски повторяемые мысли насчет мелузги, ничтожности занятий, невозможности приспособить, применить, завести что-нибудь хоро-

шее и проч. и проч. – все, что повторяется беспрестанно людьми, кидающимися с жаром за хозяйство, за улучшения и перемены и притом плохо видящими, в чем дело. Но слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова. Оставь на время все, все, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один только год, своею деревней. Не заводи, не усовершенствуй, даже не поддерживай, а войди во все, следуй за мужиками, за приказчиком, за работами, за плутнями, за ходом дел, хотя бы для того только, чтобы увидеть и узнать, что все в неисправимом беспорядке. Один год – и этот год будет вечно памятен в твоей жизни. Клянусь, с него начнется заря твоего счастья. Итак, безропотно и беспрекословно исполни сию мою просьбу! Не для себя одного, ты сделаешь для меня великую, великую пользу. Не старайся узнать, в чем заключена именно эта польза; тебе не узнать ее, но, когда придет время, возблагодаришь ты провидение, дав-

шее тебе возможность оказать мне услугу, ибо первое благо в жизни есть возможность оказать услугу, и это первая услуга, которую я требую от тебя, не ради чего-либо; ты сам знаешь, что я ничего не сделал для тебя, но ради любви моей к тебе, которая много, много может сделать. О, верь словам моим! Властью высшею облеченно отныне мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но <не> изменит мое слово. Прощай! Шлю тебе братский поцелуй мой и молю бога, <да> снидет вместе с ним на тебя хотя часть то<й> свежести, которою объемлется ныне душа моя, <востор>жествовавшая над болезнями хворого моего тела. Ничего не пишу к тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил к себе в глубину души моей. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен. И как путешественник, который уложил уже все свои вещи в чемодан и усталый, но покойный ожидает толь-

ко подъезда кареты, понесущей его в далекий верный желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутренною удаленною от мира жизнью, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти укрепленный и мыслью, и духом. Недели две, а может и менее того, я остаюсь в Риме. Заеду на Рейн, в Дюссельдорф к Жуковскому. В. Москву надеюсь быть к зиме. Во всяком случае, в ответ на письмо это напиши хоть два слова, чтобы я узнал, что оно тобой получено. Адресуй на имя Погодина, в Москву в университет.

Гоголь – Данилевскому А. С., 9 мая 1842

9 *мая 1842 г. Москва* [108]

Из письма твоего[109] (я получил его сегодня, 9 мая, в день моих именин, и мне казалось, как будто я увидел тебя самого), – из письма твоего вижу, что ты не получил двух моих писем[110]: одного, отправленного того же дня по получении твоего, и другого – месяцем после. Я адресовал их обоих в Белгород на имя сестры, так, как ты сам назначил, сказавши, что останешься в нем долго.

Но нечего пенять на то, что мы не увидались с тобой и в сей раз! Так, видно, нужно! По крайней мере, я рад и спокоен, получивши твое письмо; в нем слышится ясное спокойствие души. Слава богу! труднейшее в мире приобретено, прочее все будет в твоей власти. И потому дождемся полного свидания, которое торжественно готовит нам будущее.

Ответа не жду на это письмо в Москве, потому что через полторы недели от сего числа еду. Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим. Вот все, что могу сказать тебе.

Посылаю тебе отрывок под названием «Рим», который я нарочно тиснул в числе 10 экз. отдельно[111]. Как он тебе покажется и в чем его грехи, обо всем этом напиши. Ты знаешь сам, что я всегда уважал твои замечания и что они мне нужны.

Письма адресуй в Рим на имя банкира барона Валентини (Piazza Apostoli nel suo proprio palazzo). Если не получишь ответа, не слушайся и пиши вслед за тем другое. Все пиши, что ни делается с тобою, потому что все

это для меня интересно. Я напишу потом вдруг. Если же тебе захочется получить ответ еще до сентября месяца (европейского), то адресуй в Гастейн, что в Тироле, откуда в сентябре я выеду в Рим.

Через неделю после этого письма ты получишь отпечатанные «Мертвые души»[112], преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего существования[113]. Но довольно.

Крепись и стой твердо: прекрасного много впереди! Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании отделится сила в твою душу! Иначе не сильна дружба и вера, обитающая в твоей душе!

Прощай, обнимаю тебя. Будь здоров. Вместе с письмом сим несется к тебе благословенье и сила.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Данилевскому А. С., 11(23) октября 1842

11 *(23) октября 1842 г. Рим* [114]

Рим. Октября 23/11.

Наконец я дождался от тебя письма. Две недели, как живу уже в Риме, всякий день наведываюсь на почту и только вчера получил первое письмо из России. Это письмо было от тебя. Благодарю тебя за него. Благодарю также за твой отзыв о моей поэме[115]. Он был мне очень приятен, хотя в нем слишком много благосклонности, точно как будто бы ты боялся тронуть какую-нибудь чувствительную струну. Еще прежде позволительно было щадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать все мои слабые стороны; этого я требую больше всего от друзей моих.

Но в сторону все это, и поговорим прежде всего о тебе. Твое уединение и тоска от него меня очень опечалили. Натурально – самое лучшее, что можно сделать, бежать от них обоих.

Но куда бежать? Ты хочешь в Петербург, хочешь сделаться чиновником: не есть ли это только одна временная отвага, рожденная

скукой и бесплодием нынешней твоей жизни?

Тебя Петербург манит прошедшими воспоминаниями. Но разве ты не чувствуешь, что чрез это самое он станет теперь еще печальнее в глазах твоих? Прежний круг довольно рассеялся; остальные отделились друг от друга и уже предались скучному уединению. Новый нынешний петербургский люд слишком отзывается эгоизмом, пустым стремлением. Тебе холодно, черство покажется в Петербурге. После пятилетнего своего скитания по миру и невольно чрез то приобретенной независимой жизни тебе будет труднее привыкнуть к Петербургу, чем к другому месту. Притом ядовитый климат его – не будет ли он теперь чувствительней для тебя, чем прежде, когда ты и в Малороссии болеешь? Я думал обо всем этом, и мне приходило на мысль, не лучше ли тебе будет в Москве, чем в Петербурге? Там более теплоты и в климате и в людях. Там живут большею частью такие друзья мои, которые примут тебя радушно и с открытыми объятиями. Там меньше расчетов и денежных вычислений. Посредством Шевырева

можно будет как-нибудь доставить тебе место при генерал-губернаторе Голицыне. Подумай обо всем этом и уведоми меня скорее, чтобы я мог тебя вовремя снабдить надлежащими письмами, к кому следует.

Если ж ты решился служить в Петербурге и думаешь, что в силах начать серьезную службу, то совет мой – обратиться к Норову; он же был прежде твоим начальником. Теперь он обер-прокурор в Сенате. Из всех служб, по моему мнению, нет службы, которая могла бы быть более полезна и более интересна сама по себе, как служба в Сенате. Теперь же, как нарочно, все обер-прокуроры хорошие люди. К Норову я напишу письмо, в котором изъясню, как и почему следует тебе оказать всякую помощь. Я с ним виделся теперь в Гастейне. Итак, подумай обо всем этом и уведоми меня.

Но ради бога, будь светлей душой. В минуты грустные припоминай себе всегда, что я живу еще на свете, что бог бережет жизнь мою, стало быть, она, верно, нужна друзьям души и сердца моего, и потому гони прочь уныние и не думай никогда, чтобы без руля и

ветрила неслася жизнь твоя. Все, что ни дается нам, дается в благо: и самые бесплодные роздыхи в нашей жизни, может быть, уже суть семена плодородного в будущем.

Уведоми меня сколько-нибудь о толках, которые тебе случится слышать о «Мертвых душах», как бы они пусты и незначительны ни были, с означением, из каких уст истекли они. Ты не можешь вообразить себе, как все это полезно мне и нужно и как для меня важны все мнения, начиная от самых необразованных до самых образованных.

Прощай, будь здоров и не замедли ответом.

Твой *Г*.

Адрес мой: Via Felice, № 126, 3 piano.

Данилевский А. С. – Гоголю, ноябрь 1842

Ноябрь 1842 г. Миргород (?) [116]

Недели две тому назад я получил письмо твое[117]. Оно, как почти все письма твои, освежило и отвело мне душу. Как я благода-

рен тебе за твое участие и сколько оно мне, если бы ты знал, драгоценно и нужно!

Я совершенно согласен с тобой во всем, что говоришь ты насчет Петербурга. Все взвесил и обдумал со всей досужностью, свойственной моей деревенской жизни! Ради бога, найди средства избавить меня от Петербурга! Посели меня в Москве, и я ни за что не буду так благодарен тебе. Но дело в том, где и как служить в Москве? При Голицыне, говоришь ты: прекрасно! и мне совершенно по душе; но ты забываешь, мой добрый Николай, что служить при Голицыне значит служить без жалованья, чего я теперь никак не в силах. Три-четыре года такой службы в Москве сведут меня глаз на глаз с нищетою. Да, это истина, и такая, которая не требует никакого пояснения. В Петербурге, мне кажется, легче найти службу с жалованьем, да и жить в Петербурге дешевле. Где найти в Москве таких благодетельных кухмистров, которые в Северной Пальмире за один рубль, а иногда и того меньше, снабжают всю нашу бедную чиновную братью подлейшим обедом?

Видишь ли: мысль моя была вступить в де-

партамент внешней торговли: там хорошее жалованье и начальник знакомый твой кн. Вяземский. Другая мысль, которая, признаюсь, ласкала меня гораздо более, – это служить по министерству иностранных дел. Там бы только, кажется, я попал на свою дорогу и ничто другое не отвлекало бы меня. В два-три года я мог бы уразуметь итальянский и испанский языки и, может быть, со временем получил бы где-нибудь место при миссии – единственная цель моих желаний и честолюбия. Но у тебя там нет никого, кто бы взялся похлопотать за меня и помочь мне, и как ты один составляешь мои надежды, то я прихожу в отчаяние осуществить когда-нибудь мою любимую идею.

В Сенате служить нет никакого у меня желания и цели. Хорошо бы начать там службу, как только вышли из Нежина, а теперь чем и как я буду служить в Сенате без охоты и без жалованья, ибо жалованье в Сенате равняется, как ты знаешь, такому же в наших уездных судах: столоначальники получают не более 800 руб. ассигнациями.

При таких обстоятельствах устрой меня,

как хочешь; согласи их, если это возможно, не забывая совсем моих желаний и выгод материальных. Москва мне очень улыбается; в ней, кажется, я был бы счастливее, нежели в Петербурге, если уж нет надежд попасть при какой-нибудь иностранной миссии.

А вот еще: не имеешь ли ты каких-нибудь проводников, чтобы доставить мне место, которое занимал Строев при Демидове[118]. Это было бы едва ли не лучше всего. Впрочем, отдаюсь совершенно на произвол твоей дружбы; пускай она, сообразив все, укажет тебе дорогу, по которой поплетусь в последний раз с крайне облегченной ношей когда-то грузных надежд моих.

Зачем не пишешь ничего о себе: как живешь? здоров ли? где нагружаешься макаронами, фриттрами[119] и пастами? Где пьешь свою аврору? Что задумал? чем занят? При всей моей радости получить письмо твое, мне было грустно читать его: куда девались эти бесценные подробности, которые, играя со мной и закружив меня невольно, переносили к тебе, в твой третий этаж, на счастливую Via Felice. Или я сделался чужим для тебя? или

думаешь, что это не даст мне прежних удовольствий?

Недавно получил письмо от Прокоповича. Он, спасибо ему, хоть изредка пишет ко мне и не лишает меня, как ты, известий о себе, городе и наших общих знакомых. С маменькой твоей я не видался давно за проклятою болезнью, которая около году меня не оставляет; да у нас теперь и погода такова, что, хоть бы желал, нет возможности сделать ни шагу из дому. Зима нам изменила. Дороги никакой – ни в санях, ни на колесах. Можешь себе представить: январь месяц, а хоть борщ вари с молодой крапивой. Ты спрашиваешь меня, что здесь говорят о твоей поэме. Я не вижу почти никого и никуда не выезжаю. Те немногие, с которыми имею сношение, не нахвалятся ею. Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочими мнение одного, который может служить оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои «Мертвые души», что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование

на твой «Миргород» помирили меня с нею. «Как! – говорил он, – миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (черт знает где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилиста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже». Это относилось к Нарежному[120], как после объяснил он, и проч., и проч.; всех припомнить не могу! Да ты лучше поймешь, когда я скажу, что твой ласкатель и противник не кто таковский, как Василий Яковлевич Ламиковский. Всего более тешило меня, что мошенник Малинка (эпитет, без которого никто не может произнести его имени), но которого черт не взял, как говорил мой зять Иван Осипович, хохотал до упаду, читая «Мертвые души» (вероятно, от меня косвенными путями дошедшие) в кругу всей сорочинской bourgeoisie[121] и поповщины. «Ревизор» ему очень известен и нередко, говорят, перечитывается в том же кругу и надрывает бока смешливым молодым попам и попадьям.

Что сказать тебе еще? Я вечно приберусь писать, когда надобно спешить как можно,

чтобы не опоздать на почту. Прокопович обещал мне прислать твои сочинения, печатаемые под его надзором[122], и до сих пор не имею их. С Пащенком не видался очень давно; у него по-прежнему вечный флюс, что, впрочем, не мешает ему ухаживать за Старицкой, племянницей Арендта, на которой он, говорят, уже и засватан. Баранов женился, но убил бобра[123]! Трахимовский на днях поехал в Житомир, куда назначен директором училищ. Все прочее обстоит благополучно.

Гоголь – Данилевскому А. С., 14(26) февраля 1843

14 *(26) февраля 1843 г. Рим* [124]

Рим. 26/14 февраля.

Я получил вчера письмо твое[125]. Ты не аккуратен – не выставил ни дня, ни числа, я не знаю даже, откуда оно писано. На пакете почта выставила штемпель какого-то неведомого мне места. Адресую наудалую по-прежнему в Миргород. Поговорим о предположениях твоих насчет тебя и службы, которые находятся у тебя в письме. Служить в Петербурге и получить место во внешн<ей> торг<овле>

или иност<ранных> дел не так легко. Иногда эти места вовсе зависят не от тех именно начальников, как нам кажется издали, и с ними сопряжены такие издалека не видные нам отношения!..

В иностр<анной> коллегии покамест доберешься <до> какого-либо заграничн<ого> места, бог знает сколько придется тащить лямку. Вооружиться терпением можно иногда, но меня страшит и самый петербург<ский> климат. Ты же и теперь, и в деревне, находишься, как видно, в болезненном состоянии, и едва ли может удовлетворить тебя эта отдаленная цель, которую ты видишь, – ехать за границу. Вряд ли твои впечатления будут те же или подобны тем, которые чувствовал прежде. Свежести первой юности уже нет, прелесть новости уже пропала. И притом, разве ты не чувствуешь, что вовсе к тебе уже примешалась та болезнь, которою одержимо все наше поколение: неудовлетворенье и тоска. Против них нужно, чтобы слишком твердый и сильный отпор заключился в нашей собственной груди, сила стремления к чему-нибудь избранному всей душой и всей глубиной ее, одним сло-

вом – внутренняя цель, сильный предмет к чему бы то ни было, но все же какая бы то ни была страсть. Стало быть, ты чувствуешь, что тут нужны радикальные лекарства, и дай бог, чтобы ты нашел их в собственной душе своей. Ибо все находится в собственной душе нашей, хотя мы не подозреваем и не стремимся даже к тому, чтобы проникнуть и найти их. Но об этом придет время поговорить после. Ни ты не готов еще слушать, ни я не готов еще говорить.

Покамест я думаю и могу советовать вот что: если тебе будет уже невмочь жить более в деревне, тогда выезжай из нее. Выезд все будет хорош, и нельзя, чтобы не был в каком-нибудь отношении благодетелен. Поезжай прежде в Москву, отведай прежде Москвы, а потом, если не слюбится, поезжай в Петербург. Советуя тебе в Москву, я, натурально, имел в виду твое состояние и служить при Голицыне, предполагал устроить так, чтоб ты мог получать жалованье. Шевырев прекрасная душа, и я на него более мог положиться, чем на кого-либо иного, зная вместе с тем его большую аккуратность. Что касается до жиз-

ни, то не думай, чтоб это было дороже петербургской. Ты увидишь, что тебе совершенно не нужно будет дома обедать и побуждения не будет для этого. Кроме того, что это очень скучно, тебя примут радушно и совершенно по-домашнему все те, которые меня любят. Само собою разумеется, что ты должен съежиться относительно разных издержек, и слава богу, я этому рад. Значение этого слишком важно в психологическом отношении, хотя ты еще не знаешь, в каком именно. Впрочем, съежиться тебе вовсе в Москве не будет так обидно и трудно, как может быть в Петербурге. Одеваться ты должен скромно. Одеваться дурно ты не можешь, ибо одевается дурно не тот, кто беден, а тот, кто не имеет вкуса или кто слишком хлопочет об этом. Ты должен пренебречь многими теми мелочами, которыми, кажется, трудно пренебречь и которыми, кажется, как будто уронишь себя. Это обман, совершенно оптический обман, и ты увидишь, что свет потом обратится к тебе и почтит в тебе и назовет именно достоинством то самое, что ему казалось в тебе недостатком. Ты не должен ни чуждаться света,

ни входить в него, сильно связываясь с ним интересами своей жизни. Ты должен сохранить всегда и везде независимость лица своего. Будь везде, как дома, свободен и ровен; это будет тебе и не трудно, потому что со всеми теми людьми, с которыми я знаком особенно, можно совершенно быть просту. Да и везде совершенно можно быть просту. Будь снисходителен вообще к людям и не останавливайся резкостью тона, иногда странной замашкой. Умей мимо всего этого найти прекрасные стороны человека, умей за два-три истинные достоинства простить десять, двадцать недостатков, умей указать ему эти достоинства, и ты будешь ему другом и можешь действовать на него благодетельно, не льстя ему, но указывая ему на его прекрасную сторону, может быть, им пренебреженную. В минуту, когда чем-нибудь будет уколото самолюбие душевное или даже просто чувство и движенье душевное, какая-нибудь чувствительная струна (такие минуты могут случиться часто в свете), помни всегда, что ты пришел как зритель и любопытный, а вовсе не так, как актер и участвующий, что тебе следует всему изви-

нить и что ты в таком же отношении посторонний свету, как путешественник, высадившийся на пароходе из Петербурга в Гамбург, есть посторонний гамбургской жизни внутри домов и имеющимся, может быть, там сплетням. Конечно, трудно сохранить такую независимость характера, не заключив внутри себя какого-нибудь постоянного труда, который бы хоть на два часа в день занял в урочное время душу. Но нет человека, который бы не был создан и определен к чему-нибудь, и горе тому, кто не даст труда узнать себя, кто не испытает и не пробует себя и не просит помощи у высших сил обрести и попасть на свою дорогу. Круг велик вокруг нас, и дорог множество. Как не быть им в Москве? Там издается, например, журнал[126]. Если взглянуть пристально даже на это, то много представится совершенно новых сторон, и сторон таких, на одну из которых, может быть, даже и легко... Но довольно об этом! Может быть, тебе даже странными покажутся слова мои и в них послышится какое-нибудь ветхое нравоучение. Если так, то отложи письмо мое до другой минуты и в минуту более душевную перечти

опять и вновь его. Есть те ветхие истины, которые в иную минуту бывает сладко услышать и которые бывают уже святы самой ветхостью своею. Во всяком случае, помни чаще всего одну истину. Везде, во всяком месте и угле мира, в Париже ли, в Миргороде ли, в Италии ли, в Москве ли, везде может настигнуть тебя тяжелая, может быть, даже жестокая тоска, и никаких нет спасений от нее. И это есть глубокое доказательство того, что в душу твою вложены тайные стремления к чему-нибудь, что беспокойно мечутся силы, не слышащие и не узнающие назначения своего, без сомнения, не пустого и ничтожного. Иначе тебя бы удовлетворила или бы по крайней мере усыпила праздная и однообразная жизнь, бредущая шаг за шагом. Но удовлетворенья нет тебе! И ничем, никакими обеспеченьями и видимыми выгодами жизни не получишь ты его, и не приобретет торжественного, светлого покоя душа твоя. Один только тот труд, одна только та жизнь, для которой стихии заключены в нашей природе, та только жизнь в силах нас наполнить. Но как указать эту жизнь? Как мы можем указать другому

то, что есть внутри? Какой доктор, хотя бы он знал донага всю натуру человека, может нам определить нашу внутреннюю болезнь? Бедный больной иногда имеет над ним по крайней мере то преимущество, что может чувствовать, где, в каком месте у него болит, и по инстинкту выбирает сам для себя лекарство.

Во всяком случае, поедешь ли ты в Москву или в Петербург, примись душевно за труд, какой бы ни было, не изнуряя себя, а в урочный час и время, хоть и не долго, и сделай его постоянным и ежедневным, не считай остальное и свободное и, может быть, даже лучшее время за главное, за цель, для которой предпринят труд как необходимое средство. А считай просто это свободное и лучшее время наградой за предпринятый труд. Не ищи этого труда вдали, оглянись на всяком месте пристальнее вокруг себя: то, что ближе, то можно лучше осмотреть глазом. И если в предстоящем труде есть хотя сколько-нибудь, к чему бы хотя часть участия лежала, берись за него добросовестно и покойно совершай его. Если даже он и не тот именно, для чего вызвана твоя жизнь, все равно, и обман мо-

жет доставить хоть временное спокойствие душе, а после труда все-таки остался опыт и все-таки стал чрез то ближе к тому труду, который определен быть нашим назначением. Во всяком случае, куда ни поедешь или только задумаешь ехать, и вообще, если тебе случится думать и представлять себе то, что ожидает тебя впереди, даю тебе одно из ветхих, старых моих правил, даю тебе его не как подарок, а просто как хозяин дает гостю свой старый, поношенный халат надеть на время, пока тот сидит у него, и потом, натурально, его сбросит. Представляй всегда, что тебя ждет черствая встреча, жесткая погода, холод и людей и душ их, тернистая, трудная жизнь и что для тоски будет там полное раздолье и развал, и вооружись заранее идти твердо на все это, ты всегда выиграешь и будешь в барышах. Ты все-таки ни слова не написал о том, как решился ты именно и когда. Впрочем, если тебе придется, вследствие тоски или чего бы то ни было, выехать из деревни, то Москва все-таки стоит на дороге, и все-таки проживи в Москве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать, потому

что дел в Петербурге нельзя обстроить вдруг и нужно иметь в виду уже слишком верное, чтобы ехать. Ты пишешь, не имею ли каких путей пристроить к Демидову. Решительно никаких. Слышно о нем, что он что-то вроде скотины, и больше ничего. А впрочем, я об этом не могу судить, не видав и не зная его. Знаю только, что казенной должностью все-таки лучше быть заняту. Тут по крайней мере слуга правительства, а там что-то вроде лакея у капризного барина. Ты представь сам, сколько могут тут произойти таких щекотливых отношений, каких ни в какой службе не может быть. И притом место Строева, кажется, упразднено вовсе, тем более, что Демидов живет уже в России и не совершает ученых экспедиций. Если ты примешь твердое желание остаться в Москве, тогда я тебе напишу то, что я думаю о тебе, о твоих средствах и о способности, заключенных в твоей природе, натурально таким образом, как может знать об этом человек посторонний, единственно основываясь на небольшом познании природы человеческой, познании, которое мудростью небес вложено мне в душу и которое, ра-

зумеется, еще слишком далеко от того, чтобы не ошибаться, но, во всяком случае, оно может быть уже полезно потому, что наведет на размышление и заставит обсмотреть глубже то, по чему столько скользил доселе взор. Я уже писал о тебе в Москву, так что ты можешь прямо явиться к Шевыреву, также к Погодину. Вот еще тебе маленькие лоскуточки. Благодарю тебя за все твои известия и уездные толки; это все для меня очень интересно. Тебе покажется странно, что для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого и близко, Малинка и попы интересней всяких колизеев, и все, что ни говорят у вас, хвалят или бранят меня или просто пустяки говорят, я готов принять с полным радушьем и отверстыми объятьями. Ты спрашиваешь, зачем я не говорю и не пишу к тебе о моей жизни, о всех мелочах, об обедах и проч. и проч. Но жизнь моя давно уже происходит вся внутри меня, а внутреннюю жизнь (ты сам можешь чувствовать) нелегко передавать. Тут нужны томы. Да притом результат ее явится потом весь в печатном виде. Увы! разве ты не слышишь,

что мы уже давно разошлись, что я уже весь ушел в себя, тогда как ты остался еще вне? Но отовсюду, где бы я ни был, я буду посылать к тебе слово, все проникнутое участием, и буду помогать, сколько вразумит меня бог, как обрести твою, тебе назначенную дорогу, дорогу стать ближе к себе самому; а ставши ближе к себе, взошедши глубже в себя, ты меня встретишь там непременно, и встреча эта будет в несколько раз радостней встречи двух товарищей-школьников, столкнувшихся внезапно в стране скуки и заточенья, после долгих лет разлуки.

Прощай, уведомляй меня обо всем. Не ожидай расположенья писать, но пиши сейчас после полученья письма. Не гляди на то, что перо скупо сегодня, все равно, хотя три строки, не больше, выдут, посылай их. Больше, чем когда-либо, ты должен быть теперь нараспашку в письмах со мною и не думать вовсе о том, чтоб быть интересней, занимательней, а просто со всей скукой, ленью, с заспанной наружностью, карандашом, на лоскутках, за обедом, по три, по четыре слова, можешь записывать и посылать их тот же час на по-

чту. Ты увидишь, что тебе будет гораздо легче самому после этого. Прощай.

Твой *Гоголь*.

На всякий случай вот тебе адреса: Шевырев – близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собст<венном> доме. Погодин – на Девичьем поле. Прочих даст адрес Константин Сергеевич Аксаков.

О каких деньгах ты пишешь, которые лежат у тебя в депо? Если это остаток долга, который за тобой, то рассмотри прежде, точно ли не нуждаешься. Если же в тебе не настоит надобности, то узнай от маменьки, получила ли она из Москвы какие-нибудь деньги вследствие стесненных своих обстоятельств. Если получила, то замолчи, если же нет, то скажи, что тебе присланы от Прокоповича деньги по моему поручению для передачи ей, но не говори, что это долг твой мне.

Гоголь – Данилевскому А. С., 1(13) апреля 1844

1 *(13) апреля 1844 г. Франкфурт* [127]

Франкфурт.

Благодарю тебя очень за письмо от 3 марта (прежнего я не получал). Из письма твоего[128] узнал несколько любопытных для меня подробностей о твоей жизни. Что ж? должность твоя[129] недурна. Она может быть скучна, как может быть скучна всякая должность, если за нее мы возьмемся не так, как следует. Вопрос в том: для чего взята нами должность; если взята для себя, она будет скучна, если взята для других, вследствие загоревшегося в душе желания служить другому, а не себе, она не будет скучна. Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях. Счастие на земли начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно вследствие какого-то оптического обмана, который опрокидывает пред нами вверх ногами настоящий смысл. Только тоска да душевная пустота заставляет нас наконец ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках. Почему, например, взявшись за должность, какова у тебя, не положить себе сделать на этом поприще, как бы оно мало ни было, сделать на

нем сколько возможно более пользы? Дети – будущие люди. Если на людей, уже утвердившихся в предрассудках и заблуждениях, можно подействовать и произвести часто благодетельное потрясение, то как не подействовать на детей, которые перед нами что воск перед мрамором! Некоторые пути к тому уже в руках твоих: мы сами, лет пятнадцать тому назад, были школьниками и, верно, не позабудем долго этого времени. Припомнивши все детские свои впечатления и все обстоятельства и случаи, которые заставляли нас развиваться, можно легко найти ключ к душе другого и подействовать на устремление вперед способностей, хотя бы эти способности были заглушены или закрыты такой толстой корой, что способны даже навести недоумение насчет действительного существования их. Многое нам кажется невозможным, но потому, что наш ум не привык обращать на все стороны предмет и открывать возможностей всякого дела. Мы так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь

себя насильно быть веселым. Веселость я почувствовал только тогда, когда печали и томительные душевные расположения заставили меня устремиться к этой веселости. Минуты спокойствия душевного я приобретал, как противоядия беспокойствам; сильные беспокойства заставили меня стремиться к спокойствию и часто находить его. Вот тебе отрывок из моей душевной истории. Воспользуйся, если что найдешь тут полезного и для себя, а нет – отложи его в сторону. Я говорю это, впрочем, так, как говорил в Нежине грек, продававший чубуки: «Вот чубук, цена 2 рубли; такой точно у Стефанеева 8 гривен; хочешь, купи, хочешь, не купи!» Никто, кроме нас самих, не может так верно узнать, что нам нужно, если мы захотим только об этом сурьезно подумать.

Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей[130]. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который нашел уже

то, что получше, погнаться за тем, что похуже. Переезды мои большей частию зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют; мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей. Ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, что знакомства и сближенья наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитанье, а мне нужно еще слишком много воспитаться. Посему о самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло точно что-нибудь умное и дельное. Прочитавши это письмо мое, ты скажешь опять: «И все-таки я ничего не знаю о нем самом». Что ж делать? Подобные упреки я не от одного тебя слышу. Мне всегда приписывали какую-то скрытность. Отчасти она есть во

мне. Но чаще это происходит оттого, что не знаешь, откуда и с которого конца начать. Весьма натурально, что хотелось бы прежде всего сказать о том, что поближе в настоящую минуту к душе, но в то же время чувствуешь, что еще не нашел даже и слов, которыми бы мог дать почувствовать другому то, что почувствовал сам. Напиши мне о гимназии. Как идет ученье, какие учителя, кто главный начальник, есть ли дети с способностями? Есть ли также в университете студенты, подающие надежды?

Передай мой душевный поклон Алексею Васильевичу Капнисту, которого я и прежде уважал искренно, а теперь еще более за его дружбу к тебе. Напиши: в чем состоит его должность. Прощай, целую тебя. Христос воскрес!

Во Франкфурте я проживу, может быть, все лето и осень, вместе с Жуковским, в его загородном домике. Впрочем, если я уеду куда, ты все адресуй по-прежнему во Франкфурт, оттуда письма найдут меня.

Данилевский А. С. – Гоголю, 22 июня 1844

22 *июня 1844 г. Киев* [131]

Я много виноват пред тобой, промедлив так долго ответом на твое милое и доброе письмо[132], но на этот раз я так был занят, что не чувствую ни малейшего укора на душе в этой маленькой неисправности.

Недавно был, но весьма на короткое время, в Миргородском уезде, в благословенных местах, орошаемых Пселом. Не успел даже побывать в Толстом, ни у твоей маменьки. Если будет возможность, в чем немножко сомневаюсь, в июле загляну опять в наш родной уголок. Не знаю, но теперь более, чем когда-нибудь, я люблю наше захолустье. Я возвратился почти к тем временам, когда самое сладостное чувство рождали одни слова: «Пойдем домой!» Совестно сознаться, но, право, боюсь целую жизнь остаться дитей.

Благодарю тебя за целый короб морали, которую я нашел в письме твоем; она мне пригодится.

Сегодня у нас был публичный акт. Воспитанники мои один за другим уезжают по домам. Завтра мне придется глядеть едва ли не

на пустые стены пансиона, а между тем ехать самому покамест нельзя: много починок и переделок, – говорят, мое присутствие необходимо; может быть, и так, да мне что-то этому не верится. Подожду еще несколько дней, а там употреблю все усилия, чтобы дать отпуск хоть на две недели.

Что увижу, как найду твоих, не премину уведомить тебя. Да скоро ли я дождусь свидания с тобою? Неужели чувство любви к родине у тебя высохло? Как не совестно в продолжение стольких лет не заглянуть в наш Миргород? Чем, бедный, виноват он, что ты совсем забыл его!..

Недели две тому назад я имел два визита наших нежинцев: в одно утро здоровый и толстый Забелло ввалился ко мне в комнату и день спустя после – кто бы ты думал? – Гриша Иваненко. С последним я не видался восемнадцать лет; я все-таки узнал его. Сегодня ожидаю Трахимовского из Житомира; с ним-то вместе имею маленькую надежду отправиться в Сорочинцы.

Благоволи меня известить, где ты, каково твое здоровье, что делаешь и что намерева-

ешься? Весьма серьезно спрашиваю у тебя: скоро ли ты в Россию?

От Прокоповича вот уже целый год не имею вести. В наших местах все по-старому: свадьбы да похороны, тем и ограничиваются все новости.

Прощай же, до свидания. Целую тебя, да, ради бога, напиши о себе подробнее: мне грустно читать в твоих письмах только обо мне. Весь твой

А. Данилевский.

Гоголь – Данилевскому А. С., 3(15) августа 1844

3 *(15) августа 1844 г. Остенде* [133]

Остенде. Августа 15.

Письмо твое, хотя оно было и коротенькое, принесло мне большое удовольствие. Удовольствие мне принесло оно двумя сказанными вскользь словами, именно, что ты чувствуешь почти юношескую живость при одной мысли ехать на каникулы домой, как было во время оно, и боишься, чтобы не остаться всю жизнь дитятей. Но это и есть самое лучшее состояние души, какого только мож-

но желать! Из-за этого мы все бьемся! Но только не все равно достигаем: одному дается оно как знак небесной милости и, по-видимому, без больших с его стороны исканий; другому дается только за тяжкие и долгие труды и беспрерывные боренья с препятствиями. То и другое премудро, и не нам решить, кто имеет более права на достижение такого состояния. Дело в том, что за такое состояние должно благодарить человеку как за лучшее, что есть в жизни.

О себе скажу покаместь то, что я на морском купанье в Остенде, куда меня послали доктора по поводу сильных нервических припадков, которые сделались невыносимыми, изволновали и измучили меня всего. После нескольких взятых ванн еще не могу сказать ничего положительного, кажется, как будто несколько лучше. Успех обыкновенно чувствуется только по окончании.

На вопрос твой, когда именно в Россию, ничего не могу сказать утвердительного. Это знает один только бог. Бели будет ему угодно дать мне здоровье и силы для того, чтобы совершить и кончить труд мой, я приеду скоро

как возможно, потому что мне Россия и все русское стало милей, чем когда-либо прежде, но с пустыми руками я не могу ехать: мне будет и родина не в родину, и радостное свидание со всеми близкими не в свиданье радостное, а пока пиши ко мне почаще и не забывай меня. Адресуй по-прежнему в Франкфурт-на-Майне, но для скорейшей доставки в мои собственные руки прибавляй следующее: Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor. Я позабыл в твоем адресе нумерацию, то есть которой именно гимназии и которого пансиона. Означь то и другое в следующем письме.

Затем весь твой

Гоголь.

Гоголь – А. С. и У. Г. Данилевским, 6(18) марта 1847

6 *(18) марта 1847 г. Неаполь* [134]

Неаполь. Марта 18, 1847.

Я получил ваши строчки, милые друзья мои. Пишу к вам обоим, потому что вы составляете *одно*. Хотя письма ваши коротеньки, но я глотал с жадностью подробности *житья* вашего и перечитал их не один раз. Хо-

тел бы вам заплатить тем же, то есть повестью о себе, но повесть эта так чудна, так необыкновенна, что нужно слишком собраться с духом и привести себя в очень покойное расположение, в то расположение, в каком находится старый инвалид, уже поместившийся дома, на родине, среди детей и внучат, когда ему легко рассказывать о прошедших битвах. После, когда приведет меня бог побывать в Киеве (который еще заманчивей от вашего в нем пребывания), я, может быть, сумею вам рассказать просто и ясно многое, но теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах даже и с наиближайшим другом. Покуда скажу тебе вот что, мой добрый Александр. Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности, хотя не говорил о том, чувствуя бессилие свое выражаться ясно и понятно (всегдашняя причина моей скрытности). Нынешняя книга моя[135] есть только свидетельство

того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы «Мертвые души» мои вышли тем, чем им следует быть. Трудное было время, испытанья были такие страшные и тяжелые, битвы такие сокрушительные, что чуть не изнемогла до конца душа моя. Но, слава богу, все пронеслось, все обратилось в добро. Душа человека стала понятней, люди доступней, жизнь определительней, и чувствую, что это отразится в моих сочинениях. В них отразится та верность и простота, которой у меня не было, несмотря на живость характеров и лиц. Нынешняя моя книга выдана в свет затем, чтобы пощупать ею, во-первых, самого себя, а во-вторых, других – узнать посредством ее, на какой степени душевного состоянья своего стоит теперь каждый из нашего современного общества. Вот почему я с такой жадностью собираю все толки о ней. Мне важно, кто и что именно сказал, важна и самая личность того человека, который сказал, его черты характера. Итак, знай, что всякий раз, когда ты передашь мне мысли какого-нибудь человека о моей книге, прибавя к тому и портрет самого человека, то этим ты сдела-

ешь мне большой подарок, мой добрый Александр. А вас прошу, моя добрая Юлия, или по-русски Улинька, что звучит еще приятней (вашего отечества вы не захотели мне объявить, желая остаться и в моих мыслях под тем же именем, каким называет вас супруг ваш), вас прошу, если у вас будет свободное время в вашем доме, набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь, хотя в самых легких и беглых чертах. Не думайте, чтоб это было трудно. Для этого нужно только помнить человека и уметь его себе представить мысленно. Не рассердитесь на меня за то, что я, еще не успевши ничем заслужить вашего расположения, докучаю вам такою просьбою. Но мне теперь очень нужен русский человек, везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в свою картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от приро-

ды. Если же вас бог наградил замечательностью особенною и вы, бывая в обществе, умеете подмечать его смешные и скучные стороны, то вы можете составить для меня типы, то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которого он представитель, – хоть, например, под такими заглавиями: Киевский лев; Губернская femme incomprise[136]; Чиновник-европеец; Чиновник-старовер и тому подобное. А если душа у вас сердобольная и состраждет к положенью других, опишите мне раны и болезни вашего общества. Вы сделаете этим подвиг христианский, потому что из всего этого, если бог поможет, надеюсь сделать доброе дело. Моя поэма, может быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповедь не в силах так подействовать, как ряд живых примеров, взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы. Вот вам, мои добрые, моя собственная повесть и подробности того, что составляет нынешнюю жизнь мою, в отплату вам за ваши тоже весьма коротенькие известия о себе. Но

вы, однако же, не забывайте себя показывать мне почаще и не пренебрегайте этими, по-видимому незначительными, подробностями, но которые, однако ж, для меня драгоценны. Сами посудите: если мне теперь дорог и близок всякий человек на Руси, то во сколько крат должен быть мне дороже и ближе человек, связанный узами дружбы со мной? Ведь я вас не вижу, а эти маленькие, по-видимому пустые, подробности делают то, что вы рисуетесь перед моими глазами, и я как бы ощущаю в малом виде радость свиданья.

Вот вам мой маршрут: до мая я в Неаполе, а там отправляюсь на воды и морское купанье, по случаю вновь пришедших недугов и расстроившихся нерв моих. Укрепивши мои нервы, проберусь разными дорогами по Европе вновь в Неаполь к осени, с тем, чтобы оттуда двинуться на Восток. Всю зиму и начало весны проведу на Востоке, а оттуда, если бог благословит, пущусь в Русь, на Константинополь, Одессу и, стало быть, на Киев, а в Киеве, около июня месяца, обниму вас, что имеет быть, по моему расположению, в будущем году.

Данилевский А. С. – Гоголю, 21 декабря 1848

21 *декабря 1848 г. Дубровно (?)* [137]

Последнее письмо твое[138], признаюсь, меня несколько огорчило, не потому, что до сих пор ты не успел ничего сделать касательно помещения моего в Москве, – нет; неудачи я не могу тебе ставить в вину. Но досадно мне, что ты переменил точку и теперь с другой стороны смотришь на мое положение. Вдруг показалось тебе, что в Дубровном, а не в Москве, я должен нести крест свой, потому что я помещик, как будто это случилось вчерашнего дня, как будто при свидании твоем со мною Дубровно и я были друг другу чужды. Поверь мне, что все остается в том же положении, с тою только разницей, что с каждым днем я убеждаюсь все более и более в необходимости, покамест еще есть желание и воля, расстаться с деревней, где я не устрою, а скорее расстрою дела мои; да и не одно это заставляет меня думать о службе; есть причины и поважнее... Ну, да что об них! на этот раз умолчу.

Откуда ты вообразил себе, что мне нужно по крайней мере восемь тысяч, чтобы содержать себя в Москве; я полагаю, шести тысяч будет достаточно. Если место будет с жалованьем в тысячу руб. серебром, то, прибавив 2500 руб. ассигнациями, которые я могу иметь с Дубровного, я надеюсь свести концы с концами. Притом же, служа, я все-таки буду иметь что-нибудь впереди – надежда чего-нибудь да стоит! – тогда как в деревне перспектива самая неутешительная, чтобы не сказать – печальная. Ну, да что об этом говорить. Ты будешь уверять меня в противном и подчас приводить в доказательства и дельные резоны, и тексты, и я все останусь при своем. Вследствие этого делай как хочешь. Что же нового в Москве? На днях тетенька жены моей, которая провела несколько времени в Москве, обрадовала нас неожиданным своим приездом. Мне приятно было узнать, что она видела тебя и что ты навещаешь Александра Михайловича[139], что ты здоров и весел, что московские морозы тебе по сердцу и проч.

Гоголь – Данилевскому А. С., январь 1849

Январь 1849 г. Москва [140]

Письмецо твое[141] получил. Хотел было писать, не дожидаясь ответа, и известить, что Россет предлагает тебе при себе место в 1000 р. серебр<ом>. Место, впрочем, не казенное. Но Россет внезапно уехал в Калугу, и, когда будет назад, не знаю. Если решишься ехать в Москву, не позабудь повидаться с Алексеем Васильевичем Капнистом и взять от него письма к брату[142] и еще к кому-нибудь из служащих и деловых людей. Мои приятели, как нарочно, единого прекрасного жрецы[143] и больших сношений с деловыми людьми не имею<т>. Впрочем, будем работать по силам. За глаза действовать нельзя, и потому тебе заглянуть сюда действительно не мешает. Писал я к тебе о занятии деревней не потому, чтобы переменил точку воззренья на твое положенье. Но потому, что был разочарован безотрадностью всяких служебных поприщ. Если бы у тебя было хотя честолюбие и стремленье выйти в люди, тебе бы легче было на службе, ты бы имел сколько-нибудь духу перенести многое, что способно оскорбить бла-

городное чувство. Но этой силы, стремлящей вперед, у тебя нет, поэтому положенье твое будет в несколько раз труднее положенья другого человека. Все пошло как-то вкривь, для взяточников есть поприще, для честных почти нет. Недавно имел случай узнать, как даже и те, которые занимают завидные места членов, подвергаются сильным, взысканиям, если только плут секретарь захочет упечь их. Осмотрительность и вниманье к читаемым делам нужно иметь необыкновенные. Если хочешь как-нибудь ужиться на службе и получить терпенье не бросить ее, то, пожалуйста, не обольщай себя вперед легкостью ее; напротив, рисуй лучше вперед себе всякие ожидающие неприятности. Мне сказывал один, что он потому только ужился на службе, что ему при самом вступлении некто опытный человек дал следующий совет: не позабывайте ни на минуту, что все ваши начальники мерзавцы, а потому не удивляйтесь никакому поступку с их стороны, принимайте его как должное. Это одно только правило, которое я с тех пор держал неотлучно в голове своей, спасло меня, говорил он. Еще одно:

напрасно ты имеешь уверенность, что тебе 6 тысяч достаточно на содержанье в Москве. Это можешь только сказать тогда, когда проживешь здесь и узнаешь на месте цену всякой вещи. Я нашел, что все стало почти вдвое дороже противу того, как было назад тому еще 7 лет. Не позабывай также и того, что ты не экономен и еще ни разу не сводил концы с концами. Жизнь небогатого семейного человека, я думаю, еще трудней в Москве, чем в Петербурге. Я это вижу по семействам, которые вижу. Но да вразумит тебя бог во всем и даст мудрость, как управить трудную ладью жизни. О себе покуда могу сказать не много. Начинаю кое-как свыкаться с климатом, хотя не без простуд и насморков. Занятия мои еще как следует не установились, отчасти, может быть, и оттого, что все, что ни вижу и что ни слышу вокруг себя, неутешительно. Стараюсь казаться сколько возможно веселым и развлекаться, но в душе грусть: будущее страшно; все неверно. Вполне спокойным может быть теперь только тот, кто стал выше тревог и волнений и уже ничего не ищет в мире, или же тот, кто просто бесчувствен сердцем и

позабывается плотски. Прощай. Не огорчайся тем, что в письмах моих попадутся иной раз советы и тексты, даю их только потому, что сам их ищу. До сих пор все советы, от кого <бы> они ни были, даже от не весьма умных людей, были мне полезны. Если я и не следовал многим из них, то все-таки вследствие их оглядывался пристальнее на самого себя и вооружался большею осторожностью в поступках.

Твой весь *Н. Г.*

Ульяне Григорьевне душевный поклон и всем, кто меня помнит. Я подписался за тебя на «Москвитянин», который в этом году обещает быть хорошим журналом. Я прибавил безделицу к тем деньгам, которые тебе Погодин оставался должен.

Данилевский А. С. – Гоголю, 16 февраля 1849

16 *февраля 1849 г. Анненское* [144]

Письмо твое[145] чрез посредство Александра Михайловича я получил давно, но не отвечал потому, что ровно не знал ничего

сказать тебе в ответ на твои проповеди. Я вижу, тебя не урезонишь, ты все поешь одну песнь. Кто просил тебя искать для меня место, на котором бы можно было сидеть сложа руки и ничего не делать! Ну, да бог с тобой! Мне кажется, что мы переливаем из пустого в порожнее, из этого ничего не выйдет. Ты – плохой ходатай, я – плохой искатель. Lasciamo la politica, ove ella sta, e parliamo d'altro[146].

Хочу поделиться с тобой моей радостью: на прошедшей неделе, после тяжкой беременности, приводившей меня по временам до отчаяния, жена моя родила богатыря в 3/4 аршина, которого предполагаем назвать Григорием в честь его деда. Здоровье и матери, и ребенка удовлетворительно.

К Россету я писал, но не получал ответа. Вероятно, письмо мое не нашло его в Харькове. На Редкина и Кукольника мало имею надежды и потому не затрудняю их; если достанется быть в Петербурге, то, ухвативши их за бока, может быть, и можно выжать из них какую-нибудь пользу; переписка же ни к чему не поведет.

Ты так аккуратен, что, писавши ко мне, и не означил своего адреса. Буду адресовать на имя Шевырева; это, кажется, всего вернее. Чтобы не поставить и тебя в затруднение насчет моего жительства, сейчас скажу тебе, что я проживаю в деревне сестер жены[147], в Сумском уезде, Харьковской губернии, и останусь здесь до мая, а потому адресуй ко мне свои письма или свое письмо на мое имя в Сумы, Харьковской губернии. В мае же и после мая всегда пиши ко мне в Ромну, Полтавской губернии. Ясно? ну, то-то же! бери пример с меня!

У нас тут много слухов на твой счет: говорят, что ты уже напечатал вторую часть «Мертвых душ», чему я не верю, пока не буду иметь экземпляра в собственных руках.

О Миргороде и его любезных обитателях редко получаю известия; все в тех местах обстоит, кажется, благополучно, только винокуренный акциз[148] многих помещиков заставил почесать в затылке.

Поклонись от меня Боткину и Гинтовту да напиши, ради бога, что-нибудь о своей персоне. Все мораль да мораль – это хоть какому

святому надоест! Что предполагаешь делать летом? не заглянешь ли в Малороссию?

До свиданья, мой добрый друг! не гневайся на меня за мое молчание, не изменяй своему великодушию.

Гоголь – Данилевскому А. С., 25 февраля 1849

25 *февраля 1849 г. Москва* [149]

Февраля 25.

Прости меня, я, кажется, огорчил тебя моим прежним письмом. Сам не знаю, как это случилось. Знаю только то, что я и в мыслях не имел говорить проповеди. Что чувствовалось на ту пору в душе, то и написалось. Может быть, состояние хандры и некоторого уныния от всего того, что делается на свете, и даже от неудачи по твоему делу, может быть, болезнь, в которой я находился тогда (от которой еще не вполне освободился и теперь), ожесточила мои строки, – во всяком случае, прости! Радуюсь от всей души твоей радости и желаю, чтобы новорожденный был в большое утешение вам обоим. Насчет II тома «Мертвых душ» могу сказать только то, <что>

еще не скоро ему до печати. Кроме того, что сам автор не приготовил его к печати, не такое время, чтобы печатать что-либо, да я думаю, что и самые головы не в таком состоянии, чтобы уметь читать спокойное художественное творенье. Вижу по «Одиссее»[150]. Если Гомера встретили равнодушно, то чего же ожидать мне? Притом недуги мало дают мне возможности заниматься. В эту зиму я как-то разболелся. Суровый северный климат начинает допекать. Ничего не могу тебе сказать еще насчет того, где буду летом, а тем менее – буду ли в Малороссии, хоть бы и желалось поглядеть на тебя и на других близких. Адрес мой: в доме Талызина на Никитском булеваре. Впрочем, всячески адресованное письмо до меня в Москве доберется. Обними за меня Ульяну Григорьевну, перецеловавши деток, и передай поклон ее сестрицам.

Твой весь *Н. Гоголь*.

Пиши ко мне и не забывай. Ты говоришь, что у вас много слухов на мой счет. Уведоми, какого рода, не скрывай, особенно дурных. Последние тем хороши, что заставляют лиш-

ний раз оглянуться на себя самого. А это мне особенно необходимо. Когда буду чувствовать себя лучше, распишусь, может быть, побольше.

Гоголь и Н. Я. Прокопович

Вступительная статья

В 1838 году Гоголь писал Николаю Яковлевичу Прокоповичу (1810–1857): «<...> ничто не в силах помешать мне думать о тебе, с кем начался союз наш под аллеями лип нежинского сада, во втором музее, на маленькой сцене нашего домашнего театра и крепился, стянутый стужею петербургского климата, чрез все дни нашего пребывания вместе» (Акад., XI, с. 162).

В Нежин семья Прокоповича перебралась из Оренбурга, где отец его служил управляющим таможней. В 1821 году Прокопович поступил в Нежинскую гимназию высших наук и там близко сошелся с Гоголем и Данилевским. В юности он подавал большие надежды: пользовался успехом на сцене лицейского театра, играя трагические роли, а также много писал – в прозе и в стихах. В 1846 году Го-

голь вспоминал: «Из всех тех, кто воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста» (Акад., VIII, с. 426).

Окончив гимназию в 1828 году и перебравшись в Петербург чуть позже, чем это сделали Гоголь и Данилевский, Прокопович столкнулся с житейскими трудностями и заботами, навсегда заслонившими для него мечты о славе. В 1832 году он еще пытался определиться на артистическом поприще, пробовал поступить на сцену, но в конце концов отказался от этой идеи. Гоголь постоянно поощрял его обратиться к литературным занятиям, веруя в одаренность своего товарища. Однако Прокопович писал и печатался редко, он оставил очень скромное литературное наследие, в основном стихотворное (после смерти Прокоповича, в 1858 году, Н. В. Гербель издал в Петербурге книжечку его «Стихотворений»).

В 1836 году Прокопович устроился учителем русского языка и словесности в 1-й Кадетский корпус, где проработал более двадцати лет. Е. П. Гребенка говорил, что не знал лучшего преподавателя русской грамматики, чем Прокопович. Прокопович прожил скромную и честную трудовую жизнь, погруженный в будничные обязанности, в постоянную заботу о содержании все прибывающей семьи. Он умер от чахотки, оставив жену и шестерых детей.

В кружке нежинских лицеистов, переехавших в Петербург, Прокопович и Данилевский были самыми близкими Гоголю людьми. Прокопович сделался поверенным в литературных делах Гоголя. Он был посвящен в тайну авторства «Ганца Кюхельгартена» и только по смерти Гоголя открыл ее П. А. Кулишу. И когда Гоголь, пережив провал своего литературного дебюта, скупив и предав сожжению экземпляры злополучной идиллии, бросился в первое свое краткое заграничное путешествие, почти бегством спасаясь от неудачи и маскируя подлинные причины разными выдуманными историями, провожал его именно Прокопович. Высшим актом доверия к Проко-

повичу была обращенная к нему в позднейшие годы просьба Гоголя править стиль и грамматику его произведений, а также возложенные на него заботы по изданию «Мертвых душ» и собрания сочинений. Но эта доверенность Гоголя обернулась злополучными последствиями. Добросовестно выполненная Прокоповичем просьба о правке грамматических и стилистических ошибок создала впоследствии дополнительную работу для текстологов, вынужденных освобождать гоголевские тексты от исправлений Прокоповича.

История с изданием сочинений внесла драматические осложнения в его отношения с Гоголем. Уезжая в июне 1842 года за границу, Гоголь поручил Прокоповичу надзор за печатанием своего первого четырехтомного собрания сочинений, куда вошли почти все написанные к этому времени его художественные произведения, кроме «Мертвых душ» (Сочинения Н. Гоголя. В 4-х томах. СПб., 1842). Московские друзья Гоголя – Аксаковы, Шевырев и Погодин – были уверены в том, что в Москве, под их присмотром, дело сделалось бы лучше, и остались недовольны тем,

что Гоголь печатает свои сочинения в Петербурге, предпочтя им Прокоповича, который к тому же был связан с Белинским и, следовательно, причастен к враждебной славянофилам партии. Не обладавший большим опытом в издательском деле, Прокопович действительно допустил некоторые оплошности и позволил типографии ввести себя в обман. Этим не преминул воспользоваться Шевырев, который начал с такой настойчивостью настраивать Гоголя против Прокоповича, что Гоголь постепенно принял позицию москвичей и сначала в очень мягкой форме, а затем все более резко стал упрекать Прокоповича за неудачное ведение дела, ставя ему в пример Шевырева, действительно гораздо более точного в издательских делах. История кончилась тем, что Прокопович, добросовестно и старательно выполнявший поручения Гоголя, обиделся на несправедливые упреки и перестал отвечать на его письма. Переписка, прерванная в 1843 году, возобновилась лишь через четыре года.

Переписка охватывает период с 1832 по 1850 год. Сохранилось 35 писем Гоголя и 5 пи-

сем Прокоповича. В настоящем издании печатается 17 писем Гоголя и 5 писем Прокоповича.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 8 июля 1832

8 *июля 1832 г. Подольск* [151]

Июля 8. Уездн. городок Подольск, 30 верст от Москвы.

Я думаю, ты уже слышал от Божка, что путь мой не слишком был благополучен. В Москве я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чем, впрочем, и не раскаиваюсь. За все я был награжден[152]. Теперь я выехал и дожидаюсь на первой уже станции лошадей. Дожидаюсь часов шесть, но и здесь видна providencia, и за это я должен благодарить судьбу. Может быть, семена падут не на каменистую и бесплодную землю. Послушай (об этом я хотел писать к тебе из Москвы, но не успел). Я еду прямо на Полтаву, следовательно, не увижу Нежина. Ты должен, я тебя заклинаю всем (впрочем, ты сам же и слово даже дал), немедленно приехать с братом[153] ко мне в деревню Васильевку, в простонародье зовомую Яновщина. Что тебе делать в

Нежине? Какие-нибудь любовные застарелые делишки? Но стыдно мужу, закаленному уже опытом, прошедшему все мытарства, ребячиться таким неприличным образом. Приезжай, если тебе я сколько-нибудь дорог, потому что от твоего приезду здоровье мое непременно поправится. Жизнь мы проведем самым эстетическим образом: спать будем вволю, есть тоже будем очень много, а главное, что варварский нос твой, лишенный всякого обоняния, прошибет запах настоящей деревни. Еще должен тебе сказать, что в этом же месяце прибудет, если уже не прибыл, Данилевский с Кавказа. Нет, ты будешь совершенный лошадиный помет, если все это не подействует на твою вялую душу. Тогда можно будет решительно сказать, что весь мозг из головы твоей перешел в ту неблагородную часть тела, которою мы имеем обыкновение садиться на стуле и даже на судне, а все содержимое в этой непозволительной и мало употребляемой в разговоре части поднялось в голову. Вот тебе маршрут: из Нежина в Прилуки, из Прилук в Пирятин, из Пирятина в Лубны, из Лубен в Миргород, из Миргорода на

село Устивицу, в местечко Яреськи, а из Яресек всякий укажет тебе дорогу на Каменецкий мост, в деревню Васильевку или Яновщину. Прощай. Исполни то, что тебе следует исполнить.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 13(25) января 1837

13 *(25) января 1837 г. Париж* [154]

Париж, 25 генварь 1837.

Я давно не писал к тебе. Я хотел получить прежде твое письмо, о котором я знал, что оно лежит в Лозанне, и которое пришло ко мне довольно поздно. Прежде всего нужно тебя поздравить с новым годом. Желаю одного: чтобы он был плодороднее для тебя прочих, чтобы ты наконец принялся за дело. Тебе нужно испытать горькое и приятное нашего ремесла. Жизнь твоя не полна, ты теперь должен иногда чувствовать пустоту ее. Пора, брат, пора! Вот тебе и желание мое и упрек вместе. Из письма Данилевского ты, я думаю, уже узнал о моем пребывании здесь. Я попал в Париж почти нечаянно. В Италии холера, в

Швейцарии холодно. На меня напала хандра, да притом и доктор требовал для моей болезни перемены места. Я получил письмо от Данилевского, что он скучает в Париже, и решился ехать разделять его скуку. Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, – не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся, – нет: итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным[155], как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании[156] больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю:

итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурини, Рубина, Лаблаш – это такая четверня, что даже странно, что они собрались вместе. На свете большею частию бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой бы следовало быть возле нее, в другом. Не приведи бог принести сюда Пащенка. Беда была бы нашим ушам. Он бы напевал, я думаю, ежедневно и ежеминутно. Я был не так давно в Théâtre Français[157], где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пиэсы «Тартюф» и «Мнимый больной». Обе были очень хорошо играны, по крайней мере в сравнении с тем, как играются они у нас. Каждый год Théâtre Français торжествует день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пиэсы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он и где он слышит это?.. Видел в трех пиэсах M-lle Mars. Ей 60 лет. В одной пиэсе играла она 18-летнюю девицу. Немножко смешно было сначала, но потом в

других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонической, и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю. Все просто, живо; очищенная натура, в местах патетических тоже слова исходят прямо из глубоко тронутой души; ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars. Актеров много, очень много хороших. На каждом театре есть два или три своих корифея. Видел наследника Тальмы Ligier. Среднего росту, пожилых лет человек, бегает по сцене довольно свободно, как дома, не складывает рук крестом и не глядит из-за плеча. Пиэс, где герой является идеалом физической силы, он, как кажется, избегает. Я его не видел, по крайней мере, никогда ни в старых трагедиях, ни в новых драмах, где герои сильно страдают и много беснуются. Играл он Людовика XI в пиэсе Делавиня[158] и, кажется, вряд ли Делавиню так написать, как Ligier играл. Он был даже смешон – до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и

между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной, был очень занимателен для зрителя. В пиэсах Мольера старики, дяди, опекуны и отцы играются очень хорошо, плуты-слуги тоже прекрасно. Если бы собрать с каждого из здешних театров по три первых персонажа, то можно бы таким образом обставить пиэсу, как только может себе составить идею один комик или трагик. Театры все устроены прекрасно. Они не имеют великолепных наружных фасадов, но внутри все как следует. От первого до последнего слова слышно и видно всем. Балеты становятся с такою роскошью, как в сказках; особливо костюмы необыкновенно хороши, с страшною историческою точностью. Сколько прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются на мелочи; само собою, что при этом ускользает много крупного. Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки. Далеко Гедеонову до Петрова дни[159], хотя ему и значительно помогает в украшении декораций Федор Андреевич. Тальони –

воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене. Впрочем, здесь около десяти есть таких танцовщиц, или солисток, перед которыми Пейсар – Пащенко. Скажи Жюлю: как, право, не совестно ему жить с мамзель Жорж. Ведь ей 67 лет[160]. Да притом видно, что она только красотой своей брала. Игра ее очень монотонна и часто напыщенна. Впрочем, говорят, что ее нужно видеть только в старых трагедиях, которых, однако ж, не играют вовсе на том театре, где она теперь находится. Играет она в театре Porte St. Martin, где играются только одни новые драмы и мелодрамы и где зрители шумят больше, нежели на всех других театрах. Всякой почти раз в партере произойдет какая-нибудь комедия или даже и водевиль, если у зрителей хорош голос. Тогда актеры делаются зрителями: сначала слушают, а потом уходят со сцены, занавес опускается, музыка начинает играть, и пиэсу начинают снова. Народ очень любит драмы, и особливо партия республиканская. Это народ сумрачный, аплодирует редко. Прочие ходят в водевиль, среднее сословие – в театр Variété или в театр Палерояль (лучшие водевильные театры!).

Знать, как бывает всегда, корчит меломанов и ходит в Италианскую или в Большую оперу (на французском диалекте), где конопатят до сих пор еще «Гугенотов» и «Роберта»[161], ударяя в медные горшки и тазы сколько есть духу; или иногда в Opére Comique (французскую оперу). Но бог с ними, со всеми этими операми, водевилями и комедиями! Поговорим теперь о тебе. Что ты поделываешь теперь? Там же ли ты, где и прежде, на той ли самой квартире? Так же ли похаживаешь по комнате с трубочкою, в том ли самом халате, несколько поизношенном, как бывает у всех порядочных людей? Ты ничего мне не написал об этом. Может быть, ты квартиру свою переменил, и письмо мое долго будет таскаться из дома в дом, а может быть, не попадется даже и в руки к тебе... Это, признаюсь, было бы мне страшно неприятно. Я все имею надежду на скорый твой ответ, который для меня теперь почти такое же заключает в себе наслаждение, как чтение прекрасной поэмы. Душенька, пиши ко мне! Ты должен это делать чаще моего, потому что твое письмо доставит мне теперь больше удовольствия, нежели мое те-

бе. Тощи ваши петербургские литературные новости. Да скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч.[162]... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» – плевать, а во-вторых... к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе! ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили все то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья

просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки. Но ты должен узнать ее. Ты должен начать с нее непременно, вкусить и горькие и сладкие плоды, покамест безотчетные лирические чувства объемлют душу и не потребовал тебя на суд твой внутренний грозный судья. Моим голосом, который теперь должен иметь над тобой двойную силу и власть, я заклинаю тебя стряхнуть лень. Не принимайся за большое дело, примись сначала за малое; пиши повести, все что угодно, но только пиши непременно, рядись на все журналы, помещай и бери деньги. У тебя есть язык, но еще не разболтался. Год или два употреби непременно, чтобы расписаться, и тогда... нечего говорить, ты и сам узнаешь и постигнешь тогда свое на-

значение и решишь, за что и как нужно взяться. – Кстати о литературных новостях: они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочь»[163]. Видана ли была где-нибудь такая прелесть! Я рад, что «Капитанская дочь» произвела всеобщий эффект. Даже Иван Григорьевич[164] пишет, что чудная вещь. Когда эта музыкальная душа признала ее достоинство, то что же, я думаю, говорят прочие! Что ты ничего не пишешь обстоятельней о тех литературных новостях, которые хоть и не так сильно выглядывают, но дороги нам потому, что творцы их или кумовья, или другие близкие нам родственники, например: Кукольник, Базили. Ты очень легко упомянул о «Художественной газете»[165]. Можно бы даже привести отрывочек. Это было бы приятно. Также о «Босфоре»[166]. Нет ли там еще какого-нибудь реверанса? Не дурно также бы упомянуть несколько и об их частной жизни, о новых подвигах их на пользу отечества, а также и на собственную пользу, которая, без сомнения, ни в каком случае

не забывается. В каком салоне виден теперь Базили и какую имеет моральную физиогномию? А другой Базили, с кистью вместо пера, художник Мокрицкий? Это тоже лицо не бездельное. Обо всем этом непременно нужно говорить; все это родственники, которые будут интересовать нас в продолжение всей нашей жизни. Второстепенные лица в этом романе также необходимы, и потому, от времени до времени, непременно нужно будет говорить о философе Данченке и об меньших братцах. Само собою, что сюда должны войти и куморья, как-то: Жюль, Комаровы[167] и все, которых мы близко и коротко знаем. Всем им поклон мой. Жюля особенно попроси, чтобы написал ко мне. Ему есть о чем писать. Верно, в канцелярии случился какой-нибудь анекдот. Если действующие лица выше надворных советников, то, пожалуй, он может поставить вымышленные названия или господин N. N. Скажи ему, что, если он меня сколько-нибудь любит, пусть непременно напишет тоже повесть, напечатает и пришлет мне. Я читал одну из старых его повестей, которая длинна и растянута, но в ней много есть такого, что го-

ворит, что вторая будет лучше, а третья еще лучше. Извести меня, что это такое «Литературные прибавления», которые издает Краевский и о которых пишет Пащенко? и отчего мое бедное имя туда заехало?[168] или ему суждено валяться, как векселю несостоявшегося банкрота, от которого хотя не ждут никакой пользы, но не раздирают его потому только, что когда-то он стоил денег. Впрочем, мне это неприятно; и только в нашем литературном мире могут случаться такие самоуправства. Я не желал бы, очень не желал, чтобы мое имя упоминалось в печати. Прощай, душа моя! Не забывай же, пиши ко мне. Ты еще можешь один раз писать ко мне в Париж потому, что я не раньше как через месяц еду в Италию. Мой усердный поклон Марье Никифоровне. Здоров ли сын твой Николай – мой имевшийся быть крестник, о чем я беспрестанно сожалею? И что такое он теперь болтает? И есть ли какое приумножение в семействе, а если есть, то что такое бог послал, сына или дочь? и как идут дела корпусные твои? что делает Кушакевич, Стефин и прочие? и где ты теперь разглагольствуешь? Все

то, что кажется тебе не занимательно, все то занимательно для меня, особливо если оно касается тебя. Да что делает Лукашевич? Уехал ли он за границу или нет? и если не уехал, то почему? и что делает он теперь? Пожалуйста, передай ему мой поклон и скажи ему, что я надеюсь с ним увидеться. Получили <ли> вы куплеты: «Да здравствует Нежинская бурса», которые Данилевский послал в письме к Пащенку?[169] Уведоми, часто ли ты видишься с Плетневым и кто теперь у него бывает и о чем говорят. Кланяйся ему и скажи, что деньги получены мною с невероятною исправностью.

Адрес мой: Place de la Bourse, 12. Пиши фамилию мою правильнее, иначе происходят на почте недоразумения. Пиши просто, как произносится: *Gogol*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 18(30) марта 1837

18 *(30) марта 1837 г. Рим* [170]

Марта 30. Рим.

Я не дождался письма твоего. Не знаю, когда получу его из Парижа (если оно только

было писано и послано). Мне очень скучно без твоего письма. Ты давно не писал ко мне. Да притом, кажется, ты всего только один раз и писал ко мне. От ваших хладных берегов такие грустные несутся вести. Великого не стало[171]. Вся жизнь моя теперь отравлена. Пиши ко мне, бога ради! Напоминай мне чаще, что еще не все умерло для меня <на> Руси, которая уже начинает казаться могилою, безжалостно похитившею все, что есть драгоценного для сердца. Ты знаешь и чувствуешь великость моей утраты. Что ты делаешь теперь? Я ничего не знаю, а мне хотелось бы все знать, даже – как ты скучаешь. Зайди к Плетневу и узнай, послал ли он ко мне деньги, о которых я писал к нему из Рима?[172] Если посланы, то – когда и на имя какого банкира они адресованы? Я в них нуждаюсь. Что тебе сказать об Италии? Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у

нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими. О тумане и не слышно. Я бы более упивался ею, если бы был совершенно здоров; но чувствую хворость в самой благородной части тела – в желудке. Он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского. Ничего не хочу больше писать, потому что ожидаю ежеминутно твоего письма из Парижа, которое ты, верно, писал и на которое мне хочется отвечать; но ты, пожалуйста, напиши мне ответ на это поскорее, хотя немного, хотя столько строк, сколько придет в твою ленивую память. Целую тебя бессчетно. Мой адрес: Roma, via di Isidoro, casa Giovanni Massuci, 17 (vicino alla piazza Barbierini).

Данилевский обещался неделею после меня быть в Рим, но до сих пор его не вижу.

P. S. Впрочем, адресуй лучше в Poste restante, потому что, может быть, случится к тому времени переменить квартиру.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 20 октября (2 ноября) 1837

20 *октября (2 ноября) 1837 г. Рим* [173]

Ну, брат, я решительно ничего не могу понять из твоего молчания. Жив ли ты, здоров ли? Хоть бы слово на мое письмо, хоть бы строчку в ответ! Не совестно ли тебе и не стыдно ли! Ты знаешь сам очень хорошо, что я тебе и что ты мне, и после всего этого молчишь. Я писал к тебе из Рима, из Франкфурта, из Бадена – хоть бы одно слово! Ради бога, выведи меня скорее из неизвестности о себе. Пиши и адресуй в Рим: Strada Felice, № 126, ultimo piano. Я тебя просил выслать мне мои рукописи – все совершенно, без исключения. Пожалуйста, не позабудь этого исполнить. Они мне совершенно все нужны, в том числе, вместе с ними, есть и печатные экстракты из дел и докладные записки, и малорос<сийские> песни; все это перешли. Если достанешь еще какие-нибудь дела – попроси от меня Пащенка, Ивана Григорьевича. Он может похитить из своей юстиции. Может быть, Анненков еще что-нибудь достанет? Все это за-

пакуй вместе и перешли мне[174]. А переслать вот каким образом: отнеси все это к m-r Pongis, а где он живет, об этом можно узнать у Штиглица. К Pongis уже об этом писано. Он отправит ящик в Ливорно к тамошнему консулу. Спроси его, нужно ли ему в Петербурге заплатить за пересылку или на месте? Если в Петербурге, то, пожалуйста, заплати ему за меня: это стоит безделицу. Я тебе все это возвращу при первом случае. Я рад, что у тебя не отнял денег, которые, может быть, тебе нужны самому и которые я просил у тебя взаймы. Я получил от государя, спасибо ему, почти неожиданно и теперь не нуждаюсь. Если что-нибудь вышло по части русской исто<рии>, издания Нестора, или Киевской летописи, Ипатьевской, или Хлебниковского списка[175], – пожалуйста, пришли. Если вышел перевод «Славянской истории» Шафарика[176], или что-нибудь относит<ельно> славян, или мифол<огии> слав<янской?>, также какие-нибудь акты к древней русск<ой> истории, или хорошее издание русских песень, или малорос<сийских> песень – все это возьми у Смирдина, пусть поставит на мой счет; также, если

есть что новое насчет раскольничьих сект. Если вышло Снегирева описание праздников и обрядов[177], пришли, или другого какого-нибудь. Да, ради бога, пиши. Я к тебе ничего не пишу – ни <о> моей жизни, ни трудах, потому что не уверен, будешь ли ты и на это отвечать. Как получу, напишу.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 15(27) июля 1842

15 *(27) июля 1842 г. Гастейн* [178]

Гастейн. Июля 27/15.

Я к тебе еще не посылаю остальных двух лоскутков[179], потому что многое нужно переправить, особливо в «Театральном разъезде после представления новой пиэсы». Она написана сгоряча, скоро после представления «Ревизора», и потому немножко нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней[180], т. е. чтобы ее применить можно было ко всякой пиэсе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее как написанную по случаю «Ревизора».

При корректуре второго тома прошу тебя

действовать как можно самоуправней и полновластней: в «Тарасе Бульбе» много есть погрешностей писца. Он часто любит букву и; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, – все будет хорошо[181]. Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово: слышу, произнесенное Тарасом перед казнью Остапа, заменено словом: чую. Нужно оставить по-прежнему, т. е.: Батько, где ты? Слышишь ли ты это? Слышу. Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше. Да, пожалуйста, попроси Белинского отпечатать для меня особенно листки критики «Мертвых душ», если она будет в «Отечественных записках», на бумаге, если можно, потонее, чтобы можно было прислать мне ее прямо в письме, и присылай мне по листам, по мере того как

будет выходить[182]. Еще: я совсем позабыл, что «Ревизор» без конца. Писец не разобрал примечания об немой сцене и оставил чистое место. Вот конец.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по имянному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

(Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положенье, остается в окаменении.)

НЕМАЯ СЦЕНА

Городничий посредине в виде столпа с распростертыми руками и закинутою назад головой. По правую сторону его: жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым

сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего.

По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший несколько голову набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья, с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

КОНЕЦ

Все эти слова, само собою разумеется, надобно напечатать курсивом.

Еще к статье «Характеры и костюмы», ко-

торая предшествует комедии, нужно прибавить на конце следующее.

Г.г. актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумленья должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

Прощай. Целую тебя и обнимаю несколько раз. Пиши, хоть по нескольку строк, но пиши. Адресуй первое письмо в Венецию, Poste restante, следующее – в Рим. В Венеции я пробуду до 1-х чисел сентября[183].

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 29 августа (10 сентября) 1842

29 *августа (10 сентября) 1842 г. Гастейн* [184]

Гастейн, 10 сентября / 29 августа

Не получая от тебя никакого до сих пор письма, я полагаю, что дела наши идут без-

остановочно и в надлежащем порядке. Я немного замедлил высылкою остальных статей. Но нельзя было никак: столько нужно было сделать разных поправок! Посылаемую ныне «Игроки» в силу собрал. Черновые листы так были уже давно и неразборчиво написаны, что дали мне работу страшную разбирать[185]. Но более всего хлопот было мне с остальной пиэсою «Театральный разъезд». В ней столько нужно было переделывать, что, клянусь, легче бы мне написать две новых. Но она заключительная статья всего собрания сочинений и потому очень важна и требовала тщательной отделки. Я очень рад, что не трогал ее в Петербурге и не спешил с нею. Она была бы очень далека от значенья нынешнего, а это было бы совсем нехорошо. Переписка ее еще не кончена. Не сердись. Ты не понимаешь, как трудно переписывать и стараться быть четким в таком мелком шрифте. Порядок статей последнего тома ты, я думаю, <знаешь>: «Ревизор», потом «Женитьба» и под нею написать в скобках: (писана в 1833 году), п<отом> на одном белом листе: «Драматические отрывки и отдельные сцены с 1832

по 1837 год», а на другом, вслед за ним: «Игроки» с эпиграфом, потом всякая пиэса с своим заглавным листом: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Сцены из светской жизни»[186], «Театральный разъезд после представления новой комедии». Получил ли хвост «Ревизора», посланный мною три недели назад? Уведомь обо всем. Все лучше знать, чем не знать. И будь еще так добр: верно, ходят какие-нибудь толки о «Мертвых душах». Ради дружбы нашей, доведи их до моего сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были. Мне все они равно нужны. Ты не можешь себе представить, как они мне нужны. Не дурно также означить, из чьих уст вышли они. Самому тебе, понятно, не удастся много услышать, но ты можешь поручить кое-кому из тех, которые более обращаются с людьми и бывают в каком бы ни было свете.

Прощай. Обнимаю тебя и целую сильно! Адресуй прямо в Рим (Poste restante). Через две недели я уже буду в Риме. Будь здоров, и да присутствует в твоем духе вечная светлость, а в случае недостатка ее обратись мыслию ко мне, и ты просветлеешь непременно,

ибо души сообщаются и вера, живущая в одной, переходит невидимо в другую. Прощай.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 10(22) октября 1842

10 *(22) октября 1842 г. Рим* [187]

Рим. Октябрь 22/10.

<Боле>знь моя была причиной, что до сих пор не выслал тебе <зак>лючительной пиэсы, которую теперь посылаю[188]. Едва справляюсь <с писанием и едва> мог кое-как переписать ее. Хотя она все еще вовсе не в том <виде, в> каком бы желал, и хотя многое следовало бы выправить и <передела>ть, но так и быть. Авось-либо простят и припишут времени, <неопытнос>ти и молодости автора, как оно действительно и есть, ибо писано давно. <Если> мое заявление и молчание повергло тебя в изумление и <недоумен>ие, то, с другой стороны, твое молчанье мне кажется <непост>ижимо. Ну, что бы уведомить меня хотя одною строчкой, как идет дело и печатанье. Я послал тебе три письма, и ни на одно ни строчки ответа. В одном письме я тебе по-

слал конец «Ревизора», в другом письме «Игроков», написал тебе порядок, в каком должно быть и следовать одно за другим. Писал, чтобы в «Тарасе Бульбе» удержать по-прежнему слышу, вместо – чую. Под комедией «Женитьба» выставить год, в который писана (1833). За нею особенный лист с титулом: «Отдельные сцены и драматические отрывки (с 1832 по 1837 год)». Потом такой порядок: «Игроки», «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Сцена из светской жизни», «Театральный разъезд». Всякая с особым передовым листом. Сделай милость, уведоми меня обо всем. Теперь, кажется, никакой нет уж помехи, а потому благословляю оканчивать печатанье да и пускать книгу в продажу. Если печатанье взяло много издержек и книги вышли толще, нежели предполагалось, то можно пустить по 30 рублей. Первые экземпляры сей же час послать в Москву. Один Шевыреву. Другой Сергею Тимофеевичу Аксакову. Третий Хомякову. Четвертый Погодину. Все можно адресовать на имя Шевырева, с просьбой, чтобы он поскорее вручил им. В Петербурге первые экземпляры: гр. Вельегорскому (жи-

вет возле Михайлов<ского> театра), Александре Осиповне Смирновой (на Мойке, в собственном доме, за Синим мостом, за домом Ам<ериканской> компании), Плетневу, само по себе разумеется, Вяземскому.

Нужно распорядиться так, чтобы «Ревизор» и «Женитьба» отданы были вскоре после отпечатанья в театральную цензуру, чтобы не были там задержаны долго, ибо <н>ужно, чтобы все это поспе<ло> к бенефису <Ще>пкина и Сосницкого. Не дур<но буд>ет тебе съездить потом <к Сос>ницкому <и сказ>ать ему, что мое желанье таково, чтобы их бенефисы пришлись <в один> день. Чтобы «Женитьба» была представлена в один день и в <Москве> и в Петербурге[189]. Что таким образом, как ему известно, я хотел <и преж>де. И потому, чтобы он с своей стороны постарался тоже <об уст>ранении всякого рода препятствий. Если театральная цензура <будет> привязчива и будет вычеркивать кое-какие выражения, то обратись к <Вель>егорскому и скажи ему, что я очень просил его сказать цензору <...?> слова два, особливо если цензор – Гедеонов, которого Вельегорский знает. <Щепкин>

об этом очень просил. Насчет этого не дурно бы также <посове>товаться с Краевским, который, кажется, знает все цензурные <поряд>ки. Я напишу от себя письмецо к Никитенке, которому поклонись от меня <усерд>но. И, пожалуйста, сию же минуту по получении этого письма уведоми. Адресуй мне: Via Felice, № 126, 3 piano. Будь здоров. Целую тебя сто раз. <Люби меня> по-прежнему, люби так, как я тебя люблю. В следующем письме поговорим <обо> всем, и о тебе и о мне. Спешу отправить на почту. Перецелуй за меня всех <своих>. Пожалуста, не замедли извещением обо всем. Кланяйся всем помнящим меня <нрзб.> Белинскому, Комарову.

Твой *Гоголь*.

Прокопович Н. Я. – Гоголю, 21 октября 1842

21 *октября 1842 г. Петербург* [190]

Я виноват перед тобою в том, что не отвечал до сих пор на два письма твои; этому причиною было желание дать тебе отчет в печатании поподробнее и полнее. Печатание началось после отъезда твоего не так скоро, как

мы того желали, в этом причиною был Жернаков или, лучше, бумажная фабрика, не могшая вскорости поставить бумаги по случаю продолжительных петергофских празднеств. Несмотря на все это, издание выйдет непременно в ноябре, по крайней мере, так заключен контракт[191], с моей же стороны остановки не будет, если только ты вышлешь остальной отрывок вовремя; угрозами же не заплатить денег в случае неустойки, сдобренными приличными русскими прибавлениями, я надеюсь двигать работу в типографии по желанию, как это делаю и теперь. Бумага наша очень хороша, именно такая, какую ты хотел, т. е. та самая, на какой «Русская беседа». Теперь дело вот в каком положении: 1 ч<асть> готова совсем, 2 оканчивается, 3 началась; издание выходит очень красиво, а за корректурную исправность, кажется, могу ручаться и даже похвастаться ею: я набил уже руку в этом деле и читаю две корректуры сам, а после меня прочитывает еще и Белинский. Я слышал, что Моллер в скором времени отправляется в Рим, и попрошу его взять с собою все, что будет готово к тому времени; пе-

ресылка же по почте чрезвычайно затруднительна: надобно хлопотать в таможне о выдаче свидетельства, а ты знаешь, с какими удовольствиями соединяются подобного рода хлопоты. С Моллером же пошлются к тебе и статьи Белинского, в которых говорится о «Мертвых душах». Должен сказать тебе, что толки о них до сих пор еще продолжаются. Кто-то из актеров приноровил некоторые отрывки к сцене; вовсе не сценическое достоинство «Мертвых душ» и талантливая игра здешних актеров сделали то, что вышла чепуха страшная, все бранили и, несмотря на то, все лезли в театр, так что, кроме бенефиса Куликова, пять представлений на Большом театре было битком набито[192]. Все молодое поколение без ума от «Мертвых душ», старики повторяют «Северную пчелу» и Сенковского[193]: что они говорят, догадаешься и сам. Греч нашел несколько граммат<ических> ошибок, из которых две, три даже и точно ошибки; Сенковский партизанит за чистоплотность и благопристойность, а в «Отечественных записках» доказано выписками из его собственных сочинений, что на это имен-

но он-то и не имеет права[194]. Все те, которые знают грязь и вонь не понаслышке, чрезвычайно негодуют на Петрушку[195], хотя и говорят, что «Мертвые души» очень забавная штучка; высший круг (по словам Вьельгорского) не заметил ни грязи, ни вони и без ума от твоей поэмы. Кстати о слове «поэма». Сенковский очень резонно заметил, что это не поэма, ибо-де писано не стихами. Вообще Сенковского статья обилует выписками, впрочем, более собственного его сочинения; он даже позволил себе маленькие невинные измышления и в собственных именах, так, например, Петрушку он почитает приличнее называть Петрушею. Один офицер (инженерный) говорил мне, что «Мертвые души» удивительнейшее сочинение, хотя гадость ужасная. Один почтенный наставник юношества говорил, что «Мертвые души» не должно в руки брать из опасения замараться; что все, заключающееся в них, можно видеть на толкучем рынке. Сами ученики почтенного наставника рассказывали мне об этом после класса с громким хохотом. Между восторгом и ожесточенною ненавистью к «Мертвым душам»

середины решительно нет – обстоятельство, по моему мнению, очень приятное для тебя. Один полковник советовал даже Комарову переменить свое мнение из опасения лишиться места в Пажеск<ом> корп<усе>, если об этом дойдет до генерала, знающего наизусть всего Державина. «Женитьба» переписана для Щепкина и отдана в театральную цензуру, на этой же неделе отправится в Москву: она потому не была переписана до сих пор, что Никитенко держал рукопись до 30 сент<ября>, хотя я и таскался к нему раз двадцать. Щепкин пишет к Белинскому, что ты ему обещал для бенефиса еще отрывок; ты мне об этом ничего не говорил, и я недоумеваю, что ему послать, если он обратится ко мне и уверит честным своим словом, что ты действительно обещал ему. Все мы очень опасаемся, чтобы кто-нибудь из аферистов-актеров не вздумал в бенефис свой поставить, по примеру «Мертвых душ», какую-нибудь из сцен по выходе их, а потому мы придумали вот что: напиши особенное письмо ко мне, а лучше к Краевскому, в котором изложи, что ты никому не давал права ставить на сцену

«Мертвые души» и никаких других пиес и статей, за исключением того, что отдано актеру Щепкину[196]; письмо это должно быть засвидетельствовано нашим посланником в Риме. В «Женитьбе» Никитенко уничтожил весьма немного, а в «Шинели» хотя не коснулся ничего существенного, но вычеркнул некоторые весьма интересные места. Впрочем, Краевский взялся и хлопочет об этом сильно, а Никитенко обнадежил меня, что все сделает, что будет можно. В эту самую минуту, как пишу тебе, судьба этих мест решается[197]. Я не могу сам ехать, потому что жестоко простудился и сижу весь окутанный фланелью. Что совсем не будет пропущено, сообщу тебе, и надеюсь, что в этом же письме, потому что почта еще не сегодня.

Совсем было забыл сказать тебе, что ты очень ошибся касательно объема издания: 1-й том вышел в тридцать лист<ов>, 2-й влезает в то же количество, 3-й трудно рассчитать еще, но по приблизительному расчету он никак не займет менее 25 листов; о четвертом не знаю, не имея последней пьесы[198]. Не разрешишь ли ты назвать «Светскую сцену»

просто «Отрывком» или как-нибудь иначе: боюсь я подать повод к привязкам журналистов; она же более всех других заслуживает имя отрывка. В «Современнике» помещена довольно большая и очень дельная статья о «Мертвых душах», подписанная буквами С. Ш. Житомир. Ужели Шаржинский?[199]. Я после выхода книжки с Плетневым еще не видался. Шевырев, верно, доставил или доставит тебе две свои статьи[200], а Аксаков и подавно[201]. Я получил на имя твое письмо из Вологды от Воротникова, который был в Нежине в 1-м классе, тогда как ты в 9; я не почитаю нужным посылать тебе самого письма, а содержание его состоит в нежинских воспоминаниях, столь общих у тебя с ним, в просьбе прислать ему «Мертвые души» и в обещании отплатить за них рябчиками и рыжиками; письмо весьма игриво написано. Хотел было написать тебе, что именно не пропущено в «Шинели», но до сих пор еще не получил ее, а между тем вот уже и почтовый день прошел. Бога ради, присылай скорее «Разъезд». Никитенко чрезвычайно долго держит рукописи; жаль будет, если этою статьею задер-

жится все издание: публика ждет его с нетерпением и мне проходу нет от расспросов, скоро ли и когда выйдут. Прощай. Да благословит тебя муза кончить «Мертвые души». Жена тебе кланяется. Все мы здоровы.

Твой *Н. Прокопович.*

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 14(26) ноября 1842

14 *(26) ноября 1842 г. Рим* [202]

Рим. Ноябрь 26/14.

Вчера получил твое письмо. Благодарю тебя за него и за все старанья и хлопоты. Ты, я думаю, уже давно получил «Разъезд». Он более месяца как послан к тебе. Насчет намерения твоего назвать «Светскую сцену» просто «Отрывком» я совершенн о согласен, тем более что прежнее название было выставлено так только, в ожидании другого. Насчет разных корсарств в мои владения[203], о которых, признаюсь, мне неприятнее всего было слышать, я пишу письмо к Плетневу, чтобы он переговорил лично с Гедеоновым обо всем этом[204]. А между тем объяви всем и распространи слух, что я слишком задет наглостью

переделывателя и намерен искать законным порядком на него управы, что уже, дескать, сочиняю закатистую просьбу к какому-то важному лицу. Это несколько устрашит заблаговременно охотников. Все драматические сцены, составляющие четвертую часть[205], принадлежат Щепкину. Это нужно разгласить и распространить тоже, чтобы меня не беспокоили и не тревожили другие актеры какими-нибудь письмами и просьбами. На всякую просьбу Щепкина снисходи и постарайся, чтоб сделано было все, что он просит. Половина драматических отрывков должна остаться ему для будущего бенефиса в будущем году, потому что для театра, вероятно, я ничего не произведу никогда. Не дурно распространить и сделать предметом разговора, что ни в одном образованном государстве не может никакой антрепренер перетащить на сцену сочинения, не испрося согласия автора, и что если автор найдет три строки, взятые целиком из его произведения и не приведенные в смысле цитаты, то имеет право производить судовым порядком иск о похищении и воровстве, и вор ничем не разнится в

наказании от уличного вора. Этому постановлению нужно дать гласность и чтобы о нем все говорили. В моем деле больше значит общий голос и крик, чем частные хлопоты. Ты это сам поймешь.

В «Женитьбе», я вспомнил, вкралась важная ошибка, сделанная отчасти писцом: Кочкарев говорит, что ему плевали несколько раз, тогда как он это говорит о другом. Эта безделица может дать ему совершенно другой характер. Монолог этот должен начинаться вот как:

«Да что же за беда! Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес: плюнул в самое лицо, ей-богу. «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» – и проч. и проч.

Если уже набрана и напечатана эта страница, вели перепечатать. На заглавном листке к «Женитьбе» выставлен не весь титул. Должно вот как:

ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в двух действиях.

И потому прибавь это. Также в «Игроках» пропущено одно выражение, довольно значительное, именно, когда Утешительный мечет банк и говорит: «На, немец, возьми, съешь свою семерку». После этих слов следует прибавить: Руте, решительно руте! просто карта-фоска!

Эту фразу включи непременно. Она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства. Благодарю тебя за передачу кое-каких мнений и суждений о «Мертвых душах». Продолжай и впредь. Это будет мне всегда лакомым подарком. Целую тебя от всей души и жду непременно письма.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 16(28) марта 1843

16 *(28) марта 1843 г. Рим* [206]

Марта 28/16. Рим.

Письмо твое и билет на 550 получил. Благодарю тебя много за все и в теперешнюю минуту более всего за письмо, как оно ни корот-

ко и ни поспешно. Я уже несколько месяцев без писем. Точно как будто вдруг все сговорились не писать ко мне. Ради бога, не пропускай писать. Мне не нужно длинных писем. Пиши впопыхах, наскоро и никак не ожидай расположения или свободной минуты. Двух строк самых пустых мне иногда бывает достаточно. Теперь, в минуты моих трудов, скитанья по свету и всяких суровых внутренних воспоминаний, мне нужней, чем когда-либо, слова близких душе моей; о чем бы они ни были и какие бы ни были, они равно мне живительны. Поблагодари от души всех, принимавших участие относительно дел моих[207], начиная с доброго цензора моего Никитенка. Краевского и Белинского поблагодари тоже много[208] и не позабудь уведомить меня о толках, какие ходят во всякого рода публиках касательно моих сочинений. Прощай. Целую и обнимаю тебя. Ответ на это письмо можешь адресовать мне уже в Гастейн, в Тироле, где я буду <около> 1-х чисел мая, ибо в апреле, последних чисел, подымусь из Рима. Обними за меня жену и детей.

Твой *Гоголь*.

На экземпляры не скупись и раздавай, если окажется нужно; по востребованию Плетнева или Шевырева отпускай, сколько ни скажут.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 5(17) апреля 1843

5 *(17) апреля 1843 г. Рим* [209]

Рим. 17/5 апреля.

В прибавление к письму моему, пущенному неделю назад, пишу другое, более деловое, потому что тогда я не мог писать о делах, будучи внутренно расстроен более моим болезненным припадком. Высылкою других 500 франков повремени; впрочем, ты, я думаю, и без того это сделаешь, смекнувши, что по таким мелочам мне не может быть полезна присылка, кроме того что хлопотлива с обоих сторон. Шевырев, эта редкая душа, он прислал мне четыре тысячи из своих. В Москву дошли слухи, что я сижу уже более шести месяцев без копейки денег. Я, признаюсь, их обманул: пред выездом я сказал, что мне деньги не нужны, что у тебя есть деньги и я их возь-

му в счет печатающих<ся> экземпляров. Мне хотелось, чтобы скорей как можно выплатилась хотя половина моих долгов из продажи «Мертвых душ» и чтобы не брать оттуда для себя ни копейки до того времени. Тем более, что я видел собственными глазами, как нуждались во многом великодушно ссудившие меня. Не могу до сих <пор> вспомнить без глубокого душевного умиления о той помощи и о тех нежных участиях, которые шли ко мне всегда из Москвы. Петербургу просто некогда подумать обо мне. Кому, например, придет в голову сделать вопрос: этот человек ниоткуда не получает ни копейки дохода, ничего не печатает в течение шести лет – чем он живет в это время при расстроенном здоровье, при частых и необходимых для него переездах из климата в климат, из земли в землю? Два раза я мог бы просто умереть от нужды и голода, и обо мне составилась бы, может быть, потом довольно трогательная история, как о многих талантах, окоченевших во время окружавших <их> призраков славы и прочего; но великодушные друзья мои умели проникнуть то, что может только проникнуть од-

но нежное участие, умели предложить мне таким образом, чтобы я даже и подумать не мог, что это с их стороны какое-нибудь одолжение, и сделали это большею частию те, которые меньше всего имели средств помочь.

Итак, если я тебе дорог и душе твоей радостно, что я живу еще на свете, то этим ты обязан им. Но это несколько отдалило нас от дел, – итак, приступим к ним. Ты, я думаю, очень удивляешься моей беспечности, что я до сих пор тебе не даю никакой инструкции относительно распределения денег и прочего. Но я был слишком занят прежде всего скорейшим окончанием и появлением книг в свет, и, признаюсь, вообще мне тяжело хлопотать о моих делах: это меня утомляет страх. Впрочем, ты, как видно, тоже захлопотан. Ты не написал мне даже в письме своем, выслал ли ты Шевыреву тысячу экземпляров, как я писал тебе. Эти экземпляры непременно там нужны под боком, для уплаты остальных долгов моих и удовлетворения самых необходимых потребностей матери и сестер моих, которые находятся теперь не в очень завидном состоянии, так как уже мне много приходи-

лось терпеть по причине невысылок своевременных денег. (Это вещь слишком для меня сурьезная и важная. От этого у меня много пропадает времени. Когда мне нужно вдруг сорваться с места и ехать в другую землю, тогда это нужно сделать вдруг. С этим слишком связана творческая моя способность, обновление, освежение и та неизъяснимая мне самому потребность, неудовлетворение которой оканчивалось тяжким состоянием и, наконец, просто моральною и физическою болезнью.) Итак, я решился раз навсегда уста<но>вить постоянные сроки, два раза в год, к которым непременно были бы деньги и дожидали бы меня в городе и месяце, которые я назначу. До сих пор Шевырев, как я вижу, точней и аккуратней всех. Для него нет задержек: не наберутся деньги, он займет, а к сроку поставит. Я решил расположить дело вот как: половина дел моих – в Петербурге, а половина – в Москве. Сроки – один к первому маю европейского стиля, другой к 1-му октябрю европейского стиля. Несколькими днями раньше – лучше. Всякая половина состоит из трех тысяч рублей. Деньги будут высылаться то-

бою и Шевыревым. За два месяца до срока или за месяц вы должны уведомить друг друга о том, накопилось ли достаточное количество денег. Если Шевырев тебе напишет, что деньги есть и может выслать он, тогда ты должен придержать их для других распределений. А эти распределения покаместь вот какие: Жуковскому послать в Дюссельдорф, в число моего долга, 4-ре тысячи рублей. У Данилевского спросить, заплатила <ли> ему маменька те деньги, которые он ей предложил. Если нет, то выслать ему немедленно. Эти деньги, я знаю, у него были последние. Одна только великодушная душа его могла сделать такой поступок и так жестоко лишить себя. Если Шевырев напишет тебе, что он занял или выслал свои, то, натурально, тогда накопленные деньги должны поступить в уплату Шевыреву.

Вот покаместь тебе распоряжение. Напиши, пожалуйста, Шевыреву отчет по книге и <о> всем относящемся к этой части, чтобы они тебя не винили в том, что я шесть месяцев сидел без денег, в чем ты не виноват нисколько; но так как, сам знаешь, на свете не

без добрых людей и охотников сочинять всякие слухи, а Москва от Петербурга далеко, то я почти уверен, что есть уже какие-нибудь рассказы. А потому лучше всего, если ты в немногих отчетливых словах представишь ему всю ясность дела. Затем обнимаю тебя всей силою любви и дружбы и всю твою семью от малых до больших, поздравляю и вас всех с праздником и напоминаю тебе вновь о прежней просьбе моей – писать, хотя бы вовсе не было о чем писать. Двух самых ничтожных строчек уже будет с меня довольно. Еще раз повторяю: для меня слишком теперь значительны письма близких душе моей. Нельзя ли так завести, чтобы <писать> 1-го числа всякого месяца? Это число трудно забыть, потому <что вы> все, сколько мне помнится, в этот день получаете казенное жалованье. Прощай. Ответ адресуй в Гастейн, что в Тироле. Поклонись и обними всех любящих меня.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 7(19) апреля 1843

7 *(19) апреля 1843 г. Рим* [210]

Рим. 19 апреля.

Едва отправил я вчера к тебе письмо, как получил твое, со вложением 300 р. серебр<ом>. Благодарю тебя не столько за присылку, сколько за готовность. Я уже уведомил тебя в предыдущем письме, что получил из Москвы деньги на франки без малого 4 тысячи, а на рубли 3500. И потому ты сделай запрос Шевыреву, надобно ли тебе выслать им эту сумму из твоих экземпл<яров>, или они надеются уплатить ее из находящихся у них экземпляров, объяснивши им, что у тебя предстоят уплаты Жуковскому и Данилевскому. Прежде всего, натурально, ты пополни себя, иначе будет беспорядок. Распоряжения твои все хороши. Относительно цены на книгу как Плетнев, так и ты совершенно правы: более 25 р. никак нельзя пустить, хотя Москва и подумает, что дешево. Но лучше пусть покупатель похвалит за дешевизну, чем побранит за дороговизну. Пожалуста, пришли мне экземпляр чрез Моллера, вместе с листками критики, бывшей в «Отечественных записках» как на «Мертвые души», так и на Сочинения[211], и прикажи писцу непременно

списать для меня критики Сенковского и Полевого[212] на то и другое. Это мне необходимо нужно. Присовокупи также к этому «Статистику России» Булгарина, в 4 частях, а если вышла и «География» его, то и «Географию» его[213]. Все это Моллер не откажется взять, я знаю. Он мне привезет это в Дюссельдорф в конце июня или начале июля. Да зайди в Топографическое наше депо и купи для меня карту России. У меня слишком громоздка и неудобна к тасканью, да и стара. Купи их подклеенными и готовыми. Европейскую Россию особенно, а Азиатскую тоже особенно, разумеется, новейшие, какие и есть, с подробностями; но величиною чтобы не больше того, сколько нужно для покрытия двух ломберных столов, сдвинутых вместе, даже меньше, словом, чтобы была емка. Азиатскую сколько можно поменьше. Прощай. Обнимаю тебя.

P. S. Не дурно бы послать один экземпляр моих сочинений в Харьков преосвященному Иннокентию, приложивши от себя записочку, что, по поручению моему, ты посылаешь ему экземпляр.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 16(28) мая

16 *(28) мая 1843 г. Мюнхен* [214]

Мюнхен. Мая 28.

Твое письмо меня еще более удивило, чем, вероятно, удивило мое тебя. Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? Говорил ли я когда-нибудь тебе, что буду сим летом в Петербург? или что буду печатать 2 том в этом году?[215] и что значат твои слова: Не хочу тебя обижать подозрением до такой степени, что будто ты не приготовил 2-го тома «Мертвых душ» к печати? Точно «Мертвые души» блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хоть замечательного. Что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Всю жизнь, ни больше ни меньше. Где ж ты видел, чтобы произведший эпопею произвел сверх того пять-шесть других. Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого! От меня менее всего можно требовать скорости тому, кто сколько-нибудь меня знает. Во-первых, уже потому, что я терпеливее,

склонен к строгому обдумыванию и притом еще во многом терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков. «Мертвых душ» не только не приготовлен 2-й том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет (если только мои силы будут постоянно свежи в это время) не может выйти в свет. А что публика желает и требует 2-го тома, это не резон. Публика может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках что надобно рассудить и <над чем> поумничать. А в желаниях публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знает она, что такое будет во 2-м томе? Может быть, то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для 2-го тома. Тебе тоже следует подумать и то, что мои сочинения не должны играть роли журнальных статей и что ими не нужно торопиться всякую минуту, как только замечаешь, что у публики есть аппетит. Они писаны долго, в обдумывании многих из них прошли годы, а потому не угодно ли читателям моим тоже подумать о них на досуге и всмотреться

пристальней. Умный резон: потому что в продолжение одного года я выдал вдруг слишком много, так подавай еще столько же. Чем же я виноват, что у публики глупа голова и что в глазах ее я то же самое, что Поль де Кок: Поль де Кок пишет по роману в год, так почему же и мне тоже не написать, ведь это тоже, мол, роман, а только для шутки названо поэмою. Твои причины о пользе выхода 2 тома для прежних и для расхода успешнейшего вообще моих сочинений справедливы совершенно, и все это мне весьма знакомо. Но нужно предположить иногда и то, что я могу кое-что знать еще с моей стороны и что человек, который отошел от дел и стал в стороне, то же, что на якоре, и далее может оглянуть море, чем те, которые носятся среди его и заняты беспрестанной работой с кружащимися вокруг их всякими волнами. По моим со<о>бражениям, сочинения мои должны были туго идти, и об этом я писал в Москву еще за месяц до выхода их в свет[216] на их предположение о большем их успехе. Вследствие этих же моих соображений я знаю тоже хорошо, что эти же сочинения мои пойдут быстрее, и

быстрота их расхода будет увеличиваться, по мере как будет исчерпываться издание, хотя это совершенно в противность законам книжной торговли. Ты подумай, между прочим, и то, что еще не заговори<ли> журналы о них сурьезно. Еще не успела о них явиться ни одна дельная статья. А вот на досуге, когда им нечего будет делать, они примутся за меня, и тогда только слух о них обойдет всю Россию.

Представь себе еще то, что половина России уверена, что это больше ничего, как только собрание всех сочинений моих, уже напечатанных, и нового между ними нет или очень мало. О моих соображениях я уже не говорю. Это потребовало бы места и времени, да и страх скучно. А ты, между прочим, выручаемыми деньгами прежде всего удовлетвори себя так, чтобы я тебе ни копейки не был должен, а деньги свои приберегай. В предприятие ни в какое не пускайся, но, когда будет время, наблюдай лишь внимательно за ходом всего. Ты изумишься потом, сколько у нас есть путей для изворотливого ума обогатиться, принеся пользу и себе и другим. Но об

этом после. А все-таки хорошо, что ты набрал опыту и в книжном деле. Уведоми меня, сколько ты выслал <экземпляров> Шевыреву, и сколько их осталось у тебя, и все ли они налицо, и где хранятся[217]. Шевыреву нужно будет высылать по всякому востребованию столько экземпляров, сколько потребуют мои дела в Москве, уплата долгов и всяких <...>.

Прощай. Будь здоров. Не забывай писать ко мне и адресуй в Дюссельдорф, Poste restante. С нетерпением жду Моллера с тем, чтобы получить от него экземпляр, который ты обещал прислать мне с ним.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 12(24) сентября 1843

12 *(24) сентября 1843 г. Дюссельдорф* [218]

Дюссельдорф. Сентябрь 24.

Книги я получил, посланные с Моллером, за которые благодарю тебя. Критики я прочел также все с большим аппетитом. Жаль только, что ты не исполнил вполне моей просьбы и не прислал их всех. Зачем ты не велел скорописцу списать критик Сенковского? Их бы можно было уписистым почерком вместить

на двух-трех листах почтовой бумаги и прислать прямо по почте. Нам следует все знать, что ни говорят о нас, и не пренебрегать никаким мнением, какие бы причины их ни внушили. Кто этого не делает, тот просто глуп и никогда не будет умным человеком. Мы, люди, вообще подлецы и не любим или позабываем оглядываться на себя. Издание сочинений моих вышло не в том вполне виде, как я думал, и виною, разумеется, этому я, не распорядившись аккуратнее. Книги, я воображал, выйдут благородной толщины, а вместо того они такие тоненькие. Подлец типографщик дал мерзкую бумагу; она так тонка, что сквозит, и цена 25 рублей даже кажется теперь большою в сравнении с маленькими томиками. Издано вообще довольно исправно и старательно. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу или даже мне. Все, что от издателя,– то хорошо, что от типографии – то мерзко. Буквы тоже подлые. Я виноват сильно во всем. Во-первых, виноват тем, <что> ввел тебя в хлопоты, хотя тайный умысел мой был добрый. Мне хотелось пробудить те-

бя из недвижности и придвинуть к деятельности книжной; но вижу, что еще рано. Много еще всяких дрязгов, и до тех пор, пока я не перееду совершенно на Русь, нельзя начинать многого. Сам я теперь бегу от всякого дела. Не хотел бы и слышать ни о чем, а между тем вижу, что никак нельзя увильнуть самому от того, чтобы не впутаться в свои дела. Уведоми меня поскорее, в коротких словах: 1-е – сколько продано экземпляров? 2-е – сколько послано в Москву? 3-е – сколько осталось налицо? Ты еще меня не уведомил до сих пор. От Шевырева я уже имею подробнейший отчет. От тебя еще ни слова. Я также на тебя еще должен сердиться за то, что ты не сказал мне прежде ни слова о подлостях типографии и таил их от меня долго. И потому, ради бога, отвечай мне поскорее. Разделался ли ты совершенно с типографией, то есть я разумею не о платеже твоими деньгами, а моими? И потом на все три упомянутые запроса: 1 – сколько продано экземпляров? 2 – сколько послано в Москву? и 3 – сколько налицо? Все это мне нужно знать сильно, да<бы> распорядиться и предотвратить заранее все, то есть

предпринять другие меры в случае недостатка денег. Боюсь я сильно, чтобы мне не досталось бедствовать где-нибудь на дороге, тогда как я расположил сроки и сообразуюсь во всем с ними. Получаю я деньги, как я уже тебе писал, два раза в год. Три тысячи мне должны высылаться к 1-му октябрю, а 3 тысячи к 1 маю, и потому вы, за месяц до срока, должны уведомить друг друга, Шевырев тебя, а ты Шевырева, в каком положении ваши дела и деньги. Шевырев написал мне, что он уже уведомил тебя, но от тебя еще ответа не имеет. А между тем еще в Москве не уплачена часть долгов моих, которая меня очень беспокоит. Отошли теперь же Шевыреву тысячу экземпляров в Москву сверх высланных прежде. Он с ними сделается, извернется и не потеряет копейки. Я не знаю в точности никого ему равного. С «Мертвыми душами» и с посланными ему экземплярами от тебя он распорядился прекрасно и во всем до последнего нуля прислал отчет. Теперь, сообразя все мои грядущие доходы, я вижу, что большое сделал неблагоразумие, затеяв издание в Петербурге. Восемь тысяч я потерял из собственного кар-

мана. Сам отнял у себя. Напечатание тома «Мертвых душ» мне стало 2 тысячи. Четыре подобных тома составили бы 8 тысяч, а в Петербурге издание этих томов обошлось ровно вдвое больше. Обо всем этом я помышлял уже в Петербурге, и мне хотелось перенести издание в Москву, но манила скорость печати и желание видеть прежде напечатанными в собрании те пиэсы, которым должно было играться на театре, причину чего отчасти ты поймешь и сам. Но все пошло навыворот. Как бы то ни было, но что случилось, то случилось, а что случилось, то, верно, случилось для того, чтобы был человек умнее и узнал бы кое-что, чего не знал. На меня не сердись за это бремя, может быть тяжкое. Как бы ни тяжело оно было и как бы ни потерпел ты чрез это, все будет вознаграждено. У меня все стоит в счету, и как я ни беден теперь, как ни немощен, но возмогу потом много такого, что, кажется, теперь совсем невозможно. Затем целую тебя; исполни пунктуально все мои просьбы до одной, как необходимый закон, и прощай до следующего письма.

Твой *Гоголь*.

Адресуй в Дюссельдорф (Dusseldorf en Prussie, Poste restante), скорее сколько возможно.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 16(28) апреля 1847

16 *(28) апреля 1847 г. Неаполь* [219]

Неаполь. Апрель. 28.

Давно уже я не писал к тебе. Ты также давно не писал ко мне. Если ты думаешь (особенно после прочтения моей книги[220]), что я переменился или стал не тот, что был прежде, то скажу тебе, что я все тот же и почти то же самое люблю, что любил в юности моей, хотя и не открывал никому многих сокровенных чувств; разница вся в том, что теперь многое во мне стало проще (по книге не суди) и что я больше, чем когда-либо, люблю старинные мои связи и прежних друзей моих, особенно тех, с которыми от незабвенного Нежина началась моя дружба. А потому напиши мне хоть несколько словечек о себе: что ты теперь делаешь? что приходит тебе на мысли? как тебе живется и как все, что со-

ставляет домашний круг твой, и все, что вокруг тебя? Этим ты меня очень порадуешь, если тебе приятно меня порадовать. Письма адресуй на имя Жуковского, в Франкфурт. От Данилевского я получил письмо, который также о тебе спрашивает. Он также о тебе не знает ничего. Уведоми меня также о всех изустных толках, какие тебе случается слышать о моей книге. Я бы очень желал знать, что говорят о ней разные чиновники средней руки, всех сортов учителя, равно как и люди нам обоим с тобой знакомые. Прощай! Более не распространяюсь, потому что пишу наугад, не зная, по-прежнему ли ты живешь в 9 линии и придет ли к тебе в руки письмо мое. Не поскупись и пиши побольше.

Обнимаю тебя.

Твой *Г.*

Прокопович Н. Я. – Гоголю, 12 мая 1847

12 *мая 1847 г. Петербург* [221]

Петербург. 12 мая 1847.

Я получил твое письмо из Неаполя, любезнейший Николай Васильевич, и, не отлагая в долгий ящик, принимаюсь за ответ. Напрасно

ты приписываешь молчание мое предполагаемой будто бы мною перемене в тебе. Совсем нет; я не писал тебе просто потому, что не получал от тебя ответов и не знал, куда адресовать к тебе. Что касается до перемен, то, какие бы они ни были, они не властны изменить моих чувств к тебе. Есть лица, которые так много значат в жизни нашей, что даже самые, по-видимому, коренные изменения в них не могут иметь на нас никакого влияния. Что нам за дело до того, что они изменились? Пусть об этом судят те, до кого это касается; мы остаемся к ним всегда одними и теми же. Ты один из тех немногих людей, к которым жизнь и обстоятельства поставили меня именно в такое отношение, и перемены в тебе, хотя бы они и были, не могут переменить моих чувств к тебе.

Ты просишь меня сообщить тебе изустные толки о твоей последней книге между чиновниками средней руки и всеми сортами учителей. Признаюсь, теперь всего менее ожидал я подобной просьбы от тебя: что имело смысл и значение в отношении прежних твоих сочинений, то в настоящем случае похоже, по мо-

ему мнению, на какое-то бесполезное любопытство. Ведь подобного рода книга может быть написана или вследствие убеждения, или вследствие неубеждения. В первом случае, что тебе за дело до толков чиновников всех рук и учителей всех сортов? Дело твое сделано, слово сказано; слово сказано не для одного доставления приятного занятия уму и вкусу – слово сказано для распространения пользы душе и для поучения людям, для прочного дела жизни, чтоб снять с души хоть часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного...

На что же тебе знать невинную болтовню чиновников за преферансом или мимоходом сказанное слово бедным тружеником науки? Что в них тебе? Им не ускорить созревания плодов посеянного тобою слова, да и не замедлить его! Не эти толки важны для творения, имеющего значение, какое ты сам указал ему: для творения, вылившегося из глубоко убежденной души в минуты ее просветления. Для него важны не толки, а беспристрастный суд и правдивый приговор будущей истории литературы русской. Во втором случае, т. е.

если книга твоя написана вследствие неубеждения, опять-таки не могу понять, к чему тебе знать различные толки: книга, говорят, раскуплена, а такое известие удовлетворительнее всех толков.

Но все это я сказал так, между прочим, а желание твое исполню; и что знаю, то сообщу без утайки; повторяю только, что это ни к чему не поведет и не послужит, разве только для удовлетворенья любопытства. Ни одна из книг, выходивших на русском языке, не производила таких разнообразных и противоположных друг другу толков в той части публики, мнением которой ты интересуешься, как твоя «Переписка». Но все это разнообразие можно разделить на три категории, имеющие, в свою очередь, различные подразделения. Одни считают тебя ни больше ни меньше как святым человеком, для которого так и распахнулись двери рая в будущей жизни, покупают твою книгу и, следуя твоему совету, дарят ее нуждающимся в благодати или в хлебе насущном. Другие приписывают издание твоих писем расчету. В этом классе встречается более всего подразделений, и догадки

о целях, руководивших тобою, идут от простой денежной выгоды до таких соображений и планов, какие тебе, конечно, и в голову не могли прийти[222]. Третьи относят все к расстройству твоего здоровья и оплакивают в тебе потерю гениального писателя. Я слышал даже, что кто-то из этих переплел твою книгу с «Чаромутием» нашего чудака Лукашевича, вышедшим будто нарочно одновременно с твоею «Перепискою»[223]. Вот все, что могу сообщить тебе о различных мнениях и толках, которые доводилось мне слышать.

Ты пишешь, что Данилевский спрашивает тебя обо мне, не имея от меня никакого известия. И тут та же причина моего молчания: я не знаю, где он; он не отвечал на последнее письмо мое: куда же я буду писать? И дурно, что ты не написал мне его адреса. А между тем я все там же, на том же месте, в том же уголке, который некогда радушно принимал тебя и готов всегда принять, если только ты не побрезгуешь в нем приютиться.

Благодарю тебя за вопрос твой о моем житье-бытье и о моих домашних. Живем понемногу, по крайней мере здоровы. Число детей

не превышает, слава богу, полдюжины; нужды кое-что и превышают, ну, да что об этом!

Весь твой *Пр*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 8(20) июня 1847

8 *(20) июня 1847 г. Франкфурт* [224]

Франкфурт. Июня 20.

Благодарю тебя за письмо. Оно мне принесло особенное удовольствие именно по следующей причине: я начинал уже было думать, что ты от должностных своих занятий, несколько черствых, заклёкнул и завял. Но слог письма бодр, мысль свежа. Почему тебе не попробовать пера? Что ни говори, способности не даются нам даром, и взыщется строго за неупотребление их. У тебя же, судя по твоим школьным, еще писанным в Нежине, повестям, есть все свойства повествователя. Речь твоя лилась плодовито и свободно, твоя проза была в несколько раз лучше твоих стихов и уже тогда была гораздо правильней нынешней моей. Нет разве предмета, о чем писать? Но разве ты не жил? Разве не видел людей? Разве не открывалась перед тобою душа

человека? Разница в том, что она перед тобою раскрывалась, начиная с нежнейшего возраста. Или мир, тобою узнанный, считаешь ничтожным, непривлекательным, нелюбопытным для других? Но в таком случае нужно прежде доказать, что человек на тех мест<ах>, где ты его находил, не способен для высоких ощущений. Но мы с тобой знаем, что кадетский учитель имеет такие минуты, каких не доводится иметь и чиновнику, который неизвестно зачем стал преимущественным предметом пера. Может быть, точно, виноват в этом несколько и я. Как бы то ни было, но все это такого рода вещи, о которых следовало бы тебе подчас подумать очень сурьезно. Тебя удивляет, зачем я так жаден слышать толки о моей книге. Затем, что я очень жаден знать людей, а в толках о моей книге все-таки более или менее обрисовывается передо мною человек со всем своим знанием и невежеством и, что всего важнее, открывает мне свое собственное душевное состояние, которое для меня еще важней его характеристики внешней и которого, согласи<сь> сам, я бы никак не мог узнать без моей книги. Кстати о

толках. Я прочел на днях критику во 2 № «Современника» Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда; в книге моей, как видишь, есть нападенье на всех и на все, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще[225]. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет[226]. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только

обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, и я люблю благодарить, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике», в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если ж в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам[227].

По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясно-

сти несравненно больше, чем я сам вижу. Еще одна просьба. Разузнай, пожалуста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновские, без прибавления Гоголя, которое осталось только за отцом. Если появивший<ся> Гоголь есть один из сыновей священника Яновского[228], из которых я, однако ж, до сих еще <пор> не видал своими глазами никого, то, в таком случае, он может действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не понимаю, зачем ему похищать названье Гоголя. Не потому я это говорю, чтоб стоял так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти какие-нибудь гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если

кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет и я до сих пор его и в глаза не видал. А потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим именем, не худо бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собствен<ным> именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявл<ение>. Но прощай! Обнимаю тебя от души!

Твой *Г*.

Пожалуста, не забывай меня и пиши. Адресуй в Франкфурт-на-Майне, poste restante.

Прокопович Н. Я. – Гоголю, 27 июня 1847

27 *июня 1847 г. Петербург* [229]

27 июня 1847.

Я несколько виноват перед тобою, что не известил тебя в прошлом письме об отъезде

Белинского за границу: тогда письмо твое к нему не прогулялось бы понапрасну сюда. Но все равно, оно отправилось по первой же почте к нему в Силезию в Зальцбрунн, откуда ты, вероятно, и получишь от него ответ.

Эта поездка была необходима для Белинского: только от нее одной зависит спасение жизни его, бывшей, в продолжение последней зимы, не один раз на волоске и сохранившейся в противность всех правил и приговоров медицины.

Пользуясь твоим позволением, я прочитал письмо твое к нему. Мне кажется, ты очень ошибаешься, воображая, что статью свою Б. написал, приняв на свой счет некоторые выходки твои вообще против журналистов. Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление. Почему не судить проще и не принимать всего сказанного им встрече совершенно противоположных друг другу убеждений, искренних в нем и, конечно, не притворных и в твоей книге? Белинский не говорил хладнокровно о прежних твоих сочинениях, мог ли он говорить

хладнокровно и о последних? Впрочем, он сам, вероятно, в ответе своем выскажет тебе все свои побуждения.

Поручение твое разузнать о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамильце я выполнил; но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слыхал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести. Впрочем, на всякий случай я просил управляющего конторою агентства Языкова предупредить всех книгопродавцев, с которыми со всеми она имеет сношение.

Весь твой *Прокопович*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 20 июня 1848

20 *июня 1848 г. Васильевка* [230]

Д<еревня> Василевка. 1848. Июнь 20.

Уведоми меня хотя двумя словечками о себе, жив ли ты, здоров и как идет твое бытье. Я думал было приехать напрямик в Петербург и потому не писал к тебе, но дело поворотилось не так; мне придется еще с месяц прожить в деревне, потом в Москву. В конце августа только надеюсь заглянуть в Петербург. Я, сла-

ва богу, кое-как еще держусь на свете, несмотря на болезни и холеры вокруг, хотя и не так свеж и бодр, как во время путешествия по Востоку и даже во время дороги в Россию. О прочем всем переговорим лично. В письме не знаешь, с которого конца начать. Передай мой задушевный поклон супруге и погладь по головке деток. Жду отклика нетерпеливо.

Твой *Н. Гоголь*.

Между прочим, просьба: подпишись за меня на журнал Башуцкого «Иллюстрация» за текущий 1848 год с пересылкою в Полтаву, на имя Марьи Ивановны Гоголь. Первые номера, вышедшие доселе, от 1-го генваря до сего месяца, чтобы высланы были все рядом, а прочие исправно всякую неделю.

Мой адрес: в Полтаву.

Прокопович Н. Я. – Гоголю, 16 июля 1848

16 *июля 1848 г. Петербург* [231]

16 июля.

Благодарю тебя, любезнейший Николай Васильевич, за твою память обо мне и за

письмо твое, ни в какое другое время не может быть так интересно получить известия от друзей наших, как в настоящее, когда нельзя быть уверенным в жизни и того, с кем виделся вчера. Да, нас посетил страшный бич: по свидетельству медиков, эпидемия 31 года против нынешней была игрушкой как по количеству случаев, так и по злокачественности. Петербург, судя по официальным известиям, потерял от нее до И тысяч жителей, а она все еще продолжается, хотя и в несравненно меньшей степени. Что касается до нас, то мы все, со всеми чадами и домочадцами, пребываем по сию минуту благополучны и не тронуты никакими лихими болестями. Из общих знакомых наших тоже, кажется, никто не отправился к отцам; только один Белинский, что, вероятно, ты уже знаешь, умер, но еще прежде холеры от продолжительной чахотки.

Базили здесь, и я иногда с ним вижусь, он сетует на тебя за забвение его, и я тоже на тебя в претензии за то, что ты ни словечка не упоминаешь мне о Данилевском, с которым ты, верно, виделся и который, господь его зна-

ет за что, наказывает меня нескольколетним молчанием, так что я только от Базили узнал о его существовании и женитьбе. Поклонись же ему от меня, да и супруге его, если увидишь их. Я должен у тебя просить извинения: ты поручаешь мне подписаться на «Иллюстрацию», и я с удовольствием исполнил бы твое поручение, но нахожусь в таких стесненных обстоятельствах, что, право, не могу: денег у меня и всегда бывает немного, а теперь лето и холера, лишив меня всех частных занятий, довела до того, что я должен рассчитывать всякую копейку, если не хочу заставлять поститься семейство мое; в таких грустных обстоятельствах, признаюсь тебе, я еще никогда не находился. Прими же мои уверения, что только одни они не позволяют мне оказать тебе эту ничтожную услугу.

Будь здоров и счастлив, и да хранит тебя небо от всяких невзгод! Уведоми меня до личного нашего свидания хотя строчкой о себе и Данилевском. Письмо твое дошло до меня очень поздно; причиною то, что ты не написал на нем: в 9 линию, и оно валялось у почтальона, пока другое письмо на имя мое не

показало дороги ему.

Жена и дети все тебе кланяются и с нетерпением ждут тебя. Приезжай, авось судьба и пощадит нас, как щадила до сих пор.

Весь твой *Прокопович*.

Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 29 марта 1850

29 *марта 1850 г. Москва* [232]

Март 29. Москва.

На твое письмо не отвечал в ожиданье лучшего расположения духа. С нового года напали на меня всякого рода недуги. Все болею и болею; климат допекает; куды убежать от него, еще не знаю; пока не решился ни на что. Рад, что ты здоров и твое семейство также. По-настоящему следует позабывать свою хандру, когда видишь, что друзья и близкие еще, слава богу, здравствуют. Впрочем, и то сказать: надобно знать честь. Мы с тобой, слава богу, перешли сорок лет и во все это время ничего не знали, кроме хорошего, тогда как иных вся жизнь – одно страдание. Да будет же прежде всего на устах наших благодарность. Болезни приостановили мои занятия «Мерт-

выми душами»[233], которые пошли было хорошо. Может быть, болезнь, а может быть, и то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса… просто не подымаются руки. Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для какого-нибудь переходного современной минуты[234], а все-таки современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие. Уведоми меня о себе. Все же и в твоей жизни, как дни ее, по-видимому, ни похожи один на другой, случится что-нибудь не ежедневное: или прочтется что-нибудь, или услышится, или само собой, как подарок с неба, почувствуется такая минута, что хотел бы благодарить за нее долго и быть вечно свежим и новым в своей благодарности. Адресуй по-прежнему: в дом Талызина на Никитском булеваре. Супругу и деток обними.

Твой весь *Н. Гоголь*.

Прокопович Н. Я. – Гоголю, 26 апреля 1850

26 *апреля 1850 г. Петербург* [235]

26 апреля 1850. Петерб.

Благодарю тебя, любезнейший Николай Васильевич, за твою память обо мне и за письмо. Получение от тебя писем, как бы кратки они ни были, доставляет мне самые светлые минуты в моей монотонной и скучной жизни, и поверь мне, что это не фраза слилась с пера у меня.

Я отложил ответ на письмо твое до свободного времени, т. е. до наступления Страстной недели, но, как <нарочно>, тут захворал гигантским флюсом, и вот уже наступила другая неделя, а я все еще не могу освободиться от него и не решаюсь высунуть нос из дому, ни с кем не вижусь, ничего не слышу и не знаю, что делается на белом свете; читать даже нечего.

Ты жалуешься тоже на болезнь от климата; да кто же тебе, свободному, как птица небесная, не велит ехать на юг, в Малороссию? Чего тебе лучше? Неужели тебе еще и до сих пор необходимо постоянное пребывание хоть в какой-нибудь да столице? А работать ты можешь и там, да еще как! Там бы тебя не сердило и направление современных читателей. Извини за неуместную, может быть, мою

выходку; что делать? желание мерять всех и все на свой аршин не с меня началось, да не мною и кончится, а я, кажется, другого блага для себя бы и не пожелал, как только хоть бы разок еще вздохнуть воздухом какого-нибудь самого глухого захолустья Малороссии. Кажется, после того я бы с большим терпением мог протащить до конца все навьюченное на меня житейскими обстоятельствами. Вот и все тут, что я могу сказать тебе в настоящую минуту и в письме, и при свидании; больше ничего из себя не могу выжать. Семейство мое здорово, кланяется тебе и благодарит за твою память. Напиши же мне, как ты намереваешься распорядиться собою в нынешнее лето, все, до тебя касающееся, меня крайне интересует. Прощай, да хранит тебя судьба.

Весь твой *Прокопович*.

Гоголь и А. С. Пушкин

Вступительная статья

Личное и творческое общение с Александром Сергеевичем Пушкиным (1799–1837) сыграло в жизни Гоголя, в его формировании как писателя исключительную роль. Как признавался сам Гоголь, Пушкин-поэт «занимал все его воображение еще на школьной скамье» (Анненков, с. 331). Действительно, упоминание имени Пушкина – просьба о присылке «поэмы «Онегина» – встречается уже в одном из ранних писем нежинского гимназиста к родителям (1 октября 1824 года – Акад., X, № 22). О «восхищении» юного Гоголя Пушкиным вспоминал позднее его школьный товарищ А. С. Данилевский (Шенрок, т. 1, с. 102). Особенно ярко свойственное молодому Гоголю романтически-восторженное отношение к Пушкину передает его оставшаяся неопубликованной статья «Борис Годунов». Поэма Пушкина» (1831).

Приехав в конце 1828 года в Петербург, Гоголь вскоре делает первую, пока неудачную, попытку встретиться со знаменитым писате-

лем (Анненков, с. 331–332). В 1830–1831 годах происходит знакомство Гоголя с близким Пушкину кругом литераторов – он начинает сотрудничать в альманахе «Северные цветы» и «Литературной газете», знакомится с О. М. Сомовым, В. А. Жуковским, П. А. Плетневым. Именно Плетнев и становится посредником в личном знакомстве Гоголя с Пушкиным (см. переписку с Плетневым, с. 234). 20 мая 1831 года давняя мечта Гоголя сбывается – на вечере в доме Плетнева он представлен Пушкину (Гиппиус, с. 71).

Дальнейшее развитие взаимоотношения писателей получают летом того же года. Гоголь проводит его в Павловске, часто посещая живущих по соседству в Царском Селе Пушкина и Жуковского (см. письмо Гоголя к Данилевскому от 2 ноября 1831 г.). К этому моменту и относится начало переписки между Гоголем и Пушкиным, причем содержание уже первых писем и сам их непринужденный тон свидетельствуют о близком характере возникших отношений (Петрунина, Фридлендер, с. 199).

Период общения с Пушкиным (1831–1836

годы) – определяющий в писательской биографии Гоголя. Для начинающего автора жизненно важным становится пушкинское одобрение, признание верности избранного в искусстве пути. Упрочению положения Гоголя в литературе способствует

134

отзыв Пушкина о книге «Вечеров на хуторе близ Диканьки», выделяющийся на фоне других в целом также хвалебных откликов своей точностью и принципиальностью (см. вступ. статью, с. 11). «Пушкин первый угадал в Гоголе явление <...> Пять лет знакомства с Пушкиным <...> недаром были годами, когда написано, начато или задумано все, что сделало Гоголя великим художником,– от последних повестей «Вечеров» до «Мертвых душ» (Гиппиус Василий. Гоголь, Л., 1924, с. 41). «Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета»,– признается Гоголь вскоре после смерти Пушкина (письмо к Погодину от 18 (30) марта 1837 г.). В этих словах нет преувеличения. Пушкин действительно находился в курсе большинства гоголевских замыслов и жизненных планов. Его советами Го-

голь пользуется при подготовке к печати сборника «Арабески». Еще до выхода в свет Пушкин знакомится с повестями «Вечеров...», «Тарасом Бульбой», ранним вариантом «Женитьбы», «Ревизором», «Носом», многими статьями, главами первоначальной редакции «Мертвых душ». 2 декабря 1833 года Гоголь читает Пушкину свою «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». «<...> очень оригинально и очень смешно»,– отметил в своем дневнике поэт (Пушкин, т. XII, с. 316).

Особенно значительной была роль Пушкина в творческой истории двух центральных произведений Гоголя – «Ревизора» и «Мертвых душ». Широко известно признание Гоголя (в «Авторской исповеди») в том, что «сюжет» «Мертвых душ» и «мысль» «Ревизора» были подсказаны ему Пушкиным. Этот факт не должен восприниматься сугубо формально: опытный литератор предложил молодому собрату общую событийную канву будущих сочинений. Пушкинские «подсказки» заключали в себе огромный художественный потенциал. Так, мотив скупки мертвых душ, сам

по себе обладающий исключительной смысловой емкостью, предоставлял Гоголю богатые сюжетно-композиционные возможности для создания произведения крупного масштаба. Сопоставление фабулы «Ревизора» с неосуществленным пушкинским планом «Криспин приезжает в Губернию NB на ярмонку – его принимают за...» (Пушкин, т. VIII, с. 431. Разрядка моя. – А. К.) показывает, что в широко известном анекдоте о мнимом ревизоре именно Пушкиным была открыта новая «формула интриги» (самообман персонажей пьесы), в дальнейшем блестяще разработанная Гоголем (см.: Макогоненко, с. 206–253).

Внимательно следя за творческой работой Гоголя, Пушкин и сам посвящал его в свои литературные замыслы. Такие этапные произведения, как «Домик в Коломне», сказки, «Медный всадник», «Анджело», «История Пугачева» и др., становятся известны Гоголю еще до публикации и учитываются им в его писательской деятельности.

Анализ творческих контактов Гоголя и Пушкина убеждает в том, что при всем типологическом различии творчества обоих авто-

ров Гоголь выступал в 1830-е годы как ученик и преемник своего великого современника. Не случайно принадлежащая ему статья «Несколько слов о Пушкине»

135

не только содержала в себе наиболее глубокое в ту пору истолкование зрелого творчества поэта, но и одновременно явилась собственно гоголевским эстетическим манифестом.

Однако историю взаимоотношений Гоголя и Пушкина нельзя представлять себе идиллически безмятежной. Творческая близость писателей не исключала существования между ними моментов несогласия. Особенно отчетливо это проявилось в 1836 году – в период сотрудничества Гоголя в «Современнике». Активным участником пушкинского журнала Гоголь становится сразу после его основания. В первом томе «Современника» он помещает повесть «Коляска», пьесу «Утро делового человека», несколько рецензий, а также статью «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», воспринятую читателями в качестве программы нового издания. Несогласие с

некоторыми положениями гоголевской статьи, а также тактические соображения побудили Пушкина выступить в третьем томе «Современника» с «Письмом к издателю», написанным от имени некоего провинциала А. Б. и содержащим полемику с Гоголем. Более того, в издательском примечании к «Письму...» Пушкин подчеркнул, что статья «О движении журнальной литературы» «не есть и не могла быть программою «Современника» (Пушкин, т. XII, с. 98). Возможно, с этим выступлением, а также и с другими осложнениями, возникшими в период сотрудничества Гоголя в пушкинском издании, было связано охлаждение, наступившее в отношениях писателей к июню 1836 года – моменту отъезда Гоголя за границу. Однако важно отметить, что эта размолвка, причины которой не вполне ясны, не принимала резкого характера. Об этом говорит хотя бы тот факт, что, уже покинув Россию, Гоголь продолжал работать над материалами для «Современника».

Известие о гибели Пушкина, полученное Гоголем в Париже, стало для него одним из наиболее тяжелых жизненных потрясений. К

теме своих отношений с Пушкиным, характеристике пушкинского творчества Гоголь не раз возвращался на протяжении последнего периода своей деятельности («Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь»).

В настоящее время известны 4 письма Пушкина к Гоголю и 9 писем Гоголя к Пушкину. Все они печатаются в данном издании. Спорным остается вопрос о включении в сборник гоголевского «Отрывка из письма, писанного автором вскоре после представления «Ревизора» к одному литератору». По словам самого Гоголя, «Отрывок...» представляет собой часть неотправленного письма к Пушкину (см. письмо к С. Т. Аксакову от 21 февраля (5 марта) 1841 г.). И хотя рукопись «Отрывка...» датируется 1840–1841 годом, полностью отрицать его связь с каким-то неизвестным сегодня реальным письмом к Пушкину нельзя. В то же время отсутствие сколько-нибудь определенных представлений о подобной связи не позволяет включить «Отрывок...» в один ряд с подлинными письмами Гоголя к Пушкину.

Гоголь – Пушкину А. С., 16 августа 1831

16 *августа 1831 г. Петербург* [236]

16 августа. СПб.

Приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании[237] по странному случаю. Я никак не мог думать, чтобы была другая дорога не мимо вашего дома в Петербург. И преспокойно ехал в намерении остановиться возле вас. Но вышло иначе. Я спохватился уже поздно. А сопутницы мои, спешившиеся к карантину[238] для свидания с мужьями, никаким образом не захотели склониться на мою просьбу и потерять несколько минут. Если же посылка ваша может немножко обождать, то вы можете отдать Васильчиковой[239], которой я сказал (она думает ехать в среду) заслать за нею к вам, и тогда она будет доставлена в мои руки. Я только что приехал в город и никого еще не видал. Здесь я узнал большую глупость моего корреспондента[240]. Он, получивши на имя мое деньги и знавши, что я непременно буду к 15 числу, послал их таки ко мне на имя ваше в Царское Село вместе с письмом. И вам теперь, и мне новое

затруднение. Но вы снисходительны и великодушны. Может быть, и ругнете меня лихим словом; но где гнев, там и милость. Письмо с деньгами вы можете также отдать для отправки ко мне Васильчиковой. Теперь ничего не пишу к вам, потому что собираюсь дня через три писать снова. Адресуйте ко мне в Институт Патриотического общества на Васильевском острову[241].

Ваш *Гоголь*.

Гоголь – Пушкину А. С., 21 августа 1831

21 *августа 1831 г. Петербург* [242]

СПб. Августа 21.

Насилу теперь только управился я с своими делами и получил маленькую оседлость в Петербурге. Но и теперь еще половиною – что я, половиною? – целыми тремя четвертями нахожусь в Павловске и Царском Селе. В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех поразгоняла во все стороны. И знакомым нужен целый месяц антракта, чтобы встретиться между собою. У Плетнева я был, отдал ему в исправности ваши посылку и письмо[243]. Любопытнее всего было мое свидание с

типографией[244]. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни[245]. Кстати о черни – знаете ли, что вряд ли кто умеет лучше с нею изъясняться, как наш общий друг Александр Анфимович Орлов. В предисловии к новому своему роману: «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» он говорит, обращаясь к читателям: «Много, премного у меня романов в голове (его собственные слова), только все они сидят еще в голове; да такие бойкие ребятишки эти романы, так и прыгают из головы. Но нет, не пущу до время; а после извольте, полдюжинами буду поставлять. Извольте! извольте! Ох вы, мои други сердечные! Народец православный!» Последнее обращение так и задевает за сердце рус-

ской народ. Это совершенно в его духе, и здесь-то не шутя решительный перевес Александра Анфимовича над Фадеем Бенедиктовичем. Другой приятель наш, Бестужев-Рюмин, здравствует и недавно еще сказал в своей газете: «Должно признаться, что «Северный Меркурий» побойче таки иных «Литературных прибавлений». Как-то теперь должен беситься Воейков! а он, я думаю, воображал, что бойче «Литературных прибавлений» нет ничего на свете. Еще о черни. Знаете ли, как бы хорошо написать эстетический разбор двух романов, положим: «Петра Ивановича Выжигина» и «Сокол был бы сокол, да курица съела». Начать таким образом, как теперь начинают у нас в журналах: «Наконец, кажется, приспело то время, когда романтизм решительно восторжествовал над классицизмом и старые поборники французского корана на ходульных ножках (что-нибудь вроде Надеждина) убрались к черту. В Англии Байрон, во Франции необъятный великостью своею Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуаль-

ных явлений. Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы и проч. и проч., не могла оставаться также в одном положении. Вскоре возникли и у ней два представителя ее преображенного величия. Читатели догадаются, что я говорю о г.г. Булгарине и Орлове. На одном из них, то есть на Булгарине, означено направление чисто байронское (ведь это мысль недурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же гордость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство. Насчет Александра Анфимовича можно опровергать мнение Феофилакта Косичкина; говорят, что скорее Орлов более философ, что Булгарин весь поэт». Тут не дурно взять героев романа Булгарина: Наполеона и Петра Ивановича, и рассматривать их обоих как чистое создание

самого поэта; натурально, что здесь нужно вооружиться очками строгого рецензента и приводить места (каких, само по себе разумеется, не бывало в романе). Не худо присовокуплять: «Почему вы, г. Булгарин, заставили Петра Ивановича открыться в любви так рано такой-то, или почему не продолжили разговора Петра Ивановича с Наполеоном, или зачем в самом месте развязки впутали поляка (можно придумать ему и фамилию даже)?» Все это для того, чтобы читатели видели совершенное беспристрастие критика. Но самое главное – нужно соглашаться с жалобами журналистов наших, что действительно литературу нашу раздирает дух партий ужасным образом, и оттого никак нельзя подслушать справедливого суждения. Все мнения разделены на две стороны: одни на стороне Булгарина, а другие на стороне Орлова, и что они, между тем как их приверженцы нападают с таким ожесточением друг на друга, совершенно не знают между собою никакой вражды и внутренно, подобно всем великим гениям, уважают друг друга.

У нас бывают дожди и необыкновенно

сильные ветры; вчерашнюю ночь даже было наводнение. Дворы домов по Мещанской, по Екатерининскому каналу и еще кое-где, а также и много магазинов были наполнены водою. Я живу на третьем этаже и не боюсь наводнений; а кстати, квартира моя во 2 Адмиральтейской части, в Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект, в доме Брунста.

Прощайте. Да сохранит вас бог вместе с Надеждою Николаевною[246] от всего недоброго и пошлет здравие навеки. А также да будет его благословение и над Жуковским.

Ваш *Гоголь*.

Пушкин А. С. – Гоголю, 25 августа 1831

25 *августа 1831 г. Царское Село* [247]

Любезный Николай Васильевич,

Очень благодарю вас за письмо и доставление Плетневу моей посылки, особенно за письмо. Проект вашей ученой критики удивительно хорош. Но вы слишком ленивы, чтоб привести его в действие. Статья Феофилакта Косичкина еще не явилась; не знаю, что это значит: не убоялся ли Надеждин гнева

Фаддея Венедиктовича?[248] – Поздравляю вас с первым вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и другого: толков журналистов и отзыва остренького сидельца[249]. У нас все благополучно: бунтов, наводнения и холеры нет. Жуковский расписался; я чую осень и собираюсь засесть. Ваша Надежда Николаевна, т. е. моя Наталья Николаевна – благодарит вас за воспоминание и сердечно кланяется вам. Обнимите от меня Плетнева и будьте живы в Петербурге, что довольно, кажется, мудрено.

25 августа.

А. П.

Гоголь – Пушкину А. С., 23 декабря 1833

23 *декабря 1833 г. Петербург* [250]

23 декабря 1833.

Если бы вы знали, как я жалел, что застал вместо вас одну записку вашу на моем столе[251]. Минутой мне бы возвратиться раньше, и я бы увидел вас еще у себя. На другой же день я хотел непременно побывать у вас; но как будто нарочно все сговорилось идти мне на-

перекор: к моим геморроидальным добродетелям вздумала еще присоединиться простуда, и у меня теперь на шее целый хомут платков. По всему видно, что эта болезнь запрет меня на неделю. Я решился, однако ж, не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу[252]. Если бы Уваров был из тех, каких не мало у нас на первых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли. Как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском университете, которое мне предлагали, но тогда был Ливен, человек ума недального. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гете. Не говорю уже о мыслях его по случаю экзаметров, где столько философического познания языка и ума быстрого[253]. Я уверен, что у нас он более сделает, нежели Гизо во Франции[254]. Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессо-

ров, которыми набиты университеты.

Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет[255]. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.! Кстати, ко мне пишет Максимович, что он хочет оставить Московский университет и ехать в Киевский. Ему вреден климат. Это хорошо. Я его люблю. У него в «Естественной истории» есть много хорошего, по крайней мере ничего похожего на галиматью Надеждина[256]. Если бы Погодин не обзавелся домом, я бы уговорил его проситься в Киев. Как занимательными можно сделать университетские записки; сколько можно поместить подробностей совершенно новых о самом крае! Порадуйтесь находке: я достал летопись без конца, без начала, об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII века. Теперь покамест до свиданья! как только мне будет лучше, я яв-

люсь к вам.

Вечно ваш *Гоголь*.

Пушкин А. С. – Гоголю, март – первые числа (не позднее 7) апреля 1834

Март – первые числа (не позднее 7) апреля 1834 г. Петербург [257]

Вы правы – я постараюсь. До свидания.

А. П.

Гоголь – Пушкину А. С., 13 мая 1834

13 мая 1834 г. Петербург [258]

13 мая.

Я, раздумавши, увидел, что теперь писать к Левашеву[259] точно будет излишне. Это лучше сделать тогда, когда я буду уже собираться в дорогу, и через меня. Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива. При этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И, сказавши, что я могу весьма легко через

месяц протянуть совсем ножки, завесть речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно.

Вечно ваш *Гоголь*.

Пушкин А. С. – Гоголю, 13 мая 1834

13 *мая 1834 г. Петербург* [260]

Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова[261] и кстати о смерти «Телеграфа»[262] поговорю и о вашей. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожидающему[263]. Авось уладим[264].

Гоголь – Пушкину А. С., май 1834

М*ай 1834 г. Петербург* [265]

Я вчера был у Уварова. Ничего я не могу вам сказать утешительного для себя[266]. Если бы я был хотя в таком состоянии, как вчера, я бы явился к вам. Но теперь я так зло захворал, что никуда не могу носа показать. Если вы будете в нашей стороне и станете проходить мимо Малой Морской, то будьте великодушны и загляните ко мне, страдающему и

телом и духом. Я имею вам кое-что сказать.

Вечно ваш *Н. Гоголь*.

Пушкин А. С. – Гоголю, между 15 октября и 9 ноября 1834

Между 15 октября и 9 ноября 1834 г. Петербург [267]

Перечел с большим удовольствием[268]; кажется, все может быть пропущено. Секцию жаль выпустить[269]: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки[270]. Авось бог вынесет. С богом!

А. П.

Гоголь – Пушкину А. С., конец декабря 1834 г

Конец декабря 1834 г. – начало января 1835 г. Петербург [271]

Вышла вчера довольно неприятная зацепа по цензуре[272] по поводу «Записок сумасшедшего». Но, слава богу, сегодня немного лучше. По крайней мере, я должен ограничиться выкидкою лучших мест[273]. Ну, да бог с ними! Если бы не эта задержка, книга моя, может быть, завтра вышла[274]. Жаль,

однако ж, что мне не удалось видеться с вами. Я посылаю вам предисловие. Сделайте милость, просмотрите, и если что, то поправьте и перемените тут же чернилами[275]. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных предисловий еще не писал и потому в этом деле совершенно неопытен.

Вечно ваш *Гоголь*.

Гоголь – Пушкину А. С., около 22 января 1835

Около 22 января 1835 г. Петербург [276]

Я до сих пор сижу болен, мне бы очень хотелось видеться с вами. Заезжайте часу во втором; ведь вы, верно, будете в это время где-нибудь возле меня. Посылаю вам два экземпляра «Арабесков», которые, ко всеобщему изумлению, очутились в 2-х частях. Один экземпляр для вас, а другой, разрезанный,– для меня. Вычитайте мой и, сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех налицо[277]. Мне это очень нужно.

Пошли вам бог достаточного терпения при

чтении!

Ваш *Гоголь*.

Гоголь – Пушкину А. С., 7 октября 1835

7 *октября 1835 г. Петербург* [278]

Октября 7. 1835. СПб.

Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию[279], которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается по крайней мере за два месяца прежде[280]. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хотя сколько-нибудь главных замечаний. Начал писать «Мертвых душ»[281]. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь.

Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта[282]. Ради бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите «Женитьбу». Обнимаю вас и целую и желаю обнять скорее лично.

Ваш *Гоголь*.

Мои ни «Арабески», ни «Миргород»[283] не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве.

Гоголь – Пушкину А. С., 2 марта 1836

2 *марта 1836 г. Петербург* [284]

Посылаю вам «Утро чиновника». Отправь-

те ее, если можно, сегодня же или завтра поутру к цензору, потому что он может взять ее в Цензурный комитет вместе с «Коляскою», ибо завтра утром заседание. Да возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди и позабыли, что туды нужно включить многое из остающегося у меня хвоста. Я прошу сделать так, чтоб эта сцена шла вперед, а за ней уже о литературе.

Н. Гоголь.

Гоголь и В. А. Жуковский

Вступительная статья

Имя Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) было известно Гоголю еще на школьной скамье. Легко вообразить, с каким трепетом в конце 1830 года в Петербурге Гоголь впервые предстал перед Жуковским, достав от кого-то рекомендательное письмо к нему. Жуковский в это время был одной из самых видных фигур литературного мира. По складу своего характера он охотно оказывал покровительство подающим надежды молодым людям, в число которых попал и Гоголь.

Поручив Плетневу хлопоты об устройстве Гоголя, Жуковский вскоре обратил внимание на его литературные дарования. Уже летом 1831 года, когда Гоголь жил в Павловске на положении учителя в доме кн. Васильчиковых, он часто бывал в Царском Селе, встречаясь там с Пушкиным и Жуковским. Из полной безвестности Гоголь попал в блистательную литературную среду. В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. С. Хомяков – таково было его новое окружение, в котором талант Гоголя получил несомненное признание.

Жуковский не переставал покровительствовать Гоголю на протяжении всей жизни. Он поддерживал притязания Гоголя на профессуру в Киеве, в 1834 году помог ему получить кафедру всеобщей истории в Петербургском университете, в числе многих других ошибочно предполагая в Гоголе педагогический дар. Как воспитатель наследника, Жуковский был близок к царской семье и неоднократно использовал свои придворные связи в интересах Гоголя. Гоголь, со своей сторо-

ны, считал естественным в затруднительных ситуациях обращаться за помощью к Жуковскому, ходатайствовал перед ним и за других нуждающихся (например, за художников А. А. Иванова и А. Т. Маркова). Однако эта сторона отношений, сохранявшаяся вплоть до самых последних лет, не мешала постепенной перемене в характере их связи, которая становится все более задушевной. В 1840-х годах они общались уже на равных.

Сближению Гоголя с Жуковским много содействовала их встреча в Риме (1838), куда Жуковский приехал, сопровождая наследника в его путешествии по Европе. Целыми днями Жуковский и Гоголь бродили по Риму, рисовали с натуры, вспоминали о Пушкине.

Следующая встреча произошла в России, куда Гоголь возвратился в сентябре 1839 года. Большую часть времени он провел в Москве, но побывал и в Петербурге, где около месяца жил у Жуковского в его дворцовой квартире. В 1841 году Жуковский, женившись, окончательно переехал за границу. В 1843 и 1844 годах Гоголь почти по полгода жил у него в Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне. В тот

период оба они трудились над огромными эпическими полотнами: Жуковский переводил «Одиссею», Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ», и их объединяла идея о нравственном совершенстве художника, которое должно лежать в основе литературного творчества как единственная гарантия тому, что поэтическое слово станет благом для мира. Время, проведенное в долгих беседах, раскрывавших глубокую общность душевных стремлений, окончательно сроднило их. В последующие годы они постоянно стремились к встречам, но виделись лишь недолго в 1846 году, а в 1847 году состоялось их последнее личное свидание.

На протяжении двадцати двух лет знакомства Жуковский и Гоголь довольно мало времени провели вместе – их связь поддерживалась перепиской, которая начиная с 1839 года становилась все более оживленной. Тон и активность переписки изменялись в соответствии с тем, как менялись взаимоотношения. В первой половине 1840-х годов более деятелен Гоголь, который временами проявляет беспокойство о причинах молчания Жуков-

ского, тревожится, не переменился ли тот к нему. В последние годы Жуковский жалуется на молчание Гоголя, живущего в России и окруженного друзьями.

Жуковский всегда оставался для Гоголя безусловным авторитетом в литературных вопросах. Когда вышли «Выбранные места из переписки с друзьями», Жуковский, сочувствовавший пафосу книги, высказывал предположение, что она произведет благотворное действие, однако был недоволен тем, что Гоголь выпустил ее со слишком большой поспешностью, отразившейся в неопрятности слога. Несогласный с некоторыми взглядами, высказанными в «Выбранных местах...», Жуковский собирался писать свои замечания в виде ответных писем, из которых могла бы составиться особая книга. Замысел не осуществился в полном объеме, однако три письма все-таки были написаны: это стоящие на грани эпистолярного и публицистического жанров письма Жуковского о смерти, о молитве и о поэтическом слове, которые он намеревался включить в собрание своих сочинений. Последнее письмо он сразу же опубликовал в

«Москвитянине». Мнение Жуковского о «Выбранных местах...» побудило Гоголя написать ему 29 декабря 1847 (10 января 1848) года письмо, в котором он подробно излагал свои взгляды на творчество – те самые, которые выражены в «Авторской исповеди».

Последнее письмо Жуковскому Гоголь написал 2 февраля 1852 года, за три недели до смерти. 5 (17) марта 1852 года, получив известие о кончине Гоголя, Жуковский писал Плетневу из Бадена: «И вот уж его нет! Я жалею о нем несказанно собственно для себя: я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство» (Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М. – Л., 1960, с. 674). Самому Жуковскому оставалось жить чуть больше месяца.

Переписка охватывает период с 1831 по 1852 год. Сохранилось 67 писем Гоголя и 30 писем Жуковского. В настоящем издании публикуется 33 письма Гоголя и 16 писем Жуковского.

Гоголь – Жуковскому В. А., 10 сентября 1831

10 *сентября 1831 г. Петербург* [285]

Спб. Сентяб. 10.

Насилу мог я управиться с своею книгою[286] и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий, с сентиментальною надписью, для Розетти[287], а остальные тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно из типографии в Цензур<ный> комитет, из Цензур. комитета в типографию и наконец теперь только перевел дух. Боже мой, сколько бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга ночной разбойник и украл этот несносный кусок земли, эти двадцать четыре версты от Петербурга до Цар. С<ела> и с ними бы дал тягу на край света или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их вместо завтрака в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов

ваших, возлег у ног Вашего поэтического превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тмочисленного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность; карантины[288] превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э... Но вы не поверите мне, назовете меня суевером. Что всему этому виною не кто другой, как враг честнаго креста церквей господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8-го августа[289]. И к вечеру того же дня

стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:

Окна мелом
Забелены; хозяйки нет,
А где? Бог весть, пропал и след[290].

Осталось воспоминание и еще много кой-чего, что достаточно усладит здешнее одиночество: это известие, что «Сказка» ваша уже окончена и начата другая, которой одно прелестное начало чуть не свело меня с ума. И Пушкин окончил свою сказку![291] Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен удел ваш, Великие Зодчие! Какой рай готовите вы истинным христианам! И как ужасен ад, уготовленный для язычников, ренегатов и прочего сброду: они не понимают вас и не умеют молиться. Когда-то приобщусь я этой божественной сказки?.. Но скоро 12 часов, боюсь

опоздать на почту. Прощайте! извините мою несвязную грамоту! не далось божественное писание в руки. Будьте здоровы, и да почиет над вами благословение божие, и да возбуждает оно вас чаще и чаще ударять в священные струны; а я, ваш верный богомолец, буду воссылать ему теплые за сие молитвы.

Вечно ваш неизменный

Гоголь.

Моя квартира в II Адм<иралтейской> ч<асти> в Офицерской улице, в доме Брунста.

Гоголь – Жуковскому В. А., 15 июля 1835

15 *июля 1835 г. Полтава* [292]

Полтава, июля 15. 1835.

Человек, страшно соскучивший без вас, шлет вам поклон из дальнего угла Руси с желанием здоровья, вдохновенья и всех благ. Может быть, вы и не догадаетесь, что этот человек есть Гоголь, к которому вы бывали всегда так благосклонны и благодетельны. Все почти мною изведано и узнано, только на Кавказе не был, куда именно хотел направить путь. Проклятых денег не стало и на по-

ловину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральных грязях. Впрочем, здоровье, кажется, уже от однех переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество[293], так что если бы не жаркое лето, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьев. Но жар вдыхает страшную лень, и только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною вам. Через месяц я буду сам звонить <в> колокольчик у ваших дверей, крехтя от дюжей тетради. А теперь докучаю вам просьбою: вчера я получил извещение из Петербурга о странном происшествии, что место мое в Пат<риотическом> инст<итуте> долженствует заместиться другим господином[294]. Что для меня крайне прискорбно, потому что, как бы то ни было, это место доставляло мне хлеб, и притом мне было очень приятно занимать его, я привык считать чем-то родным и близким. Мне странно, потому что не имеет права сделать этого Лонгинов, и вот почему. Когда я просился на Кавказ для поправления здоровья, он мне сказал, что причина моя законна и никакого препятствия нет на мой отъезд.

Зачем же он мне тогда не сказал, что поезжайте, но помните, что вы чрез это лишитесь своего места, тогда другое дело, может быть, я бы и не поехал. Впрочем, Плетнев мне пишет, что еще о новом учителе будет представление в августе месяце первых чисел, и что если императрица[295] не согласится, чтобы мое место отдать новому учителю, то оно останется за мною. И по этому-то поводу я прибегаю к вам, нельзя ли так сделать, чтобы императрица не согласилась. Она добра и, верно, не согласится меня обидеть. Впрочем, что то будет, то будет, а верно, будет так, как лучше. Все, что ни случалось, доброе и злое, все было для меня хорошо. Дай бог, чтобы и вперед так было. Желая вам всего, что есть для нас лучшего, обнимая вас, целуя и оставаясь с совершенным почтением и глубокой преданностью,

всегда ваш *Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 16(28) июня 1836

16 *(28) июня 1836 г. Гамбург* [296]

Гамбург, 28 июня.

Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед моим отъездом, тем более что отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и, где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам[297]. Вечно вы будете представляться слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!.. Низким и пошлым почитал я выражение благодарности моей к вам. Нет, я не был проникнут благодарностью; клянусь, это что-то выше, что-то больше ее; я не знаю, как назвать это чувство, но катящиеся в эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорит, что оно одно из тех чувств, которые редко достаются в удел жителю земли! Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в

душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст.

В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор?[298] Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видны нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которые бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом. О, какой непостижимо изумительный смысл имели все случаи и обстоятельства моей жизни! Как спасительны для меня были все неприятности и огорчения. Они имели в себе что-то эластическое, касаясь их, мне казалось, я отпрыгивал выше, по крайней мере чувствовал в душе своей крепче отпор. Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была

на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни. И нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее. Не знаю, как благодарить вас за хлопоты ваши доставить мне от императрицы на дорогу[299]. Если это сопряжено с неудобствами или сколько-нибудь неприлично, то не старайтесь об этом. Я надеюсь, что при теперешней бережливости моей могу как-нибудь управиться с моими средствами. Правда, разделавшись с Петербургом, я едва только вывез две тысячи, но, может быть, с ними я протяну как-нибудь до октября, а в октябре месяце должен мне Смирдин вручить тысячу с лишком[300]. С петербургскими мо-

ими долгами я кое-как распорядился, иные выплатил из моей суммы, другие готовы подождать. Если же, на случай, вы получите для меня деньги, то вручите их Плетневу, который мне может переслать, если мне придется большая надобность. – Я еду теперь прямо в Ахен. Письмо же к Коппу отправил по почте вчера. Раньше никак не мог. Наше плавание было самое несчастное: вместо четырех дней пароход шел целые полторы недели по причине дурного и бурного времени и беспрестанно портившейся пароходной машины. Один из пассажиров, граф Мусин-Пушкин, умер. В Ахене я дождусь совета Коппа, к которому послал описание моей болезни, впрочем не слишком важной. В Ахене я займусь месяца два языками, потому что мне чрезвычайно трудно изъясняться, и потом еду на Рейн. Передайте мой поклон князю Вяземскому и благодарите его от меня за его участие и письмо. Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем, он в этом виноват[301]. Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни[302]. Плетневу скажите, что я буду пи-

сать к нему из Ахена и что я очень сильно жму ему руку. Желая вам как можно лучше, веселее проводить время и прося вас думать иногда о том, который думать о вас почитает праздником и приготовляет только на закуску после трудов,

остаюсь навсегда ваш *Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 31 октября (12 ноября) 1836

31 *октября (12 ноября) 1836 г. Париж* [303]

12 ноября.

Я давно не писал к вам. Я ждал, чтобы минуло лето, потому что в это время обыкновенно как-то мало вспоминается об отсутствующих. К тому ж у меня не было ничего достойного писать к вам. Но я знаю, что вы меня любите и что с наступлением осени вы вспомните обо мне, который каждую минуту вас видит перед собою. Я к вам писал, кажется, в самом начале моего путешествия.

Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом[304]; для этого поселился в загородном доме близ Же-

невы. Там принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скотта. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве. Никого не было в Веве; один только Блашне выходил ежедневно в 3 часа к пристани встречать пароход. Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шиль<онского> узник<а>»[305]; впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев – внизу последней колонны, которая в тени; когда-нибудь русской путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин. Недоставало только мне завладеть комнатой в вашем доме[306], в котором живет теперь великая кн. Анна Федоровна.

Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нуж<но> его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы, мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня приходившего к вам, и брали меня за руку, и были рады моему приходу... и мне сделалось страшно скуч-

но, меня не веселили мои «Мертвые души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя, увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии. Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать. Здесь встретил я своего двоюродного брата[307], с которым выехал из Петербурга. Это лучший из выпущенных вместе со мною из Нежина. Жаль, что вы не знаете его стихов, которые под величайшим страхом показал он только одному мне, и то не прежде, как затворивши все двери, чтобы и французы не услышали.

Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня: мест для гулянья множество – одного сада Тюльери и Елисей-

ских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо. Бог простер здесь надо мной свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Левиафан[308] затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем: слышу кое-что из него... божественные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в «Мертвые души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпенье! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня и

потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез, произнесут примирение моей тени. Пришлите мне портрет ваш. Ради всего, что есть для вас дорогого на свете, не откажите мне в этом, но чтобы он был теперь снят с вас. Если у вас нет его, не поскупитесь, посидите два часа на одном месте; если вы не исполните моей просьбы, то... но нет, я не хочу и думать об отказе. Вы не захотите меня опечалить. Акварелью в миниатюре, чтобы он мог не сворачиваясь уложиться в письмо, и отдайте его для отправления Плетневу. Я вам пришлю свой, который закажу я налитографировать только в числе пяти экземпляров, чтобы никто, кроме моих ближайших, не имел его. Напишите что-нибудь ко мне, хоть только две строчки, что вы здоровы и что получили мое письмо. Если б вы знали, какую бодрость вдвинут в меня ваши строки. Я думаю, что я пробуду в Париже всю зиму, тем более что здесь жить для меня несравненно дешевле, нежели было доселе в Германии и Швейцарии. А с началом февраля отправлюсь в Италию, если только холера прекратится, и «Души» потекут тоже за мною.

Адрес мой: Place de la Bourse, № 12.

Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но, несмотря <на это>, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет «Мертвых душ». Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело. Прилагаемое письмо прошу вас покорнейше вручить Плетневу немедленно, оно нужное.

Будьте всегда здоровы и веселы, и да хранит вас бог от почечуев и от встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать[309], – и да бегут они от вас, как ночь бежит от дня.

Прощайте до следующего письма.

Гоголь – Жуковскому В. А., 6(18) апреля 1837

6 *(18) апреля 1837 г. Рим* [310]

1837. Апреля 18/6. Рим.

Я пишу к вам на этот раз с намерением удручить вас моею просьбою. Вы одни в мире, которого интересует моя участь. Вы сделаете, я знаю, вы сделаете все то, что только в пределах возможности. Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки, впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание[311]. Я дорожу теперь

минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен: здесь, в Риме, около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из академии, из которых иные рисуют хуже моего, они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я бы был обеспечен, актеры получают по 10 000 сер<ебром> и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду. На меня находят часто печальные мысли – следствие ли это ипохондрии или чего другого. Доктора больше относят к первому. Я и сам готов с ними согласиться, но вы можете видеть, что мои слова с своей стороны также справедливы. Рассмотрите положение, в котором я нахожусь, мое болезненное состояние, мою невозможность занятия чем-нибудь посторонним и дайте мне спасительный совет, что я должен сделать для того, чтобы протянуть на свете свою жизнь до тех пор,

покамест сделаю сколько-нибудь из того, что мне нужно сделать. Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив, мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему «Ревизору»[312]. Я написал письмо, которое прилагаю[313]; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, вручите; если же оно написано не так, как следует, то – он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги, как дети. Но я знаю, вы лучше и приличнее скажете, нежели я. Не в первый раз я обязан многим, многим вам, чего сердце не умеет высказать, и я бы почувствовал на душе совесть беспокоить вас, если б вы не были вы. Но в сторону все это; я с вами говорю просто, и я бы покраснел до ушей, если бы сказал вам какой затейливый комплимент. Если бы мне такой пансион, какой

дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хотя такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся тем более, что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. Все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется прямо от души... О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь все то, что угодно богу. На его и вас моя надежда[314]. Уведомьте меня вашей строчкой или скажите Плетневу – он, может быть, ко мне напишет. Прощайте. Храни бог, прекрасную вашу жизнь! Я ничего не пишу к вам теперь ни о Риме, ни об Италии. Меня одолевают теперь такие печальные мысли, что я опасаюсь быть

несправедливым теперь ко всему, что должно утешать и восхищать душу. Может быть, это отчасти действие той ужасной утраты[315], которую мы понесли и в которой я до сих пор не имею сил увериться, которая, кажется, как будто оборвала с моей души лучшие ее украшения и сделала ее обнаженнее и печальнее.

Ваш *Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 18(30) октября 1837

18 *(30) октября 1837 г. Рим* [316]

Октябрь 30. Рим. 1837.

Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение[317]. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей. Но может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям. Но до вас может досягнуть моя благодарность. Вы, всё вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною! Как будто нарочно дала мне судьба

тернистый путь и сжимающая нужда увила жизнь мою, чтобы я был свидетелем прекраснейших явлений на земле. Вексель с известием еще в августе месяце пришел ко мне в Рим, но я долго не мог возвратиться туда по причине холеры. Наконец я вырвался. Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. – Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна: вы да три, четыре оставивших вечную радость воспоминания в душе моей не перешли в действительность. Еще одно безвозвратное... О Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение. Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге, но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Гляжу

как исступленный на все и не нагляжусь до сих пор. Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо, и я восхищался ими даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию. Но теперь, когда я побывал в них после Италии, низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами, и мне кажется, как будто я был в Олонецкой губернии и слышал медвежее дыхание северного океана. И неужели вы не побываете здесь и не поглядите на нее, и не отдадите тот поклон, которым должен красавице природе всяк кадящий прекрасному? Здесь престол ее. В других местах мелькает одно только воскраие ее ризы, а здесь она вся глядит прямо в очи своими пронзительными очами. – Я весел; душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни! еще бы жизни! Я ничего еще не сделал, что бы было достойно вашего трогательного расположения. Но может быть, это, которое пишу ныне, будет достойно его. По крайней мере мысль о

том, что вы будете читать его некогда, была одна из первых оживляющих меня во время бдения над ним. Храни бог долго-долго прекрасную жизнь вашу!..

Ваш *Гоголь*.

Мой адрес: Strada Felice, № 126, Ultimo piano.

Прошу вас покорнейше отдать эти письма Александре Осиповне Смирновой и Андрею Карамзину.

Гоголь – Жуковскому В. А., вторая половина февраля 1839

Вторая половина февраля 1839 г. Рим [318]

Рим. Февраль 1839.

Вот уже неделя, как вас нет в Риме[319], а я все еще нахожусь в таком состоянии, как будто бы вы уехали только сегодня поутру: то есть разинув рот, глупо глядя вслед уезжающей вашей карете и не зная потом, куда направить шаги свои. Два первые дня я решительно не знал, за что приняться. Если бы хотя была в это время гадкая, дождливая погода, но, как на беду, дни были чудные, каких при

вас еще не было, теплые, потопленные в солнце. Я отправился в Колисей, на Форум Roma<num> и так странно глядел на все это, как еще никогда не глядел. Я возвратился в город смутно, а к вечеру мне сделалось просто скучно. Подлец Лауниц не прислал мне вашего бюста, который он просил удержать на две минуты и которого я до сих пор не могу у него добиться. Как я терпеть не могу этого человека, и странно, что это чувство разделяют все видящие его в первый раз. Моя комната была бы тогда полнее и лучше, успокоительней, а теперь мне все кажется, что из ней кто-то сию минуту выехал или выезжает, что половину уложенный чемодан стоит посередине, по всем углам клоки оберточной бумаги, веревочек, старого белья. – Где вы теперь в эту самую минуту, когда пишу? к какому месту подъезжаете? Слышите ли и видите ли эти божественные дни, которые теперь настали, передовые гонцы несущейся уже недалеко весны? Как я их люблю. Боже, если бы вы встретили их еще здесь! но кто знает, может быть, вы бы не захотели тогда выехать из Рима. Чудное время! Я бы был счастлив совер-

шенно, если бы в мое наслаждение не вмешалось несколько из того томительного чувства, какое чувствует школьник, когда учитель его отправится гулять за город с его товарищами, а его оставит за леность одного в маленьком школьном садике, и он видит пропадающий вечер и видит сквозь него, глазами воображения, вдали луг, на нем свет солнца, кучу товарищей, летящий вверх мяч, веселые крики. Все видит он и не хочет оторваться от своего зрелища, натирая кулаком и рукавом свою упрямо-кислую рожу и не спуская глаз с опускающегося ежеминутно ниже солнца. Моя портфель с красками готова, с сегодняшнего дня отправляюсь рисовать на весь день, я думаю, в Колисей. Обед возьму в карман. Дни значительно прибавились. Я вчера пробовал рисовать. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок. Если бы вы остались здесь еще неделю, вы бы уже не принялись за карандаш. Колорит потеплел необыкновенно, всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, кажется, воют к вам и просят красок. Как чудно! в других ме-

стах весна действует только на природу: вы видите, оживает трава, дерево, ручей. Здесь же она действует на все: оживает развалина, оживает плис на куртке бирбачена[320], оживает высеребренная солнцем стена простого дома, оживают лохмотья нищего, оживает ряса капуцина с висящими назади капучио, даже этот продукт, которого мы находили целые плантации, разведенные трудолюбивыми римлянами под всеми почти стенами и оградами, принял какой-то весьма приятный для глаз коричневый цвет. А сами производители его теперь попадаются несравненно чаще и совершенно как дома: скидают и галстук и подтяжки и в таком количестве, что рады или не рады, а к вам который-нибудь непременно попадет в первый план. – Было, помните, мы гонялись за натурою, то есть движущеюся, а теперь она сама лезет в глаза: то осел, то албанка, то аббат, то, наконец, такого странного рода существа, которых определить трудно. Вчера, например, когда я рисовал, стал прямо против меня мальчишка, у которого были такого рода странные штаны, каких, без сомнения, ни один портной не

шил. Я потом уже догадался, что они переделаны из отцовской разодранной куртки, но только дело в том, что они не перешиты, а просто ноги вдеты в рукава и на брюхе подвязано веревкой, вход к <.....> совершенно свободен, так что он может копаться в ней руками сколько душе угодно и, не скидая этих штанов, может по примеру отцовскому разводить коричневые плантации под стенами развалин. В Колизее явились проповеди, толпы народа и монахи с белыми бородами и одетые все снизу доверху в белое, как древние жрецы. Драпировка чрезвычайно счастлива для нашего брата mezzo[321]-художника. Один взмах кисти – и монах готов. Вчера солнце осветило мне одного из них, тогда как все прочие были обняты тенью. Это было прелесть как эффектно и как легко рисовать. Вчерашний день кончились празднества по случаю избрания двух кардиналов, большим фейерверком на Монте Citorio, где пушки, между прочим, составили какой-то музыкальный концерт. Все три дни Рим был иллюминован так, как теперь не иллюминуют в других городах. Целые пылающие стены до-

мов! Смоляные бочки по всем улицам. Я заглянул в Монте Pincio – прелесть! Вообразите: смоляных бочек не видно, а только стены в огне. Так что кажется, весь город греется у очага. Вот вам новость старых времен: на два дни езды из Рима вырыт на прошлой неделе новый амфитеатр, почти равный величиной с Teatro Marcello[322], весь первый этаж цел, много обломков от колонн и статуи; думают на дне найти целые. Первым временем установившейся весны воспользуюсь и поеду поглядеть. Теперь жаль на минуту оставлять Рима – так он хорош и такая бездна предметов для рисования. Доживу ли я <до> того времени, когда вновь сядем вместе оба с кистями? Верите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдруг оборачиваюсь, чтобы сказать слово вам, и, оборотившись, вижу и как будто слышу пустоту по крайней мере на несколько минут, в земле, где всякое место наполнено и где нет пустоты. Даже болвана Антония не встретили мои глаза, по крайней мере я бы тогда обрадовал<ся> его присутствию. Как странно, когда встретишь вдруг среди улицы слугу, которого мы знали в услужении близ-

ким и дорогим нашему сердцу, который теперь служит другим. С первого разу вдруг подойдешь к нему с живостью, мысль о господах его не отрешилась еще от него в глазах наших. Даже спросишь, как, что твои господа? И потом вдруг остановишься, вспомнивши, что теперь господа его чужие. Вот настоящая мефистофелевская насмешка над человеком. – Здесь только в первый раз видишь поэзию крепостного человека. Я бы очень желал знать, как ваш теперь маршрут: где и сколько дней? и не знаю, как бы это сделать. Вам об этом некогда меня уведомить. Поручите кому-нибудь маленькие два слова, только главное, нет ли то есть главных изменений в вашем маршруте. Чтобы я знал, куда писать к вам. Может быть, вам некогда и читать мои письма. Но теперь это моя потребность, мне кажется, я стал веселее, написавши к вам письмо.

Гоголь – Жуковскому В. А., около 4 января 1840

Около 4 января 1840 г. Москва [323]

Даже не помню, благодарил ли вас за пе-

тербургский приют и любовь вашу[324]. Боже! как я глуп, как я ничтожно, несчастно глуп! и какое странное мое существование в России! какой тяжелый сон! о, когда б скорее проснуться! Ничто, ни люди, встреча с которыми принесла бы радость, ничто не в состоянии возбудить меня. Несколько раз брался за перо писать к вам и как деревянный стоял перед столом, казалось, как будто застыли все нервы, находящиеся в соприкосновении с моим мозгом, и голова моя окаменела. – Мне отдали сию минуту ваше письмо: вы заботились, вы хлопотали обо мне, и мне ту же минуту представились живые глаза ваши и в них выраженное ко мне участие... чем благодарить вас? Клянусь, я был утешен им в нынешнем моем горьком положении в тысячу раз более, чем жидовским предложением Смирдина[325]. Но поговорим о предложении Смирдина. Я вам говорил, что нет никакой выгоды издавать теперь все мои сочинения вместе. Что хотя разошлись экземпляры «Ревизора» и «Миргорода», но еще довольно и «Арабесок», и особенно «Вечеров на хуторе», и что, кроме «Ревизора», они вовсе не требуют-

ся так жадно, чтобы можно было предпринимать издание, а доказательством, что это правда, служит бездельная сумма, предлагаемая Смирдиным. Но такая моя участь: книгопродавцы всегда пользовались критическим моим положением и стесненными обстоятельствами. Обожди я год, покамест выйдет мой новый роман и обратит на себя четыре тысячи читателей, тогда бросятся вновь на мои сочинения, ныне забытые. А между тем переждутся нынешние тяжелые, голодные, неурожайные годы, уменьшившие число покупателей. Книгопродавцы говорят гласно, что у них теперь нет денег и что те, которые покупали прежде книги, отложили эти деньги на поправку расстроенных неурожаем имений.

Нужно же, как нарочно, чтобы мне именно случилась надобность в то время, когда меня более всего можно притеснить и сделать из меня безгласную, страдающую жертву. Точно, я не помню никогда так тяжелых моих обстоятельств. Все идет плохо: бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, продают с молотка, и где ей придется преклонить

голову, я не знаю[326]; предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рушилось[327]; я сам нахожусь в ужасно-бесчувственном, окаменевшем состоянии, в каком никогда себя не помню. Когда же лучше книгопродавцам употребить в свою пользу мое горе? Я Смирдина не осуждаю безусловно, он поступал с другими хорошо, но со мною всегда жидовским образом. И после всего того, что он со мною делал, я должен опять перед ним унизиться. Я, признаюсь, думал, что вы сделаете предложение другому книгопродавцу; мне кажется, я вам говорил, что с Смирдиным я не хочу иметь сношений. Но может быть, вам неизвестно, в чем может быть здесь жидовство Смирдина. Вот в чем: мне дают за одну третью часть, то есть за пиэсы, назначенные вами в первый том собрания, как-то: «Ревизор», «Женитьба» и отрывки из неоконченной комедии[328], 6 тысяч. И признаюсь, я уже готов был согласиться, несмотря на то что смерть не хотелось, чтобы мои незрелые творения, как-то «Женихи»[329] и неоконченная комедия, являлись в свет. Но нужда заставила на все решиться. Я уже было

предался минуты на две отдохновению, даже веселил себя мыслью, что наконец разделаюсь как-нибудь с моими тяжелыми обязанностями и светлый, с оживленною душою отправлюсь в мой обетованный рай, в мой Рим, где вновь проснусь и окончу труд мой. Но это была мечта и обрадовала меня только на минуту. Я отыскал из недоконченной комедии только два отрывка, она вся осталась в Риме. А где делись «Женихи», я до сих пор не могу постигнуть. Мне кажется, как будто я взял ее из Рима с собою, но сколько ни рылся в бумагах, в чемодане, в белье, нигде не мог отыскать. Пропала ли она где-нибудь на дороге, или выбросили ее таможенные, рывшиеся в моем чемодане, или лежит она в Риме на моей квартире в моем сундуке – ничего не знаю. Знаю только, что я теперь погрузился опять в мое ужасно-бесчувственное состояние. Рушилась последняя возможность, и если бы даже принужден был принять предложение Смирдина, то и его условий не могу теперь исполнить[330]. Но согласитесь сами, что мне нужно быть решительно глупу, чтобы согласиться. Если за третью часть этого собрания дают

уже 6 тысяч, то, верно, за другие две хоть три дадут. Вот уже 9 т<ысяч>. Но я теряю много, издавая их теперь, что мне говорят и книгопродавцы и литераторы, имеющие частые сделки[331], и, наконец, тяжелое и голодное время, угрожающее также и в нынешнем году, если даже не более. Ширяев мне дает за эти же самые сочинения, с условием только, если я выдам вперед роман, 16 т<ысяч>, а может быть, даже, говорит, и более, а теперь не дает ничего, потому что малой суммы не хочет мне предлагать, чтобы не сказали, что он меня обманул и воспользовался моим незнанием; а Смирдин не посовестился. – Притом разве вы не видите, в какие я попадаюсь кохти к Смирдину, принявши его условия. Заметьте, какое малое число экземпляров он печатает, для того чтобы счет за экземпляры не был велик. А кто поручится, что он напечатает только полторы, а не три или четыре тысячи,– ведь этого на лице Смирдина не увидишь; а мне же не нанимать шпиона смотреть, что у него делается дома и в типографии. – И что мне из того, что право на два года, тогда как он обеспечит себя экземплярами

на 20 лет. Если бы это были новые сочинения – то, конечно, выгодно продать на два года, зная, что в эти два года экземпляры разойдутся все и можно предпринять новое издание. А тут все уже кончено – уж другого издания при жизни мне не видать. – Это последний ресурс, и я не могу теперь так рискнуть. Тогда я был один. Теперь у меня разоренное семейство.

Итак – решился не продавать моих сочинений, но употребить и поискать всех средств если не отразить, то хоть отсрочить несчастное течение моих трудных обстоятельств как-нибудь на год, уехать скорее как можно в Рим, где убитая душа моя воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму и весну, приняться горячо за работу и, если можно, кончить роман в один год. Но как достать на это средств и денег. Я придумал вот что: сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие, составьте сумму в 4000 р. и дайте мне взаймы на год. Через год я даю вам слово, если только не обманут мои силы и я не умру, выплатить вам ее с процентами. Это мне даст средство как-ни-

будь и сколько-нибудь выкрутиться из моих обстоятельств и возвратит на сколько-нибудь меня мне. – Дайте ваш ответ, и, ради бога, скорее[332]. Я ожидаю с нетерпением.

Вечно ваш

Гоголь.

Гоголь – Жуковскому В. А., 3 мая 1840

3 *мая 1840 г. Москва* [333]

Москва. Май 3.

Пишу к вам впопыхах. Перед выездом. Я запоздал за тем и другим. Сделал кое-какую сделку с третьею частью моих сочин<ений>. Деньги получу не вдруг и не теперь, но верные. От Погодина вы получите половину в этом году того долга, который вы для меня сделали, благодаря великодушной любви вашей. Теперь у меня на душе покойнее, и я чувствую даже, чего давно не чувствовал, какое-то тайное расположение к труду. О, если бы отошли и унеслись от меня последние тревоги. Духу моему теперь нужно спокойствие, совершенное спокойствие. Теперь должен я повергнуть к ногам вашим просьбу. Просьбу, которую мне посоветовали сделать в одно и

то же время к<нязь> Вяземский и Тургенев, как будто по вдохновению. Кривцов получил, как вам известно, место директора основывающейся ныне в Риме нашей Академии художеств, с 20 тысячами рублей жалованья <в> год. Так как при директорах всегда бывает конференц-секретарь, то почему не сделаться мне секретарем его[334]. Здесь я даже могу быть полезным, я, решительно бесполезный во всем прочем. А уж для меня-то наверно это будет полезно, потому что тогда мне, может быть, дадут рублей 1000 серебр<ом> жалованья. О, сколько бы это удалило от меня черных и смущающих мыслей. И почему же, когда все что-нибудь выигрывают по службе, одному мне, горемыке, отказано. Если б это исполнилось, я бы был человек, счастливейший в мире, не потому, что достал средство пропитания, черт с ним, я бы за свое пропитание гроша не дал, если бы знал, что существование мое протащится без дела, но потому, что я возвращу тогда себе себя. Я устал совершенно под бременем доселе не слегавших с меня вот уже год с лишком самых тягостных хлопот. Теперь надежда оживила меня, я чув-

ствую готовность на труд, даже не знаю – что-то вроде вдохновения, давно небывалого, начинает шевелиться во мне. О, если б теперь спокойствия и уединения! Что вы теперь делаете? увижу ли я вас дорогою? как бы мне хотелось переговорить с вами. Но вы можете и сами собою видеть дело и сделать очень много. Мне что-то говорит внутренно, что вы сделаете этим очень доброе дело. Вы можете это обстоятельство представить государю наследнику и расположить его в мою пользу и написать от себя письмо об этом к Кривцову. Если бы великий князь, увидевши Кривцова, что, верно, случится, изъявил бы ему хотя малейшее свое желание, то я уверен, что Кривцов тогда бы изо всех сил просил, чтобы меня дали ему в секретари. Если бы вы знали, как мучится моя бедная совесть, что существование мое повиснуло на плечи великодушных друзей моих. Хотя я знаю, что они с радостью и охотно поделились со мною, но я знаю также, что все доброе и великодушное на свете есть само по себе уже голь, и лохмотье ему дается, как звезда на грудь или Анна на шею за труды. – Не смея ничему верить и почти

дрожа от ожидания, посылаю я вам это письмо, которое, вероятно, не так связно, чтобы можно было видеть из него ясно положение, но я пишу его к вам, а вы видите душу и смысл там, где умный человек без сердца не найдет ни души, ни смысла.

Прощайте. Если захочется вам дать мне о чем-нибудь знать скоро, то адресуйте в Вену в poste restante (до июля месяца). Если же после этого времени (в августе месяце), то в Рим.

Ваш и до гроба, и за гробом,

и по эту сторону, и по ту сторону жизни *Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., январь – апрель 1841

Январь – апрель 1841 г. Рим [335]

Письмо это вручит вам Алексей Тарасович Марков, которого вы уже знаете. Он стоит покровительства и по таланту своему, и по душевной доброте своей. Окажите ему ваше подчас заступничество, где будет нужно[336]. Я уверен, что он много сделает хорошего, если только ему будут задавать предметы сообразные с его образом мыслей и направлением

его художества. Нельзя вдвинуть в человека того, чего элементов в нем нет, и нельзя отнять или затемнить или переделать в нем то, для чего существуют в нем элементы. Религиозное значение живописи – не Маркова дела. Физическая и моральная борьба человека сильного с близкою опасностью – его дело. Тут у него сильный, отважный размах, доказательство в его картине, которую он покажет вам. Что вы делаете? Здоровы ли вы, веселы ли, думаете ли о мне? – Я ничего не знаю и не слышу о вас – это грустно. Я не скажу, что я здоров. Нет, здоровье может быть еще хуже, но я более нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы. – Вся жизнь моя отныне – один благодарный гимн. – Не пеняйте, что я до сих пор не уплачиваю вам взятых у вас денег. Все будет заплочено, может быть, нынешней же зимою. Наконец не с потупленными очами я предстану к вам, а теперь я вижу и дивлюсь сам, как живу во всех отношениях ничем, и не заботусь о жизни, и не стыжусь быть нищим.

Я вас увижу и обниму, прощайте!

Гоголь – Жуковскому В. А., первая половина октября 1841

Первая половина октября 1841 г. Берлин [337]

Берлин.

Я еще, как вы видите, до сих пор не в России и пишу к вам теперь из Берлина, пишу об Иванове – по делу, о котором мы уже с вами говорили. Я посылаю к вам письмо, которое я написал вчерне для него к велик<ому> князю. Копию с него я послал уже к нему. Недели через две или три после сего письма вы получите от него письмо. Ему нужно помочь, иначе грех будет на душе: помочь таланту значит помочь не одному ближнему, а двадцати ближним вдруг. Препровождая письмо его к наследнику, я думаю, вам достаточно будет сказать только то, что Иванов, умоляя вас о ходатайстве о доставлении письма, представил много по всей справедливости убедительных причин на разрешение продолжения пансиона еще на три года и что вы с своей стороны можете засвидетельствовать: что

Иванов дни и ночи сидел над картиною[338]; что отказался от всех работ и заказов, чтобы ускорить ее окончание; что не ищет ничего, никаких других наград, кроме средств и возможности ее окончить; что со всех сторон слышны самые благоприятные отзывы о его картине; что картина Обервека[339], вдвое меньше по величине холста, заняла, однако же, труда на 10 лет с лишком и что, наконец, жаркою любовью к искусству, простирающейся до самоотвержения, мудрою скромностью и смиреньем украшен художник, вполне заслуживающий всякого внимания и покровительства. Нельзя, чтобы слова сии не произвели действия, ибо они чистая правда. Прощайте, целую вас заочно. Пошли вам бог всякого добра, а с тем вместе и высшее всех благ вдохновение.

Гоголь.

Гоголь – Жуковскому В. А., 14(26) июня 1842

14 *(26) июня 1842 г. Берлин* [340]

Июня 26. Берлин.

В силу выбрался я из России[341] и опоз-

дал. Пишу к вам на дороге в Гастейн, куда велят мне ехать купаться. Еще вчера я думал было ехать к вам прежде в Дюссельдорф, но, взглянувши на дорожную карту, с ужасом заметил, что кругу приходится более нежели вдвое. Но ни болезнь, ни усталость, ниже самое положение кошелька моего не отвлекли бы меня от такого предприятия, если бы не мысли, пришедшие мне вслед за тем в голову и поколебавшие меня: ведь мне неизвестны, подумал я, ваши распоряжения. Ну что, если я приеду в Дюссельдорф, усталый, измученный, и не найду вас там, и должен вместо вас опять насладиться надоевшими до смерти видами Рейна, городом Франкфуртом и прочим добром? В Петербурге же мне сказывали, что вы, для здоровья жены вашей, собирались куда-то на воды. И притом мне не хотелось коекак, впопыхах и наскоро видеться с вами. Мне не хотелось, чтобы свиданье наше было похоже на свиданье прошлого году[342], когда у вас много было забот и развлечений и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни, и было вовсе не до меня, и когда мне, тоже подавленному многими ощущениями,

было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей тогда были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая передать вам сколько-нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и, может быть, до сих пор осталось в душе вашей недоумение, за кого принять меня и что за странность произошла внутри меня. Но и теперь я ничего вам не скажу, и о чем говорить? Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. Много труда и пути и душевного воспитанья впереди еще!

Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования.

Вот все, что могу сказать вам! и вместе с тем силою стремлений моих, силою слез, силою душевной жажды быть достойну того благословляю вас. Благословенье это не бессильно, и потому с верой примите его. О житейских мелочах моих не говорю вам ничего, их почти нет, да, впрочем, слава богу, их даже и не чувствуешь и не слышишь. Посылаю вам «Мертвые души». Это первая часть[343]. Вы получите ее в одно время с письмом по почте, по уверению здешнего почтового начальства, в три дни. Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы[344], но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими имеющими последовать ей частями. Она в отношении к ним все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах, а без сомнения, в

ней наберется немало таких погрешностей, которых я пока еще не вижу. Ради бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно. Не соблазняйтесь даже счастливым выраженьем, хотя бы оно показалось на первый вид достаточным выкупить погрешность. Не читайте без карандаша и бумажки и тут же на маленьких бумажных лоскутках пишите свои замечания. Потом, по прочтении каждой главы, напишите два-три замечанья вообще обо всей главе. Потом о взаимном отношении всех глав между собою и потом, по прочтении всей книги, вообще обо всей книге и все эти замечания, и общие и частные, соберите вместе, запечатайте в пакет и отправьте мне. Лучшего подарка мне нельзя теперь сделать ни в каком отношении[345]. Напишите мне, когда придется вам особенная и сильная потребность меня видеть. Я приеду, несмотря ни на издержки, ни на хворость, ни на скуку немецкого пути. Дайте мне отчет и адрес, когда и где, в каких местах вы будете в продолжение этого года, чтобы я знал наперед, откуда будет мне удоб-

нее, ближе и лучше к вам проехать. Но лучше всего, если бы вы провели эту зиму в Риме[346]. Это было бы особенно благодетельно для здоровья вашей супруги, не говоря уже о том, что теперешняя жизнь ваша была бы куды полнее тогдашнего мгновенного вашего пребыванья в Риме. Туда переселим мы и Языкова, которому римский воздух будет во всех отношеньях благотворен. А пока посылаю вам вместе с «Мертвыми душами» статью мою «Рим»; помещенную в «Москвитянине»[347], которую я для вас отпечатал отдельною брошюрою.

Прощайте! молюсь душою о всем, что мило и дорого вашему сердцу. Будьте светлы, ибо светло грядущее; и чем темней помрачается на мгновенье небосклон наш, тем радостней должен быть взор наш, ибо потемневший небосклон есть вестник светлого и торжественного проясненья. Безгранична, бесконечна, беспредельней самой вечности беспредельная любовь бога к человеку. Прощайте! Покамест напишите мне только два слова, что письмо это и книги получены вами исправно. Адресуйте в Гастейн близ Зальц-

бурга.

Ваш *Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 20 октября (1 ноября) 1842

20 *октября (1 ноября) 1842 г. Рим* [348]

Рим. Ноябрь 1.

Отчего же нет от вас ни строчки? Отчего не хотите вы сказать ни слова о «Мертвых душах» моих, зная, что я горю и снедаем жаждой знать мои недостатки? Или вы разлюбили меня? Но если не хотите ничего сказать обо мне, скажите по крайней мере о себе! Что вы? Здоровы? Где будете весною, где хотите провесть лето? Уведомьте меня об этом, чтобы я мог найти вас и не разминуться с вами. Мне теперь нужно с вами увидеться, душа моя требует этого. Будьте же добры, известите меня обо всем этом. Адресуйте в Рим. Via Felice, № 126, 3 piano.

Ваш *Гоголь*.

В. А. Жуковский – Гоголю, 2(14) ноября 1842

2 *(14) ноября 1842 г. Дюссельдорф* [349]

Любезнейший Николай Васильевич, не сердитесь на мое молчание, не толкуйте его криво и верьте моей искренней к вам дружбе с письмами от меня и без писем. Еще я не послал к вам критики на ваши «Души», потому что это работа большая, а я не скоро могу решиться на длинное письмо. Вам же моя критика не так теперь необходимо нужна – книга уже напечатана. Вообще же мое мнение о знакомых мне отрывках вы знаете.

Но теперь не место говорить о мертвых душах – я взял перо, чтобы сказать вам о живой душе; порадуйтесь со мною: у меня за четыре дня пред сим родилась дочка[350]. Рекомендую вам ее и прошу вас ее полюбить заочно. Пусть будет пока для вас довольно этого известия; оно стоит критики и, верно, вам будет приятно. Дружески вас обнимаю

Ваш *Жуковский*.

2/14 ноября 1842.
Дюссельдорф

Гоголь – Жуковскому В. А., 16(28) марта 1843

16 *(28) марта 1843 г. Рим* [351]

Рим. Март 28.

Хотя ни разу не ответили вы мне на мои письменные расспросы относительно вашего местопребывания на будущее время, хотя не изъявили желания видеть меня ни разу, но я все-таки и вновь вам пишу об этом. Желание вас видеть стало во мне теперь еще сильнее, я думаю непременно в июле месяце быть в Дюссельдорфе. Напишите мне только два слова, будете ли в это время в Дюссельдорфе. Смирнова хочет тоже заехать к вам два раза, в июне и июле. А я думаю даже пожить в Дюссельдорфе, и мысль эта занимает меня сильно. Мы там в совершенном уединении и покое займемся работой, вы «Одиссеей»[352], а я «Мертвыми душами». Напишите мне ответ, не медля нимало, потому что я скоро оставляю Рим. Обнимаю вас всей любовью души моей и с вами вместе все то, что близко вашему сердцу. Прощайте.

Ваш *Г.*

Адрес мой по-прежнему: Via Felice, № 126.

Гоголь – Жуковскому В. А., 23 апреля (5 мая) 1843

23 *апреля (5 мая) 1843 г. Флоренция* [353]

Флоренция. Мая 5-го.

За два дни до отъезда моего из Рима получил я ваше письмо, которое принесло мне двойное удовольствие: во-первых, оно начинается давно знакомым мне: любезный Гоголек (последнее письмо пред сим неизвестно почему вздумало начаться словами Николай Васильевич, в чем, конечно, нет ничего дурного, но прежнее, бог ведает почему, нам всегда лучше нового), во-вторых: в письме вашем оказывается совершенная возможность будущего нашего прожития вместе в Дюссельдорфе. Смутило меня несколько известие ваше о недугах много любимой мною и уважаемой супруги вашей, которую я, верно бы, любил и тогда, если бы не видал ее, как прекрасно пополнившую прекрасную жизнь вашу, но Александра Осиповна[354], которую я выпроводил в Неаполь на другой день после получения письма вашего, меня совершенно успокоила на это<т> счет, сказавши, что это

обыкновенная слабость после родов, что она сама страдала ею один раз и ездила на воды, но что это, впрочем, прошло само собою. Она просила даже сказать вам, что если придется вам ехать на воды, то чтобы по крайней мере отнюдь не в Пирмонт, куда иногда имеют обыкновение посылать доктора в подобных случаях, но которые воды всегда больше расстроивают, чем укрепляют, потому что слишком сильны. Вы уж, верно, получили от нее письмо, которое она вам давно писала в Дюссельдорф, извещая о своем намерении быть у вас около 20 июня. Что касается до моего прибытия, то я думаю даже быть в последних числах мая у вас, если не первого июня. Но во всяком случае, вы никак не должны с этим сообразоваться относительно вашего выезда. Напишите мне только письмо во Франкфурт в Poste restante, чтобы я сейчас по приезде туда мог уже найти его. Мне все равно, я приеду к вам, где бы вы ни были. Впрочем, я думаю, если и пошлют вас куда-нибудь на воды, то, верно, это будет в окружностях Франкфурта. О помещении моем не хлопочите. Я найду и сам средства, как приклеиться к вам побли-

же. Благодарю вас еще за третье удовольствие, которое принесло мне письмо ваше, именно за два слова о «Мертвых душах» и за обещание поговорить при свидании об этом предмете подробно. Судя по всему, дело, кажется, не обойдется без ругани. Это я люблю, тем более что я не почитаю вовсе дело конченым, если вещь напечатана, а как, отчего и почему – об этом мы поговорим с вами, и вы в этом согласитесь со мною. Обещанием похерить многое вы меня сильно разлакомили. Я и прежде любил, когда меня побранивали, а теперь просто всякое слово упрека в грехе для меня червонец. Но, в ожидании сего и предварительного сему письма во Франкфурт, обнимаю вас несколько раз сильно, хотя заочно, и передаю душевный поклон мой вашей супруге.

Ваш *Гоголь*.

В. А. Жуковский – Гоголю, ноябрь 1843 г., Дюссельдорф

Ноябрь 1843 г., Дюссельдорф [355]

Любезнейший Гоголек, пишу к вам только для того, чтобы вы сказали мне поскорее, дое-

хали ли вы в Ниццу, и прислали мне ваш адрес. У меня лежит для вас вексель в 1000 франков. Не могу послать его наугад в Ниццу. Скорее, скорее напишите ко мне. У меня дома все по-старому, как видели вы[356]. А «Одиссея» идет вперед ровным шагом. Если будет возможность остаться еще на два года за границею, то привезу в Россию готовую «Одиссею» и еще, может быть, кое-что. – В Ницце ли Александра Осиповна? Рекомендуйте ей мою рождающуюся 3000-летнюю дочку[357], которую я люблю почти как родную. – Жду ответа, и немедленно.

Ваш *Жуковский*.

Есть еще у меня к вам и письмо от Шереметевой. Пошлю, когда получу адрес. Других писем нет.

Гоголь – Жуковскому В. А., 20 ноября (2 декабря) 1843

20 *ноября (2 декабря) 1843 г. Ницца* [358]

Ница. Суббота 2 декабря.

Отвечаю на ваше письмо сейчас же. Я именно ожидал его и потому не писал к вам.

В Ницу я приехал благополучно, даже более чем благополучно, ибо случившиеся на дороге задержки и кое-какие неприятности были необходимы душе моей, как все, что ни случается со мною, необходимо всегда моей душе. Ница – рай, солнце как масло ложится на всем, мотыльки, мухи в огромном количестве, и воздух летний. Спокойствие совершенное; несмотря на множество домов, назначенных для иностранцев, с трудом встретишь где-нибудь одного или двух англичан, и никого более.

Жизнь дешевле, чем где-либо, особенно дешевизна припасов. Ветров и не дует других, кроме южного, другим некуда просунуть носа, потому что горы стали подковою. Я вспомнил при первом взгляде на все это об Рейтерне, которому передайте при этом душевный поклон и скажите, что если придет ему в мысль перебраться на житье в Италию со всем семейством и прожить дешевле, нежели в Германии, то для этого следует выбрать Ницу. А уж чем подарит его солнце – так этого и рассказать нельзя! За два часа до захождения оно начинает творить чудеса, превращая го-

ры то в те, то в другие цвета. Но изумительнее всего делает оно штуки с ближними горами, то есть зелеными. Эти зеленые горы делаются пунцовыми. До сих пор не было ни одного дурного дня, жарко даже ходить на солнце, так что я выбираю дорогу в тени. Говорят, что как зимою бывает тепло, так летом прохладно и приятно.

Александра Осиповна здесь. Сологубы[359] тоже здесь. Граф<иня> Вьельгорская тоже здесь, с сыном и с меньшою дочерью[360]. Все кланяются вам, и многие будут писать. Есть еще какие-то русские, но люди больные и потому невидимы. Никого нет из тех, которые приезжают повеселиться, потому что общений для них не обретается в Ницце, то есть ни балов, ни тому подобных соединений. Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ». Труд и терпение, и даже приневоливание себя, награждают меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа. И многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься

в несколько крат доступнее к прозренью великих тайн божьего создания. И видишь, что, чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою. Но я знаю, что вы сами пребываете в таком же состоянии за «Одиссеею», а потому прошу только бога – да ничем не останавливается дело и да пребывает Он с вами неотлучно. А где пребывает бог, там ничто не продолжается в равной силе, но идет вперед и стремится или переходит из лучшего в лучшее.

Передайте мой самый искренний и самый душевный поклон сожительнице и обнимите маленькую душку. Можете адресовать мне для большей исправности на имя здешнего банкира Авикдора, Place Victor (piazza Vittorio). Впрочем, его знает вся Ница. Или же адресуйте на имя Александры Осиповны, place de la Croix de Marbre, в доме Gilli. Затем прощайте, душа моя, обнимаю вас и мыслями и чувствами моими.

Ваш *Гоголь*.

Не сердитесь за неразборчивое письмо,

спешил написать скорее, а перо попалось скверное.

Жуковский В. А. – Гоголю, 20 июля (1 августа) 1844

20 *июля (1 августа) 1844 г. Франкфурт-на-Майне* [361]

Посылаю вам два письма, полученные на ваше имя, любезный Гоголек. Гр. Вьельгорская[362] привезла для вас несколько книг «Христианского чтения»[363] и несколько № бесовского, то есть «Отечественных записок». И то и другое будет храниться у меня до вашего возвращения. Вы увидите в Остенде Вьельгорских, которые через день или два отправляются в путь; они не останутся в Остенде брать морские ванны, а отправляются в Дувр, и у нас на совете положено, чтоб и вы с ними туда отправились. Море полечит тело, а их добрые души сохранят здоровье души. Прощайте. Я принимаюсь опять за «Одиссею».

Ваш *Ж*.

20 июля / 1 авгус. 1844
Фр.

Гоголь – Жуковскому В. А., 25 июля (6 августа) 1844

25 *июля (6 августа) 1844 г. Остенде* [364]

Остенде. 6 августа.

Я получил ваше милое письмо, которое мне было, однако ж, грустно. Вот уже несколько месяцев и весь почти последний год все до самых мелочей совершается мне напротив и впоперек. Я утешал себя мыслию, например, такою, что в Остенде по крайней мере мне будет предстоять прожитие с близкими моей душе людьми. Но это теперь не состоялось. Из письма вашего я вижу, что графиня Вьельгорская переменяет намерение и едет в Дувр. Об этом мне и помыслить теперь невозможно. Я уже начал купанье и понемногу как будто бы стал поправляться. Бросить я не могу уже по весьма непреодолимой для меня причине. Уже несколько лет, как дал обещанье не ехать морем, это для меня и в здоровом состоянии было невыносимо, не только теперь. Я страдал ужасно даже и во время небольшого волненья, а здесь самый бешеный переезд, какой только где есть на

море. Притом зачем я поеду? В Дувре даже и купанья нет, оттуда приезжают англичане сюда купаться. Сноснее Дувра Брейтон, куда, вероятно, отправятся Вьельгорские, когда увидят и попробуют на деле. Притом издержки во всех этих местах в Англии вдвое дороже здешних. Это говорят те, которые купались и здесь и там и которые, кроме того, купанье здешнее далеко предпочитают. Мне же, во всяком случае, нельзя теперь тратить денег, которых слишком в обрез. Итак, об этом деле мне и думать теперь не следует. Их просьбы теперь меня только смутят и вновь взволнуют, и вновь произведут во мне нерешимость, которая мне теперь страшнее всего. Лучше, если бы они, напротив того, убеждали остаться здесь. Потом, из вашего письма я узнал другую для меня неприятность и поперечность. Я все льстил себя надеждою, что графиня хотя привезет мне книги и оставит их мне здесь в утешение. Мне единственное и осталось развлеченье в книгах. Никогда так не возрастала во мне охота к чтенью, и особенно русских книг, по причинам, которые все заключались в душе моей и которые вряд ли

кто поймет. И как на беду, как нарочно, ни одна из книг мне высланных не пришла в мои руки! Я думал, что по крайней мере наверно от графини получу. И как нарочно, она везла их три четверти дороги и по странному какому-то случаю оставила их во Франкфурте, когда всего два дни только оставалось, чтобы довезти их ко мне. Мне бы они теперь на безлюдье были точно благодать с неба. Как теперь их посылать сюда по почте? Во-первых, дорого и тяжело, а во-вторых, весьма могут легко пропасть, потому что здесь перегрузка пароходов и железных дорог, и притом это переходит через границу и в другое государство. Нет, пусть лучше остаются они у вас. Но как жаль, что вы не догадались упросить графиню Вьельгорскую довезти их! Вы знали, что мне в Остенде скучно и что я перед выездом просил у вас хотя каких-нибудь русских книг, даже скучных, лишь бы нечитаных. Но, как видно, так уж определено, чтобы было все мне напротив. Благодарю бога, верно, это нужно, и я решился твердо и покорно покориться всей нынешней тоске и вынести ее как можно тверже, сколько достанет сил. Об-

нимаю вас крепко и сильно. Не забывайте меня и напишите иногда хотя несколько слов. Простите, что так дурно пишу. Если письмо мое так несвязно, то причиною не торопливость, а это скверное волнение, которое ко мне вздумало возвратиться только сегодня, вчера и третьего и четвертого дни его уже не было. Но, даст бог, все пройдет, я вас вновь обниму в надлежащем здоровье. Может быть, мне это слишком нужно, чтобы я был на время оставлен именно в то время, когда не хотелось бы, и лишен всех ресурсов. Уж верно, нужно, когда так сделалось. Передайте мой душевный поклон всему вашему дому и поцелуйте за меня вашу малютку.

Ваш *Гоголь*.

Жуковский В. А. – Гоголю, 24 сентября (6 октября) 1845

24 *сентября (6 октября) 1845 г. Франкфурт-на-Майне* [365]

Франкфурт н/М. 1845. 6 окт.

Возвратясь из Ниренберга, я нашел здесь ваше письмо[366], любезнейший Гоголек, за которое весьма благодарю; оно несколько по-

успокоило тревоги о вас. В Ниренберге я также получил вашу записочку[367]. Теперь, по письму вашему, вы должны быть в Риме. Хотя и не знаю вашего адреса, но не хочу задерживать писем, которые получены мною на ваше имя: отправляю их к нашему посланнику Аполлинарию Петровичу Бутеневу, к которому пишу об вас и с которым прошу покороче познакомиться. Он мой давнишний, добрый приятель; он не только что хороший и умный дипломат, но и человек с теплым сердцем и благовонною душою: я уверен, что вы его полюбите и найдете в его обществе душевную отраду, которая будет лекарственна и для тела. Только не дичитесь с ним, не брыкайтесь и не становитесь на дыбы. – О себе и о своих не могу, благодаря богу, сказать ничего, кроме добра. Швальбах мне помог. Жене вообще хорошо. Дети здоровы. Мальчишку Павла Васильевича[368] нашел я в благословенном состоянии, он метит в Геркулесы. Теперь начинаю вести жизнь по-старому. Принимаюсь за свои переводы. С одной стороны Послания Павла, а с другой Гомер; но при этих работах не раз придется вздохнуть о вас

и о наших сходках на моих антресолях. Весьма надеюсь, что бог позволит нам возобновить их некогда на Руси, под небом Москвы или на берегах Невы, а может быть, где-нибудь у меня, в моем лифляндском домике. А жаль мне расстаться с своим франкфуртским эрмитажем[369]; он так уютен; и найду ли где-нибудь тот покой, которым мне здесь позволил бог так беззаботно насладиться? Но тревог допускать до себя не должно: всякая тревога есть родная сестра греха. Скажу вам лучше, что свидание мое с императрицею произошло[370] по желанию и успокоило насчет ее сердца. Путешествие в Италию и несколько месяцев мирной там жизни исцелят ее непременно. Уже и теперь ей лучше. Я уверен (если что другое не случится), что она воротится к нам с обновленными силами и с воскрешенною жизнию. Благослови бог нашего доброго ангела. – Прощайте. Отвечайте немедленно. NB. Прошу вас послать непременно и немедленно к вашим корреспондентам ваш адрес. Иначе письма будут доходить к вам в Рим через Франкфурт: крюк этот уж непозволенно велик; да надобно, чтобы вы

написали, куда пересылать вам деньги. Я же не останусь долее июня во Франкфурте. Прощайте.

Ваш *Жуковский*.

На ваших адресах прибавляйте всегда à Saxenhausen; Salzwedelsche Garten. Здесь проявился какой-то другой Жуковский, который, наподобие другого Гоголя, жрет мои письма; а ко мне приносят его деньги.

Жуковский В. А. – Гоголю, 5(17) ноября 1845

5 *(17) ноября 1845 г. Франкфурт-на-Майне* [371]

Любезнейший Гоголек, наконец есть от вас известие[372], и довольно удовлетворительное. Слава богу и благодарствуйте. Мы всею семьею радуемся тому, что вы наконец на месте. Авось Рим угомонит ваши нервы. Ему ли бы, кажется, с ними не сладить, ему, победителю стольких народов? Помоги ему бог. У нас все идет довольно порядочно: в мыслях готовимся мы к переезду в Россию на будущий год, а желание удерживает здесь[373]. –

Не скоро найдется в России для меня такой покойный уголок, какой я здесь себе устроил; нигде не допишется «Одиссея» на просторе так, как здесь; нигде и первые годы детей так беззаботно не разовьются, как в тишине и беспрепятственности здешнего уединения. Но живи, как велят, а не так, как хочешь,– это русская пословица. Впрочем, скажу вам, что я все еще не принимался снова за «Одиссею»; и ничего нового не сделал с тех пор, как мы с вами расстались; какой-то вредоносный самум на нас обоих повеял. Но теперь снова берусь за перо. Может быть, и вы начинаете острить свое. В час добрый. А хотелось бы, очень бы хотелось привезти на родину конченную «Одиссею». Она будет моим гробовым монументом.

Получили ли вы вексель, отправленный мною в Рим, на имя Бутенева. Его доставила мне Смирнова, которая теперь губернаторствует в Калуге, что, конечно, не рассеет ее хандры, которая, кажется, совсем ее лишила всякой бодрости. Ее положение тягостно. Свет ей надоел и не имеет более для нее прелести. Домашней жизни у нее нет; дети еще для нее

слишком малолетны. Внутренняя жизнь ее еще не образовалась; это переходное состояние души мучительно; оно часто бывает и гибельным. Напишите к ней. – А меня уведомьте, получен ли вами вексель. – Поклонитесь Бутеневу. Слухи ходят, что будто наш император будет в Риме. Если это совершится на деле, то опишите мне его там пребывание.

Прощайте. Жена вам дружески кланяется. Сашка[374] не в порядке: занимается поносом. Павел Васильевич толстеет и уже подал просьбу о произведении его в Быка[375]. Вчера соблаговолил он, смотря на портрет отца и матери, впервые произнести: papa, mama. Это подает надежду, что он со временем будет владеть русским языком лучше, нежели его родитель. – У Авдотьи Петровны Елагиной в доме свадьба; сын ее Василий Елагин женится на Кате Мойер. Это и вас порадует.

Ваш *Жуковский*.

5/17 ноября 1845.

Гоголь – Жуковскому В. А., 16(28) ноября 1845

16 *(28) ноября 1845 г. Рим* [376]

Ноябрь 28. Рим.

Ваше милое письмо (от 5–17 ноября) получил. Благодарю вас за него очень, а весь ваш дом за воспоминание обо мне и дружбу. Вексель через Бутенева я также получил в исправности. Мыслью о переезде своем в Россию не смущайте себя и не считайте это дело важным. Там или в ином месте, все это не больше, как квартира и ночлег на дороге. Думает слишком много о месте, где ему придется переночевать, только тот ездок, который мало думает о том, куда и зачем едет. У кого же неотлучно перед глазами цель его путешествия, тот не заботится о том, где и как ему придется переночевать, и не слишком глядит на комфорты[377]. С неоконченным делом приехать на родину невесело – это я знаю, но знаю также, что бог милостив, что по его святой воле попутный ветер сходит на вдохновение наше и то, для чего, казалось бы, нужны годы, совершается иногда вдруг. Будьте же покойны и светлы при мысли о будущем, ибо будущее в руке того, кто сам есть свет[378]. О

государе покамест известия, что он весел, весьма доволен Палермой и приемом короля[379]; погода там стоит удивитель<ная>, не бывает меньше 20 градусов тепла. Спят с открытыми окнами; постоянно продолжающийся широкко начинает государыне, однако же, надоедать, она чувствует тяжесть, но это его обыкновенное действие; с переменой ветра она почувствует себя вдруг лучше и освежится. Государя ожидают в Рим на днях; Бутенев для этого уже съехал с своей квартиры и переехал в гостиницу. Но я не думаю, чтобы приезд государя был так скоро, как думает посланник и как думает он сам: в Палерме они хотят прежде дождаться Константина Николаевича. Константин Николаевич едет морем, море – не земля, и рассчитывать и полагаться на самое кратчайшее время, в которое может прибыть корабль, нельзя. Разница тут не в часах и днях, а в неделях, месяцах; к тому ж ему, как говорят, предписано избегать французских портов. В Риме все католичество, как, я думаю, вам известно, вооружено против государя. Недавно здесь произвела шум бежавшая из России полячка-униатка рассказами о

мучительствах, ею претерпенных, и пытках за непризнание православия. Все чувствительные и нечувствительные сердца были этим вначале возмущены сильно, но, так как униатка сама довольно здоровая и бойкая женщина и притом уже чересчур стала изображать картинно и прибавлять, то начинают уже сомневаться и в том, что вначале казалось похожим на правду. Папа[380] был в недоумении, как принять государя, и собирал для этого совет кардиналов. Кардиналы советовали избежать этого свидания[381] и сказаться больным, но папа отвечал достойно своего звания: «Я никогда не притворялся и теперь не буду. Я употреблю с своей стороны слезы, моленья,– это все, что считаю для себя позволенным». Говорят, однако ж, что государь, узнав еще в Генуе и потом в Палерме о всяких слухах по поводу гонений, послал Перовскому и Протасову запрос, отчего разнеслись такие слухи, чтобы они разведали хороше<нько>, что такое происходило внутри России, что у него и в мысли не было притеснять каким бы то ни было образом католическую веру. Словцо об «Одиссее». В «Северной пче-

ле», уже не помню, в каком номере, попавшемся в мои руки, напечатана статья о Крылове, написанная каким-то его сослуживцем Быстровым. В числе немногих анекдотов сказано там, между прочим, о занятиях Крылова греческим языком и о попытке переводить «Одиссею», причем приложена была и самая попытка, составляющая начало I песни, которую я, разумеется, сей же час списал для вас и при сем посылаю. Сделав попытку, Крылов бросил самое дело, назвавши гекзаметр (по словам Быстрова) Голиафом, с которым ему не сладить[382]. От гр<афинь> Вьельгорских я получил известия для меня самые приятные, то есть, что они здоровы, веселы и много вкушают наслаждений истинных и внутренних. Софья Михаловна и Анна Михаловна[383] написали мне милые письма. В письмах этих видно в каждой строчке, как хорошеют с каждым днем и часом прекрасные их души. Вы, я думаю, уже знаете, что у Софьи Михаловны родился сын Александр. Она вся теперь всей душой погружена в мысли о воспитании своих детей. Здесь Анна Михаловна ей большая помощница. Кроме того, она сама хочет пи-

сать для них, будучи недовольна тем, что написано, и ее простодушно чистые мысли похожи на мысли ангелов, заботящихся о воспитанье людей. Нельзя, чтобы под такие мысли, как под колыбельные песни, не воспитались нечувствительно и сами собою дети.

От Смирновой я жду письма из Калуги. Вьельгорские пишут, что она с ними простилась 21 окт<ября>, весьма растроганная. Она уже, верно, получила мое письмо[384], содержащее напутствие ей в Калугу. До полученья от ней известия из Калуги я не считаю нужным ей писать. Я за нее не боюсь; состояние души ее хотя и переходное и тяжкое, но для нее не опасно. Бог не оставляет тех, которые уже умеют прибегать к нему. О себе скажу покаместь только то, что здоровье мое хотя и лучше, но как-то медлит совершенно установиться. Но я решился меньше всего думать о своем здоровье. Что посылается от бога, то посылается в пользу. Уже и теперь мой слабый ум видит пользу великую от всех недугов: мысли от них в итоге зреют и то, что по-видимому замедляет, то служит только к ускорению дела. Я острю перо, помолитесь же обо

мне сильно и крепко богу. Обнимаю вас, а вместе с вами вашу милую супругу и всю семью вашу.

Весь ваш *Г*.

Помните, что адрес мой: Via de la Croce, № 81, 3 piano.

Жуковский В. А. – Гоголю, 24 декабря 1845

24 *декабря 1845 г. (5 января 1846 г.) Франкфурт-на-Майне* [385]

24 декабря 1845. / 5 генваря 1846.

Виноват я перед вами, любезный Гоголь: давно лежит у меня к вам письмо от Плетнева[386], а я все его к вам не высылал. Как это случилось, право, не знаю: на эти дела я человек аккуратный. Правда, во все это время я хворал: Швальбах мне помог, и до декабря я был в добром порядке; но в декабре опять свихнулся: биение сердца, прерывчатый пульс, кровотечение, одышка, слабость и всякие другие приятности. И Копп, кажется мне, потревожился. Но он остановил опять ход болезни; и теперь опять все стало лучше. Весна

возвратит, надеюсь, здоровье. Впрочем, трудно было не быть больным: зима странная; беспрестанный переход от тепла не к холоду, а к буре и ветру. Зимнего же освежительного холода еще до сих пор не было. Вчера только в первый и единственный раз было 4 градуса мороза при ясном небе. Барометр падает до 26 градусов, чего никогда не слыхано. Словом, и в воздухе революция[387], которая все наши нервы тревожит. При всем этом немудрено, что я забыл послать вам письмо Плетнева.

К болезни телесной присоединилась и болезнь сердечная: мой пятидесятилетний товарищ жизни, мой добрый Тургенев[388] переселился на родину и кончил свои земные странствия. Бог послал ему быструю, бесстрадальную смерть. 3 декабря (с. с.) он умер в Москве, в доме своей двоюродной сестры[389], у которой жил. Умер ударом. Но он, вероятно, накануне сильно простудился, проведя в холодную, дурную погоду целый день на Воробьевых горах, где раздавал деньги ссылочным в Сибирь, и не одни деньги, но и слезы, и утешения – можно ли лучше приготовиться к собственной дороге, но не в ссылку, а на роди-

ну? Думая о нем, каков он был истинно, верю упокою души его: ибо, конечно, на этой душе ни малейшего пятна не осталось от жизни. Он всегда был добр, всегда чист и намерением и делом. Жизнь могла покрыть его своею пылью, но смерть легко сдунула с души его эту пыль, которая вся всыпалась в могилу.

Вы давно ко мне не писали. Плетнев требует, чтобы вы к нему высылали аккуратно свидетельство о жизни[390]. Это свидетельство должно быть высылаемо в каждую треть года и всегда 13 генваря, 13 мая, 13 сентября нового стиля. Прошу вас это наблюдать.

Пишете ли вы? А я как будто заколдован. Гомер мой остановился на половине XIII песни, и вот уже год, как я за него не мог приняться и от болезни, и от лечения, и от поездок. Но перевод Нового завета почти кончен, надеюсь довершить его в самый Новый год (с. с), то есть в день рождения моего Павла. Жаль, что мы не можем его прочитать вместе.

Напишите мне о пребывании царя в Риме. Обнимаю вас. Жена и все мои вам сердечно кланяются. Скажите мой дружеский поклон

Бутеневу.

Жуковский.

Гоголь – Жуковскому В. А., 4(16) марта 1846

4 *(16) марта 1846 г. Рим* [391]

Рим. 16 марта 1846.

Благодарю вас и за письмецо[392] и за вексель. Жаль все, однако же, что вы ни слова не написали мне о том, получили ли вы мои письма. Здоровья наши сильно расклеиваются. Мне подчас так бывает трудно, что всю силу души нужно вызывать, чтобы переносить, терпеть и молиться. Как подл и низок человек, особенно я! Столько примеров уже видевши на себе, как все обращается во благо души, и при всем том нет сил терпеть благородно и великодушно! А он так милостиво и так богато воздает нам за малейшую каплю терпенья и покорности! И среди самых тяжких болезненных моих состояний он наградил меня такими небесными минутами, перед которыми ничто всякое горе. Мне даже удалось кое-что написать из «Мертвых душ»[393], которое все будет вам вскорости прочитано, потому что

надеюсь с вами увидеть<ся>. Мне нужно непременно вас видеть до вашего отъезда в Россию и о многом кой-чем переговорить. Путешествие и дорога мне помогали доселе лучше всяких средств и лечений, а потому весь этот год я осуждаю себя на странствие. Летом объеду всю Германию, заеду в Англию, которой не знаю, и в Голландию, которой тоже не вид<ел>. Осенью объеду Италию, <в> зиму берега Средиземного моря, Сирию, Грецию, Иерусалим и чрез Константинополь, если благословит бог, в Россию, что долженствует быть весной грядущего, 1847 года. В продолжение путешествия я устроюсь так, чтобы в дороге писать, потому что труд мой нужен: приходит такое время, когда появленье моей поэмы есть существенная необходимость для теперешнего положения дел и мыслей. А как и почему, вы это увидите сами, если я хотя сколько-нибудь сумею ответить на вопрос, себе заданный, или, справедливее, если милосердный бог вразумит меня, как следует ответить. Доселе и болезнями, и страданьями внутренними и внешними он возводил мою душу до надлежащего умягчения и способно-

сти почувствовать многое за других; он же и докончит начатое, и как ни велика моя хилость, но есть внутренняя твердость и вера в то, что велико его милосердие и все с его помощью совершится. Христа ради, уведомьте меня о себе, как и каким образом вы располагаете возвращаться, и хотя раз напишите, что вы мое письмо получили, потому что я вовсе не знаю, получаете ли вы мои письма, и готов укорять вас в той неточности, в какой любите меня укорять вы. Я полагаю ехать отсюда в мае. В конце мая или в начале июня я буду уже во Франкфурте, а потому уведомьте меня, будете ли вы там. Впрочем, я приеду к вам всюду, куды ни назначите. Недельку проведем вместе. Прошу вас, если будете отправлять свои вещи в Россию, а с ними и мои книги, вынуть из них два экземпляра «Мертвых душ» и оставить их при вас для меня. В России они все выпроданы; я нигде не мог достать, а первая часть мне потребна при писании второй, и притом нужно ее самую значительно выправить. Не позабудьте же немедленный ответ на это письмо. Обнимаю вас заочно мои<ми> зябнущими руками, дрожа

всем телом, но, слава богу, не дрожа душою.

Всех вас целую до единого в семействе вашем.

Весь ваш *Г*.

Адрес: Via de la Croce, 81, 3 piano.

Аксаков пишет, что послал давно на ваше имя во Франкфурт следуемые мне книги, письмо и рукопись стихов сына. Берегите все до моего приезда.

Жуковский В. А. – Гоголю, 19(31) марта 1846

19 *(31) марта 1846 г. Франкфурт-на-Майне*[394]

Любезный Гоголек, пишу к вам только для того, чтобы отвечать на запрос ваш, заключающийся в последнем вашем письме: получены ли мною все ваши письма? Получены, сударь. От Аксакова получил я манускрипт для вас, и он у меня хранится. Это какие-то драматические сцены в стихах, под именем мистерий, в которых, точно, смысл есть мистерия[395]. Наши поэты тянутся в гениальную оригинальность немилосердно. У меня поэтиче-

ский запор все еще продолжается. Гомер спит сном богатырским. Авось пробудится. Жду и надеюсь. А вы, мой милый, начинаете – в час добрый. И план ваш пуститься в путь весьма одобряю. Только не советую на Восток: с вашими нервами затруднительные путешествия по горам, по степям, посреди препятствий и опасностей всякого рода никуда не годятся. Для таких путешествий необходимы силы богатырские. Ограничьте себя Европою; теперь только вы переезжали с места на место и оставались на житье в Риме или в Париже. Начните путешествовать как должно, то есть все осматривайте, что того стоит; как можно более путешествуйте пешком; определите на это год или два; и выкиньте из головы всякую заботу. Думайте во все это время только об одном боге и пользуйтесь вполне свободою – это будут счастливые минуты, целительные для души и тела. Вестей вам никаких не посылаю, ибо их у меня нет. От Вьельгорских нет никакого слуха. От Смирновой получил краткое письмо из Калуги: она чахнет душою. Это мне очень прискорбно. Прощайте.

Ваш *Жуковский.*

19/31 марта 1846.

Отрывок перевода Крылова из «Одиссеи» хорош; но думаю, что мой перевод, при такой же точности, опрятнее. Наш дедушка Крылов не подмел горницы: убрал ее прекрасно, да на полу валяются бумажки.

Гоголь – Жуковскому В. А., 12(24) ноября 1846

12 *(24) ноября 1846 г. Неаполь* [396]

Неаполь. Ноября 24.

Спешу уведомить, друг мой бесценный, несколькими строчками о себе. Я прибыл благополучно в Неаполь, который во всю дорогу был у меня в предмете, как прекрасное перепутье. На душе у меня так тихо и светло, что я не знаю, кого благодарить за это; кто вымолил своими чистыми молитвами мне это состоянье у бога? О, да будет за то вся жизнь его так же светла, как светлы мне эти минуты! Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, ес-

ли бы не приготовил бог душу мою к принятью впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет в нем и любовался им холодно. Во все время прежнего пребыванья моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как бы на родину свою. Но теперь во время проезда моего через Рим уже ничто в нем меня не заняло, ни даже замечательное явление всеобщего народного восторга от нынешнего истинно достойного папы[397]. Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновенье холода и сырости. Но как только приехал я в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя. Я приютился у Софьи Петровны Апраксиной, которой тоже, может быть, внушил бог звать меня в Неаполь и приуготовить у себя квартиру. Без того, зная, что мне придется жить в трактире и не иметь слишком близко подле себя

желанных душе моей людей, я бы, может быть, не приехал. Душе моей, еще немощной, еще не так, как следует, укрепившейся для жизненного дела, нужна близость прекрасных людей затем, чтобы самой от них похорошеть. В Риме встретил я в нашей церкви у обедни Блудова, к которому, разумеется, я тот же час подошел. Он немного постарел, но нынешнее выраженье лица его мне очень понравилось: в нем что-то приятное и благостное. Он меня принял очень приветливо. К сожаленью, я не застал его дома, бывши на другой день у него, и не могу больше рассказать о нем ничего. Покамест, как мне показалось, он доволен своими делами и папой, о котором отзывается с большим уваженьем[398]. На почте нашел я здесь себе письмо, пересланное мне из Франкфурта, на конверте которого знакомая мне ручка, вычеркнувши все прежние строки, начертала весьма четко мое имя вместе с словами poste restante, так что в мыслях моих вдруг предстал и сам прекрасный хозяин ее. Из Петербурга я не получил еще ни одного письма и не имею никаких известий. Но это меня не беспокоит. Душа моя

глядит светло вперед. Все будет так, как богу угодно; стало быть, все будет прекрасно. Одно может случиться, по-видимому, поперечное моим делам: то есть что это замедленное появление моей книги[399] может на несколько далее отодвинуть отъезд мой к святым местам. Но если так действительно случится, то значит, что в этом воля божья и что так действительно долженствует быть. Я и прежде никак не думал упрямо и по своей собственной воле предпринимать это путешествие, но ожидать указаний божьих, которые признаю в попутном ходе всех к тому споспешествующих обстоятельств и в отстранении всех препятствий. Я и прежде думал не иначе отправляться в такую дорогу, как в сообществе хотя нескольких близких сердцу моему людей. Не потому, чтобы я боялся каких-либо опасностей в незнакомых землях, но потому, что еще немощен духом, еще не могу обходиться без помощи людей, еще не имею сил один сам собой возноситься к богу и жить, по примеру праведников, в непосредственной беседе с ним. Наконец, указаньем божьим считаю я и возрастанье самого желанья ехать. Верю,

что, когда приспеет законное время и час садиться на корабль, желанье это возрастет в такой силе, что я не буду чувствовать сам, как взойду на палубу, не почувствую сам, как понесусь, подобно неодушевленному кораблю, послушному попутному веянью одушевленного небесного дыхания. А покаместь я должен сидеть у моря и ждать погоды терпеливо, приглядываясь и прислушиваясь ко всему, что ни делается, и вопрошая ежеминутно как собственный свой разум, так и все силы и способности, данные мне богом. Но… брат мой прекрасный, до следующего письма. Всех вас обнимаю как близких и родных моему сердцу.

Г.

Адрес мой: Palazzo Ferandini, впрочем, можно и просто: poste restante.

Гоголь – Жуковскому В. А., 13(25) января 1847

13 *(25) января 1847 г. Неаполь* [400]

Неаполь. 25 генваря.

И Языкова уже нет![401] Небесная родина

наша наполняется ежеминутно более и более близкими нашими сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней. Брат мой прекрасный, отныне мы должны быть еще ближе друг другу и, живя на земле, глядеть так друг на друга, как бы встретившиеся в дому небесного родителя нашего братья. Посылаю выписку из письма Шевырева[402].

Твой *Г.*

Мой адрес: Неаполь. Palazzo Ferandini.

Жуковский В. А. – Гоголю, 23 января (4 февраля) 1847

23 *января (4 февраля) 1847 г. Франкфурт-на-Майне* [403]

4 февраля н. с. 1847.

Я еще не отвечал на последнее письмо ваше[404], любезнейший Гоголек, а оно стоило ответа, и благодарного ответа, ибо оно описало нам восстановление вашего здоровья. Выздоровление само по себе есть уже одно из величайших наслаждений жизни; но выздоровление посреди прелестей неаполитанской природы и при таких чувствах, какие теперь

с двойною живостию наполняют вашу душу, такое выздоровление есть взгляд с земли в лучшую жизнь; дай бог, чтобы оно для вас принесло полное, постоянное здоровье надолго. А я вас сменил на череде испытания, и оно совершается надо мною самым тяжким образом, совершается в моей бедной жене. Вы оставили ее уже больною. Болезнь скоро миновалась, и она могла покинуть постель; говорю: та болезнь, которую вы видели; место ее заступила другая, мучительная, неотступная, та, которую вы слишком знаете, но которую знаете в другом и, я думаю, менее суровом виде,– нервы ее сильно расстроены; беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная, выражающаяся в совершенной безнадежности. Никакая сила не может отторгнуть от нее этих черных мыслей, которые, как чудовища, налетают на ее душу. Она почти ничем не может заниматься, и никто никакого развлечения ей дать не может. Чтение действует на ее нервы; разговор только о своей болезни, и, как нарочно, наш семейный круг часто бывает разрознен болезнями, так

что мы бываем совершенно одни; но с этой стороны, однако, главная нам помощь. До сих пор она могла ходить и укреплять себя воздухом; с некоторого времени и это миновалось: простуда заперла ее дома, а другое расстройство положило на две недели в постель. Теперь опять начинает она двигаться; но слаба и похудела, как скелет. Такова наша жизнь с самого Швальбаха. При всем этом «Одиссея» молчит – и вот уже два года ровно, как она молчит. О том, что внутри меня происходит, я не говорю; я мало им доволен, и это удваивает бедствие. Помоги бог быть достойным посылаемого им испытания и переносить его так, как он того требует.

Я виноват перед вами не только молчанием, но и тем, что замедлил переслать к вам письмо, на имя ваше полученное, мною распечатанное, но не читанное. Посылаю его. Других новостей вам сообщить не могу. Ко мне заезжал Michel Вьельгорский[405], ездивший из Берлина в Швейцарию курьером. Также был здесь и Барятинский, который совсем здоровый, полный, цветущий, возвращается в Петербург. О книге вашей[406] пишет

ко мне Ишимова, что она вышла и производит великое действие. Это радует меня несказанно. Прощайте, мой милый, напишите ко мне, когда соберетесь в путь. Не могу надеяться, чтобы вы писали ко мне с дороги. Но это было бы хорошо. Эта необходимость выражать непосредственно свои впечатления на том самом месте, где они получаются, дает слогу совсем иной, полный жизни и индивидуальности характер, на что имеет влияние и лицо того, с кем делишь свои мысли и чувства. А со мною вы ведь уж привыкли многим делиться. Теперь я имел от вас только задатки, но со временем, если только не уйду с сего света, получу и весь капитал. Простите. Моя больная душевно вам кланяется.

Ваш *Жуковский*.

Отвечайте немедленно.

Гоголь – Жуковскому В. А., 29 января (10 февраля) 1847

29 *января (10 февраля) 1847 г. Неаполь* [407]

Неаполь. Февр. 10.

По делам моим относительно печатанья

книги произошла совершенная бестолковщина. Больше половины писем остановлены цензурой, именно тех самых, которые относятся к должностным лицам и всяким чиновным дельцам, стало быть, самых существенных и, по-моему, нужных писем[408]. Плетнев имел неосмотрительность выпустить оставшийся клочок[409]. Вышла не то книга, не то брошюра. Лица и предметы, на которые я обращал внимание читателя, исчезнули, и выступил один я, своей собственной личной фигурой, точно как бы издавал книгу затем, чтобы показать себя. Бестолковщина эта меня прежде бы очень рассердила, но теперь, слава богу, спокойствие мое не возмутилось. Я обратился с письмом к государю[410], прося его разрешить это дело и бросить взгляд на статьи, которые были писаны в сердечном желанье сослужить ему сим службу. Сердце мое говорит мне, что он не отвергнет. Тем более, что два месяца тому назад он приказал выдать мне не только новый пашпорт на пребыванье мое за границей, но приказал канцлеру написать во все наши миссии и начальства на Востоке, чтобы мне повсюду было оказыва-

емо особенное покровительство, где ни буду проходить я, и потом, спустя несколько времени, расспрашивал обо мне с трогательным участием у Михала Юрьевича Вьельгорского. Все это показывает мне, что рука божья чьими-то чистейшими молитвами хранит меня! Здоровье мое несколько вновь расстроилось. Ночи я не сплю и сам не могу понять отчего, потому что волненья нервического нет, ниже волненья в крови. Слабость усилилась, и некоторые прежние недуги стали возвращат<ься>. Но божьей милостью дух унынья далеко от меня. И самая неожиданная смерть Языкова не повергнула меня в печаль, но в какое-то тихое упованье. Всею душой обнимаю всех вас, от мала до велика, составляющих прекрасную и близкую душе моей семью.

Весь т<вой> *Г.*

Мой адрес по-прежнему: Неаполь, Palazzo Ferandini. Ради бога, словечко о самом себе и о распоряжениях по поводу отъезда в Россию!

Жуковский В. А. – Гоголю, 29 января (10 февраля) 1847

29 *января (10 февраля) 1847 г. Франкфурт-на-Майне* [411]

10 февраля 1847.

Мой милый, это письмо найдет вас печальным; вы уже теперь, вероятно, получили то известие, которое уже дошло до меня етороною, но которому я еще тогда не верил, когда послал к вам последнее письмо мое. Вот почему я и не упомянул о нем ни слова; не хотел тревожить вашего сердца; думал, был уверен, что слухи пустые дошли до меня,– к несчастию, вышло напротив. Третьего дня я получил письмо от Плетнева, и он в нем подтвердил мне, что правда, правда, что Языкова нет на свете. Кто бы это мог подумать! Обстоятельств кончины его я не знаю; Плетнев полагает, что мне все в подробности известно; а я ни от кого не имел известий. Напротив, то, что заставило меня убедиться в ложности слуха, было письмо Булгакова, писанное от 6 генваря, в котором не было ни слова об этом бедственном происшествии. Он умер 7 генваря. Как, от чего – не знаю. Если вам дано известие, если имеете подробности, то сообщите

их мне. Мертвых самих жалеть нельзя, то есть таких мертвых, которых душа приготовлена была к принятию смерти,– но жаль для себя своих земных товарищей, которыми так утешается жизнь. Свет здешний для нас час от часу более беднеет. За шесть лет перед этим я бы это гораздо сильнее почувствовал при теперешнем печальном случае: но воля божия новыми, свежими узами привязала мою душу к здешнему свету[412]; они навсегда уничтожили для меня возможность одиночества, и горькое ощущение этого одиночества мне теперь недоступно; но зато я знаю, что заключается в чаше земного испытательного страдания. Теперь эта поэтическая душа, в последнее время столь очищенная верою, живет новою жизнию, которую более других здесь могла предчувствовать,– жалеть ли о том, что эта новая жизнь для нее началась? Нет. Но жаль, жаль ее быстрого удаления из нашего света, из нашего соседства, жаль, что этот гармонический голос для нас замолчал, что это знакомое нам существо, живое, доброе, милое, теперь заперто в тесной могиле и навсегда пропало из глаз наших. Напишите

же, прошу вас, то, что знаете о последних минутах нашего милого, доброго, до конца дней вдохновенного Языкова.

При своем письме Плетнев посылает мне вексель (secunda) для доставления вам и говорит, что этот самый вексель (prima) был уже в генваре 1845 мне послан для вас же и что до сих пор нет слуху, получили ли вы его когда-нибудь. Право, ничего не помню. Если был мне прислан для вас такой вексель, то, конечно, был он вам и доставлен. Я справлялся с своею книгою, в которую я записываю отправленные письма,– там стоит 1845 генваря 23 к Гоголю с письмом Смирновой и Шереметевой; генваря 13 к Гоголю просто; 1846 генваря 21 к Гоголю со вложением векселя. Вот и все. Не знаю ничего о векселе, который должен бы идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы чего сами об этом? Впрочем, если этот вексель prima пропал, то по сему, здесь посылаемому, secunda, деньги вы получите. Только прошу меня уведомить о его получении. Во всех сих делах вы, любезнейший, не наблюдаете надлежащей точности. Мне почти ни разу вы не отвечали в таких случаях,

когда я вам посылал деньги; и если бы я сам не вел у себя записки, то никаких бы концов собрать было невозможно. Этого же векселя я, конечно, не получал; эта посылка была бы, верно, у меня записана в книге.

Прощайте.

Ваш *Жуковский*.

29 генв. / 10 февр.

P. S. Я хотел вчера послать это письмо и вексель; но Убриль советовал мне, чтобы избавить вас от хлопот, через Родшильда снестись с гамбургским банкиром, на которого вексель адресован, и взять от него для вас свидетельство, что по векселю (prima) не уплачено. Без этого свидетельства неаполитанский банкир не выдаст вам денег; он от себя пошлет справку в Неаполь, и это протянется долее. Убриль сам взялся хлопотать об этом деле; когда ему вексель будет возвращен, то он перешлет его к нашему министру в Неаполе Потоцкому для доставления вам, а вы на этот счет его предуведомите. А меня все-таки известите о получении сего письма, дабы я

знал, что вы о прибытии векселя предуведомлены. И от меня пошлется к вам в нынешнем месяце третья тысяча; о получении двух первых вы никакого не дали мне письменного документа; а для порядка это было бы не лишнее, понеже эти деньги даны великим князем, а я обязан дать отчет в уплате их если не ему самому, то его конторе. Прощайте.

Жуковский В. А. – Гоголю, 6(18) февраля 1847

6 *(18) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне* [413]

6/18 февраля 1847.

Мой милый Гоголек, коротенькое письмецо твое, со вложением выписки из письма Шевырева, я получил – благодарю. Жаль для нас, что тот Языков, который теперь разовьется из души, освобожденной от земного, не перед нами совершит свое развитие и что это явление отнято у земли. Ему, во всяком случае, лучше, легче и радостнее, нежели нам. Но я не намерен теперь писать много. Хочу только сказать, что твоя книга[414] теперь в моих руках, что я уже ее всю прочитал

или почти всю, то есть кроме двух последних статей, уже мне известных, что я в ней нашел два письма ко мне[415], которые сделали большой крюк в Петербург, дабы из типографии департамента внешней торговли дойти до меня в печатном образе; что я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием, часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово[416]) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде, что, наконец, эта книга должна произвести и произведет всеобщее сильное и благотворное действие, что я намерен ее перечитать медленно в другой раз и что по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей, что эта переписка может также составить книгу[417], которая, если подлинно будет в ней что-нибудь достойное общего внимания, может выйти вслед за первою и вместе с нею пробудить в головах русских также несколько добрых мыслей. Итак, Гоголек, жди от меня

длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана – план был бы неуместен и мне бы даже повредил. Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей; мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра, – это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки (то есть нападки любви к тебе и к добру, которое мы оба любим), но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил. И на что была нужна эта поспешность, понять не могу. Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали и книга бы была избавлена от многих пятен литературных и типографических, которых теперь с нее не снимешь. И мне бы ты был полезен, ибо все это время было бы для меня время испыта-

ния; оно еще и теперь почти так же круто, как было, в некотором отношении еще круче: у Рейтерна большая часть дома больна; он сам до сих пор все страдал разным образом; теперь больны нервическою горячкою Миа, Жатто[418] и девка в доме, а женина болезнь усиливается беспокойством о сестре и брате; болезнь же ее ты знаешь на себе – но довольно. Прости.

Твой *Жуковский*.

Прошу написать мне, долго ли пробудешь ты в Неаполе; куда и когда отправишься.

Жуковский В. А. – Гоголю, 8(20) февраля 1847

8 *(20) февраля 1847 г. Франкфурт-на-Майне* [419]

Странные дела происходят на земле, любезный Гоголек. В генваре 1845 года послан ко мне вексель на ваше имя – я его не получал; а только с генваря 1847 спрашивают у меня: получил ли я этот вексель? Следовательно, в течение ровно двух лет никто не позаботился узнать, что сделалось с этим векселем. Хорош

ты, Гоголек. А даешь прекрасные советы экономии дамам и эти советы еще печатаешь для пользы всей России[420]. Хорошо, что Плетневу вздумалось сделать проруху и послать вексель secunda ко мне во Франкфурт, а не прямо к тебе в Неаполь. Там бы тебе по этому векселю не дали денег, ибо нужно бы было при нем представить свидетельство, что по векселю prima не было уплаты. Теперь это дело решено; из Гамбурга пришло уведомление, что prima не уплачен (куда он девался, бог ведает). Франкфуртский Родшильд напишет завтра к неаполитанскому Родшильду, чтобы по векселю сделать уплату, как скоро ты с ним явишься. Ему же дано поручение выдать тебе и от меня 1000 рублей ассигнациями, в принятии которых ты должен дать ему расписку, дабы, по предъявлении сей расписки мне, я мог заплатить здешнему Родшильду деньги. Вексель же твой secunda для большей верности послан Убрилем к нашему посланнику Потоцкому, к которому прошу немедля явиться и взять вексель, а меня уведомить об его получении. Из великокняжеских же денег теперь выдано мною тебе 3000 рублей, остает-

ся еще на мне одна тысяча, которая в будущем году в феврале месяце к тебе пошлется… но куда? Итак:

1) по получении сего письма ты явишься к Потоцкому, он выдаст тебе вексель secunda, отправленный к нему Убрилем.

2) С этим векселем secunda явишься в контору Родшильда и получишь там по нему уплату.

3) У того же Родшильда потребуешь 1000 рублей ассигнациями, которые здешним Родшильдом поручено ему выдать тебе моим именем.

4) Обо всем этом меня уведомишь.

Еще переписки с тобою я не начинал; но скоро начну ее.

Прощай. Обнимаю сердечно.

Жуковский.

8/20 февраля 1847.

Гоголь – Жуковскому В. А., 20 февраля (4 марта) 1847

20 *февраля (4 марта) 1847 г. Неаполь* [421]

Оба письма (одно от 4-го февраля и другое

от 10-го) мною получены одно за другим, хотя они шли довольно долго. Еще не получая их, я отправил также два письма, одно за другим. В одном была вложена выписка из письма Шевырева о кончине Языкова; в другом извещение о выпуске в свет моей книги (в изуродованном виде). То и другое было равно скорбно в двух различных отношениях. Но велик бог, приуготовляющий заблаговременно нашу душу к перенесению утрат. О! да будет он с нами, да совершается все по его святой воле, но да не оставляет он нас и да пребудет с нами в часы утрат наших! Мне было также скорбно слышать о недугах и страданьях нервических Елизаветы Алексеевны[422]. Но я верю милосердию божиему, верю, что это совершается для чего-то во благо души. И душа ее после этих недугов, которые пройдут, воссияет, убранная новыми драгоценными убранствами.

Я получил на днях письмо от Смирновой[423]. Она теперь оправилась от своих нервических страданий, которые были ужасны и, как сама она говорит, отняли у ней все силы и самый ум. Теперь она не знает, как благода-

рить бога за это время и за сокровища, которые оно принесло к ней в душу. Она говорит правду: в словах самого письма ее отражается какая-то полнота разума и твердое, несокрушимое упование. Скажу и о себе: мое здоровье так же в это время расстроилось (ночи мои еще до сих пор без сна). Сверх всего этого, сверх самого удаленья от нас в лучшую страну Языкова, который так любил меня (два раза всякий месяц писал он ко мне и, несмотря на все свои недуги, был исправней всех моих корреспондентов), сверх всего этого мне случилося получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей от людей, разумеется, не знающих души моей. Но как все это было нужно! Как все это было нужно! Я и подумать не мог, как много во мне еще осталось гордости, самонадеянности, самолюбия, самонадменности и высокомерия. Да будет благословен бог, раскрывающий перед нами нашу душу. Мне кажется, как будто после всего этого я стал теперь проще и как будто ровнее: сужу по тому, что мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно,

невоздержно, что от стыда закрываю вперед обеими руками лицо. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве! Именье дано в управленье большое, а управитель еще слишком плох и слишком не научен, как привести именье в стройность. Как мне трудно достигнуть той простоты, которая уже при самом рожденье влагается другому в душу и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!

От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма. Надобно знать, что вексель этот был послан ко мне против желанья моего, тогда как я уже сделал совсем другое распоряжение из моих денег. Но хозяина, которому принадлежали деньги, не послушали, оттого, может быть, и постигнула такая участь этот вексель. Во всяком случае, преследование по этому делу и осо-

бенно всякого рода взыскания следует оставить: тот, кто отважился взять эти деньги, был человек, вероятно, беспорядочный и неимущий, а потому и до сих пор остался таким же, то есть беспорядочным и неимущим, а потом придется, может быть, содрать последнюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственников, от чего боже сохрани, а потому дело это оставить. Разузнать можно, но, Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае! Что же касается до меня самого, то мне теперь деньги не нужны. Деньги теперь ползут ко мне со всех сторон, именно потому, что я перестал о них заботиться. Безденежье приходит только тогда, когда человек хлопочет о деньгах. Но обнимаю всех вас, мою до<рог>ую прекрасную семью, <становящуюся> с каждым днем ближайшею моему сердцу. Бог да хранит вас всех. Всего..

Гоголь.

Теперь я должен буду для укрепления нерв моих проездиться в Швальбах и потом на морское купанье, а после этого в Неаполь и

оттуда на Восток. Стало быть, в июне, если будет бог так милостив, мы встретимся во Франкфурте. Видно, недаром было написано в записной книжке, данной мне во Франкфурте на дорогу[424]: «до свиданья» и вслед за этим прибавлено: «Франкфурт».

Жуковский В. А. – Гоголю, 20 февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847

20 *февраля (4 марта) – 12 (24) марта 1847 г. Франкфурт-на-Майне* [425]

20 февр. / 4 марта 1847.

В последнем моем письме к тебе, мой милый Гоголек, я обещался снова начать чтение твоей книги с карандашом в руках, дабы, делая на нее замечания всякого рода, сообщать тебе через письма все то, что будет приходить мне в голову. Эта работа по моему вкусу; не надобно делать никакого плана; не надобно ни брать мерки, ни делать выкройки, а просто нашивать свои заплатки на чужое платье. Хотя платье не изношенное, не в дырах и не требует заплаток, но тот, кому оно достанется, может носить платье, споров заплатки, которые также могут ему на что-нибудь приго-

диться, потому что все из одинаковой свежей материи. Но до сих пор я не мог приняться за перечитывание книги; причину этого скажет тебе прилагаемый здесь печатный листок[426]. Бог посетил наше семейство тяжким испытанием. Вот уже десять дней, как наша милая сестра Мия кончила жизнь свою; ее болезнь (typhus cerebralis) продолжалась не более одиннадцати дней; она не много страдала; последние дни были спокойным, постепенным умиранием, в котором она почти до конца сохранила память; с самого начала болезни было в ней жадное желание причаститься с<вятых> тайн, и, когда это желание исполнилось, совершенный, светлый покой поселился в ее душе – этот покой выражался и на ее лице всякий раз, когда душа брала верх над слабеющим телом. Утром 22 февр<аля> отец и сестра[427] стояли перед нею; глаза ее были закрыты, она, казалось, спала; вдруг тихо вздохнула; отец ищет ее пульс, он остановился; кладет руку на сердце, оно не бьется; смотрит ей в лицо, его покрывает тусклая бледность, и только на лбу остается какой-то живой свет. «Что это?» – спрашивает он у женщины, хо-

дившей за больною. Та отвечает: «Это смерть». Но эта первая минута смерти принадлежала еще душе. Покинув тело, она оставила на лице, побледневшем как мрамор, выражение того, что она была в минуту своего расставания с телом: выражение покоя, смирения и как будто радости, потому что был приметен след улыбки, трогательно приятной. Таков был прекрасный конец нашей Мии, которая провела двадцать шесть лет под кровлей семейной, не испытав никакой тревоги житейской; все было чисто, прекрасно, девственно в этой безвременной (говоря человечески) смерти. Она оставила пережившим одно умилительное о себе воспоминание. Смерть только для живых есть зло, – сказал Карамзин; с одной стороны, это правда, с другой – заблуждение. Не мертвые нас теряют; мы, живые, теряем мертвых; и чем более к ним было любви, тем горестнее их утрата; чем теснее были с ними узы, тем болезненнее разрыв их. И в этом действительное зло смерти. Оно исключительно для одних живых; можно даже сказать, что отнятое у оставшихся все отдается тем, которые их оставили. Для

первых видение земное исчезло, место, так мило занятое, опустело, глаза не видят, ухо не слышит, самое (для них ощутительное) сообщение душ прекратилось. Для последних все это сделалось непосредственнее, свободнее, теснее: душа с своими духовными сокровищами, с воспоминанием о лучшем земном, ей одной принадлежащем, ей, так сказать, укрепленном смертью и слившемся с ее бытием духовным, с своею любовию, с своею верою переходит в мир без времени и без пространства; она слышит без слуха, видит без очей, она соприсутственна всегда и везде душе, ею любимой, не отлученная от нее никакою далью, тогда как нам, живущим, язык ее недоступен, и то, что стало более нашим, кажется нам утраченным навеки. Но в то же время смерть есть великое благо и для живущих, и тем большее благо, чем милее нам был наш умерший. Это глубоко понимает разум, освещенный лучом христианства. Но какую великую силу приобретает убеждение разума, когда оно становится опытом сердца. Пока мы сами не испытали еще никакой болезненной утраты, мы веруем, слушая голос Спа-

сителя, исходящий к нам из Евангелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая в своем истинном великом значении. Но когда над нами самими совершается удар свыше, как иначе делается тогда внятен сердцу этот евангельский голос; уже не в листах книги мы ищем тогда Спасителя нашего. Он сам нас находит, он сам становится к нам лицом к лицу; ценою бедствия покупаем мы лицезрение бога. Велика ли эта цена? И что она перед тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все, что я здесь тебе пишу, я прежде думал; теперь я это видел, и опыт близкого мне сердца сделался моим собственным опытом. Я видел отца, отдавшего в руки бога любимую дочь свою, я слышал отца, прославляющего не словами, а радостию сердца волю Всевышнего, взявшую дитя его, только что расцветшее для жизни. Здесь всего простее повторить слова, сказанные им своей семье, в первую минуту утраты: «Великое дело божие над нами совершилось; мы видели своими глазами, как наша милая дочь перешла к небесному отцу своему; она принесла ему чистую, ничем житейским не потревоженную и

с ним примиренную душу. И теперь мы знаем, без всякого земного сомнения знаем, что ей дано все то, чего бы мы никакою силою нашей любви не могли ни дать, ни сохранить ей в жизни. Мы можем только благодарить и славить. После такого ясного узнания милости неизреченной не позволим себе никогда ни пожалеть, что она от нас взята, ни пожелать, чтобы она была с нами. Будем смирны; и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости! За себя будем только покорны; за нее благодарность и радость». Таким языком говорит христианство о величайшем земном несчастии, которое без него раздавило бы душу и которое с ним становится для нас преображением человеческого мрака в утешительный свет божий.

12 (24) марта.

Выставленное здесь число скажет тебе, что это письмо, начатое 4 марта, целые двадцать дней пролежало на письменном столе моем; мне некогда было приняться за его окончание; не хотелось послать его неоконченным. Наконец я должен был решиться на послед-

нее, прибавив: продолжение впредь. Этим отрывком, который в следующем письме составит целое, начинается моя с тобой переписка по поводу избранных мест из твоих писем. Что буду тебе писать, еще теперь не знаю, да и знать этого мне не нужно; буду писать, что напишется, смотря по тому, что, и как, и когда взойдет на мысль при чтении книги. Я между тем получил твое письмо, в котором ты меня уведомляешь о намерении посетить Швальбах и Остенде прежде Иерусалима. Это благоразумно. А было неблагоразумно оставаться в Неаполе в такое время, когда пребывание в нем всегда вредно для нерв. Теперь надобно его оставить и перебраться скорее к нам на север. И всего бы лучше прямо в мое соседство. Случившееся насчастие в нашем семействе, вероятно, произведет изменения и в моих планах: жду на это разрешения из Петербурга; что велит государь, то и будет. Но из этого следует, что мы могли бы еще пожить если не в одном доме, то в одном месте, и мои критико-философические письма шли бы не через почту, а передавались бы из рук в руки. Я еще не мог приняться за свою главную ра-

боту, за «Одиссею»; надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не Древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока[428]. Теперь переписываю и в то же время поправляю поэму. Мне весело будет слушать, как ты опять будешь читать ее вслух предо мною для новых поправок. Прости. Убриль уведомил меня, что ты получил вексель; смешно, право, что мне ты ничего об этом не пишешь, тогда как знаешь, что вексель был доставлен мне и что я обязан об нем дать отчет тем, кто его мне доставили. Что за расстегайство именно в таких делах, в которых необходима точность математическая. Жена и все мои родные тебе дружески кланяются.

Ж.

Гоголь – Жуковскому В. А., 22 февраля (6 марта) 1847

22 *февраля (6 марта) 1847 г. Неаполь* [429]

Неаполь. 6 марта.

Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дни, то есть четвертого марта. Появленье книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезнули все экземпляры ее[430] (хотя печатано было два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими, и все предметы разговоров умных людей наших обществ заменились другими предметами. Я ожидаю, что после моей книги явится несколько ум-

ных и дельных сочинений, потому что в моей книге есть именно что-то, зарывающее на умственную деятельность человека. Несмотря на то, что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения. Но, признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и нужным у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено, все более или менее, как противники, так и защитники, находятся в положении неспокойном, а многие недоумевают просто, куды пристать, не умея согласить многих, по-видимому, противоположных вещей от той резкости, с какою они выражены. Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возмнил о себе, будто мое школьное воспитанье уже кончилось и могу я стать наравне с тобою. Право, есть во мне что-то хле-

стаковское. А ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою, которой посылаю заочный поцелуй. Прощайте, мои добрые! Бог да хранит вас всех целых и невредимых!

Твой *Г*.

Назад тому дня два я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут. Ночи мои все по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава богу, довольно свеж.

Гоголь – Жуковскому В. А., 5(17) апреля 1847

5 *(17) апреля 1847 г. Неаполь* [431]

Неаполь. 17 апреля.

Приятное и грустное письмо твое, бесценный друг мой, я получил. Но прежде всего поговорим о моей неаккуратности. Право, я не так неаккуратен сам, сколько неаккуратны обстоятельства и вокруг меня ворочающиеся происшествия. Я, не медля нимало, вслед за письмом к Убрилю[432] написал другое к тебе[433], с обстоятельным уведомлением о век-

селе и с приложением расписки в получении третьей тысячи. Прилагаю, на всякий случай, еще раз расписку, если письмо мое как-нибудь пропало. Но обратимся к сладостно-грустной стороне письма. Разумею высоко-христианский подвиг семейства Рейтернов. О, дай бог многим тем (если не всем), которые тщеславятся православием своим и истиною церкви своей и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель! Я другого ничего не мог придумать в изъявленье моего участия Рейтерну, как послать ему отрывок из Златоуста, который потрудись им изъяснить как-нибудь по-немецки. Выписываю еще, на всякий случай, из Тертуллиана о воскресении тел[434]. Мне кажется, истина воскресения тел недостаточно объяснена и признана у лютеран. Статья эта покажется Рейтерну очень усладительной, особенно после прочтения Златоуста. Вот она.

Обнимаю вас всех, милые сердцу моему, и через месяц питаю удовольствие обнять вас лично.

Гоголь – Жуковскому В. А., 29 декабря 1847

29 *декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Неаполь* [435]

1848. Генварь 10 / 1847. Декабр<ь> 29. Неаполь.

Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать – и непостижимая неохота удерживает. Перед мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи – здесь[436]. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой

уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что прежде, чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все

совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения – вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слы-

шал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлен<ие>. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и

обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки,– а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы – и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от

всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем[437], который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье души человеческой, божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей про-

зы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она по-

шла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайсь прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на место его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор по-

нятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из ко-

торого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все омрачающее благородство природы нашей. Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мертвыми душами»[438]. Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не сделать), поблаго-

дарю, как сумею, за все бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде. Затем от всей души поздравляю тебя с новым годом. Дай бог, чтоб был он нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.

Твой *Г*.

Если письмо это найдешь не без достоинст<ва>, то прибереги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» поставить впереди книги на место «Завещания», имеющего выброситься, а заглавье дать ему: «Искусство есть примирение с жизнью».

Все хочу спросить и все позабываю: есть

ли у тебя латинский надстрочный перевод «Одиссеи», напечатанный недавно в Париже вместе с подлинником. Весьма красивое издание. Весь Гомер в одном томе, в большую осьмушку. Editore Ambrosio Firmin Didot. Parisiis[439]. 1846. Мне он показал<ся> весьма удовлетворительным и для тебя полезнейшим прочих.

Адрес мой: в Неаполь, poste restante или, еще лучше, в hôtel de Rome, а чтобы не попало письмо в город Рим, слово Неаполь нужно выставить позаметней.

Жуковский В. А. – Гоголю, конец 1847

Конец 1847 г. Франкфурт-на-Майне [440]

Вообрази, любезнейший Гоголек, что ты еще ни разу не написал ко мне с тех пор, как мы расстались[441]. Не знаю, как это изъяснить. Вот тебе еще письмо. Я распечатал, чтобы уменьшить вес, но не читал. Теперь принялся за твою книгу, и если удастся сделать сколько-нибудь путных замечаний, то они вместе с написанным прежним[442] будут напечатаны под титулом: Отрывки из писем к Гоголю, писанных к нему о его книге[443]. Ра-

бота привлекательная. Она мне служит переходом к «Одиссее». Между тем и «Одиссея» и «Рустем» печатаются в Карлсру[444]. Полное издание моих сочинений выйдет, если поможет бог, в начале осени 1848[445]. Тогда примусь за прозу: еще много можно будет доброго написать, если еще несколько лет жизни мне дастся и не нападет болезнь на меня. Прощай.

Гоголь – Жуковскому В. А., 6 апреля 1848

6 *апреля 1848 г. Бейрут* [446]

1848. Байрут. Апреля 6.

Пишу к тебе, бесценный и родной мой, несколько строчек из Байрута, за несколько часов до отъезда с пароходом в Смирну и Константинополь. Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого гроба святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь, что пещерка, или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить, нагнув-

шись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «господи, помилуй» и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходивш<ее> из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же, собственно, я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я

не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного... Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима. Дай мне известия о себе и о всем, что тебя касается, скорей, как можно. Я не имею до сих пор еще ответа ни на длинное мое письмо из Неаполя, ни на письмо из Иерусалима[447]. Адресуй в Полтаву, для большей же точности прибавь: а оттуда в село Васильевку. Это деревенька моей матери, где я приостановлюсь на лето. Рад буду несказанно, если уже застану там твое письмо.

Обнимаю вас крепко всех, от велика до мала.

Твой *Н. Гоголь*.

Жуковский В. А. – Гоголю, 7 (19) апреля 1848

7 *(19) апреля 1848 г. Ганау* [448]

Ганау, 7/19 апреля 1848 года.

С изумлением и с радостию, мой милый Гоголь, получил я твое письмо из Иерусалима[449]. В то время как я полагал, что вокруг тебя шумит возмутившийся Неаполь[450], ты

спокойно стоял у гроба господня и, смотря на него, глубже понимал и значение человеческих тревог на земле, и тайну небесного мира души человеческой. В эту минуту ты, вероятно, на пути в отечество; ты, вероятно, посетив Святую землю откровения, заглянул и в классическую землю героических басен, в Троаду[451], из которой пустился в свое долгое странствие наш Одиссей; вероятно, ты уже видел Босфор, может быть, теперь сидишь в Константинополе или уже плывешь по волнам Черного моря в Одессу... Добрый путь в любезное отечество! А я между тем сижу у Майна и жду погоды, которая в это время весьма бурная. Твои неаполитанские смуты через Париж перебежали в Германию[452]; немецкое пиво запенилось, как французское шампанское. Мог ли ты вообразить возможность такого всеобщего переворота? Но ни слова о политике; скажу только несколько слов о себе. Когда ты будешь читать в Полтаве это письмо, я буду уже, если бог сохранит нас посреди этого землетрясения, на пути в Россию. Но прежде надобно жене полечиться в Эмсе – позволят ли обстоятельства это исполнить, не

знаю; но Эмс для нее необходим: она несказанно страдает. Да и у меня третья неделя, <как> болят глаза, что принуждает меня не своеручно писать, а диктовать письмо мое к тебе. Пишу из Ганау, куда перевез жену для Коппа недели на две. В нашем Франкфурте, в нашем уголку саксенхаузенском, спокойно и безопасно, хотя Франкфурт теперь сделался центром революционного движения.

Я не отвечал тебе на твое длинное последнее письмо, заключающее в себе твою и, вместе с твоею, мою литературную исповедь[453], – правильнее сказать, я не послал тебе моего ответа, ибо не полагал, что он тебя застанет в Неаполе; но ответ написан; я послал его в Москву к Елагиной, дабы она передала его Шевыреву для напечатания в «Москвитянине»[454]. Во всяком случае, я надеюсь, если на то воля божия, увидеться с тобою в России в конце нынешнего года. Если бог даст жизни, то мы можем еще рука в руку пройти по одной дороге, имея перед глазами цель высокую и святую, для пользы души нашей, а с нею и для пользы нашего отечества. Прости; жена тебе сердечно кланяется, все наше семейство

тебя помнит и любит; весьма может случиться, что все мы сойдемся под отечественным небом.

Твой *Жуковский*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 15 июня 1848

15 *июня 1848 г. Полтава* [455]

Полтава. Июнь 15. 1848.

Твое милое письмецо, посланное из Франкфурта в Полтаву, получил[456]. Большое же, напечатанное в «Москвитянине», прочел еще в Одессе, на другой день после того, как ступил на русский берег. Оно очень, очень дельно, понравилось многим, а меня освежило. Никогда еще так верно и так прекрасно не было сказано о долге писателя. Никогда еще, может быть, не было так нужно сказать это, как в нынешнее время. Я покуда, слава богу, еще здравствую и живу, хотя время не весьма здоровое и вокруг везде болезни. Еще не принимался сурьезно ни за что и отдыхаю с дороги, но между тем внутренно молюсь и собираю силы на работу. Как ни возмутительны совершающие<ся> вокруг нас события, как ни способны они отнять мир и

тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится бог. Что мы можем выдумать теперь для нашего земного благосостояния или обеспечения себя или обеспечения близких нам, когда все неверно и непрочно и за завтрашний день нельзя ручаться? Будем же исполнять то, для <чего> нам даны богом силы и способности и в истине чего залогом служат те сладкие минуты, которые мы в жизни ощущали, после которых и лучше молилось, и лучше благодарилось, и лучше чувствовалось добро. Что нам до того, производят ли влиянье слова наши, слушают ли нас! Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно песнь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и все земное разрушалось. Умереть с пеньем на устах – едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружием в руках. Еще с полмесяца я пробуду здесь, потом еду в Москву, из Москвы съезжу на месяц в Петербург, чтобы

взглянуть на многое собственным глазом. По дороге зацеплю некоторые места и даже, может быть, сворочу несколько с дороги вовнутрь Руси, чтобы освежить свою память и все-таки набраться кое-каких нужных материалов. О дальнейшем извещу. Письма адресуй мне всегда в Москву, на имя Шевырева. Обнимаю тебя крепко, крепко, обнимаю также и всех вас, от мала до велика.

Весь твой *Н. Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 3 апреля 1849

3 *апреля 1849 г. Москва* [457]

3 апреля.

Христос воскрес! Больше ничего не знаю сказать тебе. Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Может быть, оттого, что не стало наконец ничего любопытного на свете. Нет известий. Только и есть одно известие, которое ежеминутно мы должны сообщать друг другу: это, что Христос воскрес. Та же недвижность и в моих литературных занятиях. Я ничего не издал в свет и ничего не готовлю; что и приуго-

товляю, то идет медленно и не может никак выйти скоро, и бог один знает, когда выйдет. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять. Чувствуется только, что не без смысла. Время настало сумасшедшее. Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не должен теперь всякий истинный поэт и мыслитель думать прежде всего о воздержании, произнося: «Господи, положи хранение устом моим». Ты счастлив, подчинивши себя слепцу Гомеру. Он не увлечет тебя с дороги в омут, хоть и слепец. Свой же собственный ум, того и гляди, занесет куды-нибудь в овраг. Кстати об «Одиссее»[458]. Я уже было написал к тебе письмо собственно о ней, но письмо это осталось неокончен<ным>. Оказалось, что по поводу этого предмета так много нужно говорить, что я испугался. Наговоримся при свиданье. Покуда передаю тебе всеобщее неудовольствие на печать, которое разделяю и я. Шрифт так неудобен для чтения, что я, у которого глаза, слава богу, хороши, заикался и поперхивался едва ли не на всякой строчке. По моему мнению, «Одиссею» следовало бы из-

дать особо: разгонисто, буквами крупными, формат книге дать большой. Словом, прилично важности труда. Но слава богу, что, во всяком случае, она издана и ее читают. Чтение это вносит особенное спокойств<ие> в душу, беспрестанно возмущаемую мятежным временем. Я всю зиму прожил в Москве. Лето полагаю провесть также если не в самой Москве, то по крайней мере в окружности ее. Мне все кажется, что хорошо бы тебе завести подмосковную. В деревне подле Москвы можно жить еще лучше, нежели в Москве, и еще уединеннее, чем где-либо. В деревню никто не заглянет, и чем она ближе к Москве, тем меньше в нее наведываются, это уже такой обычай. Так что представляются две выгоды: от людей не убежал и в то же время не торчишь у них на глазах. Если, в ответ на это мое письмо (которое, как ни коротко, но есть уже подвиг, принимая в соображение непостижимую лень и бездействие сил моих), наградишь меня, с обычной твоей благостью и кротостью снисхожденья, весточкой о себе, об «Одиссее», о милом твоем доме и о том, когда ждать тебя и в какой уголок русского царства,

то и сим, может быть, освежишь и дремлющую мою деятельность, и силы. Бог да хранит тебя и все, что близко твоему сердцу. Да спасет от всего нечистого добрую душу твою. Передай мое поздравленье с праздником и братское заочное лобзанье супруге, деткам, всем Рейтернам.

Христос воскрес!

Твой *Н. Гоголь*.

Мой адрес: Москва. На Никитском булеваре в доме Талызина.

Гоголь – Жуковскому В. А., осень 1849

Осень 1849 г. Москва [459]

Миллион поцелуев и ничего больше! Известие об оконченной и напечатанной «Одиссее»[460] отняло язык. Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования[461]. Может быть, оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками. Может быть, и оттого, что автору. «Мертвых душ» нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков. Письмо на-

пишу – и будет длинное.

Твой *Н. Гоголь*.

Гоголь – Жуковскому В. А., 14 декабря 1849

14 *декабря 1849 г. Москва* [462]

Москва. 1849, декабря 14.

Прежде всего благодарность за милые строки, хоть в них и упрек. Сам я не знаю, виноват ли я или не виноват. Все на меня жалуются, что мои письма стали неудовлетворительны и что в них видно одно: нехотение писать. Это правда. Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствованье хуже сна? Полтора года моего пребыванья в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и

минуты времени, не отхожу от стола, не от<о>двигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. Или, в самом деле, 42 года есть для меня старость, или так следует, чтобы мои «Мертвые души» не выходили в это мутное время, когда, не успевши отрезвиться, общество еще находится в чаду и люди еще не пришли в состояние читать книгу как следует, то есть прилично, не держа ее вверх ногами? Здесь все, и молодежь и стар<ость>, до того запуталось в понятиях, что не может само себе дать отчета. Одни в полном невежестве дожевывают европейские уже выплюнутые жеваки. Другие изблевывают свое собственное несваренье. Редкие, очень, очень редкие слышат и ценят то, что в самом деле составляет нашу силу. Можно сказать, что только одна церковь и есть среди нас еще здоровое тело. Появленье «Одиссеи» было не для настоящего времени. Ее приветствовали уже отходящие люди, радуясь и за себя самих, что еще могут чувствовать вечные красоты Гомера, и за внуков своих, что им есть чтение светлое, не отемняющее головы. Я знаю людей, которые

несколько раз сряду прочли «Одиссею» с полной признательностью и глубокой благодарностью к переводчику. Но таких (увы!) немного. Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырев пишет рецензию; вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу. Временами мне кажется, что II-й том «Мертвых душ» мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтенью Гомера. Временами приходит такое желанье прочесть из них что-нибудь тебе, и кажется, что это прочтенье освежило бы и подтолкнуло меня – но... Когда это будет? когда мы увидимся? Вот тебе все, что в силах сказать. Прости великодушно, если и это письмо неудовлетворительно. По крайней мере, я хотел, чтобы оно было удовлетворительно. Обнимаю от всей души и тебя и все, что к тебе близко.

Твой весь *Н. Гоголь*.

Жуковский В. А. – Гоголю, 20 января (1

февраля) 1850

20 *января (1 февраля) 1850 г. Баден-Баден* [463]

20 генваря (1 февраля) 1850
Баден-Баден.

Наконец, мой милый Гоголек, я получил от тебя что-то похожее на письмо, после двух лет разлуки, и какой разлуки? Во время это случилось столько с тобою, что было бы довольно материалов для продолжительной переписки. Впрочем, я не слишком тебя обвиняю – все возможные загадки лени мне понятны, ибо все мною самим были разгаданы. И теперь волку отливаются овечьи слезы: все мои друзья молчат как мертвые. Ни один даже из учтивости не поблагодарил меня за присылку «Одиссеи». Весьма сожалею, что истратил деньги на напечатание ста экземпляров in 8° Полных моих сочинений[464], для раздачи моим друзьям и приятелям; из лавки Смирдина каждый получил бы свой экземпляр без хлопот; а я не остался бы в убытке. Но оставим это. Благодарю тебя за письмецо. Что скажу о себе? Я не на розах по-прежнему,

как то было при тебе. Жена продолжает страдать, и тебе понятнее, нежели другим, каково ей, – ты сам испытал все эти муки, которые не потому так тягостны, что сокрушают счастье жизни, но более потому, что отымают у души всякую способность переносить их с покорным терпением. Убеждение говорит: «Здесь все добро и все к добру, потому что бог хозяин в доме своем и сам обо всем заботится лично, следственно, все должно быть в совершенном порядке. Да не смущается сердце твое!» Так думается всегда, но не так чувствуется в некоторые минуты, которые своею тревогою сокрушают душу, как нечаянное наводнение, которое вдруг уносит хижину со всеми в ней живущими.

Но об этом предмете будем говорить после. Обращаюсь к историческому. Из Швейцарии, куда мы спасались от немецкого колбасного бунта[465], мы переселились снова в Баден-Баден. Зима у нас жестокая, какой никогда здесь не бывало; она мешает Гугерту приняться за лечение жены; по его плану, мы должны остаться в Бадене до конца июня, провести июль в Остенде, потом возвратить-

ся в Россию и провести зиму в Ревеле. Исполнится ли этот план – это знает один всевышний хозяин. Меж тем я, побывав в Варшаве, хворал, и хотя не было у меня лежачей болезни, но чуть не объявилась смертельная – теперь все поправилось. Но, кончив свой большой труд[466], я вдруг остался без дела, как корабль, который плыл с попутным ветром на всех парусах и вдруг, обхваченный штилем, остановился посреди неподвижного моря и лениво покачивается на одном месте, производя в пассажирах тошноту и рвоту. Из этой неподвижности я вышел, однако, принявшись после эпической поэмы за азбуку, то есть принявшись за обучение грамоте моей Сашки. И так как это дело должно совершаться по моей собственной, мною самим изобретенной методе, то оно имеет характер поэтического создания и весьма увлекательно, хотя начинается чисто с азбуки и простого счета. Что моя метода хороша, то кажется мне доказанным на опыте, ибо вот уже целый месяц, как ежедневно (правда, не более получаса в дни) я занимаюсь с Сашей, а она не чувствовала ни минуты скуки именно потому, что я

заставляю ее своею головкою работать, а не принуждаю сидеть передо мною с открытым ртом, чтобы принимать от меня жеванные мною, а потому и отвратительные куски пищи: сравнение немного нечисто, но оно верное. Из этих уроков может составиться полный систематический курс приготовительного домашнего учения, который со временем может принести и общую пользу. Между тем берет меня подчас и охота побеседовать с моею старушкою музою; хотелось бы пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего «Странствующего жида»[467]; но это могу сделать только урывками. Теперь же главный мой труд педагогический. Знаешь ли, что ты можешь помочь мне весьма значительно в этом поэтическом предприятии? План «Странствующего жида» тебе известен; я тебе его рассказывал и даже читал начало, состоящее не более как из двадцати стихов. Что же ты тут можешь сделать с своей стороны? А вот что. Мне нужны локальные краски Палестины. Ты ее видел, и видел глазами христианина и поэта. Передай мне свои видения; опиши мне просто (как путешественник, воз-

вратившийся к своим домашним и им рассказывающий, что, где с ним было) то, что ты видел в Святой земле; я бы желал иметь перед глазами живописную сторону Иерусалима, долины Иосафатовой, Элеонской горы, Вифлеема, Мертвого моря, Пустыни искушения, Фавора, Кармила, Степи, Тивериадского озера, долины Иорданской – все это, вероятно, ты видел; набросай мне несколько живых картин без всякого плана, как вспомнится, как напишется, мне это будет несказанно полезно и даже вдохновительно для моей поэмы: я уверен, что к собственным моим мыслям прибавится много новых, которые выскочат, как искры, от удара моей фантазии об твою. Не поленись же, напиши, сделаешь мне дорогой подарок, да и самому тебе будет приятно мне его сделать: поневоле воротишься в Палестину. А я буду ждать твоего ответа – утвердительного или отрицательного, и до тех пор не примусь за свое лебединое пение.

Прости. Пришли свой адрес. Ты так обленился, что и об второй части «Одиссеи» не сказал мне ни слова, а я ею более доволен, нежели первою. Как ты?

Гоголь – Жуковскому В. А., 28 февраля 1850

28 *февраля 1850 г. Москва* [468]

28 февраля, Москва.

Почувствовав облегченье от болезни, в которой пробыл недели полторы, принимаюсь отвечать. Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками в таком виде, чтобы они могли послужить в пользу твоему «Вечному жиду». Знаешь ли, какую тяжелую ты мне задал задачу? Что могу сказать я, чего бы ни сказали уже другие? Какие краски, какие черты представлю, когда все уже пересказано, перерисовано со всеми малейшими подробностями? Да и к чему эти бедные черты, когда всякое событие евангельское и без того уже обстанавливается в уме христианина такими окрестностями, которые гораздо ближе дают чувствовать минувшее время, чем все ныне видимые местности, обнаженные, мертвые? Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел скорбный путь Спасителя ко кресту, которые все теперь собраны под одну

крышу храма, так что и св. гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, и жилище архиерея, к которому он был проводим, и место нахождения животворного креста – все очутилось вместе? Что могут все эти места, которые привыкли мы мерять расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя, если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами? Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Все это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля

каменьев да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда[469]? Представь же себе посреди такого опустения Иерусалим, Вифлеем и все восточные города, похожие на беспорядочно сложенные груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь себе посреди такого же опустения у ног Иерусалима долину Иосафатову с несколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах иерусалимских Страшный день крестной смерти при помраченье всего вокруг и землятрясенье или Светлый день воскресенья, от блеска которого помрачится все окружающее, и нынешнее и минувшее[470]? Право, не знаю, что могу сооб-

щить тебе такого о Палестине, что бы навело тебя на благодатные мысли и побудило бы тебя вдохновенно принять<ся> за перо и свою поэму. Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденье и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря,

так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима. Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы – одно место, где он кажется обширным и великолепным: поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с остриями минаретов какой-то игра-

ющий вид. Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги Вознесшегося[471], чудесно вдавленный в твердом камне как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты. Еще помню вид, открывшийся мне вдруг посреди однообразных серых возвышений, когда, выехав из Иерусалима и видя перед собою все холмы да холмы, я уже не ждал ничего, – вдруг с одного холма, вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстали горы. Странные горы: они были похожи на бока или карнизы огромного высунувшего<ся> углом блюда. Дно этого блюда было Мертвое море. Бока его были голубовато-красноватого цвета, дно голубовато-зеленоватого. Никогда не видал я таких странных гор. Без пик и остроконечий, они сливались верьхами в одну ровную линию, составляя повсюду ровной высоты исполинский берег над морем. По ним не было приметно ни отлогостей, ни горных склонов; все они как бы состояли из бесчисленного числа граней, отливавших разными оттенками сквозь общий мглистый голубовато-красноватый цвет. Это вулканическое

произведение – нагроможденный вал бесплодных каменьев – сияло издали красотой несказанной. Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете[472], точно как бы это случилось в России, на станции. Повсюду и на всем видел я только признаки явные того, что все эти ныне обнаженные страны, и преимущественно Иудея (ныне всех бесплоднейшая), были действительно землей млека и меда. По всем горам высечены уступы – следы некогда бывших виноградников, и теперь даже стоит только бросить одну горсть земли на эти обнаженные каменья, чтобы показались на ней вдруг сотни растений и цветов: столько влажности, необходимой для прозябенья, заключено в этих бесплодных каменьях! Но никто из нынешних жителей ничего не заводит, считая себя кочевыми, преходящими, только на время скитающимися в сей пораженной богом стране. Только в Яффе небольшое количество дерев ломится от тягости плодов, пора-

жая красотой своего роста.

Друг, сообразил ли ты, чего просишь, прося от меня картин и впечатлений для той повести, которая должна быть вместе и внутренней историей твоей собственной души? Нет, все эти святые места уже должны быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие – и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии! Как беден перед этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который озирается мертвыми очами ученого исследователя! Не вознегодуй же на меня, если ничего больше не сумел тебе сказать, кроме этой малой толики. Мне кажется, если бы ты сделал то же с Библией, что с Евангелием, то есть всякий день переводил бы из нее по главе, то Святая земля неминуемо бы предстала бы тебе благословенной богом и украшенной именно так, как была древле.

Шевыреву я передал и твой поклон, и твою

просьбу. Теперь он загромождён делами по университету, которых навалили на него кучу. Но «Одиссеей» он займется непременно, как только сколько-нибудь удосужится. Тем более, что это занятье его много занимает[473]. Что же мне написать тебе об «Одиссее»? Сказавши в первом письме, что много есть в России людей тебе особенно за нее благодарных и что она совершенство, я сказал все. Да и что сказать о труде, в котором все части приведены в такую стройность и согласие? Если бы что-нибудь выступало сильней другого или было обработано лучше или же отстало, тогда бы нашлись речи. А теперь вся оценка сливается в одно слово: прекрасно! Притом если даже и хвалить картины, то похвалы все достанутся Гомеру, а не тебе. Переводчик поступил так, что его не видишь: он превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стекла. Во II томе «Одиссеи» это еще более поразительно, чем в первом. Но прощай. Да поможет тебе тот, кто один только может быть вдохновителем в труде твоем! Обнимаю тебя всею мыслью, крепко. Бог в помощь!

Твой весь *Н. Гоголь*.

Обними за меня все близкое твоему сердцу. Мой адрес: на Никитском бульваре в доме Талызина.

Максимович просит убедительно стихов для альманаха «Киевлянин». Хоть двух строчек[474].

Гоголь – Жуковскому В. А., 16 декабря 1850

16 *декабря 1850 г. Одесса* [475]

Поздравляю тебя с наступающим новым годом: бог в помощь, добрый друг! Везде, где бы ты ни был, где бы ни нашло тебя письмо мое, за какой бы работой ты ни сидел и каким бы делом и мыслью ни был занят, – бог в помощь! Мы давно друг к другу не писали; не писали, потому что не писалось, но, верно, мы думали часто друг о друге. Предмет, связавший тесней прежнего нас, близок равно сердцам нашим, и, мысля о нем, нельзя, чтобы мы не вспоминали друг о друге. Милосердый бог меня еще хранит, силы еще не слабеют, несмотря на слабость здоровья; работа

идет с прежним постоянством, и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанью. Что ж делать? Покуда человек молод, он – поэт, даже и тогда, когда не писатель; когда же он созреет, он должен вспомнить, что он – человек, даже и тогда, когда писатель. А что человек? Его значенье высоко: ему определено стать выше ангела небесного, любовью пострадавшего за нас Христа. Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображенье подталкивает его беспрерывно. Он творит, строит очаровательные воздушные себе замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть покуда в немногих избранных и лучших, тут воображенье немного подвигнет писателя; нужно добывать с боя всякую черту. Хотелось бы очень прочесть тебе все, что написалось. Если бог благословит возврат твой в Россию будущим летом, то хорошо бы нам съехаться хоть на месяц туда, где расположишься ты на лет-

нее пребыванье, будет ли это в Ревеле, Риге или где инде. Мы туда бы выписали Плетнева, Смирнову и еще кого-нибудь и провели бы прекрасно это время. Уведоми меня, мой добрый, близкий, близкий моему сердцу. Пиши в Одессу, куда я убежал от суровости зимы, подействовавшей было на меня довольно разрушительно в Москве, но, слава богу, в этом году она благосклонней. Жду с нетерпеньем от тебя двух слов и, обнимая тебя, повторяю: бог в помощь и тебе, и всем близким твоему сердцу.

Твой *Н. Гоголь*.

Адрес: В Одессе 1 части 1-го квартала. В доме генерал-маиора Трощинского.

16 декабря русского стиля.

Жуковский В. А. – Гоголю, 1(13) февраля 1851

1 *(13) февраля 1851 г. Баден-Баден* [476]

Милый Гоголек. Вот уж моя очередь перед тобою виниться: на твое большое письмо я отвечал печатным, а на твое письмо о Палестине совсем не отвечал; оно чрезвычайно

оригинально и интересно, хотя в нем одно, так сказать, негативное изображение того, что ты видел в земле обетованной. Но все придет в свой порядок в воспоминании. То, что не далось в настоящем, может сторицею даться в прошедшем. И со временем твои воспоминания о Святой земле будут для тебя живее твоего там присутствия. – Скажу тебе теперь несколько слов о себе. Но нет, еще несколько слов о тебе. Здесь, в Бадене, Кошелев (который, однако, нынче отъезжает); он обрадовал меня известием, что «Мертвые души» идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется, – дело будет, верно, хорошо кончено.

Теперь обо мне. Я надеюсь, верно, возвратиться нынешнею весною или в начале лета в Россию. Прежде всего поеду в Дерпт и там на первый случай оставлю жену и детей; сам же в августе месяце отправлюсь в Москву и там отпраздную коронацию и царский юби-

лей[477]; туда, надеюсь, на это время съедутся все мои родные; туда, равно надеюсь, приедешь и ты и, по образу и подобию Хомякова, дашь мне хлебнуть твоих «Мертвых душ». – Я же теперь работаю много, но мои теперешние работы все ограничиваются педагогикою, то есть приготовлением к предварительному курсу учения детей моих; эта работа берет все мое время и не позволяет мне ни за что другое приняться. Если бы ее не было, то я бы перевел всю «Илиаду»[478]; полторы песни переведены (каталог кораблей[479] сбросил с плеч: это самое трудное), все пошло бы по маслу; но труд по службе, то есть по домашнему министерству просвещения, должен быть впереди; надеюсь, что «Илиада» от меня не уйдет: великое было бы дело оставить по себе в наследство отечеству полного Гомера. Об этом, однако, прошу тебя не говорить. Хотелось бы и «Вечного жида» успокоить; это<т> труд может быть результатом теперешних трудов моих; моли бога, чтобы даровал мне еще десяток лет здоровой жизни; я буду стараться употребить их с пользою, покорствуя святой его воле; тогда после меня что-нибудь

дельное останется на добро детям моим и отечеству.

Прости, Гоголек. Я напишу к тебе, когда поеду отсюда или когда приеду в Россию. Жена дружески тебе кланяется.

Твой верный

Жуковский.

Баден 1/13 февраля 1851

Гоголь и П. А. Плетнев

Вступительная статья

Встреча Гоголя с Петром Александровичем Плетневым (1792–1865) состоялась в 1830 году. Их познакомил Жуковский, препоручивший явившегося к нему молодого человека заботам Плетнева, который был несомненным авторитетом для Гоголя: еще в 1829 году Плетневу был анонимно преподнесен экземпляр «Ганца Кюхельгартена».

Плетнев принадлежал к пушкинскому кругу, хотя сближение с этим кругом далось ему нелегко: сын сельского священника, получивший первоначальное образование в тверской семинарии, по происхождению и

воспитанию он слишком отличался от «литературных аристократов». Только с Пушкиным и Дельвигом был он по-настоящему близок. Как литератора Плетнева ценили за его критические отзывы и статьи, писавшиеся с большим вкусом и тактом. Как издатель он был незаменим. Кроме того, он много и успешно занимался педагогической деятельностью: преподавал словесность в Екатерининском и Патриотическом институтах, а также в военно-учебных заведениях, давал уроки наследнику и великим княжнам. Позже, в 1840–1861 годах, он занимал должность ректора Петербургского университета.

Чуть ближе познакомившись с Гоголем, Плетнев начал активно содействовать и его служебной карьере, и его сближению с литературной средой. В 1831 году он порекомендовал Гоголя на место младшего учителя в Патриотическом институте, где сам в это время занимал должность инспектора, и помог ему получить частные уроки у Лонгиновых, Балабиных и Васильчиковых. По появлении в печати первых литературных опытов Гоголя Плетнев с большим воодушевлением писал

Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью 0000, также в «Литературной газете» «Мысли о преподавании географии», статью: «Женщина» и главу из малороссийской повести: «Учитель». Их написал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. 3. СПб., 1885, с. 366). Введя никому не известного начинающего малороссийского писателя в пушкинский круг, Плетнев содействовал решительному повороту в судьбе Гоголя.

В конце 1830-х годов и положение Плетнева, и его отношения с Гоголем изменились.

После смерти Пушкина Плетнев осиротел. Ни с Жуковским, ни с Вяземским, ни с другими людьми пушкинского окружения у него не было подлинно близких связей. Связи с ними начали постепенно укрепляться лишь на протяжении 1840-х годов, когда эти люди, чувствуя себя в культурной изоляции, стали тянуться друг к другу, все больше дорожа прошлым. Одиночество, в котором оказался Плетнев, служит тем фоном, на котором развиваются и укрепляются в это время его отношения с Гоголем. Как прежде для Пушкина, так теперь для Гоголя Плетнев становится и другом, и издателем, и кассиром. Со времени отъезда Гоголя за границу Плетнев постоянно занят его денежными и издательскими делами. По выходе «Мертвых душ», когда вокруг книги разгорелась полемика и появились чрезвычайно недоброжелательные отзывы на нее, Плетнев опубликовал замечательно глубокий и тонкий разбор гоголевской поэмы.

В 1840-е годы взгляды Плетнева стали обретать ярко выраженный консервативный характер. Видя в нем своего единомышленни-

ка, Гоголь избрал его в издатели «Выбранных мест из переписки с друзьями». Плетнев принялся за дело с большим энтузиазмом, приступив к печатанию первых глав книги раньше, чем получил и прочел ее до конца. Сам склонный к сентиментальной исповедальности, он воспринял новое произведение Гоголя с чрезвычайным восторгом и был уверен, что оно совершит полный переворот в направлении русской литературы. Явно сочувствовал Плетнев и «Развязке «Ревизора», предприняв со своей стороны все возможное, чтобы ее разрешили к постановке. Как издателю «Выбранных мест...» Плетневу пришлось разделить с Гоголем негодование, вызванное выходом книги, выпущенной в свет вопреки настояниям С. Т. Аксакова не печатать произведение, которое «сделает Гоголя посмешищем всей России». После появления «Выбранных мест...» многие прежде близкие люди отвернулись от Гоголя – тем больше он стал дорожить дружбой Плетнева, поддержавшего его.

Все это не означает, однако, что в их отношениях не было осложнений. Преданный Пушкину, Плетнев после его смерти счел себя

обязанным в память о нем продолжать издание «Современника» и лишь в 1846 г. передал его в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, оказавшись, таким образом, соединительным звеном между пушкинской плеядой и новым поколением писателей. В течение десяти лет Плетнев самоотверженно боролся за существование журнала – и не нашел поддержки ни в ком из ближайших друзей Пушкина. Не принимал деятельного участия в «Современнике» и Гоголь, вообще уклонявшийся от активного сотрудничества с какой бы то ни было журнальной партией. Плетнев не мог ни понять, ни простить этого. Он ревновал Гоголя к его московским друзьям: Аксаковым, Шевыреву, Погодину. Серьезное и, надо сказать, справедливое неудовольствие Плетнева Гоголь не раз вызывал своей необязательностью в делах. В переписке Гоголя и Плетнева содержатся письма, в которых взаимные упреки высказаны весьма откровенно. Но эта взаимная откровенность только содействовала укреплению отношений. Плетнев, после смерти Пушкина не сочувствовавший ни одной литературной группировке, одиноко и

мужественно выполнявший то, что он считал своим долгом, для Гоголя всегда оставался надежной и верной опорой.

Переписка с Плетневым охватывает период с 1832 по 1851 год. Сохранилось 68 писем Гоголя и 23 письма Плетнева. В настоящем издании печатаются 17 писем Гоголя и 15 писем Плетнева.

Гоголь – Плетневу П. А., 9 октября 1832

9 *октября 1832 г. Курск* [480]

9-го октября. Курск.

Здоровы ли вы, бесценный Петр Александрович? Я всеминутно думаю об вас и рвуся скорее повеситься к вам на шею. Но судьба, как будто нарочно, поперечит мне на каждом шагу. В последнем письме моем, пущенном 11 сентября[481], я писал вам о моем горе: что, поправившись немного в здоровье своем, собрался было ехать совсем; но сестры мои, которых везу с собою в Патр<иотический> инст<итут>, заболели корью, и я принужден был дожидаться, пока проклятая корь прошла[482]. Наконец 29 сентября я выехал из дому и, не сделавши 100 верст, переломал так

свой экипаж, что принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и несносном Курске. Вы счастливы, Петр Александрович! вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука. Но завтра чуть свет я подвигаюсь далее, и если даст бог, то к 20 октябрю буду в Петербурге. А до того времени, обнимая вас мысленно 1001 раз, остаюсь вечно ваш *Гоголь*.

Вы не можете себе представить, как я сгораю жаждою вас видеть. Один только любовник, летящий на свиданье, может со мною сравниться.

Гоголь – Плетневу П. А., 16(28) марта 1837

16 *(28) марта 1837 г. Рим* [483]

Март 28/16. Рим.

Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России[484]. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание...[485] Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.. Напишите мне хоть строчку, что делаете вы, или скажите об этом два слова Прокоповичу. Он будет писать ко мне. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться. Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу, дабы он отправил их к одному из банкиров в Риме для передачи мне. Лучше, если он пере-

ведет на Валентина, этот, говорят, честнее прочих здешних банкиров. Если возможно, то ускорите это сколько возможно. Я не мог вам написать прежде, потому что не установился на месте и шатался все в дороге.

Да хранит вас бог и сбережет от всего злого. Мой адрес: Via S. Isidoro, № 17, rimpetto alla chiesa S. Isidoro, vicino alla Piazza Barbierini.

N. Гоголь.

Гоголь – Плетневу П. А., 7 января 1842

7 *января 1842 г. Москва* [486]

Генваря 7.

Расстроенный и телом и духом пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург, мне это нужно[487], это я знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы... но бог с ними, не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь

место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев чрез два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места, перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), – нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет[488]. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без исключения были комедия в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». В силу наконец мог взять в толк умный пре-

зидент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров. – Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, – уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова, – стали кричать

все, – есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном

вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор (Каченовский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком сурьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее на-

чатый труд. Светлых минут у меня не много, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что я пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю[489]. Я об этом пишу к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжон или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете совещание вместе. Попросите Александру Осиповну, чтобы она прочла вам мое письмо. Рукопись моя у князя Одоевского[490]. Вы прочитайте ее вместе человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня очень любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше слов! Обнимаю сильно вас, и да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена и нужно будет только для проформы дать цензору, то, я думаю, лучше дать Очкину для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.

Весь ваш *Гоголь*.

Гоголь – Плетневу П. А., 17 марта 1842

17 *марта 1842 г. Москва* [491]

17 марта. Москва.

Вот уже вновь прошло три недели после письма вашего, в котором вы известили меня о совершенном окончании дела, а рукописи нет как нет. Уже постоянно каждые две недели я посылаю каждый день осведомиться на почту, в университет и во все места, куда бы только она могла быть адресована, – и нигде никаких слухов! Боже, как истомили, как измучили меня все эти ожиданья и тревоги! А время уходит, и чем далее, тем менее вижу возможности успеть с ее печатаньем. Уведомьте меня, ради бога, что случилось, чтобы я хотя по крайней мере знал, что она не пропала на почте, и чтобы знал, что мне предпринять[492].

Я силился написать для «Современника» статью во многих отношениях современную, мучил себя, терзал всякий день и не мог ничего написать, кроме трех беспутных страниц, которые тот же час истребил. Но как бы то ни было, вы не скажете, что я не сдержал

своего слова. Посылаю вам повесть мою: «Портрет». Она была напечатана в «Арабесках»[493]; но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее, вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что все вышито по ней вновь. В Риме я ее переделал вовсе или, лучше, написал вновь, вследствие сделанных еще в Петербурге замечаний[494]. Вы, может быть, даже увидите, что она более, чем какая другая, соответствует скромному и чистому направленью вашего журнала. Да, ваш журнал не должен заниматься тем, чем занимается торопящийся шумный современный свет. Его цель другая. Это благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина. Рыночная толпа не должна знать к ней дороги, с нее довольно славного имени поэта. Но только одни сердечные друзья должны сюда сходиться с тем, чтобы безмолвно пожать друг другу руку и предаться хоть раз в год тихому размышлению. Вы говорите, что я бы мог достославно подвизаться на журнальном поприще, но что у меня для этого нет терпенья. Нет, у меня нет для этого способностей. Отвлеченный писатель и журналист так же не

могут соединиться в одном человеке, как не могут соединить<ся> теоретик и практик. Притом каждый писатель уже означен своеобразным выражением таланта, и потому никак нельзя для них вывести общего правила. Одному дан ум быстрый схватывать мгновенно все предметы мира в минуту их представления. Другой может сказать свое слово, только глубоко обдумавши, иначе его слово будет глупее всякого обыкновенного слова, произнесенного самым обыкновенным человеком. Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего[495]. Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет (если только будет конец ее непостижимому странствию по цензурам). Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится. Труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на минуту есть уже мое несчастие. Здесь, во время пребыванья моего в Москве, я думал заняться отдельно от этого труда, написать одну, две статьи, потому что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу.

Но вышло напротив: я даже не в силах собрать себя.

Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страждет всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть. В Риме я писал пред открытым окном, обвеваемый благотворным и чудотворным для меня воздухом. Но вы сами в душе вашей можете

чувствовать, как сильно могу я иногда страдать в то время, когда другому никому не видны мои страданья. Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей мира, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастие выше всех мирских несчастий. Участье ваше мне дорого, не оставьте письмо мое без ответа, напишите сейчас вашу строчку. Повесть не разделяйте на два нумера, но поместите ее всю в одной книжке[496] и отпечатайте для меня десяток экземпляров. Скажите, как вы нашли ее (мне нужно говорить откровенно)? Если встретите погрешности в слоге, исправьте. Я не в силах был прочесть ее теперь внимательно. Голова моя глупа, душа неспокойна. Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию! Посылаю вам отдельные брошюры статьи, напечатанной в «Москвитянине»[497], разошлите по адресам. А две неподписанные я определил: одну для наследника. Он был в Риме. Она ему напомнит лучшее время его путешествия, когда он так весело предавался общей веселости в карнавале и был участником во многом хоро-

шем. А другой экземпляр для в<еликой> к<нягини> Марьи Николаевны. Велите переплести их в хорошенькую папку. Последней я почитаю ныне священным долгом представить ее. Два другие экземпляры дайте, кому найдете приличным, – а не то Прокоповичу.

Гоголь – Плетневу П. А., 10 апреля 1842

10 *апреля 1842 г. Москва* [498]

Москва. 10 апреля.

Уничтожение Копейкина[499] меня сильно смутило! Это одно из лучших мест в поэме, и без него – прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его[500], чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думаю даже, что

один Никитенко может теперь ее пропустить. Прочитайте, вы увидите сами. Третьего дня я получил от него письмо, из которого видно, что он подвигнут ко мне участьем[501]. Передайте ему при сем прилагаемый ответ и листы Копейкина[502] и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось.

Весь ваш *Гоголь*.

Гоголь – Плетневу П. А., 12 (24) октября 1844

12 *(24) октября 1844 г. Франкфурт* [503]

Francf. s/M 24 октября.

Прибегаю к вам с двумя усиленными просьбами. Первая просьба: уведомьте меня, жив ли Прокопович. Вот уже более полтора года я не имею ни слуху ни духу о нем. На два письма мои, в одном из которых я даже сильно попрекнул его в бесчувственности к положению другого (я вот уже год перебиваюсь без денег кое-как и наделал вновь долгов, из которых прежде в силу выбрался), не получил я никакого ответа. Ни отчета в делах, ни де-

нег![504] Разрешите загадку эту и скажите мне хотя то, что вам известно, если не можете разузнать более. Вторая просьба; но прежде ее я вам должен сделать сильный упрек: вы поступили со мной как светский человек, а не как друг. Вы мною были недовольны, отчасти я это заметил в бытность мою в Петербурге, отчасти узнал потом. Зачем же вы ни одного слова не сказали? Вы хотели, чтоб я сам догадался и все смекнул; но разве вы не знаете, что́ человек? Из целой сотни своих проказ и гадостей он едва увидит десять, и это еще слава богу; часто бывает даже и так, что, сделавши мерзость, он уверен, даже искренно, что сделал хорошее дело, а не мерзость. Вы можете обвинять меня в скрытности, и в это<м> вы совершенно правы, но зачем вы сами не были откровенны? Зачем хотите вы, чтоб я был великодушнее вас, тогда как вам следовало быть великодушнее меня и сим великодушием дать мне вдвое почувствовать вину свою. Признайтесь, вы руководствовались более светскими приличиями, чем голосом истинной любви и дружбы. Кто любит, тот поступает не так: тот болит душой о лю-

бимом предмете и болезнь его приемлет, как собственную болезнь. Тот написал бы мне вот каким образом: «Послушай, любезнейший, ты сделал следующую подлость, недостойную тебя самого, а свойственную мелкому и низкому человеку. Мне это горько было слышать; но при всем том я тебя не оттолкну от себя и не уменьшу моей любви к тебе: расскажи мне все подробно, что заставило тебя сделать ее, дабы я мог, войдя в твое положение, помочь тебе загладить твой поступок и воздвигнуть тебя от твоего бесславного падения».

Вот как истинная любовь должна бы действовать, а не так, как она действовала в вас. Почему знать, может быть, тогда не произошло бы всей этой кутерьмы, которую теперь я решительно не могу понять, и самое дело предстало бы в яснейшем для вас виде, а может быть, даже и вовсе иначе. Как бы то ни было, но ведь все вы произнесли надо мною суд и подписали решение, от всех собрали голоса[505], а подсудимого не выслушали, даже не знаете, отделили ли действия, мне принадлежащие, от действий, принадлежащих другим людям, которые сюда затесались и кото-

рых авторитет бог весть в какой степени верен. И что еще удивительнее: осужденному читают приговор, чтоб он видел, в чем его осудили, а мне и этого не было. Хоть убей, я до сих пор не знаю, в каком виде носятся обо мне слухи. На все мои запросы я получал одни только намеки, всякий точно боится слово сказать, у всех недосказанности, какие-то странные смягченья и, наконец, такого рода противуположности и противуречия, что я чуть не потерял совершенно голову. И потому я вас теперь прошу одного только (и это будет моя вторая просьба): изложить в немногих словах сущность моих действий и моего поступка[506] не в том виде, в каком вы приняли сами их (вы этого не сделаете, вам трудно победить свою собственную боязнь оскорбить щекотливые стороны человека, хотя вы имеете теперь дело с таким человеком, который этого особенно ищет, но вы этому не поверите, и потому я извиняю вперед ваш отказ). Но вы можете прямо объявить: в каком виде мой поступок и действия дошли до слуха вашего, не объясняя, что именно вы приняли из этого как достоверное и что отвергнули как неверо-

ятное. Итак, сделайте это! Теперь, так как приговор уже произнесен надо мною, я не стану оправдываться: пускай покаместь прогуляются по свету слухи о моей двуличности и подлости. Но мне нужно это для себя самого, чтобы уметь осудить себя самого. Не вечно же нам рисоваться перед светом, для этого есть время молодости; пора подумать и о будущем. Итак, не медля нимало, напишите мне ответ как можно проще, в двух-трех строках. Смирнова вам не даст покоя до тех пор, пока не напишете[507]. Почему знать, может быть, с этого письма начнутся между нами сношения откровеннее прежних, мы более оценим друг друга и узнаем истинно, что на здешней земле должен сделать друг для друга.

Ваш *Гоголь*.

Плетнев П. А. – Гоголю, 27 октября 1844

27 *октября 1844 г. Петербург* [508]

27 окт. 1844. Спб.

Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь: попотчую. После такого вступления, надеюсь, и ты в письмах ко мне кинешь

проклятое «вы», от которого у разговаривающих всегда в глазах двоится. Начну с себя, что такое я? В отношении к общему ремеслу нашему – литературе – человек без таланта и необходимых сведений. Но человек, заменивший то и другое долговременною практикою, постоянными, многолетними, непосредственными, даже, смею сказать, дружескими сношениями с Дельвигом, Гнедичем, Пушкиным, Жуковским и Крыловым. Следовательно, человек не без идей, не без такта, не без голоса. Прибавь ко всему этому любовь к искусству, любовь неизменную, бескорыстную, чистую. А это чувство не только освящает все наши действия, но нередко служит и заменою вдохновения. Оно поддерживает во мне силу в борьбе с современными литературными слепцами и ленивцами, каковы даже друзья наши: Одоевский и подобные ему; с литературными торгашами и открытыми подлецами, каковы: Греч, Булгарин и московская в Петербурге сволочь: Полевой, Межевич, Кони, Краевский, Белинский и т. п.[509] Следовательно, я как литератор не могу быть без сознания собственного достоинства – будь оно даже

просто отрицательное. Как друг я еще более знаю себе цену. Когда умер Пушкин, для прочих друзей все умерло лучшее его: стремление к совершенствованию идей в нашей литературе, управа с эгоисмом и невежеством, вера в единство истинной церкви, которую должны из своего круга образовать благородные люди, понимающие дело и ни для чего не кривящие душой. Все это под конец жизни сосредоточил он в «Современнике». Я взял его не из корысти. Ни Пушкину не приносил он, ни мне не приносит других выгод, кроме средства отстаивать любовь души своей, по выражению Шиллера. Шесть лет я жертвую ежегодно по пяти тысяч рублей на поддержание «Современника», только в одном убеждении, что для чести Пушкина и истины не должен погибнуть орган их, не должен обратиться в глумление противникам истины и Пушкина. Это хорошо знают все друзья его. Но кто же из них, в память друга, подал мне руку на товарищество? Никто, потому что у всех дружба только к себе, а не к мертвецу бесполезному. Наконец, что я как человек? Прямое, простое и мирное существо, закрывавшееся в

тени своих привычек и чистых привязанностей, без претензий на что-либо, без всяких замыслов, любящее солнце, поэзию и безлюдье. Таков я был всегда; таким и ты нашел меня некогда; таким ты знал меня, если я не ошибался. Но что такое ты? Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Может быть, все это и необходимо для достижения последнего. Итак, я не назову ни одного из этих качеств пороком: они должны сопутствовать человеку, рожденному для славы. И в Евангелии сказано: оставиши отца твоего и матерь и прилепися к жене[510]. Но как друг что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы они тебе то, что ты читаешь теперь от меня. Но я говорю не как друг, а как честный человек, уполномоченный тобою, и как освященный внушениями христианской веры, которая поставила меня выше всех земных соображений. Это я ношу в сердце, потому что у меня есть друг – Грот, который таков во всех своих помышлениях и действиях. Твои же друзья двоякие: одни искренно любят тебя за

талант – и ничего еще не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова, и таков был Пушкин. Другие твои друзья – московская братия[511]. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройках домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда, вместо безмолвного участия и чистой любви, раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты, как на станцию, а к ним – как в свой дом. Но посмотрим, что ты как литератор? Человек, одаренный гениальною способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но

писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Подле таких поэтов-художников, каковы: Крылов, Жуковский и Пушкин, ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства. Но довольно. Вот что ты и что я. Судьба свела нас вместе. Она лучше нас провидела, что, слившись, мы взаимно будем друг друга совершенствовать, дополнять друг в друге недостающее. Она знала, что добрые качества и недостатки одного совместны с целью общечеловеческою – распространением добра и света. Я с своей стороны употребил все, что возложила на меня судьба для общего назначения нашего. Но нашел ли я ответ в твоем сердце на это для нас тогда темное, однако же моим инстинктом постигнутое предопределение? Ничего. Может быть, судя по необузданности твоих порывов, и надобно было, чтобы тяже-

лыми и долгими опытами дошел ты до необходимости возвратиться туда, откуда так оскорбительно для меня соскочил ты. А может быть, тебе и не нужно было всего того, что я изложил здесь с таким философски-религиозным исследованием. По крайней мере, испытай хоть раз в жизни это новое для тебя ощущение, что такое голос чистоты и призвания к дружбе. Я не предлагаю тебе никакой перемены в жизни, занятиях и отношениях твоих. Я только желал бы, чтобы ты возвысился до настоящего нравственного чувства, проливающего в сердце свет на обязанности наши к богу, к людям, отечеству и даже к нашему здесь призванию и принятым уже убеждениям. Ясное созерцание этих предметов само преобразовало бы жизнь твою, теперь только поэтическую, но неполную и несовременную нашему веку. Ты, не прерывая главных своих, обдуманных уже творений, должен строже определить себе, как надлежит тебе содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настроения, распространению в отечестве вечных начал науки и искусства, как довер-

шить в себе недостатки литературные и как поражать все, несогласное с принятыми тобою правилами. Мы живем не при Шекспире, а после Гете и Шиллера, которые, творя как художники, в то же время боролись с врагами истинных идей и неизменного вкуса. Зачем тебе, пользующемуся репутациею, не вести других по хорошей дороге, указывая на заблуждения судей-самозванцев и торгашей литературных? Это борение укажет тебе на изыскание способов, как и в себе дополнить недостающее, и в других поразить ложное. Из гения-самоучки ты возвысишься, как Гете, до гения-художника и гения-просветителя. Не презирай даже того, что в России и мелко и жалко. Как русский, ты должен на это смотреть глазами врача. Но главное: ты приучишься мыслить, излагать и отстаивать идеи, защищать убеждения сердца и укрощать буйное невежество. При теперешней цыганской жизни твоей, я не могу ловить тебя с своим «Современником». Но он весь есть у Жуковского. Впрочем, назначь и объяви, что тебе нужно. Ты увидишь, что я, отказавшись от имени твоего друга, сделаю столько

же, сколько бы сделал и освятившись им. Прокопович жив и здоров. Он, конечно, не войдет с тобою в сношения, пока ты дружески не объяснишь ему в особом письме, что тебе нужно знать от него. Он тебя любит, но недоволен твоею недоверчивостью и беспорядочностью в сношениях[512], которые требуют прозаических данных. О долгах не заботься. Напиши мне, куда, сколько и как переслать: все получишь. Когда разбогатеешь – отдашь. Обнимаю тебя, а ты обойми Жуковского.

П.

Гоголь – Плетневу П. А., между 19 ноября (1 декабря) и 2(14) декабря 1844

Между 19 ноября (1 декабря) и 2 (14) декабря 1844 г. Франкфурт [513]

Письмо твое я получил. Благодарю тебя за искренность, упреки и мнения обо мне. Оправдываться не буду, это я уже сказал вперед, да и невозможно. Во-первых, потому, что если бы я и оправдался в одном, то с других сторон вижу столько в себе дряни и во многом другом, что мне становится стыдно уже

при одной мысли о том. Во-вторых, потому, что для того следовало бы подымать всю внутреннюю душевную историю, которую не впишешь и в толстом томе, не только в письмах. В-третьих, потому, что с некоторого времени погасло желание быть лучше в глазах людей и даже в глазах друга. Друг также пристрастен. Самое чувство дружбы уже умягчает нашу душу и делает ее сострадательной. Заметив некоторые хорошие качества в своем друге и особенно расположение и любовь к себе, мы невольно преклоняемся на его сторону. Бог знает, может быть, ты, узнавши что-нибудь из внутренней моей истории, проникнулся бы состраданием, и я не получил бы от тебя даже и этого письма, которое получил теперь. А мне нужны такие письма, как твое. Но в выражениях письма твоего послышался мне скорбный голос, голос как бы огорченного и обманутого чувства, и потому, чтобы сколько-нибудь утешить, я сделаю только одни общие замечания на некоторые пункты твоего письма. Друг мой, сердце человеческое есть бездна неисповедимая. Здесь мы ошибаемся поминутно. Еще мне можно менее оши-

биться в заключениях о тебе, чем тебе обо мне. Душа твоя больше открыта, характер твой получил уже давно оконченную форму и остался навсегда тем же. Разве один <дрязг> обычаев света и приобретаемые привычки могут несколько закрыть и тебя и твою душу, но это для людей близоруких, которые судят о человеке по некоторым внешним <чертам>. В глазах знатока души <человеческой> ты один и тот <же>. Он знает, что на одно душевное воззвание встрепенется та же самая душа, которая кажется другим холодною и дремлющею. Но как судить о скрытном человеке, в котором все внутри, которого характер даже не образовался, но который в душе своей еще воспитывается и которого всякое движение производит только одно недоразумение? Как заключить о таком человеке, основывая<сь> по каким-нибудь ненароком из него высунувшимся свойствам? Не будет ли это значить то же самое, что заключить о книге по нескольким выдернутым из нее фразам, и не по порядку, а из разных мест ее? Конечно, и отдельно взятые фразы могут подать некоторую идею о книге, но разве из них узнаешь, что

такое сама книга? Бог знает, иногда в книге они имеют другой смысл, иногда даже противоположный прежнему. Упреки твои в славолюбии могут быть справедливы, но не думаю, чтоб оно было в такой степени и чтобы я до того любил фимиам, как ты предполагаешь. В доказательство я могу привесть только то, <что> и в то время, когда авторская слава меня шевелила гораздо более, чем теперь, я находился в чаду только первые дни по выходе моей книги, но потом чрез несколько времени я уже чувствовал почти отвращение к моему собственному созданию, и недостатки его обнаруживались предо мною сами во всей их наготе. Я даже думаю, что ты составил обо мне такое <мнение не> по незнанию души человеческой, а на кое-каких моих наружных поступках, неприятных ухватках и, наконец, неуместных и напыщенных местах, разбросанных в моих сочинениях, которые, вследствие бессилия изображать полнее свои мысли, получили еще более какое <-то> самоуверенное выражение. Все твои замечания о моих литературных достоинствах справедливы и отзываются знатоком, умеющим верно су-

дить об этом. Но увы! и в них я не встретил ничего, что бы было неизвестно мне самому. И если бы я напечатал ту критику, которую я написал сам на «Мертвые души» вскоре после их выхода, ты бы увидел, что я выразился еще строже и еще справедливее тебя. На каждый упрек твой я должен сделать тебе тоже один упрек, потому что он недостоин твоей же собственной высокой души. Друг мой, не стыдно ли тебе сказать мне, что я променял тебя на другого. Скажу тебе на это одну чистую правду, хотя и знаю, что ее не примешь ты за правду, словам моим не верят, как же мне отважиться быть откровенным, если бы я даже был и в силах быть откровенным. Итак, знай же, вот тебе чистая правда, поверишь ли ты или нет, я ее скажу. Грех будет только тому, кто солгал. Не только я не променяю тебя на никого другого, но никакого человека не променяю на другого человека. И кто раз вошел в мою душу, тот уже останется там навсегда, как бы он ни поступил потом со мной, хотя бы оттолкнул меня вовсе. Из души моей я его не изгоню. Слава богу, связь эта становится, чем далее, сильней, и уже не в моей власти

сделалось даже прогнать его, хотя бы я и захотел того. Но если слова мои эти не уверят тебя ни в чем и ты сомнительно покачаешь головою, то для утешения твоего приведу такое доказательство, в котором ты и сам можешь удостовериться. В Москве все, кроме, может быть, одного Языкова (который потому только несколько больше меня знает, что столкнулся со мной в горькие и трудные минуты жизни[514], в которые, как известно, узнается более человек), все такое обо мне имеют мнение, как и ты, также упрекают меня все в скрытности и недоверчивости, еще более твоего уверены, что считаю их ни во что и что тебя предпочитаю им. В оба раза я отталкивал от себя всех, избегал всяких изъяснений и боялся даже и вопросов о себе самом, чувствуя сам, что я не в силах ничего сказать. Всякая проба сказать что-нибудь была неудачна, и я всякий раз раскаивался даже в том, что открывал рот, чувствуя, что моими неясными и глупыми словами наводил только новое о себе недоразумение. Друг мой, когда человек от всех бежит, всех от себя отталкивает, ищет уединения и предает себя добровольно на

скитающуюся или, как ты называешь, цыганскую <жизнь>, тогда нужно его на время оставить и не мешать ему. Урочное время пройдет, он сам явится к вам, когда же услышит в себе человек внутренний позыв, он тогда должен все оставить, оторваться на время от чего ему даже трудно и больно. Ты был довольно проницателен, сказавши, что главная вина всех моих недостатков – мое невежество и невоспитание. Ты это почувствовал, но ты был только несправедлив, указывая мне пути, как избавиться от этого, – дело, которое требует слишком большого изучения природы того человека, которому дается инструкция. Ты вызываешь невежу на брань с невежеством, требуешь, что<бы> я теперь уже указывал другим путь и прямую дорогу и, выражаясь твоими словами, указывал на заблуждение судей-самозванцев, но, друг мой, мне может всякий сказать: лекарю, вылечись прежде сам[515]. Я слишком хорошо знаю, что я должен это выполнить. В то же время знаю и то, <что нужно> чистоты душевной и лучшего устроения себя и почти небесной красоты нравов. Без того не защитишь ни самого

искусства, ни все святое, которому оно служит подножием. Цель, о которой говоришь ты, стоит неизменно передо мною. Она должна быть и у всех в виду, но стремления к ней различны, и дорога к одному и тому же у всякого своя. И если человек уже дошел до того, что может видеть сам свои недостатки и пороки и видеть свою природу, он один только может знать, какой дорогой ему возможней идти. Для тех же самых причин одному потребно непрерывное столкновение со светом, другому потребна цыганская жизнь. И как сказать ему: ты делаешь не так? Животное, когда заболеет, ищет само себе траву и находит ее, и такое лекарство для него полезнее всех тех, какие предпишут ему самые умнейшие врачи. Друг, я прав, что отдалился на время оттуда, где не мог жить. Ты видишь одно только безвременное прикосновение мое к свету – и какая произошла кутерьма. Крутые обстоятельства заставили меня прежде времени выдать некоторые сочинения, на которых я не имел времени даже взглянуть моими тогдашними глазами, не только теперешними, и в каком ярком виде я показал всем и

свое невежество и неряшество и своими же словами опозорил то, что хотел возвысить. В делах моих прозаических, в отношениях дружественных, связанных со всем этим, произошли тоже целые облака недоразумений. Друг, кто воспитывает еще себя, тому не следует и на время заглядывать в свет... Детей не пускают в гостиную, их держат в детской. Покаместь я не выучусь прежде тому, без чего мне и ступить нельзя в свет, <и> выносить даже все то, что не выносят другие люди, бесполезна будет и жизнь моя среди света. Поверь: мне не будет покоя, напротив, или меня оскорбят, или я кого-нибудь оскорблю, или ты не знаешь всех тех щекотливых положений, какие предстоят в свете писателю: сколько даже великих характеров оттого безвременно погибло. По этой-то самой причине я не могу теперь хорошо поступать и в дружеских моих сношениях. Я не в силах еще быть другом, даже если бы и захотел. Чтобы быть кому-либо другом, нужно прежде сделаться достойным дружбы. А до того времени едва ли не лучше бы отталкивать от себя, чем привлекать к себе. Смотри, как верно сказано в «Imitation de

Jésus Christ». Nous croyons quelquefois nous rendre agréables aux autres par une liaison que nous formons avec eux, et c'est alors que nous commençons à leur déplaire par le dérèglement de moeurs qu'ils découvrent en nous[516].

Еще скажу слова два насчет недоверчивости моей. Меня все обвиняют в недоверчивости, но точно ли это недоверчивость? Недоверчивость происходит от незнания людей и сердца человеческого. Боится человек людей оттого, что не знает. Но неужто во мне заметны признаки совершенного незнания людей и сердца? Но мои сочинения-то, при всем несовершенстве, показывают, что в авторе есть некоторое познание природы человека. Это не простая наглядность, ты сам знаешь, что я во всей России толкался немного с людьми и что всегда почти не верен в том, где касался точных описаний местностей или нравов. Точно ли это недоверчивость? Ну что, если я таким же образом стану, в свою очередь, упрекать других в недоверчивости, зачем некоторые качества, слова и поступки неясные и сомнительные отнесены были скорее в худую, чем в хорошую сторону, разве это

доверчивость? Зачем, признавши меня за оригинал-чудака, требовали от меня таких же действий, как и от других? Зачем, прежде чем вывесть о мне заключение вообще по двум или трем поступкам, судящий не усумнился и не сказал в себе так: я вижу в этом человеке вот какие признаки. В других эти признаки значат вот что; но этот человек не похож на других, самая жизнь его другая, притом этот человек скрытен. Бог весть, иногда искусные врачи ошибались, основываясь на тех самых признаках, и принимали одну болезнь за другую. Зачем же, даже не предавшись сомнению в себе, заключили твердо быть такой-то низости, такому-то свойству и такому-то качеству. Конечно, я буду не прав, если стану обвинять. Дело было не совсем бы так, если б я был прав. Друг, ну что, если бы предположить, чтобы <нашелся> один такой страдалец, над которым обрушилась такая странность, что все, что ни сделает и ни скажет, принимается в превратном значении, что все, почти до одного, в нем усумнились, и закружился пред ним целый вихорь недоразумений, и, положим, что он видит все, что про-

исходит. Если бы вместо меня попался другой, с душой более нежной, еще не окрепшей и не умеющей переносить горя, и видел бы он все, что происходит в сердцах друзей его и ближних к нему, и вся душа его исстрадала и изныла бы и чувствовала бы в то время, что он не может произнести и слова в свое оправдание, подобясь находящемуся в летаргии.

Наконец, по поводу всего скажу одно мнение. Будем несколько смиренны относительно заключений о человеке, о каком бы то ни было характере и о душе чело<века>. Выскажем ему все, что ни есть в нем дурного, это будет ему нужно, но удержимся утвердить о нем мнение, пока не узнали излучин его души или пока не услышали его душевной истории. Мы все вообще слишком строги к тому человеку, в котором нам что-нибудь не понравилось, и, узнавши в нем два-три качества, не хотим и узнать других, от этого теперь человеку становится чем далее, <тем> труднее среди своих собратий.

Бог знает что делается в глубине человека. Иногда положение может быть так странно, что он похож на одержимого летаргическим

сном, который видит и слышит, что его все, даже самые врачи признали мертвым и готовятся его живого зарывать в землю. А видя и слыша все это, не в силах пошевельнуть ни одним составом своим. Не оттого ли так не знаем человека, что слишком рано заключили, будто его совершенно узнали. А потому и относительно меня самого ты вооружись терпением. Брани меня, мне будет приятно всякое такое слово, даже если бы оно было гораздо пожестче тех, которые в письме твоем. Но не предавайся напрасному раздумью и не досадуй на меня в душе. Ты видишь, что многое здесь еще темно и неясно, предоставим же лучше времени: оно одно может разрешить, уяснить. Если же тебе когда-нибудь сгрустнется обо мне и будет казаться: я иду дорогой заблудшего и не той, которой мне следует, то помолись лучше так в душе своей: «Боже, просвети его и научи тому, что ему нужно на пути его. Дай ему выполнить то именно назначение, для которого он создан тобою же, для которого вложил ты же ему орудия, способности и силы. Если же он отшатнется, то пожалей его бедную душу и сне-

си его до срока с лица земли». Поверь, что после такой молитвы и тебе будет легче, и мне полезнее: молитва от глубины души ударяет прямо в двери небесные. Но довольно об этом.

Поговорим теперь о прозаическом деле по поводу моих сочинений. Я думал, что письмо твое разрешит мне все, – не тут-то было, я остался в тех же потемках. Друг мой, ты говоришь, что Прокопович хочет, чтобы я в особом дружеском письме изъяснил ему, что мне нужно знать от него. Но рассмотри ты сам мое положение. Я уже два письма писал к нему, ни на одно ответа. Я требовал отчета, что ясней этого? Требовал цифр, известить меня, сколько экземпляров налицо, сколько продано, сколько отправлено, сколько у меня есть денег, просил даже до последних подробностей. Мне это нужно было, без этого я был сам связан и сам не мог поступить ясно и толково, а обстоятельства мои требуют внезапных быстрых распоряжений. Неужели все это было принято за недоверчивость? Выведенный из терпения молчанием, я написал жесткое письмо, в котором упрекнул в бессостра-

дательности к положению другого. Я ничем не оправдываю своего поступка, я был виноват, но, друг, человек слаб, а обстоятельства бывают сильны, я был ими стиснут крепко. С одной стороны, пишет мне мать, что у ней хотят описать имение, если она вскорости не уплатит долгов и процентов, с другой, я сам не получаю денег, наконец, я болен и духом и телом. В письме этом, как жестоко оно ни было, но в нем хотя упомянуто, что я нахожусь в сжатых обстоятельствах. Прежде помоги, а потом выбрани. Если же я так сильно оскорбил, что даже мне нельзя было и простить, в таком случае, следовало бы все-таки написать мне хотя таким <образом>: ты меня так оскорбил, что я прерываю отныне с тобою все сношения. Делами твоими не хочу заниматься, сдаю их все такому-то, относись к такому-то. Словом, чтобы я знал, что предпринять. Как вместо всего этого заплатить полуторагодовым молчанием. Я из журналов вижу, что в Петербурге разошлись почти все экземпляры. (В Москве из тысячи не продан ни один.) А между тем в это время терплю, нуждаюся и ничего не могу понять из этой странной исто-

рии.

Ты говоришь: Прокопович больше прав, чем я, я тому верю, мною обижен – это правда, я против этого и не спорю. Но ты говоришь, он меня любит. Друг, любовь слишком святая вещь, страшно и произносить это имя всуе. Всякий в свете разумеет по-своему любовь, и все мы далеки от ее истинного значения. Любовь умеет перенести и оскорбление, любовь великодушна и собою же пристыжает ее оскорбившего. Согласись по крайней мере, что, вследствие таких необъяснимых для меня поступков, мог бы и я также усумниться во многом. Но клянусь, я больше умею верить душе человека, чем всем его поступкам, хотя меня все упрекают в недоверчивости. Я слишком хорошо знаю, что есть столько на свете разных посторонних вещей, слухов, сплетней и прочего, которые все до того опутывают непроницаемым туманом человека, что на расстоянии двух шагов не узнают друг друга и что честный человек может поступить так, что со стороны и даже невдалеке стоящему человеку покажется загадкой его дело. Итак, вот тебе мое честное слово, что в этом деле

недоверие я питал только к одной аккуратности, а не к чему-либо другому. По теперешнему твоему письму я еще более уверился, что с этим завязалось столько посторонних отношений, что изъяснениям не будет <конца> до тех пор, пока я не решусь разом и вдруг прекратить все это и таким образом не развязать, а разрубить узел. Для этого есть одно средство, и потому превратим это дело разом из запутанного и глупого в благородное, умное и святое. Виноват во всем я, кроме всех прочих я виноват уже тем, что произвел всю эту путаницу, всех взбаламутил, людей, которые без меня, может быть, и не столкнулись бы между собой, поставил в неприятные отношения[517]. Виноватый должен быть наказан. Я наказываю себя лишением всех денег, следуемых за экземпляры моих сочинений. Лишенья этого хочет душа моя, потому что оно справедливо и законно и без него мне бы было тяжело. Всякий рубль и копейка этих <денег> куплена неудовольствиями и оскорблениями моих <друзей>, и нет человека, которого бы я не оскорбил, деньги эти тяжелели бы на моей совести. И потому, как в Москве,

так и в Петербурге, <деньги эти> все отдаю в пользу бедных, но достойных студентов. Деньги эти должны им прийтись не даром, но за труды. Труды эти должен им задать ты[518], по собственному <выбору>, найдешь что нужным для всех нас перевести или сочинить. Будут ли эти переводы полезны для всех, напечатать ли отдельно или в «Современнике», как и кому сколько дать, все это лучше тебя никто другой не в силах сделать, а потому ты не можешь отказать даже и тогда, когда бы я просил тебя не во имя дружбы. Все деньги до <последней копейки> за экземпляры, проданные в Петербурге, за вычетом, разумеется, процентов, и коих <после> вычета должно быть близко 200 тыс<яч>, должны поступать вместо того, чтоб ко мне, к тебе. Прокопович поступит благородно, это я знаю, я в нем больше уверен. Его душа рождена быть прекрасной, и потому он примет это дело святое, отбросив и мысль о каких-нибудь личных неудовольствиях. Он будет аккуратнее, во всем отдаст <отчет> до последней копейки и все деньги отдаст тебе. Прокопович ревностно исполнит все, что ни падет на него по

этому делу. Если он и после этого еще будет питать ко мне <злобу>, тогда будет просто грех на душе его, и если, точно, любит, то чтобы как святыню принял эту просьбу. Все это дело должно остаться навсегда тайной для всех, кроме вас двух. Всем говорите, что деньги за экзем<пляры> посылаются мне.

Ни ты, ни он не должны сказать о нем никому, как бы они близки ни были к вам, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Я также не должен знать ничего, кому, как и за что даются деньги. Ты можешь сказать, что они идут от одного богатого человека, можно даже сказать государю о лице, которое хочет остаться в неизвестности. Отчет в этом принадлежит одному богу. В Москве сделают то же самое с там находящейся тысячью экземпляров. Только двое, Аксаков и Шевырев, которому отдано, введены там в это дело. Но ни они вам, ни вы никогда не должны говорить об этом деле. Просьба эта должна быть исполнена во всей силе. Никаких на это представлений или возражений. Я жду одного слова Да, и ничего больше. Воля друга должна быть священна. Вот мой ответ. Я должен сделать

так, а <не> иначе, и доказательством этому служит моя совесть. Мне сделалось вдруг легко, и с души моей, кажется, свалилась вдруг страшная тяжесть. Итак, дело это решено, сдано в архив, и о нем никогда ни слова[519]. А ты, друг, не вознегодуй на хлопоты, которые тебе здесь предстоят. Ты получишь много внутренних наслаждений, возбуждая молодых людей к труду и к занятию. Ты откроешь между ними много талантов. Если же откроешь, будь для них тем же, чем ты был для меня, когда я выступал на поприще. Поощряй, ободряй и упрекай, но не досадуй, если заметишь в них что-нибудь похожее на неблагодарность. Это часто бывает только одно своенравное движение юношеской гордости, покажи ему любовь свою и порази его новыми благодеяниями, и он будет твой навеки.

Благодарю тебя искренно и от всей души за твою готовность помочь мне собственными твоими <средствами>. Я попрошу у тебя прямо и без всяких обиняков. Теперь же покаместь мы устроились кое-как на этот счет с Жуковским еще до получения твоего письма. О деньгах я теперь забочусь меньше, чем ко-

гда-л<ибо>. <Самое трудное время> жизненной дороги уже перемыкано, <и теперь мне даже смешно, что я об> этом хлопотал, тогда как <мне меньше> всех других на земле следовало об этом заботиться, и бог всякий раз давал мне это знать очевидно. Когда я думал о деньгах, у меня их никогда не было, когда же не думал, они всегда ко мне приходили. Но прощай! Обнимаю тебя крепко! Люби меня просто, на веру и на одно честное слово, а не потому, чтобы я был достоин любви или чтобы мои поступки стоили любви, и поверь, ты будешь потом в выигрыше.

Твой *Гоголь*.

Плетнев П. А. – Гоголю, 16 февраля 1846

16 *февраля 1846 г. Петербург* [520]

16/28 фев. 1846. СПб.

Два раза писал я к тебе через Жуковского, после того, как получил твое письмо из Рима от 28 ноября. Ты, кажется, небольшой охотник до исправной корреспонденции. Это и недурно. Только надобно отличать корреспонденцию слов, которая и подразумеваться может, от корреспонденции деловой, требую-

щей точности буквальной. Вчера отправил я наконец несколько денег к тебе из суммы, жалуемой тебе государем[521]. Вексель адресован, для большей верности, на имя нашего посланника Бутенева, за университетской печатью. Ты непременно пришли отзыв по получении денег.

Вот и еще дело, на которое отвечай скорее и определеннее. Художник Бернардский желает издать первый том «Мертвых душ» со ста политипажными картинами и со ста такими же в тексте виньетками[522]. Я видел часть первых: они очень хороши. Ежели ты согласен позволить ему издание этого тома, он предлагает тебе заплатить вдруг 1500 р. сер<ебром> или в два срока 2000 р. сер<ебром>, с тем, что до истечения трех лет ты не будешь вновь печатать этого тома и позволишь ему теперь вдруг тиснуть 3600 экз. Издание будет выходить еженедельными выпусками, числом 25 выпусков. Отвечай немедленно, согласен ли ты на все это. Или пришли свои условия. Будь здоров.

П. П.

Плетнев П. А. – Гоголю, 4 марта 1846

4 *марта 1846 г. Петербург* [523]

4/16 март 1846. СПб.

Хотя подробный ответ на все твои вопросы, заключающиеся в письме твоем от 8/20 февр., ты уже, без сомнения, нашел в последнем моем к тебе письме и в бумаге к Бутеневу с твоими деньгами; однако я с удовольствием и еще раз пишу к тебе о том же. Деньги посланы все, сколько причиталось их по срок свидетельства миссии. Я и сам полагал, что со Смирновой ты разочтешься после. Жаль, что ты не объявил мне, куда намерен предпринять поездку: в Петербург или в Иерусалим. Пожалуйста, реши дело с Бернардским. Он нетерпеливо ждет ответа. Слышал ли ты, что умер Полевой? Это бы ничего – да осталось девятеро детей нищих. Благодарю бога, что он послал тебе силы перенести прошлогодние страдания. Конечно, ты воспользуешься теперешним добрым расположением духа – и примешься за исправление должности своей: так я называю то, что богом предопределено в жизни каждому из нас сделать. Но за что примешься ты? вот что я желал бы знать. Слы-

шал ли ты, что Жуковский уже раздумал нынешним летом приехать в Россию? В<ели-кий> к<нязь> наследник мне сказывал, что он жалуется на слабость глаз. Это печалит меня несказанно. Между тем в 1847 г. будет 50 лет литературной жизни Жуковского. Надобно, чтобы вы оба приехали сюда на юбилей[524].

Моя жизнь так однообразна и бесцветна, что и сказать о ней нечего. Но я ни минуты не бываю празден. Должность, журнал, текущая корреспонденция и несколько знакомств наполняют все минуты мои с 6 ч. утра (когда я обыкновенно встаю) до 11 ч. вечера (время, когда я ложусь). Грустно, однако, бывает часто. Конечно, у меня есть дочь. Но я не могу высказать ей, чего недостает мне для полноты счастия. Вспомни, что я пережил всех, кого любил и кем был любим. Сердце во мне сохранило между тем потребность этой любви. И вот отчего я бываю часто посреди общества мрачен и одинок. Не знаю, должно ли это кончиться очень просто – смертию, или провидение еще что-нибудь для меня затаило в будущем. Я приму все с благодарностию и покорностию. Обнимаю тебя. Не прислал ли те-

бе Аркадий Россет каких новых рус<ских> книг? Здесь Белинский с Краевским беснуются за какого-то Достоевского[525]. Но по мне, это пока – ничто[526]. Разве?

Гоголь – Плетневу П. А., 18(30) июля 1846

18 *(30) июля 1846 г. Швальбах* [527]

Июля 30. Швальбах.

Наконец моя просьба! Ее ты должен выполн<ить>, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем – вот что покаместь могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга; к концу ее печатания все станет ясно и недоразуменья, тебя доселе тревожившие, исчезнут сами собою. Здесь посылается начало. Продолженье будет посылаться немедленно. Жду возврата некоторых писем еще, но за этим остановки не будет, потому что достаточно даже и тех, которые мне возвращены. Печатанье должно происходить в тишине: нужно, чтобы, кроме

цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других[528]. К нему я напишу слова два. Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга. Ее нужно отпечатать в месяц, чтобы к половине сентября она могла уже выйти. Печатать на хорошей бумаге, в 8 долю листа средн<его> формата, буквами четкими и легкими для чтения, размещение строк такое, как нужно для того, чтобы книга наиудобнейшим образом читалась; ни виньеток, ни бордюров никаких, сохранить во всем благородную простоту. Фальшивых титулов пред каждой статьей не нужно; достаточно, чтобы каждая начиналась на новой странице и был бы просторный пробел от заглавия до текста. Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображенью, воспоследует немедленно: книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения[529], потому что это до сих пор моя единственная дельная книга. Вслед за прилагаемою при сем тетрадью будешь получать безостановочно другие. Надеюсь на бога, что он подкрепит меня в сей ра-

боте. Прилагаемая тетрадь занумерована № 1. В ней предисловье и шесть статей, итого седьмь, да включая сюда еще статью об «Одиссее», посланную мною к тебе за месяц пред сим, которая в печатании должна следовать непосредственно за ними,– всего восемь. Страниц в прилагаемой тетради двадцать. О получении всего этого уведоми немедленно. Адресуй по-прежнему на имя Жуковского.

Весь твой *Г.*

Плетнев П. А. – Гоголю, 27 августа 1846

27 *августа 1846 г. Петербург* [530]

27 авг. / 8 сент. 1846 г. СПб.

Письмо твое из Остенде от 13/25 авг[531] пришло ко мне 24 авг/5 сент. С ним получил я вторую тетрадь рукописи[532], которую печатаю. Хорошо, что ты не замедлил присылкою, а то типография осталась бы без работы. Пожалуста, старайся и конец доставить вовремя. Никитенко цензирует теперь вторую тетрадь. По своему обыкновению, он непроворен и любит помучить терпение. В первой тетради он вычеркнул несколько фраз о Погодине[533]. Не знаю, как он сладит с письмом о духо-

венстве[534]. Гражданская цензура обыкновенно передает такие статьи в духовную, где их совсем не пропускают. Я советовал Никитенке придумать другое заглавие, если только с таким пожертвованием можно спасти пьесу. Не знаю, чем это кончится.

Я во всем держусь твоих наставлений при печатании. Но не полагаюсь на Никитенку, чтобы он сохранил в секрете твое дело. По крайней мере уже подозреваю, что Никитенко разболтал об этом сколько-нибудь Одоевскому, который протежирует Никитенко для Краевского как издателя журнала[535], где работает и Одоевский с Белинским.

Типографию я выбрал в департаменте внешней торговли. Там фактор в ведении кн. Вяземского, и никто из литераторов туда не ходит. Ты можешь приблизительно и сам сделать расчет, сколько выйдет печатных листов из твоей рукописи. Страница твоего письма в печати ложится без малого на двух страницах.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

П.

Плетнев П. А. – Гоголю, 24 сентября 1846

24 *сентября 1846 г. Петербург* [536]

24 сент. / 6 окт. 1846 г. СПб.

Сию минуту получил я из Остенде и четвертую твою тетрадку. Третья пришла еще прежде[537]. Таким образом, все идет исправно. Неисправен только Никитенко. Он более месяца держит у себя еще вторую тетрадь. Я не рад, что ты с ним связался. Его затрудняет глава о церкви. Собственно говоря, это надобно бы отправить в духовную цензуру. Но я знаю наперед, что там поступят еще хуже. Я просил Никитенка, сколько он может пропустить без содействия духовенства. Он и обещал – да все только мямлит. Первая тетрадь давно отпечатана. Если бы не такой цензор, давно бы все три были уже тиснуты. Нечего делать. Надобно все терпеть.

Скажи В. А. Жуковскому, что я, пересылая ему один из № «Современника», послал тут же и мой отчет по предполагаемому им изданию его сочинений[538]. Меня удивляет, что нет от него никакого отзыва. Или он передумал печатать? О Смирдине я более и более убеждаюсь, что он неблагонадежен.

Обнимаю тебя. Когда же сам ты сюда прибудешь?

П. П.

Плетнев П. А. – Гоголю, 21 ноября 1846

21 *ноября 1846 г. Петербург* [539]

21 нояб. / 3 дек. 1846 г. СПб.

Я не успел отвечать тебе на три письма твои; а именно: от 16 окт. из Франкф<урта>, от 20 окт. оттуда же и от 2 нояб. из Ницы[540]. Теперь пользуюсь первою свободною минутою, чтобы сообщить тебе то, что необходимо знать тебе. Все пять тетрадей твоих писем получены[541]. Четыре процензированы и печатаются. Пятая еще у Никитенка, который на днях сделался болен; оттого и цензирование остановилось до его выздоровления. В прежних тетрадях он много писем не пропустил совсем, именно тех, где говорится о предметах касательно правления и официальных лиц (наприм.: губернаторов и т. п.). Я имел смелость посылать непропущенные письма на прочтение наследника цесаревича. Его высочество призывал меня к себе и лично объявил, что и по его мнению лучше не печатать

этого. Теперь ты должен убедиться, что я ничего не упустил в твою пользу. Проволочка с цензором и отсылка писем в Царское Село взяли много времени, так что доселе напечатано совсем только десять листов, – вероятно, около половины книги. Касательно писем о церкви, я их посылал к гр. Протасову, по предложению которого их рассматривали в Синоде – и разрешили к напечатанию. Но времени это дело взяло 1 ½ месяца. Вот как я принужден действовать. У меня, собственно, ни минуты не потеряно. Смирновой в Петербурге нет. О представлении книги в корректурных листах самому государю и подумать нельзя[542]. Ты совсем позабыл, сколько у него дел поважнее наших. С графиней Нессельрод я не знаком, да она так высоко от меня стоит, что и не долезешь до нее[543]. Ты все думаешь, что в отечестве эти особы таковы же, как и за границею. О, совсем нет! Переслать же тебе я все найду случай и без нее. Второе издание «Мертвых душ» с присланным тобою ко мне предисловием уже вышло в Москве. Присланные письма к разным особам доставлены будут непременно с экземплярами. Все поправ-

ки твои я успел внести в книгу. Свидетельство о жизни[544] я получил от Жуковского: оно подписано 1-го октября. И вот еще 14/26 ноября через посольство наше в Неаполе я отправил на твое имя вексель Штиглица в 1660 франков 56 су, что значит 408 р. 30 к. сереб<ром>. Это с 1-го мая 1846 г. по 1 окт<ября> тоже 1846 г. Пожалуйста, записывай у себя, да и меня уведомляй, верно ли все приходится. Помни, что банкиры вычитают при этом издержки пересылки и известные их проценты. Твою пьесу «Развязка ревизора» пропустили, но только к печатанию, а не к представлению, затем что увенчивать на сцене артисты товарища своего, по правилам нашей дирекции, не имеют права, как отозвался мне действ<ительный> тайн<ый> советн<ик> Гедеонов. Я это уже сообщил Щепкину, который теперь болен. По выздоровлении он сам приедет сюда и будет хлопотать о дозволении играть. До тех пор я приостановился и новым изданием «Ревизора» с прибавкою[545]. Впрочем, не дожидаясь отзыва твоего по этому делу, я приступлю к нему и Шевыреву тоже скажу[546], лишь управлюсь с печатанием писем

и с собственными делами, которых по разным должностям моим у меня гораздо более, нежели ты представить можешь. Графиня Анна Мих<айловна> Вьельгорская ничего еще не присылала мне. Я у них не бываю. Итак, напиши ей, чтобы она прислала мне твою бумагу, без которой нельзя мне и пустить в свет «Ревизора»[547]. Вообще будет все удобнее к исполнению, ежели ты издательские сношения свои ограничишь Шевыревым и мною. Другие особы только замедляют нас. Повторяю тебе и советую записать, что русские знатные люди за границею чрезвычайно дружно обходятся с своими соотечественниками, а на родине не допускают их и видеть себя.

Обнимаю тебя. Будь здоров.

П. Плетнев.

Гоголь – Плетневу П. А., 26 ноября (8 декабря) 1846

26 *ноября (8 декабря) 1846 г. Неаполь* [548]

Неаполь. Декабрь 8.

«Ревизора» надобно приостановить как печатанье, так и представленье[549]. Судя по

тем вестям, которые имею, и по некоторым препятствиям и, наконец, принимая к сведению некоторые замечания Шевырева[550], изложенные им в письме, которое я сейчас получил, я вижу, что «Ревизор с «Развязкой» будет иметь гораздо больше успеха, если будет дан через год от нынешнего времени. К тому времени я и сам буду иметь время получше оглянуть это дело, выправить пиэсу и приспособить более к понятиям зрителей. Теперь же «Развязка Ревизора» в таком виде, как есть, может произвести действие противоположное и, при плохой игре наших актеров, может выйти просто смешной сценой. А потому, если, к счастию, еще не отдана в цензуру рукопись, то удержи ее под спудом у себя. Если ж отдана, то, взявши ее немедленно как бы для некоторой поспешной перемены, положи под спуд, употребив елико возможные меры к тому, чтобы она не пошла во всеобщую огласку. От Шевырева я, между прочим, узнал новость, о которой ты меня совсем не известил, а именно, что «Современник» уже не в твоих руках, а перешел в руки к Никитенку, Белинскому и Тургеневу[551]. А я по-

слал (ничего об этом не ведая) на прошлой неделе тебе статью о «Современнике»[552], которую ты, вероятно, имеешь уже в руках и прочел. Не смею теперь никаких сделать тебе замечаний: они могут быть и ошибочны, и некстати. Скажу тебе только то, что мне кажется, что теперь, именно в нынешнее время, именно с наступающего 1847 года, твое участие в литературе гораздо нужнее, чем до этого времени. Во все же минувшее время оно мне казалось совершенно бесплодным. Так что, мне кажется, если бы ты даже вместо «Современника» стал бы издавать «Северные цветы», то и это было бы полезно[553]. А впрочем, да вразумит тебя во всем бог и наведет сделать то, что тебе следует, что, вероятно, тебе известней лучше, чем кому другому, а в том числе и мне. Что же касается до статьи моей, то поступи с ней так, как найдешь приличней. Давно уже я не имею от тебя ни строчки. Из Петербурга вестей ни от кого. Но авось пошлет их бог скоро. Прощай, до следующего письма. Обнимаю тебя.

Твой *Г*.

Адресуй в Неаполь.

Гоголь – Плетневу П. А., 30 ноября (12 декабря) 1846

30 *ноября (12 декабря) 1846 г. Неаполь* [554]

Неаполь. 1846. Декабр. 12.

Мне пришло в мысль: не пропадают ли твои письма. Иначе ничем другим я не могу себе объяснить твоего молчания. Во всяком случае, вексель с деньгами, следуемыми мне из казначейства, должен бы быть уже здесь, по моему расчету, месяц назад тому. Или Жуковский позабыл тебе послать свидетельство о моей жизни? Я взял здесь вновь свидетельство и посылаю его на всякий случай. Хорошо, что я здесь встретил знакомых и мог занять у них. Не то была бы беда. В чужой земле, знаешь сам, не весьма весело сидеть без денег. Я беспокоюсь не шутя насчет пропажи. Зная тебя за человека аккуратного, не могу никак допустить, чтобы ты мог позабыть. Странно, что эти денежные замедления случились именно в это время, когда деньги, так сказать, лежат в моем собственном сундуке и нужно только протянуть руку, чтобы оттуда

достать их. Нужно теперь особенно так распорядиться нам, чтобы этого не случилось в наступающем году, который доведется мне изъездить по незнакомым землям, где нелегко будет изворачиваться, не имея в руках наличных денег. А потому ты присылай вперед, не дожидаясь моих извещений, в неаполитанское посольство с курьерами всякую тысячу рублей по мере того, как она накопится от продажи книги[555]. Лучше мне в руках иметь лишнее, чем рисковать встретить подобный случай, который, как ты сам видишь, может случиться всегда. Уведоми, что стало печатанье книги. Я полагал приблизительно около 3000 р. Не позабудь также прилагать записку, кому именно из книгопродавцев и сколько отпущено экземпляров, чтобы я мог держать весь счет всегда в голове и не мог наделать от неведения его глупостей и неосмотрительност<ей>. Думаю, что тебе не следует говорить о том, чтобы не давать без денег никому из книгопродавцев. Это ты сам знаешь, потому что и меня тому выучил. По твоей милости я в Петербурге так расторопно распоряжался с печатаньем книг своих, как не знаю,

распоряжается ли теперь кто из литераторов. Книгу мою я, бывало, отпечатаю в месяц тихомолком, так что появленье ее бывало сюрпризом даже и для самых близких знакомых. Никогда у меня не бывало никаких неприятных возней ни с типографиями, ни с книгопродавцами, как случилось у Прокоповича. Денежки мне, бывало, принесут сполна все наперед; все это бывало у меня тот же час записано и занесено в книгу. И сверх того весь мой книжный счет я носил всегда в голове так обстоятельно, что мог наизусть его рассказать весь. Несмотря на то, что я считаюсь в глазах многих человеком беспутным и то, что называется поэтом, живущим в каком-то тридевятом государстве, я родился быть хозяином и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству, и даже, невидимо от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные, и даже много кой-чего украл у тебя самого, хотя этого и не показал в себе. Мне следовало до времени, бросивши всю житейскую заботу, поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек и без которого не пойдут никакие житей-

ские заботы. Но теперь, слава богу, самое трудное устрояется; теперь могу приняться и за житейские заботы и, может быть, с таким успехом займусь ими, что даже изумишься, откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек. Когда приведет нас бог увидеться и усядемся мы в уютной твоей комнатке, друг против друга, и поведем простые речи, понятные ребенку, от которых будет тепло душам нашим, ты подивишься и возблагоговеешь перед путями, которыми ведет бог человека затем, чтобы привести его к нему же самому и сделать его тем, чем должен он быть, вследствие способностей и даров, выпавших на его долю. Но это еще не близко; обратимся к делу. Шевыреву ты можешь послать экземпляров сколько он ни востребует, для продажи в Москве. На это<го> человека можно положиться. У него точность, как у банкира. Он так выгодно выпродал все мои находившиеся у него книги, так изворотливо выплатил все мои долги, не оставив меня в неведении даже в последней копейке моих денег, что наиаккуратнейший банкир ему бы подивился[556]. Тысячу рублей

отложи на плату за письма ко мне, на журналы и на книги, какие выйдут позамечательней в этом году. Я просил Аркадия Россети заняться пересылкой их, если это окажется тебе обременительным и хлопотливым. В этом году мне будет особенно нужно читать почти все, что ни будет выходить у нас, особенно журналы и всякие журнальные толки и мнения. То, что почти не имеет никакой цены для литератора как свидетельство бездарности, безвкусия или пристрастия и неблагородства человеческого, для меня имеет цену как свидетельство о состоянии умственном и душевном человека. Мне нужно знать, с кем я имею дело; мне всякая строка, как притворная, так <и> непритворная, открывает часть души человека; мне нужно чувствовать и слышать тех, кому говорю; мне нужно видеть личность публики, а без того у меня все выходит глупо и непонятно. А потому все, на чем ни отпечаталось выраженье современного духа русского в прямых и косых его направленьях, для меня равно нужно; то самое, что я прежде бросил бы с отвращением, я теперь должен читать. А потому не изумляйся, если

я потребую присылать ко мне все газеты и журналы литературные, в которые тебя не влечет даже и заглянуть. Но нет места писать далее. Жду с нетерпеньем от тебя вестей. Обнимаю и целую. Прощай.

Ты, я думаю, уже получил письмецо мое[557] чрез руки Анны Михаловны Вьельгорской, в котором уведомляю о решении моем отложить «Ревизора с «Развязкой» как представление, так и печатание до будущего, 1848 года. Аркадий Россети, я думаю, уже тоже объявил тебе о присылке мне литературных журн<алов> с наступающего года, которыми, верно, займется он охотно, если тебе недосуг. Графиню Нессельрод я просил также устроить, чтобы курьеры могли брать эти посылки.

Плетнев П. А. – Гоголю, 1 января 1847

1 *января 1847 г. Петербург* [558]

Среда, 1/13 января 1847. СПб.

Вчера совершено великое дело: книга твоих писем[559] пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало

собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие – иди своею дорогой. Теперь только ты нажил себе настоящих противников и врагов. Но тем лучше. Без них дело все тянется и свертывается. Однако же помни: как божие творение неисчислимо разнообразно, так и проповедь, начатая во славу бога, должна быть отражением его творения. Переменяй предметы воззрений, краски языка и формы статей; но от всего нисходи к одному – к очищению души от мирской скверны. В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний. Только, повторяю, не везде будет оказан этот прием твоей книге. Страшно подумать – а это выйдет, что у многих недостанет сил кончить ее. Но она должна возвестить истину о нас и за пределами России. Оттуда научать нас ценить собственное сокровище наше, как это совершается и

над всем в мире искусств. Вот почему я не намерен тотчас же приступить ко второму изданию. Нужно это сделать тогда, когда раскупят две тысячи экз<емпляров>. На первый раз все вместе петербургские книгопродавцы сложились и взяли у меня только 400 экз., потому что я объявил обыкновенную 20-процентную уступку не иначе, как при отпуске по крайней мере 200 экз. вдруг. Со 100 же экз. до 199 уступается только 15 проц<ентов>; с 50 до 99 уступка 10 пр<оцентов>; с 1 до 49 экз. нисколько не уступается. Но кто возьмет вдруг 600 экз., тому я уступлю и 25 проц<ентов>. Более нет никаких сделок. Все идет на чистые деньги по 2 р. с<еребром> за экземпляр, оттого что в книге вышло, по милости красных чернил Никитенка[560], только 287 страниц. Все твои поправки пришли вовремя, и – что дозволил цензор – внесено в текст. Не пропущенного им уже нельзя было отстоять никакою силою. Итак, чего не найдешь ты в книге, то, значит, не было позволено внести в нее. Я перед тобою совершенно чист и прав. Из типографии, равно как и из бумажной лавки, и от переплетчика, я не получил еще счетов.

Все приобретенные продажею 400 экз<емпляров> деньги пойдут на уплату издания. Лишь только очищу долг, излишек немедленно пошлю к тебе. То же буду делать и при дальнейшем получении денег от продажи книги. У тебя, впрочем, хоть не много, но должно быть денег от посылки мною в прошедшем ноябре 21 числа с<тарого> с<тиля> 408 р. 30 к. серебром с 1-го мая по 1-е октября.

По новому твоему свидетельству из Неаполя я еще не брал твоей пенсии – да и не стоит брать за два месяца: окт<ябрь> и нояб<рь>. Лучше возьми тогда, когда уже недалек будет срок отъезда твоего. Я по новому свидетельству и получу тебе все, что придется на далекое твое путешествие. Даже ты можешь, показав это мое письмо Хвостову, устроить так, чтобы миссия, снабдив тебя необходимым количеством наличных денег, получала от меня уплату из твоих доходов по продаже книги и по пенсии. Все экземпляры, по твоему расписанию, уже розданы и разосланы. Только не доставлено велик. кн. Елене Павловне и вел. кн. Екатерине Михайловне, так как они в путешествии. Для тебя отдано 5 экз., для Толсто-

го 2 и для Жуковского 1, все через Вяземского графине Нессельрод. Пожалуйста, не вини меня, если окажется какая неисправность. Уж я не мог найти вернее дороги: Вяземский приятель Нессельродов. О поднесении всем особам царск<ой> фамилии я писал прямо к Адлербергу, исправлявшему должность Волконского. Но в этот самый день последний вступил в свое звание и первый отказал мне, хотя очень вежливо. Тогда я для поднесения имп<ерато>ру, имп<ератри>це и в<еликому> князю Михаилу Павловичу отослал экз. к Уварову, а для семейства наследника и в. к. Марии Николаевны послал прямо к ним сам при собственном к каждому письме. В<еликой> к<нягине> Ольге Николаевне отправил сам же в Стутгардт. Я не мог не пожертвовать несколькими экз. твоей книги, несмотря на твое замечание, что прочие купят и сами. Наприм<ер>, к А. О. Смирновой отправил 2 экз., Уварову и Вяземскому по 1 экз., Балабиной и ее дочери 2 экз. Для фактора, все поверившего в долг, и для лиц, почти принадлежащих к моему семейству, для моей дочери и для меня пошло всего 7 экз. Остальное все будет прода-

ваться. Передо мною теперь лежат все твои письма с той поры, как задумал ты об этом издании, т. е. с мая из Рима – и до 30 нояб<ря>/12 дек<абря> из Неаполя. Этих писем всех 14. Из них ни одного не оставлено без ответа, говоря о первых одиннадцати. Что касается до последних трех, я не имел еще времени отвечать на них: зато теперь на все отвечу вдруг. Мне казалось, уже лучше сделать все дело, а потом толковать. Да у меня же в эти три последние месяца прошлого 1846 года вдруг столкнулось множество срочных и экстренных дел: 1. Я смотрел за печатанием полного собрания сочинений Крылова в 3 томах и написал к нему биографию автора на 6 печатных листах (издание на днях выйдет)[561]; 2. Я готовил Крылова же биографию совсем особую, для детей, в пользу которых особо изданы будут только его басни в одном томе[562]; 3. Я оканчивал 10, 11 и 12 № «Современника» перед сдачею его Никитенко[563]; 4. Я составлял годичный отчет об ученой и административной деятельности всех членов нашего университета; наконец, 5. Я составлял годичный же отчет о деятельности всех 20 акаде-

миков II Отделения Академии наук. Кроме того, я не переставал читать университетские лекции и ежедневно работать по канцелярии университета, где проходит через мои руки более 6 т<ысяч> бумаг в год. Вот посреди скольких и сколь разнокалиберных занятий я должен был печатать твою книгу и держать исправно с тобою корреспонденцию. Надеюсь, что ты отдашь справедливость моей деятельности. Итак, теперь ответы. Письмо от 22 нояб./4 дек. получено мною 17/29 дек. Оно шло очень долго. Другие из Неаполя приходят в двадцать дней, а это в двадцать пять. Любимов за книгами еще не был у меня. Впрочем, пока уже послано тебе 5 экз. через графиню Нессельрод. Писем касательно «Мертвых душ» пока еще нет. Да я и не полагаю, чтобы неподвижная публика наша расшевелилась от теплого твоего призыва. О «Современнике» ты рассуждаешь, как должно рассуждать человеку, на все смотрящему издали[564]. Тебе представляется он и мелким, и бесплодным. А он между тем принес много добра. Это мне известно по письмам Шевырева и из провинций. Я бы не перестал его издавать, если бы в

силах был жертвовать тем, чем до сих пор жертвовал для пользы общей, т. е. по 5 т<ысяч> р<ублей> ас<сигнациями> в год. Если бы у порядочных людей было столько же единодушия, сколько его оказывается в подобных предприятиях у бездельников, то на мне одном не лежало бы это бремя, которое собственно для меня не тяжело, но после окажется вредным для моей дочери. Только эта мысль и заставила меня сойти с поприща, на котором я стоял твердо и, могу сказать, честно. Из твоих же суждений о «Современ<нике>» я вижу, что ты о нем говоришь понаслышке, да и то из тех отзывов, которые, естественно, должны были враждовать со мною. Иначе как согласить высокое стремление твое к делу души с осуждением другого лица, которое 9 лет о том же только и говорило? Но теперь уже дело кончено. Я надеюсь и отдельными сочинениями продолжать начатое мною в «Современнике». Его утрата останется навеки пятном нашим гениальным эгоистам[565], которые, как все светские люди, не прощают добродетели, что она нищая, а втайне чтят порок за то, что он в золоте. Посмотрим,

чем кончится это соединение негодяев группами и одиночное странствование честных людей. Подобным образом рассуждаешь ты и о всех писателях, поименованных тобою в письме. Издали они тебе кажутся интереснее, нежели они в действительности. Впрочем, у тебя многое угадано верно, так что когда ты будешь здесь, то из статьи твоей о «Современ<нике>» можно будет выбрать много хорошего; теперь же пусть она останется в моем архиве. В другом письме своем, от 26 нояб./8 дек., полученном мною 18/30 дек<абря>, ты говоришь, что с 1847 года нужнее участие мое в литературе, нежели было прежде. Это тебе показалось оттого, что в 1846 году я уже выступил из безмолвной методы действия на публику, а начал носом тыкать негодяев в их пакости[566]. Но это не мое естественное состояние. Это была вспышка долго удерживаемого гнева. Я хочу лучше презирать в молчании, нежели пачкаться для бесславной победы. Впрочем, с 1847 года литература и без меня повернется: твоя книга вызовет все новое в круг умственной деятельности. Последнее твое письмо от 30 нояб./12 дек. получено 22

дек./3 янв. В нем ты жалуешься на медленность мою в отсылке тебе денег. Теперь уже ты получил их. Мы с Аркадием Россети определили высылать тебе «Северную пчелу», «Современник» и «Отечественные записки». Я за них уплачу из твоих денег, кои получу за новую книгу твою. Распорядись, в случае отъезда твоего, кому получать в Неаполе эти журналы. Будь здоров. Твердо иди по избранному пути. Осматривай все со всех сторон и будь органом полной истины. Обнимаю тебя.

Плетнев П. А. – Гоголю, 17 января 1847

17 *января 1847 г. Петербург* [567]

Пятн. 17/29 янв. 1847. СПб.

Нынешним письмом мы кончим с тобою общее дело наше по изданию твоих писем. Еще раз, для облегчения взгляда, представлю все в одном общем отчете. Напечатано 2400 экз. Из них 1200 экз. вытребовал Шевырев, у которого купец все взял разом с уступкою 25 проц<ентов>. Тебе за эти экз. очиститься должно 1800 р. с<еребром>, что и получишь ты прямо от Шевырева. Из оставшихся у меня 1200 экз. только 1125 экз. пошло в продажу,

а остальные 75 в подарки и в ценз<урный> ком<итет>. Сначала из числа 1125 экз. продал я только 400 экз. вдруг, и уступка была 20 проц<ентов>, а после взяты все остальные экз. 725 вдруг с уступкою 25 проц<ентов>. Таким образом, я за первые получил 640 р. с<еребром>, а за вторые 1087 р. 50 к. с<еребром> – всего же 1727 р. 50 к. с<еребром>. Из этой суммы 10 января послано тебе 750 р. с<еребром> да здесь посылается сегодня 205 р. с<еребром>, и того 955 р. с<еребром>. Прочие же 772 р. 50 к. с<еребром> пошли на следующие расходы: в типографию за издержки по изданию 556 р. с<еребром>, за высылаемые тебе через Арк. Росети журналы 48 р. с<еребром>, за отправление в Москву с транспортом книги в числе 1200 экз. 28 р. 50 к. да за двукратную прописку векселей у Штиглица 1 р. 40 к. с<еребром>. Оканчивая этот счет, сообщу тебе подробности о векселе Прокоповича, о котором ты узнал от Анненкова и писал ко мне.

Прокопович в начале 1845 г. действительно послал во Франкфурт вексель на имя Жуковского, для передачи тебе, оставив у себя

второй его экземпляр (secunda). Он воображал, что ты давно деньги получил. Надобно полагать, что тут вышла какая-нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экз. векселя. Я велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по первому действительно выдано не было, то еще можно получить по второму. Вот я и решился сегодня же этот второй экземпляр послать при объяснительном письме к Жуковскому. Я прошу его получить деньги и переслать тебе или объяснить тебе все дело. Ты должен, для успокоения Прокоповича и меня, непременно написать мне как ответ на это письмо поскорее, так и о том, что получишь в уведомление от Жуковского.

С курьером я отправляю к тебе в одном пакете две брошюры: перевод Берга (недавно кончившего в Москве университетский курс) «Краледворской рукописи»[568] и мою биографию Крылова, написанную к полному собранию сочинений его, изданному в 3-х томах и сегодня только вышедшему. Ты мне должен сказать свое мнение об этом моем

труде. Если он удался, то я примусь за Карамзина, а наконец и за Жуковского[569]. Без «Современника» мне раздолье. А прежде я похож был на собаку на привязи.

Как должна поразить тебя кончина Языкова! Ты с ним столько времени жил вместе. И я даже, который давно разлучился с ним, не могу опомниться от такого удара. Теперь-то нас уж немного.

О представлении государю переписанной вполне новой книги твоей теперь и думать нельзя[570]. Иначе какими глазами я встречу наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я как будто в насмешку ему полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя то сказать, что я от него слышал. Лучше вот что сделай. Ведь нельзя же ограничиться тебе одною книгою этих предметов столь важных, столь необходимых всем, особенно в России. Итак, составив новую в этом роде книгу, ты внеси в нее все запрещенное, как будто писанное после, и эту рукопись пошли прямо на имя В.

Перовского, прося его употребить содействие, чтобы государь удостоил на нее взглянуть или поручил кому пробежать прежде цензора. Тогда во-1-х, ничто твое не пропадет, во-2-х, все новое будет непременно пропущено.

Прошу прощения у тебя в том, что так поспешно вывел несправедливое заключение о всех аристократах наших, судя по некоторым. Но ты напрасно воображаешь, будто в сердце моем нет полной веры к личным твоим убеждениям. Если бы похожее что на это происходило в душе моей, я не принялся бы с таким жаром за все дела твои. Нет, уж и потому я верую в святость дел и помыслов твоих, что сам давно стремлюсь подняться сердцем и помыслами и жизнию на эту высоту, единственную цель теперешней моей жизни.

Пожалуйста, на время отбытия своего на Восток устрой в Неаполе или где удобнее так, чтобы все письма, пакеты и другие посылки, на твое имя адресуемые, или доставлялись тебе, или по крайней мере сохранялись до твоего возвращения. А то одна мысль, что я столько теряю времени на письма, которые пропадут на почте, отнимает всю охоту писать. Ес-

ли бы ты мог упросить кого, чтобы он уведомлял меня о том, откуда ты пишешь с Востока, здоров ли, что делаешь, как надеешься и куда возвратиться, – это я почел бы лучшим доказательством твоей ко мне дружбы.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

Гоголь – Плетневу П. А., 25 января (6 февраля) 1847

25 *января (6 февраля) 1847 г. Неаполь* [571]

Неаполь. Февра. 6.

Я получил твое письмо с известием о выходе моей книги[572]. Зачем ты называешь великим делом появление моей книги? Это и неумеренно, и несправедливо. Появление моей книги было бы делом не великим, но точно полезным, если бы все уладилось и устроилось как следует. Теперь же, сколько могу судить по числу страниц, тобою объявленных в письме, не пропущено больше половины, и притом той существенной половины, для которой была предпринята вся книга, да к тому (как ты замечаешь глухо) вымарано даже и в пропущенных множество мест[573]. В таком

случае, уж лучше было бы придержать книгу. На книгу мою ты глядишь как литератор, с литературной стороны; тебе важно дело собственно литературное. Мне важно то дело, которое больше всего щемит и болит в эту минуту. Ты не знаешь, что делается на Руси, внутри, какой болезнью там изнывает человек, где и какие вопли раздаются и в каких местах. Тепло, живя в Петербурге, наслаждаться с друзьями разговорами об искусстве и о всяких высших наслаждениях. Но когда узнаешь, что есть такие страданья человека, от которых и бесчувственная душа разорвется, когда узнаешь, что одна капля, одна росинка помощи в силах пролить освежение и воздвигнуть дух падшего, тогда попробуй перенести равнодушно это уничтоженье писем. Ты не знаешь того, какой именно стороной были полезны мои письма тем, к которым они писались; ты души человека не исследовал, не разоблачал как следует ни других, ни себя самого пред самим собою, а потому тебе и невозможно всего того почувствовать, что чувствую я. Странны тебе покажутся и самые слова эти. С меня сдирают не только рубашку,

но самую кожу, но это покуда слышу только один я, а тебе кажется, что с меня просто снимают одну шинель, без которой, конечно, холодно, но все же не так, чтобы нельзя было без нее обойтись. В бестолковщине этого дела по части цензуры, конечно, я виноват, а не кто другой. Мне бы следовало ввести с самого начала в подробное сведение всего этого графа Михала Юрьевича Вьельгорского. Он бы давно довел до сведенья государя о непропущенных статьях. Это добрая и великодушная душа, не говоря уже о том, что он мне родственно близок по душевным отношеньям ко мне всего семейства своего[574]. Он, назад тому еще месяц, изъяснил государю такую мою просьбу, которой, верно, никто бы другой не отважился представить[575]. Просьба эта была гораздо самонадеяннее нынешней, и ее бы вправе был сделать уже один слишком заслуженный государственный человек, а не я. И добрый государь принял ее милостиво, расспрашивал с трогательным участием обо мне и дал повеленье канцлеру написать во все места, начальства и посольства за границей, чтобы оказывали мне чрезвычайное и осо-

бенное покровительство повсюду, где буду ездить или проходить в моем путешествии. И чтобы этот самый государь отказался бросить милостиво-благосклонный взгляд на статьи мои, не хочу я и верить этому. Перепиши все набело, что не пропущено цензурою, вставь все те места, которые замарал красными чернилами Никитенко, и подай все, не пропуская ничего, Михаилу Юрьевичу. Я не успокоюсь по тех пор, пока это дело не будет сделано так, как следует. Иначе оно у меня не сделано. Какие вдруг два сильные испытания! С одной стороны нынешнее письмо от тебя; с другой стороны письмо от Шевырева с известием о смерти Языкова[576]. И все это случилось именно в то время, когда и без того изнурились мои силы вновь приступившими недугами и бессонницами в продолжение двух месяцев, которых причины не могу постигнуть. Но велика милость божия, поддерживающая меня даже и в эти горькие минуты несомненной надеждой в том, что все устроится, как ему следует быть. Как только статьи будут пропущены, тотчас же отправь их к Шевыреву для напечатанья во втором издании в

Москве[577], которое, мне кажется, удобнее произвести там как по причине дешевизны бумаги и типографии, так равно и потому, что он менее твоего загромождён всякого рода делами и изданьями. На это письмо дай немедленный ответ. Обнимаю тебя от всей души.

Твой *Г*.

Если же ты не будешь занят никаким другим делом и время у тебя будет совершенно свободное, и будет предстоять возможность отпечатать весьма скоро книгу хорошо и без больших издержек, тогда приступи сам. Пожалуста, ничего не пропусти и статьи, пострадавшие много от цензора, вели лучше переписать все целиком, а не вставками. Они у меня писаны последовательно и в связи, и я помню место почти всякой мысли и фразе. Особенно, чтобы статья «О лиризме наших поэтов» не была перепутана; разумею, чтобы большая вставка, присланная мною при пятой тетради, вставлена была как следует, на место страниц уничтожен<ных>. Порядок статей нужно, чтобы был именно такой, как у

меня. Я послал Михаилу Юрьевичу оглавление по порядку всех статей. Если потребуется для проформы какой-нибудь цензор, то не лучше ли выбрать кого-нибудь другого, а не Никитенка?

Плетнев П. А. – Гоголю, 4 апреля 1847

4 *апреля 1847 г. Петербург* [578]

4/16 апр. 1847 г. СПб.

Не рассердись, мой друг, что давно не писал я к тебе. Ты и сам отчасти причиною тому. Если уцелело у тебя мое последнее к тебе письмо (от 17/29 января 1847 г.), то перечти его снова – и убедишься, не должен ли я был беспрестанно ждать решительного слова твоего на тот вопрос, который относился ко второму изданию книги твоей и к помещению непропущенных в ней писем во второй том подобной книги. Но ты ни в одном из писем своих ко мне не упомянул о том ни слова. Время шло да шло – и вот теперь прошел и праздник Пасхи, после которого, как ты сам справедливо сказал, незачем и приступать к печатанию книги[579]. Отложим это все дело до сентября. Но устроим покамест что-нибудь

решительное и удобоисполнимое. В ожидании от тебя ответа на вопрос, как поступить лучше, хлопотать ли для этой самой книжки о непропущенных письмах или действительно удобнее внести их как новые в рукопись второго тома, мы (т. е. князь Вяземский, граф М. Ю. Вьельегорский и я) займемся строгим обсуживанием, какие места в непропущенных письмах не следует даже и представлять государю[580]. Таким образом, к ответу твоему мне на это письмо у нас будет уже определено, чем пополнить переписку твою, в первый ли том или во второй назначишь ты внести эти дополнения. Теперь постараюсь дать тебе удовлетворительные ответы на то, что содержится в последних твоих ко мне письмах: 3/15 января, 25 янв./6 фев., 30 янв/11 февр., 23 февр./6 мар.[581], на которые до сих пор не отвечал я. В. В. Апраксина не удалось мне видеть[582]. От него без меня принесли твое письмо, и я остался в неведении, проездом ли он был здесь или на житье тут поселился. Ни разу не прислал он за мною, не только что сам не побывал у меня. Ты говоришь: «Есть люди, которые имеют прекрас-

ную душу и добрые намерения и грешат по неведению»[583]. Это больше мечта, нежели истина. Вот отчего Павлов во втором к тебе письме («Московские ведомости») так сардонически и осмеивает подобное в тебе убеждение[584]. Ты выговариваешь мне, зачем я на твою книгу смотрю с литературной стороны. У меня идея о литературе всегда сливается с жизнию. Итак, твоя книга важна, по моему мнению, в литературе оттого, что она подействует на жизнь. Упрекая меня, что, тепло живя в Петербурге, я не сочувствую тем, кому холодно подалее от столицы, ты очень ошибаешься. Но я знаю, что вдруг ничто не приходит к совершенству. Ежели каждый своею порядочною жизнию будет давать пример другим, то он со временем принесет пользу, равную с тем, кто это выразил в книге. Аркадий Росетти сам писал к тебе. Он не отказывается для тебя работать[585], но не согласен, чтобы письма к его сестре[586] были напечатаны так, как они в рукописи. Теперь никто из книгопродавцев не являлся ко мне с уведомлением, что настоит сильная потребность во втором издании писем. Твоя мысль, что так как

ты советовал богачам покупать книгу твою для бедных[587], а потому и разойдется ее несметное число, более филантропическая, нежели философическая: богачи и для себя не покупают русских книг; твою разобрали люди среднего сословия, которые тем и удовольствовались. Вот пройдет лето – опять явится в книге потребность, а мы тут и со вторым изданием либо со вторым томом. Ты не велишь присылать тебе больше денег. Да у меня и не осталось ни копейки. Просмотри хорошенько общий отчет по изданию. Таким образом, отсылка денег в Малороссию теперь не может иметь места. Шевырев мне писал, что и он все твои деньги тебе же отослал. У тебя их должно скопиться вдруг очень много, особенно с теми, которые ты получил по secunda (векселю от Прокоповича, тебе мною пересланному через Жуковского). Пожалуйста, и об этом не забудь уведомить меня. Хорошо отвечать на деловое письмо нельзя иначе, как держа его перед глазами и внося ответы из строки в строку. Ты хвалишься аккуратностью, а на деле не умеешь показать ее. Я советую тебе распорядиться этою огромною сум-

мою денег так, чтобы их стало тебе года на два или и более. Тогда избытки от будущих изданий в это время могут быть обращены на вспомоществование твоим родным. Слышал ли ты, что зимою в Москве скончалась П. И. Раевская, у которой некогда жила сестра твоя? Напрасно тревожишься ты, будто я могу сколько-нибудь огорчиться твоими выговорами за неудачу в издании твоей книги. Пока ты не открывал мне сердца своего, я мог считать подобные от тебя требования неуместными; но с тех пор как ты душою слился со мной, я тебя не отделяю от себя. Больше об этом ни слова. Моя Ольга[588] была у Вьельгорских по твоему желанию. Они очень обласкали ее. Ты хочешь переслать к Прокоповичу обратно деньги, как только получишь по его векселю. Этого не делай. Он уже знает, что деньги нашлись (по письму Жуковского ко мне), – и очень тем доволен. Напрасно Жуковский напугал тебя, что в книге твоей много опечаток. Я прочитывал ее раз двадцать – и не встретил ни одной опечатки. Может быть, по неразборчивости руки иначе понял корректор самый смысл. Но для меня все очень

хорошо. Недоставление паспорта задержало тебя на нынешний год. Я верую, что провидение лучше нас знает, что устрояет. Все, что о книге твоей пишут, пересылается тебе Аркадием Осиповичем Росетти через Прянишникова. Но ты увидишь, какой вздор несут наши журналисты. Оно так и должно быть. Может ли что наставительного автору, думавшему о предмете годы, сказать критик, бросающийся за перо в минуту чтения? Твоя жажда читать эти глупости – единственное пятно для меня на чистой душе твоей. Ни Карамзин, ни Крылов, ни Жуковский, ни Пушкин не учились от наших критиков: они только сами погружались в свои думы. И ты, когда разберешь дело, должен будешь сознаться, что никто тебя так верно не поправит в ошибках, как сам ты. Сказал же Пушкин:

Ты – царь: живи один![589]

Прилагаю к тебе письма: 1) от Брянчанинова (архимандрита Сергиевского монастыря, подле Стрельны, который его отдал Marie Balabina) и 2) от Вигеля из Москвы[590].

П. П.

Гоголь – Плетневу П. А., 27 апреля (9 мая) 1847

27 *апреля (9 мая) 1847 г. Неаполь* [591]

Неаполь. Мая 9.

Я получил милое письмо твое (от 4/16 апреля) перед самым моим отъездом из Неаполя; спешу, однако ж, написать несколько строчек. Ответ на твои запросы ты, вероятно, уже имеешь отчасти из письма моего к Россети (от 15 апреля), отчасти из письма к тебе (от 17 апреля)[592]. Благодарю тебя также за приложение двух писем для меня очень значительных. Вигелю я написал маленький ответ, при сем прилагаемый[593], который, пожалуста, передай ему немедленно. Что касается до письма Брянчанинова, то надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это познание слышно во всякой строке его письма. Все сказано справедливо и все верно. Но, чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не

имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома; но об этом предмете нечего нам распространяться. Все это ты чувствуешь и понимаешь, может быть, лучше моего. Во всяком случае, письмо это подало мне доброе мнение о Брянчанинове. Я считал его, основываясь на слухах, просто дамским угодником и пустым попом.

Несколько слов насчет изумленья твоего моему любопытству знать все толки, даже пустые, обо мне и о моей книге. Друг мой, как ты до сих пор не можешь почувствовать, что это мне необходимо! В толках этих я ищу не столько поученья себе, сколько короткого знания тех людей, которых мне нужно знать. В сужденьях о моих сочинениях обнаруживается сам человек. Говорит журналист, но ведь за журналистом стоит две тысячи людей, его читателей, которые слушают его ушами и смотрят на вещи его глазами. Это не безделица! Мне очень нужно знать, на что нужно на-

пирать. Не позабудь, что я хоть и подвизаюсь на поприще искусства, хотя и художник в душе, но предметом моего художества современный человек, и мне нужно его знать не по одной его внешней наружности. Мне нужно знать душу его, ее нынешнее состояние. Ни Карамзин, ни Жуковский, ни Пушкин не избрали этого в предмет своего искусства, потому и не имели надобности в этих толках. Будь покоен на мой счет: меня не смутят критики и ни в чем не заставят меня пошатнуться, что здраво и крепко во мне. Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встретил ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком божьей милости к себе. Без него как бы мне сохранить ее, сообразя то, что редкому довелось выдержать такие битвы со всякими отвлекающими от избранного пути обстоятельствами! После всех этих толков у меня только лучше прочищаются глаза на то же самое, на что я гляжу, и больше рвенья к делу. Повторяю тебе, что я слишком тверд в главных моих убеждени<ях>. Но у меня правило: всех выслушай, а

сделай по-своему. И что я сделаю по-своему, всех выслушавши, то уже трудно поднять будет на публичное посмешище, даже и временное.

Россети прав насчет письма к его сестре[594]. Совершенно в таком виде, как оно есть, ему неприлично быть в печати. Попроси его, чтобы он назначил карандашом все места, по его мнению, неловкие. Их очень легко умягчить – тем более, что я чувствую уже и сам, как следует чему быть. Вексель секунду я послал обратно к тебе через Штиглица, потому что здесь не взялся по нем выдать деньги банкир. Стало быть, тут уж не мое распоряжение. Такова судьба его. Деньги эти береги у себя. Прокоповичу не следует ничего говорить. Письма адресуй все во Франкфурт, как я уже и писал в прежнем письме с изложением всего моего маршрута. Обнимаю тебя крепко. Бог да хранит тебя! Ради бога, хоть несколько слов о самом себе! Я, собственно, о тебе почти ничего не знаю: все письма твои наполнены мной. Книга твоя о Крылове прекрасна во всех отношенях. Это первая биография, в которой передан так верно писатель. Журнал я

наконец получил за генварь и за февраль, но моя книга не дошла.

Весь твой *Г.*

Плетнев П. А. – Гоголю, 16 мая 1847

16 *мая 1847 г. Петербург* [595]

16/28 мая, 1847. СПб.

Ты, пожалуйста, никому не верь, чтобы люди, не знающие меня и, по словам твоим, не умеющие ценить меня (а ценить-то, молвлю искренно, и нечего), могли подействовать на меня неприятно. Я давно понял и почувствовал, что чем долее живешь, тем менее делаешься нужен посторонним людям: следовательно, мы и не сходимся ни в чем. Я живу совершенно один, за исключением тех, кого надобно принимать мне для моей дочери. Если я досадую от глупых толков про книгу твою, это происходит от сожаления, в каком жалком состоянии очутилась без пастыря бедная литература наша.

О поездке за границу нынешний год нельзя мне и думать. Я оканчиваю к 1848 году второе четырехлетие ректорства своего. Надобно дослужить это полугодие. Когда совершится

в декабре выбор нового ректора, я оставлю службу совсем – и тогда-то волен буду, подобно тебе, разъезжать по свету, да и еще не один, а с дочерью, которая между тем кончит первоначальное воспитание свое и начнет окончательное под непосредственным руководством моим.

Я писал уже к Василию Андреевичу[596], что получены мною от Штиглица те деньги, которые некогда посланы были к тебе Прокоповичем. Ты должен определительно сказать, надобно ли их хранить для печатания новых изданий твоих, или кому отослать их. Во всяком случае, не покидай меня без уведомления.

Сегодня был я у в<еликого> к<нязя> наследника. Е<го> в<ысочество> изволил меня спрашивать, где проводишь ты лето. Когда я объявил, что в Германии, то в<еликий> к<нязь> заметил, что, вероятно, увидит тебя, сбираясь провожать цесаревну в Дармштат.

Мне очень жаль, что здоровье и предположение касательно путешествия на Восток не позволяет тебе приехать с Василием Андреевичем в Петербург[597]. Верно, ты и не зна-

ешь, что 1847 год есть юбилейный год пятидесятилетнего его служения музам. Как бы радостно было для такого случая собраться всем нам вместе и приветствовать одним хором бесценного учителя-поэта нашего. Ведь уже нас и не много осталось. Кроме Вяземского, дома Вьельгорских и Карамзиных да Смирновой, я даже не знаю, с кем делить нам эту радость, делить не шумно, а семейно. Конечно, чувства наши найдут чистый отголосок в сердце в<еликого> к<нязя> наследника[598]. Этим счастием не приходится никому насладиться, кроме Василия Андреевича. Когда я сегодня упомянул об этом в<еликому> к<нязю>, он так и оживился и даже приказал мне написать, что я думал бы сделать по этому случаю. Меня очень обрадовало это участие.

Старайся, друг, укрепить свое здоровье и напасть на такой путь жизни, чтобы ты мог идти ровным шагом. О, как отрадно чувствовать все в себе благонадежным и ежедневно находить как физические, так и умственные силы свежими для исполнения возложенных богом на нас обязанностей! Вот два года, как на этот путь навел меня один врач, никем по-

чти незнаемый в Петербурге[599].

Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

Плетнев П. А. – Гоголю, 29 июля 1847

29 *июля 1847 г. Петербург* [600]

29 июля / 10 авгус. 1847. СПб.

Долго я не писал тебе оттого, что каждое из трех последних писем твоих[601] заставляло меня ждать от тебя то дополнения известий, то какой-либо присылки. Здесь даю тебе отзыв на все вдруг. Теряю надежду приготовить для тебя копию с книги «Переписка с друзьями», в исправленном виде. Ужели забыл ты, как трудно здесь соединить на серьезное общее дело три-четыре должностные лица? И зимою это трудно до невероятности, а летом невозможно. М. Вьельгорский живет на своей даче по Петергофской дороге и откочевывает то в Петербург, то в Петергоф. Вяземский поселился на Аптекарском острову, до обеда занят по должности, а после вечно в свете. Я двадцать один год живу на одном месте у Лесного института на даче Беклешовой. Но письма и посылки адресуй ко мне, как прежде, в

университет. А. Россет уехал в Калугу к сестре[602] и еще не возвратился. Я даже не знаю, дождешься ли ты когда-нибудь исправленного нами экз. «Переписки». Уж не заняться ли тебе самому этим делом? Ты столько прочитал замечаний о книге, столько обдумал и сам все в ней, что несравненно лучше посторонних можешь приготовить второе издание, исправленное и дополненное. Только бы довольно разборчиво все переписано было – я тотчас же могу приступить к печатанию. За помощь тебе от означенных твоих друзей не отвечаю. Мой голос для них – ничто. Уж если решительного чего захочешь от них, напиши к Вяземскому или к Россети сам и объяви, что к такому-то сроку ждешь исполнения, а после того ни в чем нуждаться не будешь. С нашими друзьями не сладить иначе. Другую книжку твою, «Повесть твоего писательства»[603], можешь ко мне прислать, когда только вздумаешь. Я ее тотчас же и тисну. Свидетельство о жизни получено мною – и деньги положены в ломбард до времени. Там же лежат и прежние деньги твои, полученные мною по второму векселю от Штиглица. Ты должен заблаго-

временно предуведомить меня, когда и сколько понадобится тебе денег и по какому адресу прислать их. Прелестную новую поэму Жуковского[604] цензор пропустил всю до единого стиха – и я уже отправил процензированную рукопись обратно к Жуковскому, чтобы он мог, как ему хотелось, напечатать ее в Карлсру. Зачем бы и тебе, для сокращения издержек, не делать так же? Притом и ошибок уж не будет под собственным надзором. Пришли, если желаешь, и переделанную развязку «Ревизора»[605]. Я покажу ее Бернардскому. Без рукописи он не может ничего сказать, в состоянии ли он готовить картинки к изданию всего «Ревизора». Да не дурно бы сделал ты, если бы занялся повнимательнее и всею комедиею, перечитал бы ее с пером в руках и прислал бы весь оригинал в таком виде, как желаешь напечатать его с развязкою. Господь с тобою. Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

Гоголь – Плетневу П. А., 12(24) августа 1847

12 *(24) августа 1847 г. Остенде* [606]

Остенде. Августа 24.

Твое милое письмецо (от 29 июля/10 авг<уста>) получил. Оставим на время все. Поеду в Иерусалим, помолюсь, и тогда примемся за дело, рассмотрим рукописи и все обделаем сами лично, а не заочно. А потому до того времени, отобравши все мои листки, отданные кому-либо на рассмотрение, положи их под спуд и держи до моего возвращения. Не хочу ничего ни делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия и не помолюсь, как хочется мне помолиться, поблагодаря бога за все, что ни случилось со мною. Теперь только, выслушавши всех, могу последовать совету Пушкина: «Живи один» и проч.[607]. А без того вряд ли бы мне пришелся этот совет, потому что все-таки для того, чтобы идти дорогой собственного ума, нужно прежде изрядно поумнеть. Сообразя все критики, замечания и нападенья, как изустные, так и письменные, вижу, что прежде всего нужно всех поблагодарить за них. Везде сказана часть какой-нибудь правды, несмотря на то что главная и важная часть книги моей едва ли, кроме тебя да двух-трех человек, кем-нибудь понята. Ред-

ко кто мог понять, что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком, и не вышли бы мои сомнения блестящая побрякушка.

Ты прав совершенно, признавая важность литературы (разумея в высоком смысле ее влиянья на жизнь). Но как много нужно, чтобы дойти до того, какое полное знание жизни, сколько разума и беспристрастия старческого, чтобы создать такие живые образы и характеры, которые пошли бы навеки в урок людям, которых бы никто не назвал в то же время идеальными, но почувствовал, что они взяты из нашего же тела, из нашей же русской природы! Как много нужно сообразить, чтобы создать таких людей, которые были бы истинно нужны нынешнему времени! Скажу тебе, что без этого внутреннего воспитанья я бы не в силах был даже хорошенько рассмотреть все то, что необходимо мне рассмотреть. Нужно очень много победить в себе всякого рода щекотливых струн, чтобы ничем не раздражиться, ни на что не рассердиться и уметь

хладнокровно выслушивать всех и взвесить всякую вещь. Теперь я хоть и узнал, что ничего не знаю, но знаю в то же время, что могу узнать столько, сколько другой не узнает. Но обо всем этом будем толковать, когда свидимся. Постараюсь по приезде в Россию получше разглядеть Россию, всюду заглянуть, переговорить со всяким, не пренебрегая никем, как бы ни противоположен был его образ мыслей моему, и, словом, – все пощупать самому. Напиши мне о своих предположениях на будущий год относительно тебя самого, равно как и о том, расстаешься ли ты с университетом. Признаюсь, мне жалко, если ты это сделаешь. Оставить профессорство – это я понимаю, но оставить ректорство – это, мне кажется, невеликодушно[608]. Как бы то ни было, но это место почтенное. Оно может много возвыситься от долговременного на нем пребывания благородного, честного и возвышенного чувствами человека. Мне так становится жалко, когда я слышу, что кто-нибудь из хороших людей сходит с служебного поприща, как бы происходила какая-нибудь утрата в моем собственном благосостоянии. По крайней мере,

уже если оставлять это место, так разве с тем только, чтобы променять его на попечителя того же университета. Важнейшая государственная часть все-таки есть воспитанье юношества. А потому на значительных местах по министерству просвещения все-таки должны быть те, которые прежде сами были воспитатели и знают опытно то, что другие хотят постигнуть рассужденьем и умствованьями. А впрочем, ты, вероятно, уже все это обсудил и взвесил и знаешь, как следует поступить тебе. Во всяком случае, об этом мне напиши. Письмо адресуй в Неаполь по-прежнему. Я пробуду там до февраля. Обнимаю тебя крепко.

Твой *Н. Г.*

Гоголь – Плетневу П. А., 20 ноября 1848

20 *ноября 1848 г. Москва* [609]

Москва. 20 ноябрь.

Здоров ли ты, друг? От Шевырева я получил экземпляр «Одиссеи»[610]. Ее появленье в нынешнее время необыкновенно значительно. Влияние ее на публику еще вдали; весьма может быть, что в пору нынешнего лихора-

дочного своего состоянья большая часть читающей публики не только ее не разнюхает, но даже и не приметит. Но зато это сущая благодать и подарок всем тем, в душах которых не погасал священный огонь и у которых сердце приуныло от смут и тяжелых явлений современных. Ничего нельзя было придумать для них утешительнее. Как на знак божьей милости к нам должны мы глядеть на это явление, несущее ободренье и освеженье в наши души. О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том «Мертвых душ». Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде чем примусь сурьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка. Как ты? Дай о себе словечко. Поклонись всем, кто любит меня и помнит.

Весь твой *Н. Гоголь*.

Между прочим, просьба. Пошли в Академию художеств по художника Зенькова и, призвавши его к себе, вручи ему пятьдесят рублей ассигнациями на нововыстроенную

обитель, для которой они работают иконостас. Деньги запиши на мне.

Плетнев П. А. – Гоголю, 30 мая 1849

30 *мая 1849 г. Петербург* [611]

30 мая, 1849. СПб.

Письмо твое от 21 мая[612] доставили мне только вчера. Очень долго залежалось на почте, не знаю почему. К тому же вчера было воскресенье; и так я не мог послать тебе ответа в тот же день.

Ты угадал, что у меня много было хлопот. Но это бы ничего, если бы я предвидел конец им. А вот беда, что и этого нет. Мать жены моей[613] страдает ревматизмами целый год. Она лишена всякого движения. Сперва лечили ее на дому. Открылось после, что невозможно подать ей всех пособий в частной квартире. И так перевезли ее к церкви Преображения в лечебное заведение принца Ольденбургского. Дочь ее, нынешняя моя жена, так страстно любит мать свою, что подобную привязанность справедливее назвать болезнию сердца. Со времени нашей свадьбы не проходило дня, который бы не проводила она

у постели страдалицы. Следовательно, я все это время был в каком-то ненормальном положении. Наконец, после переезда нашего на Спасскую мызу[614], это мое положение стало еще менее нормальным по отдаленности, которую путешественница моя принуждена всякий день уничтожать своими ежедневными поездками к больной. Рассказывают, что в ревматизмах так страдают по десяти лет. Я рискую все это время не видать жены при себе. Но я не сержусь на нее. Меня трогает и умиляет столь нежная дочерняя любовь. Ей нетерпеливо бы хотелось осуществить все прежние мечты, как она располагалась жить подле меня. Но болезнь сердца пока не допускает до того. И вот мы живем в одних ожиданиях. Редкое существо эта женщина в таких летах: ей только 23 года (зовут ее Александра Васильевна). Она столько же миниатюрна, сколько и грациозна. А. О. Смирновой очень понравилась она. Жуковского всего и всего Пушкина помнит она наизусть. До этого дошла она, года три читав их со мною почти ежедневно. Только не воображай в ней чего-нибудь романтически-плаксивого. Это ду-

ша крепкая, это ум деятельный и твердый – как у не многих мужчин бывает.

Не позабудь же уведомить меня, как скоро понадобятся тебе деньги по одному из ломбардных билетов.

И я жду Жуковского сюда. Зимою он решительно объявил, что в начале июня прибудет к нам, и один даже, если доктора не позволят ехать жене его.

Твой

Плетнев.

Гоголь – Плетневу П. А., 6 июня 1849

6 *июня 1849 г. Москва* [615]

6 июня, Москва.

Благодарю тебя за письмо и за вести о своем житье-бытье, близком сердцу моему. Очень благодарен также за то, что познакомил меня заочно с Александрой Васильевной. Да не находит на тебя грусть оттого, что ты не всегда с нею. В нынешнее время быть у одра страждущего есть лучшее положение, какое может быть для человека. Тут не приходит в мысли то, что теперь крутит и обольщает головы. Тут молитва, смирение и покорность.

Стало быть, все то, что воспитывает душу, блюдет и хранит ее. Начать таким образом жизнь свою надежнее и лучше, нежели днями первых упоений и так называемыми медовыми месяцами, после которых, как после похмелья, смутно просыпается человек, чувствуя, что он спал, а не жил. Я думал было наведаться в Петербург, но приходится отложить эту <поездку>, по крайней мере до осени. Деньги вышли по второму билету, то есть тому, который заключает в себе сумму 650 р. серебром с процентами, какие накопились. Пришли на имя Шевырева.

Твой весь *Н. Г.*

Передай мой душевный поклон Александре Васильевне и Ольге Петровне и не забывай меня хоть изредка письмами. Обнимаю тебя крепко.

Гоголь – Плетневу П. А., 15 декабря 1849

15 *декабря 1849 г. Москва* [616]

Декабрь 15, Москва.

Мы давно уже не переписывались. И ты замолчал, и я замолчал. Я не писал к тебе отча-

сти потому, что сам хотел быть в Петербург, а отчасти и потому, что нашло на меня неписательное расположение. Все кругом на меня жалуются, что не пишу. При всем том, мне кажется, виноват не я, но умственная спячка, меня одолевшая. «Мертвые души» тоже тянутся лениво. Может быть, так оно и следует, чтобы им не выходить теперь. Дело в том, что время еще содомное. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели, не способны ни к чему художественному и спокойному. Сужу об этом по приему «Одиссеи». Два-три человека обрадовались ей, и то люди уже отходящего века. Никогда не было еще заметно такого умственного бессилия в обществе. Чувство художественное почти умерло. Но ты и сам, без сомнения, свидетель многого. Пожалуста, отправь это письмецо к Гроту[617] и сообщи мне его точный адрес. Передай также мой душевный поклон Балабиным и скажи им, что я всегда о них помню. Затем, обнимая мысленно с тобой вместе всех близких твоему сердцу, остаюсь

твой весь *Н. Г.*

Адрес мой: в доме Талызина на Никитском булеваре.

Об «Одиссее» не говорю. Что сказать о ней? Ты, верно, наслаждаешься каждым словом и каждой строчкой. Благословен бог, посылающий нам так много добра посреди зол!

Плетнев П. А. – Гоголю, 2 мая 1850

2 *мая 1850 г. Петербург* [618]

2 мая, 1850. Санктпетербург.

Совсем не угадал ты, отчего я давно не пишу к тебе[619]. Просто от уверенности, что ты и без писем моих знаешь главное, что со мною делается. Да и твоя работа такова, что тебе не до развлечений.

Я довольно часто получаю известия от Жуковского. Он располагался лето провести для жены в Остенде, а на зиму для них уже нанят дом в Ревеле. Но когда узнал он из моих писем, что я для жены своей на лето сбираюсь в Гельзингфорс, то ему захотелось и лето провести в Ревеле же, чтобы я вместо Гельзингфорса приехал туда. Я отвечал ему, что не прочь от этого плана[620]. Теперь жду, что он окончательно скажет на это. Жуковский счастли-

вее тебя на работу. У него многое прибавляется в издание полных сочинений его.

Посылаю тебе последний твой бывший в ломбарде капитал 1168 р. и накопившиеся на него проценты 141 р., всего 1309 р. В моем быту никаких перемен не последовало. Из литераторов наших я вижусь только с Тютчевым. Вяземский получил отсрочку еще на полгода[621].

У меня дома все здоровы и тебе кланяются.

Скажи Шевыреву, что он меня позабыл и даже не прислал мне новой своей книги[622].

Обнимаю тебя. До свидания.

П. Плетнев.

Плетнев П. А. – Гоголю, 23 марта 1851

23 *марта 1851 г. Петербург* [623]

23 марта. 1851. СПб.

Сегодня получил я письмо твое от 25 января[624]. Не понимаю, где оно пролежало эти два месяца. Уж не в твоем ли письменном столе? Удивительная с твоей стороны неаккуратность. Полагая, что мой ответ еще застанет тебя в Одессе[625], я решился написать к тебе поскорее.

Если бы ты действительно переменил свой маршрут – это было бы хорошо во всех отношениях[626]. Что за жизнь на востоке для автора Чичикова? Ему надобно не выезжать из России. Недуги твои, надеюсь, легко поправятся, как скоро ты решишься вести регулярную жизнь. В путешествиях что за регулярность? Ни покоя, ни пищи, ни сна, ни удовлетворения привычек и любимых фантазий. Во всем зависимость бог знает от кого и от чего.

Меня восстановило не обливание водою, как ты полагаешь, а отстранение неудобств и излишеств, которые всех нас губят. Вода мне служит только способом сохранения тела в приятной свежести и чистоте.

Смирнова рассказывала мне, как ты читал с нею вторую часть «Мертвых душ». Она в восхищении от нее. Со мною ты и речи не заведешь о том, сколько и как у тебя идет литературная работа. Правда, и сам я не охотник до времени толковать о том, что делаю. Все же не лишнее было бы с твоей стороны упомянуть о том, чем ты озабочен или обрадован. Не так жили со мною отшедшие друзья наши, о которых так мило говоришь ты в по-

следнем письме ко мне[627]. У них, правда, не было по целому свету столько других друзей, как у тебя. Это одно объясняет мне особенность отношений твоих ко мне и несколько успокаивает меня. Тогда кружок наш был маленький, но так крепко сомкнутый, что ни одна чуждая нам фигура не могла втесниться к нам и разделить кого-нибудь из нас от другого. Невозвратное время! Ты худо его помнишь, потому что поздно пристал к нам. Смешно мне, что ты свои лета равняешь с моими[628]. Куда же тебе соваться тут? Ведь ты перед нами молокосос!

Жуковский приедет, вероятно, в мае и поместит семейство свое в Дерпте либо в Ревеле. Сам он только в августе отправится в Москву на празднование 25-летия государева[629]. До той поры мы непременно свидимся с ним, т. е. или он ко мне приедет в Петербург, либо я приеду к нему в Лифляндию. Вяземский летом будет жить в одном краю со мною за Лесным институтом, где он завел собственную дачу. Смирнова здесь не останется. Муж ее сменен с калужского губернаторства и причислен просто к министерству внутренних

дел. Итак, они, вероятно, уедут на лето в свою подмосковную.

Я все ждал, что скажешь ты мне насчет замечаний неизвестной особы, по вызову твоему приславшей их ко мне: не забудь, что при втором издании первой части «Мертвых душ» ты всех просил доставлять подобные замечания ко мне или к Шевыреву. А теперь ты даже и не отвечаешь мне на этот пункт. Что же это значит? Вообще твои письма так коротки и неудовлетворительны, что можно подумать, будто ты пишешь против воли.

На другое письмо твое, присланное с Мурзакевичем, я потому не отвечал, что ждал отзыва на свое первое. Пожалуста, поклонись Мурзакевичу, Зеленецкому, Саржинскому и всем, кто в Одессе меня вспомнит.

Жена моя, дочь и зять мой[630] тебя благодарят за память о них и кланяются тебе. Обнимаю тебя мысленно и молю бога, чтоб он даровал тебе здоровье и веселость. Неизменно твой

П. Плетнев.

Гоголь – Плетневу П. А., 15 июля 1851

15 *июля 1851 г. Москва* [631]

Москва, 15 июля.

Пишу к тебе из Москвы, усталый, изнемогший от жару и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами по части приготовленья к печати «Мертвых душ» второго тома[632], и до того изнемог, что едва в силах водить пером, чтобы написать несколько строчек записки, а не то что поправлять или даже переписать то, что нужно переписать. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться, но желанье повидаться с тобой и с Жуковским было причиной тоже моего нетерпенья. А между тем здесь цензура из рук вон. Ее действия до того загадочны, что поневоле начнешь предполагать ее в каком-то злоумышлении и заговоре против тех самых положений и того самого направления, которые она будто бы (по словам ее) признает. Ради бога, пожертвуй своим экземпляром сочинений моих и устрой так, чтобы он был подписан в Петербурге. Здешние бабы цензора отказываются даже и от напечатанных книг, особливо если они цензурованы петербург-

ским цензором. А второе издание моих сочинений нужно уже и потому, что книгопродавцы делают разные мерзости с покупщиками, требуют по сту рублей за экземпляр и распускают под рукой вести, что теперь все запрещено. В случае если и в Петербурге какие-нибудь придирки насчет, может, каких-нибудь фраз, то Смирнова мне сказала, что велик<ая> княгиня Марья Николаевна просила ее сказать мне, чтобы в случае чего обратиться прямо к ней. Это она говорила о втором томе «Мертвых душ». Нельзя ли этим воспользоваться и при 2 издании сочинений? Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены, но теперь не хочу: пусть все остается в том виде, как было в 1 издании. Еще пойдет новая возня с цензорами. Бог с ними! Писал бы еще кое о чем, но в силу вожу пером. Весь расклеился. Передай душевный поклон мой достойной твоей супруге, о которой кое-что слышал от Смирновой. Балабиным, если увидишь, также мой душевный поклон. Получил пересланное тобой описание филармонического быта в большом свете, по поводу «Мертвых душ». Две страницы пробе-

жал: правописанье не уважается и грамматика плоха, но есть, показалось мне, наблюдательность и жизнь[633]. Ради бога, передай, что знаешь о Жуковском, да и о себе также. Письма адресуй по-прежнему на имя Шевырева.

Твой весь *Н. Гоголь*.

Правда ли, что кн. Вяземский в сильной хандре?

Плетнев П. А. – Гоголю, 23 июля 1851

23 *июля 1851 г. Петербург* [634]

23 июля, 1851. СПб.

Вчера получил я письмо твое, любезный друг Николай Васильевич, от 15 июля из Москвы – и спешу отвечать тебе. Ты совсем ошибаешься, воображая, что здешние цензора благоразумнее московских: совсем напротив. Доказательством одно уж то, что здесь ничего не пропустили в печать из новых сочинений Жуковского[635], хоть каждая строчка его дышит религиозностью, нравственностью и вдохновением. Князь Щербатов, исправлявший прежде должность попечителя в

Москве, а недавно и здесь бывший в той же должности (след<овательно>, председательствовавший в обоих комитетах цензуры), говорил мне, что никакого нет сравнения между нашими цензорами и московскими: последние хоть строги, но понимают, чем занимаются, а здешние – просто идиоты. Итак, ни прежних, ни новых сочинений твоих и думать не надобно сюда переносить: оканчивай все там. Во-1-х, генерал Назимов, если ты явишься к нему и объяснишь, в чем твоя просьба, непременно сам вызовется быть твоим цензором: это он сделал с Островским и готов делать со всеми, у кого только заметил талант. Во-2-х, после 18 августа весь двор прибудет в Москву, где государь всегда бывает необыкновенно милостив. В крайности, ты можешь подать прошение, чтобы, подобно тому, как было с Жуковским, высочайше повелено было все, тобою уже напечатанное прежде, выпустить ныне снова в свет без малейших перемен, а о 2-м томе «Мертвых душ» Назимов решится сам войти с представлением к государю, если бы это понадобилось. Великая же княгиня Мария Николаевна теперь

за границею. Но Смирнова с своей стороны и без ее высочества придумает средство, как помочь тебе, если это будет нужно.

Вчера кн. Вяземский сюда возвратился из Ревеля, где он провел 4 недели. У него действительно есть признаки ипохондрии, происшедшей от расстройства нервов. Теперь он думает проситься, чтобы ему дали отпуск куда-нибудь подалее. Не знаю, не пустится ли он в Брюссель к сыну. Кн. Вяземский передал мне слух, который принял от кого-то недавно, будто Жуковский снова нездоров и покамест не может предпринять путешествия в Россию. Это меня очень печалит, если только справедливо.

Прощай покамест, до свидания. Моя жена и дочь тебе кланяются. Ольга и муж ее у нас живут, с нами на даче.

Твой *П. П.*

Гоголь и М. П. Балабина

Вступительная статья

С семьей генерал-лейтенанта Петра Ивановича Балабина Гоголь познакомился в начале 1831 года, когда по рекомендации П. А. Плетнева стал домашним учителем дочери Балабина – Марьи Петровны (1820–1901). Дружный с Балабиными, Плетнев не раз отзывался о них как о людях образованных и симпатичных. «Единственной в мире по доброте» (Акад., XI, № 49) называл впоследствии семью Балабиных и близко сошедшийся с ними Гоголь. Кроме самой Марьи Петровны, писатель был дружен с ее старшей сестрой Елизаветой Петровной Репниной-Волконской, а также с матерью Варварой Осиповной (с обеими Гоголь состоял в переписке). Связей с семьей своей бывшей ученицы Гоголь не прекратил и после своего отъезда за границу в 1836 году. С М. П. и В. О. Балабиными он виделся в 1836 году в Лозанне и Баден-Бадене, где читал им «Записки сумасшедшего» и комедию «Ревизор» (РА, 1890, № 10, с. 228). Весной 1837 года писатель встречался с ними в

Риме. В конце 1839 года, забрав своих сестер из Патриотического института, Гоголь на некоторое время помещает их в петербургском доме Балабиных. Следующая встреча с этой семьей состоялась в Петербурге в 1842 году. Последнее же свидание писателя с М. П. Балабиной произошло, по-видимому, летом 1844 года, в Германии.

Биографические сведения о М. П. Балабиной скудны. По отзывам современников, она была умной и привлекательной девушкой, живо интересовалась наукой, искусством, литературой. В 1844 году Марья Петровна вышла замуж за Александра Львовича Вагнера, в то время чиновника особых поручений Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Значительную часть своей последующей жизни М. П. Балабина-Вагнер провела за границей, в частности в Италии. В начале нашего века благодаря ее стараниям, а также хлопотам других представителей русской колонии в Риме на доме по Via Felice, где в 1838–1842 годах жил Гоголь, была установлена мемориальная доска.

Небольшая по объему, переписка с М. П.

Балабиной относится к наиболее интересным разделам эпистолярного наследия писателя. Она открывает новые грани личности Гоголя, отличается высокими литературными достоинствами. В письмах к Балабиной ярко проявляет себя замечательная способность Гоголя выявлять скрытый комизм повседневных житейских ситуаций. Пример тому – письмо от 30 сентября (12 октября) 1836 года, пародирующее мелочную описательность, свойственную многим произведениям, созданным в жанре популярного тогда «литературного путешествия». Здесь же содержится блестящий комический диалог, заставляющий вспомнить сочинения Гоголя-драматурга. Вполне законченные художественные создания представляют собой и письма более поздней поры, заключающие колоритные зарисовки итальянского быта и нравов. Наряду с высокими эстетическими достоинствами, переписка Гоголя с Балабиной замечательна своей удивительной искренностью, естественностью, теплотой. Это в значительной степени объясняется свойствами личности гоголевской корреспондентки, глубоко инди-

видуальный и в то же время исторически характерный образ которой встает со страниц ее писем.

В настоящем издании публикуются все 4 известные сегодня письма М. П. Балабиной к Гоголю и 8 из 10 дошедших до нас писем Гоголя к его бывшей ученице.

Гоголь – Балабиной М. П., 30 сентября (12 октября) 1836

30 *сентября (12 октября) 1836 г. Веве* [636]

Веве. Октябрь 12. 1836.

Путешествие из Лозанны в Веве.

Хотя вы, милостивая государыня Мария Петровна, не изволили мне описать вашего путешествия в Антверпен и Брюссель и хотя следовало бы и с моей стороны сделать то же, но, несмотря на это, я решаюсь описать вам путешествие мое в Веве, во-первых, потому, что я очень благовоспитанный кавалер, а во-вторых, потому, что предметы так интересны, что мне было бы грех не писать о них. Простившись с вами, что, как вы помните, было в исходе 1-го часа, я отправился в Hôtel du faucon[637] обедать. Обедало нас три челове-

ка. Я посереди, с одной стороны почтенный старик-француз с перевязанною рукою, с орденом, а с другой стороны почтенная дама, жена его. Подали нам суп с вермишелями. Когда мы все трое суп откушали, подали нам вот какие блюда: говядину отварную, котлеты бараньи, вареный картофель, шпинат со шпигованной телятиной и рыбу средней величины к белому соусу. Когда я откушал картофель, который я весьма люблю, особливо когда он хорошо сварен, француз, который сидел возле меня, обратившись ко мне, сказал: «Милостивый государь», или нет, я позабыл, он не говорил: «Милостивый государь», он сказал: «Monsieur, je vous servis[638] этою говядиною. Это очень хорошая говядина», на что я сказал: «Да, действительно, это очень хорошая говядина». Потом, когда приняли говядину, я сказал: «Monsieur, позвольте вас попотчевать бараньей котлеткой». На что он сказал с большим удовольствием: «Я возьму котлетку, тем более что, кажется, хорошая котлетка»... Потом приняли и котлетку и поставили вот какие блюда: жаркое цыпленка, потом другое жаркое, баранью ногу, потом

поросенка, потом пирожное, компот с грушами, потом другое пирожное с рисом и яблоками. Как только мне переменили тарелку и я ее вытер салфеткой, француз, сосед мой, попотчевал меня цыпленком, сказавши: «Puis-je vous offrir[639] цыпленка?» На что я сказал: «Je vous demande pardon, monsieur[640]. Я не хочу цыпленка, я очень огорчен, что не могу взять цыпленка. Я лучше возьму кусок бараньей ноги, потому что я баранью ногу предпочитаю цыпленку». На что он сказал, что он точно знал многих людей, которые предпочитали баранью ногу цыпленку. Потом, когда откушали жаркого, француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: «Я вам советую, monsieur, взять этого компота. Это очень хороший компот». «Да, – сказал я, – это точно очень хороший компот. Но я едал (продолжал я) компот, который приготовляли собственные ручки княжны Варвары Николаевны Репниной и которого можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных». На что он сказал: «Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка был тоже глав-

нокомандующий». На что я сказал: «Очень жалею, что не был знаком лично с вашим дедушкою». На что он сказал: «Не стоит благодарностью». Потом приняли блюда и поставили десерт, но я, боясь опоздать к дилижансу, попросил позволения оставить стол; на что француз, сосед мой, отвечал очень учтиво, что он не находит с своей стороны никакого препятствия. Тогда я, взваливши шинель на левую руку, а в правую взявши дорожнюю портвель с белою бумаго<ю> и разною собственноручною дрянью, отправился на почту. Дорога от Фокона до почты вам совершенно известна, и потому я не берусь ее описывать. Притом вы сами знаете, что предметов, которые бы слишком поразили воображение, на ней очень, очень немного. Когда я пришел к дилижансу, то увидел, к крайнему своему изумлению, что внутри кареты все было почти занято, оставалось одно только место в середине. Сидевшие дамы и мужчины были люди очень почтенные, но несколько толстые, и потому я минуту предался размышлению. «Хотя и, – подумал я, – мне здесь не будет холодно, если я усядусь посередине, но

так как я человек субтильный и щедушный, то весьма может быть, что они из меня сделают лепешку, покаместь я доеду до Веве». Это обстоятельство заставило меня взять место наверху кареты. Место мое было так широко и покойно, что нашел приличным положить вместе с собою и мои ноги, за что, к величайшему изумлению, не взяли с меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что мои ноги очень легки. Таким образом, поместившись лежа на карете, я начал рассматривать все бывшие по сторонам виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было такой, которая бы шла вниз, но все вверх. Это меня так изумило, что я уже и перестал смотреть на другие виды; но более всего поразил меня гороховый фрак сидевшего со мною кондуктора. Я так углубился в размышления, отчего одна половина его была темнее, а другая светлее, что и не заметил, как доехал до Веве. Мне так понравилось мое место, что я хотел еще и больше полежать наверху кареты, но кондуктор сказал, что пора сойти. На что я сказал, что я готов с большим удовольствием. «Так пожалуйте мне вашу

ручку!» – сказал он. «Извольте», – отвечал я. С кареты сходил я сначала левою ногою, а потом правою. Но, к величайшему прискорбию вашему (потому что я знаю, что вы любите подробности), не помню, на которую спицу колеса ступал я ногою – на третию или на четвертую. Если хорошо припомнить все обстоятельства, то кажется – на третию, но опять если рассмотреть с другой стороны, то представляется как будто на четвертую. Впрочем, я вам советую немедленно теперь же послать за кондуктором; он, верно, должен знать, и чем скорее, тем лучше, потому что если он выспится, то позабудет. По сошествии с кареты отправился я по набережной встречать пароход. Это путешествие могло бы доставить очень много пользы особенно для молодых людей и, вероятно, развило бы прекрасно их способности, если б не было слишком коротко, ибо оно продолжалось никак не больше одной минуты с половиною. Из пассажиров, бывших на пароходе, не оказалось ни одной физиогномии русской, даже такой, на которой бы выстроен был хотя немецкой город. Выгружались три дамы бог знает какого про-

исхождения, два кельнера и три англиша с такими длинными ногами, что насилу могли выйти из лодки. Вышедши из лодки, они сказали «гопш» и пошли искать table d’hôte[641]. Потом я пошел к себе в комнату, где сначала сидел на одном диване, потом пересел на другой, но нашел, что это все равно, и что ежели два равные дивана, то на них решительно сидеть одинаково. Здесь оканчивается путешествие. Все прочее, что было, все было не замечательно. Как вы хотите, но ответ вы непременно должны написать мне. Если вы затрудняетесь, каким образом писать, то вам могу дать небольшой образец. Вы можете написать в таком духе:

«Милостивый государь, почтеннейший Николай Васильевич! Я имела честь получить почтеннейшее письмо ваше сего октября такого-то числа. Не могу выразить вам, милостивый государь, всех чувств, которые волновали мою душу. Я проливала слезы в сердечном умилении. Где обрели вы великое искусство говорить так понятно душе и сердцу? Стократ, стократ желала бы я иметь искусное перо, подобное вашему, чтобы быть в возмож-

ности изъявить такими же словами признательную и растроганную благодарность». Потом вы можете написать: «покорная ко услугам», или «готовая ко услугам», или что-нибудь подобное... и письмо, я вас уверяю, будет хорошо. Засим позвольте мне пожелать вам всего что ни есть хорошего на свете и остаться вашим наипреданнейшим и наипокорнейшим слугою.

Н. Гоголь.

P. S. Еще одно не в шутку весьма нужное слово. Присоедините вашу просьбу к моей и упросите вашу маменьку приехать сегодня же или завтра в Веве, если не состоится ваша поездка в Женеву. При свидании с вами я был глуп, как швейцарский баран, совершенно позабыл вам сказать о прекрасных видах, которые нужно вам непременно видеть. Вы были и в Монтрё и в Шильоне, но не были близко. Я вам советую непременно сесть в омнибус, в котором очень хорошо сидеть и который отправляется из вашей гостиницы в семь часов утра; вы поспеете сюда к завтраку, и я вас поведу садами, лесами, вокруг нас будут

шуметь ручьи и водопады, с обеих сторон горы, и нигде почти нам не нужно будет подниматься на гору. Мы будем идти прекраснейшею долиною, которая, я знаю, вам очень понравится. Усталости не будете чувствовать. Вы знаете, что меня трудно расшевелить видом; нужно, чтобы он был очень хорош. Здесь пообедаете, если вам будет угодно, в 1 час или можете отправиться к обеду в Лозанну; во всяком случае, если вам не противно будет, я опять провожу вас до Лозанны.

Гоголь – Балабиной М. П., апрель 1838

Апрель 1838 г. Рим [642]

Рим, м-ц апрель, год 2588-й
от основания города.

Я получил сегодня ваше милое письмо, писанное вами от 29 генваря по медвежьему стилю, от 10 февраля по здешнему счету[643]. Оно так искренно, так показалось мне полно чувства и в нем так отразилась душа ваша, что я решился идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как

святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся), я решился помолиться там за вас. Хотя вашу ясную душу слышит и без меня бог и хотя не много толку в моей грешной молитве, но все-таки я молился. Я исполнил этим движение души моей; я просил, чтобы послали вам высшие силы прекрасные небеса, солнце и ту живую, юную природу, которая достойна окружать вас. Вы похожи теперь на картину, в которой художник великий употребил все свои силы на то, чтобы создать прекрасную фигуру, которую он поместил на первом плане, потом ему надоело заняться прочим, второй план он напачкал как ни попало или, лучше, дал напачкать другим. Оттого вышло, что позади вас находится Петербург и чухонская природа. Я слышу отсюда все ваши чувства, и, зная вас хорошо, я знал, что вы должны быть полны Римом, что он живет еще святее в ваших

мыслях теперь, чем прежде. В самом деле, есть что-то удивительное в нем. Когда я жил в Швейцарии, где, по причине холеры, я остался гораздо <долее>, нежели сколько думал, я не мог дождаться часа, минуты ехать в Рим; и когда я получил в Женеве вексель[644], который доставил мне возможность ехать туда, я так обрадовался этим деньгам, что если бы в это время нашелся свидетель моей радости, то он бы принял меня за ужасного скрягу и сребролюбца. И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет. Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы – эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе. Тот же чистый воздух, та же ясная даль.

Тот же вечный купол, так величественно круглящийся в воздухе. Нужно вам знать, что я приехал совершенно один, что в Риме я не нашел никого из моих знакомых. Ваша сестрица оставалась еще во Флоренции. Но я был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тот же час отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру[645] и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более молчаливы, дичились и считали меня за форестьера[646]. Кстати о форестьерах. Всю зиму, прекрасную, удивительную зиму, лучше во сто раз петербургского лета, всю эту зиму я, к величайшему счастию, не видал форестьеров; но теперь их наехала вдруг куча к

Пасхе, и между ними целая ватага русских. Что за несносный народ! Приехал и сердится, что в Риме нечистые улицы, нет никаких совершенно развлечений, много монахов, и повторяет вытверженные еще в прошлом столетии из календарей и старых альманахов фразы, что италианцы подлецы, обманщики и проч. и проч., а как несет от них казармами – так просто мочи нет. Впрочем, они наказаны за глупость своей души уже тем, что не в силах наслаждаться, влюбляться чувствами и мыслию в прекрасное и высокое, не в силах узнать Италию. Есть еще класс людей, которые за фразами не лезут в карман и говорят: «Как это величиво, как хорошо!» Словом, превращаются очень легко в восклицательный знак! и выдают себя за людей с душою. Их не терпит тоже моя душа, и я скорее готов простить, кто надевает на себя маску набожности, лицемерия, услужливости для достижения какой-нибудь своей цели, нежели кто надевает на себя маску вдохновения и поддельных поэтических чувств. Знаете, что я вам скажу теперь о римском народе? Я теперь занят желанием узнать его во глубине, весь его

характер, слежу его во всем, читаю все народные произведения, где только он отразился, и скажу, что, может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый меркантильный европейский ум не набросил своей узды. Как показались мне гадки немцы после италианцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом! Но об этом я вам, кажется, уже писал. Я думаю, уже вы сами слышали очень многие черты остроумия римского народа, того остроумия, которым иногда славились древние римляне, а еще более – аттический вкус греков. Ни одного происшествия здесь не случится без того, чтоб не вышла какая-нибудь острота и эпиграмма в народе. Во время торжества и праздника по случаю избрания кардиналов, когда город был иллюминован три дни, да, кстати здесь сказать, что наш приятель Меццофанти сделан тоже кардиналом и ходит в красных чулочках, во время этого праздника было почти все дурное время. В первые же дни карнава-

ла – дни были совершенно италианские, те светлые, без малейшего облачка дни, которые вам так знакомы, когда на голубом поле неба сверкают стены домов, все в солнце, и таким блеском, какого не вынесет северный глаз, – в народе вышел вдруг экспромт: «Il dio vuol carnaevale e non vuol cardinale»[647]. Это напоминает мне экспромт по случаю запрещения папою карнавала в прошлом году. Вы знаете, что нынешнего папу[648], по причине его большого носа, зовут пулчинеллой[649]; вот экспромт:

Oh questa si ch'è bella!
Proibisce il carnavale pulcinella![650]

Знакомы ли были вы с транстеверянами, то есть жителями по ту сторону Тибра, которые так горды своим чистым римским происхождением. Они одни себя считают настоящими римлянами. Никогда еще транстеверянин не женился на иностранке (а иностранкой называется всякая, кто только не в городе их), и никогда транстеверянка не выходила замуж за иностранца. Случалось ли вам слы-

шать язык их и читали ли вы знаменитую их поэму «Il meo patacca»[651], для которой рисунки делал Pinelli? Но вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь вместе с докучливой и несносной вашей головной болью. Они писаны in Lingua romanesca[652], они не напечатаны, но я вам их после пришлю. Кстати, мы начали говорить о литературе. Нам известна только одна эпическая литература италианцев, то есть литература умершего времени, литература XV, XVI веков. Но нужно знать, что в прошедшем XVIII и даже в конце семнадцат<ого> века у италианцев обнаружилась сильная наклонность к сатире, веселости. И если хотите изучить дух нынешних италианцев, то нужно их изучать в их поэмах герои-комических. Вообразите, что собрание Autori burleschi italiani[

653] состоит из 40 толстых томов. Во многих из них блещет такой юмор, такой оригинальный юмор, что дивишься, почему никто не говорит о них. Впрочем, нужно сказать и то, что одни италианские типографии могут печатать их. Во многих из них есть несколько нескромных выражений, которые не всякому можно позволить читать. Я вам расскажу теперь об этом празднике, который не знаю, знаете ли вы или нет. Это – торжество по случаю построения Рима, юбилей рождения, или именины, этого чудного старца, видевшего в стенах своих Ромула. Этот праздник или, лучше сказать, собрание академическое было очень просто, в нем не было ничего особенного; но самый предмет был так велик и душа так была настроена к могучим впечатлениям, что все казалось в нем священным, и стихи, которые читались на нем небольшим числом римских писателей, больше вашими друзьями аббатами, все без изъятия казались прекрасными и величественными и, как будто по звуку трубы, воздвигали в памяти моей древние стены, храмы, колонны и возносили все это под самую вершину небес. Прекрасно,

прекрасно все это было, но так ли оно прекрасно, как теперь? Мне кажется, теперь... по крайней мере, если бы мне предложили – натурально не какой-нибудь государь император или король, а кто-нибудь посильнее их – что бы я предпочел видеть перед собою – древний Рим в грозном и блестящем величии или Рим нынешний в его теперешних развалинах, я бы предпочел Рим нынешний. Нет, он никогда не был так прекрасен. Он прекрасен уже тем, что ему 2588-й год[654], что на одной половине его дышит век языческий, на другой христианский, и тот и другой – огромнейшие две мысли в мире. Но вы знаете, почему он прекрасен. Где вы встретите эту божественную, эту райскую пустыню посреди города? Какая весна! Боже, какая весна! Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющом и дикими цветами. Как хороши теперь синие клочки неба промеж дерев, едва покрывшихся свежей, почти желтой зеленью, и даже темные, как воронье крыло, кипарисы, а еще далее – голубые, матовые, как бирюза, горы Фраскати, и Албанские, и Тиволи. Что за воз-

дух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Удивительная весна! Гляжу не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны. Но я чуть было не позабыл, что пора уже мне отвечать на сделанные вами вопросы и поручения. Первый – поклониться первому аббату, которого я встречу на улице, – я исполнил, и вообразите, какая история! Но вам нужно ее рассказать. Выхожу я из дому (Strada Felice, № 126); иду я дорогою к Monte Pincio[655] и у церкви Trinità[656] готов спуститься лестницею вниз – вижу, поднимается на лестницу аббат. Я, припомнивши ваше поручение, снял шляпу и сделал ему очень вежливый поклон. Аббат, как казалось,

был тронут моею вежливостью и поклонился еще вежливее. Его черты мне показались приятными и исполненны<ми> чего-то благородного, так что я невольно остановился и посмотрел на него. Смотрю – аббат подходит ко мне и спрашивает меня очень учтиво, не имеет ли он меня чести знать и что он имеет несчастную память позабывать. Тут я не утерпел, чтоб не засмеяться, и рассказал ему, что одна особа, проведшая лучшие дни своей жизни в Риме, так привержена к нему в мыслях, что просила меня поклониться всему тому, что более всего говорит о Риме, и, между прочим, первому аббату, который мне попадется, не разбирая, каков бы он ни был, лишь бы только был в чулочках, очень хорошо натянутых на ноги, и что я рад, что этот поклон достался ему. Мы оба посмеялись и сказали в одно время, что наше знакомство началось так странно, что стоит его продолжать. Я спросил его имя, и – вообразите – он поэт, пишет очень недурные стихи, очень умен, и мы с ним теперь подружили. Итак, позвольте мне поблагодарить вас за это приятное знакомство. С аббатом Lanci я не имел чести

встретиться, а то бы, верно, и ему отдал поклон. На вопрос ваш: здорова ли Мейерова блуза пыльного цвета? – имею честь ответствовать, что здорова. Я ее еще недавно видел верхом на своем господине, а господин был верхом на лошади, и таким образом пронеслись все трое вихрем по Monte Pincio. Соломенная шляпа, вероятно, тоже здорова. На вопрос же ваш: боготворит ли он статуи? – имею честь доложить, что он, кажется, предпочитает им живые творения; по крайней мере, он побольше попадается с дам<ам>и в шляпках и лентах, нежели с статуями, у которых нет ни шляпок, ни лент, а одна только запыленная драпировка, накинутая как ни попало. Впрочем, Мейер теперь в моде, и княжна Варвара Николаевна[657], которая подтрунивала над ним, первая говорит теперь, что Мейер совершенно не тот, как узнать его покороче, что в нем очень много хорошего. Кустод[658] Колисея тоже здоров и англичан целыми вязанками тащит на лестницы Колисея. Каждую ночь почти иллюминация. О свинках вам ничего не могу сказать, потому что до сих пор еще не видал ни одной, но коз-

лов множество. Кажется, все римские деревни решились просветить их и отправили страшные толпы. Народ очень умный, но лежат совершенно без всякого дела, и сомневаюсь, чтобы они могли что-нибудь рассказать, пришедши домой, о римских памятниках, а тем более о живописи. Вы спрашиваете еще, правда ли, что Каневский едет в Петербург. Это очень может случиться, и нет ничего удивительного; страннее, если бы он остался в Италии: для этого нужно иметь душу художника. Каневский может нарисовать хорошо портрет Кривцова, но до художника ему далеко, как до небесной звезды. У аглицких скульпторов побываю непременно и очень вам благодарен за это поручение: без вас бы мне это не пришло в голову. Трагедию Николини «Антонио Фоскарини» купил и завтра принимаюсь читать. Что касается до madamigelle Conti[659], о которой вы интересуетесь, то она не ходит в церковь Петра, ибо madama Conti, узнавши, что она много глядит на форестьеров, схватила ее в охапку и увезла в деревню Сабины, в 12 или около милях от Рима. Вот вам и все. Кажется, ничего не пропустил.

Жаль мне, и я зол донельзя на головную боль, которая продолжает вас мучить. Нет, вам нужно подальше из Петербурга. Этот климат живет заодно с этой болезнию; оба они мошенничают вместе. Пишите ко мне обо всем, что у вас ни есть на душе и на мыслях. Помните, что я ваш старый друг и что я молюсь за вас здесь, где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно что молитва на рынке. Будьте здоровы. О здоровье только вашем молюсь я. Что же до души вашей и сердца, я не молюсь о них – я знаю, что они не переменятся и останутся вечно такими же прекрасными.

Очень жалею, что я не получил ваших писем, писанных вами в Веве. Получили ли вы два письма мои, одно к вашей маменьке, другое к вам, которое я послал чрез Кривцова? Кланяйтесь всем: Петру Ивановичу, Варваре Осиповне, братцам.

Гоголь – Балабиной М. П., 26 октября (7 ноября) 1838

26 *октября (7 ноября) 1838 г. Рим* [660]

Рим. 7 ноября, 1838.

Ваше письмо, Марья Петровна, получено мною очень исправно чрез m-r Паве[661]. Я вам за него очень много благодарен. Вы мне живо напомнили все: и ваш Петербург, и мой Рим, то есть мои первые впечатления и ваши первые впечатления – помните, во время первых дней наших в Риме[662], когда с Нибием в руках[663] и проч. и проч. ... То время уже далеко, уже другие впечатления объемлют мою душу, уже весьма часто прохожу я мимо тех памятников и седых, дряхлых чудес, перед которыми зевал по нескольку безмолвных часов. Уже не с готовым удивлением новичка и чужестранца ищу их... Но до сих пор, как прекрасное сновидение, посещает меня иногда воспоминание обо всем этом, и я тогда жажду повторить этот сон: спешу увидеть вновь, что видел прежде, и на минуту становлюсь опять новичком. Опять мои чувства живы. Вы их разбудили вашим письмом, вы их приятно разбудили. Я люблю очень читать ваши письма. Хотя в них падежи бывают иногда большие либералы и иногда не слушаются вашей законной власти, но ваша мысль

всегда ясна и иногда так выражена счастливо, что я завидую вам. Уже два места, два целых периода я украл из них, – какие именно, я вам не скажу, потому что намерен совершенно завладеть ими... Потому еще люблю ваши письма, что в них мало того, что бывает обыкновенно в петербургских письмах. Но обратимся к первому пункту вашего письма. Вы мне показались теперь очень привязанными к Германии. Конечно, не спорю, иногда находит минута, когда хотелось бы из среды табачного дыма и немецкой кухни улететь на луну, сидя на фантастическом плаще немецкого студента, как, кажется, выразились вы. Но я сомневаюсь, та ли теперь эта Германия, какою ее мы представляем себе. Не кажется ли она нам такою только в сказках Гофмана? Я, по крайней мере, в ней ничего не видел, кроме скучных табльдотов и вечных, на одно и то же лицо состряпанных кельнеров и бесконечных толков о том, из каких блюд был обед и в котором городе лучше едят; и та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле, так, как исче-

зает прелестный голубой колорит дали, когда мы приблизимся к ней близко. Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь; но к этой земле не всякие знают дорогу. Вы, кажется, теперь стараетесь отыскивать эту дорогу. Ах, Марья Петровна! что это вы делаете? Я не узнаю вас. Не вы ли еще так недавно отвергали все то, что иногда неугомонно бродит в нашем воображении и увлекает его далеко, далеко? Не вы ли готовились доказать – и доказать формально, на бумаге, ясно – что первое занятие человека на земле есть свинки? Или эти свинки не так толсты, огромны и жирны в Петербурге, как вы думали? Но мне кажется, этих животных в Петербурге весьма (увы!) достаточно. Там же есть чухонцы, которые особенно славятся смотрением за ними. Но я чувствую, я знаю, это сильная и верная истина. Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и любимую прекрасную мечту, когда они существуют в голове нашей; трудно вдруг и совершенно обратиться к настоящей прозе; но труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе – жить вдруг и в том и другом мире. Знае-

те ли, сказать ли вам откровенно: я ваш старый друг, я об вас забочусь, мысли мои поминутно ворочаются около вас. Вы мне други по всему; наша дружба очень, очень древняя. Мне стало очень грустно, когда я читал письмо ваше. Я мыслил: будет ли счастлива моя приятельница Марья Петровна? и когда я представил себе этот холодный, прозаический, мелкий чувствами и характерами мир, который окружает Марью Петровну, облако сомнения отуманило мне очи. Клянусь, мне было грустно. Но я вспомнил, что у Марьи Петровны есть черты римского характера, есть что-то твердое и сильное, есть наша воля и решительность на великие вещи. И во мне вдруг поселилась уверенность... насчет вас я стал покойнее. Я рад очень, что Петербург для вас становится сносен; по крайней мере, вы находите теперь развлечения, которые вас занимают. Ваше описание железной дороги и поездки по ней очень живо; стало быть, вам было весело; стало быть, вы были довольны, и, признаюсь, сказать вам нужно втайне и по секрету, я крепко завидовал вам. Все-таки сердце у меня русское. Хотя при виде, то есть

при мысли о Петербурге, мороз проходит по моей коже и кожа моя проникается насквозь страшною сыростью и туманною атмосферою, но хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге и услышать это смешение слов и речей нашего вавилонского народонаселения в вагонах. Здесь много можно узнать того, что не узнаешь обыкновенным порядком. Здесь бы, может быть, я бы рассердился вновь – и очень сильно – на мою любезную Россию, к которой гневное расположение мое начинает уже ослабевать, а без гнева – вы знаете – не много можно сказать: только рассердившись, говорится правда. Когда я был в школе и был юношей, я был очень самолюбив (не в том смысле самолюбив); мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши все о себе. Но в сторону все прочее: поговорим о нашем лю-

безном Риме. Вы его не позабыли; вы интересуетесь о нем до сих пор. Вы читаете теперь историю Мишле. Это страшный вздор; это совершенно русский Полевой[664]. Но, к счастью, вы не читали Полевого. Мишле, как попугай, повторяет Нибура; обокрал оттуда и оттуда, у того и у другого, умничает некстати, рассуждает бог знает как и модный педант, как все французы.

Вы спрашиваете насчет новооткрытых мозаик в катакомбах, чудесных, как говорят газеты, однако же, вовсе нет. Отыскали мозаик, и очень много, но все очень повреждены; даже не знают до сих пор, к какому времени отнести. Антикварии разделились на две партии; одни относят ко временам христианства, другие – к языческим. Но найдена у Porta Maggiore[665] гробница булочника, которую (как объявляет сам булочник в надписи, им же сделанной) он воздвиг себе и своей жене. Монумент очень велик (булочник был очень тщеславен). На нем барельеф; на барельефе изображено печение хлеба, где супруга его месит тесто. Прошлый год... но, может быть, вы слышали об этом?.. нашелся один спекуля-

тор, который взялся рыть, с тем чтобы найденными вещами делиться пополам с правительством, а остальные ему продавать. Он вырыл несколько гробниц, множество золотых и бронзовых вещей; в числе их статуи четыре, скульптуры первого и лучшего вкуса. Они разделились. Нашедший взял на свою долю мало, но самых отличных. Правительство взяло много, но достоинством хуже. Остальные правительство оценило и готовилось заплатить 5000 скуди; но когда пришло дело до платежа, сколько ни рылось оно по своим старым карманам, ничего не могло найти, кроме нескольких меццо-паолов, говорят, очень истертых, и нашедший продал почти все в Англию, а лучшую из статуй купил король баварский за несколько сот тысяч и перевез в Мюнхен.

Но довольно о старине. В Риме завелось очень много новостей. Здесь происходят совершенные романы и совершенно во вкусе средних веков Италии. Первый роман... но героини его вам известны. Это ваши приятельницы, девицы Конти, которые, как вам известно, очень плотны и толсты и потому не

любят ходить совершенно alla moda[666] и которые всегда жаловались на самодержавие своей матушки, не пускавшей их всякий день в церковь св. Петра, когда очень много форестьеров. Итак, девицы Конти влюбились страшным образом в двух жандармов; но так как, по причине того же самого самодержавного правления своей матушки, они не могли видеть часто своих любовников, то (средство, как вы увидите, очень оригинальное) они решились задавать матушке каждый день в известное время добрый прием опиума и в продолжение того времени, как матушка спала, впускали к себе своих жандармов. Один раз матушка еще не успела совершенно вздремнуть, одна из этих героинь – которая именно, не помню, – сгорая нетерпением видеть своего жандарма, полезла к ней под подушку доставать ключи. Мать проснулась и с этих пор усилила присмотр, а дочки решились усилить прием опиума. Старуха никак не могла понять, отчего у ней кружится голова. Приемы опиума, видно, были довольно велики. Она давно уже подозревала, что дочери что-то с ней делают, и решилась один раз прики-

нуться спящею. Дочери вели преспокойно в своей комнате беседу с своими любовниками, как вдруг стучат в дверь и голос матери приказывает им отворить. Дочери спрятали их, как могли, но по расстроенному и испуганному их виду мать догадалась, что в комнате что-нибудь есть, начала искать, искать и вытащила из шкапа обоих жандармов. Выгнавши жандармов, мать заперла дочерей. Но дочери скоро нашли случай уйти и убежали в монастырь. Оттуда они написали письмо к одному монсеньору, их опекуну, жалуясь на деспотизм своей матери и требуя, чтоб их выдали замуж за жандармов. Монсеньор изъявил свое разрешение, и теперь обе Конти – супруги; живут и питаются решительно одною любовью, потому что у жандармов нет ни копейки, а мать, с своей стороны, не хочет дать ни меццо-байока. Другой роман. Один из фамилии Дориев влюбился до безумия в одну девушку-сироту, хорошей, впрочем, фамилии, а главное – прекрасную собою. Все дело было между ними улажено, и через неделю свадьба, как вдруг Дорий получает известия, заставляющие его ехать в Геную. Он просит

свою невесту переехать на время в монастырь, потому что он не желал бы ее видеть до тех пор в свете. Уезжает в Геную; оттуда пишет письмо довольно страстное; жалуется на обстоятельства, которые заставляют его пробыть немного долее; описывает ей великолепие своего генуэзского дворца и приуготовления, которые он делает к принятию ее. Из Генуи Дорий поехал в Париж и оттуда написал письмо менее страстное и, наконец, уведомил ее, что свадьба не может между ними состояться, что она должна позабыть его, что дядя его не соглашается на этот союз. Бедная невеста не сказала ни слова на это, никаких укоризн, но через пять дней умерла. Тело ее было выставлено в одной из римских церквей. Она и мертвая была прекрасна. Третий роман тоже с Дорием, другим. Но не хочу более сплетничать. Вы знаете о нем, без сомнения, из газет, потому что он был публикован. В Риме шумно более, нежели сколько бы желалось. Форестьеров гибель. Русских, англичей, французов – хоть метлой мети. Это скучно. Вы знаете сами, что это скучно. Рим мне кажется теперь похожим на дом, в котором

мы провели когда-то лучшее время нашей жизни и в который теперь приезжаем и находим, что дом продан; из окон выглядывают какие-то глупые лица новых хозяев... словом, грустно. Пишите ко мне, не забывайте вашего обещания. Пишите ко мне не тогда, когда вам будет весело, но тогда, когда вам сделается скучно или, лучше, когда душа ваша пожелает с кем-нибудь разделить, когда вы почувствуете потребность передать именно кому-нибудь мысли. Будь они самые сокровенные, пишите их смело: я их сохраню, как секрет. Еще одна просьба к вам, и я вас попрошу, чтобы <вы> попросили от меня тоже вашу маменьку: будьте так добры, навестите когда-нибудь моих сестер в Патриотическом институте. Вы этим сделаете им большое благодеяние. Может быть, они украдут что-нибудь из ваших прекрасных качеств; а это может доставить им много радости в жизни. Мне часто становится грустно при мысли, что у них никого нет из родных близко. Если ж вам не будет времени и вы будете заняты, то отправьте им это письмо, которое я при сем прилагаю[667].

Гоголь – Балабиной М. П., 18(30) мая 1839

18 *(30) мая 1839 г. Рим* [668]

Май 30, 1839. Рим.

Я получил ваше письмо[669] и, распечатавши, долго не верил. Ваше ли это письмо, вы ли пишете ко мне? Как вы переменились! Уже год, как я не получал от вас писем, и вы в этот один год так выросли и образовались чувствами, мыслями и душой. Какая зрелость и быстрый ход! Даже почерк письма вашего изменился, даже русский язык и падежи вас слушаются. Я вижу теперь, это справедливо, что девушка на 18-м году в один год проходит тот курс, который нашему брату едва дается в несколько лет. Вы писали ваше письмо, как сами говорите, под влиянием записок Александрова, или Дуровой, которые вы в то время читали[670]. Ваши суждения об этой книге и оригинальны, и вместе тонки и верны. Ваши мысли те же, какие я знал в вас и встречал прежде. То же в них своеобразное выражение вашего характера, и я бы угадал их, зная хорошо вас, еще прежде, чем вы бы их

сказали. Но они получили здесь такую зрелую оболочку, такую точность, так выразились ясно, отчетливо, что я вижу – это и вы и не вы вместе. Если бы ваше письмо пришло несколькими месяцами раньше, я бы с готовностию и живою, многоречивою охотою пустился бы соглашаться с вами, и поперечить вам, и судить, и спорить обо всех тех предметах, о которых вы пишете; но чувствую, что теперь буду и туп, и вял, и глуп. Мысли не лезут вовсе из моей головы; другие, совершенно непризванные, являются на место призываемых. Увы! я пишу к вам тоже под влиянием книги, которую теперь читаю, но другой и как противоположной вашей! Печальны и грустно-красноречивы ее страницы. Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Вьельгорского[671]. Вы, без сомнения, о нем слышали, может быть, даже видели его иногда; но вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенного основательностью ума его; и все это – добыча неумолимой смер-

ти; и не спасут его ни молодые лета, ни права на жизнь, без сомнения, прекрасную и полезную! Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне. Итак, не вините меня, если я глуп и не умею к вам написать письмо так же умно, как вы написали его ко мне. Бедный мой Иосиф! один единственно прекрасный и возвышенно-благородный из ваших петербургских молодых людей, и тот!.. Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться – и тот же час смерть! безжалостная, неумолимая смерть! Я ни во что теперь не верю, и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы. «Оно на короткий миг», – шепчет глухо внятный мне голос. «Оно дается для того, чтобы существовала по нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа».

Кстати о прекрасном. Когда я думал об вас

(я об вас часто думаю и особенно о вашей будущей судьбе), я думал: «Кому-то вы достанетесь? Постигнет ли он вас и доставит ли вам счастие, которого вы так достойны?» Я перебирал всех молодых людей наших в Петербурге: тот просто глуп, другой получил как-то несчастную крупицу ума и зато уже хочет высказать ее всему свету; тот ни глуп, ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд, – и этот человек готовится не существовать более в мире... Вы извините, что я пустился быть вашей свахой, что называется иначе кума. Мое мысленное сватовство, как вы видите, неудачно... Я вам все говорю, я не хитрю с вами, не таю от вас моих мыслей. Делайте и вы так со мною. Зачем вы ни слова не написали мне о вашем здоровье, о его подробном, то есть, состоянии? Я бы вам дал совет очень не хуже докторского. Знайте же: ваша болезнь излечима совершенно, и со мною согласны все те, которым я давал идею о вашей болезни. Вы должны лечиться холодною водою в Грефенберге. Слышали ли вы о чудесах, производимых там медиком, воспитанным од-

ною натурою, без помощи медицинских академий и проч. и проч.? Я один из числа самых неверующих, как вы сами знаете, и всегда сомнительно качал головою, когда слышал, как вы внимали вздорам Фишера или глотали ваши гомеопатические порошки и аллопатические гадости в виде микстур... Но, клянусь, я сам, своими глазами видел такие чудеса... Нет, я умоляю вашу маменьку всеми силами небесными – испытать это средство. Холодной водой лечат все болезни, кроме грудных, но более всего лечат болезни вашего рода. В вашей болезни самое главное – нужно произвести испарину. Холодная вода в руках этого медика производит такую испарину, о которой нельзя иметь понятия. Если ваша болезнь просто только головной ревматизм, то ревматизмы целятся удивительно. Словом, послушайте слова истины и поезжайте. Кстати о здоровье и болезнях, если о них уже мы заговорили. Говорят, для больного нет большего наслаждения, как встретиться тоже с больным и наговориться с ним досыта о своих болезнях. Они говорят об этом с таким наслаждением, с каким говорят только обжоры

о съеденных ими блюдах. Итак, вследствие этого скажу вам о своем тоже здоровье. Здоровье мое non vale un fico[672], как говорят итальянцы, – хуже нынешней русской литературы, о которой вы мне доставили в вашем письме известия. Летом еду в Мариенбад на один месяц. Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю. Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем... Но я позабыл, что вы ее так любите, и чуть было не сказал еще несколько приличных ей эпитетов. Впрочем, совершенно не понимаю вашей страсти. Или, может быть, для этого нужно жить в Петербурге, чтобы почувствовать, что Германия хороша? И как вам не совестно! Вы, которые так восхищались в вашем письме Шекспиром, этим глубоким, ясным, отражающим в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и все, что составляет человека, и вы, читая его, можете в то же время думать о немецкой дымной путанице! И можно ли сказать, что всякий немец есть Шиллер?! Я согласен, что он Шиллер, но толь-

ко тот Шиллер, о котором вы можете узнать, если будете когда-нибудь иметь терпение прочесть мою повесть «Невский проспект»[673]. По мне, Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива. Извините маленькую неопрятность этого выражения. Что ж делать, если предмет сам неопрятен, несмотря на то что немцы издавна славятся опрятностью? Но вы, я думаю, на меня сердитесь за это ужасным образом и, может быть, даже имеете маленькое желание поджарить меня за это на медленном огне. Но полно! больше не буду вас сердить. Вы меня очень заинтересовали новым романом, который вы читали и который вам понравился. Я верю, что он должен быть очень хорош, ибо все ваши суждения в этом вашем последнем письме так основательны, что я никак не смею им не верить (отсюда исключается слов несколько о немцах). Я говорю о романе Миклашевичевой, о котором вы пишете[674]. <Он> точно редкость у нас на Руси. Порядочный роман!.. что-то очень... У меня на языке вертелось вставить здесь одно слово, которое чрезвы-

чайно просилось на язык, но лучше повоздержаться. Не все то можно, что хочется, особливо в письме; ибо есть очень много таких почтенных людей, которые чрезвычайно любят (может быть, даже из любви к просвещению) читать чужие письма и доставлять таким образом невинное утешение добродушной душе своей, а иногда выводить даже из этого невинные сплетни. В вашем письме, между прочим, еще теплятся следы восторга, чувствованного вами при представлении «Гамлета». Вы им полны. Впечатления ваши живы и сильны. Так они и должны быть. Вы его смотрели в первый раз, и актер, исполнявший роль его, должен был вам нравиться безусловно, совершенно. Таков закон, которому подвергается живая, исполненная чувства душа. Потом вы будете тоже восхищаться, но будете более находить больших промахов в актере. Каратыгин есть один из тех актеров, который вдруг и с первого раза влечет к себе, схватывает вас в охапку насильно и уносит с собой, так что вы не имеете даже времени очнуться и прийти в себя. Есть роли совершенно в его роде. Но большая часть ролей, создан-

ных Шекспиром, и в том числе Гамлет, требуют тех добродетелей, которых недостает в Каратыгине. Вы можете это увидать только после, по долгом соображении и долгом изучении характеров, созданных Шекспиром, и потому я не хочу говорить вам об этом. Лучше, если вы дойдете к этому сами. Вы спрашиваете меня о новостях, что происходит нового среди вечных древностей? Все прекрасно, чудесно, больше ничего не могу сказать. Цветут розы, темнеют кипарисы, ослепительно сияет синий небесный свод, убраны по-праздничному все развалины и ваш друг Колизей. Но вы все это знаете и без моих слов. Картина Бруни, о которой вы интересуетесь знать, кажется, стоит на том же, на чем стояла[675]. Век художника оканчивается, когда он оставляет раз Италию, и, дохнувши тлетворным дыханием севера, он, как цветок юга, никнет голову. Бруни как будто бы прихватил петербургский мороз; по крайней мере, кисть его скользит лениво и не работает. Об аббате Ланчи не имею никаких сведений.

Вы пишете и спрашиваете, когда я буду к вам. Это задача для меня самого, которую,

признаюсь, я не принимался даже еще разрешать. Притом же вы подали совет моему двоюродному брату[676] такой, который и мне может пригодиться. Прощайте, будьте здоровы. Не оставьте совершенно без внимания поданный мною вам совет насчет здоровья вашего – я имею хорошее предчувствие – и не сердитесь за глупость письма моего. Право, если бы вы знали положение души моей. О! вы бы извинили меня. Прощайте. Напишите скорее ваш ответ и адресуйте его в Мариенбад, poste restante.

Гоголь – Балабиной М. П., 24 августа (5 сентября) 1839

24 *августа (5 сентября) 1839 г. Вена* [677]

Вена. Сентябр. 5.

Нет, больше не буду говорить ни слова о немцах. Боюсь, право, боюсь. Может быть, вы в эти три года, как я не имел удовольствия вас видеть, переменились совершенно. Ведь как бы то ни было, вам теперь 18 лет. Я ничего не знаю, что могло случиться с вами в это время. Может быть, вы сделались теперь высокого росту, у вас явилась страшная сила в

руках. Я же человек щедушный, худенький и после разных минеральных вод сделался очень похожим на мумию или на старого немецкого профессора с спущенным чулком на ножке, высохшей, как зубочистка. Долго ли в таком случае до греха. Вы мне дадите кулака – и я пропал. Вы в себе точно имеете много страшного. Я помню, когда еще вам было 14 и 15 лет, у <вас> любимою поговоркою было: «Я вас выброшу за окно». И потому, следуя правилам благоразумия, лучше поберечься и ни слова не говорить о немцах. Но знаете ли что? В сторону пустяки и шутки. Когда я прочел ваше письмо и свернул его, я поникнул головою, и сердцем моим овладело меланхолическое чувство. Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность, и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести <нрзб.> молодых сил и порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком. Это были лета поэзии, в это время я любил немцев, не зная их, или, может быть, я смешивал немецкую ученость, немецкую философию и литературу с немцами. Как бы то

ни было, но немецкая поэзия далеко уносила меня тогда вдаль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности. И я гораздо презрительней глядел тогда на все обыкновенное и повседневное. Доныне я люблю тех немцев, которых создало тогда воображение мое. Но оставим это. Я не люблю, мне тяжело будить ржавеющие струны во глубине моего сердца. Скажу вам только, что тяжело очутиться стариком в лета еще принадлежащие юности. Ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бессил<ие> восторга. Соберите в кучу всех несчастливцев, выберите между ними несчастнее всех, и этот несчастливец будет счастливцем в сравнении с тем, кому обрекла судьба подобное состояние. Из вашего письма (которое расшевелило во мне кое-что старого, за что вас благодарю) видно, что вы приняли то, что я сказал, в частности, о юге и севере, за решительное положение, что поэзия только на юге. Нет, на севере, может быть, еще более и чаще загоралась она. И для того, чьи силы молоды и душа чувствует свежесть, для того север – разгул. Но вы простите прежние слова

тому несчастному, чья душа, лишившись всего, что возвышает ее (ужасная утрата!), сохранила одну только печальную способность чувствовать это свое состояние. И вообразите теперь этого несчастливца, скитающегося под северным небом в виду деятельности и всего, что тревожит душу и влечет ее на то, чтобы творить. Можете ли вы понять те ужасные упреки, те терзания адские, невыносимые, которые он слышит в себе. Теперь, вообразите, над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие бога и бросило его (за что – право, не понимаю, ничего достойного не делал он), бросило в страну, в рай, где не мучат его невыносимые душевные упреки, где душу его обняло спокойствие, чистое, как то небо, которое теперь окружает и о котором ему снились сны на севере во время поэтических грез, где в замену того бурного, силящегося ежеминутно вырываться из груди фонтана поэзии, который он носил в себе на севере и который иссох, он увидел поэзию не в себе, а вокруг себя <нрзб.>, в небесах, солнце, в прозрачном воздухе и во всем тихую, несущую забвение мукам. Теперь мне нет ничего в све-

те выше природы. Передо мной исчезли люди, города, нации, отношения и все, что <ло>мает людей, волнует и томит. Ее одну я вижу и живу ей. Вот почему я пристрастен к ней: она мое последнее богатство. Кто испытал глубокие душевные утраты, тот поймет меня. Вы не тогда увидели Италию, когда нужно. Не во время юности и свежести сил ее нужно увидеть, нет! Но тогда, когда много, много отнимет у вас неумолимая судьба. Но письмо мое приняло слишком сурьезную физиогномию. Прочитавши, изорвите его в куски, я об этом вас прошу. Этого никто не должен читать, да оно, впрочем, никому не нужно. Я не знаю сам, почему я написал это, но ваше письмо возбудило... – Я знаю вас в этом отношении (не примите опять слова: я знаю вас в обширном значении, так, как вы приняли в вашем письме). Я никогда не буду так самонадеян и хвастлив, чтобы сказать: я знаю вас. Нужно быть слишком глубокому испытателю души и сердца и всех его движений, чтобы знать человека. Но и тот не скажет: я знаю его совершенно. Я могу знать две-три прекрасные стороны вашего сердца, а тысячи

других, из которых многие тайны для вас самих, могут мне быть неизвестны. Но мое маранье, я думаю, вам надоело, я же так скверно пишу. Пора кончить. Будьте так добры и отправьте это письмо в институт моим сестрам[678]. Вы написали в конце вашего письма, не знаю почему: до свидания. Может быть, в самом деле мне придется побывать в Петербурге (тягостная даже мысль), во всяком случае, я пробуду не более недели там[679]. О, тяжелая обязанность. И хотя меня утешает то, что я увижу вас и четырех-пяти близких моему сердцу. Но... бог видит, какую я великую жертву приношу. Прощайте. Будьте здоровы. Не забывайте вашего истинного друга. Душевный поклон мой вашей маменьке и всем вашим родным.

Н. Гоголь.

Балабина М. П. – Гоголю, 15 октября 1841

15 *октября 1841 г. Петербург* [680]

Петербург. 15 октября. 1841.

Я не знаю, о чем мы можем вместе разговаривать: говорить о пустяках – глупо; говорить

о литературе, о картинке Бруни[681] – скучно для меня; говорить о том, что делается в душе моей – с вами не могу. Она носит в себе такие чувства, которые, если я б попробовала растолковать их вам, приехали к вам под формою дыма, то есть вы нашли бы слова мои совершенно пусты, потому что эти чувства так тонки, что не могут быть написаны. Потом, я очень редко нахожусь в таком положением, в котором могу я писать: я стала большой эгоисткой, только о себе и думаю; да как же не обращать на себя внимание, когда жители сердца такой ужасный шум производят! Мне очень приятно получать письмы от других – это удаляет на несколько минут мою мысль от собственных моих занятий; но писать сама очень трудно; надеюсь, что это не всегда будет продолжаться и что день придет, в котором я опять начну болтать с вами и даже шутить о том и о сем; я жду этого дня с нетерпением; я философ в голове, а в сердце нет. Но до сих пор он еще не настал. К счастью, я не без надежды; увидим, ежели когда и как эта надежда исполнится. До того времени я ни к чему не буду годиться; особенно сегодня я ни

к чему не гожусь и от скуки начала к вам писать. Это по крайней мере не слишком учтиво, но вы не бросите меня за это за окошку! Когда мне будет веселее, я хочу писать вам, да, право, я не могу понять, отчего я не весела сегодня; я должна бы быть сегодня гораздо веселее, нежели все прошедшие дни! Когда я об этом думаю, я делаюсь веселой! Николай Васильевич! Вот я в друг сделалась весела! и от радости забыла, как пишут слово «вдруг». Я вам скажу, что нервы так расстроились у меня, что перехожу от самой сильной печали до бешеной радости. Это, я думаю, еще более ослабляет те же самые нервы. И так нервы мои делают зло моей душе, потом душа делает зло моим нервам, и я часто почти сумасшедшая, – вот что! берегитесь! Когда вы мне будете отвечать, то ни слова не говорите о том, что мое письмо вам понесло, – слышите? и не забывайте, бога ради! Здесь и без ваших замечаний иногда темно и грустно в сердцах, а если вы приходили бы с вашими охами и ахами, то сделалась бы беда! Итак, молчите: это один способ, с которым вы можете надеяться получать мои глупые письмы! Вы спра-

шивали меня о моих занятиях: я довольно мало пишу по тому же резону, по которому и письмы писать не хочу и не могу. Я много читаю. Вы знаете, что я выучилась по-немецки, и это мне доставляет большие наслаждения. Я нахожу, что французская литература и даже все другие представляют нам дела человеческие, а немецкая представляет нам каждые, почти незаметные, но очень замечательные чувства души; в других литературах мы знаем только те мысли и те движения души, которые имеют причины в наружных действиях, а в немецкой мы видим те мысли и те движения сердца, которые родятся и умирают в нем, не <у>знаны никем. Когда мы чувствуем такие вещи, которых мы не можем говорить другим, то мы можем открыть книгу немецкую, и часто мы чувствуем, что автор нас понимает, и это есть огромное удовольствие, потому что тяжело нести одному тяжелые горы, которые подымаются вовнутри сердца. Я очень обязана немецким книгам, потому что они, по крайней мере на несколько минут, позволяют мне иногда забывать много разных не слишком приятных вещей. Мне ка-

жется, что я совершенно позабыла писать по-русски. Какой стыд! Не думайте, однако ж, что я не буду больше к вам писать: вы теперь в Москве, а в Москву писать глупое и короткое письмо гораздо легче, нежели писать такое же письмо в Рим, – не так совестно, и зато, когда у меня будет ясная минута, я намерена еще вам писать, но только ежели вы будете мне отвечать (я опять вам вспоминаю, что здесь все так любят ваши письма, что их вслух читают!). Какие мы, правда, странные или, лучше, какие мы обыкновенные люди! Мы все очень хорошо знаем, что все, что с нами случается, делается для нашего добра; однако ж мы таем от желания быть счастливее! Нет, я наверное теперь знаю, что я забыла, как по-русски писать!

Я думаю, что если у вас в Москве такая же погода, как у нас, <то> у вас самый пустой сплин! Небо точно старая подкладка серой военной шинели!

Знаете, кстати, что есть такая болезнь, которая совершенно противуположна сплину. Сплин – скука, печаль без причин; я эту болезнь часто имею удовольствие носить во

мне; но другая болезнь, которую я также очень хорошо знаю, есть радость, ужасная, страшная радость, приятное и неприятное чувство, которое я вам рекомендую и не рекомендую, – вот как!

Прощайте, любезный Николай Васильевич. Напишите мне непременно и как можно скорей. Будьте здоровы так, как я, потому что я несравненно здоровее прежнего.

До свидания, но прежде пишите – и скорей, скорей, и дипломатически!

Мария Балабина.

Гоголь – Балабиной М. П., январь 1842

Январь 1842 г. Москва [682]

Хотя несколько строк напишу к вам. А не хотел, – право, не хотел браться за перо. Из этой ли снежной берлоги выставлять нос и еще писать? Медведи обыкновенно в это время заворачивают свой нос поглубже в шубу и спят. Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда я, не знаю за что, попал. С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на

чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно – что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и все, что хотите, и можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну и даже не фыркну, не пошевелюсь.

Гоголь – Балабиной М. П., 21 октября (2 ноября) 1842

21 *октября (2 ноября) 1842 г. Рим* [683]

Рим. Ноября 2 1842.

Я к вам пишу, и это потребность души. Не думайте, чтобы я был ленив. Это правда, мне тяжело бывает приняться за письмо, но, когда я чувствую душевную потребность, тогда я не откладываю. В последние дни пребывания моего в Петербурге, при расставанье с вами, я заметил, что душа ваша сильней развилась и

глубже чувствует, чем когда-либо прежде. И потому вы теперь не имеете никакого права не быть со мной вполне откровенной и не передавать мне все. Вспомните, что вы пишете вашему искреннейшему другу, который в силах оценить и понять вас и который награжден от бога даром живо чувствовать в собственной душе радости и горе, чувствуемые другими, что другие чувствуют только вследствие одного тяжелого опыта. Прежде всего известите меня о состоянии вашего здоровья и помогло ли вам холодное лечение. Потом известите меня о состоянии души вашей: что вы думаете теперь и чувствуете и как все, что ни есть вокруг вас, вам кажется. Это первая половина вашего письма. Теперь следует вторая: известите меня обо мне. Записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, все мненья и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно, когда бранят и осуждают меня. Последнее мне слишком нужно знать. Хула и осуждения для меня слишком полезны. После них мне всегда открывался яснее какой-нибудь мой недостаток, дотоле мною не замеченный. А увидеть свой недо-

статок – это уже много значит. Это значит почти исправить его. Итак, не позабудьте записывать все. Просите также ваших братцев в ту же минуту, как только они услышат какое-нибудь суждение обо мне, справедливое или несправедливое, дельное или ничтожное, – в ту же минуту его на лоскуточек бумажки, покамест оно еще не простыло! И этот лоскуточек вложите в ваше письмо. Не скрывайте от меня также имени того, который произнес его. Знайте, что я не в силах ни на кого в мире теперь рассердиться и скорей обниму его, чем рассержусь. Прощайте. Жму сильно вашу руку. Обнимите за меня всех ваших и попросите вашу маменьку, ради нашей старой дружбы, приписывать иногда от себя хоть несколько строчек ко мне, хоть даже на французском языке.

Вот мой адрес: Рим, Via Felice, № 126, 3 piano.

Балабина М. П. – Гоголю, 12 февраля 1844

12 *февраля 1844 г. Петербург* [684]

Петербург, 12 февраля 1844.

Зачем мне надо писать, зачем не могу я вам сказать все, что богу угодно делать для меня! Он для меня творит чудеса! Какое счастье дает он мне! Я вам буду писать искренно, скажу все, что случилось, все, что чувствовала с тех пор, как я вас не видала. Когда вы в последний раз были у нас, я еще не знала, что такое истинная, глубокая любовь; или, лучше, в душе моей существовала любовь, существовала с самых первых лет моей жизни, но я еще не могла дать ее кому-нибудь, дать, как надобно давать ее, как дают ее один раз! Часто я думала, что нашла, кого искала; часто одна только встреча с кем-нибудь заставляла меня думать, что я буду любить его, и я не понимала, что все это было один обман чувств моих. Я помню даже, что тогда, когда вы были в Москве, я вам написала длинное письмо, наполненное охами и ахами[685], потому что показалось вдруг голове (не сердцу), что нашла я одну драгоценность, которую я не знала, но которую я только видала, и это было довольно, чтоб думать, что она была совершенна; а потом все прошло, как туман, по старинному моему обыкновению, и тогда я поняла,

что я только чувствовала нужду любить, но что это не значило любить. Вообразите, что я чувствую эту нужду в душе с самых первых лет моей жизни! и только на 22<-м> году моем узнала в первый раз, что такое любить!

Когда вы нас оставили, весной, мы поехали в Лопухинку (40 верст от Петербурга, где находится заведение â la Graeffenberg[686]); тут и госпиталь для солдат. Мы познакомились с полковым доктором, который и меня должен был лечить. Три дня после нашего приезда в Лопухинку я почувствовала, что взошла в новую сферу и что жена этого доктора будет самая счастливая жена! О, как я испугалась, когда увидела, что он становился для меня то, что ни один человек в мире до тех пор не был для меня! Я не примечала в нем никакой привязанности ко мне, и, если бы он и любил меня, каким образом можно было бы мне выйти за бедного лекаря! Как я страдала все лето! Я видела его почти целый день. Иногда мне казалось, что он любил меня, но скоро эта надежда исчезала, и я не могла думать, что ожидало меня такое великое счастие. Я совсем дома не сидела: мне надо

было беспрестанно ходить; я только тогда дышала, когда, находилась одна, в саду. Вы не можете понимать, как я страдала; все было для меня страдание: я не верила в любви любезного моего Вагнера, а когда, на несколько минут, мне казалось, что он меня любит, тогда я не знала, как нам не быть всегда разлучены, а потом, когда я думала, что богу все возможно, как я ужасно, право, ужасно страдала при мысли, что мое счастие будет так противоположно желание отца моего!

Вагнер не был христианин: он совсем не веровал и был деист; я таких людей никогда еще не встречала, я много молилась за него. Осенью мы разошлись. Я сделалась так больна, что не только не могла ходить и все лежала, но даже не могла отвечать «да» и «нет». Сна совершенно не было; я ничего не ела, мне все делалось хуже. В генваре Вагнер приходит к мама и просит мою руку! Понимаете ли вы положение дочери, которая видит мать свою с глубокую горестью и знает, что отец еще глубже растревожен! Я сказала, однако ж, мои желания, но я знала, что это ни к чему не послужит, потому что уже давно, когда я ду-

мала, что, может быть, он спросит мою руку, я предвидела, что ему надо будет просить не один раз и даже не два раза, а больше. Осенью мне Вагнер признался в свою любовь, и хотя после этого я еще не могла верить в моем счастие и думала, что он сам обманывает себя, но, однако ж, мне казалось, что, может быть, он истинно любил меня и, может быть, возьмет меня: короче, я слишком желала быть им любимой, чтоб уметь веровать в его любовь! Мама сказала мне, что мы скоро поговорим опять об этом предмете; но в тот же самый день я узнала, что отказали Вагнеру несколько дней прежде, нежели я узнала, что он просил мою руку. Это не удивило меня; я хорошо понимала, что долгое испытание могло одно заставить отца позволить этот странный брак: без этого как им можно было бы понять всю силу любви моей! Говорить о ней не было достаточно в таком случае; надо мне было доказать это отцу. Я читала в сердце маменьки: она льстила себя надеждой, что скоро любовь моя пройдет, когда буду разлучена с Вагнером. На днях, после предложения его, добрая, прекрасная жена брата сконча-

лась! Я забыла себя и свою горесть, чтоб только думать о брате! Весной я решилась поговорить с маменькой и сказать ей, что я сильно люблю доброго моего друга; она отвечала, что, если мои чувства не переменятся, осенью увидим, что можно будет сделать. – Я не желала заставить родителей согласиться насильно и хотела, чтоб они сами поняли, как я любила его, как я была несчастна без него, и таким образом заставить их желать то, что я желала.

Летом мы были в Ревеле. Я все была очень больна; горесть моя всегда увеличивалась: я думала, что Вагнер, может быть, уж забыл меня, и ничего не знала о нем. Мне было очень худо; я почти не могла переносить сильное, тяжелое испытание. Мама видела мою печаль; она поняла, что моя привязанность к доктору глубока и что она навсегда в моем сердце, и она стала желать, чтоб Вагнер не забыл меня и просил во второй раз мою руку. Наконец он снова явился; мама, братья и сестра приняли его, как родного сына и брата. Он тоже страдал, и его страдания совершенно переменили образ мыслей его; печаль научила

его понять ничтожность человека, который разлучен с богом, с Спасителем!

Он оставляет службу свою и будет служить в департаменте железной дороги: его посылают на год в Германию и в Бельгию, чтоб набрать сведения о полиции железных дорог. Через три недели мы оставляем Петербург – мама, Вагнер, брат Иван и я – и едем в Берлин, где будет наша свадьба.

Что мне вам сказать о характере моего друга! Все сказать подробно, я не скоро кончу, а мне хочется как можно скорее отправить к вам это письмо. Итак, я только вам скажу, что у него очень, очень добрая, благородная, прямая душа, что она начинает жить религиозною жизнью, что он глубоко и жарко любит меня, не знаю зачем, что для него наружный блеск ничто, что он только понимает сущность хороших вещей, что он для меня все; я его люблю, как я могу любить, и гораздо больше, нежели думала несколько лет тому назад, что буду любить, потому что тогда я только понимала натуральное чувство души, а теперь, с тех пор как знаю Вагнера и так ужасно страдала, с натуральным чувством со-

единяется во мне и вечное чувство христианской любви. Пишите мне в Берлин, poste restante, на имя мама или á monsieur Wagner.

Если вы летом поедете в Германию, мы, может быть, увидимся.

Я еще не могу верить в моем неслыханном счастием.

Извините – склонения. Никому не читайте мое письмо.

Я забыла вам сказать, что я совершенно здорова, сильна и толста!

Балабина М. П. – Гоголю, 14 апреля 1844

14 *апреля 1844 г. Петербург* [687]

Петербург. 14 апреля. 1844 г.

Вчера я получила ваше письмо[688]. Я была глубоко обрадована, читая его. Вы мне говорите то, что я себе беспрестанно говорю и что благодать божия мне открыла. Давно уже я могла приметить, что эта благодать и вам многое открыла тогда еще, когда я еще не понимала, что значит «второе рождение». Но теперь я вижу, зачем бог послал мне эти тяжелые испытания, которые я должна была переносить, когда мне казалось, что я буду всегда

жить далеко от любезного друга. Большая перемена сделалась со мною в течение лета: в первый раз я узнала, что такое ничего не иметь, кроме бога. Я думала, что добрый, прекрасный мой Вагнер уж забыл меня, и тогда я получила с неба несказанные радости. Однако ж во все это время я не могла говорить сердцем: «Да будет воля твоя!» И бог не позволил Вагнеру возвратиться к нам прежде, нежели заставить меня сказывать эти слова так, как должно их сказывать. Я говорю «заставить», потому что я очень ясно вижу, что моя воля совершенно ничего не содействовала в том деле и что я насильно должна была принять влияние святого духа.

Благодарю за ваши советы: они истинно христианские. Вы советуете мне все устроить в первые дни: я давно уже этого себе обещала; мне должно беречь и его и себя, как берегут в теплицах молодые растения, которые не довольно сильны, чтоб перенесть холод и ветер наружного мира. Я отопру дверь нашу в первые дни тем людям, между которыми я хочу умереть; и я имею великое счастье находить в женихе те же самые чувства, которые нахо-

дятся в моем сердце. Несколько дней тому назад Вагнер уехал в Берлин. Мы хотим ехать 5 мая на пароходе, который пойдет в Стетин[689]. Свадьба будет в Берлине. Вагнер успеет уже прежде нашего приезда много работать, и, верно, мы недолго останемся в Берлине. Потом поедем в Дрезден и желали бы провести несколько времени на берегу Рейна. Вы можете себе представить, как мысль, что я вас увижу, обрадовает меня: теперь так легко путешествовать благодаря железным дорогам, что нам нетрудно будет где-нибудь сойтись. Брат Иван едет с нами. Если б вы знали, какое расстояние между нашим семейством и столь много других! Большой свет не понимает мой подвиг, но как любезные братья и сестра понимают его! О маменьке я и не говорю, – это само собой разумеется.

Откуда вы выписали эти прекрасные строки о браке? Как они полны глубокой, святой правды! Я вчера же писала моему Вагнеру, что получила от вас письмо и что я его принесу ему вместе с третьей отдельной страницей, которая ему будет очень симпатическая. Его душа все более и более открывается влиянию

бога, и хотя мы так счастливы на земле, однако ж с сладким чувством говорит о смерти, которая нас, мы надеемся, не разлучит, но приведет нас обоих и (дай бог) всех близких нашему сердцу, в том числе и вас, к единственному источнику вечного блаженства, к Искупителю нашему. Но как трудно на земле жить так, как надобно, чтоб потом вечно жить на небе! Как трудно выйти из старого человека и ничего слишком не любить, кроме бога!

Гоголь – Балабиной М. П., 30 июня (12 июля) 1844

30 *июня (12 июля) 1844 г. Франкфурт* [690]

Франкфурт. 12 июля.

Я к вам не писал, потому что хотел вас уведомить наверно о себе, то есть о моем поезде: куды, когда и на сколько времени. Оказывается теперь следующее: в Остенде; через неделю, на полтора месяца. Вашу порученность[691] я исполнил тот же час по приезде во Франкфурт, последовавшем за нашим свиданием[692]. Я тотчас отправил человека с письмом от вас отыскивать англицкого пастора:

Пирпенфельда или Пильпентафеля, наверное не помню. Комиссионер, которого я посылал, доложил, что он лично видел господина Пирпенфельда и что г. Пирпенфельд или Пильпентафель обещался завтра же дать удовлетворительный ответ, чем я совершенно успокоился. Как вдруг получаю от вас известие, что на письмо ваше ответа нет. Я послал вновь к г. Пирпенфельду, но оказалось, что господин Пирпенфельд улизнул из Франкфурта и поручил все дела какому-то Ферзениусу, или Фризениусу, или Фрузениусу, или даже Зерфуниусу (для меня все подобные фамилии несколько трудны, и потому извините, если несколько ошибаюсь в правописании). Я тот же час к Фрузениусу с тем, чтобы сейчас же и тут же при человеке написал ответ. Этот ответ был взят от Фрузениуса и уже брошен не его руками в почтовую дыру во избежание всяких запутанностей, о чем обо всем вас теперь уведомляю и прошу в отплату за это уведомить о себе, то есть обо всем, что ни случилось с вами после нашего расставания. Изъясните мне также, что значит мистическая поездка ваша во Франкфурт и ваш обед в Hôtel

de Russie перед самым моим носом, о чем я узнал только на другой день, живя тут же и в том же самом доме?

Если будете писать ко мне теперь же, то адресуйте по-прежнему, если же на вас найдет ленивое расположение и в течение пяти дней вы не соберетесь писать, а предприметe это гораздо позже, тогда адресуйте уже в Остенде.

Затем остаюсь весь ваш

Гоголь.

Балабина М. П. – Гоголю, 3(15) июля 1844

3 *(15) июля 1844 г. Шлангенбад* [693]

Шлангенбад. 15 июля.

Извините великодушно, любезный Николай Васильевич, за всю тревогу. Правда, что господин Зерфуниус, секретарь господина Пильпентафеля, долго не отвечал на мое письмо, но, однако ж, насилу написал, и теперь я знаю все, что хотела знать. Когда мы пришли недавно в Hôtel de Russie, нам сказали, что вы сию же минуту изволили улизнуть, и, так как и мы сейчас после обеда улиз-

нули прямо в Майнц, мы не могли с вами увидеться. Вы едете в Останд! Как нам сделать, чтоб встретиться в Бельгии? Мы писали штудгартскому священнику так, как вы советовали, и получили ответ: он, кажется, так хорошо знает, что ему нельзя нас венчать здесь, что даже и не понял совершенно нашу просьбу; он говорит, что готов приехать к нам в Шлангенбад, чтоб с нами поговорить и посмотреть, тут ли все бумаги, но что, может быть, его приезд не нужен, потому что нам все-таки надо приехать в Штудгарт! Итак, мы решились боле не писать, но прямо поехать к нему. Мы хотим ехать 20 числа, чрез пять дней, в Штудгарт. Потом мы где-нибудь там поместимся.

Чрез полтора месяца, я думаю, что мы отправимся в Бельгию, но я вам, наверно, после напишу в Ostende, post restante. Вагнер приедет к нам сегодня. Брат Иван приехал поутру. Мы все едем вместе в Штудгарт. Я оттуда вам напишу поподробнее и вам разные разности скажу: что мы делаем, что мы думаем и что чувствуем. Если вам придет охота написать мне кое-что в течение месяца, адресуйте в

Штудгарт, посольству. До свидания в Бельгии.

Мария Балабина.

Гоголь и М. П. Погодин

Вступительная статья

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – одна из примечательных фигур в русской литературно-общественной жизни прошлого века. Выходец из крепостной семьи, получившей отпускную в 1806 году, он в двадцать шесть лет становится профессором Московского университета (вначале по кафедре всеобщей, затем – русской истории), а в сорок избирается академиком. Человек одаренный и деятельный, Погодин приобрел известность не только как ученый-историк: своими простонародными и светскими повестями он выдвинулся в число наиболее значительных прозаиков эпохи 1820–1830-х годов, а его историческая драматургия вызвала пристальный интерес и сочувствие Пушкина. Заметную роль играл Погодин и как издатель журналов «Московский вестник» и «Москвитянин». Наконец, несомненны его заслуги как знатока и собирателя исторических источников, созда-

теля знаменитого «Древлехранилища».

Общественная позиция Погодина на протяжении его долгой жизни заметно эволюционировала. В молодости он примыкал к кружку московских «любомудров», был связан близкими литературными и деловыми отношениями с Пушкиным. Позднее от умеренного либерализма ранней поры перешел к консерватизму, став сторонником концепции «официальной народности». При этом монархизм, защита охранительных начал сочетались во взглядах Погодина со своеобразным демократизмом, чувством антипатии к дворянскому кругу. Непростым был и характер Погодина. Великодушие и смелость уживались в нем с высокомерием и завистливостью, душевная открытость часто оборачивалась полным отсутствием деликатности, практицизм – скупостью и корыстолюбием. Преданный науке труженик, он нередко воспринимался как сухой и равнодушный педант. Все это формировало весьма сложную репутацию Погодина как человека, причем с годами его дурные качества становились все более заметными, затеняя привлекательные

черты.

История взаимоотношений с Погодиным составляет одну из драматичных страниц биографии Гоголя. Их знакомство произошло в последних числах июня 1832 года, когда Гоголь, по пути из Петербурга на родину, впервые посетил Москву. Отношения новых знакомых быстро переходят в дружбу, основой которой является единство научных и педагогических интересов, сходство литературных пристрастий. Между ними завязывается активная и откровенная переписка. Находясь в курсе основных творческих замыслов Гоголя, Погодин рано осознает истинный масштаб его дарования, выделяя писателя из общей массы современных литераторов. В своем «Письме из Петербурга», главным образом в связи с «Миргородом», он говорит о Гоголе как о «таланте первоклассном», заключая свой отзыв словами: «На горизонте русской словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых» (МН, 1835, ч. 1, с. 445). Не менее высокая оценка дана в дневниковой записи Погодина, посвященной «Ревизору»: «Комедия Гоголя должна сделать

эпоху в истории театра русского и восстановить его» (Барсуков, кн. 4, с. 335).

Дружеские отношения обоих литераторов не прекращаются и после отъезда Гоголя за границу в 1836 году. Посетив весной 1839 года Рим, Погодин поселяется здесь вместе с писателем (см.: <Погодин М. П.> Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году. – РА, 1865, № 7, стлб. 887–895), летом того же года они вновь встречаются на водах в Мариенбаде, а осенью в одном экипаже выезжают из Вены в Москву. В декабре 1839 года Гоголь вместе с сестрами (позднее и с матерью) поселяется в московском доме Погодина на Девичьем поле. Здесь же он не раз останавливается и в свои последующие приезды в Россию (см.: Г. в восп., с. 407–413). Однако к концу 1830-х годов появляются первые симптомы кризиса до того абсолютно ровных отношений двух друзей. «Первые впечатления отрицат<ельные>», – замечает Погодин о событиях 1839 года в позднейшем конспективном наброске истории своего общения с Гоголем (ЛН, т. 58, с. 793). О наметившемся взаимном непонимании мы узнаем и из пе-

переписки 1840 года. Наконец, в конце 1841 – начале 1842 годов, в период очередного пребывания Гоголя в доме на Девичьем поле, происходит резкое ухудшение его взаимоотношений с Погодиным. В какой-то мере развитие этого конфликта, нарастающее обоюдное раздражение доносят до нас краткие записки, которыми друзья обмениваются в ту пору. Более же полно история этих событий освещена в их позднейшей переписке (в особенности в письме Гоголя от 26 июня (8 июля) 1847 года).

Кризис 1841–1842 годов был связан с попытками Погодина привлечь писателя к участию в недавно основанном журнале «Москвитянин». Погодин ясно сознавал зависимость авторитета, читательского и коммерческого успеха своего издания от участия в нем Гоголя. 2 февраля 1841 года, после посещения дома Аксаковых, он записывает в своем дневнике: «Толковали о журнале, о Гоголе, его характере и выходках. Решил написать письмо: «Разоряюсь, выручай». Как бы было хорошо, если б теперь поддержать впечатление эффектными статьями» (Барсуков, кн. 6, с. 229). В первой половине 1841 года, без предвари-

тельного согласия находящегося за границей автора, Погодин печатает в «Москвитянине» новые сцены из переработанного текста «Ревизора».

Надежды Погодина на привлечение Гоголя к участию в «Москвитянине» были связаны и с характером их отношений, и с тем, что еще в 1839 году (см. письмо от 4 ноября) писатель недвусмысленно обещал ему сотрудничество в будущем издании. Однако за прошедшие годы психологическое состояние Гоголя, его творческие планы, его отношение к современной журнальной борьбе существенно изменились. Всего этого Погодин не понимает и не учитывает. Постоянно оказывая Гоголю разнообразную практическую помощь, он считает писателя обязанным себе, пытается эксплуатировать сложившиеся между ними дружеские отношения и тем самым разрушает их. В ответ на просьбы Погодина Гоголь предоставляет для публикации в «Москвитянине» свою повесть «Рим» (1842, № 3) и опубликованную под псевдонимом рецензию на альманах «Утренняя заря» (1842, № 1). Однако на этом его сотрудничество в журнале пре-

кратилось.

К моменту отъезда Гоголя из Москвы его отношения с Погодиным оказываются на грани разрыва. Начавшаяся еще в 1832 году переписка прерывается, возобновляясь лишь в 1843 году, когда Погодин делает попытку примирения. Однако следующий, 1844 год приносит новое ухудшение взаимоотношений, связанное с тем, что Гоголю становится известно о самовольной публикации Погодиным литографии с портрета писателя работы А. А. Иванова (М, 1843, № 11). Наконец, новый кризис вызывает появление в начале 1847 года «Выбранных мест из переписки с друзьями», содержащих крайне негативные отзывы о Погодине. Выражая накопившееся за последние годы раздражение, Гоголь писал в главе «О том, что такое слово»: «<...> с самым чистейшим желаньем добра можно произвести зло. <...> наш приятель П<огоди>н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем,

словом – выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. <...> Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещенья и образованья русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. <...> Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник» (Акад., VIII, с. 231–232). Эта резкая характеристика подкреплялась текстом надписи, сделанной Гоголем

на подаренном им Погодину экземпляре той же книги: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого» (Акад., VIII, с. 789).

Выпады против Погодина в «Выбранных местах...» вызвали не только его личную обиду, но и негодование московских друзей Гоголя. Вероятно, излишняя резкость этих отзывов была ясна и самому писателю. Не отказываясь от существа своих оценок, он задумывает написать для предполагаемого второго издания своей книги статью «О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина». Эта неосуществленная статья, видимо, была призвана, не отменяя отрицательных суждений, уравновесить их и вместе с тем продемонстрировать беспристрастность автора.

Появление «Выбранных мест...» вызвало

новое оживление переписки между Гоголем и Погодиным. Оба они пытаются дать в ней свой анализ и оценку сложившимся отношениям. Несмотря на относительную мягкость тона писем к Погодину, Гоголь, как это видно, в частности, из его писем к С. Т. Аксакову (28 июня (10 июля) 1847 г.) и А. О. Смирновой (8 (20) июля 1847 г.), был недоволен как содержанием этой переписки, так и своим корреспондентом.

В последние годы жизни Гоголя его отношения с Погодиным вновь приобретают ровный характер, но за их внешней дружелюбностью ощущается холодность. На смерть Гоголя Погодин откликнулся некрологом в «Москвитянине», где подвел первые итоги своему трудному опыту общения с великим писателем (см. вступ. статью, с. 5–6).

Переписка между Гоголем и Погодиным была велика по объему (см. об этом: М, 1854, № 13, с. 36). В настоящее время она сохранилась далеко не полностью. В данном сборнике публикуется часть известных сегодня писем: 43 письма Гоголя и 19 писем Погодина.

Гоголь – Погодину М. П., 8 июля 1832

8 *июля 1832 г. Подольск* [694]

Июля 8. Подольск, 1-я станция от Москвы.

Вот что называется выполнять свои обещания: я обещал к вам писать по крайней мере из Тулы, а пишу из Подольска. Я ехал в самый дождь и самою гадкою дорогою и приехал в Подольск и переночевал и теперь свидетель прелестного утра. Ехать бы только нужно, но препроклятое слово имеет обыкновение вырываться из уст смотрителей: «Нет лошадей». Видно, судьба моя ехать всегда в дурную погоду. Впрочем, совестливый смотритель объявлял, что у него есть десяток своих лошадей, которых он, по доброте своей (его собственное выражение), готов дать за пятерные прогоны. Но я лучше решился сидеть за Ричардсоновой «Кларисою» в ожидании лошадей, потому что ежели на пути попадется мне еще десять таких благодетелей человеческого рода, то нечем будет доехать до пристанища. Впрочем, присутствия духа у меня довольно: вот скоро уже 12 часов, а мне еще все люли и нипочем. Не знаю, так ли будет после 12-ти. Ну, обнимаю вас еще раз. Может быть, вы еще

не выехали в деревню. Эх, как весело иметь деревню в 50 верстах! Почему бы правительству не поручить какому-нибудь искусному инженеру укоротить путь, чтобы из 800 верст хотя 700 выбросить, и то бы было хорошо, все-таки меньше. Но это мечты, которые я себе позволил по § цензурного устава. Прощайте, мой бесценный Михаил Петрович, брат по душе! Жму вашу руку. Может быть, это пожатие дошло до вас прежде моего письма. Верно, вы чувствовали, что ваша рука кем-то была стиснута, хотя во сне: это жал ее ваш

Гоголь.

Гоголь – Погодину М. П., 1 февраля 1833

1 *февраля 1833 г. Петербург* [695]

1833. Февраль 1. СПб.

Насилу дождался я письма вашего[696]! Узнавши из него причину вашего молчания, уже не досадую на вас. Зависть только одолевает меня. Как! в такое непродолжительное время и уже готова драма, огромная драма[697], между тем как я сижу, как дурак, при непостижимой лени мыслей. Это ужасно! Но поговорим о драме. Я нетерпелив прочесть ее.

Тем более, что в «Петре» вашем драматическое искусство несравненно совершеннее, нежели в «Марфе». Итак, «Борис», верно, еще ступенькою стал выше «Петра». Если вы хотите непременно вынудить из меня примечание, то у меня только одно имеется. Ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время. – Через это небольшой ум между ними уже будет резок. Об нем идут речи, как об разученой голове. Так бывает в государстве. А у вас, не прогневайтесь, иногда бояре умнее теперешних наших вельмож. Какая смешная смесь во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бранит Антихристову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать ужимку французокафтанника. Я не иначе представляю себе это, как вообразя попа во фраке. Не пожалейте красненькой, на-

рядите попа во фрак, за другую – обрейте ему бороду и введите его в собрание или толкните меж дам. Я это пробовал и клянусь, что в жизнь не видел ничего лучше и смешнее: каждое слово и движение нового фрачника нужно было записывать. Благословенный вы избрали подвиг! Ваш род очень хорош. Ни у кого столько истины и истории в герое пиесы. «Бориса» я очень жажду прочесть. Как бы мне достать ваших «Афоризмов»? Меня очень обрадовало, что у вас их целая книга[698]. Эх, зачем я не в Москве!

Журнальца, который ведут мои ученицы[699], я не посылаю, потому что они очень обезображены посторонними и чужими прибавлениями, которые они присоединяют иногда от себя из дрянных печатных книжонок, какие попадутся им в руки. Притом же я только такое подносил им, что можно понять женским мелким умом. Лучше обождите несколько времени: я вам пришлю или привезу чисто свое, которое подготовляю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух, томах под названием «Земля и люди»[700]. Из этого го-

раздо лучше вы узнаете некоторые мои мысли об этих науках.

Да. Я только теперь прочел изданного вами Беттигера[701]. Это, точно, одна из удобнейших и лучших для нас история. Некоторые мысли я нашел у ней совершенно сходными с моими и потому тотчас выбросил их у себя. Это несколько глупо с моей стороны, потому что в истории приобретение делается для пользы всех и владение им законно. Но что делать, проклятое желание быть оригинальным!

Я нахожу только в ней тот недостаток, что во многих местах не так развернуто и охарактеризовано время. Так Александрийский век слишком бледно и быстро промелькнул у него. Греки, в эпоху национального образованного величия, у него – звезда не больше других, а не солнце древнего мира. Римляне, кажется, уже слишком много, внутренними и внешними разбоями, заняли места против других. Но это замечания, собственно, для нас, а для Руси, для преподавания это са<мая> золотая книга.

Вы спрашиваете об «Вечерах Диканских».

Черт с ними! Я не издаю их[702]. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекуляционными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне об этом. Впрочем, Смирдин отпечатал полтораста экземпляров 1-й части, потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что не больше. Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня.

Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется! великое не выдумывается! Одним словом, умственный запор. Пожалейте обо мне и пожелайте мне! Пусть ваше слово будет действительнее клистира.

Видите ли, какой я сделался прозаист и как гадко выражаюсь. Все от бездействия.

Обнимая и целуя вас, остаюсь ваш

Гоголь.

Гоголь – Погодину М. П., 20 февраля 1833

20 *февраля 1833 г. Петербург* [703]

Февраль 20.

Я получил письмо[704] твое еще февраля 12-го и почти неделю промедлил ответом. Винюсь, прости меня! Журнала девиц я потому не посылал, что приводил его в порядок, и его-то, совершенно преобразивши, хотел я издать под именем «Земля и люди». Но я не знаю, отчего на меня нашла тоска... корректурный листок выпал из рук моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу из ист<ории>, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один – друг. Но не могу, не в силах. Черт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной сла-

вы. Вся глубина души так и рвется внаружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: «Владимир 3-ей степени»[705], и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ народу неоконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю – передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и – история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей.

Беттигера я не читал на немецком. Прочел в переводе. Имеется ли у него и новая история? или только одна древняя? Мне нравится в ней то, что есть по крайней мере хоть несколько верный анатомический скелет. У нас и этого нигде не найдешь. Не будет ли еще чего-нибудь у вас исторического, переведенного университетскими. А что европейская история?

Пушкин недавно говорил о тебе с государем насчет Петра[706] и желания твоего трудиться вместе с ним. Государь наперед желал узнать о трудах твоих, и когда ему вычислили длинный ранг твоих изданий, то он тот же час изъявил согласие, и Пушкин говорит, что ты можешь, живя здесь или в Москве, издавать все выкапываемое в архивах и брать за это деньги. Как же велико будет твое жалованье, это ему еще неизвестно.

Крылова нигде не попал, чтобы напомнить ему за портрет. Этот блюдолиз, несмотря на то что породою слон, летает как муха по обедам. Смирдину напоминал. Читал ли ты смирдинское «Новоселье»[707]? Книжища ужасная; человека можно уколотить. Для ме-

ня она замечательна тем, что здесь в первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса[708]: сколько тут и подлости, и вони, и всего. Я слышал, у вас в Москве альманах составляется[709] и участвуют люди такие, которых статьи непременно будут значительны. Будешь ли там? Мне очень нравится «Комета Галлея»[710]. Есть что-то чертовски утешительное в минуты некоторых мыслей.

У меня теперь голова страшно забита кучей хлопот вчера и сегодня, так что я... я думаю, пишу довольно бестолково и спешу отправить.

От всей души обнимая, остаюсь
твой *Гоголь*.

Хотел было предложить два исторические вопроса, сильно меня занимавшие. Не разрешишь ли? – но после. Они требуют много бумаги. Видишь, я, несмотря на все, все-таки не могу совершенно освободиться от Истории.

Гоголь – Погодину М. П., 8 мая 1833

8 *мая 1833 г. Петербург* [711]

Мая 8. СПб.

Теперь только что получил я твою записку чрез Краевского[712]. Хорош комиссионер попался! В ней я прочел странный упрек, который я втайне было делал тебе. Странно: я писал к тебе письмо не так давно. Неужели ты не получал его! Еще страннее, что я не видел и не читал того письма, о котором пишешь, что я, верно, удивился, когда прочел его. Не приложу ума, какому сатаненку достались наши письма.

Ну, очень рад, что уже «Самозванец»[713] пишется. Может быть, он и кончен! Когда-то мне достанется читать! Хотелось бы.

Я не иначе надеюсь отсюда вырваться, как только тогда, когда зашибу деньгу большую. А это не иначе может сделаться, как по написании увесистой вещи. А начало к этому уже сделано. Не знаю, как пойдет дальше.

Скоро ли у вас выйдет хоть один том Европейской истории? Кстати, случалось ли когда-нибудь тебе слышать про «Историю Римской империи и славянских народов»? Это чудо, а не книга, типографическая редкость! 1503 года и вся в опечатках; а главное, что во

введении прежде всего говорится о истреблении вшей и привезенных в Германию индейских клопов. Издана в Оснабрике.

Пушкин уже почти кончил «Историю Пугачева»[714]. Это будет единственное у нас в этом роде сочинение. Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман! Что делают наши москвичи? Что, Максимович печатает точно «Наума» и песни[715] или только нас надувает? А Киреевский, неужели он до сих пор на ложе лени?[716] Не делает ли чего Баратынский? и не будет ли кто из вас этого лета в Петербурге?

Адресуй мне пока на имя Смирдина, потому что я думаю переменить на этой или на той неделе квартиру непременно.

Ты, кажется, желал иметь «Вечера на хуторе». Теперь только я достал их и посылаю. Где будешь лето проводить, в городе или в деревне?

Нельзя ли напечатать скорее «Афоризмы», у меня горло пересохло от жажды. С генваря месяца и до сих пор я не встретил нигде ни одной новой исторической истины. Набору слов пропасть, выражения усилены, сколько

можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая.

Прощай! Целую тебя несколько раз, и да не отлучается от тебя вдохновенье и творческая сила!

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 28 сентября 1833

28 *сентября 1833 г. Петербург* [717]

Сентябрь 28.

Очень благодарен тебе за то, что еще не позабыл меня. Я писал к тебе назад тому месяца два[718]. И мне очень странно, что оно не дошло до тебя, тем более что в нем не было ни о цензуре, ни о квартальных. Я, однако ж, извинял твое молчание женитьбою твоею[719], зная, что тебе не до того. Кстати: если ты не получал моего поздравления, так позволь теперь поздравить. Я давно, еще тогда, замечал, что у тебя в кабинете как-то пусто и чего-то недостает. Рекомендуй меня жене своей как человека, который, один только бог знает, как тебя любит. Я ее несколько знаю, потому что составил о ней идею: она должна быть так же

добра, с такою светлою душою, как ты. Ох, братец! зачем ты спрашиваешь, что я пишу, что я затеваю, что у меня написано? Знаешь ли ты, какой мне делаешь вопрос, и что́ мне твой вопрос? Ты похож на хирурга, который запускает адской свой щупал в пылающую рану и доставляет больному самую приятную забаву: муку.

Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О, не знай его! будь счастлив и не знай его – это одно и то же, это нераздельно. Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием. Боже, да будет все это к добру! Произнеси и ты за меня такую молитву. Я знаю, ты любишь меня, как люблю тебя я, и, верно, твоя душа почует мое горе. Извини меня перед Максимовичем, что я не могу ничего дать

ему, у меня ничего нет, ничего совершенно для альманаха[720], исключая разве двух начал двух огромных творений[721], на которых лежит печать отвержения и которых я не смею развернуть. Мне жаль, очень жаль, что я не имею ничего дать ему. Еще более будет жаль, если он подумает, что я не хочу дать ему. Где-то Смирдин выкопал одну повесть мою[722], и то в чужих руках, писанную за царя Гороха. Я даже не глядел на нее, впрочем, она не годится для альманаха на 1834-й год, я отдал ее ему.

Напиши мне, как ты теперь проводишь день твой, что и каким образом происходит у тебя в доме. Это меня займет, я воображу, что живу у тебя и вижу тебя. Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем думаю, и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине. Любезному земляку Максимовичу поклон.

Затем, умоляя, да будешь ты здоров и также вечно деятелен, целую тебя и остаюсь

твой вечно *Гоголь*.

Адрес мой: в Малой Морской в доме под № 97, Лепена.

Гоголь – Погодину М. П., 11 января 1834

11 *января 1834 г. Петербург* [723]

Генварь 11.

Эге, ге, ге, ге!.. Уже 1834-го захлебнуло полмесяца! Да, давненько! Много всякой дряни уплыло на свете с тех пор, как мы в последний раз перекинулись жиденькими письмами, а еще больше с тех пор, как показали друг другу свои фигуры!

Поздравил бы тебя с новым годом и пожелал бы... да не хочу: во-1-х, потому, что поздно, а во-2-х, потому, что желания наши гроша не стоят. Мне кажется, что судьба больше ничего не делает с ними, как только подтирается, когда ходит в нужник.

До сих пор мне все желания не доставили алтына.

Счастлив ты, златой кузнечик[724], что сидишь в новоустроенном своем доме, без сомнения холодном. (NB: Но у кого на душе тепло, тому не холодно снаружи.) Рука твоя летит по бумаге; фельдмаршал твой бодрствует

над ней; под ногами у тебя валяется толстый дурак, то есть первый № смирдинской «Библиотеки»[725]... Кстати о «Библиотеке». Это довольно смешная история. Сенковский очень похож на старого пьяницу и забулдыжника, которого долго не решался впускать в кабак даже сам целовальник, но который, однако ж, ворвался и бьет очертя голову спьяна сулеи, штофы, чарки и весь благородный препарат.

Сословие, стоящее выше Брамбеусины, негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки; сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директоры департаментов читают и надрывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: «Сукин сын, как хорошо пишет!» Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать. Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства. Смирдина капитал растет. Но это еще все ничего. А вот что хорошо. Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. Натурально, что если

все так будут кротки, как почтеннейший Фадей Венедиктович[726] (которого лицо очень похоже на лорда Байрона, как изъяснялся не шутя один лейб-гвардии Кирасирского полка офицер[727]), который объявил, что он всегда за большую честь для себя почтет, если его статьи будут исправлены таким высоким корректором, которого «Фантастические путешествия» даже лучше его собственных[728]. Но сомнительно, чтобы все были так робки, как этот почтенный государственный муж.

Но вот что плохо, что мы все в дураках! В этом и спохватились наши тузы литературные, да поздно. Почтенные редакторы зазвонили нашими именами[729], набрали подписчиков, заставили народ разинуть рот и на наших же спинах и разъезжают теперь. Они поставили новый краеугольный камень своей власти. Это другая «Пчела»! И вот литература наша без голоса! А между тем наездники эти действуют на всю Русь. Ведь в столице нашей чухонство, в вашей купечество, а Русь только среди Руси. Но прощай. Скоро ли тебя поздравить отцом и каким? Умного дитища, то есть книжного? или такого, которое будет

со временем умно, то есть того, которое не пером работается?

Твой *Гоголь*.

Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную[730], и та и другая у меня начинает двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер, а без того я бы был страх сердит на все эти обстоятельства.

Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории. Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна! Кстати: я прочел только изо всего № 1-го Брамбеуса твои «Афоризмы»[731]. Мне с тобою хотелось бы поговорить о них. Я люблю всегда у тебя читать их, потому что или найду в них такие мысли, которые верны и новы, или же найду такие, с которыми хоть и не соглашусь иногда, но они зато всегда наведут

меня на другую новую мысль. Да печатай их скорей!

Поцелуй за меня Киреевского! Правда ли, что он печатает русские песни?[732]

Поклон всем нашим.

Гоголь – Погодину М. П., 2 ноября 1834

2 *ноября 1834 г. Петербург* [733]

Ноябрь 2. СПб.

Письмо твое я получил вчера[734]. Очень рад, что московские литераторы наконец хватились за ум, и охотно готов с своей стороны помогать по силам. Только я бы вот какой совет дал: журнал наш[735] нужно пустить как можно по дешевой цене. Лучше за первый год отказаться от всяких вознаграждений за статьи, а пустить его непременно подешевле. Этим одним только можно взять вверх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой «Библиотеке», которая слишком укрепила за собою читателей своею толщиною. Еще: как можно более разнообразия! и подлиннее оглавление статей! Количеством и массою более всего поражаются люди. Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце. Да и везде недур-

но нашпиговать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз. Эх, жаль, что я не могу для первого листа ничего дать, потому что страшно занят и печатаю кое-какие вещи[736]! но как только обстрою дела свои, то непременно пришлю что-нибудь. Впрочем, оно и лучше, что я теперь ничего не даю: теперь мое имя не слишком видно; но после напечатанья моих небольших мараканий все-таки лучше. Охота тебе заниматься и возиться около Герена[737], который далее своего немецкого носа и своей торговли ничего не видит. Чудной человек: он воображает себе, что политика какой-то осязательный предмет, господин во фраке и башмаках, и притом совершенно абсолютное существо, являющееся мимо художеств, мимо наук, мимо людей, мимо жизни, мимо нравов, мимо отличий веков, не стареющее, не молодеющее, ни умное, ни глупое, черт знает что такое. Впрочем, если ты займешься Гереном, с тем чтоб развить и переделать его по-своему, – это другое дело. Я тогда рад, и мне нет дела до того, какое название носит книга. Пять-шесть мыслей новых уже для меня искупают все.

Ну, а известное дело, куда ты сунешь перо свое, то уже, верно, там будет новая мысль. Я готов плюнуть в башку глупому вашему Каченовскому за эдакие проказы. Мне нужны твои «Афоризмы». Это просто досадно.

Но обратимся к журналу. Как ему кличка? Да кто будет более всего работать? Киреевский будет? Пожалуйста, работайте не так, как вы всегда работаете. Что за лентяи эти москвичи! Ни дать ни взять, как наши малороссияне. Мне кажется, вам жены больше всего мешают. Ради бога, не забывайте, что и кроме жен есть еще такие вещи на свете, о которых нужно подумать. Печатаешь ли ты Демишеля[738], которого перевели твои студенты? Пожалуйста, печатай скорее хоть новую историю, которую ты, как говоришь, составил. Я сам замышляю дернуть историю средних веков, тем более что у меня такие роятся о ней мысли... Но я не раньше как через год приймусь писать.

Прощай, целую тебя пятьдесят пять раз.

Твой *Г.*

Гоголь – Погодину М. П., 14 декабря 1834

14 *декабря 1834 г. Петербург* [739]

Декабря 14. СПб.

Я получил письмо твое от ноября 20[740]. Об Герене я говорил тебе в шутку, между нами; но я его при всем том гораздо более уважаю, нежели многие, хотя он и не имеет так глубокого гения, чтобы стать наряду с первоклассными мыслителями. И я бы от души рад был, если бы нам подавали побольше Геренов. Из них можно таскать обеими руками. С твоими мыслями я уже давно был согласен. И если ты думаешь, что я отсекаю народы от человечества, то ты не прав. Ты не гляди на мои исторические отрывки[741]: они молоды, они давно писаны; не гляди также на статью «О средних веках» в д<епартаментско>м журнале. Она сказана только так, чтобы сказать что-нибудь, и только раззадорит несколько в слушателях потребность узнать то, о чем еще нужно рассказать, что оно такое. Я с каждым месяцем, с каждым днем вижу новое и вижу свои ошибки. Не думай также, чтобы я старался только возбудить чувства и воображение. Клянусь, у меня цель высшая. Я, может

быть, еще мало опытен, я молод в мыслях, но я буду когда-нибудь стар. Отчего же я через неделю уже вижу свою ошибку? Отчего же передо мною раздвигается природа и человек? Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете[742]. Никто меня не слушает, ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художескую отделку, а тем более желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю в даль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы одно студентское существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург. Но в сторону все это.

Ты спрашиваешь, что я печатаю. Печатаю я всякую всячину[743]. Все сочинения, и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические, известные уже и неизвестные. Я прошу только тебя глядеть на них поснисходительнее. В них много есть молодого.

Я рад, что ты наконец принялся печатать[744]. Только мне все не верится. Ты мастер большой надувать. Пришли, пожалуйста, лекции хоть в корректуре. Мне они очень нужны, тем более что на меня взвалили теперь и древнюю историю, от которой я прежде было и руками и ногами, а теперь постановлен в такие обстоятельства, что должен принять поневоле после нового года. Такая беда! а у меня столько теперь дел, что некогда и подумать о ней.

Кланяйся от меня всем, да скажи журналистам[745], чтобы думали о том только, чтобы потолще книжки были и побольше было в них всякой пестроты. А в веленевой бумаге, ей-богу, не знают толку наши читатели.

Ну, прощай. Принимаюсь опять за заботы и хлопоты. Пиши скорее, хоть немного, да скорее: страниц пять, а больше и не нужно.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 9 февраля 1835

9 *февраля 1835 г. Петербург* [746]

Я только сегодни получил твое письмо[747], то есть 9 февраля. Ты слишком крупно вы-

ставил титул Смирдина, и он распечатал его, принявши за адресованное к нему. Я рад по самое нельзя твоему приезду, хотя вместе с тем и досадую на проклятый случай, заставивший тебя сделать это[748]. Я живу теперь в тесноте (выгнат из прежней квартиры по случаю переделки дома). Но если тебе не покажется беспокойным чердак мой, то авось как-нибудь поместимся. Впрочем, ведь мы люди такого сорта, которых вся жизнь протекает на чердаке. Прощай! Целую тебя и жду с нетерпением твоего приезда.

Твой *Гоголь*.

Издатели «Московского наблюдателя» ничего не умеют делать. Разошлите объявления огромными буквами при «Московских ведомостях» и при нескольких номерах и говорите смело, что числом листов не уступит «Библиотеке для чтения», а содержанием будет самый разнообразный.

Из «Вечеров» ничего не могу дать, потому что «Вечера» на днях выходят[749]. Но я пишу для «Московского наблюдателя» особенную повесть[750].

Гоголь – Погодину М. П., 20 февраля 1835

20 *февраля 1835 г. Петербург* [751]

Февраль 20. СПб.

Письмо твое от 7 февраля[752] я получил от Смирдина сегодня, то есть 20 числа. Нельзя ли вперед адресовать прямо на мою квартиру? Что за лень такая! В Мал. Морскую, в дом Лепена. Хорош и ты. Как мне прислать вам повесть, когда моя книга уже отпечатана[753] и завтра должна поступить в продажу. Мерзавцы вы все, московские литераторы. С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать![754] Как же вы можете полагаться на отдельных сотрудников, когда не в состоянии положиться на своих. Страм, страм, страм! Вы посмотрите, как петербургские обделывают свои дела. Где у вас то постоянство и труд, и ловкость, и мудрость? Смотрите на наши журналы: каждый из них чуть ли не сто лет собирается прожить. А вам что? Вы сначала только раззадоритесь, а потом чрез день и весь пыл ваш к черту. И на

первый номер до сих пор нет еще статей. Да вам должно быть стыдно, имея столько голов, обращаться к другим, да и к кому же? ко мне. Но ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, середу, четверг и другие дни. Если вас и дело общее не может подвинуть, всех устремить и связать в одно, то какой в вас прок, что у вас может быть? Признаюсь, я вовсе не верю существованию вашего журнала более одного года. Я сомневаюсь, бывало ли когда-нибудь в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 есть событие вовсе не национальное[755] и что Москва невинна в нем. Боже мой! столько умов, и все оригинальных: ты, Шевырев, Киреевский. Черт возьми, и жалуются на бедность. Баратынский, Языков – ай, ай, ай! Ей-богу, вы все похожи на петербургских ширамижников, шатающихся по борделям с мелочью в кармане, назначенною только для расплаты с извозчиками. Скажи, пожалуйста, как я могу работать и трудиться для вас, когда знаю, что из вас никто не хочет трудиться. Разве жар мой не должен есте-

ственным образом охладеть? Я поспешу сколько возможно скорее окончить для вас назначенную повесть, но все не думаю, чтобы она могла подоспеть раньше 3-й книжки. Впрочем, я постараюсь как можно скорее. Прощай. Да ожидать ли тебя в Петербург или нет?

Гоголь – Погодину М. П., 18 марта 1835

18 *марта 1835 г. Петербург* [756]

Ну, как ты доехал? Что и как нашел все? Посылаю тебе нос[757]. Да если ваш журнал не выйдет, пришли мне его назад. Обо<...>лись вы с вашим журналом. Вот уже 18 число, а нет и духа[758]. Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкве, то, пожалуй, можно его перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уже выжила из ума.

Кланяйся всем нашим.

Гоголь – Погодину М. П., 17 апреля 1835

17 *апреля 1835 г. Петербург* [759]

1835. Апреля 17.

Сам черт разве знает, что делается с носом! Я его послал как следует, зашитого в клеенку, с адресом в Московский университет. Я не могу и подумать, чтобы он мог пропасть как-нибудь. У нас единственная исправная вещь: почтамт. Если и он начнет заводить плутни, то я не знаю, что уже и делать. Пожалуста, потормоши хорошенько тамошнего почтмейстера. Не спрятался ли он куда-нибудь по причине своей миниатюрности между тучными посылками.

Через две недели буду в Москве.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 6 декабря 1835

6 *декабря 1835 г. Петербург* [760]

1835. Декабря 6. СПб.

Здравствуй, душа моя! Спасибо тебе, что ты приехал и написал ко мне. Но я думал, что ты сделаешь лучше и приедешь прежде в Петербург. Мне бы хотелось на тебя поглядеть и послушать – послушать, что и как было в пути и что Немещина и немцы. Этого мне хотелось потому, что твои глаза ближе к моим, чем кого другого. Но на письме я знаю сам,

что писать об этом слишком громоздко и для нас, людей ленивых, очень скучно. Я жадно читал твое письмо в «Журнале просвещения»[761], но еще хотел бы слушать изустных прибавлений. Уведомь, какие книги привез и что есть такого, о чем нам неизвестно.

Я расплевался с университетом[762] и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнетесь с большею силой и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и

проч. и проч... Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр[763], прикажу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании, а милому Щепкину: что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет, даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьего дни окончить эту пиесу. Той комедии, которую я читал у вас в Москве[764], давать не намерен на театр. Ну, прощай, мой Погодин. Обнимаю тебя очень крепко! Поцелуй за меня ручку супруги своей.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 21 февраля 1836

21 *февраля 1836 г. Петербург* [765]

21 февраля 1836. СПб.

Никак не могу разрешить причины твоего молчания. Два письма я писал к тебе, и ни на одно ответа. Жив ли ты, здоров ли ты, что делаешь – я решительно ничего не знаю. Конечно, между нами, людьми пишущими, леность извинительна, но все же нужно знать меру. Грех тебе, право, грех! Загладь хоть теперь его и напиши строчку.

Я теперь занят постановкою комедии[766]. Не посылаю тебе экземпляра потому, что беспрестанно переправляю. Не хочу даже посылать прежде моего приезда актерам, потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучивать их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве[767]. Не можешь ли прислать мне каталога книг, приобретенных тобою и не приобретенных, относительно славянщины, истории и литературы – очень обяжешь – и, если можно, в

двух-трех словах означить достоинство каждой и в каком отношении может быть полезна.

Новостей особенных здесь никаких. О журнале Пушкина, без сомнения, уже знаешь[768]. Мне известно только то, что будет много хороших статей, потому что Жуковский, князь Вяземский и Одоевский приняли живое участие. Впрочем, узнаешь подробнее о нем от него самого, потому что он, кажется, на днях едет к вам в Москву.

Прощай! Хоть что-нибудь напиши. Авось-либо это письмо мое будет счастливее других и дождется ответа.

Твой *Гоголь*.

Погодин М. П. – Гоголю, 6 мая 1836

6 *мая 1836 г. Москва* [769]

Мая 6-го 1836 г.

Ведь это, братец, ни на что не похоже! Я писал к тебе писем пять, неужели ни одно не дошло! Фу ты, дьявольщина какая! И сам ты виноват! Никогда не можешь прислать адреса! На имя Смирдина я не мог писать, ибо ни ты, ни я с ним не имеем дела. Я и писал все с

попутчиками, а они, проклятые, видно... Я еще с одними после послал целый каталог книг, сделанный для меня Шафариком о славянских племенах. Но приезжай ты к нам, и непременно. Щепкин плачет. Ты сделал с ним чудо. При первом слухе о твоей комедии на сцене[770] он оживился, расцвел, вновь сделался веселым, всюду ездил и рассказывал. Надо почтить это участие таланта. Ставить пиесу я сам тебе не советую: я как-то с год был знаком с кулисным миром, впрочем как постороннее лицо, и убедился, что ничего не может быть мучительнее, как кланяться директорам, инспекторам, спорить со всеми этими сюжетами и против режиссера, машиниста и даже суфлера, и все эти господа думают еще, что они одолжают бедного автора, выучивая роль и ставя стул и проч. Нет, черт их возьми: не ставь ни за что никакой пиесы, если не хочешь попортить себе кровь, но ты должен непременно раз прочесть пиесу актерам, а там пусть делают что хотят.

Итак, приезжай непременно и поскорее. Мы все просим тебя.

Еще говорят, ты сердишься на толки[771].

Ну как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: «Да! нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься?! Ну не смешон ли ты? Я расхохотался, читая в «Пчеле», которая берется доказать, что таких бессовестных и наглых мошенников нет на свете[772]. «Есть, есть они: вы такие мошенники!» – говори ты им и отворачивайся с торжеством. Вот за это мне надо тебя покупать в стиксовой воде, которая протекает по моим нынешним владениям[773].

Еще я расскажу тебе о чужих краях, и это будет полезно для твоего путешествия[774]. Словом, ты вместо ответа будешь сам в Москву, прямо ко мне, на Девичье поле, близ монастыря, на левой руке против будки, в дом бывший князя Щербатова, а ныне твоего *Погодина.*

Гоголь – Погодину М. П., 10 мая 1836

10 *мая 1836 г. Петербург* [775]

Мая 10, 1836. СПб.

Я виноват, очень виноват, мой добрый, мой милый Погодин, что бранил тебя за твое невнимание к моим письмам[776]. Дело теперь объясняется само собою: всему виноваты знакомые и приятели, через которых ты писал и которые имели обыкновение проживать на дороге у знакомых или жить в Петербурге по целому месяцу и потом уже припомин<али> о твоих письмах. Теперь только я получаю письма твои, писанн<ые> в феврале, генваре и марте. Прости меня за то, что я напустился на тебя. На что и как теперь отвечать тебе? Многие вопросы твои уже потеряли свою современность. После разных волнений, досад и прочего мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройность и порядок. Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу[777], там раз-

мыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов – тысяча честных людей сердится, – говорит: мы не плуты. Но бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с бóльшим размышлением. Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удаст-

ся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе. Может быть, там увидимся с тобою, если только это правда, что ты тоже думаешь ехать. Отправляюсь или в конце мая, или в начале июня. Письмо твое еще может застать меня. Только, пожалуйста, не пиши чрез приятелей: они чрезвычайно долго задерживают письма. Лучше по почте, хотя и за почтой нашей, которая до сих пор была пример исправности, начали водиться грехи. Я писал к тебе три письма и адресовал их прямо в университет. Кажется, довольно точный адрес, а между тем, как вижу из слов твоих, ты ни одного не получил. Это письмо я вкладываю в письмо к Щепкину. Авось-либо это будет вернее. Прощай.

Гоголь – Погодину М. П., 15 мая 1836

15 *мая 1836 г. Петербург* [778]

Мая 15. СПб.

Я получил письмо твое[779]. Приглашение твое убедительно, но никаким образом не могу: нужно захватить время пользования на водах. Лучше пусть приеду к вам в Москву обновленный и освеженный. Приехавши, я про-

живу с тобою долго, потому что не имею никаких должностных уз и не намерен жить постоянно в Петербурге. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель, Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении,

зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пиесы; меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны, но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее – и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту – значит, в переводе, опозорить все сословие и вооружить против него других или

его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец... но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Все, что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня.

Целую тебя несчетно. Пиши ко мне. Еще успеешь.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 10(22) сентября 1836

10 *(22) сентября 1836 г. Женева* [780]

Женева. Сентября 22/10.

Здравствуй, мой добрый друг! как живешь? что делаешь? скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь тебе, если занят делом! Пусть весело горит пред тобою свеча твоя!.. Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут... Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный вкус. Я не пишу тебе ничего о моем путешествии. Впечатления мои уже прошли, уже я привык к окружающему, и потому описание его сомневаюсь, чтобы было любопыт-

но. Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старые готические церкви. Осень наступила, и я должен положить свою дорожную палку в угол и заняться делом[781]. Думаю остаться или в Женеве, или в Лозанне, или в Веве, где будет теплее (здесь нет наших теплых домов). Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта, а там, может быть, за перо.

Письма адресуй ко мне в Лозанну. Ты должен писать ко мне теперь чаще. Тебе должно быть известно, что значит получить письмо из родины. Прощай! Обнимаю тебя. Уведоми меня о том, что говорят обо мне в Москве. Я не имею до сих пор ни об чем никаких известий. Ни одного русского журнала не вижу. До другого письма!

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 16(28) ноября 1836

16 *(28) ноября 1836 г. Париж* [782]

Ноября 28.

Письмо твое я получил в Париже. Холера, свирепствующая в Италии, не пустила меня

туда. Я сижу здесь и, думаю, пробуду всю зиму. Спасибо тебе за письмо и уведомление о себе. Ты все тот же, деятельный, трудолюбивый. Пошли тебе бог успехов во всем. Благодарных будет тебе, верно, много. Но берегись слишком увлечься и рассеяться многосторонностью занятий. Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее, а самый труд будет проникнут тем одушевлением, которое недоступно для истрачивающего талант свой на повседневное. Я не одобряю предприятия твоего издавать журнал по задуманному тобою плану[783]. Дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали! Те, которых издатели шли очертя голову, напролом всему, надевши на себя грязную рубаху ремесленника, предполагая заранее, что придется мараться и пачкаться без счету. Необходимого для этого шарлатанства и отваги у тебя нет. Конечно, можно предположить, что с прямою и твердою волею, совестью можно противустать (хотя и неприлично употреблять умные речи с кабачными бойцами), но в таком случае нужно

неослабного внимания, нужно все бросить и издавать один журнал, жить и говорить только этим журналом. На это, я знаю, тоже недостанет у тебя упрямой воли и терпения. Я могу уже судить из самого письма твоего: ты замышляешь с генваря начать его издание, а между тем в мае думаешь ехать за границу. Стало быть, он не очень горячо будет издаваться. Повести, конечно, могли бы доставить небольшое развлечение зевающим, но где их набрать? У меня нет ни одной, и не подымется больше рука моя писать их. Пиши их тот, кому нечего больше писать. Когда я писал мои незрелые и неокончательные опыты, – которые я потому только назвал повестями, что нужно же было чем-нибудь назвать их, – я писал их для того только, чтобы пробовать мои силы и знать, так ли очинено перо мое, как мне нужно, чтобы приняться за дело. Видевши негодность его, я опять чинил его и опять пробовал. Это были бледные отрывки тех явлений, которыми полна была голова моя и из которых долженствовала некогда создаться полная картина. Но не вечно же пробовать. Пора наконец приняться за дело. В ви-

ду нас должно быть потомство, а не подлая современность.

Вещь, над которой сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей «Мертвые души» – вот все, что ты должен покамест узнать об ней. Если бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем.

Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания. Неперескочимая стена стала между им и мною. Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла. О, какое презренное, какое низкое состояние... дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества... и перед этими людьми... мимо, мимо их! и доныне недостает духа назвать их. Не тревожь меня мелочными просьбами о статейках «журнальных». Я не могу и не в силах заняться ими. Никакие толки, ни добрая, ни

худая молва не занимает меня. Я мертв для текущего. Не води речи о театре: кроме мерзостей, ничего другого не соединяется с ним. Я даже рад, что вздорную комедию[784], которую я хотел было отдать в театр, зачитал у меня здесь один земляк, который, взявши ее на два дни, пропал с нею как в воду и я до сих пор не знаю о теперешнем ее местопребывании. Сам бог внушал ему это сделать. Эта глупость не должна была явиться в свет. Если б я услышал, что что-нибудь мое играется или печатается, то это было бы мне только неприятно, и больше ничего. Я вижу только грозное и правдивое потомство, преследующее меня неотразимым вопросом: «Где же то дело, по которому бы можно было судить о тебе?» И чтобы приготовить ответ ему, я готов осудить себя на все – на нищенскую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерываемое уединение, которое отныне я ношу с собою везде: было ли бы это в Париже или в африканской степи. Пиши ко мне. Есть несколько друзей, от которых письма – что благоухающий ветер с родины. Зловоние не долетит ко мне. Все, что относится собственно к тебе, литератур-

ное и не литературное, для меня дорого, и ты меня этим обяжешь. О Париже тебе ничего не пишу. Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая, непорочная душа умеет только беседовать с богом. Прощай! обнимаю тебя!

Адрес мой: Place de la Bourse, № 12.

Гоголь – Погодину М. П., 18(30) марта 1837

18 *(30) марта 1837 г. Рим* [785]

Март 30. Рим.

Я получил письмо твое в Риме[786]. Оно наполнено тем же, чем наполнены теперь все наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина.

Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой[787] есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине! Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этою

потерею. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? Несмотря на то, что сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант. О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или, ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?

Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого мо-

гу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей – никогда. Мои страдания тебе не могут <быть> вполне понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы. Сложить мне голову свою не на родине.

Если ты имеешь желание ехать освежиться и возобновить свои силы, увидеть меня – приезжай в Рим. Здесь мое всегдашнее пребывание. На июнь и июль еду в Германию на воды и, возвратившись, провожу здесь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир.

Напиши мне что-нибудь про ваши московские гадости. Ты видишь, как сильна моя любовь, даже гадости я готов слушать из родины.

Прощай! твой *Гоголь*.

Мой адрес: Via di Isidoro, 17, casa Giovanni Massuci.

Погодин М. П. – Гоголю, сентябрь 1838

Сентябрь 1838 г. Москва [788]

Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги[789], посылаю тебе две тысячи рублей ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет.

Гоголь – Погодину М. П., 23 апреля (5 мая) 1839

23 апреля (5 мая) 1839 г. Рим [790]

Рим. 5 мая.

Что ты поделываешь, жизненочек мой, здоров ли? и весело ли похаживаешь по Парижу?[791] Мне до сих пор скучно по тебе. Комната твоя до сих пор еще страшит меня своею пустотою. Пора бы, впрочем, кажется, иметь мне от тебя письмо. Кое-что иногда слышу от Шевыревой, то есть что такого-то числа был ты в таком городе. И что с вами

ехала в дилижансе собака, попугай и черепаха. Больше ничего не знаю. Я получил письмо на днях от Шафарика, с книгами, которые он просит по прочтении возвратить, что будет исполнено с аккурат<ностию>. При этом прислал мне в презент свои «Старожитности»[792]. Я их читаю и дивлюсь ясности взгляда и глубокой дельности. Кое-где я встречал мои собственные мысли, которые хранил в себе и хвастался втайне, как открытиями, и которые, натурально, теперь не мои, потому что уже не только образовались, но даже напечатались прежде моего. И я похож теперь на Ефимова[793], который показывал тебе египетские древности, в уверенности, что это его собственные открытия, потому только, что он имеет благородное обыкновение, свойственное, впрочем, всем художникам, не заглядывать в книги.

Снегирев мне полезен[794]. Он, несмотря на охоту завираться и беспрестанно глядеть по сторонам дороги, вместо того чтобы идти по ней прямо, говорит много нужного при всем том. Иногда выкопает такую песню, за которую всегда спасибо. Есть в русской поэ-

зии особенные, оригинально-замечательные черты, которые теперь я заметил более и которых, мне кажется, другие не замечали, по крайней мере те, с которыми я говорил об этом предмете когда-либо. Эти черты очень тонки, простому глазу не заметны, даже если бы указать их. Но, будучи употреблены как источник, как золотые искры рудниковых глыб, обращенные в цветущую песнь языка и поэзии нынешней доступной, они поразят и зашевелят сильно. Но об этом можно поговорить. Сахаров[795], несмотря на свое доброе намерение, глуп. Он должен быть молодой человек. На вещи, на которые нужно глядеть простыми глазами, он как <будто> глядит в черт знает какие преогромные очки, а главное, теперь страшно важничает, приступая к какому-нибудь делу. Начал полным трактатом о славянской мифографии, а предмет этой мифографии «Абевега славянских суеверий»[796] да одна журнальная статейка на двух страницах. Наговорившись о них досыта, я думаю: «Ну, теперь, брат, подавай-ка нам собственные свои мысли», – а собственных-то он и позабыл, их-то и не сказал – вместо этого

следует описание игры в горелки, где говорит, что она производится на зеленом лугу в приятном месте и что нет счастливее возраста юности и любви, и следуют о любви и о подобных предметах страницы. Меня остановила мысль или, лучше сказать, вздор этой мысли: что будто бы нам нужно отвергнуть всех богов, о которых не говорит Нестор, что они или составлены после, или были у других народ<ов>, к которым он причисляет и других славян. Но Нестор – монах и летописец текущих событий. Ему нет нужды перечислять всех богов. Притом, как христианин и монах, он не мог углубляться в предмет презрительный и неприличный для христианина в то время. Но об этом поговорим тоже. Ничего я до сих пор не сделал для Колара. Виделся наконец с Демидовым[797], но лучше, если бы не делал этого. Чудак страшный! Его останавливает что бы ты думал? Что скажет государь? Что мы переманиваем австрийского подданного. Из этого-де могут произойти неприятности между двумя правительствами. Я толковал ему, что мы не переманиваем, но что это вспоможение, которое оказать ни-

кому не может быть воспрещено, но заметил, что мои убеждения были похожи на резинный мячик, которым сколько ни бей в стену, он от нее только что отскакивает. Словом, это меня рассердило, и я не пошел к нему на обед, на который он меня приглашал на другой день. А Вельегурский хочет, и я с этим согласен: он хочет написать об этом к Уварову и вздрочить его честолюбие. Но я теперь об этом ему не напоминаю, потому что он ходит как убитый. Иосиф, кажется, умирает решительно[798]. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо. Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи. Писем к тебе на почте больше нет. Я справлялся постоянно. Кланяется тебе Грифи. Он сегодня мне объявил после многих «о, о, о, о», что занимается очень важными двумя сочинениями, которые печатает. Одно – сравнен<ия> русских с австрияками, в которых говорится, что австрияки смотрят только на одни запятые, а русские не смотрят. Другое сочинение о Рафаэле, о сибиллах, кажется, их толкование мифическое. Una cosa,

говорит, affata non scritta mai[799]. Я думаю, что эти два сочинения будут совершенно одинаких достоинств. Здоровье мое так же неопределенно и глупо и странно, как и при тебе. Живу надеждою на Мариенбад, а с ним вместе и на приятность с тобою увидаться[800]. Прощай! Обнимаю вас обоих. Обними также за меня Шевырева. Прощай, мой ненаглядный. Я думаю, другого письма нечего писать к тебе. Оно тебя, верно, не найдет. А ты недурно, коли строки две пришлешь. До свиданья!

Гоголь – Погодину М. П., 4 ноября 1839

4 *ноября 1839 г. Петербург* [801]

1839. Ноября 4.

Я к тебе собирался писать, душа моя и жизнь, прежде, но отсрочивал, покамест не пойдут успешно мои дела, чтобы было о чем уведомить[802]. Но до сих пор все еще туго. По поводу моих сестер столько мне дел и потребностей денежных, как я никак не ожидал: на одну музыку и братые им уроки нужно заплатить более тысячи, да притом на обмундировку, то, другое, так что у меня голова кружится.

Надеюсь на Жуковского, но до сих пор ника<кого> верного ответа не получил[803]. Правда, что время не очень благоприятное. Твое письмо или, лучше, два пакета я получил в один день. Нисколько не одобряю твоего намерения издавать прибавления к «Москов<ским> ведомостям» и даже удивляюсь, как тебе пришлось это. Уж коли выходить в свет, да притом тебе и в это время, то нужно выходить сурьезно, дельно, увесисто, сильно. Уж лучше, коли так, настоящий, сурьезный журнал. Но что такое могут быть эти прибавления? Как бы то ни было, мелкие статейки, всякий дрязг! Если ж попадет между ними и значительная статья, то она будет совершенно затеряна. Притом на них издержать и первый пыл приступа, и горячую охоту начала, и, наконец, статьи, которые, накопившись, дали бы полновесность и гущину будущему дельному журналу. И охота же тебе утверждать самому о себе несправедливо обращающееся в свете о тебе мнение, что не способен к долгому и истинно сурьезному труду, а горячо берешься за все вдруг, и т<ому> подоб<ное>. Ради бога, подумай хорошенько и рассмотри со

всех сторон. Помни твердо, что тебе нужно таким образом теперь начать, чтобы было уже раз навсегда, чтобы это было неизменно и неотразимо[804]. В нынешнем твоем намерении, я знаю, ты соблазнился кажущеюся при первом взгляде выгодою, и, не правда ли, тебе кажется, что листки будут расходиться в большом количестве. Клянусь, ты здесь жестоко обманываешь<ся>. Если бы ты имел место в самых «Московских ведомостях», это другое дело. У тебя разойдется много. Но ведь ты издаешь за особенную цену, отдельную от ведомостей. Из получателей «Московских ведомостей» 15<-ти> т<ысяч> человек только, может быть, 50 таких, которые имеют литературные требования. Все же прочие ни за что не прибавят 10 рублей, будь уверен. Если ж ты надеешься на читателей, не подписыва<ющихся> на «Московские ведом<ости>», еще более обманешься. Уже самое имя: «Прибавл<ения> к «Московским ведомостям» никого не привлечет. Тут никакого нет электрического, даже просто эффектного потрясения. К тому ж это не политические, исполненные движения современного листки, которые од-

ни могут только разойтиться, но никогда еще не было примеру, чтобы листки, посвященные собственно литературе, крохотная литературная газета имела у нас какой-нибудь успех. Конечно, есть вероятность успеха и подобного предприятия, но только когда? Тогда, когда издатель пожертвует всем и бросит все для нее, когда он превратится в неумолкающего гаэра, будет ловить все движения толпы, глядеть ей безостановочно в глаза, угадывать все ее желания и малейшие движения, веселить, смешить ее. Но для всего этого, к счастию, ты не способен. А без того что? Неужели ты думаешь, что статьи солидные, будучи помещены в газетные листки, займут кого-нибудь и надолго останут<ся>? Их жизнь будет жизнь газеты, толпе по прочтении пойдут на известное употребление, вся разница, что, может быть, даже еще прежде прочтения. Статья умная, сильная, глубокая в ежедневном листке! Неужели тебе не бросается это ярко в глаза? Это все равно, что Пушкин на вечере у Греча между Строевым и прочим литературным дрязгом. Но и это сравнение еще не сильно и не подходит к настоящей ис-

тине. Спрашивается, какая надобность литературе быть еженедельной и где нарастут новости в течение трех, четырех дней у нас, и еще в нынешнее время? А без современности зачем листок? Ты сам знаешь, что у нас книжное чтение больше в ходу, чем журнальное, и что журналы, для того чтобы расходиться, принуждены наконец принимать наружность книг (к сожалению, только в буквальном значении). Да и укажи мне где-либо в каком бы ни было государстве, чтобы была в ходу какая-нибудь чисто литературная газета. Все Revue[805] парижские издаются книжками. Что должно быть определенно для переплета, то для переплета, что для подтерок, то для подтерок. Не смешивай же двух этих вещей, никогда не соединяющихся вместе. Наперворот ничего не можешь сделать. Нет, ты просто не рассмотрел этого дела. Я никогда не думал от тебя услышать это. Ты меня просто озадачил. Нет, во что бы то ни стало, но я послан богом воспрепятствовать тебе в этом. Как ты меня охладил и расстроил этим известием, если б ты только знал. Я составлял и носил в голове идею верно обдуманного,

непреложного журнала, заключителя в себе и сеятеля истин и добра. Я готовил даже и от себя написать некоторые статьи для него, пользуясь временем весны и будущего лета, которые будут у меня свободны, – я, который дал клятву никогда не участвовать ни в каком журнале и не давать никуда своих статей. А теперь и я опустился духом: ты начнешь эти прибавления, ты оборвешься и подорвешься на них и охладеешь потом для издания сурьезного предприятия. Ради бога, рассмотри внимательно и основательно и со всех сторон это дело. Что это у тебя за дух теперь бурлит, неугомонный дух, который так вот и тянет тебя на журнал, когда ты еще не обсмотрелся даже вокруг себя со времени своего приезда. Нет, это будет лежать на моей совести. Я буду просить тебя на коленях, буду валяться у ног твоих. Жизнь и душа моя, ты знаешь, что ты мне дорог, что ты моя жизнь точно. Не будет, клянусь, не будет никакого успеха в твоем деле. И я не вынесу, видя твои неудачи, и это уже заранее отравит мое пребывание в Москве и на меня в состоянии навести неподвижность. Отдайся мне. Обсудим, обсмотрим

хорошо, употребим значительное время на приуготовление, потому что дело, точно, значительно, и, клянусь, тогда будет хорошо. Я много говорил, но, кажется, все еще мало. Я здесь пробуду еще полторы недели и к 20 ноября непременно в Москве вместе с Аксаковым.

Мои сестры очень милы и добры, и я рад очень, что беру их теперь, а по каким причинам, я тебе скажу после. Поцелуй 50 раз ручки Елисавете Васильевне. Если б ты знал, как я без вас соскучил. Несмотря на многих моих истинных друзей, делающих мое пребывание здесь сносным, несмотря на это, не вижу часу ехать в Москву и весь бы летел к вам сию же минуту.

Как я рад, если ты поместишь сестер возле меня в комнатке наверху. Мне, признаюсь, очень было совестно лишить Елисавету Фоминишну на время всех удобств и занять ее комнату, но как ты сказал, что она с охотою уступает, то я в восторге. Они будут покамест переводить и работать для будущего журнала и для меня. Я хочу их совершенно приучить к трудолюбивой и деятельной жизни. Они

должны быть готовы на все. Бог знает какая их будущность ждет.

Прощай, ангел мой. Пиши и дай мне скорее твой голос и ответ. Ох, если бы ты знал, как мне хочется скорее развязаться с Петербургом. Боже, боже, когда я увижу час своего отъезда! Умираю от нетерпения. Но все идет еще довольно дурно. Мои дела клеятся плохо. Аксаков, кажется, не думает скоро управиться тоже с своими. Боже, если я и к 20 ноябрю не буду еще в Москве[806]. Просто страшно. Целую и обнимаю тебя миллион раз, ангел мой! Будь здоров, и да хранит тебя во всем вышняя сила. Душа моя, как я без тебя соскучился!

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 5(17) октября 1840

5 *(17) октября 1840 г. Рим* [807]

Рим. Октября 17.

Не стыдно ли тебе? Потому только, что я не писал к тебе, ты обо мне заключил и подумал... Кто же я? Итак, ты меня не знал даже настолько, чтобы не заключить... Клянусь, я больше вправе на тебя быть сердитым, чем

ты на меня. Итак, если бы, положим, кто-нибудь наврал на меня, рассказал небылицу, не сходную ни с моим характером, ни с образом мыслей, ты бы поверил. Не стыдно ли тебе! Почему я не писал к тебе? Ты бы мог сам найти причину, и именно уже ту, почему, оставшись наедине с самым искреннейшим другом, молчишь с ним по нескольку часов, тогда как говоришь тут же иногда очень бегло и находишь материю для разговора с лицом более посторонним. Уже одну эту причину ты бы должен привести и внутренно извинить меня. Я покорен теперь более, нежели когда-либо, весь расположению душевному, хотя (увы!) оно бывает иногда болезненное. У меня не было тогда душевного расположения писать к тебе, и я не писал. Было один раз расположение писать к тебе, но (боже!) в какую минуту. Я написал, но не послал письма, и хорошо сделал. Но ты ни в каком отношении не должен бы подумать. Пусть бы другой. Другому, может, всякому, кто бы он ни был, я бы скорей простил. Но тебе нет. Я бы привел две-три причины, которые споспешествовали к тому, что я не писал к тебе. Но после этого

объяснения все лишне.

Ну, дай мне свою руку! я тебе прощаю, что ты огорчил меня. Друг мой!.. Боже! не совестно ли тебе... ты многого не понял в некоторых случаях во мне. Ты суровым упреком мужа встретил меня там, где расстроенная душа моя ждала участия нежного, почти женского. Я был болен тогда душою. Теперь тебе самому, может, объясняется много, и ты, может быть, видишь сам, что ты иногда слишком поспешен в заключениях. Но заключение твое последнее поспешнее всех. Ты хотел разом отнять у меня и глубину чувств, и душу, и сердце и назначить мне место даже ниже самых обыкновеннейших людей. Как будто бы это легко, как будто бы это может случиться в природе. И ты в познании сердца челов<еческого> из Шекспира попал в Коцебу. Но ты, верно, этот упрек сделал уже себе, как только взошли тебе на ум наши отношения друг к другу. Целую тебя, и довольно.

Благодарю за известие об Лизе[808]. Яне имел в том сомнения, чтобы она не становилась лучше, но все <же> нельзя, чтобы я был совершенно спокоен насчет <ее>. Есть еще в

характере ее некоторая легкость и что<-то> такое, но жизнь богата испытаниями, которые благотворно освежают и укрепляют, укрепят и ее. В ней недостаток именно того, что есть у сестры ее. Если б и это у ней было, тогда бы я просто закрыл глаза покойно. Анетой я доволен совершенно, и каждое письмо ее делает меня еще довольнее. Как поняла она свое положение! Уже в последний день, который она провела со мною, я прочитал в лице ее решительность и силу и видел в жадности, с какой она меня слушала, что уже с моей стороны сделано все. Начать с того, что она, прежде всего, выздоровела совершенно, сделалась резва, жива и бегает так, что ее трудно удержать. Увидела вдруг, в чем она может быть нужна матери и что делает нехорошо. Наконец, самое главное – умела выйти из круга того, который окружает их, и составить себе круг знакомых мимо этой коры, сквозь которую редкая из женщин продирается. Письма ее наполнены благодарностью ко мне и дышат нежностью. Словом, я покоен как нельзя более за нее. А Лиза – Лиза может сделаться еще лучше, чем теперь, благодаря

обществу, которое ее теперь окружает. Вы, Аксаковы, Раевские – тут, кроме хорошего, натурально, ей ничего нельзя занять. Лиза – золото, если попадется в хорошие руки. Если же в дурные или такие, которых превосходства над собою она не почувствует, то Лизы в несколько дней нельзя будет узнать. Вот почему я подумать не могу без страха, если б ей, не дай бог, случилось жить с матерью и сестрами и еще в такой деревне и круге. Но об этом доволь<но>, все, слава богу, идет с этой стороны очень хорошо.

Рад очень твоему счастию, то есть редким находкам, сделанным тобою[809]. Одною из них ты потчеваешь меня как такою, которая ближе всего лежит ко мне[810], но таким образом, как один раз журавль позвал к себе кума, кажется волка, на обед и велел блюда подавать в сосудах с такими узкими горлами, куда только один журавлиный нос мог просунуться, и кум только нюхал да помахивал хвостом, браня свою толстую морду. Хоть бы какими-нибудь пахучими выписками из нее попользоваться, то есть где пахнет более старина и обряд старинных времен. Еще более я

рад свежести сил твоих, здоровью и наслаждению, посещающему тебя в благих трудах. Счастливец. Да продлит бог до 90-летнего твоего возраста это душевное состояние.

А я – не хотелось бы, о! как бы не хотелось мне открывать своего состояния. И в письме моем к тебе из Вены[811] я бодрился и не дал знать тебе ни слова. Но знай все. Я выехал из Москвы хорошо, и дорога до Вены по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал. Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно, я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное, я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление... Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится

чутко. О! какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет[812]. И я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей.

Но впрочем, как же мне было воздержаться. Разве тому, кто просидел в темнице без свету солнечного несколько лет, придет на ум, по выходе из нее, жмурить глаза, из опасения ослепнуть, и не глядеть на то, что радость и жизнь для него, притом я думал: «Может быть, это только мгновенье, может, это опять скроется от меня, и я буду потом вечно жалеть, что не воспользовался временем пробуждения сил моих». Если бы я хотя прекратил в это время питие вод, но мне хотелось кончить курс, и я думал: «Когда теперь уже я нахожусь в таком светлом состоянии, по окончании курса еще более настроенно будет

во мне все». Это же было еще летом в жар, и нервическое мое пробуждение обратилось вдруг в раздраженье нервическое. Все мне бросилось разом на грудь. Я испугался. Я сам не понимал своего положения. Я бросил занятия, думал, что это от недостатка движения при водах и сидящей жизни. Пустился ходить и двигаться до усталости и сделал еще хуже. Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось. По счастию, доктора нашли, что у меня еще нет чахотки, что это желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв. От этого мне было не легче, потому что лечение мое было довольно опасно, то, что могло бы помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах. О, это было

ужасно, это была та сама<я> тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вельегорского в последние минуты жизни[813]. Вообрази, что с каждым днем после этого мне становилось хуже, хуже. Наконец уже доктор сам ничего не мог предречь мне утешительного. При мне был один Боткин[814], очень добрый малый, которому я всегда останусь за это благодарен, который меня утешал сколько-нибудь, но который сам потом мне сказал, что он никак не думал, чтобы я мог выздороветь. Я понимал свое положение и наскоро, собравшись с силами, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хоть долги мои были выплачены немедленно после моей смерти. Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю,

что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только. Тут мало было перемен воздуха. Все, однако ж, и это сделало на меня действие, и я в Риме почувствовал себя лучше в первые дни. По крайней мере я уже мог сделать даже небольшую прогулку, хотя после этого уставал так, как будто б я сделал 10 верст. Я до сих пор не могу понять, как я остался жив, и здоровье мое в таком сомнительном положении, в каком я еще никогда не бывал. Чем далее, как будто опять становится хуже, и лечение и медикаменты только растравляют. Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот

все мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную. Двух минут я не мог посидеть в комнате, мне так сделалось тяжело, и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя. Друг! вот тебе мое положение. Не хотелось мне, страшно не хотелось открывать его, и долго я писал это письмо, и останавливался, и вновь принимался писать, и уже хотел изодрать его и скрыть все от тебя. Но грех был бы на моей душе.

Со страхом я гляжу на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. Теперь... боже. Сколько пожертвований сделано для меня моими друзьями – когда я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести. Что предо мною впереди? Боже, я не боюсь малого срока жизни, но я был уверен по такому свежему, бодрому началу, что мне два года будет дано плодотворной жизни. И теперь от меня скрылась эта сладкая уверенность. Без надежды, без средств

восстановить здоровье. Никаких известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове[815]. По намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств. Он хотел иметь немца Шадова, директора Дюссельдорфской Академии художеств, которому тоже хотелось, а потом даже хотел предложить Обервеку, чтобы прикрыть натурально свое по этой части невежество и придать более весу своему месту. Но бог с ним, со всем этим. Я равнодушен теперь к этому. К чему мне это послужит? На квартиру да на лекарство разве? на две вещи, равные ничтожностью и бесполезностью. Если к ним не присоединится наконец третья, венчающая все, что влачится на свете.

Часто в теперешнем моем положении мне приходит вопрос: зачем я ездил в Россию? По крайней мере, меньше лежало бы на моей совести. Но как только я вспомню о моих сестрах. – Нет, мой приезд не бесполезен был. Клянусь, я сделал много для моих сестер. Они после увидят это. Безумный, я думал, ехавши

в Россию: «Ну хорошо, что я еду в Россию, у меня уже начинает простывать маленькая злость, так необходимая автору, против того-сего, всякого рода разных плевел, теперь я обновлю, и все это живее предстанет моим глазам». И вместо этого что я вывез? Все дурное изгладилось из моей памяти, даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мне еще более узнать в друзьях моих, и я в моем болезненном состоянии поминутно делаю упрек себе: и зачем я ездил в Россию. Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол[816], ни на воздух, ни на все, глядеть всеми глазами, совершенно на них, глаза мои видят другое, мысль моя развлечена. Она с вами. Боже! Как тяжело мне писать эти строки, я не в силах более. Прощай! Боже, благослови тебя во всех предприятиях и предоставь наконец тебе поле широкое, великое, без препятствий. Ты рожден и определен на большое плаванье. Я хотел было наскоро переписать куски из «Ревизора», исключенные прежде, и другие переделанные, чтобы поскорее хотя его издать и заплатить великодушному, как и

ты, Сергею Тимофеевичу[817], и этого не мог сделать. Впрочем, я соберу все силы и, может быть, на той же неделе управлюсь с этим. Я не имею никаких известий из Петербурга. Напиши. Правда ли, что будто бы Жуковский женится[818]? Я не могу никак этому верить. Прощай. Целую тебя миллион раз! Друг!

Обними Шевырева за меня несколько раз. Я бы писал к нему, но не в силах. К Сергею Тимофеевичу я бы тоже хотел писать... но что мне писать теперь? Я не в силах... Мне бы хотелось скрыть от моих друзей мое положение. Письмо мое издери в куски. Я храбрюсь всеми силами.

Погодин М. П. – Гоголю, 28 ноября 1840

28 *ноября 1840 г. Москва* [819]

1840 г. Ноября 28.

Как я плачу! Виноват, прости меня! Признаюсь – я был огорчен, я негодовал на тебя! Прости меня... Твоя несчастная наружность!.. О сердце человеческое! Ни Шекспир, ни Коцебу не знают тебя! И знают иногда, но чужое, а не свое. И теперь вообрази, я раскаиваюсь, скорблю о тебе, негодую на себя, а все еще мо-

гу, точно с Петром, воскликнуть: «Верую, господи, помози моему неверию!» «Человек есть ложь» – как глубоко сказал это Павел! При таких явлениях я убеждаюсь, что он искуплен, убеждаюсь в первородном грехе. Ну как объяснить иначе такие чужие противные впечатления! И это в сторону!.. Успокойся, успокойся! О, если б ты мне предстал, сложа руки крестом! Твои испытания кончатся, только молись об успокоении.

Я вижу, тебе надо путешествовать, чтоб привести в ровность твой организм. Езди из конца в конец и останавливайся по дороге в городах на неделю – на две и работай.

Надеюсь прислать тебе скоро на дорогу. У меня надежды много на журнал.

Теперь я успокою Лизу[820]. Я послал к тебе через Кривцова ее подушку.

Мы все здоровы и больны только твоей болезнию.

Больше писать теперь не могу. Целую, обнимаю тебя. Успокойся, ради бога, успокойся. Все будет хорошо. Бог посылает испытания. Твой *М. Погодин*.

Гоголь – Погодину М. П., 16(28) декабря

16 *(28) декабря 1840 г. Рим* [821]

Декабрь, 28. Рим.

Утешься! Чудно-милостив и велик бог: я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых душ», вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать первый том, если только дивной силе бога, воскресившего меня, будет так угодно. Многое совершилось во мне в немногое время, но я не в силах теперь писать о том, не знаю почему, может быть, по тому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе ничего такого, что бы оправдало меня перед тобою во многом.

Когда-нибудь в обоюдной встрече, может быть, на меня найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я с чистой откровенностью ребенка поведаю состояние души моей, причинившей многое вольное и невольное. О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить во глубине души, жить и дышать своими твореньями, тот дол-

жен быть странен во многом. Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы. Как это тягостно иногда! Но довольно. Целую тебя! Письмо твое утешительно. Благодарю тебя за него! растроганно, душевно благодарю. Я покоен. Свежий воздух и приятный холод здешней зимы действуют на меня животворительно. Я так покоен, что даже не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. Живу кое-как в долг. Мне теперь все трынь-трава. Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то, может быть, мне удастся еще приготовить что-нибудь к печати, кроме первого тома «Мертвых душ». Но лето, лето... Мне непременно нужна дорога. Дорога далекая. Как это сделать? Но – бог милостив.

Прощай! Обними за меня Елисавету Васильевну[822] от всей души.

Погодин М. П. – Гоголю, ноябрь – декабрь (?) 1841

Ноябрь – декабрь (?) 1841 г. Москва [823]

Я устроиваю теперь вторую книжку[824].

Будет ли от тебя что для нее?

Гоголь – Погодину М. П., ноябрь – декабрь (?) 1841

Ноябрь – декабрь (?) 1841 г. Москва [825]

Ничего.

Погодин М. П. – Гоголю, январь – первая половина февраля 1842

Январь – первая половина февраля 1842 г. Москва [826]

Прочти, пожалуйста, этот лист о Риме[827] – нет ли чего поправить.

Гоголь – Погодину М. П., январь – первая половина февраля 1842

Январь – первая половина февраля 1842 г. Москва [828]

Все так, и прекрасно, живо и верно. Это лучшая статья из того, что я читал из твоих путешествий.

Погодин М. П. – Гоголю, март – начало апреля 1842

Март – начало апреля 1842 г. Москва [829]

Вот то-то же. Ты ставишь меня перед купцом целый месяц или два в самое гадкое положение, человеком несостоятельным.

А мне случилось позабыть однажды о напечат<ании> твоей статьи[830], то ты так рассердился, как будто бы лишили тебя полжизни, по крайней мере в твоем голосе я услышал и в твоих глазах это я увидел! Гордость сидит в тебе бесконечная!

Гоголь – Погодину М. П., март – начало апреля 1842

Март – начало апреля 1842 г. Москва [831]

Бог с тобою и твоей гордостью. Не беспокой меня в теченье двух неделей по крайней мере. Дай отдохновенье душе моей!

Гоголь – Погодину М. П., вторая половина апреля (до 28-го) 1842

Вторая половина апреля (до 28-го) 1842 г. Москва [832]

Посылаю послание Языкова[833].

–

А насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразу-

мен[834]. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убеждения, которых ты и не можешь и не в силах понять, то исполни по крайней мере ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты и не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен хотя до моего выезда. Но у тебя все порыв! Ты великодушен на первую минуту и чрез три минуты потом готов повторить прежнюю песню. Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей же час отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений.

Гоголь – Погодину М. П., 30 апреля 1842

30 *апреля 1842 г. Москва* [835]

Я до сих пор не получил из Петербурга «Копейкина». Печатанье чрез это остановилось. Все почти уже готово. Какой медлительный Никитенко, просто нет мочи[836]. Ну хоть бы дал знать одной строчкой. Пожалуйста, добейся толку. Еще: постарайся быть к 9 мая

здесь[837]. Этот день для меня слишком дорог, и я бы хотел тебя видеть в этот день здесь. Прощай! Обнимаю тебя.

Гоголь – Погодиной М. П., 4 июня 1842

4 *июня 1842 г. Петербург[838]* [839]

1842. СПб. 4 июня.

Пишу письмо к вам, ибо Михала Петровича, вероятно, уже нет в Москве[840]. Обнимаю вас заочно. Не стану говорить о том, что я еще сильнее и глубже люблю друзей моих по мере того, как отдаляюсь от них. Вы должны это чувствовать и верить словам моим. Сердце женщины меньше подвержено недоверчивости и сомнениям, как мужчины. Передайте мое душевное и сердечное объятие Михалу Петровичу в первом письме и скажите ему, что кто один раз вошел в мою душу, даже хотя бы он меньше его на то имел право, тот уже останется вечно там, и нет человеческих сил, властных его оттуда исторгнуть. Прощайте. Передайте поклон маменькам вашим и перецелуйте ваших малюток.

Ваш *Гоголь*.

Я выезжаю отсюда завтра.

Погодин М. П. – Гоголю, 12 сентября 1843

12 *сентября 1843 г. Москва* [841]

Наконец нашел я в себе силу увидеть тебя, заговорить с тобою, написать к тебе письмо. Раны сердца моего зажили или по крайней мере затянулись… Ну что, каков ты? где ты? что ты? куда? Я чувствую себя теперь довольно хорошо, пил опять мариенбадскую воду[842], а теперь на простой. Но зима была тяжелая: часто показывалась кровь из горла и голова беспрестанно тяжела.

Не случилось ли чего особенного в душе у тебя около 3/15 сент<ября>? Ты знаешь, что я немножко по Глинкиной части[843] и верю миру невидимому с его силами. Около 3<-го> числа я как будто примирился с тобою, а до тех пор я не мог подумать о тебе без треволнения! Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после, – прибавило мне еще больше муки, и ты являлся, кроме святых и высоких минут

своих, отвратительным существом...

Посетив мать твою в прошлом году[844], я почувствовал, что в глубине сердца моего таилась еще искра любви к тебе, но она лежала слишком глубоко. Наконец я стал позабывать тебя, успокоивался... и теперь все как рукой снято. Ну, слава богу! Я готов опять и ругать и любить тебя.

Твой *Погодин*.

1843 сент. 12/24. Москва

Гоголь – Погодину М. П., 21 октября (2 ноября) 1843

21 *октября (2 ноября) 1843 г. Дюссельдорф* [845]

Между нами произошло непостижимое событие: ту же тяжесть, какую ты чувствовал от моего присутствия, я чувствовал от твоего. Как из многолетнего мрачного заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сомнения, боязни. Самый вид твой, озабоченный и мрачный, наводил уныние на мою ду-

шу; я избегал по целым неделям встречи с тобой. Когда я видел, как с помощью какой-то непостижимой силы закрутился между нами вдруг какой-то посторонний вихрь, в каком грубом, буквальном смысле принимался всякий мой поступок, какое топорное значение давалось всякому моему слову, – почти ужас овладевал моею душою. Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистою силою: ибо то, что ты приписывал мне в уединенные минуты размышлений (чего, может быть, не сказывал никому), то можно приписать только одному подлейшему лицемеру, если не самому дьяволу. Надобно тебе сказать, что все это слышала душа моя. Несколько раз хотел я говорить с тобой, чувствуя, что все дело можно объяснить простыми словами, что будет понятно ребенку. Но едва я начинал говорить, как эти объяснения вдруг удерживались целою кучею приходивших других объяснений, объяснений душевных, но и им мешало излиться находившее вдруг негодование при одной мысли, против каких подлых подозрений я должен оправдываться и пред кем я должен оправдываться? Пред тем чело-

веком, который должен был поверить одному моему слову. Но и негодование сменялось в ту же минуту презреньем к твоему характеру, который называл я внутренно бабьим, куриным, и, сказавши несколько бессвязных слов, которые ты все относил к моей необыкновенной гордости, – я бежал от тебя. А убежавши, утешал себя злобным выражением: «Пусть его путается! Душевному слову не поверил, пусть же поверяет умом своим!» Все это быстро сменялось одно за другим в душе моей, и, когда я подходил к дверям своей комнаты, все это исчезало, и на место него оставался один вопрос: что это такое, что значит все это? Наконец, мало-помалу я начинал прозревать в этом событии справедливое себе наказание. Надобно сказать тебе, что, воспитываясь внутренно в душе моей, я уже начинал приобретать о себе гордые мысли. Мне уже казалось, что я ничем не могу быть рассержен и выведен из себя. Я старался мысленно сжиться со всеми возможными оскорблениями, несчастиями, старался их всех, так сказать, перечувствовать на своем теле и уже чувствовал, что душа моя приобретает крепость, что

я могу снести то, чего не снесет иной человек. Словом, я уж чуть не почитал себя преуспевшим в мудрости человеком. И вдруг событие это дало почувствовать мне, что я еще ребенок и стою до сих пор на низших ступенях пути своего. Противу дальнейших случаев я приготовил в душе отпор, а против близких не приготовил. Все несчастия я бы, может быть, перенес, а не перенес сомнения обо мне одного из близких. И в душе моей проснулись те враги, которых я давно считал отступившими от меня: мерзкий, подлый и гадкий гнев, которого ничего нет подлее, который подл даже и тогда, когда вспыхнет от справедливых причин. А у меня он был и несправедлив: я рассердился на то, что ты схватил сгоряча топором там, где следовало употребить инструмент помельче. Наконец, я сердился на себя и за то, что не в силах был перенести этого хладнокровно. Все это, натурально, я должен был таить в душе и могу сказать только то, что от меня никто не узнал о том, что между нами происходили какие-нибудь неудовольствия. Но когда вырвался я от тебя, у меня была одна и та же мысль: написать те-

бе подробно всю мою исповедь. Но тут увидел, что наши жизни так разны, так много следовало выводить тебе объяснений для того, чтоб познакомить тебя и ввести в этот мир. Всякое слово требовало объяснений на целых страницах, чтоб не быть приняту в другом смысле... Почти отчаяние овладевало мною; я видел, что и конца не будет моей исповеди, а между тем оставить ее я не мог, потому что мысль о ней мешала всякому занятию... Наконец, я попробовал написать тебе маленькое письмо[846], в котором просил просто прощения за все оскорбления, которые я нанес тебе, складывая все на мой неровный характер, припомня, что ты иногда многое, чего не мог понять во мне, объяснял им. На это письмецо не было ответа – и поделом. Оно не было удовлетворительно. Если бы оно было удовлетворительно, то по отправлении его в душе моей настало бы спокойствие; но мысль об этом мучила меня еще целый год. Наконец, после некоторых переездов из земли в другую, я стал покойнее и почувствовал, что могу объяснить хладнокровно все дело на нескольких страницах. Но, получа твое ны-

нешнее письмо, я отложил и эту мысль. Изъяснение будет уже походить на оправдание, а оправдание есть уже что-то подлое. Оправдывая себя, уже обвиняешь другого. Теперь же ты, как видно из письма твоего, хладнокровен и готов простить все. Итак, разбери сам все это дело. Не беспокойся: раны твои не оживут при этой работе, если ты точно решился простить. Тут-то и нужно представить живей все нанесенные нам оскорбления; а без того прощение ничего не значит, оно будет просто одно слабосильное забвение. Чтобы сделать это благороднее, начни обвинением самого себя, хотя бы ты и был прав. Я тебе помогу и скажу две твои первоначальные вины, от которых произошли все те поступки, на которые ты глядел как на самобытные начала и выводил из них отдельные истории, тогда как они все были звена одной и той же цепи. Вот эти вины: первая – ты сказал верю – и усумнился на другой же день, вторая – ты дал клятву ничего не просить от меня и не требовать, но клятвы не сдержал: не только попросил и потребовал, но даже отрекся и от того, что давал мне клятву. Отсюда произо-

шло почти все. Но не пугайся: я больше твоего виноват, и ты увидишь, что я себя не пощажу, если начну обвинять. Но если ты начнешь обвинением себя, а не меня, тогда ты увидишь и свои и мои проступки. Припомни все. Я знаю, ты способен забывать; но, к счастью, я памятлив и уверен сильно в том, что и добро и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже и одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Больших моих проступков ты не позабудешь; но все малые мои мерзости и оскорбления, которые я нанес тебе, советую записать, чтобы я не напал на тебя врасплох и чтоб тебе не отречься от многих твоих же слов. Я вновь тебе повторяю, что помню все, даже угол и место комнаты, где было произнесено какое слово твое или мое. Когда я в силах буду глядеть на тебя как на совершенно постороннего чужого человека, у которого не было со мной никаких связей и сношений, и когда таким же самым образом взгляну и на себя как на

совершенно чужого мне человека, тогда я дам тебе на все изъяснение. А между тем позволяю себе сделать следующее замечание. Ты никогда не всматриваешься во внутренний смысл и значение происходящих событий. Все события, особенно неожиданные и чрезвычайные, суть божьи слова к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься: что они значат, чего ими требуется от нас? Без этого никогда не сделаемся мы лучшими и совершеннее. Самое это затмение, которое произошло между нами, так странно, что его нужно помнить во всю жизнь нашу. Я уже извлек из него много для себя, советую и тебе сделать то же. Я знаю, что у тебя, за тысячью разных хлопот и забот, дергающих тебя со всех сторон, нет времени переворачивать на все стороны всякое событие и оглядывать его со всех углов. Но нужно это делать непременно хотя в те немногие минуты, когда душа слышит досуг и способна хотя несколько часов прожить жизнью, углубленною в себя. Иначе ум наш невольно привыкает к односторонности, схватывает только то, что поворотилось к нему, и потому беспрестанно оши-

бается. Недурно также, хотя по поводу этого события, руководствоваться какими-нибудь данными положениями относительно познания людей. Для этого есть, по моему мнению, два способа. Те, которые не получили от природы внутреннего чутья слышать людей, должны руководствоваться собственным разумом, который дан нам именно на то, чтобы отличать добро от зла. Разум велит нам судить о человеке прежде по его главным качествам, а не по частным: начинать с головы, а не с ног. Прежде следует взять все лучшее в человеке, потом сообразить с тем все замеченное нами в нем дурное и сделать такую посылку: возможны ли, при таких-то хороших качествах, такие-то и такие мерзости? Которые возможны, те допустить, которые же сколько-нибудь противоречат возможности и спутывают нас, – те нужно гнать как вносящие одно смущение в душу, а смущение известно откуда исходит к нам: оно исходит к нам прямо снизу. От бога свет, а не смущение. Да притом можно иногда и то себе сказать: точно ли я увидел так, как следует, вещь? Зачем такая гордая уверенность в непреложно-

сти и безошибочности взгляда? Все же я человек, а не бог. Выгода этого способа та, что будешь по крайней мере покойнее, если даже и не узнаешь совершенно человека, а сделавшись покойнее, уже проложишь шаг к совершенному его узнанию. Если же к неспокойству нашему да подоспеет на помощь гнев, тогда и всякие зрящие глаза ослепнут. Есть другой способ узнавать людей, гораздо действительнейший первого, но для тебя, по множеству твоих забот и беспрестанному рассеянию твоих мыслей среди тысячи предметов, невозможный. Нужно прожить долгою, погруженною глубоко в себя жизнью. Там обретешь всему разрешение. Света никогда не узнаешь, толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только вначале, чтобы приобрести заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей. Это подтвердят тебе многие святые молчальники, которые говорят согласно, что, поживши такой жизнью, читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы он и скрывал их всячески. Несколько я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать

разве карикатурой на такую жизнь. Но, вкусивши одну крупицу такой жизни, я уже вижу ясней; и глаз и ум мой прояснился более (доказательством тому то, что вижу в себе более, чем когда-либо прежде, мои недостатки и нахожу их скорее, чем прежде), и несколько раз мне случалось читать на твоем лице то, что ты обо мне думал. Еще есть один способ, которым я руководствуюсь, если бы оба предыдущие не все объяснили мне. Если человек, хотя бы он был последний разбойник, но если этот человек, не плакавший ни пред кем, никому не показавший никогда слез своих, заплакал предо мною и во имя этих душевных слез потребовал веры к себе, – тогда все кончено: я ни глазам своим, ни уму своему, ни чувствам своим не поверю; я поверю всем словам его, произнесенным во имя этих слез! Но почему я так поступлю, этого я не обязан говорить, да и никого не склоняю следовать этому примеру, зная, что трудно отличить душевные слезы от иных слез. Но оставим все способы. А пока, если ты захочешь получше поверить и себя и меня, я тебе советую сделать вот что. У тебя будет одно такое

время, в которое ты будешь иметь возможность прожить созерцательною и погруженною в самого себя жизнью, именно во время говения. Продли это время, если можно, подолее обыкновенного и займись в это время чтением одних таких книг, которые относятся к душе нашей и обнаруживают ее глубокие тайны. К счастию человечества, такие книги существуют, и было много передовых людей, проживших такою жизнью, которая доныне еще загадка. Книги эти настроят тебя к углублению в себя. Да и что говорить об этом! В такое время сам бог помогает человеку много и просвещает его мысленные взоры.

Скажу еще о последних словах твоего письма. Ты говоришь, что готов снова ругать и любить меня. За первое благодарю тебя душевно, потому что в этом теперь более, нежели когда-либо, слышу надобность; а на второе скажу вот что: любить мы должны всегда. И чем более в человеке дурных сторон и всяких мерзостей, тем, может быть, еще более мы должны <его> любить. Потому что если среди множества дурных его качеств находится хотя одно хорошее, тогда за это одно хорошее

качество можно ухватиться, как за доску, и спасти всего человека от потопления. Но это можно сделать только одною любовью, любовью, очищенною от всего пристрастного: ибо если подлое чувство гнева хотя на время взнесется над этою любовью, то такая любовь уже бессильна и ничего не сделает. Итак, не будем ничего обещать друг другу, а постараемся безмолвно исполнить все, что следует нам исполнить относительно друг друга, руководствуясь одною любовью по боге, принимая ее как наложенный на нас закон. Ответа и наград будем ожидать от бога, а не от себя, так что, если бы кто-нибудь на нас был неблагодарен, мы не должны даже и замечать этого. Бог не бывает неблагодарен! На таких положениях заключенная любовь или дружба неизменна, вечна и не подвержена колебаниям. А если мы заключим нашу дружбу вследствие каких-либо побуждений наших собственных, хотя бы очень чистых, да вздумаем начертывать друг для друга закон ее действий относительно нас или же требовать какого-либо возмездия за нашу дружбу, то узы такие будут гнилые нитки: черт завтра же по-

смеется над такою дружбою и напустит такого туману в глаза, что не только другого, но даже и самого себя не разберешь... Все это рассуди и взвесь хорошенько.

Письмо мое писано в минуту, не причастную волнению; стало быть, и прочесть ты его должен в минуту рассудительную и покойную. В чем я ошибаюсь, то укажи. Затем обнимаю тебя душевно.

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Погодину М. П., 2(14) февраля 1844

2 *(14) февраля 1844 г. Ницца* [847]

Я долго не отвечал на письмо твое, были причины: еще до сих пор шевелилось желанье оправдаться перед тобою. Слава богу, это желанье наконец умерло вовсе. Теперь я задаю себе такие вопросы: во-первых, будет ли мне какая-нибудь польза из того, что в твоей душе поселится обо мне мнение выгоднейшее прежнего, лучше ли я стану от этого? во-вторых, если бы я оправдался перед тобою во всем и вышел бы белее снега в тех поступках, в которых случилось тебе обвинить меня, раз-

ве это послужило бы доказательством, что во мне нет других проступков, может быть, в несколько раз хуже первых? Итак, оставайся лучше при прежнем своем мнении: пусть я буду в глазах твоих отвратительным существом. Во всяком случае, это, верно, будет ближе к истине, чем если бы ты вообразил меня противуположным тому существом. Но, признавши в другом несовершенство и ничтожность характера, следует допустить и в себе самом хотя часть несовершенства. Я укажу тебе некоторые твои недостатки, которые вводили тебя в заблуждение, но с тем, чтобы ты указал мне мои. Я выведу для тебя правила из твоих же действий, но с уговором, чтобы ты вывел также правила для меня из моих же действий. Натурально, что правил для меня ты должен вывести гораздо больше, чем сколько я мог бы вывести их для тебя, потому что, по собственному твоему убеждению, я виноват перед тобою, а не ты передо мною.

Недостатки твои заключаются в быстроте и скорости заключений, в неумении оглядывать всякий предмет со всех его сторон и, наконец, в странном беспамятстве, вследствие

которого ты позабываешь часто доказанные истины именно в ту самую минуту, когда нужно применить их. Ты позабываешь весьма часто две вещи: во-первых. Два человека, живущие в двух разных мирах, не могут совершенно понять друг друга. Если один живет жизнью среди тысячи разных забот и занятий, дергающих его со всех сторон и не дающих продолжительно входить в себя, а другой ведет жизнь совершенно сосредоточенную в себе самом, то между ними будут вечные недоразумения, если они столкнутся между собою. Последний еще имеет более средств понять первого. Но редко может случиться, чтобы первый понял последнего. Увы, самые видимые признаки и подобия, из которых станет он выводить свои заключения, не послужат к разгадке. Основываясь на признаках и подобиях, лучшие врачи бывали причиною смерти больного, ибо по вскрытии трупа оказывалось, что эти признаки были произведены другою болезнию, и потому, как бы ни казалось, что больной врет и несет вздор, но не следует врачу пропускать без внимания болезненный голос больного, когда он гово-

рит: «У меня не там болит и не в том месте, где вы думаете».

Во-вторых. Ты иногда жаловался горько на неблагодарность людей, но всегда позабывал задать вопрос: не во мне ли самом заключена причина этой неблагодарности? Вот что говорит Марк Аврелий: «Во всяком случае, когда придется тебе жаловаться на человека неблагодарного или вероломного, обратись прежде к самому себе, ты, верно, был сам виноват или потому, что заключил, будто вероломный может быть верным, или потому, что, делая добро, имел что-нибудь другое в виду, а не просто делание добра, и захотел скоро вкусить плоды своего доброго дела. Но чего ищешь ты, делая добро людям? Разве уже не довольно с тебя, что это свойственно твоей природе? Ты хочешь вознаграждения? Это все равно, если бы глаз требовал награды за то, что он видит, или ноги за то, что они ходят! Как глаза и ноги действуют так для того, что сим исполняют свою должность и непременный закон относительно к строенью всего тела, так и весь человек, созданный для того, чтобы благодетельствовать, должен считать

это не более как за непременный долг и непреложный закон своего действования»[848].

Я привел это мнение нарочно. Это говорит император-язычник, а мы христиане, нам на каждом шагу делается об этом напоминание. Ты часто хотел вкусить слишком скоро плоды своего доброго дела. Это было причиной многих твоих разрывов и недоразумений со многими людьми. Это было причиной многих несправедливых мнений, утвердившихся о тебе в людях, и обратно. Мне несколько раз случалось слышать, какое черное и корыстное значение придавали твоим действиям, возникшим из благородных и чистых побуждений. Но довольно, два эти замечания и наставления я даю тебе в долг с тем, чтобы ты заплатил за них десятью нужными для меня. Это лучшие благодеяния, которые мы можем в сей жизни оказать друг другу.

Я слышал, что ты бываешь часто одержим беспокойствами и тревогами частию нервическими, частию душевными. Все это слишком мне знакомо. Много происходило во мне таких сильных душевных потрясений, раз-

дражавших такие чувствительные и тонкие струны, что в один болезненный вопль превращалась душа моя. Это началось в сильнейшей степени, когда я был среди вас, но никто не был свидетелем этого, потому что я, как тебе известно, человек скрытный. Мне помогало одно средство, впоследствии оно помогало еще сильнее – и успех его возрастает по мере употребленья ежедневно. О нем я пишу в письме к вам троим[849]. Мне кажется, что все испытываете разные душевные тревоги. Тревоги эти необходимы, и глубокое значение их вы сами уведаете после. Прощай! Обнимаю тебя от всей души и вслед за тобой все твое семейство.

Твой *Г*.

Пиши ко мне в Франкфурт. Poste restante.

Гоголь – Погодину М. П., 1(13) июля 1844

1 *(13) июля 1844 г. Франкфурт* [850]

Я узнал о случившемся с тобою несчастии[851]. Бог да сохранит тебя и да обратит все, что ни случилось с тобою, тебе же во благо. Для христианина нет несчастия, и все, что ни

сбывается с ним, имеет для него глубокий смысл. Напиши мне два слова о твоем состоянии или попроси Елисавету Васильевну уведомить, как тебе и как себя чувствуешь. Адресуй во Франкфурт-на-Майне, я хотя и еду на морское купанье в Остенде по причине плохого здоровья, но чрез месяц с небольшим надеюсь назад. Да споспешествует тебе бог в скорейшем выздоровлении!

Весь твой

Гоголь.

Погодин М. П. – Гоголю, 16 июля 1844

16 *июля 1844 г. Москва* [852]

Благодарю тебя за участие. Ты еще не забыл меня! Теперь мне лучше, слава богу, но восемь недель пролежал я неподвижно; с третьего дня начал ворочаться, освобожденный от машины, впрочем, с большою болью и неудобствами в сочленениях ноги. Говорят, что это продолжится не долго. Беда случилась со мной среди мечтаний и самым странным образом.

Я поехал в университет за Шевыревым, который уезжал встречать тело князя Голицы-

на[853]. Еду спокойно на дрожках и думаю: «Теперь я получу на днях увольнение[854] и отправлюсь на воды, с вод в Копенгаген или какой-нибудь угол Варяжского моря[855] писать норман<ский> период[856]; зиму соберу и приведу в порядок все исследования об удельном периоде и на весну поеду в Киев, на Днепр, писать удел<ьный> период; зимой устрою монгольское время и во вторую весну поеду в Сибирь, посмотреть монгольские степи...» Как вдруг дроги пополам, и я упал и переломил себе ногу в самом важном месте! Не загадывай далеко! Меня втащили в соседнюю кондит<ерскую> лавку (16 мая, в 10<-м> часу), и часа три я промучился там сильно. Потом отвезли домой, где встреча была с своими ужасная. После не чувствовал уже никакой сильной боли, кроме времени осмотра. Все посетители были уверены, что перелома нет, а Иноземцев утверждал, что есть; с ним согласились и Пеликан, Альфонский, Севруг. Меня положили в тиски, в картоны, и лежал я до сих пор. Пишу и теперь лежа. Благодарю бога, что послал мне терпение, ни скуки, ни досады – ничего не чувствовал ни на минуту и те-

перь не понимаю, как могло пройти время так неприметно. А подумать о сумме (8-недельно неподвижен на спине), так берет ужас. Почти уже благодарю бога за это испытание: с одра болезни слышатся такие вещи, каких не услышишь ни с какой кафедры. Читал я Фому Кемпейского, за которого благодарю[857]. Я, разумеется, знал его и прежде, но теперь понял лучше. Удивительно кроткая и любящая душа. Едва ли есть другая книга в мире столь елейная!

Прощай! Я не отвечал на твое письмо[858], ожидая спокойной минуты, а все еще не получил. Я только что кончил свои дела в университете и упал накануне отставки. Теперь я вольный казак, но не смею думать ни о чем дальше своей койки. Никакой мысли о будущем не входит в голову.

Твой *М. Погодин*.

16/28 июля.

Я журнал сдаю, но не знаю еще, как и кому[859].

<Приписка Е. В. Погодиной>

Два раза писали вы к нам, любезный Николай Васильевич, и ни слова о себе, о своем здоровье, своих занятиях? Разве это не прискорбно? Теперь, по крайней мере, возвратясь с вод, напишите нам подробнее обо всем. Дайте нам порадоваться с вами, если они принесли вам пользу. Мы все, благодаря бога, отдохнули теперь от удара, посланного нам свыше. Вы представить себе не можете, как мы были перепуганы и как тяжело было видеть, сидя у изголовья нашего милого больного, томление и тоскливость, которые мучали его во время первых бессонных ночей. Благодаря бога, он скоро свыкся с тягостным своим положением и даже принялся скоро за прежние свои занятия.

Крестник ваш[860] становится теперь большим буяном, не признает над собой никакой власти, зимою беспрестанно занят был скрыпкой, с которой, надо отдать ему справедливость, он управлялся очень ловко, теперь же занят с лопаткой в саду.

С маменькой вашей мы иногда переписываемся. Об Аксаковых, вы, верно, знаете, что они расстроены сильно продолжительною бо-

лезнию Ольги Сергеевны. О нашей маленькой Груше, которой теперь шестой месяц, вы, может быть, слышали. Все, старые и малые, вам кланяются. Прощайте.

А когда мы с вами увидимся? Преданная вам *Е. Погодина.*

Гоголь – Погодину М. П., 8(20) декабря 1844

8 *(20) декабря 1844 г. Франкфурт* [861]

Франкф. 20 декабря.

Я уже слышал, что бог посетил тебя несчастием и что ты как христианин его встретил и принял[862]. Друг, несчастия суть великие знаки божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен; ибо природа наша жестка, и ей трудно без великого душевного умягченья преобразоваться и принять форму лучшую. И потому после всякого несчастия мы должны строже, чем когда-либо прежде, взглянуть на самих себя. Что было прежде свято душе твоей, то должно быть отныне святее. Слово «Россия», для которой ты никогда не жалел трудов своих, должно быть от-

ныне еще ближе твоему сердцу, и самые труды твои слиться с самой душой твоей. Теперь уже не должна сопровождать тебя доселе обычная торопливость: она имела свои полезные стороны, но ею уже ты сделал все, что мог. Возьмись за свое истинное дело, но возьмись за него как за святое, требующее сосредоточенного занятия, не суетного и не торопящегося. Не совершай его без внутренней молитвы и освяти прежде самого себя; без того не будет свято твое дело. Блюди в то же время за своим душевным спокойствием, истребляя в себе все, что может поколебать его; не оставляй и мелочного недостатка в себе, не говори: это пустяк, его можно допустить; истребляй его. Этого, верно, желает и просит от тебя душа, теперь ликующая на небесах, но не расставшаяся и там с земным другом своим. Я знаю, что покойницу при жизни печалили два находящиеся в тебе недостатки. Один, который произошел от обстоятельства твоей первоначальной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта во всех возможных родах приличий, как на литературном, так и на светском вообще поприще. Слово

твое не имело в себе примиряющей середины и потому никогда не производило того, чего ты хотел. Это отсутствие такта было также причиной того, что ты огорчал людей, не думая их огорчить, раздражал, думая примирять. Отсюда произошли все неприятности, в которых обвиняли тебя и в которых душой ты не был виноват. Друг, приобрести этого такта нельзя, как бы ты ни караулил сам за собой и как бы ты ни остерегался. Он получается ранним воспитанием, сливаясь уже с самого младенчества с нашей природой. Но, к счастью, всем нам есть средство достигнуть до него тем же путем, которым можно достигать до всего. Путь этот сам Христос. Кто живет уже по одним его законам и внес его во всякое дело своей жизни, большое и малое, – у того само собою выходит прилично. Такой человек хотя бы не знал вовсе никаких условий светских, хотя бы жил до того с зверями, а не с людьми, пустыннически и удаленно от всех, но не оскорбит никого, попавшись в соприкосновение с людьми. И даже если бы он попался в самое этикетное общество, на нем все будет так само собою прилично, что никто не

осудит в нем и малейшего движения. Друг мой, дай мне слово исполнить мою просьбу, молю тебя об этом во имя покойницы, зная, что ей будет и на небесах приятно твое исполнение такой просьбы: держи всегда у себя на столе книгу, которая бы тебе служила духовным зеркалом. Для этого можно употребить с пользою тоже «Imitation de Jésus Christ»[863]. Дай мне слово при всяком поступке, который будет предстоять тебе, как бы, по-видимому, незначителен он ни был: случится ли тебе писать к кому-нибудь письмо или идти к кому-нибудь с тем, чтобы объясниться с ним о деле, случится о чем-либо просить кого-нибудь или же поучать, пожурить и укорить кого, дай мне слово прежде всего подойти к столу, взять в руки свое духовное зеркало и прочесть первую главу, какая попадется (почти всякая глава будет кстати), и не прежде, как подумавши хорошенько о прочитанном, приниматься за дело. Другой недостаток твой, который также нередко смущал покойницу, искренно желавшую, чтобы его в тебе не было, – это гнев. Друг, его также можно изгнать вовсе, и почти таким же образом. Перед тем

временем, когда тебе захочется на кого бы то ни было излить гнев твой, прочти также первую попавшуюся страницу из своего духовного зеркала и подумай хорошенько о прочитанном. Изгони эти недостатки навеки. Теперь это возможно тебе: душа твоя умягчена и чрез это вся природа твоя в твоей власти; она теперь как воск и ждет того напечатления, которое ты дашь ей, совещаясь духом с самим творцом ее. Теперь тебе возможно то, что никогда не было бы возможно доселе и что никогда не будет возможно потом. Поверь, что во всяком твоем действии в этом деле будет тебе помогать та, которая, может быть, молится о тебе всякую минуту. Да и может ли быть иначе, может ли быть, чтобы та, которая делила с тобой на земле труды и утешала тебя в минуту скорби, позабыла на небесах о своем друге. Почему знать, может быть, и это письмо, которое пишу тебе, внушилось мне вследствие ее же небесных молений о тебе: все мы не более как орудия божии. Во всем и повсюду нам могут предстать божьи повеленья так же, как некогда уста ослицы издали слово, когда он повелел. Но

прощай! посылаю тебе страницу из Златоуста об утратах, которая будет тебе по душе.

Твой *Г.*

Погодин М. П. – Гоголю, 12 февраля 1845

12 *февраля 1845 г. Москва* [864]

Горячими слезами облил я письмо твое, любезный друг! Благодарю, благодарю тебя за твое благодеяние. И всякий раз плачу, как его перечитываю. Хотел отвечать тебе в тот же день, хотел передать тебе свои ощущения и до сих пор ничего не могу. Да, друг мой, несчастие поучительно. Успокоясь, сообщу тебе, что со мной делается. Теперь прощай! Благодарю, благодарю тебя еще раз и обнимаю крепко.

Твой *М. Погодин.*

Дети здоровы.

Моя нога несколько покрепче ступает, но без костылей не могу.

Что Василий Андреевич[865]? Мы слышали, что он болен. Сохрани его бог.

Сколько доставило мне сладкого удоволь-

ствия письмо его к государю[866]!

Погодин М. П. – Гоголю, 12(24) сентября 1846

12 *(24) сентября 1846 г. Вена[*867*]*[868]

Сажусь на пароход, по Дунаю, до Одессы, и отвечаю тебе два слова, любезный Николай Васильевич.

Всякое указание я считаю и считал благодеянием. Величайшее доказательство дружбы – откровенность в этом отношении, тем более что мы всегда, по слову Евангелия, яснее видим чужие сучья. Медики в физических болезнях себя лечить не могут. Первое письмо твое[869] я облил несколько раз горячими слезами. Второе, общее, неудовлетворительно[870]. «Все тот же Погодин». Скажи – какой именно и в чем именно он исправиться должен. «Смотри сам». Смотрю, но многого могу не увидать с бревном или бельмом на глазу. Укажи, кто друг и кто любит искренно. Мое дело будет проверить по указанию и как сделать к исправлению. Говорить вообще – легко, но бесполезно. Легко сказать на исповеди: «Я грешен». Но в чем именно? Укажи

мне на черты характера (как, например, о гневе в первом письме), привычки, склонности и самые дела, самые факты. Вот об чем просил и прошу.

–

Не морское путешествие опасно для ноги, а сухопутное. До сих пор она слаба очень и при малейшем камешке, который попадается под подошву, совершенно робеет. Медики говорят, что не дóлжно подвергаться случайностям горных дорог, а подождать укрепления. Я не нашел в себе силы их не послушаться.

–

Заеду в Венгрию и потом Сербию. Из Одессы, может быть, в Крым, потом в Харьков к Иннокентию[871]. Иерусалим – оставлю, если бог даст, до следующего года.

–

В Москве буду, если бог даст, около половины октября по нашему стилю. Пиши туда.

–

Я любил тебя много до 1842 года и принимал живое участие во всем, что до тебя касалось, до последнего нашего расставания.

В это время совершенно расстроился и по-

терял всякую привязанность, огорченный донельзя. Быв в твоей деревне, у матушки, я нашел в глубине искру прежней привязанности. В сентябре 1843 года, кажется, в один вечер, возгорелось прежнее чувство, и я тотчас тебя уведомил[872]. Письмо твое после смерти моей Лизы наполнило сердце мое благодарностию. Теперь я спокоен и увидел бы тебя с удовольствием. Но не смею сказать, все ли прежнее чувство возвратилось. Это говорит тебе прежний Погодин, который не мог терпеть скрывать никаких своих чувствований. Но дурно ли это? <нрзб.> жду твоего ответа.

Еду. Прощай. Будь здоров!

Твой *М. Погодин*.

1846. Сентября 12/24. Вена

Гоголь – Погодину М. П., 20 февраля (4 марта) 1847

20 *февраля (4 марта) 1847 г. Неаполь* [873]

Марта 4. Неаполь.

От Сергея Тимофеевича Аксакова я получил письмо[874] и в нем извещение, что ты

был глубоко оскорблен моими словами о тебе, напечатанными в моей книге (явившейся в обезображенном и неполном виде)[875]. Он сказал, что ты даже плакал и потом, успокоившись, хотел писать мне следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив <в> ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Друг мой, зачем же ты остановился и не написал мне этого сам? Или почувствовал, что укорить за это есть уже неуменье подставить другую ланиту? Между нами всеми есть недоразумение. И С. Т. Аксаков, и Шевырев, и ты сам уверены, что я на тебя сержусь, и под этим углом смотрят на все слова мои, привыкши по чувству нежного участья щадить человека в миролюбное время и высказывать ему правду только в гневе. Вы и в моих словах увидели гнев и, что еще хуже, долговременную мстительность. Но ни гнева, ни мстительности у меня тут не было. Первый давно прошел, второй же никогда не питал ни <к> кому, даже как бы он ни оскорбил меня. Напротив, меня всегда веселила впереди мысль примиренья и с самым непримиримым и наиболее проти-

ву меня ожесточенным неприятелем. Минута прощенья и примиренья мне всегда казалась праздником и лучшею минутою в жизни. Вот тебе истинная правда моего сердца. Но меня всегда изумляло твое беспамятство. Я долго думал и придумывал, как бы дать тебе почувствовать, что ты оскорбляешь человека, никак не думая оскорбить его. Не думал бы я об этом так постоянно и долго, если бы не случилось такое дело, где ты чуть-чуть не был причиной страшного события, которое отравило бы на все время твою жизнь и сделало бы твою совесть мучительницей твоей[876]. Итак, я долго думал о том, как бы дать тебе это почувствовать, и постоянная мысль об этом, может быть, была причиною, что я, говоря о тебе, выразился более резко, чем следовало, желая не скрыть твоих недостатков. Какие бы ни были причины слов моих о тебе в книге моей, но слова мои – правда, ты рассмотри их сам, в них нет лжи. Неужели правда стала так уже неуважительна в глазах наших, что ею мы должны потчевать только врагов своих, а не друзей? Правда о тебе выразилась словами неприличными, неосмот-

рительными, потому что, говорю тебе честное слово: я не имел в виду так оскорбить тебя. Но смотри, как странно случилось: ты, который не наблюдал доселе так часто приличий в словах и выражениях твоих, являвшихся в печати, и тем невольно оскорблял других, получил именно толчок сам в этом же самом, потому что, вновь тебе повторяю, здесь больше всего прочего была виной просто неосмотрительность. Но для меня произошло от этого радостное явление, которого я, признаюсь, совсем не ожидал. Ты огорчился и, может быть, доселе огорчен (но нет, этого не может быть: ты великодушен и умеешь прощать), а я обрадовался и доселе рад, обрадовался тому, что с этой минуты поселилась у меня к тебе такая любовь, какой никогда доселе не было. Увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя мне стало так теперь желательно, как никогда доселе. И мне кажется, что дружба наша с этих пор начнется, а доселе был один ее обманчивый призрак, условленный шаткими светскими понятьями о дружбе; я чувствую, что отныне только между нами установятся те любовные родные ре-

чи, которые должны быть по-настоящему между всеми людьми, те речи, на языке которых и самый упрек кажется приятным. Мне теперь так хочется знать все о тебе: и что ты делаешь у себя в доме, и где сидишь, и что читаешь, и в каком расположенье духа, и с кем говоришь, и что говоришь. И я бы много дал теперь за то, чтобы прочитать хотя короткий журнал дня твоего. Друг мой или, лучше, брат (в названии брата есть что-то лучшее, нежели в названии друга, да и Христос велит нам быть братьями), пиши ко мне просто, все, что ни есть на душе твоей, все оно будет мне равно приятно, как бы ты ни выразился. Письма твои будут теперь услада мне, я так думаю, потому что мысль о тебе стала теперь мне усладой. Признаюсь тебе, что я было уже несколько изнемог и от недугов, и от многих тяжелых испытаний (и у меня есть, как у тебя, тяжелые испытания, и я не знаю, что тяжелее – получить ли неприличное нападенье от близкого человека в печатной книге или получать письменные упреки от самых близких друзей в лицемерии, ханжестве, надувании других и скорбные упреки в игранье ко-

медии там и в том, что было священнейшею мыслью и любовью души). Много нужно сил, чтоб это вытерпеть, но я теперь вытерпливаю с большим мужеством. Любовь к тебе стала сладким чувством, утешающим и освежающим силы мои, и мне чувствуется, что и в твоей душе что-нибудь да произошло в это время и строки мои найдут в ней отклик. Напиши же мне и не медли.

Весь твой *Г.*

Погодин М. П. – Гоголю, 17, 24 марта 1847

17*, 24 марта 1847 г. Москва* [877]

Марта 17. 1847. Москва.

Сейчас получил письмо твое, любезный Николай Васильевич, и отвечаю тебе, утешенный, умиленный. У меня отлегло сердце, развязались руки. До сих пор никак не мог я собраться с духом, чтоб писать к тебе о твоей книге; боялся больше всего, чтоб ты не приписал моего мнения растревоженной личности. С чего же начну теперь – все, оседавшее долго на дно сердца, просится наружу. Не ищи порядка; не ищи обдуманности; только

чтоб не пропустить ничего нужного.

В исполнение твоего желания скажу тебе прежде всего, как я получил твое письмо. Ныне страстной понедельник. Я только что возвратился от обедни и стал пить чай. Передо мной сидел босняк, ездивший к царю просить о покровительстве православной церкви, угнетенной турками. Я говорил с ним, а между тем был в раздумье, говеть или отложить до лета, потому что теперь неспокоен духом и слишком стеснен обстоятельствами. Ты не можешь себе представить, сколько удовольствия доставило мне письмо твое. Я проводил скорее гостя и начал его перечитывать. Решение говеть – вот первые его плоды.

Книгу твою я увидел в первый раз 10 января. Мне указали прежде всего места, которые касаются до меня. Огорчен был я до глубины сердца: как – 30 лет я трудился, и ни один юноша не говорит мне будто спасибо, и ни одного юношу не подвигнул я будто ни к какому добру?[878] Я готов был плакать. Мы ехали тогда с Шевыревым на бал к Чертковым. В этом духе, под шумок музыки, между тем как сердце обливалось кровью, говорил я о книге

с Лизаветой Григорьевной[879]. Лишь только воротился домой, во втором часу ночи, принялся читать книгу. Прочел «Завещание» – испугался, продолжал чтение – задумывался, смеялся, соглашался и нет. На другой день поутру прочел все разом, и впечатление осталось совершенно мирное и гармоническое, так что я был сам поражен такою внезапною переменой. Ни малейшего неприятного чувства, огорчения не нашлось. Тотчас написал об этом Лизавете Григорьевне и Шевыреву, которые были одни свидетелями моего волнения. Первые эти минуты почитаю я удивительными, священными, и воспоминание об них теперь еще доставляет мне удовольствие. Ну как ужасное волнение (причины его особенные, см. ниже) могло улечься вдруг, так что и следа не видать! Такое действие послужило для меня доказательством, что книга, несмотря на свои недостатки и странности, написана искренно, от души, с добрым намерением.

В разговорах с приятелями, при случаях, после, я передавал это, но вообще был холоден, разбирал с ними сочинение по частям,

большею частию был недоволен, сетовал за себя, но не сердцем, а умом, и отстаивал только искренность, приписывая все нехорошее и странное болезненному душевному расстройству.

24 марта

Продолжаю, окончив говение.

Самое ясное и осязательное доказательство этого расстройства и вместе искренности книги есть «Завещание». Разберем его, сколько удержала память (книги нет дома).

1. «Не хоронить до...»[880] Но ты мог и можешь умереть на море, в чужих краях, в Азии. Для чего же нам здесь сказывать это желание? Это раз, а потом; как требовать или даже предполагать, чтоб вся Россия прочла твое завещание, чтоб не могла отказываться незнанием (пред кем, для чего?). Не лучше ли просто носить, хоть на кресте, записку: «Прошу не хоронить меня до...»

2. «Не ставить памятника...»[881] Захотят поставить – поставят, и для себя, а не для тебя. Разве памятники ставят для усопших? На что им они? «А сделаться лучше». Кто делает-

ся лучше, тот делается для себя, для Христа, а для другого никто не делывался лучше, особенно для незнакомого автора. И друзьям мудрено тут рассчитывать. Может быть, даже есть нечто и грешное в том, чтобы делаться лучше по завещанию, вместо памятника!

3. «Не плакать». У кого есть слезы, тот их выльет, а у кого нет, тому и говорить нечего. Слезы полезны плачущему. «Не плакать даже и об лучшем муже»[882]. Что за сличения, сравнения? Ты умрешь ныне, другой завтра, как тут соединить рассуждения!

4. О портрете. Начать писать и вспомнить... Это фигура, оборот автора, а не умирающего человека[883]. Дурная литография не помешает знаменитой гравюре, как Иорданову «Преображению»[884] тысяча прежних. Перепечатывать никто не думал и никто не имеет права. В одно время с Москвою вышел в Харькове при «Молодике» совершенно другой портрет. Мне недавно сказали, что ты был взбешен помещением портрета в «Москвитянине». Я не мог никак этого предполагать. Я думал даже сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое. Ника-

кой другой мысли не было и не могло быть. Спрашиваться в России никогда не было в обычае. Зачем я, как близкий человек, не спросился? – не подумал, а может быть, вместе и не хотел поставить тебя в щекотливое положение дозволять свой портрет. Вреда твоей собственности не произошло, в этом я уверяю. Впрочем, если ты сердился и сердишься, то извини меня. Пошлю пока написанное. Остальное с следующей почтой. Обнимаю тебя крепко. Целую горячо.

Твой *М. Погодин.*

Погодин М. П. – Гоголю, 8 апреля 1847

8 *апреля 1847 г. Москва* [885]

Апреля 8. 1847. Москва.

Вслед за первым вот к тебе и второе письмо, любезнейший Николай Васильевич! Как ты теперь поживаешь? Что твое здоровье? Успокаивается ли дух? Недели две я не был в городе, никого не видал и не знаю, получил ли кто от тебя письмо в это время.

Продолжаю о книге – я остановился, кажется, на предисловии. Состоя из желаний и требований физически и нравственно невоз-

можных, оно казалось мне (и теперь, через три месяца, кажется) плодом расстроенного воображения, состояния ненормального. Такие явления случаются с нами от разных причин: долговременного уединения, одинокого напряженного размышления, усиленной деятельности и даже многих причин физических. Недавно малый пример видел я на Шевыреве. Приезжает он ко мне в воскресенье и остается полчаса, говорит дело, но в его глазах, голосе, движениях, оборотах речи я заметил что-то необыкновенное. Проводив, еду тотчас к знакомым, расспрашиваю стороною о последних его лекциях – и слышу многие вещи, кои удостоверяют меня, что он встревожен. Слышу, что он в газетах тогда же спорит с Мельгуновым о благотворительности[886], в «Листке» – с одним молодым человеком о воспитании. Плохо дело, думаю я, еду чрез два дня к нему на публичную лекцию. Речь шла об «Одиссее», но что же – весь спор и вся твоя книга просвечивала мне насквозь в его словах, хотя они, казалось, были обращены совсем в другую сторону, и он был весь не свой. Я испугался, написал к нему на другой

день письмо, прося оставить лишние споры, отказаться на время от общества и его толков, запереть двери от посетителей (чтоб река вступила в берега). Слава богу, волнение прошло скоро и он успокоился мало-помалу. В таком положении мы принимаем все слишком к сердцу, и предметы представляются совершенно под другим углом. Может быть, и ты после болезни был так настроен и написал свое завещание, разве не имел какой особой мысли или какого особого намерения, что за тобой водилось, – придумывать, катая шарики, разные мудреные вещи, положим, для благих, по-твоему, целей. О, друг мой, в простом сердце бог почивает, говорит русская пословица. Простоты, простоты, и берегись, да не заходит ум за разум. Где тонко, тут и рвется!

Возвратимся к книге (которой все-таки у меня нет дома). Вот что представлялось мне, когда я думал об ней. Ты посеребрился христианством, но не просеребрился. Не казалось оно мне проникнувшим твою душу, а только покрывшим.

Христос говорит беспрестанно: «Не учите,

не становитесь учителями», а ты берешься учить и учишь всех от первой строки до последней.

«Не осуждайте», – говорит Христос, а ты все точно осуждаешь.

«Принимайте пощечины» – а тебе кажется, что надо давать пощечины, да еще и покрепче, и даешь.

«Исправляйтесь молча» – а ты напоказ.

Ты говоришь: я отдал свои пороки героям «Мертвых душ» и стал лучше[887]. Не ясно ли, что ты слишком неопытен в истинной христианской жизни? Христианин никогда не скажет – не может сказать, – чтоб он от какого порока избавился. Если он сказал так, уж и согрешил, уж и упал, приобрел больший порок. По этой же причине мне очень странно было слышать от кого-то, что ты не поехал в нынешнем году в Иерусалим, потому что ты не готов. Но если ты скажешь когда, что ты готов, то в ту самую минуту ты будешь так далеко от Иерусалима, как никогда. Усовершенствования делаются в нас неприметно, и горе, если мы любуемся ими. Рост духовный, как рост физический, таинствен, и от греха нико-

гда мы не далеки. Эти наблюдения служили мне всегда доказательством первородного греха, человеческого падения и давали понимать мудрость апостольского выражения, что всякий человек есть ложь.

Далее – ты говоришь часто: я грешен, я никуда не гожусь и тому под<обное>. – Эти гуртовые покаяния решительно ничего не значат, и делать их очень легко! Иван Васильевич[888] твердил у нас беспрестанно, что он самый окаянный грешник, и все-таки это не мешало ему проливать кровь ежеминутно. Нам трудно признаваться по частям и сказать: вчера обидел я Ивана по такому-то случаю; ныне осудил Федора; третьего дня мстил тому-то, сказал вот что с намерением. Во всей своей книге унизительного о себе ты не сказал ни слова – и все увидели в ней гордость, а не смирение, как это и есть: потаенная, сокрытая от тебя гордость под мнимой тобою одеждой смирения. Тебе кажется, что ты смирен, а ты горд. Любви сердечной в книге мне не слышалось, так точно и в первом письме твоем к Аксакову[889], от которого так и несло холодом, которое проникнуто было мыс-

лию об усовершенствовании только себя, о пользе для себя и в других видело только орудия. Это письмо было для меня противно, так что я, получа последнее твое письмо, дышащее любовью, не хотел было показывать его им, чтоб не огорчить противоположностью, но услышал от них, что они получили в одно время со мною также письмо в этом роде[890]; тогда прочел уже я им и свое. Но поздно. Да и места нет. Прощай. Обнимаю тебя. До следующей недели.

Твой *М. Погодин.*

Погодин М. П. – Гоголю, 10 апреля 1847

10 *апреля 1847 г. Москва* [891]

Апреля 10. 1847. Москва.

Тяжело мне, грустно – неприятности, оскорбления, огорчения, и к каждому из них находится подтвердительный эпиграф из искренних мнений самого близкого человека[892]. Меня колют, режут, пилят и говорят, что это справедливо: сами друзья то же свидетельствуют! Если бы ты знал, сколько ты сделал мне вреда, зла, существенного, положительного, своими выходками, которые поми-

нутно звенят в ушах моих... Но оставим еще это. Может быть, так мне кажется, предполагается. Довольно – я страдаю и подчас лишаюсь терпения: скорблю, грущу. В таком-то расположении принялся теперь за перо, хоть третьего дня только послал к тебе второе письмо.

Не помню уже, на чем остановился. Все равно. Буду говорить тебе об общих твоих советах. Они все показывают совершенное незнание обстоятельств, о коих ты берешься учить. Например, о западном направлении – ты не имеешь вовсе никакого понятия, куда оно начало было хватать и хватает[893]. Какой яд разливается у нас! Надо наблюдать, следить постоянно, внимательно, чтоб оценить или взвесить, какую пользу или вред, а ты прочтешь едва страничку, чрез два месяца в третий, да и пустишь шутку. Побывай-ка ты в губернии, поговори с капитан-исправником или заседателевой дочерью, которая начиталась мадам Занд (раздаваемой даром при наших журналах)[894], почитай новые русские повести да потом и суди! В пять лет ныне происходит в обществе то, на что требовалось

прежде пятьдесят. Посмотри на молодых людей нового поколения, в Петербурге, Москве, да и посмейся с ними, если найдешь духу. А ты поехал с давно прошедшими типами и потом подаешь свои советы!

Во всякой статье твоей есть прекрасные вещи и вместе такие, кои явно для специальных знатоков обнаруживают твое неведение. Одни вопиют против смешения духа с душою, которых при рассуждениях этого рода смешивать то же, что тело с душою. Другие указывают на несообразность понятий о русской церкви и в чем состоит православие. Об «Одиссее» все сначала еще пожали плечами. Пятое евангелие не сделает того, что приписываешь ты переводу Жуковского[895]. Для всех ясно, что это сочиненное письмо на заданную себе тему – похвалить приятеля. Говорят: Гомер написал «Одиссею», Жуковский перевел «Одиссею», Гоголь рецензировал «Одиссею», Языков напечатал рецензию об «Одиссее», а по справке оказалось, что по-гречески из всех четырех знал только один – Гомер[896]. Такое увлечение воображения в строгом христианине невозможно. Да, верно, ты и не

читывал «Одиссеи», кроме двух-трех отрывков, выслушанных у Жуковского. Мужик будет читать «Одиссею» и сравнивать свое положение с языческим и сделается лучше – это такой вздор, какой может натянуть студент или семинарист, получивший заказ панегирика[897].

Всех смущает больше всего это беспрерывное желание быть апостолом, учительствовать, когда христианин начинает обыкновенно с себя. Сказать помещику в наше время: делай так – и ты будешь богат, как Крез, – непозволительно[898]. Крезы – черт с ними. Дай бог, чтобы Крезов не было.

Что ты пишешь о Красавице[899] – письмо годится в альманах, в арабески, и только, приятный комплимент, а сама божия матерь не могла произвесть таких чудес, каких ты ожидаешь я не знаю, от какой дамы. Точно так же или гораздо более соблазняют всех ожидания от твоей любви, когда сам Иисус Христос отведен был людьми на распятие. Прекрасная поэзия, которая отстает от действительности на неизмеримое расстояние и дает повод ко множеству недоразумений.

Противно всем твое стремление (давнее) тереться около знатных[900], к которым ты очень пристрастен, видишь достоинства в посредственностях и вообще не находишь сказать им ничего, кроме лести, когда все зло там. Но довольно.

Есть, однако ж, люди, которым книга нравится, не только частями, как мне, но и вся сполна. Это большей частию люди средние, которые не замечают и не разбирают всех нитей основы и утка́, а любят послушать нравоучения и посмотреть хороших видов. Досадно мне, что некоторым лицемерам еще она нравится. В истории твоей души книга, верно, займет важную ступень, но не произведет такого действия... Впрочем, я не знаю, какое действие ты хотел произвесть. Вот и поднялась в голове куча мыслей, которые надо оставить до следующего письма, а я, написав, как будто отдохнул и иду спать поспокойнее. Да где же ты будешь жить летом? Приезжай-ка к нам, преодолев свое самолюбие и заклав тем свою гордость не на словах, не умничаньем, что всякому легко, а на деле, что трудно, ох трудно! и оставив хитросплетае-

мые размышления, кои представляются тебе простыми. Простое – простее. Обнимаю тебя.

Твой *М. Погодин*.

Ожидай письма еще скоро. Мне хочется поскорее излить всю душу… Ох, некому!

Погодин М. П. – Гоголю, 6 мая 1847

6 *мая 1847 г. Москва* [901]

Мая 6/18 1847. Москва.

Последнее письмо к тебе[902] писал я мрачный и печальный – это пишу более спокойный и довольный. Нашел стих писать, писал много и развеселился[903]. Что я делал – не могу тебе сказать: как-то язык не поворачивается после твоих отзывов.

Не помню, на чем остановился в последний раз. Все равно, буду говорить теперь о твоем авторстве. Ты сам, по Пушкину, определил его верно[904], но не вполне: ты часто хватаешь и за сердце, и умиляешь. В «Шинели» ты сказал: «Сколько грубой свирепости бывает в самом добром и благородном человеке» – или что-то в этом смысле: этим выражением как будто снялась у меня одна плена

катаракта с глаза. Часто я думал об нем, искал в себе и сознавался и горько раскаивался. Часто думаю и теперь; и вспоминаю разные происшествия из своей жизни: был в Вятке один молодой почтальон, который написал ко мне прекрасное письмо и просил, чтоб я доставил ему средства учиться. Я начал хлопотать чрез знакомых в Почтовом департаменте. Его уволили. Он приехал в Москву и жил у меня. Строганов не хотел принимать в университет без гимназического экзамена. Надо было почтальону учиться по-латыни. Посадил я его за грамматику. Прожил он у меня с год, но успехов не оказывал. Мне стало досадно, и я приписывал неуспешность недостатку прилежания, часто журил его и однажды сказал: «Эх, брат, видно, у тебя охота смертная, да участь горькая». Это слово вспоминаю я с горестью: не пало ль оно ему тяжело на сердце? (После он занемог горячкою и умер в университетской клинике.) Так точно припоминаю некоторые выходки с моей Лизою[905]. Почем знать, – может быть, иная проникла глубоко, и хотя она меня знала, хотя выходки эти были очень редки, наперечет, касались одного

предмета – отношений к ее родным и вскоре исправились, хотя нежность моя к ней наедине (при людях мне всегда было совестно даже подойти к ней) была чрезвычайная, но внутренние следствия для нас закрыты. Теперь приходят такие мысли, спрашивается – что христианственнее может сделать автор? Какая прекрасная служба! Вот твое дело – а учительство и проповедничество – оборони тебя бог! Есть другие люди! На меня, следовательно и на всякого, так или иначе действовали твои сочинения, а ты вздумал их ругать[906], потому что ум зашел у тебя за разум, увлеченный гордостью, злым духом, который явился пред тобою в образе ангела светла и поймал тебя на уду смирения, которое глубоко названо «паче гордости».

Но я отвлекся от твоего авторства. Ты не имеешь способности поправлять, и вместо поправок ты переделываешь. Вот почему никогда не распространялся я в замечаниях для тебя[907]. Я считал их бесполезными. Ты соглашаешься почти со всяким замечанием и полагаешь, что непременно во всяком должна быть истина (это крайность), и если бы

предлагать тебе замечания, то первое твое сочинение было бы и последним и вышло бы по смерти (не такой ли сгиб ума и у Иванова?). Если тебе укажут какое место в сочинении, ты переделаешь его, но переделанное будет иметь те же достоинства и те же недостатки, и так далее. Следовательно, вместо переделки лучше писать другое, и вместо одного сочинения выйдет несколько сочинений – в барыше читатели, словесность и автор! Поэтому напрасно откладываешь ты путешествие в Иерусалим – чрез год-де я буду лучше. Напрасно сжег 2<-й> том «Мертвых душ» – после-де я напишу лучше[908]. Ты напишешь другое, а за что же мы потеряли то? Так Сассо-Феррато оставил сто мадонн вместо одной. Я сравниваю тебя с живописцем, которому указывают недостатки или сам он видит, а он беспрестанно смазывает написанное и пишет вновь.

«Мертвых душ» – в русском языке нет. Есть души ревизские, прописные, убылые, прибылые[909]. «В ворота гостиницы одного губернского города» – столько родительных никогда по-русски не ставится рядом: зависимость их

не русская. «В ворота гостиницы въехала» – оборот не русский. «Въехала на двор» – вот как по-русски. Два мужика толкуют о колесе – это хорошо, но не могут они спорить о Москве и Казани, ибо на пространство тысячи верст не могут простираться вероятности. От Толедо может ли колесо доехать до Паузилиппо? А до Собачьей пещеры?[910] Но никто не будет спорить о Флоренции или Милане. С Девичьего колесо может доехать до Тверской, до Лефортова – ну на [911], 15 верст, и т<ак> далее. На досуге по вечерам я хотел было исписать «Мертвые души», но оставил это намерение после твоей последней книги, чтоб мои замечания не были растолкованы отмщением. Теперь ты видишь, почему я подталкивал тебя печатать и почему не делал замечаний, т. е. чтоб не задерживать даром. Писать ты сам никогда и не будешь правильно. Тебе нужен стилист, который бы исправлял безделицы, а язык твой и без правильности имеет такие достоинства высшие, которые заменяют ее с лихвою. Греч и Булгарин правильны, да что же толку!

Давно не получал никто писем от тебя. Что

делается с тобою! И мне пора бы получить ответ на первое письмо, посланное на Свят<ой> неделе.

Вот тебе происшествие, волос становится дыбом, о помещике, которого ты учишь быть Крезом. В Калужской губернии один (Хитров) блудил в продолжение 25 лет со всеми бабами, девками – матерями, дочерьми, сестрами (а был женат и имел семейство). Наконец какая-то вышла из терпения. Придя на работу, она говорит прочим: «Мне мочи нет, барин все пристает ко мне. Долго ль нам мучиться? Управимся с ним». Те обещались. Всех было 9, большею частию молодые, 20, 25, 30 лет. Приезжает барин, привязал лошадь к дереву, подошел к женщине и хлыстнул ее хлыстом. Та бросилась на него, прочие к ней на помощь, повалили барина, засыпали рот землею и схватились за яйца, раздавили их, другие принялись пальцами выковыривать глаза и так задушили его. Потом начали ложиться на мертвого и производить над ним образ действия: как ты лазил по нас! Два старика стояли одаль и не вступались. Когда бабы насытили свою ярость, они подошли, повертели

труп: умер, надо вас выручать! Привязали труп к лошади, ударили и пустили по полю. Семейство узнало, но не рассудило донести суду, потому что лишилось бы десяти тягол (оно было небогато), и скрыло. Лакей, рассердясь на барыню, прислал чрез месяц безыменное письмо к губернатору, и началось следствие. Девять молодых баб осуждены на плети и каторгу, должны оставить мужей и детей. Как скудна твоя книга пред русскими вопросами!

Писал ли я тебе о некоторых наблюдениях и замечаниях моих во время болезни моей и Лизиной? Киреевский10 опасно болен. Прощай. Обнимаю.

Твой *М. Погодин*.

Где ты лето?

Кстати перепишу тебе отрывок из письма ко мне Иннокентия, которое получил уже давно, в ответ на мой вопрос о твоей книге. Мне хотелось знать его мнение как человека вне нашего светск<ого> круга.

«Гоголя читал и даже записку его с книгою получил, не знаю от кого, не от вас ли? Он

просит отвечать. Но куда же? В Неаполь? А его уже там нет. И что писать? Если вы пишете к нему, то скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет»[912].

Осталось место, и потому скажу тебе два слова о своих, которых ты забыл среди своих усовершенствований, а любовь все вмещает! Но, не шутя, знаешь ли ты, что у меня скоро дочь невеста, что сын готовится в гимназию и меньших двое, т. е. крестник твой и малютка, подрастают. О, друг мой, тяжело, тяжело! С моим грубым тоном, моим суровым характером, угрюмостью, как воспитывать девочку, нежное создание, которое требует ласки, кротости, снисходительности! <Я обра>батываюсь, но – медведю танцовать мудрено. <Впро>чем, об этом – подробности после. Маменька моя здорова, весела. Елизавета Фоми-

нична живет спокойно.

Да – у тебя богатые знакомые. Собери-ка т<ысячи> две руб. асс<игнациями> да пошли их в пакете в Прагу к Шафарику[913]. Великое благодеяние это будет и п<олез>нейшее дело. Сам я расстроен, а собирать нет уже сил. Толстой А. П. обещался мне, лет пять назад, но позабыл и проч. Адрес: Herrn Paul Joseph Schafarik, Custos an der K. K. Bibliothek.

Гоголь – Погодину М. П., 20 мая (1 июня) 1847

20 *мая (1 июня) 1847 г. Париж* [914]

Я получил твои два письма вдруг[915]. В них так много грусти, что у меня не поднялось даже перо оправдываться в твоих обвинениях по поводу книги, исполненных, впрочем, противуречий. Друг мой, ради Христа, утешься, оставь на время и книгу и меня; то и другое выбрось из памяти своей: это подымает, как я вижу, целый лабиринт мыслей, предположений, заключений, которым конца нет, и притом о таких предметах, где может решить только глубокий сердцеведец и душезнатель. Один бог может быть судьею в

иных делах, и никто кроме. Состояние души твоей нервически-тревожно, как почти у всех нас в нынешнее время, а потому все оскорбления, огорчения растут в глазах наших и кажутся бóльшими, чем в самом деле. Друг мой, поверь мне, что страданья твои мне чувствительны слишком, тем более когда помыслю, что я сам причиною многих. Страданья твои слишком мне понятны, потому что я сам исстрадался весь, а страждущему понятен страждущий. Но весь мир страждет. Все люди, с которыми я ни сходился и с кем ни знакомился коротко, все страждут, даже и те самые, о которых по виду меньше всего можно заключать, чтобы они были несчастны, так что даже и решить не могу, чьи страданья сильнее. Мне кажется, что тягостнее всех других страданий страдания, происходящие от взаимных недоразумений, а эти страдания теперь стали решительно повсеместны. Только и слышишь со всех сторон, как расходятся друзья, как люди, созданные затем, чтобы любить друг друга, невозвратно отторгнулись друг от друга. Только и слышишь теперь, как скорбно кричит человек: «Меня не понима-

ют!» О! как страшно теперь произносить суд над каким бы то ни было человеком, не опустившись в самую глубину его души. Ради бога, утешься и вспомни, что есть среди нас Христос, всех нас утешитель, что есть ковчег среди колебанья всеобщего – святая церковь, в которую можно ежеминутно укрыться. Ты в Москве, где и утром и вечером отверсты двери церковные, где несколько раз в день обедня и всякий вечер всенощная, где, наконец, есть и духовники, кому исповедать свою душу. Ты говоришь в письме твоем, что тебя режут, пилят, колют из-за моих неосторожных слов о тебе. Рассмотри хорошенько, не кажется ли это тебе в преувеличенном виде. Как я ни несправедлив перед тобою, но я сказал только о неряшестве твоем и торопливости. Я не отвергал в тебе достоинств твоих, я о них только не упомянул, потому что речь была не о тебе. Ради бога, утешься: я не хотел у тебя просить извиненья и оправдываться перед тобою в поступке моем, потому что готовил статью о твоем литературном поприще[916], где, не скрывая ни одного из твоих недостатков, только намеревался вычислить и поиме-

новать твои достоинства, перед которыми, слава богу, могут побледнеть твои недостатки. Я и прежде думал о такой статье, но не знал, каким образом сказать так, чтобы не попрекнули меня товариществом и связями с тобой. Теперь можно это сделать так, что станет стыдно тем людям, которые, мимо высоких достоинств человека, спешат посмеяться над его недостатками. Итак, бога ради, утешься в этом отношении. Поверь, что еще не так тяжело слышать, когда охуждают труд наш и судят его, как слышать, когда судят нашу душу и над ней произнесут такой суд, от которого содрогнется вся внутренность. Будто – ты думаешь – легко выслушать от близких, прекрасных душой, даже, может быть, святых людей обвинения и улики в том, за что бесчестье на земле, а в будущей жизни мука вечная: это еще потяжелее, чем презренье от презренных людей. Не с тем это говорю, чтобы упомянуть кое-что о себе. (О себе я теперь страшусь и слова произносить, потому что под каждое слово мое подкапываются и отыскивают в нем такое значение, что меня обдает холодным потом.) Но с тем говорю тебе,

чтобы ты не позабывал ни на минуту, что никогда, как в нынешнее время, еще не страдало такое множество от недоразумений. Это всеобщее переходное состояние, которому подвержено теперь все, что ни стоит впереди, что ни есть цвет современного человечества, усиливает еще более эти недоразумения. Все это, может быть, затем, чтобы не осмелился человек слишком полагаться ни на кого и почувствовал бы сильнее, что один только Христос есть его друг в минуты несчастий. Будем же, в таком случае, покорны такому голосу и станем же чаще обращаться к самому Христу при малейшем нашем огорчении. К нему же доступ так прост: двери церковные открыты; стоит войти, покорно сложить руки крестом и выслушать первые слова, какие ни скажет служитель Христов: они все придутся кстати. Но прощай. Пиши ко мне в минуты скорбные и болезненные, и ты, может быть, узнаешь меня, потому что в такие только минуты узнает человек человека. Знание же человека, приобретенное другими путями, будет больше предположительное, чем верное и несомненное. Адресуй в Франкфурт или на

имя посольства, или в poste restante. О прочем после.

Твой *Г.*

Погодин М. П. – Гоголю, 2 июня 1847

2 *июня 1847 г. Москва* [917]

Июня 2/14 1847.

Наконец спрашиваешь ты о детях. Согласись, как вообще отвлеченна наша дружба и как мало знакомы мы с жизнию. Каковы дети, что́ они обещают, чего не обещают, как ты их воспитываешь, чем ты живешь, что делается с тобою – вопросы великой важности, от которых зависит много самое расположение души, а они представляются под конец почти наравне с предметами простого любопытства. Этот упрек относится не к тебе одному, но и ко мне и ко многим, если не ко всем. Я расскажу тебе теперь все семейное. Это пятое мое письмо вместе с прежним и еще два-три последующих должны составить одно письмо, которое пишется отрывками, а после приведется, пожалуй, в порядок в твоей душе, как и моей. Дети, во-первых, теперь здоровы; вообще я доволен ими, их склонностями, занятия-

ми – что бог даст вперед? Саше уж 13 лет[918]. При ней живет девушка, m. Symonds, дочь того американца, с которым я жил у Трубецких[919]. Плачу ей 1200 <р. асс.>. Добрая, образованная девушка, но <воспитанная> в пансионе, след<овательно>, с искусственными привычками и взглядом на вещи. У Саши сердце нежное, любящее, характер веселый. Митя развивается туго, мало еще понятия и смысла. При нем живет немец, учащий по-латыни и немецки, – 1200 <р. асс> за 1½ года, до следующего экзамена в гимназию. Рисовать показывал большую способность, и рисовал очень хорошо, но теперь особого учителя нанимать нет сил. Ване 5 лет и Груше 3. При них русская немка, порядочная женщина, но сухая. Таков характер, кажется, и у надзирательницы да и у Елизаветы Фоминичны[920], которую ты окрестил, кстати, Аграфеной Кузьминишной. Следовательно, го́лоса кротости, любви им недостает. Я, переламывая себя, говорю таким голосом только иногда. Всех любовнее это моя матушка, но ей за 70 лет. Митя очень вспыльчив и не переносит оскорблений. Любит спорить. Ваня будет, кажется, ум-

нее, Груша – девочка резвая и живая. Боюсь за нее впереди. Брат Григорий Петрович совершенно у меня на руках. А мои доходы все прекратились, кроме одной пенсии, так что я не знаю, что и делать. Очень тяжело содержать все в порядке. Имение свое положил я все в свой музей, который теперь не имеет цены и состоит из вещей драгоценнейших, но не дающих хлеба. Рукописей вчетверо больше, чем у Румянцева[921], а вещей и древностей 40 шкапов. Расстаться с ним при жизни я не могу, потому что, кроме изучения, он доставляет мне единственное утешение и развлечение. Прекратить покупки не могу, как игрок перестать играть в карты. Собирание мое сделалось известно по всей России, и со всех сторон несут и везут мне всякие редкости. Ну как откажешься? Всякую неделю получаю я что-нибудь, и одна корреспонденция с комиссионерами представляет прелюбопытные вещи. Теперь пускаюсь на спекуляцию, которая или поправит мои дела, или я увязну уже так, что только вытаскивайте[922]. Ты знаешь коллекцию эскизов, что была у Глинки?[923] С тех пор не нашлось охотника купить ее даже за

100 тысяч рублей. Каковы подлецы наши богачи, которых ты так честишь. Ее хотят увезти в чужие края. Я решился купить ее за 70 тысяч руб. асс. – 4350 эскизов! План мой – огласить ее в Европе. Тотчас получится, надеюсь, предложение. Тогда правительство опомнится и купит у меня это неоцененное собрание. Деньги занимаю. Но если это не удастся? Не думаю, впрочем: свое возвращу я непременно. И это хорошо. Чтоб по крайней мере не ушло из России это с<обрание>. Негодую на себя за свою беспечность и дерзость. Впрочем, об экономии в своих делах, как они теперь ни худы, я не забочусь, уверенный, что они поправятся и что ни я, ни семейство мое не будут иметь нужды. Я не могу справиться с собою в другом отношении. Вот где моя тревога и смущение. Ты знаешь, что я не знал женщин до 33 лет, то есть до своей женитьбы. С Лизой я прожил 11 лет. Теперь третий год я один, и природа требует своего. Первые года я справлялся кое-как: размышление, занятия самым глубок <им> и мне <нрзб.> предметом служили мне фонтанелями, и только по временам происходило движение.

Теперь оно усиливается. Женщина, к которой вообще мужчина привыкает, как к трубке, для меня сохранила всю свою прелесть, потому что я знал, даже целовал, только одну во всю свою жизнь. Голове становится дурно, например, в эту минуту. Медики советуют, а без закона я не могу прикоснуться ни за что! Где же искать другой Лизы? Нравственная потребность тоже велика. Скучно, грустно одному; хочется передать, разделить свои чувствования, даже поговорить искренно. Ты не можешь понять этого положения, и не поймет никто, не бывав в подобных обстоятельствах. Нашел ты время толковать со мною о неряшестве слога!

Обращаюсь к твоему последнему письму. Не об неряшестве, не о торопливости я говорил тебе, а об том обвинении, будто в 30 лет ни одного я юношу не подвигнул к добру, ни в одном не произвел хороших впечатлений, ни одной мысли не обдумал и не понял вполне. Мне все кажется преувеличенным. Разумеется! А какая разница между есть и кажется? Мне надо подать совет... он замирает на моих устах – мне слышится голос: «Куда тебе

советовать?» Ну да что толковать об этом! У меня на другой день по прочтении книги не осталось горести в сердце, а я говорю тебе в исполнение твоего желания, что происходит наяву или в воображении. Следовательно, утешения мне не нужно. Почему я не сердился? Сначала я полагал, что доброе сердце не помнит зла. А теперь с горестию вижу, что все только гордость, первородный грех играет большую роль. «Что ни говорите вы, друзья и враги, благородные и подлецы, я знаю свою силу и покажу вам ее и пристыжу вас всех», – такое сознание, верно, лежит в глубине этого доброго, по-видимому, сердца, и потому я спокоен и не сержусь. Любить, любить и любить! Молиться, молиться и молиться! Желать быть лучше – вот все, что мы можем, слабые, падшие люди... Глупо ты делаешь, что живешь в чужих краях. Откажись от твоего ума, он увлекает тебя бог знает куда!

Прощай. Твой *М. Погодин*.

Киреевскому лучше. Отец Макарий[924] скончался в тот день, в который назначил свой выезд из Иерусалима. Третьего дня у нас

на дворе умерла женщина молодая, ездившая накануне с мужем в город за покупками. Поутру гуляла, в 12 ч<асов> родила, в 5 скончалась.

Ну, собрал ли ты от любезных своих богачей хоть тысячу руб<лей> асс<игнациями> (если не более) и послал Шафарику? Это необходимо, а я не могу и собирать – здесь нельзя. Сделай эту милость и пошли. Предоброе и преполезное дело. Адрес: Paul Joseph Schafarik, Sr. Wohlgeboren, Custos an der K. K. Bibliothek in Prag. Sarbergasse, № 146.

Ты хочешь писать о моих изданиях – да разве ты их знаешь?

Между малороссиянами открылось что-то недоброе[925].

На Аксакова ты, верно, сердишься? Это нехорошо. Старик писал тебе искренно и любя[926].

Что наш век есть век недоразумений – это святая истина! Да, я все позабывал тебя спросить, что за страшное происшествие, к которому я подавал повод? Ума приложить не могу[927].

Пиши мне с первою почтою. Ты все волну-

ешься; старое и новое в тебе борется. Это ясно для меня по письмам. Какие противоречия ты находишь у меня? Следовательно, ищешь по крайней мере.

«Мне надо сказать: ты украл это у меня?» Да что же у тебя украсть? Ты не говорил ни одного даже слова, слышите ли столько <?> А граф Строганов, прочитав твои письма, с кошачьей злобой говорит мне: «Ваши друзья говорят об вас то же»[928]. А люди незнакомые или знакомые, но легкие, министры или NN, SS, от которых зависит мое положение? Мне совестно смотреть им в глаза!

Гоголь – Погодину М. П., 26 июня (8 июля) 1847

26 *июня (8 июля) 1847 г. Франкфурт* [929]

Франкфурт. 8 июля.

Друг мой, упреки твои жестоки. Почему не проходит ни одного письма, в котором бы ты не попрекнул меня какими-то знатными друзьями? «Ты угождаешь одним знатным», «тебе дороги одни знатные». Стыдно тебе! Вот тебе вся правда о моих знакомствах, о которых ты судишь понаслышке, ничего не зная на-

верное: я, точно, знакомств наделал очень много в последние четыре года, но большею частью с людьми умными и всякого рода практическими людьми, которые могли мне какие-нибудь сообщить сведения о том, что делается внутри Руси, сведения, которые я вот уже четыре года собираю жадно. Из прочих я познакомился с весьма немногими, и то вовсе не потому, что они были знатны, но потому, что встретил добрую, любящую душу. И странное дело – не в веселые часы, но в минуты тяжких душевных страданий приходилось мне сходиться с людьми. Бог знает, если б мы и с тобой сошлись в такое время, и притом – теперь, а не прежде, – может быть, между нами никаких бы не было недоразумений и тебе все было бы понятно из того, что теперь мутит тебя. Во всяком случае, помни, что ты в мыслях и заключеньях твоих обо мне можешь скорее ошибиться, чем я о тебе. Ты передо мною был всегда открыт, а я пред тобо<ю> закрыт. Ты занят был всегда почти науками и развлечен множеством разнообразных занятий по разным предметам, у меня же предметом был всегда человек и душа че-

ловека. А теперь еще более, чем когда-либо прежде, это сделалось моим предметом. Притом не позабудь, что между нами случилось дело, которое поставило нас в фальшивые отношения[930]. Я припомню тебе все обстоятельства, потому что ты несколько забывчив. Перед приездом моим в Москву я писал еще из Рима Сергею Тимофеевичу Аксакову[931], что я нахожусь в таком положении моего душевного состояния, во время которого я долго не буду писать, что писать мне решительно невозможно, что я не могу ничего этого объяснить, а прошу мне поверить на слово, что прошу его изъяснить это тебе, чтобы ты не требовал от меня ничего в журнал, что я буду просить об этом у тебя самого на коленях и слезно. Приехавши в Москву, я остановился у тебя со страхом, точно предчувствуя, что быть между нами неприятностям. В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу[932]. Я ничего не умел тебе сказать и ничего не в силах был изъяснить. Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего, что сочиненье

мое от этого может произойти слишком значительным. Я сказал, что оно так будет значительно, что ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России, тем более, что явится во время несравненно тяжелейшее и будет лекарством от горя. Ничего больше я не умел сказать тебе. Знаю только: я просил со слезами тебя во имя бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне: «Верю». Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты мне дал слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, – знак, что я ничего не смогу объяснить, а только наклеплю на самого себя. Но когда ты через две недели после того объявил мне, что я должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего не происходило, это меня изумило и в то же время огорчило сильно. А когда ты потом, еще недели через три, напомнил вновь, говоря, что я должен дать тебе статью, потому что, как бы то ни было, я живу в

твоем доме и тебя твои родственники спрашивают о том, что ж я, в самом деле, у тебя живу, а для тебя в журнале не тружусь. Это напоминанье показалось мне так низким, неблагородным и неделикатным. (Прости меня. Это было уже давно. Я сам дивлюсь моей щекотливости. У меня на тот раз ушло из виду, что у тебя жесткие слова вырываются иногда вовсе без намерения.) Мне казалось так низким напомнить у себя живущему человеку, что он должен быть за это благодарным. Мне показалось так неблагородным, давши честное слово, от него отступиться. Мне показалось так недостойным для высокой души не поверить слезам умоляющего человека или – еще хуже – сказать: «верю» – и усумниться. Словом, мне это представилось так малодушным и неблагородным, что я стал презирать тебя. (Друг мой, прости меня, это чувство давно прошло.) Я не старался скрывать пред тобой презренья. Напротив, я тебе показывал его при всяком случае почти явно. Не понимая, из какого источника оно происходит, ты принимал его просто за гордость, и, встречая гневное выраженье лица при вся-

ких, даже небольших, случаях, ты заключил, что во мне поселился сам демон гордости во всем сатанинском своем виде, и думал, что это уже моя натура, что я непременно, со всеми так обращаюсь, тогда как, признаюсь тебе поистине, ни с кем в мире я не обращался так дурно, как с тобою. Мне стыдно, как я припомню только некоторые свои поступки. Я сердился на тебя даже за то, что ты меня заставил рассердиться, потому что я было уже начинал о себе думать, что трудно какому-нибудь человеку рассердить меня. С этих пор все пошло у нас навыворот. Видя, как ты обо мне путался и терялся в заключеньях, я говорил себе: «Путайся же, когда так!» И уж назло тебе начал делать иное, мне вовсе не свойственное, ни моей натуре, с желаньем досадить тебе. Друг мой, за все это я заплатил, и тяжело заплатил. Целые два года я томился потом желаньем оправдаться перед тобою. Целые два года я почти ничего не в силах был делать: так меня занимало желанье излить перед тобою чистосердечную исповедь свою. Я принимался за перо и всякий раз изнемогал над ним. Исписывались кругом листы, и я ви-

дел, что все это недостаточно дать тебе точное понятие о деле. Я видел, что нужно подымать для этого все, что ни соединилось с моими самыми тайными и сокровенн<ыми> помышления<ми>; я видел, что нужно для этого подымать самые «Мертвые души»... Словом, это была страшная работа. Ничем другим я не в силах был заняться, кроме этого, и всякий раз, изнурившись, выбившись из сил, видя, что изъясненьям конца нет, потому что затем, чтобы объяснить одну струну, надо было поднимать другую, – всякий раз я давал себе слово оставить это и не объяснять себя. И всякий раз вновь тянуло с непреодолимой силой перед тобой изъясниться. Я писал и рвал тогда же исписанное. Это были просто муки Тантала и окончились страшным нервическим расстройством. Но в сторону все это. Привел это я теперь не для оправданья себя, но для того только, чтобы ты уверился сам, что взгляд твой на меня не может быть верен. А потому и замечания твои о мне относительно моего характера будут больше невпопад, чем замечания твои о всяком другом человеке. Оставим теперь все. Я прошу у тебя ис-

кренно прощенья во всем, в чем огорчил тебя. Я прошу тебя также простить и за мой неуместный печатный отзыв о тебе, который так огорчил тебя без всякого желанья с моей стороны огорчить тебя. Отзыв этот был писан в то время, когда я воспитывал себя упреками, отвсюду требовал себе указаний и упреков и раздавал также всем указанья и упреки. У меня вышло из головы, что позволительное в письмах между собою нельзя выносить на свет перед публику – по крайней мере не объяснивши ясно, в каком смысле следует принимать и разуметь. Еще раз прошу у тебя прощения и обращаюсь по очень важному пункту письма твоего. Ты намереваешься жениться. Мне кажется самому, что это тебе нужно во всех отношеньях. Но не позабывай, что трудно найти другую Лизу. Мне кажется, с твоей стороны будет благоразумней жениться на немке, нежели на русской[933]. Во всяком случае, избирай такую, которая была <бы> характера сколько возможно хладнокровного и покойного, у которой бы или были усыплены, или вовсе не действовали щекотливые струны сердечные и нервические.

Никак не позабывай того, что ты можешь сильно оскорбить, вовсе не думая оскорбить, и ударить невпопад по таким чувствительным местам, которых боль потом ничем не уймешь. Выбирай такую, которая бы уже создалась в характере, а не следовало бы ее тебе воспитывать самому, потому что, как сам знаешь, в тебе нет того хладнокровья и терпенья, какие необходимы воспитателю. Здесь я тебе почитаю приличным сказать, что на тебя сердились собственно не за грубость и жесткость твоих упреков (упреки и пожестче переносятся), но за то, что они бывали невпопад, что более всего сердит. У тебя не было достаточного снисхождения к природе того человека, с которым ты имел дело. Странное дело! Нельзя сказать, чтоб ты не знал людей. Вообще ты понимаешь, что такое человек. Ты признаешь даже, что у всякого есть свои особенности, которые нужно принять к соображению. Но всякий раз, когда ты имел какое-нибудь дело с каким-нибудь человеком, у тебя вдруг все это выходило из головы, и тебе воображалось, что перед тобою стоит такой же, как ты, Погодин и ты от него можешь требовать того

самого, что от себя самого. Отсюда все эти истории, доставившие тебе так много в жизни неприятностей всякого рода. Все это особенно прими теперь к соображению и проси также не выпускать из виду этого пункта тех, которые будут для тебя отыскивать невесту. Но да устроит бог это дело к наилучшему, от меня же покуда прими желанье искреннейшее и от всего сердца: да не почувствуешь ты во второй жене никакого отличия от прежней и да кажется тебе всю жизнь, как бы в ней ты обнимаешь свою первую жену.

В конце своего письма ты, давши мне маленький урок, как оно и следовало, говоришь: «Нужно любить, любить и любить» – и вслед за этим с чувством огорченного человека негодуешь на Строганова за неприглядную и злую колкость. Что сказать на это? – «Надо любить и Строганова!» С тех-то именно и нужно начать, которые нас огорчают, а иначе когда же мы выучимся любить? Мы будем только повторять, что нужно любить, и больше ничего. Я не понял, в каком смысле и к чему, собственно, нужно отнести твои последние слова, которыми ты совершенно неожи-

данно заключил твое письмо без всякого отношенья к предметам предыдущим, разумею следующий обращенный ко мне совет: «Откажись от ума своего; он тебя заводит бог весть куда». Если это относится к моим двум письмам к тебе, то я их писал, как писалось, без всякого умничанья; прости, если чем оскорбил; я, писавши к тебе, именно думал о том, как бы не оскорбить тебя, сознаваясь, что я без того много оскорбил тебя. Если ж ты вновь вспомнил о моей книге и к ней их отнес, то на ней скорей видно, что я отказался от ума своего. Ум мой был не глуп. Ум мой советовал мне хорошо. Он мне советовал делать свое дело, не смущаясь ничем, ни с кем не входить в изъяснения, не выдавать ничего в свет, пока не придешь в такое состояние, когда твои строки будут стоить печати и никого не введут в соблазн. Ум мой говорил мне быть скрытным, все перенести и все вытерпеть и ни на какие вопросы не отвечать никому, кто бы ни спросил о том, что ты теперь делаешь. Я не послушал моего ума, и плодом этого непослушанья есть моя нынешняя книга. Но, впрочем, что я говорю? Как будто мы в

силах распоряжаться сами собой. Как будто не всеми нами правит высшая нас сила. Как будто не она попустила явиться и книге моей. Чем я виноват, что выдал ее в свет? Она была моей душевной потребностью. В ней излиянье меня. Разве было бы тогда лучше, если бы все эти недостатки мои, которые так всех поразили, что уже, несомненно, стали говорить о союзе моем с дьяволом, оставались бы скрытными во мне, – что ж бы от того я выиграл? Нет, не держаться ума также плохо. Лучше молиться богу, но работать всеми способностями и силами. Бог не оставит на дороге заблужденья того, кто ему молится и от всех сил хочет ему работать, хоть бы и заставил его лукавый поколесить несколько в сторону. Бог выведет его вновь на дорогу. Это невозможно: молящегося бог никогда не оставит. А тебе скажу, что нельзя давать таких советов, которых смысл так обширен, что не знаешь, какой стороной обратить его к делу. «Откажись от ума!» Над этим вопросом иной, стоящий не крепко на своем месте, станет думать, да потом и точно сойдет с ума. Он скажет, что же, собственно, во мне ум? и где именно он

у меня? в чем? Все это нужно мне указать. Здесь, например, сказала во мне душа, а другому кажется, что это сказал ум. Это сказал, может быть, во мне ум, а другому кажется, что это сказала душа. Нет, храни бог от таких советов, которые могут неопределенностью сбить и спутать. По мне, пусть себе идет человек по какой хочет дороге, да пусть только не позабывает молиться, а что в нем просятся на свет какие-нибудь силы и способности, значит, что в нем, точно, они есть. Но если он сам достаточно не вызрел, они явятся сначала в преувеличенном, мутном виде, потом понемногу станут изливаться ясней и, наконец, примут законный вид и войдут в свои границы. Но зачем и к чему я это все пишу? Может быть, тебе покажутся вновь какие-нибудь ухищрен<ия> ума. Вижу, что мне ни о чем не следует писать, даже и от писем следует отказаться, – тут могу также наговорить праздных слов. Да и к чему такое письмо, которое может смутить? Если это письмо тебя чем огорчило, то прости, потому что на всяком шагу нам нужно друг друга прощать. Что же касается до ума, то не только от него, но даже от

многого отказался. Еще за месяца два перед сим кипело сильное желанье видеть родину, теперь и оно ослабело, как и все прочее. Утомился ли дух мой от этого вихря недоразумений и войны, происшедшей оттого с друзьями, но сердце мое просит покоя, и ни о чем другом не думается, как о том, чтобы как-нибудь добраться до Иерусалима[934]. Затем бог да хранит тебя.

Твой *Г*.

Пожалуста, отправь прилагаемое при сем письмо Иннокентию[935], которому я очень благодарен и за искренность и за доброту вместе.

О Шафарике: богачей во Франкфурте не случилось мне видеть никаких. Однако ж я просил одного человека. Мне обещано кое-что послать. Скажу Шафарику, чтобы он дал тебе знать, получил ли он какой-нибудь вексель. Если нет, я что-нибудь пошлю ему от себя.

Погодин М. П. – Гоголю, 14 июля 1847

14 *июля 1847 г. Москва* [936]

Июля 14/26 1847.

Книга твоя доставила тебе много горечи, вот тебе и капля удовольствия, любезнейший Николай Васильевич. Посылаю тебе письмо, писанное ко мне одним молодым человеком...[937]

Лишь только начал я писать тебе это, как получил твое письмо от июля 8. Грустно мне было прочесть его. Твоя ладья все носится по морю, волнами все бьет ее в ту и другую сторону, и далеко тебе до пристани, далеко до Иерусалима! У меня вылетело из головы все, что я хотел писать тебе в этом письме, кажется, продолжение одного моего письма, и я буду теперь отвечать только на твое.

Ты просил меня прежде: «Пиши ко мне все, все, что придет в голову, на первом лоскутке» и тому под<обное>[938]. Что же обращает прежде всего твое внимание в моих письмах? Мелочи, мимоходные замечания, вырванные слова ходом речи, одним словом, лыко в строке, а что важно в отношении к тебе, ко мне, то как будто пропадает незамеченное. Какие-то пустые противоречия ты находишь, какими-то упреками огорчаешься, то-

гда как я сказал тебе с самого начала, и сказал торжественно, что я не сержусь и не думаю укорять тебя, и поступок твой со мною хотел еще впредь разобрать исторически, к сведению, к назиданию обоюдному; до него еще не доходил черед в моем письме! Однажды только, помнится, я передал некоторые обстоятельства; впрочем, все-таки только к сведению. Увидя теперь, что ты понять этого никак не можешь и видишь, предполагаешь настоящие ощущения, жалобы вместо исторических справок, я то письмо свое (в шести отделениях) прекращаю и анализировать твоего поступка, как предполагал прежде, во избежание недоразумений, не буду. Возвращаюсь к ответу.

Ты пеняешь мне за упреки о знати. Если я что не люблю на свете, так это знать. Я убежден, что она физически выродилась, что кровь течет в ней иная, что она не способна ни к какому добру (чему, кроме физики, содействует и воспитание), что все прекрасные и сладкие ее слова не имеют жизни и того смысла, какой эти самые слова имеют для других людей, что они оптически обманыва-

ют себя больше, чем других. Убедился я в этом после многих опытов, даже с теми людьми, с которыми ты в связи. Не скрою, что плебейское происхождение, молодость, проведенная в знатном доме[939], при виде всех его мерзостей и пр., было причиною, что я вдался в крайность, и я бывал несправедлив в этом отношении, следовательно, мог и на тебя подосадовать излишне, мог подшутить, но не может быть, чтоб я написал тебе, как ты передаешь: «Ты угождаешь одним знатным», «Тебе дороги только знатные». Нет, не может быть, чтоб я так написал. Ты перевернул мои слова, и в этом виде я не признаю их своими. Вот тебе разительный пример, как наше воображение, или самолюбие, или что ты хочешь перевертывает вещи по своему произволу и судит перевернутые вовсе несправедливо. Прошу тебя с дипломатическою верностию выписать мне мои слова. Если они написаны так, как ты передал, то они послужат мне уроком, а наоборот – тебе.

Отвечаю построчно. Выкинь из головы мысль, что ты можешь получить сведения о России по слухам. Нет, нет и нет. Ты полу-

чишь совершенный вздор. Одна неделя дома покажет тебе все лучше и вернее, чем пять лет в чужих краях. У нас чудеса со всяким днем воочию совершаются, и ловить их может только зоркий глаз на месте. И кого ты слушаешь? Богатых, праздных, полуфранцузских-полунемецких магнатов! Опять попались они под перо!

Теперь следует важнейшая часть твоего письма. Между нами произошло великое недоразумение. Протекло много лет, много чувствований через сердце, много мыслей пронеслось через голову у меня, но то я помню, что стал я спрашивать у тебя статьи, в 1842 году, вследствие твоего предшествовавшего вызова, как мне казалось, вследствие собственных твоих прежде сказанных слов, в которых послышалось мне твое намерение дать мне статью. Я думал, что я только напоминаю тебе. Помню живо теперь еще слова твои: «Надо, чтоб это было тяжелое, чтоб об этом говорили». Ты говорил, вижу я теперь, о своем труде, а мне, приготовленному и думавшему, послышалось или подумалось, что ты говорил о статье, которую хотел приготовить

для журнала. Когда прошло несколько времени после этих слов, когда должна была выйти книжка или другое какое понудительное обстоятельство, я, уполномоченный твоими словами, и начал напоминать тебе. Не могу теперь привести на память все подробности, но почти совершенно уверен, что это было так. Я очень помню, что я не хотел спрашивать у тебя статьи и спросил, когда ты сам вызвался, как мне казалось. Не хотел же я спрашивать, признаюсь, скрепя сердце, делая себе насилие, сетуя и обвиняя тебя внутренно, что ты не хочешь помочь мне, когда я делаю последнее усилие (перед приступом к большому своему труду – писать историю), чтоб устроить дела и судьбу своего семейства. Мне все казалось, что ты причудничаешь, хотя бессознательно, что мечтаешь поразить всех, в упоении гордости и тому под., между тем как Рафаэли и Корреджии (припоминаю тогдашнее сравнение) могли отрываться от своих мадонн и оказывать в антрактах мелкие услуги своим друзьям.

«Ты живешь у меня, и между тем...» Это я мог сказать, только без попреку, и стыдно те-

бе, что ты мог слышать попрек в словах совершенно простых и, прибавлю, совершенно верных. (Я могу сказать их и теперь.) Все говорят: «Он живет у него, связан с ним, называет своим другом, а между тем не принимает никакого участия в его труде, значит, что не одобряет его или просто надувает его». Так точно и было. Так точно и передача тобою продажи «Мертвых душ» Шевыреву, когда только что заведена была контора «Москвитянина», служила врагам моим доказательством, что ты не имеешь доверенности ко мне! Это были горькие для меня минуты, скажет тебе на том свете и моя Лиза. Шесть лет я делил с тобою последние свои крохи, не думая, не зная о возвращении (потому что ты в 1839 г. в Мариенбаде уверял меня, что «Мертвые души» при жизни не будешь печатать[940]), и вдруг, начав печатать, ты отшатнулся от меня, обратился за деньгами для напечатания к другим, давшим муку взаем, когда рожь услышали они в закроме, и проч. и проч., и я увидел себя поруганным, отстраненным (теперь ты объясняешь причину). За что? «За любовь мою», – стонал я внутри. Сколько я

любил тебя – я помню, как я писал к тебе о смерти Пушкина (не люблю уж я ни литературы, ни отечества, ни тебя так, как я любил тогда)! Множество было и других обстоятельств. Дьявол умеет собирать их ко времени. При свидании ведь будет об чем поговорить нам. Потому-то я перекрестился, затворяя за тобою дверь, и уже чрез год, кажется, или более мог писать к тебе. А ты сам меня в это время ненавидел! О, люди! Жалкие мы создания! Эта неясность, эта невозможность знать друг друга, эта беспрерывная обманность, даже при всей чистоте намерений, благородстве и проч., служат для моего ума доказательствами, что непременно должно же быть время, место, когда все объяснится!

Опять зароилась в голове куча. Только, Христа ради, не думай, чтоб были здесь упреки. Я пишу совершенно спокойно и желаю только объяснения для себя, как и для тебя. Ты пишешь, что два года мучился желанием оправдаться передо мною, и вдруг меня же обругал, обвинил перед отечеством, перед друзьями, перед врагами, перед царем, даже перед потомством – сказал, что в 30 лет я ни-

чего не сделал, не подвигнул ни одного юношу на добро, и по поводу рассуждения обо мне заключил, что со словом надо обращаться честно! то есть не так, как я. Следовательно, я обращался нечестно! Ну вот как дьявол путает твои слова или мои понятия.

Перечел окончание твоего письма. Ну – поцелуемся! Ничего не было, не поминать больше! Пусть моя (наша Лиза) будет свидетельницею с высоты своего жилища. Там ли она, друг мой! Я плачу... Есть во мне много пороков, верно, видимых и невидимых, но бог свидетель, было и есть еще во мне много любви, я любил горячо и желаю добра людям. Я вспомнил еще случай: кажется, перед твоим отъездом я был у тебя однажды наверху, говорил, помнится, об университете, был тронут и плакал, а ты уже тогда презирал меня! Это казалось тебе лицемерием? Припоминаю еще слова. Нет, что-нибудь не так! Ты путаешься! Двенадцать лет ты меня знал, двенадцать лет не видал ничего, кроме добра, и вдруг одно слово или, лучше, смысл, который ты сам дал слову, выводит тебя из границ, производит презрение, ненависть! Одно слово, – а меня

ты назвал в надписи Фомою Неверным[941]. Меня не понимают, ругают. Не видал я, или почти не видал, участия. Это, видно, мой крест! Лишился и единственного друга! Обнимаю тебя.

Твой *М. Погодин*.

О второй части письма твоего писать теперь не могу. До следующего раза. О<тец> Макарий скончался, и прекрасной кончиной.

Погодин М. П. – Гоголю, 5 ноября 1847

5 *ноября 1847 г. Москва* [942]

5/17 ноября 1847. Москва.

От Шафарика я получил известие, что от тебя не было к нему ничего. А я надеялся по твоему обещанию. Вот почему не люблю я твоих замечательных магнатов! От слова до дела далеко. Они хороши – поговорить вечером в теплой комнате, а предоставь им сделать что-нибудь, тогда и увидишь. И об чем дело? О какой-нибудь тысяче рублей для сугубо доброго дела, человеку достойному, известному! Каждый из них мог бы дать впятеро, а пятерым так пришлось бы по 200 р. асс. Стыд-

но и писать.

–

Мы все здоровы. Холера проходит[943]. Действовала слабо и только на неосторожных. Для характеристики Москвы: Иверскую[944] брали в 17 000 мест, и надо было записываться за две недели. С утра до вечера разъезжала она по городу, а петерб<ургские> журналы говорят, что Россия изжила свою религ<иозную> жизнь. Слава богу – нет.

–

Посылаю тебе несколько моих последних отрывков. Желаю знать мнение о «Святославе»[945].

–

Хомяков проехал чрез Москву, не видавшись ни с кем.

–

Аксаковых ты сильно огорчил[946]. Если они виноваты, то идолопоклонством пред тобою. И не тебе за то наказывать. Мои отношения к ним также изменились внутренно, потому что у них стало два семейства в одном: старое и молодое, которого крайностей я не разделяю, а старики наоборот.

–

Чем дальше живешь, тем более убеждаешься, что, что... но об этом или много, или ничего.

–

Мои обстоятельства плохи. Прощай!

Твой *М. Погодин.*

Последнее письмо твое ко мне[947] не понравилось: все как-то обращаешь ты внимание на пустяки, мелочи, а не на главное. Поймем мы себя и других, верно, не здесь. А понять непременно должно, след<овательно>, *Там* – есть.

Гоголь – Погодину М. П., 25 ноября (7 декабря) 1847

25 *ноября (7 декабря) 1847 г. Неаполь* [948]

Декабря 7. Неаполь.

Что же ты, добрый мой, замолчал опять? Остановило ли тебя просто нехотенье писать, неименье потребности высказывать настоящее состояние твоего духа или оскорбило тебя какое-нибудь выраженье письма моего? Но мало ли чего бывает в словах наших? Мы

ими беспрестанно оскорбляем друг друга, даже и не примечая того. Что нам глядеть на слова? Будем писать по-прежнему, как обещали, и станем прощать вперед всякое оскорбление. Мне очень многих случилось оскорбить на веку. Если мне не станут прощать близкие и великодушные, как же тогда простят далекие и малодушные? Чем далее, тем более вижу, как я много оскорбил тебя; могу сказать, что только теперь чувствую величину этого оскорбления, а прежде и в минуту, когда я нанес это публичное оскорбление тебе, я вовсе его не чувствовал, я даже думал, что я поступаю так, как следовало мне. Странное, однако ж, дело, я не чувствую, однако ж, ни стыда, ни раскаяния. Я только люблю тебя больше, именно от<того>, что чувствую себя неправым перед тобою, точно как бы мне теперь хочется любить только тех, кто великодушнее меня. Твердое ли убеждение в том, что нет вещи неисправимой, и гордая надежда на силы, которые подаст мне бог исправить промахи мои, – что бы то ни было, только я гляжу с каким-то бесстыдством в глаза всем тем, которых я оскорбил, а в том числе и

тебе. Но довольно об этом. Пожалуста, напиши мне хоть несколько строчек о себе. Возьмись за перо, даже хоть и нет расположения, мне теперь очень нужны письма близких мне. Вспомни, что я их долго буду не получать, если выеду в дорогу. Пиши, не дожидаясь моих ответов, до самого февраля месяца. Пиши всякий раз, когда захочется тебе отвесть душу или станет тяжело. Не стыдись и малодушия твоего, поведай и его, если оно найдет на тебя. Ты скажешь дело знающему человеку. Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека, несмотря на то что есть действительно способность быть великодушным. Но довольно. Жду с нетерпением о тебе известий. О себе скажу только то, что покаместь здоровьем слава богу. Много, много произошло всякого рода вещей, явлений в моем внутреннем мире, и все божьей милостью обратилось в душевное добро и в предмет созданий точно художественных, если только даст бог силы физические совершить то, что уже вызрело в душе и в уме. Я не сомневаюсь, что также и в тебе совершилось почти то же или по крайней мере похоже<е>. Мне очень

теперь хочется ехать в Россию, но замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно. Не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно. Если нет внутреннего желанья так сильного, как прежде, то все-таки следует хотя поблагодарить за все случившееся, потому что случилось многое из того, что, я думал, без Иерусалима не случится: дух освежило и силы обновились... Но прощай до следующего письма.

Твой <*Г*>.

Адресуй в Неаполь, poste restante.

Погодин М. П. – Гоголю, 5 апреля 1848

5 *апреля 1848 г. Москва* [949]

Апреля 5. 1848.

Я только что собрался написать к тебе в Константинополь, куда ты, по моим соображениям, должен бы был теперь приехать, как вдруг услышал, что ты уже в Одесском карантине! Приветствую тебя в отечестве, поздравляю с совершением обета веры, как было для

тебя сладко, животворно, действенно посетить Святую землю! Ты произнес горячую молитву за святую Русь в такое страшное время: Вскую смятенная языци и людие научишася тщетным! Да – дается знамение, а понимать мы не умеем или не хотим. Так мы погрязли в тине ежедневной злобы! Много мыслей переходит через главу и через сердце!

Я очень рад, что ты поживешь теперь на родине, под сенью малороссийских черешен. Один воздух, не только физический, но и нравственный – воспоминаний и впечатлений, – будет для тебя благотворен. Уединение, спокойствие, любовь – лекарства целебные. А когда же увидимся? Обнимаю... Должен сию минуту кончить, чтоб не опоздать на почту. Предосадно – меня прервали на первых строках и отняли время.

Твой *М. Погодин*.

Посылаю тебе «Москвитянина» – тем более что конторщик не отправил по недоразумению его к матушке, как я узнал недавно. Кланяюсь милостивой государыне Марье Ивановне[950] и посылаю к ней письмо <дефект

рукописи. – А. К.> маменьки, которое пролежало у меня довольно долго в бумагах, а теперь подвернулось в пакете. Нового к нему маменька ничего не прибавит: она, слава богу, здорова (и все мы) и кланяется твоей попрежнему.

Погодин М. П. – Гоголю, 13 августа 1848

13 *августа 1848 г. Москва* [951]

Август 13. 1848.

Что ты запал? Здоров ли? Мы пережили трудное время. Холера у нас свирепствовала. У меня кругом были и болезнь и смерть. Матушка напугала сильно – только не холерою: воспаление, тоже грозившее антоновым огнем, и пр. Теперь выздоравливает. Дядю схоронил. На улицах нельзя было показаться, чтоб не встретить дроги, траур, можжевель. Болезнь прошла почти, но неутешительны известия о жатве, о пожарах и проч. Знамение по местам! А в Европе-то что делается![952]

У меня было одно убежище и утешение – «История»! Работаю пристально и надеюсь скоро кончить приготовление к печати томов

4, 5 и 6 исследования – до татар[953]. Эти шесть томов – фундамент, собственно, и истории, в коей не будет уже никакого исследования, рассуждения, толкования, а один рассказ. Рад, что тебе понравился отрывок[954]. Не читал ли ты прежний – «Святослава», помещен <ного> в 1847 году? Тот в другом роде. Тебе, то есть впечатлениям, тобою произведенным, понятиям, тобою возбужденным в «Ревизоре» и «Мертвых душах» об объективности действующих лиц, обязана моя «История» много[955].

А прочие мои обстоятельства очень плохи.

Твой *М. Погодин*.

Откликнись!

Гоголь – Погодину М. П., начало октября 1848

Начало октября 1848 г. Петербург [956]

Вот тебе несколько строчек, мой добрый и милый! Едва удосужился. Петербург берет столько времени. Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколько-нибудь узнать, что такое делается на нашем грешном свете.

Все так странно, так дико. Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и бог попустил это ослепление. Я нахожусь точно в положении иностранца, приехавшего осматривать новую, никогда дотоле не виданную землю: его все дивит, все изумляет и на всяком шагу попадается какая-нибудь неожиданность. Но рассказов об этом не вместишь в письме. Через неделю, если бог даст, увидимся лично и потолкуем обо всем[957]. Я заеду прямо к тебе, и мы с месяц поживем вместе. Обнимаю и целую тебя крепко. Передай поцелуй всем домашним. Весь твой

Н. Гоголь.

Не позабудь также обнять Шевырева, С. Т. Аксакова и всех, кто любит меня и помнит. Зеньков у меня был. Из него выйдет славный человек. В живописи успевает и уже почувствовал сам инстинктом почти все то, что приготовлялся я ему посоветовать.

Гоголь – Погодину М. П., сентябрь 1851

Сентябрь 1851 г. Москва [958]

Павел Васильевич Анненков, занимаю-

щийся изданием сочинений Пушкина и пишущий его биографию[959], просил меня свести его к тебе затем, чтобы набрать и от тебя материалов и новых сведений по этой части. Если найдешь возможным удовлетворить, то по мере сил удовлетвори, а особенно покажи ему старину, авось-либо твое собрание[960] внушит уважение этим господам, до излишества живущим в Европе.

Гоголь и М. С. Щепкин

Вступительная статья

Знакомство Гоголя с великим русским актером, реформатором сцены Михаилом Семеновичем Щепкиным (1788–1863) произошло в первых числах июля 1832 года в Москве. Вполне вероятно, что незадолго до этого, во время петербургских гастролей Щепкина, Гоголю удалось видеть его выступления. Сын Щепкина Петр Михайлович вспоминал о первом посещении их дома Гоголем, в ту пору уже известным автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «<...> как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять <...>. В середине обеда вошел в переднюю новый гость,

совершенно нам не знакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

«Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду:
Ой, чи живы, чи здоровы,
Вси родичи гарбузовы?»

Недоумение скоро разъяснилось – нашим гостем был Н. В. Гоголь, узнавший, что мой отец тоже, как и он, из малороссов» (Щепкин, т. 2, с. 267). Несмотря на большую разницу в возрасте, знакомство обоих художников вскоре перешло в дружбу.

К моменту встречи за спиной Щепкина – тогда уже одного из популярнейших русских актеров – лежал более чем двадцатипятилетний опыт театральной деятельности. В составе профессиональной труппы он дебютировал еще в 1805 году в курском театре братьев Барсовых. С провинциальной сценой был связан и весь начальный период деятельности Щепкина, на ней он получил известность как

талантливый комик. В 1823 году Щепкин переезжает в Москву, где к концу 1820-х годов приобретает прочную репутацию первого комического актера, выступая главным образом в так называемых светских комедиях и водевилях. Несмотря на успех, сам Щепкин ощущает ограниченность традиционного репертуара, сковывающего его творческие поиски. Для актерской манеры Щепкина характерно стремление к простоте и естественности, психологической достоверности, жизненности создаваемых образов. В этом смысле огромное значение имела для него встреча с драматургией Грибоедова (роль Фамусова в «Горе от ума») и в особенности Гоголя. Вспоминая в 1853 году этих «двух великих комических писателей», Щепкин признавался: «Им я обязан более всех; они меня, силою своего могучего таланта, так сказать, поставили на видную ступень в искусстве» (Щепкин, т.. 2, с. 55).

Щепкин славился как прекрасный чтец прозаических сочинений Гоголя, с успехом играл в инсценировках гоголевских «Вечеров...», глав второго тома «Мертвых душ» и, разумеется, в пьесах, составляющих основу

драматургического наследия писателя, – «Ревизоре», «Женитьбе», «Игроках», «Тяжбе». Заботясь о формировании репертуара Щепкина[961], Гоголь не только подарил ему все свои опубликованные драматические сцены и отрывки, но и был инициатором и редактором выполненного специально для Щепкина перевода комедии итальянского драматурга Д. Жиро «Дядька в затруднительном положении», а также, вероятно, «Сганареля» Мольера.

За долгие годы своей сценической деятельности Щепкин знал немало актерских удач. Однако признанной вершиной его мастерства стала роль городничего в «Ревизоре». Впервые она была сыграна артистом 25 мая 1836 года – в день московской премьеры комедии. С ее подготовкой и связано начало переписки между Гоголем и Щепкиным. Придавая огромное значение постановке восхитившего его произведения, Щепкин пытался склонить автора к приезду в Москву для личного участия в репетициях. Однако, разочарованный приемом, оказанным «Ревизору» в Петербурге, Гоголь противился уговорам московских

друзей. Поручив Щепкину руководство постановкой, он ограничил свое участие в ее подготовке лишь письменными инструкциями.

Вначале не вполне довольный своим исполнением («... сказались недостаток в силах и языке», – пишет он И. И. Сосницкому на следующий день после премьеры), Щепкин продолжал совершенствовать созданный им образ и в результате достиг максимальной убедительности, впечатления полного соответствия авторскому замыслу. «Кажется, что Гоголь с него списывал своего городничего, а не он выполнял роль, написанную Гоголем», – отмечал в 1838 году рецензент «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» (Щепкин, т. 2, с. 12). «Актер понял поэта: оба они не хотят делать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотят показать явление действительной жизни, явление характеристическое, типическое», – писал В. Г. Белинский (Бел., т. 2, с. 396–397).

Работа Щепкина над ролью городничего носила характер не просто глубокого проникновения в авторский замысел, но своего рода сотворчества, выявления новых граней в со-

зданном писателем образе. Щепкинское истолкование повлияло и на последующую эволюцию собственно гоголевской интерпретации характера Сквозник-Дмухановского (см.: Алперс В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979, с. 318–320).

Вероятно, в значительной степени под впечатлением выступлений Щепкина в «Ревизоре» сложилась и гоголевская концепция «актера-автора» – равноправного с писателем творца драматического произведения. Эта концепция отразилась в одном из своеобразных сочинений Гоголя 1840-х годов – «Развязке «Ревизора». Выведенный в ней в качестве главного действующего лица, Щепкин рисовался автором как образец истинного артиста, в его уста вкладывались дорогие для Гоголя тех лет идеи. Однако содержавшаяся в «Развязке» попытка интерпретации «Ревизора» в моралистическом духе вызвала резкие возражения самого Щепкина, выше всего ценившего в комедии Гоголя ее жизненную достоверность, узнаваемость персонажей (см.его письмо к Гоголю от 22 мая 1847 г.).

По своей тематике переписка между Гого-

лем и Щепкиным имеет довольно узкий характер. Почти целиком она связана с вопросами постановки сочинений Гоголя на московской сцене. Однако личности обоих художников раскрываются в ней достаточно полно, а порой и неожиданно. Так, в своих многочисленных постановочных указаниях и пояснениях Гоголь предстает перед нами как профессионально мыслящий режиссер. В то же время актер Щепкин обнаруживает в своих письмах к писателю несомненную литературную одаренность. Среди современников Щепкин слыл превосходным рассказчиком. Человек трудной судьбы (родившись в семье крепостного, он получил свободу лишь в 1821 году), глубокий знаток русской жизни, Щепкин обладал еще и поразительной наблюдательностью, даром меткой характеристики, глубокого обобщения. Рассказанные им истории легли в основу «Сороки-воровки» А. И. Герцена, произведений В. А. Соллогуба и М. П. Погодина, были использованы Н. А. Некрасовым и А. В. Сухово-Кобылиным. Отразились они и в творчестве Гоголя (эпизод с кошечкой в «Старосветских помещиках», история о «белень-

ких» и «черненьких» во втором томе «Мертвых душ»). Одним из образцов щепкинских рассказов служит приведенный им в письме к Гоголю анекдот о курском полицмейстере.

Жизнь Щепкина была богата яркими встречами. Он дружил с Белинским, Герценом, Шевченко, С. Т. Аксаковым. Однако отношения с Гоголем заняли в жизни артиста особое место. «После «Ревизора», – вспоминает И. И. Панаев, – любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы <...>» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. 1950, с. 170). Этой привязанности Щепкин остался верен до конца дней. К Гоголю, свидетельствует его слуга, были обращены последние мысли умирающего актера (Щепкин, т. 2, с. 295).

До настоящего времени сохранились 11 писем Гоголя к Щепкину и 3 письма Щепкина к Гоголю. За исключением письма Гоголя от 21 октября (2 ноября) 1846 года, все они публикуются в настоящем издании.

Гоголь – Щепкину М. С., 29 апреля 1836

29 *апреля 1836 г. Петербург* [962]

1836. СПб. Апреля 29.

Наконец пишу к вам, бесценнейший Михаил Семенович. Едва ли, сколько мне кажется, это не в первый раз происходит. Явление, точно, очень замечательное: два первые ленивца в мире наконец решаются изумить друг друга письмом. Посылаю вам «Ревизора»[963]. Может быть, до вас уже дошли слухи о нем. Я писал к ленивцу 1-й гильдии и беспутнейшему человеку в мире, Погодину, чтобы он уведомил вас. Хотел даже посылать к вам его, но раздумал, желая сам привезти к вам и прочитать собственногласно, дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия, которые, я знаю, черезвычайно трудно после искоренить. Но, познакомившись с здешнею театральною дирекциею, я такое получил отвращение к театру[964], что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать и поездку в Москву, и попытку хлопотать о чем-либо. К довершению, наконец, возможнейших мне пакостей здеш-

няя дирекция, то есть директор Гедеонов, вздумал, как слышу я, отдать главные роли другим персонажам[965] после четырех представлений ее, будучи подвинут какой-то мелочной личной ненавистью к некоторым главным актерам в моей пьесе, как-то: к Сосницкому и Дюру. Мочи нет. Делайте что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня[966]. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя[967], пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины – и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-ни-

будь из петербургской жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскою любовью. Комедию мою, читанную мною вам в Москве, под заглавием «Женитьба», я теперь переделал и переправил, и она несколько похожа теперь на что-нибудь путное. Я ее назначаю таким образом, чтобы она шла вам и Сосницкому в бенефис здесь и в Москве, что, кажется, случается в одно время года. Стало быть, вы можете адресоваться к Сосницкому, которому я ее вручу[968]. Сам же через месяц-полтора, если не раньше, еду за границу и потому советую вам, если имеется ко мне надобность, не медлить вашим ответом и меньше предаваться общей нашей приятельнице лени.

Прощайте. От души обнимаю вас и прошу не забывать вашего старого земляка, много, много любящего вас *Гоголя*.

Раздайте прилагаемые при сем экземпляры[969] по принадлежности. Неподписанный экземпляр отдайте по усмотрению, кому рассудите.

Щепкин М. С. – Гоголю, 7 мая 1836

7 *мая 1836 г. Москва* [970]

Милостивый государь! Николай Васильевич! Письмо и «Ревизора» несколько экземпляров получил и по назначению все роздал, кроме Киреевского, который в деревне, и потому я отдал его экземпляр С. П. Шевыреву для доставления. Благодарю вас от души за «Ревизора», не как за книгу, а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо, к несчастию, мои все радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие, но что ж делать? Я, право, не виноват. Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостию, но я за усовершенствования этой глупости отдал бы остаток моей жизни. Ну, все это в сторону, а теперь просто об «Ревизоре»; не грех ли вам оставлять его на произвол судьбы, и где же? в Москве, которая так радушно ждет вас (так от души смеется в «Горе от ума»). И вы оставите ее от некоторых неприятностей, которые доставил вам «Ревизор»?

Во-первых, по театру таких неприятностей не может быть, ибо М. Н. Загоскин, благодаря вас за экземпляр, сказал, что будет писать к вам, и поручил еще мне уведомить вас, что для него весьма приятно бы было, если бы вы приехали, дабы он мог совершенно с вашим желанием сделать все, что нужно для поставки пиэсы. Со стороны же публики чем более будут на вас злиться, тем более я буду радоваться, ибо это будет значить, что она разделяет мое мнение о комедии и вы достигли своей цели. Вы сами лучше всех знаете, что ваша пиэса более всякой другой требует, чтобы вы прочли ее нашему начальству и действующим. Вы это знаете и не хотите приехать. Бог с вами! Пусть она вам надоела, но вы должны это сделать для комедии; вы должны это сделать по совести; вы должны это сделать для Москвы, для людей, вас любящих и принимающих живое участие в «Ревизоре». Одним словом, вы твердо знаете, что вы нам нужны, и не хотите приехать. Воля ваша, это эгоизм. Простите меня, что я так вольно выражаюсь, но здесь дело идет о комедии, и потому я не могу быть хладнокровным. Ви-

дите, я даже не ленив теперь. Вы, пожалуй, не ставьте ее у нас, только прочтите два раза, а там... Ну, полно, я вам надоел. Спасибо вам за подарок пиэсы для бенефиса, верьте, что такое одолжение никогда не выйдет из моей старой головы, в которой теперь одно желание видеть вас, поцеловать. Чтобы это исполнить, я привел бы всю Москву в движение. Прощайте. Простите, что оканчиваю без чинов.

Ваш *М. Щепкин*.

Прилагаю письмо Погодина[971]. Если вы решитесь ехать к нам, то скорее, ибо недели чрез три, а может быть и ранее, она <постановка> будет готова, к ней пишут новую декорацию[972].

Гоголь – Щепкину М. С., 10 мая 1836

10 *мая 1836 г. Петербург* [973]

1836. Мая 10. СПб.

Я забыл вам, дорогой Михаил Семенович, сообщить кое-какие замечания предварительные о «Ревизоре». Во-первых, вы должны непременно, из дружбы ко мне, взять на себя

все дело постановки ее. Я не знаю никого из актеров ваших, какой и в чем каждый из них хорош. Но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего, иначе она без вас пропадет. Есть еще трудней роль во всей пьесе – роль Хлестакова. Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, <если> ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных. Он просто глуп, болтает потому только, что видит, что его расположены слушать; врет, потому что плотно позавтракал и выпил порядочно вина. Вертляв он тогда только, когда подъезжает к дамам. Сцена, в которой он завирается, должна обратить особенное внимание. Каждое слово его, то есть фраза или речение, есть экспромт совершенно неожиданный и потому должно выражаться отрывисто. Не должно упустить из виду, что к концу этой сцены начинает его мало-помалу разбирать. Но он вовсе не должен шататься на стуле; он должен только раскраснеться и выражаться еще неожиданнее, и чем далее, громче и громче. Я сильно боюсь за эту роль. Она и

здесь была исполнена плохо, потому что для нее нужен решительный талант. Жаль, очень жаль, что я никак не мог быть у вас: многие из ролей могли быть совершенно понятны только тогда, когда бы я прочел их. Но нечего делать. Я так теперь мало спокоен духом, что вряд ли бы мог быть слишком полезным. Зато по возврате из-за границы я намерен основаться у вас в Москве... С здешним климатом я совершенно в раздоре. За границей пробуду до весны, а весною к вам.

Скажите Загоскину, что я все поручил вам. Я напишу к нему, что распределение ролей я послал к вам[974]. Вы составьте записочку и подайте ему как сделанное мною. Да еще: не одевайте Бобчинского и Добчинского в том костюме, в каком они напечатаны[975]. Это их одел Храповицкий[976]. Я мало входил в эти мелочи и приказал напечатать по-театральному. Тот, который имеет светлые волосы, должен быть в темном фраке, а брюнет, то есть Бобчинский, должен быть в светлом. Нижнее обоим – темные брюки. Вообще чтобы не было фарсирования. Но брюшки у обоих должны быть непременно, и притом ост-

ренькие, как у беременных женщин.

Покаместь прощайте. Пишите. Еще успеете. Еду не раньше 30 мая или даже, может, первых <дней> июня[977].

Н. Гоголь.

Кланяйтесь всем вашим отраслям домашним, моим землякам и землячкам.

Гоголь – Щепкину М. С., 15 мая 1836

15 *мая 1836 г. Петербург* [978]

Мая 15-го. С.-Петербург.

Не могу, мой добрый и почтенный земляк, никаким образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью. Мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже с своей стороны показаться вам скучным и не разделяющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле. Притом, если бы я даже приехал, я бы не мог быть так полезен вам, как вы думаете. Я бы прочел ее вам

дурно, без малейшего участия к моим лицам. Во-первых, потому, что охладел к ней; во-вторых, потому, что многим недоволен в ней, хотя совершенно не тем, в чем обвиняли меня мои близорукие и неразумные критики.

Я знаю, что вы поймете в ней все, как должно, и в теперешних обстоятельствах поставите ее даже лучше, нежели если бы я сам был. Я получил письмо от Серг. Тим. Аксакова[979] тремя днями после того, как я писал к вам, со вложением письма к Загоскину. Аксаков так добр, что сам предлагает поручить ему постановку пьесы. Если это точно выгоднее для вас тем, что ему, как лицу стороннему, дирекция меньше будет противуречить, то мне жаль, что я наложил на вас тягостную обузу. Если же вы надеетесь поладить с дирекцией, то пусть остается так, как порешено. Во всяком случае, я очень благодарен Сергею Тимофеевичу, и скажите ему, что я умею понимать его радушное ко мне расположение.

Прощайте. Да любит вас бог и поможет вам в ваших распоряжениях, а я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пиесу[980]. Зимой в Швейцарии буду

писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать. Прощайте еще раз! Целую вас несколько раз. Любите всегда также вашего Гоголя.

Мне кажется, что вы сделали бы лучше, если бы пиесу[981] оставили к осени или зиме.

Все остающиеся две недели до моего отъезда я погружен в хлопоты по случаю моего отъезда, и это одна из главных причин, что не могу исполнить ваше желание ехать в Москву.

Гоголь – Щепкину М. С., 29 июля (10 августа) 1840

29 *июля (10 августа) 1840 г. Вена* [982]

Ну, Михаил Семенович, любезнейший моему сердцу! половина заклада выиграна[983]: комедия готова[984]. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою. В афишке вы должны выставить два заглавия: русское и итальянское. Можете даже прибавить тотчас после фамилии автора: «первого итальянского комика наше-

го времени». Первое действие я прилагаю при письме вашем, второе будет в письме к Сергею Тимофеевичу[985], а за третьим отправьтесь к Погодину. Велите ее тотчас переписать как следует, с надлежащими пробелами, и вы увидите, что она довольно толста. Да смотрите, до этого не потеряйте листков: другого экземпляра нет, черновой пошел на задние обстоятельства. Комедия должна иметь успех; по крайней мере в итальянских театрах и во Франции она имела успех блестящий. Вы, как человек, имеющий тонкое чутье, тотчас постигнете комическое положение вашей роли. Нечего вам и говорить, что ваша роль – сам дядька, находящийся в затруднительном положении; роль ажитации сильной. Человек, который совершенно потерял голову: тут сколько есть комических и истинных сторон! Я видел в ней актера с большим талантом, который, между прочим, далеко ниже вас. Он был прекрасен, и так в нем было все натурально и истинно! Слышен был человек, не рожденный для интриги, а попавший невольно в оную, – и сколько натурально комического! Этот гувернер, которого я назвал дядь-

кой, потому что первое, кажется, не совсем точно, да и не русское, должен быть одет, весь в черном, как одеваются в Италии доныне все эти люди: аббаты, ученые и проч.: в черном фраке не совсем по моде, а так, как у стариков, в черных панталонах до колен, в черных чулках и башмаках, в черном суконном жилете, застегнутом плотно снизу доверху, и в черной пуховой шляпе, трехугольной, – <не> как носят у нас, что называют вареником, а в той, в какой нарисован блудный сын, пасущий стада, то есть с пригнутыми немного полями на три стороны[986]. Два молодые маркиза точно так же должны быть одеты в черных фраках, только помоднее, и шляпы вместо трехугольных круглые, черные, пуховые или шелковые, как носим мы все, грешные люди; черные чулки, башмаки и панталоны короткие. Вот все, что вам нужно заметить о костюмах. Прочие лица одеты, как ходит весь свет.

Но о самих ролях нужно кое-что. Роль Джильды лучше всего если вы дадите которой-нибудь из ваших дочерей. Вы можете тогда более дать ее почувствовать во всех ее тонкостях. Если же кому другому, то, ради бо-

га, слишком хорошей актрисе. Джильда умная, бойкая; она не притворяется; если ж притворяется, то это притворное у ней становится уже истинным. Она произносит свои монологи, которые, говорит, набрала из романов, с одушевлением истинным; а когда в самом деле проснулось в ней чувство матери, тут она не глядит ни на что и вся женщина. Ее движения просты и развязны, а в минуту одушевления картины она становится как-то вдруг выше обыкновенной женщины, что удивительно хорошо исполняют итальянки. Актриса, игравшая Джильду, которую я видел, была свежая, молодая, проста и очаровательна во всех своих движениях, забывалась и одушевлялась, как природа. Француженка убила бы эту роль и никогда бы не выполнила. Для этой роли, кажется, как будто нужна воспитанная свежим воздухом деревни и степей.

Играющему роль Пиппето никак не нужно сказывать, что Пиппето немного приглуповат: он тотчас будет выполнять с претензиями. Он должен выполнить ее совершенно невинно, как роль молодого, довольно неопытного человека, а глупость явится сама

собою, так, как у многих людей, которых вовсе никто не называет глупыми.

Больше, кажется, не нужно говорить ничего... Вы сами знаете, что чем больше репетиций вы сделаете, тем будет лучше и актерам сделаются яснее их роли. Впрочем, ролей немного, и постановка не обойдется дорого и хлопотливо. Да! маркиза дайте какому-нибудь хорошему актеру. Эта роль энергическая: бешеный, взбалмошный старик, не слушающий никаких резонов. Я думаю, коли нет другого, отдайте Мочалову; его же имя имеет магическое действие на московскую публику. Да не судите по первому впечатлению и прочитайте несколько раз эту пьесу, – непременно несколько раз. Вы увидите, что она очень мила и будет иметь успех.

Итак, вы имеете теперь две пиесы. Ваш бенефис укомплектован. Если вы обеим пьесам сделаете по большой репетиции и сами за всех прочитаете и объясните себе роли всех, то бенефис будет блестящий, и вы покажете шиш тем, которые говорят, что снаряжаете себе бенефис как-нибудь. Еще Шекспировой пьесы[987] я не успел второпях поправить. Ее

переводили мои сестры и кое-какие студенты. Пожалуйста, перечитайте ее и велите переписать на тоненькой бумаге все монологи, которые читаются неловко, и перешлите ко мне поскорее; я вам все выправлю, хоть всю пиесу пожалуй. За хвостом комедии сходите сейчас к Аксакову и Погодину.

Щепкин М. С. – Гоголю, 24 октября 1842

24 *октября 1842 г. Москва* [988]

Москва, от. 24-го октября 1842 года.

Милостивый государь

Николай Васильевич.

По словам Сергея Тимофеича, вы теперь уже в Риме, куда я и адресовал это письмо, и дай бог, чтобы оно нашло вас здоровым и бодрым; а о себе скажу, что я упадаю духом. Поприще мое и при новом управлении[989] без действия, а душа требует деятельности, потому что репертуар нисколько не изменился, а все то же, мерзость и мерзость, и вот чем на старости я должен упитывать мою драматическую жажду. Знаете, это такое страдание, на которое нет слов. Нам дали все, то есть артистам русским, – деньги, права, пансионы, и

только не дали свободы действовать, и из артистов сделались мы поденщиками. Нет, хуже: поденщик свободен выбирать себе работу, а артист играй, играй все, что повелит мудрое начальство. Но я наскучил вам болтаньем о себе. Но что делать, надо же кому-нибудь высказаться, право, как-то легче, а кому же я выскажусь, как не вам? Кто так поймет мои страдания, как не вы, мой добрый Николай Васильевич, и даже, знаете, я думаю, никто не примет в них такого участия, как вы же. Вы всегда меня любили, всегда дарили меня своим вниманием, а я... Но довольно! Пользуясь вашим позволением, я заявил на свой бенефис вашу комедию «Женитьба»; ибо все издание ваше, как известно, выйдет в декабре[990], а мой бенефис февраля 5-го[991]. Но я просил Белинского заранее отдать ее в театральную цензуру, дабы больше иметь времени ознакомиться с действующими, носящими человеческий образ. Я просил, тоже с вашего позволения, отдать некоторые сцены в цензуру, а равно и вновь присланную комедию «Игроки», которую я тоже попросил бы у вас сыграть на бенефис. Это бы сильно под-

крепило оный. А бенефисы русских артистов сильно пострадали от немецкой оперы, которую Гедеонов перевез из Петербурга в Москву на всю зиму. Но как без письменного вашего позволения я не решусь давать оной; хотя вы и говорили о прочих сценах, но я не помню, была ли речь о ней. Итак, я заранее только просил подать ее в цензуру, и если не помедлите вашим ответом и позволите, то не худо, если бы вы изложили, как бы вы желали в рассуждении костюмов действующих в комедиях «Женитьба» и «Игроки». Времени еще с лишком три месяца, и ваш ответ успеет прийти заблаговременно. Если же я не получу от вас никакого ответа в это время, то, разумеется, я «Игроков» уже не дам, а только «Женитьбу» и какую-нибудь из сцен. Вот люди: что письмо, то и просьба, и Сбитенщик правду сказал: «Все люди Степаны!»[992] Что еще сказать вам? Да! О «Мертвых душах» все идут толки, прения. Они разбудили Русь. Она теперь как будто живет. Толков об них несчетное число. Можно бы исписать томы, если бы изложить все их на бумаге, и меня это радует. Это значит: толкни нас хорошенько, и мы за-

шевелимся, и тем доказываем, что мы живые существа, и в этом пробуждении проглядывают мысли, ясно говорящие, что мы наряду со всеми народами не лишены человеческого достоинства. Но грустно то, что нас непременно надо толкнуть, а без того мы сами мертвые души. Прощайте, обнимаю вас. Ожидаю ответа скорого и остаюсь вечно любящий вас и пребывающий вашим покорным слугой

Михайло Щепкин.

P. S. Мое семейство от мала до велика все вам кланяются. Аксаковых семейство все, слава богу, здоровы, кроме самого Сергея Тимофеевича, который (между нами) ветшает, хотя, разумеется, он и скрывает это. Болезнь прежняя в нем опять отозвалась. Со всем тем у них теперь весело, ибо братья Сергея Тимофеевича теперь в Москве с семействами и с ним часто вместе, и преферанс в действии. Да! чтобы не забыть рассказать вам анекдот. В Курске, года три тому назад, было землетрясение, и на другой день полицмейстер доносит губернатору рапортом, что вчерашнего числа, во столько-то часов, было сильное зем-

летрясение, но принятыми-де мерами заблаговременно полицией никакого несчастия в городе не последовало. Не могу точно передать фразы, но очень ловко выражено. Губернатор прочел и говорит ему: «Я очень доволен вами по части устройства города, чистоты, пожарной команды и проч., но нехорошо, что вы подписываете бумаги, не читав». На что полицмейстер с клятвой утверждал, что это клевета и что злодеи обносят его у начальства. «Но вот, – говорит губернатор, – этот рапорт, вероятно, не читали». – «Помилуйте, ваше превосходительство, сам начерно сочинял». Губернатор тут пожал плечами, и все пошло по-старому.

Гоголь – Щепкину М. С., 14(26) ноября 1842

14 *(26) ноября 1842 г. Рим* [993]

Михайло Семенович! Пишу к вам это письмо нарочно для того, чтобы оно служило документом в том, что все мои драматические сцены и отрывки, заключающиеся в четвертом томе моих сочинений, принадлежат вам и вы можете давать их по усмотрению ваше-

му в свои бенефисы[994]. Относительно же комедии «Женитьба» вы устройте, по взаимному соглашению, с Сосницким таким образом, чтобы она шла в один и тот же день в бенефисы вам обоим, на петербургском и на московском театрах.

Н. Гоголь.

Рим. Ноября 26. 1842 года.

Гоголь – Щепкину М. С., 16(28) ноября 1842

16 *(28) ноября 1842 г. Рим* [995]

Рим. Ноября 28.

Здравствуйте, Михал Семенович!

После надлежащего лобзанья поведем вот какую речь. Вы уже имеете «Женитьбу». Не довольно ли этого на один спектакль? Я говорю это в рассуждении того, что мне хочется, чтобы вам что-нибудь осталось на будущие разы, а впрочем, вы распоряжайтесь, как вам лучше. Вы тут полный господин. Все драматические отрывки и сцены, заключающиеся в четвертом томе моих сочинений (их числом пять), все исключительно принадлежат вам.

Об этом я уже написал к издателю моих сочинений, Прокоповичу, и просил Плетнева объявить Гедеонову, а вам прилагаю нарочно при сем письмецо, которое бы вы могли показать всякому, кто вздумает оспаривать ваше право[996]. Только последняя пиэса «Театральный разъезд» остается неприкосновенною, потому что ей неприлично предстать на сцене. Сосницкому вы напишите, что, вследствие моего прежнего желанья, «Женитьба» идет вам обоим, но с тем только, чтобы в один день был бенефис обоих вас. А между тем займитесь сурьезно постановкою «Ревизора». Живокини за похвальное поведение можно будет уступить который-нибудь из драматических кусочков. Впрочем, об этом всем вы потолкуйте прежде с Сергеем Тимофеевичем и поступите, как найдете приличным. Для успешного произведенья немой сцены в конце «Ревизора» один из актеров должен скомандовать, невидимо для зрителя. Это должен сделать жандарм, произнеся по окончании речи тот самый звук, который издается женщинами, натурально, не открывая рта, попросту икнуть. Это будет сигнал для

всех. «Женитьбу», я думаю, вы уже знаете, как повести́, потому что, слава богу, человек вы не холостой. А Живокини, который будет женить вас, вы можете внушить все, что следует, тем более что вы слышали меня, читавшего эту роль. Да вот: исправьте одну ошибку в словах Кочкарева, где говорит он о плевании[997]. Значится так, как будто бы ему плевали в лицо. Это ошибка, происшедшая от нерасторопности писца, перепутавшего строки и пропустившего. Монолог должен начаться вот как:

«Да что ж за беда? Ведь иным несколько раз плевали, ей-богу. Я знаю тоже одного: прекраснейший собою мужчина, румянец во всю щеку. Егозил он и надоедал до тех пор своему начальнику, покамест тот не вынес и плюнул ему в самое лицо» и т. д.

Напишите Сосницкому, что я очень просил его, чтобы он приискал хорошего жениха, потому что эта роль хотя не так, по-видимому, значительна, как Кочкарева, но требует таланта, и скажите ему, что мне бы очень желалось, чтобы вы сыграли вместе в этой пиэсе: он Кочкарева, а вы Подколесина; тогда бу-

дет славный спектакль. Вы же, я полагаю, верно, будете зимою в Петербурге.

Прощайте, обнимаю вас. Сейчас вслед за этим письмом отправляю письмо к Сергею Тимофеевичу[998]. Вероятно, вы их получите в одно время.

Мне кажется, что я вам советовал вместе с «Женитьбою» дать «Утро делового человека». А впрочем, распоряжайтесь по-своему.

Гоголь – Щепкину М. С., 21 ноября (3 декабря) 1842

21 *ноября (3 декабря) 1842 г. Рим* [999]

Только что получил ваше письмо, Михал Семенович, писанное вами от 24 октября. Отвечать мне на него теперь нечего, потому что <вы> уже знаете мои распоряжения; три дни тому назад я отправил к вам письмо, которое вы уже, без сомнения, получили. Не стыдно ли вам быть так неблагоразумну: вы хотите все повесить на одном гвозде[1000], прося на пристяжку к «Женитьбе» новую, как вы называете, комедию «Игроки». Во-первых, она не новая, потому что написана давно[1001], во-вторых, не комедия, а просто комическая сце-

на, а в-третьих, для вас даже там нет роли. И кто вас толкает непременно наполнить бенефис моими пиэсами? Как не подумать хотя сколько-нибудь о будущем, которое сидит у вас почти на самом носу, например, хоть бы о спектакле вашем по случаю исполнения вам двадцатилетней службы? Разве вы не чувствуете, что теперь вам стоит один только какой-нибудь клочок мой дать в свой бенефис да пристегнуть две-три самые изношенные пиэсы, и театр уже будет набит битком? Понимаете ли вы это, понимаете ли вы, что имя мое в моде, что я сделался теперь модным человеком, до тех пор, покамест меня не сгонит с модного поприща какой-нибудь Боско, Тальони, а может быть, и новая немецкая опера с машинами и немецкими певцами? Помните себе хорошенько, что уж от меня больше ничего не дождетесь. Я не могу и не буду писать ничего для театра. Итак, распорядитесь поумнее. Это я вам очень советую! Возьмите на первый раз из моих только «Женитьбу» и «Утро делового человека». А на другой раз у вас остается вот что: «Тяжба», в которой вы должны играть роль тяжущегося, «Иг-

роки» и «Лакейская», где вам предстоит Дворецкий, роль хотя и маленькая, но которой вы можете дать большее значение[1002]. Все это вы можете перемешивать другими пиэсами, которые вам бог пошлет. Старайтесь только, чтобы пиэсы мои не следовали непосредственно одна за другою, но чтобы промежуток был занят чем-нибудь иным. Вот как я думаю и как бы, мне казалось, надлежало поступить сообразно с благоразумием, а впрочем, ваша воля. За письмо ваше все-таки много вас благодарю, потому что оно – письмо от вас. А на театральную дирекцию не сетуйте, она дело свое хорошо делает: Москву потчевали уже всяким добром, почему ж не попотчевать ее немецкими певцами? Что же до того, что вам-де нет работы, это стыдно вам говорить. Разве вы позабыли, что есть старые заигранные, заброшенные пиэсы? Разве вы позабыли, что для актера нет старой роли, что он нов вечно? Теперь-то именно, в минуту, когда горько душе, теперь-то вы должны показать в лицо свету, что такое актер. Переберите-ка в памяти вашей старый репертуар да взгляните свежими и нынешними очами, со-

бравши в душу всю силу оскорбленного достоинства. Заманить же публику на старые пиэсы вам теперь легко, у вас есть приманка, именно мои клочки. Смешно думать, чтобы вы могли быть у кого-нибудь во власти. Дирекция все-таки правится публикою, а публикою правит актер. Вы помните, что публика – почти то же, что застенчивая и неопытная кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей и нос<а> и губ, она до тех пор не станет есть соуса, каких ни читай ей наставлений. Смешно думать, чтоб нельзя было наконец заставить ее войти глубже в искусство комического актера, искусство, такое сильное и так ярко говорящее всем в очи. Вам предстоит долг заставить, чтоб не для автора пиэсы и не для пиэсы, а для актера-автора ездили в театр. Вы спрашиваете в письме о костюмах. Но ведь клочки мои не из средних же веков; оденьте их прилично, сообразно и чтобы ничего не было карикатурного – вот и все! Но об этом в сторону! Позаботьтесь больше всего о хорошей постановке «Ревизора»! Слышите ли? я говорю вам это очень сурьезно! У

вас, с позволенья вашего, ни в ком ни на копейку нет чутья! Да если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня вымолил на бенефис себе «Ревизора» и ничего бы другого вместе с ним не давал, а объявил бы только, что будет «Ревизор» в новом виде, совершенно переделанный, с переменами, прибавленьями, новыми сценами[1003], а роль Хлестакова будет играть сам бенефициант, – да у него битком бы набилось народу в театр. Вот же я вам говорю, и вы вспомните потом мое слово, что на возобновленного «Ревизора» гораздо будут ездить больше, чем на прежнего. И зарубите еще одно мое слово, что в этом году, именно в нынешнюю зиму, гораздо более разнюхают и почувствуют значение истинного комического актера. Еще вот вам слово: вы напрасно говорите в письме, что стареетесь, ваш талант не такого рода, чтобы стареться. Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас было слишком много, который ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на вашу роль. Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть

то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роле, тогда как прежде вы все еще как-то метались. Если вы этого не слышите и не замечаете сами, то поверьте же сколько-нибудь мне, согласясь, что я могу знать сколько-нибудь в этом толк. И еще вот вам слово: благодарите бога за всякие препятствия. Они необыкновенному человеку необходимы: вот тебе бревно под ноги – прыгай! А не то подумают, что у тебя куриный шаг и не могут вовсе растопыриться ноги! Увидите, что для вас настанет еще такое время, когда будут ездить в театр для того, чтобы не проронить ни одного слова, произнесенного вами, и когда будут взвешивать это слово. Итак, с богом за дело! Прощайте и будьте здоровы!

Обнимаю вас.

За репетициями хорошо смотрите и все-таки что-нибудь напишите мне о том, что первое скажется у вас на сердце.

Гоголь – Щепкину М. С., 12(24) октября 1846

12 *(24) октября 1846 г. Страсбург* [1004]

Михал Семенович! Вот в чем дело: вы должны взять в свой бенефис «Ревизора» в его полном виде, то есть следуя тому изданию, которое напечатано в полном собрании моих сочинений, с прибавлением хвоста[1005], посылаемого мною теперь. Для этого вы сами непременно должны съездить в Петербург, чтобы ускорить личным присутствием ускорение цензурного разрешения. Не знаю, кто театральный цензор. Если тот самый Гедеонов, который был в Риме с графом Васильевым и с которым я там познакомился, то попросите его от моего имени крепко. Во всяком случае, обратитесь по этому делу к Плетневу и графу М. Ю. Вьельгорскому, которым все объясните и которых участие может оказаться нужным. Скажите как им, так и себе самому, чтобы это дело до самого времени представления не разглашалось и оставалось бы в тайне между вами. Хлестакова должен играть Живокини. Дайте непременно от себя мотив другим актерам, особенно Бобчинскому и Добчинскому. Постарайтесь сами сыграть перед ними некоторые роли. Обратите особенное внимание на последнюю сцену.

Нужно непременно, чтобы она вышла картинной и даже потрясающей. Городничий должен быть совершенно потерявшимся и вовсе не смешным. Жена и дочь в полном испуге должны обратить глаза на его одного. У смотрителя училищ должны трястись колени сильно, у Земляники также. Судья, как уже известно, с присядкой. Почтмейстер, как уже известно, с вопросительным знаком к зрителям. Бобчинский и Добчинский должны спрашивать глазами друг у друга объясненья этому всему. На лицах дам-гостей ядовитая усмешка, кроме одной жены Луканчика, которая должна быть вся – испуг, бледна как смерть, и рот открыт. Минуту или минуты две непременно должна продолжаться эта немая сцена, так чтобы Коробкин, соскучившись, успел попотчевать Растаковского табаком, а кто-нибудь из гостей даже довольно громко сморкнуть в платок. Что же касается до прилагаемой при сем «Развязки «Ревизора», которая должна следовать тот же час после «Ревизора», то вы, прежде чем давать ее разучать актерам, вчитайтесь хорошенько в нее сами, войдите в значенье и в крепость

всякого слова, всякой роли так, как бы вам пришлось все эти роли сыграть самому, и, когда войдут они вам в голову все, соберите актеров и прочитайте им, и прочитайте не один раз, – прочитайте раза три-четыре или даже пять. Не пренебрегайте, что роли маленькие и по нескольку строчек. Строчки эти должны быть сказаны твердо, с полным убежденьем в их истине, потому что это – спор, и спор живой, а не нравоученье. Горячиться не должен никто, кроме разве Семена Семенча; но слова произносить должен всяк несколько погромче, как в обыкновенном разговоре, потому что это спор. Николай Николаич должен быть даже отчасти криклив; Петр Петрович – с некоторым заливом. Вообще было бы хорошо, если бы каждый из актеров держался сверх того еще какого-нибудь ему известного типа. Играющему Петра Петровича нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого[1006]. Николаю Николаевичу должно, за неимени-

ем другого, придерживаться Николая Филипповича Павлова, потому что у него самый ровный и пристойный голос из всех наших литераторов, притом в него нетрудно попасть. Самому Семену Семеновичу нужно дать более благородную замашку, чтобы не сказали, что он взят с Николая Михаловича Загоскина[1007]. Вам же вот замечание. Старайтесь произносить все ваши слова как можно тверже и покойней, как бы вы говорили о самом простом, но весьма нужном деле. Храни вас бог слишком расчувствоваться. Вы расхныкаетесь, и выйдет у вас просто черт знает что. Лучше старайтесь так произнести слова, самые близкие к вашему собственному состоянию душевному, чтобы зритель видел, что вы стараетесь удержать себя от того, чтобы не заплакать, а не в самом деле заплакать. Впечатление будет оттого несколько раз сильней. Старайтесь заблаговременно во время чтения своей роли выговаривать твердо всякое слово, простым, но пронимающим языком, – почти так, как начальник артели говорит своим работникам, когда выговаривает им или попрекает в том, в чем действи-

тельно они провиноватились. Ваш большой порок в том, что вы не умеете выговаривать твердо всякого слова: от этого вы неполный владелец собою в своей роле. В городничем вы лучше всех ваших других ролей именно потому, <что> почувствовали потребность говорить выразительней. Будьте же и здесь, и в «Развязке «Ревизора», тем же городничим. Берегите себя от сентиментальности и караульте сами за собою. Чувство явится у вас само собою, за ним не бегайте; бегите за тем, как бы стать властелином себя. Обо всем этом не сказывайте никому в Москве, кроме Шевырева, по тех пор, покуда не возвратитесь из Петербурга. У вас язык немножко длинноват: вы его на этот раз поукоротите; если ж он начнет слишком почесываться, то вы придите в другой раз к Шевыреву и расскажите ему вновь, как бы вы рассказывали свежему и совсем другому человеку. «Развязку» нужно будет переписать, потому что, кроме экземпляра, нужного для театральной цензуры, другой будет нужен для подписанья цензору Никитенке, которому отдаст Плетнев, ибо «Ревизор» должен напечататься отдельно с «Развязкой»

ко дню представления и продаваться в пользу бедных[1008], о чем вы при вашем вызове по окончании всего должны возвестить публике: что не благоугодно ли ей ради такой богоугодной цели сей же час по выходе из театра купить «Ревизора» в театральной же лавке, а кто разохотится дать больше означенной цены, тот бы покупал ее прямо из ваших рук для большей верности. А вы эти деньги потом препроводите к Шевыреву. Но об этом речь еще впереди. Довольно с вас покаместь этого.

Итак, благословясь, поезжайте с богом в Петербург. Бенефис ваш будет блистателен. Не глядите на то, что пиеса заиграна и стара. Будет к этому времени такое обстоятельство, что все пожелают вновь увидать «Ревизора»[1009], даже и в том виде, в каком он давался прежде. Сбор ваш будет с верхом полон. Поговорите с Сосницким, чтобы увидать, можно ли то же самое сделать и в Петербурге, сколько возможно таким образом, как в Москве. Прежде его испытайте: он немножко упрям в своих убеждениях. Скажите ему, что это стыдно и не в христианском духе иметь такое гордое мнение в своей безошибочности и что он

первый, если бы только захотел истинно постараться о том, чтобы последняя сцена вышла так, как ей следует быть, она бы сделалась чистая натура. Не приметил бы зритель никакой искусственности и принял бы ее за вылившуюся непринужденно. Скажите ему, что для русского человека нет невозможного дела, что нет даже на языке его и слова нет, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: нет.

Письмо это дайте прочесть Шевыреву, так же как и самую «Развязку «Ревизора», и о получении всего этого уведомьте меня тот же час, адресуя в Неаполь, poste restante.

Весь ваш *Г.*

Гоголь – Щепкину М. С., 4(16) декабря 1846

4 *(16) декабря 1846 г. Неаполь* [1010]

Декабря 16. Неаполь.

Вы уже, без сомнения, знаете, Михал Семенович, что «Ревизора» с «Развязкой» следует отложить до вашего бенефиса в будущем, 1848 году[1011]. На это есть множество причин, часть которых, вероятно, вы и сами про-

никаете. Во всяком случае, я этому рад. Кроме того, что дело будет не понято публикою нашею в надлежащем смысле, оно выйдет просто дрянь от дурной постановки пиесы и плохой игры наших актеров. «Ревизора» нужно будет дать так, как следует (сколько-нибудь сообразно тому, чего требует по крайней мере автор его), а для этого нужно будет время. Нужно, чтобы вы переиграли хотя мысленно все роли, услышали целое всей пиесы и несколько раз прочитали бы самую пиесу актерам, чтобы они таким образом невольно заучили настоящий смысл всякой фразы, который, как вы сами знаете, вдруг может измениться от одного ударения, перемещенного на другое место или на другое слово. Для этого нужно, чтобы прежде всего я прочел вам самому «Ревизора», а вы бы прочли потом актерам. Бывши в Москве, я не мог читать вам «Ревизора». Я не был в надлежащем расположении духа, а потому не мог даже суметь дать почувствовать другим, как он должен быть сыгран. Теперь, слава богу, могу. Погодите, может быть, мне удастся так устроить, что вам можно будет приехать летом ко мне. Мне

ни в каком случае нельзя заглянуть в Россию раньше окончания работы[1012], которую нужно кончить. Может быть, вам также будет тогда сподручно взять с собою и какого-нибудь товарища, больше других толкового в деле. А до того времени вы все-таки не пропускайте свободного времени и вводите, хотя понемногу, второстепенных актеров в надлежащее существо ролей, в благородный, верный такт разговора – понимаете ли? – чтобы не слышался фальшивый звук. Пусть из них никто не оттеняет своей роли и не кладет на нее красок и колорита, но пусть услышит общечеловеческое ее выражение и удержит общечеловеческое благородство речи. Словом, изгнать вовсе карикатуру и ввести их в понятие, что нужно не представлять, а передавать. Передавать прежде мысли, позабывши странность и особенность человека. Краски положить нетрудно; дать цвет роли можно и потом; для этого довольно встретиться с первым чудаком и уметь передразнить его; но почувствовать существо дела, для которого призвано действующее лицо, трудно, и без вас никто сам по себе из них этого не почувствует. Итак,

сделайте им близким ваше собственное ощущение, и вы сделаете этим истинно доблестный подвиг в честь искусства. А между тем напишите мне (если книга моя «Выбранные места из переписки» уже вышла и в ваших руках) ваше мнение о статье моей «О театре и одностороннем взгляде на театр», не скрывая ничего и не церемонясь ни в чем, равным образом как и обо всей книге вообще. Что ни есть в душе, все несите и выгружайте внаружу. Адресуйте в Неаполь, в poste restante.

Щепкин М. С. – Гоголю, 22 мая 1847

22 *мая 1847 г. Москва* [1013]

Милостивый государь
Николай Васильевич.

На первые ваши три письма[1014] я не отвечал, и, конечно, на это нет извинения, а потому я и не извиняюсь, ибо это будет ни к чему, а объясню некоторые причины, которые привели меня к такому результату. Первые два письма ваши получены во время моей болезни, и я не мог действовать по смыслу ваших писем в этом случае. Третие письмо остановляло уже все действие по части «Ревизо-

ра»; а главное – причиною ли тому болезненное состояние мое, головное ли отупение, только из всех трех писем, за исключением того, что касалось до сцены и до искусства драматического, что все вообще взято мною к сведению, остального, простите, я не понял совершенно или понял превратно, и потому я решился лучше молчать и ожидать объяснения изустного, если бы только случай был ко мне так добр. По выздоровлении, прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей. Я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще – это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю их со всеми слабостями как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я

взрос и почти состарился, – видите ли, какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не отдам, не отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог. Вот главная причина моего молчания, и теперь, как все это высказалось, я, право, не знаю, может быть, все это вздор, вранье, но уже все это высказалось, так ему и быть!

В сторону прошедшее, за бока настоящее. Последнее письмо ваше совершенно оживило меня, и я в таком был поэтическом моменте, что я вот так <бы> сел и поехал, чтоб обнять вас, и Степан Петрович Шевырев уже начернил и письмо к директору об отпуске за границу. Да, я молод еще, хотя мне и без году шестьдесят, я еще восторгаюсь сильно, сильно увлекаюсь, даже до излишества; но, пообдумав все это, нашел все это почти не выполнимым, по крайней мере в настоящее время. Средства, придуманные вами, хороши, но не

верны. Хотя на водах и много бывает русских, но все, что можно сделать при вашем пособии, – тысячу и даже, может быть, полторы, разумеется, во все вечера, и этих денег точно может быть достаточно на вояж в Париж и Лондон, хотя и это еще не совсем точно. Но доехать до Остенде[1015] – на это тоже требуются все деньги и деньги. И потому мне двинуться нельзя без верных пяти тысяч пятисот рублей. Вас это удивит, а я вам это объясню: у меня останется дома, кроме прислуги, 17 человек; им прожить нужно 1000 <рублей> в месяц. А как поездка моя никак не может быть меньше трех месяцев, следовательно, им надо три тысячи, а мне на вояж 2500 <р.>. Видите ли, эта сумма необходима – нет ее, и я должен лишить себя всегдашней моей мечты. Мне нужно видеть заграничные театры, очень нужно, незнание языка меня не пугает, главное я пойму, и оно необходимо мне для моих записок, в конце которых хочу изложить свой взгляд на драматическое искусство вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время[1016]. Это будет окончательным делом моей практиче-

ской деятельности! Итак, вы сами видите, как бы это было мне полезно для будущего. В настоящем же мне оно, кроме удовольствия, не принесет никакой пользы, ибо после сорокалетних занятий я уже не могу переделать себя, у меня недостанет сил, все сценические недостатки вросли в меня, вросли глубоко, их не вырвешь уже, не повредивши целого. Итак, практику оставим донашиваться так, как она есть. Конечно, много выиграла бы мысль, что для меня и для моей цели очень было бы полезно; но 5500 <р.> ставят этому препону. Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за уплатою и с наемом годовой квартиры 1500 <р.> – вот все мое состояние! Да ежели бы его осталось и столько, сколько нужно для вояжа, то я и тогда не мог бы им пожертвовать. Это было бы поступлено мною бессовестно в отношении моего семейства. У меня было в жизни два владыки: сценическое искусство и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; искусство на меня, собственно, не может жаловаться; я действовал неутомимо и по крайнему моему разумению, перед ним я

прав. В отношении же последнего, положа руку на сердце, я не могу этого сказать. Стало быть, я должен стараться поправить то, что так долго было упускаемо. Итак, при всем моем желании я должен затаить мое желание и, может быть, на долгое время еще лишить себя ваших объятий, в которые, вы рады ли или не рады, я заочно повергаюсь и, от души вас обнимая, сам остаюсь весь ваш, все, что хотите, – и друг, и слуга, и проч. и проч.

Михайло Щепкин.

Я написал было сам это письмо, но так надряпал, что насилу сам прочел, и потому вынужден был попросить брата переписать.

1847 года. Маия 22 дня стар. ст. Москва.

Гоголь – Щепкину М. С., около 28 июня (10 июля) 1847

Около 28 июня (10 июля) 1847 г. Франкфурт [1017]

Письмо ваше, добрейший Михал Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городниче-

го, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились, как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое[1018]. Прочитать «Ревизора» я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым и – словом – всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей «Ревизора»[1019]. Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из «Ревизора» хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. «Ревизор» «Ревизором», а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не «Ревизора», но которое приличней ему сделать <по> поводу «Ревизора». Вот что следовало было доказать по поводу слов: «разве у меня рожа крива?»[1020] Теперь осталось все при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегорья аллегор<ией>, а «Ревизор» – «Ревизором».

Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует «Ревизора», чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, – и не удалось. Видно, бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье насчет городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: «Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему». Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в Собрании сочинений.

Очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших записок[1021]. Начать в ваши годы писать записки – это значит жить вновь. Вы непременно помолодеете и силами и духом, а чрез то приведете себя в возможность прожить лишний десяток лет. Обнимаю вас. Прощайте.

Н. Г.

Том второй

Гоголь и Аксаковы

Вступительная статья

Семья Аксаковых – замечательное, по-своему уникальное явление русской жизни 1830–1850-х годов. Заметный след в истории нашей культуры оставил глава семьи – писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859); его старший сын Константин Сергеевич (1817–1860) приобрел известность как поэт, критик и публицист, один из вождей раннего славянофильства; видным поэтом и общественным деятелем был и Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886). Однако большая аксаковская семья примечательна не только деятельностью этих наиболее ярких своих представителей. Современников привлекала царившая в ней теплота и сердечность, чистота ее нравственной атмосферы, широта культурных интересов, удивительно прочная связь старшего и молодого поколений.

В дом Аксаковых – один из центров московской жизни той эпохи – Гоголь был впер-

вые введен М. П. Погодиным в июле 1832 года. Со временем дружеские отношения соединили писателя со многими членами этой семьи, но наиболее близки ему оказались Константин Сергеевич и в особенности Сергей Тимофеевич Аксаковы. К моменту знакомства с Гоголем С. Т. Аксаков уже занимал в литературно-театральном мире Москвы заметное положение. С 1827 года он служил цензором, а затем и председателем Московского цензурного комитета (уволен в феврале 1832 года). Дебютировав в печати еще в 1812 году, он впоследствии стал известен как театральный критик, поэт, славился как превосходный декламатор и авторитетный литературный судья. Однако временем расцвета Аксакова-художника стали последние полтора десятилетия его жизни, когда были созданы произведения, определившие вклад писателя в русскую литературу, – «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др. Литературная ситуация 1840-х годов – ситуация, в значительной степени сформировавшаяся под влиянием гого-

левского творчества, – позволила полностью раскрыться реалистическому дарованию Аксакова. Более того, внимание Гоголя, с большой заинтересованностью относившегося к литературной деятельности Сергея Тимофеевича, сыграло в пробуждении его писательского дара и роль непосредственного толчка. Успев познакомиться лишь с частью сочинений С. Т. Аксакова, Гоголь высоко ценил его как знатока русской природы и быта и, работая над вторым томом «Мертвых душ», в свою очередь, испытал воздействие Аксакова-прозаика.

Интерес Гоголя к литературным занятиям членов аксаковской семьи проявлялся также в его внимании к поэтическим опытам И. С. Аксакова, к художественным, критическим, научным сочинениям К. С. Аксакова, одаренность которого писатель высоко ценил.

В доме Аксаковых царил подлинный культ Гоголя-художника. Однако их личное сближение с писателем проходило непросто. Фамильная аксаковская пылкость не раз наталкивалась на сдержанность, а порой и скрытность Гоголя, поведение которого представля-

лось Аксаковым подчас странным и даже неискренним. С другой стороны, самого писателя нередко смущала свойственная Сергею Тимофеевичу – и в особенности Константину Сергеевичу – категоричность оценок, несдержанность в проявлениях и любви, и осуждения. Лишь в 1839 году – в очередной приезд Гоголя в Москву – установилась подлинная близость в его отношениях с Аксаковыми. «С этого собственно времени, – вспоминал Сергей Тимофеевич, – началась тесная дружба, вдруг развившаяся между нами» (Аксаков, с. 20).

В Аксаковых Гоголь нашел верных друзей, не раз оказывавших ему разнообразную практическую помощь, горячих сторонников и внимательных истолкователей своего творчества. Если яркий талант писателя был открыт для них «Вечерами на хуторе близ Диканьки», то появление сборника «Миргород» заставило аксаковскую семью взглянуть на Гоголя как на «великого художника с глубоким и важным значением» (Аксаков, с. 13). Еще более сильное впечатление произвели «Мертвые души», с главами которых автор

знакомил Аксаковых, в числе других избранных слушателей, еще до опубликования поэмы. Сочинение Гоголя было воспринято в аксаковской семье как небывалое литературное явление, подлинный смысл которого, в силу его огромности, не может быть сразу постигнут читателями. Попыткой разъяснить сущность и значение произведения стала знаменитая брошюра К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842). Сознательно оставляя в стороне вопрос о конкретном содержании поэмы, ее сатирическом пафосе, автор брошюры выдвигал на передний план рассмотрение присущего Гоголю способа отображения действительности. По мысли Аксакова, «Мертвые души» противостоят в этом отношении всему современному искусству. В них как бы воскресает древнее эпическое созерцание – широкое, полное и беспристрастное изображение жизни. В связи с этим сам Гоголь – творец современного эпоса – в типологическом плане сближался в брошюре с Гомером. Для характеристики славянофильской позиции К. С. Аксакова важно, что сама

возможность воскрешения в России эпического созерцания рассматривалась им как связанная со спецификой русской национальной жизни, исключительностью русского народа. Отношение же критика к творцу «Мертвых душ» ярко раскрывало высказанное в брошюре предположение, что в полностью осуществленной поэме окажется раскрыта «тайна» русской жизни, выявится ее сущность.

Появление «Нескольких слов...» вызвало шумный отклик современников. Наиболее принципиальным стало выступление В. Г. Белинского – в недавнем прошлом товарища Константина Сергеевича по кружку Станкевича, а в 1840-е годы его непримиримого идейного противника (об этой полемике см.: Манн, с. 176–195). Утверждая в специальной рецензии противоположный аксаковскому взгляд на поэму, Белинский делал акцент именно на ее конкретном содержании и критической направленности.

Сам Гоголь остался недоволен несвоевременностью, как ему казалось, выступления К. С. Аксакова и недостаточной зрелостью вы-

сказанных им идей, хотя многое в брошюре автору «Мертвых душ» было, несомненно, близко. Испытанное писателем раздражение не было продолжительным. Однако примерно к тому же времени относится начало и общего осложнения отношений между Гоголем и Аксаковыми. Человек наблюдательный и многое повидавший, Сергей Тимофеевич рано уловил, сначала в поведении, а затем и в письмах писателя, первые симптомы его будущего духовного кризиса. Аксакова смущали и расстраивали проявления мистических настроений и религиозной экзальтации Гоголя, новый, учительский тон, взятый им в переписке и вытесняющий прежнюю задушевность и теплоту. Чувство, переживаемое Сергеем Тимофеевичем, не сводилось к личной обиде. Это была прежде всего тревога за Гоголя-художника, впервые ясно высказанная Аксаковым-старшим уже в письме к писателю от 17 апреля 1844 года. Когда в августе 1846 года Сергею Тимофеевичу становится известно, что в Петербурге готовится издание нового произведения Гоголя, свидетельствующего о его окончательном повороте к «нравствен-

но-наставительному» направлению, Аксаков предпринимает решительную попытку «спасти» писателя, предотвратив публикацию «Выбранных мест...», а также несущих на себе печать тех же идей и настроений «Предуведомления» к «Ревизору» и его «Развязки». «<...> неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям? – обращается Сергей Тимофеевич к издателю «Выбранных мест...» П. А. Плетневу. – <...> мое мнение состоит в следующем: книгу, вероятно вами уже напечатанную, если слухи об ней справедливы, не выпускать в свет, а «Предуведомление» к «Ревизору» и новой его развязки совсем не печатать; вам, мне и С. П. Шевыреву написать к Гоголю с полною откровенностью наше мнение» (Аксаков, с. 160). Действительно, «беспощадная правда» о новом гоголевском направлении высказывается С. Т. Аксаковым в письмах к писателю и их общим знакомым с «совершенной откровенностью» (Аксаков, с. 159–160). Не менее резко критикует «Выбранные места...» и Константин Сергеевич. Развернувшаяся в переписке Гоголя и Ак-

саковых полемика едва не приводит их к полному разрыву.

Переживаемый Гоголем кризис в аксаковской семье связывали с многолетним пребыванием писателя вне родины, с влиянием Запада, узостью круга соотечественников, среди которых автор «Выбранных мест...» находился за границей. Вот почему возвращение Гоголя весной 1848 года воспринято Аксаковыми с особой радостью. Однако отпечаток недавнего конфликта явственно ощущается и первое время после приезда писателя в Москву. Дольше всего держится раздражение Гоголя против К. С. Аксакова, которого писатель считал главным виновником возникшего разлада. Отношения с другими членами семьи налаживались быстрее. Особое значение имело при этом чтение Гоголем (летом 1849 года) начальных глав второго тома «Мертвых душ», вернувшее Аксаковым веру в него как в художника. В последние годы жизни писатель часто посещает своих друзей и в Москве, и в их подмосковном Абрамцеве. «По всему видно, что в Москве дом наш Гоголю существенно нужен, – писал отцу 3 сентября 1851 года И.

С. Аксаков, – он хочет, чтоб переехала вся семья, с вашими записками, с Константиновыми речами и сочинениями, с малороссийскими песнями» (Аксаков, с. 214). С. Т. Аксаков и Гоголь работают в это время в тесном творческом контакте, намереваясь одновременно издать один – свои «Записки ружейного охотника», другой – второй том «Мертвых душ». Планам этим не суждено было осуществиться...

Сразу после смерти Гоголя Сергей Тимофеевич, ощущая свой долг перед памятью о писателе, начинает работать над книгой воспоминаний о нем. Оставшаяся незавершенной «История моего знакомства с Гоголем» (впервые полностью опубликована в 1890 году) является тем не менее ценнейшим биографическим источником. Она включает в себя и значительную часть обширной переписки писателя с семьей Аксаковых. Всего же в настоящее время опубликовано 71 письмо Гоголя к Аксаковым и 33 письма к Гоголю от С. Т., О. С., К. С. и И. С. Аксаковых. В данном случае большая часть писем Гоголя печатается по последнему научно подготовленному изданию: Ак-

саков. В сборник вошли 24 письма Гоголя и 18 писем С. Т. и К. С. Аксаковых.

Гоголь – Аксакову С. Т., 15 мая 1836

15 *мая 1836 г. Петербург* [1022]

15 мая, СПб.

Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством и вкусом; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем. Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину[1023]. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня, – я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину.

Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то

6 июня непременно[1024]. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.

Еще раз принося вам чувствительнейшую мою благодарность, остаюсь навсегда

вашим покорнейшим слугою

Н. Гоголь.

Мая 15 1836.

Гоголь – Аксакову С. Т., 29 мая (10 июня) 1840

29 *мая (10 июня) 1840 г. Варшава* [1025]

Варшава, 10 июня.

Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги[1026]. Но что я за вздор несу: грешно. Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли или неприлично, и, верно бы, не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто

бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно – вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции, не было никакой задержки, словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями[1027]: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева, и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова, то привезти и его[1028]. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их тоже. Михаил Семенович[1029], ко-

торого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался, с своей стороны, достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше, а Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.

Прощайте, мой бесценный друг. Обнимаю вас множество раз.

Аксаков С. Т. – Гоголю, июнь 1840

Июнь 1840 г. [1030]

Да, мой милый, мой бесценный друг, Николай Васильевич! Между друзьями нет разлуки! Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства! Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нов. ст. обрадовало все наше семейство. Меня не было дома, и не я его полу-

чил; зато слова: *письмо от Гоголя* радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это *душевное побуждение*, которое заставило вас написать его... По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас: куда писать к вам? Мне так это досадно! Мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе... но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки... Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится... но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии.

Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно. Все обнимаем вас, а Константин особенно и так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостию. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова[1031], начинает при-

выкать к новому своему житью-бытью и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Она гостит у нас другой день: вчера было воскресенье, а сегодня Раевской нет дома. Лиза сама пишет. Погодин, верно, написал вам, что у него родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром и что я крестил его с Лизаветой Григорьевной[1032]: это мне было очень приятно, потому что она ваша добрая приятельница. Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу... Кажется, мы проведем лето в Москве: к этому есть много побудительных причин, и не весьма приятных. Не такой год, чтоб расставаться.

Я прочел Лермонтова «Герой нашего времени» в связи[1033] и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца[1034]. Письмо мое написано очень беспорядочно... нужды нет, не хочу пропустить почты. Михаил Семеныч очень было прихворнул, но теперь выезжает и поправляется.

Пожалейте: он на строжайшей диете...[1035] Он обнимает вас и обещает достать мно-

го «записок из дел», к которым я присоединю свои: все это привезет вам Константин, если не встретится оказии прежде.

Гоголь – Аксакову С. Т., 16(28) декабря 1840

16 *(28) декабря 1840 г. Рим* [1036]

Рим, декабря 28.

Я много перед вами виноват, друг души моей, Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма[1037]. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчало. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату[1038]; лгать мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни. Вы в вашем письме сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе! Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, ис-

полнится. По крайней мере, обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места[1039], о котором – помните? – мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворить своей страсти, то есть любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хоть, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость; ибо ему – что весьма естественно – хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним, я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная ду-

ша моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой, – мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что печатание их не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, свежий. Но лето,

лето – это я уже испытал – мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать? признаюсь – у меня не было средств тогда предпринять путешествие; у меня слишком было все рассчитано. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня...

Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал вначале, заключилось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву[1040], вы знаете, что я разумею. Вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какие это приобретения. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога. Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой бла-

годати, который так привязался ко мне[1041], – я чувствую в этом что-то такое сладкое... Но довольно. Сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова.

Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием – и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху[1042]. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую мною у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале.

Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился[1043]. Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого[

1044]. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле. Но почему – может увлечь в длинные рассуждения. Покамест прощайте.

Обнимаю и целую вас несколько раз и все ваше семейство также.

Гоголь – Аксакову К. С., 16(28) декабря 1840

16 *(28) декабря 1840 г. Рим* [1045]

Рим. Дек. 28.

Посылаю вам поцелуй, милый Константин Сергеевич, за ваше письмо[1046]. Оно сильно кипит русским чувством, и пахнет от него Москвою, несмотря на то, что не выставлено ни месяца, ни дня. Зазывы ваши на снега и зиму тоже не без увлекательности, и почему ж иногда не позябнуть? Это часто бывает здорово. Особливо когда внутреннего жару и горячих чувств вдоволь. Послушайте! А если послушаюсь ваших советов и приеду наконец к вам, дадите ли вы мне слово слушаться моих советов? Есть советы, которые готовятся вам[1047], но о которых речь может распрост<ра-

ниться?>, а я спешу скорее отправить вам это письмецо. У меня теперь куча дел и хлопот с кое-какими старыми грехами. Прощайте. Жму крепко вашу руку. И будьте уверены, что умею ценить ваши ко мне чувства.

Ваш *Н. Гоголь*.

Скажите, почему ни слова не скажет, хоть в вашем письме, Михаил Семенович. Я не требую, чтобы он писал ко мне, но пусть в то время, как вы будете писать, прибавит от себя хоть по крайней мере следующее: что вот я, Михаил Семенович Щепкин, нахожусь в комнате Сергея Тимофеевича. В чем свидетельствую за приложением моей собственной руки. Больше я ничего от него не требую. Он должен понять это, или он меня не любит.

Перецелуйте за меня всех ваших родных. Они мне тоже родные.

Гоголь – Аксакову С. Т., 21 февраля (5 марта) 1841

21 *февраля (5 марта) 1841 г. Рим* [1048]

Марта 5. Рим.

Мне грустно так долго не получать от вас

вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват: может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку, – как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу! Но вот вам наконец эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину[1049], по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралась без него[1050]. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что, собственно, могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому слу-

чится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые выключенные из пиесы сцены[1051]. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате, а впрочем, как найдете лучшим[1052].

Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей[1053], и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бо-

га: подобное внушенье не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно. Теперь мне нужн<ы> необходим<о> дорога и путешествие: они одни, как я уже заметил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди[1054]. Все было дивно и мудро расположено высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим, – все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что буду к вам, ни о том, что я тружусь, – словом, ничего.

Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти совер-

шенно невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич[1055]; им же нужно – Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться[1056]. А милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего ответа; чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас! До свиданья! Как прекрасно это слово!

Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеевну, Ольгу Сергеевну[1057] – всех! всех! Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини; это будет вернее, чем poste restante. Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini.

Гоголь – Аксакову С. Т., 1(13) марта 1841

1 *(13) марта 1841 г. Рим* [1058]

Едва только я успел отправить письмо мое к вам, с приложеньями к «Ревизору», как получил вслед за тем ваше[1059]. Оно было для меня тем приятнее, что мне казалось уже, будто я от вас бог знает когда не получал вести. Целую вас несколько раз в задаток поцелуев личных. «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени. Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо и вообще торговля не движется. Отпечатать можно теперь, а выпуском повременить до осени. По крайней мере, так говорит благоразумие и опытность.

Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину[1060]. Боже! Если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для

меня это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние. Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда для меня уже беда. Никогда бы не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько бы у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи. Но так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над пер<еп>равкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели[1061]. Ибо теперь для меня всякая малая вещь почти такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда, ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, преступную свою жертву. Нет, клянусь! грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня. – Только одн<ом>у не верующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен, я умер теперь для всего ме-

лочного. И для презренного ли журнального пошлого занятья ежедневным дрязгом я должен совершать непрощаемые преступления? И что поможет журналу моя статья? Но статья будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилит мое болезненное расположение, но, я думаю, нет. Бог милостив. Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же так теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому, и Погодину скажите, чтоб он также не говорил, если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще. Ничего тоже не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала, но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтобы я не давал ему ничего.

Вы, может быть, дивитесь, что я вызываю Константина Сергеевича и Михаила Семеновича, но я делал это в том предположении, что Константину Сергеевичу нужно было и без того ехать, а Михаил Семенович тоже хо-

тел ехать к водам, что ему принесло бы значительную пользу. Я бы их ожидал хоть в самом первом за нашею границею немецком городке. Вы знаете этому причины из письма моего, которое вы уже получили. Насчет денег нужно будет распорядиться скорее. В мае месяце я полагаю выехать из Рима, месяцы жаркие провесть где-нибудь в холодных углах Европы, может быть в Швейцарии, и к началу сентября в Москву – обнять и прижать вас сильно. Прощайте! жду с нетерпеньем ваших писем.

Обнимаю крепко все ваше семейство.

Гоголь – Аксакову К. С., март (?) 1841

Март (?) 1841 г. Рим [1062]

В этот раз ваше письмо[1063] было для меня особенно радостно, милый Константин Сергеевич. Из него и уже отчасти из письма Сергея Тимофеевича к Погодину я слышу душою, что вы вступили на прямо русскую дорогу[1064]. Стало быть, встреча между нами неизбежна, еще теснейшая, ближайшая встреча. Вы напрасно извиняетесь в письме, что заикнулись про немецкую философию.

Опасаясь только того, чтобы вы не вдались односторонне в нее как в науку – для нее же самой, я радовался, между прочим, внутренно при мысли, если вы сами собой проберетесь на русскую дорогу, ее употребите, как лес, для поднятия себя на известную вышину, с которой можно начать здание, полетящее к небесам, или просто на утесистую гору, с которой шире и дале откроются вам виды. О, как есть много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть озаренными глазами! Вам не нужно теперь ехать в Италию[1065], ни даже в Берлин; вам нужен теперь труд, вам просто нужно заставить теперь руку побегать по бумаге. Нет нужды, что еще не вызрела, развилась и освежилась мысль; кладите ее смело на бумагу, подержите только в портфеле и не выдавайте довременно в свет. Ибо велико дело, если есть рукопись в портфеле. Вы еще не можете этого постигнуть. Сверх труда вам еще нужен теперь я, и я это чувствую в душе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы за мною приехали в Германию, чтобы мы дружно совершили возвращение на родину, рука в руку.

Покамест вот вам слова, которые вечно должны звучать в ушах ваших. Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого, он был бы исполином. Враг этот – лень или, лучше сказать, болезненное усыпление, одолевающее русского. Много мыслей, не сопровождаемых воплощением, уже у нас погибло бесплодно. Помните вечно, что всякая втуне потраченная минута здесь неумолимо спросится там, и лучше не родиться, чем побледнеть перед этим страшным упреком.

Обнимая и целуя вас так же жарко, как вы меня, жду вашего письма.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 3, 5 июля 1842

З, *5 июля 1842 г. Гаврилково* [1066]

1842. Июля 3-го, Гаврилково.

Вот уже другой месяц живем мы в прелестной деревушке, милый друг Николай Васильевич! Другой месяц или читаем вас, или говорим о вас! Никому не поверю, чтоб нашелся человек, который мог бы с первого раза вполне понять ваши бессмертные «Мертвые души»! Я восхищался ими вместе с другими, а

может быть, и больше других или по крайней мере многих; но восхищение мое было односторонне. Некоторые более выдающиеся (по натуре своей) части закрывали от меня остальное. Это мир божий... Можно ли одним взглядом его рассмотреть? – Какое надобно внимание и разумение, чтоб открыть в нем совершенство творчества в малейших подробностях, по-видимому и не стоящих большого внимания. Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине! Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений. Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то стало теперь истиною, понятою еще немногими, но тем не менее непреложной истиной! Конечно, молодое поколение образованных юношей, все без исключения почти, кроме несчастных, лишенных всякого чувства изящного, более и полнее вас поймет, чем сорокалетние и пятидесятилетние люди. Все мы, с некоторыми изменениями, успели засорить свой ум, притупить чувство и не можем вдруг стряхнуть с себя сего ложного воз-

зрения и направления. Константин написал статью, которая печатается в «Москвитянине»[1067]: в ней верно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшие и чувствовавшие других поэтов, не могут вдруг и вполне понять и почувствовать «Мертвые души». Я прочел их два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства; надобно некоторым образом остыть, чтоб не пропустить красот творения, естественно, ускользающих от пылающей головы и сильно бьющегося сердца. Теперь мы с жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, как оно выходило. Расстояние велико, но элементы уже те! Главное: свежесть, ароматность, так сказать, жизни непостижимые!.. Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома «Мертвых душ». А трагедия?[1068] Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением,

хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы «до последней нитки»? Но да будет, что угодно богу. Да сохранит он только вас здрава и невредима.

Я получил ваше письмецо из Петербурга от 4 июня. Вы намеревались выехать из него ранее, чем предполагали; по крайней мере я помню, что поднесение экземпляров назначаемо было при вас[1069]; мы еще не имеем точного известия, когда именно выехали вы из этого северного Вавилона. Сердечно вас благодарю, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских; особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Карташевской. Эта необыкновенная девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мертвые души». Она удивила

и восхитила меня своим письмом[1070]. Не много таких прекрасных существ можно встретить не только в Петербурге, но и в Москве, и в целой православной Руси.

Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове; я сделал это, сколько мог успеть, ибо через неделю мы уехали из Москвы. Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. П<ерфилье>в сказал мне: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; все одно и то же; натянуто; видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит». Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в «Ревизоре», его не оскорбляли; но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором.

Н. И. В<асько>в говорил, «что состав губернского общества неверен (как и в «Ревизо-

ре», где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое, полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала все в дрянном и смешном виде, странно сделать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу». Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: «Посмотрим, что делает наш приятель?» «И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?..» Не сочтите за выдумку последнего выражения – все правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу.

Несмотря на лето, «Мертвые души» расхо-

дятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже четыре тысячи пятьсот; в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним).

5 июля.

Вчера получил Константин письмо от Погодина, который отказывается напечатать его статью о «Мертвых душах», хотя она уже была набрана; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего... Ох уж эти мне друзья, которые, не понимая хорошенько, вступают не в свое дело и присваивают себе не принадлежащие им права. Константин напечатает свою статью особой брошюркой. Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей.

Погодин наконец третьего дни получил от-

пуск и скоро уезжает.

Банкир ваш, Валентини, умер, итак, пришлите мне немедленно ваш адрес в Рим. Жена моя не дождалась моего письма и писала к вам на прошедшей неделе.

Я теперь совершенно предался наслаждениям деревенской жизни. Местоположение у нас чудесное, дожди и грозы всякий день, но мимолетные, после которых еще свежее зелень, еще чище воздух, еще ароматнее цветы и травы. Всякий день встаю в четыре часа утра и спешу удить: и река и пруды у самого дома. Пекусь на солнце часу до одиннадцатого и бросаюсь в реку, чтоб прохладиться и освежиться. До обеда немного вздремну, до вечера сижу и гуляю с своими, а вечером опять удить. Я точно уехал за тысячу верст: ни с кем не вижусь, ни во что не вхожу и ни с кем не переписываюсь... Письмо к вам, милый друг, исключение! С вами я не расстаюсь ни на один час, также и все мое семейство. Желание поговорить с вами не оставляло меня ни на минуту; но я слишком полон был сильных чувств и потому нарочно мешкал несколько времени.

Грустно мне, когда вздумаю, что время вашего возвращения так далеко... Когда мы вас дождемся?.. Много воды утечет в продолжение почти трех лет!..[1071] А кто знает, велик ли запас ее! Притом какое длинное, трудное, со многими опасностями сопряженное путешествие![1072] Часто я думаю, думаю и никак не могу объяснить себе причины этого последнего вашего путешествия. Не правда ли, милый друг, у вас не было и помышления о нем, когда вы воротились в Москву? Оно родилось мгновенно? По крайней мере, я не подозревал его. По моему свойству и правилам, я никогда не навязываюсь на доверенность друзей своих; потому не спрашивал и вас о причинах такой быстрой перемены, хотя был поражен ею... Теперь же меня это беспокоит. Может быть, вы желали мне сказать о них и ожидали только моего вопроса; может быть, мое молчание вы растолковали в другую сторону и – жестоко ошиблись!.. Как бы я желал, чтоб срок вашего отсутствия сократился и чтобы мы увидели вас скорее, опять посреди нашего семейства, которое все без исключения привязано к вам, как к ближайшему род-

ному.

Сейчас получили письмо от Лизы[1073]. Маменька ваша и сестрицы доехали хотя не скоро, с хлопотами и убытками, но благополучно; они, верно, к вам пишут. Всем нам очень жаль Лизу: она будет скучать, и ей не сладиться с тамошней, деревенской жизнью.

Константин будет к вам писать особо и скоро; но я не стал его дожидаться, потому что крепко захотелось перемолвить с вами словечко. К нам приехал третий и последний наш сын[1074]; часто бывает горько на душе, что уже не дождемся возвращения четвертого... Прощайте, милый, сердечный друг наш! Поминайте нас так же часто, как мы вас, – чаще этого нельзя. Я предлагал Погодину, сейчас после вашего отъезда, заплатить весь ваш долг, но он отказался. Если вам понадобятся деньги, то, чур, ни к кому, кроме меня, не писать. Обнимаю вас крепко и долго. Да сохранит вас милосердный бог для всех вообще и для нас особенно!

Ваш до гроба *С. Аксаков*.

Мы все благодарим вас сердечно за при-

писку верхней строчки в нашем экземпляре «Мертвых душ». Погодин едет завтра[1075]. Все вас обнимают. Я был два раза у Шереметевой; она вас помнит и любит сильно.

Гоголь – Аксакову С. Т., 6(18) августа 1842

6 *(18) августа 1842 г. Гаштейн* [1076]

Гастейн, 18/6 августа.

Я получил ваше милое письмо и уже несколько раз перечитал. Вы уже знаете, что я уже было соскучил, не имея от вас никакой вести, и написал вам формальный запрос; но теперь, слава богу, письмо ваше в моих руках. Что же сделалось с тем, что писала, как видно из слов ваших, Ольга Семеновна – я никак не могу понять; оно не дошло ко мне. Все ваши известия, все, что ни заключалось в письме вашем, все до последнего слова и строчки, было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о «Мертвых душах». Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заране. Неопределенные толки, поспеш-

ность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья, досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком, – все это я знал заране. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Все это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали[1077]. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне все это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность[1078]. Я знал, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспреща-

ющая ему сделать замечания насчет того, что, по мнению его, касается слишком тонких, чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но все же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно все говорить, и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны, – так же, как я знаю и то, что придет наконец такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что <заключается> в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его, а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней

его рассудок, и может сказать всегда частную, по-видимому маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех – в этом была бы беда. Толков бы не было: всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, по-видимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного, недвижного определения, – теперь нужно ловить толки и замечания: после их не будет. Я знал, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления[1079]. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне

уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатленья. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: «Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению», делает хорошо: так предписывает правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем <вверяет>, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее; но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Я был уверен, что Константин Сергеевич глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы[1080]. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять «Мертвых душ» с первого раза? – оскорбит многих. Мой совет – напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Не дурно также рассмотреть, не слышится ли явно: «Я первый понял». Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Константин Сергеевич прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в

письме. Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза «Мертвые души», – совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества[1081]. Это правда; потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую, и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни: они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: «Слава богу!», и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы

также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак не знала этого. Все то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как и все то, что идет от рассудка.

Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие, вы говорите, что не можете понять ему причины, вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и все останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием, но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ, и ничем другим не мог выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? разве произнес бы слова только: «Так должно быть!» Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя б на это простодушное богомольство

и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлеченье новизной, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по самой природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познаньем людей и света, если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие, то, верно, она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно, уже слишком благодетельна она, верно, далеко оглянута она, верно, и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если бы даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, ника-

кого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа, – то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже сам Христос? Разве все, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление ко Христу? «Где вас двое, там и церковь моя». Или никто не слышит сих божественных слов? Только любовь, рожденная

землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ – это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; все, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви, и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство.

Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал слова любви сей человекам, откуда истекла она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань

уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только тому, кто рай блаженства низвел на землю, кто виной всех высоких движений, тому только считается как-то странным поклониться в самом месте его земного странствия. По крайней мере, если кто из среды нас предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей и жизни – одним словом, всему тому, что составляет мою природу, – кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту

жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «Мертвым душам», лирическую восторженность, не смешною ли она вам показалась вначале и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали <ее> значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновеньем, нежданно налетевшим с небес откровеньем, чтобы оно не было вложено всемогущей волею бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью и будущим,

которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговенье же к промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам, – в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремленья нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей.

Прощайте. Это письмо пусть будет для вас и для Ольги Семеновны вместе. Но не показывайте его другим. Лирические движения души нашей!.. неразумно их сообщать кому бы то ни было. Одна только всемогущая любовь

питает к ним тихую веру и умеет беречь, как святыню, во глубине души душевное слово любящего человека. Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко: раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы не увиделись опять, если только это будет нужно. Пишите мне все, что ни делается с вами и что ни делается вокруг вас. Все, что ни касается жизни, уже жизнь моя. Толков об «Мертвых душах», я думаю, до зимы вы не услышите. Но если, на случай, кто-нибудь будет вам писать об них, вы выпишите эти строки в письме ко мне.

Прощайте. Целую вас всей силою душевного лобзания; распространите его на всех близких вашему сердцу. Деньги мне не нужны раньше октября. Адресуйте на имя банкира duc de Torlonia[1082] для передачи Гоголю. Шевыреву я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства. Нужно, чтобы эти деньги были уплочены как можно скорее. Они долж-

ны были быть отданы в первые два месяца.

Ваш *Н. Г.*

Аксаков К. С. – Гоголю, осень 1842

Осень 1842 г. [1083]

Наконец пишу к вам, дорогой Николай Васильевич, <...> до сих пор не мог собраться. Мы получили ваше последнее большое письмо из Гастейна; мне нечего сказать вам, как только, что ни одно слово письма вашего не пропало для меня даром; все они отозвались глубоко и остались во мне с своею благодатной силою. Бог знает когда мы вас увидим; но оставайтесь далеко, живите, где хотите, идите, куда вас влечет: бог благословит всякий путь ваш и ваше дальнее путешествие; если же только можно, не уклоняясь от желанного пути, то приезжайте к нам в Москву, которую, верно, вы постоянно видите и чувствуете, где бы вы ни были: она живое сердце нашей великой России; на ней лежит судьба ее, из нее все великое благо. Как будем мы рады, мы собственно, когда вас опять увидим!

Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оставили нам книгу, которая произвела

необыкновенный шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один решительно человек не остался равнодушным; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. Отовсюду слышны мнения. Их говорит всякий; всякий открыл свое суждение, и потому – при этом всеобщем объявлении своих мыслей, взглядов на вещи, при этом всеобщем признании, вынужденном книгою, – произошла такая разность мнений, такие поразительные несходства, что едва веришь ушам своим. Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет. Одни говорят, что только тут видят они Гоголя, который до сих пор далеко не так поражал их, что только тут почувствовали они его колоссальность; другие провозгласили было в самом начале, что эта книга – падение Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщим шумом, поднявшимся над их главами; они ограничива-

ются тем теперь, что указывают на прежние ваши сочинения, на Малороссию. Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать. «Посмотрите, – говорил мне один, – какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги». – «Какая?» – спросил я, выпучив глаза. «В словах, которыми оканчивается книга». – «Как, в этих словах?» – «Да разве вы не заметили: Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа». И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение. Одни говорят, что «Мертвые души» – поэма, что они понимают смысл этого названия; другие видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: «нате вот, грызитесь за это слово». Многие помещики не на шутку выходят из себя и считают вас своим смертельным, личным врагом. Само собою разумеется, что ко всему этому присоединяются нападения на вас, на неприличие; с дру-

гой стороны, дается этим нападениям живой отпор. Я говорю вам, дорогой Николай Васильевич, пока вообще; но потом постараюсь написать мнения в отдельности – некоторые выражены печатно. Журналы не могут перестать говорить о «Мертвых душах»; не показывается номера, в котором бы не было об них толков. Шевырев написал две, пишет еще третью статью[1084]. «Отечественные записки», беспрестанно говоря и браня все мнения о «Мертвых душах», обещаются написать большую статью. Словом сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди – все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире; это говорят и печатно, и изустно: одни браня, другие хваля. Из последних одни – со слезами на глазах от того живого света русской жизни, проникающего наружу теплым лучом, перед которым падает всякое сомнение и растет надежда вместе с силами и бодростью духа. Другие – со слезами на глазах от совершенного отчаяния; они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояние России; говорят: «Го-

голь не любит России; посмотрите, как хороша Малороссия и какова Россия»; прибавляют: «Заметьте, что самая природа России не пощажена и погода даже все мокрая и грязная». Но мне хочется сказать вам собственно про себя, дорогой Николай Васильевич.

Когда я слышал «Мертвые души», еще никакого впечатления целого не было возбуждено во мне. Я прочел их; я чувствовал, что прекрасно; видел красоту создания, жизнь всякой отдельной черты; но что такое самое создание, какой общий смысл его, в котором соединяются в одно целое все эти чудные, живые черты, – этого я не мог себе постигнуть. Мысль была в недоумении; но потом открылась для меня внутренняя гармония всего создания, стали в одно целое все малейшие черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внешней анекдотической завязке (отсутствие которой смущает с первого разу), но на внутреннем единстве жизни, и тогда мог я наслаждаться самим созданием, целым его образом, который, кажется, стал доступен мне. Очень понятно, что тогда весь был я наполнен моим

чувством наслаждения, впечатлением «Мертвых душ». Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова «поэма», так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о «Мертвых душах», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. «Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется современный и свободный, в наше время, – но это он», – услыхал от меня Павлов и вдруг то же услыхал от Хомякова.

Я сказал Хомякову, что хотел бы я написать о «Мертвых душах»; он советовал мне то же, и я написал статью «Несколько слов» для «Москвитянина»; туда не была она принята; тогда я напечатал ее брошюркой, которую не пустил в продажу, раздав только знакомым; несмотря на то, она сделалась известна многим. Брошюрка была написана скоро; может быть, неясно – и на нее многие, почти все, напали, искажая сказанные в ней мысли. Многого не досказал я еще там собственно о «Мертвых душах», что думаю и что случалось говорить мне здесь. Белинский умышленно или неумышленно изуродовал слова мои, напечатал на меня ругательную рецензию[1085

], на которую надо было мне отвечать, для того чтобы уничтожить ложь, на меня взводимую. Нет, Николай Васильевич, у меня не было чувства: «Я первый понял», и, кажется, не видать его в статье моей. Посылаю вам и брошюрку, и мое возражение. Далеко и то и другое не дает еще чувствовать, что такое «Мертвые души», о которых вообще говорю я и о которых, может быть, скажу еще, что не досказал я; но то, что сказано здесь, ясно постигаю я и готов утверждать это. Прочтите и скажите мне, что вы думаете. В этих статейках сказано мое глубокое убеждение <...> Прощайте, дорогой Николай Васильевич, от всего моего сердца обнимаю вас.

Белинский в восторге от «Мертвых душ»; но, кажется, он их далеко не понимает. Слова ваши о слав<янском> племени (<нрзб.> прекрасное место) находит он, между прочим, утрированными[1086].

Гоголь – Аксакову К. С., около 17(29) ноября 1842

Около 17 (29) ноября 1842 г. Рим [1087]

Благодарю вас, Константин Сергеевич, за

ваше письмо и за вести о «Мертвых душах». А за статью вашу или критику не благодарю, потому что не получил ее[1088].

Я бы хотел тоже прислужиться вам кое-какими услугами, но услуги мои будут черствы, и к тому же я знаю, что вы, любя меня, не любите, однако ж, слушать слов моих, если они касаются лично вас. Итак, оставя услуги и просьбы, я вам посылаю просто упрек! Я не прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству. Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: «Не приемли имени господа бога твоего всуе»? Но вы горды, вы не хотите сознаться в своих проступках или, лучше, вы не видите их. Вы двадцать

раз готовы уверять и повторять, что вы ничего не говорите лишнего, что вы беспристрастны, что вы ничем не увлекаетесь, что все то чистая правда, что вы говорите. Вы твердо уверены, что уже стали на высшую точку разума, что не можете уже быть умнее. Не изумляйтесь, что разразилась над вами вдруг гроза такого упрека, а спросите лучше в глубине души вашей, имею ли я право сделать упрек вам. Обдумайте дело это, сообразите силу отношений и силу права этого. Войдите глубоко в себя и выслушайте сию мою душевную просьбу. Я теперь далеко от вас, слова мои теперь должны быть для вас священны: стряхните пустоту и праздность вашей жизни! Пред вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прялкой. Пред вами громада – русский язык! Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его, в которых, как в великолепном созданье мира, отразился предвечный отец и на котором должна загреметь вселенная хвалой ему. Как христианин первых времен, примитесь за работу вашу. Не мыслью работайте, работайте чисто

фактически. Начните с первоначальных оснований. Перечитайте все грамматики, какие у нас вышли, перечитайте для того, чтобы увидать, какие страшные необработанные поля и пространства вокруг вас. Не читайте ничего, не делая тут же замечаний на всякое правило и на всякое слово, записывая тут же это замечанье ваше. Испишите дести[1089] и стопы бумаги и ничего не делайте, не записывая. Не думайте о том, как записывать лучше, и не обделывайте ни фразы, ни мысли, бросайте все как материал. Прочтите внимательно, слишком внимательно академический словарь. На всякое слово сделайте замечание тут же на бумаге. В душе вашей заключены законы общего. Но горе вам проповедовать их теперь, они будут только доступны тем, которые сами заключают их в душе своей, и то не вполне. Вы должны их хранить до времени в душе и только тогда, когда исследуете все уклоненья, исключенья, малейшие подробности и частности, тогда только можете явить общее во всей его колоссальности, можете явить его ясным и доступным всем. А без того все ваши мысли будут иметь влияние только

тогда, <когда> будут произнесены вами изустно, сопровождаемые жаром и пылом вашей юности, и будут вялы, тощи, затеряются вовсе, если вы их изложите на бумаге. Займитесь теперь совершенно стороною внутреннею русского языка в отношении к нему самому, мимо отношений его к судьбе России и Москвы, как бы это ни заманчиво было и как бы ни хотелось разгуляться на этом поле. Исполните эту мою просьбу; это моя последняя просьба душевного, серьезного содержания. Больше я не буду вас просить ни о чем, что относится лично к вам, и никогда не потребую, чтобы вы давали важность словам моим.

Прощайте же! Обдумайте и помолитесь богу!

Аксаков С. Т. – Гоголю, 6–8 февраля 1843

6*–8 февраля 1843 г. Москва* [1090]

1843 года, февраля 6. Москва.

У, какой хаос в голове! Как давно не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и как много накопилось всякой всячины, о которой надобно бы написать к вам и подробно

и порядочно!.. Право, не знаю, с чего начать? Прежде всего надобно сказать вам причину такого долгого моего молчанья, а потом, по возможности, рассказать исторически все происшествия (очень жалею, что не вел записки вроде журнала; но обстоятельства были так важны и мы принимали их так близко к сердцу, что до благополучного их окончания я не в состоянии был ничего писать). Я и все мои здоровы; но не писал к вам: во-первых, потому, что сначала мы были встревожены слухами, будто государь был недоволен «Мертвыми душами» и запретил второе их издание; будто также недоволен был «Женитьбою» и что четвертый том ваших сочинений задержан, перемаран и вновь должен быть напечатан (все это, как оказалось после, или совершенная неправда, или было, да не так)[1091]. Во-вторых, не писал я к вам потому, что в бенефис Щепкину ставились на здешнем театре «Женитьба» и «Игроки»; разумеется, я не пропускал репетиций и, сколько мог, хлопотал, чтобы пиесы были поняты и сколько-нибудь сносно сыграны. Вчера сошел бенефис Щепкина, и сегодня принимаюсь я

писать к вам; но, вероятно, ранее понедельника это письмо не отправится в Рим. Еще к 1 ноября ожидали мы ваших сочинений; даже книгопродавцы московские, не получа еще их, объявили в газетах, что такого-то числа поступят в продажу сочинения Гоголя. Я непременно хотел дождаться их появления, чтоб написать о всем, и о моих собственных впечатлениях, и о том, что произведут они на всю массу читающей московской публики; но сочинения ваши запоздали своим выходом сами по себе, и потом, действительно четвертый том был задержан (так что у нас были получены два первых задолго до получения четвертого; почему не было получено третьего – не знаю). Впрочем, эти задержки произошли вследствие особенных обстоятельств: два цензора были посажены под арест за пропуск какой-то статьи[1092]; это заставило их сделаться еще осторожнее и остановить выпуск некоторых уже отпечатанных книг, в том числе и четвертый том ваших сочинений. Наконец все было получено без всяких исключений... Все, я разумею людей, способных понимать и чувствовать, были в восхищении, что

истина восторжествовала. Все приписывают это самому государю (я то же думаю), и все восхищаются его высоким правительственным разумом. Вообще появление на сцене и в печати ваших творений будет памятником его царствования: мы благословляем его от души![1093]

Пиесы, цензурованные для представления на театре, – «Женитьба» и «Игроки», были получены гораздо прежде ваших сочинений; я имел случай читать несколько раз в обществе мужчин и дам последнюю и производил восторг и шум необыкновенный, какого не произвела она даже на сцене. На это есть множество причин. 1) На Большом театре, где обыкновенно даются бенефисы, многого нельзя было расслышать: итак, публика только вслушивалась в пиесы. 2) Главные лица: Подколесин и Утешительный – дурно были исполнены Щепкиным... Остальных, мелочных причин не нужно исчислять. Но когда подняли занавесь, продолжительный гром рукоплесканий приветствовал появление на сцене нового вашего сочинения.

Я не понимаю, милый друг, вашего назна-

чения ролей. Если б Кочкарева играл Щепкин, а Подколесина Живокини, пиеса пошла бы лучше. По свойству своего таланта Щепкин не может играть вялого и нерешительного творенья; а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от привычных своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого им лица; впрочем, надобно отдать ему справедливость: он работал из всех сил, с любовью истинного артиста, и во многих местах был прекрасен. Они желают перемениться ролями: позволите ли вы? В продолжение Великого поста они переучат роли, если вы напишете ко мне, что согласны на то[1094]. Верстовский (который вас обнимает: недавно я прочел ему «Разъезд», и он два дня был в упоении) и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли Подколесина бесподобен, но все прочие лица несравненно ниже московских. Послезавтра бенефис должен повториться на Большом театре, а потом пиесы ваши навсегда сойдут на Малый театр. Актеры и любители театра нетерпеливо этого ожидают: там они получат настоящую цену и оценку.

Сам вижу, как беспорядочно мое письмо; но получение ваших сочинений, постановка пиес и все вообще так высоко настроили мои нервы, что они дрожат и предметы путаются и пляшут в голове моей. Лучше начать отчет о спектакле. «Женитьба» была разыграна лучше «Игроков». В первой женихи, особенно Садовский (Анучкин, или Ходилкин, как перекрестил его г. цензор Гедеонов, который по глупости своей много кое-что повымарал в обеих пиесах о купцах, дворянах и гусарах: слово гусар заменил молодцом, вместо Чеботарев поставил Чемоданов и проч.[1095]), были недурны. Женщины, кроме Агафьи Тихоновны (Орлова, которая местами была хороша), сваха (Кавалерова)[1096] и купчиха (Сабурова 1-я) вообще были хороши. Щепкин, ничуть меня не удовлетворяя в строгом смысле, особенно был дурен в сцене с невестой один на один. Его робость беспрестанно напоминала Городничего, и всего хуже в последней сцене. Переходы от восторга, что он женится, вспыхнувшего на минуту, появление сомнения и потом непреодолимого страха от женитьбы даже в то еще время, когда слова,

по-видимому, выражают радость, – все это совершенно пропало и было выражено пошлыми театральными приемами... Публика грозно молчала всю сцену, и я едва не свалился со стула. Мне тяжело смотреть на Щепкина... Он так мне жалок: он переслуживает свою прежнюю славу.

Хомяков, который был подле нас в ложе, весьма справедливо заметил, что те же самые актеры, появившиеся в средней пиесе (какой-то водевиль) между двумя вашими, показались не людьми, а картонными фигурками, куклами выпускными[1097].

Оставляю писать до завтра: ибо очень устал.

7 февраля.

После спектакля я отправился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть огромная комната Кругелей, Швохневых[1098] и других. Они все дожидались нетерпеливо «Игроков» и часто меня спрашивали, что это за пиеса? Там все без исключения говорили следующее: «Женитьба» – не то, что мы ожидали; гораздо ниже «Ревизора»;

даже скучна, да и ненатуральна; а «Игроки» хороши, только это старинный анекдот, да и все рассказы игроков – известные происшествия». Один сказал, что нынче уже таких штук не употребляют и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны. Нашлись такие, которые были в театре, но уехали поранее, и я нашел их уже за картами, уверяющими, что они не могли попасть в театр, но что после непременно посмотрят обе пиесы.

Странное дело: «Женитьбу» слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру; а теперь эту пиесу почти все осуждают; «Игроков» слушали гораздо холоднее, а пиесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой.

Вчера был у меня Павлов, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен «Игроками» и, сидя подле меня, говорил, что это – трагедия, и ужасно бранил игру Ленского (занимавшего роль Ихарева: я хотел дать ее Мочалову, но он пьет напропалую; да и Щепкин, по каким-то

соображениям или отношениям, не хотел этого) ; но вчера, то есть на другой день представления, изволил говорить совсем другое, «что «Женитьба» – шалость большого таланта, а «Игроков» не следовало писать, играть и еще менее печатать; что тут нет игроков, а просто воры; что действие слишком односторонне» и пр. То есть говорил совершенный вздор; когда же я ему напомнил вчерашнее его мнение, то он сказал, что был «ошеломлен» вчера и сегодня поутру все хорошенько обдумал... то есть: признался откровенно во всем. (Хомяков говорит, что это торжество воли!..)

8 февраля.

Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору»[1099]. С пеной у рта кричит: «Да где же у меня рожа крива?» Это не выдумка. Верстовский просил меня написать к вам, что он берется поставить «Разъезд», а то дирекция возьмет его по разам и пр. Исполняю его желание, хотя знаю наперед ваш ответ.

Обращаюсь к изданию ваших сочинений: вообще оно произвело выгодное для вас впечатление на целую Москву, ибо главное ожесточение против вас произвели «Мертвые души». «Шинель» и «Разъезд» всем без исключения нравятся; полнейшее развитие «Тараса Бульбы»[1100] также. Судя по нетерпению, с которым их ожидали, и по словам здешних книгопродавцев, которые были осаждаемы спрашивающими, должно предполагать, что издание будет иметь сильный расход.

Что касается до меня и до всех моих, то трудно сказать что-нибудь новое о наших чувствах: мы наслаждаемся вполне. Конечно, новые ваши творения, например «Шинель» и особенно «Разъезд», сначала так нас поразили, что мы невольно восклицали: «Это выше всего», но впоследствии, повторив в несчетный раз старое, увидели, что и там та же вечная жизнь, те же живые образы. Но я, лично я, остаюсь, однако, при мнении, что «Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пиесы, по языку, по благородству и высокости цели, по важности своего дей-

ствия на общество, – точно выше других пиес. Не говорю о других красотах его, которые он разделяет со всеми вашими сочинениями такого рода или содержания.

Мы слышали, что куда-то прислан экземпляр ваших сочинений для нас: благодарим вас. Дай бог, чтоб наступило скорее время или, лучше сказать, чтоб оно пришло благополучно, когда вы, сидя посреди всех наших, напишете на первом листочке: «Милым друзьям» и пр.

Хотя я очень знаю, что действия ваши, относительно появления ваших созданий, заранее обдуманы, что поэт лучше нас, рядовых людей, прозревает в будущее, но (следую, впрочем, более убеждениям других, любящих также вас людей) теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько... Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, таково ли содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим? Может быть, полная казнь их заключается в третьем

томе?..

Вы так давно не писали к нам, что это наводит на меня сомнение; я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать. Вы дожидаетесь, может быть, пока оно пройдет совершенно. Если так, то, пожалуйста, пишите, не дожидаясь полного исчезновения неприятного чувства. Я сам знаю, что это ошибка, и немаловажная: с его стороны – написать, а с моей – позволить печатать. Но что же делать? Нам казалось, что смелое указание истинного взгляда может навести многих на настоящую точку зрения, и если это так, то чего смотреть на толпу, которая заревет, не понимая цели. Впрочем, это не извиняет меня; я, седой дурак, должен был понять, что этот рев будет неприятен вам. Есть люди, которые говорят, что он вам вреден; но я решительно не соглашаюсь с ними: вам вредить ничто не может. Одно могло бы быть вредно, и то как отсрочка, – полное равнодушие, невнимание; но дело уж давно не так идет.

Теперь о нас самих. Мы здоровы по воз-

можности. Я сижу на диете; только не умею ладить с временем и часто ложусь спать слишком поздно. Жена и все мое семейство вас обнимают. Намерение мое уехать в Оренбургскую губернию сильно поколебалось, и мы ищем купить деревню около Москвы, но до сих пор не находим: я хочу только приятного местоположения и устроенного дома. Мысль, что вы, милый друг, со временем переселясь на житье в Москву, будете иногда гостить у нас, – много украшает в глазах наших наше будущее уединение. Прощайте. Обнимаю вас крепко, да сохранит вас бог.

До гроба друг ваш *С. Аксаков*.

Гоголь – Аксакову С. Т., 6(18) марта 1843

6 *(18) марта 1843 г. Рим* [1101]

Рим. Март 18.

Наконец я получил от вас письмо, добрый друг мой, и отдохнул душою, потому что, признаюсь, мне было слишком тягостно такое долгое молчание со всех сторон. Благодарю вас за ваши известия: мне они все интересны. Успех на театре и в чтении пиес совершенно таков, как я думал. Толки о «Женитьбе» <и>

«Игроках» совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Относительно перемены ролей актеры и дирекция имеют полное право, и я дивлюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои силы и средства. Верстовского поблагодарите от души за его участие и расположение. А «Разъезда», натурально, не следует давать: и неприлично, и для сцены вовсе неудобно. У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои, писанные одно за другим[1102], так же как получили ли вы сами мое письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора»[1103], – дело, которым, пожалуйста, позаймитесь. Там же я просил дать какой-нибудь отрывок Живокини[1104], по усмотрению Михаила Семеновича, за его усердные труды.

Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку, напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль – еще ребе-

нок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли.

Относительно второго тома «Мертвых душ» я уже дал ответ Шевыреву[1105], который вам его перескажет. Что ж до того, что бранят меня, то слава богу, гораздо лучше, чем бы хвалили. Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки. А у тех, которые восхищаются, невольно поселяется пристрастие и невольно заслоняет недостатки. И вы также не должны меня хвалить неумеренно никому и ни перед кем. Поверьте, что хвалится горячо, неравнодушно, то уже неумеренно. Меньше всего я бы желал, чтобы вы изменили к кому-нибудь ваши отношения по поводу толков обо мне. Я совершенно должен быть в стороне. Напротив, полюбите от души всех несогласных с вами во мнениях, увидите – вы будете всегда в выигрыше. Если только человек имеет одну хорошую сторону, то уже он стоит того, чтобы не расходиться с ним. А те, с которыми вы в сно-

шениях, все более или менее имеют многие хорошие стороны. Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Загоскину и Павлову, но чувствую, что они не поверят, подумают, что я поднялся на штуки, или, пожалуй, примут за насмешку вроде «кривой рожи», и потому пусть этот поклон останется между нами.

Но поговорим теперь о самом важном деле. Положение мое требует сильного вашего участия и содействия. Я думаю, вы уже знаете из письма моего к Шевыреву[1106], в чем дело. Вы должны принесть для меня жертву, соединившись втроем вместе: вы, Шевырев и Погодин, – взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит – даже самая жизнь. Тысячи важных, слишком важных для меня причин, и самая важнейшая, что я не в силах думать теперь о моих житейских делах. Но обо всем этом, я думаю, вы узнали уже от Шевырева. С вторым изданием распорядитесь, как найдете лучше[1107], но так устройте, чтобы я мог получать по шести тысяч в год в продолжение трех лет, разделив это на два или три срока, и чтобы эти сроки были слиш-

ком точны. От этого много зависит. Впрочем, распоряжение относительно этого предоставьте Шевыреву. Он точнее нас всех. Слова эти слишком важны, и во имя бога я молю вас, не пренебрегайте ими. Сроки должны быть слишком аккуратны. Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме, мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если недостанет и не случится к сроку денег, соберите их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

А вас вместе с Погодиным я попрошу войти в положение моей маменьки, тем более что вы уже знакомы с ней и несколько знаете ее обстоятельства. Я получил от нее письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь кое-как. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении, она знала, что

мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение. Она знала это уже потому, что я отказался от своей части имения и отдал ей (сто душ крестьян с землями), тогда как сам не был даже на полгода обеспечен (последнего обстоятельства, натурально, она не знала, иначе бы отказалась и от имения, и от всякой со стороны моей помощи, и потому я должен был почти всегда уверять ее, что я не нуждаюсь и что состояние мое обеспечено). Но и в сей мысли она была, однако ж, очень деликатна и не просила меня о помощи. Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства: Ольга Семеновна[1108], по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут, и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу без всякого отягощения себя сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не говорил с нею никогда о

подобных делах, ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. И, признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном. Это все равно как бы хвастаться собою и своими добродетелями. Маменька должна меня знать просто как доброго сына, а судить о талантах моих не принадлежит ей. Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, бросаю перо и расстраиваюсь во всем. В самом деле, положенье затруднительно: чтобы объяснить все дело, нужно сказать правду и сделать ей ясным мое положение, а в объяснении моего положенья будет уже заключаться ей упрек и беспокойство о моей участи; между тем письмо мое должно быть утешительно и заключать даже в себе умную инструкцию впредь. Но для того, чтобы разумно поступить в этом для другого, мо-

жет быть, незатруднительном деле, мне нужно взглянуть как на совершенно постороннее для меня дело, взглянуть так, как я гляжу на характер и положение лица, которое принимаюсь внесть в мое творение, тогда только предмет может предо мною стать всеми своими сторонами и слово мое может быть проникнуто светом разума, а без этого слово мое будет глупее слова всякого обыкновеннейшего человека. Вот как еще мне трудно отрешиться от многих, многих страстных отношений, чтобы стать на ту высоту бесстрастия, без которого все, что ни производится мною, есть пошло, презренно и несет мне упреки даже от тех, которые, думая доставить мне добро, заставили произвесть его. Итак, войдите вместе с Погодиным в положение этого дела, объясните его маменьке, как признаете лучше. Во всяком случае, как вы ни поступите, вы поступите в двадцать раз умнее меня. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите, но не упускайте также из виду и того, что мамень-

ка, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случаться всякий год, и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег.

Я не знаю, могут ли принести мои сочинения, ныне напечатанные в четырех томах, какой-нибудь значительный доход. Одно напечатание их (листов, как я вижу по газетам, оказалось более, чем предполагалось) должно достигнуть до семнадцати тысяч. Притом, как бы то ни было, книга в двадцать пять рублей не так легко расходится, как в десять. Особенно если она даже и не новость вполне. Я думаю, что в первый год она разве только окупит издание, а потом пойдет тише. Первые деньги, после окупления издания я назначил на уплату долгов моих петербургских, которые хоть и не так велики, как московские, но все же требуют давно уплаты. Я знаю, что некоторым, даже близким душе моей и обстоятельствам, казалось странно, отчего у меня завелось так много долгов. И они всегда про-

пускали из вида следующее невинное обстоятельство: шесть лет я живу, и большею частию за границей, не получая ниоткуда жалованья и никаких совершенно доходов (шесть лет я не издавал ничего). Годы эти были годы странствия, годы путешествия, откуда же <и> какими средствами я мог производить все это? Если положить по пяти тысяч в год, так вот уже до тридцати тысяч в шесть лет. Один раз только я получил вспомоществование, которое было от государя и дало мне возможность прожить год. Кроме того, я в это время должен был взять моих сестер из института, одеть их с ног до головы и всякой доставить безбедный запас хотя по крайней мере на два года. Два раза я должен был в это время помочь маменьке, не говоря уже о том, что должен был дать ей средства два раза приехать в Москву и обратно. Должен же я был все это произвести какими-нибудь деньгами и средствами, итак, немудрено, что у меня набрались такие долги. А вы знаете сами, я вовсе не такой человек, чтобы издерживать деньги на пустяки; желанья мои довольно ограниченны, и при мне нет даже таких вещей, которые

бы показались другому совершенно необходимы. Но довольно об этом.

Не забудьте моей глубокой, сильной просьбы, которую я с мольбой из недр души моей вам трем повергаю: возьмите на три года попеченье о делах моих. Соединитесь ради меня тесней, и больше, и сильнее друг с другом и подвигнитесь ко мне святой христианской любовью, которая не требует никаких вознаграждений. Всякого из вас бог наградил особой стороной ума: соединив их вместе, вы можете поступить мудро, как никто. Клянусь, благодеяние ваше слишком будет глубоко и прекрасно.

Прощайте. Больше я ничего вам не могу теперь писать. Да и без того письмо длинно. Напишите мне ваш адрес и, ради бога, не забывайте меня письмами. Они очень мне важны, как вы не можете даже себе представить, хотя бы даже были писаны не в минуту расположения и заключались в двух строчках, не больше. Не забывайте же меня.

Ваш *Г.*

Посылаю душевный поклон дому вашему.

А Ольге Семеновне грех, что она совершенно позабыла меня и не прибавила от себя ни строчки ко мне. Константину Сергеевичу тоже грех. Тем более, что ко мне можно писать, не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед чаем, на запачканном лоскуточке, в трех строчках, с ошибками и со всем, что бог послал на ту минуту.

Если кто-нибудь поедет за Языковым из Москвы, не забудьте прислать мне книг, если вышло что-нибудь относительно статистики России, известный «Памятник веры»[1109], который обещала Ольга Семеновна, и молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви, пустынниками и мучениками.

О моих сочинениях я не имею никаких известий из Петербурга. Прокопович до сих пор не отвечал на мое последнее письмо. К Плетневу я уже писал два письма, и ни на одно из них нет ответа.

Вот вам мой маршрут: до 1 мая в Рим, потом в Гастейн, в Тироле, до 1 июня. В июне, июле и августе адресуйте в Дюссельдорф на

имя Жуковского, везде poste restante.

Аксаков С. Т. – Гоголю, ноябрь – декабрь 1843

Ноябрь – декабрь 1843 г. Москва [1110]

Я получил письмецо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Дюссельдорфа от 2 ноября с приложением письма Погодину. По поручению вашему, мы с Шевыревым прочли его один раз вместе, да предварительно каждый из нас прочел его по нескольку раз. На общем совете мы положили: не отдавать письма Погодину до получения от вас ответа[1111]. Причины тому следующие: 1) Погодин нездоров и особенно расстроен о чем-то духовно. 2) Нам кажется, что это письмо не успокоит его, а раздражит, следственно, не достигнет цели, которую вы, без сомнения, имеете: внесть тишину и спокойствие в его душу. 3) Письмо ваше, как нам кажется, слишком жестоко его поразит в настоящее больное место; а сами вы обвиняете себя в общих выражениях, идущих к каждому человеку: такие обвинения нисколько не облегчают вины Погодина ни в его собственных глазах,

ни в наших. Это тяжело. Разумеется, после письма Погодина[1112] вы имеете полное право отвечать ему таким же письмом; но здесь дело идет не о том, кто прав. Вот наше мнение; мы решились откровенно высказать его вам. Вероятно, Шевырев напишет большое письмо и полнее изложит вам все, что мы с ним говорили. Я хотел сделать то же; но, вероятно, не сделаю, потому что весьма расстроен: больная наша сильно нас беспокоит[1113]. Вы отгадали, и должны были отгадать, мои отношения с Погодиным. По моей еще не остывшей горячности и живости я много раз на него сердился. К несчастию, будучи слабым христианином, я не мог путем кротости и смирения и любви немедленно обезоруживать свой гнев, который вы справедливо браните; но время, рассудок и доброе сердце успокоивали меня и заставляли одуматься. Известная истина, всегда мною исповедуемая, что «надобно понимать человека, каков он есть, и не требовать от натуры его (разумеется, если в ней много доброго), чего в ней нет», вступала в свои права и усмиряла волнение души моей; но скажу по совести: меж-

ду нами не может быть истинной дружбы. Можно найти причину его действий, извинить, оправдать их; можно уважать, даже любить этого человека; но дружба требует непременно одинаковости верований в некоторые предметы, одинаковости мнений о человеческом достоинстве. Не желая ничего скрыть в глубине сердца, я скажу вам, что не признаю истинной дружбы и между вами. Этим объясняется все. Нет и не может быть между вами полной веры, без которой нет истинной дружбы. Притом же у вас есть в характере – не то что неискренность, не то что неоткровенность (все это неточные выражения), а какое-то недоговаривание таких вещей, которые необходимо должны быть известны друзьям и о которых они нередко узнают стороною. Это ваша особенность, но ею оскорбляются, и сомнение сейчас возникает!.. Скажите, ради бога, может ли вполне понять вас человек, который, по собственным словам вашим, «живет с вами в разных мирах»? Этою последнею мыслью я всегда объяснял Погодину то, чего он беспрестанно в вас не понимал; наконец, он перестал и говорить

со мною. Вероятно, и я не понимаю вас вполне; но я по крайней мере понимаю, что нельзя высокую, творческую натуру художника мерить аршином наших полицейских общественных уставов, житейских расчетов и мелочных требований самолюбия. Мы оба с Погодиным недурные люди: но я считаю то святотатством, что Погодин считает делом не только дозволенным, но даже должным. Он всегда готов на доброе дело...[1114]

Гоголь – Аксакову С. Т., 29 января (10 февраля) 1844

29 *января (10 февраля) 1844 г. Ницца* [1115]

1844. Ницца. Февраль 10 / Генварь 30

Я очень поздно отвечаю на письмо ваше, милый друг мой. Причиной этого было отчасти физическое болезненное расположение, содержавшее дух мой в каком-то бесчувственно-сонном положении, с которым я боролся беспрестанно, желая победить его, и которое отнимало у меня даже охоту и силу писать письма. Меня успокоивала с этой стороны уверенность, что друзья мои, т. е. те, которые верят душе моей, не припишут моего молча-

ния забвению о них. Ваше милое письмо читал я несколько раз: оно мне было так же приятно, как приятны все ваши письма. Все, что ни рассудили вы насчет моего письма к Погодину, я нахожу совершенно благоразумным и справедливым, так же как и ваши собственные мысли обо всем, к тому относящемся. Одно мне было только грустно читать, это то, что ваше собственное душевное расположение неспокойно и тревожно. Я придумывал все средства, какие могли только внушить мне небольшое познание и некоторые внутренние, душевные опыты. И, благословясь, решился послать вам одно средство против душевных тревог, которое мне помогло сильно[1116]. Шевырев вручит вам его в виде подарка на новый год. Хотя он уже давно наступил, но я желал бы, чтобы для всех друзей моих наступил новый душевный год, прекраснейший и лучший всех прежних годов, и чтобы это обстоятельство способствовало именно к тому.

Прощайте, бесценный друг мой. Обнимаю вас и все ваше милое семейство.

Всегда ваш *Г.*

Письма адресуйте во Франкфурт на имя Жуковского. Из Ницы я выезжаю через месяц от сего числа.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 17 апреля 1844

17 *апреля 1844 г. Москва* [1117]

1844. Апреля 17. Москва.

Другой месяц или почти два, как я нахожусь в беспрестанном волнении; всякий день сбирался писать к вам, милый друг Николай Васильевич, несколько раз начинал и не мог кончить... в таком беспрестанном противоречии находился и теперь нахожусь я сам с собою. Говорят, что в каждом человеке находится два человека; не знаю, правда ли это, но во мне – решительно два; один из них сидит на другом верхом, совсем задавил его, но тот еще не умер.

Письмо ваше от 30 января (10 февраля) из Ниццы ввело меня в странное заблуждение, из которого выйти было мне не только досадно, но и прискорбно. Представьте себе, что некоторые выражения в вашем письме относительно «средства от душевных тревог, по-

сылаемого в виде подарка...» и пр. навели глупую мою голову на мысль, что вы посылаете нам второй том «Мертвых душ», обещанный через два года[1118]. Все то, что в письме вашем, при чтении его теперь, разрушает очарование, истолковано мною было тогда в пользу моего страстного желания. Ошибку мою разделяли со мной и мои домашние. На другой день скачу к Шевыреву и не застаю его; наконец в другой раз нахожу его дома... С первых слов разбил он с громким смехом мой кумир. Я был огорчен до глубины души, даже рассержен. Я думал помолиться, наслаждаясь созданием искусства, и вдруг... Друг мой, ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его.

Мне пятьдесят три года, я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. Я хорошо понимаю, что это не мешает вам видеть то, чего я не видел; но я тогда также был молодым человеком, с живым чувством, с свежею, легко понимающею головою и силь-

ным стремлением в мир духовный. Я много перемыслил, перечувствовал, принимал, отвергал, сомневался и, по прошествии немалого времени, переболев душою и духом, наконец дал себе ответы на многие вопросы; ответы, может быть, неполные, неудовлетворительные, но такие по крайней мере, которые восстановили тишину и спокойствие в возмущенной душе моей, и я – сдал это дело в архив. Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... и смешно и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов; ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения

отшельника. Это вполне искренние слова сидящего верхом человека. Таков я всегда. Но вот вам я, каким бываю уже редко. В одну из таких минут я записал для вас свои собственные мысли и чувства.

Вижу, как жалки и ничтожны все мои выражения, не имеющие даже достоинства искренности. Нет, я не рожден ни слепым, ни глухим. Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека. Вы соединяете это стремление с теплою верою, но и другим путем можно стремиться к той же цели. Разумеется, так гораздо легче: «Не верю тому, чего не знаю, и не размышляю о том, чего не понимаю». Это даже и хорошо, если искренно. Но у меня это была ложь. Я надувал сам себя, чтоб жить спустя рукава. Я добровольно кидался в толпу

непризванных, я наклепывал на себя их пошлость и таким образом отделывался от трудных подвигов разумной жизни. Я уже думал прожить так целый век, но нашелся человек, близкий моему сердцу сам по себе и драгоценный мне как великий художник. Он стал передо мной, лицом к лицу, поднял со дна души давно заброшенные мысли и говорит: «Пойдем вместе! Я вот что делаю с собой. Помоги мне, а я потом помогу тебе». Хотел было поступить по-русски: «Знать не знаю и ведать не ведаю...» Но стало стыдно. Недолго звенят во мне слишком долго не бранные струны; я рад тому: их сотрясение болезненно. Около них нет простора. Они заплыли всякой дрянью, которая вошла в состав моего организма... Мне больно, когда ее трогают.

Вот вам, милый друг, истинное состояние моей души. Итак, уже поздно. Оставим это дело навсегда. Прилагаю вам два письма. Одно из них огорчит вас сильно; но с горячею верою близко утешение. Наша больная все в том же страдательном положении.

Обнимаю вас очень крепко. Мы сошлись с Языковым.

Ваш душою *С. Аксаков*.

Все мои вас обнимают.

Гоголь – Аксакову С. Т., 10(22) декабря 1844

10 *(22) декабря 1844 г. Франкфурт* [1119]

Франкф. Декабр. 22[1120].

Наконец я получил от вас письмо[1121], добрый друг мой. Между многими причинами вашего долгого молчания, с которыми почти со всеми я согласен, зная сам, как трудно вдруг заговорить, когда не знаешь даже, с которого конца прежде начать, одна мне показалась такою, которую я бы никак не допустил в дело и никак бы не уважил. Именно, что состояние грустное души уже потому не должно быть передаваемо, что может возмутить спокойствие отсутствующего друга. Но для чего же тогда и друг? Он именно и дается нам для трудных минут, а в минуты веселые и всякий человек может быть для нас хорош. Бог весть, может быть, именно в такие минуты я бы и пригодился. Что я написал к вам глуповатое письмо[1122] – это ничего не зна-

чит: письмо было писано в сырую погоду, когда я и сам был в состоянии полухандры, в сером расположении духа, что, как известно, еще глупее черного, и когда мне показалось, что и вы тоже находитесь в состоянии полухандры. Желая ободрить и вас и с тем вместе себя, я попал в фальшивую ноту, взял неверно и заметил это уже по отправлении письма. Впрочем, вы не смущайтесь, если бы даже и десять получили глуповатых писем (на такие письма человек, как известно, всегда горазд), иногда между ними попадется и умное. Да и глупые письма, даром что они глупы, а их иногда бывает полезно прочесть и другой и третий <раз>, чтобы видеть, каким образом человек, хотевши сделать умную вещь, сделал глупость. А потому о ваших грустных минутах вы прежде всего мне говорите, ставьте их всегда вперед всяких других новостей и помните только, что никак нельзя сказать вперед, чтобы такой-то человек не мог сказать утешительного слова, хотя <бы> он был и вовсе неумный. Много уже значит: хотеть сказать утешительное слово. И если с подобным искренним желанием сердца придет и

глуповатый к страждущему, то ему стоит только разинуть рот, а помогает уже бог и превращает тут же слово бессильное в сильное.

Вы меня известили вдруг о разных утратах[1123]. Прежде утраты меня поражали больше, теперь, слава богу, меньше. Во-первых, потому, что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых, потому, что некогда и грустить: жизнь так коротка, работы вокруг так много, что дай бог поскорей запастись сколько-нибудь тем в этой жизни, без чего нельзя явиться в будущую. А потому поблагодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем богу за все спасибо. А сами за дело! Известием о смерти Елизаветы Васильевны Погодиной я опечалился только вначале, но потом воссветлел духом, когда узнал, что Погодин перенес великодушно и твердо, как христианин, такую утрату. Такой подвиг есть краса человеческих подвигов, и бог, верно, наградит его за это такими высокими благами, какие редко удается вкушать на земле

человеку.

Обратимся же от Погодина, который подал нам всем такой прекрасный пример, и к прочим живущим. Вы меня очень порадовали благоприятными известиями о ваших сыновьях. Они все люди, созданные на дело, и принесут очень много добра, если при уме и при всех данных им больших способностях будут сметливы. То есть если заблаговременно и пораньше будут уметь смекнуть то, что следует смекнуть. Если Константин Сергеевич смекнет, что диссертацию, вместо того чтобы переписывать набело, следует просто положить под спуд на несколько лет[1124], а вместо нее заняться другим; если он смекнет с тем вместе, что тот совет, в котором сходятся люди даже различных свойств и мнений, есть уже совет божий, а не людской и, стало быть, его нужно послушаться. Ему все до единого, начиная от Погодина до меня, говорили, чтобы занялся делом филологическим, для которого бог его наградил великими и очевидными для всех способностями. Он один может у нас совершить словарь русского языка такой, какого не совершит ни одна академия со всеми

своими членами; но этого он пока не смекает. Еще также не смекает он до сих пор, что у него слишком велика замашка и слишком горячий прием к делу. Чрез это дело у него само собой выходит не в ясном, а в пристрастном виде, хотя он хотел быть ясным, а не пристрастным. Чрез это у него одежда, в которую он одевает мысль, не только не прозрачна, но даже не по ней. Это ощутительней оказывается у него в письме и на бумаге; тут иногда мысли – то же, что короткие ноги в больших сапогах. Так что формы самой ноги-то не видишь, а становится только смешно, что на ней большой сапог. Еще Константин Сергеевич не смекает, что в эту пору лет, в какой он, не следует вовсе заботиться о логической последовательности всякого рода развитий. Для этого нужно быть или вовсе старику, или вовсе немцу, у которого бы в жилах текла картофельная кровь, а не та горячая и живая, какая у русского человека. Поэтому-то у него оказываются в статьях одни претензии на логическую последовательность, а самой ее нет; живая душа, русское сердце и нерасчетливая молодость пробивается на всяком шагу, и

чрез это еще сильней становится противуположность двух несоединенных вещей. Чрез это самый тон слога неверен, фальшив, не имеет никакой собственной личности и не служит орудием к выраженью того, что хотел писатель им выразить. Черты ребячества и черты собачьей старости будут в нем попадаться беспрестанно одни подле других и будут служить вечным предметом насмешек журналистов, насмешек глупых, но в основании справедливых. Если Константин Сергеевич сколько-нибудь верит тому, что я могу иногда слышать природу человека и знаю сколько-нибудь закон состояний, переходов, перемен и движений в душе человеческой, как наблюдавший пристально даже за своей собственной душою, что вообще редко делается другими, то да последует он хотя раз моему совету, именно следующему: не думать хотя два-три года о полноте, целости и постепенном логическом развитии идей в статьях своих больших или малых, какие случится писать ему. Поверьте, это не дается в такие годы и в такой поре душевного состояния. У него отразится повсюду только одно неясное

стремление к ним, а их самих не будет.

Живой ему пример я. Я старее годами, умею более себя обуздывать, а при всем том сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было, хотя мне и казалось, что я очень уже созрел. И над многими местами в моих сочинениях, которые даже были похвалены одними, другие очень справедливо посмеялись; там есть очень много того, что похоже на короткую ногу в большом сапоге, а всего смешней в них претензии на то, чего в них покамест нет.

Итак, да прислушается Константин Сергеевич к моему совету. Это не совет, а скорее братское увещание человека, уже искусившегося и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею собственною бедою, обратив ее не в беду, а в пользу другому. Теперь «Москвитянин», как я слышал, перешел Ив. Вас. Киреевскому[1125]. Вероятно, это возбудит во многих рвение к трудам. Константин Сергеевич может множество приготовить прекрасных филологических статей. Они будут интересны для всех. Это я могу сказать вперед, потому

что я сам слушал его с большим удовольствием, когда он изъяснял мне производство многих слов. Но нужно, чтобы они написаны были слишком просто и в таком же порядке, как у него выходили изустно в разговоре, без всякой мысли о том, чтобы дать им целость и полноту. То и другое выльется само собою гораздо удовлетворительнее, чем тогда, если бы он о них думал. Он должен только заботиться о том, чтобы статья была как можно короче. Русский ум не любит, когда ему изъясняют что-нибудь слишком долго. Статья его чем короче и сжатей, тем будет занимательней. Не брать вначале больших филологических вопросов, то есть таких, в которых бы было разветвление на многие другие. Но раздробить их на отдельные вопросы, которые бы имели в себе неразделяемую целость, и заняться каждым отдельно, взяв его в предмет статьи. Словом, как делал Пушкин, который, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: русская изба, на другом: Державин[1126], на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного

предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе; и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений, которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. (Из этих записок многие, еще интереснейшие, не напечатаны, потому что относились к современным лицам.) Таким самым образом и Константин Сергеевич да напишет себе на бумажке всякое русское замечательное слово и потом тут же кратко и ясно его производство и отдаст ее Ив. В. Киреевскому. Журналист будет доволен, публика возбудится любопытством к предмету, для нее новому и незнакомому, а Константин Сергеевич покажет наконец себя и скажет мне за это спасибо. Ибо, как ни посмотрю, приходится мне, а не кому-либо дру-

гому, натолкнуть его на дело. Чем ушибся, тем и лечись, говорится. А так как он опозорился в глазах света на мне (написавши статью о «Мертвых душах»), то мною же должен быть подтолкнут на прославление в глазах того же света.

Но вот беда, у Константина Сергеевича нет вовсе слога. Все, о чем ни выражается он ясно на словах, выходит у него темно, когда напишется на бумаге. Если бы он был в силах схватить тот склад речи, который выражается у него в разговоре, он был бы жив и силен в письме, стало быть, имел бы непременно читателей и почитателей. Но это ему меньше возможно, чем кому-либо другому. Искусство следить за собою, ловить и поймать самого себя редкому дается. А слог все-таки ему нужно приобресть. Ему нужно непременно спуститься хотя двумя ступенями ниже с той педантской книжности, которая у нас образовалась и беспрестанно мешается с живыми и непедантскими словами. Есть один только для него способ, и если Константин Сергеевич точно так умен, как я думаю, то он его не бросит. Что бы он ни писал, ему следует перед

тем, как он при<ни>мается за перо, вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых, живо представит себе его ум, способности, степень понятливости и развития и говорит, соображаясь со всем этим и снисходя к нему, – слово его непременно будет яснее. Чем он возьмет менее понятливого человека, чем этот человек будет менее сведущ, тем он более выиграет. Лучше всего, если он посадит вместо публики самую маленькую свою сестрицу и станет ей рассказывать (это особенно будет полезно в филологических статьях и производствах слов, которые требуют необыкновенной ясности слога), и если он сумеет так рассказать или написать, что во время чтения маленькой его сестрице не будет скучно и все понятно, тогда смело можно печатать статью: она понравится всем: старикам, гегелистам, щелкоперам, дамам, профессорам и учителям, и всякий подумает, что писано для него. Притом, зная, что пишет маленькой сестрице, Константин Сергеевич ни-

как не зарапортуется, и, если бы случилось ему написать производство слов «муж» и «жена» (что он производит очень умно, я бы его прямо списал с его слов), он бы удержался в одних филологических границах, тогда как, если бы села на место маленькой сестрицы хоть, положим, Ховрина или кто другой, брошен бы был вдруг религиозный взгляд на брак и на высшее значение его – дело, конечно, тоже в своем роде умное, но годное для другой статьи. Словом, этот способ я предлагал Константину Сергеевичу как самый действительный, как бы он ни показался ему с виду ничтожным и незначащим. Я браню себя за свою недогадливость и глупость, что не хватился сам за него пораньше, я бы гораздо больше сказал дела и даже больше бы написал. Этот пустяк слишком важная вещь: только от него приобретается слог и получается физиогномия слога. Это уже давно было сказано на свете, что слог у писателя образуется тогда, когда он знает хорошо того, кому пишет. Но если Константин Сергеевич будет сметлив, то принесет много добра, в чем помоги ему бог.

Прочие ваши сыновья, если будут сметливы, то принесут тоже много добра. Жаль, что вы мне не описали, каким образом подвизался на ревизии Иван Сергеевич[1127], хотя я уверен, что весьма умно, и внутренне порадовался вашему прибавлению: «с достоинством мужа». Но все-таки скажите и Ивану Сергеевичу, что если он будет сметлив и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого, и невинные и даже виноватые, и честные и взяточники, будут им довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если б только одни оправданные были довольны. В теперешнее время нужно слишком много разбирать и рассматривать взяточников, иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно если сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах как семейных, так и всяких других, если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам ска-

жет спасибо, – то он сделает много добра. Если Иван Сергеевич смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать умирительно еще действительней, чем распекательно и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, – словом, если он все это смекнет, то наделает много добра. Если Григорий Сергеевич смекнет все, что нужно смекнуть в городе Владимире[1128], то наделает также много добра. Если узнает не только самую палату, но и весь Владимир, и не только весь Владимир, но даже источники всех рек, текущих со всех сторон губернии в палату. Если не пропустит никого из старых и умных чиновников и расспросит их обо всем и будет уметь расспросить их обо всем, да не пренебрежет тоже и глупых чиновников, узнает и об них, что следует, да тоже и людей посторонних переберет, даже и купцов и мещан, и узнает таким образом даже и то, кто кого водит за нос, кто кого просто дурачит и, нако-

нец, кто на кого или имеет, или может иметь влияние, – то наделает он много добра не только во Владимире, но даже и потом, где ему ни случится и на каком месте ему ни случится быть. Да и Ивану Сергеевичу тоже не мешает весьма, с своей стороны, обратить внимание на эти же самые пункты.

Засим да будет это письмо вам поздравлением на новый год, который стоит уже перед нами, вам, вместе с любезною вашею супругой, в сопровождении желания искреннего иметь полное утешение от ваших деток, а сыновьям вашим (ибо женский пол не наше дело) тоже поздравленье, с желаньем искренним доставить вам это полное утешение. Ибо письмо, собственно, для них было и писано. А всем вместе желаю искренно приносить на всяком месте бытия пользу, побольше узнавать, расспрашивать и входить всем в положение всякого страждущего и помогать ему утешительным словом и советом (деньги же есть мертвая помощь, и помочь ими еще не много значит; они почти всегда играют ту же роль, что жидкость, лиемая в бездонную бочку).

Затем скажу аминь и попрошу вас узнать, во-первых, от Киреевского Ив. В., получил <ли> он от Жуковского стихотворную повесть, которую тот послал два дни тому назад, на имя Булгакова вместе с большим письмом Авдотье Петровне об «Одиссее»?[1129] Во-вторых, получил ли Шевырев мое письмо от 14 декабря, в котором, между прочим, небольшое улучшение относительно дел по книге и ее продаже, о чем он вам должен сообщить? В-третьих, получил ли письмо Языков в ответ на присланную мне от кн. Вяземского книжечку его стихотворений[1130]? В-четвертых, получил ли Погодин письмо, отправленное в одно время с вашим, хотя и написанное прежде (вам следует с ним видеться почаще; вы можете быть ему полезны во многом вашей беседою)? В-пятых, что делает мною постыднейшим образом обруганный и неисправнейший из всех доселе существовавших смертных, Михаил Семенович Щепкин? Которых всех, при этой верной оказии, поздравьте от всей моей души с новым годом.

Затем прощайте до вашего ответа на это письмо.

Ваш *Гоголь.*

P. S. Напишите мне все о Погодине, как идет теперь его жизнь, каково его состояние души и вообще каковы его перемены во всем.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 24 мая 1845

24 *мая 1845 г. Москва* [1131]

1845, мая 24 дня, Москва.

Я получил последнее письмецо ваше[1132] через Языкова, милый друг Николай Васильевич! Все ваши слова справедливы, но... надобно иметь сердце, исполненное теплой веры и преданности воле божией безусловно, чтоб находить отраду, например, в самой мысли: что значит потеря зрения телесного, когда человеку откроется зрение духовное! Я не спорю, что это истина и что в ней можно найти отраду; но когда? Тогда, без сомнения, когда человек внешний, телесный преобразится в человека внутреннего, духовного. Я еще далек от этого преображения, да и не знаю, буду ли когда-нибудь его достоин, и потому откровенно скажу вам, что мне даже досадно было читать ваше письмо... Я хотел от вас живого

участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я – человек, и потому хотел человеческого огорчения; ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..

Мы все еще живем в Москве и даже не знаем, когда и куда уедем. Переезд в деревню, куда намереваемся перенесть нашу больную на руках в портшезе, – кажется мне самому несбыточным. В то же время родилось у нас убеждение (происшедшее от слов ясновидящей, даже двух), что гомеопатия может помочь нашей больной и что надобно ее испытать. Для этого нужно жить в Москве или на даче, в самом близком от Москвы расстоянии. Дач теперь уже нет свободных, да и средств нет это исполнить; не говорю уже о том, что я не могу без горести подумать о разделении семейства, подобно прошлогоднему. Оставаться же на некоторое время в Москве на теперешней квартире невозможно по многим причинам: здесь летом слишком шумно и душно.

Киреевский отказался от «Москвитянина» также по многим уважительным причинам:

во-первых, Киреевский не создан от бога, чтоб быть издателем журнала. Это такой чудак в действительной жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вторых, никакой порядочный человек не может иметь денежных сношений с Погодиным. В-третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сделался болен. Довольно этих трех причин. До сих пор идут толки о выборе нового редактора; но все это вздор. Дело кончится тем, что Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество для всех врагов наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесет удар возникающему чувству национальности! Но теперь наступает лето, все наши краснобаи разъедутся по деревням, и здесь хоть трава не расти!

Ваше нездоровье, и душевное, и телесное, нас сердечно огорчает[1133]. Не знаю, где найдет вас это письмо, посылаемое с одним из товарищей моего сына, Погуляевым. Мой Иван посылает вам две свои стихотворные пиесы[

1134]. Напишите о них правду. Не бойтесь оскорбить самолюбие молодого человека. Обнимаю вас крепко. Семейство мое делает то же.

Весь ваш *С. Аксаков*.

Разумеется, 9 мая[1135] мы выпили за ваше здоровье. Адрес мой на имя Томашевского, в почтамте.

Аксаков К. С. – Гоголю, конец августа – начало сентября 1845

Конец августа – начало сентября 1845 г. Москва [1136]

Как давно, дорогой наш Николай Васильевич, как давно я уже не писал к вам. Хотя отчасти здесь и была причина, но большею частию я виноват. Причина та была в том, что мне совестно было писать вам, не оконча моей диссертации; но диссертация моя окончена, переписана и подана, а все я не сейчас после этого написал к вам. Теперь наконец пишу. Мы теперь в Москве, т. е. батюшка, я и брат Иван, который назначен в Калугу товарищем председателя уголовных дел. Мы при-

ехали из деревни, чтоб провожать его; брат Иван сам жил с нами в деревне до того времени. – Вы, дорогой наш Николай Васильевич, вы сами не сдержали вашего обещания: помните, по выходе первого тома «Мертвых душ», вы сказали, что через два года выйдет другой том, и гораздо толще; срок пришел, и второй том не вышел. Конечно, верно, нельзя было этого вам сделать, и я далек от того, чтобы вас за то упрекать; но я очень, очень сожалею, и, разумеется, не один я. Хотя вы не любите, чтобы вам говорили о ваших созданиях, но отчего же не сказать, и сами вы знаете, что все на вас смотрит с ожиданием. Я не знаю причин, замедливших выход вашего сочинения, и нисколько вас не осуждаю.

Что сказать вам о Москве? Вы, я думаю, уже знаете, что в Москве читаются публичные лекции, – явление чрезвычайно утешительное и замечательное[1137]. Особенно замечательно то участие, которое возбуждают они в московском обществе. Лекции Шевырева были прекрасны, особенно некоторые; я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его ближе. На ту зиму будут

тоже лекции – Грановского, но не знаю, буду ли я их слушать. Я намерен, как только позволят мне мои отношения к университету (мне предстоит еще печатание диссертации и диспут), жить все время в деревне, вместе с нашими. Я намерен заниматься и надеюсь, что это намерение исполнится. Много нового нашли бы вы в университете; новые профессоры вышли на кафедру. Сидит на кафедре эта дрянь – Кавелин; выходит на кафедру Катков; на него, кажется, нет больших надежд; на кафедре – Соловьев, я его мало знаю, но, кажется, он с достоинством. Были в Москве замечательные диспуты Самарина, Грановского[1138]. Блеснул было прекрасно «Москвитянин»[1139], но теперь опять в нем всякая всячина, и выходит он по две книжки. Думаем мы издавать сборник и готовим статьи для этого. Я написал о правописании и разбор альманаха Соллогуба[1140]. Хотелось мне очень, чтобы вы познакомились со стихами брата Ивана; в них много прекрасного, которое невольно и неожиданно поражает; вообще они идут в глубину, а не в мелководную ширь. Вы, вероятно, уже читали прекрасные статьи Хомяко-

ва и Киреевских[1141]. Вот вам наскоро наши московские новости; о Петербурге вам говорить нечего нового. Известно, что город <нрзб.>, что петербургские литераторы подлецы – это не новость тоже. Одно скажу, что подлость их развивается не по дням, а по часам и достигает какой-то художественности, какого-то благородства. Да, в Петербурге подлость доведена до благородства, до достоинства, это уже не та низкая подлость, это высокая подлость. – Всякое дело мастера боится.

Что же сказать вам о себе? Признаюсь, светское общество и вообще общество – мне стало несколько в тягость; в свете многие соглашались со мной, многие, казалось, уступали усилиям пробудить в них живое русское чувство, дамы, девушки, особенно последние, казалось, с таким участием принимали всякое русское явление, всякое русское слово – но все это непрочно, ни одна не решается надеть сарафана[1142]. Одна из них, которая так высоко стояла в моем мнении, которую часто называл я, указывая на русских душою девушек, кн. Мещерская, поступила презрительно, вышла замуж за немца, сверх того, за Би-

рона, и навсегда оставила Россию. Я могу сказать только, что во многих пробудилось негодование в Москве.

Что касается до меня лично, то мысли мои всё те же, они стали еще тверже, может быть, стали яснее; много нового открылось мне. И сам я, мне кажется, мог бы быть постояннее и живее ими проникнут, мог бы больше трудиться; и потому я собой недоволен – но, бог даст, надеюсь трудиться усерднее. Из планов моих работ вот какие у меня самые важные: занятие русскою историею и, собственно, междуцарствием, чтобы написать историю междуцарствия; грамматика и потом разные мелкие статьи.

Что вы, дорогой наш Николай Васильевич? Я видел из писем ваших, что вы нездоровы. Родной воздух вас бы вылечил. Приезжайте. Послушаетесь ли вы этого слова? Впрочем, делайте, как вам бог на сердце положит. А желал бы я, чтоб вы приехали. Прощайте, дорогой наш Николай Васильевич. Обнимаю вас крепко, очень крепко.

Ваш *Константин Аксаков*.

Не сердитесь на меня за молчание и езжайте к нам. Вот всё.

Все мы вас крепко обнимаем.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 22 ноября 1845

22 *ноября 1845 г. Абрамцево* [1143]

1845. 22 ноября. Радонежье[1144].

Как вы обрадовали меня, милый друг Николай Васильевич, письмецом своим из Рима от 29 октября (вероятно, нового стиля)![1145] Хотя и питал в душе моей теплую веру и надежду, что милосердный бог подкрепит ваши силы и проявит на вас вновь свою великую милость: ибо еще не свершен ваш подвиг, не окончено дело; хотя я ободрял этими словами и свою семью, горевавшую о вашем болезненном состоянии, и даже написал их в письме к Александре Осиповне[1146], которая, в тревоге о вашем тяжелом положении, вошла со мною в переписку; но не без страха и внутреннего волнения повторял я утешительные слова сии!.. Будем молиться богу, чтоб он вполне восстановил ваши телесные и душевные силы. Мы уже знали через Надежду Николаевну[1147], что ваша маменька получила

от вас письмо через посторонние руки, из которого узнала, что прежние ваши письма пропали. Сообразив прежние обстоятельства, кажется, что пропажа их исходит из того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя[1148]. По-моему, это гнуснейшее злодейство; я глубоко возмущен им и, признаюсь, желаю, чтоб эти добрые люди получили достойную награду. Третьего дня моя Вера писала к вашей сестрице обо всем том, о чем вы желали известить их.

Мы живем в деревне тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука; болезненное состояние нашей Оленьки продолжается, иногда несколько легче, иногда тяжелее; не смеем надеяться исцеления, но и за настоящее ее положение благодарим бога. Я ничего не вижу левым своим глазом, да и правым вижу нехорошо; но счел бы за великое благополучие, если бы мог сохранить этот остаток зрения во всю остальную мою жизнь. По первому зимнему пути, уступая желанию моего семейства, хочу съездить в Петербург для свидания с глазным док-

тором Кабатом, хотя крепко не хочется ехать. Ольга Семеновна моя часто прихварывает: теперь и у ней болит глаз; прочие все здоровы. Константин живет еще с нами; на сих днях будет возвращена из факультета его диссертация, которую профессора читали восемь месяцев; на следующей неделе он переедет жить в Москву, чтобы печатать и потом защищать на диспуте свой пятилетний труд; если он не будет совершенно искажен цензурой факультета и попечителя, то Москва услышит на диспуте много нового, и... мы испытаем много волнения и заочного беспокойства: ибо не поедем в Москву на это время.

С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы послали вам две стихотворные пиесы («Чиновник» и «Зимняя дорога») моего Ивана; сверток оставлен у Жуковского; когда ваше здоровье восстановится совершенно, то вытребуйте его и напишите мне голую правду.

Несколько месяцев тому назад началась у меня переписка с Александрой Осиповной; разумеется, предметом содержания наших писем были вы; с первой строки она умела

восстановить между собой и мной искреннюю короткость. В начале ноября она приехала в Москву, проезжая в Калугу; меня известили, и я ездил туда для свидания с нею. Мы провели целый вечер в самых дружеских и откровенных разговорах, большею частью о вас; она намеревалась ехать к Троице[1149] и хотела непременно заехать к нам в деревню; но совершенное бездорожие помешало ей исполнить свое намерение. Я получил от нее письмо, в котором она пишет, что непременно будет у нас зимой или весной; я нетерпеливо хочу увидеться с ней в другой раз; одного свидания слишком недостаточно. Первое мое впечатление не во всем согласно с теми понятиями, которые я составил себе об этой необыкновенной женщине; многие черты не похожи на те, которые я придал заочно ее образу. Все это мне надобно согласить. Она захотела видеть Константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях одно скидается, а другая сбривается); она с первого слова напала и на платье и образ его мыслей. Константин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в Калугу она также просто и коротко

обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом), который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил. Одно можно положительно заметить, что человеческие убеждения, хотя бы совершенно ложные, но тем не менее задушевные и серьезные, никогда не уступают легкому, шутливому нападению, а даже оскорбляются им. Она так умна, что, без сомнения, не думала перевоспитать этих молодых людей в первые полчаса первого своего в жизни с ними свидания. Я уверен, что она в свое время бывает иною и что даже не без намерения показалась тою, которою является по необходимости в этом душегубном омуте, называемом высшим кругом. Тихое прикосновение стали даже и к острому кремню не извлекает искр; а ничтожные нападения и пустая светская речь, там, где ее не ожидали, извлекла несколько огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих юношей...

Не могу долго писать: все зарябит в последнем глазу моем; а диктовать не умею. Я очень давно не видал ни Погодина, ни Шевырева, даже с Языковым не видался в последний

приезд в Москву и потому ничего не могу вам сообщить о них, знаю только, что нет в Москве, между всеми нашими с вами общими знакомыми, и двух человек, согласных между собою, а потому никакое литературное дело не может иметь успеха. Погодин печатает черт знает что в «Москвитянине»... ну, да лучше не говорить о нем. Лучше расскажу вам о нашем житье-бытье.

От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все мы заняты своими делами: играют, рисуют, читают; Константин что-нибудь пишет, а я диктую. Я затеял написать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще[1150]; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудесная природа Оренбургского края, какою я зазнал ее назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило меня.

После обеда мы уже не расходимся по своим углам, а сидим вместе; весь вечер продолжается уж общее чтение. Каждый вечер мы читаем что-нибудь ваше по порядку выхода. Вчера кончили все; через несколько месяцев станем опять читать. Собирайте, укрепляйте ваши силы; да подействует на вас благодатно и плодотворно воздух вечного Рима. Пишите к нам, когда вам захочется: мы будем делать то же. Крепко обнимаю вас.

Ваш на всю жизнь *С. Аксаков*.

Оставил было местечко, чтоб жена приписала к вам, милый друг; но глаз у ней так разболелся, что она писать не может. Прощайте! усердно молим бога, чтоб он восстановил совершенно ваше здоровье. Еще раз вас обнимаю. Все мои вас обнимают и вам кланяются.

Гоголь – Аксакову К. С., около 8(20) ноября 1845

Около 8 (20) ноября 1845 г. Рим [1151]

Пишу к вам и с тем вместе посылаю мою убедительнейшую просьбу, мой добрый и мною любимый искренно Константин Серге-

евич! Ко мне дошли слухи, что вы слишком привязались к некоторым внешностям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч. Это, как водится, истолковывают в неблагонамеренном духе и в виде, самом неблагоприятном для вас. Я слишком понимаю, в каком значении вы носите это, и дай бог побольше государю таких истинно русских душ и таких верных подданных, каковы вы. Я сам питаю отвращение к нашему обезьянскому европейскому наряду и глупому фраку и чувствую, что скоро мы все начнем носить наш наряд; но знаю, что до времени от многого следует воздержаться и наложить на себя самого запрет. У нас, в русском царстве, или, лучше, в сердце тех людей, которые составляют истинно русское царство, водится так, что царь – глава, и только то, что передастся через него и из его уст, то облекается в законность. Он первый подает знак – и все вмиг облечется и во внешнюю Русь, не только во внутреннюю. А что он медлит, на то он имеет законные причины, и мы должны терпеливо дожидаться. А потому я вас прошу убедительно и сильно, как только может просить вас больной че-

ловек, у которого уже немного сил, исполнить мою просьбу: не быть отличну от других своим нарядом и не отделять себя от общества, с которым вы должны быть еще связаны, и подумать слишком о той добродетели, которой у всех нас слишком мало; добродетель эта называется смирение.

Искренно и много вас любящий

Н. Гоголь.

Еще вас прошу об одном: вы слишком увлекаетесь красотой тех мыслей, которые к вам приходят, но еще не все умеете живо чувствовать, умеете живо, ясно передавать (я говорю о ваших писаньях). Там у вас много-много лишнего и многословного. Изберите себе какого-нибудь строгого и неумолимого литературного судью, который бы крестил и марал у вас безжалостно целые страницы. Это жестоко, но спасительно; я говорю вам по опыту. Я бы много теперь дал за то, чтобы найти такого смелого и отважного человека. Многих бы глупостей я не сделал. Изберите Шевырева; он более всех вам будет полезен. Затем бог вас да благословит! Послушайтесь

хотя один раз моего совета. Иначе грех вам будет и всю жизнь будете раскаиваться.

Гоголь – Аксакову С. Т., 11(23) марта 1846

11 *(23) марта 1846 г. Рим* [1152]

1846. Рим. 23 марта.

Письмо ваше от 23 генваря[1153] я получил. Благодарю вас много за присылку стихов Ивана Сергеевича. В них много таланта, особенно в первом, то есть в ст<ихах>, начинающихся так:

«Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ...»[1154]

Я удивляюсь только, почему они лучше последних, тогда как бы следовало быть последним лучше первых; человек должен идти вперед. Прежних стихов, вами посланных к Жуковскому, я не получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли какая-нибудь к нему посылка на мое имя. Я послал, однако ж, к нему запрос, на который доселе еще нет ответа.

Благодарю также Ольгу Семеновну за сооб-

щение прекрасной проповеди Филарета, которую я прочел с большим удовольствием. Насчет недугов наших скажу вам только то, что, видно, они нужны и нам всем необходимы. А потому как ни тяжко переносить их, но, крепя сердце, возблагодарим за них вперед бога. Никогда так трудно не приходилось мне, как теперь, никогда так болезненно не было еще мое тело. Но бог милостив и дает мне силу переносить. Дает силу отгонять от души хандру, дает минуты, за которые и не знаю и не нахожу слов, как благодарить.

Итак, все нужно терпеть, все переносить и всякую минуту повторять: да будет и да совершается его святая воля над нами. Покамест прощайте до следующего письма. Зябкость и усталость мешают мне продолжать, хотя и желал бы вам писать более. Доселе из всех средств, более мне помогавших, была езда и дорожная тряска, а потому весь этот год обрекаю себя на скитание, считая это необходимым и, видно, законным определением свыше. Летом полагаю объездить места, в которых не был, в Европе северной, на осень – в южную, на зиму в Палестину, а весной, если

будет на то воля божья, в Москву. А потому следующие письма адресуйте к Жуковскому. А всех вообще просите молиться обо мне, да путешествие мое будет мне во спасенье душевное и телесное и да успею, хотя во время его, хотя в дороге, совершить тот труд, который лежит на душе. Пусть Ольга Семеновна об этом помолится и все те, которые любят молиться и находят усладу в молитвах.

Прощайте, друг мой. Обнимаю всех вас.

Н. Гоголь.

Гоголь – Аксакову С. Т., начало (середина) ноября 1846

Начало (середина) ноября 1846 г. Рим [1155]

Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка. Я, однако ж, знаю почти все, что с вами ни делается: чего недослышал слухом, дослышала душа. Принимайте покорно все, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается тем, который нас создал и знает лучше, что́ нам нужно. Именем бога говорю вам: все обратится в добро. Не вследствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее

добро, какое ни добыл я, добыл из скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа, недоумевал ум помочь. Ради самого Христа, не пропустите без внимания этих слов моих. Адресуйте мне в Неаполь. Раньше генваря последних чисел я не думаю подняться в Иерусалим.

Ваш *Г.*

Аксаков С. Т. – Гоголю, 9 декабря 1846

9 *декабря 1846 г. Москва* [1156]

9 декабря.

Давно, очень давно надобно было мне писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу; но с февраля прошедшего года я жестоко страдаю и только летом имею отдых, как будто для того, чтоб собраться с силами: с 1-го же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствие состояло не в этом: при всяком ослаблении болезни я думал и думаю об вас и часто говорю мысленно с вами; итак, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это-то меня до

сих пор останавливало. Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи, <а> я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставляет меня употребить руку Константина – такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно; кажется, вы не должны оскорбиться этим.

Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал и оттого боялся, но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христиа-

нин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть[1157].

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой. Каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом. Вскоре прислали вы нам, при самом загадочном письме, душеспасительное чтение Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как и когда и по скольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей... Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в

вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его. После этого вы были долго больны сами, и вскоре после вашего медленного выздоровления начались мои мучительные страдания, и теперь продолжающиеся. Не много было предметов, возбуждавших мое душевное участие, но вы были из первых. Телесное здоровье ваше, как видно, поправилось, и деятельность возобновилась, но какая деятельность! Каждое ваше действие было для меня ударом, и один другого сильнейшим.

Статья ваша, напечатанная в «Московских ведомостях», о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически[1158]. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие – пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда, даже в предме-

тах, мало вам известных, были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем. Предисловие ваше ко второму изданию «Мертвых душ» поразило меня глубже, и когда Шевырев читал мне его, то мои стенания от физических мучений заменялись стенаниями душевными, и я тогда же предлагал не печатать вашего объяснения с читателями. В коротких словах скажу вам заключение, которое выведет из него здравый толк простого русского человека: «Кой черт, – скажет он, – сочинитель сам признается, что плохо знает Русь, и для того, чтоб избежать промахов во втором томе своего сочинения, почти пять лет живет за границей, да, видно, и еще хочет там оставаться, потому что просит нас замечать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русский быт и все это пересылать к нему через его петербургского и московского корреспондентов! Он, видно, хочет, живя на чужбине и с каждым днем забывая то, что знал о святой Руси, чужими руками жар загребать!» Нужно ли гово-

рить, что скажут те люди, которые понимают, как ложна мысль, будто из мертвых описаний житейских фактов и анекдотов может постигаться жизнь и дух обширнейшей и разнообразнейшей страны и великого народа, в ней живущего. Вслед за этим разнеслись темные слухи, что в Петербурге печатается целая книга ваших сочинений[1159], в которой помещена переписка ваша с друзьями, состоящая из проповедей и пророчеств, ваше признанье, что все написанное вами до сих пор ничтожно и не достойно внимания, ваше извещение, что вы сожгли продолжение «Мертвых душ» и что вы отправляетесь в Иерусалим, и, наконец, ваше «Завещание», чтоб не ставили никакого памятника на вашей могиле[1160]. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тем не менее уже не я один, но многие из тех, для коих драгоценны вы и ваш великий талант, пришли в неописанный ужас. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм[1161]. Вскоре получили мы доказательства, после которых, по моему мнению, должно было всему по-

верить: мы получили для напечатания «Предуведомление» к четвертому изданию «Ревизора» в пользу бедных и новую его «Развязку»[1162].

Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтоб шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, во услышание всей России, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поимянно членов оного и с подробностью предписываете им образ их действия, невозможный в исполнении, несообразный ни с чем до последней крайности[1163]. Как вы могли подумать, что лица, назначаемые вами, особенно женщины, могли быть так неразборчивы, так нескромны, что согласились бы принять публичные обязанности благотворения, вами на них возлагаемые?.. Разумеется, никто не согласится, и ваше «Предуведомление» уничтожается само собою. Но где же ваш прежний ясный и здравый вгляд на публичность, гласность в деле благотворения? Давно ли вы сами поручали такие дела Шевыреву и мне под условием глубокой тайны?[1164] Этой тайны не знают

даже наши семейства.

Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию – к новой развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами?[1165] Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого, скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваше объяснение «Ревизора» искренно? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене, что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла: ибо принятие Хлестакова за ревизора есть

случайность?

Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспощадной правды – вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры, – вы жестоко ошибетесь. Пятый год душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и наконец переполнилась мера. Осердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правде, высказанной мною.

Гоголь – Аксакову С. Т., 8(20) января 1847

8 *(20) января 1847 г. Неаполь* [1166]

Неаполь. 1847. Генваря 20, нов. стиля.

Я получил ваше письмо[1167], добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и ограничиться, но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь по-

вторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп, – вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось

все это не без воли божией.

Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время вас, то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это

совершенно ничего, я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровенней и искренней, тем в больших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам подвернется; кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких. Один только секрет и был, о котором я просил вас никогда даже и мне не напоминать и о котором вы неблагоразумно упомянули в вашем письме[1168]. Сами сказали, что о нем и семейство ваше не знает, и дали написать эти слова не вашей руке[1169]. Это нехорошо. Если вы почувствовали надобность упомянуть об этом деле для того, чтобы сделать сравнение с распоряжением по части продажи «Ревизора» (которого издание и представление мною отложено), то лучше было обойтись просто, без этого сравнения, тем более что оно совсем неверно и невпопад. Есть дела, которые действительно нужно производить так, чтобы и другая рука наша не видела того, и есть дела, которые нужно производить открыто, в виду всех, которые суть просто наш непременный долг, а не подвиг благотворения. Если почти все на-

ши писатели издавали книги для бедных, если даже Булгарин, Греч и многие другие, укоряемые в корыстолюбии, производили в пользу бедных пожертвованья, публичные чтения и тому подобные, – почему же я не могу так же и что же я за исключение? и отчего копейка от другого есть долг, а от меня подвиг благотворения? Друг мой, вы не взвесили как следует вещи и слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа! Это может безошибочно сделать один только тот, кто уже весь живет в Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе – во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.

Вас очень любящий *Г.*

Аксаков С. Т. – Гоголю, 27 января 1847

27 *января 1847 г. Москва* [1170]

27 янв. 1847.

Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, – оскорбляете и бога и человека.

Если б эту книгу написал обыкновенный писатель – бог бы с ним; но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и поэтому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встре-

тить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство – измена ему.

Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря; но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам[1171]. Прощайте. Обнимаю вас и молю бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.

Друг ваш *С. Аксаков*.

P. S. Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги; но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина[1172]. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, – позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но по-своему. Погодин сначала был глубоко оскорблен; мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.

Мой адрес: в Мокриевском переулке, в доме Рюмина.

Гоголь – Аксакову С. Т., 22 февраля (6 марта) 1847

22 *февраля (6 марта) 1847 г. Неаполь* [1173]

6 марта. Неаполь.

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки[1174]; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаньями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне: в письме его есть, точно, некоторая жесткость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом к вам он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то, <что> высказал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо[1175]. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое,

может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в полном и совершенном самоослеплении.

А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь. Уговор был принимать не сердясь взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и на непогрешительность его выводов. Делать замечания – это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний заключение обо всем человеке – это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать со всех сторон предмет.

Ну что, если я вам расскажу следующую повесть: повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели

довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребуется больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился наконец привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключенье об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовления обеда, что у них закружилась голова. Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды?

Друг мой! Вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня всеми замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать. Но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека. Это лучше всего, что он может для меня сделать, и, верно, бог за такие чистые и жаркие молитвы, которые суть лучшие благодеяния, какие может сделать на земле брат брату, спасет мою душу даже и тогда, если бы, по-видимому невозвратно, одолели ее всякие обольщения. Но покуда прощайте. Передавайте мне все толки и сужденья, какие откуда ни услышите, и свои, и чужие. Первые, вторые, третьи и четвертые впечатления. Душевный поклон доброй Ольге Семеновне и всем вашим.

Весь ваш *Г.*

Насчет Погодина есть тоже недоразумения, но, вероятно, он уже с вами об этом объяснился, потому что я ему писал подробно

третьего дня, т. е. 4 марта. К Шевыреву было также послано письмо от 4 марта. При сем письмецо Надежде Николаевне Шереметьевой[1176].

Гоголь – Аксакову С. Т., 28 июня (10 июля) 1847

28 *июня (10 июля) 1847 г. Франкфурт* [1177]

Франкфурт. Июнь 10[1178].

Погодин мне сделал запрос[1179]: отчего я так давно не писал к вам и не сердит ли я на вас, Сергей Тимофеевич? Я к вам не писал, потому что, во-первых, вы сами не отвечали мне на последнее письмо мое, а во-вторых, потому что вы, как я слышал, на меня за него рассердились[1180]. Ради самого Христа, войдите в мое положенье, почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать? Если бы я и в силах был сказать слово искреннее – у меня язык не поворотится. Искренним языком можно говорить только с тем, кто сколько-нибудь верит нашей искренности. Но если знаешь, что пред тобою стоит человек, уже составивший о тебе свое понятие и в нем

утвердившийся, тут у найискреннейшего человека онемеет слово, не только у меня, человека, как вы знаете, скрытного, которого и скрытность произошла от неуменья объясниться.

Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадущей душе, из милосердия прошу вас взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношенья мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружить со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот все, что могу вам сказать теперь. Что же касается до неизменности моих сердечных отноше-

ний – то скажу вам, что любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступнее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят? Но я прошу вас теперь не о любви. Не имейте ко мне любви, но имейте хотя каплю милосердия, потому что положенье мое, повторяю вам вновь, тяжело. Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил. Друг мой, я говорю вам правду! Обнимаю вас от всей души.

Весь ваш *Г.*

Передайте поклон мой добрейшей Ольге Семеновне, а за ней Константину Сергеевичу и всем вашим. Не знаю сам, хорошо ли делаю, что пишу: может быть, и это письмо приведет вас в неудовольствие. Я теперь раскаиваюсь, что завел переписку с Погодиным. Хотя я только и думаю, принимаясь за перо, как бы не оскорбить его, но, однако же, замечаю, что письма мои не приносят ему никакого успокоенья. При тех же понятиях, какие у него обо мне, ныне всякое слово с моей стороны обо

мне самом может только его еще больше спутать. Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться.

Адресуйте во Франкфурт, poste restante.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 26 июля 1847

26 *июля 1847 г. Абрамцево* [1181]

1847, июля 26. Подмосковная: Радонежье.

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Франкфурта от 10 июня: оно меня очень огорчило, и я глубоко упрекаю себя, что так давно не писал к вам. Не знаю, почему Погодин сделал вам допрос: отчего вы так давно не пишете ко мне и не сердитесь ли на меня? Я ничего подобного ему не говорил. Я даже не ожидал от вас письма, потому что сам не отвечал вам на два. Прежде всего спешу уверить вас, что я никогда на вас не сердился (принимая это слово в настоящем его значении) и что я никогда не переставал верить искренности вашей. Грех тому опрометчивому человеку, который внушил вам такие мысли. Я подозреваю, что это

сделала Смирнова: она случайно услыхала несколько строк из письма моего к сыну об вас, не поняла их и не могла понять хорошо, потому что они получали полный смысл в связи с другими, а в отрывке имели даже превратный смысл. Смирнова сделала горячую схватку с моим сыном, наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же и грозилась открыть вам глаза. Я вижу, она это исполнила; но безрассудная женщина, в которой многие достоинства я ценю высоко и которую, именно за эту вспышку, я полюбил больше, вместо открытия глаз ваших несколько отуманила их, разумеется, на время. Она не подозревала, что прежде всего я с полною, жестокою искренностью излил в письмах к вам самим всю горечь огорченной дружбы к человеку и оскорбленного чувства уважения к великому таланту. Она не различила во мне любящей души от озлобления и гнева. По моему убеждению, вы книгой своей нанесли себе жестокое поражение, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горь-

кими упреками. Вы так мне дороги, что всякий действительный вред, всякое помрачение вашей славы как писателя и человека – мне тяжкое оскорбление![1182] Но оставим это. Если вы сами не объяснили себе моих чувств и поступков и поняли их не так, как следует, то мое объяснение не поможет. Я готов даже признать, что выражение не соответствовало чувству.

Вы, мой друг, имеете право спросить: отчего я так давно не писал к вам? Мое последнее письмо требовало продолжения, ваше – ответа. Я очень это чувствовал. Много раз принимался писать, писал и – жег написанное: ибо был им недоволен... Трудно сказать, что мешало мне писать, но что-то мешало. Попытаюсь, однако, объяснить себе и вам эту странную помеху. Для этого необходимо поднять дело, хоть в нескольких словах, сначала. Первое, большое письмо мое (кажется, от 12 января)[1183] было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но до получения вашего ответа на мое большое письмо.

Ответ ваш был ужасен... Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и боже мой! в каком положении я писал его!.. Я даже не желаю, чтоб вы вполне поняли мое тогдашнее положение. Ваш ответ дышал холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого призвания. Если б я получил это письмо до отправления моего второго, то не послал бы его – в этом я должен признаться: я счел бы невозможностью достигнуть до вашего ума и сердца. Но милосердный бог устроил иначе...

Ответ ваш на мое второе письмо, начинающийся замечательными словами, что вам «чихнулось во здравие», обрадовал меня чрезвычайно; письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более[1184]. Хотя в обоих письмах есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы; но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого для меня было до-

вольно: я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите дело. Вот тут-то я и не знал, что и как писать вам: продолжать в прежнем тоне было уже неуместно, не нужно и для самого меня невозможно. Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала.

Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была мучительна. Но бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца... Вы исполните свой обет, помолитесь у гроба господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу.

Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро; но будущей весной приезжайте непременно к нам. Полное выздоровление вы получите только на родной почве, подышав

родным воздухом своей земли. Если вам почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь жить даже по зимам, кроме нынешнего года: ибо я тогда только поверю своему выздоровлению, когда проведу благополучно осень и зиму. Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы будете иметь спокойное и удобное помещение: при нас или без нас – это все равно. Не нужно говорить, рады ли будут вам ваши искренние друзья.

К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть в глубь ее: в степную и приволжскую сторону. Константин может быть вашим товарищем, если вы захотите. Я сам имею намерение, если бог подкрепит мое здоровье, уехать на целый год в Оренбургскую губернию; но это еще впереди. Теперь же надобно только успокоиться, забыть, сколько возможно, обо всем случившемся с вами и укрепить свое здоровье. Истребите всякую мысль, что моя дружба к вам изменилась: это нелепость и оскорбление для меня.

Хотелось мне написать все письмо своей рукой, но глаз утруждается. Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, который там служит в Сенате обер-секретарем. Не знаю, дошла ли до вас диссертация Константина? 7 марта был его диспут: несмотря на многие гонения, все кончилось благополучно. Прощайте, милый друг. Не могу больше писать. Обнимаю вас крепко. Вы можете адресовать одно письмо в Сергиевский посад, Московской губернии, на мое имя; но всего вернее через Шевырева. Все мое семейство вас обнимает.

Душою ваш *С. Аксаков*.

Обнимаю вас по-старому, друг наш Николай Васильевич, молю бога, чтобы привел поскорее увидеться с вами.

Гоголь – Аксакову С. Т., 16(28) августа 1847

16 *(28) августа 1847 г. Остенде* [1185]

Остенде. Август 28.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Константин Сергеевич. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, т. е., люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Константин Сергее-

вич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.

Не сердитесь на <Смирнову>; не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно но за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, – знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее, бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и немудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полней и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.

Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого

поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.

К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писа-

теля, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему несчастная, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю бога за этот позор, благодарю за

то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без ней ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «Мертвых душ», и не узнал бы, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.

Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Константин Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд

ли у кого из нас здрава, как следует, голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться богу на тех самых местах, которые зрели его в образе Христа, чтобы простил мне за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.

За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае, у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется

заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная загадка покуда, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие так же, как и я, не знают России.

Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима, проведенная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно; а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья; а я, будучи слабым и болезненным

от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провесть их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.

Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека[1186]. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю

Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату.

Ваш *Н. Г.*

Гоголь – Аксакову С. Т., 6(18) декабря 1847

6 *(18) декабря 1847 г. Неаполь* [1187]

Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел вам показывать, опасаясь им расстроить вас[1188]. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хотя бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, – выйдет пресное молоко.

В письме моем к вам я сказал сущую прав-

ду: я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать, вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать, может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим, хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом ро-

де ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас. Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась, она должна была увеличиться, потому что это любовь во Христе. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются чужим, как своим собственным добром. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуйста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке!

Весь ваш *Г.*

Аксаков К. С. – Гоголю, май 1848

Май 1848 г. [1189]

Наконец вы в русской земле[1190], любезнейший Николай Васильевич, наконец я пишу к вам – и не за границу! Шесть лет! Порядочно. Но как говорить мне с вами теперь? Многое было не высказано, а невысказанные слова остаются в душе или оставляют в ней след. Во всяком случае, полная откровенность необходима: без нее не может быть прямых отношений. Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Лучше или прямо не сойтись, или прямо сойтись. Особенно же, когда с человеком был в коротких отношениях, такая полная откровенность есть настоятельная необходимость; кто не шутя думает о короткой приязни, тот не станет смущаться и останавливаться, чтобы сказать всю правду по своему мнению. Вы сами, я думаю, это знаете, и больше об этом толковать нечего.

Я писал вам длинное письмо по выходе в свет вашей книги; оно было довольно жестко; я написал уже много, но еще не кончил и потерял его. Подумав, что, может быть, это и

лучше, что, может быть, не надо давать воли негодованию, когда в душе одно негодование, и только, я не начинал нового письма. Но теперь вы уже в России; ваша простая записочка[1191] так просто отозвалась в нас, что, сколько мне кажется, негодование не ослепит меня. Батюшка также думает о вашей записочке: видит в ней дружеские, простые строки. Николай Васильевич, нечего мне говорить вам об общей нашей и о своей дружбе, хотя, мне кажется, вы понимали ее вроде какой-то привязанности, подчиненной с моей стороны, чего никогда не бывало: в таком чувстве нет прочности, ни глубины, не может быть истины, а главное, нет свободы. Как бы то ни было, года два-три, не более, может быть, не таким уже являлись вы мне, как прежде. Не думаю, чтобы я ошибался, а думаю, что вы переменились. Если вы увидите в этих словах моих самонадеянность, вы ошибетесь. Ваши важные и еще более важничающие письма, с их глубокомыслием, часто наружным, часто ложным, ваши благотворительные поручения с их неискреннею тайной, ваше возмутительное предисловие ко

второму изданию «Мертвых душ», наконец, ваша книга, повершившая все, далеко оттолкнули меня от вас. Я нападал на вас и дома и в обществе почти так же горячо, как прежде стоял за вас. Не знаю, дошли ли до вас слухи об этом, – я думаю, что дошли. Ваши дополнительные письма еще более усиливали негодование. Знакомство же со Смирновой, воспитанницей вашей, еще более объяснило и вас, и ваш взгляд, и состояние души вашей, и учение ваше ложное, лживое, совершенно противуположное искренности и простоте. Говоря о книге вашей, говоришь вместе о всем том, что в вас, как я думаю, недобро.

Во всем, что вы писали в письмах и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это ложь. Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки – нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою, внутренняя непростота и раздвоенность, которая является перед миром и перед самим человеком, как скоро он выражает себе эту неправду как что-то цельное. От этого он не менее виноват; виноват, что допустил эту

ложь, виноват, что не заметил ее и вынес ее еще с тайною гордостью напоказ. Такая ложь, ложь внутренняя, рядится всего более в одежду правды, искренности, простоты и прямоты. Такова ваша книга. Ложь у французов, у этого народа детей, смешных и жалких детей (не во внутреннем значении слова, но по внешней недозрелости), принимает надутые формы, рядится в эффекты, становящиеся от ограниченности их народа наивными. Что же? И у вас прорвалась природа лжи, и у вас есть надутые и такие студеные фразы, которых странно, как сами вы не заметили. Но вы не француз, и эти фразы у вас не смешны, не наивны, а возмутительны. Ложь лжет истиной, а гордость рядится смирением. Затронуты нравственные глубины, и оба зла совпадают. Такова опять ваша книга. Или не видите вы страшной гордости, одетой в рубище, которое носит она, как драгоценное платье? В вашей книге нет даже того трудного пути унижения искреннего, которым доходит человек, часто с болью, до смирения, и иногда, тут же, грешит гордостью; не видать, чтобы вы со стыдом вперва надели рубище духа и

потом возгордились им как драгоценностью. Нет, вам прямо понравилось смирение, прямо полюбилось рубище; вы приняли смирение, облеклись в рубище очень довольные; оно досталось вам без труда и борьбы: вы поняли красоту смирения. К вам привилось внутреннее зеркало, сопровождающее вас всюду и в движениях внутренних души; вы уже успели вмиг посмотреться в зеркало. Вы лежите в прахе и видите себя, как вы лежите в прахе.

О, зеркало, зеркало внутреннее, о, внутреннее кокетство! Хуже оно наружного. Знаю я этот грех: я сам им страдаю. Но кажется мне, я вижу его, и потому я не проповедую смирения, потому что слишком высоко ценю его, и смиренным себя не выставляю. Давно уже много ценю я простоту, и ценю ее с каждым днем более и более. Простоты я не вижу в вас. Потом: самые мысли ваши ложны; вы дошли до невероятных положений. Таково письмо о семи кучках[1192], непостижимое, возмутительное; о, сколько хитрости и искусственности в нем! Таково письмо ваше к Жуковскому[1193], письмо, так сильно противоречащее, по-моему, вере православной. Да и мало

ли еще других мест, ложных уж и по мысли своей, в письмах ваших!

В подробности вдаваться я не стану, а укажу еще на великий проступок ваш: на презрение к народу, к русскому простому народу, к крестьянину. Это выражается в вашем предисловии ко второму изданию «Мертвых душ», это выражается в письмах ваших, в вашей книге, особенно в наставлении помещику[1194], где грубо и необразованно является незнаемый и, к сожалению, не подозреваемый вами даже народ и где помещик поставлен выше, как помещик, и в нравственном отношении. Странная нравственная аристократия, странное основание духовного достоинства! Недостает, чтобы вы сказали, что тот, у кого больше душ, выше в нравственном отношении. Вот великая вина: поклонение перед публикою и презрение к народу[1195]. Знаете вы знаменитое восклицание полицеймейстера: «Публика вперед, народ назад»? Это может стать эпиграфом к истории Петра, это слышно и в вашей книге. Но знаете ли вы, которые говорите о простоте и смирении, что простота и смирение есть только у русского

крестьянина? Вот почему так высок он – выше всех нас, выше писателей, и вкривь и вкось о нем толкующих и не знающих его. Как же могло это случиться, что вы, Николай Васильевич, человек русский, так не понимаете, не предполагаете русского народа, что вы, столь искренний в своих произведениях, стали так глубоко неискренни? Ответ на это прост. Не вы ли, в ложном мудрствовании, бросили свою землю, бежали из России и шесть лет были вне ее, не дышали ее святым, нравственным воздухом? Не вы ли, беглец родной земли, жили на Западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения? Или вы думаете, что ничего не значит для человека то окружение, в котором он находится? Не вы ли собирались ехать в Иерусалим, шесть лет, у святого Петра, в католическом Риме или в других землях? Не Успенский собор, не Софийский, не православная Русь и не пу́стыня готовили вас к подвигу, и вот что произвели эти шесть лет! Подвиг совершен. О нем я не говорю и говорить не смею, но говорю вам о вашей деятельности до этого подвига. Нет имени святее Веры, и чем святее имя, тем

больнее его злоупотребление: таковым кажется мне ваша деятельность в эти шесть лет. Книгу вашу считаю я полным выражением всего зла, охватившего вас на Западе. Вы имели дело с Западом, с этим воплощенным лгуном, и ложь его проникла в вас.

Есть, мне кажется, и другая причина: вы погрешили вашим достоинством, даром, художничеством. Перестав писать и подумав о подвиге жизни, вы, в подвиге личной вашей жизни, себя сделали предметом художества; но это вопрос другой, и то самое, что было искренно в искусстве, стало ложно в жизни. Искусство не жизнь. Искусство – обман: оно может быть искренно как обман, но оно станет просто обманом, как скоро перейдет в жизнь. Искусство непременно раздельно внутри: жизнь есть цельное живое дело. Актер-художник прост на сцене, но самый естественный актер-художник в жизни – все актер. Ваше погрешение есть погрешение художника. Художник отнял у себя предмет художественной деятельности и обратил свою художественную деятельность на самого себя и начал себя обработывать то так, то эдак, точно

так же, как актер, превосходно игравший роли, бросив играть, станет разыгрывать себя в жизни. Сверх того, вас пленила, как сказал я выше, художественная красота подвига, вы предались ей, этой опасной красоте, столь облыгающей веру и чувство и принимающей на себя их образ, столь соблазнительной, прекрасной и столь ложной, в настоящей живой жизни и в настоящей истинной истине.

Вот что я думаю об вас, что высказываю я вам прямо. Но боже меня сохрани произносить вам приговор: напротив, я уверен, что святая Русь благотворна для вас.

Я так много написал вам о вас самих, что немного уже места написать о себе; впрочем, мне самому хочется сказать вам, что теперь думаю, что на душе. Мы так долго не говорили с вами. Хотя и в том, что написал я вам об вас, вы видите уже образ моих мыслей, но мне хочется, сколько поместится на этом листе, написать вам собственно о себе, хотя сколько-нибудь. Может быть, вы напишете тоже к нам.

Я все тот же: еще более стою за Русскую землю, еще сильнее против Запада, но, кажет-

ся, взгляд мой и на это и на другое стал яснее, и больше я узнал. В высшей степени противна мне красивая ложь, красивые эффекты Запада, которые тем самым уже исключают правду. Неотъемлемая принадлежность Запада – картинка, хотя ложь основания не в ней. А как могущественна картинка над человеком! Для нее много делается блестящих, но, в сущности, бесплодных дел. Эта ложь вошла в правду русской жизни. Западное влияние у нас есть и медленно уступает русскому началу. Да и как не быть ему сильну, когда оно поблажает всем порокам человека, избавляет от труда и простоты истины и дает вам милую, легкую, красивую и затейливую ложь? Последние события в Западной Европе обнаружили всю ее гнилость[1196]. Авось теперь поймет наше общество вред западного влияния и, видя, что оно у нас есть, постарается освободиться от него со всеми его искушениями и прийти к народной русской жизни. Я тот же, но, однако, я много переменился, Николай Васильевич. Я оставил немецкую философию, русская жизнь и история стали мне еще ближе, и главное, основное для меня то, о

чем вы думаете и говорите, – вера, православная вера. Признаюсь, когда в книге вашей находил я слова об ней, которые ей противоречили, это оскорбляло меня тем более. Я, кажется, стал серьезнее, но думаю, не по наружности. Читали ли вы статью Хомякова в «Московском сборнике»?[1197] Вы очень ошибочно смотрели на русское направление: из слов ваших, довольно легкомысленно сказанных, видно, что оно вовсе вам не известно[1198]. Надеюсь, что письмо это не будет принято вами враждебно. Я пишу к вам по-старому. Прощайте, любезнейший Николай Васильевич, обнимаю вас.

Надеюсь, ваш по-прежнему *Константин Аксаков*.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 21 мая 1848

21 *мая 1848 г. Москва* [1199]

21 мая.

Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки, но… все человеческие предположенья – прах и суета! Не написал 4 мая, отложил до 7-го, а

6-го я захворал... Теперь оправляюсь понемногу. Но должно все рассказать подробно и по порядку, а для этого нужна чужая рука.

В самых последних числах апреля приехал ко мне рано поутру Щепкин и сказал, что вы в Одессе. Я так обрадовался, что ту же минуту хотел писать к вам, хотя решился было бросить письменные разговоры и ожидать личного свидания; но я уже был готов к отъезду в деревню (куда давно манила меня ранняя весна) и остался только до 2 мая, потому что 1-го был день рожденья Хомякова. 2-го я переехал в деревню с Константином и Любенькой[1200], остальная семья должна была переехать через неделю. Хотел было писать 4-го или 5 мая, но отложил до 9-го, чтоб тут же и поздравить вас со днем ангела; но 6 мая сделалась такая жаркая, летняя погода, что я забыл числа и подумал, что это июнь или июль, оделся полегче, посидел с удочкой на пруду подольше и тот же вечер получил воспаление в правой стороне груди и нижней части печени. Болезнь, как водится, сопровождалась сильной лихорадкой и кровохарканьем. Можете себе представить положение бедных моих детей!

На Константина до сих пор еще страшно смотреть. По счастию, у Троицы (в двенадцати верстах от моей деревни) есть очень порядочный лекарь, которого мы выписали и который мне очень скоро помог. Нельзя было скрыть моей болезни от остальной моей семьи, и потому все, перепуганные, прискакали ко мне[1201]. Как нарочно, на другой день их приезда, 12 мая, получил я рецидив воспаления уже в одной печени, но со всеми прежними явлениями. Тот же лекарь помог мне опять, и через несколько дней усадили меня в карету и благополучно перевезли в Москву, где я поправлялся очень быстро до вчерашнего дня; с вчерашнего же утра я постоянно чувствую шум в голове и какую-то нервическую слабость, которая мешает мне даже диктовать письмо. Но все это, я надеюсь, скоро пройдет, и с наступлением настоящей летней погоды мы переедем уже все в нашу прекрасную деревеньку. Именинник мой[1202] с матерью у обедни. Успеют ли они сегодня написать к вам – не знаю; но сам уже откладывать не хочу.

На днях вы получите драму Константина[

1203]. Прочтите ее на досуге, сбросив с себя все чужие понятия, усвоенные всеми нами с младенчества. Вдумайтесь глубоко в старую русскую жизнь и произнесите суд нелицеприятный. Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака[1204]. Давно затаенная злоба на Константина (в которой он и сам много виноват) наконец выбилась ключом бешеной слюны и помрачила даже его рассудок...

Прощайте, друг мой. Обнимаю вас крепко. Будьте здоровы, освежитесь и укрепитесь родным воздухом и приезжайте к нам. Пишите в Сергиевский посад, Московской губернии.

Ваш душою *С. Аксаков*.

Гоголь – Аксакову К. С., 3 июня 1848

3 *июня 1848 г. Васильевка* [1205]

Июня 3. Василевка.

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в вашем письме все, что было на языке, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были вызваны при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило,

что вы, наместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению. Я, однако же, прочел со вниманием три большие ваши страницы. Многое в них дало мне знать, что вы с тех пор, как мы с вами расстались, следили (историческим и философическим путем) существо природы русского человека и, вероятно, сделали немало значительных выводов.

Тем с большим нетерпением жажду прочесть вашу драму, которой покуда в руках еще не имею. Вот еще вам одна мысль, которая пришла мне в то время, когда я прочел слова письма вашего: «Главный недостаток книги (моей) суть тот, что она ложь». Вот что я подумал: да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на верху истины? Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь, а что истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком

смысле? Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь? Он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла. Неужели вы думаете, что и в ваших сужденьях о моей книге не может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее, а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того же и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен или что вы не измените его никогда, тогда как, идя по той же дороге исследований, вы можете найти новые стороны, дотоле вами не замеченные, вследствие чего и самый взгляд уже не будет совершенно тот, и что казалось прежде целым, окажется только частью целого. Нет, Константин Сергеевич, есть дух обольщения, дух-искуситель, который не дремлет и который так же хлопочет и около вас, как около меня, и, увы! чаще всего бывает он возле нас

в то время, когда думаем, что он далеко, что мы освободились от него и от лжи и что сама истина говорит нашими устами. Вот какие мысли пришли мне в то время, когда я читал приговор ваш книге, на которую до сих пор еще я не имею духу взглянуть. Скажу вам также, что мне становится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, возвещающего слишком утвердительно свой вывод как непреложную, непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей утвердительностью, но приводить больше доказательств.

Драму вашу я прочту со вниманьем и даю вам слово не скрыть своего мненья. Она тем более для меня интересна, что, вероятно, в ней я отыщу яснейшее изложение всего того, о чем вы говорите в письме вашем несколько неопределенно и неясно. Прощайте, Константин Сергеевич. Бог в помощь! Когда-нибудь переговорим о многом лично, и это, вероятно, будет лучше всяких письменных рассуждений. Покуда не сердитесь на критики в журналах и не называйте их также следствиями вражды, зависти и тому подобного. Во всякой

из них может быть та частица правды, которая только сначала колет в глаза, но если прочтешь несколько раз, она будет целительна и полезна.

Искренно желающий вам добра и любящий вас *Н. Г.*

Аксаков К. С. – Гоголю, середина июня – первая половина июля 1848

Середина июня – первая половина июля [1206]

1848 г. Абрамцево (?)

Любезнейший Николай Васильевич! Я получил ваш ответ на мое письмо. Я надеялся, что вы иначе его примете, но что делать? Слово «ложь», кажется, вы тоже не так поняли; я именно писал: «ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки». Жаль мне очень, если письмо это доставило вам неприятное ощущение, которое оно же не в силах было разогнать. Впрочем, пояснения на бумаге большею частию еще более затемняют, а потому я перестаю толковать о своем письме.

Вы пишете, что ждете нетерпеливо мою драму и надеетесь увидеть в ней мой взгляд на русского человека – то, что истина по мое-

му мнению. Точно, в драме высказалось все это, но высказалось ли оно ясно и внятно – не знаю. Я не художник, и очень может быть, что драма моя неразборчиво написана, и потому, признаюсь, не знаю, как она вам покажется, выступит ли перед вами тайная мысль и дух драмы. В ней является великое событие, которое не кажется великим, которое совершается безо всяких эффектов, безо всяких героических прикрас, но в этом-то вся и сила. Эта простота, о которой, может быть, ни один народ мира не имеет понятия, и есть свойство русского народа. Все просто, все кажется даже меньше, чем оно есть. Невидность – это тоже свойство русского духа. Великий подвиг совершается невидно. О, кто поймет величие этой простоты, перед тем поблекнут все подвиги света. А кто не поймет ее, будет говорить: «Помилуйте, да что в русской истории, что в русском человеке?» Для таких людей всего лучше указать не на нравственную силу, которая выше всего, а на географическую карту, где, увидав огромное пространство, они невольно задумаются, не догадываясь, что это только еще самая плохая сторона си-

лы, живущей в духе, силы внутренней. Так понимаю я события междуцарствия, так понимаю русского человека и русский народ. Эти слова еще далеко не исчерпывают моей мысли, это только еще одна сторона, но сторона, по-моему, неотъемлемая. Если б я хотел высказывать в драме свою мысль как теорию, то я бы был неправ; но это не теория, это так есть, сколько я могу понимать. В подтверждение могу сказать, что сперва меня это огорчало – эта безэффектность и что только после увидал я все ее величие. В русской истории нет ни одной фразы – все чистое беспримесное дело, до Петра, разумеется, – но с него я нашу историю не называю русскою. Русский народ участвовал в ней рекрутами и деньгами. Долго думал я о власти картинки над человеком. Запад всего больше это чувствует: он весь состоит из картинок, ко всякому своему делу он непременно приделает виньетку, а иногда из виньетки затевает и совершает самое дело. Пока был он молод, он был и красив, хотя всегда ложен в своих позах, но теперь он до того уж изолгался, что нуждается во всяких раздражительных средствах, чтобы

придать себе энергии; энергии нет, убеждения нет, а на одних картинках без этого уж недалеко уедешь. И противен теперь Запад, мутящийся без всякого даже увлечения.

Посылаю вам небольшую статью, в которой высказываю свои основные гражданские убеждения, написанную месяц с лишком[1207]. Скажите ваше мнение. Прощайте, любезнейший Николай Васильевич.

Когда вы в Москву? Обнимаю вас, ваш *Константин Аксаков*.

У меня много лежит в портфеле, но цензура ужасно строга.

Гоголь – Аксакову С. Т., 12 июля 1848

12 *июля 1848 г. Васильевка* [1208]

Июля 12. Василевка.

И за письмо и за книги благодарю вас[1209], добрый Сергей Тимофеевич. Как ни слаб я после недуга, от которого еще не оправился как следует[1210], но не могу отказать себе написать к вам несколько строчек. Какое убийственно-нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух! Только три или

четыре дни по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска (еще более оттого, что никакое умственное занятие не идет в голову). Даже читать самого легкого чтенья не в силах. А потому не ждите от меня покуда никаких отчетов относительно впечатлений, произведенных присланными книгами. Я после напишу Константину Сергеевичу мое мнение о его драме. Статья его о современном споре[1211] мне понравилась, может быть, оттого, что во время чтенья голова моя была свежа и вниманья достало на небольшую статью. Ваш разбор драмы я бы желал нетерпеливо прочесть[1212], хотя по кусочкам. Мне кажется, вы сделаете очень нелишнее дело, если займетесь <им>, тем более что самый предмет, о котором пойдет речь, так важен для всех нас, что и сама драма, и сам сочинитель могут остаться почти в стороне. В драме постигнуто высшее свойство нашего народа –

вот ее главное достоинство! Недостаток – что, кроме этого высшего свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела нашего, бестелесен. Зачем Константин Сергеевич выбрал форму драмы? Зачем не написал прямо историю этого времени? Странное дело: когда я разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди, и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор предо мною тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу. Наместо действия я слышу словопрения, и мне кажется все бледно. Не распространяю этих слов на драму Константина Сергеевича. В ней вялости нет, язык свеж, речь жива. Но зачем, не бывши драматургом, писать драму? Как будто свойства драматурга можно приобресть! Как будто для этого доста-

точно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно осязательное, пластическое творчество, и ничто другое. Его ничем нельзя заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из нее сочинения.

Может быть, все это, что я вам теперь говорю, есть плод нынешнего мутного состоянья моей головы, неспособной рассуждать отчетливо и ясно; может быть, в другой раз, когда прочту внимательней это сочинение, и притом в минуту более свежую, я выражусь иначе и лучше; но, мне кажется, я и тогда не соглашусь с Константином Сергеевичем, будто драма есть художественное понимание истории в известную эпоху. Скорей разве можно сказать, художественное воспроизведенье ее. Пониманья одного мало для драмы. Но обо всем этом потолкуем после. Сочиненье, во всяком случае, немаловажно и всегда останется замечательно тою высокою задачей, которую оно задало нам и над которою стоит всякому истинно русскому поразмыслить и порассудить сурьезно.

Прощайте, добрейший Сергей Тимофеевич.

Обнимаю вас крепко. Не знаю, когда с вами увижусь. Хотел было ехать теперь, несмотря на болезненную слабость, но узнал, что дилижансы из Харькова в Москву уничтожились. Заводить свой экипаж нет средств и скука. Попутчика покуда не отыскивается. Напишите мне слова два о Михале Семеновиче[1213], не будет ли он в Харькове? Он, кажется, имеет обыкновенье заглядывать туда в августе, около ярмарки. Как бы мне было приятно прокатиться с ним! Пишите.

Весь ваш *Н. Г.*

Всем вашим дружеский поклон.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 27 августа 1849

27 *августа 1849 г. Абрамцево* [1214]

27 августа. Радонежье.

Я чувствую душевную потребность сказать вам несколько слов, милый друг Николай Васильевич! Я должен перед вами покаяться. После всего случившегося в течение последних семи лет я, Фома Неверный, как вы сами меня назвали, потерял было веру в дальнейшее существование вашего творческого та-

ланта. Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава богу! Благодарю вас, что вы наконец решились рассеять мое заблуждение. Вы знали его; но не знали, как тяжело было мне смотреть на вас, на мнимого страдальца, утратившего плодотворную силу своего творчества, но не потерявшего стремления, необходимости творить. Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки. Но теперь все забыто! Слава богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже, что я и сказал вам сейчас после чтения.

Может быть, вы хотели бы слышать от меня критическую оценку, но я не могу этого сделать. Я слушал с таким волнением, а сначала и с предубеждением, что подробности впечатлений скоро поглотились одним чувством наслаждения. Притом же я никогда не могу судить верно о подробностях, слушая в первый раз: мне надобно прочесть своим глазом. Но вот что у меня осталось в памяти. 1) Мне показалось, что сначала как-то трудно и тяжело выражались вы. 2) Мне показался

несколько длинным и натянутым рассказ об Александре Петровиче[1215]. 3) Встреча в деревне крестьянами молодого барина как будто жидка и одностороння. Но я не ручаюсь за верность моих замечаний. Если вы захотите их иметь, то дайте мне тетрадь в руки.

Да подкрепит бог ваше здоровье и благословит окончательные труды ваши: ибо я считаю, что «Мертвые души» написаны и что теперь остается последняя отделка. Я прошу у бога милости дожить до их появления, при настоящем моем уме и чувствах. Я хочу вполне насладиться не только восстановлением вашей славы, но и полным торжеством вашим на всем пространстве Руси...

Как утешили вы меня, Константина и все наше семейство! Как долго мы были полны только одним чувством, о которое притуплялось даже горе... Прочь все теории и умствования: да будет благословенно искусство на земле!

Крепко вас обнимаю.

Душой ваш *С. Аксаков*.

Иван вам кланяется. Он спрашивает: чита-

ли ли вы стихотвор<ения> Григория Богослова? Если нет, то прочтите.

В Рыбинске играли «Ревизора»; в половине пиесы актеры, видя, что зрители больше их похожи на действующие лица, – помирали все со смеха[1216].

Аксаков С. Т. – Гоголю, 25 декабря 1850

25 *декабря 1850 г. Москва* [1217]

25 декабря. Понедельник.

Поздравляю вас, милый друг Николай Васильевич, с великим праздником[1218]. Давно бы следовало мне написать вам о представлении драмы Константина, которое было 14 декабря; но в продолжение этих десяти дней много было у меня смущений разных и нездоровья. Не знаю, как сказать вам об успехе драмы? Если сильное раздражение в одной части публики, внимание в другой и сочувствие – в третьей, небольшой, части общества может назваться успехом, то успех был огромный: до сих пор Москва полна разговоров, брани и клевет на автора. Я был сам в театре, который битком набился народом. Еще до поднятия занавеса можно было видеть, что

везде рассыпаны шикальщики, которые мешали всему без разбора и с такою наглостью, что общий голос публики называет их полицейскими служителями. Впрочем, мы убеждены, что это было сделано без дозволения графа Закревского, и слышали, что он был очень недоволен. Мнимая русская аристократия и высшее дворянство, не знаю почему, изволили обидеться и бояться донельзя, особенно Трубецкие и Салтыковы[1219]. Я имел счастие услышать, что про моего Константина говорили те же речи, какие я слыхал про вас после «Ревизора» и «Мертвых душ», то есть: «В кандалы бы автора да в Сибирь!»

Пиеса остановлена до разрешения из Петербурга; но, вероятно, не будет представляться[1220]. Да и в самом деле, зачем предлагать публике душеспасительную духовную пищу, если она производит в ней физическую тошноту и рвоту.

Вы знаете драму; она никогда не назначалась для театра и написана без всякого сценического искусства; но строгая истинность исторических событий и горячее чувство автора очень слышны на сцене, и многие места про-

изводят сильное впечатление. Для меня по крайней мере вопрос русской драмы решен: она может и должна быть; но непременно древняя, ибо в настоящее время русской жизнию живет один крестьянин. Что касается до русского чувства, то оно сохранилось и пробудилось в доказательство, как хорошо актеры поняли пьесу. Посылаю стихи Ленского, прочтенные на обеде Константину.

Крепко вас обнимаю. Все голова болит. Все вам кланяются.

Ваш душою *С. Аксаков*.

Несмотря на шиканье, автора два раза и горячо вызывали.

Аксаков К. С. – Гоголю, вторая половина декабря 1850

Вторая половина декабря 1850 г. – начало 1851 г. [1221]

Наконец, после драмы и всяких с нею соединенных хлопот, после толков и других помех, вновь принимаюсь я за дело и вновь пишу к вам. Согласно с вашим желанием, должно бы мне писать к вам о драме...

Актеры поняли и оценили драму; им она понравилась. Играли они охотно, со рвением. Это народ славный, нечего сказать. Что касается до публики, то вообще все, при битком набитом театре, слушали чрезвычайно внимательно, и никто не уехал до самого окончания драмы. Шиканье было, но оно имело особый источник; хлопающим также делались неприятности. Но речь не об этом. Было много за драму: задняя половина кресел, верхние ярусы и раек; было много и против драмы: все бенуары, бельэтаж и все передние ряды кресел[1222].

Надо сказать и то, что, кроме игры актеров, драма поставлена была как нельзя хуже; народу было мало[1223], декорации не только дрянь, но совсем не представляли того, что следует, костюмы дрянь, перемены декораций делались из рук вон медленно. Толки о драме, впрочем, главные происходили от раздраженного аристократического чувства. Обозлились считающие себя потомками бояр за то, что им не польстили, что крестьянин – их брат. В этих толках приняли участие не попавшие в драму и в особенности Строганов,

позабывши всякое приличие. Мне очень бы хотелось второго представления, но не знаю, будет ли оно. Известно, впрочем, что драма вполне оправдана в Петербурге, а позволена ли вновь к представлению, это еще не верно.

Между тем в отдалении рисуется мне другая драма, разумеется, в том же духе, как и первая. Не стою я очень за свою драму как за исполнение, но стою решительно как за систему. Уверен я, что русская драма может быть только в таком духе, и не иначе. Сама драма, уже после того, как я написал ее, открыла мне многое для русского искусства. Так, я вижу, что в ней есть хор, элемент греческой драмы, с которою русская только и может иметь сходство. Хор же есть начало русской жизни. Теперь думаю я о драме из времен княжиих междоусобий, когда еще не сложился всерусский хор, когда гремел он отдельно в Новгороде, Киеве, Чернигове, Суздале[1224]. Это множество хоров, звучащих разнообразно, с своими корифеями, с князьями, выбираемыми от них; я чувствую, что оно может быть очень живо и драматично особенным образом. Носящееся над всем этим – об-

щее чувство русской земли. Ах, как бы это все могло быть хорошо! Но что касается до личного своего таланта, я охотно сознаю его недостаточность и делаю, что могу. Как бы хотел я, чтобы эта мысль художественная, мною понимаемая, наполнила великого художника, что бы могло из этого выйти! Если б вы выдвинули эту мысль, со всей ее строгостью, Николай Васильевич!

Знаете ли вы, что полные ваши сочинения продаются по 20 р. серебром, да и то книгопродавцы считают за дешевую цену; теперь они стали просить 25 <рублей>. Вам надо бы сделать еще издание. Вот о чем я еще не говорил с вами: о Малороссии, о Киеве[1225]. Ну да это, надеюсь, до следующего письма. Теперь же крепко обнимаю вас, дорогой наш Николай Васильевич, дай бог вам дух бодрости и труда. Вам хорошо трудиться: вы знаете, как всем нужен ваш труд.

Душою ваш *Константин Аксаков*.

Гоголь – Аксакову С. Т., 20 сентября 1851

20 *сентября 1851 г. Москва* [1226]

Москва. 20 сен.

От всей души и от всего сердца поздравляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, с днем вашего рождения. Весьма жалею, что не с вами сижу за кулебякой, но тем не менее и душой и мыслями с вами. Здравствуйте, бодрствуйте, готовьте своих птиц[1227], а я приготовлю вам душ, пожелайте только, чтобы они были живьем живые так же, как живы ваши птицы. Всех обнимаю, всех вас до единого целую мысленно и прошу не забывать меня в молитвах.

Ваш весь *Н. Г.*

Пишите ко мне в Полтаву, а потом в Симферополь[1228], на имя Княжевича.

Аксаков С. Т. – Гоголю, 9 января 1852

9 *января 1852 г. Абрамцево* [1229]

Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Как поживаете? Я кое-как перебиваюсь. Посылаю с Иваном половину моих «Записок», чтоб процензуровать и печатать; остальную половину пришлю через неделю.

Поздравляю вас с прошедшими праздника-

ми и наступившим новым годом. 1852 год должен быть ознаменован появлением второго тома «Мертвых душ». Каково ваше здоровье и как идет дело? По слухам, кажется, недурно. Я не надеюсь скоро вас обнять. Не могу и подумать о зимней дороге и возке; да и жить мне в нашей квартире неудобно. Я уже дал доверенность Ивану по всем моим делам. Крепко вас обнимаю. Молю бога, чтоб он подкрепил ваши силы.

9 января.

Душою ваш *С. Аксаков*.

Все мои вас обнимают и поздравляют.

Гоголь – Аксакову С. Т., после 9 января 1852

После 9 января 1852 г. Москва [1230]

Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновенье.

Ваш весь *Н. Г.*

Обнимаю вместе с вами весь дом ваш.

Гоголь и А. О. Смирнова

Вступительная статья

Александра Осиповна Смирнова (урожденная Россет, 1809–1882) была одной из самых замечательных женщин первой половины XIX столетия. Без ее имени не полны страницы истории русской культуры, повествующие о Пушкине, Жуковском, Гоголе, о блистательном круге литераторов 1820–1830-х годов, о духовной жизни русского общества 1840–1850-х годов.

Раннее детство Александры Осиповны прошло на Украине, пылкие поэтические воспоминания о которой окрасили особым колоритом и первую ее встречу с Гоголем, и отношение ее к повестям Рудого Панька. Воспитание она получила в Екатерининском институте, где русскую словесность преподавал П. А. Плетнев, оказавший серьезное влияние на формирование художественных вкусов А. О. Россет. Окончив институт в 1826 году, Россет поступила фрейлиной к Марии Федоровне (которая была ее крестной матерью), а после

ее смерти осталась фрейлиной при императрице Александре Федоровне. Ее теплые чувства к членам царской фамилии, неоднократно высказываемые в переписке с Гоголем, не носили официозного характера, так как основывались на личных, с юности установленных отношениях. Бывая у Карамзиных, где объединялись придворный и литературный кружки, Россет познакомилась с Жуковским и бывшими арзамасцами: Вяземским, А. И. Тургеневым, Блудовым. Здесь бывали В. Ф. Одоевский, Крылов, Гнедич, Хомяков, Вьельгорские, позднее – Лермонтов, Тютчев. Вступив в свет, Александра Осиповна была встречена восторженным поклонением. Замечательная красота, горячий темперамент, на который наложило свой отпечаток смешение грузинской, французской и немецкой крови, образованность, природный ум, живость и непосредственность поведения заставляли искать ее общества и беседы. Лучшие поэты посвящали ей стихи и мадригалы. Доставлявшая взаимную радость дружба соединяла ее с Жуковским и Пушкиным.

Знакомство Гоголя с А. О. Россет состоялось

летом 1831 года, когда была написана первая часть «Вечеров на хуторе...», когда безвестный малороссиянин был принят почти на равных в круге корифеев русской литературы. В 1850 году О. Н. Смирнова, дочь Александры Осиповны, записала в своем дневнике рассказ Гоголя об этом знакомстве: «Она знала уже, что П. А. Плетнев меня принимал дружелюбно и что В. А. Жуковский и А. С. Пушкин благоволили к хохлу. На другой день она приказала Плетневу доставить к ней хохла; это было им тотчас исполнено. Плетнев при Василии Андреевиче и Александре Сергеевиче передал мне приказание Александры Осиповны явиться к ней. Я закобенился, не захотел повиноваться; но тут Жуковский и Пушкин оба закричали на меня и сказали, что я глуп, и невежа, и грубьян, что все должны слушаться Александры Осиповны и что никто не смеет упираться, когда она приказывает. Побранив меня порядком, А. С. Пушкин, которому нельзя было отказывать, и В. А. Жуковский схватили меня и повели во дворец к Александре Осиповне. Когда она увидала меня с моим конвоем, она сказала: «Наконец-та-

ки пришли! Ведь и я хохлачка, и я помню Малороссию. Мне было всего семь лет, когда я уехала на север, на скучный север, а я все помню и хутора, и малороссийские леса, и малороссийское небо, и солнце. Поговорим о родном крае». Александра Осиповна прочитала мне малороссийские стихи. Тут я узнал, что мы уже давным-давно знакомы и почти друзья и что мы всегда будем друзья» (РС, 1888, № 4, с. 47).

О том, как складывалось дальнейшее общение Гоголя и Смирновой в 1830-х годах, мы знаем довольно мало. Известно лишь, что встречались они неоднократно: и в Петербурге, и за границей.

В январе 1843 года Смирнова приехала в Рим. Гоголь встретил ее с великой радостью и, как прежде Жуковскому и Погодину, принялся показывать ей чудеса и красоты вечного города. Летом Гоголь вслед за Смирновой перебрался в Баден, а следующей зимой – в Ниццу. Это время стало для Гоголя и Смирновой как бы новым знакомством, им казалось, что только теперь они впервые по-настоящему узнали друг друга. С тех пор как произо-

шла их первая встреча, оба они сильно изменились. Гоголь, отрекшийся от Рудого Панька, был сосредоточен на религиозных переживаниях, которые уже подчиняли себе и творчество, и жизнь. Смирнова переживала тогда очень трудный период. Ей исполнилось 34 года. Молодость со всеми ее радостями была позади, нерастраченным душевным силам не находилось достойного применения. Смирнова чувствовала необходимость сосредоточиться в своем внутреннем мире, но отсутствие занятий, способствовавших этому, и отсутствие жизненной перспективы, которая могла бы переменить ее обстоятельства и удовлетворить ее запросы, порой доводило ее до полного отчаяния, вызывало затяжные и болезненные приступы хандры. Гоголь стал для нее утешителем и советчиком, разделившим ее тоску и ее мечты, сумевшим ценить ее, прощая ей недостатки.

Общение со Смирновой, конечно, содействовало тому внутреннему перелому, который совершался в Гоголе и который окончательно проявился в последнем периоде его творчества: он нашел в ней душу, способную

горячо отозваться его развивающимся религиозным настроениям. Впрочем, этим, пожалуй, и ограничивается ее влияние, ибо инициатива и руководство всегда принадлежали Гоголю. Кроме того, настроения самой Смирновой не отличались уравновешенностью и последовательностью. От духовной экзальтации она способна была переходить к трезвому практическому здравомыслию – и в таких случаях высказывалась в письмах к Гоголю с не меньшими жаром и откровенностью.

В 1845 году в жизни Смирновой произошло событие, ставшее предметом всестороннего обсуждения в ее переписке с Гоголем. Ее муж, Николай Михайлович, был назначен губернатором в Калугу. Губернаторство, как казалось, открывало перед нею новый круг обязанностей, одновременно и пугавших ее, и обещавших обновление жизни. Гоголь надеялся, что теперь она не только найдет наконец подлинное применение своим силам, но и сможет поистине послужить благу России. В это время он пришел к убеждению, что дальнейшая судьба страны, ее шансы на обновление и возрождение едва ли не более всего зависят

от того, как каждый человек, занимая определенное место в обществе, выполняет ближайшие свои обязанности. Его письма Смирновой полны советов и рекомендаций, касающихся того, что она может и что должна сделать, заняв новое положение. Насколько важными были для Гоголя эти письма, явствует из того, что их содержание легло в основу ряда статей из «Выбранных мест...». Но этим перспективам не суждено было осуществиться. При всех замечательных качествах ума и души, Смирнова не могла оказаться сильнее косных законов провинциальной жизни. Жизнь в Калуге только ухудшила ее и без того угнетенное состояние. Кроме того, для Н. М. Смирнова губернаторство обернулось крупными неприятностями: доносами, клеветой, судом, в результате которых он вынужден был оставить Калугу.

К творчеству Гоголя Смирнова относилась с пристрастием. Это обстоятельство накладывает особый отпечаток на ее отношение к «Выбранным местам из переписки с друзьями». Книга была ей действительно близка: в ней повторялось то, что было предметом ее

переписки с Гоголем. Кроме того, она в принципе не желала признавать за Гоголем неудачи и вступила в жестокую ссору с Аксаковыми, которые не приняли «Выбранных мест...».

Отношение Смирновой к Гоголю не ограничивалось одной только духовной близостью. Чем могла, она помогала ему в практических делах. Именно благодаря ее ходатайству перед императором в 1845 году Гоголю был назначен пенсион из сумм государственного казначейства по тысяче рублей серебром в год на три года.

Тесного общения со Смирновой Гоголь не прерывал до конца жиани. Их переписка очень велика по объему и в целом производит чрезвычайно тяжелое впечатление: наполненная бесконечными обоюдными жалобами, она свидетельствует о физическом и духовном расстройстве, с которым ведется постоянная, но далеко не всегда удачная борьба. Для настоящего издания отобраны письма, в основном связанные с теми или иными событиями литературной жизни.

Переписка охватывает период с 1842 по 1852 год. Сохранилось 65 писем Гоголя и 65

писем Смирновой. В настоящем издании публикуется 11 писем Гоголя и 9 писем Смирновой.

Гоголь – Смирновой А. О., 12(24) октября 1844

12 *(24) октября 1844 г. Франкфурт* [1231]

Франкфурт. 24 октября.

Ваше миленькое письмецо мною получено[1232]. Благодарен много. Состояние ваше, как я вижу, совершенно хорошо. Вас удивляет то, что вы до сих пор не скучаете в Петербурге[1233]. Так и быть должно. Скучать должны те, которые видят, что им нечего делать, а у вас, слава богу, дел столько, что не оберешься. Нет хотя расположенья к чтенью и молитве – это знак, что следует не теорией, а практикой занима<ться>. Хандры не бойтесь. Помните, что в минуты уныния бог к нам ближе, чем когда-либо, если только вы не позабудете позвать его. Поверьте, что если бы вы сами не испытали уныния, то не могли бы и другому помочь в унынии. Стало быть, такие минуты если и даются или, справедливей, попускаются, то слишком недаром. Я вам советую между

прочим раза два в неделю помолиться, но помолиться сильно, крепко и со слезами о близком нам человеке, чтобы бог ниспослал в его душу все, что нужно для истинного и душевного его счастия. Такая молитва не пропадет даром. Притом после слез такого рода просветляются наши глаза и мы видим многое, чего прежде не видели, находим средства, где прежде не находили. Но об этом предмете довольно, обратимся к другому. Не мешает, однако ж, вам сказать насчет уныния, что у Софьи Михайловны[1234] есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть, вы отыщете в них что-нибудь и для себя, если будете в нем обретаться. Но лучше избегать его заблаговременно. Напрасно вы сердитесь на Сологуба за то, что он на другой день по приезде жены был на вечере у Одоевского[1235]. Тут еще нет ничего худого. Вы знаете сами его натуру. Боже сохрани даже делать ему на этот счет какие-либо замечания с чьей бы то ни было стороны. Пусть его бывает на вечерах. Неужели, думаете, это будет лучше, если он останется дома, будет ворчать и развалится медведем? Не от

обществ, но от совершенно дурных обществ, где картежи и прочее, следует приятелям отталкивать его. Но и тут не другими словами они могут оттолкнуть его, как в таком <роде>: не стыдно ли тебе, брат, имея все таланты для того, чтобы быть приятну в лучшем обществе, знаться черт знает с кем? Словом, на такой род людей магнетическую силу имеет слово дурной тон, которого они иногда боятся. Нужно, чтобы все его приятели, т. е. те, которые любят особенно Софью Михаловну, составляли бы, напротив, у него маленькие вечера и напрашивались бы к нему. Чтобы ввечеру Софья Михаловна была не с ним одним, а вместе с вами, а вы доставляйте иногда ему случай блеснуть перед вами. Пусть его порисуется. Вы потом, со временем найдете на него средство подействовать хорошо. А вдруг сделать из него другого человека – об этом и не помышляйте. Не нужно также колоть его Софьей Михаловной, это может только отвратить его. Старайтесь таким образом устроить, чтоб их свиданья между собой хотя сколько-нибудь были взаимно интересны среди самого общества, чтобы ничего сколько-нибудь

похожего на упрек не было на их лицах. Но вы в этом случае умнее меня и сыщете сами, как быть.

Насчет вашей сестры подумайте вот о чем: как облегчить ее участь там, на ее месте[1236]. Если вы успеете в том, что она, в смысле истинно христианского испытания, проведет один только год там, то это уже будет очень хорошо. А между тем в это время вы надумаетесь, что для нее сделать. Почему знать? может быть, бог поможет вам так устроить ее советами истинно любовными, что после вам можно будет взять ее даже к себе, но этого вперед не обещайте. На публику не смотрите, помните, что она глядит на все сверху, а вовнутрь не заглядывает. Но не забывайте также и того, что с вами теперь будет легче ужиться другим, чем прежде, и что вы теперь больше можете иметь хорошего действия на других, чем прежде. Вы, между прочим, одного человека позабыли, на которого прежде всех вам следует обратить внимание. Вы позабыли Николая Михаловича[1237]. В нем есть много истинно доброго, а все недостатки его... но кто же другой может их так знать,

как вы, вам знаком всякий уголок души его, кто же может оказать истинно братскую помощь ему, как не вы? Будьте только терпеливы. Бог вам и здесь поможет. Избегайте этой ретивой прыти, которая бывает часто у женщин, которые хотели бы вдруг, прямо из солдатов произвести в генералы, позабыв, что есть и офицерские, и капитанские, и майорские чины и что иногда весьма туго идет производство. Стало быть, никак не нужно на то глядеть, что один скоро выскочил в чины, а пуще тем приводить в уныние дух свой. Поговорим теперь обо мне. В конце вашего письма вы сказали мне, что побраните и даже огорчите (чем же можете вы огорчить меня? Всякое огорчение в том смысле, как вы думаете, было бы мне истинное целение и прямо небесный дар). Зачем же вы не побранили и огорчили меня, зачем отложили это до другого письма? Вы говорите: «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский или хохлик»[1238]. Но скажите мне, разве я святой, разве я могу увидеть все свои мерзости? Для этого-то и существует истинно братская любовь, истинно братская помощь,

чтобы указывать нам наши мерзости и помогать нам избавляться от них. Зачем же вы не помогли мне, зачем же вы не указали их мне? Не стыдно ли вам? Я с вами не так поступал: упрекая вас, я вам объявил, в чем вас упрекаю. Основываясь на словах ваших, что Плетнев на меня досадует, я думаю, что часть упреков относится по делу издания моих сочинений[1239]. Если так, то на этот счет скажу вам только, что знаю: что это до сих пор неразрешимая загадка как для них, так равно и для меня. Знаю только, что меня подозревают в двуличности или какой-то Макиавелевской штуке[1240]. Но настоящего сведения об этих делах не дала мне до сих пор ни одна живая душа. Вот уже два года я получаю такие странные и неудовлетворительные намеки и так противуречащие друг другу, что у меня просто голова идет кругом. Все точно боятся меня. Никто не имеет духу сказать мне, что я сделал подлое дело и в чем состоит именно его подлость. А между тем мне все, что ни есть худшего, было бы легче понести этой странной неизвестности. Скажу вам только, что самое ядро этого дела самое дет-

ское – это почти ребяческая безрассудность выведенного из терпения человека. Но около ядра этого накопилось то, о чем я только теряюсь в догадках, но чего на самом деле до сих пор не знаю. Но скажу вам также, что с этим делом соединился больший грех, чем двуличность. Все это дело есть действие гнева и тех тонких оскорблений, которые грубо были нанесены мне добрым человеком[1241], не могшим и вполовину понять великости нанесенного оскорбления, но оно тронуло такие щекотливые стороны, что их перенести разве могла бы одна душа истинно святого человека. Несколько раз мне казалось, что гнев мой совершенно исчез, но потом, однако же, я чувствовал пробужденье его в желании нестерпимом оправдаться. А оправдаться я не мог, потому что не имел в руках обвинений. Этот гнев стоил вашего гнева, хотя я за него сильно наказал себя. Теперь я положил (и уже давно) никак не оправдываться. Пусть все дело объяснится само собою. Но мне теперь нужно знать во всей ясности обвинения, для того, чтобы обвинить лучше и справедливей себя, а не кого другого. Итак, вы поступи-

ли со мною слишком нехорошо, что не упомянули тогда именно, когда мне это было нужно. За мое страдание я теперь благодарю бога. Одно место было во мне такое, пораженье которого трудно было вынести. Слава богу, теперь поражено и оно[1242]. Стало быть, теперь я свободен, и, мне кажется, теперь трудно человеку придумать, чем бы оскорбить меня. Вы только немножко меня оскорбили тем, что, обещавшись побранить, не побранили. Итак, смотрите исправьтесь в следующем письме. Упреки сами по себе уже составляют теперь потребность души моей, а переданные вами и принятые от вас, они внесут еще утешенье в душу, как бы жестки ни были. Все, что ни говорят о мне дурное, хотя бы самую нелепицу и видимую ложь, пишите все, бог поможет мне и во лжи отыскать правду, это уж мое дело. Не скрывайте от меня также и имени того, который обо мне говорил дурно. Будьте уверены, что не только не стану питать на него неудовольствия, но возблагодарю его потом как друга, если приведет случай когда встретиться. Не скрывайте от меня ничего, что обо мне. Я слишком хорошо знаю,

что на счет мой множество также повторяется невинным образом разных вещей, и потому говорящий дурное часто совсем не виноват. Души моей никто не может знать: она доступна еще меньше вашей, потому что я даже и не говорлив. В последнее время, когда я ни бывал в Петербурге или в Москве, я избегал всяких объяснений и скорее отталкивал от себя приятелей, чем привлекал. Мне нужен был душевный монастырь. Вам это теперь понятно, потому что мы сошлись с вами вследствие взаимной душевной нужды и помощи и потому имели случай хотя с некот<орых> сторон узнать <друг> друга, но они этого не могли понять. Из них, вы сами знаете, никто не воспитывается; стало быть, всякий поступок они могли истолковать по-своему. Отчуждение мое от них они приняли за нелюбовь и охлаждение, тогда как любовь моя возрастала, да и не могло быть иначе, потому что я, слава богу, их больше знаю, чем они меня. И если бы они вследствие общей превратности человеческой сделали бы, точно, что-нибудь дурное или изменились даже в характерах, я бы все не изменился в любви, и может, бог помог

бы мне тогда-то именно и восчувствовать нежнейшую любовь, когда бы они очутились в крайности запятнать или погубить свою душу. Это, впрочем, так и быть должно у всех нас: когда мы видим в болезни или даже при смерти нам близкого человека, тогда только оказывается, как велика любовь наша к нему. Мы не жалеем ни денег, ни собственного попечения, готовы все, что имеем, отдать доктору и сильно молимся богу о его выздоровлении. Итак, не откажите же в моей просьбе. Дурно то, что вы очень пристрастны и что, вероятно, не раз меня хвалили, а потому все, зная, что вы некоторым образом держите мою сторону, не будут при вас говорить обо мне дурно. Проступок этот следует загладить. Мнения ваши обо мне должны быть всегда вот каковы: «Я никак не утверждаю, чтобы он был хорош, но в нем есть одно такое свойство, которого я не находила у других людей: это желание искреннее и сильное быть лучшим, чем он теперь есть, он один из всех тех людей, которых я знаю, примет всякое замечание, совет, упрек, от кого бы то ни было и как щекотливы бы они ни были, и умеет быть

за это благодарным». Вот какие слова вы должны всегда говорить обо мне. Во-первых, вы скажете этим сущую правду, потому что действительно оно так. Во-вторых, словами этими вы не раздражите никого, хотя бы он и был недоброжелатель и нерасположенный ко мне. В-третьих, в этих словах уже заключится упрек, необходимый душе того, который будет с вами говорить. Уменье не оскорбляться словами редким из них известно, и очень его не мешает иметь побольше. Словом, вы можете тогда из похвалы мне сделать пользу другому. Итак, теперь, как вы видите сами, вам предстоит выплатить мне долг свой, если только я действительно, как вы говорите, оказал кое-какие услуги душе вашей. То, что вы можете для меня сделать, то вряд ли может сделать другой. Вы меня все-таки больше знаете. Вы знаете, что я могу быть ближе всех других к гордости, знаете также, что проступков может быть у меня больше, чем у всех других, потому что я, как вам известно, соединил в себе две природы: хохлика и русского. Смотрите же! мы должны слишком заботиться друг о друге, слишком оберегать друг друга

от всего порочного, чтобы потом, когда мы оба будем у небесного нашего родителя, броситься нам безукоризненно друг друг<у в> объятия и не попрекнуть бы, что на земле про<пу>стили что-нибудь сделать друг для друга.

Затем прощайте. Обнимаю вас.

Ваш *Г*.

Я позабыл <сделать> вам не упрек, но вроде его. Мне кажется, что вы напрасно показываете мои письма, <то есть я говорю о письмах, которые> в Париже вы показали Тургеневу[1243]. Из этого выходит что-то странное. Я получил нечто вроде комплимента за благородство чувств. Письма, особенно вроде этого, которое пишу к вам, должны оставаться между нами. При сем прилагаю вам письмо, которое вы должны отдать Плетневу и вытребовать от него ответ без всяких изворотов[1244]. А добрейшему Аркадию Осиповичу[1245] поклон. Очень буду рад провести с ним будущую зиму в Риме. Нынешнюю же остаюсь во Франкфурте, а потому и адрес по-прежнему, ибо я остаюсь и живу по-прежнему в доме

Жуковского, Sachsenhausen или иначе: Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

Смирнова А. О. – Гоголю, 3 ноября 1844

3 *ноября 1844 г. Петербург* [1246]

Ноября 3.

Любезный Николай Васильевич, два дня только, и в душе моей благодатная перемена. Все тревожное, мятежное пропало вдруг перед светом чистым и прекрасным, который меня озарил. В воскресенье я еще страдала, томилась в гневе, боялась за себя и не предвидела конца этому состоянию. В понедельник состояние это дошло до отчаяния, а вечером солнце взошло, и с тех пор я так счастлива, как в лучшие и счастливейшие минуты, с вами проведенные в Ницце. Да благословит вас бог! Вы, любезный друг, выискали мою душу, вы ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется и невозможно. На нем растут прекрасные розы, благоуханные, сладко душу успокаивающие. Обо мне шли такие слухи, и идут еще теперь, что каждый почитал себя вправе со мною обходиться самым презрительным образом. Да

оно и поделом мне: ведь лучше за грехи здесь платиться. Тут достается не только за то, что действуешь вопреки мнению и правилам общественным, но и за то, что душу свою мараешь, пачкаешь и губишь даром, и оттого, что не понимаешь, что такое душа. Если бы мы все вполне понимали, что душа сокровище, мы бы ее берегли больше глаз, больше жизни. Но не всякому дано почувствовать это самому, и не всякий так счастливо нападает на друга, как я. Но теперь не об этом речь.

При сем письмо Плетнева[1247]. Я не хотела выслушать его отговорок и требовала настоятельно ответа... До завтрого. И завтра еще не пришло, а я вам пишу. Теперь слушайте мои упреки.

У Ростопчиной при Вяземском, Самарине и Толстом разговорились о духе, в котором написаны ваши «Мертвые души», и Толстой сделал замечание, что вы всех русских представили в отвратительном виде, тогда как всем малороссиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их; что даже и смешные стороны имеют что-то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хох-

ла такого подлого, как Ноздрев; что Коробочка не гадка именно потому, что она хохлачка. Он, Толстой[1248], видит даже невольно вырвавшееся небратство в том, что когда разговаривают два мужика и вы говорите: «два русских мужика»[1249]; Толстой и после него Тютчев, весьма умный человек, тоже заметили, что москвич уже никак бы не сказал «два русских мужика». Оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе», где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрия и Остапа.

Вот все, что о вас говорилось часто при мне. О недостатках во вкусе и прочих мелких погрешностях я не упоминаю; это дело критики фельетонов. Из этих замечаний надобно заключить бы, что вы питаете то глубоко скрытое чувство, которое обладает Малороссией и так редко, но и еще и недавно выразилось казаком в Полтаве, когда государь, посылая казацкий полк на Кавказ, поручая старому атаману, сказал: «Смотри же, ты мне отвечаешь за свою голову и за них», а он отвечал: «Будь спокоен, царь, не сослужим тебе такой службы, как твои москали, як ты вступив на

престол». Но ведь и я родилась в Малороссии, воспиталась на галушках и варениках, и как мне ни мила Россия, а все же я не могу забыть ни степей, ни тех звездных ночей, ни крика перепелов, ни журавлей на крышах[1250], ни песен малороссийских бурлаков. Все там лучше, чем на севере, и все чрез Малороссию пройдем мы в Константинополь, чтобы сдружиться и слиться с западными собратьями славянами. А как и когда забудется, что некогда Украина была свободна. Бог весть! Итак, никто более меня не понимает вашего – может быть, вами самими неузнанное чувство и таящееся от вас самих[1251]. Я, впрочем, заметила им, что хохлы вас тоже вовсе не любят и вас в том же упрекают, как и русские. Плетнев это мне еще подтвердил.

При сем письмо от Плетнева – вам ответ на ваши запросы. Он вас не понимает, да, может, никогда и не поймет. Он человек добрый, но слишком привыкший к посредственному однообразию. В жизни часто сближаешься с людьми, которых и любишь за добрые их качества, но которые не могут понять нас. Этим людям надо бы показывать только ту сторо-

ну, которую они понять могут, а вы с Плетневым поступили, по молодости, как с гораздо умнейшим человеком.

Михайлу Михайловичу[1252] посланы наконец для вас книги. На днях отправилось к вам, через весьма верную оказию, длинное письмо, очень нужное и интересное, как сказывал мне тот, чрез чьи руки оно прошло. Это будет вам занятие на месяц. Чтобы вам не взгрустнулось, я буду писать чаще; напишет Аркадий и Софья Михайловна. Самарин вам пришлет «Феофана»[1253] и будет писать.

Самарин – удивительная жемчужина в нашей молодежи. Он может сравниться душою с Михайлом Михайловичем, а умом его выше. Я с ним очень дружески сблизилась после долгих недоумений, происшедших вследствие лестных слухов, которые летают обо мне. Видеть его я не могу часто: он еще слишком молод и я не довольно стара и дурна, а когда встречаемся, то всегда искренно и дружески. Он вас ужасно любит, этого для меня достаточно.

На днях сидел у меня мой поп. Мы с ним провели утро от 11 до 4 часов, и едва ли мож-

но так поговорить с католическим попом. Теперь прощайте, любезный друг мой. Молитесь богу обо мне, чтобы он меня сохранил в чистоте душевной. Боюсь похвастать, а меня не тревожат более скверные мысли. Я слишком занята: день у меня пролетает весь в деле, хотя я и не читаю. А у бога прошу для вас смирения. Мне страшно, чтобы вы, видя влияние свое на людей, не возмечтали. Я ведь сама имею эту слабость – о себе возмечтать, а этот грех куда ведет далеко!

Я Плетнева письмо распечатала: конверт был слишком велик. Я его не читала. Знайте вы, что вам вперед не должно ни у кого занимать, как только у меня. У меня есть оттуда деньги, перед кем вся Россия в долгу[1254]. Меня там знают и не отказывают.

Смирнова А. О. – Гоголю, 26 ноября 1844

26 *ноября 1844 г. Петербург* [1255]

Воскресенье, 26 ноября.

Сегодня я свое воскресенье подгадила. Легла вчера рано, читала долго, заснула в три часа, встала в десять и застала обедню за Херувимской. От этого у меня голова никуда не го-

дилась; заснуть мне помешали, и я читала всякую всячину. Между этой всякой всячиной читала Оленьке[1256] вслух статью Хомякова в «Библиотеке для воспитания» о Федоре Ивановиче[1257]. Это вещь удивительная, но для ребенка обыкновенного немного тяжело. Да Оленька, впрочем, ребенок необыкновенный, но и она не поняла ее. Может быть, и то, что она по-русски еще плохо знает и что не только общий смысл, но и смысл слов ей еще недоступен. Тут в одном месте вылилась совершенно ваша душа. Я вам выписываю одну страничку; она же последняя и прекрасно венчает все намерение этой статьи.

«Конечно, нельзя сомневаться, что Годунов, облеченный в полную доверенность царскую, управлял всеми делами государства; но можно быть уверенным, что даже и без Годунова царствование Федора Ивановича было бы временем мира и славы для его подданных. Если государь правдолюбивый ищет доброго совета, добрый совет является всегда на его призвание. Если государь-христианин уважает достоинство человеческое, престол его окружается людьми, ценящими в себе вы-

ше всего достоинство человеческое. Ум многих, пробужденный благодушием одного, совершает то, чего не могла бы совершить мудрость одного лица, и предписания правительства, согретого любовью к народу, исполняются не страхом, а теплою любовью народною. Любовь же одна созидает и укрепляет царства. Поэтому не приписывайте всего царскому советнику Борису Феодоровичу Годунову и знайте, как много Россия была обязана царю Федору Иоанновичу, вспоминайте его имя с благодарностию и, когда пойдете в Кремль, в Архангельском соборе (с южной стороны, в приделе) поклонитесь гробу доброго царя Феодора Иоанновича, последнего из венценосцев Рюрикова рода»[1258].

Есть еще в этой книге хорошая статья Шевырева о Рафаеле[1259]. Если вы хотите, я вам пришлю этот журнал за прошлые месяцы. Прочтите Васильку[1260] эту страничку. Он как-то совсем отстранил себя от всякого движения. У меня для вас лежат два пакета книг, остановка за оказией. Между ними и «Феофан» от Самарина[1261]. Маленькое письмо от него при сем распечатано за неприлично-

стью своего облачения; так было и письмо Плетнева. Плетнев же, по совершении своего подвига, уже более ко мне не является.

Самарина статья мне очень полюбилась; в ней много прекрасного. Но мне показалось, что более передумано об истине христианской, чем перечувствовано.

Вытребуйте от Тургенева письмо Чаадаева по случаю его диспута в университете[1262]; вам будет приятно узнать, как все происходило. Но говорят, будто бы Чаадаев подсмеивается тут над ним или, лучше, над тенденцией, отдавая справедливость таланту и знанию. Дело в том, что очевидцы рассказывают чудеса о его хладнокровии и скромной уверенности, сам же он и не понимает об это<м> триумфе. Умен он очень, и добр, и чист сердцем, но ясность совершенную тогда получит, когда поверит безусловно истине; тогда обретет науку, тогда готов будет на дело – не на дело бесплодное, каково оно без веры, а на дело исполненное любви; тогда, может быть, если богу угодно, он его и уполномочит для будущности. Это я все ему повторяю беспрестанно и пророчу смерть духовную без веры.

Впрочем, я вам письмо Чаадаева сберусь с силами и перепишу, а вы молитесь всегда за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живою благодарностию любящую. Вы мне сделали жизнь легкую; она у меня лежала тирольской фурой на плечах. А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресенья. Вы скажете мне, очень ли это дурно, потому что я, впрочем, непрестанно – иногда свободно, иногда усиленно – себя привожу к богу. Я с ленцой; поутру проснусь поздно, и тотчас начинается житейская суета хозяйственная, и дети являются. Не менее того, я часто твержу: едино же есть на потребу[1263], и даже чувствую, что от светского самолюбия и тщеславия я вовсе отпала. Кое-когда и промелькнет гордая мысль, но в виде тех болезненных мыслей, которые выгоняются псалмами[1264]. Однако вы знаете сердца хорошо; загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиною доброго дела или чувства. St. François de Sales где-то говорит: «Je suis pour moi tout un diocèse plus difficile à conduire

que 10 000 âmes». St. François[1265] себя хорошо знал и был чист как ангел, а я вам известна во всей своей черноте, и можете ли вы придумать, что точно так скоро сделалась благодатная перемена во мне, или я только себя обманываю, или приятель так меня ослепил, что я не вижу ничего и радуюсь сердцем призраку. Эта мысль меня иногда пугает в лучшие минуты жизни, когда я точно чувствую, что сердце согрето любовию беспредельной и благих намерений и желаний.

С Н.[1266] мы в хороших сношениях, хотя я вижу, что он еще ждет какого-то романа; но в романе я права ему отказывать и при первой оказии, упираясь на слова Иоанна Михайловича Наумова, объясню ему теперешние наши сношения. Наумов же обещал сам с ним переговорить, в случае неудачи с моей стороны. Впрочем, и ему со временем объяснится все; надобно мне только хранить свой характер или свои намерения твердо. Он, однако же, страстно любит всякого рода объяснения; придется ему и словами растолковать. Ведь вы один доискиваться умеете до души без слов.

Старичков своих (Филоновы) я посещаю (о которых вам говорила в Риме). Они чуть ли еще прекраснее прежнего. Я, признаюсь, боялась его уже не застать в живых, но богу еще было угодно продлить его страдальческую жизнь, а ему 85 лет.

Что вы так давно не пишете? Перестаньте хандрить. Ее-то, хандру, и надобно прогнать живым участием ко мне. Ведь я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более, чем когда-либо, мне нужны.

Двор переехал в Зимний, с сожалением оставив грустное и уединенное Гатчино. Я была там в четверг. Все были очень ласковы, и более ничего и ничего. Надобно время[1267].

Прислал ли вам Михаил Михайлович книги из Берлина? Они еще на колесах туда поехали, а теперь мы уже по песку ездим в санях. Скажите, каково теперь вам в Франкфурте-на-Майне без Убри и Марченки? Я, чай, скучно. Как вы уживаетесь с Елизаветой Евграфовной[1268]? У Жуковского остались мои ноты; мне они нужны. Дать их Струве; пусть пришлет с франкфуртским курьером.

Надежда Николаевна[1269] расцветает как пион и продолжает удивлять слушателей неожиданностью своих ответов.

Прощайте. Люблю вас много и премного.

Смирнова А. О. – Гоголю, 18 декабря 1844

18 *декабря 1844 г. Петербург* [1270]

18-го декабря, в понедельник.

Вчера утром пришел ко мне Плетнев с вашим письмом[1271], и мне открылась загадка вашего молчания: на такое письмо надобно время, и вы хорошо сделали, что сперва ему отвечали. Я говею, следовательно, очищаю душу от грехов, готовлю ее на обновление, на преумножение правды, любви, страха божия. Теперь я вижу уже глазами более светлыми, нежели тому назад шесть месяцев; знаю и то, что совесть мне гласит; знаю и то, что искренняя дружба вынуждает меня вам сказать без всяких лишних светских обиняков. На Плетнева вы не пеняйте за то, что он потребовал нужду показать мне ваше письмо. Во-первых, с Плетневым самим произошла большая перемена в эти последние три года, и он,

несмотря на то, что вы нашли его уже созревшим и характер его образованным, он был всегда прекрасный и добрый человек без сознания христианского, а теперь, благодаря бога и приятеля его Грота, Плетнев сделался истинным христианином, но в пределах своего практического благоразумия и данных семейных, которые давно определили его жизнь; потому Плетнев не может многого понимать того, что вы говорите и делаете; потому многое, что вы ему говорите, ему непонятно и кажется фальшивым. Он не уверен в вас, и притом ему кажется, что в вас нет простоты. Плетневу нужно было со мною переговорить, чтобы решить недоумение на многие слова ваши. Потому не сердитесь на него, а, напротив, сознайтесь, что он поступил благоразумно. То, что меж им, мною, вами, останется меж нами. Плетневу я едва ли не так нужна была всегда, как вы мне в последние годы. Он меня также воспитал в некотором отношении; мы так связаны с ним, что я души его потребность. Во-первых, Плетнев вас упрекал в недостатке простоты, и я с ним тоже согласна. Этот недостаток для меня уже проявился в

Ницце, когда с таким упорством вы отказывались жить у Вьельгорских и не хотели изъяснить мне причин этого отклонения. Проявлялся позже этот недостаток в более мелочных вещах; наконец, и тогда, когда я вас спрашивала о денежных ваших обстоятельствах. Вы отвечали мне, что деньги всегда будут, а как – и не намекнули даже. Бог вас знает, какие у вас на этот счет понятия! А дело в том, что, пока вы еще не совсем расстались с миром, то должны о мирском помышлять. Что хорошо ли вы сделали, что вы запутались с светом, или дурно, – это вопрос другой, и вы сами решите его. Но если же уже запутались, то не забрыкать же ногами во всех и на все, бросить всех, а они себе там хоть умирай. Смотрите, чтобы не брыкнуть так, что вы вовек не успокоитесь после этого. Вы же мне говорили, что мы здесь тесно связаны друг с другом. Это правда не в одном отношении отвлеченном, но и в материальном; так тесно связаны души наши с телами нашими, что это повторяется и в общественности нашей: мы, спасая души близких нам, не можем и не должны пренебречь о их теле. Ведь Филонов

умер бы с голоду, если бы Александра Осиповна ему только Библию посылала!.. У вас на руках старая мать и сестры. Хотя вы думали, что обеспечили их состояние, но что ж делать, если по неблагоразумию, или каким-либо непредвиденным обстоятельствам, они опять у вас лежат на плечах. Дело ваше прежде всего, при получении отчета Прокоповича[1272], сперва и не помышляя ни о какой помощи бедным студентам, выручить ее из стесненных обстоятельств. И потому мы решили с Плетневым, что так и поступим, если точно есть какие-нибудь деньги у Прокоповича. А до московских нам никакого дела нет; так пусть делают, как хотят[1273]. С вашими планами для студентов вы мне напомнили одного фурьериста, который свой капитал растратил для общественного блага, а потом сам с женой и детьми умирал с голоду; кончилось тем, что брыкнул в жену ногой, а сам для общественного блага заперся в четвертом этаже. Знаете ли, что St. François de Sales говорит: «Nous nous amusons souvent à être bons anges, et nous oublions qu’il faut avant tout être bons hommes»[1274]. Итак, будьте проще, удобнее

понятным всем тем, которые ниже вас на ступени духовной. Не скрывайтесь и не закрывайтесь беспрестанно. Зачем вы так тайно хотите помогать другим? Тут особенно должна быть большая простота; этому делу не надобно придавать никакой важности. Не помогать – просто мерзость, когда есть на то способы; и когда помогаешь, то на это надобно смотреть так, как на всякое житейское дело. Чтобы избегнуть упрека, что одни фарисеи раздают на перекрестках, и выполнить буквально предписание, «дабы левая твоя не ведала, что делает правая», вы забываете: «Да светят дела ваши добрые перед людьми в славу божию»[1275]. Кто знает? может быть, узнав, что вы своей лептой помогаете брату, на это и у других явится охота им помогать; таким образом вы поможете большему числу людей. Конечно, ни Плетнев, ни я об этом публиковать не будем, а если оно узнается, то беда небольшая, что вас назовут. Меня все старухи петербургские знают, даже и безрукие офицеры, и я вовсе от этого не прячусь и не скрываюсь; мне даже все равно, если скажут, что я ханжа. Богу одному известно, что в

глубине души моей. Другое дело, если бы друзья мои меня начали упрекать в лицемерстве; им бы я открыла свою душу и не запирала бы, <ка>к вы, ее в три замка. Сознайтесь, что все ваши недоразумения произошли от вашей молчаливой гордости.

Вот вам, кажется, упреки и правда – т. е. правда по моим понятиям. Вы просили упреков, как живой воды; вот вам и от меня посыпались.

Теперь перейдем опять к делу положительному – к деньгам. Я человек практический; меня Жуковский всегда называл честным человеком, платящим свои долги и считающим всякую копейку. Вот что. Прежде еще получения вашего письма, мы, – а кто именно, не нужно вам знать – имели обещание получить их, и оставим их у себя впредь до вашего приказания. Меж тем Плетнев узнает у вас в деревне, сколько там нужно, чтобы выйти из крайности. Туда пошлется, сколько можно, а остальное пришлется вам. Когда Прокопович отдаст отчет и буде у него что-нибудь накопилось, оно также нам не помешает. Вы тогда должны себя и своих близ-

ких обеспечить прежде всего. Так требует благоразумие, и вы не вправе налагать на себя наказание за свои литературные грехи голодом. Эти грехи уже тем наказаны, что вас препорядочно ругают и что вы сами чувствуете, сколько мерзостей вы пером написали. Во-вторых, ведь деньги только у вас в воображении; их, может быть, нет, да и не будет, и вы мне напомнили: «Perrètte sur sa tête ayant un pot à lait»[1276]; а вы уже ими и пожертвовали, не сообразясь ни с каким порядочным понятием о милостыне и подаянии.

Вот вам все то, что я о вас передумала. Извините меня, если я слишком резко выразилась. У меня таки есть резкость в выражениях, да притом я по-русски пишу с трудом. По-французски можно делать упреки с комплиментами, а по-русски никак нельзя.

Скажите Жуковскому, что Андрей Карамзин сам три раза писал левой рукой матери. Раны его так неопасны, что мы надеемся его увидеть в конце генваря[1277].

Здоровье императрицы[1278] очень нас беспокоит. Биение сердца почти ежедневно. Бог знает что это за болезнь? Вероятно, летом

ей придется ехать на воды; по крайней мере, мне это кажется необходимым, но об этом ничего не говорят.

Знает ли Жуковский, что князь Александр Николаевич Голицын умер месяц после того, как опять прозрел после операций, и умер от водяной? Он был честный и добрый человек.

Имение все роздал бедным: после него ничего не нашли для племянников; они, прочем, не нуждаются.

Затем прощайте, любезный, прекрасный и добрейший Николай Васильевич. Бог вас да наставит и сохранит. Молюсь за вас, а вы молитесь за меня. Ваша от души *А. Смирнова*.

Получили вы 4 пакета с книгами? Они отсюда были пересланы Михаилу Михайловичу[1279]. Спросите у него о них. При первой оказии перешлю еще два последние тома Тихона Задонского[1280], Макария «О молитве» и книгу Самарина[1281]. После начну пересылать «Христианское чтение». Говорят, вышли славные вещи Стурдзы[1282]. Хотите ли вы его? Читали ли вы что-нибудь из его сочинений?

Гоголь – Смирновой А. О., 28 декабря

1844 (9 января 1845)

28 *декабря 1844 г. (9 января 1845 г.) Франкфурт* [1283]

1844. Декабря 28[1284].

Письмо ваше, добрейшая моя Александра Осиповна, меня несколько огорчило. Плетнев поступил нехорошо, и вы поступили нехорошо. Плетнев поступил нехорошо, потому что рассказал то, в чем требовалось тайны во имя дружбы; вы поступили нехорошо, потому что согласились выслушать то, чего вам не следовало, тогда как вам бы следовало в самом начале остановить его такими словами: «Послушайте, хотя я и близка к этому человеку, но если он скрыл что-нибудь от меня, то неблагородно будет с моей стороны проникнуть в это. Одно только, так бы вы могли прибавить, могу я вам сказать в успокоение, что этот человек достоин несколько доверия, он не совсем способен на необдуманные дела, и даже, сколько я могла заметить, он довольно осмотрителен относительно всякого рода добрых дел и не отваживается ни на что без каких-нибудь своих соображений. А потому ока-

жем ему доверие, особливо когда он опирается на слова: воля друга должна быть свята»[1285]. Но вы так не поступили, моя добрая Александра Осиповна. Напротив, вы взяли даже на себя отвагу перерешить все дело, объявить мне, что я делаю глупость, что делу следует быть вот как и что вы, не спрашивая даже согласия моего, даете ему другой оборот и приступаете по этому поводу к нужным распоряжениям, позабывши, между прочим, то, что это дело было послано не на усмотрение, не на совещание, не на скрепление и подписание, но как решенное послано было на исполнение, и во имя всего святого, во имя дружбы молилось его исполнить. Точно ли вы поступили справедливо и хорошо и справедливо ли было с вашей стороны так скоро причислить мой поступок к донкишотским? В обыкновенных, житейских делах призывается по крайней мере в таких случаях доктор с тем, чтобы пощупать пульс и узнать, действительно здрава ли голова и цел ли ум, и уже не прежде решаются отвергнуть решение как безумное. А вы поступили ли таким образом со мной? Упрек ваш и замечания, что у

меня есть мать и сестры и что мне о них следует думать, а не о том, чтобы помогать сторонним мне людям, мне показались также несправедливы, отчасти жестоки и горьки для моего сердца. Друг мой, Александра Осиповна, я не почитаю себя сыном, исполнившим все обязанности свои относительно родителей, но рассмотрите сами, не сделал ли я, что по возможности мне можно было сделать: мне следовала половина имения (и притом лучшая, 100 душ кр<естьян> и земли). Я их отдал матери и сестрам в то время, когда я сам не имел верного пропитанья. Этот поступок называли в свое время также донкишотским многие добрые люди. Кроме того, мне удалось кое-что присылать им иногда в помощь из Петербурга, добытое собственными трудами; кроме того, я поместил сестер моих в институт и платил за них из своего кармана до времени, пока добрая государыня не взяла их на свой счет. Это, конечно, небольшое дело. Лучшим делом с своей стороны я считаю то, что пожертвовал им своим временем и провел с ними год по выходе их из института, для того, чтобы хотя сколько-нибудь воспи-

тать их для того места и круга, среди которого будет обращаться их жизнь, чему, как известно, не учат в институтах. Словом, с теми средствами, которые я им доставил, можно было вести безбедную жизнь; но встретилось одно мешающее обстоятельство. Мать моя добрейшая женщина, с ней мы друзья, и чем далее, тем более становимся друзьями, но хозяйка она довольно плохая. Сестры мои умные и добрые девушки, любимые всеми в околотке за радушие, простоту в обращении и готовность помогать всякому, но к хозяйству и экономическим оборотам по имению имеют естественное отвращение, и немудрено, это дело мужа, а не женщины. С ними случается то же самое, что со многими: они отказывают себе во всем, иногда самом необходимом, и этим, однако ж, ничуть не помогают хозяйству, потому что в самом хозяйстве хозяйствуют невпопад, воздерживают и ограничивают себя невпопад, издерживают и тратят в отношении к потребностям экономическим невпопад. Оказавши не один раз вспомоществованье им деньгами, даже и в последующее время (я не оставлял их до сих пор, сколько

могли мне содействовать слабые мои средства), я увидел ясней, что не в деньгах сила и что они будут бросаемы как в сосуд, в котором нет дна и которого вечно не наполнишь. Я почел это знаком и определеньем божиим, что мне следует наконец заняться самому тем, чем доселе гнушался, и взял теперь на свои руки их хозяйство. И хотя это отняло у меня много времени, но бог милостив, он помогает мне и здесь, как помогал мне во многом, и я больше ничего, как смиренно рассматриваю отчеты, распоряжения и проделки, вижу, что многое можно поправить простыми средствами, и есть надежда, что дело пойдет на лад, хотя слишком горьки, трудны и скучны для меня с первого раза эти занятия. Итак, рассудите сами, друг мой, справедливы ли были ваши упреки и не жестоко ли было для моего сердца услышать их от вас? Еще скажу вам, что мне показалось слишком резкою уверенность ваша в авторитет слов своих, особливо когда вы твердо называете желание мое помочь бедным студентам безрассудным. Не бедным студентам хочу помочь я, но бедным талантам, не чужим, но родным и

кровным. Я сам терпел и знаю некоторые те страдания, которых не знают другие и о которых даже и не догадываются, а потому и помочь не в состоянии. Несправедлив также ваш упрек и в желании моем помочь тайно, а не явно, несправедливо также приведены здесь в другом случае справедливые слова, что дела наши должны светить всему миру, равно как невпопад было приведено вами многое из François de Sales. На все это я могу вам сказать только словами ап. Павла: «Кийждо своею мыслью да извествуется»[1286]. Поверьте, что делающий доброе дело не без разума его делает и соображается с тем, когда оно должно быть явно и когда тайно. А потому и сия тайная помощь моя бедным талантам основана на посильном знании моем человеческого сердца, а не просто на какой-нибудь идее, принятой на веру. Талантам дается слишком нежная, слишком чуткая и тонкая природа. Много, много их можно оскорбить грубым прикосновением, как нежное растение, принесенное с юга в суровый климат, может погибнуть от неуместного с ним обхождения не приобвыкшего к нему са-

довника. Трудно бывает таланту, пока он молод или, еще справедливее, пока он не вполне христианин. Иногда и близкий друг может оскорбить, оказав ему радушную помощь, может потом попрекнуть его в неблагодарности. Это часто делается в свете, иногда даже без строгого рассмотрения, а по каким-нибудь внешним признакам. Но когда дающий скрыл свое имя, значит, он верно не потребует никакой благодарности. Такая помощь приемлется твердо и неколеблемо, и будьте уверены, что незримые и прекрасные моленья будут совершаться в тишине о душе незримого благотворителя вечно, и сладко будет получившему даже и при конце дней вспомнить о помощи, присланной неизвестно откуда. Итак, оставимте эти строгие взвешиванья благодетельных дел наших. Мы не судьи. Если же судить, то нужно судить, забравши все доказательства и аргументы. Не тяжко ли будет для вас, если бы я, увидя кого-нибудь из братьев ваших нуждающегося и сидящего без денег, стал бы укорять вас в том, что вы помогаете посторонним бедным или же даже изъявляете готовность помочь мне?

Свет ведь обыкновенно так судит. Не будьте же похожи и вы на свет. Оставим эти деньги на то, на что они определены. Эти деньги выстраданные и святые, и грешно их употреблять на что-либо другое. И если бы добрая мать моя узнала, с какими душевными страданиями для ее сына соединилось все это дело, то не коснулась бы ее рука ни одной копейки из этих денег, напротив, продала бы из своего собственного состояния и приложила бы от себя еще к ним. А потому и вы не касайтесь к ним с намерением употребить их на какое-нибудь другое употребление, как бы благоразумно оно вам ни показалось. Да и что толковать об этом долго: обет, который дается богу, соединяется всегда с пожертвованьем и всегда в ущерб или себе, или родным, но ни сам дающий его, ни родные не восстают против такого дела. А потому я не думаю, чтобы вы или Плетнев вооружили бы себя уполномочием разрешить меня от моего обета и взять на свою душу всю ответственность. Итак, оставим в покое дело решенное и конченное; много есть и без него, о чем хлопотать. О потере же моей не сокрушайтесь. По-

верьте, что ни я, ни мать моя с ее семейством не много здесь потеряли. Едва-едва какую-нибудь тысячу в год, и то с большой возней и хлопотами, удалось бы мне получать, что все равно для меня что ничего. Притом я имею особенное предчувствие, что я ничего бы не получил из этих денег, но, назначенные на благое дело, в помощь тем, которым редко помогают, они не пропадут. К тому ж, сами знаете, молодые люди с дарованиями появляются редко, а потому сумма успеет накопиться, и что мне бы приходилось безделицами враздробь, то придется им целиком и в значительной сумме. Притом сами распорядители подвигнутся большим рвением и, зная, что жертвует не богач, но бедняк, который едва сам имеет чем существовать, употребят эти деньги так хорошо, как бы не употребили денег богача, так что и полушка не утратится даром. Но довольно. Еще раз молю, прошу и требую именем дружбы исполнить мою просьбу. Нечестно разглашенная тайна должна быть восстановлена. Плетнев пусть вымет из своего кармана две тысячи и пошлет моей матери; мы с ним после сочтемся. Все объяс-

нения по этому делу со мною должны быть кончены. Вы также должны отступиться от этого дела; мне неприятно, что вы в него вмешались. Все должно кончиться между Плетневым и Прокоповичем, и поверьте, оно кончится хорошо. Никто из них не будет ленивым и нерадивым в этом деле и не укорит даже в нерадении другого, хотя бы некоторые пустые видимые признаки и говорили о том. Я слишком знаю хорошо, к чему могут быть способны души их, и даже верю тому, что они могут любить меня, а потому как дело любви ко мне это будет выполнено. Эти страницы письма вы покажите Плетневу. И во имя любви ко мне способствуйте с своей стороны в том, чтобы просьба моя была исполнена.

Отсюда письмо начинается для вас одних, не с тем, чтобы его показывать кому-либо. Не стыдно ли вам взглянуть на меня глазами Плетнева? Вы сами сказали в одном из прежних ваших писем, что у Плетнева не довольно ума для того, чтобы понять меня, а теперь сами разделяете его заблуждения и обвиняете меня в том же, в чем и он. Неужели вы до сих пор не можете почувствовать, что мы стоим с

ним на двух разных полюсах и что мне гораздо с ним труднее изъясняться, чем вам с Николаем Михайловичем[1287]? Требуя от меня простоты и откровенности[1288], он сам не знает, чего он хочет, я пробовал с ним говорить всеми возможными способами, и все было равно неудачно. Поверьте, что говорить с тем человеком, который чувствует недоверчивость к каждому слову и подозрительность ко всякому нашему поступку, сомневаясь в искренности всякого нашего движенья, – совершенно напрасный труд, потерянное время, себе страдание, ему тоже огорчение.

Но наиболее всего я раскаивался тогда, когда стремился быть откровенным с такими людьми. Тут всегда выходило хуже всего: ум их был вовсе не в состоянии сварить слов моих, предавался недоразумениям, толковал все иначе и наконец так запутывался в собственных догадках и предположениях, что я горько досадовал на себя самого даже и за одну мысль быть с ними откровенным. И вполне скрытным я начинал быть в глазах их именно с тех пор, когда покусился как-нибудь на откровенность. Так как вы уже вмешались в

это дело, то я вам скажу несколько слов, которые могут отчасти объяснить его, хотя признаюсь вам, мне слишком тягостно даже и несколько слов произнести: так даже одно напоминание о тех внутренних моих страданиях, которыми, незримо никому, страдала душа моя, мне (по слабосилию моему) горько. Прежде всего скажу вам о характере моих сношений с моими литературными друзьями и приятелями, к числу которых принадлежит и Плетнев. Прежде всего у меня начались знакомства и сношенья с литераторами, потому что я сам был литератор. Я всегда умел уважать их достоинства и умел от каждого из них воспользоваться тем, что каждый из них в силах был дать мне. Для этого у меня был всегда ум. Так как в уме моем была всегда многосторонность и как пользоваться другими и воспитываться была у меня всегда охота, то неудивительно, что мне всякий из них сделался приятелем и близким, как имеющий в себе что-нибудь такое, чего другой собрат его не имеет. Они же все, как нарочно (что может случиться только у нас в России), одарены необыкновенными и с тем вместе до

крайности оригинальными и не сходными между собою достоинствами, разнообразными умами, разнообразными характерами (отсюда очевидно, почему они так часто между собой враждуют и не сходятся во мнениях). Итак, умея ценить их, я умел от каждого из них воспользоваться кое-чем, а возблагодарить их за это откладывал всегда на дальше, то есть на то время, когда поумнею сам и буду в состоянии поучить их тому, чего у них недостает. Но никогда никому из них я не навязывался на дружбу, никого не просил из них или, что еще несправедливее, ни от кого не требовал жить со мной душа в душу, разделять со мною мои мнения и т. п. Словом, никаких никому не давал обещаний и никого не обязывал ничем относительно меня. Никому из них не поверял ни предположений, ни планов относительно меня самого и всего, что относилось лично к судьбе моей, считая это ненужным по многим причинам, во-первых, потому, что я и сам бы не мог в ясном виде сказать им того, что во мне самом еще находилось в младенчестве, во-вторых, потому, что посильное знание людей у меня, благода-

ря бога, было уже и тогда и я мог уже и тогда чувствовать, чем какой человек мог быть мне полезен и, стало быть, что именно ему следует и что не следует говорить, наконец, в-третьих, я уже и тогда чувствовал, что любить мы должны всех более или менее, смотря по их достоинствам, но истинным и ближайшим другом, которому бы могли поверять мы все до малейшего движения нашего сердца, мы должны избирать только одного бога. Это я живее и более должен был почувствовать, чем все другие, потому что, одаренный по его небесной милости многими сторонами характера и способностей, я бы никогда не мог высказать себя всего никому и потому что за всякую глупую попытку быть откровенным некстати и не у места платил уже и тогда весьма дорого. Итак, я уже и в начале смекнул мое положение и вел себя в отношении к моим литературным приятелям так, как следовало себя вести, говорил с ними слегка о некоторых моих литературных предположениях, но о себе самом, относительно моего душевного внутреннего состояния не говорил ни с кем. Со всеми ими я остался приятелем.

И таково было положение дел до времени выезда моего из России. Никто из них меня не знал. По моим литературным разговорам всякий был уверен, что меня занимает одна только литература и что все прочее ровно не существует для меня на свете.

С тех пор, как я оставил Россию[1289], произошла во мне великая перемена. Душа заняла меня всего, и я увидел слишком ясно, что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двигнуться ни одной моей способностью, ни одной стороной моего ума во благо и в пользу моим собратьям, и без этого воспитания душевного всякий труд мой будет только временно блестящ, но суетен в существе своем. Как бог довел меня до этой мысли, как воспитывалась незримо от всех моя душа – это известно вполне богу. Об этом не расскажешь. Для этого потребовались бы томы, и эти томы всё бы не сказали всего. Да и к чему рассказывать о том, какие вещества горели и перегорали во мне? Когда услышите потом раздавшееся благоухание, сами тогда догадаетесь, от горения каких веществ произошло благоуханье; если

ж не услышите благоухания, то нечего и знать о том, что горело в душе моей. Скажу вам только то, что небесно-милостив был ко мне бог, что святая милость его помогла мне в стремлении моем и что теперь, каков я ни есть, хотя вижу ясно неизмеримую бездну, отделяющую меня от совершенства, но вижу вместе с тем, что я далеко лучше от того человека, каким был прежде. Но всего этого, что произошло во мне, не могли узнать мои литературные приятели[1290]. В продолжение странствования моего и моего внутреннего душевного воспитания я сходился и встречался с другими людьми, и встречался с ними родственней и ближе, потому что уже душа слышала душу. А потому и знакомства, завязавшиеся в это время, были прочней тех, которые завязывались в прежние времена, немудрено: я сам стал достойней знакомства прочного, а не минутного. Доказательство этого вы можете видеть на себе: вы были знакомы со мною и прежде и виделись со мною и в Петербурге, и в других местах. Но какая разница между тем нашим знакомством и вторичным нашим знакомством в Нице! Не

кажется ли нам самим, как будто мы друг друга только теперь узнали, а до того времени вовсе не знали? А в последнее время произошли такие знакомства, что с одного, другого разговора уже обоим показалось, как будто век знали друг друга, и уже от таких людей я никогда не слыхал упреков в недостатке простоты или упреков в скрытности и неоткровенности. Все само собой казалось ясно, сама душа высказывалась, сами речи говорились. Если ж что не обнаруживалось и почиталось ему до времени лучшим пребывать в сокровенности, то уважалась даже и самая причина такой скрытности. И с полным чувством обоюдного доверия друг к другу, каждый даже утверждал другого хранить то, о чем собственный разум его и совесть считает ненужным говорить до времени, изгоняя великодушно из себя даже и тень какого-либо подозренья или пустого любопытства.

Итак, вот какого рода уже становились мои отношения со встречавшимися в последующее время со мною душами. Само собой разумеется, что обо всем этом не могли знать ничего мои прежние литературные прияте-

ли. Немудрено: они все познакомились со мною тогда, когда я еще был прежним человеком, зная меня и тогда довольно плохо. В приезд мой в Россию[1291] они все встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой идее и встречая в других противников своему мнению, ждал меня, как какого-то мессию, которого ждут евреи, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других, считая это первым условием и актом дружбы, не подозревая даже того (невинным образом), что требования эти, сверх нелепости, были даже бесчеловечны. Жертвовать мне временем и трудами своими для поддержания их любимых идей было невозможно, потому что я, во-первых, не вполне разделял их, во-вторых, мне нужно было чем-нибудь поддерживать бедное свое существование и я не мог жертвовать им моими статьями, помещая их к ним в журналы, но должен был их напечатать отдельно, как новые и свежие, чтобы иметь доход. Все эти безделицы у них ушли

из виду, как многое уходит из вида людей, которые не любят разбирать в тонкости обстоятельства и положения другого, а любят быстро заключать о человеке, а потому на всяком шагу делают беспрестанные ошибки. Прекрасные душой делают дурные вещи, великодушные сердцем поступают бесчеловечно, не ведая того сами.

Холодность мою к их литературным интересам они почли за холодность к ним самим. Не призадумались составить из меня эгоиста в своих мыслях, которому ничто общее благо, а дорога только своя собственная литературная слава. Притом каждый из них был до того уверен в истине и в справедливости своих идей и положений, что всякого с ним несогласного считал не иначе как совершенным отступником от истины.

Предоставляю вам самим судить, каково было мое положение среди такого рода людей. Но вряд ли вы догадаетесь, какого рода были мои внутренние страдания, которых начало началось отсюда. (Плетнев меньше всех был в них виновен, или, лучше сказать, он вовсе невинен, но зато он был смешней всех и

точный ребенок доныне.) Скажу вам только то, что между моими литературными приятелями началось что-то вроде ревности. Всякий из них стал подозревать меня в том, что я променял его на другого. И, слыша издали о моих новых знакомствах и о том, что меня стали хвалить люди им неизвестные, усилили еще более свои требования, основываясь на давности своего знакомства. Я получал престранные письма, в которых каждый, выставляя вперед себя и уверяя меня в чистоте своих отношений ко мне, порочил и почти неблагородно клеветал на других, уверяя, что они мне льстят только из своих выгод, что они меня не знают вовсе, что они любят меня только по моим сочинениям, а не потому, что они любят меня самого (все они до сих пор еще уверены, что я люблю всякого рода фимиам), и упрекая меня в то же время такими вещами, обвиняя такими низкими обвинениями, каких, клянусь, я бы не сделал самому дурному человеку, и поступков, приписываемых мне, я бы не приписал не только немного худшему меня, но даже никому бы не приписал, потому что просто безумное было бы

дело приписать их кому бы то ни было. Они в мыслях своих сделали из меня какую-то игрушку, бесхарактерного человека, который не знает вовсе людей, меняется в мыслях и переходит от одного к другому. И с тем вместе придавали мне такие качества, которые явно противуречат такому бесхарактерному человеку, как-то: эгоизм, славолюбие, недоверчивость, скрытность и тому подобное. Одним словом, они наконец вовсе запутались и сбились со всякого толку. Каждый из них на месте меня составил себе свой собственный идеал, им же сочиненный образ и характер, и сражался с собственным своим сочинением в полной уверенности, что сражается со мною. Теперь, конечно, все это смешно, и я могу, сказавши: «Дети, дети!», обратиться по-прежнему к своему делу. Но тогда мне было невозможно того сделать. Недоразумения доходили до таких оскорбительных подозрений, такие грубые наносились удары, и притом по таким чувствительным и тонким струнам, о существовании которых не могли даже и подозревать наносившие удары, что изныла и исстрадалась вся моя душа и мне слишком

было трудно. Тем более это было трудно, что даже и оправдаться мне не было возможности, как ни хотелось оправдаться. Оправдаться мне уже потому было нельзя, что слишком многому мне нужно было вразумлять их, слишком во многом мне нужно было раскрывать им мою внутреннюю историю. А при мысли о таком труде и самая мысль моя приходила в отчаяние, видя пред собою бесконечные страницы. Притом всякое оправдание мое было бы им в обвинение, а они еще не довольно созрели душою и не довольно христиане, чтобы выслушать такие обвинения. Мне оставалось одно – обвинить до времени себя, чтобы как-нибудь до времени их успокоить, и, выждав времени, когда души их будут более размягчены, открывать им постепенно, исподволь и понемногу настоящее дело. Вот легкое понятие о моих соотношениях с моими литературными приятелями, из которых вы сами можете вывесть и соотношения мои с Плетневым.

Он бы был гораздо умнее в сношеньях со мной и справедливей ко мне, если бы, на беду, не затянулся сам в литературное дело. Ему

вообразилось, что он, по смерти Пушкина, должен защищать его могилу изданьем «Современника», к которому сам Пушкин и при жизни своей не питал большой привязанности, хотя издавал его собственными руками и хотя я тоже с своей стороны подзадоривал его на это дело. Журнал определенной цели не имел никакой даже и при нем, а теперь и подавно[1292]. Плетнев связывает с ним какую-то пространную идею, которую имеет всякий и толкует по-своему, впрочем, и сам он этой идеи в статьях своего «Современника» никому не дал понять. Но тем не менее он считает, что один только идет по прямой дороге, по которой должен идти всякий литератор, и всех, кто не помещает статей в «Современнике», считает людьми отшатнувшимися и чуть не врагами тени Пушкина[1293]. Я это видел, а потому избегал всякого литературного разговора с ним в бытность мою в Петербурге, ибо мне предстояло или сказать: идея твоя совершенно справедлива, великодушна и благородна, – я твой помощник и сотрудник, или же сказать: любезный друг, ты гоняешься за тенью. Первого я бы не мог выпол-

нить, а вторым я бы рассердил его навсегда. Вот почему я избегал с ним всяких речей о подобных предметах, что повергало его в совершенное недоумение, ибо он считает, что я живу и дышу литературой.

Я очень хорошо знал и чувствовал, что он терялся обо мне в догадках и путался в предположениях, хотя этого не давал он мне заметить и хотя об этом не писал мне писем, а изредка только в разговорах с другими выражал неясно свое неудовольствие на меня. Мне захотелось узнать наконец, в каком состоянии находится он теперь относительно себя и относительно меня, и с этой целью я наконец заставил его написать откровенное письмо[1294]. Из этого письма я узнал то, что он больше ребенок, чем я предполагал. В письме юношеские упреки, юношеские стремления, смешение понятий дружбы и дружеских отношений с целями литературными. К этому примешалась мысль о единстве церкви в каком-то безотчетном, не объяснившемся для него самого соединении с литературой, наконец, противоречия себе самому и при всем этом твердая уверенность в

непреложности своих положений и в том, что он наконец мне высказал всю правду, указавши мне путь и дорогу как человеку отшатнувшемуся. Письмо это мне было нужно, потому что, кроме суждений о мне, показало отчасти его душевное состояние. Но при всем том я был приведен в совершенное недоумение, как отвечать на него. Когда я показал его Жуковскому, он рассмеялся и советовал отвечать на него в шутливом тоне, объяснив ему слегка, что он несколько зарапортовался. Но я видел, что этого никак нельзя. Плетнев бы тогда рассердился на меня навеки. В письме его слишком было много уверенности в справедливости своих положений и в том, что он один может ценить меня. При том в нем отражалась какая-то черствость душевная, негодующая на других, а не размягченность душевная, негодующая на себя, ищущая упреков себе. Я чувствовал, что мне слишком было нужно быть осторожным в ответе. Я ограничился только тем, чтобы сделать ему сколько-нибудь ясным: что можно ошибиться в человеке, что нам нужно быть более смиренными в рассуждении узнания человека, не преда-

ваться скорым заключениям, приличным гордому и уверенному в себе человеку, не выводить по некоторым поступкам, которых даже и причин мы не знаем, непреложных положений о всем человеке. Наконец, мне хотелось сколько-нибудь возбудить в нем сострадание к положению другого, который может сильно страдать, тогда как другие даже и не подозревают о его страданиях, и который через то самое еще более страждет, когда другие даже и не подозревают о его страданиях. Намерение мое было при этом и то, чтобы сколько-нибудь расположить его душу к умягчению, что одно я считал и для него и для меня необходимым, отстранив всякие объяснения на те обвинения, которые просто были даже вовсе не свойственны моей природе и могли быть сделаны человеком, знающим плохо человеческое сердце. Но и это письмо (которое, может, было только плохо написано, потому что мне трудно писать к тому, с которым еще не завязывались душевные искренние речи, но которое, однако ж, в существе своем было искренно), но и это письмо навело на него только одни недоразумения.

Вы говорите, что с Плетневым произошла большая перемена в последние три года и что он сделался истинным христианином. Странно: его письмо этого не показывает. Христианин не будет говорить таким образом о чистоте души своей, как говорил он, и чем чище он будет душой, тем больше будет в силах видеть нечистоту души своей, постигая только тогда всю недоступность божественного совершенства. Христианин не будет также отзываться таким образом, как отзывается он о людях, которых считает моими друзьями, называя их промышленниками, раскольниками, врагами истины и просвещения и тому подобными именами[1295]. Против некоторых из этих людей, на которых он намекает, я более всех других имел бы право негодовать, получив личные оскорбления от них, из коих, бог знает, вынес ли бы и десятую долю Плетнев. Но, отстранив в сторону всякие личные отношения, я должен сказать истинную правду, а именно, что душа у них так же добрая, как и у него, и сердце так же прекрасное, как и у него, но что они так же, как и он, сбились несколько с толку или, как говорится, зара-

портовались. Так же, как и он, отчасти бредят и единственно от неведения своего произвели некоторые поступки такие, которых бы никак не произвели, если бы были побольше христианами. Наконец, мне кажется, христианин не станет так отыскивать дружества, стараясь деспотически подчинить своего друга своим любимым идеям и мыслям и называя его потому только своим другом, что он разделяет наши мнения и мысли. Такое определение дружества скорее языческое, чем христианское. Притом же и Христос не повелевал нам быть друзьями, но повелел быть братьями. Да и можно ли сравнить гордое дружество, подчиненное законам, которые начертывает сам человек, с тем небесным братством, которого законы давно уже начертаны на небесах. Те, которых души уже загорелись такой любовью, сходятся сами между собою, ничего не требуя друг от друга, никаких не произнося клятв и уверений, чувствуя, что связь такая уже вечна и что рассориться они не могут, потому что все простится, и трудно было бы даже им и выдумать что-нибудь такое, чем бы один из них мог оскорбить

другого. Разве мы с вами давали какие-нибудь обещания друг другу, разве из нас требовал кто-нибудь от другого одинакого образа мыслей, мнений и тому подобное, напротив, каждый из нас шел своей дорогой к тому же нашему небесному виновнику нашей жизни. А встретились мы потому, что шли к нему. Но что тут говорить! Растет любовь сама собою; и поглощает потом все наше бытие, и любится нам уже оттого, что любится.

Итак, мне кажется, что вы не совсем справедливы, сказавши, что Плетнев теперь сделался истинным христианином. Я знаю также, что очень много теперь есть истинно достойных людей, которые думают, что они христиане, но христиане только еще в мыслях и в идеях, но не в жизни и не в деле. Они не внесли еще Христа в самое сердце своей жизни, во все действия свои и поступки. Есть также и такие, которые потому только считают себя христианами, что отыскали в евангельских истинах кое-что такое, что показалось им подкрепляющим любимые их идеи. А потому вы испробуйте сами Плетнева, заговорите с ним о таких пунктах, на которых узна-

ется, как далеко ушел человек в христианстве, испробуйте также его мнения о других людях. Отзывается ли он о них так, как христианин? И если, по словам вашим, он в вас имеет такую же нужду, как вы во мне, то сделайте для него то, что предпишет вам истинная братская любовь: уврачуйте, что найдете в болезненном состоянии, умягчите с небесной кротостью то, что зачерствело, но обо мне покаместь с ним не говорите, не разуверяйте его насчет меня, и храни вас бог показывать ему какие-нибудь мои письма, да и никому, кроме разве одного духовника вашего, их не показывайте. Поверьте, что они будут чужды для всякого: ибо писаны на языке того человека, к которому писаны. А таких языкознателей или, лучше, душезнателей, которые могли бы читать все языки, сами знаете, немного. О Плетневе вообще вот что можно сказать. Душа у него, точно, чистая и прекрасная, но он не сделал никакого тяжелого проступка, не был потрясен сокрушающей силой несчастия, бог не призвал его к тому, чтобы быть ближе к нему, а потому он горд своею чистотою, и в этом грех его, ибо сами знае-

те: богу лучше кающийся грешник, чем гордый праведник[1296]. Оттого и душа его обросла черствою корою всяких привычек светской жизни и не слышит, что она бывает временами далека от самой себя. Плетнев имеет ум, но этот ум не глубок и не многосторонен, а потому он не может видеть далее того горизонта, который обнимают глаза его, и естественно, что отвергает самую мысль, что есть пространства вне им зримой черты. Но довольно о Плетневе. Поговорим теперь вообще о тех четырех страничках выговоров и увещаний ваших, которые вы мне поместили в вашем письме. Друг мой, вы, видно, не помолились перед тем, когда писали их. В них слышен холод, черствость и не слышна та прекрасная ваша душа, которая так часто обнаруживается во всех других строках ваших писем. Кажется, как будто бы вы в них воюете только с одним безрассудством моего поступка, видите только поступок отдельно от человека, а не видите самого человека, ни обстоятельств его, ни причин двигнувших, ни даже того, возможно ли приписать умному сколько-нибудь человеку в такой степени безрас-

судство. Я ставил на место себя опрометчивого и горячего юношу, способного на то донкишотство, которое вы приписываете мне, и рассматривал эти страницы вашего письма уже не в отношении ко мне, а в отношении ко взятому юноше, но нашел, что они и ему не придутся; они, кроме того, что невпопад, они лишены силы сердечного убеждения, в них отсутствие того, что может тронуть душу. Они как будто писаны на воздух, а не направлены собственно к какому-нибудь лицу, которого личность и природу вы видели перед своими глазами, когда писали. Друг мой, если вы будете таким образом убеждать кого-либо, то я не удивлюсь, что слова ваши не будут иметь действия и доброе стремление ваше не достигнет цели. Ради бога, перед тем как будете писать к кому-либо с тем, чтобы подействовать на него и убедить, представьте себе мысленно его всего, его поступки во всех других родах, сообразите все, не уничтожают ли уже в нем находящиеся другие свойства того, что вы в нем предполагаете. А сообразивши все, помолитесь богу, чтобы он <дал> вам слово убеждающее. Взгляните также на самих себя.

Имейте для этого на столе духовное зеркало, то есть какую-нибудь книгу, в которую может смотреть ваша душа, хоть, наприм<ер>, «Подражание Христу»[1297]. Первая страница, которая вами развернется, будет кстати. Она даст душе вашей покойное и мирное настроение. Совет ваш исполнится великим смирением духа, ни резкого, ни самоуверенного, ни самонадеянного не будет в нем, благоуханье любви только одно послышится в нем, и в совете вашем будет божий совет, и не будет человека, который бы устоял против него, хотя бы в несколько раз сильнейшую правду вы хотели сказать ему.

Все мы вообще слишком привыкли к резкости и мало глядим на себя в то время, когда даем другому упреки, потому и упреки наши бывают недействительны. Очень чувствую, что и я, говоря вам в этом письме, говорю, может быть, слишком дерзко и самоуверенно. Такова природа человеческая. Она всюду перельет, все доведет до излишества, ей невозможно беспристрастие, и даже защищая самую святую середину, она покажет в словах своих увлеченье человеческое, стало быть,

низкое, и недостойное предмета. Друг мой, добрейший и ближайший моему сердцу, будем смиренней в упреках, когда упрекаем других. Но не относительно нас с вами. Мы люди свои, мы не должны взвешивать слов своих, когда говорим друг другу; но все-таки портрет друг друга мы должны иметь пред глазами, когда мы пишем друг к другу. Иначе слово будет холодно и не всегда впопад. Но, имея в виду это, мы можем упрекать и резче и сильнее, и упреки будут впопад. Притом, упрекнувши другого даже, может быть, и очень сильно, из нас, верно, каждый потихоньку те же упреки обратит к самому себе, а потому и не будет удерживаться ни излишним смирением, ни осторожностью.

Гоголь – Смирновой А. О., 21 марта (2 апреля) 1845

21 *марта (2 апреля) 1845 г. Франкфурт* [1298]

Франкф. 2 апре.

Отвечаю вам на письмо ваше от 1-го марта[1299]. Во-первых, благодарю за него. Здоровье мое как бы немного лучше. От денег не

откажусь, единственно, чтобы не спорить с вами бесполезно. Но если только милость божия будет так велика ко мне и пошлется мне освежение и силы для труда, то я вам их выплачу, и вы должны будете принять эту уплату, ибо с таким условием и с такою милостью бога у меня будет гораздо больше денег, чем можете вы думать, потому что расход тех сочинений, которые бы мне хотелось пустить в свет, т. е. произведений нынешнего меня, а не прежнего меня, был бы велик, ибо они были бы в потребу всем. Но бог, который лучше нас знает время всему, не полагал на это своей воли, отъявши на долгое время от меня способность творить. Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением – и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно[1300]. И много, много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевали мною от этой причины. Но велик бог, свята его воля, и выше всего его премудрость: не готов я был тогда для таких произведений, к каким стремилась душа моя, нужно было мне самому со-

строиться и создаться прежде, чем думать о том, дабы состроились и создались другие. Нельзя изглашать святыни, не освятивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу, и не будет сильно и свято наше слово, если не освятим самые уста, произносящие слово. Друг мой добрый и прекрасный, помолитесь обо мне, помолитесь сильно и крепко, чтобы воздвигнул господь во мне творящую силу. Благодатью духа святого она может только быть воздвигнута, и без сей благодати пребывает она, как мертвый труп, во мне, и нет ей оживотворения. Слышу в себе силу, и слышу, что она не может двигнуться без воли божией. Молитесь же, друг мой, крепко и крепко; как только можете помолиться, так помолитесь о мне. От болезни ли обдержит меня такое состояние, или же болезнь рождается именно оттого, что я делал насилие самому себе возвести дух в потребное для творенья состоянье, это, конечно, лучше известно богу; во всяком случае, я думал о лечении своем только в этом значении, чтобы не недуги уменьшились, а возвратились бы душе животворные минуты творить и обратить в слово

творимое, но леченье это в руках божьих, и ему одному следует его предоставить. Насчет Призница я с вами согласен и не думаю, чтобы мне было удобно это лечение[1301]. Призница средства могут быть мне полезны в самой малой мере, т. е. почти таким образом, как можно употреблять самому, без доктора. Лето мне следует провести в путешествиях и переездах: это действует на меня хорошо. В конце лета думаю отведать морского купанья. С вами хотелось бы подчас сильно увидеться, но ехать в Россию теперь на короткое время не могу, с этим много хлопот, особенно возня выезжать вновь, и притом весьма скоро. Притом приезд мой мне был бы не в радость; один упрек только себе видел бы я на всем, как человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками, которому стыдно даже и заговорить, стыдно и лицо показать. Я слишком знаю и чувствую, что до тех <пор>, пока не съезжу в Иерусалим, не буду в силах ничего сказать утешительного при свиданье с кем бы то ни было в России. А потому молитесь обо мне; вновь вас прошу и умоляю, молитесь, чтобы бог споспешество-

вал моему намерению, чтобы, во-первых, укрепил и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить до моего отъезда, и послать к вам вместо меня в Петербург. Это будет небольшое произведение[1302] и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути. А на осень и зиму чтобы мог я переехать в Рим и провести это время плодотворно и как нужно душе моей, а с началом нового будущего года чтобы мог я изготовить<ся> к отъезду и приехать в Иерусалим к посту и Пасхе, а после Пасхи, исполнивши, как следует, пребывание в Иерусалиме, возвратиться в Россию. Тогда ступлю я твердой ногой на родную землю, и будет в радость и мне и вам мой возврат, и всякому буду тогда, быть может, в помощь, в каком бы положении он ни находился, в каком бы звании ни состоял и какое бы место ни занимал, и всем буду родной, и мне все будут родные... Теперь же покаместь и мне все чужие, и я всем чужой. Приехать в Россию мне хочется таким образом, чтобы уже не уезжать из России. Дух мой жаждет де-

ятельности и томится от бездействия, но, не свершивши этого путешествия, я приеду на бездействие и на тоску в Россию. Любовь уже есть в душе, но не оживотворена и не благословена еще силою высшею и не двигнется благодетельным движением во благо братьям. Молитесь же обо всем этом. Вы уже другой раз говорите мне, чтобы я не скрывал того, что во мне, от всех, да светят дела наши миру[1303]. Но того, что есть пока во мне, еще не так много, чтобы засветить миру, да и не от меня зависит, как видите сами, обнаружить его и двигнуть напоказ. Но довольно. Пишу для вас, и не показывайте никому моих писем. Уведомьте меня теперь о себе относительно предстоящего лета. Что вы намерены с ним сделать и куда отправляетесь? Об этом напишите мне теперь же, мне это нужно знать предварительно. Жуковский совершенно здоров и бодр духом, продолжает работать[1304]; он было на два месяца несколько расклеился, но теперь слава богу, и я бы желал, чтобы состоянье моего здоровья нынешнего было сколько-нибудь похоже на его. Но мне было так трудно, что уже было приуготовил-

ся совершенно откланяться. И теперь я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленей меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновенье их ко мне самому было страшно, и, при 18 град<усах> тепла в комнате, я не мог ничем согреться. Но бог милосерд, жизнь моя не угасла; видно, она еще нужна. От вас посылку я получил доселе только одну, в ней заключалось два тома последних Тихона[1305] и «Христианское чтение» за прошлый год. Михаил Михайлович[1306] оказался неаккуратным: даже не уведомил меня, есть ли у него какие-нибудь для меня пакеты с книгами. За то же, что мною получено, вам очень благодарен. Хотелось бы вам писать больше, но устаю. Я думаю, что вы уже получили весьма длинное письмо мое[1307], написанное уже очень давно, в ответ на ваши и Плетнева распоряжения. Не позабудьте о том уведомить. Письмо же, писанное мною из Парижа[1308], вы, кажется, получили, сколько могу судить из содержания вашего, служащего как бы ответом, хотя вы и не упоминаете о получении как моего, так и приложенного при

нем письма от Иванова[1309]. Прощайте! Обнимаю вас от всей души!

Весь ваш *Г.*

На выставку академиче<скую> в Петербург прибудет, может быть, весной или летом в числе других картин из Рима головка Спасителя из «Преображения» Рафаэля, копированная Шаповаловым и принадлежащая мне. Отправьте ее от моего имени преосвящ<енному> Иннокентию в Харьков.

Смирнова А. О. – Гоголю, 19 июня 1845

19 *июня 1845 г. Павлино* [1310]

Павлино, 19-го июня 1845 г.

Я у вас в долгу на два последние ваши письма; этому причиною тоскливая лень, которая мною так овладела, так затмила все способности ума, что сама не знала, что говорила и делала. Меня уверяют, что я больна и что воды помогут; я пью эти воды и, точно, чувствую себя гораздо крепче телом, но дух мой вовсе не спокойнее от этого, потому что беспрестанное воспоминание всех трудностей моего положения должно наводить тос-

ку, и как ни верти и не перевертывай, со всех сторон все выходит одно и то же. Несчастные данные не есть хандра, не есть болезнь; но «сытый голодного не разумеет», и, если бы я захотела кому-нибудь рассказать, что меня приводит в уныние, тот бы не поверил, смеялся бы моему слабодушию, а не менее того нет сильнее страданий, как самолюбивое чувство, беспрестанно уязвленное. Не думайте, что я не могу не жить в том круге, куда забросила меня судьба; совсем нет, я очень спокойна и счастлива, когда сижу с братьями или друзьями, но жить так, как я бы хотела, мне нельзя, потому что для детей надобно поддерживать светские сношения, и тут я и нахожу опять страдания и отчуждение. Вы не поверите, до какой степени мне тяжело и трудно даже с Вьельгорскими; более или менее говорят о светских мелочных интригах и приключениях, а я так живу далеко от всего, что не могу принести с собою ничего в состав этого разговора. Вы лучше, чем кто-либо, поймете, как трудно тогда, когда питаешь в себе чувство, что ничего нет общего между теми, с которыми живешь. Нельзя всегда выливать изнутри,

а слишком частые сношения с людьми порождают, наконец, какой-то застой в уме, и кончается тем, что, все переговоривши, нечего более и сказать. Семейный и все семейный круг наконец делается скучен, а я почти не выхожу из него, исключая редких выездов к графине Нессельрод и во дворец.

Впрочем, что об этом толковать? этого не переделаешь, и божия воля мне назначила теперь новую жизнь: Николай Михайлович получил место в Калуге; он едет на днях туда, а я в октябре туда переселяюсь. Слова ваши исполнились, любезный друг, вы мне писали: «Вас скоро не будет страшить губернаторство», и точно: я туда еду с радостию; в отсутствие этих мелочных страданий по крайней мере займусь делом, я буду читать и писать и тем наполню часы одиночества. Странно довольно, что мое одиночество везде повторяется: в Бадене, Ницe, в Париже, во Франкфурте все одно и то же, наконец и тут, где, по-видимому, мое дома. Я писала княжне Цициановой и просила ее к себе на житье в Калугу или, лучше сказать, навеки; она умная, добрая и меня любит; в жизни также страдала

много и потому отдала себя совершенно богу. Может быть, и вы к нам подъедете, и тогда мы переговорим обо всем и передумаем вместе многое, о чем прежде не говорили. Странно довольно, что перед моими глазами теперь беспрестанно подымается, как безобразный великан, все мое прошлое; тут сливаются и упреки себе, и часто возмущение сердца на судьбу, и ужасное отчаяние для детей; словом, все призраки, угрюмые, печальные, наводящие на лоб морщины преждевременные. Принуждение улыбаться в свете мне так тягостно, что это похоже на гримасу, и даже чувствуется боль в щеках от этого, если долго приходится остаться в кругу с чужими. Еще пред отъездом из города я поручила Аркадию искать для вас книги[1311], но ни в одной книжной лавке их нет, и потому я просила Самарина их выписать из Москвы; он, кажется, писал Аксакову, но еще не получил ответа; он, т. е. Аксаков, кажется, уехал по расстройству дел в деревню, и потому не пеняйте на мою неаккуратность. Вы мне не сказали, получены ли вами книги, точно ли все они до вас дошли. Последние ваши два письма, от 4

и 18 июня, я получила и отвечаю на них. Я сама не могу вам растолковать, отчего Плетнев мне принес так мало денег и какие тут расчеты; хотя он на даче в Лесном, я ему напишу и узнаю, когда и как вы будете вперед получать свою пенсию[1312]. Плетнев или болен, или в хандре, я все это время находила его весьма вялым и странным; скажу с Мухановым: «у каждого Ермишки свои горькие делишки». Графиня Вьельгорская[1313] приехала не совсем здоровая, однако ей уже лучше, и сегодня приехал и Владимир Александрович[1314]; не знаю, как-то они встретились и какого роду будут их отношения[1315]. С Нази я непременно сойдусь[1316], хотя между нами такая большая разница лет; но мне на это надобно время, теперь она еще не переговорила с сестрами и подругами. При проезде моем в Москву, я отыщу Аксакова и Языкова и пошлю за Хомяковым; постараюсь отыскать и старушку Шереметьеву[1317]; однако же прошу вас дать мне их адресы и имена собственные по крайней мере. Представьте себе, что у меня нет ни одной души короткой в Москве, и если там придется жить несколько време-

ни, то я со скуки пропаду. Мне нужно их видеть не по одному чувству любопытства, но и потому, что все-таки мне надобно знать их понятия насчет того круга деятельности, который мне предстоит; да и я таки могу им сказать кое-что.

Меня теперь занимают благотворительные общества: я чувствую, что в этом круге действий есть что-то фальшивое, а не могу придумать, каким образом направить это. У нас везде заводят приюты, школы, пансионы; принято уже, что каждая губер<наторша> должна ими заведовать, отдавать отчет почти сюда, в Петербург. Это считается почти доказательством добродетели и доблестей гражданских. Если я не буду этим же промышлять, то прослыву за весьма ненужную губер<наторшу> и могу даже повредить Николаю Михайловичу, а между тем трудно мне придумать, как вывернуться из этой колеи, в которую влезло все наше бытие и, в особенности, воспитание девиц, т. е. будущих матерей нового поколения. Надобно найти середину между совершенным бездействием и этим полуделом. Говорят, что архиерей очень хорош

у нас будет, и я считаю <возможным> много<му> научиться у него. Вспомню я не раз ваши «Мертвые души», но, к несчастью, смеяться более не могу этим недостаткам; они возбуждают теперь во мне сожаление; не пеняйте на меня за эту правду. Кстати о книгах: «Тарантас»[1318] очень понравился государю, он очень часто об ней говорил; я желала бы знать ваше мнение о сей тарантасе. Критика Плетнева[1319] была недурна, а скоро выйдет в «Москвитянине» разбор Самарина[1320]. Здоровье импер<атрицы>[1321] все почти одинаково; насчет ее путешествия ничего не решено; мне грустно подумать о дворе; государь очень озабочен ее состоянием; много тут есть перемен, а есть и благодатные; при оказии я бы вам это все пересказала, но теперь нельзя. Разговоры его приметно серьезные, – вот все, что могла заметить я, бывая там раз в неделю, не более, и не сохраняя никаких сношений с двором вне этого круга царского, где были со мною постоянно ласковы и милостивы. Прощайте, обнимаю вас душою и мыслию, друг мой. Сколько пришлось мне открыть и поведать того, что никому другому

не сказала бы, пусть то останется меж нами.

Гоголь – Смирновой А. О., 13(25) июля 1845

13 *(25) июля 1845 г. Карлсбад* [1322]

25 июля.

Слабый и еле движущийся пишу к вам из Карлсбада. Покаместь воды меня повергнули в совершенное расслабление телесное. Вот все, что могу сказать. Что будет потом, это известно одному богу. Карлсбад может помочь, если все мои недуги происходят от печени, и может вконец повредить, если прямо от нерв и от расслабления, соединенного с изнуреньем сил. Жуковский переслал мне ваши два письмеца (последнее от 19 июня)[1323]. Наконец судьба Николая Михайловича решилась: ему досталась на долю Калуга. Что ж, это хорошо: Калуга близко от Москвы и не так далеко от Петербурга. В Москву вам нужно иногда наведываться для освежения, а иногда и для переговоров с людьми, которых сведения вам могут быть полезны. В Петербург вам нужно наведываться собственно для одной царской фамилии, которой вы будете необходимей и

нужней, чем далее, более. К тому ж в краткое время приезда гораздо больше обделывается и делается дел, чем в долгое пребывание. Не смущайтесь вперед предстоящими благотворительными обществами и приютами, какие ныне требуются от губернаторш. Рассмотрите прежде хорошенько место и положение настоящее тех, для которых делаются благотворения, и вы найдете потом средства, как благотворительные заведения только по имени обратить в действительно благотворительные по существу и как из приютов, оставивши им только имя и форму приютов, сделать вовсе не похожее на то, что иные принимают за приют. Словом, местные надобности и потребности в губернии укажут вам сами весьма ясно, в каком <месте> и в какой силе должно быть у вас основано какое бы то ни было заведение. Постарайтесь только узнать получше всех в губернии, умейте всех и каждого выспросить и не принимайте ничьего показания за непреложное и последнее, пока не отберете и от других таких же показаний, а отобравши, не пощупаете сами собственными руками. И тогда уже с божией помощью,

благословясь, принимайтесь за дело.

Вы коснулись «Мертвых душ» и просите меня не сердиться на правду, говоря, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах[1324], если бы богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покаместь в душе у одного только автора. Многое, многое даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле. Была у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, кото-

рыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди – тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие божией милости, озарить мою душу. Открытием, что можно быть далеко лучше того, чем есть человек, что есть средства и что для любви... Но некстати я заговорил о том, чего еще нет. Поверьте, что я хорошо знаю, что я слишком дрянь. И всегда чувств<овал> более или менее, что в настоящем состоянии моем я дрянь и все дрянь, что ни делается мною, кроме того, что богу угодно было внушить мне сделать, да и то было сделано мною далеко не так, как следует. – Но рука моя устает. Друг мой, укрепимся духом! Примем все, что ни посылается нам богом, и возлюбим все посылаемое, и, как бы ни показалось оно горько, примем за самый сладкий дар от руки его. Злое не посылается богом, но попускается им для того только, чтобы мы в это время сильней обратились к нему, прижались бы ближе к нему, как дитя к матери при виде испугавшего его предмета, испросив у него сил противу зла. Итак, возрадуемся приходу зла как

возможности приблизиться ближе к богу. Крестом сложивши руки и подняв глаза к нему, будем ежеминутно говорить: «Да будет воля твоя»[1325] – и все примем, благословляя и самую тоску, и скуку, и тяжкую болезнь. Не знаю, как вам дать адресы московских моих знакомых; они все, вероятно, разъехались. О квартире и местопребывании Языкова Николая Михайловича можете узнать на Кузнец<ком> мосту в доме Хомякова. О Надежде Николаевне Шереметьевой узнаете, если нет Аксаковых и Языкова в городе, у Авдотьи Петровны Елагиной (в собст<венном> доме, у Красных ворот), с которой вам советую тоже познакомиться. Шевырев Степан Петрович живет в собств<енном> доме, в Дегтярном переулке, близ Тверской; с обоими Киреевскими, Иваном и Петром Васильевичами, познакомит вас их матушка, Авдотья Петровна. Адрес Свербеевых у Хомякова или у Елагиной. Черткова, Елисавета Григорьевна, живет на Мясницкой, близ Мясницких ворот, в приходе Егупла[1326]. Все семейство Аксакова Сергея Тимофеевича, вероятно, переехало в деревню, если ж в городе, то адрес их узнаете,

пославши человека или к Шевыреву, или к Погодину, живущему под Девичьим монастырем в собств<енном> доме…

Но прощайте, друг мой. И руки, и ноги, и голова устали, и уже не помню, что пишу. Не позабывайте и пишите почаще.

Ваш *Г.*

Адресуйте в poste restante, Карлсбад.

Во время тоски читайте св. Дмитрия Ростовского разговор между утешающим и скорбящим[1327], напечатанный в его сочинениях. А потом примитесь, отбросивши всякое помышлен<ие>, как ученик и как школьник, учить наизусть псалмы, как я вам когда-то[1328] назначал.

Гоголь – Смирновой А. О., 16(28) июля 1845

16 *(28) июля 1845 г. Карлсбад* [1329]

Карлсбад. 28 июля.

Карлсбад пока расслабил и расстроил меня слишком сильно. После, может быть, не соберусь и не успею; может быть, недуг еще более помешает… а потому тороплюсь поговорить с

вами теперь о предстоящей вам жизни внутри России и об обязанностях, с ней сопряженных. Намечу одни только главные пункты. Вам немного нужно говорить; недоговоренное вы почувствуете сами и пополните все, что мною будет пропущено. Ваше влияние в губернии гораздо значительнее, нежели вашего мужа, а может быть, и генерал-губернатора. Начинаю с этих слов. Их влияние – на чиновников, и то по мере прикосновения чиновников с должностью, ваше влияние – на жен чиновников вообще, по мере прикосновения их с жизнью городскою и домашнею и по влиянию их на мужей своих, существеннейшему и сильнейшему, чем все другие власти. Губернаторша, как бы то ни было, первое лицо в городе. Благодаря нынешнему направлению обезьянства, с вас будут брать и заимствовать все до последней безделицы. Итак, вы видите сами, как вы можете быть значительны. Дамские общества в губерниях скучны до нестерпимости. В этом согласны все. Вначале вам будет слишком трудно. Во-первых, все они заражены более, чем где-либо в столицах, страстью рядиться – источник взи-

мания взяток и всяких несправедливостей для их мужей. Смотрите, чтобы вы всегда были одеты просто, чтобы у вас как можно было поменьше платья. Говорите почаще, что теперь и государыня и двор одеваются слишком просто. Нападайте на визиты – источники всяких ссор и щекотливых раздражительностей честолюбья и самолюбья. Говорите почаще, что вы совершенно считаете за ничто, сделает ли вам или не сделает кто визита, что принимать это за важное – грех, а выводить из того какие-нибудь заключения – мелко. Говорите, что вы считаете неизвинительным не сделать визита, когда визит чем-нибудь может быть полезен, когда посещаемый находится в горе, в тоске, когда нужно его утешить, развеселить или поднять дух его, и докажите это делом. Как только узнаете, что какая-нибудь из дам или захворала, или тоскует, или в несчастии, или, просто, что бы ни случилось с нею, приезжайте к ней тот же час. Будьте к ней заботливы и обходительны с ней и, ободривши ее, оставляйте ее скоро, чтобы обратиться к другой или к ждущему вас благотворительному подвигу. Долго не за-

сиживайтесь, заставляйте лучше желать вашего вторичного посещения; лучше пусть будут чаще ваши приезды для утешения, чем продолжительны. Нужно, чтобы в первый приезд ваш увидели только вашу доброту и ваше искреннее расположение любить, а потом вы уже нечувствительно будете мало-помалу приобретать над ними власть и придете в силы внушать им, как они должны действовать благодетельно на мужей. Что же окажется слишком жестко и нельзя будет расшевелить, что, как застарелая болезнь, будет противиться умягчающим лекарствам, то до времени оставьте, не идите слишком упрямо против него, лучше покамест сообщите это духовному пастырю. Пусть изберет он его текстом проповеди, выставит резко всю черноту его и покажет, как может им погубить свою душу человек; или передайте духовнику (если он сколько-нибудь понимает, что такое духовник), пусть он обратит наиболее на это внимания при исповеди. Прежде всего познакомьтесь с теми женщинами, которые поумнее других, расспросите у них обстоятельно и хорошо о всех других, которые поглупее, не

упуская ничего, до самых пустых привычек и мелочей. Вы же владеете искусством расспрашивать и разведывать. Доселе вы употребляли это искусство суетно и на пустое; теперь следует возвратить ему законное благодетельное значение. Помните теперь твердо, что все эти мелочи суть признаки тех болезней, которы<е> вам следует лечить, и, не зная которых во всей подробности, вы никак не сумеете лечить самой болезни, как бы рассудительно на нее ни взглянули и как бы ни велик был ваш талант в лечении. Склоняйте всех, которые сколько-нибудь поумнее, идти по вашим следам и делать в своем кругу и с своей стороны почти то же. Убедите их, что пора хотя сколько-нибудь, хотя понемногу заботиться о душе и среди пустых дел хотя сколько-нибудь отделять времени на занятия и обязанности важнейшие. Заставьте их также делать визиты сколько-нибудь благодетельные. Приезжайте к ним забирать отчеты в их действиях, чтоб это сделалось нечувствительно предметом разговоров, тогда и разговор не будет скучен; тогда и разговор будет оживляющим и подталкивающим на са-

мое дело. Когда же умные начнут, глупые поневоле и, наконец, от скуки станут подлаживать и не так рознить в общем ладу. Вы сами увидите в непродолжительном времени, какие заведения окажутся потребными и надобными в губернии, если подолее будете разузнавать и расспрашивать, и действовать, и видеть, и поверьте, что даже и те благотворительные заведения, которые у других не достигают своей цели и считаются ничтожными, у вас достигнут. Если узнаете, что есть хорошие священники, познакомьтесь с ними, беседуйте почаще, именно о том, как они, с своей стороны, по мере и в границах определенных им обязанностей, могут подействовать благодетельно. Представляйте им живее и яснее тех людей, с которыми они имеют дело, чтобы они поняли, каким образом и как поступать с ними. Помните, что священники иногда, при доброте и добрых христианских качествах, лишены познания света и не знают иногда, какой стороной и как применить высокие истины христианские к ежедневно вращающейся жизни. От них вы тоже можете забрать много сведений относительно нужда-

ющихся и бедствующих в разных сословиях низших, и бог откроет вам способы помочь им. Не оставляйте также и тех священников, которые почему-либо дурны. Нужно понемногу усовещивать также их. Говорите им при случае, что государь во время проезда у вас будет спрашивать непременно о том, каковы здесь попы. Напоминайте также почаще архиерею, чтобы он их усовещивал. Словом, чтобы хотя сколько-нибудь заставлены были и они действовать и не оставались бы в совершенной праздности. Обратите потом внимание на должность и обязанность вашего мужа, чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят, какие пределы и границы его власти, какая может быть степень влияния его вообще, каковы истинные отношения его с чиновниками и что он может сделать большего и лучшего в указанных ему пределах. Не для того вам нужно это знать, чтобы заниматься делами своего мужа, но для того, чтобы уметь быть полезной ему благоразумным советом в деле трудном и вообще во всяком деле, чтобы исполнить <на>значение женщины – быть

истинною помощницей мужа в трудах его, чтобы исполнить, наконец, долг, тот, который вами не был выполнен, долг верной супруги, который выполнить можно вам только на этом поприще и только в сем, а не другом смысле. Тогда смоется прегрешение ваше, и душа ваша будет чиста от упреков совести. Здесь вы также должны познакомиться прежде со всеми давно служащими в губернии и опытными чиновниками, расспросить их обо всем и выведать от них всю подноготную по мере их знания. Вы их можете всех, всех весьма легко расположить к себе, съездить иногда к ним на дом, обласкать их жену, детей. Словом, все вы должны употребить к тому, чтобы вам мало-помалу открылся весь внутренний ход дел в губернии, не только явных, но и тайных. Когда узнаете многие сокровенные пружины, уведаете тогда и то, что многое, по-видимому, ничем не исправимое зло кроткими, тихими, никому не видными и благодетельно христианскими путями может быть уничтожено вовсе, прежде чем узнают даже о существовании его. Но об этом поговорим после, когда вы станете лицом к лицу к

самому делу. Теперь, пока, я вам набросил только пункты, о которых вы должны подумать предварительно, прежде чем отправитесь на место. Когда же вы напишете мне с места, ясно представите положение всех ваших обстоятельств, тогда я буду уметь вам сказать толковей, ближе к предмету и удобоисполнимей, словом – вы сами тогда меня научите тому, что должен я вам говорить; ибо вы знаете сами, бесценный друг мой, как я глуп во всяком деле, когда оно не открыто предо мной во всей ощутительной его ясности. Я не могу ходить не по дороге. Скажу вам только то, что слишком много обязанностей прекрасных вам будет предстоять на ныне открывающемся поприще. Молитесь же богу, да воздвигнет в вас дух деятельности, и в минуту лени или тоски обращайтесь вновь к нему, и вслед за таким обращением тотчас же за дело. А я, если богу угодно будет излечить меня и продлить еще на несколько лет жизнь мою, заеду к вам, без сомнения, в Калугу, и, верно, свидание наше будет радостней и плодотворней для душ наших, чем когда-либо дотоле. Простите меня за то, что так дурно и нераз-

борчиво пишу: в силу движу слабой рукой моей. Письмо это мне хотелось непременно написать вам. Прощайте же, бесценный друг мой.

Весь ваш *Гоголь*.

Письмо это, каково оно ни есть, перечитывайте чаще и передумайте заблаговремен<но> обо всем, что ни есть в нем, хотя бы оно показалось вам и не весьма основательным.

Пишите в Карлсбад, poste restante.

Смирнова А. О. – Гоголю, 19 сентября 1845

19 *сентября 1845 г. Петербург* [1330]

Петербург, 19 сентября.

Вашу записку[1331] передала мне Софья Михайловна. Наконец вам немного лучше. Слава богу! А мне уже снились сны уж подлинно чудесные. Снилось мне, что я получила от вас письмо, которое горело ярким лучом. И бумага, и почерк – все как будто преобразилось. Этот сон рассказан был в доме Вьельгорских, и все ему удивлялись. Пусть

оно так, пусть вы преобразились телом и духом, и да увидим мы своими глазами преображение ваших «Мертвых душ» в живительный источник любви и силы для наших собственных мертвых душ.

Сегодня я вам так рада, что не хочу о себе говорить, потому что себе я вовсе не рада. Теперь, впрочем, вот штука какая. Плетнев ходил в казначейство за вашими деньгами[1332], и там ему сказали, что для получения оных всякую треть вы должны высылать свидетельство посольства или консульства того места, где вы обретаетесь, о вашей драгоценной жизни. Так как за эту треть вы опоздали, то я Дювалю поручила 1000 франков во Франкфурт Жуковскому. Он же, Жук т. е., сидит теперь в Нюрнберге, где ждет императрицу[1333], но вернется скоро домой, и я ему напишу завтра, чтобы вексель выслать к вам в Рим, в посольство. Вы же вышлите Плетневу скорее свидетельство за сентябрьскую и декабрьскую трети. Тогда 1000 франков выплатят здесь Дювалю, а другие 1000 вам вышлет Плетнев в Рим. Смотрите же не забывайте вы это свидетельство и переписывайтесь с Плет-

невым, потому что я всю зиму провожу в Калуге. Аркадий просит меня передать вам его дружеский поклон. Он не очень доволен своим здоровьем; грустен, потому что видит мою грусть, иногда непростительно подлую.

Я переслала вашу последнюю записку Аксакову – порадовать старика доброй вестью о вас. Вы, кажется, любите новости, а у нас их так много, что высказать их трудно. Я же живу между Петербургом и Москвою; потому часто видаю Самарина, напитанного еще духом премудрости ваших друзей[1334] и верного ему по сих пор, но грустящего и, кажется, колеблющегося. Впрочем, то, что называют новостями собственно, т. е. мелочными ежедневными сплетнями, я не могу вас ими потчевать, потому что живу вне света.

Императрица у вас в Италии, государь на нашем юге и на днях должен воротиться в Москву, куда едет великий князь Михаил Павлович. Между прочим, скажу вам, что случай доставил мне истинное наслаждение говорить долго с цесаревной[1335]. Она настоящее сокровище и душой и умом. Долго расспрашивала меня о воспитании в казенных

заведениях и делала такие верные, исполненные здравомыслия замечания, что я удивлялась, как в эти лета, при этой жизни и стольких заботах, она могла так хорошо обдумать этот предмет. Она принимает в Царском Селе раз в неделю, и все разъезжаются обвороженные ее милой, непринужденной обходительностию; особенно довольны ею старики и старухи, которых она никогда не забывает, даже во время танцев. Говорят, что наследник любит ее гораздо более еще и тогда только и счастлив, когда может провести вечер с нею с глаза на глаз. Она совсем несветская, по собственным ее словам, но когда принимает, то показывается именно так, как надобно. За такую цесаревну надобно благодарить бога и просить, чтобы он ее сохранил для России. Государь от нее без памяти. По-русски она говорит очень хорошо и много читает. Пушкин, Жуковский ей очень известны. Михаила Павловича она очень тронула, изъявив ему желание слушать панихиду в день св. Елизаветы[1336]. Всякое слово, которое она ему сказала, было исполнено самого искреннего и глубокого чувства. Пока императрица здесь была,

об ней не говорили, потому что ей не следовало себя выказывать. Вы понимаете, сколько надобно иметь такту сердечного и сколько ума, чтобы при таких обстоятельствах себя не выказать. Вот вам весть хорошая. Вы охотник до таких очерков нравственных, а я охотница оценить достоинство и его выставлять. На это я артист и с непритворным восхищеньем люблю говорить о тех, в которых чувствую душу и ум.

В Павлине живут благополучно и мирно[1337]. Меня отпустили с сожалением. Не умею вам пересказать, сколько я им благодарна за милые их ласки. Я не умею никак благодарить. Есть слова, которые всегда похожи на комплименты; я их не терплю. Прошу вас, когда вы будете писать, передать им мою благодарность. Графиня Нессельроде проводит нынешнюю зиму в Риме. Если вы ее случайно встретите, хотя она плохо говорит по-русски, не дичитесь ее. У нее душа предобрая, несмотря на испорченность, неминуемую в таком положении, где все льстят. Памятник Карамзину[1338] был открыт 12 сентября. Там отличался Погодин[1339]. Андрей Карамзин отве-

чал коротенькою речью, которую вам выписываю по большой моей к вам дружбе, за что прошу вас быть мне очень благодарным. Вот как изъяснился Андрей Николаевич:

«Милостивые государи, ежели каждому русскому останется памятным торжество, соединяющее нас, то какими словами мне, сыну Карамзина, выразить все, чем исполнена душа моя? Гений и талант не наследственные, но наследственно с малолетства питаемое чувство любви к родине, пламенное, святое, – преданность престолу и государю. Мое русское сердце трепещет радостью, видя, как милое мое отечество ценит великие труды, понесенные бессмертным покойником в пользу русского дела и русского слова. Как сын его, исполненный благодарности, с умилением и восторгом возношу заздравный кубок в честь первых виновников торжества, в честь благородного, просвещенного симбирского дворянства. Ура!»[1340]

Погодин, между прочим, сказал: «Да цветет Россия долго, долго, выражусь словами Карамзина, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!»[1341]

Я получила письмо от Иванова. Не понимаю, отчего он не получает денег[1342]. Это дело шло чрез Василия Алексеевича Перовского, которого я не видаю здесь по причине разных обстоятельств. Посредником был Ханыков; но его услали в Ригу по комиссии. Пред отъездом я поговорю с Прянишниковым. Он хороший человек и любитель русского художества. Радуюсь за Иванова, что вы будете в Риме: его надобно поторопить[1343]. Дети мои здоровы и беззаботно веселы. Дай бог, чтобы всегда так было. Вам собирается писать Самарин длинное письмо. Не ёжьтесь с ним: он прекрасно умен и любит вас за вашу живую душу и за «Мертвые души». Молебен отслужу[1344]. Хотя охота молиться меня оставила теперь, но мои дети за вас помолятся. Тоска, тоска и одиночество!

Смирнова А. О. – Гоголю, 16 декабря 1845

16 *декабря 1845 г. Калуга* [1345]

Калуга, 16-го декабря 1845 г.

Хочу написать вам хотя самое коротенькое письмо, любезный друг мой; я здесь получила

от вас две записочки: одну пересланную мне Софьей Михайловной, а другую попавшуюся ко мне не знаю сама каким образом[1346]. У меня на душе лежал как будто какого рода грех, – так меня беспокоило, что я вам не отвечала в течение целого месяца. Брат мой Клементий писал: «Губернатор есть самое занятое лицо в мире, разумеется, в своем муравейнике»; если это справедливо, справедливо и то, что губернаторша тоже служит и ни под каким видом не может проживать как партикулярное лицо, как ей угодно. Кроме обязанностей общественных, настигли на меня еще и домашние. Сообразно тому, что сказал великий мудрец Клементий Осипович насчет губернаторской деятельности, Николаю Михайловичу невозможно управлять своим имением (т. е. продолжать его расстроивать), и таким образом ко мне в руки перешло, кроме домашних людей, еще и 2900 душ, которыми отныне управляю вполне, с правом закладывать и выкладывать, продавать леса, уничтожать фабрики и заводы, словом, упрощивать хозяйство так, как-только можно. По приезде моем в Калугу, я нашла такой ужасный беспо-

рядок в доме, что с утра до вечера проводила в счетах и расправах, и если вам не писала, то решительно по неимению времени; к этим занятиям, в виде приятных прогулок и развлечений, были визиты ко всем без изъятия служащим и некоторым здесь живущим помещикам и почетным купеческим женам. Кроме того, я посетила больницы, богадельни и вообще благотворительные заведения. Обреталась же я в Калуге с 13-го числа ноября, итого месяц с небольшим[1347]. Не пеняйте на мое молчание, по прочтении этой программы. Ни скучать, ни горевать не было еще времени; хорошо уже то, что явилась опять энергия. Отрадными минутами были вечера, которые мы проводим; дома тетушка княжна Цициянова, вам известная по моим рассказ<ам>, брат Лев Арнольди, который тут служит по особым поручениям, и Иван Сергеевич Аксаков. Собираются в 8 часов, и мы сидим до 11 и даже 12-ти. В губернии если попадется порядочный человек, то, верно, или замешан был какого-нибудь числа и года, или разорился в пух, живя в Петербурге и за границей, и не радел о своих поместьях, или же-

нился несчастливо; тетушка говорит, что все с изъянцем и что мы первые с изъянцем. В этом месяце узнала я более об России и человечестве вообще, чем во все мое пребывание во дворце. Там все раны прикрыты золотой парчой, здесь вся внутренняя сторона едва прикрыта лохмотьями. Где лучше люди, там или здесь, – это богу одному известно. Между духовными лицами я отыскала одного старого священника, который обратил Юрия Александровича Нелединского к богу и был его другом[1348]. Есть, говорят, умные люди, но что такое ум без души и любви там, где она должна преизбыточествовать, как в губернии, чтобы сделать сколько-нибудь пользы! Прекрасная женщина игуменья Ангелика, умная сердцем и очень смиренная, почти не живущая этой жизнию. Мы с ней сошлись. В губернии сидят там и сям по монастырям люди удивительные; но влияние их не распространяется за монастырские ограды. В 180 верстах от нас, в Волхове, живет Макарий, тот, который был у бурят; в Петербурге он никому не полюбился и сидит теперь под гнетом, обучает детей и лечит больных; преобразовал свой

монастырь, который славился развратом. Так как княжна с ним очень знакома, то и я намеревалась к нему съездить; мне нужно переговорить с ним насчет одного священника. Здесь есть заведение, так называемое Хлюстинское, где 600 человек и нет своего особенного священника, хотя есть церковь, и я хочу, чтобы он мне дал иеромонаха ему известного и имеющего склонность к занятиям больничного священника.

Вышла прекрасная брошюрка Стурдзы об обязанности духовных лиц в тюрьмах и больницах. Не раз вспоминали мы ваши «Мертвые души», любезный друг; надобно быть точно ослепленным, чтобы отвергать всю их истину. Пожалуйста, не верьте, если до вас дойдут на мой счет какие-нибудь слухи; вообразите, что я решительно не могу сделать шагу, о котором бы на другой день не говорил весь город. Губернаторша была ли у архиерея – на другой день все едут к нему узнавать, что́ говорила; была ли у всенощной – на другую субботу отправляются ко всенощной; была у купчихи – узнают зачем и не просила ли денег для бедных. До сих пор этой податью, ввиду

блага общего, я никого еще не налагала и надеюсь, что без нее обойдусь. Мне теперь иногда смешно, когда я подумаю, как все в моей голове переиначилось. Вместо громких имен: Нарышкиных, Воронцова, Вьельгорских, Карамзиных – звучат только: Писарев, Яковлев, Брылевич, Салтанов; вместо приглашения на обед, бал или концерт – впереди у меня визит к архиерею, экзамен в институте, поездка в богадельню или, что всего тягостнее, мой приемный день и бал в дворянском собрании. Вместо рассуждений о камере французской[1349] и католическом движении в Германии[1350] – продажа или покупка ржи в голодающую западную Русь, перемена смотрительницы умалишенных, которая изволила продавать булки, отпускаемые этим несчастным, потому что они жаловаться не могут. И все эти вещи заменили тот, может быть, условный интерес, и дни проходят незаметно, и всякий день новое дело, и порядку все-таки еще нет. Странная вещь человек! Какая гибкость в его уме и душе! Как скоро привыкает он к тому, что издали казалось ему грозным страшилищем. Вчера я получила письмо от

Плетнева, он пишет, что распорядился насчет вашего пенсиона; вы жалуетесь на зябкость – это чувство чисто нервическое, – я уверена, что она пройдет в Иерусалиме, а я между тем попрошу игуменью за вас помолиться. Вы, верно, знаете, что Тургенев умер скоропостижно в Москве; не успел и причаститься, хотя первый его крик был, когда сделалось ему дурно: «Попа! попа!» У игуменьи вынимают часть за его упокой. Дети мои здоровы; они учатся и никого не видают; это всего вернее, потому что охотников хвалить губерн<аторских> детей всегда много. Пусть лучше будут как дикие, по крайней мере неиспорченные. Надежда Николаевна[1351] нас очень забавляет, но ее надобно держать строго. Я жду братьев, Клементия из Киева и Александра из Петербурга. Прощайте, более некогда писать. Люблю вас по-старому.

Я писала А. П. Дурновой об Иванове; что она сделает, не знаю. Она мне писала, что вы были у нее однажды и полагает, что не нашли ее достойною ваших посещений. Она очень испуганная, и ее надобно расшевелить, душа у нее прекрасная и благородная, как у

всех Волконских[1352], но она впала в апатию вследствие домашних обстоятельств; прочтите ей то, что я пишу, старайтесь ее растормошить. Теперь у нее нет другой мысли, как сын, – вот вам ключ к ее уму и душе. От других радостей жизни она отказалась от 26 лет и жила всегда в волю другим, что и убило в ней всякую энергию. Она не делает зла, потому что ее добрая натура не вмещает зло, но добра она не делает положительно, потому что деятельности в ней нет никакой. Всегда пишите: где вы, куда адресовать и куда вы сбираетесь. Что наш царь в Риме?[1353]

А. О. Смирнова

Смирнова А. О. – Гоголю, 14 января 1846

14 *января 1846 г. Калуга* [1354]

Калуга, 14 генваря 1846 г.

Имею честь поздравить вас с новым годом. В губернских городах это строго соблюдается, а потому не могу и я отступить от общего правила. Имею тоже честь вам донести, что я на вас очень сердита за ваше молчание; вы эгоист – требуете от меня род журнала, донесение о малейших событиях моей жизни для

усмотрения внутренних движений моей души, а сами даже не напишете о своем здоровье. Я живу подаяньем от Плетнева, Вьельгорских, Аксакова, т. е. какими-то крупицами от стола богатых. Известно мне, что вы призрелись у Софии Петровны Апраксиной, чему очень радуюсь, потому что вам всегда нужно какое-нибудь семейство, где бы вам было ловко и приятно[1355]. Я ее только знаю почти с вида и по самым отдаленным светским сношениям, она слывет очень гордою, как все Толстые грузинской породы; но издали она мне очень нравилась; теперь моя симпатия оправдывается, потому что вы друг друга полюбили. Я очень рада, что теперь Плетнев взялся вам пересылать пенсион, смотрите будьте же аккуратны высылкою жизненных свидетельств и благодарны благородному казначейству за такую отеческую заботу о ваших драгоценных днях. Плетнев пишет, что вы чувствуете беспрестанную зябкость; это все от прилива крови к внутренности. Как счастливо, что вы теперь в Италии; я уверена, что чем южнее вы будете, тем лучше вы будете себя чувствовать, и что Иерусалим совер-

шенно вас излечит.

Что сказать мне вам из Калуги, из сердцевины России, доселе мне известной по предчувствию, по догадкам. Это не Петербург: отсюда такая бездна может подняться наблюдений, размышлений, дум печальных и вместе утешительных, столько мною узнано, сознано, начувствовано, испытано в течение трех месяцев, что я не знаю, с чего и начинать. Скажу вам сперва от Калуги или России, что вас все знают, все читают. Многие, что меня даже удивило, любят, и все ждут, ждут с нетерпением и с любопытством и недоброжелательным, и исполненным какой-то тревожной надежды, все ждут второй том, если не окончание «Мертвых душ». Ждут их и некоторые Русские в Петербурге; но теперь, благодаря Viardot, вы сделались известны и не русским Русским петербургским[1356]. Я читала «Старосветских помещиков»; перевод был почти невозможен и вышел очень плох. Потом попалась мне статья St. Beuve на «Тараса Бульбу»[1357]. Бульба, конечно, удачнее переведен местами, потому что и интерес его более общий, а сам роман уже им доступнее.

Что меня удивило и восхитило – это разбор St. Beuve. Верность его чувства убедила меня в превосходстве его прежних критик и разборов французских мне неизвестных авторов или сочинений. Для француза его статья очень замечательна, – так об ней писал мне Аркадий и Самарин, так же показалась она и мне. Странно довольно, что он повстречался мыслью с Константином Аксаковым в сближении описаний сражений с гомеровскими описаниями[1358]. Теперь замолчит вся булгаринщина, краевщина и проч., которая так сильно восстала против Аксакова и так смеялась над ним. Ведь для этих ослов мнения Запада авторитет, и в глазах Петербурга вы уже замечательное лицо, потому что: vous avez reçu le baptème de l'Occident[1359]. Ах, боже мой, боже мой, до чего у нас еще..... Но лучше мне не выписывать то, что я прошлый год слыхала на ваш счет. Статья St. Beuve в «Revue des deux mondes» 1-го декабря. Вот вам об вас же; но все не видать Калуги. Да вы ее и не увидите, потому что я не умею никогда сделать очерка; в моей голове не усиживается ничего как-то в целости, а только отрывками,

а пишу я всегда под влиянием живого впечатления или в ответ на запросы. А вы как-то требуете ведомости или подробного отчета. По приезде моем сюда, первый месяц я была очень озабочена приведением в порядок моего жилья и домашних счетов. Хотя я не обращаю особенного внимания на внешний блеск и нахожу его глупым, когда нет гармонии во всех частях домашнего быта, однако здесь надобно было дать порядочный вид приемным комнатам, потому что принимать обязан всякий губернатор, и принимать всех без разбору звания и чина, исключая только из списка находящихся под надзором полиции. Я же для себя отделила конурочку вверху, где сижу в соседстве с детьми и княжной Цицияновой. Кроме этих занятий, управление имением поглощает у меня пропасть времени. В Калуге, как и во всех наших губ<ернских> городах, страсть к общественной благотворительности дошла до совершенной глупости. Была здесь в старину княгиня Оболенская, дочь Нелединского, которая здесь и скончалась. Все сословия, начиная от нищих и до самых богатых, купцов и дворян, все единодушно по

ней плакали. Она умерла тому лет 15, но память ее так жива во всех сердцах, что беспрестанно я слышу что-нибудь новое на ее счет. Муж ее был губернатором и очень посредственного ума; она ни во что не входила, но меж тем имела на всех самое благодетельное влияние. Она не завела ни одной школы, ни одного приюта и не собирала податей для нищих, а все повторяют в больницах, богадельнях, тюремных замках и в духовенстве: «Нет, уж не будет более второй княгини Оболенской!» Явилась сюда Жуковская, губ<ернаторша>, и завела все эти филантропические дома, комитеты, переписки набело, сношения с человеколюбивыми обществами, получила похвальные листы за добродетель и проч. Таким образом, я нашла уже подготовленную мне работу, но в таком виде, что душа моя не лежит ко всему этому. Боже, боже, как это все фальшиво и ложно и с какими людьми я должна работать – и все это, чтобы получить название благодетельницы и покровительницы вдов и сирот. Пока я еще делаю это все машинально, потому что не успела обдумать, как дать этому оборот правильный, и, вероят-

но, долго буду еще в размолвке с моими помощницами. В первую минуту мне хотелось отказаться от председательства, но мне доказали, что это неприлично и покажется очень дурно в Петербурге. Все уже находится в зависимости от центра, и всякое наше распоряжение, т. е. выдача всякого фунта хлеба, утверждается из Петербурга... Не мало было здесь споров, сплетен и очень гнусных улик на казначея и секретарей общества, некоторые дамы от этого прекратили дружбу и знакомство, – словом, гадости невыразимые. Под этим предлогом являлись ко мне с самыми скверными замыслами. Я все выслушивала, разузнавала не с малым любопытством, потому что в такой наготе еще не высказывалось нигде сердце человеческое, как здесь, и убедилась, что я живу в пустыне, что, исключая трех или четырех лиц, и то еще ограниченных в своих понятиях, я ни с кем не сойдусь. Пришли мне на память ваши слова, друг мой, что вся Калуга лазарет. Может быть, способы лечения и у меня в руках, как целительные травы в руках всякого человека, но, увы, как трудно узнать, когда и как их употреблять! На

это надобна опытность или уяснение взгляда, т. е. духовное просветление, от которого я еще так далека. Здесь есть один очень умный, ученый и опытный священник, который учит детей; он приятель Ивана Михайловича Наумова, вам известного; мы с ним всякую пятницу после урока беседуем часа по три о всевозможных предметах. Мы согласны во всех мнениях наших, но он отвергает всякую возможность к деятельности. На мои возражения он с грустью мне отвечал: «Мы здесь как рабы исключенные, еще в высшем слое общества нас прилично принимают, а мещане равняют нас с батраками, и потому я отделился от всякого общества». Вы знаете, что Орловская и Калужская губернии весьма обильны раскольниками[1360]. Тайна если не распространения, то по крайней мере неубавления их вам известна. Чего не выкупишь и не по<д>купишь золотом, а им этот способ был знаком: сребролюбивые до крайности, они знали, как действовать на подобных им сребролюбцев. Здесь, и особенно в Боровске, нет почти ни одного купеческого или мещанского семейства не зараженного. Эта зараза рас-

пространяется посредством так называемых молельщиц, т. е. самых гнусных старух. В одной Калуге их числом 1500. Каждая из них владычествует в нескольких домах и играет совершенно роль иезуитов, т. е. мирит, а чаще всего ссорит семейства, играет свадьбы, входит во все денежные дела и обороты и делает, одним словом, все, что хочет, все это под предлогом чистоты ее учений. Нельзя себе вообразить, до какой степени неприязненны между собой купцы здесь и немногие православные, которые одни служат по выборам, ненавидят уже раскольников за то, что те не несут никаких служб, и жалуются на них как на самых ненужных членов общества. Со всем тем расколы слабеют, однако же, лет с 15 тому назад. То, что не могли сделать ни угрозы правительства (которое не всегда поддерживало исполнителей его повелений), ни убеждения, ни слова, ни проповеди, ни даже покровительство единоверию, как более схожему с православием, что не могли сделать никакие усилия, – сделала мода. Да, мода, – это смешно и как-то глупо; но это верно. Ни одна молодая купчиха ни за что на свете не

решится надеть купеческого платья и платка, все непременно хотят танцевать и болтать по-французски, а купцы – курить цигарки и носить немецкий фрак и брить бороду, в раскольничью же церковь они не смеют войти иначе как в платке, а мужчины с бородою, и не подчиняясь этому строгому требованию, исключаются из списков. Проходят годы, что они ходят в православную церковь, но не говеют, наконец им делают запрос, и они вынуждены говеть наконец. Вообразите же, какое у них понятие о религии и до какой степени этот многочисленный класс еще необразован. Замечательно, однако, это явление: влияние моды на один из важнейших вопросов общественности и благосостояния народа. Один очень известный и умный раскольник в Боровске сказал архиерею: «Что ты горячишься, преосвященный Николай, табачок без тебя уничтожит нашу настоящую веру!» – и сказал это с унынием и в укоризну своим. Но уничтожение раскольников произведет ли плодотворных последователей православия или умножит только их числом, – вот что мы со временем узнаем. Есть много в нашем

обществе des tièdes[1361], а это зло горше гонителей. Кроме этого священника, других я не успела узнать, потому что случая не было с ними говорить. С архиереем мы живем в ладах; как видное гражданское лицо, я ему, как главному духовному лицу, оказываю много почтения, что было здесь весьма нужно, потому что по разным причинам себе позволяли с ним даже неприличные шутки. В девичьем монастыре есть здесь игуменья удивительная, родом из гречанок нежинских и дворянка. История ее очень интересна. С семилетнего возраста она и брат ее пожелали воспитываться в монастырях; с тех пор и он и она расстались с родными и Малороссией. В течение сорока лет она виделась с ним раза три на самое короткое время. Она живет 40 лет в Калуге, не имея никакого состояния, жила почти служанкой у прежней игуменьи, исполняла самые тяжкие и низкие работы в течение 21 года. Никто не подозревал ее существования. Когда умерла игуменья, весь монастырь единогласно выбрал ее, архиерей подтвердил этот выбор, потому что заметил и кротость и смирение. Теперь она правит монастырем 19

лет, и он славится своим порядком и строгостию своих правил. К ней присылают со всех сторон женщин под начало, и надобно видеть вблизи, что это за подначалки, чтобы убедиться в трудах ее; что такое весь наш светский ловкий ум, вся наша образованность перед высокою смиренностью этой женщины. Притом, не выходя за пределы своего монастыря, она все знает, понимает, ко всему сочувствует и всегда может дать полезный совет; но ничего не делает без молитвы и размышления. Хотя очень грустно в ее келейке, но между тем душе хорошо и как-то примиряешься со всеми светскими горестями, потому что понимаешь, как человек может стать выше всей этой дрязги с помощью божией.

Скажу вам теперь о себе, что всякий, кто меня поверхностно знает, думает, что я умираю здесь со скуки; но вы легко поверите, что именно здесь я не могу скучать. Каждый шаг мой есть исполнение долга: визит, вечер, обед, иногда наряд, прогулка – все это долг непреклонный, и что есть лучше покорности и повиновения, что есть легче этого! Минуты отдохновения именно те, которые в Петербур-

ге считались минутами труда и работы. Там забыла о настоящей работе, и читать и писать не могло быть сладким отдохновеньем, как здесь. В последнее время душа моя была отравлена такими мелочными неприятностями, что отсутствие их успокоивает меня. Мне грустно, очень грустно, потому что всякая жертва нам стоит, а я пожертвовала одной драгоценной радостью; чувствую, однако же, что иначе не могла действовать, потому что внутренний голос одобряет меня и убеждает, что ничем ложным я не могу более увлечься. А здесь, в свете, все ложно, кроме строгого выполнения своих обязанностей, сколько бы суровы они ни были. Иногда мне даже нравится черствость моей жизни, и чем скучнее был день, тем отраднее проходит вечер в безмолвном размышлении и в чтении. Мои домашние под праздники все разбрелись – брат к отцу, Аксаков в Москву, княжна в Тройцу, Николай Михайлович в уезды для ревизии, так что я почти три недели совершенно одна. С Петербургом имею мало сношений; мне пишут только братья, иногда Самарин и Ханыков. Письма Самарина очень замечательны; он бо-

рется с твердостью и, кажется, вознагражден за свою твердость новыми силами[1362]. С. М. Соллогуб меня забыла, но она очень занята семейством. Михаил Михайлович приехал к ним из Берлина, я воображаю, что там радости теперь в доме. Дай бог, чтобы Нози нашла себе хорошего жениха; в ней много прекрасного и бездна ума приятно женского. Сидя и размышляя, мне иногда сдается, что я никогда более не вернусь в Петербург; не нахожу и надобности там поселяться даже для детей; но если бы даже и пришлось, как говорится, доставлять им светские удовольствия, то надеюсь, что для меня это будет не надолго. Примиряться с своими данными я могу только ввиду перемены совершенной лет через десять. Если бог дозволит, доживу и я до того дня, что скажу вслух: исполнила свой долг в свете, и удалюсь наконец от всей скорбной скуки светской. Старуха в чепце, с цветами, за преферансом всегда была для меня отвратительное явление; зачем же я сама себя поставлю в это положение вовсе не нужное; точно так же смешна и несносна старуха, рассуждающая о политике, журналистике или расска-

зывающая про старину. А какая же в свете середина для пожилой женщины? Нет, ей в свете нечего делать, когда дети ее пристроены.

Здоровье мое плохо, нервы очень расстроены, и головные боли беспрестанны. Летом попробую гидропатию, а теперь сижу на валериане, на вишневых каплях, по крайней мере это мне помогает минутно. Отвечайте мне, я не знаю, получили ли вы мое письмо из Москвы и одно из Калуги? Нехорошо, что вы вдруг замолкли.

Что делает графиня Ростопчина в Риме, что Иванов? С кем вы еще из русских видаетесь? У меня висит мой Foro Trojano[1363]. С Римом надеюсь повидаться через два года. Прощайте, любезный друг мой, не забывайте меня нигде, особенно в Иерусалиме. Ваша от искренней души.

Гоголь – Смирновой А. О., 15(27) января 1846

15 *(27) января 1846 г. Рим* [1364]

Наконец от вас письмо из Калуги (от 12 декабря[1365])! Как долго я ждал его! как соскучил без ваших писем! как мне теперь нужны

ваши письма! как нужно теперь для вас самих писать ко мне чаще, чем когда-либо прежде, ради вас самих! Я вам говорю это не напрасно. После вы узнаете, как я прав. Христа ради, не забывайте этого и пишите. Я глотал жадно ваши известия калужские, хотя в них только один легкий очерк вашей жизни. Но на первый раз быть так: вам было много хлопот и не до того. Друг мой Александра Осиповна, будьте же отныне обстоятел<ьны> и дайте себе слово отвечать на всякий запрос моего письма. Вы уже сделали визиты, как сказываете сами, всем служащим, некоторым помещикам и почетным купеческим женам. Напишите же мне, что такое служащие ваши, что такое помещики и что такое купеческие жены. Сначала их дух вообще, как целого сословия, а потом, какие есть между ними исключения. Узнавайте их понемногу, не спешите еще выводить о них заключения, но сообщайте все по мере того, как узнаете, мне. Не бросайте многих людей и характеров, как уже узнанных и вам известных, но продолжайте присматривать за ними и наблюдать: в душе и в сердце человеческом столько есть

неуловимых оттенок и излучин, что всякий день могут случиться открытья и открытья. У вас есть порок, свойственный почти всем женщинам: вы поспешны и быстры и хотели бы иное вдруг сделать. Этот порок, однако же, лучше мужского порока, известного под именем байбачничества. От этого порока вы избавитесь уже тем, если дадите себе слово – всякое дело, какое ни захотите сделать, изложить прежде мне в письме, а потом его сделать. Чувствуя, что излагаете его мне, вы уже невольно увидите его обстоятельнее и лучше и, не имея от меня ответа, уже узнаете сами мой ответ. Друг мой Александра Осиповна, не пренебрегайте всеми этими просьбами: просит об этом вас больной и подчас сильно страждущий друг. Вы никогда не любите смотреть в письма мои перед тем, как пишете, и почти никогда не отвечаете на нужные, иногда слишком нужные и слишком душевные запросы. Друг мой, не поступайте со мной так! Держите хотя одно это письмо перед собой в то время, когда пишете. Но возвращаюсь вновь к моим просьбам и продолжаю их: определите мне характеры всех нахо-

дящихся в Калуге; не пропускайте мелочей и подробностей, вы знаете, что я до них охотник и что по ним мне удавалось узнать многое, многое в человеке вовсе не мелочное, которое иногда он не только не открывает другим, но и сам не знает. Уведомляйте меня также о всех толках, какие ни занимают город, о всех распоряжениях, какие ни делаются в губерниях, и о всех злоупотреблениях, какие ни открываются. Не пропускайте также упоминать о всех мерах, какие предпринимаются противу голода, как раздаются хлеба, то есть какими порядками, образами и средства<ми>. Не пропускайте также извещать меня от времени до времени о крестьянах, находящихся в вашей губернии, как помещичьих, так и казенных, обо всех у них и с ними переменах и вообще обо всем, что ни касается их участи. Не пропускайте также уведомлять меня обо всех важнейших делах, какие предстоят в Калуге Николаю Михайловичу (которому при сем передайте мой радушный и дружеский поклон), обо всем, что удалось ему уже сделать, равно как и о множестве всякого рода затруднений, какие предстоят повсюду.

За все это я отблагодарю вам потом не словом, но делом. Я буду вам потом в великой пригоде. Друг мой, дайте мне силы сделать что-нибудь похожее на доброе дело. У меня так мало истинно добрых дел, а жизнь наша так быстро летит, я же к тому и недомогаю, чем далее, тем более. Вы знаете, что я люблю Россию, что все, что ни есть в ней, мне дорого, что любовь моя растет, несмотря на бренные мои физические силы. Друг мой, исполните мою просьбу! Что вам сказать о самом себе? Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается, чем далее, более, а что хуже, вместе с нею необыкновенная леность всяких желудочных и вообще телесных отправлений. Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится трудней и труднее, потому что начинают пухнуть ноги или, лучше, жилы в ногах. От этого едва выбирается из всего дни один час, который бы можно было отдать занятиям. Но при всем том бог милостив: я не унываю. Думаю о многом том, о чем мне следует думать, и мысли мои, несмотря на телес-

ный недуг, нечувствительно зреют. Да будет же во всем его святая воля! Все, что ни посылается нам, исполнено смысла, и не наберется потом душа наша благодарений за все трудные и тяжкие минуты жизни. Продолжайте обо мне молиться. Вы пишете известить о пребывании царя в Риме. Он пробыл четыре дни. Я его видел и любовался им издали, когда он прогуливался по Monte Pincio. Лицо его было прекрасно. Исполнен<ная> благоволен<ия> наружность его, несмотря на некрасивое и к нему вовсе не идущее наше штатское платье, не могла не поразить всех. Я не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного благоволения, напоминать о своем существовании. К тому ж в четыре дни столько нужно было ему видеть вещей замечательных, что это было бы с моей стороны одним пустым притязаньем. Государь должен увидеть меня тогда, когда я на своем скромном поприще служу ему такую службу, какую совершают другие на государственных поприщах. Впрочем, он был особенно благосклонен к художника<м>[1366], при-

казывал им быть во время своей прогулки по Ватикану, а архитекторам – во время осмотра древностей и римск<их> памятников. Иванова очень похвалил за его картину[1367]. Тут бы можно было обделать прекрасно его дело[1368]. Но, на беду, здешний их директор Киль, севший на место Кривцова, еще хуже в этом деле покойника: все до единого из художников им недовольны. Человек ни то ни се и, кроме то<го>, страшно предубежден противу русских, неблагоразумно, неосмотрительно стал хлопотать и выставлять худож<ников> иностранных... Словом, никто его понять не может. В Иванове, впрочем, принимает участие Григорий Волконский и обещался о нем особенно хлопотать. Римом вообще государь остался бы больше доволен, если бы прожил подолее, если бы погода была получше и если бы квартира не попалась ему такая дурная, каков сырой и мрачный palazzo Giustiniani, занимаемый Бутеневым. О пребывании государыни[1369] в Palermo вы, верно, знаете. Климат Палерма пришелся ей по душе и по здоровью, и нужно только желать, чтоб она осталась там подолее. Константина Николае-

вича[1370] ждут сюда к карнавалу; государыня же не раньше намеревается, как на Пасхе. Вот вам все, что я знаю о царской фамил<ии>. Русских наехала сюда куча, но таких, с которыми я видаюсь, немного. Чаще бываю у гр<афов> Чернышевых-Кругликовых, потому что они мои старые знакомые, потому что больные и потому что, сверх того, очень добры и просты. Часто бываю у Апраксиной, Софьи Петровны, потому что она также очень добра и притом сестра моего любезного Александра Петровича (гр. Толстого), который сидит теперь в Париже. Дурнову я видел несколько раз. Она неразговорчива, но в лице ее много доброты. Нельзя не заметить вдруг апатии и душевной недеятельности. Графиня Нессельрод мне понравилась с первого раза именно лицом, в котором много душевного прекрасного выражения. Вы знаете, что я знаток, и, если проступила уже хоть сколько-нибудь душа наружу, она не скроется от меня, я вижу ее на лице прежде, чем откроются уста говорить. С ней мы говорили, разумеется, о вас. Графиня Растопчина тоже здесь. Она, при доброте и уме, пустовата. Это вовсе не книга,

написанная о каком-нибудь одном, и притом дельном, предмете, а сшитые лоскутки всего; tutti frutti[1371]. Она, разумеется, всякий день по балам то у Торлони, то у Дория, то у посланников, словом – повсюду, где скука. С этими тремя дама<ми> я вижусь реже только единственно потому, что не вижу, каким образом и чем именно могу быть им в текущую минуту полезен. Мне трудно даже найти настоящий дельный и обоюдно интересный разговор с теми людьми, которые еще не избрали поприще и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других люд<ей>, готовятся «Мертвые души», если только милость божья благословит меня окончить этот труд так, как бы я желал и как бы мне следовало. Тогда только уяснятся глаза у многих, которым другим путем нельзя сказать иных истин. И только по прочтении 2 тома «Мертвых душ» могу я заговорить со многими людьми сурьезно. Стало быть, никак не думайте, прекрасный друг, что я отталкиваю от себя каких бы то ни было людей. Я просто действую, только расчетливо, и не хочу тратить пороха даром. Вы писали

мне в прежн<ем> письме вашем, чтобы я не дичился с Самариным, если он будет писать ко мне. На это скажу вам, что еще не дичился в таком смысле ни одного человека и не оставлял без ответа ни одного письма, если только было подвигнуто душевным побужденьем, если оно было что-нибудь похожее на душевную исповедь или даже на потребность душевную. А доказатель<ство> всему этому то, что я, не получивши от Самарина ни строки, написал ему на днях сам вызов[1372]. Скажите мне также кстати, что это за таинственное письмо, о котором вы мне уже раза три писали. Сначала во Франкфурт, что я получу через месяц какое-то длинное письмо; полгода спустя вы сказали вновь, что мне будет переслано длинное письмо (не упомянув тоже от кого), но я его не получал вовсе. Наконец, написали мне уже в Рим, что в посольстве лежит для меня предлинное письмо. Я справлял<ся> и никакого, ниже короткого, не нашел. Скажите мне наконец, хотя теперь, от кого это письмо и почему вы не захотели ни разу писавшего назвать по имени? и зачем была эта таинственность? Адресуйте мне пря-

мо на квартиру мою (Via de la Croce, № 81, 3 piano) – это вернее. И не забывайте, повторяю вновь еще раз, не забывайте писать ко мне именно о том, о чем просил вас в начале письма этого. Держите письмо мое перед глазами, когда пишете ко мне, оно вам все напомнит. Грех вам будет, если вы не исполните просьб вашего недугующего и вас во Христе любящего брата и друга. Никакого оправданья вы не можете привести. Никакие недосуги не могут помешать. Час всегда можно выбрать, если вы решитесь твердо отдать один час навсегда. Напротив, от этого еще сами дела ваши потекут размеренней, порядочней и лучше. Час, отданный мне, только разграничит день и время на законные половины и установит лучший порядок. Зачем вы не хотите также исполнить то, о чем я уже четыре раза просил, именно уведомлять всякий раз, что такое-то именно письмо мое, писанное от такого-то месяца и числа, вами получено. Мне это нужно. Друг мой, во многих вещах нужна аккуратность, да и где она не нужна? Увы, есть много таких вещей, которые в глазах всего света мелки, а для меня не мел-

ки.

Прощайте, обнимаю вас сильно и сильно. Не забывайте же адреса: Via de la Croce, № 81, 3 piano.

Смирнова А. О. – Гоголю, 21 февраля 1846

21 *февраля 1846 г. Калуга* [1373]

21-го февраля.

Нервы мои так расстроены, любезный Николай Васильевич, что мне невозможно писать к вам много; даже то, что написано, без толку вышло и не передает ясно моих наблюдений и мыслей. Запас у меня, впрочем, богатый во всех отношениях. Вчера, впрочем, было для меня явление утешительное. Обедал у нас судья мещовский некто Клементьев[1374], человек лет сорока, женатый и очень, очень небогатый. Прокурор наш его немного прижимал, и его выписал Николай Михайлович, чтобы сблизить их, примирить и вместе показать Клементьеву, что труды его, честность и благородство дают ему почетное место в обществе, несмотря на его положение. Лицо у него спокойное, взгляд ясный, хотя несколько

меланхолический; одет он так, что в Петербурге его не впустили бы в переднюю к Воронцову. За столом коснулись мы литературы; он спросил, мне ли Лермонтов писал стихи[1375], – и тогда посыпалась с его стороны тьма вопросов насчет Лермонтова, Жуковского и вас; перечитал он бездну: всего Байрона и Шекспира по-английски, Шиллера и Гете по-немецки, знает и французскую литературу; говорил удивительно просто, делал замечания самые верные и меткие; как бы желая меня испробовать, спросил меня, кто из новейших литераторов фр<анцузских> мне более нравится; я, конечно, отвечала, что Занд; он пожал плечами и сказал: «Как вы можете ею увлекаться, вы, которая любите Диккенса и Гоголя». Потом коснулись судебной части, сравнивали наше образование судебной части с английской и французской формой; он и тут показал, хотя очень скромно, как следует перед губернатором, свое знание; говорили о врачебной управе и вообще о медицине, он и тут говорил хорошо; особенно поразила меня его скромность, обстоятельность в разговоре и ясность.

Семь лет сидит в Мещовске судьей, по выбору дворянства, родился в губернии, воспитывался в Московском университете, служил, по желанию отца, в Ряжском пехотном полку; после его смерти вышел в отставку, женился на бедной девушке и жил в деревушке, откуда вызвало его дворянство на это скромное поприще. После обеда я его зазвала к себе наверх и выпрашивала о многом. Так как всяк мерит на свой аршин, мне казалось, что он должен страдать в этой удушливой сфере маленького городка, но он сказал мне, что очень доволен судьбой, что единственно тревожит его болезненное состояние его жены, что есть люди честные и в Мещовске, что дурных он не имеет надобности видеть вне службы, что образованных, как он, нет, но что это и не всегда нужно, что ему достаточно читать одному с женой, а что от самых простых людей можно учиться многому. С большим любопытством, почти детским, смотрел на меня как на явление почти книжное и говорил мне, что я баловень Петербурга и должна скучать здесь. Я ему дала книг, журналов и обещала посылать каждый месяц новенькое и хочу ему пи-

сать. Так есть же зарытые жемчужины в России! Клементьев меня очень, очень порадовал. Особенно понравилась мне его смиренная борьба против беспорядков и спокойная покорность общепринятому порядку дел. Летом я съезжу на ярмарку в Мещовск, и он звал меня к себе; он, впрочем, устал от дел и хочет отказаться, если его выберут опять в судьи. Брат мой Клементий отправился в Петербург, он очень переменился в свою пользу, все так же жив, умен и забавен, но более сердечен и духовен. Сестру жду опять с мужем; она отправляется в Кременчуг. Подъехала и моя княжна Цициянова из Тройцы, вся упитанная Антонием и Голубинским: постничает и читает по целым часам, стоя, каноны и проч. Ее приезд меня оживил, во-первых, потому, что она за меня ездит в больницу, куда я уже давно не заглядывала. Моя боязнь такого роду, что я страждущих и больных не могу видеть: сейчас со мною делаются страхи и обдает меня холодным потом. Одним словом, в самом гадчайшем состоянии, совершенно обессилена, физически и нравственно, терплю и вытерпливаю такие неприятности, что

ужас. Делать ничего не могу, потому что мысли темнеются, – словом, гадко, нехорошо и страшно, но, видно, так богу угодно. Затем прощайте, душа моя, Христос с вами. Аксаков Константин получил ваше письмо, писал мне – снял все, что не надобно, надел все, что надобно[1376]. Самарин очень рад вашему письму; он камер-юнкером сделан. Длинное письмо должен был он писать, но теперь вы сами предупредили его, написав Аксакову, чтобы он вздоров не делал. Прощайте, пишите, хотя коротко, но пишите.

Понимаю вполне, что вы говорите о графине Нессельрод, тем уже довольна, что она вам понравилась; только и нужно было. В рассеянности Додо[1377] не сомневаюсь; пусть ее до поры и времени. Состояние Дурновой, по мне, опаснее. Иванову дружеский поклон. Что Иордан? Подвигается ли? А мне Иванов обещал копию с Иоанна Кр<естителя> своего в маленьком размере. Я, пожалуй, куплю всю его маленькую эскиз. Скажите это ему. Прощайте, добрый и прекрасный друг, господь да сохранит вас для нас и сподобит окончить труд.

Смирнова А. О. – Гоголю, 14 мая 1846

14 *мая 1846 г. Москва* [1378]

Москва 14 мая 1846 г.

Давно я к вам не писала, любезный друг Николай Васильевич, давно и от вас не получала писем. Наша переписка шла очень вяло нынешний год; неужели это знак, что души наши устали, что нет того сильного желания знать, в каком они состоянии? Или разлука в самом деле так ужасна, что приучает нас жить без людей самых близких сердцу? Но дело не в рассуждениях, начинаю, по принятому порядку, с того, что я вам отвечала на ваше последнее письмо уже из Москвы, когда была еще очень больна[1379]. Усердно подчинила себя водяному лечению, которое с помощью хинина мне помогло. Нервы мои укрепились, хотя возвращаются еще пароксизмы, и довольно сильные. Заметное улучшение было после завертывания в холодную простыню и ду́шей, я согреваюсь очень скоро, а ду́ша очень приятна после завертывания. Здешний доктор, конечно, не предается преувеличениям Присница, не морозит своих больных и не

изнуряет ни гуляньем, ни усиленным потением. Одним словом, я довольна моим Крейсером, потому что мне лучше, и благодарю бога ежеминутно за восстановление сил телесных и душевных. Тело мое было слабо, и ум расстроен, но душа моя хотя ужасалась, следуя за постепенным расстройством ума, однако не болела. Вместе с неотступною молитвой о возвращении сил была и покорность. Если бы угодно было богу меня оставить в этом тяжком состоянии, я не роптала бы, и теперь, благодаря за выздоровление, благодарю и за болезнь как за испытание полезное. Много созрела я в это время, примирилась со многим и многими и слишком сильно почувствовала, как мы должны стать выше света, его ложных условий и понятий, потому что такая бездна горестей и радостей вне этого ложного света. Причиною моей болезни был весь этот тяжелый прошлый год, коклюш сильно подействовал на физический организм, и душа болела от борьбы с самой и с обществом, с которым я теперь совсем рассталась без сожалений и без негодования. Может быть, и это еще обман, и, может быть, одно отдаление ме-

ня так укрепило, но теперь чувство мое верно. Однако мне тяжело было оторваться от Петербурга; в нем заключалось тогда многое для меня; в этой пустыне было одно существо, еще сильно меня привязывающее, но, как нарочно, все лучшие минуты отравлялись неизъяснимой тоской, глупой неудовлетворительностью моего положения, так что, как ни была тяжела разлука, душа отдыхала при мысли, что я удалюсь от мнимых огорчений. Так чудесно помог мне тогда господь, так чудесно уберег он меня от вреда и скорби истинной. Первое время по приезде в Калугу, я сгоряча как бы не чувствовала болезни, поддерживала себя тревогами домашними, знакомилась с новым миром и готовилась к деятельности более общественной. Но и тут ожидали меня впечатления самые тяжкие, и под весну на меня как будто обрушилась вся жизнь прошлая, пустая. Я вдруг почувствовала, как мало я способна жить, любить и действовать. С каждым днем все слабела и наконец была на краю погибели. Я и не помню, как меня усадили в повозку и привезли в Москву. И теперь не хочу вспоминать этого

страдания. В Москве развлекло меня само лечение, вся внешность для меня новая и общество мне знакомых людей. В первое время я ограничивалась обществом людей самых глупых и простых, делала patiece[1380] по целым часам или шила молча по канве. Хорошо было испытать это унизительное положение, но было и тяжко; мало-помалу я начала уже видеть и других, хотя круг моих знакомых весьма ограничен в Москве. Константин Сергеевич[1381] навещал меня, когда приезжал в Москву, также Хомяков изредка; я была у Свербеевой, но с ней мы не сблизились, я не нахожу в ней простоты, а все притязания на простоту женщины, живущей вне света и его условий; впрочем, я, может быть, ошибаюсь, но таково мое первое впечатление. Здесь и в Петербурге, конечно, много сплетничали на мой счет, здесь удивлялись, что я живу одна без детей и ни с кем не знакома и не знакомлюсь. Петербургские звали в столицу, и даже ваша графиня Вьельгорская[1382] говорила m-lle Overbeck, что я развелась, вероятно, с Николаем Михайловичем, а в Калуге говорили, что я уехала к любовнику. Там по крайней

мере не церемонятся в выборе слов и все объясняют просто. Конечно, мне было все равно, собственные страдания были так сильны, что не до них было дело и не от извне падающих стрел приходилось плакать. Вот вам предлинное описание моей болезни и моего положения; во всем воля господня. Сегодня Вознесение, я отслужила молебен у Иверской и надеюсь вернуться в Калугу 21 числа. Меня ожидают дети с нетерпением, и есть дела кое-какие, которые требуют моего присутствия. В отношении к самой Калуге и к деятельности более общественной, мое присутствие вовсе бесполезно. Хотя, конечно, каждый из нас должен приносить свою лепту, есть, однако, случаи в жизни, когда у человека отнимается сила деятельная, а только требуется покорность безропотная. У меня в семейном кругу столько забот, по-видимому, мелочных, что мне не до чужих, да вдобавок есть еще и свои крестьяне под рукой. Общество, о котором вы мне писали, которое как бы препоручали мне, до такой степени испорчено в своем корне, что нечего о нем и думать. Остается молить бога о терпении, смирении и снисхождении к брату.

Благотворительность так тесно связана с администрацией и со всем служебным бытом, устроена на таких фальшивых основаниях, что мне гадко входить во все это. Я машинально делаю то, что делали мои предшественницы. Одним словом, я не могу и не хочу ничего делать, я слаба и больна и долгом первым поставлю сбережение своих сил физических и душевных. Грустно, даже горестно видеть вблизи состояние внутренности России: но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждою и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердого бога. Я усердно молю его о вашем сохранении, о возвращении вам крепости деятельной, испрашивая окончания вашего труда на пользу ближнему. Мне хотелось вам кое-что сказать и дать, что называется, советы; но ежедневно убеждаюсь, что надобно оставить каждого идти своим путем, если уверен, что цель его святая. Только узнавши внутреннего человека, с его больными и здоровыми сторонами, можно дать ему совет добрый; а этот внутренний человек только богу известен, и молитва – лучший совет даст. Всякий день

убеждаюсь в великолепии разума евангелических слов: «Не осуждай ближнего твоего». Не осуждай – значит вместе не давай ему совета и не думай его переделать, потому что не знаешь, чего требует его внутренний человек. Потому и оставляю все за собою, продолжая молить бога, да ниспошлет он вам свое благословение.

По-моему, вы хорошо делаете, что остаетесь в чужих краях; здесь все на это ропщут и негодуют, забывая, что посреди всеобщего возмущения мысли смущается спокойствие души, потребное на окончание всякого искреннего дела и на совершение полезного труда. Повторяйте часто: «Да не смущается сердце ваше и не устрашается»[1383]; но по слабости человеческой хорошо, что вы отдалились от смущения.

Аксаковы все здесь, Сергей Тимофеевич очень страдает, и страдает со всем нетерпением новичка; нетерпелив, отрывист в ответах на семейные нежные вопросы; меня это более огорчило, чем удивило, потому что, кажется, ему предстоит долгая болезнь и, может быть, потеря зрения. Впрочем, с этой потерей он бо-

лее примиряется, чем с болью нервической. Константин добр и прост, как дитя; его нельзя не полюбить, не задумавшись о его будущности. Шевырев не высказывается с первого раза, но Погодин сух и черств, даже издали. Хомяков так умен, что о душе его ничего нельзя сказать; можно, однако, уверительно сказать, что его сердце доброе. Здесь затеяли подписку для Иванова, по просьбе Чижова; не худо бы собрать 6000, это его обеспечит на два года; все это сделается между людьми, его любящими, как русского художника. Тут были запросы умные – обидится ли он или нет? Мне кажется, что общество никогда не может обидеть личность, а скорее лицо может обидеть другое лицо. Меня удивило, что государь, восхищаясь его картиной, не имел мысли ему помочь; вероятно, он забыл его в хлопотах путешествия и никто об нем не напомнил. Зачем у меня нет денег? Я так люблю Иванова и так дорожу его картиной.

Пожалуйста, друг мой добрый и любезный, извещайте меня, где вы обретаетесь и куда адресовать письма, а пока я буду писать к Жуку[1384], которого поцелуйте крепко в лоб, из

которого вылезает «Одиссея»[1385]. Я ему писала еще до болезни из Калуги и не имею ответа. Если вам писать много нельзя, то напишите нам всем циркуляр о здоровье только, и этого будет достаточно. Хорошо так сделать петербургским один bulletin[1386] через Софью Михайловну[1387], а другой москвичам через Аксакова.

Меж нами будь сказано, я, живши в Павлине, разлюбила вашу графиню Вьельгорскую и Нази[1388]. Они обе заражены бароновской спесью, и Нази очень и очень увлекается польками и всем светским блеском. Добродетель их какая-то католическая, гордая и сухая[1389]. Софья и Апполина[1390] и оба графы Вьельгорские[1391] – вот мои любезные.

Благодарю вас за письмо к Самарину; оно его обрадовало и подкрепило, он находится в самой затруднительной борьбе с отцом, который связывает каждое его свободное движение. А отсюда на него от друзей нападки за отторжение. Мне кажется, что, следуя движению сыновней благодарности и не возмущая семейного спокойствия, он уже прав и чист перед богом и обществом. Он умен, чист и

добр, любит все прекрасное не как отвлеченное, но как способ к украшению души, к улучшению общества посредством прекрасных личностей. Изредка напишите ему, потому что он страдает от своего фальшивого положения. Панов один его подкрепляет теперь, но едва ли и Панов доволен тем, что делает по необходимости.

Я беспрестанно езжу за город, была у рогожских и преображенских раскольников с Лужиным, обер-полицмейстером. Преображенские очень безнравственны, несмотря на стройность и чинность их быта. Рогожские лучше, хотя наружной свободы более. Впрочем, это понятно: первые без священников и таинств. Их церковь наводит грусть: иконостас без алтаря, они ждут церкви; вторые принимают наших расстриг – благословенные же получают священников от нас. Все это спутано, перемешано, и ежедневно являются новые гнуснейшие расколы. Лужин удивительный полицмейстер; Москва отдыхает после Цынского. Он так добр и благороден, вместе и строг и нравственен во всех отношениях; но что может отдельное лицо? Дай бог ему силы

надолго, но и он при всей силе телесной и при всем спокойствии душевном устает и страдает. А бедный Кавелин погиб – не перенес, ибо гневался[1392]. А как было и не гневаться в его положении? Он был не на своем месте! Говорят, что духовно он теперь высок и благодарит бога в светлые минуты. Прощайте, друг мой, сегодня мне нехорошо, погода переменчивая, облака сгущаются, и петух провозглашает дождь. Деревья чуть-чуть зеленеют, такой поздней весны не бывало. Я должна развлекать себя вздором, всякое напряжение мысли мне вредно. Я читаю очень мало, и то недели с три. По утрам одну главу Евангелия, а потом письма Плиния младшего[1393]; древность классическая проста, правильна и не переносит за границы невозможностей в добродетели. Все ограниченное теперь успокаивает мою больную мысль, а всего более прогулка и природа; в Калуге она прекрасна, и я погружусь в свой сад. Больных и страждущих я не могу видеть равнодушно, тотчас являются запросы и проч. Итак, я живу теперь жизнию материальной, по-видимому отдаляя все трудное, – это мне и доктором

предписано. Прощайте, друг мой, да сохранит вас бог и ведет вас путем избранным к цели избранной. Да хранит он вас в море далече и на всех путях. Один совет – не смущайтесь и, если труд не дастся, забудьте об нем, займитесь трудами рук, точите, ройтесь в земле, займитесь ботаникой, будьте как дитя; это можно сделать, и ежедневная молитва на это подкрепит. Я серьезно думаю, что движение рук очень полезно, что укрепляет нервы; я сама работаю руками, вощу столы и стулья.

А. О. Смирнова.

Гоголь – Смирновой А. О., 3(15) октября 1846

3 *(15) октября 1846 г. Франкфурт* [1394]

Друг мой Александра Осиповна, мне скучно без ваших писем! Зачем вы замолчали?[1395] Но не из-за этого упрека я взял теперь перо писать к вам. Есть другая причина. Взываю к вам о помощи. Вы должны ехать в Петербург, если только позволит вам ваше здоровье. От Плетнева узнаете все и с ним обдумаете, как и чем можно быть лучше мне полезным. Приходит время, когда должна объ-

ясниться хотя отчасти свету причина долгого моего молчания и моей внутренней жизни. Друг мой, если бог милостив, то можно собрать прекрасную жатву во славу святого имени его. Верю, что бог даст наконец мне радость принести добро многим душам. Друг мой прекрасный, требую от вас содействия; один человек, как бы он ни обдумал хорошо, все ничего не значит. Встретились разные затруднения по поводу появленья той книги[1396], которая, по убежденью души моей, будет теперь очень нужна и которую перед моим удаленьем во Святую землю нужно выдать непременно. Но с Плетневым переговорите обо всем. Кроме его и цензора[1397], никто не знает[1398]; по крайней мере, я так желал, чтобы было.

Ваш *Г.*

Адресуйте письмо ваше в Неаполь. В Рим я вряд ли заеду, да и незачем. Еду отсюда дней через пять. Жуковский здоров и вам кланяется. Я было укрепился на морск<ом> купанье. Теперь опять как-то расклеился. Но бог все творит, верно, к какому-нибудь новому ду-

шевному добру.

Гоголь – Смирновой А. О., 10(22) февраля 1847

10 *(22) февраля 1847 г. Неаполь* [1399]

Февраля 22.

Как мне приятно было получить ваши строчки[1400], моя добрая Александра Осиповна! Ко мне мало теперь пишут. С появленья моей книги[1401] еще никто не писал ко мне. Кроме коротких уведомлений, что книга вышла и производит разнообразные толки, я ничего еще не знаю. Какие именно толки – не знаю, не могу даже и определить их вперед, потому что не знаю, какие именно из моих статей пропущены, а какие не пропущены. От Плетнева я получил только вместе с уведомлень<ем> о выходе книги и об отправленье ее ко мне уведомленье, что больше половины не пропущено[1402], статьи же пропущенные обрезаны немилосердно цензурою. Вся цензурная проделка для меня покаместь темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом вся-

кого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги. Я до сих пор не получал ее и даже боюсь получить. Как ни креплюсь, но, признаюсь вам, мне будет тяжело на нее взглянуть. Все в ней было в связи и в последовательности и вводило постепенно читателя в дело – и вся связь теперь разрушена! Будьте свидетелем моей слабости душевной и моего неуменья переносить: все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с божьею помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами матери зарезали ее любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который до того благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости. Но я этому не совсем верю; человек этот не глуп. Тут есть что-то, покуда для меня непонятное.

Я просил Вьельгорского и Вяземского пересмотреть внимательно все не пропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприличным и неловким, представить их на суд дальше. Если и государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей божьей, чтобы не выходили в публику эти письма[1403]; по крайней мере, мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя, может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам о том, что можно делать губернаторше, попало также туда, а потому вы не удивляйтесь, что оно пришлось вам не совсем кстати: я, писавши его к вам, имел в виду многих других и желал посредством его добиться верных и настоящих сведений о внутреннем состоянье душевном люда, живущего у нас повсюду. Мне это нужно; вы не знаете, как это вразумляет меня. Я бы давно был го-

раздо умнее нынешнего, если бы мне доставлялась верная статистика. Если бы вы доставляли мне в продолжение года хотя такие известия, какие содержатся в нынешнем вашем милом письме, на которое я вам отвечаю (хотя в нем говорится только о невозможности делать добро), то я чрез это самое к концу года пришел бы в возможность сказать вам вещи гораздо более удобные к приведению к исполнению. У меня голова находчива, и затруднительность обстоятельств усиливает умственную изобретательность; душа же человека с каждым днем становится ясней. Но когда я не введен в те подробности, которые другой считает незначительными, душа моя тоскует, и мне, точно, как будто бы душно и не развязаны мои руки. Вся книга моя долженствовала быть пробою: мне хотелось ею попробовать, в каком состоянии находятся головы и души. Мне хотелось только поселить посредством ее в голове идеал возможности делать добро, потому что есть много истинно доброжелательных людей, которые устали от борьбы и омрачились мыслью, что ничего нельзя сделать. Идею возможности, хотя и от-

даленную, нужно носить в голове, потому что с ней, как с светильником, все-таки отыщешь что-нибудь делать, а без нее вовсе останешься впотьмах. Письма эти вызвали бы ответы. Ответы эти дали бы мне сведения. Мне нужно много набрать знаний; мне нужно хорошо знать Россию. Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые «Мертвые души», которых начало явилось в таком неприглядном виде. Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которых напичкали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека в такой степени, что львицы возжелают попасть в другие львицы. Способность созданья есть способность великая, если только она оживотворена благословеньем высшим бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее, как следует, в дело. А употребить ее, как следует, в дело я в силах только тогда, когда разум мой озаряется полным знанием дела. Вот почему я с такой жадно-

стью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь литературного труда моего. Ее объявляю вам, потому что вас удостоил бог понимать многое (благословите же всякие недуги и сокрушения, возведшие до этой степени вашу душу). С московскими моими приятелями об этом не рассуждайте. Они люди умные, но многословы и от нечего делать толкут воду в ступе. Оттого их может смутить всякая бабья сплетня и сделаться для них предметом неистощимых споров. Пусть их путаются обо мне; я их вразумлять не буду. А между тем их мненья обо мне имеют ту выгодную сторону, что все-таки заставят меня лишний раз оглянуться на себя. А это очень не мешает, и потому я любопытен знать все, что говорят обо мне. Не скрывайте же и вы от меня ничего, откуда ни услышите. Не ленитесь и не забывайте меня вашими письмами.

Ваши письма всегда мне приносили радость душевную, а теперь более, чем когда-либо прежде. Ваши мысли о трудности иметь какое-нибудь доброе влияние на жителей города Калуги очень основательны и разумны. Но не смущайтесь этим и вообще тем, что душа ваша остается без больших подвигов. Уже и это подвиг, если добрый человек, подобный вам, захотел жить в городе Калуге. А подвиги придут. Не позабывайте, что разум наш в распоряженье у бога: сегодня он видит невозможности, завтра богу угодно раздвинуть пред ним горизонт шире, и он уже видит там возможность, где встречал прежде невозможности. Пишите ко мне чаще, и говорю вам нелицемерно, что это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг, и, если хотите доброе даянье ваше сделать еще существеннее, присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например, вы-

ставьте сегодня заглавие: Городская львица. И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками – и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом – личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: *Непонятая женщина* и опишите мне таким же образом непонятую женщину. Потом: *Городская добродетельная женщина*. Потом: *Честный взяточник*; потом: *Губер<н>ский лев*. Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит. Вспомните прежнюю вашу веселость и уменье замечать смешные стороны человека, и, вооружась ими, вы сделаете для меня живой портрет, а мысль, что это вы делаете не для праздного пересмеханья, а для добра, одушевит вас охотою рисовать с такими подробностями портреты, с какими бы вы пренебрегли прежде. После вы увидите, если только милость божия будет сопровождать меня в труде моем, какое христиански доброе

дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей этого будете вы. Я не думаю, чтобы эта работа была для вас трудна и утомительна. Тут нет ни системы, ни плана и ничего казенного или должностного. Я думаю даже, что это будет приятно вам, потому что, составляя портреты, вы будете представлять перед собою меня и будете чувствовать, что вы для меня это делаете. Для того все приятно делать, кого любишь, а вы меня любите, за что да наградит вас бог много, много! Много есть людей, которые говорят мне тоже, что они меня любят, но любви их я не доверяю: она шатка и подвержена всяким измененьям и влияньям. Вы же любите меня во Христе, а потому и любовь ваша вечна, как самая жизнь во Христе. Но прощайте, моя добрая, до следующего письма! Мне чувствуется, что мы теперь чаще, нежели прежде, будем писать друг к другу. Целую ручки ваши, и бог да хранит вас!

Гоголь – Смирновой А. О., 18 ноября 1848

18 *ноября 1848 г. Москва* [1404]

Ноября 18, Москва.

Виноват, что отвечаю вам не вдруг на ваше письмо[1405], добрейшая моя Александра Осиповна. Есть на то причины: опять вожусь с собой, открываю в себе столько гадостей, что отлетает всякая мысль о других. Притом принимаюсь сурьезно обдумывать тот труд, для которого дал бог средства и силы, чтобы смерть, по крайней мере, застала за делом, а не за праздным бездельем. Все это отвлекает меня от прочих дел и даже от писем. Ехать в Калугу недостало силы воли. Мне представилось, что я ничего не могу сказать полезного и нужного Николаю Михайловичу[1406]. Если мне и удавалось на веку своем помочь кому-либо добрым советом в горе, так это тем, которые уже отыскали себе высшего советника, и мне <не> оставалось ничего более, как только им напомнить, к кому нужно обращаться за всеми надобностями. Вашим советом позаняться хандрящею девицею[1407] также не воспользовался. Я думаю, что обращаться с девушкой есть дело женщины, а не мужчины. Поверьте, девушка не способна почувствовать возвышенно-чистой дружбы к

мужчине; непременно заронится инстинктивно другое чувство, ей сродное, и беда обрушится на несчастного доктора, который с истинно братским, а не другим каким чувством подносил ей лекарство. Женщина – другое дело; у нее уже есть обязанности. Притом она не ищет уже того, к чему девушка стремится всем существом. Все, что я сделал, это было то, что я, вследствие письма вашего, постарался узнать, которая из дочерей Сергея Тимофеевича называется Машенькой. Надобно вам сказать, что я был в приязни только со стариками да с детьми мужеского пола; что же до женского, то я знал имена только двух старших дочерей[1408], с остальными же только раскланивался, не говоря ни слова. Не забывайте Вьельгорских. Видайтесь с ними как можно почаще. Говорите с ними о русском и о всем, что драгоценно русскому сердцу; теперь же, кстати, у них завелись русские лекции[1409]. От этого и они и вы будете в барышах. Светлая тишина воцарится в вашем духе. Нет ничего на свете лучше, как беседа с теми, у которых души прекрасны, и притом беседа о том, отчего становятся еще прекрас-

нее прекрасные души. Прощайте.

Весь ваш *Н. Г.*

Не позабывайте и пишите.

Гоголь – Смирновой А. О., 20 октября 1849

20 *октября 1849 г. Москва* [1410]

Октябр. 20, Москва.

Я о вас часто думаю, Александра Осиповна. Вероятно, и вы тоже иногда обо мне вспоминаете, но все же этого мало. Нужно иногда перекинуться письмецом. Я, слава богу, не чувствую, что я хвор, время летит в занятиях, так что некогда подумать о болезни. Больше читаю, чем пишу. Вижу, что много нужно еще приготовиться, нужно внимател<ьно>, и даже очень внимательно, прочесть все то, что знакомит нас с краем нашим, нами позабытым. Вижу мало кого, потому что просто не имею времени видеть. Графиню Соллогуб[1411], которая здесь, еще не видал ни разу. Здоровье ее, говорят, хорошо. Видел вскользь Андрея Карамзина с супругою, возвратившегося из путешествия по заводам и обширным

демидовским землям[1412], вскользь видел Соллогуба, неизменного и того же. Александр Петрович Толстой возвратился из Петербурга здоров и вам кланяется. Напишите же, что делаете вы и как живется. Ведь описывать немного: верно, строк пять-шесть всего. Поклонитесь тем, кто помнит меня в Калуге, и пришлите мне пакет, посланный на ваше имя мне в Калугу графиней Толстой. Он заключает в себе два письма, одно из которых мне очень нужно. Да и все-таки, мне кажется, этому пакету приличнее быть у меня, чем оставаться где-нибудь в конторе Жулева. В ожидании ваших добрых дружеских строк (всегда отрадных моей душе), остаюсь ваш весь

Н. Гог.

Гоголь – Смирновой А. О., 6 декабря 1849

6 *декабря 1849 г. Москва* [1413]

Декабря 6, Москва.

Только что отправил к вам письмо, как, два часа спустя, пришло ваше[1414]. Гадостей, как видно, около вас немало[1415]. Но как же

быть? Не будь их, не достигнуть нам и царствия небесного. Как раз забудет человек, что он здесь затем, чтобы нести крест. Что же касается до сплетней, то не позабывайте, что их распускает черт, а не люди, затем, чтобы смутить и низвести с того высокого спокойствия, которое нам необходимо для жития жизнью высшей, стало быть, той, какой следует жить человеку. Эта длиннохвостая бестия как только приметит, что человек стал осторожен и неподатлив на большие соблазны, тотчас прячет свое рыло и начинает заезжать с мелочей, очень хорошо зная, что и бесстрашный лев наконец должен взреветь, когда нападут на него бессильные комары со всех сторон и кучею. Лев ревет оттого, что он животное, а если бы он мог соображать, как человек, что от комаров, блох и прочего не умирают, что с наступленьем холодов все это сгинет, что кусанья эти, может быть, и нужны, как отнимающие лишнюю кровь, то, может, и у него достало бы великодушия все это перенесть терпеливо. Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом, а не человеком. Человек от праздности и часто сглупа брякнет

слово без смысла, которого бы и не хотел сказать. Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое, и мало-помалу сплетется сама собою история без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь. Не обвиняйте также и домашних никого; вы будете несправедливы. Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле[1416]. Чтобы не обмануться в людях, нужно видеть их так, как велит нам видеть их Христос. В чем да поможет вам бог! Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать не сенатор, а тот, кого ничем не подкупишь и у которого совершенно другой взгляд на все[1417].

Гр. Толстой очень благодарит вас за память. С Назимовым я мало знаком: виделся с ним раза два, отзывают<ся> же о нем другие хорошо. Если вам имеется в нем надобность, может быть насчет Билевича, то посоветуйте ему обратиться к Гинтовту, который с ним еще недавно служил вместе. Здоровье мое кое-как плетется, хотя и не совсем так, как

нужно для произведенья моей поденной работы. Бог да хранит вас! Прощайте.

Весь ваш *Н. Г.*

Если Николай Михайлович сегодня именинник, то передайте ему мое поздравленье. Детушек перецелуйте.

Гоголь и Вьельгорские

Вступительная статья

Семья Вьельгорских состояла из главы ее, графа Михаила Юрьевича Вьельгорского (1788–1856), его жены, Луизы Карловны, урожденной принцессы Бирон (1791–1853), и их детей: Иосифа Михайловича, Михаила Михайловича, Аполлинарии Михайловны, вышедшей замуж за Алексея Владимировича Веневитинова, брата поэта Д. В. Веневитинова, Софьи Михайловны (1820–1878), вышедшей замуж за писателя гр. Владимира Александровича Соллогуба, и Анны Михайловны (1823–1861), уже после смерти Гоголя вышедшей замуж за кн. А. И. Шаховского.

«Граф Михаил Юрьевич Вьельгорский был одним из первых и самых любимых русских

меценатов; все этому в нем способствовало: большое состояние, огромные связи, высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение, которое он занимал при дворе, тонкое понимание искусства, наконец, его блестящее и вместе с тем очень серьезное образование и самый добрый и простой нрав», «Философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, душа всех обществ, семьянин, эпикуреец, царедворец, сановник, артист, музыкант, товарищ, судья, он был живой энциклопедией самых глубоких познаний, образцом самых нежных чувств и самого игривого ума», – вспоминал о М. Ю. Вьельгорском В. А. Соллогуб (Соллогуб В. А. Воспоминания. М. – Л., 1931, с. 293, 510–511). Литературные и художественные интересы связывали М. Ю. Вьельгорского с кругом Жуковского и Пушкина; с обоими он был в достаточно коротких отношениях, кроме того, дружил с А. О. Смирновой, много общался с П. А. Плетневым. В этой литературной среде в самом начале 1830-х годов и состоялось знакомство Гоголя с Михаилом Юрьевичем и его сыном Иосифом.

Они виделись у Жуковского и у Смирновой-Россет, где в 1831 году Вьельгорские присутствовали при чтении Гоголем «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но в ту пору это было не более чем поверхностное знакомство. Подлинное сближение Гоголя с семьей Вьельгорских состоялось значительно позже, и ему предшествовали и содействовали весьма печальные обстоятельства.

В конце 1838 года И. М. Вьельгорский, больной чахоткой и уже не имевший надежды на выздоровление, приехал в Рим. Гоголю было суждено стать спутником последних дней его жизни. Повстречавшись, они сошлись сразу, и очень близко, виделись ежедневно, а когда началась агония, Гоголь неотлучно дежурил у постели умирающего. Их последние свидания Гоголь описал в незаконченной повести «Ночи на вилле», выразив в ней то доходящее до экзальтации сверхнапряжение чувств, с которым он пережил смерть И. Вьельгорского.

С известием о смерти Иосифа Михайловича Гоголь выехал навстречу Л. К. Вьельгорской, спешившей в Рим, и шесть недель про-

вел рядом с ней, пытаясь утешить ее горе. В воспоминаниях В. А. Соллогуба остался портрет Луизы Карловны: «Это была женщина гордости недоступной, странно как-то сочетавшейся с самым искренним христианским уничижением, – мне случалось быть свидетелем выхода самого необычного высокомерия и вместе с тем присутствовать при сценах, в которых она являлась женщиной самой трогательной доброты. Детей своих она боготворила» (там же, с. 293). Никогда не сближавшаяся с людьми, не принадлежавшими к ее кругу, для Гоголя Вьельгорская сделала безусловное исключение.

Спустя несколько лет, когда зимой 1843 года Гоголь встретился с Вьельгорскими в Ницце, они составили тесный дружеский кружок, в который входила и А. О. Смирнова. Той зимой Гоголь сделался в семье Вьельгорских необходимым человеком – прежде всего для Луизы Карловны, Анны Михайловны и Софьи Михайловны, с которыми, начиная с 1844 года, он вступил в деятельную переписку. Гоголь входил в мельчайшие подробности их переживаний, забот и горестей, находил сло-

ва ободрения, а затем, в довольно короткий срок, из утешителя превратился в наставника. В Софье Михайловне Гоголь (как и многие другие знавшие ее люди) видел образ «небесной чистоты». Она унаследовала от отца редкие музыкальные способности, прекрасно рисовала. Выйдя замуж по любви, Софья Михайловна целиком сосредоточилась на семейных заботах. Гоголю она доверительно писала о детях, о литературной работе мужа. Л. К. Вьельгорская делилась с Гоголем своими тревогами за счастье дочери, вызванными беспокойным образом жизни В. А. Соллогуба.

По отношению к Анне Михайловне, младшей в семье Вьельгорских, Гоголь мыслил себя в качестве воспитателя. Он стремился направлять и контролировать ее духовные интересы, жизненные занятия, круг чтения, знакомства. Особо незаурядной личностью Анна Михайловна, судя по ее письмам, не была. Но может быть, именно вследствие этого Гоголь увидел в ней благодатную почву для воспитания и надеялся оказать решительное влияние на формирование ее характера. Эти надежды укрепились при встрече с Вьельгорскими в

Петербурге осенью 1848 года. Бывая у них почти каждый день, Гоголь подолгу беседовал с Анной Михайловной о сущности русского характера, о том, как сделаться подлинно русскою, и тому подобных вещах. В результате этих бесед с конца 1848 года и в 1849 году А. М. Вьельгорская стала едва ли не самым главным для Гоголя корреспондентом. Внушая ей свои любимые мысли, он пишет ей чаще, чем всем остальным, и содержание его писем отчетливо перекликается с идеями второго тома «Мертвых душ». По семейному преданию Вьельгорских, в конце 1840-х годов Гоголь решился сделать предложение Анне Михайловне. Однако предварительные переговоры с родственниками сразу же убедили его, что неравенство их общественного положения исключает возможность такого брака.

Следует подчеркнуть, что в роли наставника в семье Вьельгорских Гоголь выступал лишь по отношению к женщинам, на Михаила Юрьевича это влияние отнюдь не распространялось. Но к помощи и поддержке М. Ю. Вьельгорского Гоголь прибегал неоднократно. Когда в связи с «Мертвыми душами» воз-

никли цензурные трудности, Гоголь просил Вьельгорского воспользоваться своими связями. Готовя к постановке и изданию «Ревизора» с «Развязкой» и желая раздать бедным вырученные от продажи книжки деньги, Гоголь поручил заботы об этом А. М. и М. Ю. Вьельгорским. Получив цензурный запрет на публикацию «Выбранных мест из переписки с друзьями» в полном объеме, Гоголь настойчиво просил Вьельгорских поднести книгу на прочтение Николаю I, надеясь получить разрешение на ее публикацию в том виде, в каком она была написана. Перед поездкой Гоголя в Иерусалим по ходатайству Вьельгорского Николай I приказал написать в русские заграничные посольства, чтобы Гоголю в его путешествии оказывалось всевозможное покровительство.

В целом переписка Гоголя с Вьельгорскими свидетельствует о том, насколько близкими, почти домашними были их отношения. С Гоголем делились семейными заботами и радостями, ждали его советов, пеклись о его здоровье. Его чрезвычайно ценили как писателя, гордились им как славой России, но любили

в нем прежде всего человека. И он отвечал Вьельгорским глубокой сердечной благодарностью. Но по письмам Гоголя чувствуется, что в его отношениях с ними была и еще некая «сверхзадача». В 1840-е годы, к которым относится переписка с Вьельгорскими, Гоголь уже безраздельно находился во власти идеи о мессианском назначении писателя. Реализацию этой идеи он видел не только в творчестве, но и на самом жизненном поприще, в личном подвиге совершенствования души и в обращении ко благу своих ближних. Знакомство с Вьельгорскими открывало ему возможность влияния на представителей высших кругов общества, от личных устремлений которых, согласно социальной утопии Гоголя, непосредственно зависела настоящая и будущая жизнь России.

Переписка Гоголя с Вьельгорскими охватывает период с 1838 по 1850 год. Сохранилось 63 письма Гоголя и 41 письмо Вьельгорских. В настоящем издании публикуется 15 писем Гоголя и 19 писем Вьельгорских.

Вьельгорский М. Ю. – Гоголю, 16(28) июля 1839

16 *(28) июля 1839 г. Марсель* [1418]

Июля 28-го. Марсель.

Что мне вам сказать, любезнейший товарищ, незабвенный мой спутник?

Мы все еще здесь живем в уединении на прекрасной, прохладной даче, и, если бы не горе[1419], вполне наслаждаться мог бы семейственной жизнью, которою давно не пользовался в такой мере. Но это горе, как червь, неизгладимо, и самый взгляд милых, бесценных моих детей напоминает о потере невозвратной.

Недавно получил я собственноручное письмо от государя императора, писанное от сердца, как он умеет писать! Гораздо приятнее и сладкоумилительно для сердца было его изъявление насчет умершего, – именно, что от него он ожидал в будущности. Также получил и от Жуковского два письма, – в одном есть несколько строк для вас, но не мог их отыскать, а перешлю в Рим, при отъезде, когда разрою свои бумаги.

Мы вообще ожидали графиню Воронцову, которой приезд был бы для меня большой

подмогой: она любит графиню, которая и ее очень любит. Она была бы помощницей в моих беспрестанных разговорах с женой, у которой горесть все глубже и глубже укореняется. «Что я за мать, – говорит она часто, – я воображала только, что я его любила, и не умела умереть!» – и подобные парадоксы материнской любви, которых и пересказать вам не могу, но которые понятны вашему сердцу.

Мы еще не совсем отложили надежду видеть графиню, послав ей даже случай приехать: в таком случае проживем здесь еще до 20-го августа, и если решительно она откажется, то в первых числах поедем, вероятно, по Рейну в Ротердам и оттуда, вероятно, в Брайтон или останемся для пользования морскими купаньями.

Портрет Жозефа[1420] отыскался у младшей дочери. Я его послал в Рим Риччи. Не имею еще известий оттуда. Познакомился я здесь с Паганини, но не слыхал его: он вскоре уехал на воды; страдает общим расслаблением и началом паралича в дыхательном орудии. Когда говорит, то сжимает ноздри двумя пальцами, что довольно смешно.

Здесь все в большом ожидании развязки дел на востоке, где смерть султана гордианский узел перерезала неожиданно[1421]. Что наш скажет и сделает?[1422] Этого-то и ожидают со страхом[1423].

Теперь жалею, что не просил вас написать строк десяток для помещения в «Diario»[1424] о смерти нашего незабвенного друга! Он завял, как одинокий неизвестный цветок!

Простите, милый мой! мысленно вас объемлю.

Напишите мне в Марсель, au consulat de Russie[1425], т. е. Ebeling.

Гоголь – Вьельгорской Л. К., 14(26) марта 1844

14 *(26) марта 1844 г. Страсбург* [1426]

Стразбург. Вторник, 26 марта.

Никак не думал было писать к вам, не приехавши на место, но случился случай. Пароход, на который сел я с тем, чтобы пуститься по Рейну, хлопнулся об арку моста, изломал колесо и заставил меня еще на день остаться в Стразбурге. Вопросивши себя внутренно: зачем это все случилось, на что мне дан этот

лишний день и что я должен сделать в оный, я нашел, что должен вам написать маленькое письмо. Письмо это будет состоять из одного напоминания. Вы дали мне слово, то есть не только вы, но обе дочери ваши[1427], которые так же близки душе моей, как и вы сами, все вы дали слово быть тверды и веселы духом. Исполнили вы это обещание? Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренне приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и много нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление самого бога. Это не простым случаем случилось, что правила эти попали к вам в руки. Тут была воля высшая. Мы все орудия божиего провидения. Оно употребляет нас для нас же. Таким образом, и меня, который в существе своем есть не более как совершенная дрянь, поместило оно в доме Paradis,

хотя от этого помещения не произошло, по-видимому, никому никакой пользы. Но поместило оно именно для того, чтобы правила эти из моих рук перешли в ваши. Итак, это не был простой случай. Самое несчастие, случившееся теперь на пароходе, случилось, может быть, для того, чтобы мне теперь же доставить время и удобность написать вам это напоминание. Может быть, уже ваше обещание побледнело и твердость ослабела и потому пароходу суждено было хлопнуться боком и изломаться. Во всяком случае, если кто-нибудь чего-нибудь у нас требует или просит во имя бога, и если его просьба не противоречит ни в чем богу, и если он умоляет всею душою исполнить его просьбу, тогда слова его нужно принять за слова самого бога. Сам бог его устами изъявляет свою волю. Так я привык верить и подтверждение этому находил повсюду. Вы тоже найдете это во многих святых книгах, которые, верно, случится вам потом читать, а более всего еще найдете подтверждение этого в глубине собственной души вашей. Вот все, о чем я почел необходимым сказать теперь вам. Что же касается собственно

до меня, то я довольно здоров, в дороге все было хорошо, об вас думал беспрестанно. Из Франкфурта или Дармштадта напишу к вам. Затем прощайте! Обнимаю вас всех душевно и сильно и с такой любовью, что грех вам будет, если вы не исполните чего-нибудь из того, что обещали. Веселей и добрей будем все духом и докажем богу, что мы умеем надеяться на него, хотя бы и все шло наперекор, умеем любить его не потому только, что он исполняет то, что нам нравится. Нет, докажем ему, что мы умеем его любить, не торгуясь с ним, умеем любить бескорыстною любовью. Если только мы это успеем доказать ему, тогда уж все будет по желанью нашему и не будет ни одной молитвы нашей, которая бы не была услышана. Прощайте! Если будете писать, адресуйте на имя Жуковского.

Весь ваш *Гоголь*.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 31 марта (12 апреля) 1844

31 *марта (12 апреля) 1844 г. Франкфурт* [1428]

Франкфурт. 12-го апреля.

Я видел вашу приятельницу[1429] и вручил ей письмо. Занятый говеньем, я был с ней редко, да и не было как-то предметов для разговоров. Но я, однако ж, наблюдал ее и по мере, сколько вразумил меня бог слышать душу человека, не мог не заметить, что это ясная светлая душа, которая вышла как-то готовою на свет. Она светла, ровна в словах и в обращениях со всеми и потому необходимо должна быть всеми любима. Она поставлена для того, чтобы говорить: будьте безмятежны, как безмятежна я. Но в глазах моих вы больше имеете значения, не загордитесь: вы ничуть не лучше ее, но вы будете лучше. Вы будете в силах заглядывать в самую душу человека и оказывать там помощь. Ваше поприще будет даже гораздо более, чем всех ваших сестриц. Потому что если вы обсмотритесь только хорошенько вокруг себя, то увидите, что и теперь может начаться поле подвигов ваших. Вам дано недаром имя благодать[1430]. Вы будете, точно, божья благодать для всего вашего семейства и всех вас окружающих. Вам недостает только хорошенько всмотреться и узнать свойства и природу всех тех, кото-

рые вас окружают, для того, чтобы найти прямую дорогу к душе каждого. Вам недостает еще спокойного размышления и воздержания от ранней готовности действовать, а вы будете иметь непременно благодетельное влияние на всех; я сужу таким образом, основываясь на тех данных, которые заключены в душе вашей и которые я потихоньку подсмотрел, хотя вы их еще не можете видеть, как часто весьма многое в себе нам доводится узнать уже после других. Иное мы и видим, но еще не можем знать, чему оно служит началом, если не занимались еще наукой воспитанья человека и не испытали ее на себе. Еще скажу вам одно, основываясь на признаках, которые вы обнаружили передо мною в последний день пребывания моего с вами. У вас будет очень твердый характер, тверже, чем у всех ваших и даже чем у Михала Михайловича[1431]. Разумеется, вы этого еще долго в себе не приметите, и даже тогда, когда будете более и более укрепляться. Вот вам покаместь все. Прощайте, до приятного свиданья в Бадене. Да хранит вас бог!

Братски любящий вас *Гоголь*.

Христос воскрес!

Передайте от меня душевный поклон Марье Петровне[1432] вместе с приветствием Христос воскрес.

Вьельгорская Л. К. – Гоголю, 16(28) апреля 1844

16 *(28) апреля 1844 г. Ницца* [1433]

Ницца. Апреля 28-го / 16.

Сердце мое вещун, почтеннейший Николай Васильевич: я уверена была получить еще письмо от вас прежде нашего отъезда. Оно меня тем более обрадовало, что вы нам даете столь приятную надежду видеть вас в Баден-Бадене. Мы оставляем рай и m-lle Paradis[1434] 30 (18) апре<ля> во вторник утром, дней чрез шесть будем, вероятно, в Женеве, где я намерена отдохнуть неделю, а оттуда прямо в Баден. Из Петер<бурга>, слава богу, известия хороши; все здоровы; Михаил Михайлович очень занят канцелярской службой[1435]. От Софи получила я два письма из Генуи, одно из Милана, а с тех пор что-то замолчала. В Ницце пусто, жарко, печально. Мы

совершенно осиротели: дети и друзья рассеялись; все разъехались в разные стороны, мы живем в совершенном уединении, хотя много видим и принимаем. <нрзб.> навещает нас весьма часто; любезность и услужливость его невыразимы. Он преодолел мое к нему недоброжелательство необыкновенной добротой сердца. Кто бы мог это предвидеть?..

Софи, вероятно, теперь в Венеции или по крайней мере в дороге. Я писала Владимиру Александровичу, чтобы сообщить ему содержание письма доктора Гугерта, который подтверждает свое прежнее мнение, т. е. необходимость для Софи предпринять настоящее лечение в Баден-Бадене и пробыть шесть недель под его присмотром прежде морских ванн. Он то же повторяет г. Соллогуб<у>, но как они в состоянии утаить письмо, то я поспешила предупредить эту возможность.

Наслал же бог в семейство наше, дотоле блаженствовавшее, тяжкое испытание. Я стараюсь не упадать духом. Надобно надеяться на господа, он один может избавить нас от всей напасти или исправлением Владимира Александровича[1436], или освобождением

нас и несчастную Софи от него. Все в святой воле его, и пути его от нас сокрыты.

Нози[1437] тронута была до глубины сердца вашим письмом[1438]: лицо ее как бы просветлелось при чтении ваших пророческих наставлений. Она чувствует необходимость заслужить лестное ваше о ней мнение, только еще не знает, чем и как начать сие великое предприятие.

Все кланяются вам сердечно, потому что все вас возлюбили… Надеюсь иметь счастие видеть нашего друга, Жуковского. Будьте здоровы. Божие благословение на вас! До свидания.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 17(29) апреля 1844

17 *(29) апреля 1844 г. Ницца* [1439]

Ницца. 29 апреля 1844 г.

Ваше совсем неожиданное письмо[1440] меня очень обрадовало, но еще более удивило. Я прочла его раз шесть, и каждый раз с новым удивлением. До сих пор я не понимаю хорошо, что вы мне пишете, по крайней мере не понимаю настоящего значения ваших

слов. Вы говорите, что меня ожидает жизнь полезная и возможность делать много добра: дай бог, чтобы предсказания ваши совершились! (Он знает, о чем я его молю). Но сколько мне предстоит времени и труда для достижения прекрасной цели, которую вы мне показываете!

Все-таки, Николай Васильевич, я не унываю. У меня очень много доверенности к вам, и, хотя я думаю, что ваше обо мне мнение слишком лестно, чтоб оно могло быть истинным, я утешаюсь мыслью, что с вашим умом вы не могли совершенно ошибиться на мой счет. Мы об этом поговорим еще в Бадене.

Теперь мне время нет написать вам длинное письмо, тем более, что я не большая охотница писать по-русски или, лучше сказать, по-чухонски, потому что мой русский язык не похож на язык прочих русских. Однако же вы в Ницце меня всегда понимали и даже никогда не смеялись надо мной, когда я с вами говорила, – так я надеюсь, что и теперь вы прочтете письмо мое aves votre indulgence accoutumée[1441]. Мы едем завтра поутру через Францию и Женеву в Баден. Грустно рас-

статься с Ниццею!

Прощайте. Еще раз благодарю вас за любезное письмо. Вы, верно, вперед знали, сколько оно меня обрадует. Надеюсь увидеть вас не позже 20-го мая.

Христос с вами.

Анна М. В.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 31 октября (12 ноября) 1844

31 *октября (12 ноября) 1844 г. Париж* [1442]

Париж. 12 ноября.

Мы здесь уже с неделю, но до сих пор мне никак невозможно было писать вам: целый день мы таскались по улицам искать квартиру, и, когда мы выбрали одну, надобно было еще хлопотать нам несколько дней сряду, чтобы хоть немножко устроиться. Наше путешествие было самое счастливое, но часто, часто мне хотелось унывать, и я вспоминала о вас, чтобы снова ободриться. Еще не так трудно себя одну ободрить, а мне приходилось утешать Фани[1443] и англичанку и видеть около себя всех в отчаянии. Одна только была спокойна и почти весела, именно та, которая

всех более страдала[1444]. Теперь я только узнала, какая у нее душа прекрасная. Два или три раза я говорила с двоюродным братом[1445]. Он выслушал меня с терпением, даже благодарил меня за то, что я ему сказала, но все-таки до сих пор я не вижу большой перемены dans sa manière d’être[1446]. Однако же я сильно, крепко надеюсь: что невозможно людям, возможно богу.

Из Петербурга мы получаем славнейшие известия. Владимир Александрович все продолжает сидеть дома с женой и нежно обходиться с нею. Вы можете вообразить себе, как маменька этим довольна и как ей легче переносить разлуку с Софией, когда знает, что она спокойна и счастлива.

Что мне вам о Париже сказать? Первое впечатление не было для нас очень приятным. Мы приехали в самую серую погоду, и среди шума, движения и толпы улиц грустное чувство одинокости сжало мое сердце, и я думала о Петербурге и о счастии быть со всей моей семьей, и я спрашивала себя с удивлением, неужели Париж самый этот город, который столько тебе понравился три года тому

назад и в котором с этого времени тебе так хотелось провести несколько месяцев? Но это впечатление недолго осталось, и теперь я уже смотрю на Париж другими глазами. Я сейчас начала тем, что объявила себе никак не смотреть на погоду, и в самом деле я исполняю эту хорошую резолюцию. Мы с Лазаревыми живем в одном доме (Place Vendôme, № 6). Они в бельэтаже, а мы – во втором. У меня хорошенькая комната на юг, и я надеюсь эту зиму хорошенько в ней заниматься и немножко поумнеть. В восемь часов утра мы кофе пьем, в час завтракаем и в шесть обедаем.

Я успела прочесть первый том «Вечеров на хуторе», который меня очень забавлял, но я все вас никак не узнаю в ваших сочинениях. Вы, кажется, очень далеко ушли с этого времени. Теперь я хочу с вами поговорить об одном удивительном случае, который немного маменьку и меня смутил. Вчера мы получили письмо от папеньки. Он пишет: в Иерусалиме во время обедни раздался небесный голос. Патриарх Иерусалима говорит, что это предвещает большие бедствия всему миру. Он велел всем говорить раз ежед<н>евно следую-

щую молитву, которую многие уже знают в Петербурге:

«О Иисусе Христе! молим тя, святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир твой от всякой погибели, кровию твоею дабы омылись грехи наши. О боже предвечный, яви милосердие твое великое, молим тя, прости ради пречистой крови твоей, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Каждый говорящий сию молитву должен стараться сообщить ее девяти другим особам. Пожалуйста, любезный Николай Васильевич, говорите ее каждый день и старайтесь сообщить ее дальше. Что вы об этом думаете? Напишите мне скоро. Ваши письма мне полезны и очень приятны. Толстых[1447] мы видели. Я, как предполагала, буду ехать с ними в церковь по воскресным дням. Надеюсь, что вы здоровы телесно и душевно, что вы, как я, не хандрите, но умник, пишете для наших будущих наслаждений и пользы, гуляете, смеетесь и думаете иногда о вашей приятельнице Анне Михайловне.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 11(23) ноября 1844

11 *(23) ноября 1844 г. Франкфурт* [1448]

Франкф. 23 ноября.

Благодарю вас очень за письмо и за известия (письмо от 12-го ноября). Я думал долго о вашем пациенте. Придумал одно средство, которое может с божьей помощью помочь в этом деле, но средство это несколько крепковато. Желудок больного теперь его не сварит, ему покаместь полезны ваши попечения. Молитву, которую вы мне прислали, я уже получил почти за месяц прежде от Смирновой. Думаю об этом я таким образом. Если молитва пришла в наши руки, то по ней следует молиться. Вот и все.

Я бы хотел знать, между каким классом наиболее разошлась в Петербурге эта молитва и кто ее доставил. И молится ли Петербург, помышляя в то же время о себе и рассматривая жизнь свою, или просто повторяет одни только слова молитвы, не входя в них душою и сердцем.

Я вспомнил, между прочим, о графине Толстой, находящейся ныне с вами в Париже. Она множество набрала материалов к себе в

душу и держит их точно под замком, не применяя их к делу. Ей больше, чем кому-либо другому, следует молиться делами, без дел угасают сильно чувствования душевные, а без сильных чувствований душевных бессловесна молитва. Если бы вы ее могли заставить войти в положение какого-нибудь несчастливца, которому нужна помощь, и заинтересовать ее им. О себе скажу вам пока только, что нечего о себе сказать. Слава богу, нахожусь в положении обыкновенном, т. е. не сижу совершенно за делом, но не бегаю от дела, и прошу бога о ниспослании нужного одушевления для труда моего[1449], свежести сил и бойкости пишущей руки. Вы напрасно ищете в моих сочинениях меня, и притом еще в прежних: там просто идет дело о тех людях, о которых идет дело в рассказе. Вы думаете, что у меня до такой степени длинен нос, что может высунуться даже в повестях, писанных еще в такие времена, когда был я еще мальчишка, чуть вышедший из-за школьной скамейки. Но об этом покаместь до будущего времени.

Перецелуйте вместо меня маменьки ва-

шей ручки и ваши собственные и будьте здоровы.

Ваш *Н. Гоголь*.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 17 февраля (1 марта) 1845

17 *февраля (1 марта) 1845 г. Париж* [1450]

Любезный Николай Васильевич!

Я все о вас думаю и провожаю вас мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете и играете ли усами или просто сидите с сложенными руками, с полузакрытыми глазами, не смотря ни на что и не думая ни о чем? В такую погоду, как у нас сегодня, и особливо по такой скучной дороге, как та, по которой вы теперь едете, лучшее средство приятным образом провести время, это спать, и я надеюсь, что вы в эту самую минуту нимало ни о Париже, ни о Толстых, ни о нас не думаете, а просто спите и даже не видите нас во сне. Зато когда во Франкфурт приедете, вы хорошенько о нас подумайте и сейчас станете нам писать, чтоб известили нас, каким образом вы ехали, и приехали, и как вас приняли, и как вы чувствуете себя, проч.

и проч. Нынешний вечер мы проводим у Толстых, как мы вам обещали, и будьте уверены, что все прочие ваши просьбы будут исполнены. Завтра, как буду у обедни, вспомню о вас и закажу также молебен. Лазарев очень сожалеет, что вас не видел. Я им всем сделала вашу комиссию.

Прощайте, любезный Николай Васильевич. Ведите себя хорошо, а то мы вас не будем любить, то есть будьте здоровы, и мы постараемся со своей стороны удовлетворить вас.

Маменьки дома нет. Прощайте. Христос с вами.

Анна Михайловна.

Париж, 1-го марта.

Сию минуту получили мы известие из П<етербурга>: слава богу, все здоровы и Софья Михайловна сердечно вам кланяется. Владимир Александрович собирается в К<ишинев>.

Будьте здоровы и веселы. Всем прошу от меня поклониться.

Вьельгорская Л. К. – Гоголю, 2(14) марта 1845

2 *(14) марта 1845 г. Париж* [1451]

Париж. 14-го марта 1845 г.

Благодарим вас, любезнейший друг, за письмо ваше и известия о вашей дорогой для нас особе[1452]. Удивительно, что мы все вас так полюбили. Даже Беби[1453], когда говорит о grand'mama Solochub[1454] и Anolite[1455], никогда не забывает прибавить master[1456] Гоголь, как будто мы составляем в ее воспоминании какую-то дружескую тройцу, для нее совершенно нераздельную. Слава богу, все здоровы, кроме Владимира Александровича, который должен ехать в Кишинев. Он страдает завалами в печени, впрочем, ничего опасного, но в молодости особенно не надобно пренебрегать здоровьем. У нас опять наступила зима; сегодня утром 7 градусов. Нозинька в церкви с графом и граф<иней>[1457]. Пишут мне из Петербурга, что граф Иван[1458] приехал на 28 дней и ожидает с душевным нетерпением письмо от брата гр. Александра[1459] из Парижа. Не понимаю, что за известия он ожидает – какого рода. Как вы думаете, любезнейший Николай Васильевич… неужели

гр. Иван еще думает о прошедшем?[1460]

Для иногурации нашего дома или, лучше сказать, залы мой супруг и зять дали 13-го числа большой консерт, биографический, классический, состоящий из 14 номеров. Гостями был царский дом женского пола. Италиянские артисты участвовали. Императрица и великие княжны были incognito. Софи принимала публику, Аполлина[1461] – царских гостей. Явное доказательство, что, слава богу, вся царская фамилия здравствует и нимало не хворает, как утверждают газеты. Тургеневу[1462], кажется, лучше; он что-то яснее и веселее смотрит. Мише[1463] также, слава богу, лучше, или, лучше сказать, он совершенно здоров. Нет никакой надежды, чтоб Мишу теперь, когда произвели его в младшие секретари, послали курьером в Париж. Сегодня были мы у Шатобриана. Вся душа, воображение, ум, гений сего великого писателя сосредоточились в глазах его. Судя по наружности, он старее кажется, нежели есть в самом деле. Бонапарт и он одних лет. Он слаб на ногах, ходить не может и даже стоит с помощью трости. Завистники его славы, соперники, неприятели

и даже друзья говорят, как будто он теперь беспокойного характера, терзаем желанием занимать свет своей особой и славой. Прошедшее невозвратимо, но и слава прошедших дней прекрасна, и ею надобно довольствоваться, когда она бессмертна, как французский язык и французская литература. И вам, любезный друг, и Жуковскому, Пушкину, Языкову, и некоторым другим предстоит бессмертие и на земле, а нам, несчастным, совершенное забвение. Эта мысль меня часто огорчает. Дайте мне хороший совет, чтобы сделаться как можно скорее известною, выдумайте что-нибудь необыкновенное. Но пора кончить, и потому простите. Нозинька хочет прибавить несколько слов; надо ей место оставить. Наш дружеский поклон нашему дорогому Жуковскому.

(Приписка А. М. Вьельгорской) Любезный Николай Васильевич, пожалуйста, пишите Софье Михайловне. Она немножко унывает. Вот ее слова: «Il me faudrait deux ou trois bonnes conversations avec notre cher ami, pour me calmer et me remettre sur la bonne voie»[1464]. Прощайте, я вам напишу прежде конца

месяца. *Анна Михайловна.*

Соллогуб С. М. – Гоголю, 21 октября 1845

21 *октября 1845 г. Петербург* [1465]

С. Петербург – 21-го окт. 1845.

Спасибо вам за последнее письмецо ваше[1466], любезный Николай Васильевич! Оно маленькое, но многозначащее для меня. Вы порадовались моею радостью, и это еще больше увеличило чувство счастья моего. Как достойно поблагодарить вас за то? Одно участие ваше для меня драгоценно. Александр Владимирович здоров; у него большие голубые глаза, приятная улыбка, соллогубовский нос; он очень бледен, – вероятно, от недостатка солнца и света. Беби так выросла и похорошела, что вряд ли вы ее узнаете. Она теперь говорит по-русски и становится умнее; чрезвычайно любит брата и беспрестанно ласкает его. Мы спокойно, мирно и счастливо живем все вместе. Главный центр семейства у маменьки. По воскресеньям мы все у нее обедаем. Владимир Александрович все лето сочинял и писал. Он издает теперь три новые повести, изобра-

жающие три эпохи светской женщины[1467]. На днях будут представлять новую комедию его, «Букеты»[1468], – критика цветострастия нашей публики. Я перевожу теперь с сестрой английскую книгу о воспитании и сама намерена сочинять для Софьи Владимировны. Что вы об этом думаете? У нас большой недостаток в детских книгах, и те, которые существуют, переведены или с немецкого, или с английского. Александра Осиповна уехала 21-го. Она была очень расстроена и много плакала. Мы обещались друг другу писать. Я надеюсь, что она найдет в Калуге если не счастье, то по крайней мере спокойствие. А вы что делаете, любезный Николай Васильевич? Каково ваше здоровье и расположение духа? Что делается в Риме? Вы, верно, наслаждаетесь еще теплым воздухом и сверкающим солнцем, а у нас начинает порядочно морозить. Анна Михайловна здорова и весела. Elle a beaucoup gagné depuis un an et travaille énormement sur elle-même[1469]. Мне случается иногда смущаться, но я тогда думаю о милом братце моем и стараюсь успокоиться.

Прощайте, любезный друг мой. Обнимаю

вас от души и молю бога о вас. Да сохранит и да укрепит он вас. Муж мой кланяется вам. *С.*

Гоголь – Соллогуб С. М., 22 декабря 1845 (3 января 1846)

22 *декабря 1845 г. (3 января 1846 г.) Рим* [1470]

Генваря 3 1846. Рим.

Благодарю вас за ваше письмецо[1471], по обыкновению всегда для меня очень милое и очень приятное, и за все известия, которые также все до единого мне были тоже очень приятны и порадовали меня в моем хвором состоянии. Мысль ваша писать самой книжки для Беби весьма умна; кто же, кроме самой матери, может написать что-нибудь лучше для дочери? Я рад, что в Владимире Александровиче пробудилась деятельность писателя[1472]. Не позабудьте мне прислать все, что ни выйдет из-под пера его. Теперь же это так легко: курьеры ездят всякую неделю из Петербурга. Поручите Матвею Юрьевичу[1473], он это сумеет сделать. Можете также адресовать на имя здешнего секретаря Устинова. «Тарантас»[1474] в печати мне еще больше понра-

вился, чем прежде в рукописи, хотя я успел прочесть его довольно бегло и, к сожалению, не имею у себя под рукой экземпляра. О себе, то есть о здоровье моем, скажу вам только то, что я зябну до такой степени, что не нахожу уже никаких средств согреваться. Сначала было мне немного лучше. Но да будет во всем воля божия! Что ни делается с нами, то делается не без нее, а она стремится все, и недуги и страданья, обратить нам во благо. Да будет же во всем эта святая и чудная воля! Передайте эти письма или, лучше, записочки, при сем прилагаемые, по принадлежности[1475]. Молитесь обо мне и не забывайте меня, милый друг мой! Обнимите вместо меня всех ваших, которые также суть в то же время и мои, начиная с граф. Луизы Карловны, Михаила Юрьевича, Матвея Юрьевича и до Веневитинова[1476], включая туда же и всех прекрасных малюток.

Весь ваш.

Адрес мой не забывайте: Via de la Croce, № 81, 3 piano.

Поздравьте от меня себя и всех вас с насту-

пающим новым годом.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 18–21 марта 1846

18*–21 марта 1846 г. Петербург* [1477]

Петербург. 18-го марта.

Здравствуйте, любезный Николай Васильевич, как вы поживаете и что делаете? Может быть, в эту минуту обо мне думаете и говорите себе: «Какая ленивая, давно мне не писала». В самом деле, Николай Васильевич, давно, но ни о чем приятного не было вам писать. До Великого поста я была в самом дурном расположении и не была в духе писать. В начале февраля вдруг захворал меньшой ребенок Аполлины Михайловны и скончался на седьмой день болезни. Прочие, слава богу, здоровы; только Софья Михайловна что-то начинает опять худеть и немножко слабеть. Ей предписали морские ванны, и, может быть, придется нам поехать нынешнее лето куда-нибудь близко купаться, или в Ревель, или в Гельзингфорс. Я, слава богу, совершенно здорова и удивительно как хорошо перенесла нашу жестокую зиму, так что я никогда более

о моем здоровии не думаю. Погода мне совершенно равна, и даже климатом я более не занимаюсь и никогда на него не сержусь. Вы теперь, может быть, думаете, что мне осталось меньше причин упадать духом, чем прежде, но очень ошибаетесь: я была в продолжительном унынии всю зиму. И как вам объяснить, отчего я унывала? сама я не знаю причину. Во-первых, надобно сказать, что маменька была в самом печальном расположении почти всю зиму, и вы можете вообразить, что это на меня имеет большое влияние. Потом насчет Софьи Михайловны я иногда беспокоивалась, но, слава богу, это не случалось часто. Не говоря о личных обстоятельствах, только и слышишь в городе о несчастиях, о голоде и болезнях. В некоторых из наших губерний умирают с голода; здесь, в Петербурге и около города, свирепствовает заразительная болезнь, le typhus[1478], от которой множество людей каждый день умирает. Доктора говорят, что во время холеры не было больше умирающих, чем теперь. Несмотря на то, всю зиму танцевали, веселились, и я с прочими, только с разницею, что мне почти все-

гда было скучно или близко к тому и что мне большой свет ужасным образом надоел. Множество лиц, и все-таки находишься как будто в уединении. Едешь в свет, теряешь драгоценное время, и все к ничему, даже не удается иногда ума себе развлечь. И о чем говорить с людьми глупыми, или неприятными, или для меня совершенно равнодушными? И все-таки надобно с ними говорить, и каждый день повторяется тот же самый пустой вздорный разговор. И женщины стали мне противны: самые добрые портятся в этом гадком свете. Где же умные люди? где же возвышенные души? Наша молодежь разделяется на две классы: первая, в которой находятся несколько умных людей, занимается картами; другая, составленная из самых молодых людей, живет только ногами, то есть умеет только танцевать. Я вам в пример скажу, любезный Николай Васильевич, что самые модные франты нынешней зимы, с которыми все щеголихи старались танцевать, такие пустые люди, что с ними нельзя иметь даже светского глупого разговора. В этом случае можно повторить слова школьного учителя во французской

пьесе[1479]: «Et quand je pense, que c’est là l’espoir de la patrie!..»[1480] Но довольно об этом.

Я уже вам, верно, надоела моими длинными размышлениями. Мне показалось, что я с вами где-нибудь сижу, как случалось в Остенде или в Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы... Как я вас вижу, Николай Васильевич, точно как будто бы вы предо мной стояли!

21 марта.

На первой неделе Великого поста мы все вместе говели, и с тех пор я совсем ожила. Теперь мне гораздо легче и веселее, ко всему охоту и силу чувствую. Боюсь только, что это расположение недолго продлится. Мне очень хочется говеть еще на последней неделе; но не знаю, согласится ли на это духовный отец мой, Павский. Он предобрый и просвещенный человек, и я б очень желала его чаще видеть, но он очень далеко живет, и, во-вторых, в Петербурге вообще никогда не видим тех,

которых хотелось бы видеть, а беспрестанно встречаемся с посторонними лицами. От Александры Осиповны довольно хорошие известия. Все в Калуге в восхищении от нее; остальное она, верно, вам сама написала, то есть то, что не в ее похвалу. Вы, верно, знаете, что государь был в Москве и что опять сюда воротился. С тех пор, как государыня уехала[1481], я его больше никогда не вижу и едва ли не переговорила с ним несколько слов. Он, слава богу, здоров. У цесаревны[1482] мы были только на больших собраниях, так что я до сих пор ее только знаю издали, как и все другие. On ne dit que du bien d'elle et elle plait généralement. A propos[1483], Николай Васильевич, с первым фельдъегером мы вам пошлем повесть Достоевского (молодого человека 22 лет) «Бедные люди», которая мне очень понравилась. Прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне ваше мнение. Знаете ли, что господин Виардо, муж певицы, перевел и публиковал несколько из ваших повестей, как, например, «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Записки сумасшедшего»[1484]; прочие я не помню. Рассердитесь вы на это, любезный

Николай Васильевич, или нет? Я воображаю себе, что это вам неприятно будет, но напрасно; я, напротив, очень радуюсь, что вас будут знать и почитать не только в России, но и в других краях. «Vous êtes une de nos gloires modernes»[1485]: как же русскому вами не гордиться? Видите, вот как я вам это объясню: как русская, вы для меня Гоголь, и я вами горжусь, а как Анна Михайловна, вы только для меня Николай Васильевич, то есть христианский, любящий, вернейший друг. Прощайте. Господь с вами.

Анна М. В.

Пожалуйста, пишите мне о вашем здоровье; я вас об этом прошу.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 2(14) мая 1846

2 *(14) мая 1846 г. Генуя* [1486]

Генуя. Мая 14.

Пишу к вам с дороги, добрейшая и благодатная Анна Михаловна. Благодарю вас за ваши подарки. Во-первых, за письмо. Оно было мне очень приятно. Известия о Петербурге и о

духе нынешнего нашего общества хотя заняли в вашем письме только две строчки, но мне были нужны. Не пропускайте и впредь! Говорите даже о том, о чем почти нечего сказать, и описывайте мне даже пустоту, вас окружающую: мне все нужно. Мне нужно знать все, что у нас ни делается, как хорошего, так и дурного, а без того я буду все еще глуп по-прежнему и никому не делаю пользы, а потому не позабывайте и поступайте со мною так, чтобы я много и много благодарил вас за всякое письмо. Во-вторых, благодарю вас за книги. «Воспитанница»[1487] весьма замечательна. Соллогуб идет вперед. Литературная личность его становится степенней и значительней; нельзя, чтобы не сделалось от этого и его собственная внутренняя личность степенней и значительней. В писателе все соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствованье таланта соединено с совершенствованием душевным. «Бедные люди»[1488] я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя (напрасно вы оторвали одних «Бедных лю-

дей», а не прислали весь сборник, я бы его прочел, мне нужно читать все новые повести; в них хотя и вскользь, а все-таки проглядывает современная наша жизнь). В авторе «Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши. У меня так мало теперь читать из современного русского, что я читаю понемногу, в виде лакомства или когда очень придет трудно и дух в таком болезненно-черством состоянии, как мое болезненно тяжелеющее на мне тело. Что сказать вам о моем теперешнем болезненном состоянии? Молитесь обо мне богу – вот все, что могу сказать. Молитесь богу, чтобы послал мне среди недугов, как бы тяжки они ни были, сколько можно более светлых минут, нужных для того, чтобы наконец сказать все то, для чего я воспитывался внутри, для чего ниспосылались мне и самые тяжелые минуты, и самые болезни, за кото-

рые я беспрерывно должен молить бога. Вот все, о чем мне нужно теперь молиться и о чем нужно, чтобы молились обо мне все близкие мне. Просить же совершенного выздоровления или каких-нибудь благ здешней жизни даже грех. Я это чувствую во глубине моей души. Прощайте, не забывайте меня и пишите. Пишите обо всем. Адресуйте письма (и, если случатся, даже книжные посылки) во Франкфурт, к Жуковскому, по прежнему адресу. Он мне доставит всюду, где буду находиться.

Ваш *Г.*

В адресе Жуковского нужно прибавлять: Saxenhausen, Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

Весь дом ваш обнимаю, всех от мала до велика, не пропуская никого.

Соллогуб С. М. – Гоголю, 19 июня 1846

19 *июня 1846 г. Павлино* [1489]

Павлино. 19-го июня.

Последние известия, полученные от вас, любезный Николай Васильевич, хотя не определяют еще ваших планов для нынешнего ле-

та, но доказывают, однако же, что вы приближаетесь к вашим друзьям. Приближение есть надежда к свиданию. Ваше суждение о «Воспитаннице» меня очень порадовало. Итак, муж мой подвигается и может с новою ревностью приняться за дело. Одобрение таких людей, как вы, милый и любезнейший друг, уже есть награда сама по себе; а Владимира весьма нужно ободрять. Здешняя цензура, здешние критики и общее недоброжелательство к писателям высшего круга совершенно разочаровывают поприще литературной деятельности и наполняют ее низкими расчетами, неуместным, хотя и естественным страхом и бесконечными препятствиями. Лавировать между всеми оградами, окружающими истину, очень трудно. Для этого потребно немалое количество твердости и настойчивости. Вообще трудно писать, когда еще не умеют достойно ценить высокое назначение писателя, т. е. голоса истины и правды. Впрочем, публика сама не столь виновата, как сами писатели. Вы очень хорошо поймете, что я хочу этим сказать. Владимир пишет теперь новую повесть[1490], которую я вам постараюсь при-

слать, как скоро она выйдет. К несчастию, здоровье его в плохом состоянии. Расстройство нерв и развитие сложной болезни действуют на него до того, что он по целым неделям не в силах ни ходить и ни заниматься. Я надеюсь, что лето и спокойная дачная жизнь принесут ему большую пользу, но я вижу с печалью, что его здоровье принудит нас опять странствовать по Европе. Сестра сделала вам, вероятно, подробное описание нашей жизни. Я посвятила нынешнее лето на два предмета: во-первых, хочу как можно более укрепить здоровье детей; во-вторых, усердно занимаюсь ботаникою и химиею. Соня и Саша[1491] с утра до вечера в саду. Первая поливает цветы своего маленького садика, за которым я также смотрю, рвет цветы для моего herbier[1492] и собирает кости, над которыми я намерена сделать разные химические опыты. Второй еще принадлежит растительному царству, питается солнцем и воздухом и очень похож на липовый цвет. Маменька прилежно хозяйничает и, слава богу, совершенно здорова. Анна Михайловна иногда пригорюнивается. От брата мы получили

недавно хорошие известия. 30-го июня отправляется на год в чужие края Михаил Федорович Самарин. С ним я вам пришлю сборник, из которого я вырезала «Бедные люди», и еще другие русские книги. Брат вам их доставит. Напишите ему словечко, куда вам их прислать. Прощайте, милый братец. Обнимаю вас от души и надеюсь, что здоровье ваше поправится и что вы скоро к нам приедете. Господь с вами.

С. С.

Кланяйтесь сердечно Василию Андреевичу Жуковскому и милой жене его.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 21 октября (2 ноября) 1846

21 *октября (2 ноября) 1846 г. Ницца* [1493]

Ноябрь 2.

Пишу к вам, моя добрая и близкая душе моей Анна Михаловна, с дороги, из места, нам обоим весьма памятного, именно из Ницы. Она мне очень напомнила нашу прежнюю жизнь и путешествия от дома Paradis до дома Мазари, где жили Соллогубы, и до дома (уж

позабыл имя хозяина, хотя наружность дома осталась в памяти), где жила Смирнова[1494]. Но не об этом теперь речь. Вы всегда жаловались, что вам нет поприща, мало дела и не знаете, чем быть полезну другим. Это настоящая тайна хандры вашей, хотя этого покаместь вы еще не раскусили. Вам нужно дело. И вот вам дело: все выслушайте внимательно и все исполните усердно, что ни скажу, помолившись прежде покрепче богу, во имя которого вы должны предпринять это дело. В Петербурге и в Москве будет играться «Ревизор» в новом виде, с присовокупленьем его окончания или заключенья, в бенефис двух первых наших комических актеров[1495]. Ко дню представления будет отпечатана пиеса отдельною книгою с присоединением доселе никому не известного ее окончания[1496]. Продаваться она будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную сумму. Выручка денег поручена Плетневу, который передаст их, по мере прихода, тем, которые должны взять на себя обязанность быть раздавателями этих денег бедным, в числе кото-

рых одно из главных лиц – вы, а потому и пишу я обо всем этом вам. Прилагаю при этом и предисловие, которое должно быть приложено в начале книги. Из него вы увидите, в чем дело и как нужно производить денежную раздачу. Соберите к себе всех тех, которых имена здесь означены[1497], и переговорите с ними, взявши с них слово до времени не говорить об этом ни с кем из посторонних, кроме разве тех, которые, по замечанью кого-нибудь из них или вашему, могут быть включены в число раздавателей, которых чем больше, тем лучше. Старайтесь особенно склонить из женского пола таких, которых вы знаете как сострадательных, рассудительных и умных женщин. Я поставил здесь вашу приятельницу Дашкову единственно потому, что у ней есть особенная светлость душевная, постоянно разлитая в чертах ее лица, в которой может она оказывать ту помощь страждущим, о какой еще и сама она не знает. Трудностью не смущайтесь! Благословясь во имя бога, принимайтесь за дело и помните только, что в этом деле поможет вам бог более, чем во всяком другом, и вразумит так, как вы покаместь

и помыслить еще не можете. Для большего облегчения себе всяк может вначале первые дела и первые подвиги возложить совершенно на священников и требовать только от них подробных рассказов, каким образом и как они произвели это дело. От этого нечувствительно потом научитесь помогать сами. Потому что помогать есть тоже наука и вдруг выучиться ей нельзя, особенно если станешь избегать всяких случаев оказывать помощь. Все это сделайте как можно скорее, потому что имена и адресы следует выставить сейчас же в конце предисловия. Предисловие вы перепишите в числе двух экземпляров и отдайте немедленно Плетневу для припечатанья в книг<у>. Он должен успеть их отдать цензору и один из них отправить в Москву для напечатания тоже там при тамошнем издании, которое имеет выйти в одно и то же время с петербургским. Я не думаю, чтобы кто-нибудь из любящих меня отказался от обязанности быть раздавателем вспомоществования. Он будет не перед мною виноват, но перед Христом, и если станет оправдываться какими-нибудь светскими приличиями, то да

вспомнит, чтобы не было когда-нибудь ему сказано от бога то, что будет сказано многим его устыдившимся: «Устыжусь и я того, кто меня устыдился». Кому же невозможно решительно по неимению времени, тот пусть скажет напрямик, не увертываясь, чтобы можно было тотчас же имя его вычеркнуть, а на место его поставить другого. Переговорите с Аркадием Россети и Самариным, не знают ли кого-нибудь еще из мужчин дельных, умеющих говорить и обращаться с людьми, которого можно употребить в это дело. Хорошо, если б еще хотя двух мужчин и хотя двух женщин. Муханова нет, он за границей. Но имя его пусть будет выставлено, хотя и без адреса; он будет потом, по приезде, очень полезен. Что вы думаете о князе Барятинском? У него душа очень добрая, и он во многом значительно переменился. Я с ним сошелся ближе в Греффенберге. Мне кажется, что ему недостает для полного себя укомплектованья близкого знакомства с половиной страждущею людей и практического познания затруднительных их положений под условием прижимающих и гнетущих их обстоятельств.

Постарайтесь поговорить с ним сурьезно об этом предмете. Он если не может покуда сам непосредственно действовать, то может вспомоществовать посредством вас или кого-нибудь из других, а тем временем может приглядеться сам к делу. Итак, бог вас благословит! С богом за дело! Позабудьте о себе вовсе. Никто из нас не должен принадлежать себе. На это письмо напишите немедленный ответ в Неаполь на имя нашего посольства. Прощайте.

Весь ваш *Г.*

Изберите себе, кроме вашего духовника (если он уже стар или обременен многими делами), в помощь другого, помоложе, которого может вам рекомендовать ваш же духовник из людей хотя и недавно поступивших в священники, но уже показавшего истинно добрые наклонности души своей, и посоветуйте сделать то же и другим вашим подругам.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 20 ноября 1846

20 *ноября 1846 г. Петербург* [1498]

Петербург. 20-го ноября.

Любезный Николай Васильевич, я постараюсь всеми силами оправдать ваше ко мне доверие. Вы хорошо отгадали, писавши мне, что деятельность мне непременно нужна и что одна деятельная жизнь может спасти меня от обычной моей хандры. Я вам также очень благодарна, что вы вспомнили обо мне в этом случае и что, поручивши мне исполнить часть вашего проекта, вы оказали мне доверие, которое возвышает меня в собственных моих глазах. Но теперь не обо мне дело. Плетнева до сих пор я не могла видеть. Он живет на Васильевском острову, с которым очень долго не было сообщения; но я уж давно ему послала ваше «Предуведомление» через княгини Одоевской, растолковавши ей прежде хорошенько ваши намерения. Она также готова исполнить их, но до сих пор «Ревизор» еще не вышел, так что нам покамест нельзя ничего предпринять. Я слышала, как будто цензура театра не пропустила вашу новую «Развязку Ревизора», но вы уж, верно, получили об этом решительные известия. Розети, Самарин и Муханов, о которых вы мне пишете,

все три в отсутствии, и я не знаю, на сколько времени[1499]. Между тем вы, верно, услышите с удовольствием, что учредилось здесь общество под начальством Соллогуба (он был первый основатель сего общества), Вяземского, папеньки и несколько других, которое скоро развилось и уже сделало много добра. Считают теперь в нем более ста членов, многие из которых люди со способностями и с искренним желанием помогать бедным и оказать им не только телесную, но душевную помощь. Князь Одоевский хотел, кажется, сам вам подробнее писать об этом обществе и хотел вам даже послать его статуты.

Давно, Николай Васильевич, очень давно, что я вам не писала; я даже не отвечала вам на последнее ваше письмо, полученное мною еще весной. Что вы обо мне думаете? браните ли меня мысленно? Вы бы имели все право бранить меня, но я вас прошу лучше простить мне. Все лето я собиралась вам писать, но я б вам написала такое грустное письмо, что, мне казалось, еще лучше вам совсем не писать. Я не могу говорить с вами о погоде и о подобных вещах, а о душевном состоянии

иногда желаешь молчать. Между тем в продолжение этих шести месяцев не прошел один день, в котором я бы не молилась за вас. Теперь, слава богу, я гораздо веселее, хотя смерть в<еликой> к<нягини> Марии Михайловны меня очень огорчила, но внутреннее мое расположение переменилось к лучшему, и, когда душа сильнее, она лучше переносит грусть. Первый месяц траура только кончился, так что я еще нигде не была и никого не видела. Мы остаемся всегда en famille[1500], и только вечером навещают нас иногда некоторые из наших коротко знакомых. Все у нас в доме здоровы. Мои племянники премилы, а Александр Владимирович[1501] покамест мой фаворит. К моему сожалению, я должна кончить письмо, потому что бумага так толста, что я не смею продолжать на новом листе, а я только что расписалась.

Прощайте, любезный Николай Васильевич! Христос с вами. *А. В.*

Папенька получил ваше письмо и ждет решительного ответа, чтобы писать вам[1502].

Гоголь – Вьельгорской Л. К., 4(16) января 1847

4 *(16) января 1847 г. Неаполь* [1503]

Неаполь. 1847. Генварь 16.

Несмотря на то, что вы совсем позабыли меня и оставляете без ответа мои письма, я пишу к вам. И не только пишу, но и обременяю вас довольно затруднительной просьбой. Вы должны ее исполнить, это будет ваш истинно христианский подвиг относительно меня. Я сам не знаю, почему я обратился прямо к вам, графиня, наместо того, чтоб обратиться, как оно было бы приличней, по этому делу к Михайлу Юрьевичу. Просто сердце мое мне говорит, что вы, несмотря на то что имеете преимущественно перед другими из вашей семьи некоторые несовершенства, как-то: уменье гневаться, огорчаться, унывать, не обдумывать и не воздерживаться, имеете, однако ж, несравненно более всех силы и энергии душевной, и если предстанет такое дело, которое потребует великодушной отваги, то ни у кого, кроме вас, недостанет характера совершить его. Вот в чем дело. Вы уже, без сомнения, знаете, что я печатаю книгу[1504]. Печатаю ее я вовсе не для удовольствия публики и

читателей, а также и не для получения славы или денег. Печатаю я ее в твердом убеждении, что книга моя нужна и полезна России именно в нынешнее время; в твердой уверенности, что если я не скажу этих слов, которые заключены в моей книге, то никто их не скажет, потому что никому, как я вижу, не стало близким и кровным дело общего добра. Писались эти письма не без молитвы, писались они в духе любви к государю и ко всему, что ни есть доброго в земле русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые я более других почитаю нужными[1505]. В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам государь, и все в государстве. Дело мое я представляю на суд самому государю и вам прилагаю здесь письмо к нему, которым умоляю его бросить взгляд на письма, составляющие книгу, писанные в движенье чистой и нелицемерной любви к нему, и решить самому, следует ли их печатать или нет. Сердце мое говорит мне, что он скорей меня одобрит, чем укорит. Да и не может быть иначе: высокой душе его знакомо все прекрасное, и я твердо уверен, что никто во

всем государстве не знает его так, как следует. Письмо это подайте ему вы, если другие не решатся[1506]. Потолкуйте об этом втроем с Михаил Юрьевичем и Анной Михайловной. Кому бы ни было присуждено из вашей фамилии подать мое письмо государю, он не должен смущаться неприличием такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: «Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда вашего и правосудия, нам близок; если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; вам же дорог всяк подданный ваш, а тем более любящий вас таким образом, как любит он». С Плетневым, который печатает мою книгу, вы переговорите предварительно, чтобы он мог приготовить непропускаемые статьи таким образом, чтоб государь мог их тот же час после письма прочесть, если бы того пожелал. К Михаилу Юрьевичу я послал назад тому месяц мою просьбу государю[1507] об отсрочке моего пребывания за границей еще на год вследствие непременного докторского присуждения остаться еще зиму на самом теплейшем юге, что совершенно спра-

ведливо, потому что я насилу начинаю согреваться в Неаполе и уже хотел было ехать в Палермо, не зная, куда деться от холода, тогда как всем другим было тепло. Если это письмо еще не подано[1508], то употребите все силы подать его также государю. Мне нужна необходимо выдача пачпорта такого, в котором бы сверх прочего, находящегося в обыкновенных пачпортах, склонялись бы именем государя власти Востока оказывать мне особенное покровительство во всех тех землях, где я буду[1509]. Мне нужно много видеть то, на что не обращают внимания другие путешественники. Путешествие это делается вовсе не ради простого любопытства и даже не для одной собственной потребности моей душевной. Путешествие это затем, дабы быть в силах потом сослужить государю истинно честную службу, какую я должен сослужить ему вследствие данных мне от бога способностей и сил. Прилагаю и это письмо, если, на случай, посланное или не дошло, или затерялось. Бог да благословит вас во всем.

Весь ваш *Г.*

Гоголь – Вьельгорской А. М., 25 января

(6 февраля) 1847

25 *января (6 февраля) 1847 г. Неаполь* [1510]

Февраль 6. Неаполь.

Пишу к вам, моя добрейшая Анна Михайловна. Вы уже, без сомнения, получили мое письмецо чрез В. В. Апраксина[1511] вместе с большими письмами, порученными вашей маменьке[1512]. Письма эти следует пустить как следует в ход. Плетнев, как я узнал, сделал неосмотрительную вещь, выпустив в свет один кусок моей книги. Статьи, которые составляли одну только треть книги, которые могли быть вполне ясны только в соединении с другими статьями. В этой книге все было мною рассчитано и письма размещены в строгой последовательности, чтобы дать возможность читателю быть постепенно введену в то, что теперь для него дико и непонятно. Связь разорвана. Книга вышла какой-то оглодыш. Все должностные и чиновные лица, для которых были писаны лучшие статьи, исчезнули вместе с статьями из вида читателей; остался один я, точно как будто бы я издал мою книгу именно затем, чтоб выставить

самого себя на всеобщее позорище. А между тем все непропущенные статьи именно нужны в нынешний миг обстоятельств в русском быту нашем, особенно внутри России. Об этом всем приложите и вы старание. Нужно, чтобы Плетнев представил Михал Юрьевичу все сполна непропущенные статьи и все те места, которые вычеркнуты цензором в статьях уже пропущенных, потому что вычеркнуты они совершенно несправедливо и неосновательно. Во всем этом деле был какой-то необъяснимый ков[1513]. Цензор был в руках каких-то дурных людей, употреблявших все, чтобы произвести бессмыслицу в книге вымаркою многих мест, связывающих и объясняющих обстоятельства предшествующие и последующие, и чрез <то> иметь право при ее появлении в свет напасть, как на бессмыслицу и бред расстроенного воображения, на то, что автор выдает за истину. Сам цензор сыграл необыкновенно странну<ю роль>. От него требовалась тайна, потому что я хотел отпечатать книгу в тишине и сделать ее неожиданным сюрпризом как для всей публики, так даже и для вас самих (это ребя-

чество у меня до сих <пор> осталось, но бог с ним! отныне лучше буду обходиться без сюрпризов). А между тем сам цензор был разглашатаем всего, так что даже в Москве знали обо всем и повторяли изуродованные с умыслом мысли и фразы[1514]. А я еще не так давно писал к графине, вашей маменьке, чтобы не позабыть цензора печатавшего, и хотел за него хлопотать изо всех сил, чтобы досталась и ему какая-нибудь честь за пропуск моей книги[1515]. Итак, вы сами теперь видите, каково мое дело. Нужно, чтобы книга моя явилась немедлен<но> вторым изданием в полном виде своем, большой и толстой книгой со всеми статьями. Я бы не хлопотал об этом так, если бы это было мое дело. Но прочитайте сами вместе с папенькой вашим (которому поцелуйте ручки за доброту его) эти непропущенные статьи и скажите сами, мое ли в них заключено дело или то, о котором хлопочет сам государь и все возвышенные души. Но вам понятно чувство любви высшей к родине, а потому об этом нечего говорить. Я прилагаю здесь письмецо к Михалу Юрьевичу[1516] и оглавление статей в том виде и поряд-

ке, в каком они должны следовать одна за другою. Бог да хранит вас и во всем сопутствует. Извините, что пишу неразборчиво и дурно. Я сижу больной, руками едва движу и от бессонниц, продолжающихся уже более месяца (не знаю отчего), очень ослабел.

Весь ваш *Г.*

Не позабудьте собирать замечания и свои, и чужие о моей книге.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 7 февраля 1847

7 *февраля 1847 г. Петербург* [1517]

Петербург – 7/19 февр. 1847.

Прежде всего, любезный Николай Васильевич, должна я вас благодарить за экземпляры ваших писем[1518], которые вы назначили каждому из нас и которые мы получили с искренней благодарностью. Мне не нужно прибавить, что мы прочли их с необыкновенным интересом, но с различными впечатлениями. Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня все в них просто, понятно; мне кажется, читая их, что я вас слышу, как вы ча-

сто с нами говорили, и я вхожу в ваши чувства, вижу вашими глазами и мыслю вашими мыслями. Иначе и не может быть. Вы судите теперь обо всем, как каждый истинный христианин должен судить, то есть посредством религии. Она одна назначает всем предметам сей земли их настоящую цену, и эти предметы суть только действительно то, что они перед ее глазами, а не перед нашими. Читая ваши письма, душа слышит, что вы правы. Но я не должна медлить исполнить ваше желание узнать, что другие говорят о новой книге вашей. Много говорят о ней, любезный Николай Васильевич, и я иногда спрашиваю себя, какое впечатление она б сделала на меня, знала бы я вас только по вашим сочинениям. Вы можете вообразить себе, как люди, знавши вас только по сих пор как комического или по крайней мере как светского автора, как они должны, читая вашу книгу, удивляться, теряться и, может быть, смущаться вашей для них внезапной и непонятной перемене. У Софии Михайловны собираются по середам знакомые ее мужа, почти все русские, люди умные, некоторые из них литераторы. Так я

слышала, что иные полагают вас потерянным для литературы; вообще все хвалят ваши письма, но не одобряют «Предисловия» и особенно духовного завещания, видя в них, как они говорят, «уничижение паче гордости». Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может понравиться публике и что она не может понять его. Я понимаю, что многие места из ваших писем привели ее в недоумение. Вы говорите иногда о себе с таким удивительным смирением (как, например, в третьем письме по поводу «Мертвых душ»), что большее число ваших читателей должны думать, что вы или играете комедию, или слишком самолюбивы, не зная сами, что такое смирение, и думавши, может быть, что оно только находится в святых. Говорили предо мной, что вы всегда были самолюбивы и что теперь ваше самолюбие приняло только другой вид. Извините, любезный Николай Васильевич, что я вам так откровенно пишу; впрочем, я знаю, что даже самые несправедливые, злые критики ваших литературных

недоброжелателей не могли б теперь оскорбить вас. Вы вознеслись выше всех низких, мелочных страстей и слабостей сей жизни и, верно, единственно заняты вашим пред<по>лагаемым путешествием к святым местам. Еще одно слово о ваших письмах. Мне особенно понравились: «Женщина в свете», «О нашей церкви и духовенстве», «О театре...», «Предметы для лир<ического> поэта...», «Советы», «Просвещение» (все, что вы говорите про наши церкви, мне пришлось удивительно по сердцу), «Русский помещик», «Чем может быть жена... и пр.», «Чей удел на земле выше». Я останавливаюсь, чтобы не всех назвать. Владимир говорит, что многие из ваших писем sont des chefs-d'oeuvres[1519]; я только сужу сердцем и впечатлениями. В эту минуту я получила ваше письмо через Апраксина. Вы желаете, чтобы я короче познакомилась с Плетневым. Я готова все сделать, что может вам доставить удовольствие, но не думайте, чтоб я могла быть теперь кому-нибудь душевно полезна. Мне самой нужна помощь, и я так занята душевным моим состоянием, что мне ужасно трудно выходить

из себя и заниматься другими. Не ожидайте теперь от меня ни силы, ни воли, ни даже почти надежды: все изнемогло во мне, и я могу сказать с Давидом: «Нет здравого места в теле моем». Но бог милостив, и «претерпевый до конца спасен будет». Сам Иисус сказал: «Прискорбна есть душа моя до смерти»[1520], как же нам тогда не знать внутренние тяжелые скорби?

Прощайте, любезный Николай Васильевич, вспомните обо мне при гробе господнем и покрепче помолитесь за меня[1521] и чтобы бог мне послал твердость: я чувствую себя в совершенном бессилии. Христос с вами.

А. В.

У маменьки глаза болели, но ей теперь лучше, и она вам будет отвечать. Насчет вашего пашпорта папенька вам уже давно написал, что государь приказал всем нашим министрам и консулам взять вас под их покровительство и по возможности облегчить вам трудности вашего путешествия.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 4(16) марта 1847

4 *(16) марта 1847 г. Неаполь* [1522]

16 марта. Неаполь.

Я получил приятное письмецо ваше, моя добрейшая Анна Михайловна, письмецо от 7/19 февр<аля> с изъявленьем вашего мненья о моей книге. Строчки ваши были мне нужны. Я уже начинал было думать, что весь дом ваш сердит на меня за что-нибудь и наказывает меня молчаньем, наказанием тягостнейшим для меня всех других наказаний. Но, слава богу, этого нет. Вы сказали мне очень вообще и очень в обширном смысле о мнениях, раздающихся в обществе о моей книге, но я бы желал слышать это с бóльшими подробностями, характеризующими личность тех, которые произносят мнения. Я знаю, что раздаются в обществе мнения, невыгодные насчет меня самого, которые оскорбительно слышать людям, меня любящим и меня более других знающим, как-то: о двусмысленности моего характера, о поддельности моих правил, о моем действовании из каких-то личных выгод и угождений некоторым лицам. Все это мне нужно знать, нужно знать даже

и то, кто именно как обо мне выразился. Не бойтесь, я не вынесу из избы сору. Все это послужит к добру и мне, и тем, которые обо мне каким бы то образом ни выразились. Книга моих писем выпущена в свет затем, чтобы пощупать ею и других, и себя самого, чтобы узнать, на какой именно степени душевного состояния стоит теперь каждый из нашего нынешнего современного общества и на какой степени душевного состояния стою теперь я сам, потому что себя трудно видеть, а когда нападут со всех сторон и станут на тебя указывать пальцем, тогда и сам отыщешь в себе многое. Книга моя вышла не столько затем, чтобы распространить какие-либо сведения, сколько затем, чтобы добиться самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о предметах более важных и развернуть их знания, скупо скрываемые от других. Не скройте от меня также отзывов того человека, который нам близок обоим[1523]. Я не знаю, почему ваш папенька скрывал от меня его мнение о «Мертвых душах», которое я узнал уже случайно большим

крюком, пять лет спустя после появления моей книги. Если это скрыто было от меня затем, чтобы не огорчить меня, то вновь вам повторяю, что никакие жесткие слова человека мной любимого не в силах смутить меня или уменьшить моей любви к нему, что слов неблагоприятных, жестких я теперь жажду, потому что – истинно вам говорю – они какой-то чудный бальзам для души моей, сверх того, что заставляют меня строже взглянуть на себя самого и умней взглянуть на другого. А все это вместе учит меня той мудрости, которой мне необходимо надобно приобрести побольше затем, чтобы уметь наконец заговорить потом просто и доступно для всех о тех вещах, которые покуда недоступны. Поверьте мне, что мои последующие сочинения произведут столько же согласия во мнениях, сколько нынешняя моя книга произвела разноголосицы, но для этого нужно поумнеть. Понимаете ли вы это? А для этого мне нужно было непременно выпустить эту книгу и выслушать толки о ней всех, особенно толки неблагоприятные, жесткие, как справедливые, так и несправедливые, оскорбительные для са-

мых нежных сердечных струн, словом, все те толки, от которых отворачивает уши человек неопытный, несведущий в науке жизни и в науке души человеческой. Итак, не скрывайте от меня ничьих мнений о моей книге и ради меня дайте себе труд узнавать их, поручайте также другим узнавать их повсюду. Мне всякий человек интересен, а потому и мненье его для меня имеет цену. От вашей приятельницы до слуги и горничной девушки вашей всяк может сказать мне что-нибудь нужное. Поработайте же теперь для меня, если у вас нет другой работы, и это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг. Не пропускайте также хотя в нескольких беглых чертах изображать мне портрет того лица, которому принадлежат слова, если лицо его мне неизвестно. Меня огорчило ваше известие о том, что вы болеете и телом, и душою. Но уверенность в пользе всего нам посылаемого, уверенность, дознанная собственным опытом, заставила меня возблагоговеть перед божьею волею, которая насылает вам это испытание затем, чтобы новыми сокровищами украсить вашу душу и заставить потом

благодарить вечно за время испытания. Я думаю, что здесь также примешалась и болезнь просто физическая. Эти необъяснимые недуги нервические, которые как бы именно посылаются ныне затем, чтобы умягчить природу человека и сделать душе его доступные вещи, с трудом понимаемые и самыми высшими умами. Мои нервы теперь тоже всколебались и расстроились. Ночи мои без сна. Здоровье мое так расшаталось, что я должен прежде поездки моей в Иерусалим укрепить мое тело железными водами и морскими купаньями. Придется опять навестить Остенде, который для меня так дорог по воспоминаньям[1524]. О, если бы привел мне бог вновь ощутить такую радость, как назад тому три года, когда после долгих моих ожиданий привезла вас вдруг железная дорога и я увидел всех, всех милых сердцу моему. Поездка из Петербурга в Остенде так легка: все морем, не нужно даже экипажа. Но бог да устрояет все, как угодно его воле. Да хранит он вас! Прощайте. Перецелуйте всех ваших и пишите ко мне.

Весь ваш *Г.*

Напишите мне, как вам показался Апраксин[1525]. Он на мои глаза показался совсем не похожим на других молодых людей, исполнен намерений благих и намерен заняться не шутя благосостоянием истинным своего огромного имения и людей ему подвластных.

Передайте при сем следуемое письмо к<князю> Одоевскому[1526], а княгиню Одоевскую поблагодарите много за ее доброту.

Гоголь – Вьельгорскому М. Ю., 15(27) марта 1847

15 *(27) марта 1847 г. Неаполь* [1527]

Марта 27. Неаполь.

Я страдаю душой при одном помышлении о том, сколько нанес вам хлопот и тревог, мой наидобрейший граф Михаил Юрьевич; но, вероятно, вы уже знаете из письма моего к Плетневу[1528], о котором он, вероятно, уже вам сообщил, что мои искания гораздо умереннее[1529]. Желанье мое, чтоб и вы и князь Вяземский прочли раза два непропущенные статьи и выбросили бы из них все жесткие, дикие и оскорбляющие выражения. Я полагал

и даже полагаю доныне, что почти все главные мысли могут удержаться и могут быть представлены на рассмотрение высшее, если смягчить некоторые резкости выражений кое-какими умягчающими и приличными оговорками. Я думал и думаю доныне, что нужно, во-первых, выбросить заносчивое я, которое выглянуло во многих местах почти против моей воли и подало случай многим приписать многое во мне самолюбию моему, тогда как это просто моя юношеская незрелость, которая во мне пребывает рядом с моей зрелостью и с моими уже немолодыми летами. Чтобы лучше заметить во мне все то, что следует умягчить и оговорить, я просил князя Вяземского не позабывать при чтенье писем моих, что их пишет чиновник маленького чина. Тогда само собой будет очевидно, как сказать ту же мысль незаносчиво. От этого книга моя значительно выиграет и в публике. Не поскучайте, мой добрый и великодушный Михаил Юрьевич, этим чтением. У вас есть много того прекрасного и тонкого чутья, которое может приметить всякую малейшую неприличность. Не поскучайте и вы-

править; я верю вперед в разумность и необходимость всего того, что вы придумаете выправить вместе с князем Вяземским. И если после этого дела (за которое не придумаю, как возблагодарить вас) вы найдете, что лучше обождать или даже отменить представление этих статей, тогда это решение будет для меня совершенно удовлетворительно. Еще раз считаю долгом повторить вам все это и еще раз прошу вас простить меня. А добрую графиню прошу не беспокоиться и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не выполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом[1530]. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать. Затем, целуя вас и целуя ее добрые ручки и ручки бесценных дочерей ваших, остаюсь весь ваш

Г.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 5–8 мая 1847

5–*8 мая 1847 г. Петербург* [1531]

Петербург 5 мая.

Любезный Николай Васильевич, мне много вам сказать сегодня, но начнем с самого важного для вас. Вы желали, чтобы государь прочел ваши цензурою не пропущенные письма, но папенька, кн. Вяземский и Плетнев – другого мнения. Плетнев вам, уж верно, писал, что он эти самые письма прочел вел<икому> кн<язю> и что Александр Николаевич согласился с цензурою. Вот отчего папенька думает, что теперь лучше подождать, а в будущий год выдать второе издание вашей книги и тогда уж постараться напечатать и запрещенные ваши статьи, конечно, с согласием государя. Покамест папенька, кн. Вяземский и, кажется, Плетнев хотят собираться каждое воскресение, чтоб прочесть вместе вашу рукопись и чтобы сделать те замечания и пропуски, которые покажутся им нужными. Теперь насчет вашего желания узнать сколько можно мнений о вашей книге

я, кажется, не могу вам ничего нового сказать. Ваши московские и петербургские друзья вам, верно, подробно о том писали, и я слышала, что вам даже послали до вас касающиеся напечатанные статьи. И отчего, любезный Николай Васильевич, вы так хотите узнать мнения других? Вы ведь пишете по своему убеждению и не можете переменить его по воле других? Конечно, критика может во многом быть вам полезна, но мне кажется, что вы не должны слишком заниматься ею и что довольно, ежели вы ее спокойно примете, не искавши ее сами с такой ревностью. Вы это, верно, делаете из смирения и из истинного желания de vous éclairer[1532], но в то же время помните, любезный Николай Васильевич, что ваше имя и ваш талант обязывают вас быть самостоятельным и что вы должны иметь некоторое уважение к самому себе и к званию писателя, важность и высоту которой вы сами так глубоко чувствуете.

8-го мая. Плетнев был раз у нас с дочерью, которая премиленькая. Она не очень хороша собой, но у нее приятная физиономия; видно, что она должна быть очень добра и чувстви-

тельна. Отец дает ей, кажется, самое лучшее воспитание sous tous les points de vue[1533]. Довольны ли вы моей отчетливостью? Но вы меня еще просили писать вам, как мне понравится молодой Апраксин. Я его вовсе не видала. Он был раз у маменьки, а потом заболел на всю зиму, и весной, как только он выздоровел, он отправился в Москву. У нас все идет изрядно, то есть теперь. Маменька страдала всю зиму глазами, и нынче месяц, что она не вышла из дому, но теперь ей, слава богу, гораздо лучше. Матвей Юрьевич уехал в Берлин повидаться с братом, но воротится к нам в конце этого месяца. Il a aussi été question pour nous[1534] поехать за границу, чтобы взять где-нибудь в Северном или Балтийском море морские купанья. Доктор говорил, что это для нас всех очень нужно, но я предвижу вперед, что мы никуда не поедем и просто останемся все лето в Павлине[1535]. Я вам писала прошедший раз в довольно грустном расположении, из которого я, слава богу, мало-помалу поднимаюсь, и я надеюсь, что летнее время, которое приближается, подействует укрепительным образом на нас всех. Нервы Софьи

Михайловны и маменьки также не в самом лучшем состоянии.

А как ваше здоровье, любезный Николай Васильевич? Неужели ваши бессонницы продолжаются до сих пор? Они ужасно действуют на нервы. Прежде всего постарайтесь спать и употребите для сего все возможные средства, а во-вторых, постарайтесь быть как можно более спокойны духом, не думайте слишком много о нас, о России, о судьбе и влиянии вашей книги, словом, сделайтесь на короткое время эгоистом, заботитесь только о вашем здоровье, и, делая это, вы именно будете заботиться о нас, которые так желаем вашего выздоровления и скорого приезда в Россию. Ежели вам трудно много писать, так оставьте лучше вашу обширную корреспонденцию и ограничитесь только необходимым. Не забывайте нас, однако же, в необходимом. Мы скоро переедем на дачу. Нынешняя весна хуже обыкновенного. Не знаю, будет ли у нас лето этот год. Маменька не может переносить петербургский климат, который имеет на нее грустное влияние, и она очень желает уехать отсюда на несколько ме-

сяцев. Может быть, мы еще увидимся это лето. Ежели мы на что-нибудь решимся, я вам сейчас напишу. Прощайте, любезный Николай Васильевич! Все мои родные кланяются вам сердечно. Папенька поручил мне сказать вам, чтоб вы о втором издании вашей книги не беспокоились, что все будет сделано.

Да хранит вас бог во всем.

Анн. Мих. В.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 26 июня (8 июля) 1847

26 *июня (8 июля) 1847 г. Франкфурт* [1536]

Франк. Июль 8.

Очень вас благодарю, добрейшая Анна Михаловна, за ваше письмо и все известия. Бог да поможет вам за это самое ровное и спокойное расположение духа, какое бывает только в раю, где, по выраженью простолюдинов, ни холодно, ни жарко, а самая середина. Оно и немудрено, потому что бог есть средина всего, а покой – та высшая минута состоянья душевного, к которой все стремится. Благодарю за ваши дружеские советы и за ваши заботы. Я, слава богу, покоен довольно и, мне кажется,

даже здоровьем несколько получше. О толках на мою книгу я заботился потому, что мне нужно знать необходимо, в каком состоянии находятся у нас головы и души. Это нужно знать нашему брату для того, чтобы речь писателя попала в надлежащий тон – ни выше, ни ниже нотой противу того, как следует быть, чтобы большее количество людей нас поняло. В моей же книге, как вы знаете, слог речи очень поднялся. Это, может быть, и лучше для четырех-пяти человек, но для других дико. То же можно бы выразить попроще, но до этой простоты нужно вырасти самому – вот беда! Это всегда бывает с теми, которые строятся и воспитываются. Я теперь во Франкфурте. Отсюда еду в Остенде, где пробуду до первых чисел сентября, после чего в Италию, а там на Восток. Перецелуйте всех ваших от мала до велика и скажите им, что мысли мои не расстаются с ними, что это бывает что-то вроде маленькой рюмочки драгоценного вина, какое выпивается только в праздники после обеда. И Софья Михаловна, и вы, и графиня, ваша маменька, в этом, вероятно, не сомневаетесь. Уведомьте меня, на что

вы решились и где проводите лето. Александра Осиповна приобрела сына Михаила, о чем, вероятно, уже знаете. Известие об этом меня очень обрадовало, тем более что и самое здоровье ее от того не расстроилось. Вы, кажется, летом с нею увидитесь? Думал было и я ее увидать, так же как и вас, особенно когда услышал, что доктора предписывают морские ванны. Но кажется, что еще не скоро определено мне увидаться с друзьями; видно, для того, чтобы я приучался довольствоваться их образом, не подверженным осязанию пяти чувств наших; видно, затем, чтобы мы помнили, что если хотим увидеться, то должны стремиться к тому, в котором все увидимся и где нет разлуки. Но прощайте.

Весь ваш *Г.*

Гоголь – Вьельгорской А. М., 29 октября 1848

29 *октября 1848 г. Москва* [1537]

Москва. Октября 29 1848.

Как вы? как здоровье ваше, добрейшая моя Анна Михайловна? Что до меня, я только что оправляюсь от бессонниц своих, которые про-

должались даже и здесь, в Москве, и теперь только начинают прекращаться. Москва уединенна, покойна и благоприятна занятьям. Я еще не тружусь так, как бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного расположенья духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени. Напишите мне несколько строчек о ваших занятиях и состоянье духа вашего. Я любопытен знать, как начались у вас русские лекции[1538]. Покуда я еще не присылаю вам списка книг, долженствующих составить русское чтение в историческом отношении. Нужно много обнять и рассмотреть предварительно, чтобы уметь подать вам одно за другим в порядке, чтобы не очутился суп после соуса и пирожное прежде жаркого. Напишите, как распоряжается мой адъюнкт-профессор[1539] и в каком порядке подает вам блюда. Я очень уверен, что он вам скажет очень много хорошего и нужного, и в то же самое время уверен, что и мне останется место вставить свою речь и прибавить что-нибудь такого, чего он позабу-

дет сказать. Это зависит не от того, чтобы я больше его был начитан и учен, но от того, что всякий сколько-нибудь талантливый человек имеет свое оригинальное, собственно ему принадлежащее, чутье, вследствие которого он видит целую сторону, другим не примеченную. Вот почему мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом «Мертвых душ». После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще доселе не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: «Он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство». Хотелось бы также заговорить о том, о чем еще со дня младенчества любила задумываться моя душа, о чем неясные звуки и намеки были уже рассеяны в самых первоначальных моих сочиненьях. Их не всякий заметил... Но в сторону это. Не позабудьте рядом с русскою историей читать историю русской церкви; без этого многое в нашей истории темно. Сочинение

Филарета Рижского[1540] теперь вышло целиком: пять книжек. Их можно переплести в один том. Книга эта есть, кажется, у Матвея Юрьевича, которого при этом случае обнимите за меня крепко. О здоровье вновь вам инструкция: ради бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать. Старайтесь всеми мерами ложиться спать не позже 11 часов. Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движенья, нужного телу, не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы, ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движенье; видно, черты лица вашего затем уже устроены, чтобы выражать благородство душевное; как скоро же нет у вас этого выражения, вы становитесь дурны.

Бросьте всякие, даже и малые, выезды в свет. Вы видите, что свет вам ничего не доставил: вы искали в нем душу, способную отвечать вашей, думали найти человека, с кото-

рым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь да пошлость. Бросьте же его совсем. Есть в свете гадости, которые, как репейники, пристают к нам, как бы мы ни осматривались. К вам кое-что уже пристало; что именно, я покуда не скажу. Храни вас бог также от поползновений на так называемую светскую любезность. Сохраняйте простоту дитяти – это лучше всего. «Наблюдайте святыню со всеми!» Вот что мне сказал один раз один святой отшельник. Я тогда не понял этих слов, но чем далее вхожу в них, тем глубже слышу их мудрость. Если бы мы подходили ко всякому человеку, как к святыне, то собственное выраженье лица нашего становилось бы лучше и речь наша облеклась бы в то приличие, ту любовную, родственную простоту, которая всем нравится и вызывает с их стороны тоже расположенье к нам, так что не скажет нам тогда никто неприличного или дурного слова. Не пропускайте бесед с такими людьми, от которых вы можете многому поучиться, не смущайтесь тем, если они имеют черствую наружность. Будьте только к ним внимательны, умейте их расспрашивать, и они с вами

разговорятся. Помните, что вы должны сделаться действительно русскою, по душе, а не по имени. Кстати: не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России. Между крестьянами особенно слышится оригинальность нашего русского ума. Когда случится вам видеть Плетнева, не забывайте его расспрашивать о всех русских литераторах, с которыми он был в сношениях. Эти люди были более русские, нежели люди других сословий, а потому вы необходимо узнаете многое такое, что объяснит вам еще удовлетворительнее русского человека. Если будете видеться с Александрой Осиповной, говорите с ней только о России: в последнее время она много увидела и узнала из того, что делается внутри России. Она также может вам назвать многих замечательных людей, с которыми разговор не бесполезен. Словом, имейте теперь дело с теми людьми, которые уже не имеют дела со светом и знают то, чего не знает свет. Бог да хранит вас! Прощайте. Не позабывайте меня и пишите чаще. Делайте мне такие же черст-

вые и жесткие наставления, как и я вам, не скрывая дурного, которое во мне заметили. Мы ведь это обещали друг другу.

Ваш весь *Н. Гоголь*.

Обеих сестриц, Аполлинарию и Софью Михайловну, обнимите крепко. В письмах мне покуда надписывайте так: на Тверской, в конторе «Москвитянина». Через неделю переезжаю и пришлю вам адрес новой квартиры.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 7 ноября 1848

7 *ноября 1848 г. Петербург* [1541]

7 ноября.

Любезный Николай Васильевич, вот уже месяц, как вы от нас уехали, и до сих пор мы не получили от вас никаких известий. Французская пословица говорит: «Pas de nouvelles, bonnes nouvelles»[1542]; так я надеюсь, что вы совершенно здоровы и что будущее ваше письмо меня утвердит в моем предположении. Мне очень хочется знать, что вы делаете с тех пор, что вы в Москве, как вы себя чувствуете и как вы перенесли первые морозы.

Отвечайте, пожалуйста, на все мои вопросы. Вы знаете, что у меня с давних времен водится грех вам докучать вопросами; следовательно, я прошу вас один раз навсегда не гневаться за то на меня, но отвечать на мои вопросы с вашей прежней благосклонностию.

Вам будет, может быть, приятно слышать, что наши занятия с Владимиром Александровичем продолжаются очень правильным образом и что он сам, так как и мы, находит их очень увлекательными. Два раза в неделю мы собираемся у него для урока, а прочее время, то есть каждый день от одиннадцати до двенадцати часов, мы обработываем и пишем то, о чем он нам говорил во время урока. Владимир приготовляется очень серьезно перед каждой из наших бесед, и в самом деле надобно признаться, что он нашел касательно предметов, нами теперь рассматриваемых, много новых и замечательных взглядов. Со временем он намерен привести в порядок наши и его труды об истории русского языка и русской литературы, обработать их совершенно и составить из них книгу. Он заставляет нас читать много русских народных песен,

чтоб мы вникнули в дух русского народа и поучились бы коренным русским выражениям. Теперь прощайте, любезный Николай Васильевич, будьте здоровы, как мы здесь все здоровы, и отвечайте мне поскорее. Да сохранит и подкрепит вас господь к предпринятому вами делу.

А. В.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 24 февраля 1849

24 *февраля 1849 г. Петербург* [1543]

Петербург. 24-го февр.

Любезный Николай Васильевич, вы нас совершенно забываете или очень заняты, иначе я не могу объяснить себе ваше долгое молчание. Владимир сказал мне, что он оставил вас здоровым и в прекрасном расположении духа, из чего я заключила, что в самом деле все идет у вас благополучно и что вы довольны самим собою, понимаете ли, в каком смысле я это говорю? Ежели мои догадки верны, то я готова вам все простить и даже позволить вам никому не писать, что весьма великодушно с моей стороны. Одно хотела бы я

знать: приедете ли вы в Петербург весной и в какое именно время? Не помню, писала ли я вам, что нам всем очень хочется поехать на нынешнее лето в нашу деревню, недалеко от Коломны, и тем же случаем остановиться в Москве и хорошенько рассмотреть этот для нас совершенно незнакомый город. Я бы очень желала, чтоб мы сошлись вместе в Москве и чтоб вы были нашим cicerone[1544]. В вашем отсутствии граф Комаровский взял на себя исполнять вашу должность при моей особе, и я могу уверить вас, что вы были бы довольны его ревностью. Он непременно хочет меня convertir à la Russie[1545] (по его собственному выражению) и в этом намерении хочет мне рекомендовать разные сочинения, касающиеся до России и до славянских племен вообще, и он сам обещал мне писать некоторые статьи об этом предмете, чтоб я ими могла руководствоваться в моих занятиях. Вы видите, любезный Николай Васильевич, что со всех сторон меня влечет сделаться русскою, и как я не сопротивляюсь этому стремлению, но сама ему способствую, сколько могу, так надеюсь, что ваше и мое желание

наконец исполнится и что я сделаюсь русскою не только душой, но и языком и познанием России.

А. В.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 30 марта 1849

30 *марта 1849 г. Москва* [1546]

Москва. Марта 30.

Я получил милое письмецо ваше[1547], добрейшая Анна Михаловна. Оно меня порадовало тем, что вы не оставляете желанья вашего сделаться русскою. Бог в помощь! Нигде так не нужна его помощь, как в этом деле. Вы говорите, что и мое и ваше желанье исполнится, что вы сделаетесь русской не только душой, но и языком и познаньем России. Я подчеркнул эти строки, потому чте это ваши собственные слова. Знаете ли, однако же, что первое труднее последнего. Легче сделаться русскою языком и познаньем России, чем русской душой. Теперь в моде слова: народность и национальность, но это покуда еще одни крики, которые кружат головы и ослепляют глаза. Что такое значит сделаться русским на

самом деле? В чем состоит привлекательность нашей русской породы, которую мы теперь стремимся развивать наперерыв, сбрасывая все ей чуждое, неприличное и несвойственное? В чем она состоит? Это нужно рассмотреть внимательно. Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена небесного сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи – в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвертые только, попавшие на добрую почву, принесли плод[1548]. Эта добрая почва – русская восприимчивая природа. Хорошо возлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть в русском характере. Итак, для того, дабы сделаться русским, нужно обратиться к источнику, прибегнуть к средству, без которого русский не станет русским в значенье высшем этого слова. Может быть, одно-

му русскому суждено почувствовать ближе значение жизни. Правду слов этих может засвидетельствовать только тот, кто проникнет глубоко в нашу историю и ее уразумеет вполне, отбросивши наперед всякие мудрования, предположенья, идеи, самоуверенность, гордость и убежденье, будто бы уже постигнул, в чем дело, тогда как едва только приступил к нему. Да. В истории нашего народа примечается чудное явленье. Разврат, беспорядки, смуты, темные порожденья невежества, равно как раздоры и всякие несогласия были у нас еще, быть может, в большем размере, чем где-либо. Они ярко выказываются на всех страницах наших летописей. Но зато в то же самое время светится свет в избранных сильней, чем где-либо. Слышатся также повсюду в летописях следы сокровенной внутренней жизни, о которой подробной повести они нам не передали. Слышна возможность основанья гражданского на чистейших законах христианских. В последнее время стали отыскиваться беспрестанно из пыли и хлама старины документы и рукописи вроде Сильвестрова Домостроя[1549], где, как по развалинам Помпеи

древний мир, обнаруживается с подробнейшей подробностью вся древняя жизнь России. Является уже не политическое устройство России, но частный семейный быт и в нем жизнь, освещенная тем светом, которым она должна освещаться. В наставлениях и начертаньях, как вести дом свой, как быть с людьми, как соблюсти хозяйство земное и небесное, кроме живости подробных обычаев старины, поражают глубокая опытность жизни и полнота обнимания всех обязанностей, как сохранить домоправителю образ благости божией в обращении со всеми. Как быть его жене и хозяйке дома с мужем, с детьми, с слугами и с хозяйством, как воспитать детей, как воспитать слуг, как устроить все в доме, обшить, убрать, наполнить запасами кладовые, уметь смотреть за всем, и все с подробностью необыкновенной, с названьем вещей, которые тогда были в употреблении, с именами блюд, которые тогда готовились и елись. Так и видишь перед глазами радушную старину, ее довольство, гостеприимство, радостное, умное обращенье с гостьми с изумительным отсутствием скучного этикета, признанного

необходимым нынешним веком. Словом, видим соединенье Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии, то есть заботиться только о самом немногом из хозяйства земного, чтобы чрез это <прийти?> в возможность вместе с Марией заниматься хозяйством небесным[1550].

В последнее время стали беспрестанно открываться рукописи в этом роде. Эти книги больше всего знакомят с тем, что есть лучшего в русском человеке. Они гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве людьми, находящимися в броженьях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображенью, обольщеньям самолюбивого ума и всяким пристрастьям. Но для вас ати книги покуда недоступны: во-первых, из них напечатано немногое; во-вторых, оно не переведено на нынешний русский язык. Вы древнего языка нашего не знаете. Вот почему я медлил вам советовать, какие книги прежде читать. Все, что больше

всего может вас познакомить с Россией, остается на древнем языке. Остается одно средство: вам нужно непременно выучиться по-славянски. Легчайший путь к этому следующий: читайте Евангелие не на французском и не на русском языке, но на славянском. К французскому прибегайте только тогда, когда не поймете. Слова, которые позагадочнее, выпишите на особую бумажку и покажите священнику. Он вам их объяснит. Если вы прочтете Евангелие, Послание и прибавите к этому пять книг Моисеевых, вы будете знать по-славянски, при этом деле и душа выиграет немало. Когда же увидимся, тогда я вам объясню в двух-трех лекциях все отмены, какие есть в нашем древнем языке от славянского. Вы его полюбите. Этот язык прост, выразителен и прекрасен. Но я, кажется, много заговорился, пора и перестать. Итак, бог в помощь! Будьте русской; вам следует быть ею. Но помните, что, если богу не будет угодно, вы никогда не сделаетесь русскою. К источнику всего русского, к нему самому, следует за этим обратиться. Бог в помощь! Теперь о себе. Донесенье Соллогуба насчет моего здоровья и

прекрасного расположенья духа только наполовину справедливо. Он меня видел в гостях. Нельзя же приносить в гости скуку. Волей или неволей, но должен если не быть, то по крайней мере казаться быть веселым. Сказать же правду, я был почти все время недоволен собой. Работа моя шла как-то вяло, туго и мало оживлялась благодатным огнем вдохновенья. Наконец, я испытал в это время, как не проходит нам никогда безнаказанно, если мы хотя на миг отводим глаза свои от того, к которому ежеминутно должны быть приподняты наши взоры, и увлечемся хотя на миг какими-нибудь желаньями земными наместо небесных. Но бог был милостив и спас меня, как спасал уже не один раз. Что касается до поездки моей в Петербург, то, несмотря на все желанье видеть людей, близких моему сердцу, она должна до времени быть отложена по причине не так устроившихся моих обстоятельств. А не так устроились обстоятельства по причине предыдущей, то есть от не так удовлетворительного расположенья духа. Но бог лучше нашего знает, чему лучше быть. Тем более вы меня порадовали вестью, что,

может быть, нынешним летом заглянете в Москву. От всей души желаю, чтобы Москва оставила в душе вашей навсегда самое благодатное впечатленье. Прощайте, добрейшая моя Анна Михаловна. Передайте мой душевный поклон графине, расцеловавши ее ручки.

Весь ваш *Н. Г.*

Так как радостный праздник уже готовится наступить и письмо придет к вам в Светлый день, то посылаю вам заочно братское лобызанье со словами: Христос воскресе!

Софье Михаловне я пишу в одно время с вами. Аполлине Михаловне передайте поклон самый душевный.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 16 апреля 1849

16 *апреля 1849 г. Москва* [1551]

Христос воскрес!

На мое длинное письмо вы ни словечка, Софья Михаловна тоже. А я писал и к вам и к ней за три дни до Светлого воскресенья. Если вы на меня за что-нибудь рассердились... Но нет, вы на меня не можете рассердиться, доб-

рейшая Анна Михаловна. За что вам на меня сердиться? Верно, это случилось так, само собою. Вам просто пришла лень, неохота писать, оттого и не написалось. Тем не менее и в этом письме, так же, как и в прежнем, повторю вам то же: не оставляйте вашего доброго желания быть русскою в значенье высшем этого слова. Только одним этим путем можно достигнуть к выполненью долга своего на земле. Когда вы будете в Москве и взглянете на все ее святыни и увидите в старинных церквях ее останки древнерусской жизни, – вы тогда поймете это. О многом придется поговорить тогда; теперь же боюсь вам наскучить и сказать что-нибудь непонятное. Скажу вам покуда только то, что я убеждаюсь ежедневным опытом всякого часа и всякой минуты, что здесь, в этой жизни, должны мы работать не для себя, но для бога. Опасно и на миг упустить это из виду. Человечество нынешнего века свихнуло с пути только оттого, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для бога. Даже и в минуты увеселений наших не должны мы отлучаться мыслью от того, который глядит на нас и в минуты увеселе-

ний наших. Не упускайте и вы этого из виду. Будем стараться, чтобы все наши занятия были устремлены на прославление имени его и вся жизнь наша была неумолкаемым ему гимном. Вы любите рисовать – рисуйте же все то, что служит к украшенью храма божья, а не наших комнат; изображайте светлые лики людей, ему угодивших. От этого и кисть ваша и мысли станут выше. Вы получите несравненно больше услажденья, вам не нужен будет и учитель. Собственное чувство, возвысившись внутри вас, станет вашим учителем и поведет вас к совершенству в искусстве. В Москве будет вам много пищи. В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения. В прежнем письме я просил вас особенно позаботиться о славянском языке. Он будет вам очень нужен. Чтение Еван<гелия> и Посланий апостольских на славян<ском> языке – лучший к тому путь. Посылаю вам покамест книгу, которую вы, может быть, не читали. Если ж и читали, то все-таки прочтите, потому что в ней много есть такого, что с первого разу не дается. Это

книга Шевырева о древней русской словесности[1552]. Она послужит вам прологом к чтенью тех книг, в которых раскроется вам вполне русская жизнь. Еще к вам усердная просьба. Посылаю вам деньги, на которые прошу вас приказать взять для меня в синодальной лавке «Христианское чтение» за прошлый 1848 год. Там помещена целиком, начиная с 1-го номера, церковная история Евсевия Кесарийского[1553] первых веков. Эту историю прочитайте, она не только не скучна, но занимательна необыкновенно. Евсевий Кесарийский был сам почти современник описываемых происшествий, застал еще учеников апостолов. Прочитавши эту историю, вы узнаете в самом деле, что такое была жизнь древних христиан. Это вам также поможет много к узнанию, что такое истинно русская жизнь. Книгу эту можете удержать у себя сколько хотите, а в Москву привезите с собою. Но довольно. Бог в помощь, добрейшая Анна Михаловна! Расцелуйте и обнимите всех ваших, милых и близких моему сердцу.

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Апреля 16. 1849.

Гоголь – Соллогуб С. М., 24 мая 1849

24 *мая 1849 г. Москва* [1554]

Мая 24.

Как вы меня обрадовали вашими строчками! Да наградит вас за них бог. День 22 маия, в который я получил ваше письмо[1555], был один из радостнейших дней, каких я мог только ожидать в нынешнее скорбное мое время. Если бы вы видели, в каком страшном положении была до полученья его душа моя, вы бы это поняли. Приехал я в Москву с тем, чтобы засесть за «Мертвые души», с окончаньем которых у меня соединено было все, и даже средства моего существованья. Сначала работа шла хорошо, часть зимы провелось отлично, потом опять отупела голова; не стало благодатного настроения и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость. Не было близких моему сердцу людей, которых бы в это время я не обидел и не оскорбил в припадке какой-то холодной бесчувственности сердца.

Я действовал таким образом, как может только действовать в состоянье безумия человек, и воображая в то же время, что действую умно. Но бог милосерд. Он меня наказал нервическим сильным расстройством, начавшимся с приходом весны, болезнью, которая для меня страшнее всех болезней, после которой, однако же, если я выносил ее покорно и смирялся, наступало почти всегда благодатное расположение. Внезапно растопившаяся моя душа заныла от страшной жестокости моего сердца. С ужасом вижу я, что в нем лежит один эгоизм, что, несмотря на уменье ценить высокие чувства, я их не вмещаю в себе вовсе, становлюсь хуже, характер мой портится, и всякий мой поступок уже есть кому-нибудь оскорбление. Мне страшно теперь за себя так, как никогда доселе. Скажу вам, что не один раз в это время я молил заочно и мысленно Анну Михаловну и вас молиться за меня крепко и крепко. Не знаю, слышали ли это ваши сердца. Но всякий раз, когда я представлял себе мысленно вас обоих, молящихся обо мне, мне становилось легче, и надежда на милосердье божье во мне пробуждалась. Вы

спрашиваете меня, что буду делать с собою и куда двинусь. Сам не знаю. Передо мною одно безбрежное море. Чувствую только, что мне нужно куда-нибудь ехать, потому что дорога была бы полезна для нерв моих, куда – не знаю. Не оставляйте меня, добрая моя Софья Михайловна. Одна небольшая весточка о том, что вы делаете теперь все в Павлине, одно описание дня вашего принесет мне много, много утешенья. Если бы вы знали, как вы все до единого стали теперь ближе моему сердцу, чем когда-либо прежде, и, когда я воображу себе только, как мы снова увидимся все вместе и я прочту вам мои «Мертвые души», дух захватывает у меня в груди от радости. Нервическое ли это расположение или истинное чувство, я сам не могу решить.

Расцелуйте бесценные, добрые, милостивые ручки у графини и у Анны Михаловны.

Бог да сохранит невредимыми всех вас.

Ваш весь *Н. Г.*

Владимира Александровича я видел. Как только узнал, что он в Москве, тот же час, несмотря на хворость свою, поспешил к нему.

Кроме того, что мне приятно было собственно его видеть, я бы обрадовался всякому человеку, от которого мог что-нибудь о вас узнать. Ради Христа, не позабывайте меня! Как я бессилен, как слаб и как мне нужна теперь помощь!

Обнимите Веневитиновых. Я их смутил неуместным письмом[1556]. Что ж делать, утопающий хватается за все.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 3 июня 1849

3 *июня 1849 г. Москва* [1557]

Июня 3. Москва.

Наконец письмецо и от вас![1558] От всей души благодарю вас за него, добрейшая Анна Михаловна. Очень обрадовался, что глазам вашим лучше. Ради бога, берегите их. Как ни любите вы рисовать, но благоразумие требует от вас меньше заниматься рисованьем, а больше двигаться на воздухе. Понимаю, что прогулки без цели скучны. Вот отчего мне казалось, что жизнь в деревне могла бы больше доставить пищи душе вашей, нежели на даче. Сделать четыре, пять верст в день затем, что-

бы взглянуть на труд и работы поселян, какие производятся в разных местах имения, совсем не то, что наша обыкновенная прогулка. Там невольно можно ознакомиться с бытом тех людей, с которыми так тесно связано наше собственное существование, и чрез то прийти в возможность помогать им.

Но тот, кто устрояет все, знает лучше, что нам полезней и лучше. Нужно покориться. Не удалось намерение быть в том месте – нужно осмотреться, как нам быть на этом. Обязанности человека везде. Они могут быть также и в Павлине. Около вас теперь куча племянников и племянниц. Сколько прекрасного можно передать в молодые души путем любви! Можно сызмала навеять на восприимчивое детское любопытство познанье своей родины и ее историю, и разнообразье ее местностей, и образ жизни ее обитателей во всех углах ее, и даже пламенное желание быть ей полезным. Можно и в отроческое время дать человеку идею о том, как должны быть святы отношенья между людьми. И тогда он счастлив на всю жизнь, потому что в остальное время жизни будет уже сам заботиться о дальней-

шем своем теченье по указанном<у> пути, о приведенье себя в бóльшую и бóльшую возможность приносить пользу и благодетельствовать. О! как бы мы теперь все были подвижны, во сколько меньше было бы у нас лени, бездействия и спячки, если бы приобрели то в юности, что принуждены приобретать теперь! Как на беду, первое наше воспитание отдаляет нас вдруг от того, что вокруг нас. С первых же дней набивают нас предметами, переносящими нас в другие земли, а не в свою. Оттого мы и не годимся для земли своей. О себе ничего не могу вам сказать положительного. Я только что оправился от сильной болезни нервической, которая с приходом весны вдруг было меня потрясла и расколебала всего. Я имел, точно, намерение проездиться по северо-восточным губерниям России, мало мне знакомым, но как и когда приведу это в исполнение – не знаю. Собой я был крайне недоволен во все это время. И только дивлюсь божьей милости, не наказавшей меня столько, сколько я того стоил. Не оставляйте меня, добрейшая Анна Михаловна, вашими строчками. Описанье вашего дня и пре-

провожденья времени в Павлине будет для меня подарком. Бог да хранит вас!

Перецелуйте бесценные ручки вашей маменьки.

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Гоголь – Вьельгорской А. М., 30 июля 1849

30 *июля 1849 г. Москва* [1559]

Москва. Июля 30.

Я ездил взглянуть на некоторые губернии поблизости Москвы, был в Калуге, где прогостил несколько дней у Александры Осиповны; возвратился снова на короткое время в свою уединенную комнатку в Москве и увидел на столе письмо[1560]. С радостью узнал, что оно было от вас, а еще с большею, что подарок мой[1561] пришелся кстати. Не удивляйтесь тому, что вам никто не мог указать на сочинение, которое я вам послал. Русские никогда не знают, что существует на русском языке. Обращайтесь с расспросами по этой части ко мне, а не к кому другому. Нынешняя книга оказалась более нужною сестрицам вашим. Но может быть, прочие будут нужны

для вас. Так как Софья Михаловна и Аполлина Михаловна занимаются собираньем <произведений?> петербургской почвы, то им, сверх полученных вами тетрадей, нужно будет еще одно сочинение, которое при сем получит Софья Михайловна[1562]. Передайте ей письмецо[1563]. Книга послана особо на ее имя. Не думайте, что я разоряюсь на книги. Я дарю из своей собственной библиотеки, которая составилась у меня давно. Я люблю из нее дарить друзьям моим. Мне тогда кажется, как будто книга совершенно пристроена и поступила в достойное ее книгохранилище. Мне можно так поступать. Я вас богаче и имею больше вашего возможности заводиться книгами потому именно, что на другое ничто не издерживаюсь. За содержание свое и житие не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду и к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки. Прощайте, добрый друг Анна Михаловна. Целую мысленно добрые ручки ваши. А вы перецелуйте за меня покрепче ручки графини.

Ваш весь.

Адрес мой остается по-прежнему.

Гоголь – Соллогуб С. М., Вьельгорской А. М., 20 октября 1849

20 *октября 1849 г. Москва* [1564]

Москва. Октябрь 20.

Милые и добрые друзья, Софья Михаловна и Анна Михайловна! От всей души поздравляю вас с принятием в семейный круг ваш нового гостя. Разумею новорожденное существо[1565], которое досталось одной из вас в дочери, а другой в племянницы. Возвратившись в Москву, я застал здесь Владимира Александровича и от него узнал о вашей семейной радости. Дай бог, чтобы радость ваша сделалась еще большей, когда дитя достигнет возраста, поймет и оценит жизнь лучше нашего нынешнего поколения, бессмысленно ее растратившего на пустые развлеченья. Нынешняя поездка моя не была велика: все почти в окрестност<ях> Москвы и в сопредельных с нею губерниях. Дальнейшее путешествие отложил до другого года, потому что на всяком шагу останавливаем собственным невежеством. Нужно сильно запастись преду-

готовительными сведениями затем, чтобы узнать, на какие предметы преимущественно следует обратить внимание. Иначе, подобно посылаемым чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь. Перечитываю теперь все книги, сколько-нибудь знакомящие с нашей землей, большею частью такие, которых теперь никто не читает. С грустью удостоверяюсь, что прежде, во время Екатерины, больше было дельных сочинений о России. Путешествия были предпринимаемы учеными смиренно, с целью узнать точно Россию. Теперь все щелкоперно. Нынешние путешеств<енники>, охотники до комфортов и трактиров, с больш<их> дорог не сворачивают и стараются пролететь как можно скорее. При полном незнанье земли своей утвердилась у всех гордая уверенность, будто знают ее. А между тем какую бездну нужно прочесть даже для <того> только, чтобы узнать, как мало знаешь, и чтобы быть в состоянии путешествовать по России как следует, смиренно, с желанием знать ее. Все время мое отдано работе, часу нет свободного. Время летит быстро, неприметно. О, как спаси-

тельна работа и как глубока первая заповедь, данная человеку по изгнанье его из рая: в поте и труде снискивать хлеб свой! Стоит только на миг оторваться от работы, как уже невольно очутишься во власти всяких искушений. А у меня было их так много в нынешний мой приезд в Россию! Избегаю встреч даже с знакомыми людьми от страху, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей. Выхожу из дому только для прогулки и возвращаюсь сызнова работать. Бог да хранит вас, добрые, близкие моей душе! Не оставляйте меня уведомлять о себе. С удовольствием помышляю, как весело увижусь с вами, когда кончу свою работу. Перецелуйте ручки у графини вашей маменьки. Обнимите Михаила и Матвея Юрьевича, Веневитиновых и всю вашу вечно близкую моему сердцу семью.

Ваш весь *Н. Г.*

Адрес мой по-старому.

Вьельгорская А. М. – Гоголю, 17 января 1850

17 *января 1850 г. Петербург* [1566]

Петербург 17 января.

Как вы добры, любезный Николай Васильевич, не браните меня в вашем последнем письме, когда я это столько заслуживаю. Видно, уж всегда мне заслуживать ваш гнев моей неисправностью в нашей переписке, а вам всегда великодушно прощать меня. Благодарю вас искренно за все то, что вы мне желаете на нынешний год. Дай бог, чтобы ваши и мои желания исполнились и чтоб жизнь моя сделалась бы «прекрасной, светлой», по вашим словам, и я прибавляю – полезной себе и другим. Желаю вам то же самое, кажется, лучшего нельзя желать. Как я рада, что вы прилежно занимаетесь[1567]: это доказывает сперва, что вы здоровы и хорошо расположены, а во-вторых, обещает нам, хотя, может быть, еще не скоро, новое творение вашего пера, которое я (как и вся Россия, вероятно) ожидаю с нетерпением. Прекрасна судьба истинного даровитого писателя, которому дано свыше владеть умами и сердцами людей, которого влияние может быть так важно, так обширно! У вас цель в жизни, любезный Николай Васильевич, она вас совершенно удо-

влетворяет и занимает все ваше время, а какую цель мне выбрать? Из всего моего рисования, чтения и пр. и пр. никакого толку не будет. Не сердитесь и не браните меня мысленно, я только что шучу, хотя и не совсем. Вы хотите знать, как я скучаю и как веселюсь. Мои расположения меняются по-прежнему, хотя эта переменчивость иногда мучительна, я утешаю себя мыслию, что я этим избегаю монотонность – самая скучная вещь, по-моему. Я очень мало выезжаю, что мне совершенно по сердцу, но собираются у нас часто знакомые, которые приятны и которых я охотно вижу.

К несчастию, мы нынешнюю зиму не продолжаем наши русские занятия. Я читаю по-русски, сколько могу, но это еще весьма мало! Вообще литература наших журналистов меня вовсе не привлекает. Я все собиралась прочесть «Церк<овную> ист<орию>» Евсевия и как-то не прочла, однако же когда-нибудь непременно примусь за нее. Когда мы вас увидим? Впрочем, ежели вы заняты в Москве, жаль вас беспокоить. Прощайте, любезный Николай Васильевич; все наши кланяются

вам сердечно.

А. В.

Гоголь – Вьельгорской А. М., весна 1850

Весна 1850 г. Москва [1568]

Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди[1569]. Принимаясь писать ее, я молил бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета

или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! Я бы к вам приехал также. Мы бы все вместе принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмыс-

ленная жизнь на дачах. А если бы при этом каждый помолился покрепче богу о том, чтобы помог ему исполнить долг свой, – мы бы, верно, все стали чрез несколько времени в такие отношенья друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен, быть не что другое в отношении <вас>, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека, от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорченья хотело бы выговорить оскорбленное сердце. Бог да хранит вас. Прощайте. Обнимите крепко всех ваших.

Весь ваш до гроба.

Н. Гоголь.

Гоголь и В. Г. Белинский

Вступительная статья

Имена Гоголя и Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848) теснейшим образом связаны в истории нашей культуры. Произведения Гоголя в значительной мере повлияли на формирование как эстетической концепции, так и общественных взглядов великого критика. С другой стороны, Белинскому принадлежит первостепенная роль в истолковании гоголевского творчества, укреплении авторитета писателя, уяснении его места в литературном процессе 1830–1840-х годов.

Уже в статье «Литературные мечтания» (Молва, 1834, ч. 8), практически явившейся дебютом Белинского-критика, об авторе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» говорится как о «необыкновенном таланте», много обещающем в будущем. В следующем году появление сборников «Миргород» и «Арабески» дало Белинскому основание оценить произведения Гоголя как вершину русской прозы, а в самом писателе увидеть главу нового периода раз-

вития отечественной литературы – периода, характеризующегося обостренным вниманием к «жизни действительной» (статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» – Т, 1835, ч. 26). Эти положения были позднее развиты критиком в его работах второй половины 1830–1840-х годов.

На протяжении ряда лет Белинский вынашивал замысел обстоятельного разбора гоголевского творчества в особом цикле исследований. К сожалению, эта идея осталась неосуществленной. Тем не менее в своих трудах критик коснулся практически всех сторон литературной деятельности Гоголя. Перу Белинского принадлежит более двадцати статей, специально посвященных его сочинениям.

Как свидетельствовал П. В. Анненков, близко знавший и писателя, и критика, выступления Белинского в середине 1830-х годов серьезно поддержали Гоголя и способствовали его литературному самоопределению (Анненков П. В. Н. В. Станкевич. М., 1857, с. 77). По словам мемуариста, статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» была встречена писателем с удовлетворением и радостью: «<...>

он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени» (Анненков. Лит. восп., с. 161).

Однако отношение Гоголя к литературной деятельности Белинского было далеко не однозначным. На нем лежит ясный отпечаток несходства мировоззрений, различия темпераментов. Весьма существенную роль играл и тот факт, что среди близких Гоголю людей преобладали идейные антагонисты критика (Шевырев, Погодин, Плетнев, Языков и др.), с которыми Белинский на протяжении 1830-х и в особенности 1840-х годов вел ожесточенную борьбу. Писатель не раз выражал свое недовольство суждениями Белинского, неприятие их тона и смысла. Тем более важно, что в целом он все же отдавал должное проницательности и искренности великого критика.

«Гоголь доволен моею статьею о «Ревизо-

ре»[1570] – говорит – многое подмечено верно», – с гордостью сообщал Белинский В. П. Боткину в письме от 14–15 марта 1840 года (Бел., т. 11, с. 496). О внимании писателя к суждениям Белинского в определенной степени свидетельствует факт переработки повести «Портрет», ранняя редакция которой вызвала замечания критика. Для характеристики отношения Гоголя к Белинскому важен его во многом итоговый отзыв, заключенный в письме к Прокоповичу от 8 (20) июня 1847 года: «<...> человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним».

Личные контакты Гоголя и Белинского носили лишь эпизодический характер. Вероятно, впервые они увиделись в мае 1835 года на обеде в московском доме С. Т. Аксакова (Аксаков, с. 14), с сыном которого Константином Сергеевичем критик был в ту пору очень дружен. Однако подлинное знакомство произо-

шло лишь осенью 1839 года, в первый приезд Гоголя из-за границы. Белинский и Гоголь встречаются вначале в Москве (ЛН, т. 58, с. 570), а затем в Петербурге, куда критик переехал, чтобы принять непосредственное участие в издании журнала «Отечественные записки». «Поклонись от меня Гоголю, – обращался Белинский к К. С. Аксакову вскоре после этих встреч, – и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом» (от 10 января 1840 г. – Бел., т. 11, с. 435).

В начале 1840-х годов в России происходит быстрая поляризация литературно-общественных сил. Позиции группы «Отечественных записок»» и основного круга близких Гоголю литераторов все более определяются в этот период как враждебные. Однако и в свой приезд на родину в 1841–1842 годах писатель не прерывает личных контактов с Белинским, хотя в то же время пытается скрыть их от «московских приятелей». Как и другие знакомые Гоголя, Белинский оказывает ему помощь в практических делах: в январе 1842 го-

да писатель отправляет с Белинским в Петербург рукопись «Мертвых душ», запрещенную московской цензурой; осенью того же года критик помогает Прокоповичу в чтении корректур гоголевских «Сочинений».

К 1842 году относится и первое из писем Белинского к Гоголю, содержащее ценнейший материал для характеристики его отношения к писателю. Подчеркивая исключительное положение Гоголя в современной русской литературе («Вы у нас теперь один»), критик пытался привлечь его на свою сторону в литературной борьбе. Однако ответ Гоголя, заключенный в письме к Прокоповичу от 11 мая, был уклончивым: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой чрез Петербург». Свидание Гоголя с Белинским – последнее в их жизни – действительно состоялось вскоре в Петербурге, но никаких определенных результатов не принесло.

Важнейшее место в истории отношений Гоголя и Белинского занимают события 1847

года, связанные с выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тревожные симптомы в развитии писателя отмечались Белинским еще до появления этой книги. Именно с такой точки зрения он рассматривал в рецензии на второе издание «Мертвых душ» (С, 1847, № 1) гоголевское предисловие «К читателю от сочинителя» и появившуюся незадолго перед тем статью «Об «Одиссее», переводимой Жуковским». «Выбранные места...», консервативный характер которых оказался заметно усилен вследствие цензурных изменений и изъятий, вызвали у критика «негодование и бешенство» (письмо к В. П. Боткину от 28 февраля 1847 г. – Бел., т. 12, с. 340). В посвященной им рецензии (С, 1847, № 2) Белинский с убийственным сарказмом комментировал ряд гоголевских положений, однако, в силу подцензурного характера статьи, не смог отозваться о книге с полной откровенностью.

Тем не менее Гоголь был задет рецензией и – впервые за время их знакомства – обратился к автору с письмом, в котором сводил причины его недовольства к личной обиде и пытался несколько сгладить сложившееся у

критика впечатление. Послание Гоголя было получено Белинским в Зальцбрунне (тогдашняя Пруссия), где он находился на лечении. Не опасаясь перлюстрации (Гоголь в то время также жил вне России), критик ответил автору «Выбранных мест...» знаменитым письмом, в котором подчеркивал принципиальный характер своего несогласия с ним, страстно и прямо выражал отрицание гоголевской книги, в отличие от его утопической идеи общественного переустройства через моральное совершенствование отдельных людей выдвигал мысль о необходимости коренных социальных преобразований в России.

«Зальцбруннское» письмо Белинского стало для Гоголя тяжелым потрясением. Вначале он намеревался подробно ответить оппоненту (см. ниже черновые наброски, с. 490), объяснить себя и свою позицию, опровергнуть выдвинутые обвинения (некоторые из них действительно были незаслуженными). Однако в дальнейшем Гоголь отказывается от развернутой полемики, ограничившись кратким письмом, в котором ясно слышится усталость

и где допускается даже наличие в словах критика «части правды» (29 июля (10 августа) 1847 г.). Видимо, считая спор завершенным, Белинский оставил это письмо Гоголя без ответа, заметив лишь, по словам П. В. Анненкова: «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту» (Анненков. Лит. восп., с. 365).

Письмами 1847 года завершилась история личного и эпистолярного общения Гоголя и Белинского. В мае следующего года критик скончался. В настоящем издании переписка Гоголя с Белинским печатается полностью, включая черновые варианты последнего письма Гоголя.

Белинский В. Г. – Гоголю, 20 апреля 1842

20 *апреля 1842 г. Петербург* [1571]

Милостивый государь
Николай Васильевич!

Я очень виноват перед вами, не уведомляя вас давно о ходе данного мне вами поручения[1572]. Главною причиною этого было желание – написать вам что-нибудь положи-

тельное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, как вы были в Питере[1573]. Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, – то все же можно наверное сказать, что только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил г. Снегирев[1574], и что в Петербурге этого не сделал бы даже Петрушка Корсаков, хоть он и моралист и пиэтист. Но теперь дело кончено, и говорить об этом бесполезно.

Очень жалею, что «Москвитянин» взял у вас все[1575] и что для «Отечественных записок»[1576] нет у вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и в невыгоду «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова – и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и Москве;

она украшает «Москвитянин» вашими сочинениями – и лишает их «Отечественные записки». Я не так самолюбив, чтобы «Отечественные записки» считать чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; но я далек и от ложной скромности – бояться сказать, что «Отечественные записки» теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и – смею думать – умное мнение, и что «Отечественные записки» ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села Поречья[1577]. Но потому-то, видно, им и то же счастие: не изменить же для «Отечественных записок» судьбе своей роли в отношении к русской литературе.

С нетерпением жду выхода ваших «Мертвых душ». Я не имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в «Отечественных записках» была обещана статья о «Ревизоре»[1578]; думаю по слу-

чаю выхода «Мертвых душ» написать несколько статей вообще о ваших сочинениях[1579]. С особенною любовию хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более что я виноват перед ними: во время óно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания[1580], не понимая, что тем самым изрыгаю хулу на духа[1581]. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием. Вообще, мне страх как хочется написать о ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости; но – слава богу – я, вместе с этим, одарен и движимостию вперед, и способностию собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностию, как и чужие грехи. И потому надумалось во мне много нового с тех пор, как в 1840 г. в последний раз врал я о ваших повестях и «Ревизоре»[1582]. Теперь я понял, почему вы Хлестакова считаете героем вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; по-

нял, почему «Старосветских помещиков» считаете вы лучшею повестью своею в «Миргороде»[1583]; но также понял, почему одни вас превозносят до небес, а другие видят в вас нечто вроде Поль де Кока[1584] и почему есть люди, и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что вы выше Марлинского и что ваш талант – великий талант. Объяснение всего этого даст мне возможность сказать дело о деле, не бросаясь в отвлеченные и окольные рассуждения; а умеренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине) даст многим возможность сознательно полюбить ваши сочинения. Конечно, критика не сделает дурака умным и толпу мыслящею; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство, а у других – возбудить мыслию спящий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня может быть только ваше внимание и ваше доброе, приветливое слово. Я не заношусь слишком высоко, но – признаюсь – и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и – что еще лестнее – имел счастие приобре-

сти себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников[1585]. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин. После этого вы поймете, почему для меня так дорог ваш человеческий, приветливый отзыв...

Дай вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь один, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с вашею судьбою: не будь вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустною отрадою буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне

знакома...

Хотелось бы мне сказать вам искренно мое мнение о вашем «Риме», но, не получив предварительно позволения на откровенность, не смею этого сделать[1586].

Не знаю, понравится ли вам тон моего письма, – и даже боюсь, чтоб он не показался вам более откровенным, нежели сколько допускают то наши с вами светские отношения; но не могу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае, противном моему ожиданию, легко утешусь, сложив всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературе[1587].

С искренним желанием вам всякого счастия, остаюсь готовый к услугам вашим

Виссарион Белинский.

СПб. 1842
Апреля 20.

Гоголь – Белинскому В. Г., около 8(20) июня 1847

Около 8 (20) июня 1847 г. Франкфурт [1588]

Я прочел с прискорбием статью вашу обо

мне во втором № «Современника»[1589]. Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и неутральные – все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека и потому почти все приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые покаместь еще загадка для

многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом.

Я очень недаром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека скрытног<о>, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных

выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы?[1590] Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я беспристрастно хотел определить достоинство каждого и те нежные оттенки эстетического чутья, которыми своеобразно более или менее одарен был из них каждый? И если я выжидал только времени, когда мне можно будет сказать об этом или, справедливей, когда мне прилично будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувством беспристрастья и

справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, – все это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!

Н. Г.

Белинский В. Г. – Гоголю, 3(15) июля 1847

3 *(15) июля 1847 г. Зальцбрунн* [1591]

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта.

Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании,

которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали при появлении ее все враги ваши – и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, которых имена вам известны[1592]. Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если б она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей – в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб вы не были мыслящим человеком, а потому,

что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека[1593], а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что вы в этом прекрасном далеке живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не

человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетью[1594]. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию Рос-

сии, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале[1595], – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас за эти позорные строки... И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги? Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, – совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: ах ты, неумытое рыло![1596] да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и

назидание русских мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина[1597], и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления – быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или вы больны и вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь – это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между

ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...

А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духо-

венству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы[1598], жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и

следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью, – ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозности, нетерпимости и фанатизме: его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только

в раскольнических сектах, столь противуположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками[1599]. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам, по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком овладевает религиозный дух – он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania[1600], он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесно-

му, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна[1601]. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили...

«Но, может быть, – скажете вы мне, – положим, что я заблуждался и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» – Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею[1602]. Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с вами учение с большей энергией

и большею последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с вашей точки зрения, если б только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает

обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника[1603]. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо к Уварову[1604], где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.[1605]. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и дви-

жение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример – Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви[1606]. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказываемых вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талантом,

и менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне еще кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли,

но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль – довести о нем до сведения публики – была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его[1607]. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей – тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом

только или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек»[1608]. Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение пера автора

«Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне как об одном из ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намере-

нии дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос[1609]. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих»[1610]. Все это нехорошо! А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об

этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду[1611]. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины[1612] распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и N[1613] переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, – я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, за-

ключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы ваши прежние.

Зальцбрунн
15-го июля н. с.
1847-го года.

Гоголь – Белинскому В. Г., 29 июля (10 августа) 1847

29 *июля (10 августа) 1847 г. Остенде* [1614]

Остенде. 10 августа.

Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не был<о> бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть

часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги: ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных во мненьях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, по тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон. Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены. Мне кажется да-

же, что не всякий из нас понимает нынешнее время, в котором так явно проявляется дух построенья полнейшего, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но все выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье, старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает все, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать

многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покаместь помните прежде всего о вашем здоровье. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть, и с большею пользою как для себя, так и для них.

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще.

Н. Гоголь.

В одно время с письмом к вам отправил я письмо и к Анненкову[1615]. Спросите у него, получил ли он его. Я адресовал в Poste restante.

Гоголь и С. П. Шевырев

Вступительная статья

Степан Петрович Шевырев (1806–1864) рано начал свою литературную деятельность. Уже к середине 1820-х годов он заставляет говорить о себе как о талантливом и оригинальном лирике. Когда в 1827 году бывшие участники кружка «любомудров» основывают журнал «Московский вестник», Шевырев занимает в нем ведущее положение, выступая как литературный критик и теоретик, поэт, переводчик. В 1835–1837 годах он возглавляет критический отдел «Московского наблюдателя», а с 1841 года – журнала «Москвитянин». Как ученый-филолог, Шевырев явился одним из зачинателей исторического направления в русском литературоведении. Он создал такие значительные труды, как высоко оцененная Пушкиным «История поэзии» (т. 1. М., 1835), «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (М., 1836), а также «История русской словесности, преимущественно древней» (ч. 1–4. М., 1846–1860) – исследование, практически от-

крывшее, несмотря на свои недостатки, новую область науки (см. в сб.: Возникновение русской науки о литературе. М., 1975, с. 325). С 1833 года Шевырев начинает преподавательскую деятельность в Московском университете (адъюнкт, затем профессор словесности). Его лекции первое время пользуются успехом, привлекая аудиторию богатством содержания и свойственной Шевыреву любовью к науке. Однако позднее нарастающий политический, философский и эстетический консерватизм Шевырева отталкивает от него основную массу молодого поколения. С середины 1830-х годов формируется новая репутация Шевырева как человека реакционных взглядов, крайне педантичного, мелочно самолюбивого. Негативные стороны личности и поздней деятельности Шевырева надолго заслоняют от историков литературы его несомненные заслуги.

Находясь с 1829 по 1832 год в Италии, Шевырев не был свидетелем литературного дебюта Гоголя. Его первым откликом на произведения писателя стала рецензия на сборник «Миргород» (МН, 1835, № 2). Критик отмечал в

ней оригинальность дарования Гоголя, давал характеристику его комизму, но приглушал при этом его реальную остроту. Можно сказать, что гоголевский пафос отрицания никогда не вызывал безусловного сочувствия Шевырева. Не принимая творчества писателя в полном объеме, он уклонился от подробной оценки «Арабесок», а затем и «Ревизора» . (Красноречив в этом плане и факт отклонения редакцией «Московского наблюдателя» повести «Нос».) Новым крупным выступлением Шевырева, посвященным гоголевскому творчеству, явилась его большая работа о «Мертвых душах» (М, 1842, № 7, 8). Она содержала ряд глубоких наблюдений над поэтикой «Мертвых душ» (см.: Манн, с. 161–167), особенностями творчества писателя в целом. Однако, отзываясь о первом томе поэмы с большой похвалой, Шевырев возлагал свои основные надежды на ее продолжение, судя о целостном замысле произведения с позиций близкого автору, прекрасно осведомленного человека. Сложную реакцию критика вызвали «Выбранные места из переписки с друзьями». Вначале он предполагал выступить с «беспо-

щадным разбором» книги (Аксаков, с. 166), но впоследствии, в большой степени под влиянием гоголевских писем, пересмотрел свое отношение к ней. В анализе «Выбранных мест...» (М, 1848, № 1) Шевырев стремился не просто оценить произведение, но и подвести итоги его обсуждения в критической литературе. Сознавая уязвимость позиции Гоголя – учителя и проповедника, рецензент защищал искренность намерений писателя, настаивал на связи «Выбранных мест...» со всем его предшествующим творчеством, видел в этой книге осознание Гоголем светлых начал русской жизни.

Сам Гоголь высоко ценил Шевырева как чуткого и эрудированного критика и не раз обращался к нему с просьбами откликнуться на выход своих новых сочинений. Уже в рецензии на «Историю поэзии» Шевырева (эта рецензия предназначалась для «Современника», но осталась неопубликованной) Гоголь характеризует его как «мыслящего, исполненного критического ума писателя» (Акад., VIII, с. 199). Столь же высокое мнение о Шевыреве повторено Гоголем спустя много лет в письме

к А. О. Смирновой от 8 (20) июня 1847 года: «Человек этот стоит на точке разумения несравненно высшей, чем все другие в Москве, и в нем зреет много добра для России». Тем не менее Гоголь видел и слабые стороны критика. Так, в знаменитой статье «О движении нашей журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» (С, 1836, т. 1) писатель отмечал ошибочность мнений, высказанных в программной для Шевырева работе «Словесность и торговля» (МН, 1835, ч. 1). В 1840-е годы он обращал внимание критика на свойственную ему пристрастность оценок.

Личное знакомство Гоголя и Шевырева состоялось в Риме в конце 1838 года. При посредничестве близкого обоим Погодина они быстро становятся друзьями. Их дальнейшие отношения складываются очень ровно. Гоголь высоко ценил общеизвестную аккуратность и обязательность Шевырева и не раз обращался к нему с разнообразными просьбами, которые тот с готовностью выполнял. Шевырев участвовал в издании гоголевских сочинений, ведал их продажей, занимался и другими финансовыми делами писателя. При

этом их общение не носило лишь сугубо делового характера. По словам одного из современников, в последние годы жизни Гоголя Шевырев являлся «чуть ли не самым ближайшим к нему из всех московских литераторов» (Г. в восп., с. 504). Доверие, которое писатель испытывал в то время к Шевыреву-человеку и Шевыреву-критику, ярко раскрывает тот факт, что именно его он в наибольшей степени познакомил с ходом работы над вторым томом «Мертвых душ».

После смерти Гоголя Шевырев взял на себя разбор оставшихся бумаг и огромный труд перебелки рукописей писателя. Он активно добивался публикации еще неизвестных читателям произведений. В 1855 году издание «Сочинений Николая Васильевича Гоголя, найденных после его смерти» (наряду с главами второго тома «Мертвых душ» оно включало «Авторскую исповедь») было осуществлено. Много усилий приложил Шевырев и для издания нового собрания сочинений Гоголя (т. 1–6. М., 1855–1856), в подготовке которого он, по просьбе писателя, участвовал еще в 1850–1851 годах. Помимо публикации произ-

ведений Гоголя Шевырев предполагал также написать его биографию, но этот замысел не был осуществлен.

Дошедшая до наших дней переписка Гоголя и Шевырева включает 61 гоголевское (1835–1851 гг.) письмо и 26 шевыревских (1839–1851 гг.) писем. В сборник вошло 21 письмо Гоголя и 14 писем Шевырева.

Гоголь – Шевыреву С. П., 10 марта 1835

10 *марта 1835 г. Петербург* [1616]

Марта 10.

Посылаю вам мой «Миргород» и желал бы от всего сердца, чтобы он для моей собственной славы доставил вам удовольствие. Изъявите ваше мнение, наприм., в «Московском наблюдателе». Вы этим меня обяжете много: вашим мнением я дорожу[1617].

Я слышал также, что вы хотели сказать кое-что об «Арабесках». Я просил князя Одоевского не писать разбора, за который он хотел было приняться[1618], потому что мнение его я мог слышать всегда, и даже изустно. Ваше же я могу услышать только печатно. Я к вам пишу уже слишком без церемоний. Но, ка-

жется, между нами так быть должно. Если мы не будем понимать друг друга, то я не знаю, будет ли тогда кто-нибудь понимать нас. Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать «Московский вестник»[1619], который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще доныне не совершенно развернулось.

Вам просьба от лица всех, от литературы, литераторов и от всего, что есть литературного: поддержите «Московский наблюдатель». Все будет зависеть от успеха его. Ради бога, уговорите москвичей работать. Грех, право, грех им всем. Скажите Киреевскому, что его ругнет все, что будет после нас, за его бездействие. Да впрочем, этот упрек можно присоединить ко многим. Я, с своей стороны, рад все употребить. На днях я, может быть, окончу повесть для «Московского наблюдателя»[1620] и начну другую. Ради бога, поспешите первыми книжками. Здесь большая часть потому не подписывается, что не уверена в существовании его, потому что Сенковский и прочая челядь разглашает, будто бы его со-

всем не будет и он уже запрещен. Подгоните с своей стороны всех, кого следует, и самое главное, посоветуйте употребить все старания к тому, чтобы аккуратно выходили книжки. Это чрезвычайно действует на нашу публику. Москве предстоит старая ее обязанность спасти нас от нашествия иноплеменных языков. Прощайте! Жму крепко вашу руку и прошу убедительно вашей дружбы. Вы приобретаете такого человека, которому можно все говорить в глаза и который готов употребить бог знает что, чтобы только услышать правду.

Обнимите за меня Киреевского и вручите ему посылаемый при сем экземпляр.

Другой экземпляр прошу вас отправить Надеждину.

Желая вам всего хорошего, труда, спокойствия и прочего,

остаюсь вашим покорнейшим слуг<ою>

Николаем Гоголем.

Гоголь – Шевыреву С. П., 29 августа (10 сентября) 1839

29 *августа (10 сентября) 1839 г. Вена* [1621]

Вена. 10 августа[1622].

Третьего дня я получил письмо твое[1623]. Как оно мне было приятно, об этом нечего говорить. Оно было бы приятно даже без этой важной новости, тобою объявляемой: но с этою новостью, увесистой, крупной новостью, оно и сказать нельзя как хорошо. Ты за Дантом![1624] ого-го-го-го! и об этом ты объявляешь так, почти в конце письма. Да, спаси бог за это Мюнхен и ту скуку, которую он поселил в тебя! Но не совестно ли тебе не приложить в письме двух-трех строк? Клянусь моим честным словом, что желание их прочесть у меня непреодолимое! О, как давно я не читал стихов! а в твой перевод я верю, верю непреложно, решительно, бессомненно. Это мало, что ты владеешь стихом и что стих твой силен: таким был он и прежде; но что самое главное и чего меньше было у тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая из сердца поэзия: нота, взятая с верностью удивительною и таким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа. Все это я заключаю из тех памятных мне стихов в день моего рождения, которые ты написал в Риме[1625]. Доны-

не я их читаю, и мне кажется, что я слышу Пушкина. Я не знаю, знаешь ли ты и чувствуешь ли, во сколько раз ты более в них стал поэтом против прежнего поэта. Вот почему я так обрадовался твоему огромному предприятию. И ты не прислал мне даже образчика! Хорошо ли это? Да знаешь ли ты, что это необходимо, и тебя, верно, мучит тайное желание прочитать свое начало и слышать суд. Без этого не мог существовать ни один художник. Вследствие этого пришли мне непременно сколько хочешь и можешь. Я не покажу никому и не скажу никому. Ай да Мюнхен! Ты должен имя его выгравировать золотыми буквами на пороге дому твоего.

Что касается до меня, я... странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и во-

обще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро… В Вене я скучаю. Погодина до сих пор нет. Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, – вот и все тут. Труд мой, который начал, не идет; а чувствую, вещь может быть славная[1626]. Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге. Неужели я еду в Россию? я этому почти не верю[1627]. Я боюсь за свое здоровье. Я же те-

перь совсем отвык от холодов: каково мне переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непременно должен ехать: выпуск моих сестер из института, которых я должен устроить судьбу и чего нет возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Словом, я должен ехать, несмотря на все мое нежелание. Но как только обделаю два дела – одно относительно сестер, другое – драмы, если только будет на это воля всемогущего бога, доселе помогавшего мне в этом, как только это улажу, то в феврале уже полечу в Рим и, я думаю, тебя еще застану там. Между тем я сижу все еще в Вене. Погодина еще нет. Время стоит прекрасное. Тепло и вечно хорошая погода.

Прощай. Пиши и не забудь просьбы...

Твой *Гоголь*.

Шевырев С. П. – Гоголю, начало (середина) сентября 1839

Начало (середина) сентября 1839 г. Дахау [1628]

Что будешь делать с тобой? Ты меня так умаслил, что решился показать тебе свою

тайну, но только тебе да Погодину, который уж об ней знает. Читай. Благословишь ли? Ты меня так утешил письмом своим, что я ну читать стихи свои. Сначала трусил, но потом, прочитавши, решился. Посылаю[1629]. Ответ дружеский не страшен никогда и всегда полезен, в том иди другом случае. – Рифмам мужеским и женским я дал развод, как делают немцы: но это разрешил мне и сам Пушкин.

Но, друг, условие: чтобы и ты работал. Ссылаюсь на твое выражение: «Я буду большой дурак, если из этого ничего у меня не выйдет». Смотри, ты рискуешь многим: я ведь начну с тобой браниться. Есть иногда в нас эта лень, которую надобно побеждать настойчивостью. Вена, конечно, не вдохновительна, но что тебе за дело до Вены? Я тебе опять скажу на лень твою стихами из другой песни Данта, мною начатой:

«Коль речь твою перевести на дело, –
Великого проговорила тень, –
Душа твоя от страха обомлела.

Им часто в душу проникает лень:

От подвига он гонит нас, пугая,
Как призрак зверя, как померкнет день»[1630].

Ну, помилуй, скажи, что ты делаешь с моим Briefsammler'ом[1631]? Уж серебряная облатка[1632] его удивила, и он сзывал соседей на зрелище, а ты как раз после этого отпустил ему золотую! Он просто с ума сошел, мой Briefsammler. Уж тут он и соседей не сзывал, а его просто нашли остолбеневшего перед письмом твоим и должны были вырвать письмо насильно из рук оцепеневшего брифзаммлера. Дело дошло и до ландрихтера[1633], моего покорнейшего слуги, который меня просил написать тебе, чтоб ты в Дахау не присылал ни золотых, ни серебряных облаток. Я боюсь, что ты того и гляди брякнешь мне бриллиантовую: ну тогда уж я не ручаюсь и за моего ландрихтера. От такой облатки и он может помешаться. Беда, да и только.

В прошлом письме я совершенно забыл отвечать тебе на вопрос о статуйке Фра-Беато[1634]. Погодин просил меня узнать о том, есть ли в маленьких статуйках всех знаменитых художников, сделанных Шваненталером, ста-

туйка Пинтуриккио, а не Фра-Беато, – и для тебя купить ее. Но после он смешал Фра-Беато с Пинтуриккио. Я еще не совершенно знаю, есть ли, потому что, живучи в Дахау, я не мог осведомиться.

Как я рад буду, если мы в феврале с тобою увидимся. Дай тебе господь успеха во всех твоих предприятиях и здоровья как можно больше. Обнимаю тебя душевно.

Твой *Шевырев*.

Гоголь – Шевыреву С. П., 9(21) сентября 1839

9 *(21) сентября 1839 г. Вена* [1635]

Вена. 21 сентября 1839 года.

Пишу к тебе на самом выезде[1636]. Благодарю за письмо, а за стихи вдвое. Прекрасно, полно, сильно! Перевод, каков должен быть на русском языке Данта. Это же еще первые твои песни, еще не совершенно расписался ты, а что будет дальше! Люби тебя бог за это, и тысячи тебе благословений за этот труд. Больше некогда сказать ничего. Пиши ко мне в Москву и пришли ко мне еще несколько листиков. Никому не покажу и сохраню их у се-

бя в портфеле. Прощай. Не забывай…

Твой *Гоголь*.

Гоголь – Шевыреву С. П., 3(15) августа 1842

3 *(15) августа 1842 г. Гаштейн* [1637]

Августа 15. Гастейн.

Пишу к тебе под влиянием самого живого о тебе воспоминанья. Во-первых, я был в Мюнхене[1638], вспомнил пребывание твое[1639], барона Моля, переписку нашу, серебряные облатки, смутившие спокойствие невозмущаемого городка Дахау. Потом в Гастейне у Языкова нашел я «Москвитянина» за прошлый год и перечел с жадностью все твои рецензии и критики – это доставило мне много наслаждений и родило весьма сильную просьбу, которую, может быть, ты уже предчувствуешь. Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора «Мертвых душ». Кроме тебя, вряд ли кто другой может правдиво и как следует оценить их. Тут есть над чем потрудиться; поприще двойственное. Во-первых, определить и дать значение сочинению, вследствие твоего собственного эстетическо-

го мерила, и потом рассмотреть впечатления, произведенные им на массу публики, дать им поверку и указать причины таких впечатлений. (Первые впечатления, я думаю, должны быть неприятны, по крайней <мере> мне так кажется уже вследствие самого сюжета, а все то, что относится к достоинству творчества, все то не видится вначале.) Притом тут тебе более, нежели где-либо, предстоит полная свобода. Узы дружбы нашей таковы, что мы можем прямо в глаза указать друг другу наши собственные недостатки, не опасаясь затронуть какой-нибудь щекотливой и самолюбивой струны. Во имя нашей дружбы, во имя правды, которой нет ничего святее в мире, и во имя твоего же душевного, верного чувства, я прошу тебя быть как можно строже. Чем более отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя услуга. Я знаю, есть в любящем нас человеке нежная внутренняя осторожность пройти мимо того, что кажется слишком чувствительно и щекотливо. Я вспомнил, что в некотором отношении я подал даже, может быть, сам повод думать друзьям моим обо мне как о самолю-

бивом человеке. Может быть, даже самые кое-какие лирические порывы в «Мертвых душах»... Но в сторону все это, верь в эту минуту словам моим: нет, может быть, в целой России человека, так жадного узнать все свои пороки и недостатки! Я это говорю в сердечном полном излиянии, и нет лжи в моем сердце. Есть еще старое поверье, что пред публикою нужно более скрыть, чем выставить слабые стороны, что это охлаждает читателей, отгоняет покупателей. Это неправда. Голос благородного беспристрастия долговечней и доходит равно во все души. Если же уменьшится чрез то тридцать, сорок или сотня покупателей, то это еще не беда, это временное дело и вознаградится с барышом впоследствии. Еще: будь так добр и вели тиснуть один экземпляр (если будет критика печататься в «Москвитянине») отдельно на листках потонее, чтобы можно было всю критику прислать мне прямо в письме; если не уместится в одном, можно разместить на два, на три и дать часть другим, которые будут писать ко мне письма. Прощай! Целую тебя поцелуем души. В нем много любви, а любовь

развивается и растет вечно. Передай мой душевный поклон Софье Борисовне и поцелуй Бориса[1640]. Если будешь писать скоро после получения письма моего, то адресуй в Венецию, но вернее прямо в Рим. Я вспомнил насчет распределения уплаты моих долгов[1641]: может быть, никто не захочет получить первый, отговариваясь, что ему не так нужно. И потому вот непременный порядок. Погодину полторы тысячи, я полагаю, заплачено. Затем следует заплатить Свербееву, потом неизвестному[1642]; кому именно, не знаю. Аксаков мне не сказал, потом Павлову. Потом Хомякову, а вторая серия как следует по писаному[1643]. Этот порядок ни на чем не основан, даже не на алфавите, а просто зажмуря глаза, и потому каждый не может отказываться.

Языков тебе кланяется.

Гоголь – Шевыреву С. П., 31 октября (12 ноября) 1842

31 *октября (12 ноября) 1842 г. Рим* [1644]

Рим. Ноябрь.

Благодарю тебя много-много за твои обе статьи[1645], которые я получил в исправно-

сти от княгини Волконской, хотя несколько поздно. В обеих статьях твоих, кроме большого их достоинства и значения для нашей публики, есть очень много полезного собственно для меня. Замечание твое о неполноте комического взгляда[1646], берущего только вполобхвата предмет, могло быть сделано только глубоким критиком-созерцателем. Замечания об излишестве моей расточительности[1647] тоже большая правда. Мне бы очень хотелось, чтоб ты на одном экземпляре заметил на полях карандашом все те места, которые отданы даром читателю или, лучше сказать, навязаны на него без всякой просьбы с его стороны. Это мне очень нужно, хотя я уже и сам много кое-чего вижу, чего не видал прежде, но человек требует всякой помощи от других, и только после указаний, которые нам сделают другие, мы видим яснее собственные грехи. Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критик, всеобщего шума и разноголосья, мне всегда

ясней предстает мое творенье. А ты сам, я думаю, чувствуешь, что, не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву со всякой дряни. Но какую же пользу может принесть мне критика, подобная твоей, где дышит такая чистая любовь к искусству и где я вижу столько душевной любви ко мне, ты можешь судить сам. Я много освежился душой по прочтенье твоих статей и ощутил в себе прибавившуюся силу. Я жалел только, что ты вровень с достоинствами сочинения не обнажил побольше его недостатков. У нас никто не поверит, если я скажу, что мне хочется, и душа моя даже требует, чтобы меня более охуждали, чем хвалили, но художник-критик должен понять художника-писателя. Прощай, обнимаю тебя много раз. Пожалуйста, присылай мне все критики, которые случится написать обо мне, прямо по почте, не затрудняйся тем, что письмо будет толсто и придется много платить за него. Я готов вчетверо заплатить, и все еще буду в барышах. Прокоповичу я послал все,

что следует, и потому нет никаких препятствий к скорому выходу моих сочинений. Уведомь меня, когда они получатся в Москву. Узнай также от Аксакова, Сергея Тимофеевича, высланы ли деньги мне в Рим и каким путем посланы они. Меня очень изумляет, что их до сих пор здесь нет, тем более что Сергей Тимофеевич хотел послать их даже раньше того срока, к которому я просил. Я просил его выслать в Рим к первому октябрю, а теперь уже, слава богу, 10-е ноября. Языков тебе кланяется. Адресуй: Via Felice, № 126, 3 piano.

Передай Софье Борисовне, вместе с самым искренним и душевным поклоном моим, множество благодарностей за великодушное участие ее в хозяйственных делах по части «Мертвых душ».

Гоголь – Шевыреву С. П., 18 февраля (2 марта) 1843

18 *февраля (2 марта) 1843 г. Рим* [1648]

Марта 2. Рим.

На прошлой неделе отправил я к тебе письмо[1649], которое, я думаю, ты уже получил, иначе мне было бы слишком жаль, пото-

му что оно мне стоило большого труда. О, как трудно мне изъяснять что-либо, относящееся ко мне. Много есть безмолвных вопросов, которые ждут ответов, и <я> не в силах отвечать. Как тягостно во время внутренней работы удовлетворять ответами проходящих, хотя бы близких душе. Представь архитектора, строящего здание, которое все загромождено и заставлено у него лесом, чего стоит ему снимать леса и показывать неконченную работу, как будто бы кирпич вчерне и первое пришедшее в голову слово в силах рассказать о фасаде, который еще в голове архитектора. А между тем уже утрачена часть времени, и странным охлажденьем объята голова строителя. Скажу тебе, что иногда мне очень были тяжелы безмолвные и гласные упреки в скрытности, которая вся происходила от бессилия сил моих объяснить многое... но я молчал. Зато какую глубокую радость слышала душа моя, когда мимо слов моих, мимо меня самого, узнавали меня глубиною чувств своих... Не могу и не в силах я тебе изъяснить этого чувства, скажу только, что за ним всегда следовала молитва, молитва, полная глу-

боких благодарностей богу, молитва вся из слез. И виновником их не раз был ты. И не столько самое проразуменье твое сил моих как художника, которые ты взвесил эстетическим чутьем своим, как совпаденье душою, предслышанье и предчувствие того, что слышит душа моя... Выше такого чувства я не знаю, его произвел ты. Следы этого везде слышны во 2-й статье твоего разбора «Мертвых душ», который я уже прочел несколько раз. Но еще сильнее это чувство было возбуждено чтением твоей статьи об отношении семейного воспитания к государственному[1650]. Ты, без сомнения, и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много, много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выйдет продолжение «Мертвых душ», тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись, никогда не говоря и не рассуждая друг с другом. Встреча в чистом начале есть выше всех встреч на земле. Дружба, почувствованная там, вечна, и если б мы, вместо стремлений сторонних, стремлений даже друг к другу, все устремились к богу, мы бы все встретились друг с другом. Души на-

ши, как души младенцев, стали бы нам открыты и ясны во всем друг другу, все исчезли бы недоразумения, ибо недоразуменья от человека, и только одной помощью бога узнать мы можем истину. Вот что я хотел сказать тебе и для чего пишу письмо это. Прощай! не забывай меня. Пиши хоть даже только два слова, хоть самых торопливых и ежедневных слова, но непременно пиши. Это мне очень нужно. Меня никак не следует забывать во все это время. Еще хочу тебя попросить об одном: родственник мой Данилевский, которого ты отчасти знаешь, будет в Москву. Положение его требует участия. По смерти матери своей он остался без куска хлеба, по разделу ему досталась такая малость, которая даже не достала на заплату долгов. Нельзя ли как-нибудь общими силами помочь ему, поместить его к кн. Дмитрию Владимировичу[1651] на какое-нибудь место с жалованьем? У него есть способности, которые не употреблены вовсе в дело. Кроме того, что у него прекрасная душа и сердце, он умен. В школе у него показывались искры таланта, но при вступлении в свет и на поприще службы преследо-

вали его до сих пор неудачи, и доныне не попал на дорогу. В свободное время он бы даже мог поработать и для «Москвитянина». Языков теперь только принялся за перо, а потому ничего не посылает, но как только будет что-нибудь готово – сейчас вышлет.

Твой *Гоголь*.

Шевырев С. П. – Гоголю, 26–29 марта 1843

26*–29 марта 1843 г. Москва* [1652]

Москва. 1843. Марта 26.

Оба письма твои[1653], любезный друг, я получил и благодарю тебя за них. Мне так много надобно говорить с тобою, что затрудняюсь, с чего начать. Сначала о делах внешних житейских, но и здесь нужны подразделения. Буду сначала говорить о том, что сделано, далее о настоящем и потом о будущем. Итак, начнем с прошедшего. Ты просишь у меня откровенных объяснений в том, что я разумел под словами «ты плохо распорядился»[1654]. Но теперь, я думаю, объяснения эти тебе не нужны, потому что недостатки их перед тобою выяснились. Ты сам сознаешься в

неумении распоряжаться делами житейскими. Ты сам обращаешься и отдаешь себя в руки московских друзей своих, в которых, конечно, сомневаться не можешь; зачем же ты не сделал этого ранее и не вверил нам всего себя со всеми твоими делами? Ты мог предчувствовать, что это сделаешь позднее. Но и теперь, как увидишь, это еще не потеряно. Сочинения свои, по моему мнению, ты должен был печатать здесь. Цензура, одно препятствие, не помешала бы, потому что мы с Никитенком сносились бы и отсюда. Печатание тебе обошлось бы гораздо дешевле. Ты не очутился бы в руках скверной типографии, которая владеет теперь твоею собственностью и связывает руки Прокоповичу и нам всем, друзьям твоим. Уж много вреда нанесено первой распродаже экземпляров тем, что упущено было время и в течение 1-го месяца здесь книг не было, несмотря на огромные требования публики. Мы нашли бы средства напечатать тебя здесь, точно так, как нашли средства отправить тебя в Рим, когда тебе это было нужно. Теперь же ты поставил себя в зависимость от таких людей, которые в тебе ни-

какого участия не принимают и смотрят на твои сочинения как на вещь, из которой хотели бы извлечь самую бóльшую прибыль. В благородстве и дружбе к тебе Прокоповича я совершенно уверен, но он сам связан типографиею, которой фактор обманул его отсылкою экземпляров в Москву. Отныне ты навсегда должен убедиться, что интересы твои все должны быть здесь, на руках у друзей твоих. Не думай никак, чтобы ты нас обременил ими. Мы ли для тебя не пожертвуем времени и всего, что тебе нужно?

Но довольно журить тебя за прошедшее. Теперь поговорим о настоящем. Оно совсем не так дурно, как ты воображаешь. Скажу даже более: ты сам не знаешь ни себе цены, ни своим сочинениям. Ты совершенно забываешь, что сочинения твои такой капитал, которым ты можешь и себя, и заимодавцев своих обеспечивать, как капиталист, и нечего тебе просить ни у кого. Умей только распоряжаться ими и доверяй интересы свои в руки тех друзей, для которых спокойствие твое и каждая копейка твоей собственности дороги, как их собственные, если еще не более. Сочине-

ния, теперь тобою изданные, могут непременно обеспечить тебя на все три года, как ты желаешь, и тебе нечего о том думать. Но для этого надобно перевести главное управление дел твоих из Петербурга сюда. «Мертвые души» все разошлись до последнего экземпляра, который я оставил для тебя. Счет всему подробный пришлю тебе[1655], когда узнаю верно, где ты будешь на лето. Из последней суммы, мною полученной, надобно доплатить долг Погодину, а остальное пойдет в часть уплаты нового долга Аксакову, пославшему тебе 3500 р.; прежний же долг весь ему заплачен, равно как и всем другим. Надобно приниматься за новое издание первого тома. Но ты должен перечесть его, а мы должны тебе переслать экземпляр с нашими отметками, но куда переслать? – напиши. Сначала думали мы было, что новое издание первого тома должно выйти вместе со вторым, но теперь рассудили иначе. Если все разошлось и публика, стало быть, требует, то надобно удовлетворить ее желанию. Ускорение дела здесь было бы хорошо, потому что голос публики покрывает голоса врагов твоих. Сочинения идут не так

быстро, но потому, что первое время было упущено, и потому, что проценты стеснительны для книгопродавцев, которые у нас люди безденежные, а из десяти процентов не хотят беспокоиться. Но книги пойдут. До сих пор выручаемые деньги я отправляю к Прокоповичу для уплаты типографии. Он обещает прислать мне после уплаты 800 экземпляров. Пусть присылает и больше. Этими экземплярами обеспечится совершенно та трехлетняя сумма, которой ты требуешь[1656], и тебе нечего будет просить ни у кого. Наше дело будет только заботиться о распродаже и высылать тебе денежки. Итак, ты видишь, что устроение дел твоих зависит теперь отсюда. Поторопи же Прокоповича высылать сюда все, что можно, и вырвать твою собственность из рук типографии, которой я очень опасаюсь в этом деле. Прокопович сам сознается, что фактор такой плут, какого он еще не встречал в жизни. Ты видишь, что настоящее твое не так дурно, как ты воображаешь: все зависит от скорейшей разделки с типографиею и от устроения дел твоих здесь у нас. Что касается до будущего, то оно во всяком случае

должно быть светло, потому что друзья твои тут и не оставят тебя, что бы ни случилось. Трое, к которым обратил ты письмо, выбраны прекрасно. Погодин бывает строг к тебе, Аксаков готов всегда баловать тебя, я буду занимать середину. Контора твоих изданий будет у меня. Все счеты также. Не думай, что ты меня тем обременяешь. Могу ли я для тебя этого не сделать? Деньги на первый случай посланы к тебе были Аксаковым. Теперь я буду ему выплачивать. Распоряжения будущие все сделаются по получении экземпляров от Прокоповича, и ты будешь о том уведомлен; но ни в каком случае ты беспокоиться не должен.

Довольно о делах житейских. Теперь об литературе. Сочинения твои возбудили всеобщее удовольствие. Здесь нет разногласий. Все мнения сходятся. Я еще все собирался благодарить тебя за впечатление, которое произвели на меня «Игроки»[1657]. Это чудное и полное создание. Пиеса так была превосходно разыграна, как еще не была ни одна на московском театре. Тому содействовали первый С. Т. Аксаков превосходным чтением пиесы, второй М. С. Щепкин. Публика приняла эту

пиесу соответственно ее достоинству, и мне никогда еще не случалось видеть в театре, чтобы искусство достигало художественным путем такой полноты своего действия, как достигло оно тут. Для меня это было полное наслаждение. Я видел, что и публика наша в состоянии понять искусство и что она имеет в тебе великого художника. «Женитьба» имела успех также, но я нахожу, что распределение ролей в этой пиесе было неудачно[1658].

Из сочинений твоих я прочел все новое и изумляюсь во всем твоему чудному росту. Из переделанных пиес прочтенное не менее изумило меня[1659]. Жду свободной минуты, чтобы изучить тебя вполне и написать всему разбор полный и подробный[1660]. Ты не поверишь, как мое время все уходит по мелочам в занятиях непрерывных, которые трудно привесть к единству. Не сетуй за то, что опоздал и ответом на письмо. Право, не воля виновата, а судьба, слишком мотающая меня во все стороны.

Благодарю тебя от искренности души за второе письмо твое. Сладко мне было твое сочувствие к моей речи, которая была написана

от полноты души и в которой многое снизошло, может быть, оттуда, откуда все лучшее на земле неполной нисходит. В душе моей много зачинается новых мыслей, мыслей из нового периода бытия моего, но все они требуют уединения для своего развития. Трехмесячная болезнь моя принесла мне много пользы. Во время болезни я прочел и «Портрет», тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта. Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою назло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела. Не остывай в деле своем; не охлаждайся. Помни, что велико твое призвание в России. Я уверен, что придет к тебе такое время, когда произведения твои будут выливаться во всей полноте и целости из твоего духа – скоро и отчетливо. Ты созреешь до этой полноты непременно. Все ведет тебя к ней. Обнимаю и целую тебя много раз. Жена и сын мой тебе кланяются. Пожми руку Языкову.

Твой *С. Шевырев*.

Марта 29 с. с. 1843. Москва.

Гоголь – Шевыреву С. П., 20 августа (1 сентября) 1843

20 *августа (1 сентября) 1843 г. Дюссельдорф* [1661]

1843. Дюссельдорф. 1 сентября.

Вышли, пожалуста, остальную тысячу за прошлый год[1662], и если есть деньги, то вперед за текущий сколько-нибудь, ибо 1-го октября срок. Адресуй в Дюссельдорф, на имя Жуковского. Я получил разные критики от петербург<ских> журналов на «Мертвые души». Замечательнее всех в «Современнике»[1663]. Отзыв Полевого[1664] в своем роде отчасти замечателен. Сенковского[1665], к сожалению, не имею и до сих пор не мог достать, как ни старался. А вообще, я нахожу, что нет средины между благосклонностью и неблагосклонностью. Белинский смешон. А всего лучше замечание его о «Риме». Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский[1666]. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Па-

риж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя поначалу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность. Жажду я очень читать твои статьи. Я уже две посылки с книгами получил из Москвы, а твоих статей нет. К Сергею Тимофеевичу я писал, чтобы он прислал весь «Москвитянин» за текущий год. Заглавие статей меня очень завлекло, они все о тех предметах, о которых мне хочется знать, присоедини туда свою статью о воспитании... Не позабывай, пожалуйста, Языкова и бывай у него. Ввечеру, верно, у тебя найдется несколько минут свободных. Затем обнимаю тебя. Прощай!

Твой *Гоголь*.

Передай письмо Языкову.

Гоголь – Аксакову С. Т., Погодину М. П., Шевыреву С. П., январь 1844

Январь 1844 г. Ницца [1667]

Генварь, 1844-го г. Ница.

Поздравляю вас с новым годом, друзья мои, и от всего сердца желаю вам спокойствия душевного, т. е. лучшего, чего мы должны желать друг другу. Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервически-душевная тоска; она долженствует быть потом еще сильнее. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет: не пренебрегите им. Он исшел прямо из душевного опыта, испытан и сопровожден сильным к вам участием. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе, проживите этот час внутренною, сосредоточенною в себе жизнию. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам «Подражание Христу»[1668], не потому, чтобы не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребле-

ние, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая бы была лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика, разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Переворотите на все стороны прочитанное с тем, чтобы наконец добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам, именно в том кругу, среди которого вы обращаетесь, в тех именно обстоятельствах, среди которых вы находитесь. Отдалите от себя мысль, что многое тут находящееся относится к монашеской или иной жизни. Если вам так покажется, то значит, что вы еще далеки от настоящего смысла и видите только буквы. Старайтесь проникнуть, как может все это быть применено именно к жизни, среди светского шума и всех тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не пременяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое. Если даже вы и не увидите скоро от этого

пользы, если чрез это остальная часть дня вашего и не сделается покойнее и лучше, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно и с возрастающею силою будем посылать из груди нашей постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь! Прощайте.

Ваш *Г.*

Шевырев С. П. – Гоголю, 15 ноября 1844

15 *ноября 1844 г. Москва* [1669]

Ноября 15/27 1844. Москва.

Сегодня получил я письмо твое, любезный друг, от 12 ноября н<ового> с<тиля>[1670] и сегодня же отвечаю. Бог лучше нас с тобою заботится об исправлении недостатков Погодина, если какие он имеет, потому что послал на него такие два несчастия, которые трудно перенести человеку. Видно, неизвестно тебе даже и первое, потому что на несчастного не сердятся; второе же еще так свежо и недавне, что не могло дойти до тебя. В маие месяце соскочил он с дрожек, у которых сломалась ось, и переломил себе ногу. Два месяца вылежал он терпеливо и еще до сих пор не возвратил

свободного употребления ноги, а ходит теперь на костылях. Не успел еще оправиться он от этого несчастия, как посетило его другое, еще ужаснее. Добрая, незабвенная Елизавета Васильевна[1671], после шестинедельной жестокой болезни, которая состояла почти в беспрерывной тошноте и рвоте, кончила жизнь. Погодин, бедный, убит горем. Четверо сирот около него без матери. Дом опустел без жены, которая была кротким ангелом всего семейства. Нам ли исправлять его, друг, если бог взялся за это? Нам ли тут что говорить?

Сегодня 10-й день смерти Елизаветы Васильевны. Ты догадаешься, что письмо твое пришло некстати; но ты, конечно, и не мог вообразить того. Ты поймешь, что пройдет еще много времени, пока я буду в силах заговорить ему о твоем портрете. Но сначала об нем самом и его исправлении и исправлении друг друга вообще. Я не знаю, с чего ты взял, что Погодин остался не узнан другими и разорвал связи с лучшими своими друзьями. Во время первого несчастия его вся Москва съезжалась к нему на Девичье поле, и тут-то мне

приятно было видеть, как все, несмотря на его недостатки, единодушно любят его и принимают в нем живое, искреннее участие. Тут были все: и знатные, и ученые, и купцы, и ремесленники – все, все без исключения. Об нем сожалел весь город вкупе. Второе его несчастие соединило также всех около него. Память жены его свята была для всех, а ему сострадали все искренно. В таких несчастиях всего более узнается мнение, которое имеют об человеке. Погодин имел неприятности с друзьями – правда, но с такими, которые имели их с другими. Погодин не разорвал связи ни с кем, тогда как другие, его обвиняющие, разорвали ее со многими из прежних друзей своих. Он неряха в изданиях своих; ему это говорили несколько раз; но тем он вредит только самому себе, и сам это верно знает.

Ты собираешься исправлять его и мне поручаешь сделать это предварительно. Прекрасны мысли твои о взаимном исправлении, которым мы обязаны друг другу и о христианской обязанности нашей стремиться к совершенствованию. Но позволь мне прибавить к этому несколько собственных раз-

мышлений. Чтобы исправлять другого, надобно приобрести на то право исправлением самого себя, и если берешься за это, то браться за это в минуту самую спокойную, в минуту самой сильной любви к человеку, а не в такую, когда на него хотя за что-нибудь сердишься. Тогда исправление пойдет впрок: иначе оно будет похоже на осуждение. Мне кажется, что ты в оба раза поступил так, когда брался исправлять Погодина. Первое письмо[1672] написал ты к нему в ответ на письмо, которое тебя рассердило, и теперь второе пишешь также в ту минуту, когда еще сильно сердишься на него за портрет.

Теперь об этом портрете. Я решительно не понимаю, за что ты тут рассердился. В шутку скажу тебе, что твое кокетство (если ты его имеешь) могло быть оскорблено, потому что портрет не хорош, хотя и имеет сходство; но в натуре, без комплиментов, ты лучше, чем на портрете. Что же касается до самого действия Погодина, – я, право, не понимаю: что тут оскорбительного? Журналист хочет украсить свой журнал портретом писателя, любимого публикою. Это его выгода. Конечно, лучше б

было спроситься. Но чем же обидел он твое смирение или твое самолюбие? Смирение твое не может страдать от этого, потому что славу свою ты не утаишь же от России, которая признает ее. Самолюбие могло бы оскорбиться только тем, что портрет не хорош; но если государь Николай Павлович не сердится на свои дурные портреты, то зачем же оскорбляться твоему литературному величеству? Никто, конечно, не оподозрит в том ни тебя, ни Погодина, что вы по взаимному согласию это сделали. Остается отнятие собственности, но, конечно, ты за тем и не подумаешь гнаться. Растолкуй мне, сделай милость, в чем тут эта горькая неприятность, эта страшная история? Я решительно не понимаю. Никто здесь и не обратил внимания на это; никто не шумел: ни друзья твои, ни литераторы, ни публика, – и первый шум из этого дела подымаешь ты. Один студент, правда, просил меня подарить ему твой портрет особо, потому что он желал украсить им свою комнату. Другие студенты вырвали портрет из того экз<емпляра> «Москвитянина», который они читают. Вот все, что об этом деле мне известно, и из

этого ты видишь только, что портрету твоему, даже и не так удачному, радо молодое поколение, тебе вполне сочувствующее. Каким же образом могло это обстоятельство произвести значительное изменение в твоих работах и во времени выхода в свет труда твоего, – этого я уж никак и понять не могу.

Книги твои здесь вовсе не расходятся[1673]. Тысячу экземпляров я получил от Прокоповича, но они лежат целехоньки. Книгопродавцы говорят, что им выгоднее продавать в Петербурге, потому что уступается более процентов. Не понимаю, каким же образом Прокопович не только денег к тебе не присылает, но даже и не пишет к тебе? Ведь вот не хочешь же ты сознаться, что ты дурно сделал, доверив все это дело в Петербурге таким людям, которые не стоили твоей доверенности. Ты предпочел их твоим московским друзьям и вверил твои самые значительные интересы людям, почти тебе чужим. Ты боялся кого здесь? Погодина; но стоило тебе сказать Аксакову и мне: «Берегите мою собственность и печатайте только особо, а в журнал не давайте», и твое слово было бы свято соблюдено.

Чего ты боялся? Совершенно пренебрегать таким делом ты опять не можешь, потому что оно ставит тебя в положение очень затруднительное: я это вижу.

Ни Аксакову, ни Языкову я еще заплатить не мог ни гроша. Денег в кассе твоих 300 р. Базунов хотел прислать за 10-ю экз<емплярами>. На днях надеюсь сколотить тебе тысячу рублей асс<игнациями>, с своими, и прислать тебе.

Я боюсь, что некоторые подробности письма моего будут тебе неприятны. Но надо было их высказать. Всего грустнее для меня будет, если они отнимут у тебя хотя немного времени от труда твоего. Заключу несколькими литературными известиями. Первое грустное. Мы лишились Ивана Андреевича Крылова. Верно, эта весть уже дошла до вас. «Москвитянин» переходит от Погодина к Киреевскому Ивану Васильевичу, который с нового года будет его полным издателем[1674]. Тебя вся братия приглашает к посильному участию, если это только не расстроит тебя ни в каких твоих занятиях. Затевается другой журнал в Москве – «Московское обозрение», партиею

немецкой или, лучше, варяжской стороны[1675]. Но явится ли к новому году, неизвестно. Я открываю публичный курс истории русской словесности с 25-го ноября. Древняя будет читана подробнее, новая короче. «Москвитянин» я постараюсь переслать тебе через книгопродавца Северина – как 43-й, так и 44-й год. Поклонись от меня душевно В. А. Жуковскому. Мельгунов мне писал о осьми песнях «Одиссеи». С каким нетерпением я их ожидаю! «Наль и Дамаянти»[1676] служила мне единственным отдыхом в нашей тяжкой современной литературе. Это и благовонно, и сладко. Собирался написать разбор, но отвлекли другие занятия. Изучению Василия Андреевича я посвятил недавно несколько времени, потому что он взойдет в мои лекции; но мне недостает совершенно биографических известий о всем их поколении. Вигель один обещает записки; но это еще далекое будущее. Боюсь обременять своими просьбами и быть нескромным. Верю, что память всего этого прекрасного прошедшего сохранится, но не скрою, что хотелось бы мне знать его, потому что я сознаю же в себе способность

ему совершенно сочувствовать. Я намерен написать непременно подробную историю нашей словесности от начала до конца. После публичных лекций примусь за труд письменный.

Письмо твое к Е. Г. Чертковой я доставил[1677]. Не сказал еще ни слова тебе о семейной моей радости. Бог дал мне дочку Катеньку. Давнишнее мое желание исполнилось. Жена сама кормит. Она тебе кланяется и благодарит тебя за воспоминание. Обнимаю тебя. Не сердись на меня за это письмо. Борис тебе кланяется и целует тебя. Твой всею душою *С. Шевырев*.

Гоголь – Шевыреву С. П., 2(14) декабря 1844

2 *(14) декабря 1844 г. Франкфурт* [1678]

14 декабря. Франкфурт.

Друг, прости за глупое письмо мое. Я понимаю, как оно было некстати и как было оскорбительно твоему сердцу читать его. Несчастие Погодина меня бы поразило сильно, если б я не был уверен, что несчастий нет для христианина. Я напишу ему с своей стороны в

утешение то, что в силах будет мое бессилие написать ему. Друг, не от портрета, я сказал, замедление моих сочинений, но от тех душевных внутренних моих событий, к совершению которых во мне послужили странным образом видимые ничтожные дела и вещи, последним хвостиком которых был портрет. Но да будет благословен бог! скажем прежде всего: все, что ни произошло в душе моей, все, что ни выстрадалось в ней в тишине и в сокрытии от других, выстрадалось для добра и для того, чтобы я действительно был в возможности быть полезну другим. Друг, не осуждай меня также за это излишнее кокетство, как тебе кажется, или какую-то кропотливую мелочь относительно всякого рода появлений моих в свете. Они истекают не из того источника, которому ты приписываешь. И прежде, даже в минуты большей самонадеянности и уверенности в себе, я и тогда чувствовал, что тому, кто может иметь влияние на других и, говоря вообще, на свет, тому слишком нужно опасаться выходить в свет с своими недостатками и несовершенствами. Люди так умеют смешать вместе хорошее с дурным,

что в том человеке, в котором заметили они два-три хороших качества (особенно если эти качества еще картинны), им кажется все хорошим. От этого даже гении производили вред вместо пользы. Преждевременное издание моих сочинений принесло существенную пользу только одному мне, именно потому, что с ним соединились такие внутренние события, происшедшие от всей этой бестолковой путаницы, что ужас меня объемлет при одной мысли: что бы я был без этих событий? Друг мой, многого я не умею объяснить, да и для того, чтобы объяснить что-нибудь, нужно мне подымать из глубины души такую историю, что не впишешь ее на многих страницах. А потому по тем же самым причинам и не может быть понятно другому, почему мне так неприятно публикование моего портрета. Одни могут отнести к излишнему смиренію, другие к капризу, третьи к тому, что у чудака все безотчетно и во всяком действии должен быть виден оригинал. Не скрою даже и того, что помещенье моего портрета именно в таком виде, то есть налитографированного с того портрета, который дан мною Погодину,

увеличило еще более неприятность. Там я изображен, как был в своей берлоге назад тому несколько лет. Я отдал этот портрет Погодину как другу, по усиленной его просьбе, думая, что он в самом деле ему дорог как другу, и никак не подозревая, чтобы он опубликовал меня. Рассуди сам, полезно ли выставить меня в свет неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами? Разве ты сам не знаешь, какое всему этому дают значение? Но не для себя мне прискорбно, что выставили меня забулдыгой. Но, друг мой, ведь я знал, что меня будут выдирать из журналов. Поверь мне, молодежь глупа. У многих из них бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже. Достоинств самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всего будут подражать мне в пустых и глупых вещах.

Друг мой, ты профессор, тебе бы следовало

это прежде всего смекнуть. Нельзя пренебрегать совершенно мелочами: от мелочей многое зависит немелочное. И мне кажется, что тебе особенно надобно позаботиться ныне о том, чтобы не допускать в молодых людях образоваться какой-нибудь личной привязанности к людям, такая привязанность всегда переходит в пристрастие. Но если вместо того мы чаще будем изображать им настоящий образец человека, который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир и перед которым побледнеют сами собою даже лучшие из нас или еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о нем, о совершеннейшем, но заключим его сами в душе своей, усвоим его себе, внесем его во все наши движения и даже во всякий литературный шаг наш, не упоминая нигде о нем, но употребив его мысленным мерилом всего, о чем бы ни случилось говорить нам, и под таким уже образовавшимся в нас углом станем брать всякий предмет и всякого человека, великого или малого, простого или литератора, – все выйдет у нас само собою беспристрастно, все будет равно доступно всем, как

бы эти все ни были противуположны нам по образу своих поступков и мыслей. Не нужно даже бывает и говорить: «Я скажу вам в таком-то духе». Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова. За тобою есть так же, как и за всеми нами, этот грешок. Ты несколько пристрастен. Я перечитал теперь все твои критики в «Москвитянине» за 1843, который выписал на днях из Лейпциха[1679]. О достоинствах не стану и говорить: там их слишком много; но черты пристрастия кое-где сквозят, иногда даже и часто. Особенно мне показалось их много там, где говоришь ты о моих сочинениях. Иногда видно как бы напряженное усилие увидеть больше достоинств, чем есть. Я очень знаю, что я сам виноват и многими довольно неуместными и напыщенными местами ввел в заблуждение и недоразумение всех: одних заставил их принять не в том смысле, других заставил подозревать тайно, что я большой охотник до фимиама. Говорить откровенно о себе я никогда никак не мог. В словах моих, равно как и в самих сочинениях, существовала всегда страшная неточность. Почти всяким откровенным

словом своим я производил недоразумение, и всякий раз раскаивался в том, что раскрывал рот. Я сам уже начинал чувствовать в себе то, что чувствует всякий человек, не получивший полного и совершенного воспитания, именно, что мне недоставало такта и верной средины в словах. Я чувствовал сам, что в каждом слове моем отзывается или что-то весьма похожее на высокомерие (которого в самом деле у меня не было в такой сильной степени, как казалось), или же смирение, которое показалось тоже всем излишним и выисканным и которого, впрочем, тоже у меня было немного. Говорю тебе это не только для того, чтобы сказать о себе, но также и для того, чтобы ты не рассердился на меня, если найдешь в письме моем что-то похожее на желание учить; или же лучше рассердись, потому что иногда человек только в сердцах высказывает правду. Это водится за нашим другом Погодиным, и, признаюсь, я иногда его нарочно сердил только затем, чтобы узнать, что он обо мне думает. А лучше всего не пренебрегай ничьим упреком и советом, но возьми из него все, что есть в нем правды, а

остальное швырни в глаза тому, кто тебе поднес его, как ненужные объедки. Если же человек этот близок тебе, как, например, я, то покажи ему, насколько в его упреке или совете есть высокомерия, насколько желания учить, насколько неприличия, словом – отдели все, что перешло меру. В другом это увидится сильней, чем в себе. А за это я тебе буду истинно благодарен. Но статья эта делается длинною... прекратим ее.

Поговорим еще раз, и уже в последний, о моих делах прозаических, по поводу собрания моих сочинений, путаниц от этого и прочее. Я очень хорошо знал всегда, что в деле этом один я виноват. И если я говорил вам не о себе, указывал на другое и на других, то вовсе не затем, чтобы оправдаться самому, но чтобы заставить вас поверить тому, что во всяком деле может быть слишком много сторон и таких неуловимых сопряженных с ним событий, что никак нельзя произнести над преступником совершенно суда, хотя бы все вокруг его уличало, до тех пор, покаместь он сам не принесет полного и совершенного признания. Мне хотелось, чтобы в вас посели-

лось сомнение, чтобы вы сколько-нибудь задумались над тем, как человек, по-видимому неглупый, сделал глупость и точно ли все это произошло от той недоверчивости, которую все вы предполагаете во мне в таком большом запасе. Но наконец нужно же дело решить. Концу следует все-таки быть, а потому оставим необъясненное так, как оно есть, необъясненным, а решим справедливо сколько можно то, что очевидно. Виноват во всем я, кроме всех прочих вин, я произвел всю эту путаницу и ералаш. Я смутил и взбаламутил всех, произвел во всех до единого чувство неудовольствия и, что всего хуже, поставил в неприятные положения людей, которые без того не имели бы, может быть, никогда друг против друга никаких неудовольствий.

Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самому себя, чем ожидать наказанья божьего. Я наказываю себя лишеньем денег, следуемых мне за выручку собрания моих сочинений. Лишенье это, впрочем, мне не стоит никакого пожертвования, потому что я не был бы спокоен, если бы употребил эти деньги в свою пользу. Всякий рубль и копей-

ка этих денег куплены неудовольствием, огорченьями и оскорблением многих, они бы тяготели на душе моей. А потому должны быть употреблены все на святое дело. Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но достойным студентам; достаться они должны им не даром, но за труд. Полное распоряжение и назначение труда принадлежит тебе. Что признаешь полезным ныне для всех перевесть на русский язык, заставь перевести, найдешь нужным задать собственное сочинение, задай. Сколько заплатить за труд и где его потом напечатать, в «Москвитянине» ли, или отдельно, или совсем не напечатать – все зависеть будет от твоих распоряжений и усмотрений. Что книга покаместь не продается, это не беда: я потом найду средство подтолкнуть и подвинуть ее продажу. Дело это должно остаться только между тобою и Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Ты мо-

жешь сказать им, что деньги от одного богатого человека или правительственного сановника, который хочет остаться в неизвестности. Никто из вас никому даже в своем доме, как бы он близок к нему ни был, не должен этого открывать никогда и ни в каком случае. На все расспросы других давайте один ответ, что деньги идут мне и я получаю их в исправности. Я также не должен узнать, кому, как и когда идут эти деньги. Отчет в них и ответ принадлежит богу. И потому смотреть на это дело как на святое и употребить с своей стороны все силы к тому, чтобы всякая копейка обратилась во благо. Настоящие благодеяния будут принадлежать вам; более всего тебе, потому что все здесь зависит от умных распоряжений. Пословица говорит: «Не штука дело, штука разум». Это вы прочитайте вместе с Аксаковым. И никаких против этого возражений или представлений! Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что воля друга должна быть священна, и на это мое требова-

ние, которое с тем вместе есть и моленье, и желанье, вы должны ответить только одним словом: Да. То же самое сделано в Петербурге[1680]. Там почти все экземпляры распроданы и деньги <собраны>, но я из них не беру ничего, и они все обращаются на такое же дело, с такими же условиями и вверяются также двум, Плетневу и Прокоповичу. Но ни вы им, ни они вам никогда не должны об этом напоминать, и, если бы даже вам случилось когда-нибудь потом с ними встретиться, об этом ни слова, никогда и ни в каком случае. А вас молю именем дружбы, именем бога истребить в себе всякое неудовольствие, какое только у вас осталось к кому бы то ни было по поводу этого дела. Мне вы должны простить также все, чем оскорбил. Без полного прощения всего и без восстановления мира в душе будет бесплодно всякое ваше благодеяние, которое вы потом сделаете. Погодин также не должен узнать об этом никогда; когда он позаботится вопросами обо мне, скажите, что деньги идут ко мне исправно и я ни в чем не имею нужды.

Вы обо мне также не заботьтесь. В течение

почти двух лет я не буду иметь никакой надобности в деньгах. Во-первых, мы устроились кое-как с Жуковским, а во-вторых, мне теперь гораздо нужно меньше, чем когда-либо прежде. Из разного множества результатов, извлеченных мною из этой истории, которая была бестолкова, открыл я между прочим и то, что человеку гораздо нужно менее, чем он думает. И как бы ему ни показалось, что он ограничил себя, а в сущности, выйдет, что и половины достаточно. Теперь мне смешно, когда подумаю, о чем хлопотал. Хорошо, что бог был милостив и всякий раз меня наказывал: в то время, когда я думал о своем обеспечении, никогда у меня не было денег; когда же не думал, тогда они всегда ко мне приходили, и я имел больше, чем нужно. Итак, ты видишь, что менее всех должен заботиться о деньгах я. Посему, если ты не посылал еще мне тех денег, о которых извещал в письме, то и не посылай, а отложи их к деньгам на дело святое; если же послал, то я буду держать их в запасе для себя, потому что не пересылать же их назад. Ни С. Т. Аксакову, ни Языкову не плати. Они мне подождут: так

нужно. Благодарю тебя за некоторые литературные подробности. О смерти Крылова мы узнали из немецких газет. Мир душе, исполнившей на земле чисто свое дело! Но, друг, утратами не следует сокрушаться. Покойники, уходя, велят ревностнее и спешней трудиться живущим. Жизнь наша так коротка, что даже и сокрушаться некогда. А потому и ты примись ревностно и свято за свое дело, но восстанови прежде всего мир в душе, прости все и всем. Поверь, без этого никакой труд и никакое дело не совершится успешно. Меня порадовало, что ты наконец принимаешься за подробную историю словесности нашей. Такой труд будет вполне велик. Не знаю только, каким образом добиться материалов от Жуковского о его времени. Журнала он не вел. А рассказать изустно – он даже не будет и знать, с которого конца начать, не зная, собственно, на какие вопросы отвечать. По мере того, как мне случится временами и вскользь что-нибудь узнавать, я тебе сообщу; но очень жаль, что ты не обобрал Тургенева[1681], когда он был в Москве. У него множество бумаг того времени, весь протокол арзамасских за-

седаний и множество стихов Жуковского, писанных в тогдашнее время, о которых никто, и даже сам Жуковский, не знает.

Киреевскому и всей братии отдай поклон, поздравление с новым годом и желание искреннее всяких успехов журналу. И скажи ему, что хотя я и не даю никакой статьи в «Москвитянин» по причине нищенства, но что Жуковский мною заставлен сделать для «Москвитянина» великое дело, которого, без хвастовства, побудителем и подстрекателем был я. Он вот уже четыре дни, бросив все дела свои и занятия, которых не прерывал никогда, работает без устали, и через два дни после моего письма «Москвитянин» получит капитальную вещь и славный подарок на новый год[1682]. А потому ты скажи, чтобы он не торопился выдачею книжки, дня два-три можно обождать. Жуковский хочет в первый номер, да и для «Москвитянина» это будет лучше. Стихотворение Жуковского, составляющее большую повесть с предисловиями и послесловиями, нужно пустить вперед других статей. Это ничего, если все уже отпечатано и нумерация страниц придется не по порядку.

Такое дело можно причислить к погрешностям типографическим, да на него никто внимания не обратит.

Пришли, пожалуйста, нам «Москвитянин» за 1844 исходящий год. Это сделать весьма легко таким же самым путем, как доставлены Погодиным русские книги лейпцигскому книгопродавцу. Ты, верно, знаешь имя того книгопродавца в Москве, который доставляет русские книги лейпцигскому. Ему и отдай с тем, чтобы лейпцигский книгопродавец отослал их тот же час к своему корреспонденту во Франкфурте, Югелю (Jugel) или же прямо на имя Жуковского. Если можешь к этому присовокупить две книжки «Молодика»[1683] за 1844 год, то обяжешь. За пересылку заплатится весьма охотно. Это не так дорого, а между тем верней и лучше, чем с оказией. Да не худо тебе прибавлять на адресе следующую припись: Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor, которую я тебе уже послал один раз. Здесь, к моему горю, завелось множество разных немецких Гоголей и один польский Жуковский, к которым весьма часто заходят наши письма. Душевно радуюсь

появлению на свет Катеньки, поздравляя с таким ее приездом и ее, и тебя, и Софию Борисовну, и самого Бориса и обнимая вас всех.

Напиши мне слово о Елизавете Григорьевне Чертковой. От нее никогда не дождешься никакого письма. Это я знаю, а потому и не жду. Что делает также Аксаков? и особенно уведоми меня о состоянии Погодина. Каков он сам, чем занимается и как идет у него все в доме? В конце письма ты пишешь не сердиться на твои слова и некоторые упреки. Но, друг, ведь эти слова и упреки правда, как же на них сердиться? за них следует благодарить. Как вы до сих пор меня мало знаете даже и с этой стороны! Вы все думаете, что я прикидываюсь. Если бы в письме твоем были самые жестокие слова и упреки, я бы принял их как подарок. Мне не нужно, чтобы они умягчались любовью или даже доброжелательством, мне нужны просто упреки, хотя бы они даже были и несправедливы. Это будет мое дело – разбирать, справедливы ли они или нет. Впрочем, вряд какие-нибудь упреки могут быть совершенно несправедливы или же беспричинны. Ну что, если я ко-

гда-нибудь обвиню в недоверчивости всех тех, которые обвиняют меня в недоверчивости, и докажу им, что все, ими принятое во мне за недоверчивость, произошло от недоверчивости ко мне и сомнения во мне? Будет и там тоже правда. Но обнимаю тебя. Извини, что пишу дурно и часто ошибаюсь. Говорят, что человек, который сам еще не устроился и воспитывается, имеет и самый почерк неутвердившийся.

Твой *Н. Гоголь*.

На письмо жду скорого ответа. И беспрекословно твердого: да!

Шевырев С. П. – Гоголю, 4 октября 1845

4 *октября 1845 г. Москва* [1684]

Любезный друг, давно я не писал к тебе – и сам не знаю почему. И еще бы молчание мое продлилось, но сейчас писал к Киреевскому в ответ на его грустное письмо. Он болен. У него болит сердце. Вдруг как-то сильно захотелось написать и к тебе. Ты также болен, как я слышал. Чем? – не знаю. Но, может быть, это болезнь твоя прежняя. Горько слышать и там

и тут о больных, и о каких же больных – которые мыслию своею и словом могли бы столько сеять добра на Русской земле. Неужели нет молитвы, которая бы вас исцелила? Неужели нет силы высшей, которая подняла бы и немощь духа вашего, и немощь тела? Есть она, есть она и всегда готова сойти на вас, да, видно, вы ее плохо призываете.

На твое большое письмо я не отвечал. Ты требовал решительного «да» на свое предложение. Я не мог тебе уступить насильно это «да» и вот почему не отвечал. Предложение твое о сумме, сбираемой с твоих сочинений, не могло быть мною исполнено по двум причинам. Первая – ты должен еще Аксакову. Книги продаются туго, и до сих пор еще не все ему заплачено. Между тем я знал, что Аксаковы нуждаются. Они даже на зиму переселились теперь в деревню по этой причине. Мне казалось несправедливым употреблять твои деньги на бедных студентов, когда еще не уплачен тобою долг человеку нуждающемуся. Языков – другое дело, конечно, подождет. Итак, вот первая причина. О другой говорить я теперь не стану, потому что лишнее, а пого-

ворю с тобою тогда, когда уничтожится первая. Для этого уведомь меня, как велика вся сумма, которую ты должен Аксакову. Со времени твоего отъезда я переплатил ему за тебя, как значится в твоей расходной книге, 5605 р. асс. Сколько еще остается заплатить, уведомь. Когда я расплачусь за тебя с Аксаковым, тогда примусь с тобою рассуждать о будущем назначении твоих денег. Пока же эта первая обязанность, тобою же на меня наложенная, не выполнена, о другом я говорить с тобою не буду, потому что не могу принять на себя исполнение такого дела, которое мне кажется противным справедливости.

Письмо твое, на которое отвечаю, так давно уже написано, что ты, предполагаю, забыл его содержание. Мне в нем особенно приятно теплое чувство дружбы, которым оно согрето, и порыв искренности, который в тебе я умею ценить. Несмотря на то, что это письмо было мне очень сладко, я не мог на него тотчас отвечать тебе. Ты сковал меня этим предложением, требованием «да» в том случае, когда я не мог дать его, и вот единственная причина, почему я не отвечал. Как я ни чувствовал, что

надобно писать к тебе, как ни говорило мне сердце – стояло тут это твое грозное «да», на которое я не хотел сказать вдруг «нет», и вот переписка была нарушена.

Скажу тебе о себе с того времени. Я докончил публичный курс свой хорошо[1685]. Много пережил я в это время. Он мне самому был полезен, не столько в ученом, сколько в духовном отношении. Теперь я занимаюсь тем, чтобы положить то на бумагу, что говорил устно. Лето мы проводили около Москвы, в Астафьеве. Я отдыхал от трудов и отчасти занимался курсом. Семья моя, слава богу, цветет. Катенька очень мила и нас утешает.

Погодин с честью и славой совершил дело, возложенное на него Симбирском. Он сказал похвальное слово Карамзину при открытии памятника[1686]. Теперь заботится о его редакции. Киреевский по болезни не мог продолжать, ко всеобщему сожалению, издание «Москвитянина», которого первые три номера были отличны. Он удалился в деревню. «Москвитянин» тянется теперь по-прежнему. Я занят большим своим делом[1687] и потому не могу в нем участвовать. Елизавета Григо-

рьевна[1688] ездила нынешним летом в Крым и до сих пор еще не возвратилась. Этой поездки требовало ее здоровье. Свербеева недавно родила сына Дмитрия. Хомяковы в деревне. Он приезжал сюда на несколько дней, с открытием славян на Кавказе в IV веке, и опять уехал до порош и снега. Аксаковы уехали в деревню, как я тебе уже говорил, и живут около Троицы, в 50 верстах от Москвы. Вероятно, вызовет их диссертация Константина, которая подана в факультет и теперь читается[1689]. Он должен будет ее печатать и защищать. Хороший и большой труд, но во многом он был жертвою странного брожения мыслей. В филологическом отношении тут много прекрасных вещей. Исторические взгляды и взгляды на народную жизнь и песню также весьма живые, светлые, новые. Но Гегель подпустил дыму, иногда и в мысль, а всего более в слог. Что делать? Я люблю душою Константина, несмотря на все его увлечения. Все в нем течет из такого чистого, прекрасного источника: душа сильная и благородная. Но фантазия преобладает в нем иногда и увлекает его туда, куда не следует. Тем

он вредит и прекрасным своим мыслям. Ты знаешь, что он решительно бородой и зипуном отгородил себя от общества и решился всем пожертвовать наряду[1690]. Диссертация заставит его одеться иначе, но это будет на время только, как он говорит. Его дело было бы изучать народный быт, язык, песни, предания, пословицы. Но Гегель до сих пор всему мешает. Немцы напустили такого туману в эту славную русскую голову, что она до сих пор от того болит. Иван Аксаков развивает талант поэтический необыкновенный. Его «Зимняя дорога» прекрасна и стихом и мыслию. По нашей печатной литературной степи промчался только «Тарантас» Соллогуба[1691], не без шума, но так скоро, что едва заметили. Интересы общественные сосредоточены около университета, который более и более привлекает внимание. Публичные лекции и диспуты у нас зрелища.

Молви словечко о себе. Будь здоров. Прощай. Обнимаю тебя. Жена и дети тебе кланяются.

Твой *С. Шевырев*.

Окт. 4. Москва. 1845.

Гоголь – Шевыреву С. П., 8(20) ноября 1845

8 *(20) ноября 1845 г. Рим* [1692]

Рим. Ноябрь 20.

Письмо твое от четвертого октября я получил уже в Риме, где теперь нахожусь. Бог еще раз спас меня, когда я уже думал, что приближается конец мой. Теперь мне несравненно лучше, хотя слабость и изнуренье сил еще не прошли. Письмо твое было мне приятно и с тем вместе грустно. Киреевский болен также. Ты говоришь: «Неужели нет молитвы, которая бы могла вас спасти?» – и отвечаешь: «Она есть, но вы плохо ее призываете». Один бог может знать, кто как молится. Но если определено его святой волей кому-нибудь из нас страдать, то да будет его святая воля! И если его святой воле угодно, чтобы моя жизнь или жизнь кого другого, которому бы следовало принести много добра на Руси, была снесена с лица земли, то, верно, это лучше, чем если бы она длилась, и не нашим малым умом судить об уме великом. Меня смутило

также известие твое о Константине Аксакове. Борода, зипун и проч. ... Он просто дурачится, а между тем дурачество это неминуемо должно было случиться. Этот человек болен избытком сил физических и нравственных; те и другие в нем накоплялись, не имея проходов извергаться. И в физическом и в нравственном отношении он остался девственник. Как в физическом, если человек, достигнув 30 лет, не женился, то делается болен, так и в нравст<венном>. Для него даже лучше <бы> было, если бы он в молодости своей, по примеру молодежи, ходил раз, другой в месяц к девкам. Но воздержанье во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком, так я думал с самого начала. Благодарю тебя за теперешнее известие о нем. Я напишу к нему[1693]: он от меня иногда выслушивал те горькие истины, которые от других не хотел выслушивать. Может быть, бог вразумит и меня дать совет ему, и его – извлечь из моего совета для себя полезное. Что же касается до диссертации его, то, еще не читая ее, советовал ему[1694] не подавать ее, да-

же уничтожить ее вовсе, напечатав из нее одни только отрывки как отдельные статьи. Известие твое о таланте Ивана Аксакова меня порадовало, и я пожалел, что ты не прислал мне его стихов.

Наконец я тебе сделаю упрек: ты заговорил о том предмете, о котором я просил во всю жизнь мою никогда мне не говорить. Ты позабыл содержание моего письма, говоря, что я требовал решительного «да» на мое предложение. Не предложение я послал к вам, но решение. Я просил только во имя дружбы выполненья моего решенья, моего обета, данного богу. Именем дружбы и всего святого просил я одного только «да». И не ожидал такого ответа. Нужно было хотя каплю веры или хотя тень доверия иметь ко мне. Без них не может существовать никаких отношений. Зачем же спешить так скоро заключеньем и называть мою просьбу нелепой и несправедливой, когда я слишком ясно, как здесь, так и в других местах, сказал, что половины причин моих я не могу сказать. Зачем же думать, что я лгу? Зачем потому только, что уму твоему показалось глупым, называть

глупым дело того человека, который все же не признан тобою за глупого человека? Зачем такая гордость и такая уверенность в уме своем, будто бы он обнял уже все стороны? Мне было горько, слишком горько все это. Знаю только то, что я бы не поступил так, и, если бы у меня потребовал кто святым именем дружбы выполнить то, чего выполнить требует сама душа его, и молил бы <об> этой просьбе, как молит умирающий о последнем своем желании, я бы выполнил ее, молясь только богу о том, как лучше и умней ее выполнить, и, если бы еще при этом потребовал он от меня веры к себе, и ради самого Христа потребовал бы веры к себе, никаким бы я не предавался тогда рассуждениям, и, хотя бы ум мой и признавал кое-что неблагоразумным, я бы выполнил эту просьбу, и выполнил бы ее честно, как святыню, моля бога только о том, чтобы помог он мне ее выполнить.

И к чему эти толки о том, что тому и тому нужно прежде уплачивать? Будто я уже ребенок и не взвесил ничего прежде! Во-первых, Аксаков (которому за уплаче<нными> тобою 5605 р. осталась безделица) не возьмет ни ко-

пейки из этих денег, если бы даже оставалась и не безделица, и, если бы он сам находился в несравненно затруднительнейшем состоянии, чем теперь, во-вторых... Но зачем об этом толковать, когда тут можно сказать еще в-третьих, четвертых, в-пятых и даже в-шестых? Довольно, если совесть меня не упрекает в моем поступке и если внутренний голос требует, чтобы я так поступил. Если ж тебе тяжело выполнить мою просьбу, сдай все дело Аксакову. Бог ему поможет выполнить ее. Но ради самого Христа, с этих пор мне ни слова об этом деле. Ответит мне Аксаков. Я еще не совсем освободился от моей болезни, а ответ твой сокрушил меня; а чтобы тебе сколько-нибудь было это понятно, скажу тебе только, что причиной самой болезни моей было отчасти душевное потрясение и сокрушенье, в котором сыграл также роль и бедный Погодин[1695], которому судьба наносить неумышленно горчайшие оскорбления всем тем, которые имеют или слишком нежную и чувствительную душу, или которых бог еще не укрепил достаточно для подобных битв. Но это да останется в тайне между нами; об этом

ни слова Аксакову и никогда – Погодину.

Теперь о тебе. Я прочел отрывок из нынешних твоих лекций, напечатанный в 1-ом номере нынешнего «Москвитянина», отрывок, служивший как бы проспектом и указанием на то, чем должны быть твои лекции[1696]. Прочитавши его, я благодарил бога, благословившего тебя. В этом отрывке ты вовсе другой, чем был доселе; в нем все полно и каждое слово полновесно. Слышен человек, созревший и разумом и душой, и сам дух божественный, изгоняющий все лишнее, неуместное и пристрастное, в нем слышится. Скажу тебе, что после него становишься еще светлей насчет будущего и верится тому, что все, что ни должно сказаться миру, будет сказано, хотя бы смерть и унесла кого-нибудь из тех, который бы мог сказать. В другой, может быть, форме, но возвестятся те же истины. Затем прощай!

Твой *Г.*

Я еще устаю и не могу писать писем так обстоятельных и длинных, как бы хотел, а между тем ко многим писать даже необходимо.

Передай здесь прилагаемые Аксакову[1697] и напиши мне обстоятельно его адрес. Мой же адрес: Via de la Croce, № 81, palazzo Poniatowsky, 3 piano.

Гоголь – Шевыреву С. П., 14(26) июля 1846

14 *(26) июля 1846 г. Швальбах* [1698]

Июля 26. Швальбах.

Пишу к тебе несколько строк из Швальбаха, куда заехал с тем, чтобы повидаться с Жуковским, берущим здесь ванны, а с тем вместе отдохнуть и даже взять несколько ванн самому, которые, как сказывают, могут хоть несколько укрепить мои нервы. От Языкова я наконец получил твои лекции[1699]; прочел еще весьма немного, ибо, сам знаешь, такого рода книги неприлично глотать вдруг. Но уже по началу вижу важность дела и труда и веселю себя им впереди, как предстоящим лакомством. Теперь приступаю к тебе с просьбой моей, весьма убедительной: напечатать второе издание «Мертвых душ», в том же самом виде, на такой же бумаге, в той же типографии, в том же числе экземпляров (2400, т.

е. два завода), с присовокупленьем только предисловия[1700], которое я пришлю потом, когда печатанье будет к концу. Нужно будет его отпечатать в месяц, дабы оно могло явиться в свет никак не позже 15-го сентября. Экземпляры разойдутся, я это знаю. После того голоса, который я подам от себя перед моим отправлением на поклонение к святым местам[1701], их станут раскупать. Посылать же на цензурованье к цензору в Петербург я не думаю, чтобы оказалась надобность, тем более что это фантастическое запрещение второго издания никогда не существовало. Оно образовалось в Москве по старой охоте ее к плетенью всякого рода сплетней. Это можешь изъяснить цензору, если бы он оказался малоумен, а не то предстань к Строганову и объясни ему. Если же по причине какой-либо новой бестолковщины оказалось бы так, что нужно посылать в Петербург, то пошли к Никитенке и в то же время письмо к Плетневу, чтобы он его поторопил, потому что Никитенко, при всей благосклонности и расположенье ко мне, несколько ленив и может замедлить присылкой. О получении этого пись-

ма уведоми, равно как и о распоряжениях, адресуя во Франкфурт, на имя Жуковского.

Прощай. Твой весь *Г.*

Шевырев С. П. – Гоголю, 29 июля 1846

29 *июля 1846 г. Москва* [1702]

Москва. Сокольники. 1846. Июля 29 с. с.

Немедленно отвечаю тебе на письмо твое, полученное вчера, любезный друг. Сначала о деле, которое мне поручаешь. Я сейчас из типографии. Она берется напечатать «Мертвые души» менее чем в два месяца, но никак не продлить печатания далее двух, след<овательно>, во всяком случае, к 15-му сентября кончить печатать не будет никакой возможности. Другой же типографии с такими средствами, как университетская, здесь мы не имеем. Другая задержка в цензуре. В здешнюю нечего и думать отдавать. Она не пропустила первого издания и, желая заслужить имя настойчивой в своих мнениях и последовательной в действиях, никак не согласится на второе. Я говорил с человеком, знающим коротко все ее свойства, и вследствие этого разговора сей час пишу письмо к Плетневу и

отправляю последний экземпляр «Мертвых душ», оставленный для тебя. Не знаю, как получится из Питера, но со времени получения считай два месяца типографской работы, может быть менее, но едва ли. Если через две недели получу обратно, то, стало быть, прежде 15-го октября не может быть отпечатано, или около того времени. Вот тебе отчет по твоему поручению. Уведомь: какую ты хочешь обвертку? с такою же ли виньеткой, какая была на первом издании? Напиши, чтобы я мог заказать ее Сиверсу поскорее.

Я только что собирался писать к тебе, как получил письмо твое. Мне досадно, что ты читаешь мои лекции по экземпляру, не от меня полученному. Не я в том виноват. Посылая экземпляр к Вяземскому, я приложил два: один для тебя, другой для Жуковского. Но, видно, они не были доставлены. Мне это очень досадно. Недели через две выйдет вторая часть[1703]. Я хотел и ее послать к тебе и к Жуковскому тем же путем, но теперь не знаю. Мне казалось, что Вяземский всех лучше найдет средства для того, чтобы доставить книгу к Жуковскому и к тебе. Напиши, не зна-

ешь ли другого пути, более верного и скорого?

Твои сочинения продаются теперь весьма споро с тех пор, как истощился петерб<ургский> запас. Поручение твое, данное мне в предпоследних твоих письмах, я начал немедленно исполнять. Аксаков, по болезни глазной и потому, что должен жить в деревне, от того отказался. До сих пор я роздал 415 р. асс. Неторопливо я делаю это дело, потому что при этом нужна большая осмотрительность: можно вместо добра сделать зло. Еще более боишься злоупотреблений, когда исполняешь волю другого в таком деле. Я желал бы отдавать тебе более подробный отчет во всем, но ты как-то посердился на меня в передпоследнем письме, и я боюсь чем-нибудь тебя обеспокоить. Но я надеюсь, что ты будешь спокойнее, узнав, что желание твое исполняется.

Спасибо тебе за письмо твое к Языкову об «Одиссее»[1704]. Оно на днях явилось в «Московских ведомостях». Я прочел его с величайшею радостью. Оно освежило меня. С нетерпением жду «Одиссеи». Дай бог сил Жуковско-

му скорее ее окончить. Письмо твое произвело сильное впечатление на тех людей, с которыми случилось мне об нем говорить. Были такие, которые плакали от него. Тебе бы следовало написать предисловие к «Одиссее», когда она выйдет.

Говорить ли тебе, с какою жаждою мы все ждем второй части «Мертвых душ» – не только ее, но даже вести об ней. Когда же ты едешь в Иерусалим? Да, да, вся Россия устремила на тебя полные ожидания очи[1705]. Не пришла ли пора удовлетворить ей?

Погодин должен быть в Мариенбаде. Языков живет в Сокольниках. Вода его освежила, и он становится молодцом. Аксаковы половина в деревне; Ольга Семеновна здесь с больною дочерью. Я занят беспрерывно трудом своим. Но скоро начнутся лекции. В половине августа мы переедем в город. Я ближе буду к типографии. Но расстояние не мешает. Корректором второго издания будет тот же Виноградов, которого ты знаешь. Я же рад бы всякий труд променять на корректуру 2-й части «Мертвых душ», а первая у нас пойдет, как по маслу, с печатного текста. Тут труда никакого

нет. Обнимаю тебя.

Твой *С. Шевырев*.

Гоголь – Шевыреву С. П., 23 сентября (5 октября) 1846

23 *сентября (5 октября) 1846 г. Франкфурт* [1706]

Франкфурт. 5 октября.

Спешу прибавить тебе несколько строк. На днях отправил к Плетневу предисловие к «Мертвым душам»[1707]. Вероятно, ты его уже имеешь. Исправь, пожалуйста, слог. Я не мастер на предисловия. Для меня труден этот приличный язык, которым должен разговаривать автор с нынешней публикою, а потому угладь всякое неловкое выражение и устрой всякий неуклюжий период. Мне нужно было сказать дело весьма для меня нужное. После этого почувствуешь и сам, хотя теперь и не смекнешь, почему оно мне нужно. Что книга выйдет несколько позже, это ничего; ей даже и не следует выходить раньше некоторого другого предисловия[1708], не сделавши которого мне нельзя и в дорогу. Дело это возложено на Плетнева. Это выбор из

некоторых моих писем к друзьям, который должен выйти особой книгой. Но это пока между нами. Там, между прочим, часть моей исповеди и объяснение того, что так смущало некоторых относительно моей скрытности и прочее. Печатать я должен был в Петербурге по причинам, которые можешь смекнуть и сам, по причине близости цензурных непосредственных и высших разрешений. В это дело, кроме Плетнева и цензора, не введен никто, а поэтому и ты не сообщай о нем никому, кроме разве Языкова, который имеет один об этом сведение, и то потому, что нечто из писем, мною к нему писанных, поступило в выбор. Из этой книги ты увидишь, что жизнь моя была деятельна даже и в болезненном моем состоянии, хотя на другом поприще, которое есть, впрочем, мое законное поприще, и что велик бог в своих небесных милостях. Но обо всем этом после. Может быть, через месяц, то есть если не в конце октября, то в начале ноября, должна выйти книга, а потому до того времени не выпускай «Мертвые души». Плетнев пришлет тебе несколько экземпляров, а в том числе и подписанный цензо-

ром на второе издание, потому что, по моему соображению, книга должна разойтиться в месяц. Это первая моя дельная книга, нужная у нас многим, а может быть, если бог будет так милостив, принесущая им действительную пользу: что изошло от души, то нельзя, чтобы не принесло пользы душе. Чрез неделю или полторы буду писать к тебе. Теперь захлопотался именно этим делом. Прощай.

Адресуй письма в Рим, на имя посольства. Во Франкфурте остаюсь только две недели и едва управлюсь с делами, которые должен кончить здесь, отправляясь в дорогу.

Шевырев С. П. – Гоголю, 20 октября 1846

20 *октября 1846 г. Москва* [1709]

1846 20 окт. / 1 ноября Москва.

Подписав последнюю корректуру второго издания «Мертвых душ» и твоего предисловия, беру перо, чтобы поблагодарить тебя еще раз за это сочинение, которое вырастает более при каждом чтении. Вгляделся ты глубоко в неразумную сторону России, с полною любовью к другой, еще невидимой, несознанной

стороне, открытия которой в художественном мире мы все от тебя ожидаем. Твое предисловие мне пришлось по сердцу: мне кажется из него, что ты растешь духовно. Я желаю, чтоб оно ввело тебя в сношения во всеми возможными русскими людьми из всех сословий[1710]. Но можно ли узнавать Россию, живучи все так далеко от нее? Неужели не чувствуешь потребности побывать опять в ней, чтобы освежить впечатления и собрать новые? С нетерпением ждем того, что печатает Плетнев[1711]. «Мертвые души» пущу я вслед за этою книгой, как ты желаешь. На днях все будет отпечатано. Виньетку я заказал Тромонину, который сделает точно такую же, но лучше, чем Сиверс.

Благодарю тебя за твое замечание на мою книгу. Я послал к тебе второй выпуск через Вяземского. Не знаю, когда ты его получишь. Ты прав. Первая лекция может быть ясна и оправдана в глазах тех только, которые меня слушали. Все будет понятно, когда окончится весь труд. Если бы я мог найти полгода свободного времени, все бы окончил. Но это невозможно. Я несу разные обязанности. Кро-

ме двух курсов по университету для студентов, читаемых мною ежегодно, я намерен еще в нынешнем году прочесть публичный курс истории всеобщей поэзии[1712]. От меня ждут слова. Я думал было сначала не читать, чтобы не отвлекаться от письменного труда. Ожидание публики меня не привлекало, хотя было мне и приятно. Но внутренний голос несколько раз повторил опять: читай. Я решился. Это отвлечет меня на время от издания, но в будущем году я надеюсь подвинуть его быстро. Теперь я не могу ожидать, чтобы книга моя возбудила большое сочувствие в публике, которая обворожена «Отечественными записками» и «Вечным жидом»[1713]. Но довольно того, что она в немногое время вся мне окупилась, а издание ее стоило 2700 с лишком рублей. Это уже важно для такой книги. Это мне служит большим подкреплением. Я надеюсь, что, когда выйдут все части, сочувствие будет явственнее и общее. Трудно мне бывает сосредоточивать волю свою в одном действии. Я желал бы иметь твои силы.

Мы все поражены были ужасною смертью Линовского, профессора сельского хозяйства,

который был зарезан своим крепостным человеком, им же облагодетельствованным. Линовский был прекрасною надеждою для науки и так начинал понимать Россию! В течение недели мы все были как без ума и от этой потери, и от самого события. Жду с нетерпением твоего письма из Рима. Посылаю тебе записку наборщика ко мне. Я знаю, что ты любишь эти куриозы. Прощай.

Твой *С. Шевырев*.

Слог в предисловии твоем я весьма немного исправил только в том, что не совсем было гладко или согласно с нашими правилами. А в прочем вся твоя особенность, которою я весьма дорожу, осталась тут – и твой период.

Гоголь – Шевыреву С. П., 12(24) октября 1846

12 *(24) октября 1846 г. Страсбург* [1714]

Стразбург, окт. 24.

Прошу тебя доставить это письмо Щепкину[1715], которое должен он прочесть при тебе, а потом дать его прочесть тебе и больше никому. Если на случай Щепкин в Петербур-

ге, то письмо распечатай, прочти и потом отправь к нему в Петербург, хоть на имя Плетнева. Из него ты увидишь, в чем дело. «Ревизор» должен быть напечатан в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавие должно быть такое: «Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях, с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных». Играться и выйти в свет «Ревизор» должен не прежде появленья книги «Выбранные места»: иначе все не будет понято вполне. Об остальных распоряжениях извещу тебя потом, вместе с присылкой необходимого предисловия. Теперь же, за множеством всякого рода хлопот и ответов на письма, которые вряд ли кому-либо приходится получать со всех сторон в таком множестве, не могу писать более. Скажу только, что я на дороге, в Стразбурге; завтра еду, пробираясь на Ниццу, в Италию.

Уведоми меня обо всем, что ни делается в Москве и что ни говорится обо мне, особенно всякие невыгодные и дурные слухи: их мне нужно знать гораздо более, чем все хорошие.

Враки, враки – а во враках бывает часто немало правды. За собой так трудно уберечься, что следует по-настоящему платить чистым золотом за всякую доставку нам скверных вестей о нас. Теперь же вестей обо мне должно быть немало, потому что я еще не помню, чтобы печатанье какой бы то ни было книги моей не было сопровождено всякого рода вестями, слухами, историями и вымыслами всех родов, как ни стараешься дело это производить сколько возможно потише. Но обнимаю тебя. Прощай. Жду с нетерпеньем твоего уведомленья в Неаполь...

Гоголь – Шевыреву С. П., 21 октября (2 ноября) 1846

21 *октября (2 ноября) 1846 г. Ницца* [1716]

Ница. 2 ноябр.

Спешу написать тебе несколько строк с дороги. Одно письмо мое из Франкфурта[1717], с извещением об отправке предисловия к «Мертвым душам» Плетневу, ты, вероятно, получил. Другое, со вложением письма к Щепкину, ты, без сомнения, также <получил>, вместе с приложеньем «Развязки Реви-

зора». Теперь посылаю к тебе предуведомленье к «Ревизору». Прочитавши его и узнавши, в чем дело, ты собери всех тех, которых имена увидишь в конце предуведомленья, к себе и с ними потолкуй и объяви им мою просьбу, которую обращаю я к людям, любящим меня[1718]. Кто из них отшатнется и не захочет взять на себя обязанность раздачи бедным, грех будет на душе того. Потому что дело это ради Христа, а не ради меня. Кому же, точно, невозможно за множеством дел и хлопот этим заняться, тот пусть объявит это сейчас же, чтобы имя его вычеркнуть. Всех же остальных напиши исправно имена и отчества, с означеньем адресов и мест их жительства, и отправь немедленно в Петербург, чтобы это было припечатано в таком же виде и в петербургском экземпляре. Взамен ты получишь от Плетнева обстоятельное поименование лиц в Петербурге с их адресами. Одно издание «Ревизора» должен печатать ты в Москве (это будет числом четвертое). Другое (пятое) Плетнев в Петербурге. Заглавие, как я уже писал, должно быть такое: «Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях, с за-

ключеньем. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, в пользу бедных. Цена 1 рубль серебром». Печатать два завода, в Петербурге же печатается один завод[1719]. Ибо у меня какое-то предчувствие, что в Москве разойдется больше экземпляров «Ревизора», особливо когда узнают, с какой целью он издается. Оба издания должны выйти в день представления, в Москве в бенефис Щепкина, в Петербурге в бенефис Сосницкого, так что продаваться они должны тот же вечер, по представлении пиесы. Объявить об этом должен публике сам бенефициант по вызове его, присовокупивши, что всяк из желающих дать более положенной цены за книгу дал бы в его собственные руки и принял бы от него самого экземпляр, взошедши по закрытии занавеса к нему самому на сцену. Деньги эти Щепкин должен принести к тебе, равно как и все деньги от театральных и всяких книгопродавцев, а ты должен разделить эти деньги всем поровну раздавателям вспомоществован<ия>. Не сердись на меня за эти новые мною на тебя навязанные хлопоты; выполни их как дело, угодное богу, во имя его делаемое. Так же исполн<и>

благородно и в такой же точности, как то, о котором ты знаешь, за которое не знаю, как возблагодарить тебя[1720]. Знаю только то, что бог тебя за него возблагодарит. На это письмо прошу ответа прямо в Неаполь. Прощай, тороплюсь отправить на почту.

Весь твой *Г.*

P. S. Когда получишь из Петербурга 8 экземпл<яров> книги «Выбранные места из переписки с друзьями», вручи следующим лицам, по приложенным при сем надписаниям, которые, разрезавши порознь, приклей на первый листок в книге. Не смущайся тем, что Погодину придется на долю надпись несколько крепкая[1721]. Это ему нужно. Он немножко чихнет, но этот чих будет во здравие. Есть вещи, которые один я могу ему сказать, и должен сказать, потому что получил на то право. Время свое я выждал. И теперь буду его потчевать многим его собственным добром, которого он в себе никак не подозревает. Я свое дело исполню лучше, нежели он. Назад тому три года, если я не ошибаюсь, я просил открыто у вас всех упреков, но упреков я не получил. Те-

перь стану я попрекать, но упреки мои будут не от гнева – что-то другое подвигнет ими. О! как нам нужно глядеть и глядеть ежеминутно на себя! Не отвращай и ты от себя взора. Многого и многого мы в себе не видим, и почти всего, что ни есть в нас дурного. Но бог да хранит тебя! Благо, что ты сидишь над трудом[1722], который уже невольно способен освятить человека и, оторвавши его от всего кружащегося, обратить на самого себя.

Не позабудь прислать мне в Неаполь сейчас же все письма, какие ни получишь на мое имя по поводу «Мертвых душ». Они мне очень и очень нужны, так, как никто не может предполагать и думать, опричь разве меня самого.

Шевырев С. П. – Гоголю, 29 октября 1846

29 *октября 1846 г. Москва* [1723]

Недавно писал я к тебе в Рим. Если ты не получил письма моего, то выпиши его оттуда. Вслед за тем получил твой большой пакет с «Развязкой «Ревизора» и с письмом к Щепкину. Он болен по возвращении из Крыма, но

теперь ему получше. Я прочел ему и письмо твое, и «Развязку». Все это его тронуло до слез. Спешу передать тебе то впечатление, которое на меня произвела эта «Развязка». В ней я вижу прекрасную дань твоего уважения к таланту Щепкина. Если бы даже она и не была сыграна, то, напечатанная, она будет памятником, тобою воздвигнутым в честь нашего истинно первого комического актера. Но, предлагая ему эту пиесу в бенефис, не подвергаешь ли ты его скромность искушению? Сам хозяин бенефиса предложит актерам и публике пиесу, в которой будут венчать его? Что касается до внутреннего содержания, то горячий спор веден мастерски и как будто списан с наших прений; но нужно необыкновенное искусство актеров, чтобы передать высокую простоту этого спора, а если этого искусства не будет, то все охладит зрителя, который сочтет все это одним рассужденьем, а не драмою живою – следствием драмы сценической. Замечу еще одно: зрителю не покажется ли, что ты сам слишком заботишься о толковании своей пиесы? В заключении сравнение города с душевным городом, Хлестакова с

внешней светской совестью, а настоящего ревизора с внутреннею – не покажется ли аллегориею? Это будут слушать как проповедь. Комик и без того род проповедника в своей комедии, но зачем же прибавлять к комедии проповедь? Это опасно. Много глубокого и сильного сказал ты в последнем слове актера, но со сцены так ли оно подействует, как в чтении? Может быть, я во всем ошибаюсь, но счел за нужное сказать, что думаю.

Поручения твои все будут исполнены. Пошлются немедленно два экз<емпляра> в театр<альную> цензуру и в печатную. Печатать «Ревизора» ты будешь в Петербурге или в Москве? уведомь. «Мертвые души» отпечатаны. Сегодня отправляю экз<емпляр> в Петербург для цензуры. Выпущу, когда выйдет твоя «Переписка». Дай мне свои распоряжения насчет твоих денег. Ты хочешь от меня вестей о том, что здесь говорят о тебе. Когда я слушаю эти вести, всегда вспоминаю город NN в «Мертвых душах» и толки его о Чичикове. Глубоко ты вынул все это из нашей жизни, которая чужда публичности. Если желаешь, пожалуй – я тебе все это передам. Ты, кажет-

ся, так духовно вырос, что стоишь выше всего этого. Начну с самых невыгодных слухов. Говорят иные, что ты с ума сошел. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: «Скажите, пожаласта, правда ли это, что Гоголь с ума сошел?» – «Скажите, сделайте милость, точно ли это правда, что Гоголь с ума сошел?» Прошлым летом тебя уж было и уморили, и даже сиделец у банкира, через которого я к тебе отправлял иногда деньги, спрашивал у меня с печальным видом: правда ли то, что тебя уже нет на свете? – Письмо твое к Жуковскому[1724] было напечатано кстати и уверило всех, что ты здравствуешь. Письмо твое вызвало многие толки. Розен восстал на него в «Северной пчеле» такими словами: если «Илиаду» и «Одиссею» язычник мог сочинить, что гораздо труднее, то, спрашивается, зачем же нужно быть христианином, чтобы их перевести, что гораздо легче[1725]. Многие находили это замечание чрезвычайно верным, глубокомысленным и остроумным. Более снисходительные судьи о тебе сожалеют о том, что ты впал в мистицизм. Сенковский в «Библиотеке для чтения» даже

напечатал, что наш Гомер, как он тебя называет, впал в мистицизм[1726]. Говорят, что ты в своей «Переписке», которая должна выйти, отрекаешься от всех своих прежних сочинений, как от грехов. Этот слух огорчил даже всех друзей твоих в Москве. Источник его – петербургские сплетни. Содержание книги твоей, которую цензуровал Никитенко, оглашено было как-то странно и достигло сюда. Боятся, что ты хочешь изменить искусству, что ты забываешь его, что ты приносишь его в жертву какому-то мистическому направлению. Книга твоя должна возбудить всеобщее внимание, но к ней приготовлены уже с предубеждением против нее. Толков я ожидаю множество бесконечное, когда она выйдет.

Сочинения твои все продолжают расходиться. Скопляется порядочная сумма. Я не тороплюсь исполнять твое поручение. Еще будет время. Аксакову письмо я доставил[1727]. Он страдает глазами. Погодин только что возвратился из славянских земель. Прощай. Обнимаю тебя.

Твой *С. Шевырев*.

Прибавлю еще к сказанному, что если бы вышла теперь вторая половина «Мертвых душ», то вся Россия бросилась бы на нее с такою жадностию, какой еще никогда не было. Публика устала от жалкого состояния современной литературы. Журналы все запрудили пошлыми переводами пошлых романов и своим неистовым болтаньем. «Странствующий жид» был самым любоп<ытным> явленьем. Три книгопродавца соревновали о нем. Ходебщики Логинова таскали за ноги «Вечного жида» по всем углам России. Ты думал о том, как бы Россия стала читать «Одиссею». Нет, если хочешь взглянуть на существенность, подумай о том, как Россия читает «Вечного жида», «Мартына Найденыша», «Графа Монте-Кристо», «Сына тайны»[1728] и проч., и проч., и проч. Не худо заглядывать иногда во все это. Не пора ли дать ей получше пищи? Может быть, она и приготовлена в Петербурге[1729]. Твоей новой книги еще не знаю. Но мы ждем от тебя художеств<енных> созданий. Я думаю, что в тебе совершился великий переворот, и, может быть, надо было ему со-

вершиться, чтобы поднять вторую часть «Мертвых душ». О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей! Ты приготовил это исповедью наших недостатков, ты и доверши.

Шевырев С. П. – Гоголю, 31 октября 1846

31 *октября 1846 г. Москва* [1730]

Окт. 31 с. с. 1846. Москва.

Вслед за письмом, которое я к тебе отправил тому назад два дня, отправляю к тебе другое. Извини меня: я в письме своем сказал, может быть, не то, что следовало. Чем более вчитываюсь в «Развязку «Ревизора», тем глубже и глубже мне она кажется. Я посудил об ней, как будет, может быть, судить публика, особенно в тех местах, которые примет она за нравоучение и от которых еще кислее сделает рожу, чем от «Ревизора». Но чем более и более я сам, уже не от лица публики, вникаю в это произведение, тем глубже оно мне является, тем более вижу, как ты духовно вырос и дорос до второй части «Мертвых душ», в кото-

рой, как надеемся, представишь такое добро, где уж будет точно добро. Не понимают, что надобно до этого дорасти и что ты растешь к этому. Отсюда и все нелепые толки, даже и близких тебе, которые тебя в новом периоде твоей жизни не понимают.

Сегодня я еще два раза перечитывал «Развязку» и послал два экз<емпляра> к Плетневу для двух цензур и написал письмо к Веневитинову для передачи просьбы твоей графу Вьельгорскому[1731].

Щепкин все еще нездоров. Нельзя было лучшего воздвигнуть ему памятника, как эта «Развязка». Спасибо тебе. Ты придашь, может быть, тем ему новых сил для довершения его поприща. Обнимаю тебя.

Твой *С. Шевырев*.

Литературная новость – у нас в Москве с нового года издается «Городской листок» ежедневно; издатель – очень благородный и деятельный человек, Драшусов. Я принимаю участие. Если захочешь что скорее сообщить публике, то милости просим. Твоя книга, конечно, подаст повод ко многим разборам и

прениям. Вероятно, и «Листок» будет их отголоском в твою сторону[1732].

В Петербурге идет большая возня и пересадка. «Современник» в руках Никитенко, предводителя школы натуральной[1733]. Огромные академич<еские> «Ведомости». Смирдин издает всех русских писателей самым дешевым изданием. Бернардский издает 100 рисунков к «Мертвым душам»[1734]. Ты, конечно, об этом слышал. Должны выйти на днях.

Гоголь – Шевыреву С. П., 26 ноября (8 декабря) 1846

26 *ноября (8 декабря) 1846 г. Неаполь* [1735]

Декабря 8. Неаполь.

Оба письма твои, писанные одно за другим, получил. Благодарю за советы и мысли относительно «Развязки «Ревизора». Я соглашаюсь, однако же, больше с теми, которые в твоем первом письме[1736]. В предстоящем обстоятельстве я особенно руководствуюсь первыми впечатлениями: они для меня уже и тем важны, что мненье публики, даже и добродетельной и просвещенной, будет ближе к

ним, нежели к тем, которые изложены в твоем втором письме и которые принадлежат, может быть, одному тебе или двум-трем, глядящим на вещи с точки повыше. «Ревизора» нужно отложить как игру, так и печатание. То и другое возымеет место ко времени бенефиса Щепкина в следующем году. Публика к тому времени будет больше приготовлена, а теперь, в самом деле, впечатление может случиться совершенно противное тому, какое ожидается. Притом актеры наши так могут сгадить всю эту сцену, что она просто выйдет смешна. Да и сам Щепкин, как нарочно, заболел. Это я считаю новым указаньем отложить «Ревизора». И я даже несколько удивился, как ты решился послать пиесу в Петербург, тогда как я именно писал Щепкину привезти ее в Петербург не иначе как лично.

Я рад, что в Москве издается «Листок». Это гораздо нужней в теперешнее время всех толстых журналов. Присылай мне всякий номер его, начиная с первого; заворачивай в пакет просто как письмо. Денег на пересылку не жалей (я надеюсь, что за «Мертвые души» выручится для того достаточно), равно как и на пе-

ресылку всех тех писем, которые ты будешь получать на мое имя с замечаниями на «Мертвые души». Эти письма мне очень, очень нужны. Ты спрашиваешь уже, как распоряжаться с деньгами. Их еще покамест нет, но если будут, то все, остающееся от издержек за пересылку писем мне, совокупляй в капитал, который будет мне очень нужен для моего путешествия на Востоке[1737]. Впрочем, все это впереди и о нем будем иметь время поговорить. Все письма адресуй в Неаполь. Неаполь я избрал своим пребыванием потому, что мне здесь покойней, чем в Риме, и потому, что воздух, по определенью доктора, для меня лучше римского, что, впрочем, я испытал: здесь я меньше зябну. Не оставляй меня, пожалуйста, известием обо всех речах, мнениях и толках как обо мне, так и об моих сочинениях. Проси и других также сообщать мне их и почаще браться за перо писать. Пришли мне назад «Развязку «Ревизора», именно те самые листки, которые я послал к тебе. Они убористы, их можно вложить в небольшое письмо. Мне надобно в них многое пересмотреть, исправить и обделать лучше. Плет-

неву я писал – отправить к тебе еще несколько экземпляров книги «Выбранные места из переписки» для раздачи, кому найдется нужным.

Отыщи, пожалуйста, того самого священника, у которого я говел и исповедовался в Москве. Имени его не помню. Погодин или, еще лучше, мать его должна знать его. Священник этот несколько толст, с лица ряб, на манер С****, но мне очень понравился. Простое слово у него проникнуто душевным чувством. Все, что я услышал о нем потом, было в его пользу. Отдай ему один экземпляр книги, скажи, что я его помню и книгу мою нахожу приличным вручить ему как продолжение моей исповеди. Узнай также при этом случае его имя и уведоми, где он теперь: там ли или перешел в другое место. Если найдешь приличным и выгодным иметь у себя для продажи экземпляры, то напиши об этом Плетневу, дабы он выслал. Как только получишь цензурный экземпляр, начинай печатать второе издание. В нем, как я полагаю, должна быть необходимо скорая потребность, особенно принимая к сведению то, что многие, кроме

одного экземпляра для себя, купят еще и для раздачи людям простым и неимущим...

Шевырев С. П. – Гоголю, 30 декабря 1846

30 *декабря 1846 г. Москва* [1738]

Дек. 30 с. с. 1846. Москва.

Милый друг, я должен начать это письмо грустною для тебя вестью. Помолись и укрепись духом. Не стало нашего доброго, милого Языкова. Он скончался 26-го декабря, на другой день праздника Р<ождества> Х<ристова>, в 5 часов пополудни. Кончина его была самая тихая, без страданий. Он уснул, а не умер. Окружавшие его сначала того не заметили. Сам врач, за час до кончины у него бывший, не находил ничего отчаянного в его положении. Но Языков сам как слег, то уже знал наперед свою кончину. За три дня до нее он сам пожелал исповедоваться и причаститься св<ятых> таин. Память его во все время, несмотря на бред горячки, была так свежа, что он сделал даже все распоряжения, в чем его похоронить, и заказал повару все кушанья того обеда, который должен быть у него

на квартире после похорон его. За два дня до смерти он утром сзывал всех в доме и спрашивал: «Верите ли в воскресение мертвых?» Видно, мысли нашей веры его глубоко занимали. В бреду горячки он пел и как будто читал стихи. Ты уже знаешь, конечно, что летом он предпринял гидропатическое леченье. Лето у нас было жаркое. Леченье шло тогда хорошо. Но в сентябре он простудился. Врачи настаивали продолжать. Он, по обыкновению, слушался. Нервы его напрягались, напрягались – и не вынесли. Последняя болезнь его была нервная горячка. В первый день как спокойно-величав лежал он на том столе, где любил угощать трапезой друзей своих. Болезненное отошло, и одно величие его физиогномии являлось взору. Какой чудный лоб! Болезнь его узила. Какие уста! Ими как будто объяснялся его чудный стих. Сегодня мы отслушали вечером последнюю панихиду на дому, а завтра его похороним на Даниловом кладбище, подле Валуева, его племянника, и Венелина. Сегодня же пришло и твое письмо к нему[1739], которое показывал мне брат его, Петр Михайлович. В него вложено письмо к

Щепкину[1740]. Завтра после погребения мы будем обедать в комнатах у покойного, по его желанию, и есть те блюда, которые он сам для нас заказал своему повару. Сообщаю тебе все эти подробности. Знаю, как тебе будет горька эта весть. Я боялся, что она к тебе дойдет через кого другого. Боялся также прямо написать тебе. Потому прошу Софью Петровну[1741], чтобы она с свойственною ей мягкостью и любовью приготовила тебя к этой вести и утешила в горе. Подробности же эти в таком горе, я знаю, бывают усладительны. Береги себя, милый друг, для всех нас и для России, которая многого ждет от тебя. Что делать? Здоровье Языкова не обещало долгой жизни. По крайней мере он умер без страданий. Чистота души его есть прекрасный завет всем его близко знавшим. «Блаженни чистии сердцем: тии бога узрят»[1742]. Да, он, конечно, видит бога. Все нас меньше да меньше остается. Все крепче и крепче должны бы мы связывать узел дружбы, помогать друг другу, любить друг друга, заботиться друг о друге, стараться жить вместе, ближе друг к другу, потому что издали трудно все это исполнять,

особливо при занятиях разного рода, при заботах семейных.

Я виноват опять перед тобою, что не вдруг отвечал тебе на письмо твое о новых твоих распоряжениях касательно распродажи «Ревизора» в пользу бедных и касательно надписей на книги, тобою мне присланных. Но в моих молчаниях есть, однако, и тайная причина, которой, может быть, я и сам не сознаю. Иногда после писем твоих я не мог к тебе писать, сам не знаю почему; после других же чувствовал влечение и писал скоро. Здесь, я думаю, остановила меня надпись Погодину. Я хотел тебе искренно сказать, что я ее не могу пропустить через мои руки, не хочу быть посредником в такой передаче. Не так, друг мой, говорят правду от любви, не тем языком, без того раздражения. Если ты любишь его, скажешь и правду ему иначе. Ведь надобно не обжечь, а согреть. У тебя же тут всякое слово – огонь. Вспомни слова ап<осто>ла Иакова[1743]. Ведь до сих пор я и этого не решался тебе сказать. А смерть Языкова дала мне какую-то силу. Да будемте же все настоящим образом любить друг друга, и тогда сам бог внушит

слова наставительные, а не жгучие. Правда и то, что мы не заботимся друг о друге как должно, слишком кадим друг другу, не имеем силы говорить о недостатках, а зато уж как соберемся, делаем это в гневе, в раздражении. Тогда наставление становится похоже на брань и любовь – на гнев и злобу.

Ты уже знаешь, что цензура не пропустила твоей «Развязки»[1744] и что, след<овательно>, все твои предположения не могут сбыться. Отвечаю на последние твои два письма[1745]. Два завода «Мертвых душ» лежат у меня в доме, готовые к распродаже. Ты писал ко мне, чтобы выпустить их в свет после того, как выйдут «Выбранные места». Я ожидаю этого беспрерывно. Между тем книгопродавцы со всех сторон осаждают меня. Но твои приказания строги до малейших подробностей. Ты сетуешь на меня даже за то, что я послал в Петербург «Развязку «Ревизора» не с Щепкиным лично, но ты не написал ко мне, чтобы без Щепкина ее не посылать. Когда явится твоя книга в Петербурге, тогда выпущу и «Мертвые души». О предисловии я попрошу издателя «Московских ведомостей»[

1746]. Впрочем, «Отечественные записки», незаконно пользуясь экземплярами, присланными в петербургскую цензуру, уже успели напечатать отрывки из этого предисловия[1747]. Цензура петербургская делает чудесные вещи. Никитенко твои рукописи оглашал всем своим друзьям, приятелям и знакомым[1748]. «Листок» и замечания на «Мертвые души» пересылать тебе буду по мере получения. Священника, духовника твоего, найду и вручу ему экземпляр. С нетерпением ожидаю твоей книги как потому, что мне хочется скорее прочесть ее, так и для того, что она развяжет мне руки во всех моих действиях.

Из письма твоего к Языкову[1749] я вижу, что ты еще хочешь отложить свое путешествие на Восток и возвращение в Россию на год. Это напрасно. Деньги будут. У меня есть же твоя лежащая сумма. Хотя есть ей другое назначение, но не вдруг же она употребится. После можно будет выручить ее из распродажи «Мертвых душ» и употребить, как ты предписал. А между тем зачем же откладывать доброе дело? Возвратиться в Россию тебе пора. Даже отсюда ты мог бы предпринять это

путешествие. Что ни говори, а жить в чужом народе и в чужой земле – вбираешь в себя чужую жизнь, чужой дух, чужие мысли. Вот это заметили многие и в твоих религиозных убеждениях и действиях. Мне кажется тоже, что ты слишком вводишь личное начало в религию и в этом увлекаешься тем, что тебя окружает. Римское католичество ведет к тому, что человек не бога начинает любить, а себя в боге. Даже молитва в нем переходит в какое-то самоуслаждение. Я заметил в письме твоем, что ты в побочных обстоятельствах видишь себе указания (так, н<а>п<ример>, болезнь Щепкина). Это мне напомнило княгиню З.[1750], которая также во всяком обстоятельстве жизни видит бога, ей указующего. Да ведь надобно заслужить это высокое состояние пророка. Есть, конечно, во всем воля божия. И волос не падет с головы без нее. Но видеть во всяком постороннем обстоятельстве личное отношение бога ко мне значит как бы хотеть приобрести милость божию в свою собственность и самозабвенно назваться избранником божиим и любимцем. Это все продолжение motu proprio[1751] римского влады-

ки. Берегись этой заразы. От нее хранит чистое и смиренное наше православие. Вот и поэтому пора тебе на родину. Здесь погрузишься в жизнь своего народа и стряхнешь с себя лишнее чужое. Обнимаю тебя.

Твой *С. Шевырев*.

У меня все дети были больны. Грудной был в опасности. До сих пор коклюш кругом меня раздается. Много страданий душевных. До этого еще я начал курс. Трудно было. Прочел 4 лекции. Они возбудили участие. О, как жаль мне, что ты не с нами!

Гоголь – Шевыреву С. П., 30 января (11 февраля) 1847

30 *января (11 февраля) 1847 г. Неаполь* [1752]

Неаполь. Февраль 11.

Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех некоторых особенностей, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однако ж, ни

в сочинениях своих, ни даже в беседах с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! да удостоит нас бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства и ликованья вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с ангелом на небесах. Благодарю тебя за то, что ты наконец заговорил со мной откровенно и отважился сделать мне упреки. Их я жду отовсюду, ищу ото всех, хотя еще никто не верит словам моим и думает, что я морочу людей. В упреках твоих есть и справедливая и несправедливая сторона, но то и другое для меня драгоценно, потому что показывает мне, во-первых, в каком виде я стою в глазах твоих, во-вторых, заставляет меня все-таки лишний раз оглянуться и построже рассмотреть себя. Вот что я нахожу теперь нужным сказать тебе в ответ на них – сказать не с тем, чтобы оправдываться,

но чтобы изгнать из мыслей твоих беспокойство обо мне, которое, как я замечаю, поселили в тебе мои неловко и неразумно выраженные слова. Начну с того, что твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, самоуслаждений и устремлений воли божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы. На теориях у меня также

ничего не основывается, потому что я ничего не читаю, кроме статистических всякого роду документов о России да собственной внутренней книги. Относительно надписи Погодину ты также попал в заблуждение. Я давно уже, слава богу, ни на кого не сержусь. Но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему небольшими и неважными, и несколько даже уязвить душу. Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать как следует язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь. Он великодушен, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому[

1753]. Наконец в заключение и в благодарность за упреки я присовокупляю здесь упрек тебе – упрек в пристрастии, которое заметили в тебе не только я, но все те, которые тебя знают или же прочли твои сочине<ния>. Дух пристрастия у тебя слышался всегда во всем. Пристрастие к земле, к людям, даже к собственной своей одной какой-нибудь мысли, которую ты будешь долго прилаживать и пригонять ко всему. Давно ли говорили почти все, что Шевырев никак не может обойтись без Италии и где бы то ни было, кстати или некстати, приклеит ее! Этот дух пристрастия стал исчезать в тебе в последних твоих сочинениях, по мере того как стал ты приближаться к разумной средине всего. Его нет почти вовсе в твоем курсе[1754]. Я думал, что оно уже в тебе исчезло. Но теперь вижу, что оно сохранилось еще во всей силе к тем людям, которых ты любишь. Ты в них не видишь недостатков; если ж и видишь, не высказываешь; высказываешь недостатки ты одним врагам своим или же тем, которые огорчили. И к чему между нами эта осторожность, чтобы как-нибудь не обжечь словом?

Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским[1755] и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья, а мы, слава богу, не дети. Да и пора уж быть нам наконец мужами. Зачем же мы себя называем избранными и лучшими других, когда мы не умеем переносить того, что не только переносит легко христианин, но даже приемлет благодарно, как лучшее даяние? Ну, на что, например, похож твой нынешний поступок со мною? В продолжение долгого времени ты молчал, таил перед мною все чувства и помышленья обо мне и только на могиле Языкова осмелился заговорить, выражаясь, что одна могила Языкова внушила тебе смелость. Да что же я? Лютый зверь какой, к которому даже и подступить страшно? Съел бы я тебя, что ли? Стыдно тебе! Такой друг никогда не может быть вполне полезен. По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною и таких своих помышлений обо мне, которые тебе самому показались бы неосновательными, не смущаясь даже боязнью ска-

зать глупость или ошибиться. Мы все люди и потому на каждом шагу говорим глупости и ошибаемся. Что я скрытен – это совсем другое дело. Скрытен я из боязни напустить целые облака недоразумений моими словами, каких случилось мне немало наплодить доселе; скрытен я оттого, что еще не созрел и чувствую, что еще не могу так выразиться доступно и понятно, чтобы меня как следует поняли. Но тебе даже грех быть со мной скрытну; я бы тебя понял. Сейчас принесли мне твое письмо со вложеньем векселя. Ты напрасно мне его прислал; в деньгах я покаместь не нуждаюсь. Бестолковщина по части книги моей в Петербурге и другие непредвиденные препятствия отодвинули отъезд мой на Восток, а потому деньги храни у себя до моего востребования. Я получил уже деньги от Плетнева вместе с известием о выходе моей книги в обезображенном цензурою виде[1756]. Плетнев сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и

солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь – все пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу государя и не сомневаюсь в пропуске, но все несколько неприятно. В прежнем моем письме я поручал второе издание книги в ее полном виде тебе. Но теперь вижу, что это замедлит ее появление; пересылка, медленность москов<ских> типографий, наконец, недоумения, которые могут произойти по поводу вставок всех выпущенных мест и надлежащего их размещения, – все это заставляет меня вновь возложить это дело на Плетнева. Не позабудь, однако ж, передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других; поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим. Еще попрошу тебя об одном одолжении. Доброго моего Языкова уже нет на земле, а потому и некому баловать меня присылкою книг, что с такой охотой и радушьем испол-

нял он, а потому не позабудь, хотя изредка, если узнаешь, что кто-нибудь отправляется за границу, присылать мне. Я бы теперь хотел иметь русские летописи, изданные Археограф<ической> комиссией[1757], – их, кажется, уже три, если не четыре тома – и Снегирева «Описанье русских праздников и увеселений», присовокупив к нему его книгу: «Русские в своих пословицах»[1758]. Тот, кто возьмет их, если не довезет до Неаполя, то может оставить во Франкфурте у Жуковского. Об этих книгах я просил еще неда<вно> Языкова в маленьком письмеце[1759], вложенном в твое письмо, не зная, что он уже покойник в ту минуту, как я писал к нему.

Шевырев С. П. – Гоголю, 30 января 1847

30 *января 1847 г. Москва* [1760]

Янв. 30 с. с. 1847. Москва.

Спешу к тебе отправить деньги, полученные вчера за 1201 экземпляр твоей книги[1761], с уступкою 25-ти процентов, всего 1802 р. серебром (1 экз. продан мною за 2 р. серебром): вот вексель в 7253 фр<анка> 5 сант<имов> за № 12017. Вторая трета остает-

ся у меня.

Об книге твоей много толков. Она составляет теперь главный предмет светских разговоров. Говорят и за нее, и против нее. Прежде чем говорить о книге, я скажу о твоем поступке с Погодиным. Мне кажется он нехорошим. Ты говоришь, что полезно бывает человеку получить публичную оплеуху: полезно тому, кто ее с смирением примет (так и принял Погодин), но каково тому, кто дает? Кто же из нас вправе дать ее, когда сам Иисус Христос не бросил камня в грешницу? Мы, говорящие о церкви и православии, должны вести себя во всем святее и чище для того, чтобы вместе с собою не подвергнуть оговору церковь и православие.

Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина[1762], которого «Записка о древней Руси»[1763] до сих пор не напечатана, и когда я вздумал из нее немногое (не самое важное) привести на лекции, то получил за это выговор от попечителя. Мы еще не доросли до высокой правды: никого в том обвинять не надобно. Видно, все

еще мы ее недостойны; да и где же она есть? Нет ее и в западных государствах, имеющих право гордиться перед нами своею искренностью; не будем же обвинять и себя в том, что ее нет у нас, но и не будем льстить своему времени. Правда, что чистый душою имеет на правду большее право, но говорит-то ее только людям безобидным, которых нечего бояться.

Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже?[1764] Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»?

Судя по книге твоей, ты находишься в состоянии переходном. Разум твой убежден в истине нашей церкви и православия, но воля твоя заражена современною болезнию – болезнию личности, и ты действуешь скорее как римский католик, а не как православный. Так могу я объяснить в твоем завещании первую мысль о своем теле, а последнюю о портрете[1765]. В тебе есть самообожание: им ты и нравишься тем нашим дамам, которые

хотя и православные, но заражены тою же болезнию, как и ты. Так объясняю я твое поклонение одной из них, которой ты позволяешь говорить все, уверяя ее, что все будет прекрасно, если бы даже случилось ей сказать вздор, что может случиться со всяким[1766]. Советы твои помещику, хозяйке и проч. проистекают из той же личности твоей, страдающей недугом. Прекрасны письма о русской церкви и духовенстве, о светлом празднике Воскресения, многое о наших поэтах (ты умеешь даже и известное облечь в новую форму, говоришь как творец, как художник). Замечу только, что ты слишком льстишь Жуковскому.

Второе издание твоей книги я приму на себя на том только условии, чтобы уничтожено было то, что ты сказал о Погодине. В противном случае отказываюсь. Я не хочу, чтобы через мои руки проходила оплеуха человеку, которого я люблю и уважаю, несмотря на его недостатки, которых в каждом из нас много. Ты же говоришь в одном из писем: исправляй их прежде в самом себе. Неряшество в слоге и в изданиях простительнее, чем неряшество душевное, проистекающее в нас от неограни-

ченного самолюбия. За первое отвечаем мы только публике и вредим им только самим себе; за второе отвечаем богу. Прощай. Твой

С. Шевырев.

Гоголь – Шевыреву С. П., 20 февраля (4 марта) 1847

20 *февраля (4 марта) 1847 г. Неаполь* [1767]

Марта 4. Неаполь.

Долго я не постигал причины твоего молчанья в такое время, когда мне больше всего были нужны твои письма. Наконец из письма Серг. Тим. Аксакова[1768] (исполненного упреков самых жестких и даже не совершенно справедливых, но притом нужных душе моей) я догадался, что ты должен быть сердит на меня за Погодина. Я и позабыл было, что в книге моей есть слова о Погодине, которые и он и вы приняли в другом смысле. Вы твердо убедили себя, что я питаю гнев и неудовольствие против Погодина, под углом этого убежденья смотрите на все мои слова о Погодине, а потому и увидали дело в большем виде, чем оно есть. Вот вся правда дела: когда я, точно, сердился на Погодина, от меня никто не слы-

шал тогда дурного слова о Погодине; я представлю вам свидетелей, которые, слава богу, еще живы. Когда прошел гнев, явилось в душе моей сильное желание оправдаться перед Погодиным, показать ему, как он невинно стал виноват и как заблудился обо мне. Желаньем этим я страдал и томился и в то же время видел, что для этого нужно обнаружить донага всю свою душу и принести непритворную исповедь во всем том, что творилось в душе моей незримо от всех; без этого было бы объясненье мое непонятно. А принести своей исповеди полной я был тогда не в силах, да и теперь вряд ли в силах. Гнев на бессилие свое объясниться отозвался болезненным стоном в тех моих письмах, в которых я вам упоминал о Погодине. Этот болезненный стон вы приняли за гнев мой против Погодина. Я не хотел вас разуверять, зная, что вы не поверите словам моим. Потом и самое это желание объясниться и оправдаться во мне угаснуло. Я стал думать только о том, каким бы образом дать ощутительнее почувствовать Погодину его вину вообще, а не против меня, и показать, как можно без желанья нанести пораже-

нье человеку, поразить его, потому что едва было не случилось такое дело, за которое замучила бы его совесть[1769]. Содержа беспрестанно в голове мысль о том, как указать Погодину недостатки его, поставляющие его в неприятные отношения с людьми, я, может быть, выражался о нем сильней, чем выражается обыкновенно приятель о приятеле. И это вас поразило в статье, напечатанной в моей книге, которую я, может быть, исправил бы и облегчил, если бы рассмотрел ее перед печатаньем, но, занятый другими, более меня тогда занимавшими, я о ней просто позабыл. Во всяком случае, в статье о Погодине нет лжи, я говорил то, в чем был убежден, и как бы ни были слова и выраженья неприличны, но в основании их лежит правда, – этого и ты не можешь отвергнуть. Что же касается до слов Сергея Тимофеевича, что будто я обесчестил Погодина публично, то это совершенно несправедливо. Моей ненависти против Погодина никто не отыскал в этих словах о Погодине из людей, которым незнакомы наши отношения. Их увидели вы потому, что взглянули уже глазами предубежденными, и потому,

что вам известны многие такие обстоятельства, которые не могут быть известны читателю. Если ж кто и отыщет в них следы ненависти и озлобленья моего противу Погодина, тогда бесчестье мне, а не Погодину. Кто ж тут выиграл, я или Погодин? Кому слава, мне или ему? Разве и теперь не называют меня даже близкие мне люди лицемером, Тартюфом, двуличным человеком, играющим комедию даже в том, что есть святейшего человеку. Или, ты думаешь, легко это вынести? Это еще бог весть, какая из оплеух посильнее для того, чтобы вынести, эта ли или та, которую я дал, по вашему мненью, Погодину. Оплеуха Погодину случилась как-то сама собою, так что, уверяю честным моим словом, я даже сам не знаю, в какой степени я в ней виноват, и ожидаю еще формального обвиненья; целой половины наших грехов мы не видим, а потому и нужно, чтобы другие нам помогали, указывая их вполне. Знаю я только то, что я обрадовался тому, что эта оплеуха случилась, хотя вначале было испугался. С этих пор любовь к Погодину, которую, говорю тебе нелицемерно, я хотел насильно приобресть, вошла вдруг

сама собою в мою душу, – любовь, которой я никогда прежде к нему не имел в такой степени. Прежде я только уважал его, любил его великодушные мысли и благородство его высших стремлений, но не его самого. Я не подавал ему руки на тесную дружбу. Он первый начал меня называть «ты». У нас не было никаких сходств в наших характерах и тех симпатических маленьких наклонностей, которые делают то, что люди вдруг делаются друзьями и никогда не могут между собой поссориться. Но теперь чувствую, что между нами завяжется дружба, которой никто уже на земле не разорвет, потому что Христос станет между нами и поможет нам объясниться. В одно время с этим письмом моим к тебе я написал и к нему письмо[1770]. А потому ты спроси его, получил ли он. Что же касается до тебя, то тебе, во всяком случае, <грех>: если сердит, выскажи, но не молчи. Если ж хочешь наказать меня молчанием, то тебе вдвойне грех, потому что я просил в предисловии к моей книге простить меня и за то, что отыщется в моей книге. Если я поступил не как христианин, то разве это дает право посту-

пить и тебе не по-христиански? Уведоми меня обо всем о моей книге, ничего не скрывая, иначе дашь отчет за это богу, потому что ради господа Христа я прошу об этом. При сем письмо к сестре моей Ольге[1771], которое я прошу тебя отправить в Полтаву, в д<еревню> Василевку, вместе с проповедями Иннокентия, которые потрудись купить на мои деньги. И если деньги накопились, то отправь немедленно две тысячи сто рубл. ассигнациями, 2100 р., к моей матери, адресуя так: «Марье Ивановне Гоголь в Полтаву, а оттуда в д<еревню> Василевку. Ее высокобл<агородию>». Обнимаю тебя.

Твой *Г.*

Шевырев С. П. – Гоголю, 22 марта 1847

22 *марта 1847 г. Москва* [1772]

1847. Марта 22 дня. Москва.

Пишу к тебе за 2 часа до нашей Воскресной полночи. Надеюсь, что ты уже получил те мои письма, в которых я говорил тебе о твоей книге, и деньги, в одном из них посланные за книгу. Весьма благодарен тебе за то письмо, в котором ты высказал мысли свои о моем при-

страстии. Ты укоряешь меня в прежней моей неискренности насчет тебя, а сам относительно ко мне сделался искренним только в отплату за мою искренность. Но и за то я тебе очень, очень благодарен. Твое замечание весьма справедливо. Пристрастие мое проистекает во мне от избытка чувства над разумом. Надеюсь, что сила высшая, всеобнимающая, мне поможет победить слепоту чувства – и ни о чем я теперь относительно себя не молю так бога, чтоб он успокоил чувство мое и прояснил мысль мою. Действие этой молитвы я уже в себе заметил и питаю надежду на исправление. Особенно в течение публичных лекций моих я испытал на себе это; но тут другие препятствия – самолюбие, питаемое во мне всеми моими слушателями. Вот гидра, с которою надобно бороться беспрерывно. Сломишь одну голову, вырастают сотни. Ух как трудно! Просто отчаяние берет. Тут уж решительно сам ничего не можешь сделать: вот здесь-то сам пропал совершенно. Да и нельзя: не в природе человека против себя действовать, не в природе нашей налагать на себя руку. Самоубийство – сумасшествие. Вот тут-то

без высшей силы ни шагу не ступишь вперед. Коль она не поможет, никто не поможет. Последнее замечание и тебе необходимо. Ты менее грешен в этом, чем я, потому что ты имел более славы, чем я. Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. Потому в тебе и должно быть его больше, чем во мне. Но на всякого своя доля. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда так не бывает чудовищно, как в соединении с верою. В искусстве, в науке, во всяком деле человеческом оно может значить и принести плод даже, а в вере оно уродство. Но несмотря на то, тут выйдет прок. Тебе надобно было высказаться. Книга твоя проистекла все-таки из доброго и чистого источника, а что из доброго источника проистекает, то непременно к добру и приведет. Последнее письмо твое еще более убедило меня в этом. Ты обидел Погодина. Обидевший обыкновенно не любит обиженного, но ты теперь-то и начинаешь любить его. В добрый час! Теперь, конечно, ты можешь быть ему полезен. Но, мне кажется, ты должен публично сознаться в том, что его

обидел. Ты говоришь, что и забыл о словах оскорбительных, какие были в письмах твоих о Погодине, потому что был занят чем-то важнейшим. Да разве о таких вещах забывают и что же может быть этого важнее?! Тут же ты читаешь урок: слово гнило да не исходит из уст ваших! – а сам, говоря о человеке близком, сказал такое слово, которое забыл. Сказать человеку, что он 30 лет работал, как муравей, по пустякам и что ни один человек не сказал ему за то спасибо, сказать такую неправду и забыть еще, что сказал, – все это у тебя нипочем. Ты не встретил ни одного признательного юноши: ну да что же делать, если ты не встретил? Еще Погодин виноват, что печатал многие материалы литературные, что радовался всяким строкам великого человека[1773]. Как решить о великом человеке: какая строка дорога? какая нет? Если бы иная и сбавила величия, не мешает. Все в человеке великом поучительно, и потому не беда, если Погодин печатал и то, что тебе кажется пустяком, а что другому не покажется. Но довольно о том. Ты написал Погодину нежное, дружелюбное письмо. Теперь, когда ты полюбил

его, говори ему о его недостатках, и теплое слово твое, конечно, подействует лучше, нежели черствые выходки в твоих письмах и надписях.

Много явилось статей о твоей книге. Петербургских я почти не читал, за исключением статьи Белинского в «Современнике»[1774]. Он на тебя злится за книгу – и только. Бедный Белинский в злой чахотке. В Петербурге все тебя ругали, за исключ<ением> Булгарина, который обрадовался случаю оправдаться и сказал: «Вот видите! ведь я правду говорил, что сочинения Гоголя никуда не годятся. Вот он и сам то же говорит»[1775]. Здесь вышло две статьи. Одна в «Листке», Григорьева, с сочувствием к тебе. Другая, самая сильная статья против тебя из всего до сих пор напечатанного, статья Павлова[1776]. Она возбудила во многих сочувствие, и много об ней говорят. Все статьи московские к тебе посылаю по почте. Может быть, они вызовут тебя к ответу. Павлов печатает ряд писем и разбирает всю книгу твою по косточкам. Может быть, и я скажу свое слово, когда переслушаю всех[1777].

Главное справедливое обвинение против тебя следующее: зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? зачем ты пренебрег даром божиим? В самом деле, ведь талант дан тебе был от бога. Ты развил его, ты не скрыл его в землю. За что же пренебрегать тем? Ты таким пренебрежением оскорбляешь и бога, оскорбляешь и людей, которые в тебе любовались этим талантом и его ценили. Как хочешь, это внушение гордости личной, гордости духовной, против которой ты сам же говоришь на последних страницах твоей книги. Возвратись-ка опять к твоей художественной деятельности. Принеси ей опять твои обновленные силы. Твой комический талант еще так нужен в нашей России, и нужен именно против того врага, с которым ты борешься. Конечно, прежде ты иногда шалил им. Но эти шалости понятны в поэте нашей эпохи. У Гомера в «Илиаде» боги ведут себя всегда чрезвычайно дурно, бранятся и дерутся, когда люди предаются злобе, гневу и терзают друг друга. Боги греческие – поэты или поэзия. Так и поэзия ведет себя дурно, дерется и бранится, когда у людей скверно идет дело. Таков Ари-

стофан. Таков был и ты. Твоя поэзия также дралась, ругалась, шалила, как боги греческие, как Юнона, Марс, Венера. Но ты мог бы теперь высокую комедию, всю силу смеха, которым ты одарен, обратить на самого дьявола. Раз случилось мне говорить с одним русским, богомольным странником, который собирался в Иерусалим и был у меня. Звали его Симеон Петрович. Рыженький старичок. У меня записана в книге вся его беседа, но есть в ней особенно одни слова, которые тебе принадлежат как комику. Выписываю из моей книги: «Весьма иронически и всегда с насмешкой говорил он о дьяволе, называя его дураком: «В яме сидит, дурак, сам и хочет, чтобы и другие туда же засели. Прямой дурак!» Вот мысль русского и христианского комика: дьявол первый дурак в свете и над ним надобно смеяться. Смейся, смейся над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен. Ведь в самом деле, все глупости людей от него. Показывай же людям, как он их путает, как они от него глупеют, мелеют, как и великое он у них отнимает! Ведь это запас неистощимый для комика русского! Ведь даже не

одна Россия, но весь мир может войти в твою комедию. Ты пишешь ко мне, что ты путем разума, путем скорее протестантским, дошел до Христа: итак, если разум для тебя во Христе, то неразумие и вся глупость должны быть в человекоубийце, во враге его. Итак, преследуй врага твоим неистощимым, чудным хохотом, и ты совершишь доброе дело людям в пользу вечного разума, который во Христе. Христос растворит твое сердце любовию, которая внушит тебе и высокие создания. Перед тем, как писать к тебе, я прочел опять твое «Светлое Воскресенье»[1778]. Во имя его, – и вот уже гремит оно по Москве, – прошу тебя: возвратись к искусству. Не заставь людей в России говорить, что церковь и вера отнимают у нее художников и поэтов. Спешу к заутрене. Обнимаю тебя. Христос воскресе!

Твой *С. Шевырев*.

К матери твоей отослал 2100 р. асс. из денег, выручен<ных> за сочинения; а после вложу из «Мертвых душ», когда накопятся. К сестре твоей письмо отослал. Иннокентия

проповедей нет: все издание истощилось.

В день праздника получил письмо твое, которое было для меня истинным подарком. Тут вложено и письмо к Малиновскому[1779]. Исполню, исполню твое желание. Буду писать к тебе чаще и пришлю тебе подробный отчет о всех толках, касающихся до твоей книги. Я чувствую теперь большую потребность писать к тебе. Каждое письмо твое еще более ее умножает во мне.

Гоголь – Шевыреву С. П., 15(27) апреля 1847

15 *(27) апреля 1847 г. Неаполь* [1780]

Апреля 27. Неаполь.

Благодарю очень за милое письмецо твое от 22 марта. Мне было так приятно читать его! Прежде всего поговорим о Погодине, то есть о моем печатном отзыве о Погодине. Позабыл я <о> моих словах потому, что, право, не думал писать их в том смысле, в каком они кажутся тебе (хотя я сам изумился резкости слов моих, когда прочел в печати). Причиной неверности твоего вывода моя же статья. Таково действие всякого сочинения, в котором

рассматривается половина дела, а не все дело. Умолчавши о достоинствах, вывести недостатки – всегда будет казаться отверженьем и непризнаньем достоинств. Я вовсе не хотел попрекнуть Погодина за то, что он работал тридцать лет, как муравей, но за то, что он не умел поступить так, чтобы увидали все, что он тридцать лет, как муравей, работал для добра. Статьи этой не нужно уничтожать, но вслед за ней я помещу письмо к тебе, под заглавием: «О достоинстве сочинений <и> литературных трудов Погодина»[1781] – и мы увидим, в состоянии ли эти недостатки затмить те его достоинства, которые принадлежат ему одному и которых никто другой не имеет. Мы рассмотрим также и то, умеет ли теперь кто-нибудь из нас так любить Россию, как любит он. Поверь, что статья эта теперь будет гораздо полезней для сочинений Погодина. Тем более, что после моих жестких слов о Погодине меня никто не станет упрекать в лицеприятии. Я не отрекусь от моих нападений, но рядом с ними выставлю только, что следует взять на вески, когда произносишь полный суд над человеком. Скажу тебе также

несколько слов о замечании твоем в прежнем письме на статью мою «О лиризме русск<их> поэтов» и о всем, что ни сказано о монар<хической> власти по поводу стихотвор<ения> Пушкина. Я не отвечал на это потому, что, не имея моей книги, не знал, в каком виде напечатана эта статья. Теперь, скрепясь духом, пробежал. Это просто бессмыслица. Статья эта и у меня в рукописи выходила довольно темна, а с этими, непонятными даже для меня, обрезываньями цензуры даже таких мест, которых непропуск можно только приписать к какому-нибудь особенному умыслу самой цензуры, – просто путаница. Не говоря о разных вещах поважнее, прилагаю тебе здесь непропущенный листок, служащий ответом на твой запрос о стихотворении Пушкина[1782]. Несмотря на всю неприятность, которую с первого раза нанес мне жалкий вид статьи моей и толки, разнесшиеся в публике, о моем низкопоклонстве, я потом не только успокоился, но даже обрадовался и жду только того, чтобы на меня побольше напали со всех сторон за эту статью и, если можно, даже в Европе. Тогда только я получу голос и, в ви-

де оправданья, могу заговорить наконец о том, каким образом богатством милости и всепрощающей любви может уподобиться монарх богу. Много есть вещей, которых по тех пор не найдешься, как сказать, покуда не нападут на тебя. Мысль статьи этой была добрая. Поверь, что нам всем следует уметь прощать и помнить ежеминутно о том, что уменьем прощать мы более всего можем уподобиться богу.

Слово о моем отречении от искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть было, хотя некоторые, какие страдания я должен был выносить из любви к искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не в силах был, когда из самого предисловия моего к второму изданию «Мертвых душ» видно, как я занят одною и тою же мыслью и как алчу забрать тех сведений, которые мне нужны для моего труда. Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства, виноват ли я в этом? Что ж делать, если за-

ставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? Виноват тот, без воли которого не совершается ни одно событие.

Появление моей книги, несмотря на всю ее чудовищность, есть для меня слишком важный шаг. Книга моя имеет свойство пробного камня: поверь, что на ней испробуешь как раз нынешнего человека. В сужденьях о ней непременно выскажется человек со всеми своими помышлениями, даже теми, которые он осторожно таит от всех, и вдруг станет видно, на какой степени своего душевного состояния он стоит. Вот почему мне так хочется собрать все толки всех о моей книге. Хорошо бы прилагать при всяком мнении портрет того лица, которому мнение принадлежит, если лицо мне незнакомо. Поверь, что мне нужно основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во время бала или гулянья. Иначе у меня долго еще будет все невпопад, хотя бы и возросла способность творить. Я очень жалею, что не попали в мою книгу письма к разным должностным и государственным людям. Меня бы, конечно, тогда

разбранили бы еще больше. Сказали бы еще более: не в свое дело залез и впутался, но тем не менее по поводу этих статей обнаружилось бы передо мною многое внутри России. И многие, в желании доказать мне мои ошибки, стали бы рассказывать те вещи, которые именно мне нужны. А этих вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека, покуда не рассердишь, не заставишь заговорить. Он все будет лежать на боку и требовать, чтобы автор попотчевал его чем-нибудь примиряющим с жизнью (как говорится). Безделица! как будто можно выдумать это примиряющее с жизнью. Поверь, что какое ни выпусти художест<венное> произведение, оно не возымеет теперь влиянья, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые нам нужны теперь в нынешнее время. Не будет сделано этого – его убьет первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма[1783]. Слова твои о том, как черта вы-

ставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом. Я бы очень желал знать, откуда происхожденьем тот старик, с которым ты говорил. Судя по его отзыве о черте, он должен быть малороссиянин. Жду с нетерпением всех печатных критик. Отныне адресуй все к Жуковскому. Из Неаполя отправляюсь на днях. Июнь буду близ Франкфурта на водах. Конец июля, весь август и начало сентября буду на морском купанье в Остенде, которое одно доселе мне помогало. Осенью вновь в Неаполь затем, чтобы оттуда на Восток. Не позабудь прислать с какой-нибудь оказией те книги, о которых я просил, то есть русские летописи и «Русские праздники» Снегирева. А если накопятся деньги, то памятники раскрашен<ные> Москвы Снегирева[1784]. При сем отдай письмо Щепкину[1785] и напиши мне, что он скажет на него в ответ. Обнимаю тебя от всей души. Ради бога, не забывай меня и пиши ко мне. Письма ко мне любящих меня – сущие для меня благодеяния, почти то же, что милостыня

нищему.

Не сердись на мой дурной почерк, изломанный слог, недописки и поправки. Не позабывай, что это неотлучные приметы человека, который еще строится и хлопочет около своей постройки.

Шевырев С. П. – Гоголю, 16 апреля 1847

16 *апреля 1847 г. Москва* [1786]

Вот тебе и второе письмо Павлова, любезный друг. Извини, что не пишу к тебе, как бы хотел. Дай срок, окончу скоро свой публичный курс. Тогда буду свободнее. Покамест посылаю тебе все здесь о тебе напечатанное. Обнимаю тебя. Твой *С. Шевырев*.

Апр. 16. 1847. Москва.

У великого князя наследника[1787] родился сын Владимир, и вчера Москва праздновала новорожденного.

Книга твоя, там что ни пиши, говорят, вся разошлась. Выхлопотал ли ты новое издание в том виде, как хотел?[1788]

Второе письмо Павлова произвело менее действия. Говорят, что он тебя разбирает юри-

дически, как стряпчий[1789]. Нравится это так называемой ультразападной партии, которая на тебя сильнее всех рассердилась за книгу.

Гоголь – Шевыреву С. П., 13(25) мая 1847

13 *(25) мая 1847 г. Марсель* [1790]

Марсель. 25 мая.

Перед самым выездом из Неаполя получил твои два пакета со вложением двух критик из газет и маленькой твоей записочки[1791]. Благодарю тебя за все это много, бесценный друг мой. Переписывать статьи прежние не трудись. Некоторые я получил, то есть те, которые напечатаны в первых двух номерах «Современника» и «Отечественных записок»[1792]. Я бы очень желал, однако ж, знать, что сказано обо мне в «Библиотеке для чтения»[1793] и во второстепенных журналах, как-то: «Иллюстрации», «Литературных прибавлениях» – и не было ли чего в «Инвалиде». Все это мне важно не ради толков о мне самом, но ради желанья знать, на какой высоте собственного мышления своего стоит ныне действительно всяк из пишущих, а за ним, разумеет-

ся, часто и публика, его читающая. Книга моя, несмотря на все ее грехи, есть удивительный оселок для испробования нынешнего человека. Повторяю это тебе вновь и советую проверить истину слов моих на всех тех людях, с которыми тебе ни случится столкнуться. И потому, как ни пусты означенные критики, ты все-таки постарайся переслать мне их. Теперь же это можно с оказией: с весной подымается, вероятно, много людей из Москвы. Передать они могут во Франкфурте или Жуковскому, или мне самому, а я до июля последних чисел в Остенде.

Заплачено за оба твои письма, если не ошибаюсь, два пиастра с чем-то. Вышло несколько дороже оттого, что письма ко мне пришли посредством банкира. Впрочем, если бы стоило впятеро больше, я заплатил бы охотно. Деньги эти для меня совсем не потеряны. Напротив, я остаюсь только в больших барышах. Статья Григорьева, довольно молодая, говорит больше в пользу критика, чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений. Временный гегелизм пройдет, и он станет

ближе к тому источнику, откуда черплется истина. Статья Павлова говорит тоже в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги. Я бы очень желал видеть продолжение этих писем: любопытствую чрезмерно знать, к какому результату приведут Павлова его последние письма. Покуда для меня в этой статье замечательно то, что сам же критик говорит, что он пишет письма свои затем, чтобы привести себя в то самое чувство, в каком он был пред чтением моей книги, и сознается сам невинно, что эта книга (в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь[1794]) сбила, однако же, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) нормального[1795]. Хорошо же было это нормальное положение! Он, разумеется, еще не видит теперь, что этот возврат уже для него невозможен и что даже в этом первом своем письме сам он стал уже лучше того Павлова, каким является в своих трех последних повестях[1796]. Пожалуйста, этого явления не пропусти из виду, когда восчувствуешь желанье сказать также несколько слов по поводу моей книги. Когда же будешь пи-

сать критику, то обрати внимание на главные предметы книги, о которых рассужденья только и могут доставить пользу обществу, а не какие-нибудь пункты завещания, относящиеся к моей личной оригинальности, бесполезной для публичных трактатов. Имей в виду не защиту меня, но защиту добра, и тогда статья твоя сделает гораздо более добра мне самому. Ты можешь уже и сам, я думаю, почувствовать, что каков я ни есть, но любовь к добру все-таки у меня сильнее, чем любовь к собственной личности моей, несмотря на то что последняя выразилась у меня, по мнению многих, весьма ярко в моей книге. Относительно последнего обстоятельства скажу тебе всю правду. (Правды этой, однако ж, не надобно пускать в ход; она пусть будет между нами.) Я разъял себя анатомически, рассмотрел себя строго и расспросил себя еще раз, поставляя себя мысленно как бы пред суд самого того, кто будет судить меня, и вижу, что этой личной любви нет; виной всему моя твердая вера в свое будущее, которое произошло от сознанья сил своих. Я чувствовал всегда, что я буду участник сильный в деле общего добра и

что без меня не обойдется примиренье многого, между собою враждующего. Об этом следовало бы молчать – тем более, что я всегда чувствовал, что это последует только тогда, если я воспитаю себя так, как следует; но что ж, если у молодых сил нет столько благоразумия, чтобы уметь до времени не похвастаться? Но как бы то ни было, когда будешь писать критику, имей в виду дело общего добра, а не меня; гляди на то, чтобы не сказать чего-либо противного добру, а не мне, и умей обратить внимание на важное и главнейшее, на то, что более нужно и полезно обществу. Пусть критика будет не длинна и не охватывает многого, но пусть скажет о некотором, но многозначительном. Скажи об этом и Хомякову, если он захочет что написать. Напечатать, по-моему, следует непременно в двух газетах: в «Московских ведомостях» особенно, а потом и в «Листке», а подписать: «Из такой-то газеты». Нужно всячески стараться о том, чтобы значительные и полезные статьи разошлись не только в равном числе с теми, которые легко расходятся, но даже в большем.

Я получил известие, что Вяземский, кото-

рый принимает участие большое в моей книге, готовит также письмо[1797]. Я это отчасти предчувствовал. Обыкновенно заваривают сраженье прежде мальчишки, а потом выходят тузы, обсмотревшие хорошенько и спокойно, с кем и против чего следует воевать…

Шевырев С. П. – Гоголю, 14 июня 1847

14 *июня 1847 г. Москва* [1798]

Июня 14/26 1847. М<осква>.

Посылаю тебе, любезный друг, два письма, полученные на твое имя, одно из них от Малиновского[1799], и копию с 4-го письма Павлова о твоей книге. Третье письмо Павлова не было не только напечатано, но даже и написано[1800]. Так мне сказывал автор, которому я это выговаривал, особенно после того, как в публике разошелся слух, что третьего письма не пропустила цензура. Я не понимаю, почему он нарушил порядок числительный. Недавно я послал тебе по твоей просьбе 3 тома летописей и «Русские праздники» Снегирева. Все это доставит тебе кн. А. Волконский, который уже извещал меня из Варшавы, что получил эти книги от Похвиснева, который

их взял с собою. Лежат у меня еще «Пословицы» Снегирева для тебя, да не знаю, с кем их отправить, а тогда не мог достать. Первой оказии не пропущу.

На письма твои буду отвечать следом. И без того пакет велик. Мне нравится твое расположение духа. Ответ Павлову очень значителен. Требование примиряющего с жизнию от лежащих на боку много меня рассмешило. Щепкин не решился собраться к тебе. Я его понукал[1801]. Он, как думаю, находится под разными влияниями издателей «Современника», тебе не сочувствующих. В нем есть какая-то перемена не совсем в его выгоду как художника и как старика. Хорошо бы было, если бы ты сам за него взялся. А вы оба были бы друг другу полезны. Я собираюсь в путь. Скажу после.

Твой *С. Шевырев*.

Мой 2-й выпуск[1802], верно, уже есть у Жуковского.

Гоголь – Шевыреву С. П., 25 июня (7 июля) 1847

25 *июня (7 июля) 1847 г. Франкфурт* [1803]

Франкфурт. 7 июля.

Два письма твои, со вложением писем и двух критик Павлова, получил. Не знаю, как благодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Мне просто становится даже совестно. Ты так добр, а я еще ни в чем не показал тебе свою признательность. Обе критики Павлова значительно слабее первых, а главное, как мне показалось, в них не слышна необходимая потребность душевная писавшего или даже какая-нибудь иная цель, кроме желанья несколько порисоваться самому перед публикою. Изо всех отзывов я вижу только то, что мне следует отвечать на один вопрос, который, кажется, есть всеобщий: зачем я оставил поприще писателя или переменил направление его? На это мне следует сделать чистосердечное изъяснение моего авторского дела[1804], чтоб читатель видел сам, оставлял ли я поприще, переменял ли направление, умничал ли сам, желая изменить себя, или есть посильнее нас общие законы, которым мы подвержены, все бедные человеки...

Гоголь – Шевыреву С. П., июль 1847

Июль 1847 г. Франкфурт или Остенде [1805]

Несколько слов о Малиновском. В нем, сколько могу судить из длинного письма его, должно быть очень много хорошего. А судя по толстой серой бумаге, на которой писано письмо его, он должен быть не богат. Купи на мой счет стопу самой тонкой почтовой бумаги и подари ему от себя на описанья современного народа, проходящего перед его глазами по поводу «Мертвых душ». Если в его записках, которые не позабывай присылать ко мне аккуратно по почте (на оказию и комиссии не надейся), окажется что-нибудь такое, что можно напечатать, то прикажи наскоро списать его и напечатать потом в «Москвитянине» или другом журнале. Тогда весьма кстати можно будет прицепиться к оказанью денежного вспомоществования в виде оплаты за статью от журналиста или от тебя как соучастника и сотрудника в журнале. Таким же образом можно поступать и с другими талантливыми студентами, заставляя их охотнее сочинять, переводить и даже соблюдать

жизнь и дух общества. Сообщаю все это тебе только для соображения, в твердой уверенности, что ты лучше моего сумеешь сделать умней и лучше. При сем передай следуемое письмецо Малиновскому[1806].

Определи из моих денег, выручаемых за «Мертвые души», сумму на пересылку мне по почте всякого рода писем. Около 500 рублей ассигнациями назначь для этого непременно и никак не позабывай присылать мне всякую статью из журнала обо мне, приказавши переписать мелким шрифтом на мои деньги, и все высылай по почте.

Гоголь – Шевыреву С. П., 6(18) декабря 1847

6 *(18) декабря 1847 г. Неаполь* [1807]

Декабря 18. Неаполь.

Письмо мое от 2 декабря ты уже, без сомнен<ия>, получил. Хочется еще поговорить с тобой. Я прочел вторую книжку твоих лекций. Она еще значительней первой, это ты чувствуешь, вероятно, и сам. В ней ощутительней и ближе показывается читателю дело. Но и в ней проглядывает поспешность по-

делиться с читателем всем, даже и тем, что еще для самого себя видится несколько в отдаленной перспективе, – общий порок всех идущих вперед людей! Что для себя еще перспектива, пусть и останется в себе. Говорить нужно только о том, к чему уже пришел совершенно. Увы! я узнал это на опыте. Еще, мне кажется, не нужно читателю говорить вперед о всей огромности того горизонта, который намерен захватить своею книгою. Лучше высказать ему словесно скромнейшее и более частное намерение, а книга пусть ему сама собой обнаружит этот горизонт. Мне кажется, можно было не говорить вперед: «Я хочу показать всего русского человека в литературе», разве прибавивши: «насколько он в ней выразился». А вместо того просто раскрыть своей книгой действительно всего русского человека, как ты, вероятно, и сделаешь, но что не всякий может покуда смекнуть даже из тех, кому нравится твоя книга. Ты не можешь себе представить, как сердит всякого человека, не дошедшего до нашей точки зрения, похвальба открыть то, что ему еще не открыто и чье существование, разумеется, он

должен отвергать как несбыточное. Его бесит это, как бесит ложь, проповедываемая с видом истины, и бесит еще более, когда он видит, как увлекаются другие. Увы! весь неуспех доброго дела от нас, и всему виноваты мы сами. Как трудно умерить себя! Как трудно сделать так, чтобы в творенье нашем дело выступало само и говорило собою, а не слова наши говорили о деле! Как трудно также уберечься от этих двух-трех выходок, которые проскользнут где-нибудь в книге, на которые упершись читатель уже подымает войну противу всей книги! А человек так всегда готов, выражаясь не совсем опрятной пословицей: «Рассердясь на вши, да всю шубу в печь!» Мне особенно понравилось, что ты развил в своей книге мысль о безличности наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе. По прочтении твоей книги передо мною обнаружилось еще более мое собственное безрассудство в моей «Переписке с друзьями». Я уже давно питал мысль – выставить на вид свою личность. Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабо-

сти и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя. Я совершенно упустил из виду то, что это имело бы успех только в таком случае, если бы я сам был похож на других людей, то есть на большинство других людей. Но выставить себя в образец человеку, не похожему на других, оригинальному уже вследствие оригинальных даров и способностей, ему данных, это невозможно даже и тогда, если бы такой человек и действительно почувствовал возможность достигать того, как быть на всяком поприще тем, чем повелел быть человеку сам богочеловек. Я спутал и сбил всех. Поэтические движения, впрочем сродные всем поэтам, все-таки прорвались и показались в виде чудовищной гордости, не<со>вместимой никак с тем смиреньем, которое отыскивал читатель на другой странице, и ни один человек не стал на ту надлежащую точку, с которой следовало глядеть на эту загадочную книгу. Гляжу на все, дивлюсь до сих пор и думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состо-

яние без этой публичной оплеухи, которою я попотчевал самого себя в виду всего русского царства. Только теперь чувствую силу того, что говоришь в книге твоей о личности писателя. Прежде я бы не понял и долго бы из-за моих героев показывал бы непережеванного себя, не замечая и сам того. Напиши мне, пожалуста, как идет в продаже твоя книга и сколько экземпляров было напечатано. Затем к тебе просьба вот какая. Пошли из моих денег, выручаемых за «Мертвые души», сто рублей ассигнациями, при следуемом здесь письмеце[1808], сестре Ольге, если можно, не откладывая времени. А на другие сто рублей ассигнациями накупи книг такого рода, которые могли бы отрока, вступающего в юношеский возраст, познакомить сколько-нибудь с Россиею (отрока лет тринадцати), как-то: путешествия по России, история России и все такие книги, которые без скуки могут познакомить собственно со статистикой России и бытом в ней живущего народа, всех сословий. Я не знаю и не могу теперь припомнить, что у нас выходило хорошего по этой части. Но нельзя, чтобы не вышло чего-нибудь в по-

следние года, где бы посущественней и поближе показывалось внутреннее состояние государства и что могло бы легко и с интересом читаться детьми. Начни тем, что купи у самого себя лекции русской литературы, вышедшие доселе выпуски, и записки твоего путешествия, если только они выйдут[1809] (я жду их с большим аппетитом: мне кажется, что эта книга будет больше для меня, чем для всякого другого). Купивши все такие книги, уложи их в ящик и отправь в Полтаву на имя сестры моей Анны. Прости, что обременяю тебя такими скучными хлопотами и пользуюсь безгранично твоей добротой. У меня есть племянник[1810], почти брошенный мальчик, которому получить воспитанья блестящего не удастся, но если в нем чтеньем этих книг возбудится желанье любить и знать Россию, то это все, что я желаю; это, по-моему, лучше, чем если бы он знал языки и всякие науки. Об участи его я тогда не буду заботиться: он, верно, и сам пойдет своей дорогой и будет добрым служакой где-нибудь в незаметном уголку государства. А этого и предовольно для русского гражданина. Все прочее может посе-

лить только заносчивость в бедном человеке. Присоедини к этому русский перевод Гуфланда о сохранении жизни[1811]. Он существует. Поручи книгопродавцам отыскать его. У меня есть одна сестра, которая воспиталась сама собою в глуши[1812]. Языка иностранного не знает. Но бог наградил ее чудным даром лечить и тело, и душу человека. С семнадцатилетнего возраста она отдала себя всю богу и бедным и умерла для всего другого в жизни. Она лечит с необыкновенным успехом всякими травами, которых целебное свойство открыла сама, и часто молит бога, чтобы заболеть, – затем, чтобы испытать на себе самой новые придуманные ею средства. Читать ей медицинских книг не следует; пусть ее ведет натура. Но ей нужна такая книга, которая бы дала ей ближайшее понятие вообще о природе человека, как в нем движется кровь, как переваривается пища, и прочее. Пожалуста, спроси какого-нибудь умного врача, нет ли у нас на русском такой книги, которая бы могла быть по этой части доступна простолюдину, а не какому-нибудь ученому и воспитанному человеку, в которой была бы полная и

коротенькая, понятная самому дитяти анатомия человека. Если что найдется по этой части, то, пожалуста, приложи к посылке, надписавши на книге: «Ольге Васильевне», чтобы она не замешалась с другими. Еще пошли ей же лучшее, какое у нас вышло, изъяснение литургии. Ты, верно, это знаешь. Не сердись на меня, мой добрый, за мои просьбы. Не забывай меня, пиши, пиши, как можно чаще. Ради бога, пиши.

Твой *Г.*

При сем следует также письмецо к Серг. Т. Аксакову[1813]. Хотя я уверен, что неудовольствие его на меня прошло, но тем не менее пусть он из этих строк увидит, что совсем не нужно давать серьезного, строгого толкования многим нашим словам, которые вырываются весьма часто без расчета и намерения.

Адрес мой просто: в Неаполь, poste restante.

Если хватит денег, то, пожалуста, присовокупи к книгам новую, недавно вышедшую книгу Иннокентия, в которой, говорят, очень хорошие поучительные слова, и книгу «Новая скрижаль» преосв<ященного> Вениамина[

1814]. На всех таковых книгах надпиши: «Ольге Васильевне Гоголь». А весь ящик адресуй Анне Васильевне. Письмо же с деньгами на имя Ольги Васильевны прошу тебя отправить вперед и, если можно, не медля.

Гоголь – Шевыреву С. П., 25–26 июля 1851

25*–26 июля 1851 г. Москва* [1815]

Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном[1816], ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случились истории[1817]. Очень рад, что две последние главы, кроме тебя, никому не известны. Ради бога, никому.

Обнимаю тебя.

Твой весь.

Шевырев С. П. – Гоголю, 27 июля 1851

27 *июля 1851 г.* [1818]

Успокойся. Даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии. Только раз при тебе же назвал штабс-капитана Ильина[1819], но и только. Тайна твоя для меня дорога, поверь. С нетерпением жду 7-й и

8-й главы. Ты меня освежил и упоил этим чтением. Бодрствуй и делай. 1-го августа я в Москве. Обнимаю тебя.

Твой душевно *С. Шевырев*.

Июля 27.

Гоголь и Н. М. Языков

Вступительная статья

Николай Михайлович Языков (1803–1846) – один из крупнейших лириков эпохи, вошедшей в историю как «золотой век» русской поэзии. Широкая известность пришла к Языкову в 1820-е годы. Тогда же завязываются его личные отношения с наиболее видными писателями нового поколения – А. А. Дельвигом, Е. А. Баратынским, А. С. Пушкиным, который высоко ценил Языкова и видел в нем своего литературного союзника. Как представителя пушкинского круга поэтов воспринимал Языкова и Гоголь.

В 1829 году Языков переезжает в Москву, где особенно тесно сближается с группой будущих участников славянофильского движения – И. В. и П. В. Киреевскими, А. С. Хомяковым, а также с М. П. Погодиным. Конец 1820–

начало 1830-х годов – время расцвета языковского дарования, наивысшего признания его творчества. Именно к этому периоду относятся и первые из сохранившихся гоголевских отзывов о поэте.

Известно, что произведения Языкова входили в круг чтения нежинских лицеистов (Шенрок, т. 1, с. 91). Как о поэте не только любимом, но и хорошо знакомом пишет о нем Гоголь 1 января 1832 года, посылая своему гимназическому товарищу А. С. Данилевскому альманах «Северные цветы»: «Тут ты найдешь Языкова так прелестным, как еще никогда <...>». Несколько подробнее творчество поэта характеризуется в письме Гоголя к тому же адресату от 30 марта 1832 года: «<...> стихи Языкова <...> эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами». По свидетельству П. В. Анненкова, познакомившегося с Гоголем еще в начале 1830-х годов, Языков, наряду с Пушкиным и Державиным, был одним из его любимых поэтов: «Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его (Гоголя. – А. К.) до

глубины сердца. <...> Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова» (Анненков. Лит. восп., с. 62).

Языков, в свою очередь, с интересом и сочувствием следил за творческим развитием Гоголя. Внимание поэта привлек уже его первый прозаический цикл. «Вечера на Диканьке» сочинял Гоголь-Яновский, – сообщает он 22 декабря 1831 года брату Александру Михайловичу. – <...> Мне они по нраву: если не ошибаюсь, то Гоголь пойдет гоголем по нашей литературе: в нем очень много поэзии, смышлености, юмора и проч.» (Пушкин. Исследования и материалы, т. 11. Л., Наука, 1983, с. 281). Убеждение в значительности гоголевского таланта крепнет у Языкова по мере выхода новых произведений писателя. Вскоре после появления сборника «Миргород» он пишет брату П. М. Языкову и его жене: «Очень рад, что вам понравились повести Гоголя, – это прелесть! Дай бог ему здоровья, он один будет

значительнее всей современной французской литературы – не выключая и Бальзака! » (28 июня 1835 г. – ЛН, т. 58, с. 547). О «Мертвых душах» поэт отзывается как о сочинении, «полезном нашему любезному отечеству», «живом зеркале» русской провинциальной жизни (ЛН, т. 58, с. 634). И лишь предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», отразившее гоголевский кризис середины 1840-х годов, Языков воспринимает с неодобрением (ЛН, т. 58, с. 690–691).

Зрелые годы Языкова были омрачены тяжелой болезнью, справиться с которой ему так и не удалось. В 1838 году после безуспешного лечения на родине поэт уезжает за границу. 18 (30) июня 1839 года в немецком курортном городке Ганау произошла первая встреча Языкова с Гоголем (ЛН, т. 58, с. 560). Начало же близкой дружбы между писателями относится к сентябрю 1841 года, когда они вместе живут на курорте в Гаштейне. Возникшая симпатия оказывается настолько сильной, что у новых друзей появляется намерение (оно осталось неосуществленным), вернувшись в Москву, поселиться в одном доме.

Часто встречаются они и в последующие годы: подолгу живут вместе в Гаштейне и Риме, путешествуют по Италии... Последняя встреча Языкова и Гоголя произошла в Гаштейне весной 1843 года – летом того же года поэт возвращается на родину.

Тесная дружба Языкова и Гоголя была подготовлена многими обстоятельствами – единством литературного круга, к которому они принадлежали, сочувственным отношением к творчеству друг друга, близостью идейных и эстетических позиций («Наши мысли и вкусы были почти сходны», – напишет Гоголь вскоре после смерти поэта. – Акад., XIII, с. 213), наконец, прекрасной «совместимостью» характеров. Взаимоотношения писателей, практически, не омрачались какими бы то ни было конфликтами. В их письмах мы находим немало прямых указаний на особую сердечность связавших их отношений. Близко сходится Гоголь и с родными Николая Михайловича – его братом П. М. Языковым, сестрой Е. М. Языковой-Хомяковой (см.: Аксаков, с. 219–220).

Общение писателей оставило заметный

след в их творческих судьбах. Особенно серьезное влияние оно оказало на мировоззрение и литературную деятельность Языкова. Это воздействие Гоголя находит объяснения как личного, так и творческого характера. С середины 1830-х годов Языков-поэт переживает кризис, лишь отчасти связанный с болезнью. Затянувшиеся и не приносящие ощутимого результата поиски, несбывшиеся литературные планы, постепенное сужение круга читателей рождают у него чувство растерянности. Вот почему Языков, прежде столь ревниво относившийся к своей творческой независимости, с готовностью и надеждой воспринимает гоголевские уроки. Не менее существенно идейное родство обоих авторов. Языкову близка владеющая в тот период Гоголем мысль о религиозно-нравственном воспитании общества силой искусства. Подкрепленные гоголевским авторитетом, приобретают особую весомость уже жившие в сознании Языкова представления об учительской миссии художника, его ответственности перед современностью. Ободрение великого писателя, исключительно высоко оценивавшего мас-

штабы его дарования («Бог да хранит тебя для разума и для вразумления многих из нас», – обращался Гоголь к поэту в одном из писем в феврале 1845 года), возвращало Языкову веру в свои силы и призвание. Все это сказывается на характере его творчества последних московских лет, в котором выделяются, с одной стороны, «программные» стихотворения («Землетрясенье», «Сампсон»), с другой – «полемические послания», непосредственно обращенные к современникам и знаменитые своей беспрецедентной резкостью.

Гоголь, в целом, положительно, а подчас и горячо воспринимал новое направление языковской лирики, хотя и осуждал крайности славянофильства поэта. Произведения Языкова, его писательская судьба занимают в то время в размышлениях Гоголя важное место. Это очень ясно показывают «Выбранные места из переписки с друзьями», где Языков выступает как адресат ряда писем, а его произведения не раз упоминаются, оцениваются, привлекаются в качестве примеров, подтверждающих рассуждения автора. Данная Гоголем в его последней книге развернутая харак-

теристика языковского творчества (статья «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность») до сих пор остается непревзойденной по своей глубине, яркости и афористической точности.

Из непродолжительной по времени, но весьма оживленной переписки Гоголя и Языкова в настоящее время известны 45 писем Гоголя (1841–1847 годы) и 30 писем Языкова (1844–1846 годы). В сборник включено 19 писем Гоголя и 18 писем Языкова.

Гоголь – Языкову Н. М., 15(27) сентября 1841

15 *(27) сентября 1841 г. Дрезден* [1820]

Дрезден.

Прежде всего посылается тебе с почтою из Дрездена куча поцелуев, а что в них, в сих поцелуях, заключено много всего – ты уже знаешь. Достигли мы Дрездена благополучно[1821]. Выехавши из Ганау, мы на второй станции подсадили к себе в коляску двух наших земляков, русских помещиков, Сопикова и Храповицкого[1822], и провели с ними время до зари. Петр Михалович даже и по заре еще

перекинулся двумя-тремя фразами с Храповицким. Вообще ехалось хорошо. Думалось много о чем, думалось о тебе, и все мысли о тебе были светлы. Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу, и мне было слишком весело, ибо еще ни разу не обманывал меня голос, излетавший из души моей. Дорожное спокойствие было смущено перелазкой из коляски в паровой воз, где, как сон в руку, встретились Бакунин и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко... но мы в Дрездене. Петр Михайлович отправился к своему семейству, а я остался один и наслаждаюсь прохладой после кофия, и много всего идет ко мне: идет то, о чем я ни с кем не говорю, идет то, о чем говорю с тобою, и, наконец, один раз даже мелькнул почти ненароком московский длинный дом с рядом комнат, пятнадцатиградусною ровною теплотою и двумя недоступными кабинетами[1823]. Нет, тебе не должна теперь казаться страшна Москва своим шумом и надоедливостью; ты должен теперь помнить, что там жду тебя я и что ты едешь прямо домой, а не в гости. Тверд путь твой, и залогом

слов сих недаром оставлен тебе посох. О, верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим. Есть чудное и непостижное... но рыдания и слезы глубоко взволнованной благородной души помешали бы мне вечно досказать... и онемели бы уста мои. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит бог к человеку!.. Вот всё. Отныне взор твой должен быть светло и бодро вознесен горé – для сего была наша встреча. И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то, значит, ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолеет тебя скука и ты, вспомнивши обо мне, не в силах одолеть ее, то, значит, ты не любишь меня, и если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то, значит, ты не любишь меня... Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей в сию самую минуту, да не случится с тобой сего, и да отлетит темное сомненье обо мне, и да будет чаще сколько можно на душе твоей

такая же светлость, какою объят я весь в сию самую минуту.

Прощай. Много посылаю тебе заочных поцелуев. Уведоми меня в Москву, что ты получил это письмо; мне бы не хотелось, чтобы оно пропало, ибо оно писано в душевную минуту.

Твой *Гог.*

Гоголь – Языкову Н. М., 23 октября 1841

23 *октября 1841 г. Москва* [1824]

23 октябр. Москва.

Только теперь, из Москвы, пишу к тебе. До сих пор я все был неспокоен. Меня, как ты уже, я думаю, знаешь, предательски завезли в Петербург; там я пять дней томился. Погода мерзейшая – именно трепня. Но я теперь в Москве и вижу чудную разность в климатах. Дни все в солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души, – словом, рай[1825]. Обнимаю и целую тебя несколько раз. Жизнь наша может быть здесь полно-хороша и безбурна. Кофий уже доведен мною до совершенства, никаких докучных мух и ника-

кого беспокойства ни от кого. Я не знаю сам, как это делается, – но то справедливо, что если человек созрел для уединенной жизни, то в его лице, в речи, в поступках есть что-то такое, что отдаляет его от всего, что ежедневно, – и невольно отступаются от него люди, занятые ежедневными толками и страстями. Пиши и опиши все. Происшествий внешних у нас обоих немного, но они так много связаны с внутренними нашими происшествиями, что все для нас обоюдно любопытно. У меня на душе хорошо, светло. Дай бог, чтоб у тебя тоже было светло и хорошо во все время твоего ганавского затворничества, – я молюсь о том душевно и уверен твердо, что невидимая рука поддержит тебя здрава и здрава доставит тебя мне, и бог знает, может быть, достанется нам даже достигнуть рука об руку старости, все может сбыться.

Прощай. Целую тебя и сердцем и душою и жду письма твоего.

Адрес мой ты, я думаю, уже знаешь: в университет на имя Погодина. Письмо это не больше как передовое известие и потому такое тощее. Как обживусь, напишу подлиннее.

Гоголь – Языкову Н. М., 10 февраля 1842

10 *февраля 1842 г. Москва* [1826]

Февраля 10.

Я получил от тебя письмо, писанное ко мне от 16 декабря[1827], и за неделю пред сим получил пару твоих стихотвор<ений>[1828], чудных стихотвор<ений>, которые дунули на всех свежестью и силою; все были восхищены ими. Впрочем, об этом, вероятно, не преминут уведомить тебя все тебя любящие. Я скажу только, что, кроме всего прочего, сила языка в них чудная. Так и подмывает, и невольно произносишь: «Исполин наш язык!» Я писал к тебе мало в прежнем письме, потому что был не расположен. Я был болен и очень расстроен, и, признаюсь, невмочь было говорить ни о чем. Меня мучит свет и сжимает тоска, и как ни уединенно я здесь живу, но меня все тяготит: и здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. О! как бы весело провели мы с тобой одни вдвоем за нашим чудным ко-

феем по утрам, расходясь на легкий, тихий труд и сходясь на тихую беседу за трапезой и ввечеру. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. Я приеду сам за тобою. Мы отправимся вместе с Петром Михаловичем[1829] и Балдовым. Здоровье мое сделалось значительно хуже. Мне советуют ехать в Гастейн, как кстати![1830]

Прощай, пожимаю сильно твою руку. Я бываю часто у Хомяковых. Я их люблю, у них я отдыхаю душой[1831]. Прощай, будь здоров, бодр и не горюй ни об чем. Обнимаю и целую тебя и сгораю нетерпением то и другое произвести лично.

Твой *Н. Гоголь*.

Гоголь – Языкову Н. М., 3(15) февраля 1844

3 *(15) февраля 1844 г. Ницца* [1832]

Февраля 15. Ница. 1844.

Благодарю тебя за книги, которые ты обещаешь прислать мне с Боборыкиным. Они именно те, какие мне нужны. О «Христианском чтении» не заботься, но если бы случи-

лось каким-нибудь образом достать перевод св<ятых> отцов, изд<анный> при Троицкой лавре, то это был бы драгоценный подарок[1833]. Я, признаюсь, потому наиболее желал «Христианское чтение», что там бывают переводы из св<ятых> отц<ов>. Конец твоего письма[1834] горек. Ты уныл духом, одержим скучным и грустным расположением. Много людей, близких душе моей, чувствует в последнее время особенно грустное расположение; я сам не вовсе свободен от него. У всякого есть какие-нибудь враги, с которыми нужно бороться: у иных они в виде болезней и недугов физических, у других в виде сильных душевных скорбей. Здоровые, не зная, куда деваться от тоски и скуки, ждут, как блага, болезней, болящим кажется, что нет выше блага, как физическое здоровье. Счастливей всех тот, кто постигнул, что это строгий, необходимый закон, что, если бы не было моря и волн, тогда бы и плыть было невозможно, и что тогда сильней и упорней следует гребсти обеими веслами, когда сильней и упорней противящиеся волны. Все ведет к тому, чтоб мы крепче, чем когда-либо прежде, ухватясь за крест,

плыли впоперек скорбей. Есть средство в минутах трудных, когда страданья душевные или телесные бывают невыносимо мучительны; его добыл я сильными душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состояние, бросайся в плач и слезы. Молись рыданьем и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску. Нет горя и болезни душевной или физической, которых бы нельзя было выплакать слезами. Давид разливался в сокрушеньях, обливая одр свой слезами, и получал тут же чудное утешение. Пророки рыдали по целым дням, алча услышать в себе голос бога, и только после обильного источника слез облегчалась душа их, прозревали очи и ухо слышало божий голос. Не жалей слез, пусть потрясется ими весь состав твой; такое потрясение благодетельно. Иногда врачи употребляют все средства для того, чтобы произвести потрясенье в больном, которое одно бы только пересилило болезнь, – и не могут, потому что на многое не хватает физических средств. Много есть на всяком шагу тайн, которых мы

и не стараемся даже вопрошать. Спрашивает ли кто-нибудь из нас, что значат нам случающиеся препятствия и несчастия, для чего они случаются? Терпеливейшие говорят обыкновенно: «Так богу угодно». А для чего так богу угодно? Чего хочет от нас бог сим несчастием? – этих вопросов никто не задает себе. Часто мы должны бы просить не об отвращении от нас несчастий, но о прозрении, о проразумении тайного их смысла и о просветлении очей наших. Почему знать, может быть, эти горя и страдания, которые ниспосылаются тебе, ниспосылаются именно для того, чтобы произвести в тебе тот душевный вопль, который бы никак не исторгнулся без этих страданий. Может быть, именно этот душевный вопль должен быть горнилом твоей поэзии. Вспомни, что было время, когда стихи твои производили электрическое потрясение на молодежь, хотя эта молодежь и не имела большого поэтического чутья, но заключенный в них лиризм – глубокая истина души, живое отторгновение от самого тела души, потряс их. Последующие твои стихи были обработаннее, обдуманнее, зрелее, но лиризм,

эта чистая молитва души, в них угаснул. Не суждено лирическому поэту быть покойным созерцателем жизни, подобно эпическому. Не может лирическая поэзия, подобно драматической, описывать страданья и чувства другого. По этому одному она есть непритворнейшее выражение, истина выше всех истин, и глас божий слышится в ее восторгновении. Почему знать, может быть, томления и страдания именно ниспосылаются тебе для того, чтобы ты восчувствовал эти томленья и страданья во всей их страшной силе, чтобы мог потом представить себе во всей силе положение брата своего, находящегося в подобном положении, какого положения ты никогда бы не мог представить себе, если бы не испытал его на себе самом, чтобы душа твоя подвигнулась бы всею силою нежной любви к нему, сильнейшей, чем та любовь, которую мы стремимся показывать, чтобы душа твоя проникнулась всею силою сострадания, сильнейшего, чем наше бледное и холодное сострадание. Голос из глубины страждущей души есть уже помощь великая другому страждущему. Нет, не медной копейкой мы должны пода-

вать милостыню, медная копейка примется от того, кто на выработанье ее употребил все данные ему от бога способности. А мы разве употребили наши способности? где наши дела? Не часто ли в минуты бедствий произносит человек: «Господи, за что это приходится мне терпеть столько? Кажется, я никому не сделал зла на своем веку, никого не обидел». Но что скажет он, если в душе раздадутся в ответ на это такие слова: «А что сделал ты добра? Или ты призван затем, чтобы не делать только зла? Где твои прямо христианские дела? Где свидетельства сильной любви твоей к ближнему, первого условия христианина? где они? Увы! может быть, даже и тот, который находится при смерти, и тот не избавлен от обязанностей христианских; может быть, и тогда не имеет он права быть эгоистом и думать о себе, а должен помышлять о том, как и самыми страданьями своими быть полезну брату, может быть, оттого так и невыносимы его страдания, что он позабыл о своем брате. Много еще тайн для нас, и глубок смысл несчастий! Может быть, эти трудные минуты и томленья ниспосылаются тебе

для того, чтобы довести тебя именно до того, о чем ты просишь в молитвах, может быть, даже нет к тому иной дороги, нет другого законнейшего и мудрейшего пути, как именно этот путь. Нет, не будем пропускать даром ничего, что бы ни случалось с нами, и будем ежеминутно молиться об уясненье очей наших. Будем добиваться ответа из глубины душ наших и, что найдем там в утешение себе, да поделимся братски. Пока мой совет вот какой: всякий раз, в минуту ли скорби или в минуту, когда твердое состоянье водворится в твою душу, или в ту минуту, когда обнимает тебя всего состоянье умиленья душевного, набрасывай тот же час на бумагу хотя в виде одних иероглифов и кратких неопределенных выражений. Это очень важно. В трудную минуту ты, прочитавши их, уже приведешь себя сим самим, хотя вполовину, в состояние того умиленья, в котором ты пребывал тогда. Притом это будут зерна твоей поэзии, не заимствованной ниоткуда и потому высоко своеобразной. Если тебе сколько-нибудь удастся излить на бумагу состоянье души твоей, как она из лона скорби перешла к утешению, то

это будет драгоценный подарок миру и человечеству. Состоянье души страждущей есть уже святыня, и все, что ни исходит оттуда, драгоценно, и поэзия, изникшая из такого лона, выше всех поэзий. Прежде, когда еще не испытал я глубоких потрясений душевных и когда силы души моей еще мало были разбужены, видел я в Давидовых псалмах одно восторженное состояние духа в минуту лирического настроения, свободного от забот и беспокойств жизни, но теперь, когда больше прояснились глаза мои, слышу я в каждом слове происхожденье их и вижу, что все это есть не что иное, как излиянья нежной глубоко страдавшей души, потрясаемой и тревожимой ежеминутно и не находившей нигде себе успокоения и прибежища ни в ком из людей. Все тут сердечный вопль и непритворное восторгновенье к богу. Вот почему остались они как лучшие молитвы и до сих пор в течение тысящелетий низводят утешенье в души. Перечти их внимательно или, лучше, в первую скорбную минуту разогни книгу наудачу, и первый попавшийся псалом, вероятно, придется к состоянию души твоей. Но из твоей

души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей исшедшие, может быть более доступные для нынешнего человечества, потому что и самые страдания и скорби твои более доступны нынешнему человечеству, чем страданья и скорби Давидовы. Все, что ни написал я тебе здесь, перечти со вниманием, ибо оно писано с душевным сильным участьем и всем стремлением сердца, и потому как бы ни слабы были мои слова, но бог, облекающий в силу всякое душевное слово и доброе стремление, верно, обратит и это на твою пользу.

Еще, мне кажется, хорошо бы было тебе разделить утро на две половины. Начало каждой половины в продолжение одной четверти часа отдай на постоянное чтение одной и той же постоянной книги, по одной страничке, не более; чтоб это было непременный закон, как послушание, наложенное на послушника, то же, что после обеда Стойкович[1835]. Для первого чтения (которое должно быть поутру, сейчас после кофия) вручит тебе книгу Шевырев[1836], подобные которой я посылаю также им, как лекарство от разных душевных

беспокойств и тревог (хотя и непохожих на твои), с присовокуплением рецепта, который должен прочесть также и ты. Для второго чтения (после 12 часов) употреби Библию, начни с книги Иова. Час такой должен начинаться в одно и то же время каждый день, минута в минуту. Чрез это оба разделенные пространства времени будут наполнены лучше всякими умными занятьями и размышленьями. Прощай, обнимаю тебя всею душою. Не переставай уведомлять меня о всяком состоянии души твоей, в духе ли, просто ли нападет тоска и бездействие, или одолеет тобою совершенное нежелание писать – извещай и об этом. Нет нужды, что письмо твое будет состоять иногда из двух строчек и заключаться в таких словах: «Не хочется писать, не о чем писать, скучно, тоска, прощай!» Написавши даже и эти слова, ты, верно, уже почувствуешь некоторое облегчение.

Ответ на это письмо напиши во Франкфурт на имя Жуковского, который отныне переселяется туда, и куда я еду тоже. В Ницце не пожилось мне так, как предполагал. Но спасибо и за то, все пошло в пользу, и даже то,

что казалось мне вовсе бесполезно.

Твой *Гог.*

Не прикажешь ли передать чего Копу, с которым я буду, вероятно, теперь часто видеться?

Языков Н. М. – Гоголю, 27 февраля 1844

27 *февраля 1844 г. Москва* [1837]

Только что я собрался было писать к тебе и уселся с пером в руках, как вот принесли мне твое письмо. Спасибо, трикраты спасибо тебе за неоставление меня твоими воспоминаниями обо мне и советами: советы твои бодрят меня, давая мне какую-то надежду на будущее, на лучшее, которого я так долго ожидаю, но которого ожидаю терпеливее с тех пор, как ты мне его обещаешь. Распоряжение моими утрами – какое ты велишь – сделаю и даже начну с завтрашнего дня; вижу, предчувствую, т. е. чувствую пользу его!!

Я уже писал тебе, что Боборыкин – сей английский милорд – не оправдал моих на него надежд по части доставления тебе книг: он не взял их от меня, отозвавшись тем, что едет в

дилижансе, а прежде ведь сам вызвался: знай наших! Весною, вероятно, найдутся ездоки надежнейшие: я постараюсь исполнить твое желание еще более, чем тогда было можно; творений святых отцов, переведенных Троице-Сергиевой лаврою, – теперь выходит третье издание за прошлый год – и «Москвитянина» за 1843 пришлю; там есть отлично-прекрасная проповедь Филарета на осв<ящение> храма в оной лавре[1838] – так, как в прибавлениях к переводам св. отцов, – его же беседа на благовещение и слово в 1-й день Пасхи!! Ты их прочтешь с большим удовольствием.

Если ты видишься с Копом, то поклонись ему от меня и поблагодари за все, что он для меня сделал; он старик препочтеннейший! Скажи ему, что нынешнюю зиму все припадки моей болезни гораздо слабее прежних, несмотря на то что я сижу взаперти!! Весна и некомнатный воздух, конечно, подействует на меня благодетельно – и я авось-либо… мне хочется тут сказать «начну писать стихи», да боюсь обмануть самого себя… У нас, брат, теперь стихов пишется вообще несравненно меньше, нежели в прошлые, даже еще недав-

ние, годы; вообще литературою занимаются очень немногие, и те крайне вяло и недействительно, или не видя на нее требования, или, может быть, чувствуя, что сами они не могут пробудить его по своей слабости!! Заметно и то еще, что новое поколение пишет по-русски хуже, нежели прежние или даже предшествующее; не умеет выражаться ясно (знак, что оно не имеет в голове мысли ясной), пишет варварским слогом и немецким складом (ему до того чужд дух языка русского) и что оно не знает или не хочет знать даже слов его!! Плохая надежда на будущее!!

На днях увижусь с Шевыревым и попрошу от него книгу, которую ты поручаешь ему вручить мне, и воспользуюсь ею, точно как ты предписываешь.

Сердечно жалею, что тебе не пожилось в Ницце так, как ты предполагал, но ведь ты не просидел же всей зимы бездейственно, т. е. делал свое дело – т. е. писал много!!

Надежда Николаевна Шереметева все еще больна: часто простужается; ведь она не щадит себя для других и забывает, что у нас не Италия: теперь же и очень – пошли вдруг

сильные морозы, перемежающиеся сильными же оттепелями. Нет ничего легче, как простудиться даже человеку привычному к суровому холоду.

Получил ли ты деньги и письмо мое, посланные в Ниццу в январе по русскому стилю?

Весь твой *Н. Языков.*

Февр. 27 дня. 1844. Москва

Мой поклон Василию Андреевичу[1839]. Что «Одиссея»? Благодарю за «Наля и Дамаянти». «Ундина» лучше, ей-ей!!

Получил ли ты собрание слов от брата Петра Михайловича?[1840]

Гоголь – Языкову Н. М., 21 марта (2 апреля) 1844

21 *марта (2 апреля) 1844 г. Дармштадт* [1841]

М<есяца> апреля 2. Дармшт.

Бесценное письмо твое от февраля 12 дня[1842] я получил перед самым выездом из Ницы и потому не имел времени отвечать. Оно меня обрадовало очень. Слава богу, тебе луч-

ше. Прежнее письмо твое навело на меня печальное расположение и родило то длинное письмо, которое я послал тебе перед этим и которым я силился помочь тебе, сколько было вмочь бедным силам моим, сколько мой внутренний опыт научил меня и сколько угодно было богу вразумить меня. Теперь это письмо ты можешь спрятать подальше: оно не нужно тебе покуда. О нем можно вспомнить в какие-нибудь трудные минуты, от которых, впрочем, да хранит тебя бог.

Я вспомнил, что позабыл в этом письме исправить одну ошибку. В одном месте я пропустил почти целую строку, и оттого вышла бессмыслица. Я сказал, что в твоих последующих стихах лиризм угаснул, и позабыл сказать безделицу: лиризм, стремящий вперед не только одних поэтов, но и непоэтов, возводя их в состояние, доступное одним поэтам, и делая таким образом и непоэтов поэтами. Вещь слишком важная, ибо из-за нее работает весь мир и совершаются все события. Все стремится к тому, чтобы привести человека в то светлое состояние, о котором заранее предслышат поэты.

Пришли мне, пожалуйста, повелев прежде хотя, положим, Сильверсту списать для меня, оду твою к Давыдову, напечатанную в «Московском наблюдателе», и «Тригорское»[1843]. То и другое мне теперь очень нужно для некоторой статьи, уже давно засевшей в голове. Хорошо бы было прислать и весь том твоих сочинений[1844]. Как мне досадно, что Боборыкин оказался пыщ и не взял тех книг, которых так сильно желала бы душа. Нельзя ли их поскорей нагрузить на кого-либо другого? Теперь же доставить их весьма легко в мои руки. Франкфурт, как известно, есть европейский пуп, куда сходятся все дороги, стало быть, его ни в каком случае не пропустит никакой путешественник, куда бы он ни ехал. Если бы даже и меня там не случилось, то он может оставить просто в посольстве, откуда всегда будет доставлено. Хорошо бы очень, если бы как-нибудь достать свят<ых> отцов, издаваемых при Академии. Не согласится ли кто-нибудь из благодетельных людей уступить мне свой экземпляр? Я бы ему был вечно благодарен. Если ж нельзя св<ятых> отцов, то купи хотя беседы Златоуста, издан<ные>

в 2 томах[1845], и присовокупи их к прочим книгам. Видишь, я совсем без церемоний и не чинюсь с тобою. Если в сочинения Иннокентия не включена книга его «Обозрение богослужебных книг греко-российской церкви», то купи также и эту книжку[1846]. За все это тебя, конечно, возблагодарит бог, потому что это есть настоящая помощь и милостыня ближнему и брату.

А Петра Михаловича обними сильнейшим образом за меня и скажи ему, что я много бы дал за то, чтобы сделать это самому лично. А драгоценных выписок, посланных ко мне, я не получил и не могу придумать, где бы они могли засесть вместе с письмом. Напиши мне, каким путем и чрез какие места были отправлены. Я буду здесь наводить справки повсюду. Пишу к тебе из Дармштадта, куда засел говеть, где находится и Жуковский, тебе кланяющийся, и где, как известно тебе, гостит ныне государь наследник[1847], который пробудет здесь еще неделю, а потом отправится в Россию. Прощай, не забывай и пиши чаще.

Твой *Г.*

Обними всех Хомяковых, Свербеевых и всех близких нам, не пропуская никого. Где буду зимовать, не знаю. Лето, вероятно, пробуду где-нибудь на водах или же на морских банях. Многие недуги одолевают иногда сильно. Отсюда еду советоваться к Копу. Письма адресуй всегда во Франкфурт, или на имя Жуковского, или в посольство, или прямо poste restante, должны дойти всячески.

Языков Н. М. – Гоголю, 2 июня 1844

2 *июня 1844 г. Москва* [1848]

Ты что-то давно не писал ко мне, мой любезнейший Николай Васильевич! Я даже не знаю, где ты теперь, куда поедешь на лето и что ты делаешь, т. е. делаешь ли свое дело?

Я продолжаю сидеть в Москве по-прежнему. Иноземцев не пустил меня съездить в Симбирск[1849] хотя бы на месяц: сижу и жду чего-то лучшего, собираюсь переехать на дачу, потому что у нас жары несноснейшие, и у меня в комнатах тем паче, потому что в мои окна с утра до ночи Феб смотрит! Не знаю, когда пошлю я тебе еще несколько книг, тобою

требуемых: теперь как-то мало едут за границу, и к тому два мои благоприятеля, с коими я надеялся отправить к тебе с каждым по посылке, задержаны судьбою в Москве: Погодин упал с дрожек и так повредил себе ногу, что должен пролежать в постели месяца с два; еще не знают, переломил ли он ногу или только ушиб, или вывихнул? Таким-то образом и вся поездка его в чужие края не совершилась. Мельгунов снова занемог; он ведь жених; сосватал себе какую-то немочку в Берлине и стремился было к ней и в этом-то состоянии стал форсить, молодечничать, не взирать на северный ветер и холод и простудился на гулянье! Впрочем, ему опять лучше – и он, конечно, скоро поспешит в путь! Напиши мне, как на тебя подействовал указ 15-го апреля 1844 г.[1850]? Не сделает ли он перемены в твоем пребывании в чужих краях и даже не принудят ли тебя возвратиться восвояси и пребывать в России? Посылаю тебе «Тригорское» – по твоему желанию. Делай со мной что угодно, в твоей статье о современных русских стихотворцах – все, что ты скажешь обо мне, будет мне сладко, и лестно, и праведно.

Где же будет напечатана эта статья? Смею спросить, что твои «Мертвые души» и вообще писал ли что-нибудь с тех пор, как мы расстались в Гаштейне? Я написал несколько посланий и мелочей нынешнею весною; с меня довольно и этого, по слабости моего здоровья и на первый случай после долгого молчания.

Все мои родные и знакомые разъезжаются из Москвы по дачам или по деревням: я буду летом гораздо уединеннее, чем зимою, когда, собственно говоря, у меня уединения не было вовсе; если буду чувствовать себя бодрым, то и за стихи примусь; меня станут купать в соленой воде. Пиши ко мне об себе самом. Как ты, куда и где?

Прощай покуда. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Июня 2 дня 1844. Москва.

Языков Н. М. – Гоголю, сентябрь 1844

*Сентябрь 1844 г. Москва[*1851*]*[1852]

Посылаю тебе письмо от Надежды Николавны Шереметевой: она на днях была в Москве и у меня; говорит, что давно не имеет о тебе никакого известия и не знала даже, где

ты теперь пребываешь: я полагаю, что ты опять во Франкфурте-на-Майне.

Я переехал в Москву; все наши сюда собираются на зиму, которая этот раз будет шумнее и говорливее прошлой, которой недоставало И. В. Киреевского. «Москвитянин» остается и на будущий год по-прежнему: перемена в его редакции не состоялась[1853], между тем в Москве заводится новый журнал и уже, как слышно, и позволение на него уже выхлопотано – издателями коего будут профессор Редкин и Грановский[1854]. Это будет подобие «Отечественных записок» – по духу, складу и ладу...

П. В. Киреевский представил в ценсуру собрание так называемых «стихов»[1855]. Ценсоры сказали, что они пропустить их не могут. Министр просвещения[1856] сказал по этому случаю, что не только можно, но и должно напечатать эти сокровища. Но ценсоры на свою ответственность не берут столь важного дела: пусть, дискать, министр официально прикажет... и проч. Не знаю, чем кончится история? Дело казусное! Ждем – и не надеемся скорого и доброго решения, так

сказать, судьбы Петра Васильевича.

Про тебя ходят здесь слухи распрекрасные, именно говорят, что у тебя уже готовы еще две части «Мертвых душ» и что сверх того ты написал «Записки русского генерала в Риме».

На днях получил я чрезвычайно радостное письмо от Ал. Андр. Иванова[1857]. Слава богу! Слава русскому богу! Глаза Ал. Анд. вовсе исправились, и он ревностно принялся оканчивать свою картину. Здесь его брат Сергей – при Тоне, как две капли воды похож на Ал. Андр. (он лечился у Иноземцева, который помог ему сильно): так же застенчив и робок, те же ухватки и приемы: голос в голос, волос в волос, как говорится. Я очень рад такому сходству: не может же оно обманывать!

Неужели ты и эту зиму проведешь во Франкфурте? Ты, видно, полюбил немцев: прежде, брат, за тобою не бывало этакой страсти! Чем это они тебя очаровали или разочаровали? Вспомни козла!

Прощай покуда. Твой *Н. Языков*.

Василию Андреевичу мое почтение. Что «Одиссея»?

Гоголь – Языкову Н. М., 19 сентября (1 октября) 1844

19 *сентября (1 октября) 1844 г. Франкфурт* [1858]

Франкфурт. 1 октября.

Уведомля<ю> тебя, что наконец книги получены, если не ошибаюсь, из Любека, именно следующие: «Добротолюбие»[1859] и Иннокентий. Хотя они и не пришли в то время, когда душа сильно жаждала чтенья и было для него почти год досуга, но тем не менее я им очень обрадовался. Море, по-видимому, несколько помогло. Еще только что приехал сюда. Устроиваюсь и готовлюсь приняться за дело. Ко мне из Москвы никто не пишет. Скажи Шевыреву, чтобы он объявил в «Москвитянине», что мне крайне было неприятно узнать, что без моего спросу и позволения в каком-то харьковском повременном издании приложили мой портрет и какие-то facsimile записки или тому подобное[1860]. Чтобы он объявил, что подобным мошенничеством не занимались прежде книгопродавцы, каким ныне занимаются литераторы. Я несколько

раз отказывал книгопродавцам на их предложение награвировать мой портрет, кроме того, что мне не хоте<лось> этого, я имел еще на то свои причины, для меня слишком важные. И уж ежели бы пришлось мне позволить гравировку портрета, то, вероятно, это бы сделано было только для «Москвитянина», а не для другого какого-либо издания, и притом мне даже вовсе неизвестного. Попроси также Погодина, чтобы он написал письмо к Бецкому в Харьков, он его, кажется, знает, с запросом, каким образом и какими путями портрет мой зашел к нему в руки. Все нужно сделать скорее. Затем прощай. Пока еще нет времени писать больше. До другого письма. Будь здоров, трезв и бодр духом, и бог да хранит тебя.

Твой *Г.*

Языков Н. М. – Гоголю, 14 октября 1844

14 *октября 1844 г. Москва* [1861]

Отвечаю тебе на два письма[1862] одним: так пришлось, так и быть! Спасибо тебе за знакомство, которое ты мне доставил. Гр. Ивана Петровича Толстого хвалят все благородные и добромыслящие люди: я постара-

юсь сойтись с ним. Книги посылать буду и через него; впрочем, не знаю еще, что придется послать тебе из нашей бедной литературы и из нашей Москвы, бедной литераторами. Я просил тебе у Погодина «Московский вестник»[1863] за нынешний год; он обещал послать сам; прошлый 1843 г. он-де доставил Жуковскому, следственно, ты его видел. Твое письмо, то, в коем ты сердишься на Бецкого, самовольно выдавшего в публику твой портрет, я, для сильнейшего подействования, показывал Погодину и покажу Шевыреву. Им, кажется, не худо будет видеть и знать, нравятся ли тебе подобного рода, так сказать, спекуляции. Имеющий уши – да слышит!

Я никак не понимаю о сю пору, куда же девались книги, посланные мною к тебе еще весною истекающего года? Посланные с г-жой Анненковой, те, кои ты получил, везла г-жа Ейндродт?

В Москву приехал Иван Васильевич Киреевский, пытавшийся взять на себя редакцию «Москвитянина». Было много съездов и переговоров, но все кончилось пшиком. «Москвитянин» будет издаваться и в 1845 <г.> и в

прежнем основании. Жаль мне этого. И. Киреевский поднял бы его и дал бы ему весу и духу – и дело вышло дельное, и пошло бы ходко. Деятельность И. Киреевского разбудила бы деятельность многих молодых и даже немолодых людей, дремлющих и зевающих теперь, потому только, что им не к кому пристать и не с кем идти.

Я посылаю тебе книжку моих стихов[1864] (кн. Вяземский перешлет ее куда следует) – это, брат, изданьице маленькое, тут кое-что не знаю как и не знаю зачем собрано; составлял его мой племянник Валуев. Я между тем собираю воедино все, что написал я в десять лет (1833–1843), и этою же осенью выдам и тебе пришлю[1865]. Мельгунов лечится водою, и водное лечение сильно ему помогает: бодрит, освежает, восстановляет его всего; зовет и меня на себе отведать Присницевой системы, уже смягченной и не требующей диеты столь спартанской, как у самого родителя водолечения! Не забудь написать мне, полезно ли оно А. О. Розети? Я ведь могу решиться еще раз съездить в немецкую землю, если будет надежда выздороветь порядком. Прощай по-

куда. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

От тебя сильно ждут писем С. Т. Аксаков и Н. Н. Шереметева.

Октября 14 дня 1844. Москва.

Письма ко мне надписывай: в приход Николы Явленного, в Серебряный переулок, в дом Шидловской.

Гоголь – Языкову Н. М., 14(26) октября 1844

14 *(26) октября 1844 г. Франкфурт* [1866]

26 октябр. Франкф.

Письмо твое (числа не выставлено), при котором было приложено письмо от Надежды Николаевны Шереметьевой, получил и много за него благодарю. Меня все позабыли, и, кроме тебя, я ни от кого вот уже более полугода не получаю писем. Назад тому две недели я получил из Берлина четыре книжки святых отцов. Полагаю, что они от тебя, хотя и не знаю, кому ты их вручил, потому что мне переслал берлинский наш священник с проез-

жавшим через Берлин соотечественником. Перевод очень хорош, жаль, что мало. Нельзя ли будет переслать продолжения, не во уважение моей заслуги, но во уважение твоей доброты, ей же несть пределов? Донесение твое о состоянии текущей литературы, при всей краткости, сколько верно, столько же, к сожалению, и неутешительно, но, во-первых, так было всегда, а во-вторых, кто виноват? Это уж давно известно всем, что петербургские литераторы <.....>, а московские <.....>. Мнение твое о новом журнале, имеющем издаваться в Москве, как мне кажется, довольно основательно, хотя самого журнала еще нет. Я тоже думаю, что это будет что-то вроде «Отечественных записок». Недавно мне удалось наконец прочесть одно твое послание, именно послание к Вяземскому, напечатанное в «Современнике»[1867]. Я заметил в нем особенную трезвость в слоге и довольно мужественное расположение, но все еще повторяется в нем то же самое, т. е. что пора и надобно присесть за дело, а самого дела еще нет. Как бы то ни было, но душа твоя вкусила уже другую жизнь, в ней произошли уже другие

явления. Если еще не испил, то по крайней мере уже прикоснулся устами высшего духовного источника, к которому многим, и слишком многим, следовало бы давно прикоснуться. Зачем же в стихах своих ты показываешь доныне одно внешнее свое состояние, а не внутреннее, или разве стихи не достойны того, чтобы отражать его, или разве там мало предметов? Но закружится голова, если станем исчислять то, что никем еще доныне не тронуто.

Смотри, чтобы нам самим не подвергнуться тем упрекам, которыми мы любим упрекать текущую литературу. Почему знать, может быть, на нас лежит грех, что завелось среди ее такое количество <.....> и <.....>. Каков, между прочим, Погодин и какую штуку он со мною сыграл вновь! Я воскипел негодованием на Бецкого за помещение моего портрета, и надобен же такой случай: вдруг сам Бецкий является из Харькова во Франкфурт для принятия от меня личного распекания. От него я узнаю, что Погодин изволил еще в прошлом году приложить мой портрет к «Москвитянину»[1868], самоуправно, без всяких оговорок,

точно как будто свой собственный, между тем как из-за подобных историй у нас уже были с ним весьма сурьезные схватки. И ведь между прочим пришипился, как бы ничего не было (и никто из моих приятелей меня об этом не уведомил!). Я не сержусь теперь потому только, что отвык от этого, но скажу тебе откровенно, что большего оскорбления мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим. На это я имею свои собственные причины, слишком законные, о чем не раз объявлял этим господам и чего, однако, не хотел им изъяснять, имея тоже законные на то причины. Такой степени отсутствия чутья, всякого приличия и до такой степени неимения деликатности, я думаю, не было еще ни в одном человеке испокон веку. Написал ли ты в молодости своей какую-нибудь дрянь, которую и не мыслил напечатать, он чуть где увидел ее, хвать в журнал свой,

без начала, без конца, ни к селу ни к городу, без с<просу>, без позволения. Точно чушка, которая не даст <.....> порядочному человеку: как только завидит, что он присел где-нибудь под забор, она сует под самую <.....> свою морду, чтобы схватить первое <.....>. Ей хватишь камнем по хрюкалу изо всей силы – ей это нипочем. Она чихнет слегка и вновь сует хрюкало под <.....>.

Прекрасные слухи, которые носятся о моем написании множества произведений, кажется, сродни тем самым, которые носились и в прошлом году о чтениях моих из второго тома, где находится остроумное сравнение Петербурга с Москвою, о котором мне и в мысль не приходило. Я бы душевно желал, чтобы нынешние слухи были справедливы хотя вполовину. О «Записках генерала в Риме» я и не грезил даже, хотя нахожу, что мысль недурна. Я подозреваю, что в Москве есть один какой-нибудь этакой портной, который шьет сам на всю Москву. Благо есть дураки, которые ему заказывают. Зиму мне придется провести во Франкфурте, хотя мне он и не совсем по нутру, но попробую. Что ж делать,

нельзя все делать, как бы нам хотелось, нужно уметь и потерпеть. Боюсь, чтобы как-нибудь не схандрить, при здешнем гаденьком небе и при моем гаденьком здоровье, но, во-первых, и что самое главное, бог милостив, а во-вторых, авось-либо все близкие друзья мои не оставят меня письмами. А потому и теперешнюю зиму ты особенно смотри не ленись и не оставляй писать ко мне, если можно, то даже и чаще прежнего. Спроси у Шевырева, получил ли он письмо мое от 3 октября, и спроси также у Аксаковых, зачем из них ни один не пишет ко мне. Затем прощай! Будь здоров. Перекрестясь, примись за работу, и бог да сопутствует тебе во всем.

Твой *Г.*

Адрес по-прежнему в дом Жуков<ского>, Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

Отдай письмецо следующее Н. Н. Шереметевой[1869].

Языков Н. М. – Гоголю, 5 ноября 1844

5 *ноября 1844 г. Москва* [1870]

Отвечаю на твое письмо от 25-го окт<яб-

ря>[1871]. Радуюсь, что ты получил-таки книги, посланные мною с г-жою Анненковой. Продолжение переводов св. отцов пришлю тебе скоро – через кн. Вяземского или через гр. Толстого, – это продолжение идет, т. е. выходит, очень медленно: в 1844 году явилось только 2 книжки вместо обещанных 4-х, а 1844 г. уже на исходе! Жаль! и даже странно и непонятно, почему почтенные издатели таких общеполезных книг действуют так вяло: они расходятся у нас нельзя лучше!

С месяц тому назад послал я к тебе через кн. Вяземского книжку моих стихотворений; тут собрано кое-что из старинных и кое-что из новых и новейших: книжка вышла не в диво и плохая, ни то ни се – но да не смущается сердце твое: я уже собрал и приготовил к поданию в цензуру все мои стихи, сочиненные с 1834 по 1845 г., – выйдет книжка толстенькая и явится в начале будущего 1845 г. и к тебе во Франкфурт-на-Майне. Я совершенно согласен с тобою, что в моих стихах о сю пору повторяется прежняя мысль: пора приняться за дело, а самого дела все нет! Я вижу это и сам! Но это, брат, значит только то, что у

меня есть только охота, и сильная охота, приняться за дело, а возможности приняться за дело еще нет. И теперь самое небольшое умственное напряжение производит или, лучше сказать, усиливает припадки моей болезни, так что мне, ей-богу, нельзя порядочно и задуматься. Я же, с тех пор как живу в Москве, пью сарсинаривную <?> настойку, которая усиливает раздражение нервов и так далее и проч.

Мельгунов крайне доволен водным лечением, пишет о нем восторженно и сильно и меня зовет на свежую воду. Мне бы хотелось снестись с ним по этой части – почему же и не испробовать: от Москвы до Рейна более, чем от Москвы же до Гаштейна! Но жаль, что я не знаю, куда писать к нему, он уехал уже оттуда, где лечился, а куда – не сказал ясно.

Шевыреву я сообщил твой вопрос о твоем письме к нему: он писать к тебе будет на днях. Погодин в страшном горе: у него жена больна безнадежно, и он расстроен невыразимо отчаянно! И. Киреевский приготовляется к изданию «Москвитянина» на 1845 г. – не откажись же ты исполнить мою просьбу, уважь

ее, не порази, не бей меня, не бей меня.

Даю тебе обещание писать к тебе часто.

У нас зима начинается грозно: сегодня 16 гр<адусов> морозу – 5-го ноября! Это много и рано! Зато слякоти нынешнею осенью было мало.

Твой *Н. Языков*.

Ноября 5 дня 1844. Москва.

Гоголь – Языкову Н. М., 20 ноября (2 декабря) 1844

20 *ноября (2 декабря) 1844 г. Франкфурт* [1872]

Декабря 2.

Благодарю тебя, друг, за письмо от 5 ноября, а еще больше благодарю за книжечку от кн. Вяземского[1873]. Благодарю еще более бога за то, что желание сердца моего сбывается. Говоря это, я намекаю на одно стихотворение твое, ты, верно, сам догадываешься, что на «Землетрясение»[1874]. Да послужит оно тебе проспектом вперед! Какое величие, простота и какая прелесть внушенной самим богом мысли! Оно, верно, произвело у нас впечатление на всех, несмотря на разность вкусов и

мнений. Скажу тебе также, что Жуковский подобно мне был поражен им и признал его решительно лучшим русским стихотворением. Это слишком много, потому что он вообще был строг к тебе и, умея отдавать должное твоим стихам, нападал на главное, что после них (так он выражался), как после прекрасной музыки, все вслед за очаровавшими звуками унеслось и никакого определенного вида не имеет оставшееся впечатление. Он говорил часто (в чем отчасти и я был с ним согласен), что везде у тебя есть восторг, который никак не идет вперед, но стоит на одном месте, именно потому, что не получил определенного стремленья. Он никак и не думал, чтобы у тебя могло когда-либо это возникнуть (он не мастер прорицать), и на мои замечания, что все произойти может от душевных внутренних событий, слегка покачивал головой. И потому ты можешь себе представить, как мне радостно было его восхищение. Он несколько раз уже прочел с возрастающим удовольствием это стихотво<рение>, которое я читаю почти всякий день. Видишь ли, как в общем крике массы, в этой строгой современ-

ной требовательности от поэтов есть что-то законное. Едва малейший ответ на это всеобщее алканье души – и уже вдруг все сопрягается, даже и то, что еще недавно бы не потряслось. Ради святого неба, перетряхни старину. Возьми картины из Библии или из коренной русской старины, но возьми таким образом, чтобы они пришлись именно к нашему веку, чтобы в нем или упрек или ободренье ему было. Сам бог тебе поможет, и сила, возникшая из твоего творенья, обратно изольется на тебя самого. Недавно я нашел в «Отечественных записках» выписки из книги «Выходы царей», которые, кажется, были привед<ены> с тем, чтобы показать незначительность таких описаний[1875]. Но в них так свежи изображенья наряда и всех цар<ских> облачений и так каждое слово кажется создано на то, чтобы уложиться в стих, что мне так и представлялся царь, идущий к вечерне. В твоем стихотворении «Олег»[1876], которое тоже затмило прежние, уже проглядывают сильно черты нашей старины (хотя время по причине страшной отдаленности для нее неблагоприятно). Сочинение это, однако ж, у нас

пройдет незамеченным именно потому, что в мысли его нет свежего, находящего ответ теперь. Заставь прошедшее выполнить свой долг, и ты увидишь, как будет велико впечатление. Пусть-ка оно ярко высунется для того, чтобы вразумить настоящее, для которого оно и существует. Выведи картину прошедшего и попрекни кого бы то ни было в прошедшем, но таким образом, чтобы почесался в затылке современник. Клянусь, никогда не приходило времени так значительного для лирических поэтов, каково ныне, но ты сам это чувствуешь и знаешь лучше меня. Молю бога, чтобы он послал тебе бодрость и свежесть сил и уменье позабыть всякие мелкие тревоги и даже болезненные припадки, если бы они вздумали к тебе наведаться. Прощай. Больше не пишу теперь ни о чем, ибо нахожусь под влиянием тобой же внушенного ощущения.

Твой *Г.*

Благодарю Н. Н. Шереметеву за письмо. Поклонись Хомяковым, Авдотье Петровне[1877] и Свербеевым, если увидишь.

Языков Н. М. – Гоголю, 2 декабря 1844

2 *декабря 1844 г. Москва* [1878]

Моя новая квартира мне вовсе не нравится; я в ней не усядусь, как бы мне надобно и как бы мне хотелось; предполагаю купить себе дом в Москве: тут я могу расположиться, разобраться, распрост<р>аниться и раскинуться, как мне будет любо и угодно: а это ведь важное дело для нашего брата стихотворца и для писателя вообще: привол, простор, вольготность и из этих трех обстоятельств изливающаяся жизнь, тихая и безмятежная, – вот главное!

О «Москвитянине» на будущий 1845 год я распоряжусь вернее, нежели Погодин на 1844. Я не знаю, как ему не стыдно поступать с тобою так явно неосмотрительно и глупо и грубо. Пог<один> теперь находится в горе и отчаянии: у него жена умерла, и эта потеря сильно оцепеняет и убивает его. Жаль его! Мы, холостые словесники и люди, не можем и оценить, как велико его несчастие: на жене его лежала у него вся домашняя жизнь, и весь его быт ученый охранялся ее удивительною деятельностию и добротою: теперь Погодин один

под небесами, и на руках у него маленькие дети!!

На днях был у меня М. С. Щепкин; о книгах, которых ты от него требуешь, пишет он к тебе сам[1879], я же с моей стороны сделал в этом деле все, что мог: я показал ему строки твоего письма, до него касающиеся! Благодарю тебя за это знакомство; я буду стараться содержать его в должной силе и живости! Вообрази себе, что <я> не видывал Щепкина в «Ревизоре» – и, вероятно, не увижу его уже нигде, кроме моей квартиры.

Я пишу стихи, расписываюсь – пишу стихи и духовные и мирские; прилагаю здесь образчик первого рода[1880]. Тебе кланяются Свербеевы: они тебя помнят и любят, как подобает, и чтут воспоминание о твоем бывании на их вечерах. Елагины тоже. У Ив. Киреевского идет работа[1881], и все наши московские собратья ему содействуют. Петр Васильевич[1882] уехал или заехал к себе в деревню и там уселся и засел и продолжает не издавать свое драгоценное и единственное собрание русских песен, т. е. пребывает с ними, глядит на них, ласкает их и ровно ничего с ними не де-

лает. Это похоже на то, как поступают крысы с серебряными и золотыми вещами: они стаскивают их к себе в подполье, где этих вещей никто не видит, а сами крысы ими не пользуются. Но ведь крысы не берутся за не свое дело: не провозглашают себя собирателями и обнародователями своих драгоценных собраний!!

Переводов свят<ых> отц<ов> вышла и третья часть за 1844 год, все три части посылаю сегодня же к графу Толстому[1883].

Как идет «Одиссея»?

Твой *Н. Языков*.

Декабря 2 дня. 1844. Москва

Гоголь – Языкову Н. М., 14(26) декабря 1844

14 *(26) декабря 1844 г. Франкфурт* [1884]

Франкф. 26 декабря.

Пишу тебе и сие письмо под влиянием того же ощущения, произведенного стихотворением твоим «Землетрясение». Друг, собери в себе всю силу поэта, ибо ныне наступает его время. Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово; прошедшее

выступит живее, настоящее объяснится яснее, а сам поэт, проникнутый значительностью своего дела, возлетит выше к тому источнику, откуда почерпается дух поэзии. Сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить. При всем видимом разврате и сутолоке нашего времени, души видимо умягчены; какая-то тайная боязнь уже проникает сердце человека, самый страх и уныние, которому предаются, возводит в тонкую чувствительность нервы. Освежительное слово ободренья теперь много, много значит. И один только лирический поэт имеет теперь законное право как попрекнуть человека, так, с тем вместе, воздвигнуть дух в человеке. Но это так должно быть произведено, чтобы в самом ободренье был слышен упрек и в упреке ободренье. Ибо виноваты мы почти все. Сколько могу судить, глядя на современные события издалека, упреки падают на следующих из нас: во-первых, на всех предавшихся страху, которым уж если предаваться страху, то сле-

довало бы предаться ему не по поводу каких-либо внешних событий, но взглянувши на самих себя, вперивши внутреннее око во глубину души своей, где предстанут им все погребенные ими способности души, которых не только не употребили в дело во славу божью, но оплевали сами, попрали их и отлученьем их от дела дали ход волчцам и терниям покрыть никем не засеваемую ниву. Ты сам знаешь, что это у нас часто происходит на всех поприщах, начиная с литературного до всякого житейского, судейского, военного, распорядительного по всем частям, словом, повсюду. Здесь особенный упрек упадет на тех гордецов, которые и в благих даже намерениях видели повсюду прежде себя, а потом уже других, не умели перенести пустяка какого-нибудь, оскорбления <.....> личности своей – и, осердясь на вши, да шубу в печь. Укажи им, как сами они наказалися страхом чрез самих себя, и пусть в этом страхе увидят они божье наказанье себе: верный знак, что далеко отбежали они от бога; ибо кто с богом, у того нет страха. Во-вторых, громоносный упрек упадет на нынешних развратников, осмели-

вающихся пиршествовать и бесчинствовать в то время, когда раздаются уже действия гнева божия и невидимая рука, как на пиру Валтазаровом, чертит огнем грозящие буквы[1885].

В-третьих, упрек, и еще сильнейший, может быть, упадет на тех, которые осмеливаются даже в такие святые минуты божьего посещения пользоваться смутностью времени, святокупствовать, набивать карман свой и брать взятки. Таких беззаконников, я слышал, развелось теперь у нас немало, которые воспользовались даже всякими нелепыми распускаемыми слухами, употребляя их орудиями к грабительству. Друг! много, много есть теперь предметов для лирического поэта. Всему этому найдет соответствующие картины он в Библии, где до того все живо, что, кажется, писано огнем, а не тростью. Посуди сам, если все это предстанет в применении к текущему, в какую живость, уже доступную всем от мала до велика, оно облечется! Не нужно больших пиэс: чем короче и сжатей стихотворенье, тем оно будет значительней и действительней. Не нужно совокуплять всех упреков вместе и в одно, но, раз-

дробив их на множество и сделав каждый предметом отдельного стихотворения, дать ему целость и живость и силу, совокупленную в себе. Друг! молись, да бог одушевит тебя и ниспошлет силы поработать ему же. Только одной этой дорогой, а не какой-либо другой ты можешь к нему приближиться. Только тем путем должен каждый из нас стремиться к нему, для которого им же самим даны нам орудия, способности и средства: прочие все пути будут околесные и кривые, а не прямые и кратчайшие. Друг мой, авторитет твой может быть велик, потому что за тебя станет бог, если ты прибегнешь к нему. Притом вспомни и то, что благодеяния твои могут излиться только сим путем, а не другим, любовь к ближнему и брату можешь ты показать только так, а не иначе помочь страждущему, и все те христианские обязанности, которые должен каждый из нас выполнить на указанном поприще и без чего не спастись ему, тобою могут быть выполнены только сим образом, а не другим. Полюби же, как брат, всех, которые страждут и телом и духом, и если ты еще не в силах так полюбить

их, то обрати их по крайней мере мысленно в нищих, просящих и молящих о помощи. Не гляди на то, что не простираются их руки просить о милостыне, может быть, простираются их души. Притом бог ведает, кому прежде следует помогать, тому ли, кто имеет еще силы выйти на улицу, или же тому, кто не имеет сил даже и руки протянуть, чтобы попросить. И то уже благодеяние, когда считающему себя богачом докажешь и откроешь, что он нищий. Только одна та помощь будет теперь действительна в России, которая будет сделана любовью. Всякая другая будет временна. Всему предстоят препятствия, везде предстанут неудачи. Одной только любви нет препятствий: ей всюду свободно и всюду открыт путь. Друг мой, да наполнится же одной любовью и душа, и сердце, и мысль твоя! и да двигнет одна она отныне пером твоим! Много-много ей предстоит поприща; нет и конца ее предметам. Но не позабудь прежде всего тех, которым прежде всего следует проснуться. Внуши бодрость и выведи из уныния тех, которые стоят передовыми и могут подать пример другим. Не беда, если дурак придет в

уныние (это даже для него и лучше), но плохо, если умные повесят носы. Истинно же ободрить возможно только одним средством: именно, когда, ободряя кого-либо, ты в то же время напоминаешь ему, что он должен ободрять других, что он должен позабыть себя и не себя выводить из уныния, но других выводить из уныния. Сим одним только средством может человек сам выйти из него. Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем сами в себе никакой силы, но как только подвигнемся на помощь другим, сила вдруг в нас является сама собою. Так велико в нашей жизни значение слова «другой» и любовь к другому. Эгоистов бы не было вовсе, если бы они были поумнее и догадались сами, что стоят только на нижней ступеньке своего эгоизма и что только с тех пор, когда человек перестает думать о себе, с тех только одних пор он начинает думать истинно о себе и становится таким образом самым расчетливейшим из эгоистов. А потому и ты, друг мой, не думай о своей собственной хандре, хотя бы она и пришла к тебе, а думай о том, что в это время находятся другие в хандре и что следует их развесе-

лять, а не себя, – и хандра твоя исчезнет. Если же приступят к тебе какие-либо болезненные припадки, то говори им просто: «Некогда! плевать я на вас, теперь мне не до вас!»

Я рад, между прочим, тому, что «Москвитянин» переходит в руки Ивана Васильевича Киреевского. Это, вероятно, подзадорит многих расписаться, а в том числе и тебя. Чего доброго, может быть, Москва захочет доказать, что она не баба. Я с своей стороны подзадорил Жуковского, и он, в три дни с небольшим хвостиком четвертого, отмахнул славную вещь, которую «Москвитянин», вероятно, получил уже[1886]. Уведоми меня, как она ему и всем вообще читавшим ее показалась. Скажи Ивану Васильевичу, чтобы он, как только будет выпечен первый № «Москвитянина», прислал бы его прямо по почте. Это гораздо вернее всяких оказий: теперь тяжелые почты в чужие края устроены хорошо, не так, как прежде; все приходит верно и не дорого стоит. Может быть, к тому времени выдет и твоя книга[1887], что будет весьма кстати. Уведоми меня, посылал ли ты мне с кем-либо или же нет «Летописцев», издан<ных> археo-

гр<афической> комиссией?[1888] Извини, что доселе не уплачиваю тебе занятого долга. Сему виною не какое-либо небрежение, неаккуратность и неисправность, а единственно неимущество; я же знаю, что ты милостив к должникам своим и потерпишь им. Писем моих, писанных в декабре в Москву, есть уже четыре, кроме сего, т. е. одно к тебе, кажется 5-го числа, одно к Шевыреву, одно к Аксакову и одно к Погодину, проведай при случае, исправно ли они получены. Затем поздравляю тебя от всей души и сердца с наступающим (и, может быть, уже наступившим в то время, когда ты получишь это письмо) новым годом. И молю бога также от всей души и сердца, чтобы он внушил все, что тебе нужно для совершения дел во славу и во спасение души твоей, и приблизил бы тебя ближе и сердцем и помышлением к нему, а письмо мое все-таки перечти; помолясь крепко богу, ты и в нем отыщешь нужное для себя, как бы оно нескладно ни было. Прими его как посильное поздравление с новым годом и откликнися. Затем прощай, поклонись от меня всем нашим знакомым и поздравь их всех от меня с

новым годом. Пиши, не ленясь, ко мне, если ж не захочешь писать, то пришли мне в пакете вместо письма которое-нибудь из новых стихотворений.

Весь твой *Гоголь*.

Языков Н. М. – Гоголю, 14 декабря 1844

14 *декабря 1844 г. Москва* [1889]

Твое письмо от 2-го декабря обрадовало и утешило меня: ты знаешь, чем обрадовало и как утешило! Оно сделало больше: оно укрепило дух мой, и подняло его, и дало мне самому, так сказать, другой взгляд на мои собственные стихотворения, – и этот взгляд почитаю верным и сердечно благодарю за него Василия Андреевича и тебя, мой судия и богомолец!!

Здесь ходит слух, что у Василия Андреевича уже готово 10 песней «Одиссеи» и что он написал еще сказку? Наша «Одиссея» перешибет все возможные переводы: это будет памятник, про который можно сказать, что «металлов крепче он и лучше пирамид»![1890]

Я уже писал к тебе о переходе «Москвитянина» в руки И. Киреевского; это обстоятель-

ство пробудило много спавших деятельностей и окрылило много перьев, вовсе было помертвевших! Мы пишем, я пишу и проч.

Погодин о сию пору еще не оправился после удара, его поразившего: он все еще пребывает в каком-то душевном оцепенении! На днях был у него М. Ал. Дмитриев. Погодин встретил его словами: «Как я рад, что вы меня навестили! Я теперь думал, что я скоро умру. Дайте мне слово, что вы будете заботиться о моих детях! – Дмитриев отвечал ему удовлетворительно. – Обнимите меня и поцелуйте меня». Все это говорил он, плача, как ребенок!!

Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину, уже привезен на место. Народ смотрит на статую Клии[1891] и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный вовсе не понимает, что это богиня истории!! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого человека воздвигают эту вековечную бессмыслицу!!

Не прислать ли тебе книгу «Царские выходы»? Хоть она и довольно тяжела, но граф Толстой говорил мне, что это обстоятельство

не должно смущать меня.

Я послал к тебе и «Стихотворения» Хомякова и «Гаммы» Полонского[1892]. Полонский – малый с талантом; жаль только, что у него направление новомодное, отчаянное, но это, вероятно, пройдет с летами.

Собрание моих стихотворений, то есть всего, что я до сих пор написал после первого[1893], уже пропущено цензурой и скоро поступит в печать. Прилагаю тебе одно из новейших моих альбомных, мирских стихотворений[1894].

Прощай покуда. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Декабря 14 дня. 1844. Москва.

Гоголь – Языкову Н. М., 21 декабря 1844 (2 января 1845)

21 *декабря 1844 г. (2 января 1845 г.) Франкфурт.* [1895]

1845. Генварь 2.

Письмо твое от 2-го декабря получил. Сожалею, что квартира, попавшаяся тебе ныне, не так удобна, как бы ей следовало быть. Но, сам знаешь, квартира есть всегда квартира, а

становится она неудобною во всей силе тогда, когда позабудешь, что это квартира, а примешь ее за собственный дом. Мысль завести собственное гнездо в Москве недурна, совершенно прилична литератору, особенно домоседу, и я нахожу, что может быть удобно приведена в исполнен<ие>. Если через год и Жуковский переедет на жительство в Москву (как он то помышляет)[1896], то Москва получит бóльшую значительность и степенность, какой ей недоставало. Тогда может восстановиться в ней та литературная патриархальность, на которую у ней есть только претензии, но которой в самом деле нет. Кстати о Жуковском. Ты спрашиваешь: как идет «Одиссея»? На это скажу покаместь то, что дай бог, дабы все остальное так же шло на свете, как идет у Жуковского «Одиссея». Перевод этот решительно есть венец всех переводов, когда-либо совершавшихся на свете, и венец всех сочинений, когда-либо сочиненных Жуковским. Половина его уже совершена. Двенадцать песен готовы. Впрочем, обо всем этом, равно как и о производстве самого перевода, написано им весьма замечательное

письмо к Авдотье Петровне[1897] и Ивану Васильевичу Киреевскому, которое ты, вероятно, уже и сам прочел или по крайней мере о нем знаешь[1898]. Движение по части «Москвитянина», о котором ты пишешь, меня радует, но сотрудников следует подзадоривать и, так сказать, подпекать на дело. Это, как знаешь, народ русский. Рвануться на работу – наше дело, а там как раз и съедешь на пшик. У нас есть старье из литераторов, мастера только приводить в уныние молодых людей, а подстрекнуть на труд и дельную работу нет ума. Как до сих пор так мало заботиться об узнаванье природы человека, тогда как это есть главное начало всему! Профессора у нас заняты только своим собственным краснобайством, а чтобы образовать человека, об этом вовсе не помышляют. Они не знают, кому они говорят, а потому немудрено, что не нашли до сих пор языка, которым следует говорить и беседовать с русским человеком. Не умея ни поучить, ни наставить, они умеют только, рассердившись, выбранить кого-нибудь, а потом сами жалуются на то, что не принимаются слова, что у молодых не соот-

ветствующее потребностям направление, позабыв, что если скверен приход, то в этом поп виноват, а не кто другой. Как в последние пять или шесть университетских выпусков (когда об ученье гораздо больше было прилагаемо старания, чем когда-либо прежде, и правительство с своей стороны сделало все, что могло) не образовалось почти ни одного деятельно-работящего таланта! И «Москвитянин», издаваясь уже четыре года, не вывел ни одной сияющей звезды на словесный небосклон! Высунули носы какие-то допотопные старики, поворотились, <.....> и скрылись, тогда как с русским ли человеком не наделать добра на всяком поприще! Да его стоит только хорошенько попрекнуть, назвав его бабой и хомяком, загнуть ему знакомую поговорку и сказать, что вот-де говорит немец, что русский человек ни на что не годен, – как из него уже вмиг сделается другой человек. А потому не позабудь, друг мой, что и ты, с своей стороны, можешь много ободрить русского человека. В самом стихе твоем есть уже что-то бодрое и бодрящее, и если таким стихом оденешь ты и мысль вполне бодрящую, и если

рассмотришь к тому и природу русского человека, чтобы узнать, по которому месту бить и хлестать его, то много-много можешь наделать добра. Стихи, присланные тобой в образчик духовн<ых> стих<отворений> («Блажен, кто мудрости высокой»), получил и прочел с удовольствием. В них есть простота, величие и светлость, но они далеки от «Землетрясения». Я не думаю даже, чтобы форма псалмов была прилична тем духовным стихотвореньям, какие потребны в нынешнее время. По крайней мере, псалмы должны быть собственные, а не переделанные или извлеченные из Давида[1899]. Вообще же духовное стихотворение (какой бы формы оно ни было) может быть ныне значительно только тогда (все это я, разумеется, говорю вследствие моего мнения, которое, может быть, и ошибочно), когда оно двигнуто которою-нибудь из следующих возбуждающих сил: или силою гнева, почерпнутого от самого гнева божия, стало быть, нелицемерного гнева, не в мыслях, но уже в сердце обитающего, гнева противу всего презренного и нечистого, в каком бы ни заключилось оно сосуде. (Само собою

разумеется, что гнев не к самым сосудам, заключившим в себе презренное, но к презренному, заключенному в сосудах; против самих сосудов гнев может быть только за то, что они отворили двери презренному или заключили его в себе.) Итак, или силою попаляющего божьего гнева должно проникаться духовное стихотворение, и это пусть будет во-первых. Или же, во-вторых, оно должно быть проникнуто и подвигнуто силою любви к человеку, зажженною также от небесной любви божьей к человеку, любви, измерившей всю страшную участь тех, которые воздвигают против себя гнев божий. Содрогаясь от ужаса за них и подвигнувшись небесным ангельским состраданьем, она уже не поражает их, а молит, как брат умоляет брата, как несчастная и безотрадная мать умоляет сына, идущего на явную гибель, умоляет его такими воплями и стонами, от которых и бесчувствен<ный> камень содрогнется. И сею силою нежного моления может бы<ть> подвигнуто значительное духовное стихотворение, во-вторых. Или же, наконец, в-третьих, духовное стихотворение может быть подвигнуто силой

внутреннего собственного излияния: умягченным и утопающим в блаженстве вознесеньем сердца своего к богу, внутренним гневом против собственных своих недостатков, унынья, малодушья и бессилья своего, умоляющим и горячим моленьем о ниспосланье в душу того, чего еще нет в ней и что достается так трудно нашей черствой и неразмягченной природе. В последнем случае духовное стихотворение приемлет форму молитвы и может разнообразиться бесконечно, смотря по различию и разнообразию состояний душевных. Но само собою разумеется, что здесь ничего не должно быть вымышленного или вообразимого только умом. Что не было добыто слезами и душевным внутренним сокрушеньем, то не должно облечься и в стихи. Иначе, при всех достоинствах поэта, наместо жара, холод пребудет в стихотворении, оно останется никому не родным и круглым сиротою. Итак, сими только тремя побуждающими силами, мне кажется, должно быть подвигнуто духовное стихотворение, дабы соответствовать высокому значенью своему. А что самые сии побуждающие силы пробужда-

ются в человеке не иначе, как от соприкосновенья с живыми, текущими, настоящими современными обстоятельствами, его обстанавливающими и окружающими, об этом и говорить нечего. Любви к прошедшему не получишь, как ни помогает поэту воображенье. Любовь возгорается к тому, что видишь, и, стало быть, к предстоящему, прошедшее же и отдаленное возлюбляется по мере его надобности и потребности в настоящем. Словом, вообще удача духовного стихотворения зависит от того, когда оно предприемлется как подвиг во имя божие, как искреннейшее дело, как то деяние, по которому будет судить нас бог во пришествии своем. Вот почему так холодны попытки всех прелагателей псалмов: они их брали просто как предмет для поэзии, как поэтические игрушки.

Твое духовное стихотворение («Блажен, кто мудрости высокой») не содержит в себе ни упрека, порожденного гневом, ни состраданья, порожденного любовью, ни умоления, исторгнутого силою душевной немощи. В нем заключено восхваление, которое, как известно, само по себе всегда уступает в силе трем

прочим. Гневается ли человек, любит ли, умоляет ли, он всегда тут становится сильнее, чем когда он хвалит. Итак, вследствие уже этого твое духовное стихотворение не могло произвести сильного впечатления. Притом предмет восхваления есть муж, отстранившийся от людей и от их порочного общества, тогда как люди теперь больше, чем когда-либо прежде, нуждаются в любви к себе. Стало быть, стихотворение еще более должно отозваться какою-то черствостью. Я не говорю, чтобы род стихотворений в виде восхвалений был теперь вовсе бессилен или не нужен, но я думаю только то, что и в сем роде восхваляться должно только то, что наиболее нужно нынешнему человеку среди нынешнего века, и предметом восхвалений должен быть муж, потребный современным обстоятельствам. Если бы ты сказал, например, что блажен муж, который и среди уныния других не предается унынию, но сеет бодрость в души, подъемлет повсюду падшего и воздвигает дух в человеке, или – блажен муж, отдавший всего себя на служение богу, который, взявши какое бы то ни было мирское место и звание,

служит на нем не для мира и не для своей почести и не ждет ни от кого из людей за это награды, но, как святыню, обнявши долг свой, умеет перенести все и не оставит своего места ни в каком случае, какие бы ни нанесли ему оскорбления, непереносимые для человеческой гордости, помня только то, что не для себя, не для своего счастия, а для счастия других он взял свое место, и не для удовлетворенья своей гордости, а для защиты других должен он пребывать на нем, не ради какой-либо признательности и хвалы мира, а ради Христа, представшего перед него в виде страждущих несчастливцев, молящих и простирающих изнуренные от бесплодных простираний руки. Таким образом служащего богу мужа можно ублажить недаром и достойно, и найдутся сами собою для того сильные и восторгающие слова. Или – блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от разврата и от подлой пресмыкающейся жизни, преданной каверзничествам, неправдам, предательствам, особачившим дни ее и заплевавшим его человеческую душу, как бы вдруг пробуждается в великую минуту и так же запоем, как способен один

только русский, который с горя вдруг вдается в пьянство, также запоем из пьянства входит в трезвость души, великодушно объявляет брань самому себе, загорается еще сильнейшей жаждой небесною, чем всякой другой, и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности. Здесь можно кстати ублажить и тех тюрюков[1900], которые от бездельной и лежебокой жизни обращаются вдруг к деятельной и таким образом вдруг превращаются из бабы в мужа.

Или же вообще – блажен тот, кто уже загорелся небесной любовью к людям и, позабывши уже все собственные страдания, все, что ни наносилось ему в огорченье от них или в оттолкновенье от них, влечется к ним сильнейшею любовью, до того, что, уже как бы позабывши о собственном своем спасении, помышляет только о их спасении. Словом, муж, загоревшийся той любовью, которой еще и не знали во времена Давида и которую принес Христос на землю. Да и вообще много-много других, сильнейших псалмов может произвести поэт, крещенный огнем и духом Христовым, если только возрожденье свое как чело-

века внесет в поэзию свою. Я думаю, что если он ублажит таких мужей, которые именно нужны нашему времени, то он произведет действие на всех, несмотря на то что стихотворения в виде восхвалений не могут иметь такой потрясающей силы, как упомянутые мною прежде роды духовных стихотворений.

Итак, вот все, что я почел нужным сказать тебе о сем предмете с желаньем искренним помочь тебе, как брат хочет помочь любимейшему брату. Не взыщи, если что здесь сказано нескладно и бестолково, а лучше перечти в иное время и в другой раз: иногда и слово глупое наводит на умную мысль, и это всегда почти бывает, когда сказанное сопровождено любовью и желаньем искренним помочь. Тут всегда, как известно, помогает бог. А потому перечти, подумай, и что тебе бог внушит по сему поводу, то и сделай. Да не позабудь прислать мне в образчик и мирское стихотворение. Особенно прошу тех, которые были написаны по какому-нибудь поводу и в писании которых ты чувствовал подталкивающую силу.

Это уже будет третье письмо, которое пи-

шу к тебе после прочтенья твоего стихотворения «Землетрясенье», и с тем вместе третье, если не ошибаюсь, адресуемое в нынешнюю квартиру твою, в дом Шидловской. Затем обнимаю тебя многократно. Да воздвигаются неослабно твои силы.

Весь твой *Г.*

Языков Н. М. – Гоголю, 17 января 1845

17 *января 1845 г. Москва* [1901]

Твои два письма, писанные тобою, как ты сам говоришь, под влиянием моего стихотворения «Землетрясенье», доставили мне много удовольствия, услаждения и пользы. Жаль, что их нельзя напечатать: я бы сделал это непременно, не спросившись тебя и взяв ответственность на свою совесть и на свой страх!! Посылаю тебе еще одно из моих стихотворений, писанных по какому-нибудь поводу[1902]; одно таковое же я отправил к тебе на прошлой неделе[1903]. Странно мне, что ты о сю пору не получил книг, давным-давно доставленных мною графу И. П. Толстому. Теперь я в недоумении, что мне делать с другими книгами, мною для тебя приготовленны-

ми и дожидающимися только выхода 4-й части переводов святых отцов на 1844 <год>? (Она уже объявлена в газетах вышедшею, а подписавшимся еще не выдается!!) Куда пересылать их, когда ты едешь в Италию? Италия велика: в ней есть и Ницца, и Рим, и Неаполь. Разреши мое недоразумение. Воздух благословенного юга, конечно, восстановит твое здоровье: очень естественно, что немецкий воздух действует на тебя разрушительно, – ты русский человек!

Ив. Киреевский все еще не успел выдать 1-й № «Москвитянина»; несчастие, поразившее Елагиных[1904], помешало журнальным работам. Как быть? все мы под богом ходим! Сверх того и цензура придирается к почтенному (с непочтенными она обходится легче и снисходительнее) и замедляет печатание, устремляясь на всякие мелочи, аки лютый зверь на добычу!

Все наши тебе кланяются; я сегодня же пишу в Рим к Чижову, с которым у меня переписка идет довольно живо. Весною поедет в Рим брат Александра Андреевича, Сергей Андреевич Иванов – архитектор, юноша талант-

ливый, и надежный, и самостоятельный, и ничуть не немец: он в начале лета будет пользоваться водами, вероятно в Крейцнахе, а потом уже…

Собрание моих стихотворений выйдет к марту: оно уже печатается. Если ты увидишь Мельгунова, скажи ему, что все мы просим и жаждем от него повестей и статей для «Москвитянина». Не забудь же – для «Москвитянина»![1905]

Если я решусь ехать на водное лечение, то извещу тебя об этом заблаговременно; мы съедемся, посидим вместе и поговорим о том, о сем, о многом! Прощай покуда. Будь здоров. Кланяйся от меня А. И. Тургеневу и Н. Д. Киселеву.

Твой *Н. Языков*.

Января 17 дня. 1845. Москва

Гоголь – Языкову Н. М., конец января (начало февраля) 1845

Конец января (начало февраля) 1845 г. Париж [1906]

Сам бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К не нашим»[1907]. Душа твоя была

орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого «Землетрясенья» и сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси. Больше ничего не скажу покаместь и спешу послать к тебе только эти строки. Затем бог да хранит тебя для разума и для вразумления многих из нас. Прощай.

Весь твой *Г.*

Языков Н. М. – Гоголю, 17 февраля 1845

17 *февраля 1845 г. Москва* [1908]

Спасибо тебе за похвалы, которыми ты награждаешь меня за мое стихотворение «К ненашим». Получил ли ты другое в этом же роде – послание к К. С. Аксакову? Оба эти мои детища наделали много разных сплетней и разъединений в обществе, к которому и ты принадлежал бы, если б ты был теперь в Москве, т. е. в том кругу, где я живу и движусь. Некие мужи важные и ученые, старые и молодые, до того на меня рассердилась, что дело дошло бы, дискать, до дуэли, если бы сочинитель этих стихов не был болен. Вот каково!! Страсти еще волнуются и кипят[1909], а мои грозные сопостаты удовлетворяются тем,

что пересылают мои стихи в Питер, в «Отечественные записки», где меня ругают как можно чаще[1910], стихи мои пародируют и печатают эти пародии[1911]. Само собою разумеется, что эти на меня устремления и этот беззубый лай нимало не смущают меня и что я продолжаю свое. А. Ив. Тургенев бранит меня за стихотворение «К ненашим», полагая, что оно писано против петербургских журналистов. Совсем нет! В нем идет речь о здешних, московских особах, которым не нравятся лекции Шевырева, и потому они и лгут и клевещут на него во всю мочь – они, которых вся ученость ограничивается берлинскими их тетрадками и все личное достоинство их поддерживается в глазах так называемого большого света только их презрением ко всему отечественному, чего они вовсе не знают и знать не хотят!

Вышел 1-й № «Москвитянина», № отличнейший, полный дела, добра и славный! Ты, ежели будешь во Франкфурте, увидишь его, и напиши мне, что об нем подумаешь. Куда же ты едешь из Парижа? Я не знаю, как быть мне теперь с книгами, для тебя у меня готовыми.

Граф И. П. Толстой уехал в Петербург и там пребудет! Погодин собирается в Иерусалим; на второй неделе Великого поста он пустится отсюда, а на последней будет говеть у Гроба Господня.

Посылаю тебе еще одно мое стихотворение[1912] под стать к двум первым; ты догадаешься, к кому оно относится, не давай его списывать: на меня и за него есть гонение – и еще какое? самое неотразимое! – дамское!

Я еще не знаю моей судьбы на наступающую весну: может быть, что меня опять пошлют на воды, хотя нынешняя зима, так, как и прошлогодняя, мне гораздо сноснее всех прежних заграничных. Но мне все-таки хочется больше.

Прощай покуда. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Февраля 17 дня. 1845. Москва

Языков Н. М. – Гоголю, 10 марта 1845

10 *марта 1845 г. Москва* [1913]

Вот тебе еще стихотворение[1914] под стать тем, которые я посылал к тебе в Париж. Александр Иванович Тургенев выписывает из

Москвы объяснение на мое послание «К ненашим», и Хомяков и Димитрий Николаевич Свербеев послали ему свои комментарии: первый за меня, а другой, вероятно, против того духа, который подвигнул меня на этот подвиг. За стихи к Шевыреву осердился на меня и Английский клуб, а о московских представителях направления «Отечественных записок» и говорить нечего!

Во Франкфурте ты, конечно, видел уже 1-й № «Москвитянина». Каков И. В. Киреевский? Есть надежда, что наш журнал пойдет ходко: с первого № число подписчиков умножилось от 400 до 700. Оно еще вырастет значительно. 2-й № еще лучше, сильнее, важнее и дельнее, нежели первый. Даже сам П. В. Киреевский выступает на сцену мира сего: пишет опровержение на статью Погодина, напечатанную в 1-м №[1915]. Это восстание московских писателей и всей нашей братии ото сна – дело вовсе русское! У нас все так: или все притаятся, или если один примется работать, то и другие, на него глядя, встанут и расходятся. Много может сделать русский человек, когда пошло на задор. Это не зависть, не желание

перебить другого – это одно благородное чувство, которое, как электричество, разом потрясает всех держащих друг друга за руку!

У нас о сю пору продолжается зима, то и дело бывает по 15 градусов холоду, а весна уже на дворе по календарю. Едва ли пошлет меня Иноземцев за границу; на днях я переговорю с ним об этом подробнее; он, кажется, хочет пользовать меня холодною водою, и я буду проситься у него съездить летом в Симбирск, в деревню: мне, брат, крайне наскучила столичная жизнь, в уединении мне было бы лучше и как больному и как писателю, если бы я мог только находиться там под надзором хорошего медика. Куда устремишься ты будущим летом? Не во Франкфурте же сидеть тебе? Или на воды? Напиши мне; я буду попрежнему посылать тебе обычные порции моих каракуль. Прочти в «Москвитянине» все статьи, под коими напечатано «К.»[1916]; во втором № прочти и «Спорт» – это хомяковская штучка[1917].

Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Марта 10 дня. 1845

Гоголь – Языкову Н. М., 24 марта (5 апреля) 1845

24 *марта (5 апреля) 1845 г. Франкфурт* [1918]

Апреля 5. Франкфурт.

Письмо от 10 марта получил и с ним стихотворение к Шевыреву. Благодарю за него. Оно очень сильно и станет недалеко от «К не нашим», а может быть, и сравнится даже с ним. Но не скажу того же о двух посланиях: «К молодому человеку» и «Старому плешаку»[1919]. О них напрасно сказал ты, что они в том же духе; в них, скорей, есть повторение тех же слов, а не того же духа. В том же духе могут быть два стихотворения, ничего не имеющие между собою похожего относительно содержания, и могут быть не в том духе, напоминающие содержанием друг друга и, по-видимому, похожие. Это не есть голос, хоть и похоже на голос, ибо оно не двигнуто теми же устами. В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела. И мне кажется это несколько мелочным для поэта. Поэту более следует углублять самую истину, чем препи-

раться об истине. Тогда будет всем видней, в чем дело, и невольно понизятся те, которые теперь ерошатся. Что ни говори, а как напитаешься сам сильно и весь существом истины, послышится власть во всяком слове, и против такого слова уже вряд ли найдется противник. Все равно как от человека, долго пробывшего в комнате, где хранились благоухания, все благоухает, и всякий нос это слышит, так что почти и не нужно много рассказывать о том, какого рода запах он обонял, пробывши в комнате. Друг мой, не увлекайся ничем гневным, а особливо если в нем хоть что-нибудь противуположное той любви, которая вечно должна пребывать в нас. Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братий. Нужно, чтобы в стихотворениях слышался сильный гнев против врага людей, а не против самих людей. Да и точно ли так сильно виноваты плохо видящие в том, что они плохо видят? Если ж они, точно, в том виноваты, то правы ли мы в том, что подносим прямо к их глазам нестерпимое количество света и сердимся на них же за то, что слабое их зре-

нье не может выносить такого сильного блеска? Не лучше ли быть снисходительней и дать им сколько-нибудь рассмотреть и ощупать то, что оглушает их, как громом? Много из них в существе своем люди добрые, но теперь они доведены до того, что им трудно самим, и они упорствуют и задорствуют, потому что иначе нужно им публично самих себя, в лице всего света, назвать дураками. Это не так легко, сам знаешь. А ведь против них большею частию в таком смысле было говорено: «Ваши мысли все ложны. Вы не любите России, вы – предатели ее». А между тем ты сам знаешь, что нельзя назвать всего совершенно у них ложным[1920] и что, к несчастию, не совсем без основания их некоторые выводы. Преступление их в том, что они некоторые частности распространяют на общее, исключенья выставляют в правила, временные болезни принимают за коренные, во всяком предмете видят тело его, а не дух и, близоруко руководствуясь аналогией видимого, дерзают произносить свои суждения о том, что духом своим отлично от всего того, с чем они сравнивают его. Следовало бы по-настоя-

щему вооружиться противу сих заблуждений, разъять их спокойно и показать их несообразность, но с тем вместе поступить таким образом, чтобы в то же время и тут им самим дать возможность выйти не совсем бесчестно из своего трудного положения. Тогда, кроме того что многие из них сами обратились <бы> на истинный путь, но самой публике было бы доступней все это и хоть сколько-нибудь понятней, в чем дело. Теперь же она решительно не понимает, в чем дело и отчего так сильно горячатся у нас одни против других в журналах. Десяток людей сражаются между собою; те и другие говорят в слишком общем и пространном смысле; с обеих сторон крайности, не соединяющиеся никаким образом друг с другом; те и другие сражаются друг против друга уже выведенными результатами, не давая никому отчета, как они дошли до своих результатов, и хотят, чтобы все это понятно было всем читателям. Конечно, многое понимается инстинктивно, потому что дух идущего века действует своим чередом. Поэт может действовать инстинктивно, потому что в нем пребывает высшая сила слова. Но кто хочет

действовать полемически, тут потребна необыкновенная точность, разъятие ясное всего и ощутительное показание, в чем дело. Храни бог тут быть поэтом, как раз будешь сражаться с тенью и воздухом, бросая вместо ядер целые беспредельные пространства мыслей, то есть мысли слишком цельные, которые можно истолковать всячески. Я бы очень хотел теперь читать лекции Шевырева. Я уверен слишком в их значительности, но знаю также, что он способен человечески увлекаться, переходить нечувствительно в излишество, и потому весьма может быть, что отчасти повредил и себе и своему предмету. Но мы не получаем здесь решительно ничего. Скажи Киреевскому[1921], что Жуковский на него сердит за то, что он не прислал «Москвитянина». Я сам также ехал во Франкфурт с приятной надеждой найти здесь 1 номер давно полученный, и вот с приезда моего сюда протекло уже почти полтора месяца, а «Москвитянина» все нет. Я все еще нахожусь в больном и расстроенном состоянии. Временами бывает несколько лучше, времена<ми> вновь хуже. До сих пор не в силах писать и

трудиться, и малейшая натуга повергает меня в болезнь, а что всего хуже, с этим соединяется всякий раз тоска, и не знаешь, куда от нее деться. Но отложим обо мне речь на конец письма. Продолжаю о тебе. В послании твоем «К плешаку» слышно военнолюбивое расположение, вовсе неприличное твоему мирному характеру, по существу своему настроенному к прохладам тишины, а потому я отчасти думаю, не вмешались ли сюда нервы? А потому советую тебе рассмотреть хорошенько себя: точно ли это раздражение законное и не потому ли оно случилось, что дух твой был к тому приготовлен нервическим мятежом. Эту поверку я делаю теперь всегда над собою при малейшем неудовольствии на кого бы то ни было, хотя бы даже на муху, и, признаюсь, уже не раз подкараулил я, что это были нервы, а из-за них, притаившись, работал и черт, который, как известно, ищет всяким путем просунуть к нам нос свой, и если в здоровом состоянии нельзя, так он его просунет дверью болезни. А потому советую и тебе также в таких случаях всякий раз обсматриваться на себя. А чтобы исполнить это успешней, перечти

вновь мои письма, писанные к тебе по поводу «Землетрясения». И так как там многое, вследствие твоих же слов, согласно с твоими собственными мыслями относительно действований поэта в нынешнее время, то ты можешь весьма скоро сличить и увидеть, не отступил ли сам от собственных своих мыслей. А покаместь я тебе повторяю вновь: перетряхни русскую старину, особенно времена царей. Они живей и говорящей и ближе к нам. И ты в несколько раз выиграешь более, когда те русские стихии и чисто славянские струи нашей природы, из-за которых идет спор, выставишь в живых и говорящих образах. Твои герои (а в героя может обратиться и всякий бездушный предмет) ходом и действием своим защитят сильней, чем бы ты сам защитил истину, ибо дело сильней слова. Но довольно. Обращаюсь от твоей души к твоему телу. На днях я был у Коппа, и он, расспрашивая о тебе, сказал мне, чтобы я написал тебе, чтобы ты съездил непременно еще один раз, и именно в нынешнее лето, в Гастейн, и потом морское купанье на Северном море, или в Остенде, или в другом месте. В то же время

прибавил, что не худо бы и мне сделать то же. А потому я и передаю это тебе к сведен<ию>. Как решишь, конечно, зависит от тебя и от твоего нынешнего состояния, но, во всяком случае, если бы тебе случилось, точно, ехать в Гастейн, то я готов тебя сопровождать и туда, ибо к Призницу я не отваживаюсь, тем более что получил наконец известие от Россети[1922], который бранит на все четыре стороны холодное свое лечение, говоря, что, кроме каторги самого лечения, никакого от него удовольствия, а пользы и на копейку <нет>, и который притом пророчит, что я никак не в силах буду выдержать курса. Я знаю только то, что где ни случится мне протаскаться летом, но нужно протаскаться и проездиться; дорога и переезды мне делали добро. А осенью – в Рим, где встречу и начало зимы, а в конце зимы – в Иерусалим, к говенью и пасхе. А из Иерусалима – в Москву. Все это, разумеется, в таком разе, если бог будет так милостив, что повелит прийти в порядок душевным и телесным моим силам. Пришли мне «Путешествие к св. местам» Норова[1923], хочу посмотреть, что за вещь. Спроси у Шевырева, писал ли он

ко мне или нет в ответ на мое письмо, писанное еще в прошлом году[1924]. Вопрос этот не упрек и не напоминанье, а хочу только знать, чьи были два письма ко мне, о которых я имею известие то, что они пропали между Франкфуртом и Парижем. Узнай также от Константина Сергеевича, получил ли Сергей Тимофеевич от меня письмо[1925] с некоторым поученьем сыновьям его, в числе которых и ему, то есть Константину Сергеевичу, и что он думает о сем. Да распорядись, чтобы к нам какими-нибудь судьбами дошел «Москвитянин». Может быть, пришествие его оживило бы сколько-нибудь литературные побуждения. Уведоми также, уехал ли Погодин в Иерусалим или отложил свою поездку на другое время. В последнем случае объяви ему о моем намерении, и если ему случится ехать на Рим, то, вероятно, мы отправимся тогда вместе. Намерение твое ехать в Симбирск я не одобряю, а Жуковский, как услышал, даже закричал, чтобы ты ни под каким видом сего не делал, а Копп, если услышит, вероятно, тоже подымет вопль, да вряд ли и Иноземцев тебя отпустит. Что ни говори, люди все-таки

важная вещь: хоть они подчас и надоедят, но все же потом обратишься к ним. Хороший доктор под рукой тоже не безделица, а этого в деревне не найдешь. Мой совет уж лучше послушаться Коппа и съездить в Гастейн, а после поездки заграничной наскучившая Москва приглянется вновь. А там подъеду я, и ты увидишь, что при мне будет многое сносно, особенно если я приеду из Иерусалима таким, как хочу приехать, внося мир, а не раздор в домы. Помолись же хорошенько богу о себе, да и о мне тоже помолись, о здоровье и о силах моих слабеющих. Восстание наше в его святой воле, и всё от него.

Обнимаю тебя от всей души.

Твой *Г.*

Языков Н. М. – Гоголю, 10 мая 1845

10 *мая 1845 г. Москва* [1926]

Грустно мне было читать твое письмо от 1 мая[1927]. Что это с тобою делается? Болезнь и хандра, хандра и болезнь, и ни та, ни эта о сю пору тебя не покидает. Я было надеялся, что весна отгонит их прочь от тебя, теперь вижу, что не воздух, не слякоть и кись и

дрянь погоды, а что-то постояннейшее и действительнейшее расстраивает твое тело и томит и сокрушает дух твой. Приписываю это знаешь ли чему? Долговременному пребыванию твоему между немцами, среди чужого языка! Выдь на минуту из себя, взгляни на себя, как на всякого истинно русского человека, живущего и движущегося, положим, уже хоть полгода между шмерцами, и войди беспристрастно и сострадательно в его положение: ты согласишься со мною! Беги скорее от них, беги неоглядкой хоть куда глаза глядят: я уверен, что ты скоро поправишься, пободреешь и что болезнь и хандра убегут от тебя обе вместе, видя себе беду неминучую.

Погодин на днях делает консилиум, где решится судьба его на наступающее лето, т. е. ехать ли ему на воды или нет, и если ехать, то куда? Ноге его стало хуже.

Сердечно рад, что «Москвитянин» таки дошел до тебя. Благодарю за похвалы моим стихотворениям![1928] Ты напрасно думаешь, что Хрипков – живописец вроде Мокрицкого; мое послание к Хрипкову я почитаю одним из удачнейших дел моих сего рода: стало быть,

меня обманули чувства, что я восхитился дрянью. Нет! Я с тобою не согласен во мнении о моем кавказском пейзажисте. Спроси о нем Жуковского – он, конечно, помнит его и не назовет дрянью. Прискорбно мне еще и то, что ты вовсе ничего не сказал мне о моей элегии, напечатанной во 2-м № «Москвитянина»[1929]; я думаю, что это одна из лучших картин, нарисованных моими стихами; не всякий может оценить ее достоинство, тут нужен взгляд знатока, но ты, мой любезнейший, должен отдать ей должную похвалу, ты, который умеет крепко ограждать себя от надоедников и который истинно геройски защитился от предмета этой элегии! Помнишь?

С. Т. Аксаков будет на днях писать к тебе, Шевырев тоже; Хомяков и Свербеев тебе кланяются – все мы зовем тебя в Москву; полно тебе кочевать в странах не русских и не православных. Пора тебе домой, и если ты боишься борея, то ведь русская земля не клином сошлась; от Черного моря до Белого много климатов, выбирай любой и живи со своими…

Прощай покуда. Поправляйся же. Я буду

писать к тебе еще чаще.

Твой *Н. Языков*.

Мая 10 дня 1845

Языков Н. М. – Гоголю, 12 июня 1845

12 *июня 1845 г. Москва* [1930]

Отвечаю на твое письмо от июня 5 дня[1931]. Если бы я записывал все, что я передумал о самом себе и о моей болезни, положим, хоть в одно полугодие многолетнего и непрестанного жития моего с нею, у меня недостало бы денег на бумагу. Мнительность – растение, растущее неимоверно быстро: оно разом развивается в огромное мачтовое дерево; наше воображение пользуется им так же быстро: тотчас строит из него и оснащивает корабль, сажает нас в этот корабль, спускает его на бурное море, и мы несемся черт знает куда. Кроме всего этого, ты, мой любезнейший, повторяю тебе, дышишь немецким воздухом, живешь между немцами, движешься на немецкой земле, среди чужого языка!

Жду приезда Смирновой в Москву, познакомлюсь с нею непременно и обещаюсь тебе воспеть ее: я давно уже жажду узнать ее лич-

но, я о ней много слышал разных воспетий, но я держусь слов, сказанных не помню каким летописцем: «Не всякому слуху веруйте, но испытуйте духи: есть бо дух божий и дух льстечь!»[1932]

Что ты делаешь в Гомбурге[1933]? Гаштейн, по моему соображению, поможет тебе, только не забудь там устроить себе здоровую и сытную пищу. Гаштейнские воды, правда, укрепляют, но гаштейнская пища – самая слабительная: помнишь?! Вспомни штраубингеровскую говядину, телятину и особенно его супы, и особенно субботний!!

Вспомни и гр. Апр<аксина?> – как, бывало, вылетал он после обеда за общим столом на площадку перед моим окном, распаленный, грозный, браня встречному и поперечному обед, его не удовлетворявший, и в самом деле обед подлейший!

Путешествие А. Норова в Иерусалим я уже отдал Аксаковым, которые имеют с кем переслать его к тебе: оно мне очень понравилось: это не муравьевское[1934]! Книга дельная, ученая и необходимая всякому паломнику. Слышно, что Погодин не переменил своего

намерения побывать в Святой земле, но я еще не говорил с ним об этом; уведомлю тебя, когда и как он решился.

Будь же здоров.

Твой *Н. Языков*.

Июня 12 дня 1845. Москва.

Языков Н. М. – Гоголю, июнь – первая половина июля 1845

Июнь – первая половина июля 1845 г. Москва [1935]

Где ты, милый? Что с тобою?!

Я давно уже не получал от тебя ни строчки; полагаю, что это время твоего ко мне неписания – время переезда твоего из Франкфурта в Гаштейн[1936]. Я надеюсь, что Гаштейн поправит твои нервы и освежит все твое бренное тело, и ты снова прибодришься духом и пойдешь твердо и весело по той дороге, на которой все мы и все наши сердечно желаем тебя видеть!! У нас теперь о тебе слухов мало, и те слабые. А. И. Тургенев видел тебя мельком. Аржевитинов не застал тебя во Франкфурте, Заикин видел тебя еще в Париже[1937], а Мельгунова я еще <не> видал. Он

возвратился в Москву и, как слышно, молодец-молодцом, процвел телом от водного лечения и расцвел душою, женившись на красавице.

Моя свояченица Ел. П. Языкова, которую ты знаешь, едет в Гаштейн еще в августе; итак, она едва ли найдет тебя там[1938], но я все-таки пошлю тебе с нею что-нибудь.

Я прочел роман Кулиша «Михайло Чарнышенко»[1939]: скука и тоска! Не знаю, о каких отрывках его говоришь ты; где ты читал их?[1940]

Мельгунов сказывает, что у Василия Андреевича уже готовы 12 песен «Одиссеи». Каково действует наш парнасский старейшина? А мы что делаем? О, если бы во всех в нас была хоть десятая часть его славной доблести!

Вышли, одною книжкою, 5-й и 6-й №№ «Москвитянина». Напрасно восклицал Погодин, что журнал его воскрес: книжка тощая, слабая, еле дышит и говорит много вздору! Погодинскому редакторству сильно вредит нелюбовь к нему молодого поколения московских книжников и литераторов; не знаю, праведна ли эта нелюбовь, но она ясна, как

свет божий: все наши юноши решительно отступились от «Москвитянина» с тех пор, как И. Киреевский его оставил, а под редакцию Киреевского шли они ходко и весело, как жених на брак. Панов – юноша тебе знакомый, и дельный, и благонадежный, собирает альманах[1941]; не знаю, удастся ли и эта попытка дать сборное место жаждущим движения... Посылаю тебе письмо Н. Н. Шереметевой. Хомяковы, Свербеевы, Елагины и все мы желаем тебе здоровья и бодрости духа.

Прощай покуда.

Твой *Н. Языков*.

Аксаковы переехали в деревню близ Троицкой лавры и занимаются ужением рыбы; у них цветет благоденствие и сладчайшая деревенская жизнь.

Языков Н. М. – Гоголю, 21 ноября 1845

21 *ноября 1845 г. Москва* [1942]

Из твоего письма[1943] вижу я, что ты, мой любезнейший, не получил двух писем, пущенных мною к тебе в Рим. Слава, громкая слава Присницу, что он восстановил, осве-

жил, прибодрил и освежил бренное тело твое. Верь ты после этого нашим знаменитостям медицины![1944] Не только нашим, но и всяким, сколько их ни есть. – Больвера также холодная вода выправила.

Смирнова была в Москве несколько дней, виделась с Аксаковыми, которые, конечно, уже писали тебе об этом достопамятном их свидании[1945]. Александра Осиповна, как слышно, хотела уговорить Константина Аксакова перестать носить русскую рубашку и зипун (костюм, в коем с некоторого времени этот доблий юноша является везде и всюду), но не тут-то было – не на такого попала.

В Калуге служит в губернском правлении Иван Аксаков – юноша с большим талантом: вытребуй от Сергея Тимофеевича стихов его. Теперь в Риме, как и во всей Италии, русских, я думаю, битком набито. Пребывание императрицы в Палермо просто эпоха в новейшей истории всей Италии. Государя ждут сюда в январе; но это ведь слухи неофициальные.

Кн. Волконский, сын Зинеиды, издал в Москве книгу «Рим и Италия»; я начал читать ее: что-то вроде смеси, всякой всячины, то-

го-сего. Шевырев приготовляет к печати свои лекции о истории русской литературы. Погодин печатает свое похвальное слово Карамзину – то, которое сказал он в Симбирске при объявлении памятника, при громе рукоплесканий всего симбирского дворянства![1946]

«Москвитянин» на будущий 1845 <год> пойдет по-прежнему: нового журнала не предвидится. Хомяковы еще в деревне. Свербеевы тебе кланяются. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Ноября 21 дня 1845

Гоголь – Языкову Н. М., 27 декабря 1845 (8 января 1846)

27 *декабря 1845 г. (8 января 1846 г.) Рим* [1947]

Генвар. 8. Рим.

Два письма твои в Рим (одно без числа[1948], другое от ноября 21) я получил; благодарю за них, за участие и за некоторые известия, хотя их и немного. Я порадовался тому, что Шевырев приготовляет к печати свои лекции, которых я жду с нетерпением, и что у Аксакова Ивана есть талант. Я писал к отцу,

чтобы прислал мне его стихов[1949], напомни и ты или лучше пришли сам: я думаю, работа будет небольшая приказать уписать мелким шрифтом на листе почтовой бумаги все. Известие о переводе «Мертвых душ» на немецкий язык[1950] мне было неприятно. Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечествен<ников>, принявшая «Мертвые души» за портрет России. Если тебе попадется в руки этот перевод, напиши, каков он и что такое выходит по-немецки. Я думаю, просто ни то ни се. Если случится также читать какую-нибудь рецензию в немецких журналах или просто отзыв обо мне, напиши мне также. Я уже читал кое-что на французском о повестях в «Revue de Deux mondes» и в «Des Débats»[1951]. Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и о новоизобретенной помаде красить волоса, и больше не бу-

дет о том и речи. Но в Германии распространяемые литературные толки долговечней, и потому я бы хотел следовать за всем, что обо мне там ни говорится. О римских новостях не знаю, что тебе написать; меня по крайней мере они не интересуют. Самое важное из происшествий был приезд нашего царя[1952]. Я полюбовался им только издали и помолился в душе за него. Да поможет ему бог устроить все к лучшему на Руси нашей! Здоровье мое вначале было поправилось значительно, теперь расклеивается вновь; я зябну до такой степени, что не нахожу средств согреваться. Сначала было я прибегал к беготне, которая мне помогала; но теперь ноги начинают болеть и отказываться. Но да будет во всем божья воля! Жду от него одного только помощи, его одного только средства действительны и могут излечить меня. Ему же поручаю и тебя. Да устроит он все в нас ими же весть судьбами и обратит все недуги наши в добро, для которого, верно, и вызваны они в нас! А ты напиши мне подробно и обстоятельно все твои нынешние припадки, мне это нужно. Затем обнимаю, прощай.

Твой *Г.*

Адрес мой: Via de la Croce, 81, 3 piano, а ты напиши мне свой.

Поздравляю тебя с наступающим нашим новым годом. Да будет он нам благотворней и чудотворней всех годов и да восчувствуем в нем всю благодать и милость бога!

Если что найдется прислать, пошли к Вяземскому или к графине Вьельгорской (на Михайловской площади, в собственном доме) с тем, чтобы они отправили с курьером, которые теперь ездят всякую неделю в Палермо и в Рим.

Спроси у Шевырева, получил ли он письмо мое от двадцатых чисел декабря.

Языков Н. М. – Гоголю, 18 февраля 1846

18 *февраля 1846 г. Москва* [1953]

Я послал тебе несколько книг: тут все, что вышло у нас нового, хотя сколько-нибудь любопытного; ждут появления нового романа Загоскина и нового же романа Кулиша[1954] – и их пришлю, когда выйдут они в свет. Наш «Московский литературный сборник» еще не

готов – имеет явиться к Святой неделе.

Нынешняя зима у нас крайне тиха, чересчур тиха. Елагины в деревне, Вас. Елагин женился. И. В. Киреевский поздоровел, бодрится и собирается писать. Петр Васильевич продолжает сидеть над собранием русских песен (которому уже 16-й год!), и он тоже в деревне. Хомяковы в Москве. Алексей Степанович написал еще прекрасную статью – под стать своим прежним, которые ты знаешь; она будет в нашем сборнике[1955]. В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений – какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова[1956]. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение: я сам не успел прочесть ее, потому что мои здешние благоприятели, читавшие ее, не похваляют ее! На сцене явилась новая драма: «Смерть Ляпунова», соч. Гедеонова, сынка известного директора театров. Говорят, что она, несмотря на свою бесхарактерность и неестественность, все-таки сильно действует на публику, пробуждая чувство народности. Я пришлю тебе эту драму, когда она будет напечатана. Панов написал биографию покойного Валуева,

которую он уже послал тебе. К. Аксаков сочинил водевиль[1957], и петербургская цензура пропустила его на сцену, к нежданной радости автора. И. Аксаков всю зиму был болен: теперь выздоравливает. Получил ли ты его стихи от Жуковского?

Мне кажется, что не все мои письма доходят к тебе. И от А. Анд. Иванова я о сю пору не получаю ответа на мой вопрос, получил ли он от княгини Зинаиды Волконской книгу «Памятники московской древности»?[1958]

Будь здоров – и не тоскуй.

Твой *Н. Языков*.

Февраля 18 дня. 1846

Гоголь – Языкову Н. М., 9(21) апреля 1846

9 (21) а*преля 1846 г. Рим* [1959]

Апрел. 22.

Христос воскрес!

Письмо получил[1960], но книг, заключающих наши литер<атурные> новости, не получал, хотя ожидал целые две недели после получения письма. Жаль, что не упомянул, с кем они посланы. Мне бы теперь сильно хоте-

лось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болезненного состояния моего. В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно. Поэтому для меня имеют много цены даже и те повествован<ия>, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного. Я бы все эти сборники прочитал с большим аппетитом, но их нет, и не знаю даже, куды и с кем они тобою посланы и когда их получу. От Жуковского я получил извещение, что он, точно, получил стихи Аксакова Ивана, но удержал их у себя, считая лучше вручить их мне лично, по приезде моем к нему. Он находит в них много мистического и укоряет молодых наших поэтов в желании блеснуть оригинальностью. Последнего мнения я не разделяю, хотя и не читаю стихов. Это направление невольное и не есть желание блеснуть. Теперешнего молодого человека мечет невольно, потому что есть внутри у него сила, требующая дела, алчущая действовать и только не знающая, где, каким об-

разом, на каком месте. В теперешнее время не так-то легко попасть человеку на свое место, то есть на место, именно ему принадлежащее; долго ему придется кружить, прежде чем на него попасть. Попробуй, однако ж, дать прочесть Аксакову Ивану мои письма, писанн<ые> к тебе о предметах, предстоящих у нас лирическому поэту, по поводу стихотворения «Землетрясение»[1961]. Они все-таки хоть сколько-нибудь наводят на действительность. Почему знать? Может быть, они подадут ему какую-нибудь мысль о том, как направить силы к предметам предстоящим. Штука не в наших мараньях, но в том, что благодать божья озаряет наш ум и заставляет его увидеть истину даже и в мараньях. Кстати об этих письмах: ты их береги. Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга[1962], полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страданья, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим. Бог весть, может, это

будет полезно и тем, которые находились и не в таких обстоятельствах и даже мало заботятся о страданиях других. Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе. Но покамест это между нами. Мне нужно обсмотреться и все разглядеть и взвесить. Двигает мною теперь единственно польза, а не доставленье какого-либо наслажденья. Еще две недели, не более, остаюсь в Риме. Во Франкфурте полагаю быть в начале июня или в конце нашего мая. Все посылай и адресуй во Франкфурт, на имя Жуковского. Прощай; более писать не в силах. Зябну и дрожу и бегу бросить письмо на почту и согреться.

Гоголь – Языкову Н. М., 23 апреля (5 мая) 1846

23 *апреля (5 мая) 1846 г. Рим* [1963]

Мая 5.

Пишу к тебе на выезде из Рима. Письмо твое от 19 марта получил, но книг не получал; они канули бог весть где. Жаль, что не пишешь, с кем их послал. Это досадно. Как нарочно, в этом году так было легко получать книги: курьеры приезжали всякую неделю в

Рим, всем что-нибудь привозили, одному мне ничего. Иванов свои книги получил[1964]. Благодарю за выписку предисловия к немецк<ому> переводу «Мертвых душ». Немец судит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой может иметь на эти вещи иностранец. При всем том крайне неприятно, что «Мертвые души» переведены. Впрочем, что случилось, то случилось не без воли божией. Дай только бог силы отработать и выпустить втор<ой> том. Узнают они тогда, что у нас есть много того, о чем они никогда не догадывались и чего мы сами не хотим знать, если только угодно богу подать мне силы среди самых немощей и болезней честно и свято выполнить дело.

На днях я прочел с любопытством и удовольстви<ем> похвальное слово Карамзину, произнесенное Погодиным[1965]. Это лучшая его статья. В ней нет его опрометчивости и разных топорных замашек. Все довольно стройно. Места и выписки расставлены в порядке, так что характер выходит весь перед читателя. Карамзин представляет явление, точно, необыкновенное[1966]. Он показ<ал>

первый, <что> звание писателя сто́ит того, чтоб для него пожертвовать всем, что в России писатель может быть вполне независим, и если он уже весь исполнился любви к благу, первенствующей во всем его организ<ме> и во всех его поступках, то ему можно все сказать. Цензуры для него не существует, и нет вещи, о которой бы он не мог сказать. Какой урок и поученье нам всем! И как смешон после этого иной наш брат литератор, который кричит, что в России нельзя сказать правды или что правда глаза колет! Сам же не сумеет сказать правды, выразится как-нибудь аляповато, дерзко, так что уколет не столько правдой, сколько теми словами, которыми выразит свою правду, словами, знаменующими внутреннюю неопрятность невоспитавшейся своей души, и сам же потом дивится, что от него не принимают правды. Нет, имей такую стройную и прекрасную душу, какую имел Карамзин, такое чистое стремление и такую любовь к людям – и тогда смело произноси правду. Все в государстве, от царя до послед<него> подданного, выслушает от тебя правду. Но довольно. Спешу укладываться.

Адресуй письма и посылки во Франкфурт, по-прежнему на имя Жуковского.

Прощай.

Твой *Г.*

Прилагаемое письмецо[1967] отправь немедленно к Сергею Тимофеевичу.

Письма мои к тебе, особенно последние, те, где какие-нибудь места, относящиеся к литерат<урному> делу, <сбереги>. Я не оставляю намер<ения> издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать к тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход. Но это, говорю по-прежнему, между нами.

До последующего письма!

Языков Н. М. – Гоголю, 30 апреля 1846

30 *апреля 1846 г. Москва* [1968]

Больно жаль мне, что ты о сю пору не получил книг, посланных мною еще в январе к князю Вяземскому для передачи гр. Вельгорскому, который и отправил бы их в Рим. На днях послал я еще и тем же путем для тебя книги: 3-ю часть «Новоселья»[1969] и «Брын-

ский лес». Напишу Вяземскому, чтобы эти направить уже во Франкфурт. Недавно был в Москве Чижов: наш журнал, кажется, состоится и пойдет в ход[1970]. Но начало ему не прежде 1848 года. Чижову необходимо заготовить по крайней мере на год статей для журнала, своих собственных: на московских писателей и сотрудников он мало надеется – и справедливо! С ними того и жди, что на мель сядешь, а наобещают с три короба.

Вышли лекции Шевырева[1971]; я скажу ему, чтобы он послал их тебе: эти лекции – подвиг важный и бессмертный: теперь перестанут думать, что наша словесность началась с Кантемира. Также придет время, когда увидят, что и история наша началась не с Лефорта!!

Ив. Аксаков уехал в Калугу, где он служит в палате. На прошлой неделе давали водевиль К. Аксакова «Почтовая карета». Я пришлю тебе куплет о Питере и об Москве[1972]; автор был вызван и осыпан рукоплесканиями.

Прощай покуда. Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Апреля 30 дня. 1846

Гоголь – Языкову Н. М., 12(24) июня 1846

12 *(24) июня 1846 г. Греффенберг* [1973]

Ничего еще не пишу тебе верного насчет моего местопребывания, нахожусь в недуге, увеличивающемся более и более, чувствую, что нужно куда-нибудь двинуться[1974], и недостает сил, а с тем вместе духа и решительности, ибо страшусь, что останусь один, что может случиться особенно в Гастейне, а это мне опасно. Но оставим отныне всякую речь обо мне и не будем больше говорить о моем здоровье. Все в руках божиих!

Маленькое письмо твое от 27 дня мая[1975] получил. Бог да хранит тебя. На дачу выезжай поскорее, не трудись и отдохни летом, но не сиди на месте и двигайся побольше на воздухе. Пей чай и все утро на воздухе прохаживайся побольше, не пропускай ни одного вечера. Днем, если можно, сиди также на воздухе, придумай такое занятие, хоть, например, уженье рыбы. Жаль мне, что «Москвитянин», судя по письму твоему, готов прекратиться, впрочем, я уже видел с самого начала. Прыть

и натуга у нас на миг; за нею в ту же минуту следует лень и беспечность, без одного повелевающего и движущего всем у нас никакое дело ни на каком поприще не состоится. А повелевать и двигать всем никто не умеет, но потому, что не умеет повиноваться. Впрочем, наше поле литературное, слава богу, не бедно и мне кажется вообще утешительным. Много очень замечательного. Я прочел «Тарантас» Соллогуба, который гораздо лучше его самого[1976]. Произведение очень удачное, таланта, ума и остроты много. Оно ровно, выдержанно и даже в своем роде полно. Язык правилен, и слог очень хорош. Но еще больше меня остановили произведения Кулиша. Судя по отрывкам из двух романов[1977], которые я прочел, в нем все признаки таланта большой руки, я бы очень хотел иметь сведения о нем самом, об авторе, тем более что о нем почти не говорят. Если бог сохранит его, то ему предстоит важное место в нашей литературе. Повести Даля, особенно те, где купеческий, крестьянский и всякий хозяйственный домашний быт внутри нашего государства, по-моему, очень значительны, и мне кажется, что своей внут-

ренней значительностью и полезностью они пополняют или выкупают отсутствие творчества в авторе[1978]. Жаль, что ты мне не прислал «Гаммы» Полонского, я бы очень хотел прочесть их.

Но... устаю и прерываю письмо. Бог да хранит тебя! Помолись также и обо мне. Попроси всех, чьи молитвы считаешь действительными, помолиться обо мне, моих же молитв недостает на то.

Весь твой *Г.*

Адресуй на имя Жуковского.

Июнь 24.

Языков Н. М. – Гоголю, 24 июля 1846

24 *июля 1846 г.* [1979]

Требуемое тобою письмо получишь ты скоро[1980]. Я уже хлопочу о нем. Твои письма берегу я в достодолжной сохранности. Дело в том, что мне надобно съездить самому в Москву для вынутия оного письма, а езда в теперешние палящие жары для меня не шутка. Но будь спокоен, все сделается как тебе надобно.

Сердечно радуюсь, что книги, мною к тебе посланные, таки дошли[1981], и, таким образом, мое к тебе преусердие по сей части оправдалось очевидно! Скажи мне твое мнение о повести Достоевского: питерские критики щелкоперы прокричали ему большую похвалу[1982]; повесть эта довольно длинная – и мне не хотелось читать наудалую, ты же теперь <нрзб.> жаждою русского чтения: прочтешь и ее, какая бы ни была. Плетнев говорит, что Достоевский из числа твоих подражателей и что разница между тобою и им та же, что Карамзиным и кн. Шаликовым!! Чертовская разница!

Твою прекрасную статью «Об Одиссее, переводимой Жуковским», я уже послал Коршу, издателю «Московских ведомостей», и посылаю в «Москвитянин», хотя, признаюсь тебе, мой любезнейший, меня сильно соблазняло желание оставить ее для «Московского сборника». И. Аксаков написал еще много прекрасных стихотворений, я бы прислал их тебе, если бы мог добиться списков: с Аксаковым вечно так!

Мое водолечение идет хорошо: бодрит и

укрепляет мои ноги, но ведь это еще только начало, я пользуюсь только что обливаниями и полуваннами! Важнейшее еще впредь будет, а покуда благодарю бога и за то, что уже со мною делается. Попробуй ты заняться точением: купи себе токарный станок, можешь найти в Ганау тот самый, которым я потешался, спроси Копа! Я думаю, что телодвижение заменит тебе езду и проч.

Прощай покуда, будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Июля 24 дня. 1846

Пиши ко мне: на Кузнецкий мост, в дом Хомякова.

Гоголь – Языкову Н. М., 23 сентября (5 октября) 1846

23 *сентября (5 октября) 1846 г. Франкфурт* [1983]

Франкфурт. Октября 5.

И ты против меня! Не грех ли и тебе склонять меня на писание журнальных статей[1984] – дело, за которое уже со мной поссорились некоторые приятели[1985]? Ну, что во

мне толку и какое оживление «Московскому сборнику» от статьи моей? Статья все же будет моя, а не их; стало быть, им никакой чести. Признаюсь, я не вижу никакой цели в этом сборнике[1986]. Дела мало, а педантства много. А из чего люди в нем хлопочут, никак не могу себе определить. Вышел тот же мертвый номер «Москвитянина», только немного потолще. У нас воображают, что все дело зависит от соединения сил и от какой-то складчины. Сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без того принесешь сор в общую кучу. Нет, дело нужно начинать с другого конца. Прямо с себя, а не с общего дела. Воспитай прежде себя для общего дела, чтобы уметь, точно, о нем говорить, как следует. А они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, что распространяют этим русский дух по русской земле! Они просто охаивают этим всякую вещь, о которой действительно следует поговорить и о которой становится теперь стыдно говорить, потому <что> они обратили ее в смешную сторону. Хотел я им кое-что сказать, но знаю, что они меня не послушают, а следовало бы каждому

из <них> войти получше в собственные силы и рассмотреть, к какому делу каждый создан вследствие ему данных способностей. Им, слава богу, уже по тридцати и по сорока лет; пора оглядеться. А Панову скажи так, что я весьма понял всякие ко мне заезды по части статьи отдаленными и деликатными дорогами, но не хочет ли он понюхать некоторого словца под именем «нет»? Это словцо имеет запах не совсем дурной, его нужно только получше разнюхать.

Эти три строки можешь даже ему показать, а прочего не показывай; их не следует обескураживать. Я их выбраню, но потом, и притом таким образом, что они после брани подымут нос, а не опустят. Нельзя говорить человеку: «Делаешь не так», не показавши в то же время, как должно делать. А потому и ты также сиди до времени смирно и не шуми и хорошенько ощупай себя и свой талант, который, видит бог, не затем тебе дан, чтобы писать посланья к Каролинам[1987], но на дело больше крепкое и прочное. Ты прочти внимательно книгу мою, которая будет содержать выбор из разных писем. Там есть кое-

что направленное к тебе, посильнее прежнего, и если бог будет так милостив, что вооружит силою мое слово и направит его как раз на то место, на которое следует ударить, то услышат от тебя другие послания, а в них твою собственную силу со всем своеобразьем твоего таланта. Так я верю и хочу верить. Но до времени это между нами. Книгу печатает в Петербурге Плетнев, и выйдет <она> не раньше как через месяц после полученья тобою этого письма. В Москве знает только Шевырев. Но прощай. Бог да сопутствует тебе во всем! Адресуй в Рим или в poste restante, или на имя Иванова, что еще лучше. Во Франкфурте пробуду две недели. Жуковский тебе кланяется. Обнимаю тебя.

Твой *Г.*

Языков Н. М. – Гоголю, 27 октября 1846

27 *октября 1846 г. Москва* [1988]

Ты, конечно, уже в Риме[1989]: поздравляю тебя с возвращением на любимое твое сидение! – Мельгунов недавно возвратился из чужих краев, привез мне мало о тебе известий и нового только то, что ты, мой любезнейший,

все-таки поедешь в Иерусалим. Да укрепит бог твои телесные силы на это многотрудное странствование и да возвратишься ты с Востока свеж духом и бодр телом на совершение многого и многого – всего, чего от тебя достойно и праведно ожидаем мы, люди русские, народ православный!

Вот тебе животрепещущие новости нашего литературного мира: «Современник» купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же[1990], следственно, с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием щелкоперов. «Сын отечества» оживляется под начальством Масальского. «Петербургские ведомости» преобразуются и будут издаваться частными лицами. В Москве Драшюсов издавать будет «Московский городской листок» – ежедневную полицейскую газету! Погодина ждем на днях в Москву. «Москвитянин» остается по-прежнему.

Аксаковы переехали на зиму в Москву; бедный Сергей Тимофеевич опять сильно страдает глазами: говорят, что он лишится зрения; жаль почтенного и доблестного старца. Этаких людей мало и очень мало в наше

время пошлости и подлости!

Будь здоров.

Твой *Н. Языков*.

Октября 27 дня 1846.

Гоголь – Языкову Н. М., 4(16) декабря 1846

4 *(16) декабря 1846 г. Неаполь* [1991]

Декабрь 16. Неаполь.

Твое письмо от 27 октября, адресованное в Рим на имя Иванова, получил я здесь только теперь, что довольно поздно. Вот уже скоро два месяца, как все меня оставили письмами. Что делается в Петербурге с моей книгой[1992], я решительно ничего не знаю, а между тем от этих задержек и промедлений изменились мои собственные обстоятель<ства> и отдаляется мой собственный отъезд[1993], который предполагался в таком случае, если все потребное к путешествию, как самые деньги от продажи книги, так равно и другие сопряженные с этим необходимости, устроится в конце исходящего или в начале наступающего года. Но теперь, как вижу, богу не угодно, чтобы я отправился этой зимой в дорогу. Вижу и сам,

что далеко еще не так готова душа моя, как следует ей быть, чтобы это путешествие принесло мне именно то, чего хочу. Стало быть, и самый приезд мой в Россию отлагается еще почти на год, то есть от сего числа считай ровно полтора года до того времени, когда придется нам (если бог будет так милостив) заменить словами нашу переписку. Назад тому уже более месяца я писал к тебе письмо из Неаполя, а еще назад тому один месяц писал письмо с дороги, в котором просил тебя отвечать в Неаполь[1994]. А потому я несколько даже удивился, увидя на пакете надпись в Рим. При сем прилагаю письмо, которое прошу немедля доставить Щепкину[1995]. Жду с нетерпеньем твоих замечаний и толков о моей книге и еще раз прибавляю: пожалуста, без церемоний! Ты – человек несколько деликатный и все как-то боишься говорить правду, как есть; ты всегда стараешься ее немножко присахарить. В глазах моих такое дело есть почти то же, что замашка скверных докторов, которые, желая больному доставить удовольствие своею микстурою, подбавят к ней или лакреции, или сладкого корня и тем

сделают ее в несколько раз противней. Все пиши, не скрывай ни заметок ума, ни ощущений внутренних души. Мне кажется, то и другое у тебя должно родиться неминуемо по прочтении книги. А книгу прочти несколько раз от доски до доски, и после всякого прочтения – ко мне письмо, чтобы я знал твои и первые, и вторые, и третьи впечатленья; это будет нужно и для тебя, и для меня. А на письмо это дай немедленный ответ, а ответ адресуй в Неаполь, poste restante.

Твой *Г.*

Гоголь – Языкову Н. М., 8(20) января 1847

8 *(20) января 1847 г. Неаполь* [1996]

Неаполь. Генваря 20[1997].

Я давно уже не имею от тебя писем. Ты меня совсем позабыл. Вновь приступаю к тебе с просьбою: все сказать мне по прочтении книги моей, что ни будет у тебя на душе, не смягчая ничего и не услащивая ничего, а я тебе за это буду в большой потом пригоде. А если у тебя окажется побуждение к благотворению, которое ты, по доброте своей, оказывал мне

доселе (я разумею здесь пересылку всякого рода книг), то вот тебе и другая просьба: пришли мне в Неаполь следующие книги: во-первых, летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею, которых я просил и прежде, но не получил, и, в pendant[1998] к ним, «Царские выходы»; во-вторых, «Народные праздники» Снегирева и, в pendant к ним, «Русские в своих пословицах» его же. Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух. Но прощай; обнимаю тебя. Пожалуйста, не забывай меня письмами...

Гоголь и А. А. Иванов

Вступительная статья

Сложная и драматичная, жизнь Александра Андреевича Иванова (1806–1858) внешне не была богата событиями. Сын известного живописца, с 1817 по 1828 год он учился в петербургской Академии художеств. В 1827 году за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» был удостоен большой золотой медали Общества поощрения художников. В 1830 году на средства общества отправился в Италию, где и провел почти всю свою последующую жизнь. Выставленное в 1835 году в Риме, а год спустя в Петербурге полотно «Явление Христа Марии Магдалине» принесло Иванову известность и звание академика. В 1833 году у художника возникает замысел большой картины «Явление Мессии» («Явление Христа народу»), ставшей его главным делом и впервые широко показанной лишь незадолго до кончины автора.

Гоголь близко познакомился с художником в Риме в 1838 году (Иванов, с. IX) и вскоре

занял среди его знакомых исключительное положение. Высказывая свое отношение к писателю, Иванов летом 1841 года писал отцу: «С некоторыми приезжими русскими я знаком, и в особенности с лучшим нашим литератором Н. В. Гоголем. Это человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство. Как поэт, он проникает глубоко, чувства человеческие он изучил и наблюдал их, – словом, человек самый интереснейший, какой только может представиться для знакомства. Ко всему этому он имеет доброе сердце» (Иванов, с. 137).

При всем различии характеров, Гоголя и Иванова объединяло очень многое – вера в преображающую силу искусства и высокое назначение художника, многолетняя сосредоточенность на одном произведении, с которым связывалась мысль об осуществлении своего призвания («Мертвые души» – для Гоголя, «Явление Христа народу» – для Иванова), наконец, давний интерес Гоголя к живописи. В Иванове Гоголь обрел воплощение своих представлений об идеальном художнике – бескорыстном, целеустремленном, беско-

нечно преданном искусству. Иванов становится прототипом созданного писателем во второй редакции «Портрета» (1842) образа гениального живописца-труженика, противопоставленного фигуре Чарткова. Такое понимание личности художника Гоголь развил впоследствии в статье «Исторический живописец Иванов», опубликованной в составе «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тем не менее взаимоотношения Гоголя и Иванова, особенно в первые годы их знакомства, не носили характера равноправного союза двух творцов. Гоголь воспринимается Ивановым как учитель, советчик и даже опекун, обладающий неоспоримым авторитетом не только в житейских делах (сам художник был в них крайне несведущ), но и в вопросах искусства. Так, предполагается, что именно под влиянием Гоголя Иванов обратился в 1838 году к жанровым акварелям. Возможно, писателю принадлежали и сами их сюжеты (Машковцев, с. 113). Воздействие Гоголя художник испытал и в ходе своей работы над «Явлением Христа народу».

Встреча с писателем произошла в тот мо-

мент, когда композиция картины уже вполне определилась и была зафиксирована на большом холсте. На передний план выдвинулись проблемы психологической характеристики персонажей, в разрешении которых и принял участие Гоголь. Возможно, «детищем совместного творчества художника и писателя» стал один из ключевых образов картины – образ раба (Алленов М. М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980, с. 38). Особенно же значительна в указанном смысле фигура «ближайшего к Христу» (характер ее был, по-видимому, подсказан художнику Гоголем). На большинстве эскизов «Явления» она дана автором нарочито неопределенно, схематично. Однако созданный в конце 1830-х годов большой эскиз-вариант картины (из собрания К. Т. Солдатенкова, ныне хранится в Русском музее) позволяет ясно увидеть в «ближайшем» гоголевские черты. Подобно другому персонажу картины – «страннику», прототипом которого стал сам Иванов, «ближайший» является «духовным портретом» – портретом Гоголя-художника, потрясенного сознанием несовершенства мира и собственной греховности

(см.: Машковцев, с. 63–88; Алленов, с. 36–37). Как своего рода этюд к фигуре «ближайшего» Ивановым был в 1841 году написан известный портрет Гоголя, представляющий писателя в ином – «домашнем», прозаическом виде и предназначенный для его ближайших друзей. Неожиданная публикация портрета в 1844 году в журнале «Москвитянин», по всей вероятности, сорвала план включения гоголевского изображения в картину (Машковцев, с. 86). В окончательном варианте «Явления» облик «ближайшего к Христу» был существенно изменен.

Переписка Гоголя с Ивановым завязалась в конце 1830-х годов и носила весьма активный характер (в настоящее время известны 42 письма Гоголя к Иванову и 37 писем Иванова к Гоголю). Ее основное содержание составляет круг вопросов, связанных с работой художника над «Явлением Христа народу», – вопросов не только творческого, но и сугубо практического, житейского характера: создание картины требовало значительных затрат, в то время как Иванов был крайне ограничен в средствах; душевный покой автора «Явления» на-

рушали и частые конфликты с администрацией русских художников в Риме. В разрешении этих проблем Гоголь неизменно принимал активное и заинтересованное участие. Окончательно же устроить положение художника должна была, по его мысли, статья «Исторический живописец Иванов». Написанная в 1846 году – в момент, когда художник переживал особенно трудный период, – гоголевская статья разъясняла значение его труда как «явления небывалого», невиданного «от времен Рафаэля и Леонардо да Винчи» (Акад., VIII, с. 328, 335) и содержала в себе призыв поддержать художника (после появления статьи правительство действительно оказало Иванову материальную помощь). В этой ситуации высказываемое в письмах Иванова беспокойство о своем положении, его поиски влиятельных покровителей, наивные проекты реорганизации жизни русских художников в Риме, в которых определенная роль отводилась и Гоголю, кажутся писателю проявлением неуместной суетливости, недоверия и даже неуважения к нему самому. Резко высказанные, упреки Гоголя, в свою очередь, за-

девают Иванова. Впервые он испытывает в отношении к Гоголю раздражение, выраженное, в частности, в одном из писем к С. П. Апраксиной: «Жаль, что в записке выдает мне чувства свои Николай Васильевич. Он как-то все не может примириться с мыслью, что художник так же, в свою очередь, может быть, как и он <нрзб.> человеком. Я с ним на скором свидании. Любопытно, каким-то он меня гостинцем употчует» (цит. по статье: Некрасова Е. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов. Их взаимные отношения. – ВЕ, 1883, № 12, с. 632).

Причиной возникшей в конце 1846 – начале 1847 года размолвки в отношениях Гоголя и Иванова был в конечном счете переживаемый ими обоими в ту пору духовный кризис, свойственное им тогда состояние внутреннего возбуждения, заставлявшее обостренно реагировать на поступки друг друга. Не имея принципиального характера, этот конфликт вскоре был преодолен, хотя его отголоски еще некоторое время слышатся в переписке. Авторитет Гоголя оставался для Иванова чрезвычайно высоким. Не случайно последнее из его писем художник приклеил на заглавный

лист своего основного труда 1850-х годов – цикла «библейских эскизов». В словах «важнейшего из людей, каких <...> встречал в жизни» (из письма Иванова к Погодину от 1855 г. – Иванов, с. 288), он и после смерти Гоголя ищет ободрения и поддержки.

В сборник включено 18 писем Гоголя и 19 писем Иванова.

Гоголь – Иванову А. А., 8(20) сентября 1839

8 *(20) сентября 1839 г. Вена* [1999]

Вена. 1839. Сентябрь 20.

Здоровы ли вы и как поживаете? почтеннейший signor Alessandro, как называет Луиджи. Я к вам пишу потому, что полагаю вас уже в Риме, возвратившимся из Венеции, без сомнения, с большою пользою и оконченной schizzo[2000] вашей большой картины под мышкой[2001], в чем помогай вам бог! Я, между прочим, исполнил вашу комиссию, купил для вас в Женеве часы. Таких, как хотел, я не сыскал: то есть серебрян<ых> плоских, с золотым ободочком. Их уже не делают, а делают или просто все серебряные и несколько тол-

ще, или же золотые. Из которых добрые и верные дороги. Подешевле же я не решался купить, не будучи уверен в настоящем и внутреннем их достоинстве. Притом меньше 150 р. нет, а так как вы меня просили в 100, то я их не взял, и хорошо сделал. Потому что скоро потом нашел у одного знакомого мне часового мастера именно такие часы, как хотел, серебр<яные> с золот<ым> ободочком и той же известной мне доброй работы. Он носил эти часы сам и для продажи их не назначал, но я упросил его уступить за 90 р., что я нахожу очень недорого. Он же к тому же и все их вызолотил, так что они имеют вид золотых. Вы их получите скоро после этого письма вместе с моею палкою, которая служила мне в Риме и которую прошу поставить в углу вашей комнаты до моего приезду. Вы получите также три дюжины венск<их> карандашей, которые я нахожу очень хорошими. Одну дюжину из них возьмите себе, другую отдайте Моллеру, а третью оставьте для меня. В этой же посылке четыре серебрян<ых> стакана, которые пусть <остаются> у вас до моего приезда. Вы явитесь к Кривцову и спросите только

следуемую на ваше имя посылку. Я, к сожалению, не буду в Риме раньше февраля. Никак не могу отклониться от неотразимой для меня поездки в Петербург. Но в феврале непременно намерен очутиться на Via Felice и на моей старой квартире, и мы вновь примемся с вами за capretto arrosto[2002] и Asciuto[2003]. А до того времени прощайте и будьте здоровы. Да. Просьба к вам, чтобы не позабыть: наведайтесь на почту, и если есть письма ко мне, то возьмите их, заплатите за них, что следует, и удержите их у себя до моего приезда. Не дурно бы это повторять каждый месяц, потому что ко мне часто пишут знакомые и незнакомые, знающие только по слуху, что я должен быть в Риме. Я думаю, Рихтер уже давно оставил Рим. Эту маленькую записочку[2004] отдайте Моллеру вместе с моим поклоном.

Да еще. Если случится время, побывайте у меня на квартире и скажите моему хозяину, что я не буду в октябре в Риме, что деньгами он может располагать, как хочет. Но что вещи в сундуке пусть он держит до моего приезду, что я буду непременно если не в феврале, то в

марте непременно. Если вы уже обзавелись часами, то все-таки удержите их у себя. Мне понадобятся.

Гоголь – Иванову А. А., 13(25) июня 1840

13 *(25) июня 1840 г. Вена* [2005]

Вена. Июня 25.

Господи боже мой, сколько лет я вас не видел, il carrissimo[2006] signore Alessandro! Что вы поделываете? В Риме ли вы? Не напрасно ли пишется это письмо к вам? Я сам так долго пропадал, что, думаю, уж не забыли ли вы меня? Что делает ваша Famosa[2007] (то е<сть>, разумею я, картина)? На чем она теперь остановилась, то е<сть>, я разумею, на чем остановился труд ваш? Близится ли к концу или еще доныне остаются роковые tre anni[2008]? С нетерпением алчу узреть ее и обнять самого maestro. Я был и в России и черт знает где. Теперь сижу в Вене, пью воды, а в конце августа или в начале сентября буду в Рим, увижу вас, побредем к Фалькону[2009] есть Bacchio arosto или girato[2010] и осушим фольету[2011] Asciuto, и настанет вновь райская жизнь. В Риме ли Моллер и что делает? Пожалуйста,

скажите ему, что я с нетерпением хочу его видеть, что он и сам, я думаю, знает. Поклонитесь любезнейшему Иордану и спросите о здоровье находящегося у него сундука и, бога ради, напишите мне хоть две строчки. Адресуйте мне в Вену, в poste restante. Если вы взяли на почте письма на мое имя, то, пожалуйста, приберегите их и не отдавайте их никому. Не худо бы также иногда справиться сызнова. Потому что мне писали многие, не зная, что я уезжал из Рима. Не пишу к вам ни о чем более, потому что еще не знаю, точно ли вы теперь в Риме. А как получу от вас весть, тогда напишу.

Обнимаю вас от души.

Н. Гоголь.

Иванов А. А. – Гоголю, июль 1840

Июль 1840 г. Рим [2012]

Милост<ивый> государь Николай Васильевич!

Письмо ваше от июня 25 весьма меня и всех ваших знакомых радовало. Мы видели, что вы нас совсем не забываете. По вашей просьбе пишу вам тотчас ответ. Ваше письмо

едва застает меня в Риме: я чрез три дня отсюда уеду шататься по Италии и, может быть, даже с вами где-нибудь встречусь, что было бы для меня весьма приятно. Я располагаю отправиться, во-первых, в Перуджию, для наблюдения купающихся в Тибре лучшего класса людей, ибо в Риме купальны устроены в виде кабинетов, где ни щелки не оставляется для глаза наблюдательного. Это все клонится к перемене или к улучшению первопланного срединного группа в моей картине. Первого августа надеюсь быть в Ассизи, видеть праздник отпущения грехов, с надеждою почерпнуть что-нибудь для моих физиогномий в сем религиозном торжестве. А второго или третьего отправлюсь в Синигалию, на знаменитую ярмарку, присмотреться к азиатским чертам лиц. Пробыв там два или три дня, отправлюсь во Флоренцию для скопирования некоторых этюдов в галерее Питти. Тут пройдут две недели, после чего намерен странствовать в горах около Рима, чтобы к осени привезти этюды для первопланных каменьев, реки. Вот план моего путешествия. Могу сказать, что все время разлуки нашей я довольно

прилежно занимался, но картина подвигается все-таки тихо. Довольно часто мне приходит в мысль, что затеянный труд мне не по силам.

Моллер вам кланяется, извиняется, что сам не пишет, ибо очень занят. Ему хочется кончить пред отъездом в Неаполь свою «Русалку»[2013]. Он на вас сердится за то, что вы самое лучшее мнение дали в Петербурге об его начатой «Русалке», которую он пред сим известием собирался изорвать и бросить. Он в самом деле пред тем, чтобы приняться ее оканчивать, был очень встревожен и всегда упрекал вас. Его эту картину вы не узнаете: она в самом деле будет такая, как вы об ней думали. Иордан вам свидетельствует свое почтение. Сундук ваш как был. О сю пору на ваше имя получил я только два письма: одно давно из России, а другое, месяц назад, кажется, из Парижа. Если вы приедете в Рим прежде меня, то Шаповалов вас сведет в мою студию, и там вы их увидите. Этот год в Риме для меня был довольно важен: я видел выставленную в студии Овербека его большую картину[2014]!! Я видел в студии Энгра его

картину[2015]!

Прощайте, увидимся и поговорим об остальном.

Иванов А. А. – Гоголю, октябрь 1841

Октябрь 1841 г. Рим [2016]

Приехав в Рим на последних числах сентября, я был извещен от Валентини, что на почте письмо есть на ваше имя. Взяв письмо и прочитав на конверте, я положил за верное в нем найти вексель, пришел с ним к Валентини, где его и распечатал. Но векселя там не нашли, и я, не читав ничего, счел за нужное препроводить его к вам.

Мы ожидаем Кривцова, и в особенности Шаповалов, с большим нетерпением, ибо в самом деле у него денег давно нет, а живет он данным ему задатком для неизвестной работы от Бутенева. На случай если и остальные из них тридцать скуди он проживет, то я совершенно не знаю, что с ним делать, ибо и мое положение о сю пору похоже на его. Для Кривцова уже готовятся в Риме апартаменты.

Я привез с собой десять этюдов из Ариччи, которые теперь приспособливаю к картине. Я

и Иордан весьма чувствуем ваше отсутствие. Недавно наехавшие молодые пенсионеры совсем с нами не сходятся, да им и некогда.

Неделю назад был здесь Греч, спрашивал у меня об вас, что вы делали здесь? Я сказал, что ничего не знаю. «Его у нас слишком захвалили, – говорил он, – и потому я полагаю, что он ничего не делает».

Греч думал, что его примут в Италии как европейского литератора, но это не случилось. Он ругает Италию, сколько сил достает. Его статья об нас, художниках русских в Риме, посланная печататься в «Северную пчелу», должна быть уморительная: все написано впопыхах, бегло, без малейших приготовлений[2017].

Хозяин квартиры вашей послал <у>знать, как поступить ему с подпиской вашей на издание Нибби?

Иванов А. А. – Гоголю, декабрь 1841

Декабрь 1841 г. Рим [2018]

Грусть и скука нам без вас в Риме. Мы привыкли в часы досуга или слушать подкрепительные для духа ваши суждения, или просто

забавляться вашим остроумием и весельем. Теперь ничего этого нет: вечерние сходки в натурном классе, состоящие из Моллера, Иордана, Шаповалова и меня, не стоят и десятой доли беседы вашей. Неужели вы к нам в Рим и на следующую зиму не приедете? Вы бы могли нам быть весьма полезны во всех случаях.

Сегодня получил я письмо ваше от 20 октября[2019], где вы просите разыскать ваши деньги 2000 рублей. – Валентини ничего не знает, и, таким образом, я решился спросить Кривцова, не получал ли он письма от Погодина, на что Кривцов отвечал, что в августе месяце получил письмо, где Погодин, прося как можно скорее доставить вам в Рим деньги, обещал ему чрез две недели их прислать, вследствие чего Кривцов написал к Торлони, чтоб вам вручили <нрзб.> 2000 рублей. Но как вас уже в Риме не было, а Погодин не высылал обещанных денег, то это дело ничем и кончилось.

Кривцов сюда прибыл 26 октября. Художники все к нему представлялись, он чрезвычайно со всеми ласков. Между тем, однако ж,

говорил нам, и в особенности обратясь ко мне, что он будет нас навещать, что мы уж как хотим, а он видит в этом способ ускорить наши успехи. Я испугался – и, признаюсь, очень был огорчен. Однако ж впоследствии студия Тыранова об сто двадцати пяти ступенях и собственный жир отбили охоту к таковой обидной деятельности.

Учтивство Кривцова совершенно исчезло, когда явился к нему Шаповалов объяснить свое положение. Он так на его напустился, что тот не мог и речи докончить. Кривцов говорил: «Зачем вы начали копию в Ватикане[2020]? Кто вас об этом просил? Я денег никаких не имею и искать не буду. Я буду писать об вас Обществу[2021], а вы покуда ищите себе пропитания, раскрашивая акварелью эстампы – для купцов» и проч. Шаповалов, в слезах, натурально, приходит ко мне. Я, держась остатками последних денег и вместо помощи или поощрения имея в виде впереди пошлости понукания Кривцова, рассудил обратиться к Моллеру как к единственному человеку, посредством которого можно с Кривцовым разговаривать о делах. В самом деле,

добрый наш Федор Антонович уговорил Кривцова дать содержание Шаповалову на три месяца списки с Петербургом, по пяти павлов <?> в день, начиная с первого ноября. Сильно потрясенный Шаповалов сим обстоятельством удвоил свои силы, и копией его с Перуджина и Моллер, и я весьма довольны. На окончание ее нужно бы еще дать ему полгода, о чем при первом случае нужно хлопотать.

Здесь находится князь Григорий Петрович Волконский, который хочет посетить наши студии. Да еще сюда едет Григорович. Мне бы и самому хотелось попытаться, не назначут ли мне плату за копию в Ватикане[2022], равную Брюлловой, то есть вместо жалких трех тысяч рублей – 15 тысяч; тогда бы я кончил бы и картину для наследника[2023], и копию. Но это трудно без протекции, которой я вовсе не имею, а Кривцов действовать, кажется, намерен только по просьбе тех особ, от которых сам зависит.

Моллер благодарит вас за письмецо[2024]; он ожидает еще от вас ответа на подтверждение выбранного им сюжета, которым он те-

перь исключительно занимается. Феодор Иванович[2025] благодарит за незабытие его. Обуховы приехали в Рим, у него был с визитом Василий Василич. Мы пойдем к ним на днях, опять затеем проказы.

Гоголь – Иванову А. А., 25 декабря 1841

25 *декабря 1841 г. Москва* [2026]

1841. Декабря 25, Москва.

Я получил вчера ваше письмо и горевал, что наделал вам столько хлопот касательно денег. Дело спуталось черт знает как. Я позабыл расспросить обстоятельно Погодина, как он распорядился, и полагал, что деньги давно уже в ваших руках. Мне больно, как воображу, что заставил вас нуждаться и бедного Шаповалова. Но теперь дело будет распоряжено как следует! Через неделю после сего письма вы отправляйтесь к Валентини, он получит вексель на 2000 рублей. Распорядитесь, как я вам писал, то есть 200 скуд Валентини, 100 вам, а 500 рублей Шаповалову за копию женщин из Илиодора[2027], которые вы можете ему выдавать вперед. Еще вот ему работа для меня: сделать копии головок Спасителя с Ра-

фаэлева «Преображения» и с Рафаэлева «Положения во гроб». Размер головок пусть будет немного больше головы на моем портрете, сделанном вами[2028], так чтоб холстик был длиною не больше шести вершков или, разве, мало более. Можно очертить вокруг овал, а впрочем, как заблагорассудите и найдете лучше и сообразнее вы сами. Еще я бы хотел третью головку Спасителя, молящегося или просто беседующего, или, еще лучше, в совершенно покойном положении. Пожалуйста, побегайте в свободный час по церквям и галереям, не заметите ли где во фреске или в картине у кого-нибудь из старинных мастеров, может быть даже у Перуджина, одним словом, хоть не совершенно выполнит ваше требование, но по крайней мере, чтобы был сноснее других. Это будет третья головка. Я полагал, что две в месяц сделать можно легко. Я ему даю по 100 рублей за каждую. Он даже может заняться ими прежде, если еще не начинал женщин, потому что они мне теперь нужнее. Теперь еще слово насчет его копии с Перуджина[2029]. Я полагаю, что с ней будет долгая возня, толков <...>[2030] и прочее и

прочее. Живописи тонкой и высокой у нас не понимают как следует, ее не оценят. Не хочет ли он, я ему дам за нее 2000 рублей и вышлю их будущим летом. А впрочем, пусть он распоряжается, как лучше ему и выгоднее. А Спасителями пусть займется, мне они очень нужны. Деньги за них пришлю немедленно. Если, на случай, найдется четвертая головка, сколько-нибудь достойная внимания, то пусть сделает и четвертую. А вас прошу прислать мне головку вашего Спасителя, если только вы до него доберетесь и если только вам будет время снять с него хоть весьма эскизный этюд, а еще лучше во весь рост, как есть идущий по земле, хоть в каком ни есть малом размере[2031].

Теперь самое главное: крепитесь! идите бодро и ни в каком случае не упадайте духом, иначе будет значить, что вы не помните меня и не любите меня: помнящий меня несет силу и крепость в душе. Не смущайтесь будущностью, все будет хорошо. Средства у вас будут. Вы спрашиваете меня, когда мы увидимся. Мы увидимся, и увидимся непременно, и, верно, в обоюдную радость обратится наше сви-

дание. Прощайте. Чрез 8 дней после получения сего письма напишите ответ.

Гоголь – Иванову А. А., 6(18) марта 1844

6 *(18) марта 1844 г. Ницца* [2032]

Ницца. Марта 18.

Не сердитесь, Александр Андреевич, за то, что не отвечал на последнее письмо ваше[2033]. Это случилось отчасти потому, что не хотел вам наскучать повторением одного и того же относительно ваших беспокойств, которые вы умеете задавать себе, а отчасти оттого, что спустя дней несколько получил письмо от Моллера[2034], в котором он жалуется совершенно справедливо на возрастание вашей мнительности и говорит, что об этом написал вам откровенно свое мнение, хотя, не знаю почему, он думает, что вы мало даете весу словам его. С моей стороны, я вам скажу еще раз, не по поводу нынешнего вашего беспокойства, но на всякий случай для будущего: пора наконец взять власть вам над собою. Не то мы будем вечно зависеть от всякой дряни. Вы говорите: как можно работать, когда душа неспокойна? Да когда же может быть спокой-

на душа? Я несколько лет уже борюсь с неспокойствием душевным. Да и откуда взялись у нас такие комфорты! Чтобы в продолжение труда нашего не смутила нас даже и мысль о том, что будет еще через два года! Смотрите караульте за собой и за характером своим, иначе вы дойдете наконец до того, что упадете духом даже тогда, если как-нибудь нечаянно Шаповалов <.....> в вашей студии, все может случиться.

Насчет картины вашей скажу вам только то, как поступал я в таком случае, когда затягивалось у меня дело и немела мысль перед множеством вещей, которые все нужно было не пропустить. Накопление материалов и увеличиванье требований от себя возрастало у меня наконец до того, что я почти с отчаяньем говорил: «Господи! да тут работы на несколько лет!» Наконец, потеряв всякое терпение и из боязни, что работа, может быть, совсем не кончится, решался я во что бы то ни стало кончить как-нибудь, кончить дурно, но кончить. И, решась твердо на это, собирал вдруг всего себя, работал сильно, наконец оканчивал не только лучше, чем предпола-

гал, но даже иногда и очень недурно. Дело в том, что, пока не соберешь всего себя и не подтолкнешь себя самого, не знаешь даже, что именно в тебе есть, потому что мы никогда не принимаем того в соображение, что хотя мы и не работали руками, но мысли у нас в то время все-таки созревали, наблюденье и ум совершенствовались, хотя и не на чем было их испробовать. Поверьте, что по тех пор, пока не одолеет вами досада, а может быть, и совершенное отчаяние при мысли, что картина не будет кончена, до тех пор она не будет кончена. Дни будут уходить за днями, и труд будет казаться безбрежным. Человек такая скотина, что он тогда только примется серьезно за дело, когда узнает, что завтра приходится умирать.

Притом вот вам одна очень важная истина, которой вы не поверите или, лучше, не допустит вас к тому ваша гордость: Пока не сделаешь дурно, до тех пор не сделаешь хорошо. А вы не хотите и слышать о том, что вы можете сделать дурно; вы хотите, чтоб у вас до последней мелочи было все хорошо. Вы будете поправлять себя двадцать раз на всякой чер-

точке, никак не захотите, чтобы оно было и осталось так, как есть, если не дастся лучше. Вы будете мучить себя и биться несколько дней около одного места, до того, что от частностей обессилеет у вас даже мысль о целом, которое тогда только, когда живо носится беспрестанно пред глазами и говорит о возможности скорого выполнения, тогда только двигает работу. Ибо вдвигает в душу порыв и вдохновенье, а вдохновеньем много постигается того, чего не достигнешь никакими учеными трудами. Вот вам та истина, которую я слышал всегда в душе, откуда исходят у нас все истины, и которую подтверждали мне на всяком шагу чужие и свои опыты. Но вы горды и с этим не согласитесь, между прочим, потому, что не взглянули еще сурьезно на жизнь. Вы легко приходите в уныние и не хотите догадаться, что у вас самих могут быть найдены средства противу всего. Еще многое почитаете вы за выдумки, принимая в буквальном смысле. Еще то, что есть самая жизнь, для вас безгласно и мертво. Еще на многое смотрите вы остроумными глазами, а не глазами мудреца, просветленного разумом

свыше. Еще вы не приобрели того, что одно могло б двинуть работу и сообщить вам ту силу, до которой не достигнешь никакими трудами и знаниями. Словом, вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на прославленье Христа и христианства. Вы не почувствовали близкого к нам участия бога и всю высоту родственного союза, в который он вступил с нами. Вот что я почитал еще нужным вам прибавить для того, чтоб вы в иную душевную минуту об этом подумали. Затем обнимаю вас от всей души, желаю всякого преуспевания во всем и не унывать ни в каком случае духом. Извещайте меня, что у вас делается в Риме. Каков Бутенев, довольны ли им? и что делают наши художники? Адресуйте мне во Франкфурт-на-Майне, на имя Жуковского, который переселяется во Франкфурт. Уведомьте меня, где и что делает Чижов? Если он в Риме, то передайте ему самый душевный поклон и скажите, что я ждал его на Рейне и написал бы ему письмо, несмотря на лень мою, если бы только знал наверно его местопребыванье.

Затем прощайте.

Ваш *Гоголь*.

Ничего еще не могу вам сказать наверное, где буду проводить будущую зиму. Во всяком случае, письма продолжайте адресовать во Франкфурт. Завтра еду из Ницы.

Иванов А. А. – Гоголю, апрель 1844

Апрель 1844 г. Рим [2035]

Откровенное ваше письмо (от 18 марта) весьма много меня занимает. Я наконец привык к угрозам судьбы, сказав себе, что до последнего дня настоящей моей свободы я должен весь принадлежать картине.

Напрасно, кажется, вы думаете, что моя метода – силою сравнения и сличения этюдов подвигать вперед труд – доведет меня до отчаяния. Способ сей согласен и с выбором предмета, и с именем русского, и с любовию к искусству.

Я бы мог очень скоро работать, если б имел единственною целию деньги. Хотя и признаюсь, я не вижу в остальной моей жизни ничего лучше настоящего моего положения. Если б картина моя осталась навсегда

неоконченною, то это все столько было бы для меня горько, как если бы какая-нибудь деспотическая сила заставила меня окончить ее против моих правил и убеждений.

Да, что вы ни говорите в письме вашем, все это – истины большею частию и мной уже испытанные. Признаю и это, что, пока не сделаешь дурно, до тех пор не сделаешь хорошо. Дурное все остается в пробных этюдах, из которых одно лучшее вносится в настоящую картину.

Одно место письма вашего, что я далеко не христианин и проч., заставляет меня задумываться. Я не в состоянии теперь же на это ничего ответить.

Посылаю вам письмо, которое получил от хозяина вашего на Via Felice.

Бутеневу я представлялся; он спросил меня: «Ведь вы все, художники, находитесь под...»

Чижов в Риме и каждый вечер со мной. Он здесь остается до 1 мая. Усердно вам кланяется.

Иванов А. А. – Гоголю, ноябрь 1844

Н*оябрь 1844 г. Рим* [2036]

С величайшей радостью получил я ваше письмо от 26 октября[2037]. Я из него узнал наверное ваш адрес – единственную причину, препятствовавшую к вам писать, ибо Федор Васильевич[2038] узнал откуда-то, что вы в Остенде, а там вас не нашли[2039].

Я лечился до первых чисел августа в Неаполе. Теперь глаза мои только боятся сильной солнечной рефлекции[2040]. Благодаря бога, я могу работать 8 часов в день. Вы, верно, этому столько же рады, как и я. Вот уже месяц, как Моллер приехал из Греции во Флоренцию, откуда я ему все еще не советую двигаться в Рим[2041]. Однако ж он непременно хочет на зиму сюда приехать. Спрашивал меня, не приедете ли вы тоже в Рим? Я ему напишу ваш адрес. Со дня на день я жду Чижова в Рим. Весной он пустится в Петербург, там будет во время трехлетней выставки академической. Наше существование в чужих краях, может быть, он поддержит своею энергическою деятельностию, <нрзб.> нам, на каких бы то ни было условиях, содержание. Если же

нет, то ни я, ни Шаповаленко не будем в состоянии более бороться с обстоятельствами. Говорили, что у нас будет, вместо покойного Кривцова, – Киль, курляндец. Я его образ мыслей знаю и с ним уже имел ссору. Патриотическая мысль Чижова[2042] – составить из наших русских художников одно целое, которое бы трудилось к живым успехам отечества, не понятна: она покуда вооружила еще более наших пришлецов, а русские по-старому остались и беспечны, и ленивы. Более всего меня теперь утешают письма Языкова, которых уже три, – истинно русские, они-то раздувают искру, которую Чижов заронил здесь в мою студию.

Гоголь – Иванову А. А., 28 декабря 1844 (9 января 1845)

28 *декабря 1844 г. (9 января 1845 г.) Франкфурт* [2043]

1845 год. Генварь. Франкф.

Поздравляю вас, добрейший Александр Андреевич, с новым годом и от всей души желаю, да усилится в продолжение оного ваша деятельность около картины. А насчет ваших

смущений по поводу денежных недостатков скажу вам только то, что у меня никогда не было денег в то время, когда я об них думал. Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. Кто слишком занят трудом своим, того не может смутить мысль о деньгах, хотя бы даже и на завтрашний день их у него недоставало. Он займет без церемоний у первого попавшегося приятеля. На свете не без добрых людей; тому же, кто занят твердо и деятельно своим делом, тому всякий поможет. Но ваша картина не потому идет медленно, что вас убивает (даже в начале получаемых денег) мысль, что их не хватит на окончанье, но идет ваша картина медленно потому, что нет подстрекающей силы, которая бы подвигнула вас на уверенное и твердое производство. Молите бога об этой силе. И вспомните сие мое слово: пока с вами или, лучше, в вас самих не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине в лице подвигнутых и обращенных словом Иоанна Кр<естителя>, поверьте, что до тех пор не будет кончена ваша картина. Работа ваша со-

единена с вашим душевным делом. А покуда в душе вашей не будет кистью высшего художника начертана эта картина, потуда не напишется она вашею кистью на холсте. Когда же напишется она на душе вашей, тогда кисть ваша полетит быстрее самой мысли. Явление же это совершится в вас вот каким образом. Начнется оно запросом: а что, если бог в самом деле сходил на землю и был человеком и нарочно для того окружил земное пребывание свое обстоятельствами, наводящими сомнение и сбивающими с толку умных людей, чтобы поразить гордящегося умом своим человека и показать ему, как сух и слеп и черств его ум, когда стоит одиноко, не вспомоществуемый другими, высшими способностями души и не озаренный светом высшего разума? Это будет началом обращения, концом же его будет то, когда вы не найдете слов ни изумляться, ни восхвалить необъятную мудрость разума, предприявшего совершить такое дело: явиться в мир в виде беднейшего человека, не имевшего угла, где приклонить гонимую главу свою, несмотря на все совершенство своей человеческой при-

роды. И это будет формальным окончанием вашего обращения. Затем прощайте. Напишите, что вы предприняли по поводу денеж<ных> обстоятельств. Мой совет не смущаться, брать отвсюду взаймы на время. После все отдадите. Ведь вы не Габерцеттель. А я вам помогу потом советом, каким образом это сделать. Письмо это держите про себя и никому не показывайте. А следующее письмецо отдайте Моллеру[2044]. А Чижову поклонитесь и скажите, что я май и даже июнь месяц пробуду во Франкфурте; впрочем, он во всяком случае узнает обо мне у Жуковского. А Франкфурта ему не миновать, потому что оный есть пуп Европы, куда сходятся все дороги.

Весь ваш *Г.*

Иванов А. А. – Гоголю, 31 января (12 февраля) 1845

31 *января (12 февраля) 1845 г. Рим* [2045]

Рим. Февраля 12. 1845.

Я несколько опоздал отвечать вам на письмо от генваря первых чисел, а на днях получил письмецо, самое утешительное, от Алек-

сандры Осиповны Смирновой. Не передаю вам его в оригинале, но посылаю ей подробный ответ чрез ваши руки. Прочитайте, оцензоруйте и пошлите немедленно по следующему адресу: в Петербурге, у Синего моста, в собственном доме.

На ваше письмо ответить нужно очень подумавши. Погодите, подождите, а покуда знайте, что у меня совершенно никого нет, кто бы ссудил деньгами, особливо такой значительной суммой, как мне нужно.

Чижов проедет чрез славянские земли в Россию; он тронется чрез три недели, сначала в Венецию. Он не будет в Петербурге к выставке академической и обещается мне, что, может быть, найдет покупщика для моей картины малого размера[2046], за четыре тысячи ассигнациями, с тем, чтобы деньги мне бы доставить вперед.

Это жалчайшее средство, может быть, и приму. Чтобы кончить картину малого размера, нужно ровно год, а в это время я не могу прожить менее четырех тысяч. Ведь тысячу рублей плачу я только за студию! Прикидываюсь Смирновой, что у меня денег совсем уже

нет. Ведь к трем тысячам нужно будет прикладывать четвертую, чтоб продолжать труд. А просить четырех в год – уже совершенно руки у всех отвалятся со страха.

Моллеру отдам письмо ваше. Он уже три недели как в Риме. Все будет сделано по-вашему. Только одно я бы желал вам заметить, что верх картины «Преображение»[2047] гораздо меньше отделан, чем низ, или, лучше сказать, отделан на то расстояние, в каком зритель по необходимости находится, чтобы видеть снизу целую картину. Но одна голова Спасителя, без всего прочего, хотя бы вы вырезали ее из самого оригинала, не произведет никогда того действия, какое она там делает.

Моллер весьма доволен картинами Шаповалова на публичной выставке[2048].

Совершенно вам преданный

Александр Иванов.

Мое почтение В. А. Жуковскому.

Иванов А. А. – Гоголю, 3(15) марта 1845

3 *(15) марта 1845 г. Рим* [2049]

Рим. Марта 15. 1845.

Три месяца сочиняя эскиз «Воскресения Христова», я все поджидал в Рим Тона[2050]. Его встретили все торжественным обедом, где он объявил мне громогласно, что поручает мне самую отличную работу в московском соборе, то есть на парусах написать четырех евангелистов, прибавив, что его слово верно и неизменно. Все с шумом бросились меня поздравлять. А я, пораженный горькой переменой предмета, не знал, что делать. Тон, как видно, дивился моему безвосхищению; все другие, получившие от него поручения, были в полном восторге. Образ «Воскресения» остался за Карлом Брюлло.

В студии моей Тон был очень доволен, но взгляд его на искусство наше и устарел, и никогда не был воспитан высокой тишиной Рима. Он кажется каким-то хозяином-повелителем, привык видеть в живописцах и скульпторах своих покорных работников – слишком трудно уцелеть в Петербурге!

Самое утешительное то, что он обещался за меня поговорить Академии, чтобы доставить мне трехлетнее содержание на окончание моей настоящей картины. Если это в са-

мом деле будет, то мне больше ничего и желать не надобно. Что будет после: из русской ли истории сюжет писать мне или заборы и стены красить из-под палки – об этом у меня и заботы нет.

Жеребцова обещалась Моллеру уговорить Волконского, чтобы не останавливать обо мне представления академического. Ведь Петр Михайлович, когда дело идет о выдаче денег, привык обыкновенно без разбору останавливать. Хорошо, если бы вы потрудились написать А. О. Смирновой, чтобы при приезде Тона в Петербург тотчас поговорила бы с Лейхтенбергским обо мне, а то ведь эти господа все забывают.

Я ходил, хлопотал и писал, сделал все, что постигает ум мой, к доставлению себе способов на окончание картины. Все человеческое сделано, отдаюсь теперь на волю божию.

Моллер часто мне надоедает своими мелкими поручениями и просьбами. Я думаю, что я запрусь от него, хотя его и очень люблю. Киля ждут со дня на день. Я решился его не пускать в студию и не представляться. Знаю, что рискую на беды, но что мне делать? Ска-

жите!

Пожалуйста, ответьте мне скорее на это письмо, чтобы я знал, что вы его читали. Скажите также, получили ли вы письмо мое к А. О. Смирновой[2051] и два других – мое и Моллера, посланные к вам в Париж?[2052]

С неделю, как отсюда тронулся Чижов. Он будет до 15 мая в Венеции. Третьего дня уехал Тон. Он – прямо в Петербург, почти нигде не остановится.

Вам совершенно преданный

Александр Иванов.

Иванов А. А. – Гоголю, март 1845

Март 1845 г. Рим [2053]

Два слова о Шаповаленке.

Его копия с Перуджина так и осталась. Он ее в мае месяце пошлет в Петербург на выставку вместе с альбанской девушкой, греющейся скальдиной[2054], что принадлежит уже Галагану, и присоединит сюда копию для великой княгини Марии Николаевны с «Мадонны» Рафаеля и ваш заказ головы Христа с «Преображения»; может быть, и еще что-нибудь из этюдов голов римских. Вот уже седь-

мой месяц, как он ходит к секретарю русских художников Сомову, чтобы получить ответ, согласен ли будет Бутенев ему что-нибудь заказать на казенные деньги или нет.

Если бы я еще не имел бы кое-каких денег, то Шаповаленко сто раз бы умереть мог с голоду.

Да, да, да, Николай Васильевич, не вините меня, что я за два года заботился о моем положении. 7-мь месяцев недостаточны, чтобы услышать только, будет ли вспоможение или нет.

Мое почтение Василию Андреевичу[2055]. Пишите в кафе Греко[2056].

Шаповалов, однако ж, не теряет ни духу, ни времени; я его точно так веду по дороге учения, как прежде.

За письмо Чижову 19 <нрзб.>.

Иванов А. А. – Гоголю, осень 1846

Осень 1846 г. Неаполь [2057]

Ждал я вас здесь, наконец решился возвратиться в Рим, оставя вам это письмо. Вот что случилось замечательного со мной после вашего отъезда из Рима[2058]. Видя Зубкова,

одной грубой острасткой покорившего художников, и заметив, что все письма мои по почте ими читаются, я просил Сверчкова, чтобы послал мое письмо к Чижову с границы России, где я предлагаю Чижову Зубкова место. По моему убеждению, это бы было и наше и его счастие. Сверчков, как видно, в дороге прочитал мое письмо и из преданности к Федору Моллеру сообщил мою мысль, отослал мое письмо к Чижову. Вскоре по отъезде Сверчкова поехал Моллер и, в тот же день, несчастный Рамазанов[2059]. Я в те дни чувствовал себя расслабленным, а в день отъезда этого изгнанного товарища просил брата[2060] съездить со мной в Альбано на неделю. Только что мы уехали, приходит человек к нашей хозяйке справляться, точно ли мы оба уехали и надолго ли. Чрез три дня приехали мы назад, я прямо в студию: дверь отворена. Я – в стол, где деньги: сверток с 50 скудами взят, а другой, початый, оставлен вместе с векселем и письмом Чижова, а в комоде почти все бумаги взяты, где я предполагал законы художникам русским[2061]. Чрез два дня мне понадобилось денег; опрокинув начатый

сверток на правую руку, я засыпал ее каким-то белым порошком, и на другой день кисть руки очень опухла, так что я согнуть ее не мог. В эти дни от пищи в Фиано[2062] мы оба чувствовали себя очень дурно, поднялась рвота, в испуге отравы мы прибегнули к совету итальянского доктора и с помощью слабительных поправились, ослабев еще более от такого потрясения. Я совершенно ничего не в состоянии был делать.

Сижу в студии. Стучатся. Слышу голос Зубкова, уговаривающего меня отпереть. Я молчал. В злости перед уходом он в негодовании сказал: «Запирайте крепче, придут воры вас обкрадывать!»

Чтоб истребить или умалить вражду, я решился написать Зубкову учтивое письмо, предмет коего была просьба о Бориспольце и Чмутове. В ответ получил такую грубость, которую брат не позволил мне прочесть, видя расслабленное мое положение. Я решился оставить Рим и ехать в Неаполь. Василий Моллер, узнав от брата своего о призвании Чижова и поняв это по-своему, здесь решительно мне сказал, что он будет искать место

Киля, что он меня очень хорошо понимает. Вскоре после этого, в именины королевы, один из матросов наших, производя пушечную пальбу с корабля русского, потерял обе руки. Я узнал это от Колонны, против окон которого высаживали увечного. Ему отрезали правую руку. Сострадая положению соотечественника на чужбине, оставленного всеми, потому что корабль отправился в Грецию, я не знал, что мне делать с сердцем. Коварный Моллер предлагает мне написать бумагу и что он едет в Кастель Амаре и будет там просить от моего имени знатных и посланника о вспомоществовании. Я сказал, что, будучи художником, при том не сильным, я напишу бумагу так, что Моллер будет выставлен, а я закрыт. Время было всего полчаса. Изложив мою мысль, как во первых пришлось, я отдал Моллеру, причем он сказал, что он ее перепишет, и уехал в Кастель Амаре. Чрез несколько дней приезжаю я сам туда, иду к Чернышевым и замечаю перемену их в обращении со мной. До сих пор никогда я ни о чем не разговарив<ал>, а тут начал дотрагиваться до сердец, рассказывая, как я у князя Волхонского

работал за Рамазанова, как этот лучший талант отечественный употреблял все свои силы, чтобы выдержать приличную твердую наружность посреди высылки своей из Рима и из средины своего пеньсионерства, как потом постепенно замечали в дилижансе, что он лишается ума, и как, наконец, в Анконе обнаруживается совершенное его сумасшествие. Однако ж, кое-как собравшись с силами, он оттуда уехал, – где и как он – неизвестно...

Графиня[2063] была тронута, однако ж не пригласила меня назавтра, где были все созваны на день рождения ее дочери[2064]. Розенберг был в полном довольстве от моего положения, и даже Класовский. Я уединился в Неаполе и, читая «Imitation de Jesu Criste», хотел вам написать записочку, чтобы вы, приехав в Кастель Амаре, поправили мои дела. Более всего меня занимал дом С. П. Апраксиной, глубокие уважения к которому мне хотелось сберечь, и потому я хотел уехать, не простившись с ними, чтобы остаться при целости тех прекрасных идей, какие мне до сих пор о себе подавали. И в эти минуты получаю собствен-

норучное ее письмо с приглашен<ием> к обеду. Я поцеловал вашу книжечку, вспомнил об вас и поклонился богу. Одевшись, я решил ехать двумя часами прежде, чтобы извиниться, что не имею приличного платья, чтобы быть к обеду, – на что получил особенное ее разрешение. В промежутке времени виделся с Розенбергом, у которого физиогномия переменилась от злости, а Класовский проклинал свою должность учителя как презренную в глазах вельможного общества. Оба завидовали положению художника. Я провел время у Софьи Петровны как нельзя лучше. Ее подвиг вынудил меня говорить об искусстве, об откровении божием и о связи его с художником...

Гоголь – Иванову А. А., 26 октября (7 ноября) 1846

26 *октября (7 ноября) 1846 г. Флоренция* [2065]

Флоренция. 7 ноября.

Я получил ваше письмо из Неаполя, любезный Александр Андреевич, вместе с письмом от Софьи Петровны[2066]. Не отвечал на него

по сих пор потому, что думал раньше вас увидеть, и потому, что на него ровно было нечего отвечать. За него следовало бы вас крепко выбранить, если бы я не знал, что подобное малодушие – не от вас, но от нерв ваших. В каждой строке письма вашего слышно, что нервы ваши шалят и бунтуют, не давая вам ни минуту покою. Охота вам заниматься всеми внешностями! Знали бы свою картину, и ничего больше, – и все бы само собой пошло хорошо. Нет, вижу я слишком хорошо, что у вас нет полной любви к труду своему. Молите бога о полученье любви этой, – вот все, что я могу вам сказать. Больше не сумею сказать и лично. И мне бы, по-настоящему, даже вовсе не следовало бы теперь ехать в Рим: он у меня совсем в стороне и не по дороге. Но нечего делать, я сделал уже глупость, взявши дорогу землей, и в наказание за это, сверх огромного круга и потери времени, должен даром, ни за что ни про что, прожить четыре дни во Флоренции, в ожидании отхода дилижанса. Отсюда отправлюсь 10-го. Стало быть, если бог поможет счастливо добраться, 12 ноября буду в Риме, т. е. в будущий четверг, утром, в 9 ча-

сов, как сказывают в конторе дилижансов. А потому если вам будет свободно, то приходите прямо в dogana[2067] или таможню ждать меня. В Риме я должен пробыть никак не больше двух дней и еду в Неаполь, а потому прошу вас заранее узнать у Ангризана или другого дилижанщика, какой есть, могу ли ехать с ним в субботу. В Риме хотел бы иметь комнату на солнце. Спросите у Моллера. Если у него есть такая, я бы лучше желал остановиться у него, чем в трактире. Но до свиданья. Молитесь, работайте и не думайте ни о чем, как только о вашей картине.

Весь ваш *Г.*

Гоголь – Иванову А. А., 30 ноября (12 декабря) 1846

30 *ноября (12 декабря) 1846 г. Неаполь* [2068]

Неаполь. Дек. 12.

Я получил пересланное вами письмо и при нем несколько ваших строк[2069], которые меня удивили. Чего вы ждете от приезда Виктора Владимировича[2070] и о каком решении ожидаете известий – этого я никак не мог

понять. В жизнь мою я еще не встречал такой беспокойной головы, какова ваша. Кажется, перед отъездом моим из Рима вы совершенно убедились в том, что Апраксиной ничего не следует предпринимать по вашему делу, ни о чем не следует писать к Бутеневу, иначе изо всего этого выйдет новая глупая путаница. А теперь вдруг пишете, что сгораете нетерпением узнать, что о вас порешено, точно как будто бы между нами вовсе не происходило никаких разговоров. Вам чудится и представляется, что о вас должны все хлопотать и метаться, как угорелые кошки, точно таким же самым образом, как вы мечетесь во все стороны и углы по поводу даже всякого ничтожного, не только важного дела. Приехавши сюда, я даже ни разу не заводил о вас разговора. Один раз только сказала мне Софья Петровна, что получила от вас письмо, по которому она совершенно не знает, что ей делать, потому что не видит, чем в этом деле она может успешно помочь, и потом вслед за тем спросила у меня, чтобы я сказал ей откровенно и чистосердечно, точно ли Иванов умен. На это я сказал, что Иванов точно умен,

но что он теперь болен, находится в нервическом расстройстве и потому делает дела, близкие к неразумию. С тех пор у нас и речи не было о вас. Вы сами знаете, что подталкивать людей на бесплодные дела я не охотник. Если вы, не слушаясь никого и ничего, стараетесь изо всех сил делать глупости и подбивать также всех других делать глупости, то это не есть причина, чтобы и я делал то же. Вы всем надоели, и я не удивляюсь, почему даже Чижов перестал к вам вовсе писать. Я вам сказал ясно: «Сидите смирно, не думайте ни о чем, не смущайтесь ничем, работайте – и больше ничего, все будет обделано хорошо. В этом отвечаю вам я». Но вы меня считаете за ничто, доверия у вас к словам моим никакого. Вы больше поверите каким-нибудь россказням какой-нибудь Жеребцовой или каким-нибудь краснобайным обещаньям первого говоруна, нежели словам человека, который еще не был уличен во лжи, льстивыми посулами не заманивал человека и слово свое держал. Позвольте мне, наконец, вам сказать, что я имею некоторое право требовать уваженья к словам моим и что это уж

слишком с вашей стороны не умно и грубо показывать мне так явно, что вы плюете на мои слова. Решаюсь, собравши все свое терпение, из которого вы способны вывести всякого человека, повторить вам в последний раз: «Сидите смирно, не каверзничайте по вашему делу (потому что вы не умеете поступать в своем деле благородно и здраво, а все действуете какими-то переулками, которые решительно похожи на интриги), не беспокойте никого, молчите и не говорите ни с кем о вашем деле». За него взялся я и говорю вам, что оно будет сделано как следует. Ответа ожидайте не из Неаполя и не от меня; ответ вам придет из Петербурга[2071]. Он может прийти через месяц, но признаюсь – я бы очень желал, чтобы он не скоро пришел к вам, чтобы вы месяца четыре-пять помучились неизвестностью о себе: вы стоите того.

Г.

Гоголь – Иванову А. А., 31 декабря 1846 (12 января 1847)

31 *декабря 1846 г. (12 января 1847 г.) Неаполь* [2072]

Неаполь. Канун Нового рус<ского> года.

Поздравляю вас, Александр Андреевич, с новым годом и желаю от всей души, чтобы он исполнен был для вас весь благодати небесной. За мои два письма[2073], несколько жесткие, не сердитесь. Что ж делать, если я должен именно такие, а не другие письма писать к вам? Посылаю вам молитву, молитву, которою ныне молюсь я всякий день. Она придется и к вашему положению, и, если вы с верою и от всех чувств будете произносить ее, она вам поможет. Читайте ее поутру всякий день. А если заметите за собой, что находитесь в тревожном и особенно неспокойном состоянии духа, тогда читайте ее всякий час, и никак не позабывайте этого делать. Затем бог да хранит вас! Прощайте.

Г.

Молитва.

Влеки меня к себе, боже мой, силою святой любви твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да, свершая его, пребуду весь в тебе, отче мой, тебя

единого представляя день и ночь перед мысленные очи мои. Сделай, да пребуду нем в мире, да обесчувствует душа моя ко всему, кроме единого тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущенье духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на тебя единого, владыко и господин мой! Верю бо, яко ты один в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; ты и возрастил ее, возрастивши и меня самого для нее; ты же дал силы привести к концу тобой внушенное дело; строя все во спасенье мое: насылая скорби на умягченье сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к тебе и на полученье сильнейшей любви к тебе, ею же да воспламенеет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя твое, прославляемое всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иванов А. А. – Гоголю, 10(22) января

10 *(22) января 1847 г. Рим* [2074]

Рим, 22 генваря 1847.

Не отвечаю ни на одно из трех ваших писем[2075], потому что боюсь ответ поверить бумаге, и только при личном свидании со мной вы разберете, кто из нас виноват.

Доброта Виктора Владимировича меня изумляет: он, между прочим, берется переслать это письмо к вам.

Положение мое, все еще тревожное, не может иначе устроиться, как вами, то есть когда вы ступите в службу к князю[2076] как секретарь русских художников. Вся ваша деятельность будет состоять в написании четырех-пяти отчетов об лучших из нас во все продолжение окончания моей картины, в которых вы гениальным пером вашим приготовите государя на верную оценку наших художнических произведений, кои в продолжение этого же времени будут иметь свое окончание. Отчеты ваши будут печататься по высочайшему повелению, и, следовательно, ваш талант приготовит в то же время публику

отечественную понимать величие и высоту художника.

Князь будет руководитель или наставник Киля, утвержденный государем. Об этом будут стараться многие. Князь предложит Чижову звание агента. Должность его будет – заменять начитанность пенсионерскую, то есть он вместо их будет вычитывать книги, какие они ему укажут, на разных языках и выносить им оттуда результаты, приспособленные к художнической точке зрения, из чего после вы, пожалуй, составите книгу для образования молодых будущих в России <художников>. К этому он знает математику; следовательно – клад для архитекторов. Ему будет вверена библиотека, приращение коей будет зависеть от вас и от совета пенсионеров, всегда под председательством князя. Он будет иметь казенные две комнаты на сей конец. Князь может тогда отставить доктора и эти деньги обратить на покупку книг. Киль останется попечителем художников третьего разряда, то есть не достигших пенсионерского звания и имеющих надобность в помощи. Он же будет передавать векселя пенсионерам.

Все это требует непременно мудрых советов и действий Софьи Петровны.

О приезде ее превосх<одительства> прошу известить меня ранее, дабы я мог выехать навстречу в Альбано, – не лишите меня этого удовольствия. Аристократ, действующий согласно с высотой своего звания, невольно влечет к себе на поклонение людей и самыми высокими достоинствами! Кстати, мне очень нужно повидаться с дальним родственником Лапченки.

Недавно мне случилось испытать диавольское нашествие вот в каких словах: «Начальник над русскими художниками в Риме, заведывающий высочайшими заказами государя императора в Италии, отъезжая во вторник вечером на некоторое время из Рима и желая видеть пред отъездом своим заказанную вам его императорским величеством картину[2077], а потому и предлагаю вам, милостивый государь, согласно желанию его превосходительства генерал-маиора Киля, находиться в студии вашей во вторник 5-го генваря, с 10 часов утра до 12 пополудни, ибо около сего времени его превосходительство намерены посе-

тить студию вашу.

Секретарь дирекции Константин Зубков».

И вот был мой ответ: «На присланную вами бумагу долгом почитаю ответствовать, что данная мною подписка при получении денег от государя императора заставляет меня употребить все мои часы на приведение к возможно скорейшему окончанию моей картины. Вследствие чего я работаю над нею безостановочно и потому никоим образом не могу уделять ни малейшего времени для приема посетителей в мастерской моей. При сем за нужное считаю известить вас, что, облагодетельствованный милостями монарха и ободренный его благосклонным вниманием к труду моему, я теперь ни при каких неожиданно могущих встретиться обстоятельствах не дерзну беспокоить его о дальнейшем пособии. Письмо это может служить мне подпискою. Вследствие всего этого прошу покорно вас, милостивый государь, представить генерал-маиору Килю, что я убедительнейше прошу оставить меня беспрепятственно заниматься моею работою, без чего я никак не в состоянии буду, не возмущая моих занятий,

исполнить мое искреннее желание – окончить картину мою к возможно скорейшему времени. До сих пор я отказывал самым близким мне лицам и, кроме их, людям государственным, глубоко мною уважаемым, именно потому, что всякое посещение, и еще более показ работы на полном ее движении, возмущает мое внутреннее спокойствие и решительно останавливает ход ее».

Все, что я тут вам написал, все это тайна, которую прошу никому не доверять.

Вам совершенно преданный

Александр Иванов[2078].

Гоголь – Иванову А. А., 23 января (4 февраля) 1847

23 *января (4 февраля) 1847 г. Неаполь* [2079]

Неаполь. Февраля 4.

Что с вами делается, Александр Андреевич? Я с изумлением прочел ваше письмо, недоумевая, ко мне ли оно писано? Предложение ваше, сделанное в прошлом году Чижову, которого вы хотели сделать секретарем, положим, еще могло иметь какой-нибудь смысл, потому что Чижов занимался

этой частью и притом не избрал себе никакого отдельного поприща, но и ему не прилично было такое место: как бы то ни было, он профессор и приготовил себя вовсе не для того, чтобы сыграть роль чиновника для письма. Но сделать мне такое предложение – уж этакого сюрприза я никак не мог ожидать[2080]. Я не могу только постигнуть, как могло вдруг выйти из головы вашей, что я, во-первых, занят делом, требующим, может, побольше вашего полного посвященья ему своего времени, что у меня и сверх моего главного дела, которое вовсе не безделица, наберется много других, более сообразных с моими способностями, чем то, которое вы предлагаете, что и самый образ мыслей моих, даже и насчет этого дела, вовсе не сообразен с образом мыслей тех людей, которых вы хотите постановить моими начальниками, и даже с вашими, что я, наконец, на дороге и остановился в Италии только на время, как в гостинице и трактире, что даже и прежде, не только теперь, я уже по причине моих недугов не мог связать себя никакою должностью, потому что я сегодня здесь, а завтра в другом месте.

Но все это вдруг вышло у вас из головы, как бывает со всеми теми людьми, которые не умеют ничего хорошенько сообразить и обо всем порядочно подумать. И какой странный, решительный тон письма: такой-то должен быть тем-то. Киль должен заняться таким-то делом, князь Волконский таким. Наконец, мне самому предписаны границы и пределы моих занятий, так что я невольно спросил: «Да чья же здесь воля изъявляется?» По слогу письма можно бы подумать, что это пишет полномочный человек: герцог Лейхтенбергский или князь Петр Михайлович Волконский по крайней мере. Всякому величаво и с генеральским спокойствием указывается его место и назначение. Словом, как бы распоряжался здесь какой-то крепыш, а вовсе не тот человек, которого в силах смутить и заставить потеряться на целый месяц первая бумага Зубкова. Мне определяется и постановляется в закон писать пять отчетов в год – даже и число выставлено! И какие странные выражения: писать я их должен гениальным пером. Стоят отчеты о ничем гениального пера! А хотел бы я посмотреть, что сказали бы вы,

если бы вам кто-нибудь сверх занятия вашей картиной предложил рисовать в альбомы по пяти акварелей в год. Воображаю, если бы вы были начальник, хорошо бы разместили по местам людей! Конечно, и лакейское место ничем не дурно, если взглянуть на него в христианском смысле, но все же нужно знать, кому предлагать его. Нужно уважать путь и дорогу всякого человека, если только они уже избраны им, а не отвлекать его от избранного им уже поприща. Ведь вас же я не отрываю от вашей картины и не посылаю, куды мне вздумается, а вы – мало того, что в состоянии оторвать от дела человека, готовы еще толкать его в самое необдуманное дело, какое может только представить человеку разгоряченное воображение, не взвешивающее ни обстоятельств, ни людей. Какое странное ребячество в мыслях и какое неразумие даже в словах и в выраженьях! Ради бога, оглянитесь пристально на самого себя! Разве вы не чувствуете, что нечистый дух хочет вас вновь втянуть в эти прожекты, которые наполнили беспокойством жизнь вашу и отняли у вас так много драгоценного времени? Сколько

раз вы давали мне обещание не вмешиваться больше в эти официальные дела, сознаваясь сами, что не имеете для этого настоящего познания людей и света! Сколько раз сознавались сами, что все эти прожекты только запутывали еще более дела и наместо помощи, которую вы хотели принести ими страждущим товарищам, только производили то, что положение их становилось еще тягостней и хуже! И не успел я выехать из Рима, как у вас в голове образовался уже новый проект, всех других сложнейший, всех других несообразнейший и более всех других невозможнейший относительно исполнения. Стыдно вам! Пора бы вам уже наконец перестать быть ребенком! Но вы всяким новым подвигом вашим, как бы нарочно, стараетесь подтвердить разнесшую<ся> нелепую мысль о вашем помешательстве. И зачем вы меня обманываете: зачем пишете, будто бы работаете над картиной и даже будто бы молитесь? Кто работает, точно, над делом, тому некогда сочинять такие проекты. Кто молится, у того виден разум во всех словах и поступках, и бог не допускает его к таким ветреным и необдуманным со-

чинениям. Я вам писал уже раз, если даже не два, чтобы хотя в продолжение двух-трех месяцев потерпели бы, не мешались бы ни во что. Дело ваше устроится лучше, чем вы думаете. Скажите, зачем вы не верите моим словам, а верите черт знает кому? Мне просто не следовало бы вам отныне ни говорить, ни писать ни о чем, а прекратить всякие сношения: от слов моих я не вижу никакой пользы. Они точно вода, которую льют в решето. Сегодня вы со мною согласитесь во всем, а завтра же приметесь вновь за свое. Вас опыт не учит. Ради Христа, гоните этого духа искушения, рисующего вам всякие возможности там, где их нет, обольщающего вас, разгорячающего воображение ваше, поселяющего в вас дымное надмение самим собой и уверенность в уме своем, заставляющего вас влюбляться в собственные мысли, из которых иные если и не глупы в основании своем, то выразятся у вас в таком виде, что скорей походят на бред человека в горячке. Запритесь в свою студию и представьте всякие ходатайства по делам художества Чижову: он, и не вступая в официальные сношенья с вашим начальством, су-

меет, как человек более вас покойный и хладнокровный, уладить многое миролюбиво, без бумаг и канцелярий. Вот все, что я вам скажу. Больше мне нечего прибавить. Относительно вас совесть моя покойна: я сделал для вас то, что повелел мне собственный мой рассудок, а не ваш[2081]. Если <бы> вы потерпели хотя немного времени, то увидите этого плоды. Вам остается только молиться.

Иванов А. А. – Гоголю, февраль – март 1847

Февраль – март 1847 г. Рим [2082]

Я был встревожен до болезненного состояния вашими письмами из Неаполя и под симто влиянием написал вам последнее[2083], в тоне которого не была истина, – и, как на беду, у меня тогда очень мало времени было подумать. Вследствие чего прошу у вас теперь прощения. Вы многого и очень многого не знаете, чтобы вполне войти в мое положение. Когда свидимся, обо всем расскажу.

Из вашего последнего письма, кажется, хочет быть новая беда, которая не будет ли больше, чем все прошедшие. Во спасение и

себя и других я все употребил, чтобы онеметь. Не зная совсем людей и не имея ни времени, ни надобности в этом, я теперь гляжу на жизнь, как на каторжную работу. В беседах с вами, и именно с одними вами, дух мой не только не утомляется, но еще и возвышается. Вы знаете, что мне сказать и чего не говорить; вы меня любите мудро.

У меня к переменам погоды побаливает сердце и грудь; чтобы воспрепятствовать повториться постоянной болезни, я просил бы вас покорнейше спросить у Циммермана средств к отвращению недуга. Хотел было я и сам пуститься к вам с этим. Но все как-то льщусь надеждой, что, может быть, избавлюсь от бедствия и примусь как следует за дело. Очень не хочется терять ни времени, ни деньги.

Гоголь – Иванову А. А., 13(25) марта 1847

13 *(25) марта 1847 г. Неаполь* [2084]

Пишу к вам несколько строчек с графом Иваном Петровичем Толстым, который есть родной брат моего закадычного приятеля, Александра Петровича, стало быть, с тем вме-

сте родной брат и Софье Петровне[2085], вам довольно знакомой, а потому вы, если вам не будет это в тягость, позвольте взглянуть им на вашу картину. Граф и графиня (урожд. графиня Строганова) очень добрые люди, а потому вы можете им даже объяснить ваше положение. Они же едут, не останавливаясь, в Россию, стало быть, будут иметь случай заговорить и с другими о вашем положении. Мне кажется, что непременно нужно, дабы всем сделалось известно и очевидно ваше положение. Теперь же, я думаю, <вы> больше спокойны, чем прежде, а потому можете рассказать все, что претерпели, покойно, не жалуясь ни на кого, не обвиняя никого, изобразя только верную картину испытаний, через которые провел вас бог. Не нужно скрывать ничего в своей истории, ни даже черных несправедливостей, вам оказанных (в словах должно быть всегда справедливу), но нужно рассказать так, чтобы слушающий вас оставил в сторону суд над врагами вашими (подобно вам самим) и проникнулся бы в такой степени участием к тому положению, в каком может очутиться всякий истинный художник, взглянув-

ший на труд, как на святое дело, что стал бы горой за вас и употреблял бы с тех пор все, чтобы образумить тех, кому следует взглянуть разумно на все эти вещи. От Чижова я получил письмо[2086] с известием о том, что он оставляет внезапно Рим. Это мне прискорбно: я бы желал очень о многом переговорить с ним лично. Передайте ему при сем следуемое письмо[2087]. Затем будьте здоровы, и бог да помогает вам работать вашу картину! Нечто как о вашей картине, так и о положении вашем как художника сказано мною в одном из моих писем, напечатанных отдельною книгою[2088]. Книги этой я не получил. Знаю только, что она обезображена и обрезана жестоко цензурой, а потому и не могу знать, что из этого письма оставлено, а что выброшено. А было бы хорошо, если бы это письмо было доведено целиком до сведения всей публики. Советую вам также не гневаться на те мои жесткие письма, которые я писал к вам из Неаполя. Поверьте, что их полезно перечитывать, несмотря даже и на то, если бы они были совершенно несправедливы. Говорю вам это по опыту. Если имеете что ска-

зать мне, обратитесь к графу или, лучше, графине Софье Сергеевне, и она мне это передаст.

Желающий успехов вам *Г.*

Иванов А. А. – Гоголю, апрель 1847

Апрель 1847 г. Рим [2089]

Получил я письмо ваше от графини Толстой, но так как письма ваши из Неаполя превышали все неприятности, какие мне случалось претерпеть эту зиму, то я решился оставить это ваше письмо нераспечатанным, дабы не пострадать сызнова.

Виктор Владимирович ознаменовал приезд сюда водворением мира – между правительственными людьми и художниками. Что с тех пор все идет еще успешнее вперед – это более всего чувствительно и важно для меня, как более всех пострадавшего.

Если уже вам уж очень нужно что-нибудь от меня, то гораздо мне легче к вам приехать в Неаполь, чем прочесть ваше письмо. Скажите через кого-нибудь, и я сейчас приеду. Чижов уехал. Трудно, чтобы состоялся его журнал. Он очень, очень не готов ни к приня-

тию должности, ни к журналу[2090]. Только святостию своей собственной жизни можно возвысить и возвеличить глубокие сведения.

Гоголь – Иванову А. А., 10(22) апреля 1847

10 *(22) апреля 1847 г. Неаполь* [2091]

Неаполь. Апреля 22.

Благодарю вас, мой добрый Александр Андреевич, за ваше скорое доставленье моего письма Чижову. Если будете писать к нему, то уведомите, что я послал ему ответ в Венецию сегодня[2092]. На адресе выставил по-итальянски Cigioff, не зная, так ли или нет пишется, а потому пусть он попросит почтового чиновника пошарить в букве «С». А вы будьте покойны и не страшитесь больше никаких от меня писем. Упреков от меня больше не будет. Будьте беззаботны насчет будущего: оно в руках того, кто всех нас умнее. Мы с вами переговорим и перетолкуем на словах обо всем тихо, рассудительно и так, что останемся оба довольны друг другом. Затем обнимаю вас и вместе с вами и доброго вашего братца. Если будет время, напишите что-нибудь о Ри-

ме: кто теперь там сидит и кто остается до 10 мая из приезжих? Я полагаю около этого времени – и даже скоро после 5-го мая – быть в Риме. Федору Ивановичу передайте также поклон, если он не позабыл меня среди упоений от лицезрения того предмета, ради которого был надолго позабыт гравчик и который, как я слышал, находится теперь в Риме[2093].

Весь ваш *Г.*

Иванов А. А. – Гоголю, между 23–28 ноября (5–10 декабря) 1847

Между 23–28 ноября (5–10 декабря) 1847 г. Рим [2094]

Очень приятно мне было чувствовать ваше письменное преобразование в отношении ко мне от 5 декабря[2095]. Вы просите обо мне вестей, и еще и письменно. Это последнее совершенно несообразно с моим настоящим положением. И потому, если неожиданный и необыкновенный случай не заставит Софью Петровну и вас двинуться в Рим прежде февраля, то я бы желал молчать, ибо в этом только нахожу мое спасение.

Здесь Герцен. Сильно восстает против ва-

шей последней книги[2096]. Жаль, что я сам ее не читал, но то, что его ужасает, мне кажется очень справедливо. Племянница моя почувствовала ко мне глубокое уважение вследствие вашего обо мне там письма. Отец хотел посылать денег. Академия устыдилась и изумилась, и я полагаю, что вследствие сего <выслала> ко мне на полгода содержание. Григорович[2097] очень вами недоволен.

Написав это письмо, я никак не хотел посылать его к вам, сумневаясь, не сказал ли я вам чего-нибудь тут, могущего возмутить вас против меня, чего, однако ж, у меня совсем в намерении не было. Если вы найдете что гордым <или> хвастливым, то заметьте, но так, чтоб не оставалось ничего в вашей душе затаенного. Самый глубокий сердцеведец и знающий хорошо людей часто может ошибаться в письмах к самому близкому своему приятелю.

Гоголь – Иванову А. А., 2(14) декабря 1847

2 *(14) декабря 1847 г. Неаполь* [2098]

Неаполь. Декабр. 14.

Благодарю вас за письмецо, несмотря на то что в нем и не много говорите о себе самом. Бодритесь, крепитесь! Вот все, что должен говорить на этой страждущей земле человек человеку! А потому, вероятно, и я сказал бы вам эти же самые слова, если бы вы что-нибудь написали о вашем состоянье душевном. Итак, вы правы, что умолчали. Софья Петровна с братом своим графом Александром Петровичем хотят в конце февраля быть к вам в Рим и, без сомнения, вас утешат и успокоят, сколько смогут. Но помните, что ни на кого в мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не похожий на путь других людей. Совершенно понять ваше положение никто не может, а потому и совершенно помочь вам никто не может в мире. Как вы до сих пор не можете понять хорошенько, что вам без бога – ни до порога, что и вставая и ложась вы должны молиться, чтобы день ваш и наступил и прошел благополучно, без помехи, чтобы бог дал вам сил, даже если и случится помешательство, не возмутиться от того. Но довольно об этом. Поговорим о прочем в вашем письме. Герцена я не знаю, но

слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках[2099] и о прочем. Я не знал, что вы не читали моего письма о вас. Я думал, что вы прочли всю мою книгу у Софьи Петровны в Неаполе. Если вы любопытны знать его, то посылаю его при сем, выдравши из книги. А книгу привезет вам Софья Петровна. Я не знаю, сделало ли мое письмо что-нибудь в вашу пользу, но по крайней мере в то время, когда я его писал, я был уверен, что оно у вас нужно. Но прощайте! Уведомьте меня, сделали ли вы что-нибудь относительно того почталиона[2100], о котором я вас просил в Риме перед выездом моим.

Н. Г.

Гоголь – Иванову А. А., 16(28) декабря 1847

16 *(28) декабря 1847 г. Неаполь* [2101]

Неаполь. Декабр. 28.

Очень рад, что мое письмо о вас показалось вам удовлетворительным[2102]. Великодушью Софьи Петровны не удивляйтесь: я вырвал его из собственного экземпляра[2103]. Вы получите целиком и всю книгу, которою можете даже и подтереться. Нападенья на книгу мою отчасти справедливы. Я ее выпустил весьма скоро после моего болезненного состояния, когда ни нервы, ни голова не пришли еще в надлежащий порядок. Я поторопился точно таким же образом, как любите торопиться вы, и впутался в дела прежде, чем показал на это право свое. Нужно было не соваться прежде, чем не сделаешь свое собственное дело, и копаться около него, закрывши глаза на все, по пословице. «Знай, сверчок, свой шесток»! Этой поспешностью я даже повредил многому тому, что хотелось защитить. Книгу вашу я отдал Колонне.

Странная судьба бедного почтальона. Жаль, что вы не пишете, пострадал ли он или нет, то есть выгнан на улицу или есть у него

какой-нибудь угол. Я на всякий случай написал письменное изъяснение, при сем прилагаемое, которое прошу вас вручить начальству, если только с него требуют и взыскивают убытки, а он невинен. Если он, точно, беден и ему действительно нечем жить, то возьмите у Моллера из моих денег 100 франков. Из них дайте себе два наполеона, а остальные 60 дайте ему, но в виде скуд, римскою монетою. Напрасно вы дали ему наполеонами. Серебром, может быть, он бы не потерял. Скажите Моллеру, чтобы остальные 600 он хранил у себя до моего свиданья с ним. Если ж так случится, что меня где-нибудь на моем странствии настигнет смерть, что все от божьей воли, то эти деньги пусть остаются в запас на помочь такому из русских художников, которому придется слишком круто и решительно будет неоткуда взять денег. Скажите также Моллеру, что я пред ним виноват: порученности его не исполнил. Впрочем, я буду к нему на днях писать. Каковы нынешние ваши обстоятельства – смущенья и заботы, я этого не знаю, но, вероятно, и смущенья и заботы в изобилии, как у всякого очень чув-

ствительного человека. Во всяком случае, скажу вам то, что говорю самому себе, что осталось в результате от всей моей опытности и мудрости, какие только пребывают в моей бедной голове!

Работая свое дело, нужно твердо помнить, для кого его работаешь, имея беспрестанно в виду того, кто заказал нам работу. Работаете вы, например, для земли своей, для вознесенья искусства, необходимого для просвещения человека, но работаете потому только, что так приказал вам тот, кто дал вам все орудия для работы. Стало быть, заказыватель бог, а не кто другой. А потому его одного следует знать. Помешает ли кто-нибудь – это не моя вина, я этим не должен смущаться, если только действительно другой помешал, а не я сам себе помешал. Мне нет дела до того, кончу ли я свою картину или смерть меня застигнет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать, не сделавши никакого упущенья с своей собственной стороны. Если бы моя картина погибла или сгорела пред моими глазами, я должен быть так же покоен, как если бы она существовала, потому что я не зе-

вал, я трудился. Хозяин, заказавший это, видел. Он допустил, что она сгорела. Это его воля. Он лучше меня знает, что и для чего нужно. Только мысля таким образом, мне кажется, можно остаться покойным среди всего. Кто же не может таким образом мыслить, в том, значит, еще много есть тщеславия, самолюбия, желанья временной славы и земных суетных помышлений. И никакими средствами, покровительствами, защищениями не спасет он себя от беспокойства.

Вот весь итог посильных наблюдений, опытности и мудрости, какие только я мог вывести из своей жизни. Передаю его вам в виде подарка на новый наступающий <год> и душевно желаю вам всякого добра.

Ваш *Н. Г.*

Поклонитесь от меня Бейне и расспросите его, как он ехал из Байрута в Яффу, а из Яффы в Иерусалим[2104]. Во сколько дней? С какими удобствами и неудобствами? Попросите его, чтобы он написал небольшую записочку. Это будет лучше.

Всего лучше, если увидите почтальона, от-

правьте его прежде всего к Иордану, который умеет расспрашивать. Пусть он узнает все его обстоятельства. И если окажется, что почталион просто дурак и сам виноват, то лучше дать деньги или матери, или тому, кто его кормит.

Гоголь – Иванову А. А., 6(18) января 1848

6 *(18) января 1848 г. Неаполь* [2105]

Неаполь. Генвар. 18.

Чтобы не осталось чего-нибудь между нами, уведомляю вас, мой добрый Александр Андреевич, что в письме моем я не имел никакого намерения упрекнуть вас[2106]. Напротив, я хотел только показать вам, что я ничуть не умнее вас во многих делах. Если вы прочтете еще раз мое письмо[2107], то почувствуете это сами. Бога ради, не будьте так подозрительны и не приписывайте простым словам какого-то сокровенного смысла, желанья вас обидеть каким-то обидным заключением. Этим подозрением вы, во-первых, обидите вас действительно любящего человека, а во-вторых, себе самому нанесете много смущенья и всякого горя. Скажу вам истинно и

откровенно, что я никогда в вас не подозревал никакой хитрости. Но было время, когда я нарочно хотел кольнуть вас и попрекнуть некоторыми письмами, желая вас заставить взять некоторую власть над самим собою и устыдиться своего малодушия. Это было сделано неловко. Пожалуста, сожгите все мои письма. Я теперь вижу, как разны человеческие природы и как нельзя судить по себе о другом. Вы пишете о желании со мною увидеться, но для этого никак не будет времени. Как ни приятно мне тоже вас видеть, но чувствую, что ничего не могу теперь сказать вам нужного. Я занят теперь совершенно самим собой и столько вижу в себе самом достойного осуждения и упреков, что не в силах ни осудить кого бы то ни было, ни дать умного совета. Чувствую только, что прежде всего следует заняться душой своей, хотя и сам не знаю, как это сделать. Что же касается до житейских забот и обстоятельств, то они теперь у всех плохи, положенье всех затруднительно. Все это заставляет меня не полагаться на то, что будет, и ускорить отъезд мой в Святую землю. Бог вас да благословит. Прощайте.

Весь ваш *Н. Г.*

Я полагаю выехать на днях, – тем более, что оставаться в Неаполе не совсем весело. В городе неспокойно: что будет, бог весть[2108].

Иванов А. А. – Гоголю, 13(25) июня 1848

13 *(25) июня 1848 г. Рим* [2109]

Добрый наш Ф. В. Чижов хочет написать рассуждение об иконной и исторической живописи, <но> говорит, что ему недостает для этого начитанности, которую на себя берут духовные лица. Я его утвердил в чувствованиях, сказав, что явление этой книги будет совершенно согласно с требованием нашего времени. Желательно бы, однако ж, мне было знать ваше мнение, в рассуждении того, может ли описание предшествовать факту? Может ли литератор действовать тут прежде художника и достаточно ли слово сего последнего, не подтвержденное его практическим делом? Мне, наконец, кажется, что прежде, чем представительный живописец не решит это опытом, представив, хотя в малых видах, икону и историческую картину, нельзя лите-

ратору говорить об этом верно и смело, хотя бы даже и пользовался он давнею и справедливою верою публики вследствие своего таланта, проникающего другие предметы. – Очень, очень одолжите, если ответите мне именно на эти строки.

Радуюсь, что вы совершили благополучно путешествие к св. гробу[2110]. Чем-то вы нас подарите? Ведь от вас все ждут чудес. Я тоже думаю, что, может быть, в этой вашей будущей книге и художник из ничтожества и предмета печатной колкой насмешки вынесется в деятеля общественного образования, и – тогда мы с вами с миром изыдем, чтоб приготовить мир миру.

Глубоко вас почитающий *Александр Иванов*.

Рим. Июня 25. 1848.

Наступающий жар и усталость душевная высылают меня из Рима, но куда, я еще не решился. Если случится истинно отдохнуть и прийти опять в спокойствие и полные силы, то напишу к вам и подробнее и поотчетливее обо всем[2111].

Иванов А. А. – Гоголю, 3(15) мая 1849

3 *(15) мая 1849 г. Рим* [2112]

Рим. 15 мая 1849.

До сих пор я все был верен моему слову и делу и, в надеждах, что уже недалеко и до конца, с которым бы разрешились очевидно все мнения и надежды общества, усиленно продолжал труд. Но вот уже две недели, как совершенно все остановилось. Рим осажден французскими, неаполитанскими и испанскими войсками, а Болония австрийскими[2113]. Каждый день ожидаешь тревоги. Люди, теперь здесь во главе стоящие, грозятся все зажечь и погребсти себя под пеплом[2114]. При таких условиях, конечно, уже невозможно продолжать дело, требующее глубоко сосредоточенного спокойствия. Я, однако ж, креплюсь в перенесении столь великого несчастия, и только что будет возможно, то опять примусь за окончание моей картины.

Очень жалею, что вы мне ни о чем таки не написали[2115]. Со знакомством вашим, особливо в последние годы, очень много открылось у меня изумительных осязаний будущей

жизни.

Вас истинно и глубоко уважающий *Александр Иванов*.

Хотел было я вас спросить о Завьялове – упрекнуть и вас, и Москву в бессовестности[2116], но, так как это все останется без результатов, – все, все отлагаю до окончания моей картины.

Гоголь – Иванову А. А., апрель 1850

Апрель 1850 г. Москва [2117]

Москва. 1850. Апрель.

Христос воскресе!

Что вы, бесценный, добрый Александр Андреевич, позабыли меня вовсе? Вот уже скоро год, как я не имею о вас ни слуху ни духу. На последнее мое письмо вы не отвечали[2118]. Может быть, оно не дошло к вам. Напишите мне слова два о намереньях ваших, не встретимся ли мы с вами где-нибудь хоть на Востоке, если вы не располагаете приехать скоро в Россию. Пронеслись слухи о вашей картине, что она будто бы совершен<но> окончена. В таком случае вы ее, верно, отправите в Петер-

бург, а может быть, и сами лично поспешите вслед за нею. Мне будет очень жаль, если как-нибудь с вами разъедусь. Адресуйте ко мне в Москву, или на имя Шевырева в университет, или на квартиру мою в доме Талызина на Никитском булеваре.

Ваш весь *Н. Г.*

Моллеру, пожалуста, передайте мой душевный поклон и скажите ему, что я прошу и молю его написать хоть строчку. Уведомьте также о том, спокойно ли теперь в Риме и не мешают ли вам заниматься.

Иванов А. А. – Гоголю, 24 мая (5 июня) 1850

24 *мая (5 июня) 1850 г. Рим* [2119]

Рим. Июня 5, 1850.

Что вам сказать обо мне? Я все тот же, что и был при вас в Риме. Живу жизнью одной студии, и перемен почти никаких нет. Об одном иногда только жалею, что нельзя записывать мне моих мыслей в памятную книжку. Прежде я имел это обыкновение – наблюдать за их разрастанием. Впрочем, я и на это не

ропщу, веря, что уже скоро будет всему развязка.

Недавно послал я письмо к вам о Иордане[2120]. Ему удалось довести до конца свою длинную работу[2121], но не думаю, чтобы были живительные перемены в гравюрном мире и с самым счастливым приветствием его важного труда. Его искусство не коренное, а подчиненная страсть; его характер не уработан под стать наступившей эпохе нашего времени, и наконец, его сердце – не русское.

Полагаясь на волю провидения, столь часто выручавшего меня из разных опасностей, я не теряю ни бодрости продолжать труд, ни желания быть достойным избавления <от> будущих зол и таким образом приступить наконец к кризису моей жизни.

Вам совершенно преданный *Александр Иванов*.

Моллер жаловался на вас, что вы об себе ему никогда не пишете. Я ему при первом свидании сообщу все ваши желания.

Гоголь – Иванову А. А., 16 декабря 1850

16 *декабря 1850 г. Одесса* [2122]

16 декабря. Одесса.

Поздравляю вас <с> новым годом, Александр Андреевич! От всей души желаю, чтобы он был плодотворен для вашей работы и чтобы картина ваша в продолжение его наконец окончилась и окончание ее, венчающее дело, было бы достославно. Пора наконец. Не все же продолжаться этим безотрадным явленьям суматох и беспорядков; пора наконец показаться на свет плодам мира, обдуманных во глубине души мыслей и высоких созерцаний, совершившихся в тишине. Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе. Я нынешнюю зиму провожу в Одессе. Петербургская и московская зима выносятся плохо моим слабым телом. Впрочем, весной полагаю быть в Москве, а летом, может быть, в Петербурге. До самого конца марта адресуйте мне в Одессу (1 части 1 квартала, в доме генерал-маиора Трощинского). Уведомьте хоть несколькими словами, как проводите время, кто теперь с вами в Риме и есть ли с кем перемолвить дружеское слово.

Если с вами Моллер, обнимите его покрепче и поздравьте от меня с новым годом. Бог да хранит вас невредимо!

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Иванов А. А. – Гоголю, 18(30) января 1851

18 *(30) января 1851 г. Рим* [2123]

Рим, 30 генваря 1851.

В глазах художника, и в особенности в моих, вы все кажетесь прекрасным теоретическим человеком. Нельзя не налюбоваться вашим последним письмом; но у меня здесь совсем другое. Говорить подробно обо всем – не было бы благоразумно; рассказывать часть – темно, а потому скажу только то, что уже крайне необходимо.

Я вынужденным найдусь чрез месяца два к вам писать, и потому, сделайте одолжение, вышлите мне ваш адрес, чтобы письмо мое не имело никакого затруднения попасть к вам в руки, и немедленно. Счастлив бы я был, если б мог без этого обойтись!

В Риме теперь со мной брат, а Моллера всё поджидаем со дня на день.

Вас истинно уважающий и любящий
Александр Иванов.

Гоголь – Иванову А. А., 18 марта 1851

18 *марта 1851 г. Одесса* [2124]

Одесса. Марта 18.

Не велико ваше письмецо, но спасибо и за то; по крайней мере, я знаю, что вы, слава богу, здравствуете. Вы называете меня прекрасным теоретическим человеком. Не думаю, чтоб это было правда. Мне кажется, я плохой теоретический человек, да и практический также. Изо всей моей жизни я вывел только ту истину, что если бог захочет – все будет, не захочет – ничего не будет. Как умолить бога помогать нам, для этого у всякого своя дорога, и он как сам знай, так и добирайся. Но на мне, по крайней мере, вы должны научиться снисходительности к людям. Если я, человек, долго близ вас живший и притом все-таки понимающий, хоть, положим, теоретически, художество, так еще далек от того, чтобы понимать вещи и обстоятельства в настоящем виде, то как же можно требовать от начальства, состоящего из чиновников, чтоб понят<н>ы

были им внутренние требования оригинального, непохожего на других художника? Поверьте, никто не может понять нас даже и так, как мы себя понимаем. И счастлив тот, кто, все это сообразя вперед, прокладывает сам себе дорогу, не опираясь ни на кого, кроме – на бога.

Письма адресуйте всегда на имя Шевырева в Москву, близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собственном доме. Он доставит мне всюду, где ни буду.

Что бы вам написать хоть что-нибудь о вашем житье-бытье, не о том, которое проходит взаперти, в студии, но о движущемся на улице, в прекрасных окрестностях Рима, под благодатным воздухом и небом! Где вы обедаете, куда ходите, на что глядите, о чем говорите? В иной раз много бы дал за то, чтобы побеседовать вновь так же радушно, как беседовали мы некогда у Фалькона[2125]. Не будьте скупы и напишите о себе не как о художнике, погруженном в созерцанье, но как о добром, милом моему сердцу человеке, развеселившемся от воспоминаний о прежнем. С вами теперь, как я слышал, Брюллов – как вы с ним лади-

те? и что делает брат ваш[2126] (которому передайте поклон мой)?

Ваш весь *Н. Гоголь*.

Иванов А. А. – Гоголю, 31 марта (12 апреля) 1851

31 *марта (12 апреля) 1851 г. Рим* [2127]

Рим. Апреля 12 1851.

Вам угодно было величайшим вниманием вознести на высокую степень художника: лице доселе блуждающее. Сочувствуя ваш выбор, я еще не считаю теперь нужным выяснять все, что происходит в душе моей по сему поводу, – время и большая самостоятельность это сами покажут. Теперь одно мне необходимо: это письмо вашей руки. Я верую в постоянство, но все-таки удостойте меня этой милости, чем подкрепите дух мой, что всегда возвышался соприкосновением вашей беседы, без которого едва ли может быть счастливое окончание настоящих дней.

С нетерпением ожидая живительного успеха сего письма, остаюсь с глубочайшим уважением

Александр Иванов.

Иванов А. А. – Гоголю, 8(20) мая 1851

8 *(20) мая 1851 г. Рим* [2128]

Рим. 20 мая 1851.

Письмо ваше от марта 18 можно разделить на две половины. Я полагаю, что вы его помните. Высшее управление, под которым мы находимся, лучше всего оставлять неприкосновенным для наших суждений, особливо письменных. Мы, христиане, должны в молчании и с покорностию ждать обещанного блаженства[2129] и печься только о том, чтобы быть более и более его достойным. Этим я заключу для себя первую половину вашего письма.

Во второй вы спрашиваете о моей жизни вне студии? Вне студии я довольно несчастен, и если бы не студия, то уже вполне бы был убит. Так покамест стоит дело. Все, что вы разумели о моих страданиях, печатав статью обо мне, составляет, может быть, четвертую долю того, что случалось после. Так что, выражаясь языком переходного человека, я уже начинаю чувствовать какую-то художническую самостоятельность. И может ли что

быть этого справедливее? Ведь мы уже мало-помалу подходим к последнему вопросу: быть ли живописи или не быть?

Но я слишком, кажется, увлекся, желая отвечать вам на вторую половину вашего письма, и это оттого, что все как-то свертывается у меня на студию как на единственное и верное утешение в настоящие минуты.

Я обедаю в Фальконе, и это потому, что из всех камергеров[2130] наш Луиджи один оставался мне верен, от других я уходил с животной болью. Вследствие этого же переставал было ходить в кафе завтракать. Теперь, однако ж, наш<ел> кафе – на площади S. Carlo, где можно без опасения позавтракать.

Я почти ни с кем не знаком и даже оставил прежние знакомства. Я, так сказать, ежедневно болтаюсь между двумя мыслями – искать знакомства или бежать от них – и, вися в средине, кое-как разговариваю с людьми, всегда имея к ним всевозможную снисходительность и ища их благорасположения как необходимости для меня же. Как ни странно это положение, но вместе и утешительно. Никогда так я не был наблюдателен, как теперь, и

в этом я нахожу отраду.

С Брюлло я в начале приезда часто виделся, но теперь с ним не бываю. Его разговор умен и занимателен, но сердце все то же, все так же испорчено.

Мне Н. П. Боткин писал, что будто бы вы сбираетесь в Рим чрез Грецию, и он тоже хочет сюда же пуститься чрез Лондон.

Брат мой все еще со мной. Мы думаем в июле, на первых числах, поехать вместе в Неаполь, в Тор-Аннунциато, для принятия морских купаний и занятий в Помпее. Оттуда в начале августа я думаю возвратиться в Альбано для этюдов первого плана картины (пожалуйста, не бранитесь: ведь вы тут только теоретик), а потом, в октябре, я в Рим, для окончания картины, а он думает в Сицилию, с возвратом ко мне же в Рим, к тому же времени.

Вас искренно любящий и почитающий *Александр Иванов*.

Гоголь – Иванову А. А., вторая половина 1851

Вторая половина 1851 г. Москва [2131]

Николай Петрович Боткин передаст вам мой поцелуй, многолюбимый мною Александр Андреевич. Бог в помощь вам в трудах ваших! Не унывайте, бодритесь. Благословенье святое да пребудет над вашей кистью, и картина ваша будет кончена со славою. От всей души вам, по крайней мере, желаю.

Ваш весь *Н. Г.*

Ни о чем говорить не хочется. Все, что ни есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я сам не гляжу ни на что, и мир кажется вовсе не для меня. Я даже и не слышу его шума. Христос с вами!

Письмо Белинскому В. Г., конец июля – начало августа 1847

Конец июля – начало августа 1847 г. Остенде [2132]

<1>

<С чего начать мой> ответ на ваше письмо? <Начну его с ваших же слов>: «Опомнитесь, вы стоите <на краю> бездны!» Как [далеко] вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу! Как вы ее истолковали! О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую, измученную душ<у! Зачем вам> было переменять раз выбранную, мир<ную дорогу?> Что могло быть прекраснее, как показывать читателям красоты в твореньях наших писателей, возвышать их душу и силы до пониманья всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом прекр<асно> действовать на их души? Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта заставила бы вас

благословлять все в природе. Что до политических событий, само собою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влияние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Зачем вам с вашей пылкою душою вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события соврем<енности>, среди которой и твердая осмотрительная многосторонн<ость> теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете. О, как сердце мое ноет [в эту минуту за вас!] Что, если и я виноват, что, если и мои сочинения послужили вам к заблуждению? Но нет, как ни рассмотрю все прежние сочинения <мои>, вижу, что они не могл<и соблазнить вас. Как ни?> смотреть на них, в <них нет лжи некоторых?> современных произведений.

В каком странно<м заблуждении вы находитесь! Ваш светлый ум> отуманился. <В каком превратном> виде приняли вы см<ысл моих произведений.> В <н>их же есть мой от-

вет. Когда [я писал их, я благоговел пе] <ред> всем, перед <чем> человек должен бла-го<го>веть. Насмешки [и нелюбовь слышалась у меня] не над властью, не над коренными законами нашего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильными толкованьями, над дурным <приложением их?..>, над струпом, который накопился, над <...> несвойственной ему жизнь<ю>. Нигде не было у меня насмешки над тем, что составляет основанье русского характера и его великие силы. Насмешка была только над мелочью, несвойственной его характеру. Моя ошибка в том, что я мало обнаружил русского человека, я не развергнул его, не обнажил до тех великих родников, которые хранятся в его душе. Но это нелегкое дело. Хотя я и больше вашего наблюдал за русским человеком, хотя мне мог помогать некоторый дар ясновиденья, но я не был ослеплен собой, глаза у меня были ясны. Я видел, что я еще незрел для того, чтобы бороться с событьями выше тех, какие были доселе в моих сочинениях, и с характерами сильнейшими. Все могло показаться преувеличен-

ным и напряженным. Так и случилось с этой моей книгой, на которую вы так напали. Вы взглянули на нее распаленными глазами, и все вам представилось в ней в другом виде. Вы ее не узнали. Не стану защищать мою книгу. Как отвечать на которое-нибудь из ваших обвинений, когда все они мимо? Я сам на нее напал и нападаю. Она была издана в торопливой поспешности, несвойственной моему характеру, рассудительному и осмотрительному. Но движенье было честное. Никому я не хотел ею польстить или покадить. Я хотел ею только остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке, в каком вдруг очутились все вещи мира. Я попал в излишества, но, говорю вам, я этого даже не заметил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем бо<лее теперь>, когда пора подумать о смерти. Никакого не было у меня своекорыстного ум<ысла>. Ничего не хотел <я> ею выпр<ашивать>. [Это и не в моей натуре]. Есть прелесть в бедности. Вспомнили б вы по крайней мере, <что> у меня нет даже угла, и я

стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расставаться с [миром]. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца. Это вам <нужно> бы вспомнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же <в гневном расположении духа?> вы решаетесь говорить <о таких?> важных предметах и не ви<дите, что вас ослепляет гневный?> ум и отнимает сп<окойствие...>

Как мне защищаться против ваших нападений, когда нападенья невпопад? Вам показались ложью слова мои государю, напоминающие ему о святости его званья и его высоких обязанностей. Вы называете <их> лестью. Нет, каждому из нас следует напоминать, что званье его свято, и тем более госуд<арю>. Пусть вспомнит, как<ой> строгий ответ потре<буется> от него. Но если каждого из нас званье свято, то тем более званье того, кому достался трудный и страшный удел заботиться о мил<л>иона<х>. Зачем напоминать о святости званья? Да, мы должны даже друг другу

напоминать о свя<тости на>ших обязанностей и званья. Без этого человек погрязнет в материальных чувствах. <Вы говорите?> кстати, будто я <спел> похвальную песнь нашему правительству. Я нигде не пел. Я сказ<ал> только, что правительство состоит из нас же. Мы выслуживаемся и составляем правительство. Если же правительство огромная шайка воров, или, вы думаете, этого не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию. Тот выезжает на одних началах, другой на других. Один сует государю тот проект, другой <иной, третий?> опять иной. Что ни человек, <то разные проекты и раз>ные мысли, что ни <город?>, то разные мысли и <проекты... Как же не> образоваться посреди <такой разладицы вор>ам и всевозможным <плутням и неспра>ведливостям, когда всякий <видит, что везде> завелись препятствия, всякий думает только о себе и о том, как бы себе запасти потеплей квартирку?.. Вы гово-

рите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивили<зации>, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно <никто> покуда не видел, и, ежели <пытались ее> хватать руками, она рассы<пается>. И прогресс, он тоже был, пока о нем не дум<али, когда же?> стали ловить его, он и рассыпал<ся>.

Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему гнусному, как <вы> выражаетесь, духовенству? Неужели слово мое, что проповедник восточной церкви должен жизнью и делами проповедать. И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть

больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых святости жизни и подвигам я дивился и видел, что они – созданье нашей восточной церкви, а не западной. Итак, я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу церковь, но духовенству, возвысившему нашу церковь.

Как все это странно! Как странно мое положение, что я должен защищаться против тех нападений, которые все направлены не против меня и не против моей книги! Вы говорите, что вы прочли будто сто раз мою книгу, тогда как ваши же слова говорят, что вы ее не читали ни разу. Гнев отуманил глаза ваши и ничего не дал вам увидеть в настоящем смысле. Блуждают кое-где блестки правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманных юношес<ких> увлечений. Но какое невежество блещет на всякой стра<нице>! Вы отделяете церковь от <Христа и> христианства, ту самую церковь, тех самых <...> пастырей, которые мученической <своей смертью> запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили са-

мих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал <это слово>. И этих самых пастырей, этих мучеников-епископов, вынесших на плечах святыню церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние ком<м>унисты и социалисты, [объясняющие, что Христос по]велел отнимать имущества и гра<бить> тех, [которые нажили себе состояние?] Опомнитесь! Волтера называ<ете> оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимна<зии>. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Волтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Волтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь. Волтер, несмотря на все блестящие замашки, остался тот же француз. О нем можно сказать то, что Пушкин говорит вообще о французе:

Француз – дитя:

Он так, шутя,
Разрушит трон
И даст закон;
И быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
И удивит,
И насмешит[2133].

<2>

<...Христос> нигде никому не говорит, <что нужно приобрета?>ть, а еще, напротив, и <настоятельно нам?> велит он уступать: <снимаю>щему с тебя одежду, <отдай последнюю> руб<ашку, с прося>щим тебя пройти с тобой <одно> поприще, пройди два.

<Не>льзя, получа легкое журнальное образов<ание, судить> о таких предметах. Нужно для это<го изучи>ть историю церкви. Нужно сызнова <прочи>тать с размышленьем всю историю <чело>вечества в источника<х, а не в нынешних> легких брошюрках, <написанных...?> бог весть кем. Эти <поверхностные энциклопеди>ческие сведения разбрасывают ум, а не сосред<от>очивают его.

Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и

что, говоря о боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут <гово>рить, когда так красноречиво <говорят> тысячи церквей и монастырей, покрывающих <русскую землю>. Они строятся [не дарами] богатых, но бедны<ми> лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о боге, и который делится последней копейкой с бедным и богом, терпит горькую нужду, о кото<рой знает каждый из нас?>, чтобы иметь возможность принести усерд<ное подаяние богу?>. Нет, Виссарион Гр<игорьевич>, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях легкими журнальными <статейками и романами> тех французских ро<манистов, которые> так пристрастны, <что не хотят видеть>, как из Евангелия исх<одит истина?>, и не замечают того, как уродливо и <пошло?> изображена у них жизнь. Теперь позвольте же ск<азать>, что я имею более пред вами [права заговорить] <о русском> народе. По крайней мере, все мои

сочинения, по едино<душному> убежденью, показывают знанье пр<ироды> русской, выдают человека, который был с народом наблюд<ателен и... стало> быть, уже имеет дар вход<ить в его жизнь>, о чем говорено <было> много, что подтвердили сами вы в ваших критиках. А что <вы предста>вите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно <это> зна<ние>? Предмет <этот> велик, и об этом бы я мог вам <написать> книги. Вы бы устыдились сами того грубого смысла, который вы придали советам моим помещику. Как эти советы ни обрезаны цензурой, но <в н>их нет протеста противу грамотности, <а> разве <лишь> протест против развращенья <народа русск>ого грамотою, наместо того, что грамота нам дана, чтоб стремить к высшему свету человека. Отзывы ваши о помещике вообще отзываются временами Фонвизина. С тех пор много, много изменилось в России, и теперь показалось многое другое. Что для крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного, [который] воспитался в универси-

тете и который все же [стало быть, уже многое должен чувствовать] или <быть> под управлением <многих чиновнико>в, менее образованных, <корыстолюбив>ых и заботящихся о том <только, чтобы нажи>ться? Да и много <есть таких предмето>в, о которых следует <каждому из нас> подумать заблаговременно, прежде <нежели с> пылкостью невоздержного рыцаря и юноши толковать об освобождении, чтобы это осво<божде>нье не было хуже рабства. Вообще у нас как-то более заботятся о перемене <назва>ний и имен. Не стыдно ли вам в умень<шительных име>нах наших, [которые даем] мы <...> [иногда и товарищам], в<иде>ть униженье <чел>овечества и признак варварства? Вот до каких ребяческих выводов доводит неверный взгляд на главный предмет...

Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите: «Я знаю об<щество> наше и дух его», и ручаетесь <в этом>. Как можно ручаться за этот ежеминутно меняющийся хамелеон? Какими данными вы можете удостоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? Показали ли

вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опыт жиз<ни>? Живя почти без прикосновенья с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних занятия<х> фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом громадном страшилище, котор<ое неожи>данными явленьями <ловит нас> в ту ловушку, в ко<торую попадают> все молодые пи<сатели, рассуждающие> обо всем мире и человечестве, тогда как <довольно> забот нам и вокруг себя. Нужно <прежде всего> их исполнить, тогда общество <само> собою пойдет хорошо. А если <пренебрежем> обязанности относительно лиц <близких и погони>мся за обществом, то <упустим и те и другие?> так же точно. Я встречал в последнее время много прекрасных л<юдей, которые> совершенно сбились. О<д>ни думают, [что] преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредствен <ной> литературы, которую вы называете беллетристикой, можно подей-

ствовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни [пылкие головы]. Брожение внутри не исправить никаким конституциям. <...Общест>во образуется само собою, общес<тво> слагается из единиц. <Надобно, чтобы каждая едини>ца исполнила долж<ность свою.> <...> Нужно вспомнить человеку, <что> он вовсе не материальная скотина, <но вы>сокий гражданин высокого небесно<го гра>жданства. Покуда <он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью <неб>есного гражданина, до тех пор не <пр>идет в порядок и зе<мное> гражданство.

Вы говорите, что Россия д<олго и напрасно моли>лась. Нет, Россия м<олилась не напрасно. К>огда она молилась, то она спаса<лась. О>на помолилась в 1612, и спаслась от поляков; она помолилась в 1812, и спаслась от французов. Или это вы называете молитвою, что одна из сотни <молится>, а все прочие кутят, сломя голову, с утра до вечера на всяких зрелищах, заклады<вая> последнее свое имущество, чтобы насладиться всеми комфорта<ми>, которыми наделила нас эта б<естол-

ковая?> европейская цивилизация?

Нет, оставим п<одобные сом>нительные положения <и посмотрим на> себя [честно]. <Будем стара>ться, чтоб не зарыть в землю т<алант свой>. Будем отправлять по совести свое ремесл<о. Тогда> все будет хорошо, и состоянье общества поправится само собою. В <этом> много значит государь. <Ему дана должн>ость, которая важ<на и> пре<выше?> всех<?>. С государя у нас все берут пример. Стоит только ему, не коверкая ничего, <править?> хорошо, так и все пойдет само собою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении, <в>дали от развращающего двора, <от> всего этого накопленья. И все <обер>нется само собою просто. Сумасшедш<ую жизнь захотят?> бросить. Владельцы разъедутся по поместьям, станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть. А честолюбец, увидя, что важные места не награждают ни деньгами, ни богатым жалованьем, <оставит службу. Оставь>те этот мир обнаг<левших?..>, который обмер, <для которого> ни вы, ни я не

рождены. <Позвольте мне> напомнить прежние ваши <раб?>от<ы> и сочин<ен>ия. Позвольте мне <также> напомнить вам прежнюю вашу дорогу <...>. Литератор сущес<твует для другого>. Он должен служить искусству, <которое вносит в души мира высшую примиряющую <исти>ну, а не вражду, <лю>бовь к человеку, <а> не ожесточ<ение и> ненависть. <Возьмитесь снова> за свое поприще, с <которого вы удалились?> с легкомыслием юно<ши>. Начните <сызнова?> ученье. Примитесь за тех поэтов <и му>дрецов, которые воспитывают душу. Вы <сами> сознали, <что> журнальные занятия выветривают душу и что вы замечаете наконец пустоту в себе. <Это> и не может быть иначе. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите <это> чтеньем больших сочинений, а не сов<ременных> брошюр, писанных разгоряченным <умом>, совращающим с прямого взгляда.

<3>

Я точно отступаюсь <говорить?..> о таких предмет<ах, о которых дано?> право говорить одн<ому тому, кто получил его в силу много-

опыт?>ной жизни. Не м<ое дело говорить?> о боге. Мне следовало <говорить не о боге, а?> о том, что вокруг нас, что <должен изображать?> писатель, но так, чтобы <каждому?> самому захотелось бы заго<ворить?> о боге <...>

<4>

Хотя книга моя вовсе не исполнена той обдуманности, какую вы подозрева<ете>, напротив, она печатана впопыхах, в ней были даже письма, писан<ные> во время самого печатанья, хотя <в ней> есть действительно м<ного не>ясного и так, вер<оятно>, можно иное принять, <...> но до такой степени <спутаться>, как спутались вы, принять <все> в та<ком> странном смысле! Только гневом, помрачившим ум и отуманившим <голову>, можно объяснить так<ое заблуждение...>

<5>

Слова мои о грамотности вы приняли в буквальном, тесном смысле. Слова эти были сказаны помещику, у которого крестьяне земледельцы. Мне даже было смешно, когда из этих слов вы поняли, что я вооружался против грамо<тности>. Точно как будто бы об

этом теперь вопрос, когда это вопрос, решенный уже давно нашими отцами. Отцы и деды наши, даже безграмотные, решили, что грамотно<сть> нужна. Не в этом дело. Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют близкие столкновения с народом, чем самый народ, всех этих мелких чиновников и власти, которые все грамотны и которые между тем много делают злоупотреблений. Поверьте, что для этих господ нужнее издавать те книги, которые, вы думаете, полезны для народа. Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население. Но издать книги для этих господ, которые бы открыли им тайну, как быть с народом и с подчиненными, которые им поручены, не в том обширном смысле, в котором повторяется слово: не крадь, соблюдай правду или: помни, что твои подчиненные люди такие же, как и ты, и тому <подобные>, но которые могли бы ему открыть, как именно не красть и чтобы точно собл<юдалась> правда.

Примечания

1

См. Список условных сокращений

[^^^]

2

За исключением особо оговоренных случаев, письма Гоголя и его корреспондентов цитируются по настоящему изданию.

[^^^]

3

«Письмо Гоголя, который обещает ругать меня и еще в знак дружбы», – с горькой иронией пометил в своем дневнике адресат (Барсуков, кн. 8, с. 546).

[^^^]

4

См.: Письма к Н. В. Гоголю (Библиография). Л., 1965 (составители Л. П. Архипова и А. Н. Степанов).

[^^^]

5

ВЕ, 1890, № 1, с. 93–95; Акад., X, № 110.

[^^^]

6

Н. Я. Прокопович, прозванный так за румяный цвет лица.

[^^^]

7

По воспоминаниям П. В. Анненкова, Гоголь придумал для своих приятелей по Нежинскому лицею прозвища, для которых он позаимствовал имена модных тогда французских писателей (см.: Анненков. Лит. восп., с. 46–47). Не исключено, что Беранжер – В. И. Любич-Романович.

[^^^]

8

По предположению В. В. Данилова, О. М. Сомов (Данилов В. В. Влияние бытовой и литературной среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Одесса, 1909, с. 14).

[^^^]

9

Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (цензурное разрешение – 26 мая 1831 г.).

[^^^]

10

Намек на то, что в Петербурге Данилевский учился в Школе подпрапорщиков.

[^^^]

11

По воспоминаниям А. С. Данилевского, священник в Олифировке (Письма, т. 1, с. 129).

[^^^]

М. Ф. Тимченко.

[^^^]

13

В начале 1831 г. Гоголь устроился учителем истории в Патриотический институт, а также давал частные уроки.

[^^^]

14

В. И. Черныш и Т. И. Черныш – отчим и мать А. С. Данилевского.

[^^^]

15

Кулиш, т. 1, с. 108–109 (с пропуском); Акад., X, № 121.

[^^^]

16

Неточная цитата из комедии Я. Б. Княжнина «Неудачный примиритель, или Без обеду домой поеду» (1787), которую учащиеся Нежинской гимназии разыгрывали в 1827 г. (Акад., X, № 52, 53).

[^^^]

17

Припев украинской плясовой песни.

[^^^]

18

Гоголь намекает, вероятно, на строку стихотворения П. А. Вяземского «К А. О. Росетти (Смирновой)» (1831): «Живее ласточки она».

[^^^]

19

Вероятно, Эмилия Александровна Клингенберг (1815–1891), падчерица генерала П. С. Верзилина, с 1851 г. – жена двоюродного брата М. Ю. Лермонтова А. П. Шан-Гирея.

[^^^]

20

Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (вышла в свет в сентябре 1831 г.).

[^^^]

21

Е. Л. Лаппо-Данилевский.

[^^^]

22

Цитата из «Евгения Онегина» (гл. первая, строфа LX). К ноябрю 1831 г. в связи с выходом первой части «Вечеров...» в печати успела появиться весьма сочувственная рецензия Л. Якубовича, в которую была включена цитата из письма Пушкина к А. Ф. Воейкову с восторженным отзывом о книге Гоголя (Лит. прибавл. к РИн, 1831, № 79), сочувственная рецензия за подписью «В» (вероятно, В. Ушакова) (СПч, 1831, № 219, 220) и весьма сдержанная рецензия в «Московском телеграфе» (1831, № 17).

[^^^]

23

Изданные Е. И. Ольдекопом «Карманный словарь российско-немецкий и немецко-русский» (1824–1826) или «Новый карманный словарь французско-русский и русско-французский» (1830).

[^^^]

24

Гоголь жил в Павловске на положении учителя в семье кн. Васильчиковых.

[^^^]

25

Имеется в виду холерный бунт в июне 1831 г., усмиренный вооруженной силой.

[^^^]

26

Скорее всего Гоголь преувеличивает частоту своих встреч с Пушкиным и Жуковским.

[^^^]

27

«Домик в Коломне», поэма, законченная в октябре 1830 г.

[^^^]

28

«Сказка о попе и работнике его Балде», законченная 13 сентября 1830 г. Летом и осенью 1831 г. Пушкин работал над «Сказкой о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

[^^^]

29

В августе – сентябре 1831 г. Жуковский написал «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери», «Спящую царевну», «Войну мышей и лягушек».

[^^^]

30

В 1831 г. оживилось малопродуктивное перед тем творчество Жуковского: закончен «Кубок», написаны «Поликратов перстень», «Жалоба Цереры», «Доника», «Суд божий над епископом», «Алонзо», «Ленора», «Покаяние», «Королева Урака и пять мучеников». Эти баллады были одновременно опубликованы в «Балладах и повестях В. А. Жуковского» в двух частях (СПб., 1831) и в однотомном издании «Баллады и повести В. А. Жуковского» (СПб., 1831).

[^^^]

31

Кулиш, т. 1, с. 110–111 (с пропуском); Акад., X, № 124.

[^^^]

32

Альманах «Северные цветы на 1832 год» был издан по инициативе Пушкина в память умершего в 1831 г. А. А. Дельвига, издателя «Северных цветов» с 1825 по 1831 г.

[^^^]

33

В альманахе «Альциона», издававшемся бароном Е. Ф. Розеном, в 1831–1833 гг. принимали участие П. А. Вяземский, С. П. Шевырев, В. Ф. Одоевский, О. М. Сомов и др.

[^^^]

34

«Невский альманах» издавался Е. В. Аладьиным с 1825 по 1833 г.

[^^^]

35

В «Северных цветах на 1832 год» были помещены стихотворения Н. М. Языкова «Песня», «Бессонница», «Им», «А. А. Дельвигу», «К-е К-е Я-ъ», «И. В. К.».

[^^^]

36

Здесь же были помещены стихотворения Пушкина «Эхо», «Анчар», «Бесы», «Дорожные жалобы», «Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд».

[^^^]

37

«Сражение со змеем» – вольный перевод стихотворной повести Ф. Шиллера «Der Kampf mit der Drachen».

[^^^]

38

Стихотворение Н. Я. Прокоповича «Полночь» было напечатано за подписью «чъ».

[^^^]

39

«Северная пчела», 1831, № 219, 220.

[^^^]

40

О товарищах Гоголя и Данилевского по Нежинской гимназии, перебравшихся в Петербург.

[^^^]

41

Кулиш, т. 1, с. 113–114; Акад., X, № 131.

[^^^]

всецело (фр.).

[^^^]

43

Хрия – риторические правила построения рассуждения.

[^^^]

44

Повесть Гоголя, вышедшая в начале марта 1832 г. в составе второй книги «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

[^^^]

45

Приехали Н. В. Кукольник, учившийся вместе с Гоголем в Нежинской гимназии и прозванный «Возвышенным» за напыщенный стиль своих литературных опытов, его брат, П. В. Кукольник, а также нежинский врач.

[^^^]

46

Драма Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» (СПб., 1833).

[^^^]

47

Имеется в виду герой «Торквато Тассо» Джулио Мости; по тексту драмы ему 15 лет.

[^^^]

48

Кулиш, т. 1, с. 118–119 (с пропусками); Акад., X, № 158.

[^^^]

49

Конец июля – начало октября 1832 г. Гоголь провел у себя на родине.

[^^^]

50

По сообщению Н. В. Гербеля, Н. Я. Прокопович женился на М. Н. Трохневой в 1834 г., но 2 октября 1833 г. Гоголь уже сообщает В. В. Тарновскому: «Прокопович Николай женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе» (Акад., X, № 179).

[^^^]

51

В. Я. Прокопович.

[^^^]

52

Михаил Павлович (1798–1849), главный начальник Пажеского корпуса и всех сухопутных кадетских корпусов.

[^^^]

53

К Школе подпрапорщиков.

[^^^]

54

В доме Иохима на Большой Мещанской (ныне ул. Плеханова, д. 39), где Данилевский жил вместе с Гоголем в 1829 г.

[^^^]

55

Кулиш, т. 1, с. 119–122 (с пропусками); Акад., X, № 164.

[^^^]

56

С. В. Капнист, дочь В. В. Капниста, вышла замуж за В. А. Скалона (1805–1882).

[^^^]

57

М. А. Данилевская, родственница А. С. Данилевского.

[^^^]

58

Юрьево и Голтвянские балки – места близ Полтавы.

[^^^]

59

Возможно, имеется в виду Ланг.

[^^^]

60

Имение Данилевских.

[^^^]

Альманах на 1833 г., издан цензором В. Н. Семеновым.

[^^^]

62

«Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою <...> изданные В. Безгласным» вышли в 1833 г. Книга была «затейлива» и по содержанию, и по оформлению титульного листа, фронтисписа и заставок.

[^^^]

63

«Илиада» в переводе Н. И. Гнедича была опубликована в 1829 г.

[^^^]

64

Н. И. Гнедич умер 3 февраля 1833 г.

[^^^]

65

Осмеяние Д. И. Хвостова, поэта-графомана, и А. С. Шишкова, председателя «Беседы любителей русского слова», идеолога архаистов, восходило к традициям «Арзамаса» и было характерно для писателей пушкинского круга, причастность к которому Гоголь демонстрирует в письмах к Данилевскому.

[^^^]

66

«Мазепа» – исторический роман Ф. Б. Булгарина, вышел в Петербурге в 1833–1834 гг. в двух частях. Выступая против Булгарина, Гоголь также консолидируется с Пушкиным.

[^^^]

67

Гоголь несколько неточно цитирует стихотворение «Вино».

[^^^]

68

Имя древнеримского полководца и государственного деятеля Фабия Максима Кунктатора (275–203 до н. э.) стало нарицательным, обозначающим медлительность.

[^^^]

69

Ироническое преувеличение. К этому времени Кукольником были закончены трагедии «Торквато Тассо», «Рука всевышнего отечество спасла» и, возможно, «Джулио Мости».

[^^^]

70

Маркиз Поза – герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), благородный идеалист.

[^^^]

71

Выражение из «Евгения Онегина» (гл. четвертая, строфа XXXV).

[^^^]

В. И. Любич-Романович.

[^^^]

73

Ф. А. Данилевский, родственник А. С. Данилевского.

[^^^]

74

К. И. Ходаревская, тетка Гоголя, в исполнении которой он очень любил слушать малороссийские песни.

[^^^]

75

Припев популярной полуукраинской-полуцыганской песни.

[^^^]

76

Кулиш, т. 1, с. 238–241; Акад., XI, № 68.

[^^^]

77

Художники (шутливое, от и т. pittori).

[^^^]

78

Скудо – итальянская монета.

[^^^]

79

И. Ф. Золотарев выехал за границу вместе с Гоголем и Данилевским и встречался с Гоголем в Риме в 1837 и 1838 гг. (см. воспоминания И. Ф. Золотарева. – Исторический вестник, 1893, № 1, с. 36–38).

[^^^]

С 1836 г. Н. Я. Прокопович преподавал русский язык и словесность в Петербургском кадетском корпусе.

[^^^]

81

Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. вторая, строфа XXXI).

[^^^]

82

Имеются в виду выпускники Нежинской гимназии.

[^^^]

83

Слова Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова.

[^^^]

84

К. П. Брюллов, лично знакомый Гоголю, был ближайшим другом Н. Кукольника. Кисти Брюллова принадлежит известный портрет Кукольника (1836).

[^^^]

85

Обед состоялся 2 февраля 1838 г.

[^^^]

86

Стихотворения В. Бенедиктова, П. Вяземского и Е. Гребенки были опубликованы под заглавием «Стихотворения, сочиненные для пятидесятилетнего юбилея И. А. Крылова» в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1838, № 29, 5 февраля) и перепечатаны в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1838, № 7, с. 125–126).

[^^^]

Мих. Ю. Вьельгорский.

[^^^]

88

Имеется в виду муза Крылова (Крылов не был женат).

[^^^]

89

Намек на комедию И. А. Крылова «Урок дочкам» (1807).

[^^^]

90

Пословица, использованная в басне Крылова «Зеркало и обезьяна»: «Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра».

[^^^]

91

Имеется в виду церковный обряд омовения ног.

[^^^]

92

Названия ресторанов.

[^^^]

93

Вероятно, здесь употреблен искаженный произношением вариант слова dindon – глупец, индюк, дурошлеп (фр.).

[^^^]

94

Поэма А. Мицкевича «Пан Тадеуш» («Pan Tadeusz») была опубликована в 1834 г.

[^^^]

желудочные пилюли (фр.).

[^^^]

индийские пилюли.

[^^^]

BE, 1890, № 2, с. 564–566; Акад., XI, № 70.

[^^^]

почта до востребования (фр.).

[^^^]

99

ВЕ, 1890, № 2, с. 566–567. Печатается по этому изданию.

[^^^]

100

Сестры Гоголя, Елизавета и Анна, учились тогда в Патриотическом институте в Петербурге.

[^^^]

101

Кулиш, т. 1, с. 241–243; Акад., XI, № 73.

[^^^]

102

Из этих писем сохранилось лишь письмо к П. А. Вяземскому от 13 (25) июня 1838 г. (Акад., XI, № 72).

[^^^]

103

Акад., XI, № 74.

[^^^]

ВЕ, 1890, № 2, с. 570–571. Печатается по этому изданию.

Ответ на письмо Гоголя от 8 (20) августа 1838 г. (Акад., XI, № 78). Предыдущее письмо Данилевского, с просьбой приехать в Париж, Гоголь получил, уже переехав из Рима в Неаполь, более удаленный от Парижа, чем Рим. Тем не менее 8 (20) августа он отвечал Данилевскому, что готов приехать к нему и только боится не застать его в Париже.

[^^^]

105

Гоголь так никогда и не побывал в Лондоне.

[^^^]

106

«Дон Жуан» (1787) – опера Моцарта, «Отелло» (1816) – опера Россини, «Гугеноты» (1836) – опера Дж. Мейербера.

[^^^]

107

Кулиш, т. 1, с. 284–286; Акад., XI, № 201.

[^^^]

108

BE, 1890, № 2, с. 582–583; Акад., XII, № 44.

[^^^]

109

Это письмо до нас не дошло.

[^^^]

110

Одно из этих писем, вероятно – письмо от 4 апреля 1842 г. (Акад., XII, № 33); другое нам неизвестно.

[^^^]

111

Гоголь имеет в виду оттиски повести «Рим», напечатанной в № 3 «Москвитянина» за 1842 г.

[^^^]

112

Печатание «Мертвых душ» закончилось 15–17 мая 1842 г.

[^^^]

113

Гоголь имеет в виду создание второго и третьего тома «Мертвых душ».

[^^^]

114

Кулиш, т. 1, с. 316–317 (с пропусками); Акад., XII, № 87.

[^^^]

115

О «Мертвых душах».

[^^^]

116

ВЕ, 1890, № 2, с. 585–587. Печатается по этому изданию.

[^^^]

117

От 11 (23) октября 1842 г.

[^^^]

118

По воспоминаниям Данилевского, речь шла о Владимире Михайловиче Строеве (Письма, т. 2, с. 258), занимавшем место секретаря при А. Н. Демидове – богатом коллекционере и меценате, организаторе научных экспедиций.

[^^^]

119

Жареное кушанье (от и т. frittura).

[^^^]

120

Вероятно, собеседник Данилевского имел в виду комедию В. Т. Нарежного «Заморский принц, или Невеста под замком», на сюжет которой позже было написано несколько водевилей; сам Нарежный водевилей не писал.

[^^^]

мещанства (фр.).

[^^^]

122

В конце мая 1842 г. Гоголь поручил Н. Я. Прокоповичу наблюдать за четырехтомным изданием своих сочинений (вышло в свет в январе 1843 г.).

[^^^]

123

То есть женился неудачно.

[^^^]

124

Сочинения и письма, т. 5, с. 429–435 (с пропуском и ошибкой в датировке); Акад., XII, № 107.

[^^^]

125

См. предыдущее письмо.

[^^^]

126

Вероятно, Гоголь имеет в виду «Москвитянин», издававшийся с 1841 г. М. П. Погодиным при активном участии С. П. Шевырева.

[^^^]

127

БдЧ, 1855, май, с. 105–108; Акад., XII, № 180.

[^^^]

128

Это письмо неизвестно.

[^^^]

129

В конце 1843 г. А. С. Данилевский получил место инспектора второго Благородного пансиона при Киевской первой гимназии.

[^^^]

130

Намек на слух об увлечении Гоголя А. О. Смирновой.

[^^^]

131

ВЕ, 1890, № 2, с. 590–591. Печатается по этому изданию.

[^^^]

132

От 1 (13) апреля 1844 г.

[^^^]

133

ВЕ, 1890, № 2, с. 592–593 (с ошибочной датировкой); Акад., XII, № 203.

[^^^]

134

Кулиш, т. 2, с. 121–124; Акад., XIII, № 139. Некоторые мотивы этого письма вошли в «Авторскую исповедь».

[^^^]

135

«Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшие в январе 1847 г.

[^^^]

непонятая женщина (фр.).

[^^^]

137

ВЕ, 1890, № 2, с. 604–605. Печатается по этому изданию.

[^^^]

138

От 29 октября 1848 г. (Акад., XIV, № 61).

[^^^]

А. М. Марковича, с которым Гоголь познакомился в конце мая – начале июня 1848 г. через Данилевского (Маркович был дядей и воспитателем жены Данилевского).

[^^^]

140

Киевская старина, 1902, № 3, с. 534–536; Акад., XIV, № 74.

[^^^]

141

От 21 декабря 1848 г.

[^^^]

142

И. В. Капнисту, в то время – московскому гражданскому губернатору.

[^^^]

143

Цитата из «Моцарта и Сальери» (1830) Пушкина.

[^^^]

144

ВЕ, 1890, № 2, с. 605–606. Печатается по этому изданию.

[^^^]

145

См. предыдущее письмо.

[^^^]

146

Оставим в покое всю эту политику и поговорим о другом (ит.).

[^^^]

М. Г. и В. Г. Похвисневых.

[^^^]

148

Налог на производство вина.

[^^^]

149

Кулиш, т. 2, с. 220 (с пропусками); Акад., XIV, № 78. Ответ на письмо Данилевского от 16 февраля 1849 г.

[^^^]

150

Имеется в виду первый том «Одиссеи» в переводе В. А. Жуковского, вышедший в свет во второй половине 1848 г.

[^^^]

151

РСл, 1859, № 1, с. 85–86 (с пропусками); Акад., X, № 140.

[^^^]

152

Гоголь был тепло принят московскими литераторами, познакомился с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым, М. Н. Загоскиным, И. И. Дмитриевым.

[^^^]

С В. Я. Прокоповичем.

[^^^]

154

С, 1858, № 2, с. 278–279 (с пропусками); Акад., XI, № 36.

[^^^]

155

Цитата из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830): «Нас мало избранных, счастливцев праздных, //Пренебрегающих презренной пользой, //Единого прекрасного жрецов».

[^^^]

156

О борьбе за престолонаследие, о гражданской войне и разработке новой конституции в Испании.

[^^^]

157

Французский театр (иначе – Comédie Française) – парижский театр, основанный в 1680 г.

[^^^]

158

В пьесе «Людовик XI» (1832).

[^^^]

159

Гоголь перефразирует пословицу «Далеко кулику до Петрова дня».

[^^^]

160

Дав Анненкову прозвище «Жюль Жанен» (имя французского писателя и критика), Гоголь шутит над ним, имея в виду широко известную связь Ж. Жанена с актрисой Жорж, возраст которой он сильно преувеличивает (в 1837 г. ей было 50 лет).

[^^^]

161

«Гугеноты» (1836) и «Роберт-Дьявол» (1831) – оперы Д. Мейербера.

[^^^]

162

В сезон 1836–1837 г. «Ревизор» был сыгран в Александринском театре в Петербурге 26 раз.

[^^^]

163

Стихотворение Пушкина «Полководец» и повесть «Капитанская дочка» были напечатаны в № 3 и 4 журнала «Современник» за 1836 г.

[^^^]

Пащенко.

[^^^]

165

«Художественная газета» издавалась Н. В. Кукольником с августа 1836 г.

[^^^]

166

Статья К. М. Базили «Босфор» была напечатана в журнале «Сын отечества» (1836, № 4) и вошла в отдельное издание «Босфор и новые очерки Константинополя», 2 части. СПб., 1836.

[^^^]

167

Очевидно, А. А. Комаров и его двоюродный брат А. С. Комаров.

[^^^]

168

Имя Гоголя было помещено в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» в списке сотрудников, участвующих в издании.

[^^^]

169

Шуточные куплеты, сочиненные Гоголем и Данилевским в Париже 4–5 декабря 1836 г. (Акад., IX, с. 11–12).

[^^^]

170

РСл, 1859, № 1, с. 99–100; Акад., XI, № 42.

[^^^]

171

Гоголь говорит о смерти Пушкина

[^^^]

172

Речь идет о деньгах, которые причитались Гоголю от книгоиздателя Смирдина.

[^^^]

173

РСл, 1859, № 1, с. 106–107; Акад., XI, № 56.

[^^^]

174

Материалы, о которых просил Гоголь, были нужны ему для работы над «Мертвыми душами».

[^^^]

175

Нестор – автор «Повести временных лет» (ок. 1113), первого общерусского летописного свода. Киевская летопись продолжает «Повесть временных лет» и охватывает события с 1111 г. по 1200 г. Ипатьевская летопись – южнорусский летописный свод, включающий «Повесть временных лет» и доводящий повествование до 1292 г. Хлебниковский список – один из вариантов Ипатьевской летописи, «Повесть временных лет» издавалась еще в XVIII в.; другие летописи, о которых спрашивает Гоголь, вошли в состав II тома «Полного собрания русских летописей» (СПб., 1843). В знакомстве Гоголя с этими материалами значительную роль сыграл М. П. Погодин.

[^^^]

176

«Славянские древности» (т. 1, ч. 1–3) П. И. Шафарика в переводе О. М. Бодянского были изданы М. П. Погодиным в 1837–1838 гг.

[^^^]

177

Книга И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839).

[^^^]

178

БдЧ, 1857, № 11, отдел «Науки», с. 36, 38 (с пропусками); Акад., XII, № 72.

[^^^]

179

Имеются в виду «Игроки» и «Театральный разъезд...». В этом и ряде следующих писем речь идет о подготовке собрания сочинений Гоголя.

[^^^]

180

Первая редакция «Театрального разъезда после представления новой комедии» была написана в мае 1836 г. Начав в июле 1842 г. переделывать «Театральный разъезд...» для 4-го тома «Сочинений», Гоголь завершил эту работу к 10 октября, фактически написав новое произведение.

[^^^]

181

Добросовестно выполняя просьбу Гоголя, Прокопович при подготовке издания правил не только ошибки писца, но и стиль Гоголя (см. преамбулу к переписке, с. 91).

[^^^]

182

В 1842 г. в «Отечественных записках» появились четыре статьи Белинского, посвященные «Мертвым душам»: «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя» (№ 7); «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (№ 8); «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (№ 9) и «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (№ 11). О «Мертвых душах» Белинский писал и в статье «Русская литература в 1842 году» (ОЗ, 1843, № 1). О получении статей Белинского Гоголь писал в 1843 г. (см. письмо к С. П. Шевыреву от 20 августа (1 сентября) – Акад., XII, № 141, и к Прокоповичу от 12 (24) сентября).

[^^^]

183

Гоголь приехал в Венецию только 10 (22) сентября и пробыл там около двух недель.

[^^^]

184

РСл, 1859, № 1, с. 120–121 (без адреса); Акад., XII, № 83.

[^^^]

185

Черновые наброски «Игроков» были сделаны Гоголем, вероятно, еще в Петербурге, до июня 1836 г. Приложенная к данному письму рукопись «Игроков» являлась полной и окончательной редакцией пьесы. Рукопись сопровождалась примечанием Гоголя: «Само собою разумеется, что переписать все это нужно писцу по примеру прочих разгонисто и четко, чтобы цензор мог прочесть удобнее».

[^^^]

186

Так первоначально назывался «Отрывок».

[^^^]

187

РСл, 1859, № 1, с. 121–123 (с пропусками); Акад., XII, № 86.

[^^^]

188

Пьесу «Театральный разъезд...».

[^^^]

189

См. переписку с Щепкиным, с. 459.

[^^^]

190

Шенрок, т. 4, с. 53–56. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

191

Вследствие цензурных затруднений издание вышло лишь в январе 1843 г.

[^^^]

192

9 сентября 1842 г. в бенефис драматурга, актера и режиссера Н. И. Куликова (Н. Крестовского) (1812–1891) в Александринском театре без ведома Гоголя была поставлена написанная Куликовым инсценировка «Комические сцены из новой поэмы «Мертвые души» сочинения Гоголя».

[^^^]

193

То есть враждебные рецензии на «Мертвые души» Н. Греча (СПч, 1842, № 137) и О. Сенковского (БдЧ, 1842, № 8).

[^^^]

194

Об этом пишет В. Г. Белинский в статье «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (ОЗ, 1842, № 9).

[^^^]

195

Лакей Чичикова в «Мертвых душах».

[^^^]

196

См. переписку со Щепкиным, с. 458.

[^^^]

О цензурной истории «Женитьбы» и «Шинели» см.: Акад., V, с. 457, и III, с. 685–687.

[^^^]

198

«Театрального разъезда...».

[^^^]

199

Автором статьи, напечатанной в «Современнике» (1842, т. 27), был П. А. Плетнев.

[^^^]

200

Статьи С. П. Шевырева о «Мертвых душах» были опубликованы в № 7 и 8 «Москвитянина» за 1842 г.

[^^^]

201

К. С. Аксаков написал статью «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842).

[^^^]

202

РСл, 1859, № 1, с. 123–125 (с пропуском); Акад., XII, № 93.

[^^^]

203

Гоголь говорит о не согласованных с ним театральных постановках его произведений.

[^^^]

204

См. письмо Плетневу от 16 (28) ноября 1842 г. (Акад., XII, № 95)

[^^^]

205

Четвертый том «Сочинений» Гоголя.

[^^^]

206

РСл, 1859, № 1, с. 125; Акад., XII, № 113.

[^^^]

207

Имеется в виду издание сочинений Гоголя.

[^^^]

А. А. Краевский оказал помощь в преодолении цензурных затруднений. В. Г. Белинский держал корректуру сочинений.

[^^^]

209

РСл, 1859, № 1, с. 126–128; Акад., XII, № 117.

[^^^]

210

РСл, 1859, № 1, с. 128–129; Акад., XII, № 118.

[^^^]

211

В «Отечественных записках» помещены статьи Белинского, посвященные «Мертвым душам» (см.коммент. 4 на с. 104), и статья Белинского «Сочинения Николая Гоголя. Четыре тома. Санкт-Петербург. 1842» (ОЗ, 1843, № 2).

[^^^]

212

Отрицательные рецензии на «Мертвые души» О. И. Сенковского (БдЧ, 1842, № 8) и Н. Полевого (РВ, 1842, № 5–6).

[^^^]

213

«Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях...», СПб., 1837. Настоящий автор – профессор Дерптского университета Н. А. Иванов (1811–1869), у которого Ф. Б. Булгарин купил право издания этого сочинения под своим именем.

[^^^]

214

РСл, 1859, № 1, с. 129–132; Акад., XII, № 128.

[^^^]

215

В № 2 «Москвитянина» за 1841 г. Погодин без ведома Гоголя сообщил: «Гоголь написал уже два тома своего романа «Мертвые души», Вероятно, скоро весь роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем году».

[^^^]

216

На самом деле Гоголь писал об этом через месяц после выхода сочинений в свет – в письме Шевыреву от 16 (28) февраля 1843 г.

[^^^]

217

Вопрос вызван тем, что типография, в которой печатались сочинения Гоголя, скрыла часть тиража и продавала ее от себя, так что Гоголю пришлось поручить Шевыреву затеять тяжбу против типографии.

[^^^]

218

С, 1858, № 2, с. 287–289 (с пропусками); Акад., XII, № 145.

[^^^]

219

РСл, 1859, № 1, с. 134–135; Акад., XIII, № 158.

[^^^]

220

«Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

221

Известия ин-та Безбородко, т. 15, с. 52–55. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

222

Ходили толки, что Гоголь хотел своей книгой заслужить право быть воспитателем великих князей.

[^^^]

223

«Чаромутие, или Священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем, с прибавлением обращенных им же в прямую истоть чаромути и чарной истоти языков русского и других славянских и части латинского». Петргород, 1846.

[^^^]

224

П. В. Анненков и его друзья, т. 1. СПб., 1892, с. 512–514; Акад., XIII, № 177.

[^^^]

225

Подразумевается следующее место из статьи Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским»: «Даже эти судорожные, больные произведения века с примесью всяких неперевари вшихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои».

[^^^]

226

Впервые о творчестве Гоголя Белинский написал в своей программной статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 1835 г. (Т, № 7), а затем неоднократно выступал в печати с самыми высокими оценками творчества Гоголя.

[^^^]

227

Письмо к Белинскому, написанное около 8 (20) июня 1847 г., Белинский ответил на него знаменитым «Письмом к Гоголю» (подробнее см. переписку с Белинским, т. 2, с. 267–269).

[^^^]

228

Вероятно, С. М. Яновского.

[^^^]

229

РСт, 1889, № 1, с. 145–146. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

230

РСл, 1859, № 1, с. 135; Акад., XIV, № 41.

[^^^]

231

Известия ин-та Безбородко, т. 15, с. 55. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

232

РСл, 1859, № 1, с. 136; Акад., XIV, № 155.

[^^^]

233

Гоголь говорит о работе над вторым томом.

[^^^]

234

Так в подлиннике.

[^^^]

235

Известия ин-та Безбородко, т. 15, с. 59–60. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

РА, 1880, № 2, с. 509; Акад., X, № 113.

[^^^]

237

Речь идет об обещании Гоголя, отправлявшегося 15 августа из Павловска в Петербург, заехать в Царское Село к Пушкину за предназначенной для П. А. Плетнева рукописью «Повестей Белкина».

[^^^]

238

Летом 1831 г. в Петербурге была эпидемия холеры.

[^^^]

239

В доме княгини А. В. Васильчиковой в Павловске Гоголь жил летом 1831 г. в качестве домашнего учителя.

[^^^]

240

Неустановленное лицо.

[^^^]

241

С 10 марта 1831 г. Гоголь служил младшим учителем истории в Патриотическом институте.

[^^^]

242

РА, 1880, № 2, с. 509–511; Акад., X, № 114.

[^^^]

243

Рукопись «Повестей Белкина» и письмо от середины августа 1831 г.

[^^^]

244

В типографии департамента народного просвещения печаталась первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (вышла в сентябре 1831 г.). Следующий ниже рассказ о посещении типографии был использован Пушкиным в его отзыве о гоголевском сборнике (Лит. прибавл. к РИн, 1831, № 79, 3 октября).

[^^^]

Гоголевская фраза имеет иронический характер, раскрывающийся в контексте последующих рассуждений об А. А. Орлове. Плодовитый московский литератор А. А. Орлов имел устойчивую репутацию лубочного писателя, поставщика низкосортной литературы. В 1831–1832 гг. главным образом из полемических соображений он выпустил серию «нравственно-сатирических романов» (практически же небольших по объему брошюрок), как бы продолжающих известные романы Фаддея Венедиктовича Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831). Это вызвало негодование Булгарина и его союзника Н. И. Греча, ославивших Орлова как любимца «толкучего рынка, лавочников и деревенских любителей словесности, равных им по просвещению» (СПч, 1831, № 152), а литературным противникам Булгарина дало возможность пародийно сопоставить творчество обоих авторов, таким образом уравнивая их. Впервые это развернуто сделал Н. И. Надеждин (Т, 1831, № 9), а затем А. С. Пушкин, раз-

вивший предложенный Надеждиным принцип иронического сопоставления в памфлете «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», который послужил ответом на предпринятую Гречем (Сын отечества, 1831, № 27) попытку защиты Булгарина. Статья Пушкина вышла из печати в последних числах августа (Т, 1831, № 13; подписана псевдонимом «Феофилакт Косичкин»), однако, как видно, была знакома Гоголю еще до публикации. Далее в письме речь идет о романах Орлова «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» (М., 1831) и «Сокол был бы сокол, да курица съела, или Бежавшая жена» (М., 1831).

[^^^]

246

Имеется в виду Наталья Николаевна Пушкина.

[^^^]

247

БЗ, 1858, № 3, стлб. 75; Пушкин, т. XIV, № 663.

[^^^]

248

Статья Пушкина под псевдонимом «Феофилакт Косичкин» опубликована в «Телескопе» (1831, № 13).

[^^^]

«Остреньким сидельцем» (то есть остроумным, язвительным приказчиком, продавцом) Пушкин называет Н. А. Полевого, который происходил из купеческой семьи и сам занимался торговой деятельностью. Рецензия Полевого появилась в сентябрьской книжке «Московского телеграфа», вышедшей с большим опозданием.

[^^^]

250

РА, 1880, № 2, с. 512–513; Акад., X, № 185.

[^^^]

251

Не сохранилась.

[^^^]

252

Имеется в виду «План преподавания всеобщей истории», написанный Гоголем с целью подкрепления его ходатайства о месте профессора кафедры всеобщей истории Киевского университета. Статья была представлена тогдашнему управляющему министерством народного просвещения С. С. Уварову и после его одобрения напечатана в «Журнале министерства народного просвещения» (1834, № 2); с небольшими изменениями и под новым названием – «О преподавании всеобщей истории» – вошла в сборник Гоголя «Арабески» (ч. 1. СПб., 1835).

[^^^]

253

Гоголь называет речь Уварова о Гете, прочитанную в общем собрании Академии наук 22 марта 1833 г. и изданную затем в том же году на французском и русском языках, а также статьи о русском гекзаметре, напечатанные в 1813–1815 гг. в «Чтениях в Беседе любителей русского слова».

[^^^]

254

Знаменитый французский историк Ф. Гизо был в 1833 г. назначен министром народного просвещения Франции.

[^^^]

Гоголевские планы создания этих грандиозных трудов не были осуществлены. Следами работы писателя над историей Украины стали опубликованные им статьи «Отрывок из Истории Малороссии...» (ЖМНП, 1834, № 4) и «О малороссийских песнях» (там же); позднее они вошли в «Арабески» (первая под измененным названием «Взгляд на составление Малороссии»).

[^^^]

256

Вероятно, подразумеваются натурфилософские статьи Надеждина в «Телескопе».

[^^^]

257

Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. XVIII, 1878, № 3, с. 2; Пушкин, т. XV, № 909.

Записка представляет собой ответ на несохранившееся письмо Гоголя и, вероятно, связана с хлопотами о получении Гоголем кафедры в Киевском университете. Поверх текста записки Гоголь написал письмо к М. А. Максимовичу (от 7 апреля 1834 г.).

[^^^]

258

РА, 1880, № 2, с. 512; Акад., X, № 206.

[^^^]

259

Этим рекомендательным письмом Гоголь думал воспользоваться в своих хлопотах о месте в Киевском университете.

[^^^]

260

БЗ, т. 1, 1858, № 3, стлб. 76; Пушкин, т. XV, № 938.

[^^^]

261

Как видно из писем Гоголя (Акад., X, № 209), С. С. Уваров обещал ему место экстраординарного профессора в Киеве и «деньги на подъем», однако медлил с окончательным решением.

[^^^]

262

Журнал Н. А. Полевого был запрещен 3 апреля 1834 г. в значительной степени вследствие усилий Уварова.

[^^^]

263

Намек на известное в обществе тщеславие Уварова.

[^^^]

264

Состоялся ли визит Пушкина к Уварову, неизвестно.

[^^^]

РС, 1879, № 4, с. 776 (факсимиле); Акад., X, № 207.

[^^^]

266

Назначение Гоголя в Киевский университет не состоялось. В июле 1834 г. он был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории Петербургского университета.

[^^^]

БЗ, т. 1, 1858, № 3, стлб. 75; Пушкин, т. XV, № 1009.

Обоснование датировки см. в кн.: Пушкин. Письма последних лет 1834–1837. Л., 1969, с. 248–249.

[^^^]

268

Речь идет о рукописи «Невского проспекта», просмотренной Пушкиным перед представлением в цензуру.

[^^^]

269

Пушкин говорит о сцене расправы немецких ремесленников над поручиком Пироговым. Как следует из письма, Гоголь опасался придирок цензуры и во избежание столкновения с ней предполагал выпустить этот эпизод. Ввиду того что редакции этой сцены в черновом автографе и печатном тексте отличаются друг от друга, нельзя уверенно сказать, с каким ее вариантом был ознакомлен Пушкин.

[^^^]

270

Имеется в виду заключительный эпизод истории Пирогова: отправившись на вечер, высеченный поручик «так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров» (Акад., III, с. 45)

[^^^]

РА, 1880, № 2, с. 513; Акад., X, № 231.

[^^^]

272

«Записки сумасшедшего» едва не подверг-лись запрещению.

[^^^]

273

Купюры в современных изданиях восстановлены.

[^^^]

274

Включающий «Записки сумасшедшего» сборник «Арабески» вышел около 20 января 1835 г.

[^^^]

275

Были ли внесены Пушкиным поправки в текст предисловия к «Арабескам», неизвестно.

[^^^]

РА, 1880, № 2, с. 513–514; Акад., X, № 233.

[^^^]

277

Выполнил ли Пушкин эту просьбу, неизвестно.

[^^^]

278

РА, 1880, № 2, с. 514; Акад., X, № 262.

[^^^]

279

В сентябре – октябре 1835 г. Пушкин находился в Михайловском, куда и адресовано это письмо. Речь в данном случае идет о первой редакции комедии «Женитьба», переданной Пушкину для прочтения весной 1835 г.

[^^^]

280

От намерения поставить «Женитьбу» Гоголь вскоре отказался.

[^^^]

281

Это первое упоминание Гоголя о работе над «Мертвыми душами».

[^^^]

«Передача» Гоголю «сюжета» будущего «Ревизора» произошла, видимо, вскоре после возвращения Пушкина в Петербург 23 октября: в ноябре 1835 г. Гоголь уже активно работает над комедией.

[^^^]

283

Сборник «Миргород» вышел в свет в марте 1835 г.

[^^^]

284

РА, 1880, № 2, с. 514–515; Акад., XI, № 6.

Письмо связано с комплектованием первого тома пушкинского журнала «Современник», в котором и были напечатаны упоминаемые произведения Гоголя – сцена «Утро чиновника» (под измененным названием «Утро делового человека»), повесть «Коляска» и статья «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году».

[^^^]

285

РА, 1871, № 4–5, с. 946–948; Акад., X, № 116.

[^^^]

286

С 1-м томом «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

[^^^]

А. О. Смирновой-Россет.

[^^^]

288

Карантины были организованы в связи с эпидемией холеры.

[^^^]

289

Описка Гоголя: встреча состоялась 8 сентября. Гоголь вернулся из Павловска только в середине августа (см.: Шубин Вл., «Квартира моя… в доме Брунста». – Нева, 1982, № 12, с. 193).

[^^^]

290

Цитата из «Евгения Онегина» (гл. шестая, строфа XXXII).

[^^^]

291

1 сентября Жуковский кончил «Сказку о царе Берендее...», а 26 августа начал «Спящую царевну». 29 августа 1831 г. Пушкин окончил «Сказку о царе Салтане...».

[^^^]

292

РА, 1871, № 4–5, с. 948–949; Акад., X, № 254.

[^^^]

293

Летом 1835 г. Гоголь работал над «Альфредом»; тогда же, вероятно, обдумывал и замыслил «Мертвых душ».

[^^^]

294

25 июня 1835 г. начальница Патриотического института Л. К. Вистингаузен сделала Н. М. Лонгинову представление об увольнении Гоголя и назначении на его место учителя Соколовского, мотивируя свою просьбу тем, что Гоголь, «будучи одержим болезнию, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставить институт в затруднение» (РС, 1887, № 12, с. 755). Гоголь в институте был оставлен.

[^^^]

295

Императрица Александра Федоровна благоволила к Жуковскому, который обучал ее русскому языку.

[^^^]

РА, 1871, № 4–5, с. 949–952; Акад., XI, № 19.

[^^^]

297

По субботам у Жуковского собирались поэты, писатели, музыканты.

[^^^]

298

Письмо написано после постановки «Ревизора», вызвавшей у Гоголя чувство глубокого неудовлетворения.

[^^^]

299

Видимо, на этот раз хлопоты Жуковского не увенчались успехом.

[^^^]

300

Смирдин взял для продажи экземпляры первого издания «Ревизора».

[^^^]

301

В 1836 г. между Пушкиным и Гоголем могли возникнуть расхождения на почве журнальных отношений в связи с участием Гоголя в пушкинском «Современнике». По мнению Г. М. Фридлендера, более вероятно, что Гоголь был обижен на Пушкина за недостаток внимания к себе после постановки «Ревизора» (см. в кн.: Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1986, с. 134).

[^^^]

302

Этого обещания Гоголь не выполнил.

[^^^]

303

РА, 1871, № 4–5, с. 953–957; Акад., XI, № 32.

[^^^]

304

Работой над «Мертвыми душами».

[^^^]

305

То есть Байрона и Жуковского (в 1822 г. Жуковский перевел поэму Байрона «Шильонский узник»).

[^^^]

306

В пансионе Блашне в Шильоне, где Жуковский жил в 1832–1833 гг.

[^^^]

307

Так Гоголь называл А. С. Данилевского.

[^^^]

308

Согласно библейской мифологии, огромное морское чудовище; в переносном смысле – нечто огромное.

[^^^]

309

Это выражение почти буквально повторяется в самой ранней из известных нам редакций «Мертвых душ» (гл. VIII).

[^^^]

310

РА, 1871, № 4–5, с. 0932–0935; Акад., XI, № 44.

[^^^]

311

О том, что сюжет «Мертвых душ» был подарен ему Пушкиным, Гоголь подробно рассказывает в «Авторской исповеди» (1847).

[^^^]

Вероятно, еще до представления «Ревизора» в цензуру В. А. Жуковскому и М. Ю. Вьельгорскому удалось убедить Николая I в безобидности комедии (Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 311). По воспоминаниям современника, на первом представлении император «хлопал и много смеялся» (Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах, т. 1. 1955, с. 182).

[^^^]

313

Письмо нам неизвестно.

[^^^]

314

Благодаря хлопотам Жуковского Гоголь получил от Николая I пособие в 5000 руб.

[^^^]

315

Гоголь говорит о смерти Пушкина.

[^^^]

316

РА, 1871, № 4–5, с. 957–959; Акад., XI, № 53.

[^^^]

317

Благодаря хлопотам Жуковского Гоголь получил от Николая I пособие в 5000 руб.

[^^^]

РА, 1871, № 4–5, с. 959–960 и 0929–0932; Акад., XI, № 97.

[^^^]

319

Жуковский пробыл в Риме с середины декабря 1838 г. по 17 февраля 1839 г.

[^^^]

320

Оборванца, уличного мальчишки (от и т. birbaccione).

[^^^]

наполовину (ит.).

[^^^]

322

Театр Марцелла, остатки древнеримского амфитеатра в Риме.

[^^^]

323

РА, 1871, № 4–5, с. 0937–0941; Акад., XI, № 145.

[^^^]

324

В конце 1839 г. Гоголь жил у Жуковского в Петербурге.

[^^^]

325

Гоголь через Жуковского вел переговоры со Смирдиным об издании своих сочинений. Вскоре после этого Гоголь получил ряд более выгодных предложений от других издателей.

[^^^]

326

Гоголь несколько преувеличил стесненные материальные обстоятельства М. И. Гоголь.

[^^^]

327

Сестры Гоголя, окончившие Патриотический институт в конце 1839 г., не ладили между собой. Поэтому Гоголь решил отправить старшую, Анну, в деревню к матери, а младшую, Лизу, пристроил в Москве у знакомых (в дом П. И. Раевской). Все это доставило ему много хлопот.

[^^^]

328

«Владимир третьей степени».

[^^^]

329

Первоначальное название комедии «Женитьба».

[^^^]

330

Не исключено, что сообщение о пропаже рукописей было уловкой Гоголя, не желавшего принимать предложение Смирдина.

[^^^]

331

На отказе от сделки со Смирдиным настоял С. Т. Аксаков, 4 января 1840 г. получивший от И. И. Панаева письмо, в котором Панаев «от имени Одоевского, Плетнева, Враского, Краевского и от себя» умолял, «чтобы Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину» (Аксаков, с. 35).

[^^^]

332

Жуковский сам дал Гоголю взаймы эту сумму.

[^^^]

333

Сочинения и письма, т. 5, с. 470–471 (с пропусками); Акад., XI, № 158.

[^^^]

334

Это желание Гоголя не осуществилось.

[^^^]

335

РА, 1871, № 4–5, с. 0944–0945; Акад., XI, № 198.

[^^^]

336

Вероятно, это письмо связано с хлопотами А. Т. Маркова о получении профессуры (с 1842 г. он занял место профессора по кафедре исторической живописи в Петербургской Академии художеств).

[^^^]

337

РА, 1871, № 4–5, с. 0943–0944; Акад., XI, № 206.

[^^^]

338

Имеется в виду «Явление Христа народу».

[^^^]

339

«Триумф религии и искусства», картина, законченная Овербеком в 1840 г.

[^^^]

340

Сочинения и письма, т. 5, с. 478–481; Акад., XII № 66.

[^^^]

341

Гоголь выехал из Петербурга 5 июня 1842 г.

[^^^]

342

В сентябре 1841 г. во Франкфурте.

[^^^]

343

Первый том вышел в свет в мае 1842 г.

[^^^]

344

В Риме, где Жуковский жил с декабря 1838 г. по февраль 1839 г. (или во время встреч в Петербурге в ноябре – декабре 1839 г.), и во Франкфурте в августе 1841 г.

[^^^]

345

Этой просьбы Жуковский, по-видимому, не выполнил.

[^^^]

346

Встреча в Риме не состоялась.

[^^^]

В № 3 за 1842 г.

[^^^]

348

Сочинения и письма, т. 5, с. 497–498 (не полностью); Акад., XII, № 89.

[^^^]

349

Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891, с. 15. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

А. В. Жуковская.

[^^^]

351

Сочинения и письма, т. 6, с. 8–9 (не полностью); Акад., XII, № 112.

[^^^]

352

Жуковский работал над переводом «Одиссеи» Гомера с 1842 по 1849 г.

[^^^]

353

Сочинения и письма, т. 6, с.10–11; Акад., XII, № 122.

[^^^]

354

А. О. Смирнова.

[^^^]

355

РС, 1902, № 4, с. 187. Печатается по изданию: Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М. – Л., 1960, с. 527–528.

[^^^]

356

Осень 1843 г. Гоголь прожил в Дюссельдорфе вместе с Жуковским.

[^^^]

357

Имеется в виду «Одиссея».

[^^^]

358

Сочинения и письма, т. 6, с. 37–38; Акад., XII, № 152.

[^^^]

С. М. и В. А. Соллогуб.

[^^^]

Л. К., М. М. и А. М. Вьельгорские.

[^^^]

361

Отчет... за 1887 г., с. 33 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

Л. К. Вьельгорская.

[^^^]

363

«Христианское чтение» – ежемесячное периодическое издание, выходившее с 1821 г. при Петербургской духовной академии.

[^^^]

364

Сочинения и письма, т. 6, с. 90–91 (с пропусками); Акад., XII, № 202.

[^^^]

365

Отчет... за 1887 г., с. 39–41 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

366

Письмо от 31 августа (12 сентября) 1845 г. (Акад., XII, № 287).

[^^^]

367

Письмо от 30 августа (11 сентября) 1845 г. (Акад., XII, № 284).

[^^^]

Сына.

[^^^]

369

Уединением (от фр. ermitage).

[^^^]

Александрой Федоровной, ездившей за границу для лечения.

[^^^]

371

Жуковский В. А. Сочинения, т. 6, СПб., 1878, с. 611 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

372

Письмо Гоголя от 16 (28 октября) 1845 г. (Акад., XII, № 300).

[^^^]

373

Николай I разрешил Жуковскому пребывание за границей до 1 мая 1846 г., но болезнь не позволила ему вернуться в Россию.

[^^^]

374

Дочь Жуковского.

[^^^]

375

«Бык», «Бычок» – прозвище, которое дала Жуковскому А. О. Смирнова.

[^^^]

376

Сочинения и письма, т. 6, с. 226–227 (с пропусками); Акад., XII, № 310.

[^^^]

377

Гоголь имеет в виду традиционную метафору земной жизни как странствия.

[^^^]

378

Свет – традиционная метафора бога.

[^^^]

379

Фердинанда II (1810–1859), короля Обеих Сицилии.

[^^^]

Григорий XVI (1765–1846).

[^^^]

381

Свидание состоялось 13 декабря 1845 г. в Риме. Григорий XVI и Николай I пришли к соглашению, значительно расширявшему власть папы над католическим духовенством в России.

[^^^]

382

В 1845–1846 гг. И. П. Быстров, библиограф и библиотекарь Публичной библиотеки, печатал в «Северной пчеле» «Отрывки из записок моих об И. А. Крылове». Перевод из «Одиссеи» был напечатан в № 203 за 1845 г.

[^^^]

383

С. М. Соллогуб и ее сестра, А. М. Вьельгорская.

[^^^]

384

Письмо от 15 (27) октября 1845 г. (Акад., XII, № 299).

[^^^]

385

Отчет... за 1887 г., с. 41–43 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

386

Письмо неизвестно.

[^^^]

1845–1846 г. – время обострения экономического кризиса и политического возбуждения в Германии.

[^^^]

Ал. И. Тургенев.

[^^^]

А. И. Нефедьевой.

[^^^]

390

Свидетельство требовалось для выдачи Гоголю денежного пособия, назначенного ему в марте 1845 г. из сумм государственного казначейства (по три тысячи рублей серебром в год в течение трех лет).

[^^^]

391

Сочинения и письма, т. 6, с. 240–242 (с пропусками); Акад., XIII, № 12.

[^^^]

392

Письмо Жуковского от 9 (21) февраля 1846 г. (см. Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах., т. 4. М. – Л., 1960, с. 537–538).

[^^^]

393

Имеется в виду работа над вторым томом.

[^^^]

394

Отчет... за 1887 г., с. 43–44 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

395

Вероятно, это «Зимняя дорога» И. С. Аксакова (1845. Опубликовано в 1847 г.).

[^^^]

396

Сочинения и письма, т. 6, с. 292–294 (с пропуском); Акад., XIII, № 79.

[^^^]

Пия IX, преемника умершего 1 июня 1846 г. Григория XVI. После периода крайне консервативной политики Григория XVI вступление на престол Пия IX было встречено надеждами (впоследствии неоправдавшимися) на обновление папства, на то, что Пий IX встанет во главе национальных стремлений к самостоятельности и объединению Италии.

[^^^]

398

Д. Н. Блудов приезжал в Рим для ведения переговоров с римской курией.

[^^^]

399

«Выбранные места из переписки с друзьями» вышли в свет 31 декабря 1846 г. (12 января 1847 г.).

[^^^]

400

Сочинения и письма, т. 6, с. 335 (с пропусками); Акад., XIII, № 107.

[^^^]

401

Н. М. Языков скончался 26 декабря 1846 г. (7 января 1847 г.)

[^^^]

402

30 декабря 1846 г. (см. т. 2, с. 336).

[^^^]

403

Отчет... за 1887 г., с. 46–48 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

404

Письмо Гоголя от 12 (24) ноября 1846 г.

[^^^]

405

М. М. Вьельгорский.

[^^^]

406

О «Выбранных местах из переписки с друзьями».

[^^^]

407

Сочинения и письма, т. 6, с. 336 (с пропусками); Акад., XIII, № 113.

[^^^]

408

Не были пропущены статьи: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России», «Занимающему важное место», и были сделаны купюры в других статьях.

[^^^]

409

В июле 1846 г. Гоголь поручил П. А. Плетневу печатание «Выбранных мест».

[^^^]

410

Письмо, написанное около 4 (16) января 1847 г. (см.: Акад., XIII, с. 424–425), Николаю I передано не было.

[^^^]

411

М, 1853, № 2, с. 92–93 (с пропусками). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

Жуковский имеет в виду свою женитьбу, состоявшуюся в мае 1841 г.

[^^^]

413

М, 1853, № 2, с. 105 (с пропусками). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

414

«Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

415

«О лиризме наших поэтов» и «Просвещение».

[^^^]

416

Имеется в виду глава «О том, что такое слово».

[^^^]

417

Этот план был осуществлен лишь отчасти. В конце 1847 – начале 1848 г. Жуковский написал в форме писем к Гоголю статьи «О смерти», «О молитве», «О поэте и современном его значении».

[^^^]

418

Сестра и брат жены Жуковского.

[^^^]

419

Отчет... за 1887 г., с. 55–57 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

420

Намек на «Выбранные места...» (статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», а также «Женщина в свете», «О помощи бедным»).

[^^^]

421

РС, 1895, № 9, с. 213–215; Акад., XIII, № 123.

[^^^]

422

Жены Жуковского.

[^^^]

423

Письмо от 11 января 1847 г. (РС, 1890, № 8, с. 282–284).

[^^^]

424

Подарок Жуковского в день отъезда Гоголя из Франкфурта 8 (20) октября 1846 г.

[^^^]

М, 1853, № 2, с. 93–94 (не полностью). Печатается по автографу (ГПБ). Позднее это письмо было переработано в статью под названием «О смерти». Впервые – в кн.: Жуковский В. А. Сочинения, т. II. СПб., 1857, с. 123–127.

[^^^]

426

Траурное объявление о смерти Мии Рейтерн.

[^^^]

Е. Р. Рейтерн и Е. А. Жуковская.

[^^^]

428

Поэма «Рустем и Зораб» – свободное переложение перевода Ф. Рюккерта «Roostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zwölf Büchern». Erlangen, 1838 («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах»), который, в свою очередь, является переложением одного эпизода поэмы Фирдоуси (ок. 940–1020 или 1030) «Шах-наме».

[^^^]

429

Сочинения и письма, т. 6, с. 350–351; Акад., XIII, № 129.

[^^^]

430

Видимо, Гоголь основывался на не вполне достоверной информации: книга расходилась медленно.

[^^^]

431

Сочинения и письма, т. 6, с. 369–370 (с пропусками); Акад., XIII, № 150.

[^^^]

432

Письмо к П. Я. Убри (Акад., XIII, № 131).

[^^^]

433

Письмо к Жуковскому от 28 февраля (12 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 134).

[^^^]

434

К письму была приложена выписка, озаглавленная «О божественной плоти Иисуса Христа и о нашей (из Тертуллиана)».

[^^^]

435

РВ, 1888, № 11, с. 64–69; Акад., XIV, № 1.

[^^^]

436

По содержанию это письмо примыкает к «Авторской исповеди».

[^^^]

437

Имеется в виду Христос.

[^^^]

Вторым томом.

[^^^]

439

Издатель Амброзио Фирмин Дидо. Париж (лат.).

[^^^]

440

Отчет... за 1887 г., с. 63–64 (приложения). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

441

В июле 1847 г.

[^^^]

442

Прежнее письмо – от 20 февраля (4 марта) 1847 г.

[^^^]

443

Этот план был осуществлен лишь отчасти. В конце 1847 – начале 1848 г. Жуковский написал в форме писем к Гоголю статьи «О смерти», «О молитве», «О поэте и современном его значении».

[^^^]

444

Эти произведения составили три тома «Новых стихотворений В. Жуковского» (СПб., придворная типография В. Гаспера в Карлсруэ, 1849).

[^^^]

445

Издание вышло в 1849 г. в девяти томах.

[^^^]

446

Сочинения и письма, т. 6, с. 455–456 (с пропусками); Акад., XIV, № 19.

[^^^]

447

Письмо из Неаполя – от 29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.), письмо из Иерусалима – от 16 (28) февраля 1848 г. (Акад., XIV, № 11).

[^^^]

448

М, 1853, № 2, с. 136 (с пропусками). Печатается по автографу (ГПБ).

[^^^]

449

Письмо от 16 (28) февраля 1848 г. (Акад., XIV, № 11).

[^^^]

450

В феврале – марте 1848 г. в Неаполитанском королевстве начались революционные выступления.

[^^^]

451

То есть в Трою.

[^^^]

452

Имеются в виду февральская революция 1848 г. во Франции и революция в Германии, начавшаяся в марте 1848 г.

[^^^]

453

Письмо от 29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.).

[^^^]

454

«О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю» (М, 1848, № 4, с. 11–26).

[^^^]

455

Сочинения и письма, т. 6, с. 467–468 (с пропуском); Акад., XIV, № 37.

[^^^]

456

Письмо от 7 (19) апреля 1848 г., посланное не из Франкфурта, а из Ганау.

[^^^]

457

Сочинения и письма, т. 6, с. 482–483 (с пропусками); Акад., XIV, № 85.

[^^^]

458

Речь идет о первом томе «Одиссеи» Гомера в переводе Жуковского, вышедшем в свет осенью 1848 г. (на титульном листе обозначено – 1849 г.).

[^^^]

459

БЗ, 1859, с. 102–103; Акад., XIV, № 126.

[^^^]

Целиком «Одиссея» была напечатана в 1849 г. в VIII и IX томах пятого издания «Стихотворений В. Жуковского» и во II и III томах «Новых стихотворений В. Жуковского».

[^^^]

461

Речь идет о работе над вторым томом «Мертвых душ».

[^^^]

462

Сочинения и письма, т. 6, с. 496–497 (с пропусками); Акад., XIV, № 130.

[^^^]

463

М, 1853, № 2, с. 139–140 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

464

Имеются в виду «Стихотворения В. Жуковского», напечатанные в одну восьмую долю листа (СПб., 1849).

[^^^]

465

В апреле или начале мая 1849 г. Жуковский, напуганный революционными событиями, вспыхнувшими в земле Баден 11 мая 1849 г., выехал из Баден-Бадена в Страсбург, а затем в Швейцарию.

[^^^]

«Одиссею».

[^^^]

Имеется в виду замысел эпической поэмы на тему о Вечном жиде – Агасфере. В 1851 г. Жуковский завершил «Введение» и первую часть поэмы. Работа над второй частью была прервана его смертью.

[^^^]

468

Сочинения и письма, т. 6, с. 477–481 (с пропусками); Акад., XIV, № 148.

[^^^]

469

Землей молока и меда в Библии называлась Палестина.

[^^^]

470

В этой фразе Гоголь перечисляет ключевые моменты евангельской истории.

[^^^]

То есть Христа.

[^^^]

472

В Назарете, по евангельскому преданию, родился Христос.

[^^^]

473

Шевырев написал рецензию только на перевод I части «Одиссеи» (М, 1849, № 1–3, отд. IV, с. 41–48, 49–53, 91–117).

[^^^]

474

В третьей книге альманаха «Киевлянин» (Киев, 1850), в связи с подготовкой которой Максимович обращался с просьбой к Жуковскому, стихов Жуковского нет.

[^^^]

475

Сочинения и письма, т. 6, с. 498–499 (с пропуском); Акад., XIV, № 204.

[^^^]

476

М, 1853, № 2, с. 140–141 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

477

25-летие со дня коронации Николая I.

[^^^]

478

Первые опыты перевода «Илиады» Жуковский предпринял в конце 1820-х годов. В 1849 г., закончив перевод «Одиссеи», Жуковский приступил к «Илиаде», но смерть помешала ему осуществить этот замысел.

[^^^]

479

«Каталог кораблей» дан во второй половине второй песни «Илиады».

[^^^]

480

Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. I, с. 263–264; Акад., X, № 147.

[^^^]

481

Письмо не сохранилось.

[^^^]

482

Сообщение о болезни сестер Гоголя корью содержится также в письме М. И. Гоголь к П. П. Косяровскому от 12 января 1830 г. (ИРЛИ).

[^^^]

483

Сочинения и письма, т. 5, с. 286–287 (с пропусками); Акад., XI, № 39.

[^^^]

484

Известие о смерти Пушкина.

[^^^]

485

В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь писал: «<...> Пушкин <...> отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которую, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ» (Акад., VIII, 440).

[^^^]

486

РА, 1866, № 5, с. 766–769; Акад., XII, № 2.

[^^^]

487

Гоголю нужно было хлопотать о проведении через цензуру рукописи «Мертвых душ», запрещенной московской цензурой.

[^^^]

488

Описываемое далее заседание Московского цензурного комитета состоялось 12 декабря 1841 г.

[^^^]

Запрещенная Московским цензурным комитетом, рукопись «Мертвых душ» была послана Гоголем через Белинского в Петербург, где вопрос о публикации разрешился благоприятно. 9 марта 1842 г. цензор А. В. Никитенко сделал разрешительную надпись, однако, кроме отдельных искажений текста, из него была полностью изъята «Повесть о капитане Копейкине». Настаивая на ее публикации, Гоголь переделал «Повесть...» и 10 апреля 1842 г. послал Никитенко ее новый вариант (см.: Акад., XII, № 39). 7 мая разрешенная редакция повести была отправлена Гоголю.

[^^^]

Передать рукопись В. Ф. Одоевскому взял на себя В. Г. Белинский, привезший ее из Москвы в Петербург и хлопотавший о проведении ее через петербургскую цензуру.

[^^^]

491

Опыт, с. 134–136; Акад., XII, № 27.

[^^^]

492

Рукопись была получена Гоголем 5 апреля. 9 апреля 1842 г. он сообщил Прокоповичу, что «задержка произошла не на почте, а от Цензурного комитета» (Акад., XII, № 37).

[^^^]

493

В 1833 г. Новая редакция «Портрета» была напечатана в № 3 «Современника» за 1842 г.

[^^^]

Гоголь имеет в виду замечания В. Г. Белинского, сделанные в его статьях «И мое мнение об игре г. Каратыгина» и «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835).

[^^^]

495

Гоголь говорит о «Мертвых душах».

[^^^]

Плетнев опубликовал «Портрет» в соответствии с пожеланием Гоголя.

[^^^]

497

«Рим», напечатанный в № 3 «Москвитянина» за 1842 г.

[^^^]

498

Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. I, с. 269–270; Акад., XII, № 38.

[^^^]

499

О запрещении цензурой «Повести о капитане Копейкине» Гоголь узнал только 5 апреля, по получении рукописи.

[^^^]

500

Переделка была завершена к 10 апреля.

[^^^]

501

См. это письмо от 1 апреля 1842 г. в кн.: Гоголь в письмах, с. 225–226.

[^^^]

502

Письмо Гоголя к А. В. Никитенко от 10 апреля 1842 г. содержит ряд текстуальных совпадений с настоящим письмом (Акад., XII, № 39). Переделанный вариант «Повести о капитане Копейкине» был разрешен Никитенко, о чем Гоголь узнал между 11 и 15 мая.

[^^^]

503

Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. 1, с. 270–272; Акад., XII, № 217.

[^^^]

504

Речь идет о делах по изданию собрания сочинений Гоголя. Подробнее об этом см. в преамбулек переписке Гоголя с Прокоповичем (с. 91).

[^^^]

505

Кроме самого Плетнева, Гоголь подразумевает здесь А. О. Смирнову (см. письмо к ней от 12 (24) октября 1844 г.). В 1844 г. у Гоголя возникли также размолвки и с его московскими друзьями (см.: Барсуков, кн. 7, с. 149–155).

[^^^]

506

В том же письме к Смирновой Гоголь высказывал предположение, что упреки Плетнева связаны с делами по изданию собрания сочинений.

[^^^]

507

Данное письмо Гоголь послал Плетневу через Смирнову вместе с письмом к ней от 12 (24) октября 1844 г.

[^^^]

508

РВ, 1890, № 11, с. 34–38. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

509

Все перечисленные здесь люди начинали свою деятельность в Москве, а затем перебрались в Петербург. Вполне возможно, что выражение «московская в Петербурге сволочь» означает: «москвичи, съехавшиеся в Петербург» (одно из значений слова «сволочь» у В. Даля: «все, что сволочено или сволоклось в одно место»). Из тех, кто здесь назван, однозначно и последовательно негативным отношение Плетнева было лишь к Полевому и Краевскому.

[^^^]

510

Из Евангелия от Марка, гл. 10, стих 7–8; от Матфея, гл. 19, стих 5.

[^^^]

511

Московские славянофилы (Погодин, Шевырев; Аксаковы).

[^^^]

512

Об отношениях Гоголя и Н. Я. Прокоповича см. в преамбуле к их переписке, с. 90–91.

[^^^]

513

РС, 1875, № 10, с. 313–322; Акад., XII, № 231.

[^^^]

514

Гоголь познакомился с Н. М. Языковым в июне 1839 г., через месяц после смерти И. М. Вьельгорского, в котором Гоголь принимал близкое сердечное участие.

[^^^]

515

Слова из Евангелия от Луки, гл. 4, стих 23.

[^^^]

«Подражании Христу». Мы думаем иногда угодить другим, вступая с ними в отношения, а между тем начинаем становиться противными им вследствие того беспорядка нравов, который они открывают в нас (фр.).

Гоголь цитирует книгу Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (не позже 1427 г.) во французском переводе (кн. 1, гл. VIII).

[^^^]

517

Гоголь имеет в виду Н. Я. Прокоповича, с одной стороны, и С. П. Шевырева и С. Т. Аксакова – с другой (см. преамбулу к переписке с Прокоповичем).

[^^^]

518

Гоголь обращается к Плетневу как к ректору Петербургского университета.

[^^^]

Плетнев и Шевырев категорически возражали против этого решения Гоголя, указывая на то, что, во-первых, он сам нуждается в средствах, а во-вторых, не вправе лишать средств мать и сестер. Однако Гоголь настоял на своем. По воспоминаниям Г. П. Данилевского, Плетнев не очень строго соблюдал просьбу Гоголя о тайне (см.: Письма, т. 2, с. 532).

[^^^]

520

Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. I, с. 277. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

521

Свидетельство требовалось для выдачи Гоголю денежного пособия, назначенного ему в марте 1845 г. из сумм государственного казначейства (по три тысячи рублей серебром в год в течение трех лет).

[^^^]

522

Е. Е. Бернардский хотел издать «Мертвые души» с гравированными им иллюстрациями Александра Алексеевича Агина (1817–1875). В письме к Плетневу от 8 (20) марта 1846 г. Гоголь ответил на это предложение отказом (Акад., XIII, № 13). Рисунки были изданы, но не все и без текста (Сто рисунков к сочинению «Мертвые души», рис. на дереве А. Агин, грав. Е. Бернардский. СПб., 1846). Полностью они были изданы только в 1892 г.

[^^^]

523

Известия ОРЯС, 1900, т. 5, кн. 1, с. 278–279. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

524

Жуковский в Россию не приезжал.

[^^^]

525

Имя Достоевского впервые прозвучало в литературных кругах в 1845 г., когда была завершена работа над «Бедными людьми» (опубл. в «Петербургском сборнике» Н. А. Некрасова в 1846 г.) – произведением, восторженно встреченным Григоровичем, Некрасовым, Белинским. В № 3 «Отечественных записок» за 1846 г. (издаваемых Краевским) Белинский дал большой разбор «Бедных людей», в котором указал на то, что Достоевский является преемником Гоголя.

[^^^]

526

В письме к Я. К. Гроту от 9 февраля 1846 г. Плетнев более благосклонно отзывался о Достоевском, подчеркивая при этом, что он «гоняется за Гоголем» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II. СПб., 1896, с. 671).

[^^^]

527

Кулиш, т. 2, с. 62–63 (с пропусками); Акад., XIII, № 40.

[^^^]

528

А. В. Никитенко по прочтении рукописи первого тома «Мертвых душ» выразил Гоголю свой восторг по поводу его произведения (в письме от 1 апреля 1842 г. – см.: Гоголь в письмах, с. 225–226).

[^^^]

529

Ожидания Гоголя не сбылись.

[^^^]

530

РВ, 1890, № 11, с. 38–39. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

531

Акад., XIII, № 46.

[^^^]

532

«Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

533

В статье «О том, что такое слово» выразилось раздражение Гоголя против Погодина.

[^^^]

534

Статья «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве».

[^^^]

535

Речь идет о зависимости «Отечественных записок» от цензуры.

[^^^]

536

РВ, 1890, № 11, с. 39. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

537

Речь идет о рукописи «Выбранных мест...».

[^^^]

538

В это время готовилось пятое издание «Стихотворений В. Жуковского» (т. 1–9 вышли в 1849 г., т. 10–13 – в 1857 г.).

[^^^]

539

РВ, 1890, № 11, с. 39–41. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

540

Акад., XIII, № 59, 61, 66.

[^^^]

541

Речь идет о рукописи «Выбранных мест...».

[^^^]

542

В письме от 4 (16) октября 1846 г. Гоголь писал Плетневу: «Если же Никитенко будет затрудняться или одолеется робостью, то мое мненье – печатать книгу и в корректурных листах поднести всю на прочтенье государю. Дело мое – правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена» (Акад., XIII, № 59).

[^^^]

543

В письме от 21 октября (2 ноября) 1846 г., давая Плетневу указания о рассылке экземпляров «Выбранных мест...», Гоголь писал: «Об отправке безостановочной и поспешной за границу попроси от меня покрепче графиню Нессельрод» (Акад., XIII, № 66).

[^^^]

544

Для выплаты денежного пособия.

[^^^]

545

В 1846 г. Гоголь хотел выпустить в Москве и Петербурге в пользу бедных два издания «Ревизора» с «Развязкой», написанной в том же году. Уступая настояниям друзей (С. Т. Аксакова, С. П. Шевырева), Гоголь отложил издание «Развязки «Ревизора» и ее постановку до выхода в свет «Выбранных мест...». «Развязка» была опубликована лишь в 1856 г., после смерти Гоголя.

[^^^]

546

С. П. Шевырев должен был издать «Ревизора» с «Развязкой» в Москве.

[^^^]

547

21 октября (2 ноября) 1846 г. Гоголь писал Плетневу: «От графини Анны Михаловны Вьельгорской ты получишь «Предуведомленье к Ревизору», из которого узнаешь, каким бедным, собственно, принадлежат деньги за «Ревизора» и каким образом должна быть им произведена раздача. Предуведомленье это, в двух экземплярах, поднеси на процензурование цензора и отправь одно в Москву для напечатанья к Шевыреву...» (Акад., XIII, № 66).

[^^^]

548

Кулиш, т. 2, с. 73–74 (с пропусками); Акад., XIII, № 86.

[^^^]

549

8 декабря Гоголь еще не получил письма Плетнева от 21 ноября 1846 г., где сообщалось, что «Развязка «Ревизора» не пропущена к представлению.

[^^^]

550

В письме от 29 октября 1846 г. С. П. Шевырев отговаривал Гоголя от постановки «Ревизора» с «Развязкой» (см. т. 2, с. 330).

[^^^]

551

Эту новость Гоголь узнал не от Шевырева, а из письма Н. М. Языкова от 27 октября 1846 г. Языков изложил дело не точно: 23 октября 1846 г. «Современник» был арендован у Плетнева Некрасовым и Панаевым. Никитенко был из тактических соображений приглашен в качестве официального редактора. Белинский и Тургенев перешли из «Отечественных записок» в преобразованный «Современник» в качестве сотрудников, а не издателей.

[^^^]

552

Статья «О «Современнике» была послана Плетневу в письме от 22 ноября (4 декабря) 1846 г. и предназначалась для первого тома «Современника» за 1847 г. При жизни Гоголя напечатана не была.

[^^^]

553

По смерти Дельвига, издававшего «Северные цветы», последний альманах («Северные цветы на 1832 год») был выпущен Пушкиным в пользу семьи Дельвига и в память о нем, подобно тому, как впоследствии «Современник» издавался Плетневым в память о Пушкине.

[^^^]

554

Кулиш, т. 2, с. 75–78 (с пропусками); Акад., XIII, № 90.

[^^^]

555

«Выбранные места...», которые вышли в свет только 12 января 1847 г.

[^^^]

556

В 1846 г. С. П. Шевырев занимался делами по второму изданию первого тома «Мертвых душ».

[^^^]

557

Письмо от 26 ноября (8 декабря) 1846 г.

[^^^]

558

РВ, 1890, № 11, с. 42–47. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

559

«Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

То есть цензорских сокращений.

[^^^]

561

Имеется в виду «Полное собрание сочинений И. А. Крылова с биографией его, написанной П. А. Плетневым», т. I–II. СПб., 1847.

[^^^]

562

«Басни И. А. Крылова. С биографиею, написанною П. А. Плетневым». СПб., 1847.

[^^^]

563

По смерти Дельвига, издававшего «Северные цветы», последний альманах («Северные цветы на 1832 год») был выпущен Пушкиным в пользу семьи Дельвига и в память о нем, подобно тому, как впоследствии «Современник» издавался Плетневым в память о Пушкине.

[^^^]

564

Речь идет о статье Гоголя «О «Современнике».

[^^^]

565

Упреки Плетнева могут касаться Вяземского и Жуковского.

[^^^]

Плетнев следовал принципу Карамзина, считавшего недостойным вступать в печатную полемику со своими литературными противниками, и лишь в 1846 г. поместил в «Современнике» ряд полемических выпадов против Булгарина, Греча, Краевского, Сенковского, Н. Кукольника и издателя журнала «Финский вестник» Дершау.

[^^^]

567

РВ, 1890, № 11, с. 48–51. Печатается по автографу (ИРЛИ).

Ответ на письмо Гоголя от 24 декабря 1846 г. (5 января 1847 г.) (Акад., XIII, № 94).

[^^^]

«Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песен» (издана в Москве в 1846 г.).

[^^^]

О Карамзине Плетнев не написал, не встретив поддержки в семье писателя. О Жуковском в 1852 г. были написаны статьи «Василий Андреевич Жуковский» и «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского».

[^^^]

570

В письме к Плетневу от 24 декабря 1846 г. (5 января 1847 г.) Гоголь продолжал настаивать на том, что «государь должен видеть все письма, не пропущенные цензурою» (Акад., XIII, с. 166).

[^^^]

571

Кулиш, т. 2, с. 85–87 (с пропусками); Акад., XIII, № 111.

[^^^]

572

Письмо от 1 января 1847 г.

[^^^]

573

Не были пропущены статьи: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России», «Занимающему важное место», и были сделаны купюры в других статьях.

[^^^]

574

См. об этом в преамбуле к переписке Гоголя с Вьельгорскими, т. 2, с. 201.

[^^^]

575

М. Ю. Вьельгорский представил Николаю I письмо Гоголя (Акад., XIII, с. 423–424) с просьбой о выдаче ему заграничного паспорта для путешествия по Востоку.

[^^^]

576

Письмо С. П. Шевырева к Гоголю от 30 декабря 1846 г. (т. 2, с. 336).

[^^^]

577

При жизни Гоголя это издание не было предпринято.

[^^^]

578

РВ, 1890, № 11, с. 51–53. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

579

30 января (11 февраля) 1847 г. Гоголь писал Плетневу о втором издании «Выбранных мест...»: «...книге следует быть выпущенной к Светлому воскресенью, ибо после этого времени, как сам знаешь, все книжное останавливается» (Акад., XIII, № 115).

[^^^]

580

В письме от 3 (15) января 1847 г. Гоголь вновь просил Плетнева совместно с М. Ю. Вьельгорским и П. А. Вяземским решить вопрос о представлении полного текста «Выбранных мест...» Николаю I и об исправлении тех мест, которые они сочтут нужным смягчить.

[^^^]

581

См.: Акад., XIII, № 96, 115, 130.

[^^^]

Гоголь хотел познакомить Плетнева с В. В. Апраксиным, племянником А. П. Толстого, послав письмо к Плетневу от 3 (15) января 1847 г. через Апраксина, которого он рекомендовал как «весьма дельного молодого человека», намеренного серьезно заняться благосостоянием своего большого имения (Акад., XIII, № 96).

[^^^]

583

Плетнев цитирует письмо Гоголя от 3 (15) января 1847 г.

[^^^]

584

В «Московских ведомостях» за 1847 г. (№ 28, 38 и 46, от 6 и 29 марта, 17 апреля) были опубликованы три письма Н. Ф. Павлова к Гоголю по поводу «Выбранных мест...». Отрицательная оценка Павлова во многом совпадала со взглядом Белинского на эту книгу.

[^^^]

585

В письме от 30 января (11 февраля) 1847 г. Гоголь просил Плетнева обратиться к помощи А. Россета при осуществлении второго издания «Выбранных мест...»: «...он сумеет хорошо держать корректуру» (Акад., XIII, № 115).

[^^^]

586

К А. О. Смирновой. Ей адресованы письма, озаглавленные: «О помощи бедным», «Что такое губернаторша».

[^^^]

587

Это пожелание было высказано Гоголем в «Предисловии» к «Выбранным местам...».

[^^^]

588

Дочь Плетнева.

[^^^]

589

Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...», 1830).

[^^^]

590

Письмо Вигеля см.: РА, 1893, № 8, с. 561–565.

[^^^]

591

Кулиш, т. 2, с. 127–129 (с пропусками); Акад., XIII, № 166.

[^^^]

592

См.: Акад., XIII, № 149 и 152.

[^^^]

593

Акад., XIII, № 167.

[^^^]

594

Гоголь имеет в виду письмо к А. О. Смирновой от 25 мая (6 июня) 1846 г. (Акад., XIII, № 30), легшее в основу статьи «Что такое губернаторша», которая была запрещена цензурой и которую Гоголь хотел включить во второе издание «Выбранных мест...».

[^^^]

595

РВ, 1890, № 11, с. 55–56. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

596

В. А. Жуковскому.

[^^^]

597

Жуковский не смог приехать в Петербург.

[^^^]

598

В. А. Жуковский был воспитателем великого князя Александра Николаевича.

[^^^]

Х. А. Нордстрем.

[^^^]

600

РВ, 1890, № 11, с. 53–55. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

601

Письма от 27 апреля (9 мая), 29 мая (10 июня) и 28 июня (10 июля) 1847 г. (Акад., XIII, № 166, 175, 188).

[^^^]

602

К А. О. Смирновой.

[^^^]

603

Так Гоголь в письмах называл «Авторскую исповедь», которая при его жизни издана не была.

[^^^]

604

«Рустем и Зораб».

[^^^]

605

В июне – начале июля 1847 г. Гоголь продолжал работу над «Развязкой «Ревизора». В письме от 28 июня (10 июля) он спрашивал Плетнева, не возьмется ли Бернардский издать с виньетками «Ревизора» с «Развязкой», «разумея по виньетке к голове и к хвосту всякого действия, на той же странице, где и слова» (Акад., XIII, № 188).

[^^^]

606

Кулиш, т. 2, с. 174–175 (с пропусками); Акад., XIII, № 207.

[^^^]

607

См. письмо Плетнева от 4 апреля 1847 г.

[^^^]

Плетнев оставался ректором Петербургского университета до 1861 г.

[^^^]

609

Кулиш, т. 2, с. 207–208 (с пропусками); Акад., XIV, № 65.

[^^^]

610

Первый том «Одиссеи» Гомера в переводе Жуковского вышел осенью 1848 г. (на титульном листе – 1849 г.).

[^^^]

611

РВ, 1890, № 11, с. 60 (с пропусками). Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

612

Ошибка Плетнева: данное письмо является ответом на письмо от 24 мая 1849 г. (Акад., XIV, № 96).

[^^^]

613

26 января 1849 г. Плетнев женился второй раз, на княжне А. В. Щетининой, которая была на 33 года моложе его.

[^^^]

614

Спасская мыза – дача около Лесного института, где Плетнев обычно проводил лето.

[^^^]

615

Кулиш, т. 2, с. 218 (с пропусками и искажением даты); Акад., XIV, № 105.

[^^^]

616

Опыт, с. 164–165 (с пропусками); Акад., XIV, № 131.

[^^^]

617

Акад., XIV, № 132.

[^^^]

618

РВ, 1890, № 11, с. 61. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

619

Гоголь в письме от второй половины апреля 1850 г. (Акад., XIV, № 162) предположил, что Плетнев «опять за что-нибудь сердит» на него.

[^^^]

620

План этот не осуществился.

[^^^]

621

Имеется в виду продление срока путешествия Вяземского по Востоку.

[^^^]

622

В 1850 г. в Москве отдельным изданием вышли две книги С. П. Шевырева: «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 г.» и «Нилосорская пустынь».

[^^^]

623

РВ, 1890, № 11, с. 64–66. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

624

Акад., XIV, № 210.

[^^^]

625

Гоголь уехал из Одессы 27 марта.

[^^^]

25 января Гоголь писал Плетневу: «Приезд Жуковского в Москву, может быть, несколько изменит мой маршрут, и вместо весны придется, может, быть в Петербурге осенью» (Акад., XIV, № 210). Однако в Петербург Гоголь больше не попал.

[^^^]

627

25 января Гоголь писал Плетневу: «А мне хочется очень с тобой, по старине, запершись в кабинете, в виду книжных полок, на которых стоят друзья наши, уже ныне отшедшие, потолковать и почитать, вспомнив старину» (Акад., XIV, № 210).

[^^^]

628

В это время Плетневу было 58 лет, а Гоголю – 42.

[^^^]

629

25-летия восшествия на престол Николая I. Болезнь не позволила Жуковскому приехать в Россию.

[^^^]

630

А. Б. Лакиер – муж дочери Плетнева.

[^^^]

631

Опыт, с. 185–186 (с пропусками); Акад., XIV, № 230.

[^^^]

632

Второй том «Мертвых душ», который должен был войти в состав готовящегося второго издания сочинений Гоголя, был сожжен им в ночь с 11 на 12 февраля 1852 г.

[^^^]

633

В предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» и в «Выбранных местах...», в статье «Четыре письма разным лицам по поводу «Мертвых душ», Гоголь призывал читателей присылать ему отзывы на «Мертвые души» и описания тех сфер жизни, которые им хорошо известны: «По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что – нечего таить греха: все мы очень плохо знаем Россию» (Акад., VIII, с. 287). Письма читателей поступали на имя Плетнева и Шевырева. Очевидно, здесь речь идет об одном из таких писем.

[^^^]

634

РВ, 1890, № 11, с. 66–68. Печатается по автографу (ИРЛИ).

[^^^]

635

После революционных событий в Европе в 1848 г. цензурные условия в России ужесточились. Ряд затруднений возник при прохождении через цензуру сочинений Жуковского; в числе не пропущенных произведений были и «Письма к Гоголю» («О смерти», «О молитве», «Слова поэта – дела поэта») – о них см. в преамбуле к переписке Гоголя с Жуковскими.

[^^^]

636

Опыт, с. 93–96 (с пропуском); Акад., XI, № 30.

Этим письмом начинается сохранившаяся переписка Гоголя с М. П. Балабиной.

[^^^]

637

Гостиница сокола (фр).

[^^^]

638

Милостивый государь, потчую вас (фр.).

[^^^]

639

Могу я вам предложить (фр.).

[^^^]

640

Прошу прощения, милостивый государь (фр.).

[^^^]

общий обеденный стол (табльдот) (фр.).

[^^^]

642

Кулиш, т. 1, с. 198–205 (с пропуском); Акад., XI, № 67.

[^^^]

643

Не сохранилось.

[^^^]

644

См. переписку с Жуковским

[^^^]

К собору св. Петра.

[^^^]

646

Иностранца, чужеземца (от ит. forestiere).

[^^^]

647

Богу угоден карнавал и неугоден кардинал (ит.).

[^^^]

Григория XVI.

[^^^]

649

Персонаж итальянской народной комедии масок.

[^^^]

650

Вот так здорово!

Пульчинелла запрещает карнавал! (ит.).

[^^^]

651

«Мой орден» (ит.).

[^^^]

на римском наречии (ит.).

[^^^]

653

Авторов итальянских бурлесок (ит.).

[^^^]

654

По преданию, Рим был основан ок. 754/753 гг. до н. э. Гоголь допускает неточность, считая временем его основания 750 г. до н. э.

[^^^]

655

Монте Пинчио – холм в Риме.

[^^^]

Троицы (ит.).

[^^^]

В. Н. Репнина.

[^^^]

658

Страж, сторож (от лат. custos).

[^^^]

барышни Конти (ит.).

[^^^]

660

Кулиш, т. 1, с. 217–223 (с пропусками); Акад., XI, № 86.

[^^^]

661

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

662

Балабины встречались с Гоголем в Риме в 1837 г.

[^^^]

663

Речь идет об одном из путеводителей по Риму археолога Нибби.

[^^^]

Гоголь сравнивает здесь «Историю Франции» Жюля Мишле (начала выходить с 1833 г.) и «Историю русского народа» (т. I–VI. М., 1829–1833) Н. А. Полевого. Труд Полевого подвергся в свое время резкой критике, в частности, со стороны писателей пушкинского круга.

[^^^]

665

Порта Маджоре – ворота в Риме.

[^^^]

666

по моде (ит.).

[^^^]

667

Вероятно, речь идет о письме к А. В. и Е. В. Гоголь от 3 (15) октября 1838 г. (Акад., XI, № 84).

[^^^]

668

Кулиш, т. 1, с. 223–227 (с пропусками); Акад., XI, № 110.

[^^^]

669

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

670

Записки Александрова (Дуровой). Добавление к «Девице-кавалерист». М., 1839.

[^^^]

671

Юный сын М. Ю. Вьельгорского Иосиф, за которым Гоголь ухаживал во время его предсмертной болезни весной 1839 г., умер от чахотки 9 (21) мая 1839 г. в Риме. И. М. Вьельгорскому посвящено неоконченное произведение Гоголя «Ночи на вилле».

[^^^]

ничего не стоит (ит.).

[^^^]

673

Фамилию Шиллер носит один из персонажей «Невского проспекта» – «жестяных дел мастер в Мещанской улице».

[^^^]

674

Роман В. С. Миклашевичевой (Миклашевич) «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия» был известен в ту пору в рукописи, издан в 1864–1865 гг.

[^^^]

675

Имеется в виду неоконченная в то время колоссальная по размерам картина Ф. А. Бруни «Воздвижение Моисеем медного змия» (1827–1841).

[^^^]

676

А. С. Данилевскому.

[^^^]

677

Акад., XI, № 122.

[^^^]

678

Письмо к А. В. и Е. В. Гоголь от 18 (30) августа 1839 г. (Акад., XI, № 121).

[^^^]

679

В Петербург Гоголь приехал осенью 1839 г. в связи с выпуском его сестер из института.

[^^^]

680

Шенрок, т. 4, с. 926–928 (с неточностями). Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

681

В 1841 г. на выставке в Зимнем дворце с большим успехом экспонировалась выполненная в Риме картина Ф. А. Бруни «Воздвижение Моисеем медного змия»

[^^^]

682

Опыт, с. 127–128; Акад., XII, № 6.

Написано в ответ на предыдущее.

[^^^]

683

Опыт, с. 144–145; Акад., XII, № 90.

[^^^]

684

Шенрок, т. 4, с. 922–924 (с неточностями). Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

685

Возможно, письмо от 15 октября 1841 г.

[^^^]

686

То есть на манер Грефенберга – знаменитого центра гидротерапии в Силезии.

[^^^]

687

Шенрок, т. 4, с. 925 (с неточностями). Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

688

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

То есть в Штетин (ныне Шецин).

[^^^]

690

Письма, т. 2, с. 461–463; Акад., XII, № 196.

[^^^]

691

Это поручение было связано с предстоящим замужеством М. П. Балабиной.

[^^^]

692

Состоялось в Баден-Бадене в мае 1844 г.

[^^^]

693

Шенрок, т. 4, с. 926 (с пропусками). Полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

Написано в ответ на предыдущее.

[^^^]

694

М, 1855, № 19–20, с. 1–2; Акад., X, № 141.

Этим письмом началась переписка Гоголя с Погодиным.

[^^^]

695

М, 1855, № 19–20, с. 6–8; Акад., X, № 162.

[^^^]

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

697

Речь идет об «Истории в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове» (опубликована в 1835 г.). Ниже Гоголь упоминает другие драматические произведения Погодина – «Марфа, Посадница Новгородская» (1830) и «Петр I» (1831). Публикация последнего их этих сочинений была запрещена Николаем I. Гоголю оно, вероятно, было знакомо в рукописи или в чтении самого автора.

[^^^]

698

Книга Погодина «Исторические афоризмы» вышла в 1837 г.

[^^^]

699

Имеются в виду тетради учениц Гоголя по Патриотическому институту. Сразу после знакомства с писателем Погодин записал в дневнике: «Он рассказал мне много чудес о своем курсе истории <...> Из его воспитанниц нет ни одной не успевшей». Заинтересованный педагогической деятельностью Гоголя, Погодин обратился к Плетневу с просьбой прислать тетради воспитанниц института (Барсуков, кн. 4, с. 114).

[^^^]

700

Этот замысел не был осуществлен.

[^^^]

701

Имеется в виду переведенный с немецкого под руководством Погодина учебник «Всеобщая история. Гимназический курс. Сочинение эрлангенского профессора Беттигера» (М., 1832). Погодин рассматривал эту книгу как пособие для поступающих в университет.

[^^^]

702

В письме к Погодину от 20 июля 1832 г. (Акад., X, № 142) Гоголь обращался к нему с просьбой предложить московским книгопродавцам купить второе издание «Вечеров...». Оно было осуществлено лишь в 1836 г.

[^^^]

703

М, 1855, № 19–20, с. 8–10 (с пропусками); Акад., X, № 165.

[^^^]

704

Неизвестно.

[^^^]

705

Первая комедия Гоголя осталась незавершенной. Отрывки из «Владимира 3-й степени» Гоголь читал Погодину в начале марта 1835 г., в период посещения последним Петербурга.

[^^^]

706

Намереваясь привлечь Погодина к совместной работе над «Историей Петра», Пушкин говорил об этом в первой половине 1833 г. с Николаем I. Согласие царя на участие Погодина было получено (см. письмо Пушкина к Погодину от 5 марта 1833 г.), однако сотрудничество в итоге не состоялось.

[^^^]

707

Вышедшая в 1833 г. первая книга альманаха А. Ф. Смирдина «Новоселье».

[^^^]

708

Речь идет об О. И. Сенковском, опубликовавшем в «Новоселье» под своим именем, а также под псевдонимом «Барон Брамбеус» повести «Антар», «Незнакомка» и фельетон «Большой выход у Сатаны», в котором он обрушился на современных литераторов.

[^^^]

709

Имеется в виду оставшийся неосуществленным план издания альманаха «Шехерезада», инициатором выпуска которого являлся Н. А. Мельгунов. Свое согласие на участие в альманахе дали Е. А. Баратынский, И. В. Киреевский, Н. М. Языков, П. Я. Чаадаев и др. Просьба о привлечении к сотрудничеству Пушкина и Гоголя содержалась в письме Баратынского к П. А. Вяземскому от 3 февраля 1833 г. (см. ЛН, т. 58, с. 545).

[^^^]

710

Повесть Погодина «Галеева комета» была опубликована в альманахе «Комета Белы» (СПб., 1833).

[^^^]

711

М, 1855, № 19–20, с. 10–11; Акад., X, № 170.

[^^^]

712

Записка Погодина и упоминаемое ниже письмо Гоголя не сохранились.

[^^^]

713

Драматические сцены Погодина «История в лицах о Димитрии Самозванце» (опубл. в 1835 г.).

[^^^]

714

К маю 1833 г. была написана лишь черновая редакция «Истории Пугачева», работа над которой завершилась 2 ноября 1834 г. Следующий далее отзыв «является отголоском если не чтения самой рукописи (что маловероятно), то разговоров о ней в кругу друзей поэта» (Петрунина, Фридлендер, с. 203).

[^^^]

715

«Книга Наума о великом божием мире» (М., 1833) – выдержавшая много изданий научно-популярная книга для народа. «Сборник украинских песен» М. А. Максимовича вышел в 1834 г.

[^^^]

716

По предположению Н. И. Мордовченко (Акад., X, с. 463), запрос Гоголя относится к И. В. Киреевскому – редактору-издателю запрещенного в 1832 г. журнала «Европеец».

[^^^]

717

Письма, т. IV, с. 431–432; Акад., X, № 178.

[^^^]

718

Упоминаемые письма Погодина и Гоголя в настоящее время неизвестны.

[^^^]

719

9 июля 1833 г. Погодин женился на Е. В. Вагнер.

[^^^]

720

Речь идет о материалах для третьей книги альманаха Максимовича «Денница».

[^^^]

721

Возможно, «История малороссийская» и «История всемирная» (см. письмо к Пушкину от 23 декабря 1833 г.).

[^^^]

722

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», впервые напечатанная во второй книге альманаха Смирдина «Новоселье» (СПб., 1834) с подзаголовком «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька» и датированная в этом издании 1831 г. Эта датировка вызывает сомнение. Повесть не могла быть написана ранее лета 1833 г.

[^^^]

723

М, 1855, № 19–20, с. 11–13; Акад., X, № 187.

[^^^]

724

Перефразировка стихотворения Г. Р. Державина «Кузнечик» из сб. «Анакреонтические песни» (1804).

[^^^]

725

Журнал А. Ф. Смирдина «Библиотека для чтения» – первое в России коммерческое журнальное предприятие, ориентированное на самого широкого читателя, – начал выходить с 1834 г. Редактировал его О. И. Сенковский (при участии Н. И. Греча), выступавший в журнале также в качестве литературного критика. Как редактор Сенковский проявлял крайнее своеволие в отношении поступавших к нему рукописей, подвергая их значительной правке и изменениям. Резко отрицательное отношение Гоголя к «Библиотеке» и самому Сенковскому зафиксировано во многих его письмах, а также в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году».

[^^^]

Ф. В. Булгарин.

[^^^]

727

Ироническое сопоставление Булгарина и Байрона содержится и в письме Гоголя к Пушкину от 21 августа 1831 г.

[^^^]

728

Булгарин посвятил предстоящему выходу «Библиотеки для чтения» рекламную статью «О общеполезном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина» (СПч., 1833, № 300), содержавшую, в частности, апологию Сенковского-ученого. Наиболее известным из литературных произведений Сенковского были «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833), которые сравниваются здесь с очерками Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствования по свету в 29 веке» (1824) и «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию земли» (1825).

[^^^]

729

Среди многочисленных сотрудников «Библиотеки для чтения» рядом с другими известными именами было названо и имя Рудого Панька. Гоголь предназначал для второго тома журнала своего «Кровавого бандуриста»; после цензурного запрещения этого отрывка (инициатором запрещения, как выяснилось, был один из официальных редакторов «Библиотеки» – Н. И. Греч; см.: ЛН, т. 58, с. 545–546) отказался от участия в «Библиотеке для чтения».

[^^^]

730

См. коммент. 5 к письму Гоголя к Пушкину от 23 сентября 1833 г.

[^^^]

731

Погодин поместил в первом томе «Библиотеки для чтения» часть своих «Исторических афоризмов» (отд. III, с. 101–111). После выхода «Афоризмов» отдельным изданием (М., 1836) Гоголь высоко оценил их в своей рецензии, опубликованной в «Современнике» (1836, т. 1. См. также: Акад., VIII, с. 191–194).

[^^^]

732

Речь идет о П. В. Киреевском, занимавшемся собиранием народных песен и привлекшем к записи многих помощников. Первый выпуск песен из собрания Киреевского вышел в свет лишь в 1848 г.

[^^^]

733

М, 1855, № 19–20, с. 17–18; Акад., X, № 227.

[^^^]

734

В настоящее время это письмо неизвестно.

[^^^]

735

«Московский наблюдатель», разрешение на издание которого было получено 9 декабря 1834 г. (первая книжка вышла 15 марта 1835 г.). Основной целью журнала, объединившего Е. А. Баратынского, И. В. Киреевского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова и др., было противодействие «торговому направлению» в журналистике, представленному изданиями Булгарина – Греча и Сенковского. В программе «Московского наблюдателя» Гоголь был назван в числе его постоянных сотрудников, однако участником этого журнала так и не стал.

[^^^]

736

Сборники «Арабески» и «Миргород».

[^^^]

737

Погодин работал над книгой «Лекции профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» (первая часть вышла в 1835 г.). Цензором этого издания был постоянно притеснявший Погодина М. Т. Каченовский (Барсуков, кн. 4, с. 264), в связи с чем, видимо, и упоминается ниже его имя.

[^^^]

738

«История средних веков» О. К. Демишеля была переведена с французского студентами первого курса Московского университета в течение одного дня после того, как посетивший лекцию Погодина министр просвещения С. С. Уваров с похвалой отозвался об этом руководстве (Барсуков, кн. 4, с. 211–212). Перевод вышел в свет в 1836 г.

[^^^]

739

М, 1855, № 19–20, с. 18–19; Акад., X, № 229.

[^^^]

740

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

741

Имеются в виду статьи Гоголя, напечатанные в «Журнале министерства народного просвещения»

[^^^]

742

С 24 июля 1834 г. Гоголь состоял адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории Петербургского университета. Его первые лекции произвели сильное впечатление на слушателей. Однако вскоре писатель охладел к своей университетской деятельности, что вызвало и разочарование в нем студентов (см. об этом воспоминания Н. И. Иваницкого – в кн.: Г. в восп., с. 83–86).

[^^^]

743

Речь идет о сборнике «Арабески», составленном из художественных произведений Гоголя, его исторических, эстетических, литературно-критических и др. статей.

[^^^]

744

Гоголь говорит о «Лекциях... по Герену».

[^^^]

745

Подразумеваются сотрудники «Московского наблюдателя».

[^^^]

746

М, 1855, № 19–20, с. 21; Акад., X, № 240.

[^^^]

747

Не сохранилось.

[^^^]

748

Погодин выехал в Петербург 18 февраля 1835 г. с тем, чтобы обратиться к министру с жалобой на притеснения московской цензуры и в особенности М. Т. Каченовского. В Петербурге Погодин предполагал остановиться у Гоголя (Барсуков, кн. 4, с. 264–265).

[^^^]

749

Речь идет о сборнике «Миргород», имеющем подзаголовок «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (вышел в марте 1835 г.).

[^^^]

«Нос».

[^^^]

751

М, 1855, № 19–20, с. 21–22; Акад., X, № 241.

[^^^]

752

Не сохранилось.

[^^^]

«Миргород».

[^^^]

754

Участники «Московского наблюдателя» действительно показали неспособность к повседневной журнальной работе. Свое критическое отношение к «Наблюдателю» Гоголь полно высказал в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году».

[^^^]

755

Гоголь ссылается на статью Кс. Полевого «Взгляд на Историю Наполеона», представлявшую собой отклик на русский перевод книги В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарте» (МТ, 1833, № 9, с. 138–140).

[^^^]

756

Письма, т. 1, с. 338; Акад., X, № 243.

[^^^]

757

Предназначенная Гоголем для «Московского наблюдателя» повесть «Нос» была отвергнута редакцией и появилась лишь в следующем году в третьем томе пушкинского «Современника». При этом по требованию цензуры место встречи майора Ковалева с носом из Казанского собора было перенесено в Гостиный двор.

[^^^]

758

«Московский наблюдатель», разрешение на издание которого было получено 9 декабря 1834 г. (первая книжка вышла 15 марта 1835 г.). Основной целью журнала, объединившего Е. А. Баратынского, И. В. Киреевского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова и др., было противодействие «торговому направлению» в журналистике, представленному изданиями Булгарина – Греча и Сенковского. В программе «Московского наблюдателя» Гоголь был назван в числе его постоянных сотрудников, однако участником этого журнала так и не стал.

[^^^]

759

М, 1855, № 19–20, с. 23; Акад., X, № 248.

[^^^]

760

М, 1855, № 19–20, с. 23–24; Акад., X, № 265.

[^^^]

761

Речь идет о «Письме ординарного профессора Московского университета Погодина к г. министру народного просвещения из Германии, от 7/19 сентября 1835 года» (ЖМНП, 1835, кн. 7, № 9, с. 544–552). Заграничную поездку, во время которой он установил связи с крупными немецкими и славянскими учеными и писателями, Погодин совершил в июле – октябре 1835 г.

[^^^]

762

31 декабря 1835 г. Гоголь был уволен от должности адъюнкта по кафедре истории «по случаю преобразования С.-Петербургского университета».

[^^^]

763

Имеется в виду «Ревизор», оконченный 4 декабря 1835 г.

[^^^]

764

Речь идет о «Женитьбе», читанной Гоголем в доме Погодина в Москве 4 мая 1835 г.

[^^^]

765

М, 1855, № 19–20, с. 26–27; Акад, XI, № 4.

[^^^]

766

Речь идет о «Ревизоре», петербургская премьера которого состоялась 19 апреля 1836 г.

[^^^]

767

Намеченная поездка не осуществилась (см. переписку с Щепкиным).

[^^^]

768

Печатное извещение об издании «Современника» появилось 3 февраля 1836 г. Как видно из письма, Гоголь скрывал от Погодина и других литераторов круга «Московского наблюдателя» свое участие в журнале Пушкина.

[^^^]

769

РС, 1889, № 8, с. 381–382. Печатается по этому изданию.

[^^^]

770

Речь идет о петербургской постановке «Ревизора».

[^^^]

771

См. письмо Гоголя к Щепкину от 29 апреля 1836 г.

[^^^]

772

В принадлежавшем Булгарину отзыве о постановке «Ревизора» комедия Гоголя обвинялась в отсутствии правдоподобия, клевете на русскую жизнь (СПч, 1836, № 97, 30 апреля, и № 98, 1 мая).

[^^^]

773

Весной 1836 г. Погодин приобрел у Д. С. Щербатова дом на Девичьем поле в Москве. Стикс – согласно греческой мифологии, река в подземном царстве; ее вода приносит несчастье лжецам, но безвредна для говорящих правду.

[^^^]

774

Решение Гоголя об отъезде за границу было вызвано тяжелым впечатлением от приема, оказанного «Ревизору».

[^^^]

775

М, 1855, № 19–20, с. 27–28, Акад., XI, № 11.

[^^^]

776

В письме, датируемом апрелем – маем 1836 г. (Акад., XI, № 9).

[^^^]

777

Отъезд состоялся 6 июня 1836 г.

[^^^]

778

М, 1855, № 19–29, с. 28–30; Акад., XI, № 16.

[^^^]

779

От 6 мая 1836 г.

[^^^]

780

М, 1855, № 19–20, с. 30–31; Акад., XI, № 26.

[^^^]

781

Работой над «Мертвыми душами».

[^^^]

782

Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 49–51; Акад., XI, № 33.

[^^^]

783

К изданию журнала «Москвитянин» Погодин приступил лишь в 1841 г.

[^^^]

784

Речь идет о «Женитьбе», рукопись которой Гоголь взял с собой для переделки.

[^^^]

785

Сочинения и письма, т. V, с. 288–290 (с пропусками); Акад., XI, № 41.

[^^^]

786

Не сохранилось.

[^^^]

787

«Мертвые души».

[^^^]

РА, 1890, № 8, с. 14; Аксаков, с. 18. Печатается по этому изданию.

Датируется на основании письма Гоголя к Погодину от 19 ноября (1 декабря) 1838 г. Представляет собой ответ на письмо Гоголя от 21 июля (2 августа) 1838 г. (Акад., XI, № 77 и с. 401). Автограф неизвестен. Возможно, является частью более полного несохранившегося текста.

[^^^]

789

Посланные деньги принадлежали не только Погодину, но также С. Т. Аксакову, Е. А. Баратынскому, Н. Ф. Павлову и И. Е. Великопольскому (Аксаков, с. 18).

[^^^]

790

Сочинения и письма, т. V, с. 369–371 (с пропусками и неверной датой); Акад., XI, № 107.

[^^^]

791

В 1839 г. Погодин вместе с женой путешествовал за границей. В марте – апреле они посетили Рим, где жили вместе с Гоголем; из Италии направились в Париж. Вместе с ними уехал и С. П. Шевырев.

[^^^]

792

Имеется в виду монументальный труд Шафарика о первых веках истории славянских народов – «Славянские древности», переведенные О. М. Бодянским и изданные Погодиным (кн. 1–3. М., 1837–1838).

[^^^]

793

Речь идет об архитекторе Д. Е. Ефимове (Письма, т. 1, с. 595–596). Сообщение об осмотре коллекции Ефимова см.: Погодин М. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. Ч. 2. М., 1844, с. 117.

[^^^]

794

Гоголь говорит о труде И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (вып. 1–4, 1837–1839).

[^^^]

795

Сахаров И. П. Сказания русского народа. Т. 1, 2. М., 1836–1837.

[^^^]

796

Словарь М. Д. Чулкова «Абевега русских суеверий, идолопоклонннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч.» (М., 1786).

[^^^]

797

Как видно из письма, Гоголь просил известного богача и мецената П. Н. Демидова помочь крупному чешскому поэту и ученому Яну Коллару.

[^^^]

798

Юный сын М. Ю. Вьельгорского Иосиф, за которым Гоголь ухаживал во время его предсмертной болезни весной 1839 г., умер от чахотки 9 (21) мая 1839 г. в Риме. И. М. Вьельгорскому посвящено неоконченное произведение Гоголя «Ночи на вилле».

[^^^]

799

Сочинение необходимое и никем еще не написанное (ит.).

[^^^]

800

Летом 1839 г. Гоголь и Погодин вместе прожили в Мариенбаде около месяца.

[^^^]

801

Сочинения и письма, т. V, с. 389–392; Акад., XI, № 139.

[^^^]

802

26 сентября 1839 г. Гоголь приехал в Москву и остановился в доме Погодина, 26 октября вместе с С. Т. Аксаковым выехал в Петербург с тем, чтобы забрать своих сестер Анну и Елизавету, окончивших курс в Патриотическом институте.

[^^^]

803

Жуковский подавал Гоголю надежду на денежную помощь его сестрам от императрицы, однако в связи с ее болезнью получить пособие не удалось (Аксаков, с. 25).

[^^^]

804

План издания «Прибавлений» к «Московским ведомостям» осуществлен не был.

[^^^]

805

«Обозрения» (фр.).

[^^^]

806

Гоголь вернулся с сестрами в Москву 21 декабря.

[^^^]

807

Сочинения и письма, т. 5, с. 415–421 (с пропуском); Акад., XI, № 181.

[^^^]

808

Далее речь идет о сестрах Гоголя

[^^^]

809

26 августа 1840 г. к Погодину поступили купленные им для «Древлехранилища» рукописи и старопечатные книги из коллекции купца Лаптева (Барсуков, кн. 5, с. 436–439).

[^^^]

810

Возможно, речь идет о «Летописи Малороссийской», с находкой которой поздравлял в то время Погодина М. А. Максимович (Барсуков, кн. 5, с. 439).

[^^^]

811

От 29 июля (10 августа) 1840 г. (Акад., XI, № 178).

[^^^]

812

Имеется в виду неосуществленный замысел трагедии из истории Запорожья (Акад., V, с. 199–202; Аксаков, с. 27–28). По словам сопровождавшего Гоголя из Москвы в Рим В. А. Панова, были написаны несколько сцен этого произведения.

[^^^]

813

Речь идет об И. М. Вьельгорском.

[^^^]

814

Николай Петрович Боткин – член известной в истории русской культуры семьи, брат критика и публициста В. П. Боткина, терапевта С. П. Боткина и живописца М. П. Боткина.

[^^^]

815

Гоголь хлопотал о месте секретаря при попечителе над русскими художниками в Риме П. И. Кривцове.

[^^^]

816

Купол собора св. Петра в Риме.

[^^^]

817

Находясь в Петербурге, Гоголь одолжил у С. Т. Аксакова две тысячи рублей.

[^^^]

818

В 1841 г. пятидесятивосьмилетний Жуковский женился на юной Елизавете Рейтерн, дочери немецкого художника.

[^^^]

819

РС, 1889, № 8, с. 382; Шенрок, т. 3, с. 328. Печатается по этому изданию.

[^^^]

Е. В. Гоголь.

[^^^]

821

Сочинения и письма, т. 5, с. 428; Акад., XI, № 187.

[^^^]

822

Е. В. Погодину.

[^^^]

823

Временник, 1914, с. 75; Акад., XI, с. 454.

18 октября 1841 г. Гоголь приехал в Москву и поселился в доме Погодина. Во время работы писатель обыкновенно не выходил из своей комнаты в мезонине и обменивался с хозяином короткими записками, передаваемыми через слугу. Часть этих записок, характеризующих сложный момент отношений Гоголя и Погодина, приводится ниже.

[^^^]

824

Речь идет о журнале «Москвитянин».

[^^^]

825

Временник, 1914, с. 75; Акад., XI, № 216.

[^^^]

826

Временник, 1914, с. 75; Акад., XII, с. 590.

[^^^]

827

Имеется в виду статья Погодина «Месяц в Риме», печатавшаяся в «Москвитянине» (1842, № 2, с. 360–410; № 4, с. 309–356).

[^^^]

828

Временник, 1914, с. 75; Акад., XII, № 9.

[^^^]

829

Временник, 1914, с. 81; Акад., XII, с. 596.

Ответ на записку Гоголя, в которой тот обещает уладить долго тянувшееся дело с оплатой счета В. И. Усачева – бумажного фабриканта, поставлявшего бумагу для печатания «Мертвых душ» (Акад., XII, № 35).

[^^^]

830

Речь идет о «Риме», опубликованном в «Москвитянине» (1842, № 3, с. 22–67). Печатание отдельных оттисков «Рима», предназначенных Гоголем для раздачи друзьям, немного задержалось (Акад., XII, № 25).

[^^^]

831

Временник, 1914, с. 81; Акад., XII, № 36.

[^^^]

832

Временник, 1913, с. XIX (факсимиле); Акад., XII, № 42.

[^^^]

833

«Н. В. Гоголю» («Благословляю твой возврат...»). Опубликовано (М, 1842, № 6, с. 229–230) под заглавием «Г***».

[^^^]

834

На автографе записки находится позднейшая помета Погодина: «Это ответ на мою записку, не хочет ли Гоголь вместо объявления о выходе «Мертвых душ» поместить одну главу или две в нумере «Москвитянина», который тогда выходил!!» (Акад., XII, с. 598). Объявление о выходе «Мертвых душ» было помещено в пятом номере «Москвитянина».

[^^^]

835

Акад., XII, № 43.

Письмо адресовано в Петербург, где в то время находился Погодин.

[^^^]

836

Запрещенная Московским цензурным комитетом, рукопись «Мертвых душ» была послана Гоголем через Белинского в Петербург, где вопрос о публикации разрешился благоприятно. 9 марта 1842 г. цензор А. В. Никитенко сделал разрешительную надпись, однако, кроме отдельных искажений текста, из него была полностью изъята «Повесть о капитане Копейкине». Настаивая на ее публикации, Гоголь переделал «Повесть...» и 10 апреля 1842 г. послал Никитенко ее новый вариант (см.: Акад., XII, № 39). 7 мая разрешенная редакция повести была отправлена Гоголю.

[^^^]

837

9 мая – день именин Гоголя. Находясь в Москве, писатель отмечал его в доме Погодина или в его саду (Г. в восп., с. 410–412).

[^^^]

838

Гоголь находился в Петербурге проездом за границу. Выехал из Петербурга 5 июня.

[^^^]

839

РЖ, 1892, № 43, с. 2; Акад., XII, № 61.

[^^^]

840

Погодин собирался ехать за границу, однако его отъезд состоялся лишь 7 июля. Возможно, после столкновений с Погодиным Гоголь сознательно адресовал свое прощальное письмо не самому Погодину, а его жене.

[^^^]

841

РС, 1890, № 3, с. 855; Аксаков, с. 119–120.

Этим письмом Погодин после полуторагодичного перерыва, вызванного столкновениями 1841–1842 гг., делал попытку возобновить переписку с Гоголем. Письмо было передано Гоголю через С. Т. Аксакова (Аксаков, с. 119).

[^^^]

842

В Мариенбаде Погодин провел две недели летом 1842 г.

[^^^]

843

Речь идет о поэте Ф. Н. Глинке, увлекавшемся мистикой и спиритизмом.

[^^^]

844

Погодин навестил М. И. Гоголь в ее Васильевке летом 1842 г., во время своей поездки по Украине.

[^^^]

845

РС, 1890, № 2, с. 411–416; Аксаков, с. 121–126.

Письмо было послано Гоголем С. Т. Аксакову для передачи Погодину, причем Гоголь уполномочил Аксакова и Шевырева, прочитав письмо, самим решить вопрос о возможности его передачи. В результате письмо не было передано Погодину (см. письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от ноября – декабря 1843 г., т. 2, с. 50).

[^^^]

846

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

847

РЖ, 1892, № 57, с. 2; Акад., XII, № 163.

Ответ на письмо Погодина от 12 сентября 1843 г. Написано взамен предыдущего, не переданного адресату.

[^^^]

848

Из сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой. Размышления» (кн. IX, § 42).

[^^^]

849

Письмо к С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву от января 1844 г. Речь идет о чтении книги средневекового мистика Фомы Кемпийского «Подражание Христу».

[^^^]

850

РЖ, 1892, № 64, с. 2; Акад., XII, № 198.

[^^^]

851

Упав с дрожек, Погодин сломал ногу.

[^^^]

852

РС, 1889, № 8, с. 383–384 (с неверной датировкой и без приписки). Письмо с припиской Е. В. Погодиной (публикуется впервые) печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

853

Весной 1844 г. в Париже скончался московский генерал-губернатор Д. В. Голицын. Его прах был привезен в Москву 17 мая 1844 г.

[^^^]

854

Неуверенно чувствуя себя при попечителе Московского учебного округа С. Г. Строганове, а также предполагая некоторое время заняться исключительно написанием русской истории, Погодин 16 февраля 1844 г. подал просьбу об увольнении из Московского университета, надеясь через два года вернуться на службу, однако этот план не удался: увольнение оказалось окончательным.

[^^^]

855

Древнее название Балтийского моря.

[^^^]

856

Этим термином Погодин обозначал период русской истории с 862 по 1054 гг.

[^^^]

857

Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу» была передана Гоголем в подарок Погодину и другим его московским друзьям (см. письмо Гоголя к С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву от января 1844 г. в т. 2, с. 300).

[^^^]

858

Видимо, речь идет о письме от 2 (14) февраля 1844 г.

[^^^]

Трудности издания, малый читательский успех, цензурные препятствия привели Погодина в 1844 г. к решению передать «Москвитянин» в другие руки или даже перевести его в Петербург. С весны 1844 г. шли переговоры о передаче редактирования И. В. Киреевскому, который встал во главе журнала в конце года. С четвертого номера за 1845 г. к редактированию вновь вернулся Погодин.

[^^^]

860

Третий сын Погодиных – Иван, родившийся в феврале 1842 г. – в период пребывания Гоголя в доме на Девичьем поле.

[^^^]

861

РЖ, 1892, № 64, с. 2; Акад., XII, № 233.

[^^^]

862

6 ноября 1844 г. скончалась Е. В. Погодина, о смерти которой Гоголя известил С. Т. Аксаков в письме от 16 ноября и С. П. Шевырев – от 15 ноября (см. т. 2, с. 56 и 303).

[^^^]

863

«Подражание Иисусу Христу» (фр.).

[^^^]

864

РС, 1889, № 8, с. 384. Печатается по этому изданию.

[^^^]

865

В. А. Жуковский, живший в то время во Франкфурте-на-Майне.

[^^^]

866

Письмо Жуковского к Николаю I, вызванное известием о смерти великой княгини Александры Николаевны (С, 1844, № 12, с. 257–262). Погодин перепечатал это письмо в «Москвитянине» (1844, № 12, с. I–IV).

[^^^]

867

Летом – осенью 1846 г. Погодин совершил заграничное путешествие. Первоначально он намеревался посетить Иерусалим, однако вскоре отказался от этого плана и ограничился европейским маршрутом.

[^^^]

ЛН, т. 58, с. 815 (с пропусками); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

Служит ответом на письмо Гоголя от 30 августа (10 сентября) 1846 г. (Акад., XIII, № 48).

[^^^]

869

От 8 (20) декабря 1844 г.

[^^^]

870

Письмо от 30 августа (10 сентября) 1846 г.

[^^^]

871

К епископу Харьковскому Иннокентию.

[^^^]

872

См. письмо Погодина от 12 сентября 1843 г.

[^^^]

873

Барсуков, кн. 8, с. 546–549; Акад., XIII, № 124.

Получив это письмо, Погодин записал в дневнике: «Любезное и нежное письмо от Гоголя. Утешился, но сердца на него у меня нет, разве когда раздумаешься» (Барсуков, кн. 8, с. 549).

[^^^]

874

От 27 января 1847 г.

[^^^]

875

«Выбранные места из переписки с друзьями» вышли в свет 31 декабря 1846 г. в сильно сокращенном и искаженном цензурой виде.

[^^^]

876

О чем идет речь, неизвестно.

[^^^]

877

Барсуков, кн. 8, с. 551–554 (первая половина); ЛН, т. 58, с. 816–817 (с пропусками); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

878

См. преамбулу к переписке

[^^^]

879

Е. Г. Чертковой.

[^^^]

880

В открывавшем «Выбранные места» «Завещании» Гоголь писал: «I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения» (Акад., XIII, с. 219).

[^^^]

881

Имеется в виду пункт второй «Завещания».

[^^^]

882

В пункте III «Завещания» Гоголь писал: «Завещаю вообще никому не оплакивать меня <...>. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние <...>» (Акад., VIII, с. 220).

[^^^]

883

Речь идет о начале пункта VII «Завещания»: «Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет» (Акад., VIII, с. 222). О публикации Погодиным портрета Гоголя см. преамбулу к переписке с Погодиным (с. 338) и к переписке с Ивановым (т. 2, с. 388). Вслед за Погодиным литографию с другого портрета писателя, рисованного Мазером, поместил издатель харьковского альманаха «Молодик» И. Е. Бецкий.

[^^^]

884

Художник Ф. И. Иордан в течение ряда лет работал над гравированием картины Рафаэля «Преображение господне». Согласно «Завещанию», Иордану принадлежало единоличное право на гравирование портрета Гоголя.

[^^^]

885

ЛН, т. 58; с. 818, 820 (с пропуском); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

886

Полемика с Мельгуновым велась на страницах «Московских ведомостей» (Барсуков, кн. 9, с. 69–72).

[^^^]

887

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писал: «Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что предал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться» (Акад., VIII, с. 296–297).

[^^^]

888

Подразумевается Иван Грозный.

[^^^]

889

Письмо к С. Т. Аксакову от 8 (20) января 1847 г.

[^^^]

890

Письмо Гоголя К С. Т. Аксакову от 22 февраля (6 марта) 1847 г.

[^^^]

891

ЛН, т. 58, с. 821–822 (с небольшим пропуском); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

892

Имеются в виду суждения Гоголя о Погодине в «Выбранных местах...».

[^^^]

893

В главе «Споры» Гоголь, откликаясь на обострившиеся в ту пору столкновения между славянофилами и западниками, выражал скептическое отношение к обоим направлениям и в то же время отмечал наличие доли истины в каждой из концепций.

[^^^]

894

Речь идет о французской писательнице Жорж Санд, выступавшей в своих произведениях за эмансипацию женщин.

[^^^]

895

В статье «Об «Одиссее», переводимой Жуковским (Письмо к Н. М. Я<зыко>ву)» Гоголь, в частности, писал: «Появление «Одиссеи» произведет эпоху», «произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще» (Акад., VIII, с. 236, 243).

[^^^]

896

Перевод «Одиссеи», над которым Жуковский работал в 1842–1848 гг. (опубл. в 1849 г.), осуществлялся с немецкого подстрочника. Статья Гоголя до своего появления в «Выбранных местах...» была напечатана в «Современнике» (1846, № 7), а затем, при посредничестве Н. М. Языкова, в «Московских ведомостях» (1846, № 89) и «Москвитянине» (1846, № 7).

[^^^]

897

Подразумевается, видимо, следующее место статьи Гоголя: «<...> народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная бога в его истинном виде, имея в руках уже письменный закон его <...> выполняет долг свой хуже древнего язычника» (Акад., VIII, с. 239).

[^^^]

898

Речь идет о главе «Русской помещик», дававшей рецепты управления имением.

[^^^]

899

Подразумевается статья «Женщина в свете».

[^^^]

900

Видимо, Погодин имеет в виду подзаголовки ряда писем, собранных в гоголевской книге. В них в качестве адресатов посланий писателя указывались лица, занимавшие видное место в обществе: А. П. Толстой, М. Ю. Вьельгорский, А. О. Смирнова.

[^^^]

901

ЛН, т. 58, с. 823–825 (с небольшими пропусками); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

902

От 10 апреля 1847 г.

[^^^]

903

В это время Погодин работал над «Русской историей». 4 мая 1847 г. он устроил в своем доме чтение ее глав. Прочитанные отрывки были затем опубликованы в «Москвитянине».

[^^^]

904

В «Выбранных местах...», определяя «главное существо» своей авторской индивидуальности, Гоголь передавал следующую пушкинскую оценку: «Он говорил мне всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем...» (Акад., VIII, с. 292).

[^^^]

905

Речь идет о жене Погодина Елизавете Васильевне.

[^^^]

906

В «Выбранных местах...» Гоголь отзывался о своих сочинениях как о «необдуманных и незрелых», объявлял критику в их адрес «более или менее справедливой» (Акад., VIII, с. 216, 222).

[^^^]

907

С. Т. Аксаков вспоминал о замечаниях, высказанных Погодиным Гоголю в связи с первым томом «Мертвых душ» (Аксаков, с. 55–56).

[^^^]

908

Первоначальная редакция второго тома была сожжена писателем в конце июня – начале июля 1845 г.

[^^^]

909

В 1846 г. вышло в свет второе издание первого тома «Мертвых душ». Гоголь написал к нему специальное предисловие «К читателю от сочинителя», где обращался к читателям с просьбой «помочь» ему, «поправить» его, делая замечания «сплошь на всю книгу» (Акад., VII, с. 587, 588). Несколько таких замечаний и высказывает ниже Погодин.

[^^^]

910

Толедо – улица в Неаполе. Грот Паузилиппо (Павзилиппе) и Собачья пещера – достопримечательности окрестностей Неаполя.

[^^^]

911

И. В. Киреевский.

[^^^]

912

Ответ Гоголя Иннокентию написан около 26 июня (8 июля) 1847 г. (Акад., XIII, № 186).

[^^^]

913

Погодин оказывал помощь находившемуся в тяжелом материальном положении Шафарику.

[^^^]

914

РЖ, 1892, № 71 (с неверной датировкой); Акад., XIII, № 174.

[^^^]

915

От 8 и 10 апреля 1847 г.

[^^^]

916

О замысле этой статьи см. в преамбуле к переписке с Погодиным

[^^^]

917

ЛН, т. 58, с. 826–828 (с пропусками); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

918

А. М. Погодина.

[^^^]

919

Летом 1819 г. Погодин был приглашен домашним учителем в семейство кн. И. Д. Трубецкого.

[^^^]

920

Речь идет о теще Погодина Е. Ф. Вагнер.

[^^^]

921

Погодин говорит о коллекции книг и рукописей, собранной Н. П. Румянцевым.

[^^^]

922

В 1852 г. Погодин был вынужден продать «Древлехранилище» Публичной библиотеке в Петербурге.

[^^^]

923

Видимо, имеется в виду богатейшее собрание рисунков, составленное Д. М. Голицыным и перешедшее позднее к семье Долгоруких. (Вероятно, временно эта коллекция находилась у кого-то из Глинок.) В 1840-х годах это собрание было выставлено для продажи и спустя несколько лет приобретено доктором Жоли, увезшим его в Париж.

[^^^]

924

Архимандрит Макарий – настоятель Троицкого Оптина монастыря.

[^^^]

925

Имеется в виду Кирилло-Мефодиевское братство – тайная политическая организация – в Киеве, разгромленная в 1847 г.

[^^^]

926

Письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от 27 января 1847 г.

[^^^]

927

См. письмо Гоголя к Погодину от 20 февраля (4 марта) 1847 г.

[^^^]

928

Между Погодиным и С. Г. Строгановым существовали крайне неприязненные отношения.

[^^^]

929

РЖ, 1892, № 78 (с пропусками); Акад., XIII, № 185.

[^^^]

930

Речь идет об отношениях Гоголя и Погодина в период пребывания писателя в Москве в 1841–1842 гг.

[^^^]

931

1 (13) марта 1841 г.

[^^^]

932

В принадлежавшей Погодину копии письма эта фраза сопровождена примечанием, сделанным Погодиным уже после смерти писателя: «Не могу оставить этого места без объяснения: Гоголь или забыл, писав чрез долгое время, года чрез три или более, после происшествия, или было какое-нибудь недоразумение. Мне кажется, напротив, что он вызвался тотчас (далее пропуск в рукописи. – А. К.) «Рим», и я только напомнил ему после, что ему представилось требованием. Могу найти доказательства, но теперь занят совсем другими предметами» (Акад., XIII, с. 517).

[^^^]

933

Погодин вторично женился в апреле 1860 г. на Софье Ивановне Бель (урожд. Сеймонд).

[^^^]

934

Путешествие Гоголя в Иерусалим состоялось в 1848 г.

[^^^]

935

Акад., XIII, № 186.

[^^^]

936

ЛН, т. 58, с. 829–832 (с пропуском последней фразы); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

937

Очевидно, речь идет об Ап. А. Григорьеве.

[^^^]

938

В письме от 18 (30) апреля 1847 г. (Акад., XIII, № 160).

[^^^]

939

Погодин был сыном крепостного графа И. П. Салтыкова. Позднее в течение нескольких лет Погодин состоял домашним учителем в семье князя И. Д. Трубецкого, в дочь которого был безнадежно влюблен.

[^^^]

940

Видимо, Гоголь предполагал в то время, что «Мертвые души» не будут пропущены цензурой (ЛН, т. 58, с. 793, 794).

[^^^]

941

Сравнение Погодина с Фомой Неверным – евангельским апостолом, усомнившимся в известии о воскресении распятого Христа, содержится в тексте надписи, сделанной Гоголем на подаренном Погодину экземпляре «Выбранных мест...» (см. преамбулу к переписке, с. 339). Содержание такого сопоставления комментируется письмом Гоголя к Погодину от 26 июня (8 июля) 1847 г.

[^^^]

942

ЛН, т. 58, с. 832–833 (с пропусками); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

943

Эпидемия, стихшая в Москве к концу 1847 г. и возобновившаяся в следующем году.

[^^^]

944

Икона Иверской богоматери.

[^^^]

945

Речь идет о статьях Погодина «Святослав (отрывок)» (М, 1847, ч. 2, с. 9–30) и «Великая княгиня Ольга» (М, 1847, ч. 3, с. 17–24).

[^^^]

946

Письмом к С. Т. Аксакову от 16 (28) августа 1847 г.

[^^^]

947

От 19 (31) августа 1847 г. (Акад., XIII, № 212).

[^^^]

948

РЖ, 1892, № 84; Акад., XIII, № 224.

[^^^]

949

ЛН, т. 58, с. 833–834 (с пропуском); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

950

М. И. Гоголь.

[^^^]

951

ЛН, т. 58, с. 834. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

952

Имеются в виду революционные события 1848 г.

[^^^]

953

«Исследования, замечания и лекции о русской истории». Первые три тома (из семи) этого труда Погодин издал в 1846 г. Четвертый том вышел лишь в 1850 г.

[^^^]

954

Видимо, отрывок «Ярополк. Владимир» (М, 1848, № 2, с. 103– 128).

[^^^]

955

Высоко ценя драматический интерес изучаемого им периода русской истории, Погодин стремился создать труд, обладающий занимательностью и выразительностью художественного произведения. Отстаивая эти особенности своего сочинения, он писал в 1847 г. профессору И. И. Давыдову: «О тоне «Истории» своей <...> я думал <...> десять лет <...>; смотря и слушая Гоголя, записал на своей тетради, 1840 г., января 5: «Вот каких живых людей надо в историю» (Барсуков, кн. 9, с. 89).

[^^^]

956

Акад., XIV, № 57.

[^^^]

957

Гоголь приехал в Москву 14 октября и прожил в доме Погодина до конца декабря, после чего переехал к А. П. Толстому.

[^^^]

958

Барсуков, кн. 11, с. 311–312; Акад., XIV, № 250.

[^^^]

959

«Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова составили первый том подготовленного им издания сочинений Пушкина (т. 1–7, СПб., 1855–1857). Ознакомившись с трудом Анненкова, Погодин набросал в 1855 г. заметки (ЛН, т. 58, с. 348–356).

[^^^]

960

Речь идет о «Древлехранилище».

[^^^]

961

В Записной книжке Гоголя 1845–1846 гг. находится заметка «О Щепкине»: «Вмешали в грязь, заставляют играть мелкие, ничтожные роли, над которыми нечего делать. Заставляют то делать мастера, что делают ученики. Это все равно, что архитектора, который возносит гениально соображенное здание, заставляют быть каменщиком и делать кирпичи» (Акад., IX, с. 558–559).

[^^^]

962

Кулиш, т. 1, с. 181–182 (с пропусками); Акад., XI, № 8.

[^^^]

963

Экземпляр первого издания комедии (цензурное разрешение от 13 марта 1836 г.) с дарственной надписью: «Моему доброму и бес <цен> ному Михайлу Семеновичу Щепкину от Гоголя».

[^^^]

964

Премьера «Ревизора» состоялась в петербургском Александринском театре 19 апреля 1836 г. Спектакль привлек внимание как публики, так и прессы, однако уровень актерского исполнения, реакция зала, отклики журналистов оставили у Гоголя чувство глубокого неудовлетворения.

[^^^]

965

Дублеры были введены в спектакль уже 28 апреля 1836 г. (П. И. Григорьев – городничий, А. М. Максимов – Хлестаков и др.).

[^^^]

966

См. вступит. статью.

[^^^]

967

Вероятно, еще до представления «Ревизора» в цензуру В. А. Жуковскому и М. Ю. Вьельгорскому удалось убедить Николая I в безобидности комедии (Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 311). По воспоминаниям современника, на первом представлении император «хлопал и много смеялся» (Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах, т. 1. 1955, с. 182).

[^^^]

968

Постановка «Женитьбы» в 1836 г. не состоялась: вскоре Гоголь забрал комедию у Сосницкого для переделки (см. письмо Сосницкого к Щепкину от 30 мая 1836 г. – ЛН, т. 58, с. 552), окончательно завершенной лишь к 1842 г.

[^^^]

969

Речь идет об экземплярах «Ревизора».

[^^^]

970

РС, 1886, № 10, с. 147–148; Щепкин, т. 1, с. 168–169; сверено с автографом (ГБЛ).

Данное письмо Щепкин приложил к своему письму И. И. Сосницкому от 7 мая 1836 г. для передачи Гоголю.

[^^^]

971

От 6 мая 1836 г.

[^^^]

972

Первая постановка «Ревизора» в московском Малом театре состоялась 25 мая 1836 г.

[^^^]

973

Кулиш, т. 1, с. 183–184; Акад., XI, № 10.

[^^^]

974

Это было сделано в письме к Загоскину от 10 мая 1836 г.

[^^^]

975

Речь идет о пояснениях Гоголя «Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров», напечатанных в первом издании «Ревизора».

[^^^]

976

Инспектор драматической труппы Храповицкий руководил подготовкой премьеры «Ревизора» в Петербурге.

[^^^]

977

Гоголь выехал из Петербурга за границу 6 июня 1836 г.

[^^^]

978

Кулиш, т. 1, с. 184–185 (неполностью); Акад., XI, № 15. Ответ на письмо Щепкина от 7 мая 1836 г.

[^^^]

979

Упомянутое письмо С. Т. Аксакова (первое из его писем к Гоголю) в настоящее время неизвестно, содержание письма изложено в «Истории моего знакомства с Гоголем» (Аксаков, с. 16).

[^^^]

980

О каком произведении идет речь – не установлено.

[^^^]

«Ревизор».

[^^^]

982

«Московские ведомости», 1853, № 2 (с пропусками); Акад., XI, № 177.

[^^^]

983

Во время пребывания в Москве в 1839–1840 гг. Гоголь поспорил с Щепкиным, что подготовит к его бенефису две комедии.

[^^^]

984

О комедии Д. Жиро см. преамбулу, с. 445. Впервые она была исполнена 9 января 1853 г. в бенефис Щепкина.

[^^^]

Аксакову. Перевод был в действительности приложен Гоголем к письму к О. С. Аксаковой от 29 июля (10 августа) 1840 г. (Акад., XI, № 175).

[^^^]

986

Имеется в виду распространенная в ту пору лубочная картинка.

[^^^]

987

О какой пьесе идет речь – не установлено.

[^^^]

988

РА, 1889, № 4, с. 556–558; Щепкин, т. 1, с. 177–179; сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

989

С 1842 г. московские театры перешли под управление петербургской дирекции во главе с А. М. Гедеоновым.

[^^^]

990

Имеются в виду «Сочинения» Гоголя, находившиеся в то время в цензуре. Четвертый том издания, включавший драматические произведения, был задержан цензурой и вышел в свет лишь в конце января 1843 г.

[^^^]

991

В бенефис 5 февраля 1843 г. Щепкин поставил «Женитьбу» и «Игроков», исполнив в них роли Подколесина и Утешительного.

[^^^]

992

Реплика сбитенщика Степана из комической оперы Я. Б. Княжнина (1740–1791) «Сбитенщик» (действие I, явл. XI). Смысл ее в том, что все люди, подобно Степану, корыстны.

[^^^]

993

Кулиш, т. 1, с. 317–318; Акад., XII, № 94.

[^^^]

994

Имеются в виду «Игроки», «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок».

[^^^]

995

Кулиш, т. 1, с. 318–319 (неполностью); Акад., XII, № 96.

[^^^]

996

См. письмо от 14 (26) ноября 1842 г.

[^^^]

997

«Женитьба», действие 2, явл. 1.

[^^^]

998

Упоминаемое письмо к С. Т. Аксакову не сохранилось.

[^^^]

999

Кулиш, т. 1, с. 319–322; Акад., XII, № 102.

[^^^]

1000

В бенефис 5 февраля 1843 г. Щепкин поставил «Женитьбу» и «Игроков», исполнив в них роли Подколесина и Утешительного.

[^^^]

1001

Работа над «Игроками», завершенная Гоголем в 1842 г., была начата еще до отъезда за границу (до июня 1836 г.).

[^^^]

1002

В «Тяжбе» Щепкин с успехом исполнял роль Бурдюкова (впервые в бенефис во время петербургских гастролей в сентябре 1844 г.), в «Лакейской» артист никогда не играл.

[^^^]

1003

Для издания своих «Сочинений» Гоголем была подготовлена новая редакция «Ревизора» (т. 4, СПб., 1842).

[^^^]

1004

Кулиш, т. 2, с. 153–156 (неполностью); Акад., XIII, № 64.

[^^^]

1005

То есть «Развязка «Ревизора».

[^^^]

1006

Речь идет об известном своими приключениями графе Ф. И. Толстом, прозванном «Американцем».

[^^^]

1007

Описка: имя Загоскина – Михаил Николаевич.

[^^^]

1008

Постановка «Ревизора» с «Развязкой» была запрещена цензурой 17 ноября 1846 г. (еще до получения этого известия Гоголь сам просил приостановить постановку); разрешение на совместное печатание было получено, однако сам Гоголь позднее отказался от этого замысла.

[^^^]

1009

Гоголь рассчитывал на впечатление от готовившихся к выходу «Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

1010

Кулиш, т. 2, с. 157–159; Акад., XIII, № 91.

[^^^]

1011

По мнению Гоголя, Щепкин должен был начать репетиции «Ревизора» с «Развязкой» лишь после встречи с автором летом 1847 г. Этот план не осуществился.

[^^^]

1012

Речь идет о втором томе «Мертвых душ».

[^^^]

1013

Записки и письма М. С. Щепкина. М., 1864, с. 189–193; Щепкин, т. 1, с. 190–192; сверено с автографом (ГБЛ).

Ответ на несохранившееся письмо Гоголя, приложенное к письму С. П. Шевыреву от 15 (27) апреля 1847 г. Написано рукой брата актера – А. С. Щепкина, подпись и приписка рукой М. С. Щепкина.

[^^^]

1014

От 12 (24) октября, 21 октября (2 ноября) (Акад., XIII, № 67) и 4 (16) декабря 1846 г.

[^^^]

1015

В упомянутом письме к Шевыреву Гоголь сообщал, что лето и начало осени он проведет на морском купании в Остенде.

[^^^]

1016

«Записки актера Щепкина», работа над которыми началась по инициативе Пушкина, остались незавершенными.

[^^^]

1017

Кулиш, т. 2, с. 159–160 (с пропусками); Акад., XIII, № 190.

[^^^]

1018

Несохранившееся письмо.

[^^^]

1019

То есть в отношении к «Развязке «Ревизора».

[^^^]

1020

Вопрос Семен Семенча – одного из персонажей «Развязки».

[^^^]

1021

В 1847 г. в «Современнике» (№ 1) был напечатан первый отрывок из записок Щепкина.

[^^^]

1022

Сочинения и письма, т. 5, с. 258–259; Аксаков, с. 16.

Первое письмо Гоголя к С. Т. Аксакову. Является ответом на несохранившееся письмо С. Т. Аксакова, открывшее переписку между писателями. В том письме Аксаков предлагал Гоголю свою помощь в постановке «Ревизора» на московской сцене (см.: Аксаков, с. 16).

[^^^]

1023

От 10 мая 1836 г. (Акад., XI, № 12). Комедия была поставлена без участия Аксакова.

[^^^]

1024

Отъезд Гоголя за границу состоялся 6 июня.

[^^^]

1025

Сочинения и письма, т. 5, с. 401–402; Аксаков, с. 41.

[^^^]

1026

18 мая 1840 г. Гоголь выехал из Москвы в Италию. С. Т. и К. С. Аксаковы провожали его до первой станции (Аксаков, с. 39).

[^^^]

1027

Имеется в виду неосуществившееся намерение К. С. Аксакова посетить Италию летом 1840 г.

[^^^]

1028

Гоголь говорит о следующих изданиях: Пушкин Александр. Евгений Онегин. СПб., 1837; Грибоедов А. С. Горе от ума. СПб., 1839; Дмитриев И. И. Басни и апологи. СПб., 1838; Сахаров И. П. Песни русского народа. Ч. 1–5. СПб., 1838–1839.

[^^^]

1029

М. С. Щепкин.

[^^^]

1030

РА, 1890, № 8, с. 39–40; Аксаков, с. 42–43. Свере-
но с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1031

Сестра Гоголя, Е. В. Гоголь, проживавшая в это время в Москве в доме П. И. Раевской.

[^^^]

1032

Е. Г. Черткова.

[^^^]

1033

Входящие в состав «Героя нашего времени» повести «Бэла» «Фаталист» и «Тамань» были предварительно напечатаны в «Отечественных записках» как отрывки из «Записок офицера о Кавказе». В апреле 1840 г. роман Лермонтова был впервые издан полностью как единое целое.

[^^^]

1034

Этот отзыв – первый из известных отзывов Гоголя о Лермонтове – был позднее развернут писателем в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846).

[^^^]

1035

С. Т. Аксаков разумеет здесь бедность репертуара Щепкина.

[^^^]

1036

Кулиш, т. 1, с. 270–272 (с пропусками); Аксаков, с. 46–48.

[^^^]

1037

Упоминаемое письмо в настоящее время неизвестно.

[^^^]

1038

В августе 1840 г. скончался сенатор Г. И. Карташевский – муж сестры С. Т. Аксакова.

[^^^]

1039

Имеется в виду место секретаря при попечителе русских художников в Риме П. И. Кривцове.

[^^^]

1040

«Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством» (пояснение С. Т. Аксакова. – Аксаков, с. 49).

[^^^]

1041

К. С. Аксаков.

[^^^]

1042

То есть поэмой «Мертвые души».

[^^^]

1043

Писатель В. А. Панов сопровождал Гоголя в его поездке в Италию. Живя с Гоголем в 1840–1841 гг. в Риме, переписывал набело первые главы «Мертвых душ» и другие сочинения.

[^^^]

1044

Намек на К. С. Аксакова, увлекавшегося немецкой идеалистической философией.

[^^^]

1045

Огонек, 1927, № 10; Акад., XI, № 186.

Первое из дошедших до нас писем Гоголя к К. С. Аксакову, хотя, вероятно, были и более ранние письма.

[^^^]

1046

Неизвестно.

[^^^]

1047

В первую очередь имеются в виду рекомендации заняться филологической деятельностью.

[^^^]

1048

Кулиш, т. 1, с. 272–273 (неполностью); Аксаков, с. 49–51.

[^^^]

1049

Речь идет об «Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору», опубликованном первоначально в «Москвитянине» (1841, кн. 4), а затем в приложении ко второму изданию «Ревизора». Об отрывке и его месте в переписке Гоголя см. в т. 1 на с. 135, а также: Петрунина, Фридлендер, с. 221–222; Макогоненко, с. 280–288.

[^^^]

1050

8 апреля 1836 г. Пушкин уехал в Михайловское хоронить мать. 16 апреля он вернулся в Петербург, однако присутствовать ни на первом (19 апреля), ни на последующих представлениях «Ревизора» не мог в связи с трауром.

[^^^]

1051

Разговор Анны Андреевны и Марьи Антоновны и представление Хлестакову Растаковского.

[^^^]

1052

В связи со смертью сына Михаила Сергеевича С. Т. Аксаков не принимал участия во втором издании «Ревизора» и «все поручения Гоголя передал <...> к исполнению Погодину» (Аксаков, с. 49).

[^^^]

1053

Имеется в виду работа над «Мертвыми душами».

[^^^]

1054

Гоголь вернулся в Россию в октябре 1841 г. для печатания первого тома «Мертвых душ».

[^^^]

1055

Этот план не осуществился. С. Т. Аксаков вспоминал: «Константину невозможно было разлучиться с нами в это печальное время (после смерти М. С. Аксакова. – А. К.); Щепкин не имел никаких средств ехать, да и получить заграничный отпуск было для него очень затруднительно» (Аксаков, с. 51–52).

[^^^]

1056

Имеются в виду занятия русской филологией (см. письмо к К. С. Аксакову от марта 1841 г.).

[^^^]

1057

Жена и дочери С. Т. Аксакова.

[^^^]

1058

Кулиш, т. 1, с. 274–275 (неполностью); Аксаков, с. 52–53.

[^^^]

1059

Письмо С. Т. Аксакова неизвестно.

[^^^]

1060

М. П. Погодин начал издавать журнал «Москвитянин» с января 1841 г. Об участии Гоголя в «Москвитянине» см. в т. 1 на с. 337–338.

[^^^]

1061

Обещание Гоголя не было выполнено. Лишь после возвращения в Москву он опубликовал в журнале Погодина отрывок «Рим» (М., 1842, № 3).

[^^^]

1062

РС, 1890, № 2, с. 407–408; Акад., XI, № 196.

[^^^]

1063

Не сохранилось.

[^^^]

1064

Имеется в виду работа К. С. Аксакова над его магистерской диссертацией «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка».

[^^^]

1065

См. коммент. 2 к письму Гоголя К. С. Аксакову от 29 мая (10 июня) 1840 г.

[^^^]

1066

РА, 1890, № 8, с. 69–73; Аксаков, с. 73–77. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1067

Работа К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» была в итоге отвергнута «Москвитянином» (по инициативе Шевырева) и напечатана отдельной брошюрой (М., 1842. Цензурное разрешение 7 июля 1842 г.). В суждениях С. Т. Аксакова относительно поэмы Гоголя, высказываемых в данном письме, ощущается влияние концепции его сына (см. о ней преамбулу к данной переписке, с. 6–7).

[^^^]

1068

Речь идет о незавершенной трагедии из истории Запорожья. Находясь в 1839 г. в Петербурге вместе с С. Т. Аксаковым, Гоголь говорил о ней как о совершенно сложившемся замысле, в котором «все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу» (Аксаков, с. 27–28).

[^^^]

1069

Имеется в виду поднесение экземпляра «Мертвых душ» Николаю I (Акад., XII, № 62).

[^^^]

1070

Выписки из писем М. Г. Карташевской С. Т. Аксаков приложил к настоящему письму (см.: Аксаков, с. 79–80).

[^^^]

1071

С. Т. Аксаков предполагал, что через три года Гоголь вернется в Россию.

[^^^]

1072

Имеется в виду задуманное Гоголем путешествие в Иерусалим.

[^^^]

1073

Е. В. Гоголь, уехавшей вместе с матерью и сестрой из Москвы в имение Гоголей Васильевка.

[^^^]

1074

И. С. Аксаков – после смерти брата Михаила младший из сыновей Сергея Тимофеевича.

[^^^]

1075

Погодин уезжал за границу.

[^^^]

1076

Кулиш, т. 1, с. 308–314 (неполностью); Аксаков, с. 82–88.

[^^^]

1077

В черновой редакции этого письма содержится конкретный ответ на замечания С. В. Перфильева (Акад., XII, с. 566).

[^^^]

1078

В копии этого письма, снятой для П. А. Кулиша, С. Т. Аксаков сопроводил данные слова следующим примечанием: «Гоголь решительно ошибался. При первых чтениях я не был еще способен замечать недостатки» (Аксаков, с. 265).

[^^^]

1079

Речь идет о чтении Гоголем последних пяти глав первого тома «Мертвых душ» в октябре – ноябре 1841 г. С. Т. Аксаков вспоминал: «Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе» (Аксаков, с. 55).

[^^^]

1080

В брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя...».

[^^^]

1081

В копии письма С. Т. Аксаков так комментирует эти слова: «Не понимаю, как пришла в голову Гоголю эта мысль! Никогда лирические места не казались мне смешными. Это недоразумение» (Аксаков, с. 265). Действительно, суждение о «восторженности, доходившей до смешного излишества», содержащееся в письме Аксакова к Гоголю от 3 июля 1842 г., имеет в виду не поэму, а реакцию К. С. Аксакова на предшествующие ей сочинения.

[^^^]

1082

князя Торлони (ит.).

[^^^]

1083

РА, 1890, № 8, с. 85–88 (с пропусками); Аксаков, с. 89–92 (с пропусками). Печатается по этому изданию.

[^^^]

1084

Статьи Шевырева «Похождения Чичикова, или Мертвые души», поэма Н. В. Гоголя» (статья первая – М, 1842, № 7; статья вторая – М, 1842, № 8); «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 г.» (М, 1843, № 1).

[^^^]

1085

Имеется в виду статья Белинского «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (ОЗ, 1842, № 8). Аксаков ответил на нее «Объяснением по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (М, 1842, № 9), после чего последовало «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (ОЗ, 1842, № 11) Белинского. Оно осталось без ответа со стороны Аксакова. О полемике см. преамбулу к переписке, с. 7.

[^^^]

1086

«...автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними», – писал Белинский в статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (Бел., т. 6, с. 222), имея в виду, в частности, следующие рассуждения Гоголя в одиннадцатой главе его поэмы: «...может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими добродетелями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом!» (Акад., VI, с. 223).

[^^^]

1087

РС, 1890, № 2, с. 409–411; Акад., XII, № 99.

[^^^]

1088

Г. М. Фридлендер высказал предположение, что брошюра и статья К. С. Аксакова в действительности были получены Гоголем, уклонившимся, однако, от необходимости высказать о них свое мнение, неблагоприятное для автора (Акад., XII, с. 617).

[^^^]

1089

Десть – единица счета писчей бумаги.

[^^^]

1090

РА, 1890, № 8, с. 89–93; Аксаков, с. 93–98. Свере-
но с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1091

В декабре 1842 г. цензурой были задержаны два последних тома «Сочинений» Гоголя (вышли в свет 26 января 1843 г.). Особое внимание цензуры привлекли «Шинель», «Женитьба» и «Театральный разъезд...».

[^^^]

1092

Речь идет об аресте цензоров А. В. Никитенко и С. С. Куторги за разрешение повести П. В. Ефебовского «Гувернантка» (Сын отечества, 1842, № 8), в которой было усмотрено оскорбление офицерства (см.: Г. в письмах, с. 266).

[^^^]

1093

В действительности «Сочинения» Гоголя в четырех томах были разрешены цензурным комитетом без вмешательства Николая I.

[^^^]

1094

Такое согласие было получено (см. следующее письмо). Щепкин и Живокини действительно обменялись ролями и после этого выступали в комедии более успешно.

[^^^]

1095

Фамилия «Анучкин» (от «онучи») была сочтена М. А. Гедеоновым неприличной для дворянина, в «Игроках» было уничтожено все, относящееся к «гусарской» характеристике Глова-сына. Фамилия «Чеботарев» оказалась заменена как существующая в действительности.

[^^^]

1096

Сваха лучше всех. (Примеч. С. Т. Аксакова.)

[^^^]

1097

Кроме пьес Гоголя, в бенефис Щепкина был поставлен переведенный с французского водевиль «Подставной и отставной».

[^^^]

1098

Действующие лица «Игроков».

[^^^]

1099

Эпиграф («На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Народная пословица») впервые появился в издании «Сочинений» 1842 г. Восклицания Загоскина отразились в гоголевской «Развязке «Ревизора» (реплика Семен Семенча).

[^^^]

1100

Речь идет о второй редакции «Тараса Бульбы», опубликованной в «Сочинениях». Она заметно отличалась от редакции сборника «Миргород» (1835).

[^^^]

1101

Сочинения и письма, т. 6, с. 3–8 (с пропуском); Аксаков, с. 98–102.

[^^^]

1102

От 16 (28) ноября 1842 г. и 21 ноября (3 декабря) 1842 г.

[^^^]

1103

Письмо неизвестно.

[^^^]

1104

В письме к М. С. Щепкину от 16 (28) ноября 1842 г.

[^^^]

1105

В письме от 16 (28) февраля 1843 г.

[^^^]

1106

См. то же письмо.

[^^^]

1107

Речь идет о втором издании «Мертвых душ».

[^^^]

1108

Аксакова.

[^^^]

1109

Гоголь пишет о книге «Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества, православной церковью установленные св. угодникам божиим, с кратким описанием их жития». М., 1838.

[^^^]

1110

РА, 1890, № 8, с. 123–125; Аксаков, с. 126–127. Печатается по этому изданию. Письмо сохранилось неполностью.

[^^^]

1111

О конфликте между Гоголем и Погодиным, вызвавшем это письмо, см. преамбулу к их переписке в 1 т. на с. 337–338. Сопроводительное письмо Гоголя к С. Т. Аксакову не сохранилось.

[^^^]

1112

От 31 августа (12 сентября) 1843 г.

[^^^]

1113

О. Сер. Аксакова.

[^^^]

1114

На этом сохранившийся текст письма обрывается.

[^^^]

1115

Кулиш, т. 2, с. 7 (неполностью); Аксаков, с. 128.

[^^^]

1116

Речь идет о моралистическом сочинении немецкого средневекового мистика Фомы Кемпийского «Подражание Христу»

[^^^]

1117

РА, 1890, № 8, с. 127–129; Аксаков, с. 130–132. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

Ответ Гоголя на данное письмо от 4 (16) мая 1844 г. см.: Акад., XII, № 184.

[^^^]

1118

Во время своего пребывания в Москве в 1842 г. Гоголь обещал С. Т. Аксакову, что второй том «Мертвых душ» будет завершен им через два года после напечатания первого, то есть в 1844 г. (Аксаков, с. 66).

[^^^]

1119

Кулиш, т. 2, с. 14–17 (неполностью); Аксаков, с. 138–144.

[^^^]

1120

Письмо датировано Гоголем 22 декабря, но имеет почтовый штемпель «21 декабря».

[^^^]

1121

От 16 ноября 1844 г. (см.: Аксаков, с. 136–137).

[^^^]

1122

Речь идет о письме от 4 (16) мая 1844 г., имевшем шутливый характер.

[^^^]

1123

С. Т. Аксаков сообщал Гоголю о смерти Е. В. Погодиной и своего друга – историка и археолога Д. М. Княжевича.

[^^^]

1124

Диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», завершенная в 1845 г., была представлена в университет в 1846 г., опубликована в том же году, защищена 6 марта 1847 г.

[^^^]

1125

Редактирование «Москвитянина» было передано Погодиным И. В. Киреевскому в конце 1844 г., однако после выпуска третьего номера за 1845 г. Киреевский оставил журнал.

[^^^]

1126

Гоголем названы темы реальных пушкинских сочинений: название «Русская изба» носит одна из глав незавершенного произведения, известного под заглавием «Путешествие из Москвы в Петербург», заметка «Державин» печатается в настоящее время в составе «Воспоминаний».

[^^^]

1127

В конце 1843 г. И. С. Аксаков был командирован на сенатскую ревизию в Астраханскую губернию, вернулся в ноябре 1844 г.

[^^^]

1128

Г. С. Аксаков служил во Владимире товарищем председателя Гражданской палаты.

[^^^]

1129

Речь идет о «Двух повестях» Жуковского и его статье о переводе «Одиссеи» – «Отрывок из письма» (М, 1845, № 1). Авдотья Петровна – А. П. Елагина.

[^^^]

1130

Сборник «56 стихотворений Н. М. Языкова» (М., 1844).

[^^^]

1131

РА, 1890, № 8, с. 143–144; Аксаков, с. 147–148. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1132

От 20 апреля (2 мая) 1845 г. Это письмо содержало в себе ответ на письмо С. Т. Аксакова, в котором тот уведомлял Гоголя о своей болезни глаз.

[^^^]

1133

Весной – летом 1845 г. Гоголь был тяжело болен.

[^^^]

1134

«Чиновник» и «Зимняя дорога».

[^^^]

1135

День именин Н. В. Гоголя.

[^^^]

1136

ЛН, т. 58, с. 802–804 (с пропуском); полностью публикуется впервые по автографу (ЦГАЛИ).

[^^^]

1137

В 1843–1844 гг. Т. Н. Грановский с огромным успехом читал в Московском университете публичный курс лекций по истории средних веков в Западной Европе. В 1844–1845 гг. с курсом лекций по древнерусской словесности выступил С. П. Шевырев.

[^^^]

1138

Речь идет о защите магистерских диссертаций Ю. Ф. Самариным («Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники», 3 июня 1844 г.) и Т. Н. Грановским («Волин, Иомсбург и Винета», 21 февраля 1845 г.).

[^^^]

1139

Подразумевается короткий период редакторства в журнале И. В. Киреевского (см. коммент. 6 к письму Гоголя к С. Т. Аксакову от 10 (22) декабря 1844 г.).

[^^^]

1140

В составленном славянофилами «Московском литературном и ученом сборнике на 1846 год» (М., 1846) была опубликована статья К. С. Аксакова – «Несколько слов о нашем правописании». Рецензия на составленный В. А. Соллогубом сборник «Вчера и сегодня» (кн. I. СПб., 1845) появилась лишь год спустя в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» («Три критические статьи г-на Имрек»).

[^^^]

1141

Видимо, речь идет о статье Хомякова «Мнения иностранцев о России» (М, 1845, № 4), «Обозрении современного состояния литературы» (М, 1845, № 1) и других опубликованных в «Москвитянине» работах И. В. Киреевского, а также статье П. В. Киреевского «О древней русской истории (Письмо к М. П. Погодину)» (М, 1845, № 3).

[^^^]

1142

Старорусская одежда пропагандировалась славянофилами как внешний признак самобытности, естественности, верности национальной традиции.

[^^^]

1143

РА, 1890, № 8, с. 148–151; Аксаков, с. 152–155. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1144

Радонежьем С. Т. Аксаков называл свое подмосковное имение Абрамцево (куплено в 1843 г.), находившееся в окрестностях древнерусского города Радонеж.

[^^^]

1145

В этом письме Гоголь сообщал об улучшении своего здоровья.

[^^^]

1146

Смирнова.

[^^^]

1147

Имеется в виду Н. Н. Шереметева.

[^^^]

1148

Речь идет, видимо, о земляках Гоголя, клеветавших на писателя (см. об этом в письме М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой от 23 мая 1843 г. и ответном письме В. С. Аксаковой от 31 мая 1843 г. – ЛН, т. 58, с. 662–663).

[^^^]

1149

То есть в Троице-Сергиеву лавру – монастырь в окрестностях Москвы (современный Загорск). Абрамцево расположено неподалеку от него.

[^^^]

1150

Работа над «Записками об уженье рыбы» была завершена в конце 1846 г., из печати книга вышла в 1847 г.

[^^^]

1151

БЗ, 1859, с. 104–105 (неполностью); Акад., XII, № 308.

[^^^]

1152

Кулиш, т. 2, с. 58–59 (с пропусками); Аксаков, с. 157–158.

[^^^]

1153

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

1154

Стихотворение датировано 7 февраля 1845 г. Опубликовано в «Московском литературном и ученом сборнике на 1846 год».

[^^^]

1155

Кулиш, т. 2, с. 59–60 (с пропусками); Аксаков, с. 158–159.

[^^^]

1156

РА, 1890, № 8, с. 157–160; Аксаков, с. 161–164. Печатается по этому изданию.

[^^^]

1157

Видимо, речь идет о письме от 17 апреля 1844 г.

[^^^]

1158

Статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», впоследствии вошедшая в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями», была впервые напечатана в редактируемом Плетневым журнале «Современник» (1846, № 7), а затем при посредничестве Н. М. Языкова перепечатана в «Московских ведомостях» (1846, № 89) и «Москвитянине» (1846, № 7). В письме к сыну Ивану Сергеевичу С. Т. Аксаков с восторгом отзывался о статье, оговариваясь однако: «Впрочем, я не верю в такое достоинство перевода и еще менее в такое действие «Одиссеи» на всех» (ЛН, т. 58, с. 683–684).

[^^^]

1159

Известие о печатании «Выбранных мест...» С. Т. Аксаков получил от Е. А. Свербеевой (см.: ЛН, т. 58, с. 686).

[^^^]

1160

См. коммент. к письмам М. П. Погодина к Гоголю от марта – мая 1847 г. в т. 1.

[^^^]

1161

Имеется в виду выпад О. И. Сенковского в его разборе стихотворений Александры Бедаревой (БдЧ, 1846, т. 78, Литературная летопись, с. 17–18).

[^^^]

1162

В 1846 г. Гоголь задумал осуществить в пользу бедных два издания (четвертое и пятое) и постановку «Ревизора». В связи с этим им были написаны «Предуведомление» и «Развязка «Ревизора», отразившие в себе переживаемый писателем кризис.

[^^^]

1163

В «Предуведомлении» (Акад., т. IV, с. 109–111) Гоголь просил всех читателей нового издания своей комедии собирать сведения об особо нуждающихся для оказания им помощи из средств, вырученных от продажи книги. «Предуведомление» содержало своеобразную инструкцию по сбору такого рода данных и завершалось списком лиц, которые, по предположению писателя, должны были взять на себя раздачу вспомоществований в Москве и Петербурге. В их числе была названа и В. С. Аксакова.

[^^^]

1164

Часть средств, вырученных от продажи «Сочинений» издания 1842 г., Гоголь думал раздать одаренным нуждающимся студентам Московского и Петербургского университетов.

[^^^]

1165

См. преамбулу к переписке Гоголя и Щепкина, а также письмо Щепкина к Гоголю от 22 мая 1847 г.

[^^^]

1166

Кулиш, т. 2, с. 95–96 (с пропусками); Аксаков, с. 172–173.

[^^^]

1167

От 9 декабря 1846 г.

[^^^]

1168

Имеется в виду помощь Гоголя нуждающимся студентам.

[^^^]

1169

Терявший зрение С. Т. Аксаков обычно диктовал свои произведения и письма кому-либо из членов семьи. Упоминаемое письмо к Гоголю было написано рукой К. С. Аксакова.

[^^^]

1170

РА, 1890, № 8, с. 164–165; Аксаков, с. 170–171. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1171

Письмо от 16 января 1847 г. содержало обзор мнений о «Выбранных местах...» и принадлежащую самому Свербееву критическую оценку книги (текст письма см.: Шенрок, т. 4, с. 519–523).

[^^^]

1172

См. преамбулу к переписке Гоголя с Погодиным в т. 1.

[^^^]

1173

Кулиш, т. 2, с. 97–99 (с пропусками); Аксаков, с. 174–177.

[^^^]

1174

В письме от 27 января 1847 г.

[^^^]

1175

Письмо Е. А. Свербеевой к Гоголю от 20 января 1847 г. (см.: Шенрок, т. 4, с. 524–525).

[^^^]

1176

От 22 февраля (6 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 128).

[^^^]

1177

Кулиш, т. 2, с. 99–100 (с пропусками); Аксаков, с. 178–179.

[^^^]

1178

Датировка Гоголя ошибочна.

[^^^]

1179

В письме от 2 июня 1847 г.

[^^^]

1180

Напротив, письмо Гоголя от 22 февраля (6 марта) 1847 г. было воспринято С. Т. Аксаковым как «самая радостная новость» (Аксаков, с. 177). Иначе отнесся корреспондент Гоголя к письму от 8 (20) января 1847 г.: «<...> теперь, после его ответа на мое письмо (от 9 декабря 1846 г. – А. К.), я уже не стану ни говорить, ни писать о нем, – писал Сергей Тимофеевич сыну Ивану 17 февраля 1847 г. – Ты не знаешь этого письма. Я перенес его спокойно и равнодушно; но самые кроткие люди, которые его прочли, приходили в бешенство» (Аксаков, с. 174).

[^^^]

1181

РА, 1890, № 8, с. 170–173 (без приписки); Аксаков, с. 179–182 (без приписки). Сверено с автографом (ЦГАЛИ). Приписка (рукой О. С. Аксаковой (?) публикуется впервые (ЦГАЛИ).

[^^^]

1182

Об этом эпизоде рассказано в письме И. С. Аксакова к отцу от 15 февраля 1847 г. из Калуги (см.: Аксаков, с. 174). Полный текст упоминаемого письма С. Т. Аксакова см.: Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 178–180.

[^^^]

1183

В действительности от 9 декабря.

[^^^]

1184

Письмо Гоголя к В. В. Львову от 8 (20) марта 1847 г. (Акад., XIII, № 140) являлось ответом на письмо Львова от 13 февраля (Шенрок, т. 4, с. 526–528), заключавшее в себе критический отзыв о «Выбранных местах...». Аксаковскую оценку письма Гоголя к Львову см.: Аксаков, с. 179.

[^^^]

1185

Сочинения и письма, т. 6, с. 418–423; Акад., XIII, № 210.

[^^^]

1186

Автобиографическая трилогия С. Т. Аксакова создавалась начиная с 1840 г., но особенно активно в последние десять лет жизни писателя («Семейная хроника» и «Воспоминания» были опубликованы в 1856 г., «Детские годы Багрова-внука» – в 1858 г.).

[^^^]

1187

Сочинения и письма, т. 6, с. 436–438; Аксаков, с. 187–188.

[^^^]

1188

Речь идет о письме Шевырева от 4 октября 1847 г. и письме Гоголя к С. Т. Аксакову от 16 (28) августа 1847 г., переданном адресату через Шевырева.

[^^^]

1189

РА, 1890, № 1, с. 152–156. Печатается по этому изданию.

[^^^]

1190

В апреле 1848 г. Гоголь вернулся на родину, 9 мая приехал в Васильевку.

[^^^]

1191

Не сохранилось.

[^^^]

1192

Статья «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», в которой Гоголь рекомендовал как средство успешного ведения хозяйства деление денег на семь куч соответственно различным статьям расходов.

[^^^]

1193

Глава «Просвещение» из «Выбранных мест...».

[^^^]

1194

Глава «Русской помещик».

[^^^]

1195

Эта тема была развита К. С. Аксаковым в статье «Опыт синонимов. Публика – народ», вызвавшей запрещение газеты «Молва», где она была опубликована (Молва, 1857, № 36). Аксаков писал: «Публика является над народом, как будто его привилегированное выражение; в самом деле публика есть искажение идеи народа. <...> публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь». Происхождение анекдота о «народе» и «публике» связывалось с именем Гоголя (Шенрок, т. 4, с. 511).

[^^^]

1196

Имеются в виду революционные события 1848 г.

[^^^]

1197

«О возможности русской художественной школы» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847).

[^^^]

1198

Очевидно, подразумевается глава «Споры» «Выбранных мест...».

[^^^]

1199

РА, 1890, № 8, с. 178–179; Аксаков, с. 191–192.

[^^^]

1200

Л. С. Аксакова.

[^^^]

1201

Они привезли мне ваше милое письмецо, которое мне было целебно. (Примеч. С. Т. Аксакова.)

[^^^]

1202

21 мая – день именин К. С. Аксакова.

[^^^]

1203

Освобождение Москвы в 1612 году. М., 1848.

[^^^]

1204

Речь идет о рецензии, напечатанной в «Москвитянине» (1848, № 5) и заключавшей в себе всестороннюю критику драмы.

[^^^]

1205

Кулиш, т. 2, с. 132–134 (с пропусками); Аксаков, с. 190–191.

[^^^]

1206

РА, 1890, № 1, с. 157–158. Печатается по этому изданию.

Датируется на основании упоминания о письме Гоголя от 3 июня 1848 г. и того факта, что письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 12 июля 1848 г. еще не известно К. С. Аксакову.

[^^^]

1207

Возможно, речь идет о статье К. С. Аксакова «О современном литературном споре», запрещенной в 1848 г. цензурой и опубликованной лишь в 1863 г. (Русь, № 7).

[^^^]

1208

Кулиш, т. 2, с. 204–206 (с пропусками); Аксаков, с. 194–195.

[^^^]

1209

Вместе с письмом от 21 июня 1848 г. (Аксаков, с. 193–194) С. Т. Аксаков отправил Гоголю свои «Записки об уженье рыбы» (М., 1848) и «Освобождение Москвы в 1612 году» К. С. Аксакова.

[^^^]

1210

У меня был изнурительный понос, расслабивший меня до nec plus ultra <до крайности> (disenteria). (Примеч. Н. В. Гоголя.)

[^^^]

1211

См. коммент. к предыдущему письму.

[^^^]

1212

21 июня С. Т. Аксаков писал Гоголю относительно драмы своего сына: «Если бы я не был отцом сочинителя, то непременно напечатал бы о ней критическую статью. Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее» (Аксаков, с. 193).

[^^^]

1213

О Щепкине.

[^^^]

1214

РА, 1890, № 8, с. 187–188; Аксаков, с. 200–201. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

Написано в ответ на требование Гоголя высказать замечания на прочитанную им Аксаковым 18 августа 1849 г. первую главу второго тома «Мертвых душ».

[^^^]

1215

Речь идет о персонаже второго тома – учителе Тентетникова.

[^^^]

1216

Об этом случае рассказано в письме И. С. Аксакова из Рыбинска от 20 августа 1849 г. (И. С. Аксаков в его письмах, т. 2, с. 214–215).

[^^^]

1217

РА, 1890, № 8, с. 193; Аксаков, с. 211. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1218

25 декабря – день рождества Христова.

[^^^]

1219

В драме К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» большинство бояр было изображено негативно, в том числе и представители семей Салтыковых и Трубецких.

[^^^]

1220

Шумно встреченная публикой при своем появлении на сцене, драма К. С. Аксакова была запрещена после первого представления.

[^^^]

1221

РА, 1890, № 1, с. 158–159. Печатается по этому изданию.

Датируется на основании упоминания о постановке драмы К. С. Аксакова (14 декабря 1850 г.) и по связи с предыдущим письмом.

[^^^]

1222

В связи с постановкой «Освобождения Москвы» попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов писал министру просвещения П. А. Ширинскому-Шихматову: «Драма Аксакова хотя и написана в духе православия, однако содержит в себе такие мысли, которые легко могут возбудить в простом народе враждебное расположение против высших сословий и вообще подать повод к превратным истолкованиям <...> во время представления этой драмы на московской сцене <...> был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр раек кричал: «Правда, правда!» (Барсуков, кн. 9, с. 463).

[^^^]

1223

Имеется в виду народ на сцене.

[^^^]

1224

Этот замысел остался неосуществлен.

[^^^]

1225

В 1850 г. К. С. Аксаков по совету Гоголя побывал на Украине. 5 декабря 1850 г. С. Т. Аксаков извещал Гоголя: «Константин, Вера и Надя съездили в Киев и остались очень довольны своим путешествием <...>. Малороссия поэтически подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Константина» (Аксаков, с. 209–210).

[^^^]

1226

Сочинения и письма, т. 6, с. 540 (с пропусками); Акад., XIV, № 243.

[^^^]

1227

Речь идет о «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова.

[^^^]

1228

Выехав из Москвы 22 сентября, Гоголь намеревался навестить в Васильевке родных, а зиму провести в Крыму, однако по дороге почувствовал себя больным и вернулся.

[^^^]

1229

РА, 1890, № 8, с. 195; Аксаков, с. 218. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

[^^^]

1230

Кулиш, т. 2, с. 255 (с пропуском); Аксаков, с. 218–219.

На подлиннике записки помета С. Т. Аксакова: «Последняя записка Гоголя в 1852 г.» (Аксаков, с. 219).

[^^^]

1231

Сочинения и письма, т. 6, с. 99–104 (с пропуском); Акад., XII, № 218.

[^^^]

1232

Письмо Смирновой от 23–26 сентября 1844 г. (РС, 1888, № 7, с. 56–60).

[^^^]

1233

В 1844 г. Смирнова возвратилась в Петербург после длительного пребывания за границей. 26 сентября она писала Гоголю: «Я чувствую, как увлекаюсь в Петербурге – не чем дурным, но пустотою... Странный город, имеющий особенную способность наводить глупое уныние на душу» (РС, 1888, № 7, с. 57).

[^^^]

1234

С. М. Соллогуб.

[^^^]

1235

Смирнова так характеризовала этот эпизод: «Оно хоть и невинно, но подло и пошло и удивило хозяев и гостей. Он жил два дня у Самарина, и тот питает к нему немалое презрение» (там же, с. 58).

[^^^]

1236

В том же письме Смирнова признавалась Гоголю, что, несмотря на упреки знакомых, она не желает брать к себе в дом свою родственницу.

[^^^]

1237

Н. М. Смирнова, мужа А. О. Смирновой.

[^^^]

1238

На этот вопрос Смирновой Гоголь ответил ей позже, в письме от 12 (24) декабря 1844 г.: «<...> сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (Акад., XII, с. 419).

[^^^]

1239

См. переписку Гоголя с Плетневым в т. 1 на с. 244–246.

[^^^]

1240

Имя Никколо Макиавелли стало нарицательным для политика, допускающего любые средства к достижению цели, пренебрегающего нормами морали.

[^^^]

1241

По-видимому, здесь говорится о М. П. Погодине, об осложнившихся отношениях с которым свидетельствуют письма к нему Гоголя, написанные около 21 октября (2 ноября) 1843 г. и 2 (14) февраля 1844 г. (Акад., XII, № 150 и 163).

[^^^]

1242

Вероятно, здесь речь идет о поступке Погодина, опубликовавшего в № 11 «Москвитянина» за 1843 г. литографию П. Зенькова с портрета Гоголя работы А. А. Иванова, не согласовав это с Гоголем.

[^^^]

1243

А. И. Тургеневу.

[^^^]

1244

См. переписку Гоголя с Плетневым в т. 1 на с. 244–246.

[^^^]

1245

А. О. Россету, брату А. О. Смирновой.

[^^^]

1246

РС, 1888, № 10, с. 132–135. Печатается по этому изданию.

Ответ на письмо Гоголя от 12 (24) октября 1844 г.

[^^^]

1247

Письмо Плетнева к Гоголю от 27 октября 1844 г. в т. 1, на с. 246.

[^^^]

1248

Ф. И. Толстой. С. Т. Аксаков вспоминал: «Я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь» (Аксаков, с. 40).

[^^^]

1249

В первой главе «Мертвых душ»: «...только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания...»

[^^^]

1250

Очевидно, аистов.

[^^^]

1251

На этот вопрос Смирновой Гоголь ответил ей позже, в письме от 12 (24) декабря 1844 г.: «<...> сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (Акад., XII, с. 419).

[^^^]

1252

М. М. Вьельгорскому, служившему при русском посольстве в Берлине.

[^^^]

1253

Книгу Ю. Ф. Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» (М., 1844).

[^^^]

1254

Имеется в виду Николай I.

[^^^]

1255

РС, 1888, № 10, с. 136–139. Печатается по этому изданию.

[^^^]

1256

Дочери.

[^^^]

1257

Хомяков А. Царь Федор Иоаннович. – Библиотека для воспитания. Ч. 1. М., 1844, с. 215–238.

[^^^]

1258

Там же, с. 237–238.

[^^^]

1259

Шевырев С. Жизнь Рафаэля. Ч. 1 (там же, с. 267–293).

[^^^]

1260

В. А. Жуковскому.

[^^^]

1261

Книгу Ю. Ф. Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» (М., 1844).

[^^^]

1262

Речь идет о письме П. Я. Чаадаева к гр. Сиркуру от 15 января 1845 г. (в русском переводе дано в «Вестнике Европы», 1900, № 12, с. 472–476), отправленном адресату через А. И. Тургенева вместе с письмом к нему от 15 февраля 1845 г. Сиркуру Чаадаев писал о публичном курсе истории русской словесности, прочитанном С. П. Шевыревым зимой и весной 1844–1845 гг. и явившемся как бы ответным манифестом славянофилов на публичные лекции по истории средних веков, прочитанные Т. Н. Грановским в 1843–1844 гг.

[^^^]

1263

Слова Христа, обращенные к Марфе в эпизоде с Марфой и Марией, по-русски звучат так: «Марфа, Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно...» (Евангелие от Луки, гл. 10, стих 41–42).

[^^^]

1264

Живя в Ницце зимой 1843–1844 гг., Гоголь требовал от Смирновой, чтобы та заучивала наизусть псалмы.

[^^^]

1265

Св. Франциск Сальский... «Я сам – целая епархия, которой труднее руководить, чем 10 000 душами». Св. Франциск (фр.).

[^^^]

1266

О ком идет речь, неясно.

[^^^]

1267

Вероятно, здесь говорится о переживаниях царской семьи, вызванных смертью великой княгини Александры Николаевны.

[^^^]

1268

Жена Жуковского.

[^^^]

1269

Дочь А. О. Смирновой.

[^^^]

1270

Кулиш, т. 2, с. 23–25 (с пропусками). Печатается по изданию: РС, 1888, № 10, с. 141–145.

[^^^]

1271

Имеется в виду написанное между 19 ноября и 2 декабря (1 и 14 декабря) 1844 г. письмо Гоголя к Плетневу, с содержанием которого связано настоящее письмо Смирновой.

[^^^]

1272

Отчета о деньгах, вырученных от продажи «Сочинений».

[^^^]

1273

В Москве помощь нуждающимся студентам Гоголь поручал организовать Шевыреву и С. Т. Аксакову.

[^^^]

1274

Св. Франциск Сальский... «Мы наслаждаемся мыслью о том, как нам быть добрыми ангелами, и забываем, что прежде всего наш долг – быть добрыми людьми» (фр.).

[^^^]

1275

Изречения из Евангелия от Матфея, гл. 6, стих 2–3, гл. 5, стих 16.

[^^^]

1276

Перретта с кувшином на голове (фр.). Цитата из басни Лафонтена «Молочница и кувшин с молоком» («La laitière et le pot au lait»), в которой рассказывается, как молочница несла молоко на продажу, мечтая о вырученных деньгах, но споткнулась, разлила молоко, и все мечты оказались пустыми.

[^^^]

1277

А. Н. Карамзин был ранен, воюя на Кавказе. Его письма к матери, написанные после ранения, см.: Старина и новизна, кн. 19. Пг., 1915, с. 17–26.

[^^^]

1278

Александры Федоровны.

[^^^]

1279

М. М. Вьельгорскому.

[^^^]

1280

«Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого» были изданы в Петербурге в 1825–1826 гг. в 15-ти частях. В 1836 г. в Москве полное издание его сочинений было предпринято Синодом. Возможно, Смирнова имеет в виду синодальное издание, которое неоднократно переиздавалось.

[^^^]

1281

«Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники».

[^^^]

1282

В 1844 г. в Москве вышли сочинения А. С. Стурдзы: «Нечто о философии христианской», «Нечто об этимологии и эстетике по отношению к истории и к науке древностей» и 4-е издание «Писем о должностях священного сана».

[^^^]

1283

Кулиш, т. 2, с. 26–33 (с пропусками); Акад., XII, № 240.

[^^^]

1284

Видимо, 28 декабря письмо было лишь начато, так как отправлено оно было только 15 марта 1845 г. Судя по тому, что данное письмо является ответом на письмо Смирновой от 18 декабря 1844 г., дата «28 декабря» поставлена по старому стилю.

[^^^]

1285

В прочтенном Смирновой письме Гоголь писал Плетневу: «Просьба эта должна быть исполнена во всей силе. Никаких на это представлений или возражений. <...> Воля друга должна быть священна» (между 19 ноября (1 декабря) и 2 (14) декабря 1844 г.).

[^^^]

1286

Новый завет. Изречение из Послания к римлянам, гл. 14, стих 5 (русский перевод: «Всякий поступает по удостоверению своего ума»).

[^^^]

1287

Н. М. Смирновым.

[^^^]

1288

В письме к Гоголю от 27 октября 1844 г., ответом на которое и явилось письмо Гоголя к Плетневу, прочтенное Смирновой.

[^^^]

1289

В 1836 г.

[^^^]

1290

Гоголь прежде всего имеет в виду Плетнева, Погодина и Шевырева.

[^^^]

1291

В 1841 г.

[^^^]

1292

Эти взгляды Гоголя развиты в его статье «О «Современнике» (1846).

[^^^]

1293

Об этом Плетнев писал Гоголю 27 октября 1844 г.

[^^^]

1294

Гоголь говорит о том же письме.

[^^^]

1295

Так Плетнев характеризовал московских друзей Гоголя.

[^^^]

1296

Пересказ Евангелия от Луки, гл. 15, стих 7.

[^^^]

1297

Книга Фомы Кемпийского.

[^^^]

1298

Сочинения и письма, т. 6, с. 174–177 (с пропусками); Акад., XII, № 259.

[^^^]

1299

Письмо опубликовано: СВ, 1893, № 1, с. 246–250.

[^^^]

1300

О том же в апреле 1845 г. писал Смирновой Жуковский: «Здоровье Гоголя требует решительных мер; ему надобно им заняться исключительно, бросив на время перо, и ни о чем другом не хлопотать, как о восстановлении своей машины. Живучи у меня, во всю почти зиму, он ничего не написал, и неудачные попытки писать только раздражили его нервы» (Жуковский В. А. Сочинения, т. VI. СПб., 1878, с. 524).

[^^^]

1301

Смирнова писала Гоголю, что, судя по опыту ее брата А. О. Россета, система лечения Присница малоэффективна.

[^^^]

1302

«Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1303

Изречение из Евангелия от Матфея, гл. 5, стих 16.

[^^^]

1304

С апреля 1844 г. по май 1845 г. Гоголь подолгу жил у Жуковского во Франкфурте.

[^^^]

1305

«Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого» были изданы в Петербурге в 1825–1826 гг. в 15-ти частях. В 1836 г. в Москве полное издание его сочинений было предпринято Синодом. Возможно, Смирнова имеет в виду синодальное издание, которое неоднократно переиздавалось.

[^^^]

1306

М. М. Вьельгорский.

[^^^]

1307

Письмо от 28 декабря 1844 (9 января 1845) г.

[^^^]

1308

Письмо от 12 (24) февраля 1845 г. (Акад., XII, № 249).

[^^^]

1309

Письмо А. А. Иванова к Смирновой от 31 января (12 февраля) 1845 г. (Боткин М. А. А. Иванов, его жизнь и переписка. СПб., 1880, с. 176–179).

[^^^]

1310

РС, 1890, № 6, с. 639–642. Печатается по фотокопии автографа (ЦГАЛИ).

[^^^]

1311

Список книг, которые Гоголь просил Смирнову купить для него, см. в его письме от 23 мая (4 июня) 1845 г. (Акад., XII, № 270).

[^^^]

1312

Речь идет о пенсионе, назначенном Гоголю из сумм государственного казначейства.

[^^^]

1313

Л. К. Вьельгорская.

[^^^]

1314

В. А. Соллогуб.

[^^^]

1315

В. А. Соллогуб вспоминал: «С женитьбой мой образ жизни мало изменился; я, каюсь, не родился домоседом и часто злоупотреблял слабостью, свойственной всем пишущим людям, гнаться всюду и везде. Теща моя, графиня Луиза Карловна, как это было известно всему Петербургу, сильно ко мне не благоволила, но <...> я не обращал внимания на ее замечания» (Соллогуб В. А. Воспоминания. М. – Л., 1931, с. 402–403).

[^^^]

1316

С А. М. Вьельегорской. 6 (18) июня 1845 г. Гоголь писал Смирновой: «Постарайтесь сойтись поболее и потеснее с Анной Михаловной. <...> она будет вам более всех теперь нужна, и вы будете нужны ей, укрепляя, бодря, освежая ее и заставляя ее действовать» (Акад., XII, № 274).

[^^^]

1317

23 мая (4 июня) 1845 г. Гоголь писал Смирновой: «Вы спрашиваете, как познакомиться со стариком Аксаковым. Приехавши в Москву, пошлите прямо за ним, чтобы он приехал к вам. Скажите, что это мое желание. Отыщите также старушку Шереметьеву; скажите также, что я велел вам с нею познакомиться. В минуты трудные она вам будет очень полезна. Навестите также Языкова. <...> Прочих всех можете увидеть у Хомякова, который даст для вас вечер и на нем покажет вам всех» (Акад., XII, № 270). 24 мая (5 июня) 1845 г. Гоголь писал Н. М. Языкову: «В Москве будет, вероятно, на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно. Это же посоветуй Серг. Т. Аксакову и даже Н. Н. Шереметьевой. Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе» (Акад., XII, № 272).

[^^^]

1318

Повесть В. А. Соллогуба, вышедшая полностью в 1845 г.

[^^^]

1319

Статья П. А. Плетнева «О «Тарантасе», новом сочинении графа В. А. Соллогуба» (С, 1845, т. 38).

[^^^]

1320

Разбор «Тарантаса» Ю. Ф. Самариным вышел в «Московском литературном и ученом сборнике на 1846 год», за подписью «М...З...К...» в разделе «Критика».

[^^^]

1321

Александры Федоровны.

[^^^]

1322

Сочинения и письма, т. 6, с. 204–206 (с пропусками); Акад., XII, № 279.

[^^^]

1323

Письма от 6 июня 1845 г. (Северный вестник, 1893, № 1, с. 262–263) и от 19 июня 1845 г.

[^^^]

1324

Гоголь имеет в виду замысел второго и третьего тома «Мертвых душ».

[^^^]

1325

Слова из молитвы «Отче наш».

[^^^]

1326

На Мясницкой (ныне – ул. Кирова) находилась церковь св. Евпла. Егупл – простонародное произношение имени Евпл.

[^^^]

1327

Вероятно, имеется в виду «Апология во утоление печали человека сущего в беде гонении и озлоблении вкраце сложенная по совету св. апостола Павла глаголющего: утешайте друг друга и созидайте коиждо ближнего», входившая в собрание сочинений Димитрия Ростовского, неоднократно издававшееся в первой половине XIX в.

[^^^]

1328

В Ницце, зимой 1843–1844 гг.

[^^^]

1329

Сочинения и письма, т. 6, с. 207–210; Акад., XII, № 282.

Мысли, выраженные в данном письме, Гоголь впоследствии развил в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в статьях «Женщина в свете» и «Что такое губернаторша».

[^^^]

1330

РС, 1890, № 6, с. 648–651 (с пропусками). Печатается по копии В. И. Шенрока (ГБЛ).

[^^^]

1331

Письмо от 30 августа (11 сентября) 1845 г. (см.: Акад., XII, № 285).

[^^^]

1332

Речь идет о пенсионе, назначенном Гоголю из сумм государственного казначейства.

[^^^]

1333

План путешествия императрицы Александры Федоровны изменился, и Жуковский встретился с нею не в Нюрнберге, а в Берлине.

[^^^]

1334

То есть московских славянофилов.

[^^^]

1335

Марией Александровной, женой наследника, будущего Александра II.

[^^^]

1336

В 1845 г. умерла дочь великого князя Михаила Павловича, Елизавета Михайловна (1826–1845).

[^^^]

1337

Лето 1845 г. Смирнова провела в Павлино у Вьельгорских.

[^^^]

1338

В Симбирске.

[^^^]

1339

При открытии памятника Погодин произнес «Историческое похвальное слово Карамзину», опубликованное затем отдельной брошюрой в Москве в 1845 г. и получившее высокую оценку Гоголя (статья «Карамзин» в «Выбранных местах из переписки с друзьями»).

[^^^]

1340

Смирнова не совсем точно цитирует тост А. Н. Карамзина, произнесенный на торжественном обеде в честь открытия памятника и опубликованный М. Погодиным в «Письме из Симбирска об открытии памятника Карамзину» (М, 1845, № 9, с. 13).

[^^^]

1341

Там же, с. 14 (цитата неточная).

[^^^]

1342

Смирнова неоднократно ходатайствовала о денежном вспомоществовании А. А. Иванову.

[^^^]

1343

Вероятно, речь идет о работе А. А. Иванова над картиной «Явление Христа народу», продолжавшейся с 1837 по 1857 г.

[^^^]

1344

30 августа (11 сентября) 1845 г. Гоголь писал Смирновой из Греффенберга: «Попросите доброго вашего священника Наумова отслужить напутственный молебен о благополучном путешествии и выздоровлении двух путешественников: вас в Калугу и меня в Рим» (Акад., XII, № 285).

[^^^]

1345

РС, 1890, № 6, с. 653–656. Печатается по фотокопии автографа (ЦГАЛИ).

[^^^]

1346

Вероятно, речь идет о письмах Гоголя к Смирновой от 12 (24) октября 1845 г. и от 15 (27) октября 1845 г. (Акад., XII, № 297 и 299).

[^^^]

1347

Это был первый приезд Смирновой в Калугу.

[^^^]

1348

Последние два года жизни (1826–1828) Ю. А. Нелединский-Мелецкий провел в Калуге у дочери, А. Ю. Оболенской, муж которой занимал место калужского губернатора.

[^^^]

1349

То есть о французской палате депутатов.

[^^^]

1350

Имеется в виду «немецко-католическое» движение, возглавляемое И. Ронге, в 1845 г. на съезде в Лейпциге составившее собственный символ веры, по сути протестантский.

[^^^]

1351

Дочь Смирновой.

[^^^]

1352

А. П. Дурново была дочерью П. М. Волконского (1776–1852), участника войны 1812 г., состояла в родстве с декабристом С. Г. Волконским (1788–1850).

[^^^]

1353

С 1 (13) по 5 (17) декабря 1845 г. Николай I находился в Риме.

[^^^]

1354

РС, 1890, № 7, с. 195–201 (с пропусками). Печатается по фотокопии автографа (ЦГАЛИ).

[^^^]

1355

В конце 1845 г. Гоголь познакомился и подружился с приехавшей в Рим семьей С. П. Апраксиной.

[^^^]

1356

В конце 1845 г. Л. Виардо перевел с помощью И. С. Тургенева и издал в Париже повести Гоголя «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий».

[^^^]

1357

Статья Сент-Бёва «Русские повести Николая Гоголя» – «Revue des deux mondes», 1845, 1 декабря.

[^^^]

1358

Смирнова говорит о брошюре К. Аксакова «Несколько слов о поэме Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (см. на с. 6–7).

[^^^]

1359

вы получили крещение на Западе (фр.).

[^^^]

1360

Это сообщение очень заинтересовало Гоголя. В ответном письме Смирновой от 20 февраля (4 марта) 1846 г. он просил ее: «<...> известите меня о раскольниках, какие находятся в Калужской губернии, именно: 1-е. Каких из них больше. 2-е. В чем состоит их раскол и в каком он теперь состоянии. 3<-е>. Каковы они в жизни, в работе, в трудах, как в крестьянском, так и в купеческом или мещанском состоянии сравнительно с православными. Об этом не позабудьте впереди письма, а потом обо всем прочем» (Акад., XIII, № 11).

[^^^]

1361

...*умеренных, тепловатых* (фр.). Вероятно, Смирнова имеет в виду слова из Апокалипсиса: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (гл. 3, стих 15–16).

[^^^]

1362

У Самарина с отцом были сложные отношения. 8 мая 1846 г. Смирнова сообщала Гоголю: «Он служит по желанию отца, и служит с ужасным убеждением, что ничего нельзя сделать для России» (РС, 1890, № 7, с. 208). См. об этом же и в письмах Самарина к Гоголю (там же, с. 167–176).

[^^^]

1363

Форум Траяна (ит.). Площадь в Риме.

[^^^]

1364

Сочинения и письма, т. 6, с. 230–235 (с пропусками); Акад., XIII, № 7.

[^^^]

1365

Ошибка Гоголя: письмо не от 12, а от 16 декабря 1845 г.

[^^^]

1366

К русским художникам, пенсионерам Академии художеств.

[^^^]

1367

«Явление Христа народу».

[^^^]

1368

То есть решить вопрос о денежном вспомоществовании А. А. Иванову.

[^^^]

1369

Александры Федоровны.

[^^^]

1370

Великого князя.

[^^^]

1371

смесь (ит.).

[^^^]

1372

Письмо Гоголя к Ю. Ф. Самарину от 22 декабря 1845 г. (3 января 1846 г.) (Акад., XIII, № 2).

[^^^]

1373

РС, 1890, № 7, с. 204–206 (с пропусками). Печатается по фотокопии автографа (ЦГАЛИ).

[^^^]

1374

Об «уездном судье М*** уезда» Гоголь упомянул в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в статье «Что такое губернаторша».

[^^^]

1375

Стихотворение Лермонтова «А. О. Смирновой» (ОЗ,1840, № 10, с. 229).

[^^^]

1376

Около 8 (20) ноября 1845 г. Гоголь писал К. С. Аксакову: «Ко мне дошли слухи, что вы <...> носите бороду, русский кафтан и проч.» – и уговаривал его «не быть отличну от других своим нарядом и не отделять себя от общества».

[^^^]

1377

Е. П. Растопчиной.

[^^^]

1378

РС, 1890, № 7, с. 208–212 (с пропусками). Печатается по фотокопии автографа (ЦГАЛИ).

[^^^]

1379

Письмо Смирновой от 14 апреля 1846 г. (РС, 1890, № 7, с. 206–207), которое является ответом на письмо Гоголя от 20 февраля (4 марта) 1846 г. (Акад., XIII, № 11).

[^^^]

1380

пасьянс (фр.).

[^^^]

1381

К. С. Аксаков.

[^^^]

1382

Вероятно, Л. К. Вьельгорская.

[^^^]

1383

Цитата из Евангелия от Иоанна, гл. 14, стих 27.

[^^^]

1384

К В. А. Жуковскому.

[^^^]

1385

Образ навеян греческой мифологией, согласно которой Афина Паллада родилась из головы Зевса.

[^^^]

1386

бюллетень (фр.).

[^^^]

1387

С. М. Соллогуб.

[^^^]

1388

Л. К. и А. М. Вьельгорские.

[^^^]

1389

Л. К. Вьельгорская была католичкой, а дети ее были крещены в православную веру. О характере Л. К. Вьельгорской см. в преамбуле к переписке Гоголя с Вьельгорскими. Смирнова была дружна с Л. К. и А. М. Вьельгорскими. Данное письмо свидетельствует лишь об определенном периоде их отношений.

[^^^]

1390

С. М. Соллогуб и А. М. Веневитинова.

[^^^]

1391

Вьельгорский Михаил Юрьевич и его брат, Матвей Юрьевич.

[^^^]

1392

1846 г. А. А. Кавелин в связи с расстроенным состоянием здоровья вынужден был оставить должность петербургского военного генерал-губернатора, которую он занимал с 1842 г.

[^^^]

1393

«Письма» («Epistulae») составляют значительную часть литературного наследия Плиния Младшего и представляют собой подлинную переписку, создававшуюся, однако, с целью последующего ее обнародования.

[^^^]

1394

Сочинения и письма, т. 6, с. 269 (с пропусками); Акад., XIII, № 58.

[^^^]

1395

Смирнова в это время была серьезно больна.

[^^^]

1396

«Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

1397

А. В. Никитенко.

[^^^]

1398

Гоголь хотел держать книгу в тайне до выхода ее в свет. Однако Никитенко не выполнил этого условия и читал отрывки из «Выбранных мест...» своим знакомым.

[^^^]

1399

Сочинения и письма, т. 6, с. 344–348 (с пропусками); Акад., XIII, № 119.

[^^^]

1400

Письмо Смирновой от 11 января 1847 г. (РС, 1890, № 8, с. 282–284).

[^^^]

1401

«Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

1402

См. т. 1, с. 278–280.

[^^^]

1403

Книгу показали не Николаю, а наследнику, и тот согласился с мнением цензуры.

[^^^]

1404

Сочинения и письма, т. 6, с. 474–475 (с пропусками); Акад., XIV, № 64.

[^^^]

1405

Письмо Смирновой от 20 октября 1848 г. (РС, 1890, № 11, с. 355–357).

[^^^]

1406

В это время у Н. М. Смирнова были крупные служебные неприятности: он поссорился с вице-губернатором и тот начал писать на него доносы. Дело это закончилось тем, что Смирнову пришлось оставить Калугу.

[^^^]

1407

20 октября 1848 г. Смирнова просила Гоголя заняться младшей дочерью С. Т. Аксакова, Машей (РС, 1890, № 11, с. 356).

[^^^]

1408

Веры Сергеевны и Надежды Сергеевны.

[^^^]

1409

В 1848 г. В. А. Соллогуб начал читать жене и свояченице лекции по русской истории и русской литературе; впрочем, занятия эти продолжались недолго.

[^^^]

1410

Сочинения и письма, т. 6, с. 492 (с пропусками); Акад., XIV, № 119.

[^^^]

1411

С. И. Соллогуб, мать В. А. Соллогуба.

[^^^]

1412

Жена А. Н. Карамзина, Аврора Карловна, в первом браке была замужем за богачом П. Н. Демидовым.

[^^^]

1413

Сочинения и письма, т. 6, с. 494–495 (с пропусками); Акад., XIV, № 129.

[^^^]

1414

Недатированное письмо Смирновой (РС, 1890, № 11, с. 359–360).

[^^^]

1415

В это время у Н. М. Смирнова были крупные служебные неприятности: он поссорился с вице-губернатором и тот начал писать на него доносы. Дело это закончилось тем, что Смирнову пришлось оставить Калугу.

[^^^]

1416

Эта фраза перекликается с финалом «Невского проспекта»: «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! <...> сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».

[^^^]

1417

О том же пишет Гоголь в «Развязке «Ревизора»: «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад».

[^^^]

1418

ВЕ, 1889, № 10, с. 475–476. Печатается по этому изданию.

Опубликовано с ошибочной датировкой. Датируется 1839 г. по дате смерти султана Махмуда II.

[^^^]

1419

Смерть И. М. Вьельгорского.

[^^^]

1420

И. М. Вьельгорского.

[^^^]

1421

Вьельгорский говорит о возобновившемся в июне 1839 г. турецко-египетском конфликте и о смерти турецкого султана Махмуда II 1 июля 1839 г.

[^^^]

1422

Николай I.

[^^^]

1423

Англия, Австрия, Пруссия и Россия вмешались в турецко-египетский конфликт и на Лондонской конференции 1840 г. договорились о совместной военной помощи Турции.

[^^^]

1424

Дневнике, журнале (ит.).

[^^^]

1425

в русское консульство (фр.).

[^^^]

1426

ВЕ, 1889, № 10, с. 478–479; Акад., XII, № 171.

[^^^]

1427

А. М. Вьельгорская и С. М. Соллогуб.

[^^^]

1428

ВЕ, № 10, с. 480–481; Акад., XII, № 177.

[^^^]

1429

Кто здесь имеется в виду, неизвестно.

[^^^]

1430

«Анна» на древнееврейском языке означает «благодать».

[^^^]

1431

М. М. Вьельгорского.

[^^^]

1432

М. П. Балабиной.

[^^^]

1433

ВЕ, 1889, № 10, с. 481–482 (с пропуском); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1434

Игра слов: «paradis» (здесь – фамилия домовладелицы) по-французски означает «рай».

[^^^]

1435

М. М. Вьельгорский служил по дипломатической части.

[^^^]

1436

В. А. Соллогуб вспоминал: «С женитьбой мой образ жизни мало изменился; я, каюсь, не родился домоседом и часто злоупотреблял слабостью, свойственной всем пишущим людям, гнаться всюду и везде. Теща моя, графиня Луиза Карловна, как это было известно всему Петербургу, сильно ко мне не благоволила, но <...> я не обращал внимания на ее замечания» (Соллогуб В. А. Воспоминания. М. – Л., 1931, с. 402–403).

[^^^]

1437

А. М. Вьельгорская.

[^^^]

1438

Письмо Гоголя к А. М. Вьельгорской от 31 марта (12 апреля) 1844 г.

[^^^]

1439

ВЕ, 1889, № 10, с. 482–483. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1440

Письмо Гоголя к А. М. Вьельгорской от 31 марта (12 апреля) 1844 г.

[^^^]

1441

с вашей обычной снисходительностью (фр.).

[^^^]

1442

ВЕ, 1889, № 10, с. 489–490. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1443

Ф. Бойен.

[^^^]

1444

Возможно, имеется в виду графиня Гогенталь, которая находилась в это время с Вьельгорскими в Париже и «была недалека от смерти» (Шенрок, т. 4, с. 307).

[^^^]

1445

Не исключено, что имеется в виду Л. Я. Лазарев, муж двоюродной сестры А. М. Вьельгорской, А. Лазаревой, урожденной Бирон. Как видно из переписки, Лазаревы жили в это время вместе с Вьельгорскими в Париже.

[^^^]

1446

в его поведении (фр.).

[^^^]

1447

Александра Петровича и его жену, Анну Георгиевну.

[^^^]

1448

ВЕ, 1889, № 10, с. 490–491; Акад., XII, № 227.

[^^^]

1449

Речь идет о работе над вторым томом «Мертвых душ».

[^^^]

1450

Шенрок, т. 4, с. 930. Печатается по этому изданию.

[^^^]

1451

ВЕ, 1889, № 11, с. 89–90. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1452

Имеется в виду письмо Гоголя Л. К. и А. М. Вьельгорским от 21 февраля (5 марта) 1845 г., в котором он сообщает, что благополучно добрался из Парижа во Франкфурт (Акад., XII, № 252).

[^^^]

1453

Софья Владимировна Соллогуб, дочь С. М. Соллогуб.

[^^^]

1454

бабушке Соллогуб (фр.).

[^^^]

1455

А. М. Вьельгорской.

[^^^]

1456

господин (англ.).

[^^^]

1457

А. Г. и А. П. Толстыми.

[^^^]

1458

И. П. Толстой.

[^^^]

1459

А. П. Толстого.

[^^^]

1460

О чем идет речь, неизвестно.

[^^^]

1461

А. М. Веневитинова, дочь Л. К. Вьельгорской.

[^^^]

1462

А. И. Тургеневу.

[^^^]

1463

М. М. Вьельгорскому.

[^^^]

1464

Две-три беседы с нашим дорогим другом успокоили бы меня и наставили бы на добрый путь (фр.).

[^^^]

1465

ВЕ, 1889, № 11, с. 98–99. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1466

Записка Гоголя, в которой он поздравляет С. М. Соллогуб с рождением сына: «Узнав на лету о существовании Александра Владимировича, спешу вас поздравить и прошу поцеловать его лишний раз за меня. Уведомьте меня обо всем и напишите в Рим о том, каков он» (написано около 12 (24) октября 1845 г. – Акад., XII, с. 528).

[^^^]

1467

Во втором томе изданного в 1855–1856 гг. в Петербурге пятнадцатитомного собрания своих сочинений Соллогуб поместил цикл повестей, озаглавленный «Жизнь светской женщины». В него вошли повести: «Бал» (впервые – Соллогуб В. А. На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни, т. 2. СПб., 1843), «Две минуты» (впервые – ОЗ, 1846, № 1), «Княгиня» (впервые – ОЗ, 1846, № 3), «Старушка» (впервые – ОЗ, 1850, № 4–5). По всей видимости, в настоящем письме речь идет о трех последних повестях этого цикла.

[^^^]

1468

Букеты, или Петербургское цветобесие, шутка в одном действии. СПб., 1845.

[^^^]

1469

Она многого достигла за год и чрезвычайно много работает над собой (фр.).

[^^^]

1470

РА, 1902, № 4, с. 735–736; Акад., XIII, № 3.

[^^^]

1471

См. предыдущее письмо.

[^^^]

1472

Впоследствии сам Соллогуб дал следующую оценку периоду своего творчества, начавшемуся в 1845 г.: «Мой «Тарантас» имел успех, до тех пор не слыханный в книжном деле, и имя мое стало популярно в России. Не могу не сознаться, что этот громовой успех имел на мою будущую литературную деятельность самое пагубное влияние. Я стал работать небрежно, увлекаться темой дня или, что всего хуже, лениться. Сколько раз Гоголь сердито укорял меня в моей лени! <...> Но я, увы, не совсем послушался Гоголя, и в этот период времени, то есть от 1845 года до начала пятидесятых годов, написал множество теперь уже совершенно забытых и, впрочем, плохих сочинений» (Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 408–409).

[^^^]

1473

М. Ю. Вьельгорскому, брату Михаила Юрьевича.

[^^^]

1474

Повесть «Тарантас» полностью вышла в 1845 г. в Петербурге.

[^^^]

1475

Среди них было письмо В. А. Соллогубу с отзывом о его повестях «Тарантас» и «Воспитанница» (1845). См. письмо от 2 мая 1846 г. (Акад., XIII, № 4).

[^^^]

1476

Алексея Владимировича, зятя С. М. Соллогуб.

[^^^]

1477

ВЕ, 1889, № 11, с. 103–105. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1478

Тиф (фр.).

[^^^]

1479

О какой пьесе идет речь, неизвестно.

[^^^]

1480

Подумать только, что это-то и есть надежда родины! (фр.)

[^^^]

1481

Императрица Александра Федоровна уехала за границу осенью 1845 г.

[^^^]

1482

Марии Александровны, ставшей женой наследника, будущего Александра II, в 1841 г.

[^^^]

1483

О ней говорят только хорошее, и она вообще всем нравится. Кстати (фр.).

[^^^]

1484

В конце 1845 г. Л. Виардо перевел с помощью И. С. Тургенева и издал в Париже повести Гоголя «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий».

[^^^]

1485

Вы – гордость нашего времени (фр.).

[^^^]

1486

ВЕ, 1889, № 11, с. 105–107; Акад., XIII, № 29.

[^^^]

1487

Посвященная Гоголю повесть В. А. Соллогуба, опубликована в сборнике «Вчера и сегодня» (СПб., 1846, часть 2).

[^^^]

1488

Повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди» опубликована в «Петербургском сборнике Н. А. Некрасова» (СПб., 1846).

[^^^]

1489

ВЕ, 1889, № 11, с. 108–109. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1490

Вероятно, речь идет о повести «Старушка», вошедшей в цикл «Жизнь светской женщины», над которым Соллогуб работал уже летом 1845 г. Повесть вышла лишь в 1850 г.

[^^^]

1491

Дети Соллогубов.

[^^^]

1492

гербария (фр.).

[^^^]

1493

ВЕ, 1889, № 11, с. 112–115; Акад., XIII, № 65.

[^^^]

1494

Гоголь вспоминает зиму 1843–1844 гг., которую он провел в Ницце в обществе Вьельгорских и А. О. Смирновой.

[^^^]

1495

См. переписку с Щепкиным, т. 1, с. 463–466.

[^^^]

1496

5 ноября 1846 г. было получено цензурное разрешение на печатание «Ревизора» с «Развязкой», однако примерно через месяц Гоголь решил на время отложить публикацию.

[^^^]

1497

В «Предуведомлении» к предполагавшемуся изданию «Ревизора» с «Развязкой» Гоголь сообщил, что деньги, которые будут получены от 4-го и 5-го издания пьесы, он жертвует в пользу бедных, и просил читателей передавать сведения о нуждающихся лицам, которым поручена раздача пособий (в Петербурге – О. С. Одоевской, А. М. Вьельгорской, С. А. Дашковой, А. О. Россету, Ю. Ф. Самарину и В. А. Муханову; в Москве – А. П. Елагиной, Е. А. Свербеевой, В. С. Аксаковой, А. С. Хомякову, Н. Ф. Павлову, П. В. Киреевскому).

[^^^]

1498

ВЕ, 1889, № 11, с. 110–111. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1499

См. коммент. к письму Гоголя А. М. Вьельгорской от 21 октября (2 ноября) 1846 г.

[^^^]

1500

в семейном кругу (фр.).

[^^^]

1501

Сын С. М. и В. А. Соллогубов.

[^^^]

1502

В ноябре 1846 г. Гоголь просил М. Ю. Вьельгорского передать царю письмо, в котором содержалась просьба Гоголя о выдаче ему заграничного паспорта на следующие полтора года (Акад., XIII, с. 423–424).

[^^^]

1503

РА, 1902, № 4, с. 728–730; Акад., XIII, № 98.

[^^^]

1504

«Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1505

См. т. 1, с. 278–280.

[^^^]

1506

Это письмо (Акад., XIII, с. 424–425) не было передано Николаю I.

[^^^]

1507

В ноябре 1846 г. Гоголь просил М. Ю. Вьельгорского передать царю письмо, в котором содержалась просьба Гоголя о выдаче ему заграничного паспорта на следующие полтора года (Акад., XIII, с. 423–424).

[^^^]

1508

Письмо было подано царю 29 декабря 1846 г.

[^^^]

1509

Речь идет о предполагаемом путешествии Гоголя в Иерусалим.

[^^^]

1510

ВЕ, 1889, № 11, с. 118–119; Акад., XIII, № 110.

[^^^]

1511

В 1847 г. у Гоголя возникла идея сосватать В. В. Апраксина и А. М. Вьельгорскую (см. письмо Гоголя к дяде В. В. Апраксина, А. П. Толстому, от 27 июля (8 августа) 1847 г.: Акад., XIII, № 199). Сватовство, однако, не состоялось.

[^^^]

1512

См. письмо Гоголя Л. К. Вьельгорской от 4 (16) января 1847 г.

[^^^]

1513

То есть коварное намерение, злоумышление, заговор.

[^^^]

1514

Об этом сообщал Гоголю Шевырев 29 октября и 30 декабря 1846 г.

[^^^]

1515

Получив ложное известие о том, что «Выбранные места...» пропущены цензурой в полном объеме, Гоголь в письме от 13 (25) января 1847 г. просил Л. К. Вьельгорскую похлопотать о вознаграждении Никитенко (Акад., XIII, № 104).

[^^^]

1516

Письмо не сохранилось.

[^^^]

1517

ВЕ, 1889, № 11, с. 119–121. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1518

То есть за «Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1519

шедевры (фр.).

[^^^]

1520

Цитаты из Псалтыри, псалом 38, стих 4, и из Евангелия от Матфея, гл. 10, стих 22, гл. 24, стих 13, от Марка, гл. 13, стих 13, и от Матфея, гл. 26, стих 38.

[^^^]

1521

В Иерусалиме, куда в это время собирался Гоголь.

[^^^]

1522

ВЕ, 1889, № 11, с. 121–123; Акад., XIII, № 135.

[^^^]

1523

Имеется в виду Николай I.

[^^^]

1524

Гоголь вспоминает о совместном с Вьельгорскими пребывании в Остенде в 1844 г.

[^^^]

1525

В 1847 г. у Гоголя возникла идея сосватать В. В. Апраксина и А. М. Вьельгорскую (см. письмо Гоголя к дяде В. В. Апраксина, А. П. Толстому, от 27 июля (8 августа) 1847 г.: Акад., XIII, № 199). Сватовство, однако, не состоялось.

[^^^]

1526

Акад., XIII, № 136.

[^^^]

1527

РМ, 1911, № 4, с. 102–103; Акад., XIII, № 143.

[^^^]

1528

Письмо от 22 февраля (6 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 130).

[^^^]

1529

В конце декабря 1846 – начале января 1847 г., желая добиться публикации «Выбранных мест...» в полном объеме, Гоголь хотел, чтобы М. Ю. Вьельгорский представил Николаю I главы, не пропущенные цензурой (см. его письма к П. А. Плетневу от 24 декабря 1846 (5 января 1847 г.) и от 3 (15) января 1847 г. – Акад., XIII, № 94 и 96).

[^^^]

1530

См. письмо Гоголя Л. К. Вьельгорской от 4 (16) января 1847 г.

[^^^]

1531

ВЕ, 1889, № 11, с. 123–125. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1532

просветиться (фр.).

[^^^]

1533

со всех точек зрения (фр.).

[^^^]

1534

Речь шла о том, чтобы нам тоже (фр.).

[^^^]

1535

В Павлине находилась дача Вьельгорских.

[^^^]

1536

ВЕ, 1889, № 11, с. 125–126; Акад., XIII, № 184.

[^^^]

1537

ВЕ, 1889, № 11, с. 133–135; Акад., XIV, № 60.

[^^^]

1538

В 1848 г. В. А. Соллогуб начал читать жене и свояченице лекции по русской истории и русской литературе; впрочем, занятия эти продолжались недолго.

[^^^]

1539

Так в шутку Гоголь называет В. А. Соллогуба.

[^^^]

1540

«История русской церкви» в 5-ти частях (М. и Рига, 1847–1848) епископа Рижского, впоследствии архиепископа Черниговского Филарета (Д. Г. Гумилевского).

[^^^]

1541

ВЕ, 1889, № 11, с. 135–136. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1542

Отсутствие новостей – хорошие новости (фр.).

[^^^]

1543

ВЕ, 1889, № 11, с. 142–143. Печатается по автографу (ГБЛ).

[^^^]

1544

гидом, чичероне (ит.).

[^^^]

1545

обратить в русские (фр.).

[^^^]

1546

ВЕ, 1889, № 11, с. 139–142; Акад., XIV, № 80.

[^^^]

1547

См. предыдущее письмо.

[^^^]

1548

Пересказ притчи о сеятеле (Евангелие от Матфея, гл. 13, стих 3–8, от Марка, гл. 4, стих 3–8, от Луки, гл. 8, стих 5–8).

[^^^]

1549

Памятник литературы XVI в. Авторство его связывают с именем московского протопопа Сильвестра. Впервые издан в 1849 г. во «Временнике Московского общества истории древностей российских».

[^^^]

1550

Имеется в виду евангельская история о Марии и Марфе: «Женщина, именем Марфа, приняла Его (Христа. – М. В.) в дом свой. У ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Евангелие от Луки, гл. 10, стих 38–42).

[^^^]

1551

ВЕ, 1889, № 11, с. 143–144; Акад., XIV, № 88.

[^^^]

1552

Шевырев С. П. История русской словесности, преимущественно древней, т. 1. М., 1846. Эта книга является первым систематическим курсом истории древнерусской литературы, основанным на изучении первоисточников.

[^^^]

1553

«Церковная история» Евсевия Кесарийского (Евсевия Памфила, 263–340), основоположника истории церкви, повествует о событиях от начала христианства до 324 г.

[^^^]

1554

Г. Мат. и иссл., т. 1., с. 81–82; Акад., XIV, № 97.

[^^^]

1555

Письмо С. М. Соллогуб к Гоголю от 17 мая 1849 г., в котором она сообщает о семейных новостях, см. в кн.: Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 129–130.

[^^^]

1556

Письмо не сохранилось.

[^^^]

1557

ВЕ, 1889, № 11, с. 146–147; Акад., XIV, № 103.

[^^^]

1558

Письмо не сохранилось.

[^^^]

1559

ВЕ, 1889, № 11, с. 147–148; Акад., XIV, № 113.

[^^^]

1560

Письмо А. М. Вьельгорской к Гоголю от 14 июня 1849 г. (ВЕ, 1889, № 11, с. 145–146).

[^^^]

1561

Ботанический атлас. Летом 1849 г. С. М. Соллогуб, А. М. Вьельгорская и А. М. Веневитинова занимались ботаникой.

[^^^]

1562

Книга Н. П. Щеглова «Хозяйственная ботаника» (СПб., 1826).

[^^^]

1563

Письмо Гоголя к С. М. Соллогуб от 30 июля 1849 г. (Акад., XIV, № 114).

[^^^]

1564

ВЕ, 1889, № 11, с. 148–149; Акад., XIV, № 120.

[^^^]

1565

Аполлинария Владимировна Соллогуб.

[^^^]

1566

ВЕ, 1889, № 11, с. 137–138 (с ошибочной датировкой). Печатается по автографу (ГБЛ).

Датируется по связи с письмом Гоголя от 26 декабря 1849 г. (Акад., XIV, № 133), ответом на которое является.

[^^^]

1567

Гоголь писал А. М. Вьельгорской: «Труда своего никак не оставляю, и хоть не всегда бывают свежие минуты, но не унываю» (Акад., XIV, с. 158). Речь идет о работе над вторым томом «Мертвых душ».

[^^^]

1568

ВЕ, 1889, № 11, с. 152–153; Акад., XIV, № 174.

[^^^]

1569

Письмо написано, по всей видимости, после неудачного сватовства Гоголя к А. М. Вьельгорской.

[^^^]

1570

Имеется в виду статья «Горе от ума» <...> Сочинение А. С. Грибоедова» (ОЗ, 1840, т. 8), значительная часть которой посвящена гоголевской комедии.

[^^^]

1571

РС, 1889, № 1, с. 143–145; Бел., т. 12, с. 107–109.

[^^^]

1572

В начале января 1842 г. в Москве Белинский получил от Гоголя рукопись «Мертвых душ», чтобы доставить ее в Петербург и подать через В. Ф. Одоевского в столичный цензурный комитет.

[^^^]

1573

Гоголь был в Петербурге в начале октября 1841 г.

[^^^]

1574

О непоследовательности цензора Снегирева по отношению к «Мертвым душам» Гоголь подробно пишет в письме к Плетневу от 7 января 1842 г. (см. в т. 1 на с. 238–239).

[^^^]

1575

В 1842 г. Гоголь опубликовал в «Москвитянине» повесть «Рим» (№ 3) и рецензию на альманах «Утренняя заря» (№ 1, под псевдонимом) .

[^^^]

1576

«Отечественные записки» с 1839 г. издавались А. А. Краевским при ближайшем участии Белинского.

[^^^]

1577

То есть усадьбы министра просвещения С. С. Уварова. Холопами Белинский называет Погодина и Шевырева, издательской и научной деятельности которых покровительствовал Уваров.

[^^^]

1578

В сообщении о выходе второго издания «Ревизора» (ОЗ, 1841, № 9, отд. VI, с. 5).

[^^^]

1579

Цикла статей, посвященного творчеству Гоголя в целом, Белинский не написал, а свои суждения о «Мертвых душах» высказал в статьях «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» и «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души».

[^^^]

1580

Белинский имеет в виду свою статью «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835).

[^^^]

1581

В Евангелии от Матфея сказано: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам <...> ни в сем веке, ни в будущем» (гл. 12, стих 31–32). Прибегая к такому выражению, Белинский хотел подчеркнуть, как чудовищно он был не прав в своей прежней оценке статей Гоголя.

[^^^]

1582

Речь идет о статье «Горе от ума», где Белинский говорит о «Тарасе Бульбе» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и подробно разбирает «Ревизора», доказывая при этом, что героем комедии является не Хлестаков, а городничий.

[^^^]

1583

Любопытно в этой связи письмо Белинского к В. П. Боткину (13 апреля 1842 г.), где он рассказывал о смерти жены Краевского и о его состоянии в день похорон: «Когда опустили в могилу, сложив руки, он как будто готов был рвануться туда, но, махнув рукою, скоро пошел прочь. Вообще его горесть не отчаянная, я даже не умею тебе характеризовать ее; но она объяснила мне, почему Гоголь считает «Старосветских помещиков» лучшим своим произведением» (Бел., т. 12, с. 99).

[^^^]

1584

Имя Поль де Кока рассматривалось как нарицательное для обозначения литературы, изобилующей «грязными» подробностями быта. Гоголя с Поль де Коком первым сравнил Сенковский в 1834 г. (БдЧ, т. III, ч. II, отд. V, с. 31). Впоследствии это сравнение не раз повторялось в «антигоголевской» критике тем же Сенковским, Булгариным, Полевым.

[^^^]

1585

Слова Пушкина о Белинском могли быть переданы ему П. В. Нащокиным или М. С. Щепкиным, которые осенью 1836 г. по поручению Пушкина вели с Белинским переговоры о его переходе в «Современник». В мае 1836 г. Пушкин писал П. В. Нащокину: «Вели сказать ему (Белинскому. – М. В.), что очень жалею, что с ним не успел увидеться». Оценка Белинского была высказана Пушкиным также в «Письме к издателю» (С, 1836, № 3, за подписью «А. Б.»), но Белинский не мог знать, что она принадлежит Пушкину. По воспоминаниям П. В. Анненкова, Пушкин, «по свидетельству самого Белинского, <...> говорил про него: «Этот чудак почему-то очень меня любит» и прибавлял, «что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает» (Анненков. Лит. восп., с. 125).

[^^^]

1586

31 марта 1842 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Рим» – много хорошего, но есть фразы; а взгляд на Париж возмутительно гнусен» (Бел., т. 12, с. 90).

[^^^]

1587

11 мая 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу, что хотел бы поговорить с Белинским при встрече (см. преамбулу к переписке, с. 262). Встреча Гоголя с Белинским, оказавшаяся последней, произошла между 26 мая и 5 июня 1842 г. в Петербурге.

[^^^]

1588

ПЗ, с. 62–65; Акад., XIII, № 178.

Письмо было отправлено в Петербург вместе с письмом к Прокоповичу от 8 (20) июня 1847 г. Белинский в это время лечился в Зальцбрунне (в Силезии), куда Прокопович переслал письмо Гоголя через посредство Некрасова.

[^^^]

1589

Статью Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя» (С, 1847, № 2).

[^^^]

1590

Имеется в виду следующее место из статьи Белинского: «Гоголь объявляет торжественно, что согласен с теми, которые бранили его сочинения, и не согласен с теми, которые хвалили их. Ergo: хвалители Гоголя суть литературная партия, уцепившаяся за него для унижения истинных, но ненавистных ей талантов».

[^^^]

1591

ПЗ, с. 66–75; Бел., т. 10, с. 212–220.

[^^^]

1592

«Выбранные места из переписки с друзьями» подверглись осуждению Т. Н. Грановского, В. П. Боткина, П. В. Анненкова (см.: П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 529–530, 533, 547), Аксаковых. С критикой выступили также Э. И. Губер (Санкт-Петербургские ведомости, 1847, № 35)., Н. Ф. Павлов (Московские ведомости, 1847, № 28, 38, 46; то же – С, 1847, т. III, № 5; т. IV, № 8). Хвалили книгу Ф. В. Булгарин (СПч, 1847, № 8) и П. А. Вяземский (Санкт-Петербургские ведомости, 1847, № 90, 91).

[^^^]

1593

Белинский имеет в виду заграничную жизнь Гоголя. В одиннадцатой главе «Мертвых душ» Гоголь писал: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».

[^^^]

1594

В 1845 г. в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» наказание кнутом заменялось увеличенным количеством ударов плетью.

[^^^]

1595

Слова Белинского сопоставимы с эпиграфом к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

[^^^]

1596

Цитата из статьи Гоголя «Русской помещик». Белинский приводит ее также в своей статье о «Выбранных местах...».

[^^^]

1597

В статье о «Выбранных местах...» Белинский цитирует слова Гоголя: «<...> весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» (Бел., т. 10, с. 69).

[^^^]

1598

То есть еретики, отщепенцы, отступники от православия, мошенники.

[^^^]

1599

В статье «О лиризме наших поэтов» Гоголь писал, что всех русских объединяет «кровное родство с царем».

[^^^]

1600

религиозная мания (лат.).

[^^^]

1601

В статье «Русской помещик».

[^^^]

1602

Имеется в виду теория «официальной народности», одним из глашатаев которой был журнал «Маяк».

[^^^]

1603

К сыну будущего царя Александра II, Николаю.

[^^^]

1604

Акад., XII, № 264.

[^^^]

1605

Белинский, очевидно, подразумевает фразу из письма к Уварову: «Меня утешала доселе мысль, что государь, которому истинно дорого душевное благо его подданных, сказал бы, может быть, со временем о мне так: «Этот человек умел быть благодарным и знал, чем высказать мне свою признательность» (Акад., XII, с. 484), либо намекает на фразу из проекта официального письма Гоголя Николаю I, присланного в Петербург Л. К. Вьельгорской: «Рассудить меня в этом деле (речь идет о публикации «Выбранных мест...» без цензурных купюр. – М. В.) может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет через то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей <...>; стало быть, рассудить меня может один только государь» (Акад., XIII, с. 424–425).

[^^^]

1606

Стихотворения «Стансы» (1826) и «Друзьям» (1828). Звание камер-юнкера Пушкин получил в 1834 г. и мучительно переживал это унижение.

[^^^]

1607

В «Выбранных местах...» Гоголь сообщал о своем намерении отправиться в Иерусалим.

[^^^]

1608

Цитата из статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту».

[^^^]

1609

В «Санкт-Петербургских ведомостях» (1847, № 90, 91) была напечатана статья Вяземского «Языков и Гоголь», в которой без упоминания имени Белинского говорилось о том, что Гоголя стремились представить главой новой, «натуральной школы», «олицетворив в нем какое-то черное литературное знамя», что «многие непризнанные писатели кормились его именем как единым насущным хлебом своим».

[^^^]

1610

В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь писал: «...этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью».

[^^^]

1611

См. коммент. 2 в т. 1 на с. 299.

[^^^]

1612

Шпекин – почтмейстер из «Ревизора».

[^^^]

1613

Н. Я. Прокопович.

[^^^]

1614

ПЗ, 1855, т. 1, с. 77–78; Акад., XIII, № 200.

Первоначальный вариант этого письма см. в «Приложении».

[^^^]

1615

Акад., XIII, № 201.

[^^^]

1616

РС, 1875, № 9, с. 113–114; Акад., X, № 242.

Этим письмом, написанным еще до личного знакомства Гоголя с Шевыревым, открывается их переписка.

[^^^]

1617

Шевырев посвятил «Миргороду» подробную рецензию (МН, 1835, № 2).

[^^^]

1618

Возможно, В. Ф. Одоевский даже начал работу над таким разбором (см.: Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 223–225). Шевырев от специальной рецензии на «Арабески» уклонился, отдельные суждения об этом сборнике содержала его рецензия на «Миргород».

[^^^]

1619

Редактором-издателем «Московского вестника» являлся Погодин. Шевырев был одним из активнейших сотрудников журнала, вел в нем отдел критики.

[^^^]

1620

Имеется в виду «Нос», который не был, однако, напечатан в «Московском наблюдателе».

[^^^]

1621

Сочинения и письма, т. 5, с. 380–381; Акад., XI, № 123.

[^^^]

1622

Датировка Гоголя ошибочна (см.: Акад., XI, с. 417).

[^^^]

1623

Это письмо неизвестно. Оно было написано Шевыревым из Мюнхена или из соседнего городка Дахау, где Шевырев в 1839 г. занимался разбором библиотеки барона Моля, приобретенной для Московского университета (см.: ЖМНП, 1869, февраль, с. 416–417).

[^^^]

1624

Шевыревым был предпринят стихотворный перевод «Божественной комедии» Данте. Две песни «Ада» (вторая и четвертая, с пометой «Рим, 1839») были опубликованы им в 1843 г. (М, № 1). На переводе четвертой песни работа Шевырева, видимо, прекратилась.

[^^^]

1625

«К Г<оголю> при поднесении ему от друзей нарисованной сценической маски в Риме, в день его рождения». По словам Погодина, эти стихи были прочитаны Шевыревым во время празднования дня рождения Гоголя на вилле Волконской 27 декабря 1838 г.

[^^^]

1626

Гоголь имеет в виду свою оставшуюся незавершенной драму из истории Запорожья, о которой он писал Шевыреву (13)25 августа 1839 г.: «Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества» (Акад., XI, с. 241).

[^^^]

1627

Гоголь выехал из Вены в Россию 10 (22) сентября 1839 г.

[^^^]

1628

ЛН, т. 58, с. 834, 836. Сверено с автографом (ГБЛ).

К письму имеется приписка, адресованная Погодину (см.: Барсуков, кн. 5, с. 326–327).

[^^^]

1629

Речь идет о шевыревском переводе «Ада» Данте. Как можно заключить из текста настоящего письма, Гоголю была отправлена первая песнь.

[^^^]

1630

Данте. Ад, песнь вторая, стихи 43–48 (см.: М, 1843, № 1, отд. 1, с. 3, где последний стих читается иначе: «Как в поле пса смеркающийся день»).

[^^^]

почтальоном (нем.).

[^^^]

1632

Облатка – маленький бумажный кружок для запечатывания писем.

[^^^]

1633

Ландрихтер (от нем. Landrichter) – судья в земельном суде Германии.

[^^^]

1634

Гоголь писал об этом Шевыреву 13 (25) августа 1839 г. (Акад., XI, № 119).

[^^^]

1635

Сочинения и письма, т. 5, с. 386; Акад., XI, № 126.

[^^^]

1636

Имеется в виду отъезд в Россию (10 (22) сентября).

[^^^]

1637

РС, 1875, № 9, с. 116–117; Акад., XII, № 75.

[^^^]

1638

Гоголь выезжал в Мюнхен из курорта Гаштейн, где он жил вместе с Н. М. Языковым, в первых числах августа 1842 г.

[^^^]

1639

Это письмо неизвестно. Оно было написано Шевыревым из Мюнхена или из соседнего городка Дахау, где Шевырев в 1839 г. занимался разбором библиотеки барона Моля, приобретенной для Московского университета (см.: ЖМНП, 1869, февраль, с. 416–417).

[^^^]

1640

Речь идет о жене и сыне Шевырева.

[^^^]

1641

То есть денег, взятых Гоголем в долг на печатание «Мертвых душ».

[^^^]

1642

Считается, что «неизвестным» являлся С. Т. Аксаков.

[^^^]

1643

«Вторую серию» составляли долги Погодину, Аксакову и Шевыреву.

[^^^]

1644

РС, 1875, № 9, с. 120–121; Акад., XII, № 92.

[^^^]

1645

«Похождения Чичикова, или Мертвые души», поэма Н. В. Гоголя. Статья первая (М, 1842, № 7); Статья вторая (М, 1842, № 8).

[^^^]

1646

«<...> комический юмор автора, – писал во второй из своих статей Шевырев, – мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском быте и русском человеке, которыми усеяна поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхват русского мира».

[^^^]

1647

Интерпретируя многие художественные особенности «Мертвых душ» как национально обусловленные, Шевырев отмечал в той же статье: «<...> в фантазии нашего поэта есть русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности <...> Читая «Мертвые души», вы могли заметить, сколько чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных, дарит вам Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание».

[^^^]

1648

РС, 1875, № 10, с. 297–299; Акад., XII, № 109.

[^^^]

1649

От 16 (28) февраля 1843 г. (Акад., XII, № 108). В этом письме главным образом говорилось об издании четырехтомных «Сочинений» Гоголя, работе писателя над вторым томом «Мертвых душ», а также содержалась просьба об устройстве на ближайшие годы «житейских дел» писателя, аналогичная по содержанию высказанной в письме к С. Т. Аксакову от 6 (18) марта.

[^^^]

1650

ЖМНП, 1842, ч. 35. Отдельное издание: М., 1842. В статье Шевырева «Об отношении семейного воспитания к государственному» содержались рассуждения о единстве формирования «внешнего» (общественного) и «внутреннего» человека.

[^^^]

1651

Имеется в виду московский генерал-губернатор Д. В. Голицын. Шевырев, женатый на воспитаннице его брата Б. В. Голицына, был близок к их семейству.

[^^^]

1652

Отчет... за 1893 год, с. 1–7 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1653

От 16 (28) февраля и 18 февраля (2 марта) 1843 г.

[^^^]

1654

Отвечая на этот упрек Шевырева, Гоголь объяснял в своем письме от 16 (28) февраля (Акад., XII, № 108) причины, по которым он решил печатать свои «Сочинения» в Петербурге, а не в Москве и поручил это дело Прокоповичу.

[^^^]

1655

Расчеты, связанные с изданием и продажей первого тома «Мертвых душ», содержались в письме Шевырева к Гоголю от 27 октября 1843 г. (Отчет… за 1893 г., с. 10–13 (приложения).

[^^^]

1656

См. письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 (18) марта 1843 г. Аналогичная просьба, обращенная к Аксакову, Погодину и Шевыреву, содержалась и в письме Гоголя к Шевыреву от 16 (28) февраля 1843 г. (Акад., XII, № 108).

[^^^]

1657

Первая постановка «Игроков» и «Женитьбы» состоялась в московском Большом театре 5 февраля 1843 г. в бенефис Щепкина.

[^^^]

1658

См. письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от 6–8 февраля 1843 г. и коммент. к нему, а также письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 (18) марта.

[^^^]

1659

В четырехтомном издании «Сочинений» Гоголя многие произведения, уже опубликованные прежде, были подвергнуты серьезной правке, а «Тарас Бульба» и «Портрет» напечатаны в совершенно новых редакциях. Новинкой для читателя стала «Шинель», впервые были опубликованы «Женитьба», «Игроки», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок», «Театральный разъезд после представления новой комедии».

[^^^]

1660

Этот разбор так и не был написан.

[^^^]

1661

РС, 1875, № 10, с. 302–303; Акад., XII, № 141.

[^^^]

1662

В начале 1843 г. Гоголь поручил Шевыреву ведение своих материальных дел.

[^^^]

1663

Автором этой статьи, подписанной «С. Ш.», был П. А. Плетнев (С, 1842, № 3).

[^^^]

1664

РВ, 1842, кн. 5–6.

[^^^]

1665

БдЧ, 1842, т. 53. Разбор Сенковского имел враждебный по отношению к Гоголю характер.

[^^^]

1666

Имеется в виду статья Белинского «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (ОЗ, 1842, т. 25) и, в частности, содержащееся в ней суждение о «Риме» как о сочинении, в котором «есть удивительно яркие и верные картины действительности, но в которой есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим» (отд. 5, с. 26).

[^^^]

1667

Сочинения и письма, т. 6, с. 42–43; Аксаков, с. 129.

Это письмо было послано Гоголем вместе с письмом к Шевыреву от 21 января (2 февраля) 1844 г. (Акад., XII, № 160), где была высказана следующая просьба: «При письме этом я прилагаю письмо ко всем вам. Ты прочитай его теперь же (прежде один) и купи немедленно во французской лавке четыре миниатюрные экземплярика «Подражания Христу» для тебя, Погодина, С. Т. Аксакова и Языкова. Ни книжек не отдавай без письма, ни письма без книжек, ибо в письме заключается рецепт употребления самого средства, и притом мне хочется, чтоб это было как бы в виде подарка вам на новый год, исшедшего из собственных рук моих».

[^^^]

1668

Книга Фомы Кемпийского.

[^^^]

1669

Отчет... за 1893 г., с. 14–19 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1670

Это письмо, в котором Гоголь выражал неудовольствие опубликованием своего портрета в «Москвитянине» (см. об этом преамбулы к перепискам Гоголя с Погодиным и Ивановым), в настоящее время неизвестно.

[^^^]

1671

Е. В. Погодина.

[^^^]

1672

См. письмо Гоголя к Погодину от 21 октября (2 ноября) 1843 г. и коммент. к нему.

[^^^]

1673

Речь идет о «Сочинениях» Гоголя.

[^^^]

1674

Трудности издания, малый читательский успех, цензурные препятствия привели Погодина в 1844 г. к решению передать «Москвитянин» в другие руки или даже перевести его в Петербург. С весны 1844 г. шли переговоры о передаче редактирования И. В. Киреевскому, который встал во главе журнала в конце года. С четвертого номера за 1845 г. к редактированию вновь вернулся Погодин.

[^^^]

1675

Летом 1844 г. Т. Н. Грановским было подано прошение об основании с 1845 г. журнала «Московское обозрение». Однако разрешение на издание получено не было (Барсуков, кн. 7, с. 439–442).

[^^^]

1676

Повесть Жуковского, представляющая собой переложение отрывка древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (вышла отдельным изданием в 1844 г.).

[^^^]

1677

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

1678

Сочинения и письма, т. 6, с. 118–127 (с пропуском); Акад., XII, № 232.

[^^^]

1679

В 1843 г. Шевырев опубликовал в «Москвитянине», в частности, «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 год», в котором содержались и суждения о «Мертвых душах» (№ 1, с. 282–285).

[^^^]

1680

Письмо Гоголя к Плетневу между 19 ноября и 2 декабря (1 и 14 декабря) 1844 г.

[^^^]

1681

А. И. Тургенев являлся одним из учредителей литературного общества «Арзамас» (1815–1818), в состав которого входили также Жуковский, Батюшков, Вяземский, Д. Давыдов, А. С. и В. Л. Пушкины и др.

[^^^]

1682

«Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина» (М, 1845, № 1).

[^^^]

1683

«Молодик» на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. Ч. 1. Харьков, 1843; Ч. 2. СПб., 1844. Первая часть сборника содержала материалы по украинской истории, этнографии и т. п. Во второй были опубликованы художественные произведения Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Бенедиктова, Щербины и др.

[^^^]

1684

Отчет... за 1893 г., с. 20–23 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1685

В 1844–1845 гг. Шевыревым был прочитан в Московском университете публичный курс лекций по древнерусской литературе (33 лекции). Он стал заметным явлением русской научной и культурной жизни 1840-х годов, хотя и вызвал разноречивую реакцию. На основе своих лекций Шевырев создал «Историю русской словесности, преимущественно древней».

[^^^]

1686

Памятник Н. М. Карамзину на его родине в Симбирске был открыт 23 августа 1845 г. По приглашению симбирского дворянства Погодин прочел в день открытия историческое «Похвальное слово Карамзину...», изданное в конце 1845 г. в Москве.

[^^^]

1687

Имеется в виду работа над «Историей русской словесности».

[^^^]

1688

Е. Г. Черткова.

[^^^]

1689

Диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», завершенная в 1845 г., была представлена в университет в 1846 г., опубликована в том же году, защищена 6 марта 1847 г.

[^^^]

1690

См. письмо Гоголя к К. С. Аксакову (около 8 (20) ноября 1845 г.).

[^^^]

1691

Повесть В. А. Соллогуба «Тарантас» вышла отдельным изданием в 1845 г.

[^^^]

1692

Сочинения и письма, т. 6, с. 222–224 (с пропусками); Акад., XII, № 307.

[^^^]

1693

Письмо, посланное около 8 (20) ноября.

[^^^]

1694

В письме к С. Т. Аксакову от 9 (21) декабря 1844 г.

[^^^]

1695

О чем конкретно идет речь, не установлено.

[^^^]

1696

Отрывок из вступительной лекции профессора Шевырева в «Историю русской словесности, преимущественно древней» (М, 1845, № 1).

[^^^]

1697

Эта приписка, вероятно, сделана Гоголем несколькими днями позже, так как речь в ней идет о письмах писателя к К. С. Аксакову (около 8 (20) ноября) и к С. Т. Аксакову (13 (25) ноября).

[^^^]

1698

Сочинения и письма, т. 6, с. 206–207 (с пропуском и неверной датой); Акад., XIII, № 39.

[^^^]

1699

История русской словесности, преимущественно древней, т. 1. Ч. 1. М., 1846.

[^^^]

1700

Второе издание «Мертвых душ» с предисловием «К читателю от сочинителя» вышло в 1846 г. (цензурное разрешение от 25 августа).

[^^^]

1701

Намек на предстоящее появление «Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

1702

Отчет... за 1893 г., с. 24–26 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1703

Вторая часть «Истории русской словесности...» Шевырева вышла в августе 1846 г.

[^^^]

1704

Статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», впоследствии вошедшая в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями», была впервые напечатана в редактируемом Плетневым журнале «Современник» (1846, № 7), а затем при посредничестве Н. М. Языкова перепечатана в «Московских ведомостях» (1846, № 89) и «Москвитянине» (1846, № 7). В письме к сыну Ивану Сергеевичу С. Т. Аксаков с восторгом отзывался о статье, оговариваясь однако: «Впрочем, я не верю в такое достоинство перевода и еще менее в такое действие «Одиссеи» на всех» (ЛН, т. 58, с. 683–684).

[^^^]

1705

Цитата из главы одиннадцатой первого тома «Мертвых душ». Шевырев обыгрывает следующий текст Гоголя: «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»

[^^^]

1706

Сочинения и письма, т. 6, с. 265–266; Акад., XIII, № 55.

[^^^]

1707

Письмо Гоголя к Плетневу от 21 сентября (3 октября) 1846 г.

[^^^]

1708

Имеется в виду «Предисловие» к «Выбранным местам...».

[^^^]

1709

Отчет... за 1893 г., с. 27–29 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1710

В предисловии «К читателю от сочинителя» Гоголь просил людей разных званий присылать ему свои замечания на «Мертвые души».

[^^^]

1711

«Выбранные места...».

[^^^]

1712

Шевырев начал чтение курса 7 декабря 1846 г. и завершил 29 апреля 1847 г.

[^^^]

1713

Популярный роман Эжена Сю.

[^^^]

1714

Сочинения и письма, т. 6, с. 274; Акад., XIII, № 63.

[^^^]

1715

От 12 (24) октября 1846 г.

[^^^]

1716

Сочинения и письма, т. 6, с. 279–281; Акад., XIII, № 69.

[^^^]

1717

От 24 октября (5 ноября) 1846 г.

[^^^]

1718

В «Предуведомлении» (Акад., т. IV, с. 109–111) Гоголь просил всех читателей нового издания своей комедии собирать сведения об особо нуждающихся для оказания им помощи из средств, вырученных от продажи книги. «Предуведомление» содержало своеобразную инструкцию по сбору такого рода данных и завершалось списком лиц, которые, по предположению писателя, должны были взять на себя раздачу вспомоществований в Москве и Петербурге. В их числе была названа и В. С. Аксакова.

[^^^]

1719

Завод – в полиграфии часть тиража книги, отпечатанная с одного набора.

[^^^]

1720

Речь идет об оказании помощи студентам.

[^^^]

1721

См. преамбулу к переписке с Погодиным.

[^^^]

1722

Подразумевается работа над «Историей русской словесности».

[^^^]

1723

Отчет... за 1893 г., с. 29–33 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1724

Имеется в виду статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», напечатанная в середине 1846 г. после периода длительного молчания Гоголя (позднее включена в «Выбранные места...»).

[^^^]

1725

Статья Розена – «Поэма Н. В. Гоголя об «Одиссее» (СПч, 1846, № 181, 14 августа). Шевырев в данном случае имеет в виду то место статьи, где критик, отталкиваясь от слов Гоголя: «<...> нужно было <...> сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот прозирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни» (Акад., VIII, с. 237), иронизировал: «Чудо! для того, чтобы лучше передавать язычника, надобно быть христианином! <...> Если переводчик «Одиссеи» непременно должен быть христианином, как же язычник мог быть автором «Одиссеи»?» (с. 72).

[^^^]

1726

Имеется в виду выпад О. И. Сенковского в его разборе стихотворений Александры Бедаревой (БдЧ, 1846, т. 78, Литературная летопись, с. 17–18).

[^^^]

1727

О каком письме идет речь, не установлено.

[^^^]

1728

«Мартин-подкидыш, или Записки камердинера» – роман Э. Сю, «Сын тайны» – роман французского писателя Поля Феваля.

[^^^]

1729

Имеются в виду печатавшиеся в Петербурге «Выбранные места...».

[^^^]

1730

Отчет... за 1893 г., с. 33–35 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1731

В упоминаемом письме к А. В. Веневитинову Шевырев просил содействия его тестя М. Ю. Вьельгорского в проведении через театральную цензуру «Ревизора» с прибавлением «Развязки» (ЛН, т. 58, с. 691). В ответном письме от 10 декабря 1846 г. Веневитинов писал Шевыреву: «Тебе, вероятно, уже известна участь покушения Гоголя насчет «Ревизора». Переделанная эта пьеса отказана. Впрочем, не говоря об этой новой пьесе, которой не знаю, в самом Гоголе с некоторых пор заметны такие странности, которые огорчают всех любящих его и его необыкновенный талант» (ЛН, т. 58, с. 692).

[^^^]

1732

Действительно, после выхода «Выбранных мест» в «Московском городском листке» (1847, № 56, 62–64) была опубликована сочувственная статья Ап. Григорьева «Гоголь и его последняя книга».

[^^^]

1733

23 октября 1846 г. Н. А. Некрасов и И. И. Панаев приобрели у П. А. Плетнева журнал «Современник». Однако власти не разрешили Некрасову издавать журнал под своим именем, и потому первые два года официальным редактором «Современника» считался А. В. Никитенко. Представления Шевырева о роли Никитенко как главы «натуральной школы», высказываемые и в его критических работах, неверны. Ее подлинным вождем и общепризнанным теоретиком являлся Белинский.

[^^^]

1734

См. в т. 1 на с. 260.

[^^^]

1735

Сочинения и письма, т. 6, с. 307–309; Акад., XIII, № 87.

[^^^]

1736

От 29 октября 1846 г.

[^^^]

1737

Речь идет о намеченной поездке в Иерусалим.

[^^^]

1738

Отчет... за 1893 г., с. 35–41 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1739

От 4 (16) декабря 1846 г.

[^^^]

1740

От того же числа.

[^^^]

1741

С. П. Апраксину, в доме которой в Неаполе Гоголь провел зиму 1846–1847 гг. Данному письму предшествовало другое, краткое, письмо от того же числа, которое должно было подготовить писателя к печальному известию (см.: Отчет... за 1893 г., с. 35 (приложения).

[^^^]

1742

Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 8.

[^^^]

1743

«И язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Библия, Соборное послание святого апостола Иакова, гл. 3, стих 6).

[^^^]

1744

В упоминаемом письме к А. В. Веневитинову Шевырев просил содействия его тестя М. Ю. Вьельгорского в проведении через театральную цензуру «Ревизора» с прибавлением «Развязки» (ЛН, т. 58, с. 691). В ответном письме от 10 декабря 1846 г. Веневитинов писал Шевыреву: «Тебе, вероятно, уже известна участь покушения Гоголя насчет «Ревизора». Переделанная эта пьеса отказана. Впрочем, не говоря об этой новой пьесе, которой не знаю, в самом Гоголе с некоторых пор заметны такие странности, которые огорчают всех любящих его и его необыкновенный талант» (ЛН, т. 58, с. 692).

[^^^]

1745

От 19 и 26 ноября (1 и 8 декабря) 1846 г.

[^^^]

1746

В письме от 19 ноября (1 декабря) 1846 г. (Акад., XIII, № 83) Гоголь просил Шевырева наряду с объявлением о втором издании первого тома «Мертвых душ» целиком напечатать и предисловие к нему.

[^^^]

1747

Это было сделано в краткой заметке В. Н. Майкова, посвященной выходу второго издания «Мертвых душ». Она была напечатана в двенадцатом номере «Отечественных записок», выпущенном в свет 3 декабря 1846 г. (цензурное разрешение 30 ноября).

[^^^]

1748

Об этом сообщал Шевыреву Плетнев (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1892, с. 962).

[^^^]

1749

От 4 (16) декабря 1846 г.

[^^^]

1750

З. А. Волконскую. В конце 1820 – начале 1830-х годов Шевырев был наставником ее сына Александра.

[^^^]

1751

...по собственному побуждению (лат.). Этими словами по традиции начинались послания римских пап, не согласованные с кардиналами и касавшиеся обычно внутриполитических и административных дел Папской области.

[^^^]

1752

Отчет... за 1892 г., с. 160–166 (приложения); Акад., XIII, № 116.

[^^^]

1753

Около 30 января (11 февраля) 1847 г. (Акад., XIII, № 117).

[^^^]

1754

В «Истории русской словесности».

[^^^]

1755

Между Шевыревым и Белинским велась постоянная полемика, начатая еще статьей Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (1836) и особенно обострившаяся в начале 1840-х годов.

[^^^]

1756

Письмо Плетнева от 17 января 1847 г.

[^^^]

1757

В 1841–1846 гг. Археографической комиссией в Петербурге были изданы три тома «Собрания русских летописей».

[^^^]

1758

Речь идет о книгах И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839) и «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (М., 1831–1834).

[^^^]

1759

От 8 (20) января 1847 г.

[^^^]

1760

Отчет... за 1893 г., с. 42–44 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1761

«Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1762

В главе «Карамзин» «Выбранных мест...».

[^^^]

1763

Записка Карамзина «О древней и новой России», врученная Александру I в 1811 г., представляла собой сложный политический документ, сочетающий критику александровского правления с рекомендациями по укреплению самодержавия; неоднозначно оценивались в записке преобразования Петра I.

[^^^]

1764

В статье «О лиризме наших поэтов», вошедшей в состав «Выбранных мест...», Гоголь писал о пушкинском стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» (1832), впервые опубликованном уже после смерти автора, как о посвященном Николаю I (Акад., VIII, с. 253). В действительности адресатом произведения, как это было известно современникам, являлся переводчик «Илиады» Н. И. Гнедич.

[^^^]

1765

См. коммент. к письму Погодина к Гоголю от 17, 24 марта 1847 г.

[^^^]

1766

Имеется в виду письмо «Женщина в свете», адресатом которого Шевырев считает, видимо, А. О. Смирнову. Далее в письме Шевырева говорится о различных главах «Выбранных мест...».

[^^^]

1767

РС, 1875, № 12, с. 656–658; Акад., XIII, № 125.

[^^^]

1768

От 27 января 1847 г.

[^^^]

1769

О чем идет речь, не установлено.

[^^^]

1770

От 20 февраля (4 марта) 1847 г.

[^^^]

1771

Письмо от того же числа.

[^^^]

1772

Отчет... за 1893 г., с. 45–50 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1773

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писал: «Приятель наш П<огоди>н имеет обыкновение, отрывши какие ни попало строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его» (Акад., VIII, с. 231).

[^^^]

1774

С, 1847, № 2.

[^^^]

1775

СПч, 1847, № 8, 11 января.

[^^^]

1776

Статья Н. Ф. Павлова была напечатана в «Московских ведомостях» (1847, № 28, 38, 46 от 6, 29 марта и 17 апреля) в виде трех «Писем к Гоголю» и в том же году перепечатана в «Современнике» (№ 5, 8).

[^^^]

1777

Действительно, статья Шевырева, посвященная «Выбранным местам...», была напечатана значительно позднее (М, 1848, № 1). О характере статьи см. преамбулу к переписке.

[^^^]

1778

Статьей «Светлое Воскресенье» завершаются «Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1779

От 26 февраля (10 марта) 1847 г. (Акад., XIII, № 133). Написано в ответ на письмо студента Московского университета Малиновского, откликнувшегося на обращение Гоголя к читателям в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ». Письмо Малиновского было передано писателю Шевыревым.

[^^^]

1780

Сочинения и письма, т. 6, с. 374–376 (с пропусками); Акад., XIII, № 157.

[^^^]

1781

Статья не была написана.

[^^^]

1782

При первой публикации «Выбранных мест...» цензурой был изъят фрагмент текста, содержавший гоголевскую версию происхождения стихотворения Пушкина, и осталось лишь общее указание на его связь с именем Николая I.

[^^^]

1783

Один из наиболее плодовитых писателей, Александр Дюма-отец имел сотрудников, помогавших ему в литературной работе.

[^^^]

1784

Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. Сочинение <...> Ивана Снегирева. М., 1841–1845.

[^^^]

1785

Не сохранилось.

[^^^]

1786

Шенрок, т. 4, с. 474. Сверено с автографом (ЦГАЛИ).

Написано на копии второго «письма» Н. Ф. Павлова к Гоголю.

[^^^]

1787

Будущий Александр II.

[^^^]

1788

В действительности книга расходилась не так быстро, как ожидалось. От замысла переиздания «Выбранных мест...» в дополненном виде Гоголь отказался летом 1847 г.

[^^^]

1789

Белинский писал в связи с первым из «писем» Павлова: «<...> вся сила статьи в том и заключается, что Павлов бьет Гоголя не своим, а его же оружием и имеет в виду доказать не столько нелепость книги, сколько ее противоречие с самой собою» (Бел., т. 12, с. 351).

[^^^]

1790

Сочинения и письма, т. 6, с. 400–403; Акад., XIII, № 173.

[^^^]

1791

Гоголь покинул Неаполь 29 апреля (11 мая) 1847 г. Записочка – вероятно, письмо Шевырева от 16 апреля 1847 г. Две критики – «письмо» Павлова и статья Ап. Григорьева «Гоголь и его последняя книга».

[^^^]

1792

Речь идет о статьях Белинского, посвященных второму изданию «Мертвых душ» (С, 1847, № 1) и «Выбранным местам...» (С, 1847, № 2), а также об относящихся к Гоголю статьях В. Н. Майкова и А. Д. Галахова (ОЗ,1847, № 2).

[^^^]

1793

Рецензия «Библиотеки для чтения» (1847, т. 80, отд. 6) содержала в себе негативную оценку «Выбранных мест...» и иронические суждения о самом Гоголе. Она завершалась словами: «В книжке почти нечего читать. Отрывки из писем без литературного достоинства – осколки мыслей, не отличающихся ни замысловатостью, ни новостью, ни даже изложением».

[^^^]

1794

В качестве эпиграфа к первому из своих «писем» Павлов избрал слова немецкого писателя Г.-К. Лихтенберга (1742–1799): «Эта книга содержит в себе много истинного и много нового, но, к сожалению, истинное в ней не ново, а новое не истинно» (Павлов Н. Ф. Сочинения, М., 1985, с. 254. Перевод с нем.).

[^^^]

1795

В первом «письме» Павлов писал, обращаясь к Гоголю: «Не беру на себя обязанности наставника и просветителя; пишу затем, чтобы прийти опять в нормальное положение, в каком находился я до издания вашей книги» (там же, с. 254–255).

[^^^]

1796

Литературная известность Павлова связана главным образом с его сборником «Три повести» (М., 1835), высоко оцененным современниками (в том числе как Гоголем, так и Шевыревым). В 1839 г. Павлов выпустил сборник «Новые повести», также объединивший три прозаических произведения. Эта книга, которую подразумевает Гоголь, не имела большого успеха.

[^^^]

1797

На появление «Выбранных мест из переписки с друзьями» П. А. Вяземский, положительно воспринявший книгу, откликнулся в статье «Языков и Гоголь» (Санкт-Петербургские ведомости, 1847, № 90–91, 24–25 апреля).

[^^^]

1798

Отчет... за 1893 г., с. 50–51 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1799

Не сохранилось.

[^^^]

1800

Высказывалось также предположение о том, что третье «письмо» Павлова «не попало в печать по соображениям цензурного порядка» (Вильчинский В. О письмах Н. Ф. Павлова к Н. В. Гоголю. – Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1963, т. 22, вып. 5, с. 428).

[^^^]

1801

См. письмо Щепкина к Гоголю от 22 мая 1847 г.

[^^^]

1802

Речь идет о второй части «Истории русской словесности...».

[^^^]

1803

Сочинения и письма, т. 6, с. 410–411; Акад., XIII, № 183.

[^^^]

1804

Это сделано в «Авторской исповеди», над которой Гоголь работал в июне – июле 1847 г.

[^^^]

1805

РС, 1875, № 12, с. 672; Акад., XIII, № 194.

Возможно, является окончанием предыдущего письма.

[^^^]

1806

Акад., XIII, № 195.

[^^^]

1807

Сочинения и письма, т. 6, с. 433–436 (с пропусками и ошибкой в дате); Акад., XIII, № 232.

[^^^]

1808

Акад., XIII, № 234.

[^^^]

1809

4 октября 1847 г. Шевырев сообщал Гоголю о своем летнем путешествии, конечной целью которого был Кирилло-Белозерский монастырь, и о желании рассказать об этой поездке в книге (Отчет... за 1893 г., с. 52 (приложения). Книга Шевырева «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» вышла только в 1850 г.

[^^^]

1810

Речь идет о Николае Павловиче Трушковском – сыне старшей сестры Гоголя Марьи Васильевны (умерла в 1844 г.). Позднее Трушковский окончил Петербургский университет, был редактором первого посмертного собрания сочинений Гоголя (1855–1856).

[^^^]

1811

Книгу медика-популяризатора Х.-В. Гуфеланда «Искусство продления человеческой жизни», вышедшую первым изданием еще в 1796 г.

[^^^]

1812

Младшая сестра писателя О. В. Гоголь (в замужестве Головня), с детства страдавшая глухотой. О. В. Гоголь-Головня оставила воспоминания (Из семейной хроники Гоголей. Киев, 1909).

[^^^]

1813

От 6 (18) декабря 1847 г.

[^^^]

1814

Новая скрижаль, или Дополнение к прежде-изданной скрижали с таинственными объяснениями о церкви, о разделении ее, о утварях и о всех службах, в ней совершаемых, на четыре части разделенное. 1-е изд. – 1803 г., 2-е –1811 г.

[^^^]

1815

Сочинения и письма, т. 6, с. 551 (с пропуском) ; Акад., XIV, № 232.

[^^^]

1816

Во второй половине июля 1851 г. Гоголь читал Шевыреву на его подмосковной даче пятую, шестую, а позднее и седьмую главу второго тома «Мертвых душ». «Он читал их, – вспоминал Шевырев вскоре после смерти писателя, – можно сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей» (РС, 1902, т. 110, с. 443). Чтение проходило в обстановке полной секретности, поскольку Шевырев был первым слушателем этих глав.

[^^^]

1817

Возможно, имеются в виду слухи о завершении второго тома поэмы и скором появлении его в печати.

[^^^]

1818

Отчет... за 1893 г., с. 68 (приложения). Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1819

Персонаж второго тома «Мертвых душ». Часть текста, в которой он действует, не сохранилась.

[^^^]

1820

РС, 1889, № 1, с. 154; Акад., XI, № 205.

Первое из известных писем Гоголя к Языкову.

[^^^]

1821

В сентябре 1841 г. Гоголь вместе с П. М. Языковым выехал из Ганау в Россию.

[^^^]

1822

То есть уснули (фамилии образованы от «сопеть» и «храпеть»).

[^^^]

1823

Подразумевается план совместной жизни в Москве Языкова и Гоголя.

[^^^]

1824

Сочинения и письма, т. 5, с. 452–453; Акад., XI, № 209.

Ответом на это письмо Гоголя стало стихотворное послание Языкова «Благословляю твой возврат...».

[^^^]

1825

Гоголь остановился в доме Погодина на Девичьем поле.

[^^^]

1826

Сочинения и письма, т. 5, с. 458–459; Акад., XII, № 8.

[^^^]

1827

Не сохранилось.

[^^^]

1828

Возможно, это были стихотворное послание «Н. В. Гоголю» и «Песня балтийским водам», датированная «20 ноября 1841 г. Ганау».

[^^^]

1829

Поездка П. М. Языкова за границу в 1842 г. не состоялась.

[^^^]

1830

23 января 1841 г. А. П. Елагина писала В. А. Жуковскому о Гоголе: «Он собирается опять в Ганау, к Языкову, и с ним вместе в Гастейн, а оттуда – в Рим» (ЛН, т. 58, с. 611).

[^^^]

1831

16 ноября 1841 г. сестра поэта, Е. М. Хомякова, сообщала ему из Москвы: «Сегодня был у меня Гоголь. <...> много рассказывал об вас, и все радостное; весело слушать, как он любит вас, я полюбила его очень. <...> мы хотим быть друзьями» (ЛН, т. 58, с. 609).

[^^^]

1832

Сочинения и письма, т. 6, с. 46–51 (с пропусками); Акад., XII, № 165.

[^^^]

1833

Творения святых отцов, в русском переводе издаваемые при Московской духовной академии. М., 1843–1864.

[^^^]

1834

Это письмо в настоящее время неизвестно.

[^^^]

1835

Иначе говоря, стоянье на ногах. Согласно мнению, которое высказывали в то время некоторые врачи, стояние после обеда способствует пищеварению.

[^^^]

1836

Речь идет о «Подражании Христу».

[^^^]

1837

РС, 1896, № 12, с. 617–619; Языков, с. 371–373. Сверено с автографом (ГБЛ).

Первое из сохранившихся писем Языкова к Гоголю.

[^^^]

1838

Слово по освящении храма явления божией матери преподобному Сергию <...>, говоренное синодальным членом Филаретом, митрополитом Московским. – М, 1843, № 1.

[^^^]

1839

Жуковский. Ниже речь идет о предпринятом им переводе «Одиссеи», а также стихотворной повести Жуковского «Наль и Дамаянти» (переложение части древнеиндийского эпоса «Махабхарата», издана в 1844 г.) и сказке «Ундина» (издана в 1837 г.).

[^^^]

1840

По просьбе Гоголя П. М. Языков делал для него записи областных слов, а также собирал этнографические и статистические материалы по Симбирскому краю и Поволжью вообще. Частично они сохранились в записных книжках писателя.

[^^^]

1841

Сочинения и письма, т. 6, с. 58–59 (с пропусками); Акад., XII, № 173.

[^^^]

1842

Речь идет о письме Языкова от 27 февраля 1844 г.

[^^^]

1843

Стихотворения Языкова «Д. В. Давыдову» («Жизни баловень счастливый...», 1835) и «Тригорское» (1827) потребовались Гоголю для задуманной им статьи, позднее вошедшей в «Выбранные места...» под заглавием «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность».

[^^^]

1844

Первый из сборников поэта – «Стихотворения Н. Языкова» (СПб., 1833).

[^^^]

1845

Иоанна Златоустого Беседы на евангелиста Матфея. Ч. 1–3. М., 1839.

[^^^]

1846

Иннокентий. Сочинения. Ч. 1–3. М., 1839; его же: Историческое обозрение богослужебных книг греко-российской церкви. Изд. 2-е. Харьков, 1843.

[^^^]

1847

Александр Николаевич.

[^^^]

1848

РС, 1896, № 12, с. 619–620; Языков Н. М. Стихотворения. Поэмы. Драматические сцены. Письма. М. – Л., 1959, с. 442–443. Сверено с автографом (ГПБ).

[^^^]

1849

Языков был уроженцем Симбирской губернии, где находилось и его имение.

[^^^]

1850

Указ Николая I от 15 марта 1844 г. о паспортах, значительно устрожавший правила выезда за границу.

[^^^]

1851

Датируется на основании упоминаний о письмах Н. Н. Шереметевой (от 27 июня – 9 сентября 1844 г. – см.: Акад., XII, с. 657) и А. А. Иванова (от августа 1844 г.), а также по связи с ответным письмом Гоголя от 14 (26) октября 1844 г.

[^^^]

1852

РС, 1896, № 12, с. 626 (с пропуском и неточностями); полностью публикуется впервые (ГБЛ).

[^^^]

1853

См. коммент. к письму Погодина к Гоголю от 16 июля 1844 г.

[^^^]

1854

Летом 1844 г. Т. Н. Грановским было подано прошение об основании с 1845 г. журнала «Московское обозрение». Однако разрешение на издание получено не было (Барсуков, кн. 7, с. 439–442).

[^^^]

1855

Речь идет о попытке П. В. Киреевского опубликовать сборник духовных стихов – часть своего обширного собрания русских народных песен, в формировании которого, наряду с другими сотрудниками фольклориста, принимали участие Гоголь и в особенности Языков. Однако планы этого издания были осуществлены значительно позднее (Русские народные песни, собранные Петром Киреевским. Ч. 1. Русские народные стихи. М., 1848).

[^^^]

1856

С. С. Уваров. В 1844 г. И. В. Киреевский писал брату: «Если министр будет в Москве, то тебе непременно надобно спросить его о песнях <...> Главное, на чем основываться, это то, что песни народные, а что весь народ поет, то не может сделаться тайною <...> Уваров, верно, это поймет, также и то, какую репутацию сделает себе в Европе наша цензура, запретив народные песни, и еще старинные» (Полн. собр. соч. И. В. Киреевского, т. 1. М., 1861, с. 93).

[^^^]

1857

См.: Иванов, с. 170. Датируется августом 1844 г.

[^^^]

1858

Сочинения и письма, т. 6, с. 98 (без окончания); Акад., XII, № 212.

[^^^]

1859

Добротолюбие, или Словеса, собранные от писателей св. отец. Ч. 1–4. М., 1840.

[^^^]

1860

В альманахе И. Е. Бецкого «Молодик» на 1844 год была напечатана литография Поля с портрета Гоголя работы Мазера, а также подпись писателя факсимиле.

[^^^]

1861

РС, 1896, № 12, с. 623–624 (с пропусками); полностью публикуется впервые (ГБЛ).

[^^^]

1862

Конец августа (первая половина сентября) 1844 г. (Акад., XII, № 207) и 19 сентября (1 октября) 1844 г.

[^^^]

1863

Описка Языкова. Речь идет о журнале «Москвитянин».

[^^^]

1864

Сборник «56 стихотворений Н. М. Языкова» (М., 1844).

[^^^]

1865

Сборник «Новые стихотворения Н. Языкова» вышел в Москве в 1845 г.

[^^^]

1866

Сочинения и письма, т. 6, с. 105–106 (с пропусками); Акад., XII, № 221.

[^^^]

1867

Князю П. А. Вяземскому. – С, 1844, т. 35.

[^^^]

1868

См. преамбулы к перепискам Гоголя с Погодиным и с Ивановым.

[^^^]

1869

От 14 (26) октября 1844 г. (Акад., XII, № 222).

[^^^]

1870

РС, 1896, № 12, с. 624–625. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1871

Речь идет о письме от 14 (26) октября.

[^^^]

1872

Сочинения и письма, т. 6, с. 117–118; Акад., XII, № 229.

Позднее было использовано Гоголем для статьи «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», вошедшей в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями».

[^^^]

1873

Сборник «56 стихотворений Н. М. Языкова».

[^^^]

1874

Это стихотворение, датированное «1 мая 1844 г.», было впервые опубликовано в «Москвитянине» (1844, № 10).

[^^^]

1875

Речь идет о заметке, посвященной книге П. М. Строева «Выходы государей царей и великих князей, Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Руси самодержцев. (С 1632 по 1682 год)» (М., 1844). – ОЗ, 1844, № 5, отд. 6. Автором заметки был П. Н. Кудрявцев.

[^^^]

1876

Датировано «1826. Дерпт», вошло в сборники Языкова 1833 и 1844 гг.

[^^^]

1877

А. П. Елагина.

[^^^]

1878

РС, 1896, № 12, с. 627–628 (с пропусками); Языков, с. 374–375. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1879

Это письмо неизвестно. Щепкин обещал доставить Гоголю критики Сенковского.

[^^^]

1880

Как видно из ответного письма Гоголя от 21 декабря 1844 г. (2 января 1845 г.), это было «Подражание псалму» («Блажен, кто мудрости высокой...»), датируемое 19 ноября 1844 г. (впервые опубликовано: М, 1845, № 1).

[^^^]

1881

В конце 1844 г. И. В. Киреевский приступил к редактированию «Москвитянина», к сотрудничеству в котором предполагал привлечь людей разных взглядов.

[^^^]

1882

Киреевский.

[^^^]

1883

И. П. Толстой.

[^^^]

1884

Сочинения и письма, т. 6, с. 149–153; Акад., XII, № 238.

Позднее было использовано Гоголем для статьи «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», напечатанной в составе «Выбранных мест...».

[^^^]

1885

Согласно библейской легенде, во время пира во дворце вавилонского царя Валтасара на стене показалась рука, которая начертала таинственную надпись, предвещавшую гибель Валтасару.

[^^^]

1886

Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». – М, 1845, № 1.

[^^^]

1887

Сборник «Новые стихотворения Н. Языкова».

[^^^]

1888

Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. (Выходило в Петербурге с 1841 г.)

[^^^]

1889

РС, 1896, № 12, с. 628–629; Языков, с. 376–377. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1890

Из стихотворения Державина «Памятник» (1795).

[^^^]

1891

Памятник Карамзину в Симбирске (по проекту скульптора С. И. Гальберга) представляет собой фигуру музы истории Клио на высоком постаменте, на одной из сторон которого помещен бюст Карамзина.

[^^^]

1892

Сборники А. С. Хомякова «24 стихотворения» (М., 1844) и Я. П. Полонского «Гаммы» (М., 1844).

[^^^]

1893

Речь идет о сборниках «Новые стихотворения Н. Языкова» (М., 1845) и «Стихотворения Н. Языкова» (СПб., 1833).

[^^^]

1894

Вероятно, это было одно из стихотворений, посвященных А. В. Киреевой («Сильно чувствую и знаю...», датируется 26 ноября 1844 г.); впервые опубликовано в «Москвитянине» (1845, № 2). В письме Языкову от 3 (15) января 1845 г. (Акад., XII, № 244) Гоголь ошибочно пишет о послании к Киреевой как о приложенном к письму от 2 декабря.

[^^^]

1895

Сочинения и письма, т. 6, с. 158–164 (с пропусками); Акад., XII, № 241.

[^^^]

1896

Этот план не осуществился.

[^^^]

1897

А. П. Елагина.

[^^^]

1898

В письме Жуковского, частично опубликованном в «Москвитянине» (1845, № 1), шла речь о переводе «Одиссеи», который в заметке издателя (И. В. Киреевского) был охарактеризован как «начало новой эпохи» в русской словесности (с. 37).

[^^^]

1899

В основу языковского «Подражания псалму» («Блажен, кто мудрости высокой...») был положен 1 псалом из Псалтыри (Библия).

[^^^]

1900

Тюрюк (тюрик) – бумажный кулек.

[^^^]

1901

РС, 1896, № 12, с. 629–630 (с пропуском); Языков, с. 380–381.

[^^^]

1902

«Константину Аксакову».

[^^^]

1903

Стихотворение «К ненашим».

[^^^]

1904

Смерть сводного брата И. В. Киреевского Андрея Алексеевича Елагина.

[^^^]

1905

Н. А. Мельгунов сотрудничал и в «Москвитянине», и в «Отечественных записках».

[^^^]

1906

Сочинения и письма, т. 6, с. 166–167 (с пропусками); Акад., XII, № 246.

[^^^]

1907

Стихотворение «К ненашим» (датировано 6 декабря 1844 г.) было вызвано обострившейся полемикой между славянофилами, с которыми был тесно связан Языков, и западниками. Непосредственно задевавшее Чаадаева, Грановского, Герцена, оно имело в виду не столько этих конкретных людей, сколько те течения общественной мысли, в которых автор видел зло современной жизни. (Вероятно, именно в таком отвлеченном плане и воспринял послание далекий от московских споров Гоголь.) Распространенное в списках, стихотворение «К ненашим» своей резкостью вызвало возмущение не только идейных противников Языкова, но и близких ему людей – К. С. Аксакова, поэтессы К. К. Павловой и др. Для литературной репутации поэта появление этого послания имело роковое значение.

[^^^]

1908

РС, 1896, № 12, с. 631–632; Языков, с. 381–382.

[^^^]

1909

«Стихи Языкова с доносом на всех нас привели к объяснениям, которые, с своей стороны, чуть не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского», – писал А. И. Герцен (дневниковая запись от 10 января 1845 г. – Герцен, т. 2, с. 403).

[^^^]

1910

Речь идет прежде всего о статьях В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1844 года» (ОЗ,1845, № 1, отд. 5) и «Иван Андреевич Крылов» (ОЗ,1845, № 2, отд. 2), в которых негативно освещалось творчество Языкова и пародировался его поэтический стиль.

[^^^]

1911

Имеется в виду пародия Н. А. Некрасова «Послание к другу из-за границы» (Литературная газета, 1845, № 5, 1 февраля).

[^^^]

1912

«К Чаадаеву» (в списках датируется 25 декабря 1844 г.).

[^^^]

1913

РС, 1896, № 12, с. 632–633; Языков, с. 382–383.

[^^^]

1914

Послание «С. П. Шевыреву» (датируется началом 1845 г.).

[^^^]

1915

В работе «О древней русской истории. (Письмо к М. П. Погодину)» (М, 1845, № 3) П. В. Киреевский выступил против истолкования русского национального характера, предложенного Погодиным в статье «Параллель русской истории с историей западных европейских государств».

[^^^]

1916

То есть статьи самого редактора И. В. Киреевского, активно печатавшегося в то время в журнале.

[^^^]

1917

Статья А. С. Хомякова «Спорт» была опубликована анонимно.

[^^^]

1918

Сочинения и письма, т. 6, с. 178–182 (без окончания); Акад., XII, № 260.

[^^^]

1919

Речь идет о посланиях «Константину Аксакову» и «К Чаадаеву».

[^^^]

1920

Эти мысли Гоголя нашли развитие в статье «Споры», опубликованной в составе «Выбранных мест...».

[^^^]

1921

И. В. Киреевскому.

[^^^]

1922

Письмо А. О. Россета от 28 марта 1845 г. (Шенрок, т. 4, с. 339–343).

[^^^]

1923

Норов А. С. Путешествие по святой земле в 1835 году. Ч. 1–2. Изд. 2-е. СПб., 1844.

[^^^]

1924

От 2 (14) декабря. Шевырев ответил на это письмо лишь 4 октября 1845 г.

[^^^]

1925

От 10 (22) декабря 1844 г.

[^^^]

1926

РС, 1896, № 12, с. 635–636; Языков, с. 383–385. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1927

Акад., XII, № 262.

[^^^]

1928

В письме от 19 апреля (1 мая) Гоголь положительно отзывался о стихотворениях Языкова, опубликованных в первом и втором номерах «Москвитянина», – «Я. П. Полонскому», «А. В. Киреевой» («Тогда, как сердцем мы лелеем...») и «А. Д. Хрипкову».

[^^^]

1929

«Элегия» («Есть много всяких мук – и много я их знаю...»), в которой изображен докучливый посетитель, утомлявший Языкова в период его пребывания в Германии.

[^^^]

1930

РС, 1896, № 12, с. 637 (с пропуском); полностью публикуется впервые (ГБЛ).

[^^^]

1931

«<...> болезнь моя сурьезна, только одно чудо божие может спасти», – писал в нем Гоголь (Акад., XII, с. 492), действительно испытывавший в то время полный упадок сил.

[^^^]

1932

Из Летописи Сибирской, содержащей повествование о взятии Сибирской земли русскими при царе Иоанне Васильевиче Грозном, с кратким изложением предшествующих оному событий. СПб., 1821.

[^^^]

1933

Письмо Гоголя Языкову от 23 апреля (5 мая) отправлено из Гомбурга – курорта близ Франкфурта, где писатель лечился на водах.

[^^^]

1934

«Путешествие ко святым местам в 1830 году» (СПб., 1832) А. Н. Муравьева. По воспоминаниям Ф. В. Чижова, Гоголь «отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка», чему Н. М. Языков давал следующее объяснение: «Муравьева терпеть не мог Пушкин. Ну а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповедною и едва ли только не ненавистью» (Г. в восп., с. 226).

[^^^]

1935

РС, 1896, № 12, с. 646–647 (с пропуском и неверной датой); Языков, с. 387–388.

[^^^]

1936

В конце июня (начале июля) Гоголь выехал из Франкфурта, но не в Гаштейн, а в Берлин.

[^^^]

1937

В Париже Гоголь был с 2 (14) января по 18 февраля (1 марта) 1845 г.

[^^^]

1938

Эта встреча действительно не состоялась, поскольку Гоголь вместо Гаштейна направился для лечения в Греффенберг.

[^^^]

1939

Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад. Соч. П. Кулеша. Ч. 1–3. Киев, 1843. Хвалебная рецензия на роман, принадлежавшая С. П. Шевыреву, напечатана в седьмом номере «Москвитянина» за 1843 г.

[^^^]

1940

Отрывки из нового романа «Михайло Чарнышенко» (М, 1843, № 9, Смесь).

[^^^]

1941

«Московский литературный и ученый сборник на 1846 год», объединивший писателей славянофильской ориентации.

[^^^]

1942

РС, 1896, № 12, с. 638–639. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1943

От 18 (30) октября 1845 г. (Акад., XII, № 305). В этом письме Гоголь извещал Языкова о своем приезде в Рим.

[^^^]

1944

Удачному лечению в Грефенберге по методу доктора Присница предшествовали консультации Гоголя в Галле и Дрездене у тогдашних медицинских знаменитостей, а также лечение в Карлсбаде, ухудшившее состояние писателя.

[^^^]

1945

См. письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от 22 ноября 1845 г.

[^^^]

1946

Памятник Н. М. Карамзину на его родине в Симбирске был открыт 23 августа 1845 г. По приглашению симбирского дворянства Погодин прочел в день открытия историческое «Похвальное слово Карамзину...», изданное в конце 1845 г. в Москве.

[^^^]

1947

Сочинения и письма, т. 6, с. 229–230 (с пропуском и ошибкой в дате); Акад., XIII, № 6.

[^^^]

1948

РС, 1896, № 12, с. 639–640.

[^^^]

1949

Письмо к С. Т. Аксакову от 13 (25) ноября 1845 г. (Аксаков, с. 156).

[^^^]

1950

Перевод «Мертвых душ» на немецкий язык, выполненный Ф. Лебенштейном, вышел в Лейпциге в 1846 г. «Знаешь ли ты, – извещал автора Языков, – что твои «Мертвые души» переведены на немецкий и что твое имя переделано переводчиком из Гоголя в Гогеля; уж не думает ли немец, что ты тоже немец» (РС, 1896, № 12, с. 640).

[^^^]

1951

В 1845 г. в Париже были изданы повести Гоголя «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Вий», «Старосветские помещики», переведенные Луи Виардо с помощью И. С. Тургенева. В связи с этим в журнале «Revue de Deux mondes» (1845, № 12) появилась обстоятельная хвалебная статья известного критика Ш. Сент-Бёва, лестный отзыв заключала и анонимная рецензия в «Journal des Débats» (1845, № 16).

[^^^]

1952

Николай I прибыл в Рим в декабре 1845 г. для переговоров.

[^^^]

1953

РС, 1896, № 12, с. 640–641; Языков, с. 389. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1954

Роман М. Н. Загоскина – «Брынский лес» (1845), роман П. А. Кулиша – «Черная рада, хроника 1663 года» (1845–1857).

[^^^]

1955

Статья А. С. Хомякова «Мнение русских об иностранцах. Письмо к приятелю» (Московский литературный и ученый сборник на 1846 год).

[^^^]

1956

В «Петербургском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (СПб., 1846) был опубликован роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди», высоко оцененный В. Г. Белинским в его рецензии (ОЗ, 1846, № 2, отд. 6).

[^^^]

1957

Водевиль К. С. Аксакова «Почтовая карета» (1845) был поставлен в Москве 24 апреля 1846 г.

[^^^]

1958

Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. Сочинение <...> Ивана Снегирева. М., 1841–1845.

[^^^]

1959

Сочинения и письма, т. 6, с. 245–247; Акад., XIII, № 20.

[^^^]

1960

От 6 (18) февраля 1846 г.

[^^^]

1961

От 20 ноября (2 декабря) и 14 (26) декабря 1844 г. (позднее легли в основу статьи «Предметы для лирического поэта в новое время»).

[^^^]

1962

Имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями».

[^^^]

1963

Сочинения и письма, т. 6, с. 248–249; Акад., XIII, № 24.

[^^^]

1964

Посланные через З. А. Волконскую «Памятники московской древности».

[^^^]

1965

Памятник Н. М. Карамзину на его родине в Симбирске был открыт 23 августа 1845 г. По приглашению симбирского дворянства Погодин прочел в день открытия историческое «Похвальное слово Карамзину...», изданное в конце 1845 г. в Москве.

[^^^]

1966

Следующая ниже характеристика Карамзина была позднее использована Гоголем в его статье «Карамзин» («Выбранные места из переписки с друзьями»).

[^^^]

1967

Акад., XIII, № 25.

[^^^]

1968

РС, 1896, № 12, с. 642–643; Языков, с. 390–391.

[^^^]

1969

Альманах А. Ф. Смирдина.

[^^^]

1970

На протяжении ряда лет Чижов намеревался приступить к изданию журнала славянофильского направления под своей редакцией. На его организацию Н. М. Языковым было завещано 30 тысяч рублей, однако планы Чижова так и не были реализованы.

[^^^]

1971

История русской словесности, преимущественно древней, т. I. Ч. I. М., 1846.

[^^^]

1972

Имеется в виду заключительная строфа стихотворения «Москва»: «Тебя постиг удел суровый, // И мановением одним // Вознесся гордо город новый, // Столица – с именем чужим» (Поэты кружка Н. В. Станкевича. М. – Л., 1964, с. 386).

[^^^]

1973

Revue des études slaves, t. 38. Paris, 1961, p. 106–109; Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., Художественная литература, 1986, с. 267–268.

[^^^]

1974

Письмо написано из курортного городка Грефенберг, где Гоголь лечился; покинул Грефенберг 22–24 июня (4–6 июля).

[^^^]

1975

В настоящее время неизвестно.

[^^^]

1976

Соллогуб В. А. Тарантас. Путевые впечатления. СПб., 1845. Еще до выхода этого полного издания Гоголь ознакомился с повестью Соллогуба в рукописи.

[^^^]

1977

«Михайло Чарнышенко» (см. коммент. к письму Языкова Гоголю от июня – первой половины июля 1845 г.) и «Черная рада» (отрывки из этого романа опубликованы: С, 1845, № 3, 4; 1846, № 1–3).

[^^^]

1978

Оценки творчества Соллогуба, Кулиша, Даля были развиты Гоголем в его статье «О Современнике» (1846) (Акад., VIII, с. 424–425).

[^^^]

1979

РС, 1896, № 12, с. 644. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1980

Имеется в виду просьба о присылке копии с писем, вызванных стихотворением «Землетрясенье». Она заключалась в несохранившемся письме Гоголя к Языкову и была повторена в письме от 9 (21) июля 1846 г. (Акад., XIII, № 38). Копии были отправлены Языковым 10 августа 1846 г. (РС, 1889, № 1, с. 151).

[^^^]

1981

В письме от 9 (21) июля Гоголь извещал Языкова о получении сборника «Новоселье», «Невского альманаха» Е. В. Аладьина (видимо, на 1846 год), лекций Шевырева и «Путешествия» Норова.

[^^^]

1982

Прежде всего имеется в виду статья В. Г. Белинского, посвященная «Петербургскому сборнику». Она содержала обширный отзыв о «Бедных людях» Ф. М. Достоевского (ОЗ,1846, № 3, отд. 5).

[^^^]

1983

Сочинения и письма, т. 6, с. 267–268 (без окончания); Акад., XIII, № 56.

[^^^]

1984

10 августа 1846 г. Языков писал Гоголю: «Панов собирает второй том «Сборника Московского». Что, если бы <ты> прислал в него хоть малую толику? Как бы освежил и оживил его и всю нашу братию?» (РС, 1889, № 1, с. 152). Просьбе Языкова предшествовала попытка воздействовать на Гоголя через Жуковского. «Панов послал вам через Вяземского изданный им «Московский литературный сборник» <...>, – писала 3 июня 1846 г. Жуковскому Е. А. Свербеева. – Хорошо, если бы вы могли подействовать на Гоголя и склонить его к участию в этом издании. Это дело трудное, и только вы одни разве можете в нем успеть, не говоря ему, что мы вас об этом просили» (ЛН, т. 58, с. 682).

[^^^]

1985

Имеются в виду Погодин и отчасти Плетнев.

[^^^]

1986

В первом выпуске «Московского сборника» (1846) были опубликованы стихотворения Языкова, И. Аксакова, Вяземского, статьи Попова, Чижова, Хомякова, С. Соловьева, К. Аксакова, прозаические произведения С. Аксакова и Даля.

[^^^]

1987

Перу Языкова принадлежало восемь стихотворных посланий к Каролине Карловне Павловой (Яниш).

[^^^]

1988

РС, 1896, № 12, с. 645–646. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

1989

Гоголь находился в Риме 31 октября – 2 ноября (12–14 ноября). Около 7 (19) ноября приехал на зиму в Неаполь.

[^^^]

1990

В середине 1840-х годов между Языковым и кругом Белинского возникли крайне напряженные отношения, в конечном счете обусловленные борьбой критика с группой московских славянофилов. В сочинениях Белинского и его союзников велась последовательная и суровая критика творчества Языкова.

[^^^]

1991

Сочинения и письма, т. 6, с. 312–313 (с пропусками); Акад., XIII, № 92.

[^^^]

1992

«Выбранные места...» вышли в свет 31 декабря 1846 г. (12 января 1847 г.)

[^^^]

1993

Поездка в Иерусалим состоялась в начале 1848 г.

[^^^]

1994

Сохранилось лишь одно из этих писем – из Флоренции от 27 октября (8 ноября) 1846 г. (Акад., XIII, № 71).

[^^^]

1995

От 4 (16) декабря 1846 г.

[^^^]

1996

Сочинения и письма, т. 6, с. 326–327; Акад., XIII, № 103.

[^^^]

1997

Написано после смерти Языкова, скончавшегося 26 декабря 1846 г., о чем Гоголь еще не знал.

[^^^]

1998

в дополнение (фр.).

[^^^]

1999

С, 1858, № 11, с. 126–127; Акад., XI, № 125.

Первое из известных писем Гоголя к Иванову.

[^^^]

2000

эскизом (ит.).

[^^^]

2001

Лето 1839 г. Иванов провел в Венеции, где был написан так называемый эскиз «Явление Христа народу» (ныне в Третьяковской галерее) «в венецианских красках». Очевидно, замысел эскиза, в котором Иванов намеревался непосредственно перед полотнами венецианских мастеров найти колористическое решение своей картины, сложился еще перед поездкой и был известен Гоголю (см.: Машковцев, с. 96).

[^^^]

2002

жареного козленка (ит.).

[^^^]

2003

Сорт виноградного вина.

[^^^]

2004

Не сохранилась.

[^^^]

2005

С, 1858, №. 11, с. 127–128; Акад., XI, № 169.

[^^^]

2006

дражайший (ит.).

[^^^]

2007

славная, знаменитая (ит.).

[^^^]

2008

...*три года* (ит.). Иванов был направлен в Италию именно на такое время. Впоследствии срок командирования неоднократно продлевался по просьбе художника, каждый раз обещавшего в течение трех лет завершить свою картину.

[^^^]

2009

То есть в ресторан Сокола (от ит. al Falcone).

[^^^]

2010

жареную баранину... баранину на вертеле (ит.).

[^^^]

2011

Шкалик (от ит. foglietta).

[^^^]

2012

Иванов, с. 125–126 (с неточностями и без обращения к Гоголю). Полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

2013

Одна из лучших картин Моллера, завершена в 1842 г.

[^^^]

2014

Наиболее известное произведение немецкого художника Ф. Овербека картина «Триумф религии в искусствах» (1840), над которой он работал более десяти лет. Иванов глубоко уважал Овербека, в свою очередь с пониманием и сочувствием относившегося к его творчеству.

[^^^]

2015

Речь идет, вероятно, либо о картине «Одалиска и рабыня», завершенной летом 1840 г., либо о «Стратонике» (1840) (см.: Березина В. Жан-Огюст-Доминик Энгр. М., 1977, с. 166, 170–173).

[^^^]

2016

Иванов, с. 140 (с пропусками и неточностями); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

2017

Письмо из Рима. Ф. В. Булгарину. 18/23 сентября 1841. – СПч., 1841, № 243 (подпись Н. Гр.). В статье наряду с общей характеристикой жизни художников в Риме содержалась краткая и действительно поверхностная информация о работах русских и иностранных скульпторов и живописцев (в том числе комплиментарное известие о картине самого Иванова).

[^^^]

2018

Иванов, с. 144–145 (с пропусками и неточностями). Полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

2019

Акад., XI, № 207. Служило ответом на письмо Иванова от октября 1841 г.

[^^^]

2020

По совету Иванова, придававшего копированию как средству формирования художника большое значение, Шаповалов работал над копией с картины Перуджино «Мадонна среди святых» (1496), находящейся в Ватикане. Обычно копии с классических произведений заказывались Академией художеств для ее музея.

[^^^]

2021

Обществу поощрения художников, от которого Шаповалов получал пенсион.

[^^^]

2022

Чтобы приобрести средства, Иванов намеревался скопировать для Академии художеств находящуюся в Ватикане фреску Рафаэля «Умеренность, Сила и Благоразумие». Однако этот план не осуществился, поскольку предложенная художнику сумма (900 руб. серебром) была очень невелика (см.: Иванов, с. VII).

[^^^]

2023

Нуждаясь в средствах, Иванов обратился к великому князю Александру Николаевичу, посетившему в 1838 г. мастерскую художника в Риме, с просьбой пожаловать ему трехлетнее содержание для окончания картины «Явление Христа народу». После своего завершения картина по этому условию принадлежала бы наследнику (см.: Иванов, с. 113, 122).

[^^^]

2024

Около 20 октября 1841 г. (Акад., XI, № 208).

[^^^]

2025

Иордан.

[^^^]

2026

Сочинения и письма, т. 5, с. 454–455; Акад., XI, № 214.

[^^^]

2027

По заказу Гоголя Шаповалов работал над копией фрагмента (группа женщин) фрески Рафаэля «Изгнание сирийского полководца Илиодора из иерусалимского храма» (1511–1514), находящейся в так называемом «Зале Илиодора» в Ватикане. Эта и названные ниже копии предназначались Гоголем для подарков.

[^^^]

2028

Имеется в виду портрет, выполненный масляными красками в 1841 г. (см. преамбулу).

[^^^]

2029

По совету Иванова, придававшего копированию как средству формирования художника большое значение, Шаповалов работал над копией с картины Перуджино «Мадонна среди святых» (1496), находящейся в Ватикане. Обычно копии с классических произведений заказывались Академией художеств для ее музея.

[^^^]

2030

Дефект рукописи.

[^^^]

2031

В ответном письме (февраль 1842 г.) Иванов писал: «Я еще не добрался до окончания фигуры Спасителя в моей картине, по причине моей болезни, но только что это место пройду, то и вас удовлетворю» (Г. Мат. и иссл., т. 1, с. 128).

[^^^]

2032

Сочинения и письма, т. 6, с. 54–56 (с пропусками); Акад., XII, № 169.

Вероятно, с этим письмом связана относящаяся к лету 1844 г. запись в черновой тетради Иванова: «Вспоминаю последнее письмо Гоголя и силюсь встать на новую, им указанную мне ступень» (ЛН, т. 58, с. 669).

[^^^]

2033

Не сохранилось.

[^^^]

2034

Не сохранилось.

[^^^]

2035

Иванов, с. 164–165 (с неточностями и без окончания); полностью публикуется впервые по автографу (ГБЛ).

[^^^]

2036

Иванов, с. 175–176. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

2037

Акад., XII, № 220.

[^^^]

2038

Чижов.

[^^^]

2039

Гоголь находился в Остенде с конца июля по первую половину сентября, после чего переехал во Франкфурт, где остановился у В. А. Жуковского.

[^^^]

2040

Болезнь глаз заставила Иванова в 1842 г. почти на три года приостановить работу над «Явлением Христа народу».

[^^^]

2041

Моллер, подвергавшийся преследованиям со стороны матери своей бывшей натурщицы Амалии Лаваньини, был вынужден покинуть Рим. Отзвуки этой истории встречаются в ряде писем Гоголя и Иванова.

[^^^]

2042

По своим убеждениям Ф. В. Чижов был в 1840-е годы близок к славянофильству и влиял в этом отношении на Иванова. «Патриотическая мысль» Чижова состояла в организации вечеров, на которые приглашались лишь русские по национальности художники. Однако эти встречи, посвященные чтению отечественной литературы по искусству, быстро прекратились (подробнее см. в письме Чижова Н. М. Языкову от 16 (28) января 1844 г. – ЛН, т. 19–21, с. 114).

[^^^]

2043

С, 1858, № 11, с. 147–148 (с пропусками); Акад., XII, № 242.

[^^^]

2044

Не сохранилось.

[^^^]

2045

С, 1858, № 11, с. 148–149. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2046

Картина малого размера – полотно «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Начатое еще в 1830 г., оно так и осталось не вполне завершенным.

[^^^]

2047

«Преображение» (1520) – последняя картина Рафаэля, оставшаяся неоконченной.

[^^^]

2048

Возможно, одной из этих картин (выставка устраивалась в Риме) является «Русская зима» (см.: Чижов Ф. Письмо о работах русских художников в Риме. М., 1846, с. 57–58).

[^^^]

2049

С, 1858, № 11, с. 149–150 (с пропусками); полностью публикуется впервые (ГБЛ).

[^^^]

2050

В 1840-х годах в Москве шло строительство храма Христа Спасителя по проекту архитектора К. А. Тона. Не дожидаясь официального заказа, Иванов начал работу над эскизами предназначенного для этого храма запрестольного образа «Воскресения Христова», однако заказ был позднее отдан К. Брюллову.

[^^^]

2051

От 31 января (12 февраля) 1845 г. (Иванов, с. 177–179).

[^^^]

2052

Это письмо Иванова и его приписку к письму Моллера см.: Иванов, с. 180–181.

[^^^]

2053

ЛН, т. 58, с. 810. Сверено с автографом (ГБЛ).

Датируется по положению в черновой тетради и по связи с письмом Гоголя к Смирновой от 21 марта (2 апреля) 1845 г., содержащем почерпнутые в настоящем письме сведения. Возможно, является продолжением предыдущего.

[^^^]

2054

Имеется в виду оригинальная картина Шаповалова «Римская зима». Художник «представил ее в виде молодой римлянки, греющейся над скальдиною (так называется горшочек, наполняемый горящими углями и служащий в Риме ручною печкою)» (Чижов Ф. Письмо о работах русских художников в Риме, с. 58).

[^^^]

2055

Жуковский.

[^^^]

2056

Знаменитое римское кафе, в котором собирались художники и куда было принято отправлять для них письма. Здесь часто бывал и Гоголь.

[^^^]

2057

Иванов, с. 227–228 (с пропусками); Зуммер, с. 42–43. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

2058

Гоголь покинул Рим 23 апреля (5 мая) 1846 г., вернулся в начале ноября, приехал на зиму в Неаполь около 7 (19) ноября 1846 г.

[^^^]

2059

После крупного столкновения с Л. И. Килем талантливый скульптор Н. А. Рамазанов был отозван из Рима в Россию, куда вернулся 1 октября 1846 г. В следующем году занял место преподавателя Московского училища живописи.

[^^^]

2060

С. А. Иванова.

[^^^]

2061

Речь идет о «Законах художникам», в которых Иванов излагал свои взгляды и проекты относительно административной организации деятельности русских художников в Риме.

[^^^]

2062

Римский трактир.

[^^^]

2063

С. П. Апраксина.

[^^^]

2064

Вероятно, имеется в виду М. В. Апраксина, в которую Иванов был влюблен.

[^^^]

2065

С, 1858, № 11, с. 157–158; Акад., XIII, № 70.

[^^^]

2066

Письмо от С. П. Апраксиной неизвестно.

[^^^]

2067

Dogana – римская контора дилижансов.

[^^^]

2068

ВЕ, 1883, № 12, с. 648–649 (с пропуском); Акад., XIII, № 89.

[^^^]

2069

Эта записка неизвестна.

[^^^]

2070

В. В. Апраксин. Иванов рассчитывал на его участие в устройстве своих дел.

[^^^]

2071

Гоголь имеет в виду действие своей статьи «Исторический живописец Иванов», вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями» (вышли в свет в январе 1847 г.).

[^^^]

2072

С, 1858, № 11, с. 159; Акад., XIII, № 95.

[^^^]

2073

От 30 ноября (12 декабря) и 7 (19) декабря 1846 г. (последнее см.: Акад., XIII, № 93).

[^^^]

2074

С, 1858, № 11, с. 160–162. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2075

От 30 ноября (12 декабря) и 7 (19) декабря 1846 г., а также 31 декабря 1846 (12 января 1847) г.

[^^^]

2076

Подразумевается министр двора П. М. Волконский. В ведении министерства двора находилась и Академия художеств.

[^^^]

2077

Посетив в конце 1845 г. студию Иванова, Николай I выразил одобрение художнику; в июле 1846 г. кн. Волконский вручил Иванову вексель на 5500 руб., обязав его окончить картину за год, о чем художник был вынужден дать подписку.

[^^^]

2078

На этом оканчивается текст письма, опубликованного П. А. Кулишем в «Современнике» по утраченному ныне беловому автографу. В черновике письма (ГБЛ) вслед за подписью Иванова идет заключительный абзац: «Ставассера и Климченку довели до того, что они сожалеют, что еще в живых находятся их родители, а то бы решились на уголовное преступление. Прочие все в унынии».

[^^^]

2079

ВЕ, 1883, № 12, с. 649–651 (с пропуском); Акад., XIII, № 109.

[^^^]

2080

В 1840 г. сам Гоголь предпринял неудачную попытку занять место секретаря русской Академии художеств в Риме.

[^^^]

2081

Имеется в виду статья «Исторический живописец Иванов».

[^^^]

2082

Зуммер, с. 43. Сверено с автографом (ГБЛ).

Датируется на основании следующих фактов: настоящее письмо служит ответом на письмо Гоголя от 23 января (4 февраля) 1847 г., в черновой тетради Иванова оно расположено ранее письма к Гоголю от апреля 1847 г. (см. ниже). Это письмо, как и другой его вариант (Иванов, с. 235), не было отправлено адресату (см.: Зуммер, с. 39).

[^^^]

2083

От 10 (22) января 1847 г.

[^^^]

2084

С, 1858, № 11, с. 163–164 (с пропусками); Акад., XIII, № 141.

[^^^]

2085

С. П. Апраксина – урожденная Толстая.

[^^^]

2086

Неизвестно.

[^^^]

2087

От 13 (25) марта 1847 г. (Акад., XIII, № 142).

[^^^]

2088

Статья «Исторический живописец Иванов», напечатанная в «Выбранных местах...».

[^^^]

2089

Иванов, с. 234 (без окончания); полностью публикуется впервые (ГБЛ).

[^^^]

2090

На протяжении ряда лет Чижов намеревался приступить к изданию журнала славянофильского направления под своей редакцией. На его организацию Н. М. Языковым было завещано 30 тысяч рублей, однако планы Чижова так и не были реализованы.

[^^^]

2091

С, 1858, № 11, с. 164; Акад., XIII, № 154.

[^^^]

2092

Не сохранился.

[^^^]

2093

Речь идет о Ф. И. Иордане, в течение нескольких лет работавшем в Ватикане над гравюрой с картины Рафаэля «Преображение» (в связи с этим в письме и упомянут «гравчик» – граверный резец). О каком увлечении Иордана говорит в данном случае Гоголь, не установлено.

[^^^]

2094

ВЕ, 1883, № 12, с. 636–637 (с сокращениями); Зуммер, с. 46. Сверено с автографом (ГБЛ).

[^^^]

2095

23 ноября (5 декабря) 1847 г. Гоголь писал Иванову из Неаполя: «Давно уже я о вас не имею никаких вестей, Александр Андреевич. Пожалуста, уведомляйте меня от времени до времени о себе, о том, что делается как в вас, так и около вас. Не опасайтесь от меня жестких писем, я их теперь даже и не сумею написать, ибо вижу, что если и нужно кого попрекать, так это больше себя, а не другого» (Акад., XIII, № 223).

[^^^]

2096

Спустя несколько лет в книге «О развитии революционных идей в России» (1850) Герцен охарактеризовал «Выбранные места...» как «раболепную брошюру», которой «Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение» (Герцен, т. 7, с. 220, перевод). Этот отзыв сильно задел писателя (Г. в восп., с. 529, 533–534). Сам Иванов, ознакомившись с «Выбранными местами...», писал: «Не знаю, за что это на него так нападают, – там есть превосходные места» (Ф. В. Чижову. Июнь 1848 г. – Иванов, с. 251).

[^^^]

2097

В. И. Григорович.

[^^^]

2098

С, 1858, № 11, с. 166–167 (с пропусками); Акад., XIII, № 230.

[^^^]

2099

Чивики – граждане (от ит. civico); так называли итальянскую национальную гвардию.

[^^^]

2100

Речь идет о почтальоне, потерявшем пересылаемые Гоголем Иванову деньги и за это уволенном со службы. Как видно из последующих писем Иванова (Зуммер, с. 46, 47), художник заботился об устройстве его денежных дел.

[^^^]

2101

ВЕ, 1883, № 12, с. 652–654; Акад., XIII, № 235.

[^^^]

2102

Между 2 (14) и 16 (28) декабря 1847 г. Иванов писал Гоголю: «Как не закаивался я ни к кому не писать писем, но ваша статья обо мне насильно водит перо и руку.

Целую и обнимаю вас в знак совершенного с вами замирения и возвращаюсь опять в то положение, когда, смотря на вас с глубочайшим уважением, верил и покорствовал вам во всем. <...> Одно мне позвольте возразить против следующих слов вашей статьи: «Иванов ведет жизнь истинно монашескую». И очень бы не отказался иметь женой монахиню – женщину, занятую преследованием собственных своих пороков!» (Иванов, с. 247). Известны и более серьезные замечания Иванова в связи с гоголевской статьей. Так, в своей записной книжке он отмечал: «Николай Васильевич Гоголь сделал меня известным, вывел на трескучую мостовую человеческих страстей: ходя по буграм и кочкам, трудно идти, невозможно спокойно углубляться в нисходящие думы» (ВЕ, 1883, № 12, с. 642).

[^^^]

2103

Иванов полагал, что присланная ему статья «Исторический живописец Иванов» вырвана С. П. Апраксиной из ее личного экземпляра «Выбранных мест...» (Иванов, с. 247).

[^^^]

2104

Пенсионер Академии художеств Бейне в 1847 г. совершил путешествие на Восток. Требуемые сведения сообщены Бейне в письме к Гоголю от 20 декабря 1847 (1 января 1848) г. (Шенрок, т. 4, с. 685–687).

[^^^]

2105

Сочинения и письма, т. 6, с. 446–447 (с пропусками) ; Акад., XIV, № 5.

[^^^]

2106

Имеются в виду начальные строки письма Иванова к Гоголю от декабря 1847 г.: «Когда вам опять придет мысль укорять меня за ранний и несчастный выступ в столкновение с людьми высшими, то, пожалуйста, вспоминайте и то, что вы меня на это тогда благословляли и я, поверя вам, вышел в действия, в которых вижу теперь себя всегда у края гибели» (Зуммер, с. 46).

[^^^]

2107

От 16 (28) декабря 1847 г.

[^^^]

2108

Речь идет о революционных событиях в Неаполе.

[^^^]

2109

С, 1858, № 11, с. 168–169 (с неточной датировкой). Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2110

Об окончании своего путешествия в Иерусалим Гоголь сообщал Иванову в кратком письме от 2 (14) апреля 1848 г. из Константинополя (Акад., XIV, № 22).

[^^^]

2111

На этом заканчивается текст письма, опубликованный в «Современнике» по утраченному беловому автографу. В черновой тетради Иванова есть еще одна фраза: «Вы все-таки адресуйте в кафе Греко» (ГБЛ).

[^^^]

2112

С, 1858, № 11, с. 169–170. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2113

В результате революции в Италии 9 февраля 1849 г. была провозглашена Римская республика. Весной 1849 г. по призыву папы Пия IX против нее выступили армии католических государств – Франции, Австрии, Испании и Неаполитанского королевства. 3 июля Римская республика пала.

[^^^]

2114

Исполнительная власть в Риме была вручена Мадзини, Саффи, Армелини, войсками командовал Гарибальди.

[^^^]

2115

Имеется в виду краткое письмо Гоголя от 7 апреля 1849 г. (Акад., XIV, № 87).

[^^^]

2116

Иванов имеет в виду увольнение от должности инспектора Московского училища живописи и ваяния художника Ф. С. Завьялова, место которого занял итальянец по происхождению М. И. Скотти. 27 января (8 февраля) 1849 г. Иванов писал Чижову: «Если б я знал наверное, что Н. В. Гоголь в Москве, я бы послал к нему об этом письмо; может быть, его авторитет пособил бы разбить бессовестность и восстановить Завьялова с еще большею крепостью» (ЛН, т. 58, с. 716).

[^^^]

2117

Сочинения и письма, т. 6, с. 503–504 (с пропусками); Акад., XIV, № 161.

[^^^]

2118

Не сохранилось.

[^^^]

2119

С, 1858, № 11, с. 170–171. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2120

Возможно, речь идет о письме, датируемом весной 1850 г. (см.: Иванов, с. 262–263).

[^^^]

2121

Над гравюрой с картины Рафаэля «Преображение».

[^^^]

2122

С, 1858, № 11, с. 171; Акад., XIV, № 205.

[^^^]

2123

С, 1858, № 11, с. 171–172. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2124

Сочинения и письма, т. 6, с. 526–527 (с пропусками); Акад., XIV, № 215.

[^^^]

2125

Римский ресторанчик.

[^^^]

2126

С. А. Иванов.

[^^^]

2127

Зуммер, с. 50. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2128

С, 1858, № 11, с. 173–174. Сверено с черновым автографом (ГБЛ).

[^^^]

2129

Как жаль, что вы не говорите, будете ли вы в Петербурге. (Примеч. А. А. Иванова.)

[^^^]

2130

Трактирный прислужник, лакей (от ит. cameriere).

[^^^]

2131

Иванов, с. XII (там же, с. 288–289); Акад., XIV, № 266.

Последнее письмо Гоголя к Иванову (о нем см. преамбулу к переписке).

[^^^]

2132

Кулиш, т. 2, с. 108–113 (с пропусками); Акад., XIII, с. 435.

Черновик ответа Белинскому на его письмо от 3 (15) июля 1847 г. Состоит из нескольких набросков, каждый из которых нумеруется отдельно. Подлинник был склеен П. А. Кулишем из разорванных мелких кусков. Не все куски сохранились. Имевшиеся в тексте пробелы были реконструированы П. А. Кулишем, а при подготовке Акад. – Г. М. Фридлендером.

[^^^]

2133

Это стихотворение («Четыре нации», 1827) принадлежит не Пушкину, а Полежаеву.

[^^^]